

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Павел Нерлер



CON
AMORE

Этюды о Мандельштаме

Научное приложение. Вып. СХХV

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПАВЕЛ ПЕРЛЕР

CON AMORE

Этюды о Мандельштаме

Москва
Новое литературное обозрение
2014

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=411.2)6-8
Н54

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. СХХV

Мандельштамовское общество

Нерлер, П.

Н 54 **Сon amore: Этюды о Мандельштаме** / Павел Нерлер. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 856 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0162-8

Книга составлена из работ об Осипе Мандельштаме, создававшихся на протяжении более чем 35 лет. В качестве ядра книги обозначились пять основных разделов, в каждом — свой лейтмотив. Первый — «Сon amore» — личная встреча автора с творчеством Мандельштама. Второй — «Солнечная fuga» — этюды о том, что Мандельштам написал, третий — «Мандельштамовские места» — о том, куда его заносила судьба, четвертый — «Современники и современницы» — о тех, с кем его свела жизнь. Пятый раздел — «Слово и бескультурие» — размышления о месте Мандельштама в эпоху торжествующего постмодернизма. В приложениях — выдержки из дневников и литературная библиография автора. Это не монография о Мандельштаме, с самого начала прожитая единством замысла и исполнения. Здесь другой тип связи — концентрический, наподобие букета. Но это и не механическое собрание перепечаток: каждый текст заново пересмотрен, многие старые публикации сплавились в одну новую.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=411.2)6-8

Фотографии из архивов Мандельштамовского общества, РГАЛИ, ГЛМ, А. Бруни, Л. Глезерова, М. Горнунга, П. Нерлера и М. Шагинян.

© П. Нерлер, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014

*Памяти
Аркадия Штейнберга
и Николая Побоя*

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Анне Еськовой

Сама идея именно такой книги возникла довольно случайно — благодаря Борису Фрезинскому, подарившему мне том своей избранной «эрenburgианы», выпущенный издательством «Новое литературное обозрение».

В голове сразу мелькнуло: «Может, и мне собрать свои статьи о Мандельштаме?» И я благодарю Ирину Прохорову, поддержавшую мою заявку.

После чего идея разобратся с собственной «мандельштамианой» стала даже не реальностью, а необходимостью. Но тут выяснилось, что потенциальный объем написанного за треть века — вдвое-втрое больше того, что может вместить издательский формат.

Возникла задача поиска, обретения и задания структуры книги, а затем и окончательного отбора и подготовки конкретных текстов.

В результате в качестве ядра книги обозначились пять основных блоков, в каждом из которых есть свой лейтмотив. Первый блок — «Соп амоге» — обозначает вехи личной встречи автора с творчеством Мандельштама. Второй — «Солнечная fuga» — этюды о том, что Мандельштам написал, третий — «Мандельштамовские места» — о том, где и чем он дышал, а четвертый — «Современники и современницы» — о тех, с кем он по жизни встречался. Пятый блок — «Слово и бескультурие» — размышления о месте поэзии Мандельштама в советской и постсоветской культуре. В приложениях — выдержки из дневников¹ и литературная библиография автора. В самом конце —

¹ Начиная с 1979 г. и на протяжении многих лет я вел литературный дневник, посвященный почти исключительно О.Э. Мандельштаму и его изучению. Первоначально в нем фиксировались главным образом текущие события, связанные с подготовкой книги О.Э. Мандельштама «Слово и культура» (вышла в 1987 г.). Разбор этих записей начался сравнительно недавно. Подборка, публикуемая в этой книге, — лишь фрагмент, выбранный почти наугад. Но и в этот фрагмент включе-

список сокращений, перечень использованной литературы и именной указатель.

За бортом книги остались материалы о биографии поэта как таковой и его посмертной судьбе, о постепенном возвращении к массовому читателю на родине, работы по публикации текстов, архивированию и описанию источников, библиографированию печатных трудов, а также заметки хроникального и персонального характера.

Это не монография, с самого начала прошитая единством замысла и исполнения. Тут другой тип единства — наподобие букета, связь между текстами скорее сюжетная, чем систематическая, и это позволяет мне не отслеживать специально по каждому затронутому пункту новинки мировой библиографии.

Но это и не механическое собрание перепечаток. Каждый текст заново пересмотрен и продуман, многие переработаны весьма радикально, а иные старые публикации сплавлены в одну новую. Поэтому под текстами нет дат, а очевидные первопубликации легко отыщутся по библиографии в конце.

Это издание принципиально перекрестно: каждый текст — то или иное скрещение субъекта и объекта, темы и автора. Но работы, составившие книгу, писались в разное время и в разных местах. С каждым из них связано что-то очень свое, личное и конкретное, чаще всего персонифицированное: кто-то инициировал замысел, кто-то помог в его реализации (или помешал ей), кто-то олицетворял собой соответствующий «перекресток» Мандельштама и сюжета (или региона), о котором повелась речь.

И я решил извлечь имена этих людей из подсознания и ввести в книгу. Вы найдете их в виде посвящений в начале каждого отдельного текста. Книга в целом посвящена памяти Аркадия Штейнберга и Николая Поболя — моих драгоценных друзей и учителей, встрече с которыми я столь многим обязан.

Эпиграфы из Мандельштама раскрываются только указанием произведения, из остальных — отсылкой в сноске.

Цитаты из Мандельштама даются по «синему четырехтомнику», изданному Мандельштамовским обществом в 1993—1997 гг., если не оговорено иное. Ссылки обычно сводятся к указанию на произведение. Там, где проблема идентификации текста остается, приводятся ссылки на упомянутое издание (с указанием тома и страниц).

В список использованной литературы вошли только те источники, что встречаются в тексте не менее двух раз.

ны лишь те материалы, которые представляют фактографический интерес в связи с Мандельштамом, а также единичные датированные записи из других домашних источников (например, полевых дневников географических экспедиций).

При иллюстрировании книги использованы фотографии из архивов Мандельштамовского общества, ГЛМ, РГАЛИ, А. Бруни, М. Горнунга, А. Ласкина, А. Наумова и П. Нерлера.

Подготовка книги потребовала самых разнообразных усилий. Я бы едва ли справился с этим без той всесторонней помощи, которую — на стадии собирания и подготовки книги — мне оказали Алина Миронова и Лиля Брусиловская, мои ближайшие коллеги по Мандельштамовскому обществу. Сердечно благодарю их, редактора книги Анну Еськову, а также Николая Богомолова, Сергея Василенко, Леонида Видгофа, Валерия Есипова, Софью Ивич-Богатыреву, Леонида Кациса, Наума Клеймана, Сергея Крылова, Делира Лахути, Карена Свасьяна, Александра Смолянского, Габриэля Суперфина и Ирину Сурат, критически знакомившихся с отдельными фрагментами этой книги в рукописи.

За всевозможные справки и советы, — в том числе и по текстам, не попавшим в окончательный корпус этой книги, — слова признательности также Константину Азадовскому, Евгению Андрееву, Виктору Белкину, Евгению Берковичу, Алексею Бруни, Юлии Вишневской, Анне Гавриловой, Валентину Гефтеру, Евгению Голубовскому, Нелли Гординой, Семену Дыманту, Виктору Захарову, Дмитрию Зубареву, Тамаре Исмагуловой, Поэлю Карпу, Владимиру Коротаяеву, Сергею Красильникову, Геннадию Кузовкину, Яну Кунтуру, Александру Лаврову, Сергею Ларькову, Олегу Лекманову, Владимиру Литвинову, Елене Мамонтовой, Наталье Мельниковой, Сергею Мироненко, Льву Мнухину, Алексею Наумову, Дмитрию Нечипоруку, Антону Носику, Элиазеру Рабиновичу, Светлане Смородкиной, Сергею Соловьеву, Юлии Тан, Роману Тименчику, Леониду Фляту, Борису Фрезинскому, Юрию Фрейдину, Екатерине Черновой, Людмиле Черновой, Борису Шапиро, Михаилу Шейнкеру и Галине Элиасберг.

CON AMORE

19-Я СПЕЦШКОЛА И ГЕОФАК МГУ

Андрею Трейвишу и Ольге Глезер

*И солнца сияли над нами,
пока я друзей находил...¹*

Да позволено мне будет предаться воспоминаньям...

Ни стихи Мандельштама, ни его имя до окончания школы (1969 год) ни разу не прозвучали около меня. Возможно, это было и чудовищным невезением, поскольку именно в нашей 19-й спецшколе преподавал удивительный словесник — Давид Львович Райхлин, автор известных учебников по грамматике и влюбленный в русскую литературу человек. Двух или трех его уроков в девятом или десятом классе — когда он подменял приболевшего завуча (училку по русскому и литературе) — вполне хватило, чтобы перечеркнуть все ее многолетние старания по внушению нам отвращения к героям своего предмета. Давид Львович вдруг заговорил о «декадентах», начал читать стихи, и — не скажу за всех, но за себя скажу: я вдруг ощутил всю шокирующую свежесть их, символистов, поисков — от ромбовидной графики и шелеста шипящих до тематической дерзости, толкнувшей, например, Брюсова на этот отчаянный вскрик: «*О, закрой свои бледные ноги!*...»

Еще немного, наверное, и Райхлин окунул бы нас и в акмеистические вихри, но бог сподобил завуча выздороветь...

Заразив нас бациллой поэзии, старый педагог и не намеревался предугадывать нам какой бы то ни было путь: он просто вывел нас из дремучего леса школьной программы на широкое поле с далекими горизонтами, а куда и как мы дальше будем пробираться — дело не его.

Я, например, свернул налево, повстречал там шумный театр на не менее шумной площади и симпатичного поэта в шарфике и чем-то малиновом, громко кричащего о тишине. Полюбив его крутые

¹ *Нерлер П.* Високосные крѹги. М.: Водолей, 2013. С. 27.

метафоры и ассонансы, именно их поначалу я принял за всю поэзию и, в меру пытливости, вскоре попал в полбон отряда его летучих предшественников, в просторечии именуемых футуристами.

Было это давно, в начале 1970-х — в мои самые романтические годы, когда я учился на геофаке, разъезжал по экспедициям, таскал за собой гитару, пел у костров Галича и Анчарова, и, как полагается, был влюблен. Естественным выходом из этого состояния были только стихи — свои и чужие...

Я был без ума от Маяковского, обчитал его всего, вплоть до тома «Литературного наследия» с письмами Щена к Лиле Брик, а потом принял и за его окружение — в особенности мне нравились Асеев и Кирсанов. Из Асеева и сейчас помню строчки:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено рожим цветом,
а не красным время?..

Или:

Я запретил бы продажу овса и сена.
Ведь это пахнет убийством отца и сына!..

А вот из всего Кирсанова и строчки не осталось, разве что экзотические названия: например вулкан Попокатепетль.

Я искренне принимал их — всех троих! — их лестничные пролеты-стихи, их мастерское жонглирование словами и звуками, в особенности на рифме, за высший пилотаж поэзии. Какое-то время я еще шел за ними, по их следам, веря и сострадавая всем их лирическим драмам, пока, наконец, не понял, что наивысшая точка лирического кругозора для них — этот самый вулкан Попокатепетль. Дальше тропинки не было...

...Поначалу я еще спорил с Николаем Поболом — своим старшим университетским товарищем, ментором и на протяжении сорока последующих лет лучшим другом. В нашей младоестественной среде он был настоящим инопланетянином — человеком из другого мира и теста! Старше нас лет на 15, а свободней — на все 50! Все в нем поражало: плотовик, подводник, полярник, неутомимый курильщик (тогда — по четыре пачки в день). В мире живописи и в мире поэзии — у себя дома, парсеки всевозможных стихов — наизусть!

Он и был — по призванию — идеальный читатель поэзии: с кругозором и системой взглядов, не пропускающими через себя халтуру, с тонко настроенной на чудо стиха ушную раковинкой, не допуска-

ющей ни фальши, ни пустоты. Как и я — влюбленный в поэзию, но, в отличие от меня, ее еще и знавший! Не рощицей, не лесопосадкой, а необъятным лесом, тайгой, раскачивалась и гудела она в его душе...

Вот он-то и объяснил мне разницу между Мандельштамом и Кирсановым. В течение всего нескольких разговоров он меня полностью «перевербовал», одновременно настроив ухо на совсем другие критерии, нежели крутые лесенки и консонансы.

Ершась и хорохорясь, я еще нехотя кивал на космическую образность Маяковского, на словарное богатство Асеева, на неслыханную хитроумность рифм и экзальтированность чувств у Кирсанова, — а мой друг только хитро улыбался, затягивался сигаретой и до обидного вяло защищался.

Иногда, впрочем, читал что-нибудь навскидку: «За то, что я руки твои не сумел удержать...», «Мы с тобой на кухне посидим...» или «За гремучую доблесть грядущих веков...». Про «Волка» он говорил, что это единственное стихотворение в мировой поэзии, у которого не одна, а сразу две концовки, и обе гениальные!

И чем больше я горячился, тем лучше понимал всю бессмысленность нашего «спора». А потом и вовсе перестал спорить — начал впитывать и спрашивать. И уже не «аргументы» находил я в этих дивных строках, а именно то, чем они, собственно, всегда были — явленное чудо, счастье, воздух, без которого уже нельзя будет жить.

В душах тех, кому поэзия насущно необходима, есть некая врожденная или приобретенная частота звучания, которая вдруг начинает резонировать на определенные стихи определенного поэта — того самого, кто с наибольшей ясностью, убедительностью и простотой отвечал на самые насущные, самые волнующие вопросы.

И хоть я тогда и печатал всего одним пальцем, но словно и не заметил, как перепечатал именно *мандельштамовские* стихи и как переписал чуть ли не всю статью Струве или Филиппова (уж и не помню) из стопки каких-то темных фотокопий с заграничного двухтомника, добытых, как водится, по случаю на несколько дней и ночей.

Пусть не сразу, но все же стихи стали оседать в моей памяти какими-то сгустками — не подберу иного слова — смысла и музыки. Я искал внутреннюю их мелодию — и всегда находил ее, после чего стихотворение словно отпечатывалось в сознании. И как-то вдруг, как-то само собой что-то отыскивалось в них, отзывалось на все то, чем мучила и чем одаривала собственная ежеминутная жизнь, — ну разве не чудо?

...Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,

Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

...И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь.

КОЛЯ ПОБОЛЬ

Семену Дыманту

*Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир...¹*

В Коле Поболе и с Колей Поболем я застал еще то поколение, в котором знание множества стихов и чтение их наизусть были в порядке вещей².

В пору, когда в стране столь многое и столь упорно не издавалось, великие стихи уходили в самиздат, как реки под землю в карстовых регионах, — с тем чтобы вырваться со временем на поверхность и пролиться хрустальными и свободными потоками чистой поэзии. Словно в бесписьменную эпоху, поэзия перешла на изустное существование, а память человеческая выполняла совершенно особую, несоизмеримую с нынешней, миссию: нейробиологического носителя информации и походной самиздатской библиотеки одновременно!

Это был еще как бы и звуковой самиздат.

Знать наизусть или «всю русскую поэзию», или «всего Мандельштама», или «всю Цветаеву» и т. д., оставаясь доблестью (память памяти рознь), — было вместе с тем почти что нормой. У походных костров не столько пелись песни, сколько читались стихи. А чтение интеллигентным ухажером интеллигентной девушке хороших стихов на память было нормой, если не императивом!

В самом центре Колиной читательской и декламаторской любви был Мандельштам. Поэтесса Зинаида Палванова вспоминала: «*Коля и в тот раз, и во все другие наши встречи читал мне стихи Мандельштама и других поэтов Серебряного века. Рассказывал, как в армии*

¹ Из стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон» (1836).

² Такими же были и некоторые из его друзей, в частности, москвич Саша Васильев (см.: *Про Сашку Васильева*, 2011) и ленинградец Яша Герман (см.: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 292).

(в обстановке, мягко говоря, непоэтической) восстанавливал в памяти эти стихи и тем самым крепко запомнил их»³.

Дифирамб Колиной памяти и ее заточенности на стихи пропел и архитектор Андрей Таранов: «...Сколько ты знал стихов на память — уму непостижимо! И не просто знал, а смаковал любимые стихи и затягивал собеседника в глубины написания или перевода... А как ты замечательно читал своим тихим хриловатым голосом и Бродского, и Пушкина и, конечно, любимого Мандельштама, о котором мог говорить бесконечно»⁴.

Читать Мандельштама наизусть Коля мог не только бесконечно, но и к тому же — с любого места! «...Казалось, начни любое стихотворение, и Коля с легкостью подхватит его. Так было множество раз. Только с годами он стал жаловаться, что память стала его подводить — и он не сразу может вспомнить нужную строфу. Он помнил сотни, а может быть, и тысячи стихов»⁵.

При этом многие отмечают и его неповторимый артистизм: «И своим глуховатым голосом потом еще начнет читать своего любимого Мандельштама... Стихов он знал бездну!.. А как он читал стихи! И этот голос его, ни на чей не похожий... Чудо!»⁶

Или: «Помню интонацию Коли, замечательно умевшего читать стихи. На могиле у Надежды Мандельштам Коля прочитал стихотворение “Мне на плечи кидается век-волкодав”. Его голос открыл для меня новые смысловые обертона в этом шедевре... Коля привнес своим голосом благородную сдержанность тона, опять же незаметно подчеркнув трагизм поэзии Осипа Эмильевича»⁷.

Леонид Кацис обрисовал экспозицию одного из случаев, когда Поболь был в особенном ударе: «В избе-гостинице... из окон которой видно место, где хорошо бы поставить памятники ссыльному поэту, был сооружен юбилейный стол, за которым участники застолья, включая меня, и узнали настоящего Колю»⁸. «Настоящий Коля» — это Коля, разогретый выпитым и воодушевленный беседой или обстановкой. Тогда, в июне 2009 года, в Чердыни, он прочел, забывая и вспоминая, стихотворение «1 января 1924 года» — ах, как божественно он его прочел!⁹

Михаил Шапиро описывает, видимо, другой аналогичный случай: «...Одно из самых сильных переживаний — выпивший Львович, не-

³ *Собеседник на пиру*, 2013. С. 182.

⁴ *Собеседник на пиру*, 2013. С. 266.

⁵ Из воспоминаний С. Мироненко в: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 158.

⁶ Из воспоминаний Л. Михалевского в: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 163, 167.

⁷ Из воспоминаний С. Заславского в: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 123—124.

⁸ *Собеседник на пиру*, 2013. С. 130.

⁹ Сохранилась чудесная видеозапись этого застолья, показанная один-единственный раз на поминках по Поболью.

сколько часов кряду читающий в походной палатке стихи Ахматовой, Мандельштама, Пастернака. Тихая ночь. Словно эвенкийский шаман Львович раскачивается в такт произносимым словам. Наступает момент, когда один его голос заменяет все — воздух, смыслы, все сторонние ощущения. Слышны только его, Львовича, хрипы. Особая, неземная музыка. И создать ее мог лишь очень редкий, очень чистый, очень глубокий человек...»¹⁰

А разговор о читательской «физиологии» Коли Поболя завершу одной тонкой и точной догадкой Мамуки Цецхладзе: «Пишущим я его не помню, я знал читающего Колю, но читающего так, что не оставалось сомнений в том, что он и сам пишет, — спрашивал его не раз, но Коля каждый раз отмахивался. Оно и понятно — стихи, которые он читал, уже принадлежали ему самому, он их читал, как собственные, и переживал, как если бы был их автором»¹¹.

Иными словами, перефразируя Мандельштама: тем «скальдом», что складывает «чужие песни» и «как свои» их произносит, мог быть — и был! — не только поэт, но и читатель!¹²

Николай Поболь был ярчайшим носителем именно устной традиции, которая уже в моем поколении как массовое или типическое явление практически сошла на нет. Тем более не воспроизводится она и сейчас, когда не только эмпирико-фактографический компендиум весь перекочевал в интернет, но, кажется, и сама человеческая душевность и сердечность прописались где-то там же, в млечных и безличных блогговых облаках.

На нас — одновременно — надвигается не только глобальное потепление, но и глобальное замерзание — душ и бескорыстных человеческих отношений. Коля Поболь противостоял этой ледниковой эпохе уже одним фактом своего существования. Теплый, светлый и мирящий других человек — он был мостиком и лесенкой между людьми.

Свою натуральную жизненную философию (она же жизненная практика) он формулировал примерно так: «Жизнь прекрасна — так порадуемся ей!». У него был редчайший дар извлекать корни радости и красоты бытия из самых невероятных ситуаций. В сочетании с природным обаянием, громадными знаниями, жизненным опытом и живым юмором такое кредо делало Колю на редкость притягательным и желанным собеседником — и тем, кого называют: легкий человек.

Не удивительно, что судьба одарила его и «легкой рукой». Найти в фонде конвойных войск РГВА нужный тебе эшелон — ничуть не проще, чем иголку в стоге сена. А Коля нашел искомое — «мандельштамовский эшелон» 1938 года — и буквально со второй попытки!

¹⁰ *Собеседник на пиру*, 2013. С. 291—292.

¹¹ *Собеседник на пиру*, 2013. С. 290.

¹² *Собеседник на пиру*, 2013. С. 290.

В сущности, главное Колино призвание и амплуа — быть читателем, в особенности, читателем поэзии. Читал он жадно: внутри у него всегда была настроена система строгих эстетических и исторических критериев, позволявшая точно и тонко реагировать на прочитанное. Скрипичным ключом этой системы был для него Осип Мандельштам.

Коля стоял у истоков Мандельштамовского общества, был членом его Совета и неизменным участником почти всех проектов, всех заседаний и дискуссий о поэте, душой и инициатором всех пиров и посиделок в его честь. (В обществе, кстати, хранится собранная им специфическая коллекция — бутылки из-под напитков, упомянутых Осипом Эмильевичем в стихах и прозе.) Его участие гарантировало представленность и читательского взгляда на обсуждаемые проблемы.

Между прочим, свой вклад внес Коля и в комментирование Мандельштама. Так, в первом томе так называемого «черного Мандельштама» — двухтомника 1990 года, выпущенного издательством «Художественная литература», — в комментарии к строчке *«И целлулоид фильма воровской»* из стихотворения «Еще далеко мне до патриарха..» можно прочесть: *«целлулоидный рожок; с его помощью можно было звонить по телефону-автомату, не опуская 15-копеечную монету (сообщено Н.Л. Поболем)»*¹³.

Тут налицо типичный для Поболя прием пропуска исторической фактографии или через личный опыт, или через личное отношение к лицам и событиям, попадающим в поле зрения.

Но все, что им делалось применительно к Мандельштаму, — делалось *con amore*, то есть с любовью и по любви, — так и только так!

¹³ Мандельштам, 1990. Т. 1. С. 515. См. другой аналогичный комментарий в воспоминаниях С. Василенко: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 100—101.

«СЛОВО И КУЛЬТУРА»

Памяти Льва Шубина и Александра Морозова

К девятилетнему ходу этого издания я имел самое непосредственное касательство, будучи «автором и исполнителем» его главного замысла.

Сам замысел возник спонтанно и даже случайно — в коротком разговоре с Константином Симоновым. Кто-то из моих грузинских друзей пригласил в ЦДЛ на вечер грузинского искусства, в конце которого был показан замечательный документальный фильм «Пастухи Тушетии». Константин Михайлович или вел вечер, или просто выступал на нем.

Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Мандельштама, и после вечера я подошел к нему, представился и спросил, что он думает насчет дальнейшего (после «Библиотеки поэта») издания поэта, в частности его прозы. Он как-то обрадовался вопросу, справился о здоровье Надежды Яковлевны и дал свой телефон, попросив позвонить через несколько дней. За это время, как я потом понял, он прозондировал почву в «Советском писателе», благо его личный секретарь — Марк Яковлевич Келлерман — был юрисконсультом этого издательства.

Когда я ему позвонил, разговор был очень короток. Его суть: с изданием художественной прозы нужно повременить, а вот выпустить критическую прозу Мандельштама, наверное, можно и попробовать. *«Пишите заявку. Все остальное Вам подскажет Келлерман, вот его телефоны...»*. Так комнатка юрисконсульта на первом этаже особняка на улице Воровского стала стартовой площадкой для книги «Слово и культура». Симонов же, как я теперь понимаю, готовил почву и в издательстве¹, и в инстанции, которая

¹ Само обсуждение этого замысла стало возможным только благодаря темпераментному обращению К.М. Симонова в издательство «Советский писатель» (см. его письмо от 18 июня 1979 года директору издательства В.Н. Еременко в: *Симонов К. Собрание сочинений*. Т. 12. М., 1987. С. 552—554).

тогда реально все решала в вопросах книгоиздания, — в Отделе пропаганды ЦК².

Довольно быстро заявка, а вслед за ней и я перебрались на четвертый этаж — в редакцию критики и литературоведения, заведующей которой была Елена Николаевна Конюхова. Она же вверила книгу в руки одного из своих лучших редакторов — Льва Алексеевича Шубина, прекрасного специалиста по Платонову.

Не забыть той напряженно-радостной и деятельной атмосферы встреч с редактором книги и того необычайно трудного, на каждом шагу буксующего, но в итоге все же доведшего до конечной станции общения с коллегами-мандельштамовцами.

Больше всего разногласий было относительно состава и композиции книги. Тут образовался не один, как я надеялся, а сразу два фронта. С одной стороны — борьба с советским издательством, отстаивавшим свои охранительские представления (и тут Лев Шубин был моим безусловным союзником). Этот фронт был хотя и гнетущ, но как-то ожидаемо гнетущ. Редакция (и Конюхова, и сменившая ее Малхазова) делала почти все для того, чтобы книга продвигалась, но ни на какие «демарши» и «ва-банки», конечно же, готова не была.

Главная изжога шла от директора, Владимира Николаевича Еременко, и от рецензента (он же автор будущего предисловия к книге) — Марка Яковлевича Полякова, крупнейшего специалиста в области гадания на тему «нельзя или можно?».

И по сей день храню «выпавшую» из наборной рукописи страничку с синим номером: это ныне широко известный и густо цитируемый мандельштамовский ответ на анкету «Поэт о себе» газеты «Читатель и писатель». Внизу, неробким директорским карандашом, размашистым почерком — презанятный автограф: «*Что это нам предлагают?!*»

Воистину: главный редактор о себе!

Но порезвился тогда его карандашик изрядно. Рукопись на конечной стадии похудела листа на полтора-два, после чего — дабы выправить новый крен — я и сам сократил ее почти на столько же. Прав был Лев Алексеевич, говоривший, разливая чай у себя на кухне в Ясенево: мы сели играть в шахматы с чертом и мы, конечно, не выиграем, но и не играть — нельзя!

Компромиссы, на которые пришлось в итоге пойти (отсутствие ряда важнейших статей, вынужденно-постыдные купюры в двух или

² После того как проект был запущен, прямого общения с Симоновым было немного, но помню несколько довольно долгих разговоров не столько о проекте, сколько о самом Мандельштаме. Один — из больницы, совсем незадолго до смерти Константина Михайловича: в больничной тумбочке возле кровати лежал, по его словам, американский Мандельштам, и Симонов перечитывал и стихи, и прозу.

трех местах, неупоминание наших западных предшественников³), — отягощали и отягощают мою совесть.

Ведь я же мог — пускай и ценой невыхода книги! — не согласиться с мнением Еременки и прочих «товарищей» и забрать рукопись.

Где ты, граница допустимого конформизма?..

Это и было предметом дискуссий на «втором фронте». Если отвлечься от вопросов персональных и организационных, в поисках ответа на которые принимало участие еще несколько человек, то этот второй фронт держал один Саша Морозов. Искрящийся, как оголенный провод, он полагал, что если это «избранное» — то без таких-то и таких-то текстов оно совершенно непредставимо. И если издательство будет настаивать на «без них» — то лучше вообще ничего не издавать.

...Даже правое дело скривится
и в осадке останется ложь,
если ты не успеешь открыться
и избытка в душе не найдешь.

Так запомни пещеру-квартиру,
одиначества жуткий разбег.
Там живет и не балует с миром
предпоследний в миру человек.

Он тебя наставлял — ты не понял,
он оставил тебя — ты ослеп.

³ В ответ на справедливые упреки в том, что в «Слове и культуре» практически нет упоминаний зарубежных изданий и ссылок на них, опередивших нас по меньшей мере на 20 лет, я уже публично объяснялся и извинялся: «В общем виде все это более чем справедливо, и трусливо-затхлая общеиздательская атмосфера большей части 80-х годов (а книга шла до читателя девять лет!), возможно, и извиняет меня, но не снимает всей ответственности. Сегодня это смешно и нелепо, но тогда в издательских инстанциях сама мысль об упоминании зарубежного собрания казалась то ли глупостью, то ли кощунством, то ли провокацией. / Считаю своим долгом извиниться перед коллегами за вчерашнюю неловкость, но главное — поблагодарить за их труднейший и с достоинством выполненный труд, от чести совершить который наша страна в свое время так бездумно отказалась. Не секрет, что само существование важнейших произведений в зарубежных изданиях было как бы гарантом их гласной сохранности, а также мощным психологическим фактором, примирившим в конце концов и наших пастырей с нелегкой для них мыслью о необходимости — сначала — упоминать, а затем и издавать разных Ходасевичей и Гумилевых, а уж совсем потом — и признать, что до нас и за нас это делали другие (как сделали — это уже другой вопрос). Вот и получается, что «господа» Струве, Проффер, Мальмстад и другие внесли свой вклад в нашу перестройку» (см.: Нерлер П. Чужие? // ЛО. 1989. № 8. С. 84—85).

Ты, быть может, себя проворонил,
променял на изглоданный хлеб⁴.

Для Морозова «любить Мандельштама» означало не издавать его, для меня — издавать. Я прекрасно понимал мотивы морозовского радикализма. Но я не разделял их, и у меня была своя правота. Я считал, что компромисс тут и неизбежен, и возможен. И что чем ближе его линия пройдет к идеальному составу — тем лучше. И именно в этом приближении я и видел свою задачу.

Вот тогда-то меня и поддержали Аркадий Акимович Штейнберг, Эдуард Григорьевич Бабаев и Николай Поболь⁵. В своем дневнике, за 8 января 1980 года, я недавно прочел такую запись: «Сегодня ко мне заходил Поболь, и я спросил его об его отношении к политике издания О.М. (Поболь же — типичный читатель, адресат издания). Он сказал так: “Чем больше — тем лучше. А читатель разберется сам”. И он прав, по-моему».

Для меня тогда это был и новый ракурс (читатель как критерий!), и поистине колоссальная — экзистенциальная — помощь, оказавшаяся к тому же решающей!

К сожалению, Лев Алексеевич не дожил до выхода книги: книгу из его рук подхватила и выпустила в свет его вдова, Елена Шубина...

⁴ Из стихотворения «15 июня 1980 года», посвященного А. Морозову (*Нерлер П.* Ботанический сад. М., 1998. С. 84).

⁵ См. в выдержках из «Записных книжек» в Приложении.

ЧЕРНЫЙ ДВУХТОМНИК И СИНИЙ ЧЕТЫРЕХТОМНИК

*Памяти Сергея Аверинцева
и Андрея Михайлова
Татьяне Бедняковой, Александру Никитаеву
и Михаилу Яковенко*

В начале 1990-х годов стихи Осипа Мандельштама снялись с места и дружную стайкой перелетели из-под узнаваемых коленкорových корешков самиздата и украшенных знакомым профилем работы Зарецкого темно-серых обложек «американского» собрания под двухсотысячные книжные переплеты черного худлитовского двухтомника — первого издания, претендовавшего на неслыханное до этого сочетание полноты и научности¹.

«Сочинения Осипа Мандельштама в двух томах» вышли в 1990 году в издательстве «Художественная литература». Мне посчастливилось работать над этим двухтомником вместе с замечательными учеными и людьми — Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, автором вступительной статьи, Андреем Дмитриевичем Михайловым, подготовившим и откомментировавшим старофранцузские тексты, и Татьяной Николаевной Бедняковой, прекрасным издательским редактором и добрейшей душой. За все остальное отвечал я — инициатор, составитель и комментатор: и если бремя неточности или оплошности я еще мог себе позволить, то роскошь сетований на неподъемность задачи или ожидание дозревания всех условий, внешних и внутренних, до идеальных — не мог.

Несмотря на счастливую вожденность ситуации, я был застигнут ею врасплох. Все, чем я столь рьяно и *con amore* занимался предыдущие 15 лет, — архивные и библиотечные поиски, распросы

¹ В конце 1980-х они останавливались «по дороге» в многочисленных «Избранных» и «Сочинениях», выходивших тогда главным образом в столицах союзных республик (Таллин, Тбилиси, Ереван) и в отдаленной российской провинции (Мурманск, Магадан, Владивосток).

о Мандельштаме еще живых тогда свидетелей, хлопоты о публикациях мандельштамовских текстов, в том числе и такого крупного блока, как избранная критическая проза, первые собственные статьи, наконец! — были, конечно, хорошей школой, но еще далеко не свидетельствовали о зрелости.

Хлопоты как таковые, — эти «множества интегральных ходов», — это еще не эдиционные навыки. Десятилетняя битва над (точнее, под) сборником «Слово и культура» в «Советском писателе», отягощенная всеми издержками прожившегося времени и личными переживаниями и издержками, и блиц-подготовка томиков «Избранного» в таллинском «Ээсти раамат», тбилиском «Мерани» или «Московском рабочем» — это все, конечно, серьезный опыт, но критическое издание в «Худлите»?!. Да еще и без доступа к главному архивному своду?!²

Помню, как я убеждал и убедил редактора в нашем долге перед Мандельштамом — сохранить его неканонический синтаксис и такие явно дорогие ее сердцу лексические «привычки», как например, «чорт» через «о» или обусловленные ритмом фразы и весьма устойчивые «явления» вместо «явления» и т. п. Уже вдвоем мы убеждали — и убеждали — в этом же Татьяну Сидорову — худлитовского корректора, и душой, и телом преданного канону: в конце концов и она «уступила», но в душе не перестала осуждать нашего автора за его «ненормативную» лексику.

После оглушительного успеха черного худлитовского двухтомника Осипа Мандельштама, когда 200-тысячный тираж «ушел» за две недели, после помпезного (не без официозности — с открытием мемориальной доски под гимн СССР и с вечером в Колонном зале под казенным портретом-подмалевком, когда я, впервые оказавшись в президиуме, впервые же в нем и заснул) величания Мандельштама в дни его 100-летнего юбилея — идея мандельштамовского много-томника уже не казалась такой безумной.

Сама концепция Собрания сочинений Мандельштама — не традиционно жанрового, а хронологического, с разбивкой томов по десятилетиям, издание — родилась у пишущего эти строки. Некоторым образом она вытекала из всей деятельности, связанной с организацией Мандельштамовского общества (она пришлась все на тот же юбилей) и налаживания его будущей полнокровной проектной жизни.

Едва ли не первым таким проектом стал тоненький сборничек «Сохрани мою речь...» — прообраз ставшего сегодня традиционным и даже фирменным альманаха и старейшина всей издательской про-

² Не только архив в Принстоне, но и копия его версия, находившаяся в Москве, оказались мне, увы, тогда недоступными. Текстологической основой издания стали поэтому материалы из архивов И.М. Семенко и Э.Г. Бабаева.

граммы общества. Составителем той брошюры, вместе со мной, стал Саша Никитаев, заявивший о себе к этому времени как текстолог Хлебникова и футуристов, но неуклонно разворачивавшийся в сторону Осипа Эмильевича. Был он по первой профессии специалистом по химфизике, служил в профильном академическом институте и преподавал в знаменитом профильном вузе.

Тут он не стал исключением, ибо сложившаяся к этому моменту в стране «гвардия» серьезных текстологов Мандельштама состояла из... врача-хирурга, врача-психотерапевта, инженера-эколога и, если брать в расчет и меня, то еще и географа: химфизик сюда явно хорошо вписывался.

Филологическая среда просто не воспроизводила текстологов Мандельштама по понятной причине: решительное «отсутствие спроса». Были, разумеется, и профессиональные филологи, практиковавшие текстологию Мандельштама, — Харджиев, Семенко и Морозов, но их отношение к этой задаче определялось индивидуальными обстоятельствами, а не цеховыми регламентами. Первые двое к этому времени уже опубликовали свои версии, а третий — знаток из знатоков и максималист из максималистов — был со своей как бы запрограммирован на фатум непубликуемости по причине неполного соответствия этой вселенной, этого общества и этого конкретного издательства или коллеги выстрадавшим им за жизнь критериям идеального издания.

Итак, кое-что у нас уже было, а именно: желание издать мандельштамовское собрание, его нестандартная концепция и составительско-редакторский тандем (вскоре к нему присоединился и еще один участник, с весьма неожиданным амплуа: составитель иллюстративного ряда — Алексей Наумов).

Так что оставались пустяки: найти издательство, желающее и способное осуществить проект. И таковое вскоре нашлось, ибо и само задумывалось о проекте вроде нашего: называлось оно немного загадочно — не издательством даже, а АПС — «Агентством перспективного сотрудничества». Было оно плодом направленного на экономику креативного луча поэта Виктора Коркии, ассистировали ему при этом еще двое — поэт Владимир Друк и переводчик Владимир Казаровецкий.

Каким-то не слишком внятным для меня образом из-за или из-под «Агентства» выглядывала еще одна фирма — кооператив «Центурион» Тимура Умарова, с которой мы и заключали свои изначальные договоры. Но общались мы именно с этим «Агентством» и с перечисленную тройцей. Сидели они в пору нашего общения в каком-то аморфном помещении, снимаемом за символическую плату у театра-студии Марка Розовского на Никитской. На дворе стояло начало 1990-х, то есть шоковая терапия и ваучерная приватизация. Не одному только

Березовскому, а всем-всем-всем ужасно хотелось разбогатеть, причем и культура казалась тоже чем-то вроде природного ресурса, только с более быстрой отдачей вложений. Мандельштам в таком случае был одним из месторождений или, точнее, одной из скважин. Надо было, впрочем, поторапливаться, ибо цены скакали, как блохи, и, даже собрав деньги по подписке, можно было, если замешкаться, прогореть... Выход любой книги поэтому был всякий раз маленьким чудом, а вот продать ее было проще простого (сейчас все в точности до наоборот!).

...Договаривался я с Коркией, а дело-то имел, к сожалению, с Казаровецким. Его коммерческое кредо-фикс — вивисекция, вивисекция и еще раз вивисекция — было в равной степени беспроегрышным, как и безвыигрышным. На каждый из трех томов (а речь сначала не шла о письмах) он выделял по 10 печатных листов, и ни на ползнака больше. А если Осип Эмильевич в иные десятилетия позволял себе расписываться, как например, в 30-е годы (в рифму) или в 20-е годы (не в рифму), то сам же он и виноват.

Десятилетия культурного голодомора требовали от издателя чего угодно, но только не такой вот добровольной аскезы. Однако переубедить упряма не удавалось, а альтернативных издателей все еще не было, и наш первый — за 1900-е и 1910-е годы — томик вышел даже не комом, а каким-то цыплячим комочком, оставшись практически без перьев — комментариев! (Весь кошмар этого «дефекта» проявился только потом, когда выстроилась целая цепочка изданий, принудительно связанных друг с другом по принципу «матрешки»³.)

Первый том вышел в свет в январе 1993 года, но, правда, уже в другом издательстве: бабочка с грозным названием «Центурион», помахав крылами и исполнив свою миссию в круговороте жизни на Земле (получить и проесть кредит или два), благополучно испустила дух. Но добрая душа Витя Коркия все так же инстинктивно позаботился о том, чтобы наш замысел и почти готовый первенец-цыпленок не погибли.

Весь коллектив, пополнившийся редактором Эммой Сергеевой и художником Женей Михельсоном, плавно перешел под крыло «Арт-Бизнес-Центра» — нашей новой, как мы тогда говорили, «конторы». Она стала нашим вторым и на сей раз счастливым издательским домом. Контора обживала нежилой фонд в одном из сталинских домов

³ Комментарии четырехтомника, к сожалению, не были сплошными — в связи с имевшимися в случае первого тома ограничениями объема, и в большинстве случаев ограничены отсылкой к комментарию базового издания (Сочинения в двух томах / Сост. С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера. Подгот. текста и комментарии А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера. Вступит. статья С.С. Аверинцева. М.: Художественная литература, 1990; последнее, в свою очередь, имеет в качестве базового сборник «Слово и культура» (М.: Советский писатель, 1987)!

на Новослободской улице, в многочисленных переездах оттачивая свою структуру: переезд из подъезда в подъезд и из подвала в подвал был ее любимым развлечением.

Это была кампания с другой философией: несколько несвязанных направлений — посредническая торговля (например, холодильниками «Стинол»), туристическое бюро, издательский бизнес. Три владельца-директора отвечали каждый за свой участок, и наш — издательский — подлежал преимущественной юрисдикции Михаила Яковенко. В перманентной внутренней борьбе бизнесмена и интеллигента в его душе неизменно, хотя и без нокаутов, побеждал второй.

Было у него в жизни, кроме семьи, еще две сильных привязанности — Александр Дюма (с детства) и наш Осип Эмильевич (с юности). Дюма он поставил бы в Москве памятник, но памятником ему самому станет полное русскоязычное собрание сочинений автора «Трех мушкетеров» под его, Михаила Яковенко, редакцией и с его комментариями (Вот вам еще один литератор-«маргинал»: преподаватель МВТУ с 25-летним стажем! — и, по матери, потомственный редактор).

Сколько томов написал Дюма, я не знаю, но знаю, сколько уже выпустил Яковенко: более 80 (кстати, раскупался Дюма неплохо, особенно поначалу, так что издательский бизнес в «конторе» удерживался в берегах самокупаемости). Доход приносили школьные тетрадки и, возможно, фирменная газета для диабетиков. С благодарностью вспоминаю верстальщика Валеру Данича и редактора 4-го тома Оксану Листову, как вспоминаю и Сашу Кричевского, еще одного из содиректоров «Арт-Бизнес-Центра»: это он подобрал нас у Коркии и передал в заботливые руки Яковенко. На протяжении пяти лет — с 1993 и по 1997 гг. — четыре тома «синего» Мандельштама вышли, причем тиражом в 10 000 (тт. 1 и 2), 9600 (т. 3) и 5000 (т. 4) экз. Издательство распространяло существенную часть тиража по заранее проведенной подписке.

Кажется, и как коммерческое мероприятие Мандельштам «контору» не разорил. Во всяком случае новый издательский проект Мандельштамовского общества — итоговое шеститомное собрание сочинений Мандельштама — мы будем снова делать вместе.

В заключение хочу еще раз вернуться к личности Александра Никитаева — замечательного русского интеллигента из «технарей», храбро переступившего за грань благодарного, но пассивного читательства и вставшего на стезю активного соучастия — публикаторского и текстологического. И тут как нельзя более кстати пришлись те его качества, которые не преподаются и не прививаются в литинститутах: доскональность, тщательность, готовность тысячу раз все-все перепроверить и выправить.

Конечно, явные опечатки и ошибки обнаруживаются и после этого — и все то, что было потом откорректировано, учтено в электронной версии издания, которую готовил к «вывешиванию», как сейчас говорят, уже Владимир Литвинов⁴.

Ибо оно не памятник буре и натиску текстологии 1990-х годов, а часть упоительного занятия поиском, прочтением и осмыслением мандельштамовских текстов — часть чуда становления мандельштамовского корпуса, который и до сих пор еще не застыл, а все пребывает в движении, на ходу.

Каждый текстолог, словно дирижер, прочитывает «партитуру» по-своему, но сама текстология, замечу, от этого не перестает быть коллективной!..

⁴ См. на сайте общества: <http://www.rvb.ru/mandelstam/toc.htm>

МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ КОМИССИЯ И МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЕ ОБЩЕСТВО

*Дмитрию Баку
Памяти Роберта Рождественского,
Михаила Гаспарова и Марины Соколовой*

«Наподобие Bach-Gesellschaft...»¹

Любовь — не только иницилирующее начало жизни, но и организуемое. Выстроить жизнь *con amore* — и есть высшее счастье.

Не счастье ее разновидностей, но по мне любовь — никак не сонное обожание, не сюсюкающие причитания и не заламывание рук, а активное и целеустремленное действие.

Перечитывая не так давно свои старые дневниковые записи, я наткнулся на одну, датированную 1 июня 1980 года:

«...Вчера меня еще посетила мысль (точнее, дрёма) о Мандельштамовском обществе — Mandelstam-Gesellschaft — наподобие Bach-Gesellschaft, которое объединяло бы всех неформально заинтересованных людей, где бы можно было собираться и делиться находками, читать доклады, обсуждать их, спорить».

И я сразу же вспомнил «источник» этой не столько мысли, сколько мечты. У Альберта Швейцера, в его книге об Иоганне-Себастьяне Бахе, я наткнулся на страницы о Баховском обществе. Ведь даже у Баха был период невосребованности и полузабвения!

Энергией сплочения такого сообщества могла быть только любовь и только такая — деятельная и активная.

С тех пор, наверное, во мне поселилась идея объединения всех «тех-кому-это-дорого» в сообщество. Сам я готовил в то время книгу критической прозы Мандельштама «Слово и культура». Эта работа по-настоящему объединила вокруг себя несколько человек — но, увы, не всех, кого это напрямую касалось бы. И тогда я понял, что

¹ Из дневника автора. См. в наст. издании, с. 733.

Mandelstam-Gesellschaft — вовсе не нечто само собой разумеющееся, что это цивилизационная высота, за которую в нашем все еще почему-то несовершенном мире придется побороться!

Определенным шагом именно на этом пути стало воссоздание в начале 1980-х годов — после смерти Константина Симонова — Комиссии по литературному наследию О.Э. Мандельштама при Союзе писателей СССР. Ее председателем стал Роберт Рождественский, я — секретарем. Мы собирались несколько раз и в более в широком составе, но чаще — вдвоем с Робертом Ивановичем у него дома на улице Горького, писали письма в разные инстанции и довольно многого добились, надо сказать. Например: реабилитация Мандельштама по делу 1934 года, получение и передача в РГАЛИ в 1989 году лубянского автографа Мандельштама (стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» из следственного дела 1934 года), первый вечер Мандельштама в Большом зале ЦДЛ в 1987 году, Первые Мандельштамовские чтения в Москве в 1988 году и Вторые в Москве и Ленинграде в 1991 году, наконец, все юбилейные торжества в связи со столетием Осипа Эмильевича в 1991 году, увенчавшиеся, кроме Чтений, открытием трех мемориальных досок — в Москве, Ленинграде и Воронеже, двух юбилейных выставок — в Москве и Ленинграде, вечером памяти Мандельштама в Колонном зале, а также — основанием... Мандельштамовского общества!

Это произошло 18 января волеизъявлением около ста человек, собравшихся в актовом зале Дома Герцена (Литературный институт им. А.М. Горького). Учредители Общества — Русский советский ПЕН-центр и Московское общество «Мемориал». Учредительное собрание вел Евгений Сидоров, тогдашний ректор Литинститута и будущий министр культуры России.

Само учредительное собрание было довольно бурным. После того как пишущий эти строки как автор самой идеи рассказал о видении Общества и представил проект его устава, сделанный по образцу Пушкинского общества, в бой, едва дождавшись конца его слов, бросилась Виктория Швейцер, уверенно сообщившая собравшимся, что Мандельштам несомненно перевернулся бы в гробу, если бы узнал о творящемся здесь безобразии.

Вот ее речь, в записи сидевшего рядом с ней Кларенса Брауна. Мандельштамовское общество «...дурно задумано ab ovo². Оно более чем ненужно, это вульгарная ошибка, основанная на полном непонимании поэта, его произведений, его возможной аудитории, всего, чего мог бы хотеть он или Надежда Яковлевна, да и в целом — очень слабая мысль. Надо оставить эту мысль незамедлительно!»³

² «С самого начала» (лат.)

³ Браун, 2008. С. 759.

«Экстремизм, — среагировал тогда Браун, — *но это полезно. Дает возможность понять, чего другой не выносит*»⁴.

А вот последующие события в его же изложении: «Дискуссия, таким образом, оформилась. С одной стороны, предложено, что должно быть Мандельштамовское Общество, по размерам немного уступающее Министерству иностранных дел, а с другой стороны — что любое общество станет оскорблением памяти поэта. Лично я чувствую, что было бы славно, если было бы маленькое Мандельштамовское общество (и с круглой печатью)...

Вика, конечно, бросила спичку в заботливо разлитый авиационный керосин. Настоящий зубодробительный русский спор такого сорта стимулирует не хуже, чем хлестание березовыми ветками в парной бане и последующее катание по снегу. Александр Немировский, историк и литератор из Воронежа, обладающий зловещим сходством с Мандельштамом последних лет, встает, чтобы горячо ее поддержать.

Переводчик Владимир Микушевич, сидящий в президиуме, разъярен таким негативистским началом организационного собрания. Как осмеливаются эти люди говорить от имени поэта и его вдовы?

За несколько рядов передо мной поднимается большой человек с хромотой инвалида и голосом, способным обрушить стены, и говорит, что он — журналист. Тем не менее, он будет пользоваться в этом случае нецензурными словами. Он говорит, что Мандельштамовское общество, — может быть, и хорошая мысль, но только не в руках сукиных детей, которых все знают.

Все присутствующие стараются не глядеть на почетных гостей, сидящих с Павлом Марковичем в президиуме, среди которых, помимо Владимира Микушевича, и другие члены Союза писателей...

Притушив ораторские пламя высокооктановым бензином, нецензурный журналист садится под общие аплодисменты. То, что происходит дальше, можно назвать словесным эквивалентом уличных беспорядков. У меня мелькает мятежная мысль, что один экземпляр «Правил порядка Роберта»⁵, возможно, больше помог бы Советскому Союзу, чем любая иностранная помощь. Что мне действительно нравится в русских, это то, что, кажется, на самом деле никто понастоящему не разозлился. Позднее я видел, как Вика дружески разговаривала с Нерлером.

⁴ Там же.

⁵ «Robert's Rules of Order» — общепризнанный кодекс правил по проведению собраний и заседаний, впервые предложенный генералом Генри М. Робертом в 1915 г.

Поскольку с самого начала было очевидно, что просто комната с сотней безумных русских спорщиков не может перевесить восемь страничек глазной боли от Павла Марковича, Мандельштамовское общество, уже каким-то образом де-факто существующее, становится существующим де-юре после голосования, в котором участвовало, как мне показалось, двадцать рук»⁶.

Итак, были громкие голоса и против создания общества, и против громоздкости и излишней официальности его устава, и против тех или иных потенциальных организаций-попечителей. Выявились и разные взгляды на само общество и среди его сторонников: одни настаивали на его принципиальной элитарности, другие, напротив, были заинтересованы в массовой, популяризаторской деятельности. В конце концов сошлись на том, что и те, и другие в рамках общества могли бы мирно сосуществовать и осуществлять свои проекты и программы. Так оно потом и оказалось: в проект устава были внесены прозвучавшие уточнения, был избран Совет⁷, а на заседаниях зазвучали как доклады высочайшего научного уровня, так и бардовские песни.

После этого центр разного рода мандельштамовских инициатив решительно переместился из Мандельштамовской комиссии в Мандельштамовское общество. И это было здорово и важно — освободиться от пут писательского министерства, пусть уже и не слишком сковывающих, и тронуться в по-настоящему свободное плавание. Мы лишились административного ресурса и аппаратной поддержки, зато почувствовали ветер свободы и плечи десятков организаций и сотен наших членов.

Но самое трудное в свободном плавании — не рассориться друг с другом из-за ерунды.

В полной гармонии с мейнстримом эпохи около нас несколько раз вспыхивали скандалы и скандальчики. Чаще всего это были чьи-то банальные попытки инструментализации Мандельштамовского общества в видах хорошо самим пособачиться, но удерживать дистанцию от такого времяпрепровождения все же удавалось.

За все эти годы из Мандельштамовского общества демонстративно вышел только один человек: к сожалению, им был Омри Ронен, почему-то уверовавший в то, что сие общество есть судно, коим рулит серый контр-кардинал Леонид Кацис.

Однажды дошло до болезненного самоуправства — взлома нашего электронного адреса и рассылки от имени Мандельштамовского общества ложного информационного письма. Но в этой истории —

⁶ Браун, 2008. С. 759—760.

⁷ Около трети первоначального состава Совета МО, увы, уже нет в живых.

настоящей истории болезни — нет ни грана собственно мандельштамовского⁸.

А вот брызганья филологической слюной всегда было достаточно⁹. Что не мешало тем, кто ею брызгал, искренне возмущаться, если их вдруг куда-нибудь не позовут.

Без удовольствия вспоминаю и мастер-класс «профессионализма», который мне из симпатии преподнесла в 1981 году Эмма Григорьевна Герштейн. Наука ее сводилась к следующему: коллеги — это не коллеги, а конкуренты, желающие у тебя что-нибудь выманить и напечатать первыми, поэтому тот наилучший профессионал, кто делится с другими минимально, а выманивает у них максимально. Увы, публикаторский бум на стыке 1980-х и 1990-х гг. отчасти руководствовался именно этим кодексом.

И сегодня, в 2010-е годы, нет-нет да утыкаешься в застарелые советские «фишки»-замашки — намеренно приглушенные ссылки в изданиях (чтобы твой дорогой «коллега» не сразу добрался!) или толстовско-салтычихинские претензии иных архивистов на право первой ночи со «своими» документами. И когда же до них дойдет, что не читатели для архивистов, а архивисты для читателей и что автографы и черновики — все-таки не нефть и не газ?

Но нет ничего более противоположного идее Mandelstamm-Gesellschaft, чем такой «профессионализм» и такие «фишки»!

По счастью, чаще приходилось сталкиваться с противоположным. В ноябре 2008 года, вскоре после открытия памятника Мандельштаму в Москве, меня разыскал по телефону Вячеслав Сергеевич Каневский, владелец одной из московских типографий, и поблагодарил за памятник («*Не думал, что доживу, и вообще — хоть что-то в Москве лучше стало*»). Под конец спросил: не может ли он что-то сделать для нас? И я как-то мгновенно выпалил: а давайте сделаем календарики на следующий год!

С чего и началась наши традиционные, от типографии «Петровский парк», ежегодные «Мандельштамовские календары»!¹⁰

⁸ Вживе Мандельштам и сам обожал идти на принцип и на скандалы, но по возможности на литературные, без навязывания противной стороной человеческой низости.

⁹ По большей части преостроумные снобистские экзерсисы на тему сокращений от «Мандельштамовского общества»: «мандоб», «мандобщ» и т. п.

¹⁰ Впрочем, тогда же раздался и другой звонок — от одного девелопера, решившего, как вскоре выяснилось, что мы с Лужковым «вась-вась» и поможем ему заполнить от города жирный заказ.

ОТ ЗАМЫСЛА ДО «СПЛОШНЯКА»: НА ПУТИ К «МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Олегу Лекманову, Сергею Шиндину и Инне Ряховской

Идея создания «Мандельштамовской энциклопедии» (МЭ) родилась в середине 1990-х гг., и это нисколько не удивительно. За сорок лет, протекших с 1955 года, когда в Нью-Йорке, в издательстве им. Чехова увидело свет первое посмертное книжное издание поэта, мандельштамоведение в целом — и текстологи, и биографы, и литературоведы, — проделало столь впечатляющий путь, что назрела отчетливая потребность в систематизации, структуризации и осмыслении всего ими наработанного. Именно в этом и заключались исходная задача и содержательная предпосылка идеи МЭ — зафиксировать и осмыслить накопленное, нащупать его структуру, помочь исследователям, комментаторам, издателям и читателям сориентироваться в ставшем необозримо огромном материале. Возникновение же в юбилейном для Мандельштама 1991 году Мандельштамовского общества, объединившего пусть и не всех, но многих из тех, кто мог бы всерьез поучаствовать в этом начинании, стало второй важной предпосылкой всего проекта — организационной.

Помимо формирования концепции и потребовавшихся для этого внутренних дискуссий, у авторов проекта была не менее трудная внешняя задача — найти организационные пути его реализации, в частности, отыскать адекватного спонсора и издателя. Начиная с 1996—1997 гг. велись переговоры с издательством «Большая ?Российская энциклопедия». Усилиями директора издательства Александра Горкина и главного редактора Александра Прохорова проект был включен в редакционно-издательский план, был даже выделен издательский редактор — Галина Якушева, с чьей помощью и началась работа над методическими материалами и совершенствование словника энциклопедии.

Однако со временем новое руководство старейшего энциклопедического издательства России потеряло интерес к этому проекту. Свое пристанище «Мандельштамовская энциклопедия» обрела в стенах издательства «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Идея и концепция проекта была поддержана директором издательства Андреем Сорокиным и исполняющей обязанности главного редактора Аллой Морозовой.

Организационно энциклопедия готовится в МО и Кабинете мандельштамоведения Научной библиотеки Российского государственного гуманитарного университета, в обеспечении и подборе иллюстративного материала решающая роль отводится Государственному литературному музею с его богатейшими рукописными, книжными и графическими фондами. Информационно-библиографическую поддержку оказывает и Государственная публичная историческая библиотека.

Первые разговоры и первые наброски словника, — как, впрочем, и первые ухмылки и сомнения скептиков, — все это создавало и создало ту среду, в которой вызревали творческая и практическая стороны реализации идеи этой энциклопедии. Неизменным участником дискуссий по поводу энциклопедии и одним из главных организаторов проекта была Марина Соколова, секретарь МО и первый ученый секретарь редколлегии МЭ — один из моторов проекта, горячо болевшая за его будущность и состоятельность: именно она составила первый вариант словника и внесла решающий вклад в формирование авторского коллектива.

Не оценить и той поддержки, которую оказывали начинанию ныне покойные академики Сергей Аверинцев и Михаил Гаспаров — первые председатели Мандельштамовского общества и члены главной редакции МЭ. В планы Аверинцева входило написание вступительной статьи и десятка других ключевых текстов, а в планы Гаспарова — написание даже не десятков, а сотен статей — о каждом в отдельности стихотворении Мандельштама. Но, увы, этим планам не суждено было осуществиться — Соколова умерла в 2002, Аверинцев — в 2004, а Гаспаров — в 2005 г.

Предполагалось, что Аверинцев, помимо нескольких словарных статей, напишет для МЭ вводную статью «Осип Мандельштам и мировая культура», однако он даже не приступил к этой работе. Соответствующую статью в 2004—2005 году написал Владимир Микушевич.

При обсуждении плана МЭ Гаспаров взял на себя едва ли не самое сложное во всем проекте — написание статей, посвященных разбору каждого из стихотворений Мандельштама — буквально каждого (за исключением лишь шуточных и детских)! Его статьи охватывали такие

аспекты анализа стихотворения, как семантика, строфика, композиция, метрика, фоника и подтексты. В зависимости от сложности и интересности описываемого стихотворения, их размеры варьировали от десятка строчек до нескольких страниц.

Планировались и краткие вводные тексты к статьям Гаспарова — преамбулы, охватывающие биографические аспекты стихотворений, вопросы их источниковой базы, историю их создания и издания и, в гораздо меньшей степени, вопросы текстологии (поскольку издание текстов не входит в задачу энциклопедии). За написание и редактирование таких преамбул брались С. Василенко и П. Нерлер.

Работая над статьями для энциклопедии, Гаспаров опирался на единственный в своем роде собственный опыт сверхсжатого комментирования стихотворений Мандельштама, полученный им при единоличной подготовке «харьковского» издания «Библиотеки поэта». Здесь, как правило, он анализировал не каждое произведение по отдельности, а сразу несколько одновременно, причем комментариев почти всякий раз — на грани афоризма! Можно было бы ожидать, что такого рода наработки будут полностью использованы в энциклопедических статьях, но этого не произошло: сделать это не позволили Михаилу Леонвичу объективное расхождение задач и результатов энциклопедии и научного издания текстов.

Всего он успел подготовить около 130 статей, охватывающих многие дореволюционные стихотворения, кроме написанных в 1906—1907 гг., а также отдельные произведения из стихов 1921—1925 гг. и из «Новых стихов» (1930-е гг.).

Кураторские функции, поиск авторов и прочая оперативная деятельность в проекте поделены, в основном, между Павлом Нерлером и Олегом Лекмановым: последний, благодаря своим преподавательским контактам и контактам в блогосфере, привел в МЭ, наверное, десятки молодых авторов, большинство из которых прекрасно проявило себя в амплуа «энциклопедистов». Немало отличных авторов привели и другие члены редколлегии — Роман Тименчик, Иоанна Делекторская, Юрий Фрейдин и Сергей Шиндин.

В итоге авторский коллектив как таковой составили около 140 человек, в основном филологи — от признанных мэтров и до талантливых аспирантской и даже студенческой молодежи.

«Мандельштамовская энциклопедия» задумана как компендиум сведений об Осипе Мандельштаме, о его жизни и творчестве. Она призвана подытожить полувековые усилия близких и друзей поэта, архивистов и текстологов, комментаторов и литературоведов, хранителей и мемуаристов по собиранию, изданию и изучению материалов о нем.

Материал энциклопедии распределен между двумя томами. В первом сосредоточены вступительные материалы (вводная заметка

«От редколлегии», вступительная статья В.Б. Микушевича «Осип Манделъштам и мировая культура»), а также основной корпус словарных статей, данных в алфавитном порядке вместе с сопутствующими пристатейными иллюстрациями. Корпус словарных статей Манделъштамовской энциклопедии состоит из следующих тематических блоков: 1) произведения О.Э. Манделъштама; 2) прижизненные издания и публикации; 3) биография О.Э. Манделъштама; 4) окружение поэта; 5) географические названия; 6) поэтика; 7) общие воззрения О.Э. Манделъштама; 8) Манделъштам и мировая культура; 9) изучение творчества и биографии О.Э. Манделъштама.

Каждому разделу придается, по согласованию, группа редакторов и рецензентов. В задачу редактора входит создание методических материалов (памятки) для авторов раздела, распределение статей между авторами и последующая работа с подготовленными текстами. В задачу рецензента — критическое рассмотрение представленных авторами и отредактированных редактором статей.

Во второй том войдут разнообразные приложения, в частности, сводная иконография поэта, летопись его жизни и творчества, сводная библиография публикаций О.Э. Манделъштама на русском языке, библиография переводов и исследований его творчества на иностранных языках, манделъштамовские инскрипты, сводный перечень архивов и собраний, содержащих материалы о Манделъштаме, ритмический репертуар и частотный словарь поэзии и прозы поэта, указатели: произведений, а также имен и географических названий.

Общее количество словарных статей в энциклопедии превосходит 1 500, а ее общий объем — 150 листов. Издание будет проиллюстрировано — репродукциями автографов, прижизненных публикаций и биографических документов, произведений живописи и графики, карт и планов городов — «манделъштамовских» Москвы, Петербурга и Воронежа.

Работа по созданию персональных энциклопедий, традиционно активизирует усилия научного сообщества, стимулирует новые исследования в избранном направлении. Многие статьи МЭ не имеют аналогов ни в одной из имеющихся энциклопедий, основываются на специальных разысканиях и поэтому поистине уникальны. Все статьи подчеркнутую манделъштамоцентричны: то или иное лицо, та или иная организация интересуют редколлегию не сами по себе, а постольку, поскольку их творчество или деятельность пересеклись с манделъштамовскими творчеством и судьбой.

Стоит, наверное, подчеркнуть, что, после «Лермонтовской энциклопедии», этот проект являлся первой в России попыткой создать полноформатную персональную энциклопедию, посвященную великому поэту. Именно в «Лермонтовской» энциклопедии инициаторы

и разработчики «Мандельштамовской» с самого начала видели свой вдохновляющий прообраз.

К сожалению, МЭ все еще не завершена. Сложность и масштабность самого проекта, некоторая эволюция его замысла и, соответственно, рост словника, смерть ключевых участников проекта задержали эту, и без того непростую, работу. Около двух десятков крупных статей, без которых МЭ непредставима, еще не написаны.

Не секрет, что многие — даже по ходу работы — не верили сначала в то, что МЭ как проект возможна, а потом в то, что она выйдет. Отсюда, отчасти, и тот энтузиазм, с которым шла работа над своеобразным препринтом МЭ — сборником ее избранных методических и словарных материалов — «О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии», выпущенным издательством РГГУ в 2007 году. В том же издательстве в 2008 года вышел и очередной, 4-й, выпуск традиционного мандельштамовского сборника «Сохрани мою речь...», большая часть материалов которого также подготовлена в рамках МЭ. Представительная подборка материалов была опубликована и в 2008 году в журнале «Вопросы литературы».

Пора и на финишную прямую!..

ГЛОБУС МАНДЕЛЬШТАМА: МАТЕРИАЛЫ О ПОЭТЕ В АРХИВАХ МИРА И ИХ ВСТРЕЧА В СЕТИ

*Дженнифер Бэйнс, Владимиру Литвинову
и Дону Скемеру*

Памяти Артема Козьмина

1

Судьба Осипа Мандельштама наложила свою властную печать и на судьбу его архива.

Начать с того, что поэт не собирал архив и не дорожил им. Если бы не практическая потребность издания или переиздания стихов, прозы и статей, он бы, возможно, и вовсе ничего не хранил: «*люди сохраняют*» — говорил он не без наивности. Впрочем, у себя хранить было негде: бездомность и безбытность были вечными спутниками Мандельштама. В своем первом и последнем собственном жилье — кооперативной «двушке» в Нащокинском — Мандельштам не прожил и года.

Тем не менее какие-то рукописи не выбрасывались, и архив образовывался сам собой, в частности, в Киеве в 1919 году, когда О.Э. Мандельштам познакомился со своей будущей женой, Надеждой Хазиной, у него была с собой небольшая корзинка с автографами и черновиками. И именно эти бумаги в том же году искурил в Крыму Александр Мандельштам — его любимый средний брат.

Это был первый «удар» по сохранности архива. Впрочем, первый ли? И уж точно далеко не последний и точно не самый опустошительный.

Значительная часть творческих и личных бумаг была конфискована чекистами при арестах Мандельштама в мае 1934 и в мае 1938 го-

дов. Незадолго до первого из арестов имела место «*карикатура на посмертную оценку*» — фантазмагорическая история и сюрреалистическая переписка с В.Д. Бонч-Бруевичем относительно приобретения мандельштамовского архива Государственным литературным музеем. Автор бессмертного опуса «Ленин на елке в Сокольниках» не только ни в грош (буквально!) не ценил архив и все наследие бывшего акмеиста, он считал себя еще обязанным объяснить фондообразователю свои мотивы и свои критерии¹. Чем привел его в бешенство и принудил к отказу от продажи.

Весьма существенная часть архива была отдана в Воронеже на хранение С.Б. Рудакову, но после его смерти на фронте не была возвращена его вдовой и при не вполне выясненных обстоятельствах канула в Лету. Среди этих утрат, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, — и большинство автографов ранних стихов. Наконец, в 1941 году, при приближении немцев к Калинин, где в то время жила Н.Я. Мандельштам, она спешно эвакуировалась и могла взять с собою только творческую часть архива; все биографические и деловые документы (договоры и т. п.) были оставлены в сундуке в Калинин и пропали. Утраты преследовали архив и в дальнейшем.

Вместе с тем у архива были и свои «добрые гении», не только хранившие и сохранившие бумаги поэта, но и беспрекословно вернувшие их его вдове при первой же встрече (как, например Л. Назаревская, Е.Я. Хазин или воронежские друзья Мандельштамов Н. Штемпель и М. Ярцева и др.). С учетом этих пополнений и сложилось в 1940—1950-е годы то собрание мандельштамовских документов, что в настоящее время находится в Принстоне.

Собственная жизнь Надежды Яковлевны, такая же безбытная и бездомная, как и прежде, — жизнь одинокой скитальицы (в годы войны и эвакуации — в Ташкенте, а затем — во многих провинциальных городах, где она, по несколько лет в каждом, работала в вузах²) — была по-прежнему малопригодной для хранения остатков архива. Поэтому он хранился сначала в Ташкенте, а потом в Москве у надежных друзей (Э.Г. Бабаева, А. Ивича и др.). И только после того, как Н.Я. Мандельштам разрешили прописаться в Москве, архив снова переехал к ней (и то не сразу)³.

С выходом в 1970 году на Западе первого тома ее «Воспоминаний», Н.Я. Мандельштам снова начала опасаться ареста и конфискации архива. Отсюда — ее решение переправить архив на Запад и оставить его там на временное хранение вплоть до либерализации советского

¹ Не настаивая Бонч-Бруевич на этом, был бы мандельштамовский фонд РГАЛИ неизмеримо богаче.

² См. в наст. издании, с. 532—534.

³ С 1955 по 1965 гг. архив находился у Н.И. Харджиева (см. об этом в наст. издании, с. 676—689).

режима. В 1973 году архив был успешно вывезен во Францию, где бережно хранился у Н.А. Струве. В июне 1976 года, по настоянию Н.Я. Мандельштам, архив был вывезен уже из Франции — в США. При посредничестве профессора Кларенса Брауна и его ученика Эллиота Моссмана (слависта и юриста одновременно), он был безвозмездно передан ею в Принстонский университет, причем не на временное хранение, а, согласно дарственной, в полную и безоговорочную собственность, включая и литературные права.

При том что принстонское собрание — бесспорно основная, семейная часть архива, оно все-таки не единственное. Большинство остальных материалов так или иначе осело в различных государственных советских архивах или же у частных лиц.

Самые значительные коллекции отложились в московских хранилищах — РГАЛИ, ИМЛИ и ГЛМ. В каждом из этих архивов мандельштамовские материалы в какой-то момент были сведены воедино и составили именные фонды О.Э. Мандельштама (фонд 1893 в РГАЛИ⁴, фонд 241 в ГЛМ и фонд 225 в ИМЛИ).

В других архивах именных фондов нет, но по крайней мере в трех количество документов таково, что мысленно такие фонды нетрудно себе представить: это рукописный отдел РГБ и два питерских архива — ИРЛИ и РНБ. В каждом из них имеется до десятка фондов, содержащих те или иные мандельштамовские материалы. Отдельного упоминания, пожалуй, заслуживает и СПбГАЛИ, с его подборкой внутренних рецензий О. Мандельштама для Ленгиза и др. материалами. Единичные документы, преимущественно биографического характера, выявлены в рукописном отделе Русского музея, в ГАРФ и в ряде ведомственных архивов — ФСБ, МВД, Прокуратуры РФ и даже в Архиве внешней политики МИД РФ. Из региональных архивов достойны упоминания Государственный архив Воронежской области и архив Магаданского управления МВД.

Из частных собраний прежде всего следует отметить коллекции, хранившиеся у вдов братьев поэта, как в Москве, так и в Ленинграде, а также у М.С. Лесмана, В.К. Лукницкой, Э.Г. Бабаева, Б.И. Маршака, И.В. Платоновой-Лозинской и др. Большая их часть постепенно попадала на государственное хранение, но некоторые попали в частные руки, причем куда как менее дружественные к судьбе архива или хотя бы к информации о нем.

На территории бывшего Советского Союза имеется и еще несколько хранилищ, содержащих единичные документы, связанные с Мандельштамом. Например, в ряде киевских, харьковских и крым-

⁴ Примечательно, что фонд О.Э. Мандельштама в РГАЛИ продолжает пополняться. Конфискованные у Ю.Л. Фрейдина материалы Н.Я. Мандельштам (см. в наст. издании, с. 555) были обработаны и включены в состав фонда 1893 в качестве описи 3.

ских архивов, в Музее изобразительного искусства Армении в Ереване, в Государственном литературном музее Грузии в Тбилиси. Весьма вероятно, что материалы о семье поэта еще могут быть выявлены в Прибалтике (в частности, в Риге, Вильнюсе или Шауляе).

К сожалению, в архивах Варшавы так и не удалось обнаружить документы о рождении поэта: совершенно очевидно, что они сгорели во время войны. Из зарубежных европейских архивов следует отметить прежде всего Национальный архив Франции и архив Гейдельбергского университета, содержащие имматрикуляционные документы Мандельштама, связанные с его обучением в университетах Парижа и Гейдельберга. Во Франции, в собрании покойного Е.Г. Эткинда, хранится и небольшая коллекция автографов ранних стихотворений Мандельштама. В свое время он подарил один из имевшихся в его распоряжении автографов профессору К. Брауну, в настоящее время проживающему в Сиэтле.

Именно благодаря ему, К. Брауну, архив О.Э. Мандельштама, начиная с 1976 года, находится в Отделении рукописей Отдела редких книг и специальных коллекций Файерстоунской библиотеки Принстонского университета. Являясь, по существу, домашним, или семейным, архивом Мандельштама, эта коллекция, несмотря на все утраты и превратности, — безусловно самое полное и представительное в мире собрание подлинных материалов, характеризующих жизнь и творчество поэта.

2

Итак, основная часть мировой мандельштамианы, начиная с 1976 года, хранится в США, главным образом в Принстоне. Но не менее половины архивного наследия О.Э. Мандельштама разбросано по всему свету. Соответствующие документы можно обнаружить в десятках государственных хранилищ и частных собраний как в России, так и за ее пределами, в частности, в Армении, Франции, Германии, Израиле, США и Канаде. Из этой второй половины подавляющее большинство архивов и собраний сосредоточено в России — прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Магадане и Воронеже.

Как бы то ни было, архивное наследие О.Э. Мандельштама феноменально распылено, весьма значительная — к тому же центральная — часть его «глобального» архива находится вне России и весьма мало доступна российским исследователям.

Поэтому я выдвинул принципиально новую идею воссоединения архива Осипа Мандельштама — проект дигитализации всего его архивного наследия, вне зависимости от физического местонахождения са-

мих документов, с последующей их экспозицией и унифицированным описанием в интернете. Проект этот нашел свое промежуточное воплощение в виде портала «Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама», вот его адрес в сети: www.mandelstam-world.org.

Суммарное количество страниц, подлежащих дигитализации, можно предварительно оценить в 10—12 тысяч (следует иметь в виду, что это скорее несколько завышенная, чем заниженная оценка, к тому же основанная на том, что выявлению и дигитализации подлежат и материалы Н.Я. Мандельштам).

Технология такого проекта достаточно сложна и дорогостояща. Имеется предварительное и принципиальное согласие Принстонского университета на безвозмездное предоставление своих материалов. Думается, что реализация задуманного будет возможна только в том случае, если такую же позицию займут и остальные архиводержатели.

Неотъемлемой частью этого проекта должны стать разработка унифицированной системы описания и навигации, а также, естественно, создание соответствующей страницы в интернете, предусматривающей не только экспозицию элементов воссоединенного архива, но и комментирующие связи (links), гипертекстовой поиск и др. В частности, каждый индивидуальный исследователь получит весьма широкие возможности не только для поиска, но и для реорганизации архивных материалов в соответствии с интересующими его критериями.

Само по себе помещение этой страницы в интернет явилось практическим и к тому же наиболее демократичным решением проблемы общедоступности архива для специалистов-текстологов и всех интересующихся. Кроме того, — и это весьма существенный момент, — это снизит спрос на оригинальные материалы и заметно повысит степень их физической сохранности.

3

Конечной целью интернет-проекта Оксфордского университета и Мандельштамовского общества «Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама» является выявление, описание и размещение в интернете всех или максимально большого числа сохранившихся творческих и биографических материалов Осипа Мандельштама где бы они ни находились физически. При этом в едином виртуальном пространстве объединяются как сами рукописи, так и метаданные, или, иными словами, транскрипты текстов, условно-канонические тексты и комментарии к ним.

Чем интересен случай именно архива Мандельштама?

Тут два аспекта, первый связан с возможностью (точнее, невозможностью) сопоставительного анализа рукописей: они рассеяны по многим архивохранилищам, и соответственно нельзя сравнить две рукописи, находящиеся в разных архивах.

Второй аспект связан непосредственно с «творческой лабораторией» Мандельштама, с его инструментарием. По свидетельству самого поэта, обычно процесс порождения текстов происходил не на бумаге — *«я один в России работаю с голоса»*. Тем не менее, наличие разных редакций и вариантов текста позволяет приблизиться к некоему «авантексту», предшествовавшему тексту записанному. В случае большого количества промежуточных редакций можно визуализировать некоторые стадии создания текста.

В силу этого мы можем примерно указать на целевую аудиторию проекта, которая состоит, во-первых, из текстологов, подготавливающих современные издания поэта, и, во-вторых, более широкого круга исследователей, заинтересованных в восприятии текста как совокупности вариантов и редакций и реконструкции авантекстов. Если первая часть аудитории ограничена, то размеры второй части трудноопределимы, но очевидно, что эти размеры не малы.

Такого рода глобальный проект — создание своеобразного виртуального «Глобуса» — применительно к поэту такого масштаба, как Мандельштам предпринимается впервые, но упоительная поэзия является порукою тому, что выбор героя оправдан, а замысел выполним.

СОЛНЕЧНАЯ ФУГА

СЛОВО И СУДЬБА ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Сергею Василенко

Губ шевелящихся отнять вы не могли...¹

А мог бы жизнь просвистать скворцом...²

И это будет вечно начинаться...³

1

У Осипа Эмильевича Мандельштама — еврея по происхождению и русского по поэтическому призванию — был еще один «пятый пункт»: назовем его «европейскостью» и обозначим тем самым осознанную причастность Мандельштама к широкой культурной традиции, к ощущению Европы — при всей ее мозаичности — как высокой и светлой духовной цельности.

Не переоценить тех месяцев, недель и дней, что юный поэт провел за границей. Они пришлись на непродолжительный период времени с осени 1907 по осень 1910 года (возможно, обусловленный сроком годности его российского заграничного паспорта). За это время «выездной» Мандельштам побывал самое меньшее в четырех европейских странах — Франции, Италии, Швейцарии и Германии.

Во Франции — между сентябрем 1907 и мартом 1908 года. Жизнь в Париже, в Латинском квартале, а возможно и поездки в Шартр, Реймс, Луэн и даже в Арль. Два неполных семестра в Сорбонне и в Коллеж де Франс, лекции Бергсона и Бедье, на всю жизнь сохранившаяся любовь к старофранцузской литературе, но в особенности —

¹ О. Мандельштам. «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (1935).

² О. Мандельштам. «Куда как страшно нам с тобой...» (1930).

³ О. Мандельштам. Диптих «Есть женщины, сырой земле родные...» (1937).

к Франсуа Вийону (которого он всю жизнь называл на старинный манер — Виллоном).

В Италии Мандельштам побывал дважды. В августе 1908 года — в Генуе, всего на несколько дней, если не часов, и тайком от матери. В начале марта 1910 года — сразу на несколько недель: Венеция, Флоренция, Сьена, Рим. А в 1932—1934 гг. — захлопнувшийся на все замки мир снова раскрылся для него на Италии: его любимые итальянцы — Дант, Ариост, Петрарка — завладели всем его существом.

В Швейцарии — в основном транзитом, но транзитом, как правило, неспешным: в Монтрё или в Беатенберге Мандельштам задерживался на недели. А вот через Берн, Лозанну или Женеву — наоборот, проехал почти молниеносно.

Два путешествия в Германию. Главное — с начала осени 1909 года по начало весны 1910 года: семестр с небольшим в Гейдельбергском университете, лекции Виндельбанда, Ласка, Фритца Ноймана, Тоде!.. А в июне 1910 года — Целендорф под Берлином, куда он сопровождал мать, приехавшую на воды лечиться. Кстати, возвращаясь в Россию в середине октября 1910 года, Мандельштам был задержан на границе с Восточной Пруссией из-за просроченного заграничного паспорта (после чего он еще и потерял билет, так что от Двинска он ехал и вовсе безбилетником в кондукторском купе).

Именно тогда, в годы европейских путешествий, закладывался **европеизм** Мандельштама — одно из определяющих качеств его личности, то чувство личной, органической и, если угодно, кровной причастности к общеевропейской культуре, внутреннее разнообразие которой никогда не было серьезной помехой чувству привязанности к общеевропейскому дому.

Но Россия была чем-то иным, и он знал, о чем ведет речь, когда в 1913 году, противопоставляя ее Европе, писал о Чаадаеве как о первом европейце или о цеховом социуме Средневековья как залоге свободного развития.

«Почувствуем ж серьезности и чести / На западе, у чуждого семейства!..» — восклицал он спустя много лет и клялся в верности не кому-нибудь, а языческому богу-Нахтигалю.

Только с таким, если угодно, европоцентрическим мироощущением и можно было мыслить и писать о России и самой Европе так геополитически широко и историософски глубоко, как это сделал Мандельштам в сентябре 1914 года, откликаясь на первые события начала Первой мировой войны.

ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк.

К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливы очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля —
Европа в рубище Священного союза —
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

2

В Петербурге, по возвращении из Европы, состоялся блистательный литературный дебют 19-летнего Мандельштама. В сентябрьской книжке «Аполлона» за 1910 год появились пять его стихотворений, в их числе и знаменитое «Silentium»:

Она еще не родилась,
Она и музыка, и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

...Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

В новом поэтическом голосе сразу же поразила чистота тембра и органическая неспособность к фальши. В плотном символистском контексте предвоенных лет, в атмосфере дружеских бесед и публичных диспутов со вчерашними учителями и завтрашними учениками, под сводами «Бродячей собаки» — этот фарфоровый голос понемногу креп и ощутимо мужал. Уже по тому, как он зазвенел и натянулся в ответ на сараевский выстрел, можно было догадаться и о незаурядном политическом темпераменте его обладателя.

И все же, когда вслед за подземным гулом истории гроыхнула «Октябрьская социалистическая», никто не ожидал увидеть в нем нового Андре Шенье. И тем не менее первые — еще в ноябре 17-го года! — обличительные ямбы сорвались именно с его уст:

...Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы...

История, казалось, развернулась перед поэтом своей правдивой — и потому своей ужасной — стороной. Новая власть еще не таилась и не лукавила, а говорила, что думала, и делала, что говорила, — сколь бы зловеще это ни звучало, как например, «расстрел заложников».

Первые послереволюционные годы — годы скитаний по российским и украинским столицам, по врангелевскому Крыму и меньшевистской Грузии — стали настоящей «сменой вех» в поэтическом развитии Мандельштама. Как же отличаются протяжные и взволнованные, словно морской солью пропитанные, стихи «Tristia» от сухих, сдержанных и безукоризненно отделанных стихотворений «Камня»!

3

«Камень» — вот книга, уже своим названием претендующая на то, чтобы быть акмеистическим манифестом. Мандельштам колебался и даже анонсировал в качестве титула своей первой книги «Раковину», что невольно перекликалось с гумилевскими «Жемчугами».

И не так уж и важно, подсказал ли ему новое название Гумилев или он сам остановился на этом заголовке. Важно, что именно мандельштамовский «Камень», сорвавшись с заоблачных тютчевских высот, скатился в мистическую и безъязыкую символистскую долину и по праву лег в вещественное основание акмеизма. Преодолев «затверженность природы», камень, он же Логос, возжаждал бытия и, как бы расколдовавшись, заговорил. Языком же камня — членораздельным и высоким — оказались архитектура и урбанизм, городская жизнь.

Отсюда пафос зодчества и строительства, столь знаменательный для «готических» стихов периода «Камня». Отсюда же и мандельштамовское уважение к сальерианскому полюсу искусства — то есть к мастерству, к ремеслу, к прекрасной вещи и наконец к «физиологически-гениальному средневековью» — эпохе, когда все это было в особенной чести.

«Как он упал?..» — вопрошал Тютчев о камне в своем «Problème». И Мандельштаму явно по душе второй из предложенных вариантов

ответа — активный и деятельный: «...низвергнут мыслящей рукой!» В понимании Мандельштама, в основание своей поэтики акмеисты сознательно кладут Логос как осмысленное слово, чем и отличаются и от символистов с их сверхсмысленной музыкой, и от футуристов с их бессмысленной заумью. А раз так, то именно камень и есть то «слово», что просится «в «крестовый свод» — участвовать в радостном взаимодействии себе подобных», «бороться с пустотой», «гипнотизировать пространство»...

Синдики могли сколько угодно теоретизировать себе в «Аполлоне» и задвигать «Утро акмеизма», но вещным доказательством бытия акмеистической группы были не обнявшееся с «Ивой» «Чужое небо», а именно «Камень» Мандельштама!

Вот книга, выход которой оправдывал существование и даже название издательства «Акме» Михаила Лозинского, выпускавшее еще и акмеистический журнальчик-тетрадку «Гиперборей». «Камень» вышел в апреле 1913 года, весь его ничтожный тираж (всего 300 экземпляров!) был напечатан на средства автора, то бишь на деньги отца, и сдан на комиссию в книжный магазин М.В. Попова-Ясного на Невском проспекте.

В первый «Камень» вошло 23 стихотворения — хотя и датированных, но расположенных не в хронологической последовательности. Но, начиная со второго издания «Камня», хронология стала излюбленным принципом композиции поэтических книг Мандельштама. Это издание вышло в декабре 1915 года (на титульном листе указан 1916 год) тиражом 1000 экземпляров и включало уже 67 стихотворений, написанных в 1908—1915 годах. С.П. Каблуков, секретарь Религиозно-философского общества и близкий друг Мандельштама, его ментор, записал в своем дневнике от 30 декабря 1915 года: «...Книга пострадала и от цензуры: два стихотворения, “Заснула чернь” и “Императорский виссон”, не разрешены. Кроме того, собрание вышло не довольно полным, до 27 стихотворений отнюдь не плохих, а иногда и превосходных, не включены автором отчасти по мнительности, отчасти по капризу».

Третье издание «Камня» вышло уже после революции, в июле 1923 года, в госиздатовской серии «Библиотека современной русской литературы» (тираж вновь утроился — 3000 экземпляров). На этот раз стихотворения не датированы, а в композицию внесены небольшие изменения, слегка нарушающие хронологию. Из 75 включенных в книгу стихотворений 6 были написаны позднее 1916 года и, собственно говоря, к «Камню» как к периоду не относятся. Последним прижизненным изданием «Камня» стал соответствующий раздел в итоговой книге 1928 года «Стихотворения»: в него вошло уже 73 произведения.

Свою вторую книгу Мандельштам намеревался назвать «Новый камень»: такое название он проставил в договоре с издательством

«Petropolis», подписанном в ноябре 1920 года⁴. Однако, уехав в феврале следующего года из Петрограда почти на год (на Украину и в Закавказье), Мандельштам фактически устранился от ее подготовки. Книга вышла в начале 1922 года (на обложке значится 1921 год) в берлинском отделении издательства, и ее новое, отсылающее к Овидию, название — «Tristia» — было дано Михаилом Кузминым по одному из ее ключевых стихотворений. В книгу вошло 45 стихотворений 1916—1920 годов, расположенных в нестрогой хронологической последовательности. «Дорогому N.N. с просьбой помнить, что книга составлена против моей воли и без моего ведома», «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков»⁵ — ах, как славно Мандельштам ругался на издательский произвол, весело подписывая «Tristia»!

28 стихотворений из «Tristia» были включены Мандельштамом в состав его «Второй книги», вышедшей в московском кооперативном издательстве «Круг» в ноябре 1923 года (тиражом 3 000 экземпляров) и с посвящением «Н. Х.» — Надежде Хазиной, жене поэта. Сохранившиеся наборная рукопись, гранки и корректура этой книги свидетельствуют о том, что за ее прохождением Мандельштам следил уже сам и с должным вниманием. Во «Вторую книгу» вошли 43 стихотворения 1916—1922 годов. Но любопытно, что Мандельштам вновь колебался в выборе названия: до нас дошло еще два варианта — «Аониды» и «Слепая ласточка», оба восходящих к одному и тому же стиху.

Последней прижизненной поэтической книгой стали «Стихотворения», выпущенные Госиздатом в 1928 году тиражом 2 000 экземпляров. Это итог и ретроспектива целого двадцатилетия поэтической деятельности Мандельштама. Книга состояла из трех разделов: «Камень», «Tristia» и «1921—1925». Обратите внимание: название «Tristia», столь истово в сердцах обруганное, Мандельштам принял с той же «малиновой лаской», с какой любящий рембрандтовский старец принял своего блудного сына.

В том же 1928 году вышли еще две книги Мандельштама, и каждая в своем роде итоговая. Это сборник «Египетская марка», в который наряду с одноименной повестью вошла и автобиографическая проза «Шум времени» (ранее, в 1925 году, она выходила и отдельным изданием в издательстве «Время»), и сборник критических статей «О поэзии», вобравший в себя «ряд заметок, написанных в разное время в промежутки от 1910 до 1923 года и связанных общностью мысли» (вошедшая в сборник статья «О природе слова» выходила и отдельной брошюрой в 1922 году в Харькове).

⁴ РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 1. Д. 8.

⁵ См.: *Инскрипты и маргиналии Осипа Мандельштама...* С. 210.

4

Все эти книги вышли одна за другой в самый разгар... поэтического молчания Мандельштама! За пять с лишним лет между стихами к Ольге Ваксель весны 1925 года и «армянским» циклом осени 1930 года — ни одного нового стихотворения, не считая детских!

Что, старорежимный поэт-акмеист иссяк? Или кто-то перекрыл ему некий кран, пусть и не до самого конца?

Поэтический эфир улетучивался из воздуха эпохи, и поэт хорошо знал, что говорил, когда позднее восклицал в «Ламарке»:

...Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

В эти годы «молчал» не один Мандельштам. И Ахматова, и Пастернак, и Лившиц... У каждого, конечно, были на то свои внутренние причины и поводы, но было и нечто общее — прежде всего сгущающаяся атмосфера глухого недоброжелательства к писателям-попутчикам, позднее, в 1930-е годы, переродившаяся в полуохотничий азарт открытой травли. Печататься становилось все трудней, и казалось, что переводы — и есть та отдушина, где поэт сумеет отдышаться и сохранить себя. Использование классово чуждых «спецов» на этом важном участке культурного строительства не считалось зазорным и даже поощрялось.

Мандельштам перевел в эти годы десятки книг — преимущественно с французского, — но с каждым годом становилось все яснее, что отдушина эта удушлива и ядовита. Будучи для поэта не живой работой, а лишь имитацией творчества, перевод иссушал мозг и забирал подлинные творческие соки и силы. Более пяти лет молчания, почти шестьдесят месяцев иссушающей глухоты!..

Внешне же, напомним, все выглядело как нельзя лучше. В 1928 году, одна за другой, вышли сразу три книги — «Стихотворения» в мае, «О поэзии» в июне и «Египетская марка» в сентябре. И поэзия, и проза, и критика!..

5

А когда разгорелся скандал вокруг мандельштамовской переработки переводов «Тили Уленшпигеля» (по оплошности издательства преподнесенной как его личный перевод), оказалось, что «отдушина» эта для Мандельштама — еще и самая настоящая западня. Начатый в 1928 году «пострадавшим» переводчиком А.Г. Горнфельдом и вполне

исчерпанный в его газетной переписке с «плагиатором» Мандельштамом, скандал этот был вновь раздут в 1929 году Д.И. Заславским. Заполнив собой и часть 1930 года, он вскоре перерос в классическую советскую травлю поэта, за которой сценарно полагались сеансы истового самобичевания.

Этому скандалу, этой битве под Уленшипигелем Мандельштам, как ни странно, обязан своим вторым поэтическим рождением: грозная, набухшая грозовая туча, встретившись с бездонным космосом армянского неба, пролилась на истрескавшуюся и изнуренную зноем землю теплым и долгожданым дождем — «гармоническим проливнем слез».

Самобичевания не получилось, вернее, оно приняло довольно необычную форму:

«На таком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возытели намеренье совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин. <...>

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе — она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

Я несу моральную ответственность за то, что издательство ЗИФ не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Корякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, едва не задохнувшийся от литературной пушинины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажира — навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебряников и счета печатных листов».

Это — из «Четвертой прозы», произведения, «вдохновенного» разыгравшейся травлей и обозначившего недвусмысленный разрыв поэта как с «литературной общественностью», так и с «матушкой филологией», которая «была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-крвь, стала всестерпимость...».

Этот разрыв, оторвав Мандельштама от болотистой почвы так называемого «литературного процесса», что во все времена столь соблазнительно хлюпает под ногами, создал императив второго рождения: необходимо как бы заново родиться, взмахнуть напрасными,

но еще не отпавшими крылами и вновь научиться «летать» — «научиться» писать стихи.

Призванная этой фениксовой необходимостью, соткалась и возможность. И случилось невероятное, а именно: в октябре 1930 года, в Тифлисе, куда он только что приехал после живительного и «вожде-ленного» путешествия по Армении, Осип Эмильевич Мандельштам вдруг начал снова писать стихи!

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак.

Стихов было еще мало, но Егише Чаренц напророчил ему уже тогда, в Тифлисе: «Из вас лезет книга»⁶.

Стихи, что полезли, словно молочные зубы (атрибут новорожде-ния?), были совершенно иными, совершенно **новыми**. И именно так, «Новые стихи», Мандельштам потом ее и назвал — эту свою новую книгу⁷.

6

А со временем прояснилось, что именно тридцатые годы — время наибольшей активности Мандельштама-поэта. Период почти непрерывного горения, по своему накалу временами достигавшего чисто пушкинской — болдинской — яркости и насыщенности.

За неполные семь лет, с октября 1930 года по июль 1937, было написано свыше 200 стихотворений, то есть почти столько же, сколько за предыдущую четверть века. Это, конечно, сторона количественная, но без того, что теперь принято называть «поздним Мандельштамом», русская поэзия XX века — вся русская поэзия! — уже непредставима.

Но некоторые понимали это уже **тогда**: Ахматова, Пастернак, Шкловский...

⁶ См.: Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 222.

⁷ Другой всерьез обсуждавшийся вариант — «Новая книга»!

В Чердыни, а после нее в Воронеже Мандельштам оказался в ссылке — после своего ареста в мае 1934 года за стихи о Сталине и о раскулаченном Старом Крыме.

Что-то всегда толкало поэта на поступки, казавшиеся безрассудными или опасными современникам и кажущиеся чуть ли не героическими сегодня. Это и роковые стихи 33-го года, и вызывающие ответы на провокационные записки на вечерах тех лет: *«Я — современник Ахматовой!»*, *«Я не отказываюсь ни от живых, ни от мертвых!»*, *«Акмеизм — это была тоска по мировой культуре!»*

Вот она — верность поэзии, верность самому себе, вот оно — всеохватывающее чувство поэтической правоты, без которого не было, нет и не будет истинного поэта.

Вытравляя правду и искренность, эпоха не только лишала поэта необходимых ингредиентов его «воздуха». Она обжимала и мяла его «мыслящее тело», обволакивала фальшью и ложью его душу, пластырем залепляла *«человеческий жаркий искривленный рот»*. Отсюда — потрясающий образ заживо закопанного поэта:

Да, я лежу в земле, губами шевеля...

Заживо закопанного, похороненного, замолчанного — но не замолчавшего, не сдавшегося, не уступившего «эпохе» своей поэтической правоты. Нашей с вами сегодняшней правоты!

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

7

Задержимся еще немного в 1930-х годах. «Новые стихи», «Путешествие в Армению», «Разговор о Данте», несколько других вещей — все это было им тогда написано.

А что же напечатано?

Два с половиной десятка стихотворений в пяти скромных, но так всем запомнившихся подборках в «Литературной газете», «Звезде» и, главным образом, в «Новом мире» да еще «Путешествие в Армению» в майском номере «Звезды» за 1933 год — вот, собственно, и все. А ведь были задуманы и новые книги, на некоторые из них имелись договоры, даже шли выплаты гонорара, — например, за двухтомник в ГИХЛе, — а «Путешествие в Армению» в «Издательстве писателей

в Ленинграде» было доведено до третьей корректуры! Но ни эти издания, ни сборники «Избранное» и «Стихи» в Госиздате, ни «Разговор о Данте» так и не увидели света.

И хотя даже в Воронеже, находясь в ссылке, Мандельштам не оставлял попыток выйти на своего читателя (он посылал свои стихи в «Красную новь», «Звезду», «Знамя» и другие журналы), стена, возведенная между читателями и поэтом, оказалась непреодолимой. Когда же Мандельштама в мае 1938 года вторично арестовали, а в начале 1939 года пришло сообщение о его смерти 27 декабря в далеком пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком, то эта страшная, безмогильная смерть перечеркнула, казалось бы, не только ненаписанное, но и все неизданное.

Жизнь, однако, распорядилась иначе. Жена поэта Надежда Яковлевна Мандельштам, некоторые их испытанные друзья — как, например, Наташа Штемпель и другие — в своей памяти и в немногочисленных списках сберегли мандельштамовские стихи, пронеся их через многие и тяжкие испытания. В 1960-х годах, спустя четверть века после гибели автора, его стихи разошлись по стране и миру во множестве машинописных списков. К этим, благодарной памяти, спискам пусть и несовершенным текстологически (до текстологии ли тогда было?), восходит целый вал журнальных публикаций середины и второй половины 1960-х годов (стихи Мандельштама печатались в «Москве», «Подъеме», «Просторе», «Литературной Армении», «Литературной Грузии», «Дне поэзии», «Литературной России»).

В мае 1967 года в издательстве «Искусство» вышла и первая в нашей стране посмертная книга Мандельштама «Разговор о Данте», подготовленная А.А. Морозовым. Это издание — высокий образец беспримесной любви к поэту и его книге.

И лишь в конце 1973 года появился мандельштамовский том в Большой серии «Библиотеки поэта», работа над которым началась еще в 1956 году! Он был выпущен более чем скромным тиражом — 15 тысяч экземпляров, а с учетом всех допечаток — порядка 35—45 тысяч⁸.

Сборник критической прозы Мандельштама «Слово и культура» потребовал от подготовителей «всего» девяти лет и вышел в 1987 году двумя заводами общим тиражом в 65 000 экземпляров.

Рекордным по тиражам оказался 1990 год. Мандельштамовский «Камень», подготовленный А.Г. Мецем, Л.Я. Гинзбург, С.В. Василенко и Ю.Л. Фрейдиным и выпущенный ленинградским отделением издательства «Наука» в серии «Литературные памятники», задал планку

⁸ Сборник очень хорошо раскупался в магазинах «Березка» иностранцами, немедленно дарившими его своим советскими друзьям: и «дешево», и «сердито», и не надо рисковать на границе.

в 150 тысяч экземпляров. Высоту, которую легко взял так называемый «черный», или «худлитовский», двухтомник Мандельштама, над которым вместе со мной работали С.С. Аверинцев и А.Д. Михайлов: его 200 тысяч экземпляров разлетелись за две недели!

И даже первые образчики ставшего со временем устойчиво традиционным для мандельштамовского сообщества типа издания — своего рода мандельштамовского альманаха с публикациями, материалами к биографии, филологическими штудиями и т. д. — выходили совершенно эйфорическими для такого типа издания тиражами — в 50 тысяч экземпляров, как воронежский сборник «Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама» (1990), и даже в 100 тысяч, как первый выпуск «Сохрани мою речь...» (1991)!

Уже синий четырехтомник Мандельштамовского общества и издательства «Арт-Бизнес-Центр» сигнализировал о попятном движении. Если первые его три тома выходили в 1993—1994 гг. тиражом в 10 тысяч экземпляров или около того, то четвертый, изданный в 1997 году, вышел только 5-тысячным тиражом. Таким же тиражом вышел в 1995 году и «мецевский» том в «Новой библиотеке поэта»...

То же и с альманахами. Сборник «Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы» вышел в 1991 году тиражом в одну тысячу экземпляров, а тираж второго выпуска альманаха «Сохрани мою речь...» (1993) сдулся со ста до двух тысяч⁹.

8

За годы официального непризнания, категорического непечатанья и кажущегося забвения стихов Мандельштама сложился и окреп самый настоящий миф о Мандельштаме, вобравший в себя и его трагическую судьбу, и историческое время поэта, насыщенное собственным трагизмом и грозами. Это миф о противостоянии и, если угодно, о единборстве Поэта и Тирана, о физическом поражении — и о духовной победе Поэта, о неистребимости Поэзии.

Мандельштам рано научился говорить от своего имени, затем от имени многих, а потом и от имени всех¹⁰. И не случайно, что именно ему суждено было выразить двуединый характер эпохи, в которую он жил и погиб.

⁹ Чему тоже можно было бы позавидовать в 2000-е годы, когда тиражи опустились до 500 и даже 300 экземпляров!

¹⁰ Ср. в остродраматическом письме Н.Н. Пунина от 23 сентября 1929 г. к А.Е. Аренс-Пуниной, своей первой жене: «Думаю о своей судьбе, отнятой, как сказал Мандельштам обо всех нас...» (Пунин, 2000. С. 309).

И ее тезис — ее ужас и яд:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны...

И ее антитезис — противоядие и надежду:

Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Мы не можем не быть благодарны мифу о Мандельштаме, с годами обросшему вполне фольклорными деталями, такими, например, как рассказы о дивном поэте, читающем у костра уголовникам сонеты Петрарки, или сообщения о встречах с ним где-то на Колыме чуть ли не в 1950-х годах. Этот миф, бесспорно, еще более усиливал жизнестойкость мандельштамовской поэзии, но в чем-то и захлестнул ее, частично заслонив. Появились читатели, гораздо лучше знающие мемуары Надежды Яковлевны, чем стихи Осипа Эмильевича.

Наше поворотное время с его обнадеживающим стремлением к восстановлению исторической правды постепенно выстраивает и другие, помимо мифологических, ряды, выявляет недостающие звенья. Многочисленные публикации мандельштамовских стихов и прозы, а также воспоминаний о нем, неизбежно возвращают нас к Мандельштаму-поэту, к Мандельштаму-человеку.

Полнота изданности великого поэта на его родине — явственный показатель культурного здоровья общества. В поэме «По праву памяти» А. Твардовский выразил это со свойственной ему простотой:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...¹¹.

Опала на мандельштамовские стихи растянулась по меньшей мере на треть века, а на стихи Гумилева, Ходасевича, Георгия Иванова — чуть ли не на столетия. Это трагично и само по себе; ибо породило поколения читателей, лишенных целого пласта русской поэзии.

Это, наконец, чревато утратой того, что можно назвать чувством историко-литературного стыда. Ведь литературный процесс так или иначе все эти десятилетия не прекращался, журналы и книги — выходили, и тем, кого издавали, не было стыдно оттого, что их печатанье идет на фоне непечатанья Платонова, Булгакова, Мандельштама...

¹¹ Это было написано в 1969 году и, само оказавшись «ревниво упрятым прошлым», напечатано только в конце 1980-х гг.

Сегодняшнее их возвращение к читателю хотя бы частично и хотя бы с писателей-современников снимает этот груз, пусть даже и не всеми осознанный, но от этого не менее реальный.

9

Две революции, Февральская и Октябрьская, и две войны, Первая мировая и Гражданская, прямым очевидцем которых Мандельштам пришлось быть, самым решительным образом потрясли устои его мировосприятия.

И когда летом 1923 года 22-летний поэт Лев Горнунг принес Мандельштаму тетрадку своих стихов, он обращался уже не к акмеистическому мэтру, а к совсем другому поэту. А тот безо всякой рисовки ответил ему в приложенной к стихам записке: «...в них (стихах. — П. Н.) борется живая воля с грузом мертвых, якобы «акмеистических» слов. Вы любите пафос. Хотите ощутить время. Но ощущение времени меняется. Акмеизм двадцать третьего года — не тот, что в 1913 году.

Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь «совестью» поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия. Не презирайте современных поэтов.

На них благословение прошлого».

Это необычайно важное признание, своего рода акмеистический антиманифест.

От чего тут отрекается Мандельштам? От акмеистической статичности, от опасности омертвления слова, все еще полного собственным смыслом, но лишённого контакта со своим историческим временем, лишённого «живой воли».

Сам же термин «акмеизм» при этом сохраняется, но уже не в эстетическом, а в домашнем, семейном значении: как обозначение группы знавших себе цену поэтов, связанных личной дружбой и бывлой цеховой общностью. И недаром в 1933 году, на своем вечере в ленинградском Доме печати, на вопрос: «Что такое акмеизм?» — Мандельштам ответил: «Акмеизм — это **была** (выделено мной — П. Н.) *тоска по мировой культуре*».

Собственно, «отречение» от акмеизма состоялось еще раньше, может быть, сразу же после революции. «*Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики. <.. > Не требуйте от поэзии сугубой вечности, конкретности, материальности*», — пишет Мандельштам в статье «Слово и культура», напечатанной впервые в мае 1921 года в альманахе «Цеха поэтов» «Дракон».

Эта статья — попытка осмысления уже произошедших исторических сдвигов, попытка движения навстречу новому, но движения гордого и независимого. Поэту представлялось, что культуре в молодой советской республике суждено заменить церковь (различие между культурой и религией, а уж тем более между культурой и церковью тогда никому не нужно было разьяснять). Культура, собственно, и казалась ему тогда новой церковью, отделившейся от государства, после чего человечество строго разделилось на друзей и на врагов слова.

Свято уверовав во «внеположность государства по отношению к культурным ценностям» и, следовательно, в его «полную зависимость от культуры», поэт и не предполагал, как сложатся их отношения в действительности.

Но очень скоро, в статье «Гуманизм и современность» (1923), он пригляделся к будущей «социальной архитектуре» и задумался — миру «пирамиды», строящей *из* человека, он противопоставил «социальную готику», строящую *для* него: «Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон». Мандельштам уповал на то, что гуманистические ценности не исчезли, но всего лишь «спрятались, как золотая валюта, но как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы... И не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, как ходячая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок».

Что ж, он оказался сразу и плохим, и хорошим пророком. Думал ли он, наивный «друг слова», что придет час и ему на темя наденут фригийский колпак «врага народа»?

Умирая в советском лагере на краю земли (смерть настигла его 27 декабря 1938 года), он, конечно же, не узнал, что еще при его жизни в дорогом его сердцу Гейдельберге, как и в остальных немецких городах, разрушили и сожгли синагоги. Он, по словам Липкина, говорил: «Гитлер и Сталин — ученики Ленина»¹², — но он все же не представлял, как дружно и как слаженно нацистский Египет и советская Ассирия примутся за изничтожение гуманизма по обе стороны от линии Керзона и как преуспеют они в строительстве барачных, газовых печей и прочих пирамид из человечины по всей Европе.

Но еще в меньшей степени мог он себе представить то, что спустя четверть века его собственные, Осипа Мандельштама, стихи, сохраненные жизненным подвигом верной Надежды и помноженные на всеобщность его и их страшной судьбы, станут теми самыми «золо-

¹² Ср. близкое высказывание в письменной версии его воспоминаний: «Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими» (Липкин, 2008. С. 34).

тými флоринами гуманизма», о которых он пророчествовал. Что они буквально пойдут по рукам, — списками ли самиздата, пересъемками ли с тамиздата или, несколько позже, публикациями на родине, — и помогут уцелевшим людям вернуть себе человеческое достоинство, помогут впитать и унаследовать «золотой запас» культуры и человечности.

«Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются наверху», — писал он в том же «Слове и культуре». И, как оказалось, — писал о себе: спустя 55 лет после его смерти именно эти слова высекут на мемориальной доске, установленной в Гейдельберге, на доме, где он прожил свои, быть может, самые беспечные, самые свободные и счастливые студенческие дни.

10

Еще до революции и в годы Гражданской войны разные власти пробовали поэта Мандельштама «на зубок» — посылали запросы, арестовывали, выпускали, укоризненно качали головой.

Но только советская власть отнеслась к нему с подобающей серьезностью — не печатала, травила, засылала сексотов, арестовывала, ссылала, казнила и миловала, миловала и казнила.

Осип Эмильевич, с интуитивной тревогой приветствовавший обе революции — этот, как он выразился, «скрипящий поворот руля», в 20-е годы постоянно искал правильный формат личных отношений с этой чуждой ему властью, но дальше деловых контактов, скандалов и персональной пенсии за заслуги перед русской литературой дело никогда не заходило.

Если, уклоняясь от мифологем, можно и нужно говорить о конформизме Мандельштама, ни на миг не забывая тех конкретных исторических условий, в которых он находился, то тезис о его принадлежности к писательской «номенклатуре» — уже чистая напраслина¹³.

Как поэт Мандельштам на долгие годы замолчал, и только травля, только его «Уленшпигелиада», наложившись на путешествие в Армению, вернула ему поэтические правоту и голос. Голос оказался окрепшим и пророческим — поэт перешел на метрические волны и семантические ступки-циклы, и из раскрепощающего «армянского» цикла перебрался в «волчий» с его пафосом «гремучей доблести».

Когда же в тридцать третьем, увидав своими глазами голодомор, Мандельштам написал то, чего не написать не мог («Мы живем, под собою не чуя страны...»), и приготовился к смерти, Сталин в тридцать

¹³ Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932—1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // ВЛ. 2003. № 4. С. 250.

четвертом наградил его самым чудесным и щедрым образом — подарил жизнь.

Эта «Сталинская премия» была дарована ему первым лицом не из прихоти и не бескорыстно, — а чтобы прослыть чудотворцем и наметнуть «мастеру» о его скромном творческом должке, об элементарной благодарности.

Чтобы иметь потом возможность усмехнуться тараканьими глазами в тараканьи усы и лишний раз глумливо сказать: *«Наша сила в том, что мы и Мандельштама, как потом и Булгакова, заставили работать на нас»*¹⁴.

Мандельштам действительно написал в тридцать седьмом «Оду», длинную и двусмысленную. Павленко со Ставским она не понравилась, не понравилась бы она и адресату, если бы он ее прочел (с ним наверняка консультировались, но едва ли показывали стихи). Зато из ее строк соткалось целое направление современного мандельштамоведения, яростно исследующее вопросы «коллораборационализма» поэта: когда, на чем и насколько Мандельштам «сломался», к чему сводились его «стилистические» разногласия с эпохой.

Поэтому в тридцать восьмом чудо не повторилось. Полоса изгрызания с мастерами слова кончилась: ни в дочки-матери, ни даже в кошки-мышки играть было некогда и незачем. Да и не с кем: аудитория, на которую это могло бы произвести впечатление, изрядно уже поредела.

Тем не менее государство все еще по достоинству ценило индивидуальность и талант поэта Мандельштама, посему удостоило его не коллективного, в составе высосанного из пальца ленинградского заговора, а сугубо персонального «Дела», инициированного высшим писательским начальником и проэкспертированного чекистскою сволочью из своих.

2 мая 1938 года в мешерской Саматихе поэта арестовали, заведя на него сначала следственное, а потом и тюремно-лагерное дело. В тюрьме, в пересылке, в эшелоне и в лагере под Владивостоком его плоть мололи и перемальывали жернова НКВД. В пересыльно-перемольном лагере он и умер 27 декабря 1938 года, окончательно став искомой и надлежащей, в сущности, субстанцией — лагерной пылью.

И только стихи — армянские, московские, воронежские, савеловские — избежали такой же участи, они уцелели и прижились — с тем, чтобы со временем вернуться, обернувшись «виноградным мясом» творческой свободы гения и непередаваемым счастьем самовольного самиздатского чтения. Еще немного — и они проросли дивным лесом журнальных и книжных публикаций, пластинок

¹⁴ Парафраз более позднего высказывания Сталина о Булгакове, написавшем о нем пьесу (*Смеянский А. Уход* (Булгаков, Сталин, «Батум»). М., 1988. С. 45).

с голосом поэта, а с недавних пор еще и мемориальными досками и памятниками.

11

У Мандельштама, по выражению А.А. Морозова, была гениальная «поэтическая физиология». Она сошлась в нем с исключительным историческим чутьем, с обостренным слухом на «шум времени». Вытекающая отсюда гражданственность, мужественность его поэзии — определяющая ее черта — не выражалась при этом поверхностно, внешне-событийно, а являлась самым нервом поэтического переживания, самой тканью стиха. В нем непрестанно «росли и переливались волны внутренней правоты» поэзии, полногласно звучала «присяга чудная четвертому сословью».

Ни на миг не оставляли поэта столь характеризующие его, по выражению Арсения Тарковского, «*нищее величие и задерганная честь*», — но именно честь, исполненное социального и исторического достоинства самосознание поэта, — и без этого нет Мандельштама, как не было без этого и Пушкина. Бесчестно не написалось бы ни про «гремящую доблесть грядущих веков», ни про собственный «век-волкодав», ни про «миллионы убитых задешево» и охваченные огнем столетия в исторических «Стихах о неизвестном солдате».

В.Б. Шкловский однажды так сказал о Мандельштаме, придыхая и затажно улыбаясь на каждом найденном слове: «*Это был человек... странный... трудный... трогательный... и гениальный!*»

Пятьдесят с лишним лет тому назад этот странный, трудный, трогательный и гениальный человек писал из Воронежа Юрию Тынянову: «*...Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменит в ее строении и составе*».

Что ж, сбывается пророчество Мандельштама:

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом...

— и кажется, что само время приближает и проясняет его удивительные стихи.

12

Одна из центральных фигур в русской поэзии XX века, Мандельштам прежде всего поэт.

Поэт необычайно светлого дара — как Пушкин. Поэт исключительного историософского мироощущения — как Тютчев. И — как Некрасов — поэт редкостного политического темперамента, что особенно поразительно для столь хрупкого, столь ранимого и столь переполненного всевозможными страхами и опасениями человека. Ну, а если непредвзято задуматься — то какой там фарфор, какой хрусталь, какая там чистая лирика, какое эстетство или декадентство, в чем его так любили уличать и при жизни, и после смерти?..

Предначертанная ему высокая судьба — горькая, страшная судьба русского поэта в самые что ни на есть окаянные дни.

Его поэтическая доминанта не ослабевала, а подчас даже усиливалась... в его прозе, поражавшей прежде всего яркостью красок, щедростью метафор, чистотой и сочностью языка. Это то, что мы теперь почти официально называем прозой поэта, то, что приобрело статус отдельного жанра.

Мотивы и темы ранних статей, а также написанных в начале тридцатых годов «Четвертой прозы» и «Путешествия в Армению» по-своему подхвачены и переформулированы в удивительном эссе «Разговор о Данте» — своего рода *ars poetica* Мандельштама. Предпринятый им разговор — это «Разговор о Мандельштаме» в не меньшей степени, чем о Данте, но главное — это новый разговор о природе поэтического, о материи стиха: *«...там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала»*.

В «Разговоре о Данте» Мандельштам почти не пользуется понятием «слово»; на его месте здесь чаще встречаются такие понятия, как «поэзия» или «поэтическая речь». И это не единственная метаморфоза. При всем внутреннем единстве с книгой «О поэзии» «Разговор о Данте» являет собой прорыв в область, если можно так выразиться, динамической поэтики — от серии единичных наблюдений и осмысленных с их помощью приемов к постижению поэтического целого, еще не ставшего, не свершившегося, не остывшего, а на наших глазах становящегося.

Процесс, лавированье, колебанье, порыв — вот понятия, на которые в первую очередь он опирается. Поэтическая *«вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана. Ни на одну минуту она не остается похожа на себя самое...»*. Не формообразование, а порывообразование — вот

что призывает исследовать Мандельштам у Данта, точнее, «соподчиненность порыва и текста».

Не менее плодотворным окажется этот призыв и применительно к стихам самого Мандельштама. Читая их, откладывая, перечитывая, ощущаешь и самые тончайшие душевные дуновения, и самые грозные, самые неистовые исторические вихри.

13

Поэзия Мандельштама пересказу решительно не поддается, но так же сопротивляется пересказу и его судьба.

А ведь еще совсем молодой Мандельштам, взволнованный смертью Скрябина, отчетливо осознал и пророчески заметил в докладе 1915 года о Пушкине и Скрябине, что смерть художника есть его последний и, быть может, главнейший и высший его творческий акт:

«Я хочу говорить о смерти Скрябина как о высшем акте его творчества. Мне кажется, смерть художника не следует исключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено. С этой вполне христианской точки зрения смерть Скрябина удивительна. Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной. Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет».

Слова не только выразительные, но и крайне ответственные. Смерть как телеологический источник жизни, личная судьба — как генетический код, как своего рода слепок с творческой эволюции или ключ к ней? Выбирая и примеряя на себя тот или иной вид смерти, поэт выступает как бы орудием высшего промысла, предначертанного ему чуть ли не с пеленок.

Немедленно возник соблазн «опрокинуть» этот тезис на самого Мандельштама.

И в том, какую судьбу и какую смерть, с напророченными «гурьбой и гуртом», выбрал себе в ноябре 1933 года, написав роковые стихи о Сталине, 42-летний Мандельштам, этот хрупкий и отнюдь не героический от рождения человек, — сходились его поэтическое торжество, его гражданское величие и его человеческая трагедия.

Разве не об этом — поразительные пророчества «Стихов о неизвестном солдате» (март 1937 года)?

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
— Я рожден в девяносто втором... —
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

В то же время картинка, которая при этом всплывала, была очень простой и уже всем привычной: Поэт дерзновенно нахлестал своей эпиграммой Тирана по щекам — и теперь обречен испить цикуту из его рук: он не может не умереть у расстрельной стены или в ГУЛАГе!

Тем более, что так, в сущности, и произошло!

Бессмертие как бы отыскало Поэта, но взяло за себя хорошую цену — ничем не отвратимое самоубийство!..

14

Но задумаемся еще раз: действительно ли Мандельштам сознательно искал именно такую судьбу?

Вся мандельштамовская жизнь явила нам образцы потрясающего жизнелюбия, и добровольное заклятие — пусть и трижды значимое социально или исторически — плохо вписывается в его живой образ. Быть «к смерти готовым» и искать ее — не одно и то же.

Ни клятва верности четвертому сословию, ни осознание невозможности — для себя — *«жизнь просвистать скворцом»* и *«заесть ореховым пирогом»*, ни уж тем более чувство поэтической правоты никак не исключали того, что их носитель — жив и предполагает жить, без чего, согласитесь, слышать и писать стихи затруднительно. Его раздражают и внутренние противоречия — Мандельштам-миф, Мандельштам-поэт и Мандельштам-человек не всегда ладят друг с другом.

И все-таки не телеологический промысел убил поэта и не снятие с него чудотворной (из когтей чудовища!) защиты из Кремля, а истертые и окровавленные жернова российской государственной машины, всего лишь на время персонифицированные в усатом «кремлевском горце», но легко перевоплощающиеся в любую иную оболочку — с бордюром или лысиной, в бровастую или безликую.

Самоубийство на самом деле совершала и власть — не просто отвратительный и нерукопожатный брадобрей, а голодное государство-трупоед, не жалеющее ни холопов, ни поэтов. И усатый тиран ему явно был к лицу, точнее, он и был его лицом.

Иная мифологема вынесла Мандельштама и Сталина на самый гребень другого упрощения: Поэт и Тиран. Тиран-поэтомор, убивающий живое слово во плоти, и поэт-тираноборец, в конце концов якобы побеждающий его силой своей песни.

Но и это самообольщение. Потому что и тут победа не за Мандельштамом и не за Пушкиным. Вон какой памятник воздвигло ему, Сталину, независимое российское телевидение — ему, кремлевскому горцу, бронзовому (а если по-честному — то золотому) призеру номинации «Имя России».

15

Но Мандельштаму не до величаний: он по-прежнему держит свой фронт.

Ибо продолжается, не кончаясь, та битва, в которой музыка и стихи едва ли не единственное противоядие от бесчеловечности.

Вот почему поэзия, как он однажды выразился, это война!¹⁵

¹⁵ Буквально: «Владимиру Александровичу Луговскому — с воинским салютом, ибо поэзия — военное дело — О.Мандельштам. Москва 12 мая 1929» (надпись на «Стихотворениях» 1928 г.). См.: *Инскрипты и маргиналии О.Э. Мандельштама*, 2011. С. 216.

СКВОЗЬ ПТИЧИЙ ГЛАЗ (О ПРОЗЕ МАНДЕЛЬШТАМА)

Андрею Битову

Миф есть поэзия целого.

Он отвергает поэзию частных:

они ему нужны только как слуги целого¹.

1

Мандельштам обратился к прозе, видимо, тогда же, когда и к стихам. Его школьные сочинения — в частности, дошедшее до нас сочинение 1906 года «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”» — полностью подтверждает оценку тенишевского словесника, данную Мандельштаму двумя годами ранее: «Русский язык. За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении изложить результаты его на бумаге»².

А в конце апреля 1907 года Мандельштам писал автору этого отзыва, Владимиру Гиппиусу, из Парижа: «*Не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки. Кроме Верлена, я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне*». Еще более ранней, по-видимому, была статья Мандельштама о «Снегурочке», о которой узнаем из воспоминаний Константина Мочульского³. Ни один из этих текстов, впрочем, не найден и едва ли когда-либо будет разыскан.

Посему самой ранней из дошедших до нас прозаических вещей Мандельштама стала его статья «Франсуа Виллон», опубликованная в «Аполлоне»⁴. Она была написана в 1910 году, о чем мы узнаем из даты

¹ Липкин С. Угль, пылающий огнем... // ЛО. 1987. № 12. С. 98.

² Некогда — архив Е.Э. Мандельштама (ныне — в частных руках).

³ См.: Мочульский К. О.Э. Мандельштам // Даугава. Рига, 1988. № 2. С. 109—114.

⁴ Аполлон. 1913. № 4. С. 30—35. Отметим для порядка, что статья о Вийоне не была первой среди прозаических публикаций Мандельштама. Отсчет им нужно

под ее перепечаткой в сборнике 1928 года «О поэзии» (единственная, кстати, статья, не подвергшаяся авторской переработке).

Задумана она была, вероятней всего, в Париже, где весной и летом 1908 года Мандельштам посещал лекции Бергсона и Бедье в Сорбонне и Коллеж-де-Франс, а написана скорее всего в Гейдельберге, где Мандельштам отзанимался семестр в местном университете и, в частности, посещал семинар Фрица Ноймана по романо-германской литературе. Образ «бедного школяра» нашел в душе Мандельштама столь восхищенный отклик, что и в воронежском тридцать седьмом году именно Вийона вспоминал поэт в качестве противовеса «отборной собачине» «египетской» государственности.

...Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец...

...Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

...После революции, особенно в 1922—1923 годах, Мандельштам написал десятки статей, рецензий и очерков, главным образом для московских и петроградских журналов и газет⁵. Некоторые из них вошли в 1928 году в книгу «О поэзии» — первый и последний прижизненный сборник критической прозы.

вести с рецензии на парижский сборник Ильи Эренбурга «Одуванчики», опубликованная в декабре 1912 года (Гиперборей. 1912. № 3. С. 30).

⁵ Но не только. Статьи Мандельштама выходили также в Ростове, Одессе, Харькове, Киеве, Берлине, Батуме и Свердловске.

Первую попытку собрать книгу статей Мандельштам предпринял, собственно, еще в 1918 году, о чем свидетельствует план ближайших изданий петербургского издательства «Арзамас»⁶. В апреле 1923 года журнал «Россия» сообщил о подготовке в Госиздате мандельштамовской «книги статей литературного и культурно-исторического характера»⁷. Однако поиски этой книги ни к чему не привели. Значился Мандельштам и в списке авторов «Критической библиотеки», замышлявшейся в 1923—1924 годах харьковским кооперативным издательством «Пролетарий»⁸. Статьи, как, впрочем, и «большая» проза, предполагались и в неосуществленном гихловском⁹ двухтомнике в 1932—1933 годов.

Что же до книги «О поэзии», то она вышла в свет в издательстве «Academia» в конце июня 1928 года тиражом 2 100 экз.

Ее открывало недвусмысленное авторское предуведомление:

«В настоящий сборник вошел ряд заметок, написанных в разное время в промежуток от 1910 до 1923 года и связанных общностью мысли. Ни один из отрывков не ставит себе целью литературной характеристики; литературные темы и образцы служат здесь лишь наглядными примерами. Случайные статьи, выпадающие из основной связи, в этот сборник не включены. 1928. О.М.»

Тем не менее известно, что, собирая «О поэзии», Мандельштам специально разыскивал некоторые из своих ранних статей (в частности, «Утро акмеизма» и «Скрябин и христианство»). За исключением «Заметок о Шенье», для всех вошедших в нее текстов известны ранние публикации, однако при подготовке книги практически все они (за исключением «Франсуа Виллона») были заново отредактированы. Полностью или частично сохранились черновики только нескольких статей («Конец романа», «О собеседнике», «Петр Чаадаев», «Заметки о Шенье»). В архиве Ленинградского государственного института истории искусств, в формальном подчинении которому находилось издательство «Academia», исследователей дождался наборный экземпляр «О поэзии», подписанный к печати 27 апреля 1927 года¹⁰, отличающийся от книги не только текстуальными разночтениями, но отчасти и составом. Так, в нем еще оставалась статья «Буря и натиск» (правда, уже перечеркнутая в оглавлении), а к статье «Заметки

⁶ РГАЛИ. Ф. 893. Оп. 1. Д. 190.

⁷ Россия. 1923. № 6. С. 32. Эту новость повторили «Литературный еженедельник» (1923. № 26. 30 июня. С. 16) и берлинская газета «Накануне» («Литературные приложения» №№ 62 и 63 за 22 июля 1923 г.).

⁸ ЦГА высших органов власти и управления Украины. Ф. 168. Оп. 1. Д. 90а. Л. 40.

⁹ От ГИХЛ (см.: РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 11. Л. 23; Ф. 611. Оп. 2. Д. 243. Л. 121—122).

¹⁰ ИРЛИ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 636.

о поэзии» еще не присоединен текст статьи «Борис Пастернак» (что позволяет предполагать наличие еще одной — окончательной — редакции рукописи книги, возникшей, возможно, на стадии сверки). Из дневника А.А. Кроленко, в 1921—1929 годах возглавлявшего издательство «Academia», известно, что издание книги горячо поддерживал Ю.Н. Тынянов и что авторский договор был заключен в феврале 1927 года¹¹.

Сохранилось несколько откликов современников на выход «О поэзии». Так, Эмма Герштейн вспоминала: *«Впечатление от чтения потрясающее. Обход девятнадцатого века — или назад в стройный рассудочный восемнадцатый или вперед в неизвестное иррациональное будущее — наполняли меня апокалипсическим ужасом. Остальные статьи... были близки моему восприятию жизни всем строем мысли и художественным стилем философской прозы Мандельштама»*¹².

Иной была тональность официальных рецензентов. Так, О. Бескин, назвав Мандельштама «последним из могижан “акмеизма”», уже в самом начале «О поэзии» усматривает «*лирически оформленную ненависть к технической культуре*»: «Город — экстракт современности ему ненавистен. В срочном порядке он зовет назад... Мандельштама приводят в бешенство материалистические основы XIX века... Нельзя отказать ему в смелости. На рубеже 1929 года, на двенадцатом году Октябрьской революции выступить со стопроцентно-идеалистической концепцией мировосприятия — зрелище поучительное и, я бы сказал, даже назидательное... Всю нечисть современной марксистской теории и практики сметает Мандельштам на своем пути маленькой книжкой “О поэзии” <...> Акмеист Мандельштам отказывается ревизовать свои старые позиции. Он предлагает по ним равняться. Но неизменные “акмеистические” теории в 1928/29 г. — мракобесие и реакционность. Поправка на “честность с собой” не спасает положения»¹³.

Спустя пять лет, в 1933 году, на «О поэзии» отозвался литературовед Н.Н. Коварский. Высказанные в книге мысли, по его мнению, «...не попутны ни современной литературе, ни современной лирике. <...> Для меня (и, надо полагать, для любого писателя, критика, поэта нашей страны) неприемлемо то высокомерие, с которым относится Мандельштам к “спекулятивному мышлению”, к той борьбе мысли и языка, из которой победителем неизменно выходит мысль. <...> Подлинно, для Мандельштама слово — как монета для нумизмата»¹⁴.

Но апофеозом такого рода разборов стал внутренний отзыв В. Гоффеншефера на соответствующий раздел двухтомного собрания

¹¹ РНБ. Ф. 1120. Д. 223.

¹² Герштейн, 1998. С. 13—14.

¹³ Печать и революция. 1929. Кн. 6. С. 105—108.

¹⁴ Литературный современник, 1933. № 1. С. 148—150.

сочинений О. Мандельштама, конечно же, так и не увидевшего свет. Надеюсь, что, учтя специфику и уникальность документа, читатель извинит столь пространную цитату:

«...В своей философской концепции Мандельштам соединил “французское с нижегородским” (выражаясь его терминами — “домашность” и Европу), а именно мистический российский эллинизм, столь отличавший его от остальных представителей акмеистической школы, с интуитивизмом Анри Бергсона. Философия последнего является для Мандельштама последним и высшим научным методом. Он всячески восхваляет и историческую концепцию Бергсона, который вместо причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени <...>, выдвигает проблему связи, более плодотворную “для научных открытий и гипотез”. Отсюда и отрицание “дурной бесконечности эволюционной теории” и, логически рассуждая, — марксизма, который, как-никак придает “дурному” принципу причинности большие значения.

В связи с этим Мандельштам и подходит “научно” к литературным явлениям. Так как бергсоновская теория связи требует наличия стержня, объединяющего явления, Мандельштам, рассуждая о единстве русской поэзии на протяжении всей ее истории (сама по себе суебо идеалистическая постановка вопроса), находит этот стержень в русском языке, и не просто в русском языке, а в лучших “эллинистических” элементах русской речи.

...Проблема слова и культуры в мистическом понимании служит для Мандельштама поводом для внеисторических, надсоциальных сопоставлений, при которых, например, объединяются и одинаково славословятся Чаадаев и... Розанов. Воистину нужно стоять на вершине “поэтического бесстрастия” и аполитичных вневременных и внесоциальных позиций, чтобы ставить рядом имя Чаадаева, пережившего трагедию передового человека в эпоху николаевской реакции, оппозиционного (в период “философского письма”) по отношению к российскому самодержавию, чтобы поставить это имя рядом с именем апологета великодержавия, мракобеса и черносотенца Розанова.

Не станем умножать примеры, характеризующие статьи М. Укажем лишь, что революцию он “приветствует” с тех же позиций. Революция хороша потому, что на петербургских улицах пробивается трава, т. е. потому, что революция, разрушая старую культуру, ведет к природе, к эллинской простоте. “Испытания”, переживаемые русской культурой, не страшны для того, над кем витает “Ключевский, добрый гений, домашний дух — покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания” (с. 58).

Статьи Мандельштама — квинтэссенция рафинированной идеологии либеральной русской буржуазии. Они имеют ценность только для исследователя, выявляющего идеологическую сущность и классовые

корни поэта. Переиздавать их сейчас (даже с критическим предисловием) — крупнейшая политическая ошибка. Никакими ссылками на необходимость бережного отношения к старой интеллигенции, стоящей на советской платформе, это переиздание нельзя будет оправдать, ибо оно не только явится политическим промахом издательства, но окажет скверную услугу самому Мандельштаму»¹⁵.

2

Тридцатые годы — новая ступень в критической прозе Мандельштама. Разумеется, если иметь в виду не внутренние рецензии на стихи Алексея Коваленкова и не пять рецензий 1934—1935 годов, напечатанных в воронежском журнале «Подъем», а «Разговор о Данте».

Он писался одновременно со стихотворным «Ариостом» весной 1933 года в Старом Крыму и Коктебеле, где Мандельштамы гостили сначала у вдовы Александра Грина, а затем у вдовы Максимилиана Волошина. В Коктебеле Мандельштам читал «Разговор о Данте» Андрею Белому и Мариенгофу, а осенью и зимой Жирмуновскому, Тынянову, Ахматовой, Лившицу — в Ленинграде и Пастернаку и Татлину — в Москве.

Ахматова вспоминала, как Мандельштам в 1933 году учил итальянский язык и «*весь горел Дантом*», читал «Божественную комедию» днем и ночью¹⁶. Рукопись была передана в «Звезду» и «Издательство писателей в Ленинграде», но и там, и там сочли за благо от печатанья воздержаться. Отказали и в Госиздате, причем там ее давали на отзыв крупнейшему специалисту по Данте А. Дживелегову, в том же году выпустившему своего «Данта», но тот, не выжав из себя ни слова, лишь испещрил поля множеством вопросительных знаков¹⁷.

Для того чтобы увидеть свет, «Разговору о Данте» нужно было дожидаться круглого юбилея самого Данте! Только в 1966—1967 годах — сначала за границей, во втором томе «нью-йорского» Собрания сочинений, а потом и на родине, где он вышел отдельным, изящным изданием, с тщанием и любовью подготовленным А.А. Морозовым. «Сравнивая этюд о великом итальянце со статьями 10-х или 20-х годов, — писал в послесловии Л.Е. Пинский, — мы убеждаемся в изумительной органичности и принципиальности эстетических позиций О. Мандельштама на протяжении более чем двух десятилетий, таких

¹⁵ Печ. по: РГАЛИ. Ф. 611. Оп. 2. Д. 243. Л. 121—122 об. На отзыве — многозначительная резолюция: «В дело. ИФ. Статьи не пойдут. ИФ. Май, 1933» и «Секретно». См. полный текст в: СМР. Вып. 2. 1993. С. 28—31.

¹⁶ Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 414 (публ. Е.И. Лямкиной).

¹⁷ Герштейн, 1998. С. 44.

бурных в истории русской и мировой поэзии. В статьях назревало то единое для всего его творчества понимание поэтического слова, которое под конец жизни выкристаллизовалось в очерке о любимом поэте, своего рода *ars poetica* О. Мандельштама... Мысль Мандельштама, плод глубокого переживания от заново прочитанной «Комедии», развивается одновременно в нескольких планах — дантологическом, общетеоретическом и программно-личном. Прежде всего это новый разговор о Данте, новый подход, в принципе отличный от академического...»¹⁸

3

Образ звучащего времени был хорошо понятен современникам. Недаром в статье «Крушение гуманизма» (1919) А. Блок призывал сограждан «слушать музыку революции», а Гумилев назвал группу своих учеников студией «Звучащая раковина». В письме от 20 октября 1911 года Андрей Белый писал Блоку: «...Но сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость все слышней и слышней движение грядущих рас. Будет, будет день, и народы, бросив занятия, бросятся друг друга уничтожать. Все личное, все житейски пустое как-то умолкает в моей душе перед этой картиной; и я, прислушиваясь к шуму времени, глух решительно ко всему»¹⁹.

Мандельштам, конечно же, не знал этого письма и свой образ почерпнул из первоисточника — из жизни, из грозно нарастающего из-под земли гула истории. Но какой же, однако, смелостью, если не сказать дерзостью, надо обладать, чтобы в тридцатитрехлетнем возрасте сесть за «мемуары» да еще и назвать их — «Шум времени»!

Впрочем, заглавие пришло не сразу; сначала было «Записки» — название столь же скромное, сколь и неопределенное, и лишь летом 1924 года «из мелькавших названий» он остановился на «Шуме времени», оставив «Записки» для подзаголовка, от которого позднее и вовсе отказался²⁰.

«Шум времени» был написан, точнее, надиктован жене — чуть ли не залпом, на одном дыхании, за полтора осенних месяца (сентябрь и начало октября), прожитых в санатории ЦЕКУБУ в Гаспре. Лишь несколько последних глав — скорее всего, начиная с «Комиссаржевской», — были дописаны позднее, летом или даже осенью 1924 года, в Ленинграде, в квартире на Большой Морской²¹.

¹⁸ Мандельштам, 1967. С. 59—60.

¹⁹ Александр Блок. Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 269.

²⁰ См. письмо А.К. Воронскому в кн.: Из истории советской литературы 1920—1930-х годов // Литературное наследство. 1983. Т. 93. С. 601.

²¹ Дом 49, квартира 4.

Надо сказать, что сама идея «Шума времени», по свидетельству Н.Я. Мандельштам, принадлежит не автору, а Исаю Лежнёву — неизвестному редактору «России», первоиздателю булгаковской «Белой гвардии» и прообразу Макара Рвацкого в «Театральном романе». Лежневу, по-видимому, хотелось чего-нибудь «шагаловского» — историю еврейского вундеркинда из забытого богом местечка, и детские впечатления столичного мальчика вызвали в нем горькое разочарование. «Большого», как выяснилось, ждали от Мандельштама и в «Звезде», и в «Красной нови», и в Госиздате, и в кооперативных издательствах «Узел», «Круг» и «Ленинград» — *«все отказывались печатать эту штуку, лишённую фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения»*²².

Заинтересовался ею один лишь Георгий Блок, работавший в издательстве «Время», в котором в апреле 1925 года, минуя журнальную стадию, первая «большая» проза. Осипа Мандельштама вышла в свет тиражом 3 000 экземпляров. Под одной обложкой с ней — и безо всякого разделения — вышла и «вторая» проза — главки, посвященные Феодосии 1919—1920-х годов²³. В издательском каталоге «Времени» за май 1925 года сохранилась рекламная аннотация «Шума времени», составленная, кажется, если не при участии, то с ведома автора: *«Это беллетристика, но вместе с тем и больше, чем беллетристика, — это сама действительность, никакими произвольными вымыслами не искаженная. Тема книги — 90-е года прошлого столетия и начало XX века, в том виде и в том районе, в каком охватывал их петербургский уроженец. Книга Мандельштама тем и замечательна, что она исчерпывает эпоху»*²⁴.

Вот так — не больше и не меньше — «исчерпывает эпоху»!

После выхода книги во «Времени» Мандельштам намеревался переиздать ее, возможно, с дополнениями, в другом издательстве — в частности, в «Круге»: в феврале 1926 года в этой связи он разыскивал А.Н. Тихонова-Сереброва²⁵. Но вплоть до выхода в 1928 году книжного издания «Египетской марки» это ему не удавалось, если не считать перепечатки 3 февраля 1926 года трех наиболее «революционных» главок — «Тенишевское училище», «Сергей Иванович» и «Эрфуртская программа» (и едва ли с согласия или ведома автора!) — в парижской эмигрантской газете «Дни».

Отклик на «Шум времени» было множество, реакция была в высшей степени неоднозначной.

²² Мандельштам Н. Вторая книга. 1999. С. 346.

²³ В издании 1928 г. они составили самостоятельный раздел «Феодосия».

²⁴ Сообщено К.М. Азадовским, разыскавшим его в делах издательства в архиве Пушкинского Дома.

²⁵ См. запись в дневнике П.Н. Лукницкого за 1 февраля 1926 г. (Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого // Слово и судьба. С. 124).

Первым (еще в апреле!) отозвался Абрам Лежнев. Мандельштам удивил его тем, что оказался «прекрасным прозаиком, мастером тонкого, богатого и точного стиля, несколько французской складки, доходящего иногда до той степени изысканной и выразительной простоты, которая заставляет вспоминать Анатоля Франса. Правда, он иногда напоминает и Эренбурга, но лишен банальности последнего. Его фраза сгибается под тяжестью литературной культуры и традиции. Вместе с тем образы его своеобразны и контрастны, а сравнения неожиданно-верны. Он сшибает эпитеты лбами, как это советует делать Анатоль Франс...». При этом, продолжает критик, «многое в книге Мандельштама не своевременно, не современно — не потому, что говорится в ней о прошлом, об ушедших людях, а потому, что чувствуется комнатное, кабинетное восприятие жизни, — и от этой несвоевременности не спасает самый лучший стиль. Иногда его характеристики раздражают своей барски-эстетской поверхностностью. Но справедливость требует добавить, что таких меньшинство. “Комнатные” главы компенсируются — и даже с избытком — материалом, имеющим определенный общественно-исторический интерес. Характеристики 80-х и 90-х годов и периода реакции сделаны хотя и односторонне, но очень остроумно и во многом несомненно верны...»²⁶.

Молодой прозаик Геннадий Фиш назвал свою рецензию «Дирижер Галкин в центре мира»: «Автобиографические импрессионистические зарисовки одного из лидеров акмеизма — уже ушедшего в историю русской литературы, кроме историко-литературного и просто литературного, приобретают некое социальное значение. Ощущение вещи и слова — одно из оставшихся в литературе достижений акмеизма — ясно проступает в каждой фразе. Скупно выбирая эпитеты — как мастер, — Мандельштам пользуется только полновесными несколькими словами давая яркую картину, где отчетливо видна “каждая вещь”, цвет и аромат ее... Книга эта является документом мироощущения литературного направления “акмеизма”, автобиографией “акмеизма”; подобно тому, как “Письма о русской поэзии” Н. Гумилева — критическое знамя акмеизма — его литературная позиция...»²⁷.

Совершенно иначе воспринял и оценил «Шум времени» пушкинист Николай Лернер: «Автор — известный поэт — рассказывает о сравнительно недавнем прошлом, — даже самые ранние его воспоминания не заходят глубже 20—25 лет до революции, но его ухо умело прислушаться даже к самому тихому, как в раковине, “шуму времени”, и в относящейся к этой эпохе мемуарной литературе едва ли найдется много таких — интересных и талантливых страниц. С щемящей тоскою и не без презрения описывает Мандельштам ту

²⁶ Печать и революция. 1925. № 4. С. 151—153.

²⁷ Красная газета. Вечерний выпуск. 1925. 30 июня. С. 5.

двойную безытнность, еврейскую и русско-интеллигентскую, из которой он вышел... Тот “хаос иудейский”, который так тяжело, так болезненно переживает он в своих воспоминаниях, вошел какой-то далеко не безразличной функцией в историю России, но мало кем до сих пор был так отчетливо определен. Мы подавлены громадой идейных обобщений и обилием исторических фактов, но у нас крайне редки психологические документы, в которых полно и ярко запечатлены настроения той или иной эпохи. К таким произведениям принадлежат и “Былое и думы” Герцена, “История моего современника” Короленко, воспоминания Овсяннико-Куликовского. К этому роду относятся и мемуары О. Мандельштама, написанные горячо, нервно, с лирическим воодушевлением, — жаль, что кое-где не без вычур (кто-то глядит на едущий по улице фаэтон с изумлением, “словно везли в гору еще не бывший в употреблении рычаг Архимеда”, — для чего это кривлянье?). Историк предреволюционной России в этой книжке многое ощутит живо и сильно»²⁸.

С той же серьезностью отнеслись к «Шуму времени» и рецензенты эмигрантского круга. И в первую очередь Владимир Вейдле: «...Его проза похожа на стихи, и чем она ближе к его стихам, тем это лучше для нее, тем меньше она может бояться иногда ей угрожающей пустоты. Хоть его первые прозаические опыты (ни в чем не уступающие последним) и современны “Камню”, все же прозаик в нем не перестает учиться у поэта. Там, где они соперничают, побеждает всегда поэт.

*И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят*

лучше, чем “Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот”. Но проза достигает часто великолепной переполненности стиха... Его проза точно так же стремится к samozаклученной фразе, не нуждающейся по существу ни в каком дальнейшем окружении... Если в чем-нибудь ее упрекнуть, так это в том, что так легко поставить в вину и стихотворцу Мандельштаму: в риторике. <...> Качества его стиля суть качества его мира. Его видение порфириносно, даже если это видение нищеты. Вселенная представляется ему в виде какой-то царственной декорации <...>: “Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном парадном виде”. Вот почему его риторика нечто более глубокое, чем стилистическая манера; вот почему мы принимаем то, что он теперь снова нам дает: искусство, похожее на рассыпавшееся ожерелье, — но из жемчужин одной воды»²⁹.

²⁸ Былое. 1925. № 6. С. 244.

²⁹ Дни (Париж). 1925. 15 ноября. С. 4.

Дважды о «Шуме времени» написал князь Дмитрий Святополк-Мирский — в парижских «Современных записках» и в брюссельском «Благонамеренном»: «Эти главы не автобиография, не мемуары, хотя они и отнесены к окружению автора. Скорее (если бы это так не пахло гимназией) их можно было бы назвать культурно-историческими картинками из эпохи разложения самодержавия. <...> Замечателен и стиль Мандельштама. Как требовал Пушкин, его проза живет одной мыслью. И то, чего наши “прости Господи, глуповатые” романисты не могут добиться, Мандельштам достигает одной энергией мысли. Очень образный, иногда даже неожиданный способ выражения (и не совсем, хотя и почти, свободный от косноязычия) свободен от нарочитости, изысканности и ненужности»³⁰. Во втором отзыве Святополк-Мирский писал: «...Замечательная книга, стоящая вне господствующих течений. Это проза поэта. Но поэтического в ней только густая насыщенность каждого слова содержанием. Как Пастернак, Мандельштам совершенно свободен от ритмичности, риторичности и “импрессионизма”. “Шум времени” — книга воспоминаний, но не личных, а “культурно-исторических”. Мандельштам действительно слышит «шум времени» и чувствует и дает физиономию эпох <...> Традиция Мандельштама восходит к Герцену и Григорьеву (“Литературные скитальчества”); из современников только у Блока (как ни странно) есть что-то подобное местами в “Возмездии”. Эти главы должны стать, и несомненно станут, классическим образцом культурно-исторической прозы...»³¹

Также дважды — в берлинской газете «Руль» (9 декабря 1925 года) и в рижской «Сегодня» (23 апреля 1926 года) — откликнулся на «Шум времени» Юлий Айхенвальд. Вот цитата из более позднего — более ригористичного — отзыва в рижской газете: «Известный поэт Осип Мандельштам в своей недавно вышедшей книге “Шум времени” задается целью рассказать не свою личную биографию, а то, какие настроения характеризовали самый конец XIX и начало XX-го века в России. Но из воспоминаний автора видно, что ему не больше 34 лет от роду, — вспоминать как будто рано, и подлинный шум своего времени уловит ли тот, кто мало прожил и мало пережил?..

Ясно, что наш ранний, наш преждевременный мемуарист свои личные, ни для кого не обязательные восприятия принял за объективный центр эпохи...»³²

Столь же критично настроен по отношению к Мандельштаму и Георгий Адамович. Восторги по поводу «Шума времени», по его

³⁰ 1925. Т. 25. С. 542—543.

³¹ Благонамеренный (Брюссель). 1926. № 1. С. 126.

³² Сегодня (Рига). 1926. 23 апреля. С. 7.

мнению, уместны лишь применительно к «остроте мандельштамовской мысли», тогда как «мандельштамовский слог» вызывает «уныние и скуку»³³. В более поздней статье «Несколько слов о Мандельштаме» Адамович писал: «...Тщетно стараюсь найти в прозе Мандельштама то, что так неотразимо в его стихах... Цветисто и чопорно... В прозе своей Мандельштам как будто теряет, — теряет, потеряв музыку. Остается его ложноклассицизм, остается стремление к латыни... В прозе Мандельштам не дает "передышки"...»³⁴.

Но особо резкое неприятие «Шума времени» проявила Марина Цветаева. Книга попалась ей в руки в середине марта 1926 года в Лондоне, где она гостила у Д.П. Святополк-Мирского.

15 марта 1926 года она писала П.П. Сувчинскому, редактору «Верст»: «Мандельштам «ШУМ ВРЕМЕНИ». Книга баснословной подлости. Пишу — вот уже второй день — яростную отповедь. Мирский огорчен — его любезная проза. А для меня ни прозы, ни стихов — ЖИЗНЬ, здесь отсутствующая. Правильность фактов — и подтасовка чувств. Хотелось бы попеть к этому № журнала — хоть петитом — не терпится»³⁵. В письме к Д.А. Шаховскому от 18 марта 1926 года — то же самое: «Сижу и рву в клоки подлую книгу Мандельштама "Шум времени"»³⁶.

Тогда же, в Лондоне, и была написана статья «Мой ответ Осипу Мандельштаму», резче которой о Мандельштаме, наверное, вообще никто и никогда всерьез не писал. Реакция Цветаевой была вызвана неподобающе «эстетским» и, по ее мнению, предательским по отношению к Добровольчеству и своей юности описанием Крыма времен Гражданской войны. Она писала, в частности, что не надо судить о Белой армии по ОСВАГУ, как и о Красной — по ЧК: «Ваша книга — *nature morte*, и если знак времени, то не нашего»³⁷.

В апреле 1926 года Цветаева читала статью на вечере у О.Е. Колбасиной-Черновой³⁸, но еще в марте она предлагала ее в парижские

³³ Литературные беседы. Еженедельник журнала «Звено» (Париж). 1926. № 199.

³⁴ Воздушные пути. Альм. IV. Нью-Йорк, 1966. С. 98—100.

³⁵ Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 317.

³⁶ Там же. Т. 7. С. 35.

³⁷ Там же. Т. 5. С. 310.

³⁸ В.Б. Сосинский писал об этом вечере А.В. Черновой (апрель 1926 г.): «Сегодняшний вечер Марина Ивановна читала свою статью о Мандельштаме. Статья прекрасная, ударная. Но я сказал Марине Ивановне, что слушал ее с болью... Адя, я бы не хотел, чтобы эта статья была напечатана. Зачем поэту обвинять поэта в том, что он раболепствует перед властью?.. Статья сильная, бьющая, задающая — кстати сказать, очень логичная — по существу своему глубоко несправедлива... Имя Мандельштама нечто большее для нас, чем просто человек...» В ответном письме Ариадна Чернова писала: «...вполне согласна с тем, что ты

«Версты» и в пражскую «Волю России». Однако редакторы, П.П. Сувчинский и М.Л. Слоним, а также С.Я. Эфрон, Г.П. Струве, В.Б. Солинский и другие, найдя ее реакцию незаслуженно резкой, убедили Цветаеву воздержаться от публикации.

Статья не была опубликована, но забыть или «простить» Мандельштаму его «подлюю» книжку Цветаева не смогла. В стихотворении, написанном в сентябре 1934 года (возможно, что в это время до нее дошла весть об аресте Мандельштама) и явно рассчитанном на переключку с мандельштамовским «Веком», она писала:

О поэте не подумал
Век — и мне не до него.
Бог с ним, с громом,
Бог с ним, с шумом
Времени не моего!

Если веку не до предков —
Не до правнуков мне: стад.
Век мой — яд мой, век мой — вред мой,
Век мой — враг мой, век мой — ад.³⁹

Так закончилась житейская и поэтическая переключка двух некогда влюбленных друг в друга поэтов, познакомившихся в Крыму и «раззнакомившихся» в нем же. Каждый — и особенно Цветаева — избрал в себя за жизнь столько трагедии и горя, столько яда и столько ада, что это их историософское противостояние (о котором Мандельштам скорее всего и не догадывался) — могло бы показаться им на закате дней ничего не значащим эпизодом.

Иным, судя по письмам к Мандельштаму, было отношение к «Шуму времени» у Пастернака, интересовавшегося не только результатом, но и самим ходом работы. «*Все больше жалею я, что так и не услышал Вашей прозы... Закончили ли Вы ее уже? Когда можно ждать появления “Воспоминаний”*» (из письма от 19 сентября 1924); «*Закончили ли Вы свою прозу?*» (от 24 октября 1924); «*Вышла ли уже во “Времени” Ваша проза?*» (от 31 января 1925). Уже после ее выхода Пастернак писал Мандельштаму 16 августа 1925: «*“Шум времени” доставил мне редкое,*

пишешь о статье Марины Ивановны о Мандельштаме. Хорошо, что Версты ее не приняли...» (Цветаева М. Письма 1924—1927. М., 2013. С. 321—322).

³⁹ Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. Т. 2. М., 1994. С. 319. Ср. варианты: «Бог с мотором... // Таратором // И с оратором // — Всем и всеми, // Кем душа // Оглушена... // С ихним пеньем // С ихним чтеньем // С общим чтеньем // С общим мненьем // С правым, с левым // С красным, белым // Век мой, подаю в отставку: // Не гожусь — и тем горжусь» (Там же. С. 522).

давно не испытанное наслаждение. Полный звук этой книжки, нашедшей счастливое выражение для многих неувимостей, и многих таких, что совершенно изгладилась из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось. Я ее перечел только, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать»⁴⁰.

Под мощным и неослабевающим впечатлением мандельштамовской прозы находилась и Анна Ахматова. Название позднейшей из ее поэтических книг — «Бег времени» (1965) — откровенно перекликается с «Шумом времени». Впрочем, известно, что после 1928 года она эту вещь не перечитывала и заново вернулась к ней лишь в 1957 году, во время работы над «Листками из дневника» — воспоминаниями о Мандельштаме. Ее, как отмечает Р.Д. Тименчик, заинтересовало «преодоление поэта» в его, поэта, прозе, изолированность описываемых в прозе событий от предмета его устных рассказов и бесед: «Шум времени», несомненно, был для Ахматовой одним из уроков — как писать об истории⁴¹.

Перечитывая прозу Мандельштама, Ахматова восхищалась: «*Богат Осип, богат*»⁴². А замышляя собственную прозу, она мыслила ее себе не иначе как «двоюродную сестру» «Охранной грамоты» и «Шума времени». В черновых набросках она полушутливо замечает: «*Боюсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой и т. д. <...> Оба они (и Борис, и Осип) писали свои книги, едва достигнув зрелости, когда все, о чем они вспоминают, было еще не так сказочно далеко. Но видеть без головокружения девяностые годы 19 в. с высоты середины XX века почти невозможно*»⁴³.

⁴⁰ Пастернак, 1992. С. 171—172.

⁴¹ Тименчик Р.Д. Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1984. № 1. С. 66—67.

⁴² Герштейн, 1998. С. 459.

⁴³ Мандрыкина Л.А. Ненаписанная книга. «Листки из дневника» А.А. Ахматовой // Книги. Архивы. Автографы. Обзоры, сообщения, публикации. М., 1973. С. 63—76.

БИТВА ПОД УЛЕНШПИГЕЛЕМ

Памяти Ефима Эткинда

*Неужели я мог понадобиться Горнфельду,
как пример литературного хищничества?¹*

1

История эта обрамлена двумя мандельштамовскими «прозами». Очерк «Жак родился и умер», написанный в июне 1926 года и впервые опубликованный в вечернем выпуске «Красной газеты» 3 июля 1926 — как бы ее пролог, а «Четвертая проза» — эпилог и кульминация.

В прологе — этой беспримесной рефлексии на состояние переводного дела в СССР, возмущенной, но и почти без «оргвыводов», — сказано уже почти все. «*Кто он, этот Жак?*» — вопрошает Мандельштам, прежде чем припечатать этим именем — «Жак» — все те же потоки переводной халтуры, к которым он вернется позднее.

А ведь так было не всегда! Было и то время, «*...когда перевод иностранной книги на русский язык являлся событием — честью для чужеземного автора и праздником для читателя. Было время, когда равные переводили равных, состязаясь в блеске языка, когда перевод был прививкой чужого плода и здоровой гимнастикой духовных мышц. Добрый гений русских переводчиков — Жуковский, и Пушкин — принимали переводы всерьез. <...> Высшая награда для переводчика — это усвоение переведенной им вещи русской литературой. Много ли можем мы назвать таких примеров после Бальмонта, Брюсова и русских “Эмалей и камней” Теофиля Готье?*»

Нынче же, то есть в середине 1920-х гг. (хотя кажется, что это и про сейчас сказано), — «*...перевод иностранных авторов таким, каким он был, захлестнувши и опустошивши целый период в истории*

¹ Из ответа Мандельштама на фельетон А. Горнфельда «Переводческая страпня».

русской книги, густой саранчой опустившийся на поля слова и мысли, был, конечно, «переводом», т. е. изводом неслыханной массы труда, энергии, времени, упорства, бумаги и живой человеческой крови. <...> По линии наименьшего сопротивления — на лабазные весы магазинов пудами везут «дешевый мозг».

Эта халтура, эта саранча — этот «Жак», который «родился и умер», — не так уж и безобиден: «Все книги, плохие и хорошие, — сестры, и от соседства с «Жаком» страдает сестра его — русская книга. Через «Жака» просвечивает какая-то мерзкая чичиковская рожа, кто-то показывает кукиши и гнусной фистулой спрашивает: «Что, брат, скучно жить в России? Мы тебе покажем, как разговаривают господа в лионском экспрессе, как бедная девушка страдает оттого, что у нее всего сто тысяч франков. Мы тебя окатим таким сигарным дымом и поднесем такого ликерцу, что позабудешь думать о заграничном паспорте!»

А вот и «оргвывод», к коему пришел Мандельштам в 1926 году: «Взыскательной и строгой сестрой должна подойти русская литература к литературе Запада и без лицемерной разборчивости, но с величайшим, пусть оскорбительным для западных писателей, недоверием выбрать хлеб среди камней».

Да здравствует лучшая в мире цензура — по признаку литературного качества!..

2

Этот «Жак», а точнее — переводческая, ради куска хлеба и лечения жены, поденщина, состоявшая в том числе и в преодолении уровня «Жака» в конкретных работах, для самого Мандельштама оказался опасен вдвойне и двояко. Во-первых, тем, что перекрывал воздух и ход собственным, непереводам, стихам. А, во-вторых, тем, что подспудно готовил, а в один нехороший день загнал поэта в самую настоящую западню.

3 мая 1927 года, то есть спустя 10 месяцев после первопубликации очерка «Жак родился и умер», О.Э. Мандельштам и издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ) заключили договор об издании книги Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». Согласно договору, в задачи Мандельштама входил не перевод, а редактирование (источники редактируемого текста в договоре оговорены не были). Готовая рукопись должна была быть представлена к 10 июля 1927 года.

Но, судя по письму к М.А. Зенкевичу, срок этот выдержан не был, хотя и отставание было еще не катастрофичным: «Я увожу с собой

Уленшиг<еля>. В среду высылаю его спешной почтой на твое имя в “ЗИФ” обратно <...> С Ул<енишипигелем> не подведу. Сам понимаю. <...> Еще раз: не беспокойся об Уленшиг<еле>. Будет в четверг».

Письмо не датировано, но фраза «Проездом через Москву увидимся без счет, хворобы и Лены-конструктивистки» дает основания предполагать, что рукопись везется не в Детское село, а подальше, раз личная встреча планировалась на Москву. Если предположение верно, то датировка письма (а, следовательно, и сдачи «Уленшипигеля» в издательство) навряд ли падает на последние дни издательского дедлайна, а приходится едва ли не на позднюю осень 1927 года, когда Мандельштам с женой — в тяжелейшем материальном положении — возвращались с юга: они были в Сухуме, Армавире (где в это время жил и работал Шура Мандельштам) и Ялте. Такая задержка по крайней мере уменьшает недоумение по поводу выхода «Тиля» в свет только в сентябре 1928 года: если бы рукопись была сдана в июле 1927 года, как это предусматривал договор, то неужели производство занимало 14 месяцев?!

Срыв срока сдачи тем более вероятен, что лето 1927 года было у Мандельштама как никогда переполненным. На первом месте — впервые за несколько лет — стояло «свое»: «Египетская марка»! «Осип Мандельштам в Лицее и пишет повесть, так странно перекликающуюся с Гоголем “Портрета”...» — писал Д.С. Усов Е.Я. Архиппову 15 июля 1927 года.

Нелишне заметить, что 18 августа 1927 года Мандельштам заключил с Ленинградским отделением Госиздата еще один договор — на издание «Стихотворений», не говоря уже об ушедшей в производство в апреле книге статей «О поэзии» и работе еще над одним переводом — «Набоба» Альфонса Додэ.

Все это я перечислил лишь для того, чтобы показать, с какой сумятицей и с каким нервным напряжением была сопряжена работа над прозой Шарля де Костера. Надежда Яковлевна добавляет к этому еще и яростную, зато успешную хлопоту по отмене казни пяти банковских служащих, но это уже в 1928 году!..

3

И вот в конце сентября 1928 года эта злополучная книга — с предисловием профессора П.С. Когана и рисунками Алексея Кравченко тиражом в 4 000 экземпляров — выходит в свет.

На титуле, увы, стояло то, что действительности не соответствовало и чему есть оправдания, но нет извинения:

«ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА»!

На самом же деле труд Мандельштама заключался в редактировании (стилистической обработке) уже имевшихся переводов, причем не одного, а контаминации из двух! Начало (около двух печатных листов) было взято из перевода Горнфельда, все остальное — из перевода Карякина.

Самое время представить переводчиков.

Василий Никитич Карякин (1872—1938) искренне считал себя переводчиком, ведь кроме «Тиля» из-под его пера вышло еще несколько переводных книг. «Тиля» же он издал дважды и оба раза в 1916 году: один раз — книжкой, а другой — брошюрками в трех выпусках «Нивы». Перевод «Тиля» привел Карякина на самый пик его писательской карьеры, поскольку именно за сей труд его, как переводчика, «художественно работающего над словом», избрали в члены Союза русских писателей, предложение о чем, в присутствии самого А.И. Свирского, внес М.О. Гершензон.

В 1928 году Карякин жил в Москве, на Спиридонвке, работал в Московском коммунальном музее (позднее Музее истории Москвы) и преподавал русский язык на рабфаке Института им. М.В. Ломоносова. Оценив свой ущерб в 1550 рублей, он подал в губернский суд иск к издательству ЗИФ, которое призвало в соотечники и Мандельштама, и проиграл.

Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867—1941) — русско-еврейский критик и литературовед, тяготевший к проблематике психологии творчества. Крымчанин, он учился в университетах Харькова и Берлина. В Петербурге — с 1893 года, с 1904 по 1918 — член редакции и активнейший автор народнического «Русского богатства».

В 1920-е гг. жил на улице Некрасова (бывшей Бассейной). С детства инвалид (карлик и горбун с большими ногами), он редко выходил из дому, а в 1920-е годы и вовсе не выходил. Мандельштам упоминает единственную встречу, но произошла она не в доме Синани, с которым были близки оба, а в каком-то журнальчике. Им скорее всего был «Еженедельный журнал для всех», где — в бытность редакторства все того же Нарбута! — печатались оба.

Свой перевод «Уленшигеля» Горнфельд впервые опубликовал еще в 1915 году — в первых шести выпусках «Русских записок» под псевдонимом Ю.Б. Коршан. Книжная версия впервые была напечатана издательством «Всемирная литература» — в двух томах — в 1919 году. В 1925 году издательство «Молодая гвардия» и в 1926 журнал «Гудок» уже перепечатавали его перевод — один к одному и без спросу: оба раза Горнфельд судился и оба раза выиграл в суде. Но в 1929, 1930, 1935 и 1938 гг. — и во многом благодаря описываемому скандалу — этот же перевод переиздавался вновь. Так что ко времени смерти Ман-

дельштама в горнфельдовской прихожей красовалась не одно, а сразу несколько неперелицованных «пальто» — и материально Горнфельд в накладе не остался.

4

Что же делал и что сделал с этими двумя посредственными переводами Мандельштам?

Отредактировал и создал на их основе нечто третье, изрядно оторвавшееся от своих первоисточников.

Называлась такая процедура «редактирование и обработка» — и, кроме небрежности с титулом, зифовское издание «Тиля» ничем не отличалась от преобладающей практики выпуска переводной литературы того времени.

Точно таким же образом, и тот же «ЗИФ» выпустил в 1928 году 13-томное Собрание романов Вальтера Скотта под общей редакцией А.Н. Горлина, Б.К. Лившица и О.Э. Мандельштама, в котором Мандельштам, например, был редактором и обработчиком восьми томов. Не лишено интереса, что критико-биографический очерк о Вальтере Скотте, открывающий всю серию, написал... Горнфельд: этот очерк предварял первый том собрания с романом «Веверлей», вышедшем, кстати, «в переводе и обработке» А.Н. Горлина двумя месяцами позже «Тиля».

Это «третье», по мнению большинства, было заведомо более читабельным, но, по мнению Горнфельда, — недобросовестным и никуда не годным. И не только из-за привлечения чужих переводов без спросу и даже без упоминания авторов, но и из-за незнакомства редактора-обработчика с оригиналом и редактирования карякинского перевода с помощью горнфельдовского.

Так что же все-таки — худое или доброе — совершил писатель Мандельштам с текстом де Костера, обрабатывая и редактируя переводы Горнфельда и Карякина?

Вот несколько суждений о работе Мандельштама, принадлежащих независимым экспертам.

А.В. Федоров: *«Большинство переводов (как старых, так и новых), вышедших в течение последних лет, — переводы отредактированные. Целесообразность и плодотворность принципа редактур, широко применяемого сейчас, — вне сомнения. В сущности, всякий перевод, даже выполненный авторитетным специалистом и крупным писателем, нуждается если не в исправлении, то в проверке, которая в состоянии устранить всегда возможные единичные упущения, хотя бы мелкие и совершенно случайные, но от этого все же не менее досадные*

(особенно в хорошем переводе). Однако, есть основания полагать, что в ряде случаев редакция, если не **фиктивна**, то **предположительна**, что перевод подвергается исправлению и проверке почти независимо от оригинала (или с привлечением его лишь в самых сомнительных случаях, когда то или иное место в переводе само по себе возбуждает подозрения в правильности передачи; если же перевод гладкий, то многое неизбежно ускользает). Такой способ редакция даже не столько сомнителен, сколько ответственен. <...> Для этого требуется тонкое стилистическое чутье и большой переводческий опыт; иначе работа редактора сведется к простой переделке перевода (не лишенной элемента произвола), к переводу с перевода.

При переделке старого перевода, тем более перевода классического произведения, задача редакция усложняется: может произойти конфликт разных методов передачи или беспринципное, компромиссное соединение разных переводческих манер и разных систем речи. Какой бы радикальный характер ни имела переделка, редактор все же вынужден считаться со свойствами перерабатываемого материала, поскольку старый перевод, хотя бы и в измененном виде, кладется в основу. Случаи полной творческой переработки — редки.

Подобный случай представляет собою изданный ЗИФом перевод «Тили Уленшигеля» Де-Костера в переработке О. Мандельштама. Здесь мы видим контаминацию двух ранее вышедших переводов этого романа, отбор наиболее удачных вариантов, проверку одного перевода посредством другого и своеобразие подлинника, действительно, найдено (может быть, угадано) сквозь словесную чащу двух переводов. Блестящие результаты, достигнутые Мандельштамом, не случайны, конечно, в плоскости работы самого Мандельштама — крупнейшего художника слова и автора превосходных переводов, и лишь с точки зрения практики редакция удача эта, пожалуй, случайна, как слишком индивидуальная»².

Исследовав и сличив все три перевода, В.М. Шор счел, что мандельштамовская обработка двух переводов «Тили Уленшигеля» является «...выражением определенной стадии в развитии русского прозаического перевода — промежуточной между стадиями, представленными переводами А.Г. Горнфельда и Н.М. Любимова. Далеко не точный, не ориентирующийся на народный язык, а следовательно — и на стилистику оригинала, этот вариант перевода отличается вместе с тем отсутствовавшей и у Карякина, и у Горнфельда языковой живостью,

² Федоров А.В. О современном переводе // Звезда. 1929. № 9. С. 191—192. В этом же номере «Звезды» — статья К.И. Чуковского «В защиту Диккенса», посвященная переизданию ГИЗом в 1929 г. «Дэвида Копперфильда» Ч. Диккенса. Чуковский защищает Диккенса от И.В. Жилкина, редактора этого перевода, слишком бережно обошедшего с протопереводом И. Введенского, кишащего ложными прочтениями оригинала, неправильностями русской речи и отсебятиной.

выразительностью лексических средств, четкостью синтаксических конструкций... Примеры достаточно иллюстрируют тенденцию Мандельштама как редактора: оживить перевод, освободить его от тягучести и однотонности. Мандельштам не поднимается до уровня мастерства, достигнутого в этом переводе Н.М. Любимовым, но он идет в сходном направлении, добиваясь художественной выразительности текста»³.

Третий эксперт — Олег Лекманов, посвятивший немало страниц аналитическому сличению горнфельдовской и мандельштамовской версий «Тили Уленшпиגעля», гораздо суровее к обработчику и редактору:

«Стремясь сохранить и передать национальный колорит «Легенды о Тиле Уленшпиגעле», Горнфельд многие иноязычные слова оставлял без перевода, рассчитывая на проясняющий контекст. Мандельштам, редактировавший роман для так называемого «широкого читателя», встречавшиеся французские слова или переводил или совсем сокращал. Кроме того, в целом ряде случаев он бестрепетно пожертвовал бережно сохраненными переводчиком подробностями фламандского быта, которыми щедро насыщено произведение Шарля де Костера.

<...> Самый радикальный способ купирования текста «Легенды о Тиле Уленшпиגעле», к которому прибегал Мандельштам, поставленный перед необходимостью значительно сократить перевод Горнфельда, заключался в элиминировании не только множества частных подробностей, <...> но и целых побочных сюжетных линий и, соответственно, главок. Так, редактируя первую часть романа, Мандельштам полностью сократил XLI, LX, LXIV и LXXIX главы горнфельдовского перевода.

<...> Главный вывод, напрашивающийся из сопоставительного анализа горнфельдовского перевода с мандельштамовской перелицовкой, следующий: как бы мы сегодня ни оценивали проделанную Мандельштамом работу, назвать ее откровенной халтурой нельзя. Густая правка, которой в процессе переделки подвергся горнфельдовский текст, была спровоцирована необходимостью решать вполне конкретные редакторские задачи. Две самые очевидные среди них, это тотальное упрощение и сокращение «слишком грузного текста» Горнфельда <...> с целью сделать его максимально доступным для восприятия «широкого читателя». А также идеологическое причисывание текста, вымарывание из него фрагментов «несозвучных» советской эпохе»⁴

³ Шор В.М. Из истории советского перевода // Мастерство перевода. Сб. 13. М., 1990. С. 314—317.

⁴ Лекманов О. Осип Мандельштам. Жизнь поэта. М., 2009. С. 172—177.

Все эксперты сходятся в одном: в контексте задач, поставленных перед Мандельштамом издательством, отредактированная им версия самостоятельна (текст перелопачен практически весь), эффективна (текст сокращен и освобожден от политически нежелательных двусмысленностей) и привлекательна для читателя (текст облегчен, и читается легко — «Уленшпигель-лайт-энд-шорт»). Другое дело, что сами эти задачи не слишком кошерны, ибо *никак не считались* ни с авторской волей де Костера, ни с авторской волей его реальных переводчиков.

5

Мандельштам прекрасно сознавал, что ложное указание его имени на месте имени переводчика, не будучи дезавуированным, содержит в себе массу угроз. И забил тревогу сразу же после того, как узнал о казусе.

Из Крыма, где он находился, поэт послал Горнфельду телеграмму (увы, не сохранившуюся), в которой приносил извинения и предлагал компенсацию. По его настоянию и издательство вскоре подтвердило его слова, впрочем, не принеся никому никаких извинений и даже теперь не назвав имен пострадавших переводчиков.

Осип Мандельштам для Горнфельда — *«талантливый, но безпутный человек, умница, свинья, мелкий жулик»*⁵. Эта пятерка эпитетов выдает как знакомство с творчеством самого Мандельштама и признание его класса («талантливый», «умница»), так и крайнее раздражение в его адрес, возникшее скорее всего задолго до этой истории. Источник раздражения прямо называет А.Б. Дерман, друг и конфидент Горнфельда: *«Какой надменно-аристократический тон, когда он трактует о разных там Михайловских и какая простенькая, вульгарная вороватость. Это не случайное совпадение, — и в том и в другом случае это преломление нищиеанства сквозь призму русского поросенка»*⁶.

Тут имеются в виду иронические характеристики, данные Мандельштамом Н.К. Михайловскому в «Шуме времени» (в главках «Эрфуртская программа» и, особенно, «Семья Синани»). Но Михайловский был центральной фигурой всего круга «Русского богатства», к которому прочно принадлежал и Горнфельд! Так что ман-

⁵ Из письма А.Г. Горнфельда Р.М. Шейниной от 18 октября 1928 г. (РНБ. Ф.211. Д.266. Л.24). В другом письме ей же (от 17 мая 1929 г.) — «прохвощик» и т.д.

⁶ Из письма А.Б. Дермана от 23 октября 1928 г. (РГАЛИ. Ф.155. Оп.1. Д.296. Л.27об.). В этом же письме — еще одна фундаментальная для этой истории констатация: «Тиль Уленшпигель» — «оброчный мужик» Аркадия Горнфельда.

дельштамовские «наезды» в глазах этого круга смотрелись актами неслыханного кошунства и святотатства.

Но больше всего Горнфельда задевало другое: та уничижительная «критика» его переводческой работы, которую он вдруг обнаружил при сличении версий «Уленшпигеля» — своей и мандельштамовской. От того, что он и Мандельштам поймал на ошибках, «мозоль» не проходила.

Как литератор с 40-летним стажем, он понимал, что мандельштамовская версия в итоге лучше. Разве не об этом — его же слова в публичном письме: *«Хочу ли я сказать, что среди поправок нет ни одной приемлемой? Конечно, нет: Мандельштам писатель опытный?»* Но в особенности — эти, в письме частном: *«А если бы он (О. Мандельштам — П. Н.), дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж никак не пристроить!»*⁷

И сколько бы Горнфельд ни «жалел» Мандельштама, называя его даже «не плохим» и «ценным» человеком, больше всего ему хотелось посчитаться с обидчиком и максимально его ослабить. Но после двух своих открытых писем — опубликованной «Переводческой стряпни» и неопубликованного (написанного в последней декаде 1928 года) — он избрал для этого преедовитейшую тактику: «жалеть» Мандельштама, но бить, бить его — но чужими руками. Так, отказываясь присоединяться к Карякину в качестве истца, он тем не менее подает ему сигналы о том, как тому грамотнее всего действовать против издательства и Мандельштама.

6

Но попробуем далее временно воздержаться от комментариев и эмоций. Пускай выговорятся сами документы — письма, статьи, телеграммы, наброски, даже финансовые расчеты — благо все это вполне выразительные голоса. Они легко распределились по четырем отчетливым частям, каждая заняла по 3—4 месяца⁸.

Первая часть (фаза) — с октября 1928 года по январь 1929. Это реакция Горнфельда на выход своего «оброчного мужика» (Уленшпигеля), переделанного этой выскочкой Мандельштамом. И еще реакция Мандельштама на реакцию Горнфельда, а также Карякина, присоединившегося к дуэту с большим опозданием. Мандельштам тут, в основном, защищается.

⁷ Из письма А.Г. Горнфельда Р.М. Шейниной от 12 января 1929 г. (РНБ. Ф.211. Д.267. Л.2)

⁸ Сами документы см.: Знамя. 2014. № 2, 3.

Тем не менее Горнфельд опубликовал 28 ноября в той же газете свое «Письмо в редакцию» под заглавием «Переводческая стряпня», где, лишенный теперь возможности обвинить Мандельштама в плагиате, упрекает его и издательство в сокрытии имени настоящего переводчика, а главное — возражает против самого метода механического соединения двух разных переводов, а также их неквалифицированной, на его взгляд, переработки.

12 декабря 1928 года Мандельштам выступил с ответным письмом в «Вечерней Москве». Ответив на брошенные себе обвинения и показав существо своей работы над исходными текстами, он писал:

«Но неважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их канве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 верст для объяснений, чтобы заглазить нелепую, досадную оплошность (свою и издательскую)? Неужели он хотел, чтобы мы стояли на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы торгаши? Как можно не отделять «черную» повседневную работу писателя от его жизненной задачи?.. Неужели я мог понадобиться Горнфельду, как пример литературного хищничества?»

А теперь, когда извинения давно уже произнесены, — отбросив всякое миндальничанье, я, русский поэт и литератор, подъявшийся за 20 лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о «шубе»? Мой ложный шаг — следовало настоять на том, чтобы издательство своевременно договорилось с переводчиками, — и вина Горнфельда, извратившего в печати весь мой писательский облик, — несоизмеримы. Избранный им путь нецелесообразен и мелочен. В нем такое равнодушие к литератору и младшему современнику, такое пренебрежение к его труду, такое омертвление социальной и товарищеской связи, на которой держится литература, что становится страшно за писателя и человека.

Дурным порядкам и навыкам нужно свертывать шею, но это не значит, что писатели должны свертывать шею друг другу».

На что Горнфельд ответил письмом, — правда, не опубликованным, но разошедшимся в списках и представленным в суд и на слушания Комиссии ФОСП, — где говорилось: «Но Мандельштам до такой степени потерял чувство действительности, что, совершив по отношению ко мне некоторые поступки, в которых ему пришлось потом «приносить извинения», меня винит в том, что я нарушил его покой. Я не хотел и не хочу от него ничего; ни его извинений, ни его посещений, ни его волнений... Если скандал и произошел, то это очень хорошо: «явочному порядку» положен некоторый предел. Это должен приветствовать и Мандельштам: это избавит его от

сходных “ложных шагов” и неизбежно связанных с ними нарушений его покоя»⁹.

Тем не менее, как явствует из ответа Горнфельда на запрос Всероссийского Союза? писателей в связи с обращением в него В.И. Карякина, сам Горнфельд в это время добивался «только гласности и суда общественного мнения и потому совершенно удовлетворен той оглаской, которую получило дело». Ну, и еще отступного от издательства.

Мы видим на первой фазе у Горнфельда реакцию на выход своего «оброчного мужика» Уленшигеля, переделанного им выскочкой Мандельштамом, что особенно оскорбительно для 60-летнего литератора, сполна хлебнувшего при этом причитающихся каждому литератору «мук слова».

А какова реакция Мандельштама на реакцию Горнфельда, а также Карякина, присоединившегося к дуэту обиженных с большим опозданием? Он в основном защищается.

7

Во второй части свои отношения выясняют Мандельштам (точнее, Мандельштам и Бенедикт Лившиц) и новый директор ЗИФа Ионов, разорвавший с обоими договора.

Илья Ионович Ионов (Бернштейн) (1887—1942) — фигура примечательная. Никудышный революционный поэт, бывший шлиссельбуржец и партийный деятель, издательский работник, свояк Г.Е. Зиновьева. С 1918 года — на руководящих должностях в больших советских издательствах: в 1918—1923 гг. — в издательстве Петросовета и в Петрогосиздате, в 1924—1926 — в Ленгизе (Ленотгизе). В результате конфликта с заведующим ГИЗом Г.И. Бройдо в марте 1926 года был отстранен от должности и переведен в Москву. В 1926—1928 гг. — в США, где занимался закупками хлопка. В 1928—1930 гг. руководил издательствами «Земля и Фабрика» и одновременно в 1928—1932 гг. «Academia».

На «Academia» он и споткнулся. Защитить от него это культурное издательство и вообще советскую издательскую жизнь однажды у Сталина попросил даже Горький. 25 января 1932 года он написал вождю из Сорренто: *«Прилагая копию письма моего Илье Ионову, я очень прошу Вас обратить внимание на вреднейшую склоку, затеянную этим ненормальным человеком и способную совершенно разрушить издательство “Академия”.* Ионов любит книгу, это, на мой взгляд, единственное его достоинство, но он недостаточно грамотен для того, чтоб руководить таким культурным делом. Я знаю его с 18-го года,

⁹ РГАЛИ. Ф.155. Оп.1. Д. 584. Л. 20—22.

наблюдал в течение трех лет, он и тогда вызывал у меня впечатление человека психически неуравновешенного, крайне — «барски» — грубого в отношениях с людьми и не способного к большой ответственной работе. Затем мне показалось, что поездка в Америку несколько излечила его, но я ошибся, — Америка только развила в нем заносчивость, самолюбие и мещанскую — «хозяйскую» — грубость. Он совершенно не выносит людей умнее и грамотнее его и по натуре своей — неизлечимый индивидуалист в самом плохом смысле этого слова»¹⁰.

Просьба Горького была уважена, и с апреля 1932 года Ионов — руководитель акционерного общества «Международная книга». В 1937 году арестован, спустя пять лет умер в Севлаге.

Когда в начале 1929 года Ионов приехал из Москвы в Ленинград принимать у Нарбута дела «ЗИФа», с ним встретился Бенедикт Лившиц (Мандельштам с женой в это время был в Киеве). Е.К. Лившиц, вдова Лившица, вспоминала: «К Ионову Лившиц взял меня. Ионов остановился в “Европейской”. Лившиц зашел в номер один. Потом рассказал, что Ионов поздоровался с ним по-английски¹¹. Бенедикт Конст<антинович> ответил: *I do not speak English*. — Как же вы тогда переводите с английского? Договор был разорван»¹².

Отлучение от издательской кормушки до крайности затруднило материальное обеспечение существования Лившица и Мандельштама. И когда стало ясно, что консенсус с Ионовым недостижим, Мандельштам решил на «серьезную борьбу», но уже не за реанимацию договоров и возвращение к кормушке, сколько за системную реорганизацию всего переводческого дела. Он писал отцу из Киева: «...Я — обвинитель. Я требую <...> достойного применения своих знаний и способностей. <...> Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я это знаю. Я первый поднимаю вопрос о безобразиях в переводном деле — вопрос громадной общественной важности — и, поверь, я хорошо вооружен»¹³.

В этой части Мандельштам — хотя и жертва, но он не защищается, а нападающая сторона: кульминацией чего стал выход в «Известиях» его статьи «Потоки халтуры» 7 апреля 1929 года, еще через три месяца как бы продолженной статьей «О переводах», более всего напоминающей арьергардные бои, зато напечатанной не где-нибудь, а в рапповском «На литературном посту».

В. Мусатов, конечно же, прав, когда пишет о Мандельштаме: «Теперь он сам, а не Горнфельд становится жертвой издательской

¹⁰ См.: Документы XX века. Всемирная история в интернете. В сети: <http://doc20vek.ru/node/1583>

¹¹ Перед этим Ионов почти два года проработал в США.

¹² Мандельштам, 2009—2011. Т. 3. С. 797.

¹³ Из письма отцу в феврале 1929 г.

беспринципности», но он не прав, когда объясняет конфликт одними лишь мстительностью, мелочностью и властолюбием Ионова. Мандельштам, защищающийся от горнфельдовского обвинения в плагиате, порожденного оплошностью издательства, еще как-то понятен и приемлем, но Мандельштам, раскрывающий «рецепты» издательской «кухни» и выносящий из избы весь сор, — нет. И уж тем более неприемлем Мандельштам, требующий изменить *систему*, производящую этот прибыльный сор, — он вреден, он опасен, его нужно нейтрализовать! И Ионов, как многолетний представитель головки издательского сообщества, то есть той самой сориентированной на профит системы, на которую замахнулся Мандельштам, не мог не видеть в нем опасного бунтаря и антагониста. Просто, будучи адресатом мандельштамовского письма или писем, он узнал об этой угрозе первым, еще зимой 1929 года, а все остальные — весной, в апреле, со страниц «Известий».

У личного конфликта двух литераторов, и впрямь вцепившихся — на радость мещан — друг другу в волосы, вдруг обозначилась перспектива перерасти в общественный конфликт. Но не в мандельштамовском смысле («*свернуть шею дурным порядкам!*»), а в другом: свернуть шею самому Мандельштаму!

Во всем этом коренилась нешуточная для Мандельштама опасность. Было как бы заряжено и повешено на стенку ружье, которое обязательно еще выстрелит.

8

Задачу по приведению этой угрозы в исполнение взяли на себя два многоопытных человека — Сергей Канатчиков (заказчик) и Давид Заславский (киллер). В том, как это у них получалось или не получалось, — главная интрига третьей части «Битвы под Уленшигелем».

Эта фаза длилась с мая по июль 1929 года. Мандельштама вынудили вновь перейти к защите, причем оборонялся он от куда более опасного и опытного врага — фельетониста-«правдиста» Давида Заславского, попытавшегося — и не без успеха — заполучить себе в союзники и Горнфельда и превратить фельетонную критику Мандельштама в его травлю.

Направляющей рукой, а одновременно главным редактором печатного органа, где происходила травля, и председателем писательского суда (конфликтной комиссии) был **Семен Иванович Канатчиков** (1879—1940) — старый большевик, удостоенный Лениным разговора и приставленный Сталиным к литературе (хотя все его писания, — в 1938 изъятые из библиотек, — это рассказы о партийной молодости: «История одного уклона», «Как рождалась Октябрьская революция», «Из истории моего бытия»; «Рождение колхоза»).

В его послужном списке встретим и НКВД (1919, член коллегии), и Малый Совнарком, и комуниверситеты в Москве и Питере. В 1924 году он спланировал в журналистику и печать — на самый верх: в 1924 — заведующий отделом печати ЦК РКП(б), в 1925—1926 годах — заведующий отделом истории партии ЦК ВКП(б), при этом в 1925 году возглавлял еще и Государственный институт журналистики. В 1926—1928 гг. — корреспондент ТАСС в Чехословакии. Делегат XIV съезда ВКП(б), где выступил с содокладом к докладу И. Вардина об идеологическом фронте и задачах литературы, в котором напал на А. Воронского, Канатчиков в 1925—1927 гг. — участник «Ленинградской» и объединенной оппозиции, но затем с оппозицией порвал.

С 1928 года он на литературной работе: в 1928—1929 гг. редактор журналов «Красная новь» и «Пролетарская революция», в 1929—1930 — ответственный редактор (первый в их длинном ряду!) «Литературной газеты», главный редактор ГИХЛ. На посту главного в «Литературке» Канатчиков продержался до сентября 1930 год. Конец жизни — трагический: арестован в 1937, расстрелян в 1940 году.

Первый номер «Литературной газеты» вышел 22 апреля 1929 года. Понятно, что содержание первого и нескольких последующих номеров формировалось заранее и что статьи заказывались, очевидно, главным редактором. Уже в первых двух номерах появляются подборка различные заметки, посвященные вопросам перевода, поднятым Мандельштамом в «Известиях». Казалось бы, впереди плодотворная дискуссия по этому больному и важному вопросу. Но не тут-то было: в третьем — за 7 мая — номере появляется фельетон «О скромном плагиате и развязной халтуре» — этот, по выражению Е.Б. и Е.В. Пастернаков, «...классический образец неуязвимой инсинуации» и «ловкой шулерской передержки». Это, конечно, лишь случайное совпадение, но Заславский, тщательно фиксировавший все свои доходы, получил за него сакраментальную тридцатку¹⁴.

Вот логические ходы, или «шаги», фельетониста. Сначала — описание элементарного плагиата, кончившегося привлечением виновного в Киеве к уголовной ответственности. Далее: в отличие от деятельности разоблаченного «плагиатора» развязная деятельность литератора, редактирующего чужое переводное произведение, судебно не наказуема, хотя, в изложении Заславского, — это не только «развязная халтура», но и точно такой же плагиат. Кто же (следующий шаг) осуждает развязную халтуру? Это делает халтурщик Мандельштам, требующий в своей статье суда над халтурщиками. В третьей части фельетона Заславский, с помощью цитат из Горнфельда, характеризует Мандельштама как пример той самой недобросовестности, что

¹⁴ Из дневника Д. Заславского: перечень гонораров за май 1929 г. (РГАЛИ. Ф.2846. Оп.1. Д. 75. Л.212об.).

осуждает сам Мандельштам. В концовке фельетона — воображаемый суд Мандельштама-критика над Мандельштамом-редактором. В итоге критика Мандельштамом переводного дела выворачивается наизнанку и обращается против него самого.

Этот фельетон развернул дискуссию совершенно в другую сторону — в сторону самого Мандельштама и положил начало тому, что стороны по заслугам называли «Делом»: «делом об Уленшигеле» — Горнфельд и «делом Дрейфуса» — Мандельштам.

В следующем, четвертом, номере «Литературной газеты» (13 мая) были помещены письма в редакцию, во-первых, самого Мандельштама, где, в частности, говорится: *«Опубликование же всякого рода заведомо ложных, неполных, неточных или подтасованных сведений, а также порочащих человека немотивированных сопоставлений называется клеветой в печати. Так называется поступок со мной гр. Заславского...»*. Там же — письмо к защите Мандельштама, подписанное 15 известными писателями: К. Зелинским, В. Ивановым, Н. Адуевым, Б. Пильняком, М. Казаковым, И. Сельвинским, А. Фадеевым, Б. Пастернаком, В. Катаевым, К. Фединым, Ю. Олешей, М. Зощенко, Л. Леоновым, Л. Авербахом и Э. Багрицким.

Канатчиков хотел завершить дискуссию уже готовым ответом Заславского (его продажное перо и так «муками слова» не страдало, а тут он просто-напросто перепечатал «Переводческую стряпню» А.Г. Горнфельда, а также упомянул некое частное письмо Мандельштама, где тот просил у Горнфельда снисхождения и предлагал ему — во избежание огласки — деньги). Но после протестов писателей этот ответ был перенесен на пятый номер, вышедший 20 мая.

Далее следовала заметка «От редакции», поставившая жирную точку во всем этом «деле». Но прежде всего в начатой Мандельштамом, подхваченной другими переводчиками, но так и не развернувшейся дискуссии о переводческом ремесле. Дискуссия, правда, успела породить комиссию («бюро») из переводчиков и издательских работников (Сандомирский, Эфрос, Зенкевич, Мандельштам, Ярхо, Ромм и Мориц). Но после фельетона Заславского бюро это признаков жизни уже не подавало. Вторая комиссия (тоже «бюро»!) была создана ФОСП 21 мая — в составе Эфроса, Зелинского и Белья Иллеша — для проработки вопроса об урегулировании переводческого дела. О достигнутых ею результатах пишущему эти строки ничего не известно.

Так что издательское начальство снова могло расслабиться и спокойно вернуться к своим некошерным схемам.

А подыгравший им Канатчиков — к своим. Сообщая о передаче самого «дела» в Примирительно-конфликтную комиссию ФОСП, редактор «Литературки» скромно умолчал о том, что он и сам вошел в ее состав. Комиссия заняла сначала примирительную, а потом конфликтную по отношению к Мандельштаму позицию.

Канатчиков между тем остановил уже написанное и подписанное письмо в защиту Мандельштама группы других писателей — ленинградских: для этого оказалось достаточно намекнуть подписантам, что на это очень косо посмотрят в ЦК. Так Мандельштама отрезали от его защитников, а его «дело» стало быстро перерождаться из личного конфликта в общественную травлю.

В своей статье, посвященной 80-летию «Литературки», Ольга Быстрова совершенно напрасно начинает историю ее дискуссий с полемики по поводу детской литературы — обвинения в адрес Детского отдела ГИЗ и конкретно против С. Маршака. Дискуссия была острой, но все же не переросла в травлю, особенно после того, как за Маршака заступился Горький (на страницах «Правды»).

Именно дискуссия о Мандельштаме, подменившая собой дискуссию о переводе, стала подлинным дебютом этого многообещающего жанра — полудискуссии-полутравли — в «Литературной газете».

Подтверждения перспективности жанра не заставили себя долго ждать. Тот же 1929 год характеризуется раздуванием инцидентов с Б. Пильняком и Е. Замятиным, напечатавшими свои произведения («Красное дерево» и «Мы») за границей.

Следует заметить, что травли писателями писателей тогда еще были в диковинку, а вот в науке, в образовании, в музейном деле травли — своего рода чистки для беспартийных попутчиков — стали самым обычным делом. Круче всего было в экономике — отказ от НЭПа и возвращение на социалистические рельсы требовали здесь уже не проработок, а крови. Поэтому раньше всего от травли к жесточайшим репрессиям перешли в промышленности («Шахтинское» дело, позднее «Промпартия» и т. д.) и сельском хозяйстве (раскулачивание как тотальная атака на крестьянство).

9

Чтение писем Заславского Горнфельду выявляет нечто, чрезвычайно обоих объединяющее: это жалость к Мандельштаму. Заславскому померещился мандельштамовский некролог, и он, бедный, целых полчаса после этого не мог прийти в себя.

Но Заславский профессионал, и сопли ему не к лицу. Поэтому 5 июля он наносит следующий удар по цели: в «Правде» — его новая статья против Мандельштама («Жучки и негры»), где описывалась эксплуатация одних писателей («негров») другими («жучками»). Избегая называть Мандельштама по имени, он обвинил его в принадлежности к «жучкам». Разумеется, ни словом он не обмолвился о самых верхних этажах этого вертикального уродства — о монструозных «жуках»,

каковыми являются сами крупные издательства, заточенные под ту самую дешевку и халтуру, от обсуждения которых он, Заславский, их так ловко избавил.

Давид Иосифович Заславский (1880—1966) — в прошлом политический активист и член ЦК «Бунда», одинаково пламенный публицист «Киевской мысли», меньшевистской — столь ненавистой Ленину — газеты «День» и большевистской «Правды». Сюда он пришел совсем незадолго до травли Мандельштама — в 1928 году, по приглашению М.И. Ульяновой, секретаря редакции. Писание фельетонов он сравнивал с изготовлением из фактов ухи: *«Очистив факты от потрохов, переварив в уме своем и отцедив затем, получаем тему. Ее либо прямо пускаем в дело, либо кладем в засол, либо даем дозреть»*¹⁵. Пришел беспартийным — но в 1934 году обзавелся и красной корочкой. На лацкане его пиджака постепенно обжились ордена, в том числе два ордена Ленина.

Что ж, по заслугам! Он был крупным специалистом по травлям, к тому же их инициатором и энтузиастом: среди его жертв — Мандельштам, Эйзенштейн, Шостакович и Пастернак. *«Я превосходно понимаю, как надо писать, — исповедовался он Шкапской. — <...> Любой вопрос советской современности кажется мне в миллион раз более важным, в миллион раз более заслуживающим внимания, чем огорчения крохотных людей о том, что я “погубил свою душу”...»*¹⁶

Некоторой особенностью литературной травли конца 1920-х — начала 1930-х была публичность и остающаяся у травимого возможность защищаться, что резко отличало ее от сворной и односторонней — «все на фас и на одного!» — травли образца середины 1930-х или конца 1950-х гг. Так что Мандельштаму, можно сказать, «повезло».

Бросается в глаза, что все, кого Заславский завербовал к себе в сторонники, морщатся и испытывают при этом некоторое замешательство и рвотный рефлекс: Дерман — Горнфельду: *«По существу очень верно, но лучше бы кто другой написал»* (11 мая)¹⁷; Горнфельд — Дерману, 15 мая: *«Хуже всего, что придется делать общее дело с Заславским»*¹⁸; Дерман — Горнфельду, 15 мая: *«Жалко, что не кто-нибудь другой написал о Мандельштаме», а то с этим не хочется входить в сношения. Будь бы кто-то другой, я бы позвонил и сказал, что могу дать кое-какие пояснения»*¹⁹. Ничто так не говорит

¹⁵ Талант, отданный газете. К 100-летию со дня рождения Д.И. Заславского. М. 1980, С. 43—44.

¹⁶ В письме от 14 декабря 1929 г. (РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Д. 320. Л. 12—14)

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 47об.

¹⁸ РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 21. Л. ???.

¹⁹ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 49—50.

об устойчивости нерукопожатной «репутации» Заславского, как эта инстинктивная гримаса.

Да он и сам соглашался с оценкой других: да, ренегат! (В подтексте — да, подлец!) Но это не важно, потому что «ренегатство» — это всегда краски прошлого и из прошлого, а он, Заславский, флюгер и хамелеон, он живет сейчас, он востребованный боец, — отчего и принимает окрас современности, какую бы она ни была.

Принципиальная «флюгерность» Заславского проявилась позднее даже в такой теме, как Холокост. Нет, не случайно именно он оказался адептом столь «популярного» среди антисемитов тезиса о самоответственности евреев за Катастрофу.

Вот выдержка из его записей о харьковских евреях, сделанная 12 декабря 1943 года — вскоре после казни немецких военных преступников, осужденных на Харьковском показательном процессе:

«...Несомненно то, что погибшие составляли самую неустойчивую, наименее достойную часть советского еврейства, — часть, всего более лишенную и личного и национального достоинства. Еврей, который по тем или иным причинам остался при немцах и не покончил с собой, сам приговорил себя к смерти. И если он еще к тому же из личных выгод оставил при себе детей, обрекши и их на смерть, он предатель»²⁰.

Если бы партия затребовала фельетончик и на эту тему, и с таким душком — написал бы. Факты от потрохов он уже отделил.

10

В этой битве под Уленшпигелем есть один очень поучительный момент — ее прерождение из сугубо частного конфликта в литературно-общественную травлю, а под конец и чуть ли не в политический процесс. Причем видно, как со временем политическое набирает силу и нагнетается.

Неприметные признаки этого рассыпаны в различных «документах дела». Вот 25 мая Заславский бросает Горнфельду: *«После бурь внутриредакционных и внередакционных (даже весьма вне)...»²¹*. Что это за внередакционные бури за такие? В каких таких кабинетах побывал Заславский в поисках направления ветра?

А 4 июня он же бросает Горнфельду еще одну идеологическую кость: *«...Работа Мандельштама сводилась именно к кастрации»*

²⁰ См.: Полян П. Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о Холокосте. М., 2010. С. 537—539 (по: РГАЛИ. Ф. 2846. Оп. 1. Д. 39. Л. 1—10).

²¹ Из письма Д.И. Заславского А.Г. Горнфельду от 25 мая 1929 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 316. Л. 5—8)

социально-революционной стороны «Тия», как по содержанию (выброшены песни Тия и целый ряд глав), так и со стороны стиля: грубовато-революционный язык Тия заменен бесстыльной манной кашей Мандельштама»²².

Но мы уже читали у Лекманова, что на самом деле Мандельштам по ходу своей редакции, отчасти и идеологической, делал прямо противоположное — прививал национально-религиозному «дичку» восстания гезов только что не пролетарскую «розу».

Горнфельд остался к этому равнодушен, но тезис о «кастрации социально-революционной стороны» вполне мог иметь успех, например, у части старых революционеров. Не с этим ли связано появление имени В. Фигнер в рядах партии противников Мандельштама, о чем Лукницкому рассказывал Пяст?²³

О том, что не все так просто в этом поединке, догадывался и Пастернак, писавший Цветаевой 30 мая 1929 года: *«Теперь против него поднята, действительно недостойная травля, и как всё у нас сейчас, под ложным, разумеется, предлогом. Т. е. официальные журналисты, являющиеся спицами левейшего колеса, нападая на него, сами м. б. не знают, что в своем движении увлекаются приводной тягой правого. Им и в голову не приходит, что они наказывают его за статью в «Известиях», что это, иными словами, действия всяких старушек, от «Известий» находящих за тысячи верст. Это очень путаное дело»*²⁴.

Спустя две недели, 14 июня, Пастернак пишет в связи с Мандельштамом (на этот раз Тихонову) о том, *«...как трудно временами становится читать газеты (кампания по «разоблачению бывших людей» и пр. и пр.)»*²⁵. Это очень важная обмолвка.

Одно и то же событие, один и тот же поступок, одно и то же слово серьезно меняют свой смысл в зависимости от времени его произнесения или совершения. И, может статься, что те, кто настаивают на чем-то одном и своем, идут вовсе не вдоль моря, по щиколотку в соленых брызгах, а поперек, с каждым шагом уходя все дальше на глубину и погружаясь во все более и более рискованные слои.

Так, в феврале 1930 года Мандельштаму пришлось отвечать на вопросы уже не о разнице между переводами, а о том, что он делал в Феодосии при белых.

²² РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 316. Л. 9.

²³ См. запись в дневнике П.Н. Лукницкого за 25 июня 1929 г. (Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого / Публ. В.К. Лукницкой. Предисловие и примечания П.М. Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам. М., 1991. С. 143).

²⁴ Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 годов / Изд. подготовили Е.Б. Коркина и М.Д. Шевеленко. М., 2004. С. 508—509.

²⁵ Пастернак, 1992. С. 277.

11

Созданная ФОСП (руководитель — Канатчиков) еще 12—13 мая 1929 года Комиссия для разбора обвинений, предъявленных Мандельштаму «Литгазетой», работала над своим заключением более полугодом — вплоть до декабря.

Инициатором ее создания была редакция «Литературной газеты» (ответственный редактор — Канатчиков). Ее первый состав: юрист Николаев, крестьянский писатель Александр Алексеевич Богданов, марксистский критик и литературовед В. Львов-Рогачевский (Василий Львович Рогачевский), а в председателях — Канатчиков!

Первое действие комиссии: письмо Горнфельду с запросом об отношении к «Делу». Тот, по обыкновению, повторил свои обвинения и отошел в сторону: мол, ничего личного!

Комиссия же в мае приняла классическое соломоново решение: неправы все — и издательство, и Мандельштам, но он не один такой, он был в мейнстриме; не прав и Заславский, допустивший неподобающий тон. На этом инцидент объявляется исчерпанным, все свободны.

Но 10 июня деятельность комиссии была возобновлена, и ее решения приняли достаточно ясный антимандельштамовский характер, осуждающий тот самый «мейнстрим», но исключительно в его лице. Заславский же был резок, но справедлив.

Параллельно в Московском губсуде шел процесс Карякина против ЗИФа, к которому ионовское издательство привлекло уже Мандельштама — в качестве соотчетчика. 11 июня суд рассмотрел, но не удовлетворил иск В.Н. Карякина на том основании, что мандельштамовская обработка «является совершенно самостоятельным произведением»²⁶. Миссию информирования общественности об этом процессе взяли на себя другие газеты — «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва».

А 5 августа — ввиду наличия формальных моментов, дающих повод к пересмотру, — была создана новая комиссия ФОСП в составе Селивановского, Габриловича, Павленко и Богданова (то есть уже без Канатчикова). Результаты ее работы до нас не дошли.

Зато дошла реакция Мандельштама — «Открытое письмо советским писателям» и «Четвертая проза».

12

Четвертая часть (фаза), вобравшая в себя осень 1929 и зиму 1930 гг., — быть может, самая проигрышная для Мандельштама-

²⁶ П. Р. Суд и быт. Авторский спор. Дело О. Мандельштама и Карякина // Вечерняя Москва. 1929. № 136. 17 июня. С. 3.

«сутяжника», но явно победительная для Мандельштама-поэта. Завершающие ее наброски писем Мандельштама советским писателям — писем-пощечин — не что иное, как подступы к «Четвертой прозе». Последняя и сама явно просилась в эту «четвертую часть», недаром сразу в нескольких ее главах упоминаются Горнфельд.

Но в феврале 1930 года ему предстояло пройти через горнило куда более серьезной, нежели все фосповские, комиссии — скорее всего персональной комиссии Замоскворецкого райкома ВКПб: «<...> Теперь дело “Дрейфуса”. Сразу по приезде — вызов на пленум комиссии. Четырехчасовой допрос, вернее моя непрерывная речь. Был ужасно собой недоволен. Наутро: “Вы нам дали много ценных указаний, не волнуйтесь, не требуйте с себя невозможного. Мы это дело затягивать не собираемся”. Далее: дело разбито на секторы. Каждый следовательно работает со мной отдельно. Был вызов по линии ФОСПа. Допрос — 3 часа. След<ователь> — женщина, старая партийка, ред<актор> «Молодой Гвардии». Тянула из меня формальные пункты обв<инения>. Вытянула, как зубной врач, — 17 штук. Осталась недовольна. Велела организовать себя дома и дослать почтой. Сделано. У **Березнера**²⁷ на комиссии прорвалось: “Имейте в виду, что фельетон был **заказан**... Третьего дня четырехчасовой допрос по Зифу. Метод — письменные ответы на месте в строгих рамках вопроса. **Терпенье** — колоссальное. До чего я не умел до сих пор сказать главное!»²⁸

В другом письме, от 13 марта: «Стоит ли тебе говорить, какой бред, какой дикий тусклый сон всё, всё, всё. Мучили с делом, пять раз вызывали. Трое разных. Подолгу: 3—4 часа. Не верю я им, хоть ласковые. Только Рузер²⁹ по ФОСП’у верю вполне: откровенна, серьезна и большая теплота человеческая. Зачем я им? Опять я игрушка. Опять не при чем. Последний вызов к какому-то доценту: рассказать всю свою биографию. Вопрос: не работал ли в белых газетах? Что делал в Феодосии? Не было ли связи с Освагом??? Ведь это бред. Указал на феодос<ийских> коммунистов. (!). Прочел я ему стихи про Керенского и др... Указал ему сам все неладное в стихах. “Шум Вр<емени>” он изучил. На машинке цитаты принес — мне показывает, просит объяснений. Тон дружеский. Говорит, мы знаем все про Ионова и др. Должны и про вас все знать... Не позже, чем через 10 дней будет созвано заседание для оглашения выводов комиссии. Пригласят всех — Зиф, Фосп и т. д. Дадут высказаться: «Пусть узнают свое место на общем фоне и сделают свои замечания;

²⁷ Секретарь Замоскворецкого райкома ВКП(б).

²⁸ Из письма жене от 24 февраля 1930 г. (Т. 3. С. 34).

²⁹ Рузер (Рузер-Нирова) Нина (Мирра) Александровна (1884 — ?) в 1930 г. — инструктор отдела печати ЦК ВКП(б), заместитель редактора издательства «Молодая гвардия».

у нас не Федерация; полемики между ними не допустим». А решение вынесет другой состав — высший — и напечатают. Потребовал прислать ему все мои книги и хронологический листок биографии. В заключение — „Мы достаточно авторитетны — вашим прошлым (писательским?) (или вроде того) никто вас не попрекнет. Плюньте на княгиню Марью Алексеевну“... О самом деле — ни слова. Вызвали Зенкевича: о деле ни слова (“все и так ясно”). Только общую характеристику и особенно период у белых (прямо анекдот). Похоже, что хотят со мной начисто договориться: кто я, чего хочу и т. д. Если бы так — то это хорошо. Но знаю одно: я не работник, Я — дичаю с каждым днем».

А в концовке того же письма: «Я один. Ich bin arm. Все непоправимо. Разрыв — богатство. Надо его сохранить. Не расплескать».

В начале 1930 года Мандельштам пишет «Открытое письмо советским писателям» — не что иное, как подступ к «Четвертой прозе», если не ее первую редакцию: «Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо иметь, чтобы после года дикой травли, пахнувшей кровью, вырезать у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его “морально ответственным” и даже ни словом не обмолвиться по существу дела... Я ухожу из Федерации советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы!».

На паях с армянскими впечатлениями 1930 года, эта проза послужила отличным трамплином к возвращенью осенью самого главного, что только может быть у поэта, — его стихов! В этом смысле и Горнфельд, и Ионов, и Канатчиков, и Заславский оказались невольными ассистентами того непредсказуемого сценария и повитухами того волнующего процесса, что вернул Мандельштаму его поэтический голос.

Но вот что интересно: из этой квадриги в «Четвертой прозе» помянут один лишь Горнфельд, названный к тому же в сердцах еще и киллером! За что, почему?!

Да потому что Горнфельд — единственный из всех, в ком Мандельштам, при всем различии и даже незнакомстве, признает и товарища по цеху, и старшего современника! И единственный, кого он еще может в чем-то хотя бы упрекнуть, — в отсутствии солидарности и товарищеской связи, например. Единственный, кого он может еще ненавидеть — за мелочность, за котурны морального превосходства, за то, например, что оказался заодно с теми, кого Мандельштам и ненавидеть не может, а только презирать! С Канатчиковым, с Ионовым, с Заславским!..

Благодаря ему, Дантесу с Бассейной, еще не написанная концовка «Волка» — «...И меня только равный убьет!» — приобрела дополнительный — и скорее комический — смысл.

В отрыве же от этого, сами по себе, упоминания и характеристики Горнфельда в «Четвертой прозе» вполне могут восприниматься как ничем не мотивированные личные выпады и оскорбления заслуженного и большого литератора.

Ефим Эткинд однажды даже вступился за его честь: *«Если бы мне пришлось писать комментарий к этим строкам, я бы прежде всего сказал читателям: автор “Четвертой прозы” пребывал в состоянии клинически болезненного раздражения; он несправедливо оскорбляет литератора, самоотверженно трудившегося всю свою невыносимую жизнь и бывшего — в отличие от Мандельштама — прекрасным и добросовестным переводчиком; книга же “Муки слова” (1906, 1927) — труд замечательный, и последнее, что можно сказать о ее авторе, — это что он “рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу”.* В данном случае Мандельштам написал просто нелепость — злоба ослепила его. Почему комментаторы не заступились за Горнфельда? Не потому ли, что великий Мандельштам не может быть низким, а злодей Горнфельд — всегда злодей?»³⁰.

Раздражен ли Мандельштам в «Четвертой прозе»? — О да, несомненно, еще как!

Но ослепила ли его злоба? — Нет, но скорее сводящее скулы отчаяние. Отчаяние от себялюбивой слепоты и пошлой мелочности того, кто толкает собрата по литературе — мнимого вора своей «шубы» — навстречу реальной травле, запрету на профессию и смертной тоске. Мандельштам и тут прибег к своему излюбленному прозаическому приему — усилительной оптике *«сквозь птичий глаз»*, но Аркадий Горнфельд (*«литературный убийца»*), как и Дмитрий Благой (*«лицейская сволоочь»*), попались ему отнюдь не просто так, не под горячую руку.

Осип Эмильевич сразу же уловил, что вся шубейно-буржуазная порядочность Горнфельда в этой истории — лишь маскировка его литераторской (здесь переводческой) спеси и, как отчетливо видно из переписки, меркантильного интереса. Неумение встать над этим — или хотя бы выбраться из-под этого — и привело благочестивого Горнфельда в столь специфические объятия.

Кутаясь в полы своего ненаглядного и, как подтвердил суд, не похищавшегося «пальто», Аркадий Горнфельд дал своему самолюбию перерасти в тот слепой конформизм и послушный сервизм, что, собственно, и стали орудиями инкриминируемого ему «убийства».

От Канатчикова же, Ионова и Заславского не осталось ничего, кроме нескольких законных строчек в комментариях к «Четвертой прозе»...

³⁰ Эткинд Е. О рыцарях со страхом и упреком // ЛГ. 1992. № 20. 13 мая. С. 6.

P. S. В сугубо практическом плане у этой истории оказалось еще одно — в полном соответствии с концовкой мандельштамовской статьи «Потоки халтуры» и тем не менее довольно неожиданное — последствие.

А именно: скорое, уже в июле 1930 года, открытие в Москве Института иностранных языков³¹.

³¹ Д. Зубарев сделал об этом 18 марта 2010 г. специальное сообщение в Мандельштамовском обществе.

СОЛНЕЧНАЯ ФУГА ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА: ЗАМЕТКИ О «ПУТЕШЕСТВИИ В АРМЕНИЮ»

*Георгию Кубатьяну и Гаянэ Ахвердян
Памяти Левона Мкртчяна*

1

*...Вождеденное путешествие в Армению,
о котором я не переставал мечтать¹.*

Мандельштам и Армения... Это было не случайное совпадение человека и места во времени, тут есть своя predeterminedность.

В круге общения поэта, в его нелитературных занятиях, в выборе маршрутов его путешествий, наконец — всегда есть некая системная, хотя и не систематическая жесткость. Случайным может быть повод, но не причина, а она лишь на нужное взглянет с улыбкой.

В записных книжках Мандельштам признается: *«Никто не посылал меня в Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского немца и просвещеннейшего из чиновников Шопена... Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым по совести и не мог относиться иначе как к липовым, я выбрался с соломенной корзинкой в Эривань (в мае 30-го года), — в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее города и могилы, набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историческим воздухом»².*

Столь же закономерен и весь тематический строй посвященных Армении мандельштамовских стихов и прозы. *«Книжка моя говорит*

¹ Записные книжки (Мандельштам, 1968. С. 184).

² Там же. С. 182—183.

о том, что глаз есть орудие мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о „вещах“, — писал он Мариэтте Шагинян³. Мандельштам, вечно сомневающийся в том, «хорошо» или «нехорошо» он живет⁴, в итоге отчетливо сознает, сколь «хорошей» и нужной была для него эта поездка...

Само путешествие началось весной 1930 года в одном из сухумских домов отдыха⁵ и, обрамленное остановками в Тифлисе, продлилось более полугода.

Во что же вылилось пребывание Мандельштама в Армении, чем обернулось общение поэта и страны?

Прежде всего — это стихотворный цикл «Армения» (плюс несколько сопутствующих и развивающих стихотворений) и проза: «Путешествие в Армению». Стихи, в основном, были написаны по свежим следам — в октябре — ноябре 1930 года в Тбилиси (вскоре цикл увидел свет — в мартовской книжке «Нового мира» за 1931 год). Над прозой Мандельштам работал в 1931—1932 гг., о чем свидетельствуют его записные книжки и заметки⁶. Само же «Путешествие в Армению» впервые было напечатано в мае 1933 года в «Звезде» и затем дважды издавалось в Армении⁷.

2

...Даже превосходному музыканту иная fuga Баха может с первого взгляда показаться хаосом звуков; но и посредственный музыкант при повторном слушании сквозь этот хаос узрит ясные величественные линии⁸.

При первом чтении или просмотре мандельштамовского «Путешествия в Армению» читатель, воспитанный на привычной всем сюжетной прозе и наделенный педантическим складом ума, вероятно, впадет в недоумение. Его логика восстанет и возропщет против царящих здесь хаоса и внешней безалаберности.

³ Там же. С. 191.

⁴ Ср.: «Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимаю из себя какие-то дожимки и остатки» (Там же. С. 184).

⁵ См. об этом: Лакоба С. Абхазия тридцатых — глазами поэта // Советская Абхазия. 1981, 9 января.

⁶ ВЛ. 1968. № 4. С. 181—191 (публ. И.М. Семенко).

⁷ См.: Литературная Армения. 1967. № 3. С. 82—101; Глазами друзей. Ереван: Айастан, 1967. С. 167—205).

⁸ Швейцер А. Иоганн Себастиан Бах. М.: Музыка. 1964. С. 156.

В самом деле, что же объединяет эти, казалось бы, бессвязные куски? Почему на протяжении всей книги ощущение ее целостности нас не покидает? Иными словами: каково то целое, та система, структура которой задана неформальным оглавлением книги?

Мандельштам не скрывает, он даже подчеркивает **членимость** своего «Путешествия» и указывает на его этажи. Прежде всего это главы: «Севан», «Ашот Ованесьян», «Москва», «Сухум», «Французы», «Вокруг натуралистов», «Аштарак» и «Алагез».

Каждая из этих восьми главок дробится на обособленные в тексте фрагменты, или периоды! Длина главок, длина периодов и число самих периодов в разных главах — величины крайне нестабильные и переменчивые⁹. Глава «Ашот Ованесьян», например, состоит из одного-единственного периода, а главы «Москва» и «Алагез» насчитывают их более чем по десятку. Видимо, непропорциональность и асимметрия были существенны для автора, столь высоко ставившего «пчелиное», «стереометрическое чутье» Данта¹⁰.

Конструктивное назначение периодов и их эстетическую идею выдает сопоставление их друг с другом. Каждый приурочен к чему-то одному — либо по мысли, либо по теме (чаще всего одновременно). Таким образом, период замкнут, конечен, ограничен: это условно неделимая единица мандельштамовской прозы, ее в полном смысле структурный элемент, задающий собой ее скачущую, но при этом чрезвычайно упругую ритмику.

Внутри периода может ничего не происходить, но может и происходить нечто поступательное, являющее или напоминающее собой сюжетное действие (то есть сюжет в «Путешествии» жив, но это не сама река, а как бы ее водосбор — множество журчащих в нее речушек или ручейков). Друг друга же периоды, как правило, не продолжают и не развивают, даже если и прослеживается их хронологическое единство: чем здороваться с ближними, предпочитают аукаться с дальними.

Уловить закон (закон и произвол!) этого ауканья в прозе, этой ассоциативной переклички — значит понять характер ее внутреннего межэлементного сцепления, рекомпозиции, выявить, так сказать, механизм ее целостности. Но одного семантико-тематического анализа недостаточно, ибо в прозе этой тем не менее важен и конструктивен ее стилистический «почерк»: перо поэта!

⁹ Тот же принцип в «Египетской марке» и в «Разговоре о Данте». На важность разграничивающих отдельные фрагменты «спусков» в «Египетской марке», отмечая их в корректуре и настаивая на восстановлении, Мандельштам писал своему редактору т. Коробовой (*РНБ. Ф. 474. Альб. 2. Л. 52—58*).

¹⁰ *Мандельштам, 1967*. Недаром, начиная с 1913 г., О. Мандельштам не писал сонетов (кроме шуточных), и даже его переводы из Петрарки (1932—1933 гг.) во многом размыывают общие представления о сонетном каноне.

Все это необходимо осмысливать и как двойственность, и как двуединство. На эту методологию применительно к Данту указывал и сам Мандельштам. Он, с одной стороны, писал, что в поэтической речи (а «Путешествие в Армению», бесспорно, относится к таковой), «если ее уподобить ковру (*«прочнейший ковер, сотканный из влаги»*), — «... струи Ганга, взятые как текстильная тема, не смешиваются с пробами Нила или Евфрата, но пребывают разноцветны — в жгутах, фигурах, орнаментах...» («Разговор о Данте»). Но главное здесь — исполнение, послушание партитурному приказу, главное — в «геологии дирижерской палочки» — в «существующей только в наплывах и волнах, только в подъемах и лавированьях поэтической композиции» (Там же).

Такое представление о литературной целостности вызывает метафорическую аналогию с некоторыми музыкальными жанрами и прежде всего с *фугами*.

Говоря о главном труде Дарвина, Мандельштам заметил: «*Происхождение видов*», как литературное произведение — большая форма естественно-научной — мысли. Если сравнить ее с музыкальным произведением, то это не соната и не симфония с нарастанием частей, с замедленными и бурными этапами, а скорее сюита. Небольшие самостоятельные главы...»¹¹.

Сюита — особенно в современном ее понимании — весьма свободная циклическая форма, с более или менее контрастными по характеру частями. В XX веке окончательно развеялся канон баховских времен — все части сюиты уже не выдерживаются в одной тональности, зато сюитам в целом стал придаваться тематически программный характер, чего раньше не было.

Как видим, сходство очень велико, и исследователи отдельных поэтических циклов Мандельштама не прошли мимо него¹². Тем не менее сходство это чисто морфологическое, то есть более или менее внешнее; почти не затрагивающее вопросов семантики и тематической структуры этих, как правило, «полифонических» по смыслу произведений.

Поэтому в случае «Путешествия в Армению» более убедительной и плодотворной метафорой-анalogией представляется аналогия с фугой¹³.

Определяющими и первичными в процессе формообразования фуг являются закономерности музыкального тематического развития, тогда как тональный план или, например, распределение кадансов

¹¹ Мандельштам, 1968. С. 197.

¹² Так, Ю.И. Левин заметил это в случае цикла «Армения» (в «Стихах о неизвестном солдате», на его взгляд, более оправдана аналогия с ораторией).

¹³ В своем анализе я опирался на исследование: Асланишвили Ш. Принципы формообразования в фугах И.С. Баха (хорошо темперированный клавир). Тбилиси, 1975.

играют в фуге важную, но вторичную роль-функцию. В изложении темы качественно различаются два типа ее проведения — экспозиционное (то есть первоначальное, появляющееся в экспозиции, но с учетом некоторых интонационных и гармонических изменений в тональном ответе и модулирующих темах) и разработочное (проведение темы с различными — более или менее значительными — модификациями, развитие темы). Кроме того, выделяются интермедия, то есть различная по масштабам часть фуги, в которой проведение темы отсутствует¹⁴, кода, т. е. последняя часть фуги (ее размеры самые различные, проведение темы в ней может быть, а может и не быть) и окончание, то есть короткое построение в конце фуги без признаков коды и без проведения темы.

Делению всей формы фуги способствует также повторение какого-либо построения на расстоянии, причем повторяемое построение сохраняет функцию первоначального изложения (периодическое же повторение какого-либо структурного элемента создает так называемую рондообразную форму). Благодаря такому членению фуги ее целостность воспринимается как логически развивающаяся динамическая целостность, а благодаря сочетанию симметричности частей и общей направленности к постоянному развитию — драматургия всей формы обретает особую жизненность и убедительность.

После экскурса в теорию фуги постараемся проследить последовательность тематических линий «Путешествия».

Итак, каковы же основные — лежащие на поверхности — темы этой «немой» фуги, зафиксированные в музыкальных фразах ее обособленных периодов?

Прежде всего — это сама Армения, в различных своих ракурсах и преломлениях — от сочных натуральных зарисовок до глубоких философских обобщений.

Вторая тема — так сказать, естественно-научная; она охватывает несколько подтем, или голосов, или линий: линию друга-биолога Кузина¹⁵, линию плеяды великих натуралистов и вместе с ними со всеми линию теории «эмбрионального поля» Гурвича, а также линию гетеанского Ярно в главке «Москва».

Третья — французские импрессионисты: она начинается в третьей и разворачивается в пятой главе.

¹⁴ Интермедии строятся на интонациях темы или на новом тематическом материале и выполняют главным образом функции промежутков между основными частями фуги.

¹⁵ Борис Сергеевич Кузин (1903—1973) — биолог, адресат посвящения стихотворения «К немецкой речи» (см. о Кузине и о стихотворении в наст. издании, с. 159—179). В первопубликации «Путешествия в Армению» в «Звезде» фамилия Кузин переименована на Зотов.

Четвертая тема — тема Москвы, Замоскворечья — прозвучала лишь в третьей и второй главках, но тема эта чрезвычайно важна здесь, поскольку она генотипна для большинства остальных: так, армянская тема восходит к Музею народов Востока на Берсеневке, тема импрессионистов — к Музею изобразительных искусств на Волхонке, а линия Б.С. Кузина — к Зоологическому музею на Никитской.

Выделив и проследив темы, можно будет уяснить и саму тематическую структуру этой прозы, понять непростой рисунок ее смыслового ковра.

3

*Ни в коем случае не входить, как в часовню.
Не млет, не стынуть, не приклеиваться к холстам...
Прогулочным шагом, как по бульвару, — насквозь!¹⁶*

Итак, «Севан» — главка первая.

Хронологически месяц на Севане — это не начало пребывания Мандельштама в Армении, а как раз его завершение. Первые периоды главки — севанские пейзажи, постепенно обрастающие людьми — гостями и жителями острова¹⁷. Поэтому, начав с Севана, Мандельштам получает возможность сразу же высказать то, что он вынес за все путешествие в целом, обозначить лейтмотив книги и тем самым как бы задать тон — и себе, и читателю.

Последние же периоды главки — это люди, люди и еще раз люди. Люди и их труд. Тут-то Мандельштам и выкладывает самое главное:

«Я вытил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы недостойны говорить, а должны лишь чуяться в нашей немощи...

<...> Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь.

¹⁶ «Путешествие в Армению».

¹⁷ Заметно, что природа здесь отражена глазами горожанина, к тому же прошедшего через горнило величайшей в мире социальной ломки: отсюда — иронические «буржуазные жабы» и «жандармские морды форелей».

Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Зварднодза в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?»

С ходу, с первого абзаца и фразы сказать всего этого было нельзя — голословно. Нужно пространство, пусть небольшое, чтобы вновь осознать все самому и подвести к тому же читателя. Всматриваясь неторопливо в трудовых людей (рабочих из Норадуза, химика Гамбарова, археолога Хачатурьяна и других), проникаясь севанскими видами, очищающими душу, и севанским климатом, удостоившимся сравнения с *«золотой валютой коньяку в потайном шкапчике горного солнца»*, — Мандельштам, кроме всего прочего, проявил здесь еще и свое композиционное (или композиторское) чутье.

Становится понятной и роль первой главки в «Путешествии в Армению» в целом: это несомненная экспозиция главной темы, проведенная деликатно и убедительно.

Во второй главке, «Ашот Ованесьян», вслед за эскизом Берсеневской набережной с ее *«тягучим и мучнистым»* воздухом¹⁸ мы видим один из эпизодов и этапов подготовки поэта к своему «вождеденному» путешествию — из хронологического устья переносимся к самым истокам его.

В легком ироническом отрывке показательно уже само изначальное намерение выучить древнеармянский язык — грабар¹⁹:

«Ко мне вышел скукающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала также, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания.

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ».

Однако назревавшее состояние фиаско улетучилось с приходом в библиотеку Ашота Ованесьяна (историка, впоследствии академика), голова которого *«...обладала способностью удалиться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы»*. Резуль-

¹⁸ Поблизости расположена кондитерская фабрика Эйнема, ныне «Красный Октябрь».

¹⁹ Так Мандельштам готовился еще только к Данту: для того чтобы читать «Божественную комедию» в оригинале, он старательно изучал итальянский язык.

татом этого общения стало рассуждение об однокорневости русской «головы» и армянского ее эквивалента — «гъюх»:

«Видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылинилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота».

Запомните эту фразу, точнее, вложенную в нее мысль, поскольку она еще появится вновь, но уже в другом тематическом материале. Сама же глава «Ашот Ованесьян» — типичная интермедия, подготавливающая, однако, дальнейшее становление и прорастание тем.

В этом смысле исключительно важна и интересна третья по счету глава — «Москва». По существу, это завязь практически всех облигатных (то есть обязательных) голосов — тем всей прозы. Первый ее период посвящен художническим заветам Делакруа (написавшего, кстати сказать, «Путешествие в Марокко») и Синьяка, ратовавших за работу мазками и употребление одних только чистых красок спектра. Мандельштам пишет:

«Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...»

Уже в Армении Мандельштам воочию убедится в справедливости этой теории — во всяком случае для себя самого.

Не случайна и концовка первого периода: *«За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь».*

В этих словах не только сожаление о естественной ограниченности человеческого зрения и зоркости, о неумении «хорошо» жить или путешествовать, но и предощущение нового, расширенного и углубленного видения мира, которым одарит его Армения.

Эти подголоски будут подхвачены несколькими периодами ниже, промежуточное пространство отведено Замоскворечью, где в конце 20-х годов жили Мандельштамы, — в одном из *«грязно-розовых особняков на Якиманке».*

На описание своих якиманских соседей поэт не жалеет иронии, но уже не благодушной, а скорее желчной:

«Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”. <...>

Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смирных и понятливых».

А рассказ о том, как эти люди пилили и валили на дрова старейшую из дворовых лип, даже не содержит какой-либо мандельштамовской оценки действий этих «совершеннолетних мужчин, населяющих дом»: не антипатия или ненависть к ним, бесполезные и бессмысленные, движут поэтом, а сочувствие — к оглохшему от старости дереву, восхищение его мужеством и жизнестойкостью (не так ли преклонил свою голову перед стойкостью репейника в «Хаджи-Мурате» и Лев Толстой?).

И не нужно гадать, зачем все это понадобилось Мандельштаму в прозе, посвященной Армении, — он и сам не смог удержать слов:

«И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит московских закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины. Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде»²⁰.

Вот какое новое развитие (разработку) получает здесь тематическая доминанта произведения — высокий и чистый лейтмотив Армении! И теперь становится понятным странный, на первый взгляд, период этой главки, стоящий между освежительным зачином о «законе оптической смеси» и обескураживающими зарисовками Замоскворечья, период, где говорится о дерзости писания мемуаров не о прошедшем, а о настоящем (то есть, иными словами, о фиксации шума времени).

Мандельштаму кажется, что это — от того нетерпения, с которым он живет и, как саламандра, меняет цвет кожи «...в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной обклейки террария». «Но, — роняет он, — мыслящая саламандра — человек — угадывает погоду завтрашнего дня, — лишь бы самому определить свою расцветку».

Во всем этом — легкий намек на ответственнейшую роль этой прозы в дальнейшей жизни поэта, а заодно и указание на необычный жанр ее, отдаленно напоминающий долгосрочный метеорологический прогноз. Вороша рыхлые залежи своего собственного — богоданного и неотъемлемого — времени проживания, поэт прищуривается на

²⁰ После этого ясное представляешь весь трагизм мандельштамовских строчек: «Я тебя никогда не увижу, / Близорукое армянское небо...».

будущее, взглядом рассеивая туман, и провидчески осязает повороты собственной своей судьбы.

Но как бы то ни было — развитие мандельштамовской fugи продолжается. Вслед за разработочными модуляциями основной темы постепенно возникают и набирают силу все новые и новые сопутствующие ей голоса. За беспросветной мрачностью замосквореченских картинок в текст врывается светлая и жизнерадостная фигура молодого зоолога Кузина — начаток естественно-научной темы «Путешествия».

Уже немало поездивший по стране, повсюду *«сеявший друзей»* и получивший недавно от одного из них — муллы — *«формальное извещение»* о кончине, Кузин *«...ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийцы — профессора Каммерера, и нуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и звывающуюся кверху, как готический фейерверк»*.

Этот посвященный Кузину период — один из самых приподнятых в книге. *«Слава живущему! Всякий труд почитен!»* — что может быть мажорнее этих слов?! Однако двукратное упоминание смерти (Каммерер и мулла) — все же настораживает. И не случайно. Следующий период, в котором Мандельштам в числе прочих провожает Кузина в новую поездку в Армению, начинается так:

«Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы (вспомните период о мыслящей саламандре! — П. Н.), — есть в проводах зловеще-свадебное оживление».

Но разлука — все же не смерть (не обязательно смерть), и *«зловеще-свадебный»* осадок проводов понемногу, растворяется в описании застолья. И кончается этот период уже и вовсе беззаботно:

«Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и неравнодушна к сое, к хлопку или хондрилле».

А на столе роскошный синтаксис путаных, разнозвучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении».

Вот так тема друга, друга-биолога, перерастает в более общую — естественно-научную — тему, развитие, которой еще воспоследует и которой будет специально посвящена одна из последующих главок «Путешествия». Но не забудем, что при всей притягательности и важ-

ности этой темы для миропонимания самого Мандельштама и для нашего понимания Мандельштама, естествознание не было родной стихией поэта: интересуясь им, привлекая себе на помощь естественно-научные концепции и термины (в «Разговоре о Данте», например, это главным образом химическая, геологическая и кристаллографическая область), Мандельштам, тем не менее, прекрасно осознает свое дилетантство — *«обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во многих других»* («Разговор о Данте») ²¹.

Более того, описав — опять-таки с филологической точки зрения — полевую роскошь букета на столе, он (в последующих трех периодах) корит себя за то, что *«в детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни <...> никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами <...> Теперь не то, но перелом пришел, пожалуй, слишком поздно»* ²².

На память вновь приходит конечная фраза первого периода «Москвы»: *«За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь»*.

...Но вот утих молодой гомон проводов, и Мандельштам прощается со своим другом:

«Итак, Б.С., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне последовать за вами. Я надеюсь, они изменятся» ²³.

И далее идет воспоминания — воспоминания в будущем времени: *«Вы остановитесь на улице Спандарьяна 92, у милейших людей — Тер-Оганьянов. Помните, как было? Я бежал к вам “по Спандарьяну”, глотая едкую строительную пыль, которой славится молодая Эривань. Еще мне были любы и новы шероховатости, шершавости и торжественности отремонтированной до морщин Араратской долины, город, как будто весь развороченный боговдохновенными водопроводчиками, и большеотые люди, с глазами, просверленными прямо из черепа, — армяне. <...>*

Кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски, и все это опресноки. Такова Армения».

Продолжая вспоминать, Мандельштам любящими штрихами набрасывает портрет своего друга — вполне в импрессионистском духе — *«гармоника басурманских морщинок», гуляющих на лбу ходуном, хорохором, и ходором»*. И вот, в ходе описания, вновь с неизбежностью задевает биологическая струна:

²¹ Другое дело, что Мандельштам всю «эксплуатировал» парящую раскованность своей впечатлительной мысли — обратную сторону дилетантства.

²² Ср. в стихотворении, посвященном С.А. Клычкову: *«Полюбил я лес прекрасный, / Смешанный, где козырь — дуб, / В листьях клена — перец красный, / В иглах — еж-черноглаз»* (1932).

²³ Ср. в цикле «Армения»: *«Я тебя никогда не увижу, / Близорукое армянское небо»*.

«Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных, нескладных рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора».

И далее — до самого конца этой главки-завязки — тема естествознания уже не умолкает. Нарастивая ее, Мандельштам неожиданно апеллирует к Гете, причем в большей мере к Гете-естествоиспытателю, нежели литератору: влетая в многоголосицу фуги и «Вильгельма Мейстера», Мандельштам зачарованно вслушивается в «геологическую» беседу Мейстера и Ярно «в лесном университете»²⁴.

Эта беседа вызывает в нем благодарное воспоминание об одном из «эриванских разговоров», в чем-то обогатившем его, и поэт от всего сердца приветствует «ясную дидактику дружеской беседы» и «теплый свет, излучаемый устным поучением». По всей видимости, тот эриванский разговор пророс «спустя какой-нибудь год» содержанием двух заключительных периодов главки «Москва».

Если это так, то мандельштамовским Ярно был, очевидно, Кузин, один из учеников профессора А.Г. Гурвича — автора «теории эмбрионального поля», открывшего митогенетические лучи²⁵.

Так какая же мысль, какое переживание почерпнуты из эриванской беседы, «уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают достоверностью, помогающей нам ощущать себя самих в предании»? По всей видимости — эти:

«Растение — это звук, извлеченный палочкой терменвокса, воркующий в перенасыщенной волновыми процессами сфере. Оно посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, — в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растение в мире — это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!»

Эта же мысль затем неожиданно поверяется и обогащается и опытом шахматной игры²⁶:

«А ведь эти персидские коники из слоновой кости погружены в раствор силы. С ними происходит то же, что с настурицей московского биолога Е.С. Смирнова и с эмбриональным полем профессора Гурвича.

Угроза смещения тяготеет над каждой фигуркой во все время игры, во все грозное явление турнира. Доска пучится от напряженного

²⁴ Не исключено, что этой беседе многим обязаны немалочисленные геолого-кристаллографические аналогии и в «Разговоре о Данте». Примечательно, что в этом же периоде Мандельштам вспоминает Данта.

²⁵ Ультрафиолетовые лучи слабой интенсивности, излучаемые некоторыми растительными и животными тканями и существенные в ранней диагностике рака.

²⁶ В «Разговоре о Данте», написанном весной 1933 года, Мандельштам излагает — особенно обстоятельно и убедительно — свое понимание поэтической речи, весьма созвучное всем этим мыслям.

внимания. *Фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации, как волнушки-грибы в бабье лето*».

И лишь теперь, как бы лишний раз — на шахматах — удостоверившись, Мандельштам решает на обобщение:

«Все мы, сами о том не подозревая, являемся носителями громадного эмбриологического опыта: ведь процесс узнавания, увенчанный победой усилила памяти, удивительно схож с феноменом роста. И здесь и там — росток, зачаток и — черточка лица или полухарактера, полувзвук, окончание имени, что-то губное или нёбное, сладкая горошина на языке, — развивается не из себя, но лишь отвечает на приглашение, лишь вытягивается, оправдывая ожидание».

Здесь уже обозначилось контрапунктное слияние двух голосов, схождение двух тем — армянской и естественно-научной, главной и вспомогательной: огромный культурно-эмбриологический опыт поэта — всем своим строем и с превеликой радостью — отзывается на жизнерадостное приглашение *«страны субботней»*, живущей *«не по вокзальным, а по солнечным часам»*²⁷.

Четвертая глава «Путешествия в Армению» — «Сухум». Своей ролью в произведении в целом она напоминает вторую главу («Ашот Ованесьян»). Обе они — хронологически — предшествуют непосредственно поездке и, в общем-то, не содержат никаких особенных выводов — только лишь немногочисленные послышки: читатель, немного уставший от интеллектуального напряжения главок «Севан» и «Москва», имеет возможность немного расслабиться и ограничиться лицезрением пейзажных и бытовых набросков, зачастую не лишенных комизма и преподносимых автором с достоинством банкира, угощающего вас дорогой сигарой. То есть — функционально — обе эти главы — суть типичные интерлюдии.

Мандельштамовские зарисовки — преимущественно зрительные: непревзойденный словесный снайпер, он смотрит на мир цейсовскими и, подспудно, ясновидящими глазами. Среди абхазских зарисовок Мандельштама — есть и слуховые, но Мандельштам и слышит — как будто глазами!

«Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло».

Или: *«Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костяных вязальных спиц. Разбойник кий разорял пирамиду...»*

Или о языке «апсны»: *«...можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами».*

²⁷ Это дополнительно подчеркивается еще и неоднократными упоминаниями Эривани как места столь глубоко запавших в душу бесед.

Все в этой главке, кажется, никак не связано ни с предыдущим (впрочем, первое упоминание об Абхазии — есть еще в «Москве»: «Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники»), ни с последующим: все здесь — ради семантической передышки.

Однако к концу тематическая ткань главы сгущается, выравнивается, а возникающий по ассоциации эмоциональный контраст — пусть не своею силою, но хотя бы самим приемом контрастирования — напоминает тематический перепад между Арменией и Замоскворечьем в предыдущей главке. Глядя на попыхивающие «огоньки тончайших блуждающих пахитосок» — светлячков, Мандельштам — принципиальный противник «боржомной бодрости» — единственный раз за всю главку хмурит лоб:

«Наше плотное тяжелое тело истлеет точно так же, и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия.

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!»²⁸

И как же поэту было не вспомнить «благородную трудовую кость» и «жизненное наполнение» армян, их «отвращение ко всякой метафизике», как было не вспомнить Эривань с ее «боговдохновенными водопроводчиками»!

Пятая главка — «Французы» — об импрессионистской живописи. Это особая тема из круга вспомогательных: она уже начинала звучать в главке «Москва» — в качестве одного из важных подголосков. В восприятии живописи по Мандельштаму — три последовательных этапа.

Первый — погружение глаза («помните, что глаз благородное, но упрямое животное») в «новую для него материальную среду» картины, погружение, — длящееся до тех пор, пока «телесная температура <...> зрения» не сравняется с картиной, перед которой вы стоите. На втором — «тончайшими кислотными реакциями глаз <...> поднимает картину до себя». И, наконец, на третьем этапе — происходит «очная ставка с замыслом».

Вот Мандельштам в Музее изящных искусств — в «посольстве живописи», как поэт о нем выразился, где «каждая комната имеет свой климат». Глядя на «культурников», ведомых «объяснительницей картин» («Посмотришь — и скажешь: магнит притягивает утку»), Мандельштам дружески советует: «Ни в коем случае не входить, как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам...»

Главка «Французы» — хрустальная друза импрессионизма самого Мандельштама. «Телесная температура» его зрения, «растянутого,

²⁸ Ср. в «Египетской марке»: «Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнциного бреда».

как лайковая перчатка», чутко реагирует на изменения «климата» музейных комнат, и для каждого художника — он находит самые точные и сочные слова и образы:

«Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

<...> Зато я невзлюбил Матисса, художника богачей. Красная краска его холстов шипит содой <...>

Шахские прихоти парижского мэтра!

<...> Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как желоб в электрическом бешенстве...

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

<...> Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей».

И так далее. Галерея картин — галерея образных цитат (неумолкаемых). Это такая же манифестация «упоминательной клавиатуры», такая же «цитатная оргия», какую сам Мандельштам обнаружил в конце четвертой песни дантовского «Ада».

Но что же значит для «Путешествия в Армению» как целого этот щедрый прием в «посольстве живописи» — ведь в главке этой нет ни упоминания о «стране москательных пожаров», ни даже намек на нее? Продолжение «сухумской» интерлюдии?

Едва ли. Этот бодрящий тематический голос создает в фуге новую плоскость контраста — но не контраста двух различных явей, как это было в случае Армении и Замоскворечья, а контраста яви и забытой, контраста праздника и — будней:

«Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу <...>

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок, — и все это — отдаленное и липовое (! — П.Н.) — было написано в веревочную сетку».

Тот же принцип, что и во «Французах», — принцип упоминательной клавиатуры — применен и в следующей, шестой по счету, главке «Вокруг натуралистов». Только теперь аккорды берутся в ином — биологическом — регистре, и касание клавиш вызывает уже иные имена: не Монэ, Пикассо или Матисса, а Линнея, Палласа, Ламарка, Бюффона, Дарвина.

И все-таки главный герой здесь один — «пламенный» Ламарк:

«Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках. Вы думаете, он так же мирился с эволюцией, как научные дикари XIX века? А по-моему, стыд за природу ожег смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов...»

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда.

Ламарк выплакал глаза в луну. В естествознании он единственная шекспировская фигура».

В этой главке подлинное восхищение причудливо сплетается со школярской издевкой. Неофит, Мандельштам осваивается в новом для себя образном поле биологии — без ложной робости, но и без лишней самонадеянности. Он повторяет за наставниками:

«Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма — приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов!»

И тут же наготове утвердительный аргумент из более родной стихии:

«Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучанье уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий».

Два последних периода этой главки посвящены не натуралистам, а персидской миниатюре («*косящей испуганным грациозным миндалевидным оком*») и персидской поэзии (где «*дуют посольские подарочные ветры из Китая*»):

«Вчера читал Фирдоуси и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее».

Фирдоуси связан с натуралистами и, в частности, с Ламарком «*роскошным произволом вымысла*», являющимся именно тем самым «вызовом среды», о котором только что шла речь.

В какой-то мере эти два периода аukaются с темой импрессионистов, но их главная роль — незаметный, мягкий поворот повествования непосредственно в сторону Армении (чему способствует и упоминание Мамикона Геворкяна, государственного библиотекаря Армении) — ведь две последующие, завершающие «Путешествие» главки — уже чисто армянские по своему материалу.

Главка «Аштарак» — седьмая по счету. Ее сугубо музыкальная тема — журчание, та самая «*волосяная музыка воды*», о которой сказано в процитированных стихах.

«...Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов — отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано».

Или чуть дальше:

«Я слушал журчанье колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарак — и пропускала верблюда в игольное ушко».

Заставка главки — да, видимо, и всего пребывания Мандельштама в Армении — Арарат:

«Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями.

<...> Я в себе выработал шестое — “араратское” чувство: чувство притяжения горой.

Теперь куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительно, и останется».

В главке «Аштарак» впервые возникает подтема армянской архитектуры (столь мощно прозвучавшая в стихах) и вновь — в едином потоке с архитектурной — звучит подтема армянского языка, такого же материального и такого же твердого, как армянские храмы:

«...Первое столкновение в чувственном образе с материей древнеармянской церкви.

... Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну, конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?

Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже, — на какой-то глубине постыдные.

Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.

Так было у меня с армянским языком.

<...> Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра».

Лингвистическая тема открывает и последнюю главку «Путешествия» — «Алагез». Речь здесь, однако, идет не об армянском языке, а о латинском:

«Ты в каком времени хочешь жить?

— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном — в «долженствующем быть».

Так мне дышится. Так мне нравится.

Есть верховая, конная басмаческая честь. Оттого-то мне и нравится славный латинский «герундивум» — этот глагол на коне.

Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги, как прообраз всей нашей культуры, и не только „долженствующая быть“, но „долженствующая быть хвалимой“ — laudatura est²⁹ — та, что нравится...»

Это — в буквальном смысле слова — отступление. Отступление от темы — ради темы же. Шаг назад — перед решающим броском вперед; шаг вниз — перед подъемом вверх. В который уже раз Мандельштам — для аффектации главной темы своей — прибегает к приему контраста, искусно создавая пересеченный рельеф там, где минуту назад еще была гладкая, как стол, равнина.

Оттолкнувшись от «герундивума» — «прообраза всей нашей культуры», в которой сам Мандельштам с упоением купался еще в ранней молодости, поэт окунает себя в иной, не очень-то привычный, в чем-то близкий, а в чем-то далекий, но все-таки такой понятный и дорогой для него — мир.

А между тем путешествие продолжается. Из Аштарак через Бюракан поэт и его спутники неторопливо едут вверх по склонам Алагеза (иначе Арагаца). Снова люди и снова природа — снова пиршество зрительных ощущений. Путевая зоркость Мандельштама, и без того поразительная, еще более обостряется:

«...Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша — столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести».

Наконец, ночевка в пастушеском кочевье, в бедном стариковском шатре, где поэт — «...стеснялся, как во дворце».

И не случайно именно после этих слов возникает вставная новелла о несчастном царе Аршаке. Царь — это в прошлом, а сейчас это одичавший и запаршивевший узник Шапуха; он «согревается вилами» крепости Ануш, и «по лицу его ползают мокрицы». «Ассириец держит мое сердце», — роняет Мандельштам, позабывшись, забыв на секунду об Аршаке, чьи уши некогда «слушали греческую музыку».

«Ассириец держит мое сердце.

...Он — начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает слюну мою, — до того привык он к мысли, что я хожусь здесь — в крепости Ануш.

...Дай мне пропуск в крепость Ануш. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния...».

И евнух Шапуха Драстамат, спасший своего повелителя от опасности в битве, вымаливает у него (вкладывает «в острые уши ассирийца просьбу, щекочушую, как перо») — один только «добавочный день»,

²⁹ Правильно: laudanda est.

но — «полный слышания, вкуса и обоняния, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении».

И никакая это не вставная новелла, не историческая фабула, а трагическая исповедь, и недаром Мандельштам обмолвился в первом лице.

«Путешествие в Армению» для него и есть этот долженствующий быть (и, слава богу, наставший!) день, — вернувший ему утерянную бодрость и душевное равновесие, пробудивший в нем честь и силу русского поэта!

В Армении поэт заново учится *«жить по солнечным часам»* — он вновь полон *«слышания, вкуса и обоняния»*, ему хорошо здесь, он отдыхает и набирается сил:

«Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, напоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашками по позвоночнику. Бархатные луга тяготяются и щекочут веки. Пролезни оврагов взхрамываются в бока.

Сон мурует тебя, замуровывает... Последняя мысль: нужно объехать какую-то грядку...»

Почему такой странный — такой неокончательный — конец?

Не знаю. Не знаю, какой выбрать ответ из тысячи возможных.

«С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял», — как говорится в армянских сказках, когда они уже рассказаны до конца...

4

Передо мной раскрылся выход в светлое деятельное поле³⁰.

Ну что же, *«в дверях уже сучает обобщение»*, как сказал бы Мандельштам.

Начнем, пожалуй, с пространства и времени, их структурной роли в «Путешествии в Армению».

О времени по ходу разбора главок уже говорилось. Первая из главок («Севан») — хронологически — самый конец поездки. События второй («Ашот Ованесьян») происходят за некоторое время до путешествия, а третьей («Москва»), наоборот, после. Четвертая («Сухум») — опять переносит нас «внутри» поездки, к самому началу ее. Пятая и шестая главки — в общем-то безразличны ко времени, вне времени, не ориентированы в нем, и лишь по редким намекам (в частности, по упоминанию Мамикона Геворкьяна в главке «Вокруг

³⁰ <Вокруг «Путешествия в Армению»>.

натуралистов») можно предположить, что относятся они ко времени после путешествия. Наконец, две последние главки — «Аштарак» и «Алагез» — это самая сердцевина путешествия, самый миг постижения — «долженствующего быть постигнутым».

Если заново выстроить главки хронологически, то они расположатся в следующем порядке: «Ашот Ованесьян», «Сухум», «Аштарак», «Алагез», «Севан», «Французы», «Вокруг натуралистов», «Москва» (последовательность трех последних главок, возможно, и другая).

Перечтите теперь (или представьте себе) «Путешествие» в указанном порядке, и вы лишний раз убедитесь в композиционном давлении Осипа Мандельштама, внутренне чуждого «*скучному бородавотому развитию*» и умирающему духу европейского романа. В хронологическом построении напрочь выветривается ощущение бега *фуги*³¹, ее приливов и отливов, ее пульса и волнения.

Между тем на *фуговый* характер «Путешествия в Армению» работает и его пространственная структура. То, что проза эта начинается на Севане и кончается на склонах Арагаца — то есть в пределах Армении, подчеркивает, — а это существенно для формообразования *фуги*, — ее циклический и закругленный характер (известный художественный смысл и в том, что «Путешествие» обрывается на подъеме...).

Хотя все главки — прямо или косвенно — посвящены Армении, армянской теме, территориально к ней приурочены лишь три главки из восьми. Еще одна, четвертая по счету, — абхазская, а остальные четыре (то есть половина всех глав!) — ложатся на московские холмы. Действие второй главки («Ашот Ованесьян») происходит в библиотеке Института народов Востока на Берсеневской набережной; неподалеку, на Якиманке, где живут Мандельштамы, происходят замосквореченские события, описанные в следующей главке («Москва»)³².

Наконец, два музея — Изыщных искусств на Волхонке и Зоологический на Никитской — дали кров и пищу рассуждениям главок «Французы» и «Вокруг натуралистов». Иными словами, прослеживаются два географических фокуса прозы — Москва и Армения, причем московские (и сухумская) главки явно «подыгрывают» армянским, развивая их или по-новому их освещая, а не наоборот.

Как бы то ни было, мандельштамовское «Путешествие в Армению» — произведение сложное, многослойное и многоплановое, написанное (написавшееся) с инстинктивным учетом законов музыкальной композиции. Весь его тематический строй, изначально (но при наличии солирующей, дирижирующей темы — армянской), вся

³¹ Латинское *fuga* кстати сказать, и означает бег, бегство.

³² В публикации журнала «Литературная Армения» (1967, № 3) эта главка, кстати сказать, так и названа — «Замоскворечье».

контрастная игра трагических и светлых голосов, повторяющаяся вновь и вновь с определенной закономерностью, наконец, вся согласная мощь его «лавирующих» голосов-тем — говорят нам о фуге как о наиболее близкой из музыкальных форм.

Магистральная тема — армянская. Ее экспозиция дана первую же главкой, действие которой происходит на севанском острове. Затем на протяжении целых пяти главок действие это покинет армянскую землю, но не армянскую тему. Последняя, то пропадая в интерлюдиях, то вдруг вспыхивая в каком-нибудь периоде огоньками фраз-ассоциаций, воспоминаний или прямых сравнений, — непрестанно развивается, нарастает, поворачивается, словно вертел, и внутренне обогащается³³.

В жару тематической разработки одна за другой рождаются и начинают звучать новые голоса и подголоски; каждый «новичок» как бы примеряется, припадает к главному голосу и, в результате, либо входит с ним в конфликт (как например, линия Замоскворечья), либо устанавливает и поддерживает ровные, дружеские отношения (линии биологов или импрессионистов). Но наконец в двух последних главках армянская тема — вновь! — мощно вырывается на простор армянского неба и армянской земли. Она и разливается вширь (то есть путешествие по Армении в прямом — географическом — смысле слова), и уходит вглубь (то же самое «путешествие», но уже не в географическом, а в биографическом ракурсе)³⁴.

Из самых глубин произведения, словно восходящее подводное течение, всплывает и сам автор (никакого лирического героя здесь не может быть!), размышляющий о своей собственной судьбе и о судьбе «страны субботней», где он столь многое усвоил и понял (в предшествовавших главках Мандельштам почти не превышал почетных обязанностей рассказчика и полномочий одного из персонажей — лишь в «Москве» он позволил себе раз-другой нечто подобное). Главки «Аштарак» и «Алагез» (и последняя в особенности) — мощный финал, *кода* мандельштамовской фуги, где в унисон с армянской темой мощно зазвучал и голос судьбы самого поэта³⁵.

Путешествуя по Армении, вслушиваясь, как и всегда, в шум времени, Мандельштам, наконец-то, уловил в этом шуме главное, что искал: собственное прошлое, настоящее и даже будущее сложились в единую картину. Увидев ее однажды, Мандельштам, не ужасаясь и не

³³ Так называемое разработочное проведение основной темы фуги.

³⁴ Вернувшись из Армении «пространством и временем полный», Мандельштам всю оставшуюся жизнь тянулся к ней душевно, благодарно вспоминал ее.

³⁵ В «Путешествии в Армению», как в фуге, выражена не только *кода*, но и окончание — короткое построение в самом конце (без признаков *коды* и без проведения темы). Я имею в виду заключительный, следующий за легендой об Аршаке период: «Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством...» и т. д.

отворачиваясь, пристально обозрел ее вплоть до мельчайших деталей и мазков, до штрихов подписи в углу.

Именно в Армении он не только понял все тайные знаки судьбы, но и заново усвоил, как в свое время Блок, истинное свое назначение. Творчество: за него платишь — только судьбой!

Но — быть, быть и еще тысячу раз быть — поэтом! И пошли стихи...

«Передо мной раскрылся выход в светлое деятельное поле».

В этом радостном признании Манделъштама одинаково ценны оба эпитета — и «деятельное», и «светлое». Каково бы ни было «мрачное, вмешательство людей, для которых печной горшок дороже Бога», или, попросту говоря, черни, — творчество, при всей своей корневой трагичности, само по себе — радостно, светло, очистительно. Ведь оно, по слову поэта, призвано внести в мир гармонию!..

И поэтому «Путешествие в Армению», этот музыкальный рассказ о том, как поэт шел навстречу своим стихам, по праву может быть назван солнечной фугой Манделъштама.

МЕТРИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЗДНЕГО МАНДЕЛЬШТАМА¹

Делиру Лахути

*Композиция складывается не в результате накопления частностей, а вследствие того, что одна за другой деталь отщепляется от системы, уходит в свое функциональное пространство... Таким образом вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана...²
Бежит волна-волной, волне хребет ломая...³*

1

С окончанием цензурного этапа в советско-российском книгоиздании у критических издателей Мандельштама возникли — и слава богу — совершенно другие проблемы: не цензурные и автоцензурные, а внутренние и творческие.

В частности, композиционные: как, в какой последовательности печатать его стихи?

Традиционно ли — по «книгам», а потом, в виде дополнений и прибавлений, — все остальное?

В десятие и двадцатые годы Мандельштам издавал и сам строил свои книги, но он не строил их так, чтобы с ними после выхода в свет

¹ Размышления на эту тему легли в основу моего доклада, прочитанного 2 июня 1991 года на конференции «Столетие Мандельштама» в Лондоне (см.: *Нерлер П.М.* О композиционных принципах позднего Мандельштама. (К постановке проблемы) // *Столетие Мандельштама...* С. 326—341). Настоящий текст содержит в себе существенное развитие этого сюжета.

² О. Мандельштам. Разговор о Данте.

³ О. Мандельштам. «Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»

никаких проблем уже не оставалось. И тут текстолог сталкивается с проблемой наложения сразу нескольких авторских волей, — сталкивается и разбивает об нее лоб.

Но в тридцатые годы никаких книжных зацепок нет. Есть условные «тетради», внутри которых нет канона ни в чем.

Тогда, может быть, отказавшись от книг, — сплошным хронологическим потоком, то есть выстраивая композицию по мере и в порядке написания стихов?

Или, может быть, — тем же потоком, но с обозначением какой-то иерархии текстов, если она просматривается?

Хронологические композиции бесценны и для анализов типа гаспаровского⁴, когда ставится задача проследить от стихотворения к стихотворению эволюцию темы или мотива.

С издательско-составительской, или эдиционной, точки зрения проблема композиции стихотворений 1930-х годов распалась на несколько более дробных — своего рода этапов:

1) *иерархии* текстов, что выводит на проблему состава **основного корпуса**;

2) собственно **композиции**.

Проблема «основного» корпуса особенно тяжела именно для стихов тридцатых годов. Нелегка она и для более ранних этапов, но там все-таки есть цепочка авторских книг, за которую можно «зацепиться».

В поздних же стихах ничего подобного нет. Речь об издании стихов если и заходила, то не настолько, чтобы всерьез определяться с порядком стихотворений. Прямых и однозначных указаний на авторскую волю не имеется. Определенные высказывания или жесты, могущие быть интерпретированными как авторские волеизъявления, делались в разное время и часто противоречат друг другу. Как правило, они не составляют целого, их детали не стыкуются друг с другом, и остается — и останется — множество вопросов, ответы на которые уже никогда не смогут удовлетворить **всех**.

Но при этом нельзя и сказать, что Мандельштам не придавал этой проблеме, в отличие, скажем, от проблемы пунктуации, никакого значения. Придавал — и сам неоднократно возвращался к ней, продумывал эти вопросы, — но прямых ответов, увы, не оставил.

Тем не менее «традиция» отказа тем или иным стихотворениям в праве принадлежности к основному корпусу уже сложилась.

Так, считается, что «Ода» или «просоветский цикл» лета 1935 года — заведомо недостойны стоять рядом с другими стихами из-за своей «конъюнктурности» и «сервилизма».

⁴ В: Гаспаров, 1996.

Но, во-первых, так ли уж верно само последнее утверждение? (Оставляем это здесь в стороне.)

А во-вторых — почему для стихотворения «Если б меня наши враги взяли?..» резервируется место в корпусе, а «Оде», вокруг которой организована вся «Вторая тетрадь» (отчего Надежда Яковлевна очень точно называла ее «маткой»), — только вне корпуса?⁵ Есть ли тут логика, кроме тайной надежды дожидаться появления неоспоримого аргумента, позволяющего раскрыть мандельштамовскую конспирацию и заменить — просталинское «будить» на антисталинское «губить»?

Может быть, правы те, кто сомневается в принадлежности к основному корпусу и «Если б меня наши враги взяли?..»? Именно такова принципиальная позиция А.Г. Меца. Сначала он сформулировал ее⁶, а потом и реализовал, выведя в своих изданиях упомянутые *verse terrible* — из основного корпуса в разряд «не вошедших в основное собрание»⁷.

В качестве обоснования Мец выстраивает следующую логическую цепочку: 1) охватывающий «Новые стихи» и стихи «Первой Воронежской тетради» так называемый «Ватиканский список» (ВС) — каноничен; 2) из него вырезаны (буквально) стихотворения «Мне кажется, мы говорить должны...» и «Мир начинался, страшен и велик...» — вырезаны, как представляется Мецу, по причине наличия в них просоветской лексики («большевик», «ленинское-сталинское слово»). А раз так — то 3): «С той же мерой мы подходим и к стихам «Второй» и «Третьей» тетрадей, исключая из них стихотворения “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...” (т. е. «Оду» — П. Н.) и “Если б меня наши враги взяли...” и сохраняя остальные»⁸.

Но при таком подходе «под подозрение» редактора должны были бы подпасть и стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой...» (там есть слова «краснознаменная» или «товарищи»), «День стоял о пяти головах...» («ГПУ»), «Стансы» («колхоз», «красноармейской», «большевее»), «Да, я лежу в земле, губами шеveled...» («Красная площадь», «советские машины») или «Средь народного шума и спеха...» («Кремль»). Они и подпали, наверное, но все же выдержали этот своеобразный редакторский тест на отсутствие просоветскости — тот

⁵ Именно так поступил и я в поэтическом томе «черного» («худлитовского») двухтомника.

⁶ См.: Григорьев [Мец] А.Г. Первая книга о Мандельштаме на родине // РМ. 1991, 28 июня: Литературное приложение № 12. С. III.

⁷ См. это его эдиционное решение сначала в издании «Новой библиотеки поэта» (Мандельштам, 1995. С. 359—362), а затем А.Г. Мец повторил этот композиционный жест в первом томе мандельштамовского трехтомника под своей редакцией (Мандельштам, 2009. С. 308—311).

⁸ Мандельштам, 1995. С. 606.

самый, который «не выдержали» высланные из корпуса два других стихотворения⁹.

А мне было очень интересно узнать от М.Л. Гаспарова о существовании в 1960-е годы бродячих списков, в которых наличествовала и «Ода»¹⁰.

Есть и другой род «сомнений»: относится ли стихотворение к ряду «серьезных» или «шуточных»? По крайней мере, для стихотворений «Татары, узбеки и ненцы...» и «Клейкой клятвой липнут почки...» такие сомнения если и не преодолевают, то по крайней мере возникают.

Тут, впрочем, полегче: «на помощь» можно позвать и другие критерии. Шуточные стихи суть неизменно домашние, бытовые, встроенные в конкретные жизненные конструкции (и вне их — лишённые смысла, не говоря о смехе, отчего и нуждаются острее других в фактическом — реконструирующем — комментарии). В этом смысле, хоть они и «не серьезные», ироничны, оба упомянутых стихотворения — не таковы. По мнению С.С. Аверинцева, высказанному в письме к автору от 7 июля 1992 г., в упразднении оппозиции «серьезность ↔ ирония» — одно из главных новшеств поэтики Мандельштама¹¹.

В итоге приходится констатировать еще раз: канонического извода «Новых стихов» — корпуса, освященного твердым волеизъявлением автора, — *не существует!* Не существует ни в текстологическом, ни в композиционном отношении, и поэтому всякое новое прочтение — новое решение и новое издание — будет прямо возвращать нас к мандельштамовскому же тезису об исполнительской природе поэтического чтения.

Редактор в таком случае становится интерпретатором и чуть ли не медиумом! Он «пытается вызвать дух автора» и решает композиционную задачу всякий раз как бы вместо него и заново.

Разумеется, при этом желательна и некая аргументация.

2

Задавшись вопросом, а как же устроены мандельштамовские книги 1930-х годов, вспомним то, как строились его предыдущие книги.

Первое издание «Камня» (1913 год): 23 стихотворения 1909—1913 гг., с датами, но безо всякого соблюдения хронологии.

⁹ О желании обезопасить таким образом Мандельштама от угрозы его политической «дискредитации» говорит и допущение Мецем варианта с «губить» в последней строке стихотворения «Если б меня наши враги взяли...», но — в качестве образчика самопародирования!

¹⁰ Устное сообщение.

¹¹ См. в: Аверинцев и Мандельштам, 2011. С. 160.

Второе издание (1916, а фактически декабрь 1915 года): это уже 67 стихотворений, выстроенных в хронологическом порядке, но с рядом отступлений от него.

То же самое — в несостоявшемся «Камне» 1917 года и в третьем издании книги в 1923 году, и в разделе «Камень» книге «Стихотворения» (1928).

Без малого четверть века работы Мандельштама над композицией «Камня» так и не привели к выработке канонического состава книги, но обнаружили устойчивую тенденцию к усилению хронологического начала, впрочем, не столь строгого и жесткого, чтобы не допускать тех или иных перестановок в рамках одного года. Есть и попросту исключения из «правила» — например, стихотворение 1911 года «На перламутровый челнок...», дважды поставленное самим поэтом в самую гущу стихов 1909 года (впрочем, безо всякого указания даты)¹². В этом и некоторых других случаях Н.И. Харджиев брал «залетное» стихотворение и ставил на «свое» место по хронологии¹³.

О «Tristia» (1922) в композиционном отношении говорить не приходится, поскольку автор к составлению этой книги не причастен. И тем многозначительнее та жесткость, с которой хронологическому принципу следует «Вторая книга» (1923) — быть может, самая «авторизованная» из прижизненных книг поэта (по характеру авторской работы с версткой и т. д.). На повышенную тесноту связи стихотворений «Второй книги» указывал и такой композиционный жест, как единая сквозная нумерация — да еще чеканными римскими цифрами — всех произведений!

За исключением первого «Камня» и «Второй книги» стихи в мандельштамовских книгах снабжены датами. В тридцатые годы, по крайней мере — начиная с «волчьего» цикла, — даты почти обязательны, причем точные: с месяцем и числом! Они становятся непременным атрибутом как отдельных рукописей и списков, так и «заменяющих» книги сводов.

А в Воронеже к этому добавилось еще и указание места написания: «В.» — обозначающая Воронеж неизменная буква с точкой. Одновременно углубляется и сама датировка, вводится ее дополнительная ось: я имею в виду двойные даты, фиксирующие начало и конец работы над стихотворением или некоторой его редакцией. И — что не менее существенно: ни одного классического (тематически выстроенного) цикла¹⁴.

¹² В этом, возможно, содержится некий неразгаданный композиционный жест.

¹³ См.: Мандельштам, 1973. Операция, конечно, рискованная, но по-своему логичная, особенно если нет сомнений в датах.

¹⁴ В «Московских тетрадах» (название условное) сознательный ахронологизм и некое циклотворчество были еще возможны (см. ниже).

3

Стихи у Мандельштама, как правило, рождаются не поодиночке, а идут некими *порциями*, *волнами*¹⁵, у которых нередко — и единый размер, и тематическая близость, и общие ключевые слова, а иногда и совпадения строчек, а то и строф.

Но все это далеко не то же самое, что *приступы* или *пучки* у Гаспарова: «*Работа над стихотворными размерами идет у Мандельштама приступами: то один год приносит сразу несколько стихотворений такой-то формы, то потом она остается в забросе на долгие годы*»¹⁶. Гаспаровский подход — размероцентричный: кривая распределения размера по времени. Наш — опирается на жесткие сочетания метрики и времени написания стихов.

Может быть потому, что именно таким образом Мандельштам пытался спасти в вихре перемен и безостановочном потоке явлений и событий то единство, которому причастился еще смолоду?¹⁷

Пространство и время поменялись местами и мечтами, и явления сложились в *вер*, — но не в пространственный, как у Бергсона, а во временной, створки которого, однако, можно развернуть и в пространстве.

Хронологическая «процедура» (или, точнее, «архитектура») Осипа Мандельштама сознательно и подчеркнута исторична. Она не преследует риторических целей, но выстраивается подобно жизни — и ради жизни.

В самом деле, зачем вычленять тематические «блоки», метить, как будто краской неразумных кур, смысловые линии и акцентные? Разве всего этого нет изначально — в самой природе как времени, так и поэтической материи? И не это ли имелось в виду в том месте «Разговора о Данте», где говорится о «совместном держании времени»?

«*Все данные, — писала Надежда Яковлевна, — должны проверяться смысловыми комплексами. Стихи не безделушки, а глубокая внутренняя жизнь человека. Они всегда стоят в ряду, выявляя духовную жизнь человека — общую и в данный конкретный период, круг его мыслей и чувств. В какой-то степени каждое стихотворение, даже отдельное, находится в цикле, едином по поэтическому порыву*»¹⁸.

В большинстве случаев, как отмечает М. Гаспаров, «*семантическая и ритмическая переключка идут параллельно*»¹⁹, но между ними может

¹⁵ Это очень близко к тому, что Н.Я. Мандельштам называла *порывами*, а М.Л. Гаспаров — *окружениями*.

¹⁶ Гаспаров, 1990. С. 343.

¹⁷ Думается, что в осознании этого ему немало помогли лекции, а возможно и книги Анри Бергсона.

¹⁸ Мандельштам Н., 2006. С. 361.

¹⁹ Гаспаров, 1990. С. 343.

возникать и конфликт — в тех случаях, когда стихотворение еще не завершено, а породившая его ритмическая волна уже ушла. Поэт может попытаться вернуться к нему позже и довершить, а может и бросить его незавершенным.

Иными словами, единство поэтического порыва для Мандельштама — явление сугубо временное и временное. Из-за этого и понятие «цикла» в его творчестве трансформировалось из *тематического* (в этом смысле вполне актуального даже для таких близких поэтов, как Анненский и Ахматова) — в *хронологическое*. Но тема при этом — не отсутствует: она разлита во времени, она течет в нем и черпает из него, сконцентрирована в нем и конденсируется из него. Именно такова природа никак специально не выделенных графически «армянского», «волчьего» и «щеглиного» циклов, стихов памяти А. Белого и О. Ваксель или стихов, обращенных к Н. Штемпель²⁰.

Итак, уже в 1920-е годы *хронология становится определяющим принципом*, формирующим книги поэта. Уже это делает Мандельштама антиподом почти всех своих современников, а в России в этом отношении он и вовсе уникален²¹.

При этом ритмы и, соответственно, метры не разбросаны в беспорядке, а концентрируются волнообразно в определенных узлах времени, где имеют достаточно отчетливые начало порыва и его конец. Поэтому метрика стихотворения, наряду с маркирующими эти очаги датами, может оказаться наиболее существенным, после датировок, признаком, позволяющим выстроить или уточнить композицию книги.

Легко можно себе представить и конфликт между метрикой и семантикой в вопросах установления места того или иного стихотворения в общекнижной композиции. Так, Д. Лахути, анализирувавший стихотворения «День стоял о пяти головах...» и «От сырой простыни говорящая...», пришел к выводу о целесообразности их публикации рядом друг с другом и в указанной последовательности²², тогда как

²⁰ Впрочем, оговоримся, что это не означает, что поступавшие иначе — скажем, Гете, Верлен или Анненский (близкие, дорогие Мандельштаму имена выбраны намеренно) — были чужды историзма: просто они прочерчивали иные маршруты в историческом пространстве.

²¹ На Западе, Впрочем, известны поэты, осознанно придерживавшиеся хронологического принципа — например, Сен-Жон-Перс во Франции и Фердинандо Пессоа в Португалии. К хронологии как к альтернативному эдиционному принципу все чаще и чаще стали прибегать серьезные издатели классиков, например, Гете и Рильке. При этом, по замечанию С.С. Аверинцева, происходит «экспериментальный, эвристический сдвиг привычного, освежающий мозги интерпретаторов» (из письма П.М. Нерлеру от 7 июля 1992 г. // *Аверинцев и Мандельштам*. С. 161).

²² Д. Лахути обратил на это специальное внимание в своем докладе 27 мая 2007 г. на однодневной конференции в Москве, посвященной воронежскому периоду жизни и творчества Мандельштама.

хронологические аргументы не говорят ни за, ни против этого. При этом не забудем, что предложение Д. Лахути базируется, естественно, на его индивидуальной интерпретации семантики²³ и что другие исследователи могли бы прийти к иным результатам.

4

Но Мандельштам не был бы Мандельштамом, если бы следовал какому бы то ни было «принципу» как данному раз и навсегда канону. По меньшей мере о двух типах отступлений от указанного принципа можно говорить с определенностью.

Первый уже упоминался — это *ахронологические циклы*. Их в 30-е годы по меньшей мере два: «Восьмистишия» и, более условно, «Армения». Условность «Армении» еще и в том, что перекомпоновывались стихи, в общем и целом одновременные, и пренебрежение «датами», по существу, не что иное, как их сознательная генерализация. «Восьмистишия» — и вовсе загадочный цикл, смысловые нити которого увязаны в единый пучок не темой и не хронологией, а *таинственной силой строфики*, не скованной даже общностью размера²⁴.

Второй — назовем его *ахронологическими завихрениями* — это авторская воля откорректировать чисто хронологическую композицию, как правило ее начало или конец (раздела или книги), выделить то или иное стихотворение, закурсивить его смысл — путем постановки на то или иное «господствующее» место.

Ярчайшие примеры — поставленный впереди всех «Новых стихов» «Щелкунчик»²⁵ и «Чернозем», поставленный впереди «Воронежских

²³ Вот его аргументация, изложенная в письме к автору: «Порядок двух стихов — сначала "День стоял о пяти головах", потом "От сырой простыни" для меня определяется тем, что последняя строфа первого из них ("Поезд шел на Урал") и первая строфа второго ("От сырой простыни говорящая") — об одном и том же: о картине "Чапаев" и ее функции: по воле "звукопаса" (он же речепас и мыслепас) вложить "в раскрытые рты" советских кинозрителей (а это — все советские граждане того времени) новые образцы говорения, "новые речи" взамен старых, которых они лишились, когда те стали "за десять шагов не слышины"».

²⁴ Интерпретаторский анализ «Восьмистиший», начатый еще в комментариях Н.Я. Мандельштам (*Мандельштам Н.Я.*, 2006. С. 314—322) и И.М. Семенко (см. в наших комментариях в: *Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М.*, 1990, С. 529—531), был продолжен работами Д.И. Черашней, С. Шварцбанда и др.

²⁵ Хотя, согласно комментарию Н.Я. Мандельштам, это закономерно и с хронологической точки зрения, поскольку стихи о пироге, испеченном ее тифлисской теткой ко дню ее рождения 31 октября 1930 года, и пришли первыми (*Мандельштам Н.Я.*, 2006. С. 231).

стихов». Известны и колебания поэта относительно концовки «Воронежских стихов»: ставить ли в их конец «Киевлянку» или стихи, обращенные к Н.Е. Штемпель?

Но свобода перестановки ограничена. Как правило, к началу «устремляются» стихотворения и хронологически льнущие к начальному этапу работы (как те же «Щелкунчик» или «Чернозем»), а к концу — стихотворения из числа завершающих книгу или ее раздел («тетрадь»). При этом ни при каких обстоятельствах стихотворение не могло быть переставлено из одной «тетради» в другую.

5

Несколько предварительных замечаний общего порядка — о воронежском периоде творчества Мандельштама. Чем примечательна его поэтическая «практика» именно в эти годы?

Во-первых, своей *структурностью*. Стихи традиционно разбиваются на три «Воронежские тетради», каждая из которых имеет не утвержденную автором и потому не слишком устоявшуюся композицию — в сущности, хронологическую, но с некоторыми отступлениями от этого принципа, касающимися начала или концовки тетради.

Во-вторых, невиданной *продуктивностью*. За три неполных года было написано — шуточные не в счет, — 106 стихотворений, то есть едва ли не четверть написанного за жизнь!²⁶

И в-третьих — столь же исключительной *интенсивностью*. Эти 106 стихотворений, или около 2 300 строк, были написаны в двух временных интервалах — с апреля по июль 1935 года (в августе и сентябре отдельные вещи лишь доканчивались) и с декабря 1936 года по май 1937 года. На круг — порядка 8—9 месяцев, или по десяти стихотворений в месяц!

Разбивка стихотворений по «тетрадам» — приходится оговориться, что это *наша* разбивка, — видна из таблицы 1 на с. 140.

Средний размер стихотворений «Первой воронежской тетради» традиционно мал (около 12 строк), но позднее, словно разгоняясь,

²⁶ Кроме того — как минимум два десятка шуточных стихов и стихотворных перевода, 5 рецензий, опубликованных в журнале «Подъем» (то были его последние прижизненные публикации), одна прозвучавшая по радио радиокomпозиция, несколько других прозаических набросков, а также около 60 писем (про письма, как и про шуточные стихи, наверняка можно сказать, что их было гораздо больше, но слишком многое не сохранилось).

Таблица 1

Распределение «Воронежских стихов» по «тетрадам»

	«Воронежские тетрады»			ВСЕГО
	Первая	Вторая	Третья	
Начало	5 апреля 1935 г.	6 декабря 1936 г.	2 марта 1937 г.	
Конец	7 сентября 1935 г.	12 февраля 1937 г.	Май 1937 г.	
Стихотворения основного корпуса	21	43	22	86
Прочие стихотво- рения	7	3	10	20
ИТОГО	28	46	32	106

Мандельштам «прибавил» длины²⁷ и освоил формы и новое пространство поэтической энергии, написав два неслыханно больших для себя стихотворения — самых длинных вообще! — «Оду» и «Стихи о неизвестном солдате»²⁸. Показательно, что оба гиганта были, по удачному выражению Н.Я. Мандельштам, «матками» второй и третьей «Воронежских тетрадей».

Между прочим, не случайно, что по силе исследовательского интереса «Ода» сейчас стремительно приблизилась к «Стихам о неизвестном солдате», собирая урожай самых разнообразных оценок — от презрительного высокомерия до аналитической восхищенности. В свое время, при первой публикации «Оды» в СССР²⁹, я уже высказался по этому поводу, здесь ограничусь лишь замечанием о своеобразной *метрической битве*, разыгравшейся между двумя этими гигантами в феврале — марте 1937 года.

С середины декабря 1936 года Мандельштам был захвачен мощной хорейской тягой:

²⁷ Средний размер стихов 1936 года — уже 14 строк, а 1937 года — даже 18! (Гаспаров М., 1990. С. 337).

²⁸ По числу строк (соответственно, 84 и 113) это третий и первый опусы во всем мандельштамовском корпусе. Между ними вклинилась только «Грифельная ода» (1923, 93 строки).

²⁹ Советский цирк. 1989. 12—18 октября. № 41. С. 15. В самиздате «Ода» вышла почти на 10 лет раньше — см.: Кириллов К. [Дедюлин С.В.] Непопулярные стихи Николая Заболоцкого и Осипа Мандельштама // Северная почта. 1980. № 4). Еще раньше, в 1975 г., ее опубликовали на Западе: Scanda-Slavica. 1975. V. 22. P. 35—41 (с пропуском ст. 56, публикатор — Б. Янгфельдт).

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова,
Шутишь: родина щегла!

Она не отпускала его почти месяц, сменившись наконец — на стыке 15—18 января 1937 года — еще более долгой полосой пяти— и шестистопных ямбов, прочертивших разнообразные смысловые орбиты вокруг «Оды». Стихотворения «Средь народного шума и спеха...» и «Если б меня наши враги взяли...» — эти, казалось бы, в ритмическом отношении особо приближенные к «Оде» произведения, — знаменуют собой как раз ритмический разлом, или конец столь властительного ямбического напора.

Более того: трехстопный анапест первого смотрится ни много ни мало как ритмический десант «Стихов о неизвестном солдате», чей мощный анапестический накат еще и этим противостоял дьявольской искушенности материи «Оды» — этой поистине «черной дыры», поглотившей столь много энергии и живой материи поэта.

В «Третьей воронежской тетради» 5/6-стопные ямбы возникают лишь дважды — и это совершенно другие — не одические — ямбы: я имею в виду ритм стихотворения «Реймс-Лаон» — с не-«сталинским» чередованием женских и мужских рифм — или удивительные стихи к Н. Штемепель с их сплошными женскими окончаниями, что непроизвольно, но ритмически сближает их с переложениями сонетов Петрарки.

6

Другая особенность новой поэтики Мандельштама — ее феноменальная *открытость*, ее внутренняя и естественная *свобода*, отказ от ряда непеременимых условностей, традиционно налагаемых на себя поэтом одновременно с откликом на творческий импульс. А встретить у позднего Мандельштама, скажем, сонет, — согласитесь, кажется невероятным (если это только не шуточный сонет и не перевод)³⁰.

Скачок произошел и в рифме — и тоже в направлении все большего раскрепощения (впрочем, началом этого следует считать все же «Грифельную оду», столь много предвосхитившую в поздних стихах, а также стихотворение «Опять войны разноголосица...»). Диссонан-

³⁰ Сонет «Христиан Клейст» — типичная промежуточная редакция стихотворения, расплюснутая окончательно: в данном случае вопрос о статусе «двойчатки» не возникал..

сы, неточные, подчас экстраординарные рифмы — стали обычным, нормальным явлением.

Он вошел в новую — даже для себя — полосу поэтической свободы и правоты. Его «поэтический организм» (выражение С.Б. Рудакова) не только и не столько заработал в освоенном уже поэтическом пространстве и по его законам, сколько научился сам творить это пространство и воплощать свои, новые законы: недаром в письме Ю.Н. Тынянову возникла — применительно к русской поэзии — фраза о «*кое-что изменив в ее строении и составе*»³¹.

И это понятно. Над Мандельштамом более нет запретов, в *любой* момент он может призвать к себе *любое* орудийное средство, вплоть до самых настоящих будетлянских неологизмов и, если только можно так выразиться, неометризов. Вероятность возникновения пяти-, шести— или даже семистрочной строфы почти столь же высока, как и четырехстрочной. Недаром стихотворение «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» заслужило от Ю.И. Левина прозвание «*ритмического монстра*»³².

Самостоятельное и самодостаточное значение приобретает *фрагмент, набросок, вариант* (вновь массовым явлением стали *краткостишья*, но и это уже не одни только четверостишья³³). Этому была и другая серьезная причина: Мандельштам отказался от установки на смысловую законченность, логическую завершенность стиха, которыми была отмечена его поэтическая молодость. Процесс с множественностью возможных продолжений ему уже дороже результата — все-таки, что ни говори, лишь одной из версий этого процесса. Отсюда же — переосмысление вариантов, признание их равноценности и рядоположенности, даже безальтернативности, ведущее к их признанию в корпусе («Кама», «Заблудился я в небе...»).

Под влиянием этой открытости и фрагментарности складывается атмосфера особой доверительности со своим читателем, собеседником из будущего — как же часто поэт апеллирует к собеседнику! — тем

³¹ *Нерлер П.* Краткостишья: поэтика и случайность (о кратких формах в японской и русской поэзии) // Вопросы истории литератур Востока. Фольклор, классика, современность. Сб. статей. М.: Наука, 1979. (Часть 1). С. 222—235.

³² *Левин Ю.И.* Заметки о поэзии О. Мандельштама тридцатых годов, I // *Slavica Hierosolimitana*. Vol. III. Jerusalem, 1978. С. 127—128. На пространстве в 20 строк Д. Лахути насчитал 15 различных ритмических рисунков! Впрочем, на это же «звание» претендует и «Улица Мандельштама»: на 11 строк 10 разных ритмических рисунков! Тем самым к семантике кривизны («такая чертова фамилия, что как ее ни выправляй, звучит все равно криво»), добавляется и ритмическая «кривизна» (так же наблюдение Д. Лахути).

³³ Мелькнувшие в «Камне» (где они, по всей видимости, были ничем иным, как результатом «хирургической операции» над более обширным стихотворением), они возродились в 1935—1937 гг. — 12 четверостиший, но наряду с 5-, 6- и 7-стишиями.

более что живых, реальных читателей во плоти становилось с каждым годом все меньше.

Собственно, процесс и стал результатом. Кажется, что началось это искусственно — с божественного «Ариоста», которого было так жаль не вспомнить! А «вспомнить» — оказалось то же самое, что написать заново. Написал, а вышло иначе: с этого, кажется, и началось уверенное признание автором вариаций редакций не вариантами, не черновиками, а самостоятельными стихами³⁴.

И это вовсе не отказ, не измена цеху «смысловиков» — и уж тем более не самовлюбленность («что ни напишу — все жемчуг»). Если и отказ, то лишь от *единственности* результата, ставка на эффект рядомположенных вариантов, на игру их смысловых граней.

Речь Мандельштама не обрывается всякий раз в конце того или иного стихотворения — она подхватывается и продолжается в следующем, в следующем за следующим и так далее. Образуется сплошной поэтический поток, неслыханное пространство не стиха, но поэтической речи, — как бы простроченное тематическими стежками, ведомыми все одной и той же «иглой» смыслового единства, постоянно развивающегося, дышащего и выстраивающегося в некий смысловой сюжет.

Это требует и от читателя (собеседника) некоего масштабного сдвига, поскольку может возникнуть и возникает ощущение все нарастающей трудности восприятия. Ведь дело приходится иметь дело не со стихотворением, не с циклом и даже не с тематической книгой, а с книгой, хронологически построенной.

Это, конечно, отразилось и в метрике — причем не только в метрических волнах — своего рода накате разных размеров, но и в усредненной метроскопии.

Наиболее серьезные исследования метрического репертуара «позднего» Мандельштама принадлежат М.Л. Гаспарову³⁵ и В.А. Плунгяну³⁶. Вот лишь некоторые из их выводов, имеющие отношение к нашей теме. Согласно Гаспарову, «московские» стихи резко выделяются повышенной долей неклассических размеров, а «воронежские» — такой же долей трехсложников, главным образом пятистопных анапестов, — этих, по выражению И. Бродского, «русских гекзаметров»³⁷, внутренне

³⁴ В двойчатке «Соломинка» и «Варианте» к «1 января 1924 года» еще сквозят неуверенность и даже сомнение в их легитимности.

³⁵ Гаспаров М., 1990. С. 336—346.

³⁶ Плунгян В. Метрика О.Э. Мандельштама: к анализу структуры и эволюции // СМР—5/2. 2011. С. 342—369. Принятые Плунгяном и Гаспаровым периодизации, к сожалению, не вполне сопоставимы друг с другом.

³⁷ Бродский И. «С миром державным я был лишь ребячески связан...» // *Стелетие Мандельштама...* С. 15.

тяготеющих, по наблюдению уже С. Аверинцева, к трагическому и античному³⁸.

Плунгян же как бы подхватывает тезис Гаспарова и продолжает: «Таким образом, в метрическом отношении О.М. проделывает достаточно сложную эволюцию от несколько консервативной ритмической строгости раннего периода и торжественной классичности “петербургского” периода, через поиски в области расшатанных тонических форм и полиметрии 1920-х — к новому синтезу 1930-х, с преобладанием более эмоциональных и раскованных форм, но в целом находящихся в пределах регулярного стиха. В этой эволюции — от ранней строгости к новой раскованной музыкальности — О.М. во многом следовал за общими тенденциями эпохи (канонизировавшей сначала дольник, потом тактовик и акцентный стих), однако следовал осторожно, тщательно отбирая для своего метрического арсенала те формы, которые соответствовали его художественным принципам»³⁹.

Мне кажется, это не столько осознанная «осторожность», сколько последовательная «постепенность» (без буквального ломания хребтов!) перехода одной поэтической погудки в другую, внешним проявлением чего, собственно, и являются метрические волны с их неодинаковой длительностью и силой.

7

Мы подошли к концу своих рассуждений. Для ясности и для удобства критиков постараемся подытожить то, к чему, как кажется, удалось прийти:

1. **Хронологический принцип — формообразующий.** Не покушаясь, разумеется, на правомочность и иных подходов, укажем на возможность положить его в основу составительского труда. Это не жесткая схема, а достаточно гибкий инструмент: возможен и желателен синтез разных подходов и «орудийных средств». Так, проблема иерархии текстов может быть снята путем шрифтового разнообразия или разного рода помет в оглавлении.

2. **Стихотворения выстраиваются единым потоком — метрическими волнами, в порядке их развертывания по времени их написания,** причем предпочтение в «спорных» случаях отдается

³⁸ С.С. Аверинцев указал нам на роль анапестов в античной трагедии, в частности, у Эсхила: первая песня хора в любой античной трагедии непременно анапестическая, что было сохранено и в эквиметрических переводах В. Иванова, например.

³⁹ Плунгян В. Метрика О.Э. Мандельштама: к анализу структуры и эволюции // СМР-5/2. 2011. С. 364.

не конечным, а начальным датам, фиксирующим начало «погудки», творческого импульса, размера.

3. В случаях, когда нет ни точных авторских, ни прочих косвенных датировок, или (что то же самое) когда целый ряд стихотворений имеет одну и ту же, но широкую или расплывчатую датировку (скажем: «1910» или «весна 1935»), можно опереться и на некоторые **дополнительные композиционные факторы**, а именно:

— **семантический** (смысловое единство, текстуальная и образная перекличка);

— **метрический** (собрание, стягивание стихотворений одного и того же размера в своего рода «букеты»).

4. Одновременно вводится система **композиционных поправок**, не вписывающихся в предложенную систему, но отражающих реальную сложность авторского отношения к этой проблеме. Это: а) хронологические циклы и б) хронологические завихрения⁴⁰.

8

Казалось бы, после «теоретической» части не худо бы дать и некое «практическое приложение» — чужие или собственное решение обозначенных выше задач.

Ограничимся, для компактности и наглядности, рамками «Первой воронежской тетради».

Мое собственное композиционное решение, реализованное в томе третьем «синего четырехтомника», — сугубо хронологическое. Оно представлено ниже, в таблицах 2 и 3 (аббревиатура «Л. Н.»)⁴¹.

Загодя подчеркну его неокончателность, свидетельством чему являются звездочки перед некоторыми из стихотворений. Указывая не столько на непринадлежность стихов к основному корпусу, сколько на те или иные возникающие сомнения в такого рода принадлежности, они как бы сигнализируют о композиционной зыбкости и нетвердости полученного результата.

И тем не менее...

Мандельштам влетел в свою «Первую воронежскую тетрадь» в апреле 1935 года — в те дни, когда Надежда Яковлевна была в Москве и когда к нему впервые пришел Сергей Рудаков, ставший невольным свидетелем этого поэтического труда.

⁴⁰ Работая над первым томом 4-томного Собрания сочинений О. Мандельштама, мы не прибегли к этому — именно из-за того, что преследовали цель строго и сугубо хронологической композиции.

⁴¹ Поправка, которой я обязан Д.Г. Лахути, здесь не учтена.

Таблица 2

**Композиция «Первой Воронежской тетради» (по П. Нерлеру)
в сочетании с метрикой отдельных стихотворений¹**

№	Заглавие	Дата	Размер (в скобках — возможные варианты)
01	«Скрипачка» («За Паганини длиннопалым...») ²	5.4 — 7.1935	Ямб 4-стопный, рифмы в строках 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22 женские, в остальных — мужские.
*02	«Тянули жили, жили-были...»	<4?> — 5.1935	Ямб 4-стопный; в нечетных строках рифмы женские, в четных мужские.
03	«Это какая улица?..»	4.1935	1 — хорей и 3 ямба. 2 — хорей + 2 ямба + безударный (слог «Ман» считаем ударным, т. к. в сложном слове «Мандельштам»=Mandel (миндаль)+Stamm (ствол) на него падает дополнительное ударение; 3 — допускает разные интерпретации, в т.ч. 3 дактиля; 4 — 2 хорей + 2 ямба; 5 — хорей + ямб + пиррихий + хорей; 6,7 — 3 дактиля; 8 — пэан—4 + хорей + дактиль; 9 — хорей + ямб + 2 хорей; 10 — 3 дактиля; 11 — дактиль + 2 хорей или дактиль + пэан—3 (что кажется предпочтительнее)
04	«Я живу на важных огородах...»	4.1935	Хорей разностопный (ст. 1, 3, 7, 11 — 5-стопный, женские рифмы; ст. 2, 4, 8, 12 — 5-стопный, мужские рифмы; ст. 5, 9 — 6-стопный, женские рифмы; 6,10 — 6-стопный)
05	«Летчики» («Не мучнистой бабочкою белой...»)	<4?> — 21.7.1935, 30.5.1936	Хорей: стр. 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19 — 5-стопный, женские рифмы; все четные — 5-стопный, мужские рифмы; 5, 13 — 6-стоп.
06	«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»	4.1935	Ямб: 1, 2 — 5-стопный, женские рифмы; 3, 4 — 5-стопный.
07	«Я должен жить, хотя я дважды умер...»	4.1935	Ямб: 1, 2, 5, 6 — 5-стопный, женские рифмы; 3, 4 — 5-стопный.

Продолжение табл. 2

08	Чернозем («Переуважена, пере- черна, вся в холе...»)	4.1935	Ямб: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16 — 6-стопный, женские рифмы; 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15 — 6-стопный; 13 — 5-стопный; 14 — 5-стопный, женские рифмы.
09	«Наушники, наушнички мои!..»	4.1935	Ямб 5-стопный: нечетные — мужская рифма, четные — женская рифма.
*10	«Мне ка- жется, мы говорить должны...»	4—5.1935	Ямб: 1,2,7,8 — 5-стопный; 3—6 — 5-стопный, женские рифмы.
*11	Большевик («Мир на- чинался страшен и велик...»)	4—5.1935	1 — хорей + 4 ямба; Ямб:3,5,8 — 5-стопный; 2,4,6,7 — 5-стопный, женские рифмы (5 — ямб + 2 пэана—4)
*12	«Да, я лежу в земле, губа- ми шевеля...»	5.1935	Ямб: 1,3,5,7 — 6-стопный; 2,8 — 6-стопный, женские рифмы; 4,6 — 5-стопный, женские рифмы (7— ямб + пэан—4 + ямб + пэан—4)
13 ³	Чапаев («От сырой про- стыни гово- рящая...»)	<4> — 6.1935	Анапест: нечетные — 3-стопный + 2 безударных; четные — 3-стопный
14	«День стоял о пяти голо- вах. Сплош- ные пять суток...»	4 — 1.6.1935	1: стопы 1, 2 — анапест, 3,4 — амфибрахий; 2, 7 — анапест 6-стопный; 3, 5 — анапест 5-стопный, женская рифма; 4, 18 — анапест 5-стопный; 6 — дактиль 6-стопный без последнего (безударного) слога; 8 — дактиль — хорей — дактиль — хорей; 9, 11, 16 — 3 анапеста, женская рифма + 3 анапеста; 10 — 3 анапеста + 2 безударных слога + 3 анапеста; 12 — 3 хорей + 1 ямб + 3 анапеста; 13 — анапест 6-стопный, женская рифма. 14 — 4 анапеста + 2 амфибрахия; 15 — 2 анапеста + 2 безударных + 2 анапеста; 17 — 2 анапеста + 2 амфибрахия; 19 — анапест 4-стопный, женская рифма; 20 — анапест 4-стопный.
15	Кама (1)	4—5.1935	Анапест 4-стопный

Продолжение табл. 2

16	Кама (2)	4—5.1935	Анапест 4-стопный
17	Кама (3)	4—5.1935	Анапест 4-стопный
18	«Лишив меня морей, разбега и разлета...»	5.1935	1,3 — ямб. 6-стопный, женская рифма; 2 — то же, мужская рифма; 4 — хорей + 5 ямбов
19	Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...»)	5—6.1935	Ямб: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 39,40,42 (3 ямба + хорей + ямб + безударный),43 — 5-стопный, женская рифма; 2, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 32 (пэан—4+ямб+пэан—4), 34, 44 — 5-стопный, мужская рифма; 14 — 4-стопный, женская рифма; 18, 22, 35, 38, 41 — 6-стопный; 19, 30 (3 пэана—4+1 безударный) — 6-стопный, женская рифма
*20	Железо («Идут года железными полками...»)	22.5.1935	1—4,7,8 — ямб 5-стопный, женская рифма; 5 — 2 амфибрахий+1 ямб+1 амфибрахий; 6 — 1 амфибрахий+1 хорей+1 анапест+1 амфибрахий
21	«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»	24.5.1935	Ямб: 5-стопный, женская рифма.
22	«На мертвых ресницах Исакий замерз...»	3.6.1935	Амфибрахий: нечетные строки — 4-стопный без последнего (безударного) слога; четные — 3-стопный (в строке 4 — «затакт»: в начале дополнительный безударный слог).
23	«Возможна ли женщине мертвой хвала...»	3.6.1935, 14.12.1936	То же (без «затакта»).
24	«Римских ночей полновесные слитки...»	6.1935	Дактиль: 4-стопный без последнего (безударного) слога; во 3-й стопе 3-й строки выпущен 1-й (ударный) слог.
25	«Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»	27.6—7.1935	Ямб: 6-стопный, строки 1,3,4 9 — женская 2,5,7 — мужская рифма; 5-стопный: 6,8 — женская рифма; 10 — 5-стопный

Окончание табл. 2

*26	«Ты должен мной повелевать...»	5(?).1935	Ямб 4-стопный; строки 1,3,6,7 — мужская рифма, 2,4,5,8 — женская рифма (1,3 — 2 ямба + пэан—4; 6,7 ² — 2 пэана—4)
*27	«Мир должно в черном теле брать...»	6.1935	Ямб 4-стопный; строки 1—2 — мужская рифма; 3—4 — женская рифма. (3 — 2 пэана—4 + 1 безударный; 4 — 1 хорей + 3 ямба + 1 безударный)
28	«Исполню дымчатый обряд...»	7.1935	Ямб 4-стопный; строки 1,2, 5, 6,8— мужская рифма; 3,4,7 — женская рифма (в строках 1—3,5,8 есть пиррихий, в строке 4 — стопа из 5 безударных и 1 ударного слога: «[ДвуИск]рение сердоИ[ки]»)

¹ Благодарю Д.Г. Лахути за сжатые ритмические характеристики каждого из стихотворений (см. столбец 4; для п-стопного ямба или анапеста женская рифма означает, что к п стопам добавляется 1 безударный слог).

² В этом стихотворении 11 пэанов 4-тых (четырёхсложных стоп с одним — последним — ударным слогом): «За Пагани... / ...ни длиннопа... / ...ской чемчурой / ...но-одича... / ...ным карнава... / ...ны молодой / ...вой, в дирижер... / ...ских фейервер... / ...ба в колыбель / Перелива... / ...ющей как хмель» (наблюдение Д. Лахути).

³ С сегодняшней, уточненной, позиции, я бы согласился с мнением Д. Лахути, ставящего стихотворение 14 впереди 13 (см. ниже). Эта корректива не отражена в табл. 3, фиксирующей уже опубликованные композиции.

Понятно, что раз возникнув, разные метрические волны не дожидались своего полного исчерпания, а просто сосуществовали друг с другом во времени, отчего неизбежной становилась и одновременность работы над ними.

Попробуем задаться вопросом: с чего именно все же началась эта работа?

Ответить на него очень трудно. Датировки под стихами помогают мало: они не по числам, как в обеих предшествующих и обеих последующих «тетрадах», а по месяцам⁴². Так что мы имеем сразу четыре метрические волны, начало которым было положено в апреле.

Это, во-первых, ямб с большим числом пэанов 4-х («За Паганини длиннопалым...», «Тянули жилы, жили-были...», «Это какая улица...»). «Тянули жилы, жили-были...» дописывались в мае, а «Скрипачка» даже в июне.

⁴² Точные даты были только на черновиках, погибших у Рудаковых (*Мандельштам Н.*, 2006. С. 343).

Во-вторых, 5-стопный, с отклонениями, хорей («Я живу на важных огородах...», «Не мучнистой бабочкою белой...»). «Летчики» также завершались в мае.

В-третьих, это разностопный (с числом стоп от 4 до 6) ямба, но с доминированием 5-х стопника («Пусти меня, отдай меня, Воронеж...», «Я должен жить, хотя я дважды умер...», «Переуважена, перечерна, вся в холе...», «Наушники, наушнички мои!..», «Мне кажется, мы говорить должны...», «Мир начинался страшен и велик...» и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»). Как некая подгруппа выделяются два стихотворения, в которых встречается и 6-стопник — «Чернозем» и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...». Работа над тремя стихотворениями — «Мне кажется, мы говорить должны...», «Мир начинался страшен и велик...» и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» — закончилась в мае⁴³.

И, наконец, четвертая группа — это трехсложники: анапест с вариациями. Сначала — 3-стопный анапест («От сырой простыни говорящая...»), затем анапест с вкраплениями амфибрахия («День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...») и, наконец, — 4-стопный анапест — тройчатка «Кама». Работа над всеми захватила и май, а над «Чапаевым» — еще и июнь.

Майские стихи отличаются от апрельских довольно четко: на смену 4-стопному анапесту снова пришел многостопный ямба — сначала 6-стопный («Лишив меня морей...»), постепенно соскальзывающий в разностопный — смешанный 5- и 6-стопный («Я не хочу среди юношей тепличных...», «Идут года железными полками...», «Идут года железными полками...» и «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»). Из них только одно — «Стансы» — все еще дописывалось в июне.

Сам июнь ознаменовался возвращением трехсложников — сначала амфибрахия в стихах памяти Ольги Ваксель в самом начале месяца и еще дактиля («Римских ночей полновесные слитки...»).

Затем — возвращение ямба, сначала — в конце месяца — 6-стопного («Бежит волна-волной, волне хребет ломая...»), а затем — 4-стопного («Ты должен мной повелевать...» и «Мир должно в черном теле брать...»). Последнее стихотворение («Исполню дымчатый обряд...») — июльское: написанное тем же 4-стопным ямбом, оно завершает книгу.

Но именно с этого размера «Первая воронежская тетрадь» условно и начиналась!..

Вернемся и мы в апрель 1935 года, так и не зная еще, какая из четырех метрических групп, — а в нашем представлении «метрических волн», — была первой, какая второй и так далее.

⁴³ Последнее, кстати, датировано одним только маем — без апреля. В свете его теснейшей соотнесенности с предшествующими апрельскими стихотворениями можно сделать только тот вывод, что оно и есть завершение этой, ближе к концу апреля начавшейся, метрической волны, пришедшее на май — скорее всего на его начало.

Надежда Яковлевна, справедливо классифицируя «Чернозем» как матку первой «тетради» (наравне со «Стихами о неизвестном солдате» и «Одой» во второй и третьей), выносит его вперед. Это не означает, что оно пришло первым, но подчеркивает, что оно главное (композиционный жест, которого она, кстати, не делает с остальными двумя «матками»). Порядок стихов в ее «Комментарии...» (а не в «Ватиканском списке»⁴⁴) — с «Черноземом» впереди и со стихами памяти Ваксель после «Скрипачки» — и есть ее позиция в области композиции первой тетради.

О Харджиеве же она пишет, что у него «...нет понимания целостности того, что О.М. называл “поэтическим порывом”. Он формалист в самом точном смысле этого слова. Для него всякое стихотворение — отдельная вещь, и он не видит его связи со всем строем мысли»⁴⁵.

Представляется, что метрическое единство, хотя бы и изначальное, и соотношенность с метрическими волнами являются осевыми элементами «поэтического порыва». Поэтому вопрос реконструкции времени или хотя бы очередности создания тех или иных стихов (в том числе и начала работы над ними) — далеко не праздный.

Но тут на помощь неожиданно приходит биографический материал. Из переписки С.Б. Рудакова с женой мы твердо знаем, с чего именно началась «Первая воронежская». Со «Скрипачки», начало и конец которой пришли к Мандельштаму 6 апреля — на другой день после концерта скрипачки Галины Бариновой!⁴⁶

Стало быть, первой из четырех волн была именно — ямбическая.

Вторая — хореическая — группа прошла как бы мимо Рудакова.

А вот третья — снова ямбическая — «засветилась»: в письме от 17 апреля Рудаков цитирует две строки из стихотворения или недописанного, или пропавшего: «Я семафор со сломанной рукой / У полотна воронежской дороги», а 20 апреля приводит строчку «Зеленой ночью папоротник черный» и сообщает даже дни бешеной работы в рамках этой волны, — начиная с 17 апреля!⁴⁷

Потом целый месяц — о стихах ни гу-гу. Пока, наконец, сходящий с ума Рудаков-Сальери, перечисляя свои менторские «заслуги», не назовет или не процитирует 18 мая такие стихи, как «Чернозем», «Кама», «Большевик» и «Стансы»⁴⁸. 21 мая цитируется стихотворение «Мне кажется, мы говорить должны...» (оно же всплывет и 24 мая)

⁴⁴ В «Комментариях к стихам 1930—1937 гг.» Н.Я. Мандельштам не раз подчеркивала, что порядок стихов в «Ватиканском списке» — не окончательный, а случайный, обусловленный соображениями удобства записи (Мандельштам Н., 2006. С. 343—344).

⁴⁵ Мандельштам Н., 2006. С. 360.

⁴⁶ О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935—1936), 1993. С. 34.

⁴⁷ Там же. С. 43—44.

⁴⁸ Там же. С. 50—51.

и фиксируется начало поэтической рефлексии на крушение 18 мая агитационного самолета «Максим Горький»⁴⁹.

24 мая Рудаков снова помянет начатые в апреле «Каму», «Чернозем» и «Мне кажется, мы говорить должны...», а 26 мая — уже сугубо майские «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»⁵⁰. 26, 27 и 29 мая — упоминания «Чапаева» и стихотворения «День стоял о пяти головах...»⁵¹.

Благодаря Рудакову, задокументировавшему последовательно три из четырех апрельских метрических волн, мы можем теперь реконструировать их последовательность. Проблему составляют только стихи «хореической» волны: но ее мы ставим второй уже на семантическом основании — уж больно связаны друг с другом стихотворения «Эта какая улица?...» и «Я живу на важных огородах...».

Аналогичный — и более тщательный — учет не только метрического, но и семантического соседства привел меня к пересмотру решения об очередности двух стихотворений из майской анапестной волны: стихотворение «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (№ 14) должно идти не за, а перед «Чапаевым» (№ 13)⁵².

9

Как бы то ни было, но, сравнивая разные последовательности стихотворений в разных источниках, утыкаешься в их полнейший разнობой. Попытаемся его осмыслить.

Прежде всего: каким первичным композиционным материалом я располагал в начале 1990-х годов?

Благодаря копии из архива Ирины Михайловны Семенко, у меня был перечень стихотворений из так называемого «Ватиканского списка» (ниже обозначается как «ВС»). Н.Я. Мандельштам пишет о нем: «*После моего возвращения из Москвы, откуда я привезла сохранившиеся после первого ареста бумаги, мы начали восстанавливать стихи 30—34 года, и я сделала “ватиканский список”.* В нем материалы кончатся *первой воронежской тетрадью*»⁵³.

Многие, в частности, А.Г. Мец, именно ВС принимают в качестве канонического. Вместе с тем Надежда Яковлевна (а за нею и Семенко)

⁴⁹ Там же. С. 52.

⁵⁰ Там же. С. 54—55.

⁵¹ Там же. С. 55—58.

⁵² Благодарю Д. Лахути, указавшего мне на это несоответствие и приведшего ряд аргументов в пользу такой корректуры.

⁵³ Мандельштам Н., 2006. С. 343.

не раз подчеркивала, что порядок стихов в ВС — не окончательный, а случайный, обусловленный соображениями удобства записи⁵⁴.

Между прочим, три «сомнительных» стихотворения — №№ 10—12 — в самом ВС не зачеркнуты, а просто лишены своих порядковых номеров, причем очевидно, что расстановка номеров происходила позднее, чем запись списка, что означает, вероятней всего, вынос из основного корпуса. Но спрашивается: авторская ли это правка?

Другой авторитетный источник — это список поздних стихов под заглавием «Новая книга», записанный Н.Я. Мандельштам и Э.Г. Бабаевым в 1943—1944 гг. в Ташкенте в самодельной тетради из плотной бумаги оливкового цвета⁵⁵. В судьбе этого списка, названного нами условно «Ташкентским», есть поразительный эпизод: во время Ташкентского землетрясения 1966 года была полностью разрушена квартира, в которой он хранился, но сам список чудесным образом уцелел.

Эдиционно-текстологическое значение этого списка оказалось большим: сделанный по источникам, непосредственно восходящим к прижизненным, он был ценен в период работы над двухтомником сочетанием авторитетности и доступности. Список фигурирует ниже под аббревиатурой «ТС».

И в ВС, и в ТС отсутствуют, — и, надо полагать, по автоцензурным соображениям — стихотворения «Это какая улица...», первое стихотворение «Камы» и «Лишив меня морей, разбега и разлета...».

Вместе с тем степень решительности отказа от принадлежности к основному корпусу для ряда стихотворений — со временем все возрастала. Впрочем, заметим, что «исключение» №№ 10—12 из ВС — относится, по-видимому, к несколько более поздним временам, а № 12 в ТС — и вовсе остался вне покушений.

10

Поражает и то, сколь немного специалистов сталкивалось с самой проблемой композиции — именно как с проблемой!

Это, во-первых — Н.Я. Мандельштам, мнение которой по этому поводу так или иначе зафиксировано в принятой ею последовательности стихотворений в «Комментарии к стихам 1930—1937»⁵⁶. Далее, при сопоставлениях, мы фиксируем ее композицию под аббревиатурой «Н.Я.».

⁵⁴ Там же. С. 343—344.

⁵⁵ Н. Мандельштам сама записала стихи цикла «Армения» и позднее авторизовала каждую страницу, скопированную Бабаевым. Список хранится в собрании Е.Э. Бабаевой (Москва).

⁵⁶ Мандельштам Н., 2006. С. 229—448.

Между прочим, первым стихотворением «Первой воронежской тетради» Н.Я. Мандельштам полагала стихотворение «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»⁵⁷. Так же к этой тетради она, — а вслед за ней и В.А. Швейцер, — относила и стихотворение « — Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...», относительно датировки которого однозначно прав оказался все-таки Н.И. Харджиев, а не она⁵⁸.

Крайне существенно и следующее свидетельство: «*Все стихи в начале тетради группировались вокруг “Чернозема”. Там были идиотские стихи — первая попытка выполнить “социальный заказ”, из которой ничего не вышло. От этих стихов О.М. сам моментально отказался, признав их “собачьей чушью”. Из них он, вернее даже не он, а Харджиев, сохранил “Красную площадь”, надеясь, что это протолкнет книгу. Я не уничтожаю их, потому что они все равно когда-нибудь найдутся — О.М. успел послать их кому-то — в Союз или Фадееву в журнал. Но О.М. твердо хотел их уничтожить. Сохранились они, вероятно, и в письмах Рудакова жене*»⁵⁹.

Порядок стихов не в ВС, а в «Комментарии...» Надежды Яковлевны — и есть ее позиция в области композиции первой тетради. Классифицируя «Чернозем» как матку первой «тетради» (наравне со «Стихами о неизвестном солдате» и «Одой» во второй и третьей), она выносит его вперед, на вторую, после «Твоим узким плечам...», позицию⁶⁰. Это не означает, что оно пришло первым, но подчеркивает, что оно и есть главное (композиционный жест, которого она, кстати, не делает с остальными двумя «матками»).

«*У Харджиева нет понимания целостности того, что О.М. называл “поэтическим порывом”. Он формалист в самом точном смысле этого слова. Для него всякое стихотворение — отдельная вещь, и он не видит его связи со всем строем мысли*»⁶¹.

Во-вторых — это Ирина Михайловна Семенко, занимавшаяся разработкой корпуса «позднего Мандельштама»; в результате долгих лет работы она пришла к собственному представлению о составе, текстологии и композиции соответствующего корпуса. Подготовленная ею текстология, в значительной мере использованная при подготовке «худлитовского» двухтомника, несет на себе следы ее работы не только над текстами, но и над композицией корпуса. Решение, принятое ею как условно окончательное, зафиксировано в подготовленной С.В. Ва-

⁵⁷ Там же. С. 335—339.

⁵⁸ Там же. С. 363—366.

⁵⁹ Там же. С. 340.

⁶⁰ Она же настаивает на том, что стихи памяти Ваксель должны идти после «Скрипачки».

⁶¹ Мандельштам Н. 2006. С. 360.

силенко публикации⁶² — далее оно фигурирует у нас под обозначением «Сем2». Обозначению «Сем1» соответствует промежуточная версия композиции корпуса стихов, зафиксированная в произведенной Семенко перенумерации страниц итоговой машинописи.

В-третьих, это редакторы «нью-йоркского» собрания сочинений О.Э. Мандельштама — Б. Филиппов и Г. Струве⁶³ (далее «СС-Ъ»).

В-четвертых, В.А. Швейцер, выпустившая в 1981 году в издательстве «Ардис» «Воронежские тетради». В своей работе она одной из первых на Западе опиралась на материалы Принстонского собрания.

В-пятых, -шестых и -седьмых — это композиции, принятые в изданиях, текстологически подготовленных А.Г. Мецем («Мец»), С.В. Василенко («С.В.») и М.Л. Гаспаровым («М.Г.»).

И, наконец, восьмое — композиции, разработанные мной для «черного двухтомника» и для третьего тома четырехтомника Мандельштамовского общества (аббревиатура «П.Н.», соответственно, числитель и знаменатель)⁶⁴.

В таблице 3 сведены различные последовательности стихотворений во всех упомянутых источниках⁶⁵.

Таблица 3

**Композиции «Первой Воронежской тетради»
(по различным источникам)**

№№	BC	ТС	СС—1	Н.Я.	BT	Сем1	Сем2	Мец	С.В.	М.Г.	П.Н.
1	04	08	01	08	08	08	08	04	08	04	01/08
2	09	07	12	04	04	04	04	09	04	09	*02/03
3	06	06	13	07	07	09	09	06	07	06	03/09
4	07	09	22	21	09	06	06	07	06	03	04/05
5	08	04	04	15	06	07	07	03	09	07	05/17
6	*11	*27	09	16	03	03	03	08	03	08	06/04
7	*10	*10	02	17	21	21	14	18	12	15	07/02

⁶² О.Э. Мандельштам. *Новые стихи*. [Подготовка текста И.М. Семенко] // ЖиТМ. С. 81—188.

⁶³ См.: О.Э. Мандельштам. *Собрание сочинений*. Т. 1 (2-е изд.). Нью-Йорк, 1967.

⁶⁴ При этом мы учитываем и композицию, предложенную в: О. Мандельштам. *Сочинения*: В 2 т., 1990 (составители С.С. Аверинцев и П.М. Нерлер) и ее усовершенствованный вариант, разработанный П.М. Нерлером для 3-го тома Собр. Соч. (Мандельштам О., 1993-1997. Т.3).

⁶⁵ Значок (*) обозначает стихотворение «— Нет, не мигрень, но подай карандаш ментоловый...».

Окончание табл. 3

8	*12	*12	03	19	15	15	01	12	21	16	08/01
9	21	21	10	14	16	16	21	15	15	17	09/06
10	16	16	16	13	17	17	15	16	16	10	*10
11	17	17	15	18	19	19	16	19	17	11	*11
12	19	19	06	01	14	18	17	14	19	26	*12
13	14	14	07	23	13	14	19	13	18	12	13/09
14	13	13	08	22	01	13	18	21	14	21	14/10
15	*27	05	11	24	23	22	22	24	13	19	15/11
16	24	25	14	05	22	23	23	23	01	18	16/12
17	23	28	05	(“)	24	24	24	22	23	14	17/13
18	22	23	18	25	28	01	13	01	22	13	18/14
19	25	24	17	28	18	28	05	25	24	01	19/15
20	28	22	19		(“)	25	25	28	25	23	*20
21	01	01	21		05		28	05	28	22	21/16
22	05		20						05	24	22/18
23										Ари- ост ¹	23/19
24										25	24/20
25										28	25/21
26											*26
27											*27
28											28/21
Вне ос- нов- ного кор- пуса или от- сут- ству- ют	02, 03, 15, 18, 20, 26	02, 03, 15, 18, 20, 26, 27		02, 03, 06, 10, 11, 12, 20, 26, 27	02, 10, 11, 12, 20, 26, 27	02, 10, 11, 12, 20, 26, 27	02, 10, 11, 12, 20, 26, 27	02, 10, 11, 20, 26, 27	02, 26, 27	02, 20, 27	— /10, 11, 12, 20, 26, 27

¹ Гаспаров счел двойчатку «Ариост» в масштабе всего корпуса поэзии Мандельштама искусственной и разбил ее на отдельные стихотворения.

Несколько слов, без претензии на исчерпывающую полноту характеристики, о самих композициях.

Между композициями двух базовых источников — *BC* и *ТС* — очень много общего. В начале — пятерка стихотворений, роящихся вокруг «Чернозема» (выдвижение «Чернозема» в *ТС*, кажется, здесь впервые и запечатлено!), а в конце — «Скрипачка». Самое существенное (кроме места «Чернозема») отличие — это место стихотворений, так или иначе связанных с темами Гете и известием о смерти О. Ваксель (№№ 22—24): в *BC* они стоят между №№ 13 и 25, 28, а в *ТС* — сдвинуты в конец тетради, и уже не предшествуют №№ 25 и 28, а следуют сзади: позже них — только «Скрипачка», а в *BC* — «Летчики» (№ 05).

У Н.Я. Мандельштам перемещение «Чернозема» вперед как бы уже закреплено. Между тем порядок в самой пятерке еще неустойчив (если вспомнить, что правка на *ТС* — также принадлежит ей). В середине — между «Стрижкой детей» и впервые появившимся четверостишием «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (№ 18) — изменений по сравнению с ранними списками нет. Но вот «Скрипачка» и «Летчики» покинули последние места, окружив собой стихи на смерть Ваксель. Неразлучная доселе пара — №№ 25 и 28 — впервые заняла места в конце.

Впрочем, «ненадолго». У В. Швейцер в *BT* они поменялись местами, а в конце встали «Лишив меня морей...» и снова «Летчики». А в начале — все та же пятерка, но снова в ином порядке, а вослед — «Это какая улица?..» и «Стрижка детей». «Скрипачка» же — по-прежнему впереди стихов памяти Ваксель.

Очень интересна промежуточная композиция И.М. Семенко (*Сем1*). До известной степени ее можно рассматривать как реконструкцию *BC*: восстановлены №№ 03, 15 и 18, причем каждому подобраны весьма осмысленные места (например, у «Лишив меня морей...»? — возле «Стансов»). Только «Скрипачка» и «Летчики» — не на последних, а на предпоследних местах. Начало же — как бы не тронут, за исключением переноса «Чернозема» на самый верх. А в самый «низ» впервые встало стихотворение «Бежит волна...»?

Бросаются в глаза и две весьма решительные перестановки, которые сделаны в *Сем2*: стихотворения «День стоял о пяти головах...» и «Скрипачка» резко поднялись вверх, отгеснив «Стрижку детей».

Композиции А.Г. Меца, М.Л. Гаспарова и, в меньшей степени, С.В. Василенко сориентированы на *BC*. Различия между ними очень интересны, но углубляться в гипотетическую реконструкцию возникавшей при этом аргументации здесь не место. Отмечу лишь, что М.Л. Гаспаров — единственный, разбивший искусственную двойчатку «Ариост» и разнесший ее по двум местам — 1933 и 1935 гг., соответственно.

В моей собственной попытке строго хронологической, с учетом ритмико-семантических волн, реконструкции («П.Н.») на первом месте стоит «Скрипачка» — и именно потому, что из писем Рудакова к жене совершенно очевидно, что именно это стихотворение пришло первым. А «Тянули жилы, жили-были...» (№ 02) в силу и тематической, и ритмической близости представляется «осколком» «Скрипачки», или наброском к ней.

Далее следует полтора десятка стихотворений, написанных или начатых в апреле 1935 года. Выбранный нами порядок обоснован следующим: №№ 03 и 04 близки друг другу тематически, они рисуют топографически точный образ одной из мандельштамовских квартир воронежской поры. №№ 04—08 и 09—12 образуют две смежные ритмические волны. №№ 13—17 — снова смысловое, а не ритмическое единство (кинофильм «Чапаев», Кама), затем — №№ 18—21 — снова метрическое (это уже «майские стихи»). Следующий порыв — стихи, связанные с памятью Ольги Ваксель (№№ 23—25).

Единство последних четырех стихов куда как более спорно: метрическая близость №№ 27—29 друг к другу все же не перевешивает смысловой разнонаправленности №№ 25 и 28, с одной стороны, и №№ 26—27, с другой⁶⁶.

⁶⁶ К тому же возникает и противоречие с имеющимися датировками.

«К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ»: ПОПЫТКА АНАЛИЗА

Владимиру Микушевичу

1

Бесспорной кульминацией немецкой темы у Мандельштама является стихотворение «К немецкой речи» — уникальное в целом ряде отношений.

Вникнем сначала в историю его текста.

Первоначальной «стадией» стихотворения стал сонет «Христиан Клейст», написанный 8 августа 1932 года. Сохранились две версии сонета — автограф черновика¹ и список беловика от 8 августа 1932 года, подаренный на память князю А.В. Звенигородскому с авторским обещанием — кстати сказать, выполненным — больше никому эти стихи не дарить. Черновик примечателен не только следами интенсивной правки (о чем ниже), но и наличием эпитафия, попавшего позднее в окончательный текст.

Эпитафия — это начальное четверостишие из стихотворения Эвальда Кристиана Клейста «Дифирамбы»²:

Freund! Versaeme nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange gluehn!

Или, в подстрочном переводе: «Друг! Не упусти (в суете) саму жизнь, / Ведь года летят, / И сок винограда / Недолго еще будет нас

¹ Автографы промежуточных редакций стихотворения «К немецкой речи»: АМ. Вох 2. Folder 2. Авторизованный список окончательной редакции — *Архив М. Шагинян*.

² Ewald Christian von Kleist s Sammtliche Werke. Berlin, 1803. S. 48.

горячить!» Под эпиграфом — имя и даты жизни автора: Ewald Christian Kleist (1715—1759). Даты жизни были в какой-то момент вынесены и в подзаголовок черновика, но в конце концов там зачеркнуты.

Чтобы лучше представлять себе ход работы над сонетом, приведем сначала текст его беловика:

ХРИСТИАН КЛЕЙСТ

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Почтимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте купцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И княжества топталися на месте.

Война — как плющ в беседке шоколадной,
Пока еще не увидала Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

По сравнению с этим текстом разночтения в черновике начинаются только со 2-й строфы, давшей больше всего вариативных ходов, к сожалению, крайне трудно читаемых (разве что в стихе 5-м вместо «купцы» стоит отчетливое «отцы»). Стих 10-й в черновике выглядит так: «И далека пока еще от Рейна». Отброшенным вариантом стиха 9-го, по всей видимости, одно время было: «он гарцевал в дуброве шоколадной».

Промежуточная редакция либо не имела никакого названия, либо называлась «Бог Нахтигаль». К ней относятся автограф черновика (без заглавия и со следами интенсивной переработки ряда строф), а также машинопись первых четырех строф промежуточной редакции (с заглавием и правкой).

Когда пылают веймарские свечи,
И моль трещит под колпачком чулочным,
Мне хочется воздать немецкой речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у Христиана Клейста.

Поэзия, тебе полезны грозы
Я вспоминаю немца-офицера
И за эфес его цеплялись розы
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте купцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И словно буквы прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Воспоминаний сумрак шоколадный.
Плющом войны завешан старый Рейн.
И я стою в беседке виноградной
Так высоко, весь будущим прореян.

Так я стою и нет со мною сладу
<Строка пропущена, оставлен пропуск>
Бог Нахтигаль! Дай мне твои рулады
Иль вырви мне язык: он мне не нужен.

Записанная карандашом фраза «он мне не нужен» была найдена не сразу³. А когда была найдена — то вся последняя, все не поддававшаяся строфа была перечеркнута крест-накрест, а затем и еще раз — вертикальной чертой, отвергающей заодно и все предыдущее четверостишие. На место обеих — тою же карандашной скорописью — встало вдруг найденное враз четверостишие:

³ См. варианты.

Когда я спал без облика и склада
Я дружкой был как выстрелом разбужен
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык: он мне не нужен.

Так, по всей видимости, совершился прорыв в сторону окончательной редакции стихотворения. Предшествующая же ему стадия текста, собственно, и есть промежуточная редакция стиха. Скорее всего, правильным было бы придать ей заглавие, имеющееся на втором текстологическом источнике промежуточной редакции — машинописи первых четырех строф. Это заглавие — «Бог Нахтигаль», но оно тут же было заменено поэтом на окончательное: «К немецкой речи». Точно так же, впрочем, и другая правка, нанесенная на машинопись, приводит к окончательному тексту.

Таким образом, подвергнушую указанной переработке промежуточную редакцию отличает — и отделяет — от окончательной только отсутствие седьмой и девятой, заключительной, строфы.

Каковые строфы со временем, а скорее всего именно 12 августа 1932 года, наконец-то были найдены. Сохранилась беглая черновая запись этой строфы на отдельном листке:

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

2

Известны три самостоятельных источника окончательной редакции стихотворения: список рукой Н.Я. Мандельштам из «Ватиканского списка» (сделан в Воронеже в 1935 году), список рукой Н.Я. Мандельштам из архива М.С. Шагинян и печатная редакция. Оба списка имеют заглавие и посвящение Б.С. Кузину и практически идентичны по тексту (в обоих, в частности, стих 4 дан в выбивающейся из рифмы редакции «За все, чем я обязан ей извечно...», практически единственным их отличием является отсутствующий в «Ватиканском списке» эпитафия из Э. фон Клейста. Окончательный текст дает газетная публикация, в которой, впрочем, выпущен эпитафия, нами при подготовке ряда изданий восстановленный.

Стихотворение же в итоге приобрело следующий вид:

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б.С. Кузину

Freund! Versaeme nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange gluehn!

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поедимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны розы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте купцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И словно буквы прыгали на месте..
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада
Я дружбой был как выстрелом разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык: он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932

Тем обстоятельством, что в «Литературке» стихотворение было напечатано без эпиграфа, при реконструкции авторской воли можно и нужно пренебречь: оставление без внимания такого рода «излишества» всегда было своеобразной нормой газетных публикаций⁴.

3

Что же дает нам реконструкция поэтической работы Мандельштама над этим стихотворением и представление о трех стадиях непрерывно перерабатывавшегося текста?

Первая стадия — это сонет «Христиан Клейст». Оба катрена вошли в окончательный текст практически без изменений, а из терцет оставлены лишь «кружка мозельвейна» и «страницы альманаха», с которой и с которых герой отправляется прямехонько на войну, то есть на смерть. Сонет, как это и подчеркнуто в его названии, обращен к конкретной личности и конкретной судьбе — Х. фон Клейста.

Напомним: 12 августа, но 1759 года после геройского штурма русской батареи в одном из сражений Семилетней войны — битве под Кунерсдорфом⁵ — был смертельно ранен главный персонаж стихотворения — 44-летний прусский офицер и немецкий поэт Эвальд Христиан фон Клейст:

И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

Он умер 24 августа 1759 года во Франкфурте-на-Одере. Похороны героя описаны Карамзиным в «Письмах русского путешественника»:

⁴ А.Г. Мец тем не менее следует первопубликации: оставляет посвящение, но убирает эпиграф.

⁵ Одно из сражений Семилетней войны.

«После обеда был я в Гарнизонной церкви, и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны, герой и патриот. Знаете ли вы конце его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном, и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца: он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо: он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: **Друзья! не покиньте Короля!** Наехали козаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подвигнется тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и хватками одного козака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близь огня на солому, и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров; но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плащ и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего Офицера, Барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с Философом Баумгартеном, некоторыми Учеными и нашими Офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостью Стоического Философа. Все наши Офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: **у такого храброго Офицера должна быть шпага и в могиле!** — Клейст есть один из любезных моих Поэтов»⁶

Русский офицер — «в своего врага влюбленный» — положил на его могилу и в его могилу шпагу. Поэтическое и личное благородство — «серьезность и честь», готовность без промедления пожертвовать призванием, предназначением, самой жизнью — всем! — во имя присяги не могли не поразить и поразили Мандельштама⁷. В мирное время — поэт, в военное — офицер и герой: что, казалось бы, может быть завидней?

Однако в последующих редакциях Мандельштам начал стремительно удаляться от линии Клейста. В промежуточной редакции имени Клейста уже нет в заглавии стихотворения, а в окончательной — и в самом тексте (если не считать эпитафии).

⁶ Ср. в письме 15 от 1 июля 1789 г.: (Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 39).

⁷ К тому же, по нашей догадке, за всем этим кроется и еще одна — близкая уже лично Мандельштаму — судьба: его любимый гейдельбергский доцент и философ Эмиль Ласк бросил свой университет, записался добровольцем и ушел на войну, где и погиб (подробнее см. в наст. издании, с. 304).

Примечательна эволюция стиха 8-го. В сонете Мандельштам предлагает *«поучиться серьезности и чести»* — *«У стихотворца Христиана Клейста»*. В промежуточной редакции уже — *«на западе у Христиана Клейста»*, а в окончательной — и вовсе: *«на западе у чуждого семейства!»*

Так почему же Мандельштам отошел от вдохновившего его Клейста?

Потому что в той действительности, которую он так хорошо знал, героический «случай Клейста» — это всего лишь часть всей коллизии и случая самого Мандельштама здесь еще нет. Возможно, именно этим объясняется и весьма неожиданная для позднего Мандельштама сонетная форма первоначальной редакции, не встречавшаяся у него чуть ли не со времен «Камня». Применительно к себе Мандельштам уже не мог бы изъясняться столь изящно, столь медальонно, столь классицистично! Как бы то ни было, но Мандельштам отбросил сонетную тогу и пошел иначе — гораздо дальше и глубже.

Перед поэтом — тяжелый выбор: *«себя губя, себе противореча»*, он и сам хотел бы уйти из силового поля русской поэзии и русского языка. Его стихи не востребованы читателем, и в таком «уходе», как могло бы показаться, — и долг его и честь, и верность присяге осуществившему революцию разночинству (*«присяга чудная четвертому сословию»*). Тому же, собственно, учат *«серьезность и честь»* немецкого офицера.

Но Мандельштам занимает и альтернативная линия поведения. Линия противостояния отдающим приказы, линия отказа от покорного им следования — хотя бы и вопреки присяге, дача которой в условиях XX века не могла не быть не принудительной.

Подлинная поэзия — зиждется на внутренней, а не на внешней правоте и оттого всегда и принципиально еретична. Поэт, по определению, еретик — в лютеровском смысле слова: *«Hier stehe ich und kann nicht anders!..»*. Этим истинный поэт решительно отличается от настоящего воина, вся доблесть и храбрость которого полностью уместаются в пределах присяги. Личные же качества и политика суверена при этом не обсуждаются.

В тридцатые годы двадцатого века, когда война — уже далеко не *«плющ в беседке шоколадной»*, Мандельштам, после всех колебаний и шараханий, разрывает призывную повестку и отклоняет вербовку *«для новых чум, для семилетних боен»*⁸. В эпоху Осипа Мандельштама буквальное следование Клейсту означало бы, в лучшем случае, незавидную роль и долю «комсомольского поэта».

⁸ Трудно удержаться от того, чтобы не заметить: Вторая мировая война охватила собой также семилетие!

Поэтому высокочтимой, восхищающей линии поведения Эвальда Клейста Мандельштам предпочитает битву со словами и словами — ангажированность, то есть вдохновенность, лишь соловьиными руладами (Бог Нахтигаль). Соловей, которому поэт жалуется на своих вербовщиков, знаменует собой не только синтез природы и культуры, но и некую мировоззренческую константу. И уж если воевать, если сражаться, — то только на его стороне! Не в первый — и не в последний — раз он выбирает поэтическую правоту!

Но — и в этом едва ли не главный нерв стихотворения — поэт не может своевольно замолчать!⁹ Он может лишь взмолиться о судьбе Пилада — молчаливого друга Ореста, почти не произносившего слов, — или о вырванном языке, но истинной «немотой» поэта является именно сон «без облика и склада», когда ему мерещатся и блазнятся широкие возможности братания с победившим классом, столь трогательно нуждающимся в культурной поддержке и опеке со стороны старорежимных спецов¹⁰.

4

На первый взгляд неясно, почему эти стихи Мандельштам посвящает биологу Борису Сергеевичу Кузину, с которым познакомился летом 1930 года в эриваньской чайхане¹¹. «*Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. “зрелого Мандельштама”*», — писал Мандельштам Мариэтте Шагинян в апреле 1933 года. Верность себе, верность науке, верность теории, которой посвящена жизнь, — вот что нес в себе и нес собой этот блестящий, независимый человек, острослов и всезнайка. Вот почему — «*Я дружбой был как выстрелом разбужен*», и вот откуда — посвящение Кузину!¹²

Да, но при чем здесь тогда «немецкая речь»? Неужели это просто язык, на котором говорили Гете и Клейст?

Нет, не только. Н.Я. Мандельштам усматривала в этих стихах «...проблему верности и измены: для него чужой язык, чужая поэзия,

⁹ Ср.: «Четвертая проза», глава 9.

¹⁰ Чем, собственно, Мандельштаму и так пришлось заниматься в течение нескольких месяцев в «Московском комсомольце».

¹¹ Кузин был командирован в Армению для изучения кошенили — карминно-красных червячков, выползающих в мае на поверхность земли (из них издревле делали в Армении карминные краски).

¹² Интересно, что сам Кузин изругал это стихотворение — он обожал «раннего Мандельштама» и недолюбливал «позднего», с настороженностью, а то и вовсе в штыки встречая каждое новое произведение.

наслаждение чужой речью равносильно измене. <...> Это какое-то повышенное ощущение верности, преданности, когда любовь к чужой поэзии ощущается как нечто запретное»¹³.

Поставленный в очередной раз перед непростым выбором, измученный своим временем и родным языком, которым это время говорит с ним, а он — со временем, Мандельштам мечтательно вспоминает об ином языке, и, быть может, об ином временном поле — том, где и когда война все еще напоминала «плющ в беседке шоколадной» и даже для строптивого поэта оставалась еще немало достойных возможностей.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится...

Осмелюсь предположить, что летом 32-го года Мандельштам и впрямь вынашивал план необычного «побега» — сознательного ухода, погружения в толщу чужого языка, внутренней эмиграции в мировую культуру. Внешним поводом, возможно, послужил какой-нибудь заказ или разговор о заказе на крупный перевод с немецкого. Может быть, речь шла именно о Гете, столетие со дня смерти которого предполагалось отметить выходом трех томов «Литературного наследства» и началом масштабного, приуроченного к юбилею Собрания сочинений? А ведь в начале 1930-х — благодаря спровоцированным Кузиным естественно-научным интересам — Мандельштам и без того увлекался чтением Гете — этим, по его выражению, «человеком всепонимания»!¹⁴

Если наша догадка верна, то само по себе стихотворение «К немецкой речи» — свидетельство исключительной серьезности намерений поэта. В 20-е и 30-е годы широко распространилась практика — подчас и не требующая знания языка оригинала — «набегов» русских поэтов-переводчиков на мировую поэзию (переводческая работа Брюсова, Пастернака, Шенгели, Лившица и многих других). Оригинальное творчество при этом, конечно, страдало, но скорее косвенно, каждый мирился с этим по-своему, вырабатывал тут свою «тактику», но о нарушении присяги русскому языку никто никогда не заикался.

Мандельштам и сам прошел через все это в 20-е годы, — прошел поневоле, с проклятиями (да еще со скандалами!). И на этот раз Мандельштам, как нам кажется, задумал куда более серьезный шаг — чем-то, быть может, схожий с отрешающим от прошлого и по-детски

¹³ Мандельштам Н., 2006. С. 298.

¹⁴ «Вокруг „Молодости Гете“».

наивным уходом яснополянского старца. Вынашивался именно уход, сознательный отказ не только от литературной среды, но и от литературного творчества, — своего рода добровольная ссылка — в мировую культуру и, если угодно, на лестницу Ламарка. Прочь отсюда, долой — в чужие дебри!

За два года до этого — со слезами на глазах — Мандельштам распрощался со столь благодатной для него и вожаемой Арменией (*«Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо...»*). Начинать в одиночку и с нуля (как это и было у него с армянским и древнеармянским языками) Мандельштам уже не решался, но в пережитой им прежде Германии и в хорошо знакомой ему немецкой речи мог он рассчитывать на удачу и на достойных собеседников — в лице Баха и Гете, Глюка и Гельдерлина...

То был, конечно же, уход от себя, заговор против себя самого, уже по этому одному обреченный на неудачу. Отказаться от императива внутренней правоты, укорененной в русской речи на самом что ни на есть «молекулярном» уровне, — Мандельштам все равно не мог бы и, как мы видим, не смог.

И, хотя сама по себе девятимесячная пауза между «К немецкой речи» и следующими за ним старокрымскими стихами мая 1933 года более чем выразительна, действительность оказалась совершенно иной. Мандельштам и впрямь «эмигрировал» из поэзии и действительно «изменял» русскому языку. Он эмигрировал в прозу, в «Путешествие в Армению» (а писанием «большой прозы» у него и раньше как-то блокировались стихи), и «заигрывал» с итальянским, страстно уча его и одновременно читая в подлиннике Данта и других его соотечественников. Именно с итальянским и с «итальянцами» случилось у Мандельштама нечто, что живо напоминало замысленный «уход» к немцам и в немецкий.

Нет, не внутренней эмиграции искал Мандельштам, не ухода и убежища, а скорее выхода и прибежища, а то и вовсе свежего воздуха из распахнутого настезь окна. Быть здесь — и еще где-то, и через это «где-то» быть еще в большей степени «здесь».

Вывавшись наружу, «старокрымские стихи» скоро кончились, уступив свое место снова нахлынувшей прозе — на этот раз «Разговору о Данте».

ГЕТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАНДЕЛЬШТАМА

Галине Якушевой

*Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте...¹*

Первая встреча Осипа Мандельштама с Гете описана в «Шуме времени»: на отцовской полке в семейном книжном шкапу стояли себе рядышком — «Шиллер, Гете, Кернер и Шекспир по-немецки — старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти»². При этом — Гете и Шиллера маленький Иосиф (еще не Ося) считал близнецами.

Заблуждение это было рассеяно за годы учения в Тенишевке. И, оказавшись за границей, — а в 1908—1910 гг. Мандельштам побывал во Франции³, Германии, Италии и Швейцарии, — поэт не преминул посетить гетевские места во Франкфурте-на-Майне (где Гете родился и рос) и в Риме.

Как бы то ни было, но Иоганн-Вольфганг Гете — один из самых «упоминаемых» Мандельштамом писателей. В программной статье «О природе слова», вышедшей в Харьковском издательстве «Истоки» в июне 1922 года отдельной брошюрой, цитируется «Фауст» Гете: «Все преходящее есть только подобие». Интересно, что в книге «О поэ-

¹ «К немецкой речи».

² «Молодость Гете» (Т. 2. С. 356).

³ В 1908 г. в Коллеж де Франс он слушал лекции Артура Шупке «Ход немецкой литературы от первых веков до наших дней».

зии» (1928) этой фразе предпослан ее немецкий оригинал: «*Alles Vergängliches ist nur ein Gleichniss*» — строка из «*Chorus mysticus*», которым завершается вторая часть «Фауста»⁴.

В статье «Письмо о русской поэзии», написанной в 1922 году, Мандельштам пишет: «*Блоком мы измеряли прошлое, как землемер разграфляет тонкой сеткой на участки необозримые поля. Через Блока мы видели и Пушкина, и Гете, и Боратынского, и Аполлона Григорьева, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении*».

А в статье «Пшеница человеческая» Гете оказывается одним из высших представителей европейскости: «*Совершенно своеобразное, насквозь одухотворенное отношение русского поэта [Тютчева] к геологическому буйству альпийского кряжа объясняется именно тем, что здесь буйной геологической катастрофой вздыблена в мощные кряжи своя родная, историческая земля — земля, несущая Рим и собор святого Петра, носившая Канта и Гете...*».

Переводя в начале 1920-х гг. Макса Бартеля⁵, Мандельштам усматривал в его литературных предках не только Фрейлиграта, Гервега и «немногих других литературных одиночек-революционеров», но и Гете, которого называл родоначальником германского символизма со всей его вековой мудростью.

В статье «Конец романа» Мандельштам неожиданно сблизил романы Гете и Ромена Роллана. «Страдания молодого Вертера» упоминаются им среди тех великих европейских романов, — наряду с «Маннон Леско», «Анной Карениной», «Давидом Коперфильдом», «Красное и черное», «Шагреневои кожей» и «Мадам Бовари», — которые «... были столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни». А «Вильгельма Мейстера» Гете, наряду с «Жан-Кристофом» Р. Роллана, Мандельштам относит к лучшим образцам классического романа: «*Последним примером центробежного биографического европейского романа можно считать “Жан Кристофа” Ромена Ролана, эту лебединую песнь европейской биографии, величавой плавностью и благородством синтетических приемов приводящую на память “Вильгельма Мейстера” Гете*»

Свою мысль Мандельштам раскрывает в другой статье («Деятельный век»): «*Синтетический роман Ромена Роллана резко порвал с традицией французского аналитического романа и примыкает к синтетическому роману восемнадцатого века, главным образом*

⁴ Т. 1. С. 227.

⁵ Макс Бартель (1893—1975) — немецкий писатель и политический деятель социал-демократической направленности. Мандельштам перевел его книгу «Завоюем мир!» и написал к ней — цитируемое здесь — предисловие.

к «Вильгельму Мейстеру» Гете, с которым его связывает основной художественный прием.

Существует особый вид синтетической слепоты к индивидуальным явлениям. Гете и Ромен Роллан живописуют психологические ландшафты, ландшафты характеров и душевных состояний, но они не могут или не хотят дать диалога, им претит подойти вплотную к индивидуальности, а тем более им чужда эстетическая пытка психологического анализа, с ее внутренней формой японско-флюберовской аналитической танки. В жилах каждого столетия течет чужая, не его кровь, и чем сильнее, исторически интенсивнее век, тем тяжелее вес этой чужой крови».

В 1929 году Мандельштам затеял дискуссию о халтуре в деле художественного перевода классики. В статье «Потоки халтуры»⁶ он помянул задуманное Государственным издательством Полное собрание сочинений Гете в 18 томах, добавив при этом: «Нужно удивляться смелости, вернее, дерзости ГИЗ, посягнувшего на полного Гете, оставив в полной неприкосновенности весь аппарат переводческой канцелярии»⁷. В другой статье — «О переводах», — называя этот проект «крупнейшим и “образцовым” начинанием гизовской серии классиков», Мандельштам поясняет: «это работа для целого поколения. При массовом переводе здесь неизбежны рыхлость, дряблость».

В то же время известно, что Мандельштам и сам подумывал о работе над переводом Гете. 13 июня 1929 года Елизавета Полонская писала Мариэтте Шагинян: «Знаешь ли ты, что Мандельштам взялся перевести всего Гете?»⁸.

Имя Шагинян, одного из лучших знатоков Гете из числа русских литераторов, далеко не случайно в этом контексте. 5 апреля 1932 года Мандельштам от отчаяния обратился именно к ней, пытаясь вызвать из тюрьмы своего друга-биолога Бориса Кузина. В «союзники» себе он выбрал не кого-нибудь, а милого мариэттиному сердцу натурфилософа Гете: «Помните, в Эривани я брал у вас томик Гете, и читали статейку в ЗКП⁹, где я поклонился и от вас и от себя “живой” природе?»¹⁰

Интерес Мандельштама к Гете и в дальнейшем не ослабевал.

⁶ На литературном посту. 1929, № 13 (июль). С. 42—45, с редакционным примечанием: «Печатаю интервью с т. Мандельштамом, редакция приглашает гг. переводчиков, издателей, критиков и читателей высказаться по вопросу о переводческом деле». Название статьи принадлежит редакции.

⁷ Это издание не было осуществлено. Юбилейное 13-томное издание Гете со вступительной статьей А.В. Луначарского увидело свет в ГИХЛе в 1932—1937 и 1947—1949 гг.

⁸ Архив семьи Шагинян. Нам сообщено Б.Я. Фрезинским.

⁹ Газета «За коммунистическое просвещение».

¹⁰ Т. 4. С. 149.

В тридцатые годы ни переводов, ни, понятно, берлинских публикаций быть уже не могло. В это время заметно усилился интерес Мандельштама к Гете — «человеку всепонимания»¹¹. В свое реальное путешествие в Армению в 1930 году Мандельштам взял с собой гетевское «Italienische Reise»¹², а в получившейся в результате путешествия прозе — «Путешествии в Армению» (1933) — есть целая глава о «Вильгельме Мейстере».

А в апреле — июне 1935 года, уже в Воронеже, ссыльный Мандельштам (вместе с женой) по заказу местного радио готовил передачу о молодом Гете¹³. В самом ее начале — глубокое детское впечатление: «*Чьи это сады? — Чужие. — Можно туда пойти? — Нельзя.*». «*Зато ярмарка открыта всем и каждому*»¹⁴, — продолжает Мандельштам: и не здесь ли корешок его собственной — вполне ребяческой, судя по всему, — революционности и пронесенного через всю жизнь герценовского различия?

«Молодость Гете» — единственная из дошедших до нас «воронежских» радиокomпозиций Мандельштама¹⁵. По мнению Н. Мандельштам, в те два года, что учился в Париже и Гейдельберге, Мандельштам «*испытал юношескую тоску и неврастению*» — сродни той, что пережил и молодой Гете, боровшийся с ней походами в анатомический театр и на самый верх колокольни Кельнского собора.

Подбирая эпизоды из жизни Гете, Мандельштам оставлял лишь те, что находил характерными для становления каждого поэта. Так, Гете рассказывал о встрече молодых писателей с Клопфштоком: молодые позволили себе быть приветливыми и насмешливыми. Но разве не так же подчас относился к «старшим» и сам Мандельштам?

В сущности, Мандельштам попробовал сделать с биографией Гете примерно то же, что в «Разговоре о Данте» — с поэтикой великого итальянца: «прокинуть» ее на себя.

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно, —
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона¹⁶.

¹¹ Т. 3. С. 418.

¹² Т. 3. С. 387.

¹³ См. следы этой работы в майских, 1935 года, письмах поэта в Москву жене (Т. 4. С. 158). Роскошный «Фауст» Гете 1848 года издания с рисунками Делакруа имелся в библиотеке у Натальи Штемпель, и Мандельштам часто брал его почитать (Штемпель, 2008. С. 35.).

¹⁴ Т. 3. С. 281.

¹⁵ Ее связь с воронежскими стихами на смерть О. Ваксель слишком очевидна, как и сквозные для этого времени «немецкие» мотивы.

¹⁶ Написано в июне 1935 г.

МАНДЕЛЬШТАМ — ЧИТАТЕЛЬ ПУШКИНА

Алексею Нейману

1

Анна Ахматова, считавшая Мандельштама «нашим первым поэтом», писала о нем в «Листках из дневника»: «К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм ему был противен. О том, что “Вчерашнее солнце на черных носилках несут” — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы). Мою “Последнюю сказку” — статью о “Золотом петушке” — он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: “Прямо — шахматная партия”.

*Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад сияло всем... (декабрь 1917 г.) —*

конечно, тоже Пушкин»¹.

После этих слов, казалось бы, тем внушительней и серьезней сила упрека, засвидетельствованного Э. Герштейн², который Ахматова бросила Мандельштаму: «Единственное, чего я не признаю у него, — это “Стихи о русской поэзии”. Здесь он ухитрился **не заметить** (выделено мной — П. Н.) Пушкина».

Все же поправим упрекающую: не «не заметить» Пушкина, а не назвать.

О мандельштамовском свойстве не говорить всуе о самом священном — о Пушкине — свидетельствовала в своих воспоминаниях Н.Я. Мандельштам и Б.С. Кузин³. Здесь ключ к пониманию того факта,

¹ Ахматова А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 209—210.

² Герштейн, 1998. С. 459.

³ Мандельштам Н., 1999. С. 38, 78; Кузин; Мандельштам Н., 1999. С. 154.

что во всей мандельштамовской лирике имя Пушкина упомянуто лишь дважды⁴.

Впервые — в стихотворении «Ариост», первая редакция которого (впоследствии утерянная и затем вновь найденная) была создана в Старом Крыму, где Мандельштам вместе с Б.С. Кузиным гостили в мае 1933 года у Н.Н. Грин, вдовы Александра Грина:

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной песни...

Немаловажно, что эти строки остались неизменными и во второй редакции «Ариоста», заново воссозданной по памяти в Воронеже и июне 1935 года.

Тогда же, кстати, имя Пушкина попало в стихи Мандельштама во второй раз:

...Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
(«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...»⁵).

Пушкинская грусть из «Ариоста» — скорее всего отголосок его прощания со «свободной стихией» в стихотворении «К морю» (1824), начатом в Одессе и завершено в Михайловском («...Как друга ропот заунывный, / Как зов его в прощальный час, / Твой грустный шум, твой шум призывный, / Услышал я в последний раз»). Напрашивается и отсылка к стихотворению «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829): «Мне грустно и легко; печаль моя светла...»⁶.

В первой редакции «Ариоста» есть еще одна важная (отмеченная Н.И. Харджиевым в его комментарии) пушкинская реминисценция, не сохраненная во второй:

...И морю говорит: шуми без всяких дум.
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще, — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

⁴ Встречается оно и в шуточных стихах: «Пушкин имеет проспект, пламенный Лермонтов тоже...» (Т. 1. С. 157—158).

⁵ Есть Пушкин и в ранней редакции этого стихотворения (Т. 2. С. 336).

⁶ На это указывает и Г.А. Левинтон, автор ряда ценных наблюдений над «скрытыми цитатами» Мандельштама из Пушкина (Левинтон Г.А. К проблеме литературной цитации // Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971. С. 52).

Это, безусловно, парафраз из пушкинской «Бури»:

Ты видел деву на скале... и т. д.

В метрике обоих стихотворений слышится дыхание моря, смена его ритма. Как бы всю ночь бушевала пушкинская буря и сверкало «небо в блесках без лазури», а наутро, когда другой поэт пришел на берег, море уже успокоилось, улеглось, и его простершаяся бесконечность вызвала у Мандельштама масштабный эллинистический образ «широкого и братского лазорья», в котором воедино слились ариостовская (читай: средиземноморская) «лазурь и наше черноморье».

Надо подчеркнуть, что образ Пушкина в восприятии Мандельштама неизменно сопрягается с образом Батюшкова — главной, по его мнению, фигуры «в великом обмирщении языка, его секуляризации» («Заметки о поэзии»). Лишь составляя книгу «О поэзии» (1928), Мандельштам ввел в этот ряд и Пушкина.

Показательна и посвященная Пастернаку концовка статьи «Буря и натиск» (1923). Говоря о «Сестре моей жизни» как о новом российском поэтическом требнике («когда требники написаны, тогда-то и служить обедню»), Мандельштам утверждает: «Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии. ...Тогда приходит поэт, воскрешающий девственную силу логического строя предложения. Именно этому удивлялся в Батюшкове Пушкин, и своего Пушкина ждет Пастернак».

Батюшков же, «оплакавший Тасса», и сам, подобно Тассу, испивший из чаши душевного недуга, для Мандельштама неотрывен и от его «любимых итальянцев» — Данта, Ариоста и Тасса. Общее сопряжение этих пяти поэтов, словно решение некоей математической пропорции, мы находим в «Разговоре о Данте», в самом начале его первой редакции, писавшейся, как и стихотворение «Ариост», в мае 1933 года в Старом Крыму:

«Незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами — я разумею Данта, Ариоста и Тасса — тем более поразительно, что не кто иной, как Пушкин воспринял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии.»

В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб.

...Никогда не признававшийся в прямом на него влиянии итальянцев, Пушкин был тем не менее втянут в гармоническую и чувственную сферу Ариоста и Тасса. Мне кажется, ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха и он боялся быть

порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса, его болезненной славы, его чудного позора.

...Русская поэзия выросла так, как будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано. Батюшков — записная книжка нерожденного Пушкина — погиб оттого, что вкусил от тасовых чар, не имея к ним дантовой прививки.

В отличие от своего друга Анны Ахматовой, интересовавшейся мельчайшими подробностями каждодневного бытия и быта Пушкина и малейшими перемещениями и сменами настроений в кругу пушкинских знакомых (на основании чего она строила смелые догадки, прямо или косвенно подтверждавшие то, что ей слышалось в творческом опыте Пушкина), Мандельштам безоговорочно предпочитал знанию и ощущению пушкинской биографии знание и ощущение пушкинской судьбы.

Именно этим «понимающим» чувством проникнут дошедший до нас лишь в отрывках мандельштамовский доклад «Пушкин и Скрябин»:

*«Пушкин и Скрябин — два превращения одного солнца, два перебора одного сердца. Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили пример соборной русской кончины, умерли **полной** смертью, как живут полной жизнью, их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы.*

Я хочу говорить о смерти Скрябина (а стало быть, и о смерти Пушкина. — П. Н.) как о высшем акте его творчества. Мне кажется, смерть художника не стоит выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено.

Пушкина хоронили ночью. Хоронили тайно. Мраморный Исакий — великолепный саркофаг — так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели ползья саней, увозивших для отпеванья прах поэта.

Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, — видение несчастной Федры».

Поэзия и судьба, жизнь и смерть — для Мандельштама — неразрывны, творчески едины. И голова Шенье, скатившаяся с плеч за день до разгрома революции, и полная безвестность кончины Вийона, и гибель Пушкина вместе с полицейскими похоронами его, и смерть Блока, а может быть, и собственная смерть — в мировоззрении Мандельштама не случайные, а фатально закономерные вехи, неизбежные финалы жизненных страстей поэтов.

2

...Свидетельствами внимательного чтения Мандельштамом Пушкина, безусловно, являются те или иные цитаты и реминисценции, что и само по себе глубоко свойственно ассоциативной поэтике Мандельштама. Когда он пишет:

И с пенных лестниц падают солдаты
 Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты, —
 И яд разносят хладные скопцы.
 («Бежит волна-волной, волне хребет ломая...» 1935),

мы сразу вспоминаем *«Мы сердцем хладные скопцы»* — пушкинскую характеристику черни («Поэт и толпа», 1828). При этом пушкинский цитатный фон в статьях гораздо гуще, чем в стихах. Так, в «Гротеске» (1922) встречаем и *«страсбургский пирог»* (ср. *«И Страсбурга пирог нетленный...»* из I главы («Евгения Онегина»), и *«невидимкой при луне»* из «Бесов», и *«предчувствием томим»* (из «Цыган»). В «О современной поэзии» (1916) — об Ахматовой — *«смирренная, одетая убого, но видом величавая жена»*: отсылка к пушкинскому стихотворению «В начале жизни школу помню я...».

Цитатами из «Цыган» прошиты и три ключевые статьи из книги «О поэзии», причем цитата, приведенная и оборванная в «Слове и культуре» (*«Не понимал он ничего...»*), буквально подхвачена в «О природе слова» (*«Как мерзла быстрая река...»*).

Пожалуй, особенно значительно и ярко отразился в мандельштамовском творчестве «Пир во время чумы»:

От легкой жизни мы сошли с ума:
 С утра вино, а вечером похмелье.
 Как удержать напрасное веселье,
 Румянец твой, о пьяная чума?.. —

читаем в стихотворении 1913 года, вобравшем в себя вполне богемную атмосферу предвоенной «Бродячей собаки», в оценке которой образ пира во время чумы напрашивался у современников как бы сам собой. То же ощущение времени всей своей юности как «пира во время чумы» передается в «Шуме времени», в последней его «петербургской» главе, посвященной В.В. Гиппиусу («В не по чину барственной шубе»):

«Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала про-

износимая всегда, казалось, в последний раз, просьба: “Спой, Мери”, мучительная просьба последнего пира.

Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне».

«Пир во время чумы» вспомнил Мандельштам и в статье, посвященной годовщине со дня смерти А. Блока: «Английский и германский романтизм, “голубой цветок” Новалиса, ирония Гейне, почти пушкинская жажда прикоснуться горячими устами к утоляющим в своей чистоте и разобщенности отдельно бьющим ключам европейского народного творчества: английского, французского, германского, — издавна мучила Блока. Среди созданий Блока есть внушенные непосредственно англо-саксонским, романским, германским гениями, эта непосредственность внушения еще раз заставляет вспомнить “Пир во время чумы” и то место (из “Каменного гостя” — П. Н.), где ночь “лимоном и лавром пахнет”, и песенку “Пью за здоровье Мери...”».

Эта совмещенная отсылка сразу к двум пушкинским маленьким трагедиям и к переводу из Б. Корнуэлла («Пью за здоровье Мери, / Милой Мери моей...») одновременно отсылает и к мысли Ф.М. Достоевского о «всемирной отзывчивости» Пушкина — качестве, которым в высокой мере был наделен и Мандельштам.

Еще одна встреча с «Пиром во время чумы» — летом 1926 года. Работая над статьей о Михоэлсе, Мандельштам записал в одном из трудночитаемых черновых набросков к статье: «И ни к кому больше, чем к Михоэлсу, не применимы слова Вахтангова: “Свадьбу” и “Пир во время чумы” надо играть в одном спектакле: по существу, это одно и то же»⁷.

Б.С. Кузин рассказал в своих воспоминаниях о поразительном эффекте чтения Мандельштамом пушкинской песни Мери — чтения, словно сдернувшего с этих строк некую пелену. А в марте 1931 года Мандельштам пишет свою песенку о Мери, с характерным эпиграфом из П. Верлена (в переводе: «Мой голос пронзительный и фальшивый...») —

Я скажу тебе с последней
прямотой:
Все лишь бренди, шерри-бренди —
Ангел мой...

⁷ Честь полной расшифровки этого важного наброска принадлежит С.В. Василенко и Р.Д. Тименчику. Слова Е.Б. Вахтангова соотносятся с его заметкой в записной тетради от 26 марта 1921 г.: «Я хочу поставить “Пир во время чумы” и “Свадьбу” Чехова в один спектакль. В «Свадьбе» есть “Пир во время чумы”. Эти, зачумленные уже, не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу» (В кн.: Вахтангов. Письма. Статьи. М.; Л., 1939. С. 232). Мандельштам мог знать об этом высказывании Вахтангова в устной передаче кого-либо из общих знакомых, например П.Г. Антокольского.

После горького этого вальсингамовского зачина, задержавшись на мучительном переживании вечных, но, увы, недостижимых эллинистических ценностей, в строфе пятой (в сущности, заключительной) стихотворение достигает своей кульминации в жесте безнадежного отчаяния:

Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли,
Все равно!
Ангел Мери, пей коктейли,
Дуй вино...

В июне того же года Мандельштам напишет стихотворение «Фэтонщик»:

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола поденщик, —
Односложен и угрюм.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы,
Закружились фэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

<...> Там в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я извещал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

В «Фаэтонщике» пересеклись силовые линии сразу нескольких пушкинских произведений 1830 года, с «Пиром во время чумы» во главе. «Бесы», по-видимому, не только задали размер, но и зарядили это стихотворение «соприродными душе» страхами. То же самое — и размер, и страхи — мы встречаем в «Дорожных жалобах», но в них все пропитано юмором и самоиронией («Долго ль мне гулять на свете, / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешиком? <...> Иль чума меня подцепит, / Иль мороз окостенит <...>»).

Вспоминается и стихотворение 1833 года «Не дай мне бог сойти с ума...» («...Да вот беда: сойди с ума, / И страшен будешь как чума»). Очень многое в «Фаэтонщике» ассоциативно связано с «Путешествием в Арзрум»⁸ — это и «могилы нескольких тысяч умерших чумою» в самом начале кавказской части путешествия, и страшная встреча с трупом Грибоедова, и опять и снова чума — в Эривани, в Ахалцихе, в Эрзеруме. М. Оганисян, автор специального исследования о пушкинских реминисценциях в этом стихотворении, справедливо замечает, что тема «Фаэтонщика» — это «...чумное время» и что образы разных пушкинских произведений — «накладываются друг на друга, проявляются один в другом, раскрываются друг через друга. Центральным при этом остается образ Председателя, доведенный до значения символа. Он помогает найти новый поворот темы трагедии «Пир во время чумы»»⁹.

С «Пиром во время чумы» тесно связано и мандельштамовское восьмистишие «В игольчатых, чумных бокалах...» (1932)¹⁰.

⁸ Самый образ пушкинского путешествия — единственной, кстати сказать, поездки поэта за рубежи России — запечатлелся в стихотворениях Мандельштама, непосредственно примыкающих к циклу «Армения» (1930). Это — «Дикая кошка — армянская речь...» и особенно набросок к нему («Чудный чиновник без подорожной, / Командированный к тачке острожной, / Он Черномора пригубил питье / В кислой корчме по пути к Эрзеруму...»). Да и в самом названии мандельштамовской прозы — «Путешествие в Армению» — явная, спустя столетие, переключка с пушкинским «Путешествием в Арзрум».

⁹ См.: Журналист. Учебная газета факультета журналистики МГУ. М., 1982, 20 сентября. С. 20—21.

¹⁰ Несколько неожиданной областью влияния Пушкина на Мандельштама, причём влияния прямого и недвусмысленного, оказалась область шуточных стихов. См. об этом в наст. издании, с. 200—201.

3

Многим ли пушкинским читателям говорит что-либо фамилия Шванвич? Два или три раза она всплывает в материалах к пушкинской «Истории Пугачева». Это подпоручик, попавший в плен к Пугачеву, присягнувший ему и служивший в его штабе переводчиком. После разгрома восстания был он лишен чинов, но, как родовой дворянин, не прогнан сквозь строй, а сослан в Туруханский край, где и умер, не дожив до амнистии. Известно, что Пушкин вынашивал замысел исторической повести об этой судьбе — замысел, обернувшийся впоследствии «Капитанской дочкой». В заметках «Читая Палласа» Шванвича вспомнил и Мандельштам¹¹ — и лишь для того, чтобы намекнуть на опасность предпринятого Палласом путешествия в закаспийские степи. Детали этой, думаю, достаточно, чтобы показать, сколь внимательно читал Мандельштам Пушкина!

Мандельштам мыслит о Пушкине, рассуждает о нем как о едином **целом**, как об источнике (или, если угодно, родоначальнике) *света*, достоверно освещающем любую частность в русской поэзии. Пушкин — не ходячая монета, а ее золотой запас, точнее, неразменный *золотой*, который всегда с собой и с которым не страшно, с которым, стоит к нему лишь прикоснуться, как неясное проясняется, просветляется, занимает свое и только свое место.

Зашел ли — в статье «Слово и культура» — разговор о синтетическом поэте революционной эпохи — без Пушкина не обойтись: *Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер.*

Синтетический поэт современности и представляется мне не Верхарном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся сложность старого мира — та же пушкинская цевница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы».

В другой статье — «О природе слова» (1921) — читаем: *«Не раз русское общество переживало минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье...».*

Или: *«Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным, — “Не пой, красавица, при мне / Ты песен Грузии печальной...”»* («Кое-что о грузинском искусстве», 1922).

Или: *«...В поэзии Барбье нас пленяет даже не страсть, не буйство образа, а одна почти пушкинская черта: умение одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления»* («Огюст Барбье», 1923).

¹¹ Мандельштам, 1968. С. 192.

Когда Мандельштаму, в статье «Деятнадцатый век» (1922), понадобилось дать лапидарную формулу века восемнадцатого, он привел одну лишь строку из пушкинского стихотворения «К вельможе» (1830) — и все стало ясно: «Энциклопедии скептический причет». Опершись на нее, он говорит уже о своем времени: «Теперь не время бояться рационализма. В такие дни “разум энциклопедиста” — священный огонь Прометея».

Цитатами из этого же стихотворения буквально прошита вся статья «Заметки о Шенье», к которой прямо-таки просится подзаголовок: «Восемнадцатый век». Мандельштам показывает нам разницу между Шенье и Пушкиным как разницу между двумя столетиями:

«Покорение Пушкина уже преодолело Шенье, потому что был Байрон. Одно и то же поколение не могло воспринять одновременно — “звук новой, чудной лиры — звук лиры Байрона” — и абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье.

...То, чем Шенье еще духовно горел — энциклопедия, деизм, права человека, — для Пушкина уже прошлое и чистая литература:

*...Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедывал...*

(...) Пушкинская формула — союз ума и фурий — две стихии в поэзии Шенье. Век был таков, что никому не удалось избежать одержимости. Только направление ее изменялось и уходило то в пафос обуздания, то в силу ямба обличительного.

Пушкин объективнее и бесстрастнее Шенье в оценке французской революции. Там, где у Шенье только ненависть и живая боль, у Пушкина созерцание и историческая перспектива:

...Ты помнишь Трианон и шумные забавы?..»

Мандельштам радуется, видя уже не у Пушкина образы и мотивы Шенье, а у Шенье — «пушкинские». Так, в третьей элегии Шенье («К Камилле») — светском любовном письме — ему «...слышится письмо Татьяны к Онегину, та же домашность языка, та же милая небрежность, лучше всякой заботы: это же в сердце французского языка, так же сугубо неволью по-французски, как Татьянино письмо по-русски. Для нас сквозь кристалл пушкинских стихов эти стихи звучат почти русскими:

*...Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке...*

Так в поэзии рушатся грани национального, а стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются»¹².

Пушкин для Мандельштама — всегда союзник, всегда — высший судья и авторитет.

Что, переводчики халтурят, поскольку не воспринимают своего дела и культурного назначения всерьез?! Извините, конечно, но «...добрый гений русских переводчиков — Жуковский и Пушкин — принимали переводы всерьез!» («Жак родился и умер», 1926).

Что — теорию прогресса энтузиасты примеряют и к литературному процессу?! Однако же — «...какая бессмыслица прогресс в искусстве! Разве Пушкин усовершенствовал Державина, то есть в некотором роде отменил его?» («О современной поэзии (К выходу “Альманаха муз”»», 1916). Нет, прогресс не уместен даже в рамках одной поэтической судьбы, вот ведь и «...автор “Бориса Годунова”, если бы и хотел, не мог повторить своих лицейских стихов!» («О природе слова», 1921).

Хрестоматийная цитата о «птичке божьей», как и «берега пустынных волн» с «широкошумными дубровами», понадобились Мандельштаму для того, чтобы возразить против «опасного и в корне неправильного взгляда на поэта, как на птичку божью. Нет оснований думать, что Пушкин в своей песенке под птичкой разумел поэта» («О собеседнике», 1913). Настоящий поэт, утверждает Мандельштам, «связан только с провиденциальным собеседником». Наставая на этом, он присоединяется к великой и поистине исторической, Пушкиным начатой, борьбе — за социальное положение поэта, и за его творческую свободу, подчиненную лишь «волнам внутренней правоты»: «Ссору Пушкина с чернью можно рассматривать как проявление антагонизма между поэтом и конкретным слушателем. С удивительным беспристрастием Пушкин представляет черни оправдываться. Окажется, чернь не так уж дика и непросвещенна. Чем же провинилась эта очень деликатная и проникнутая лучшими намерениями “чернь” перед “поэтом”? Когда чернь оправдывается, с языка слетает одно неосторожное выражение: оно-то и переполняет чашу терпения поэта и распяляет его ненависть: “А мы послушаем тебя” — вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. Недаром поэт именно здесь, негодуя, перебивает чернь...» (Там же).

¹² Подспудно Мандельштам указывает и на один из возможных французских прототипов письма Татьяны (важнейшими из них считаются письма Юлии к Сен-Пре в «Новой Элоизе» Руссо и «Элегия» Марселины Деборд-Вильмор — см. комментарии к «Евгению Онегину» Ю.М. Лотмана).

Дружеские отношения связывали Мандельштама с Ю. Оксманом, Б. Томашевским, Ю. Тыняновым, и их занятия Пушкиным, разумеется, этих отношений не омрачали. В то же время Мандельштам, как вспоминает А. Ахматова, люто ненавидел «так называемых царскосельских сюсюк» и всякую спекуляцию на имени Пушкина¹³. Не раз и не два отпускал он презрительные реплики в адрес «племени пушкиноведов» и «молодых любителей белозубых стишков», не щадя при этом ни соседей, ни родственников: «Семен Афанасьевич Венгеров, родственник мой по матери, ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным...»

Еще один выпад против «не такой уж непросвещенной» черни находим в журнальной редакции статьи «Выпад» (1924): «Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, “своего” Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы. Легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности».

Мандельштам, думается, и был одним из подлинных и неизменных и постоянных читателей Пушкина. При всей хронической бездомности и неустроенности Мандельштама, томик Пушкина, как свидетельствуют все мемуаристы, у него был всегда с собой. Именно чтение, а не, скажем, изучение Пушкина было его главным вкладом в пушкиноведение, поскольку при всей силе тютчевского влияния, лирика Мандельштама вся проникнута светлым благодатным духом именно пушкинской — «солнечной» — традиции.

4

И, в заключение, один воронежский эпизод, сохраненный для нас Н.Е. Штемпель: «Это был человек предельной искренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему состоянию... Помню, в пушкинские дни (очевидно, в январе 1937 года) мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в университетскую фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихотворения Лермонтова “На смерть поэта” выброшены организаторами выставки строчки: “Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет. Он недоступен звону злата, И мысли

¹³ То же вспоминает С.В. Шервинский — применительно к самой Ахматовой: «Трогать Пушкина при Анне Андреевне было небезопасно» (Шервинский С. Анна Ахматова в ракурсе быта // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 285).

и дела он знает наперед”. Осип Эмильевич устроил настоящий скандал и успокоился только тогда, когда директор библиотеки обещала *восстановить стихотворение в соответствии с авторским текстом*¹⁴.

Пеня директору воронежской университетской библиотеки на не столь уж безобидный перед культурой проступок, Мандельштам, возможно, вспомнил пушкинские торжественные собрания в Петроградском Доме литераторов 11 и 14 февраля 1921 года. Тогда — в речах «О назначении поэта» и «Колеблемый треножник» — Александр Блок и Владислав Ходасевич от лица всей русской поэзии и культуры, принародно поклявшись *«веселым именем Пушкина»*, возгласили всю боль и радость, всю ту благодарность Пушкину и тревогу за него, что накопились в их сердцах на свежем изломе истории.

*«Наше самое драгоценное достояние, — говорил тогда Ходасевич — нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она горит. О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным»*¹⁵.

¹⁴ Штемпель, 2008. С. 22—23.

¹⁵ Ходасевич В. Колеблемый треножник // Ходасевич В. Собр. соч. в 4 т. Т.2. М., 1996. С. 84.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ (ОБ ОДНОМ ПУШКИНСКОМ ПОДТЕКСТЕ «ВОРОНЕЖСКИХ СТИХОВ»)

Ирине Сурат

Возьмем два известнейших любовных цикла — пушкинский, обращенный к Амалии Ризнич, и мандельштамовский — обращенный к Ольге Ваксель. Их параллелизм — жизненный и поэтический — как-то ускользал от внимания исследователей, а вместе с тем он поразителен.

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волнение?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображение?

...Но я любим, тебя я понимаю,
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как сильно я страдаю.

Посвятив в 1823 году юной жительнице Одессы эти пылкие строки, Пушкин вновь вернулся к ее образу в 1826 году, пораженный известием о ее скоростижной смерти в Италии:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть...

Образ Амалии Ризнич отразился и в «Евгении Онегине», и в стихотворении 1830 года «*Для берегов отчизны дальней...*»:

...Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Я жду его; он за тобой...

...В 1925 году Осип Мандельштам, обращаясь к Ольге Ваксель, написал два изумительных стихотворения — «*Я буду метаться по табору улицы темной...*» и «*Жизнь упала, как зарница...*». Сама Ваксель, выйдя замуж за норвежского дипломата, в 1932 году уехала вместе с мужем в его страну. Прожив в Норвегии меньше месяца, написав за это время несколько стихотворений и надиктовав мужу — по-русски — целую стопку листов с воспоминаньями, она неожиданно для всех застрелилась.

В конце весны или начале лета 1935 года весть об этом выстреле достигла сосланного в Воронеж Мандельштама, и его эхо толкнуло поэта к новым стихам: «*На мертвых ресницах Исакий замерз...*» и «*Возможна ли женщине мертвой хвала...*».

Сходство жизненных коллизий, острота переживания скорбной утраты, наконец, элементы образного строя — сближают два пушкинских и два мандельштамовских стихотворения, делают их родственными друг другу.

Но для возвышенной и прозрачной пушкинской элегии («*Для берегов отчизны дальней...*») в воронежском творчестве Мандельштама нашелся и еще один отзвук, едва ли не самый значительный.

Я имею в виду диптих 4 мая 1937 года, посвященный Наташе Штемпель, одному из редких воронежских друзей поэта.

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой...

В стихах, разумеется, немало узнаваемых черт адресата (та же «*неравномерная сладкая походка*» — хромота Н. Штемпель). Но главное не в этом.

Мандельштам предпринял в этих стихах героическую, в сущности, попытку воссоздать обобщенный, всечеловеческий опыт явленных

и воплощенных в женщине таинств любви, дружбы, жизни и смерти. Светлым гимном Вечной Женственности звучат эти удивительные строки:

Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их — гулкое рыданье.
Сопроводять воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье..
Что было поступь — станет недоступно..
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, — только обещанье.

В концовке этих стихов слышатся ответы и на пушкинское — «подон-Гуановски» дерзкое — требование «поцелуя свиданья» («*Но жду его; он за тобой*»), и на собственный и вовсе не риторический вопрос: «*Возможна ли женщине мертвой хвала?..*»

Воспоминания адресата сохранили удивительные мандельштамовские слова, сказанные в момент вручения Наташе Штемпель записанных на суперобложке книжки Боратынского стихов:

«Я написал вчера стихи», — сказал он. И прочитал их. Я молчала. — “Что это?” Я не поняла вопроса и продолжала молчать. “Это любовная лирика, — ответил он за меня. — Это лучшее, что я написал”. И протянул мне листок. <...> “Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом”. И после небольшой паузы добавил: “Поцелуйте меня”. Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу, он сидел, как изваяние. Почему-то было очень грустно...»¹

¹ Штемпель, 2008. С. 51—52.

МАНДЕЛЬШТАМ О ЧЕХОВЕ: ПРИТЯЖЕНИЯ И ОТТАЛКИВАНИЯ

Софии Полян

1

Набросок 1935 года о Чехове и Гольдони и о не удавшейся постановке в Воронежском театре «Вишневого сада» открывается перечнем действующих лиц «Дяди Вани». Далее — раздраженное и беспощадное обвинительное заключение:

«Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая головоломка. <...> Сожительство для Чехова — решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями. Чехов забирает сачком пробу из человеческой “тины”, которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты — например, “трем сестрам”, и пьеса кончится. <...> Но Чехов и упругость — понятия несовместимые. <...> Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью».

Приговор — особенно на фоне скудости «улик», представленных в доказательство его правоты, — суров. А вместе с тем это — самое развернутое, самое позднее и наиболее известное высказывание Мандельштама о Чехове.

Итак, Мандельштам Чехова не любит, никогда не любил и любить не мог бы — в силу патологической неупругости писательского дара последнего. «Приговор» окончательный и обжалованию не подлежит.

Иные уже приняли его на веру и сделали из него свои выводы, каковых — в зависимости от точки обзора — может быть только два.

Первый — «мандельштамоцентричный»: Мандельштам Чехова не любил и его прозу органически не выносил, так что скорее всего Чехов писатель так себе и наше к нему незаслуженно хорошее отношение надо как можно скорее пересмотреть.

Второй — «чеховоцентричный»: Мандельштам — человек горячий и несправедливый, если раздражался — то рубил с плеча, и высказывания принимать всерьез не стоит.

Встанем где-то посередине и зададим себе труд взглянуть на весь свод высказываний Мандельштама о Чехове или же о том, что с Чеховым было связано.

2

Чехов «всплывает» у Мандельштама только в прозе, но и эти упоминания и намеки весьма редки, отчего и тем более значимы. Хронологически они все приурочены к 1920-м годам, но любопытно, что почти с каждым высказыванием сопряжено то или иное автобиографическое переживание или воспоминание.

В посвященной юбилею МХАТа статье «Художественный театр и слово» (1923) речь идет о занимавшей Мандельштама проблеме соотношения в театре литературного и собственно театрального начал: *«Пафосом поколения — и с ним Художественного театра — был пафос Фомы неверующего. У них был Чехов, но Фома-интеллигент ему не верил. Он хотел прикоснуться к Чехову, осязать его, увериться в нем. В сущности, это было недоверие к реальности даже любимых авторов, к самому бытию русской литературы. <...> Что такое знаменитые “паузы” “Чайки” и других чеховских постановок? Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание».*

Существенно, что принадлежность Чехова к уважаемому Мандельштамом кругу авторов здесь не просто не ставится под сомнение, но имеет вид аксиоматический, бесспорный. Мандельштам-читатель как бы вступает за Чехова-писателя и даже сердится на театр (не говоря уже о зрителе) за то, что тот из живого «оригинала» чеховской «прозы» сделал «театральный подстрочник», суррогат. Соотношение «простуды к здоровью» здесь явно не у чеховского театра к жизни, а у того же чеховского театра к самому Чехову.

Мандельштам признается, что и Чехов-литература, и Чехов-театр были знакомы ему с детства, причем в окружающей его среде преобладала установка на театр, а точнее даже — на атмосферу и особую миссию именно Художественного театра.

К самому театру, символом которого недаром стала чеховская «Чайка», отношение у Манделъштама хотя и критическое, но никак не пренебрежительное или раздраженное.

Его занимает — и огорчает — то, что театр использовался по ложному назначению — как своеобразный адаптер литературы, ее истолкователь и интерпретатор. Тем самым он доводит ее смыслы до приемлемого уровня восприятия, — но восприятия уже не читательского, а зрительского (похожие упреки звучали позднее — из других уст — в адрес вчерашнего кинематографа или сегодняшнего телевидения.) Сам же Манделъштам считал, что: *«Театр... весь дан в слове»* — тезис, который он так же отстаивает и в главке «Комиссаржевская» из «Шума времени», и в статье 1927 года «Яхонтов».

3

В «Шуме времени» Чехов упоминается дважды, причем оба раза в главках, связанных с Тенишевским училищем и девятисотыми годами. К этому времени уже сложилось представление о Чехове как о своеобразном воплощении русского интеллигента. Все в нем сошлось и сочлось — ум, образованность, талант, деятельная профессия, знание жизни, в том числе жизни низов. Самый облик Чехова — его пенсне и (цитирую Манделъштама) *«невообразимая улыбка»* в уголках глаз — вошли в комплекс неких эталонных представлений о русском интеллигенте. Манделъштам едва ли признавал этот несколько условный образ, но никогда над ним не смеялся.

В другом месте «Шума времени», в главке «Семья Синани», говорится о Семене Акимыче Ан-ском — своем человеке в доме Синани, который — *«...совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым»*.

Пожалуй, «апофеозом» манделъштамовского выражения чувств к Чехову является его «Письмо тов. Кочину» — рецензия на довольно известный роман последнего «Девки» (1929), стилизованная под комсомольский сленг того времени:

«Мы знали мужикобоязнь, например, у Бунина, но для нас гораздо ценнее и интереснее подход к деревне Чехова.»

Чехов одинаково бесстрашно, спокойно и тщательно изображает врача, инженера и личность крестьянина.»

Сравнивая это «Письмо...» с наброском <«О Чехове»>, замечаешь: Манделъштам адресует самому тов. Кочину почти такие же «претензии» — и чуть ли не в тех же выражениях (персонажи-муравьи и персонажи-стадо, подход «экологический» и «зоологический» и т. п.), — что и самому Чехову спустя шесть лет!

Однако, подобно тому, как Чехову в пример был поставлен Гольдони, Кочину предлагается брать пример... с Чехова!

Думается, что именно здесь — ключ к истинному отношению Мандельштама к Чехову.

В наброске же 35-го года мы сталкиваемся скорее с реакцией не на самого Чехова, а на его театральных «толмачей» из Воронежского театра.

«НОВЫЙ ГИПЕРБОРЕЙ»

Алексею Наумову

1

На пожелтевшей сероватой обложке — ее автор нам неизвестен — читаем: *«Новый Гиперборей. Журнал Цеха Поэтов. 1921, № 1. Петроград.*

Автографы новых стихов и собственноручные графики поэтов: Н. Гумилева, Вс. Рождественского, М. Лозинского, О. Мандельштама, Г. Иванова, И. Одовецевой, А. Оношкович-Яцыны, В. Ходасевича, Н. Оцупа.

Настоящий № отпечатан в количестве 23 экземпляров».

«Гиперборей» — в переводе означает северянин, северный житель. Так называли акмеисты и члены первого «Цеха поэтов» свой тоненький журнал — «Ежемесячник стихов и критики», выходящий в 1912—1913 годах. Редактором-издателем журнала, а также одноименного издательства в Петрограде был Михаил Леонидович Лозинский. Это издательство существовало в 1914—1918 годах и выпустило дюжину поэтических книг, в том числе «Четки» и «Белую стаю» А. Ахматовой, «Камень» О. Мандельштама и др.

Когда, в каком месяце вышло это издание?

«Книжная летопись» за 1921 год его не зафиксировала, но И. Одовецева с уверенностью указывала на январь 1921 года. Инициатором, разумеется, был Николай Степанович Гумилев, синдик Цеха поэтов, членами которого были многие участники «Нового Гиперборея».

Нам достоверно известно о семи экземплярах первого номера «Нового Гиперборея».

Как минимум семь экземпляров находятся в России, из них три на государственном хранении: один — в фонде О.Э. Мандельштама в РГАЛИ, другой — в РГБ в Санкт-Петербурге, а третий — в Ахма-

товском музее в Фонтанном доме, куда он поступил от М.С. Лесмана¹. Еще четыре экземпляра находятся в частных руках: один в Санкт-Петербурге — в семейном архиве М.Л. Лозинского и три в Москве — в собраниях А.В. Наумова, М.Е. Кудрявцева и М.В. Сеславинского.

Восьмой уникат находится в библиотеке Центра по изучению русской культуры Амхерстского колледжа (Center for Russian Culture, Amherst College), основанного известным американским коллекционером Т. Уитни в 1991 году. Но, по сообщению С. Рабиновича, он поступил в собрание колледжа еще до этого события.

На трех из восьми экземпляров рукописно, чернилами, представлены их «нумера»: № 13 — на бывшем лесмановском экземпляре, № 17 — на экземпляре РГАЛИ и № 15 — на экземпляре из архива М.Л. Лозинского: на нем же — датированный 2 апреля 1921 года инскрипт А. Оношкович-Яцыны: *«И от руки богов меня никто не спас!»*

Опытные библиофилы не исключают и того, что тираж «Нового Гиперборей» в действительности мог быть и несколько большим, чем 23².

2

Что можно сказать о «собственноручных графиках» поэтов?

Все автографы — беловые, лишь в мандельштамовском видны следы работы над текстом, да еще гумилевский, похоже, был записан в два приема. Характерно, что ряд автографов записан либо по старой орфографии, либо с сохранением ее элементов — это отражает не только многолетнюю привычку, но и определенный отпор, несогласие, вплоть до полного неприятия, которое встретила у части творческой интеллигенции «революция в правописании».

Традиция сочетать на одном листе поэзию и живопись, в сущности, не нова. Достаточно вспомнить японские акварели с начертанными на них иероглифами хокку, а из более близкого к нам во времени и пространстве — акварели Максимилиана Волошина.

Но то, с чем мы сталкиваемся в случае «Нового Гиперборей», имеет иной характер: любительские рисунки поэтов, не претендуя на художественность как таковую, иллюстрируют их собственные стихи и раскрывают вместе с тем их творческую индивидуальность. И в рисунках проступает скупая строгость В. Ходасевича, композиционная продуманность М. Лозинского или манерность И. Одоевцевой.

¹ В конце 1950-х гг. у Лесмана, по свидетельству А. Рабиновича (Нью-Йорк), было несколько экземпляров «Нового Гиперборей».

² Ряд экземпляров находится в московских библиофильских собраниях, сформированных за последние 10 лет, а также продавался на столичных аукционах.

А вот Мандельштам, мне кажется, отшутился — отмахнувшись, отгородившись добродушной улыбкой своего руссоистского троянского коника от содержания собственного стихотворения.

3

Ирина Одоевцева пишет еще о трех выпусках «Нового Гиперборея», причем они выходили также под № 1 — ради вящей «радости библиофилов», как объяснил этот жест Н. Гумилев³. Тираж этих трех выпусков в каждом случае составлял... по пяти экземпляров!⁴

Если вспомнить, что из 23 экземпляров действительно первого выпуска до нас дошло, по крайней мере восемь, то есть около трети тиража, то хоть по одному экземпляру остальных «Новых Гипербореев» до нас тоже должно было бы дойти!

Увы, не дошло ни одного. Во втором выпуске, как вспоминала И. Одоевцева, были гумилевский «Слоненок», «Не о любви прошу, не о весне пою...» Г. Иванова и ее собственная «Птица» (сопровождаящее ее изображение орла, по ее словам, чрезвычайно всем понравилось, в особенности Мандельштаму).

В третьем выпуске Гумилев поместил свою «Канцону», иллюстрировав ее петухами. Одоевцева — «Балладу о Роберте Пенсильвании», сопроводив ее изображением девяти котят, а Г. Иванов — стихотворение «Эоловой арфой вздыхает печаль...» с соответствующим рисунком. Мандельштам начертал свою «Ласточку» («Я слово позабыл...»), но от улий и лавров рисовальщика отказался. Указуя на чистый лист бумаги («*Вот они — горячие снега!*»), он уговорил Одоевцеву нарисовать что-нибудь за него, и ее рисунок «Слепая ласточка», сообщает все та же Одоевцева, сызнова его восхитил: «*Смотрите, она действительно слепая!*»⁵

Четвертый выпуск «Нового Гиперборея» собирался тяжелее и дольше других. Гумилев дал туда свое знаменитое «Слово», Мандельштам — «Черепашку» («На каменных отрогах Пиэрии...»), Г. Иванов — стихотворение «В середине сентября», Одоевцева — «Балладу об извозчике» и Оцуп — стихи про гвоздь.

В начале 1920-х годов многочисленные сборники, журналы и альманахи, словно светляки в южную ночь, возникали беспрестанно и, едва успев заявить в своем первом номере на вечность рассчитанную

³ Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон, 1967. С. 405—407.

⁴ Здесь скорее напрашиваются аналогии с некоторыми изданиями футуристов в 10-е годы. (См.: Харджиев Н. Маяковский и живопись // Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1971. С. 9—49).

⁵ Этот эпизод И. Одоевцева с удовольствием пересказала автору этих строк осенью 1987 г. в Ленинграде, то есть «на берегах Невы».

программу — или же безо всяких обещаний — прерывались на втором, третьем, а то и на единственном первом своем выпуске.

Точно так же и «Новый Гиперборей», не просуществовав и полугода, весной 1921 года прекратился. В качестве главной причины И. Одоевцева указывает на наступление НЭПа: надобность в рукописных изданиях, по ее мнению, как будто уже отпадала.

4

Нам непросто вообразить себе всю пестроту и всю сложность книгоиздания в первые годы после революции. С одной стороны — множество издательств — от могущественного Госиздата до крошечных кооперативов, выпустивших от силы одну или две книжки. С другой — типографский и бумажный кризис и как следствие — книжный голод.

Серьезным подспорьем были издательства, имеющие двойную «прописку» — например, в Петрограде и в Берлине.

Тем не менее по подсчету Всероссийского Союза писателей, в одной только Москве у членов Союза лежит около 1500 печатных листов готовой для издания продукции, из них не более 200 листов увидели свет в течение 1920—1921 годов⁶.

Что остается делать писателю в такой крайности? Ответ нашелся у Пушкина: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» — буквально и без всякой иронии!

«Будущим библиографам, — безошибочно прорицал Михаил Осоргин, — придется завести отдел «рукописных книг» первой четверти XX века... История русской книги мимо них пройти не сможет. Представят они в будущем и немалый библиографический интерес, тем более что каждый экземпляр, строго говоря, есть уникум⁶».

Первыми до «рукописных книг» додумались москвичи: бумажный голод был здесь сильнее петербургского. Первые экземпляры автографов появились в «Книжной лавке писателей» в октябре 1920 года и, несмотря на сравнительно высокую по тому времени цену (до 5 000 руб. за 6—8 страниц в простенькой самодельной обертке), разошлись немедленно. За простыми тетрадочками последовали более изысканные — с обложкой, рисованной либо самими авторами, либо художниками, с иллюстрациями в тексте и т. п.

Все выпускаемые автографы регистрировались «Книжной палатой», а некоторые издания — как, например, сборник «Автогра-

⁶ Осоргин М. Рукописные издания // Среди коллекционеров. 1921 (май), № 3. С. 29. Ниже мы будем опираться на сведения, почерпнутые из этой интереснейшей статьи.

фы», — даже попали в «Книжную летопись». В апреле 1921 года было зарегистрировано около 220 выпущенных автографов московских писателей, при 150 (приблизительно) названиях (некоторые книжки вышли тиражом в 3, 5, редко 7 экземпляров, обычно с небольшими изменениями текста и обложки). Среди авторов — Андрей Белый, С. Дрожжин, Бор. Зайцев, Андрей Соболев, Федор Сологуб, В. Ходасевич, М. Цветаева, Г. Чулков, В. Шершеневич, И. Эренбург и др.⁷

Что касается меркантильной стороны вопроса, то цены, назначавшиеся самими авторами (в зависимости от курса денег они колебались от 1 до 25 тысяч рублей и выше), были таковы, что серьезным подспорьем следование пушкинскому «совету» не являлось.

Несмотря на это, петербуржцы вскоре последовали примеру москвичей, и, как сообщал тот же журнал «Среди коллекционеров» уже в следующем номере, в книжном кооперативе «Петрополис» начали продаваться рукописные издания — в одном-единственном экземпляре! — Гумилева, Кузмина, Сологуба, Верховского, Мандельштама и других, а некоторые издают небольшие машинописные брошюры в нескольких десятках экземпляров, как, например, Виктор Ховин, автор такой книги «Безответные вопросы» (1921).

5

Осип Мандельштам в статье 1913 года «О собеседнике» сравнивал стихотворение с бутылкой, в которой запечатаны имя и описание судьбы бросившего ее мореплавателя. Рукопись поэта или рукописный сборник с его участием — та же бутылка с запиской, но бутылка «говорящая» — и сама по себе, и сама за себя.

Десятерых поэтов, собравшихся под хрупкой обложкой рукописного журнала «Новый Гиперборей», впереди ожидало нелегкое, подчас страшное будущее: Гумилева — скорая гибель, Ходасевича, Г. Иванова, Одоевцеву, Оцупа — чужбина, Мандельштама — ссылка и смерть в лагере.

Это знаем сейчас мы, но этого не знали тогда они.

А созданный ими рукописный журнал запечатлел то короткое — трудное и счастливое — время, когда все они были еще живы, еще вместе, еще рядом, еще любили друг друга, еще шутили друг над другом, еще друг с другом спорили...

⁷ См.: Среди коллекционеров. 1921, № 4 (июнь). С. 34. О рукописной книге стихов О. Мандельштама см. в примечаниях Н.И. Харджиева (в кн.: *Мандельштам*, 1973. С. 253).

«МЯУКНУЛ КОНЬ И КОТ ЗАРЖАЛ...»: ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

Соне Ивич-Богатыревой

Смешливость (не насмешливость, а именно смешливость) Мандельштама отмечается едва ли не всеми мемуаристами: *«Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу — и даже без всякого повода. — От иррационального комизма, переполняющего мир, — объяснял он приступы своего непонятого смеха. — А вам разве не смешно? — с удивлением спрашивал он собеседника. — Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире»*¹.

Воистину он был человеком неистребимой веселости: шутки, остроты или зубоскальства можно было ожидать от него в любую минуту, вне зависимости от внешних обстоятельств. Шуточные стихи сопровождали Мандельштама всю жизнь: власть «глухоты паучей» и удрушающее семилетье без стихов на них не распространялись.

Редкий мемуарист, о каком бы периоде жизни поэта он ни писал, не притормаживал на образчиках мандельштамовской веселости и филологического остроумия. Такой собранный, строгий и возвышенный в своих «серьезных стихах», лишь изредка позволяющий себе горькую усмешку в самых уголках губ, Мандельштам — в стихах шуточных — совершенно раскрепощен.

Но при этом между шуточными и «серьезными» стихами он проводил четкую грань: чем строже и аскетичней становилась его «серьезная» лирика, тем раскованней и потешней писались шуточные стихи. В них, как правило, он тяготел к острым портретным эпиграммам, тонким каламбурам, вообще к филологическим эффектам, обожал комические стилизации.

В шуточных стихах Мандельштама ощутимо прямое и недвусмысленное влияние пушкинского поэтического юмора.

¹ *Одоевцева И.* На берегах Невы // Звезда. 1988. № 3. С. 135.

Мандельштам был одним из основных авторов «Антологии античной глупости» (1910-е гг.)². Думается, что сама идея такой «Антологии» восходит к контрасту двух пушкинских элегических дистихов, обращенных к Н. Гнедичу: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...» и «Крив был Гнедич-поэт, преложитель слепого Гомера...».

У Мандельштама в «антологических» стихах читаем:

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста.
Вижу: торчит на пальто семьдесят пятый отрыв.
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вождедею отнять около ста папирос.

Или:

Девочку в деве щадя, с объяснениями юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе — люблю.
Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо.

В середине 1920-х годов создавалась уже «Антология житейской глупости», где пародировался не «высокий штиль», а подчеркнута сниженная русская калька немецкой фразы.

Например:

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.

Он художник старой школы.
Целый свой трудится век, —
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

Или:

Алексей Максимыч Пешков —
очень горький человек.

Или:

² Наиболее известные образцы ее можно найти в воспоминаниях А. Ахматовой, В. Пяста, В. Рождественского, К. Чуковского.

Это есть Лукницкий Павел, Николаич человек,
Если это не Лукницкий, это, значит, Милюков.

и т. д. и т. п.

Подобно Пушкину в его лицейские лета, Мандельштам был мастером куплетов, неизменно начинающихся одним и тем же оборотом. Есть указания на то, что именно Мандельштам подсказал Ильфу и Петрову идею «Гаврилиады», хотя не исключено и обратное влияние (Мандельштам очень любил «Двенадцать стульев»!).

Но в мандельштамовском авторстве «маргулет»³ — шуточного цикла начала 1930-х годов, всякий раз начинающихся со «Старик Моргулис...», — сомневаться не приходится:

Старик Моргулис на Востоке
Постиг истории истоки,
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

Для уяснения подхода Мандельштама к шуточным стихам как жанру весьма характерным и заслуживающим доверия представляется эпизод, описанный В. Катаевым в повести «Алмазный мой венец». В 1923 или 1924 году автор повести вместе с Мандельштамом («Щелкунчиком») получил у Н.К. Крупской аванс под агитстихи, разоблачающие хитрость кулаков, выдававших наемных рабочих за членов семьи, чтобы обойти закон о продналоге. На предложение Катаева взять в качестве размера четырехстопный хорей («Кулаков я хитрость выдам...» и т. д.) Мандельштам возразил:

«Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вне литературы!» После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и наконец русских — Дмитриева и Крылова»⁴.

Юмор Мандельштама — это общеакмеистическая «веселость едкая литературной шутки» (Ахматова). Легко и изящно вышивал он свои язвительные эпиграммы, смешные пародии, искрящиеся каламбурами шаржи.

При этом: «Шуточные стихи — это петербургская традиция. Москва признавала только пародии»⁵. Действительно, если Мандельштам

³ Несмотря на то, что фамилия Моргулис пишется через «о», стихи назывались «маргулетами» (через «а») — видимо, по звучанию.

⁴ Катаев В. Алмазный мой венец // Новый мир. 1978. № 6. С. 53.

⁵ Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 416.

и пародировал, то не поэтов, а целые жанры (элегические дистихи, куплеты, басни).

Некоторые шуточные стихи Мандельштама пробились в его основной корпус, прежде всего воронежские — «Это какая улица?..», «Татары, узбеки и ненцы...» и «На меня нацелилась груша да черемуха...».

Это стало возможным благодаря тому, что на них не было стигмы какого-нибудь шуточного жанра. А вот текстам, отмаркированным жанрово (например, басням), попадание в основной корпус заказано. Прекрасный пример — басня о «портном с хорошей головой» (1934). Содержание ее более чем серьезно⁶, но басенный антураж хорошо это маскирует и дезавуирует.

«Басни», вместе с «маргулетами», в тридцатые годы явно заменили Мандельштаму пародийные «Антологию античной глупости» и «Антологию житейской глупости», столь любимые им и его товарищами в десятые и двадцатые годы.

Он словно бы соревновался, хохоча, в жанровом остроумии и громкости смеха с тем же Николаем Эрдманом — автором такого, например, шедевра:

Однажды ГПУ пришло к Эзопу
И хватъ его за жопу
Смысл этой басни ясен:
Не надо басен.

Талантливо упражнялся в этом жанре и другой знакомец Мандельштама — и тоже будущий сиделец, и впрямь приговоренный к высшей мере, — Павел Васильев. Вот пример из протокола его допроса в марте 1932 году⁷:

Гренландский кит, владыка океана,
Раз проглотил пархатого жида.
Мегаться начал он туда-сюда.
На третий день владыка занемог,
Но жида он переварить не мог.
Итак, Россия, о, сравненье будет жутко —
И ты, как кит, умрешь от несварения желудка.

В том же 1932 году Мандельштам, в чьих эпигонах числился тогда и Васильев, словно «парировал» васильевский укол, посвятив ему следующее и не менее язвительное двустишие:

⁶ См. в наст. издании, с. 409—410.

⁷ *Растерзанные тени*. Избранные страницы из «дел» 20—30-х годов / Сост. Ст. Куняев, С. Куняев. М., 1995. С. 82.

Мяукнул конь и кот заржал —
Казак еврею подражал.

Но мандельштамовская басня о портном — совершенно особенная. В ней не столько искрится поэтическое остроумие, сколько мигают светлячки мандельштамовского видения того, что с ним на Лубянке произошло.

Оба — и Эрдман, и Мандельштам — претерпели за литературные жанры.

Эрдман загремел в енисейскую ссылку за басни: не надо басен!

А Мандельштам — был сослан за эпиграмму, пусть и воспринятую адресатом как ода.

«ТРИДЦАТЬ ТОМОВ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ»: ЗАМЕТКИ О ПРОЗАИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДАХ

Александрю Мецу

1

В письме Аркадию Горнфельду, опубликованном в «Вечерней Москве» 12 декабря 1928 года, в ответ на брошенное ему адресатом обвинение в плагиате, Мандельштам обронил: «*Мой переводческий стаж — 30 томов за 10 лет...*»¹.

Действительно, с начала и по самый конец 1920-х годов, переводы вторглись в его жизнь. Поначалу поэтические (Важа Пшавела, грузинские поэты-голубороговцы, Огюст Барбье, Макс Бартель, другие немецкие экспрессионисты), затем прозаические. Понемногу переводы превратились в основной источник существования, и их мощные «корни», жадно сосущие мозговую жидкость, во многом ответственны за тот пятилетний период стихового молчания Мандельштама, которм ознаменована вторая половина 1920-х гг.

2

Все это так, но в переводческой практике Мандельштама бывали и исключения. И ярчайший тому пример — книга Бернара Лекаша «Радан великолепный»: ее перевод не несет на себе ни малейших следов халтуры или хотя бы спешки и являет собой поистине прекрасный образец русской прозы, по своим качествам не уступающей авторской мандельштамовской.

Сам Бернар Лекаш (Lecache) родился в августе 1885 года в Париже в семье портного — выходца из Херсона. Французский писатель

¹ См. Нерлер П. Битва под Уленшпигелем // Знамя. 2014. № 2. С. 148.

и журналист, сотрудник «Юманите» и основатель журнала «Le droit de vivre» («Право жить»), он был больше известен как общественный деятель и борец против антисемитизма. В 1927 году он основал Международную лигу против погромов (впоследствии — против антисемитизма), во главе которой стоял до самой своей смерти в октябре 1968 года. В годы войны боролся с нацизмом в рядах Сопротивления, был арестован немцами.

Автор романа «Жакоб» (или «Иаков»; 1925) и трилогии «В стране погромов» (1927—1930) — о страданиях евреев в России во время Гражданской войны², Лекаш как писатель во Франции малоизвестен.

Вместе с тем его «Иаков» (в русском переводе — «Радан Великолепный») очень хорош. Яркими мазками Лекаш рисует глубокий внутрениний конфликт в патриархальной еврейской семье портного Менделя Раданского. Вместе с женой и шестью детьми они бежали в конце XIX века из-под Одессы в Париж от погромов, но в Париже они столкнулись с другой, не менее страшной, в глазах главы семьи, бедой — с неодолимой силой ассимиляционных процессов и социальных соблазнов, охвативших всех до одного шестерых детей. Ценой необратимой секуляризации становится не столько внешнее офранцузивание образа жизни и даже самого имени главного героя (Яков Раданский становится Жаком Раданом), сколько глубина его безразличия к еврейской вере, еще столь живой у родителей, безразличия, не останавливающегося и перед крайней чертой — ренегатством, если того потребуют интересы дела.

В 1927 году³ Госиздат выпустил русский перевод этого романа под названием «Радан великолепный». Проблематика романа, очевидно, нашла самый глубокий и непосредственный отклик прежде всего в душе русского переводчика, каковым являлся Осип Мандельштам (лицо, от имени которого ведется повествование, младший из братьев Раданских — Абрам, всего на год моложе реального Иосифа Мандельштама⁴).

Автором неподписанного предисловия, как это доказал Д. Сегал, был также Мандельштам. Написанное в духе нарочито вульгарного социологизма, оно было призвано защитить основной текст от цензуры, падкой на упреки в национализме⁵.

² Jacob. Paris: Gallimard, 1925. 253 p.; Quand Israël meurt... (Au pays des pogromes). Paris: Ed. du Progrès civique, 1927; Séverine. Paris: Gallimard, 1930.

³ А в действительности даже в конце 1926 г. (см.: Книжная летопись. 1926. № 48. дек.). См.: *Лекаш Б. Радан Великолепный*. [Роман] / Пер. с фр. О.Э. Мандельштама. Предисл. к русскому изданию [Б. подписи]. М. — Иерусалим: «Мосты культуры» — «Гешарим», 2004. 240 с.

⁴ Имена Осип и Иосиф сосуществуют в реальной биографической документации Мандельштама вплоть до 1917 года.

⁵ *Сегал Д.* Еще один неизвестный текст Мандельштама? // SH. Vol. III. 1978. P. 174—192.

3

Повесть «1002-я ночь» шведского прозаика Франка Геллера, или Хеллера (под этим псевдонимом скрывался выпускник богословской школы в Лунде Гуннар Сернер, 1886—1947) была в этом ряду не первой и не последней. Шведская энциклопедия аттестует прозаика как «мастера интеллигентной интриги и элегантного стиля». Переведенный Мандельштамом роман был сравнительно «свежим»: по-шведски он увидел свет в 1923 году.

Не была она и дебютом автора на советском, жадном до занимательного чтения, книжном рынке: дебютом был роман «Сибирский экспресс» (1925). В 1926—1927 годах в различных ленинградских издательствах вышли, кроме «1002-й ночи», еще пять книг Франка Хеллера («Похождения господина Коллина в Лондоне», «В столице азарта», «Безумный, в эту ночь», «Доктор Ц.» и «Шесть меню»).

16 сентября 1925 года Мандельштам подписал с Ленинградским отделением Госиздата договор, по которому обязывался ровно через месяц представить перевод. Переводил он вероятней всего не с оригинала, а с французского перевода и к сроку, видимо, поспел⁶. В конце 1926 года книга вышла в свет.

О «1002-й ночи» написала рецензент «Красной нови» Н. Эйшишкина. По ее мнению, это «образцово-скомпонованный», «отвечающий требованиям почти совершенного сюжетного построения» роман — своеобразная «мозаика мастерски вкрапленных фабул»⁷. Три путешественника — француз, англичанин и голландец — оказались ввергнутыми в борьбу за волшебный коврик, предсказывающий судьбу, и, перебивав в самых невероятных ситуациях, выходят из них невредимыми, а голландец — к тому же разбогатевшим. Автор придает этой борьбе за «коврик» символический и политический смысл (борьба европейцев за власть и влияние на Востоке и т. п.), но читатель вправе и не следовать в этом за ним, настолько занимательна сама фабула.

Нам, однако, небезразлична заключительная фраза рецензии: «Внешнее, техническое мастерство автора дополняет очень хороший перевод О. Мандельштама».

⁶ Договор № 2560/2680 от 16 сентября 1925 г. с Ленинградским отделением Госиздата (Ленгизом) о предоставлении к 15 октября 1925 г. перевода книги Ф. Геллера «Тысяча вторая ночь» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 35. Д. 71. Л. 36—37). Окончательный расчет за этот труд помечен в бухгалтерских документах издательства 26 октября 1925 г.

⁷ Красная новь. 1926. № 4. С. 216.

«И ВОЗНИК ВОПРОС...»: (МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО ЕВРЕЙСТВО)

Леониду Кацису и Аркадию Ковельману

*Как крошка мускуса наполнит весь дом,
так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь.
О, какой это сильный запах!..¹*

1

Кажется, Сергей Маковский был первым, кто пустил в оборот эту ноту своеобразного «восхищения» Мандельштамом: вот поглядите — «не наших» кровей человек, а стихи по-русски пишет и недурственно!²

И похвалил, и на место поставил.

«Похвалил» — и даже восхитился — и король поэтов: Александр Блок. О вечере 21 октября 1921 года в Союзе поэтов на Литейной, когда Мандельштам обрушил на петроградскую публику будущую свою книгу «Tristia», Блок скрупулезно записал в дневнике: *«Гвоздь вечера — И. Мандельштам. <...> Постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его “Венеция”»³.*

И «возник вопрос», если прибегнуть к обороту того же Блока, в предисловии к «Возмездию» выразившемуся так: *«В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови»⁴.*

¹ О. Мандельштам. Шум времени.

² Герштейн, 1998. С. 27.

³ См. наш комментарий к стихотворению «Венецианская жизнь» в: Мандельштам, 1990. Т. 1. С. 488.

⁴ Блок А. Стихотворения. Поэмы. «Роза и крест». М., 1974. С. 390.

Когда осенью 1931 года Осип Эмилевич вдруг натолкнулся на эту «нейтральную» фразу, долженствовавшую, по слову Блока, передать «единый музыкальный напор» эпохи, он не стал себя сдерживать. На глазах у Эммы Герштейн, сохранившей для нас этот выразительнейший эпизод, он подчеркнул оскорбительные эти слова и «...сделал на полях отсылку к следующей странице: “Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что ознаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции”, и дал свой комментарий к обеим фразам, пародийно начиная его словами: “и возник вопрос...” И с тем же “зачином” — замечания к некоторым местам поэмы Блока.

Полемика была сильной и политически острой, и я не перестаю оплакивать пропажу этой книги»⁵.

Совершенно вне этого ряда — крестьянский поэт Сергей Клычков, которого однажды — вместе с Есениным, Орешиним и Ганиным — даже судили за вымышленный антисемитизм⁶. Кузинские воспоминания сохранили следующий эпизод: однажды в каком-то споре в присутствии Кузина Клычков в сердцах сказал Мандельштаму: «А все-таки, Осип Эмилевич, мозги у вас еврейские».

Мандельштам и не стал отпираться, но мгновенно парировал: «А стихи русские!». На что Клычков с искренней радостью закивал головой: «Это верно, вот это верно!»⁷.

2

Надо признать, что тема еврейства входила в плоть прозы и стихов Мандельштама, как правило, не сама по себе. Не солировала, но была одним из ведущих голосов в той сонатине для жизни с эпохой, которую пишет для поэта его судьба, его призвание.

А Мандельштам был великим мастером вслушиваться в судьбу, различать за какофонией каждодневности не всегда слышимый шум времени — как минувшего, так и текущего или надвигающегося.

В «Шуме времени» он повествует о своих корнях. Вырос он из того «хаоса иудейского», который царил в семье его отца, сначала ремесленника-перчаточника, а потом торговца кожами, да еще из «книжного шкапа» в отцовском кабинете:

«Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье!»

⁵ Герштейн, 1998. С. 27.

⁶ Клычков С. Переписка. Сочинения. Материалы к биографии // НМ. 1989. № 9. С. 222.

⁷ Кузин, 1987. С. 142—143.

На нижней полке — книги отца: *«...рыжие пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был мой повернутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская азбука, которой я так и не научился»*. На второй полке — тоже отцовские книги — его *«немцы»*, *«лейпцигско-тюбингенские издания»* (*«Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей»*). А еще выше — *«материнские русские книги: исаковский Пушкин, Тургенев, Достоевский, Надсон...»*. Семья Эмиля Вениаминовича Мандельштама, некогда учившегося в Высшей талмудической школе в Берлине, набожною не была. В синагогу отрока Иосифа (так звали поэта в детстве) возили лишь несколько раз. Да еще однажды — *«в припадке национального раскаянья»*, как пишет поэт, — ему наняли учителя еврейского языка, но учеба длилась недолго: ни иврита, ни идиша Мандельштам не знал и никакого особого влияния их никак не испытывал.

3

Но не только это имел в виду Осип Мандельштам, когда в апреле 1908 года из Парижа писал Владимиру Гиппиусу о *«безрелигиозной среде своего детства»*.

В центре его миропонимания уже тогда была культура, а в центре культуры — поэзия. И уже в Тенишевке русская культура, если угодно, стала его религией, а поэты — как бы «левитами».

И оттого не самолюбивым капризом, а экзистенциальной необходимостью представлялось ему его жреческое право жить и дышать в Санкт-Петербурге, Москве, где бы то ни было еще — легально и беззаботно.

Его отец вырвался из пут черты оседлости на крыльях своей профессии и ее цеховой гильдии. Но заслуженное родителями право отнюдь не было наследным: закон терпел вне зоны оседлости дочерей вырвавшихся до их замужества, а сыновей — до совершеннолетия, то есть до полного 21 года.

В январе 1912 года в таком случае предстояло паковать свои вещи и Мандельштаму.

Что же делать сыну, не желающему продолжать отцовское дело?

Ну, например, идти в университет, ибо диплом или, на худой конец, справка о зачислении в студенты избавляли от черты оседлости не хуже, чем грамота о принадлежности к ремесленной или торговой корпорации.

Но для еврейских юношей поступление в университет, начиная с 1887 года, регулировалось пресловутой трехпроцентной нормой.

А так как в евреях-медалистах недостатка не было (их принимали, как и остальных медалистов, без конкурса), то для евреев-немедалистов дорога в российский университет была заказана.

При таких — «трехпроцентных» — правилах игры желание учиться за границей для многих и многих становилось не капризом, не шиком, а чуть ли не единственной возможностью и получить высшее образование, и защититься от антисемитского волеизъявления государства Российского. Тысячи юношей (и, добавим, десятки девушек — последовательниц Софьи Ковалевской) брали заграничные паспорта, аттестаты зрелости и родительские благословения (кое-где требовалось и такое) и предоставляли родителям купить им билет до университетских городков Швейцарии, Германии или Франции...

Что касается Мандельштама, то больше одного семестра он не выдержал ни в Париже, ни в Гейдельберге.

Для того, чтобы не оказаться вне закона и не быть депортированным, как это уже бывало и именно в год его рождения, оставалась только одна лазеечка: креститься!

И вряд ли он испытывал глубокие колебания или мучения ренегата, когда 14 мая 1911 года в Выборге был на скорую руку и по сходной цене крещен в методистской кирхе пастора Розена.

Правда, дома был грандиозный скандал: отец счел филькину грамоту от пастора и корпоративным предательством, и личным оскорблением.

Мандельштам счел за благо дать времени полечить рану отца, и какое-то время — может быть, целое лето — прожил по знакомым или по дачам знакомых. Так что чересчур сильной и продолжительной эта размолвка не была⁸. Отец уже понимал, что ни одна гильдия не дождется от его первенца заявления, кроме «Гильдии поэтов», но где, по какому адресу заседают эти мастеровые, он не знал.

Зато дорога в Санкт-Петербургский университет была теперь открыта, и уже 9 сентября 1911 года Мандельштам подал прошение о зачислении в студенты...

4

Но купленное такой ценой внешнее право вовсе не избавляло его от понимания — и умом, и «кожей» — всей унизости и похабности такой «сделки». Отказавшись от одной — и без того у него отсутствовавшей — разновидности еврейской идентичности, он тем глубже погрузился в другую ее разновидность — сугубо светскую и этническую. Точнее всего ее можно было бы определить как со-

⁸ Эмиль Веняминович и сам в молодости был склонен к несогласованным с родителями поступкам.

общество объектов антисемитизма, благодаря чему он как бы заново установил незримые связи с тем и с теми, с чем и с кем формально порвал в Выборге.

Еврейство Мандельштама ушло вглубь, родовой влагой напитав выбор и все дальнейшие напластования судьбы. Книги с верхней, материнской полки, перехватив всю силу детской впечатлительности, решительно и сразу вывели Мандельштама на путь, которым он так и прошагал всю жизнь. Его назначение — быть поэтом — нашло себя в стихии русского языка, во «внутреннем эллинизме» его «чистых и ясных звуков».

Осипу Эмильевичу (Иосифу Хацкелевичу — как поправили бы меня некоторые) Мандельштаму, даром что великому русскому поэту, достаточно перепало как еврею и «по роже», и по фамилии: не забудем его «дуэли» с Хлебниковым из-за Бейлиса. А сколько раз за годы той же Гражданской войны, когда Мандельштама носило по Украине, Крыму и Кавказу, и его достоинство, и сама его жизнь подвергались испытаниям!⁹

Но его переживание еврейства при этом не переставало быть духовным.

5

Гимном российскому еврейству я бы назвал безымянную статью 1926 года, более известную под заглавием «Михоэльс».

Недаром, ох, недаром статья эта вышла в СССР эпохи гласности и перестройки едва ли не последней из мандельштамовских «проз»¹⁰. В томик критической прозы Мандельштама, готовившийся девять лет и вышедший в 1987 году, то есть в самый разгар горбачевской гласности, ее не пропускали, причем не пропустили сверхлиберальные перестраховщики из «Совписа».

Так и встает перед глазами первое «лицо» издательства. И это не рыбагы неприкасаемая мордочка издательского директора Владимира Николаевича Еременко, к которому я был допущен всего один или два раза, а жреческим пламенем горящее лицо Марка Яковлевича Полякова, более всего напоминающее Киссинджера. А в ушах всплывают восклицания типа: «Павел, не сходите с ума!». Или: «Представляете, что будет, когда Палиевский или Кожин прочтут?!». Или: «Ну, что Вы мне принесли? Мандельштам же русский писатель, при чем здесь Михоэлс? Читайте, если хотите, дома...».

⁹ Все это вырабатывает особую чувствительность, иногда, — переходящую в комплексы и манию. От этого Мандельштам был полностью свободен.

¹⁰ Только в 1988 г. в еженедельнике «Неделя», усилиями работавшего тогда в ней А. Мальгина.

И в глазах — священный ужас от собственной смелости: мало того, что на плечах такого Марка Яковлевича, героя и либерала, в читательский оборот вводится Осип Мандельштам, а тут ему еще и Соломона Михоэлса под сурдинку подсовывают! Ну уж нет — явный «перебор», дудки!.. Сиди, составителишко, не суйся, не лезь... Иван Мойсеич, ну давай, ну чеши собак!..

6

А между тем — читаем в статье: «...Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврейю никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотворенного лапсердака. Этот парадоксальный театр <...> пьянеет как женщина при виде любого еврея и сейчас же тянет его к себе в мастерскую — на фарфоровый завод, обжигает и закаляет в чудесный выквит <...> Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущения формы и движения...».

Этот же строй мыслей до известной степени отразился и в «Египетской марке», но я предпочту сразу же перейти к «Четвертой прозе», быть может более всего насыщенной аллюзиями еврейства.

«Все родственники Исаия Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях», — сказано в начале «Четвертой прозы». И еще оттуда же: «Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего целоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой».

В обоих случаях — эпитет «еврейский», но сколь же по-разному они звучат — чуть ли не как антонимы! Настолько разнятся у Мандельштама слова «посох» и «кровать», что общий для них эпитет выдавливает из себя резко непохожие смыслы. И в этом «химизме» — магия мандельштамовского слова.

Поводом для «Четвертой прозы», как известно, послужил конфликт с Аркадием Георгиевичем Горнфельдом. Этот критик из непочтительно задетого в «Шуме времени» круга «Русского богатства» почел себя обворованным, когда на титуле выпущенного ЗИФом «Тили Уленшпигеля» не нашел своего переводческого имени. Не уняли его и разъяснения и извинения самого Мандельштама, редактировавшего и, как тогда было принято, обрабатывавшего его и еще один перевод «Тили» и не претендовавшего на лавры (и гонорары) переводческие. Он храбро бросился в бой с обидчиком, тем более что действительная обида лежала глубже собственно конфликтной оболочки: подумать только, кто-то осмелился править его, Горнфельда, произведение, литератора с таким стажем и таким опытом!

И, конечно, Осип Эмильевич метил не только в своего дальнего родственника — Исаю Бенедиктовича Мандельштама, когда писал о «брезгливости и так называемой порядочности» буржуа: *«Порядочность — это то, что роднит человека с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, почему взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми».*

Но вот уже и о нем: *«К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моря с Бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка. <...> Дяденька Горнфельд, зачем ты пошел жаловаться в Биржевку, то есть в Вечернюю Красную Газету, в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом...».*

«Чистый еврейский литературный жилет» — это еще из сферы буржуазной «порядочности», а вот на «кровавой советской земле» в двадцать девятом советском году все выглядит уже совершенно иначе.

Литераторы здесь уже не дети розовощекие, а скорее каннибалы — *«взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возытели намерение совершить надо мной безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин».*

Мандельштам намеренно сближает здесь признаки племени (нации) и профессии — с тем, чтобы противопоставить их как можно более отчетливо.

Продолжим цитату: *«Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганичины писательского племени.*

<...> Писатель — это помесь попугая и попа. <...> Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи».

Но для нас не безразлично, что писательской «расе» Мандельштам противопоставил именно свою иудейскую кровь, ощущая, видимо, ее пастушескую мощь и очищающую силу.

7

Купеческий сын, блоковский и Зинаидин «жидок», — он писал *такие* стихи, что однажды возник вопрос о его месте в русской поэзии.

Царапая и раздражая многие уши, это нерусское имя — Осип-Эмильевич-Мандельштам! — с неборимой четкостью проступило на скрижалях русской поэзии.

Великий русский поэт — и еврей — Осип Эмильевич Мандельштам — жил гордо, свободно, с птичьей осанкой.

Он не искал псевдонимов и ни на что не испрашивал разрешения. Дышал и мыслил русским стихом и все время, по собственному выражению, — «наплывал на русскую поэзию». Верил, что стихи его «*вскоре с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе*».

Так оно и вышло.

8

Так оно и вышло, пока у новых антисемитов не возник новый волнующий их вопрос — дерматологический: о «жидовском наросте» — мандельштамовском прыще! — на чистом теле истинно русской поэзии, высшими гениями которой, не смущаясь, они почитали эфиопца Пушкина, шотландича Лермонтова и еще Тютчева, чьим пращуром был фрязин Туччи.

Вопрос оказался волнующим, наболевшим и животрепещущим. На одном консилиуме советских классикофилов было даже постановлено «наростом» считать скорее уж стихи Багрицкого, а стихи Мандельштама вывести из-под огня, признать доброкачественными и разрешить их дальнейшее хождение в качестве истинно русских¹¹.

Оказалось, что многие антисемиты попросту и в домашней обстановке даже любят стихи Мандельштама и готовы закрывать глаза на их и его генезис. В. Кожин говорил мне однажды о преемственной, идущей еще с золотых ермиловских времен, атмосфере почитания Осипа Эмильевича в их семье.

Другой пример — Александр Казинцев, нынешний заместитель Куняева по «Нашему современнику». Знакомый с ним очень давно — еще по «Московскому времени»¹² — я могу засвидетельствовать, что он знал и любил Мандельштама не хуже и не слабее нас. Его статья

¹¹ Классика и мы // Москва. 1990. № 1—3.

¹² *Нерлер П.* В реторте волгинского «Луча» зародилась и выкристаллизовалась группа «Московское время» / Излучение. Ч. 3 // Стенгазета. 2009. 11 ноября. (В сети: <http://stengazeta.net/article.html?article=6660>).

о Мандельштаме четвертьвековой давности с характерным названием: «Я — русский поэт»¹³ — отчаянная попытка одновременно немного просветить «своих» в вопросах подлинной гениальности и застолбить для Осипа Эмильевича место в совершенно чуждом для него мире и лагере.

Вообще-то Мандельштам чурался любых конфессиональных или групповых игр: акмеизм — единственное исключение. И не трудно предугадать, как реагировал бы он на знаки внимания со стороны любой — идеологической по своей сути — группировки.

Все это нелишне подчеркнуть в свете обозначившегося со всей определенностью своеобразного спора нескольких конфессий за право «причислить» его к «лику» если не своих святых, но хотя бы просто «своих».

Мир Мандельштама — не только не православный, сколь бы на этом ни настаивал Н.А. Струве. Он и не католический, хотя Мандельштаму и принято приписывать римско-католический этап. Он и не катакомбно-протестантский, как робко предположил де Микелис¹⁴. И не иудаистический, у какого-то тезиса тоже есть немало adeptов. И даже не эллинско-христианский, как находила Надежда Яковлевна Мандельштам, а за ней и большинство интересовавшихся вопросом.

Мир Мандельштама — сложный и драгоценный сплав. Он вообще не конфессиональный, не веро-, а культуроцентричный. Мировая культура и «*тоска по ней*» — суть символы его веры.

Оттого-то и порывался Мандельштам в самые первые пореволюционные годы объявить культуру правопреемницей церкви¹⁵.

Но позднее, увидев, как и ее, культуру, разворачивают и мнут, и как ее саму, культуру, буквально от этого выворачивает, передумал и не настаивал уже ни на чем.

¹³ Москва. 1990. № 12. С. 190—199. Перепеч.: Мандельштам О. Стихотворения. М., 1991. С. 5—28.

¹⁴ Микелис Ч. Дж. де. К вопросу о крещении Осипа Мандельштама // СМР. Вып. 4/2. М., 2008. С. 370—376. См. также: Кацис Л. Протестантское крещение евреев в Финляндии в 1911—1913 гг. и судьба Осипа Мандельштама // Русская почта. Белград. № 1. 2008. С. 55—76.

¹⁵ См. в статьях 1920—1921 гг. («Слово и культура» и «О природе слова»).

**ОТ ЗИМЫ К ВЕСНЕ:
РАССКАЗЫ В.Т. ШАЛАМОВА
«ШЕРРИ-БРЕНДИ» И «СЕНТЕНЦИЯ»
КАК ЦИКЛ**

Юрию Фрейдину

Он, кажется, дичился умиранья...¹

*Для всех я был предметом торга, спекуляции,
и только в случае Н. Я. — глубокого сочувствия².*

1

С Осипом Мандельштамом Варлама Шаламова свела не жизнь, а смерть.

Нина Владимировна Савоева, та самая «мама черная», докторша, что спасла от смерти самого Шаламова, как-то рассказала ему все то, что знала о смерти Мандельштама. А знала она, в сущности, все, поскольку ей рассказывали об этом надежнейшие из очевидцев — коллеги-врачи из пересыльного лагеря под Владивостоком, на руках у которых 27 декабря 1938 и умер поэт. Годом позже через этот лагерь проезжала и она, молодая и энергичная выпускница мединститута, — по дороге на Колыму, куда она добровольно решила и решилась поехать. Не один Шаламов обязан ей жизнью — она спасла многих, но надо же было так случиться, чтобы весть о банальной смерти гениального дистрофика-поэта легла именно в его, шаламовские, уши!

¹ Из стихотворения «Когда душе и тóропкой и робкой...»

² Из записки В.Т. Шаламова И.П. Сиротинской. Осень 1966 г. // Шаламов. 2004. С. 804.

Душа и перо Шаламова отозвались на это в 1954 году — спустя 15 лет после той смерти на «Второй Речке» — поразительным рассказом «Шерри-бренди». Надежда Яковлевна Мандельштам не права, называя его просто размышлениями вслух о том, что должен был бы чувствовать умирающий в лагере поэт, или *«данью пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе»*³.

Представить себя на месте Мандельштама колымчанину Шаламову было не трудно, — он и пишет о перетекании жизни и смерти друг в друга, об их вхождении в умирающее тело и выхождении из него, — и пишет явно не понаслышке. Но как быть с другими образами из «Шерри-бренди», например с прорицателем из китайской прачечной или с заворачивающими концентрическими линиями-бороздами на подушечках изъеденных табаком пальцев?.. Поэт, еще живой, смотрит на этот дактилоскопический узор как на срезы ствола дерева, уже спиленного и поверженного!.. Простой цеховой солидарности — зэческой и писательской — тут недостаточно, налицо иная глубина проникновения, быть может, в один из самых дорогих сердцу образов, глубина, сделавшая рассказ «Шерри-бренди» великим и одним из лучших у Шаламова.

Рассказ написан как бы в расчете на то, что читатель уже знает героя, как и его поэзию. Былое величье свободных исканий и творческих озарений только усиливается низменными обстоятельствами смерти и способностью мозга обдумывать одну лишь мысль — о еде. Не забывает Шаламов и напомнить об окружающем умирающего поэта барачном социуме — тех самых «гурте и гурьбе», о которых сказано в «Стихах о неизвестном солдате». В концовке рассказа говорится об изобретательности этого социума: двое суток удавалась им выдавать умершего уже поэта за живого и тем самым получать за мертвеца дополнительную пайку. *«Стало быть: он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов»*.

Рассказ «Шерри-бренди» был впервые опубликован спустя 14 лет после написания, в 1968 году, в американском «Новом журнале»⁴. Но еще до этого он гулял в самиздате, а однажды даже прозвучал на родине: 13 мая 1965 года Шаламов прочел его на вечере памяти Осипа Мандельштама на механико-математическом факультете МГУ. Назывался рассказ тогда иначе — «Смерть поэта», а сам Шаламов, по свидетельству А. Гладкова, *«...исступленно, весь раскачиваясь и держа, но отлично говорил...»*⁵.

Вечер вел Эренбург, а в зале сидела Надежда Яковлевна.

³ Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 452.

⁴ НЖ. 1968. Кн. 91. С. 5—8.

⁵ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 105. Л. 47.

Соблазнительно было бы думать, что тогда-то она и познакомилась с Шаламовым, тем более что его писем к ней, датированных ранее июня 1965 года, не существует. Но, судя по стихотворению Шаламова «Карьер известняка»⁶, посвященному Н.Я. Мандельштам и явно относящемуся к началу 1960-х гг., когда она еще металась между университетскими городками и только лето неизменно проводила на дачах (в Тарусе или Верее), они были знакомы уже тогда.

Интенсивное эпистолярное общение началось и впрямь только после этого памятного вечера, в июне. Переписка длилась всего три года, вернее, лета, когда Надежда Яковлевна спасалась от московской духоты на даче. Осенью переписка замирала, а следующим летом возобновлялась...

Остальное время они часто виделись в Москве. О степени их близости говорит и тот факт, что 1966 год — первый Новый год в новой квартире Надежды Яковлевны на Большой Черемушкинской улице — они встречали вместе: кроме них тогда еще были Виктор и Юлия Живовы и Дима Борисов⁷. В эти годы, как вспоминала И.П. Сиротинская, на стене комнаты Варлама Тихоновича висели два портрета — Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны.

Однако писем позднее 1967 года в архиве Шаламова нет, да, собственно, их и не было. Неизбывная потребность видаться или переписываться с Н.Я. к этому времени уже иссякла, они к этому времени уже крепко раздружились — по его, если верить И.П. Сиротинской, инициативе⁸.

«За что Шаламов отлучил меня от ложа и стола?», — шутливо сетовала Н.Я. Впрочем, она знала за что: слишком по-разному они относились к Солженицыну, к славе которого Шаламов, по ее мнению, «ревновал», считая ее незаслуженной⁹.

Мнения же о книге Н.Я. Шаламов не изменил, как и преданности стихам самого Мандельштама. Записи о нем встречаются в дневнике Шаламова и в 1968 году, и позже¹⁰.

2

Но вернемся в весну 1965 года. К этому времени Н.Я. уже закончила свою первую книгу — «Воспоминания». И, надо полагать, уже после

⁶ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 479. Л. 1.

⁷ Сообщено Ю.М. Живовой.

⁸ Сиротинская И.П. Поход за рукописями // СМР. Вып. 4/2, 2007. С. 274—278.

⁹ Мурина. 2001. С. 165.

¹⁰ РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 36. Л.60б—609.

вечера — в мае или июне — дала ее на чтение Варламу Тихоновичу. Шаламова книга буквально потрясла.

О своих впечатлениях от прочитанного он написал подробно и дважды — 29 июня самой Н.Я. Мандельштам, а незадолго до этого — Н.И. Столяровой¹¹, в письме к которой так сформулировал свои мысли:

«В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. Суть оказалась не в том, что это вдова Мандельштама, свято хранившая, доносившая к нам заветы поэта, его затаенные думы, рассказавшая нам горькую правду о его страшной судьбе. Нет, главное не в этом и даже совсем не в этом, хотя и эти задачи выполнены, конечно. В историю нашей общественности входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности. <...> В литературу русскую рукопись Надежды Яковлевны вступает как оригинальное, свежее произведение. Расположение глав необычайно удачное. Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, — в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаются, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете — чудо рождения стихотворения — прослежено здесь удивительным образом. <...>. Что главное здесь, по моему мнению? Это — судьба русской интеллигенции. <...> Рукопись эта — славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, — религии поэзии, религии искусства.

<...> Поздравьте от меня, Наталья Ивановна, Надежду Яковлевну. Ею создан документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий все, что я знаю на русском языке. Польза его огромна»¹².

В письме к самой Надежде Яковлевне он подхватил ее же тезис об особой роли акмеизма в русской поэзии и культуре и зачислил в число акмеистов — ее саму:

«Дорогая Надежда Яковлевна, в ту самую ночь, когда я кончил читать вашу рукопись, я написал о ней большое письмо Наталье Ивановне, вызванное всегдашней моей потребностью немедленной

¹¹ Столярова Наталья Ивановна (1912—1984) — переводчик, литературный секретарь И.Г. Эренбурга, в 1937—1946 гг. сидела в лагере.

¹² Шаламов, 2004. С. 734—740.

и притом письменной «отдачи». Сейчас я кое в чем повторяюсь. <...> Рукопись эта, как, впрочем, и вся ваша жизнь, Надежда Яковлевна, ваша жизнь и жизнь Анны Андреевны, — любопытнейшее явление истории русской поэзии. Это — акмеизм в его принципах, доживший до наших дней, справивший свой полувековой юбилей. Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть. Список начинателей движения напоминает мартиролог. Осип Эмильевич умер на Колыме, Нарбут умер на Колыме, судьба Гумилева известна всем, известно всем и материнское горе Ахматовой. Рукопись эта закрепляет, выводит на свет, оставляет навечно рассказ о трагических судьбах акмеизма в его персонификации. Акмеизм родился, пришел в жизнь в борьбе с символизмом, с загробщиной, с мистикой — за живую жизнь и земной мир. Это обстоятельство, по моему глубокому убеждению, сыграло важнейшую роль в том, что стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Нарбута остались живыми стихами в русской поэзии. Люди, которые писали эти стихи, оставались вполне земными в каждом своем движении, в каждом своем чувстве, несмотря на самые грозные, смертные испытания. Я думаю, что судьба акмеизма есть тема особенная, важнейшая для любого исследователя — для прозаика, для мемуариста, для историка и литературоведа. Большие поэты всегда ищут и находят нравственную опору в своих собственных стихах, в своей поэтической практике. Нравственная опора искалась и вами, и Анной Андреевной, и Осипом Эмильевичем в течение стольких лет — на земле? Эти вопросы у нас достойны большего акцентирования. Это ведь один из главных вопросов общественной морали, личного поведения. Тут не только исконная русская черта — желание пожаловаться, а и желание просить разрешения у высшего начальства по всякому поводу. Это и тот конформизм, именуемый “моральным единством” или “высшей дисциплинированностью общества”. Это и желание написать донос раньше, чем написан на тебя; это и стремление каждого быть каким-то начальником, ощутить себя человеком, причастным государственной силе. Это и желание распорядиться чужой волей, чужой жизнью. И главное всего — трусость, трусость, трусость. Говорят, что на свете хороших людей больше, чем плохих. Возможно. Но на свете 99 процентов трусов, а каждый трус после порции угроз — превращается вовсе не в просто труса. Рукопись отвечает на вопрос — какой самый большой грех? Это — ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. <...> Но велика и сила сопротивления — и эта сила сопротивления, душевная и духовная, чувствуется на каждой странице. У автора рукописи есть религия — это поэзия, искусство. Застрочно, подтекстно; религия без

всякой мистики, вполне земная, своими эстетическими канонами наметившая этические границы, моральные рубежи. Все большие русские поэты, для которых стихи были их судьбой — Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Анненский, Кузмин, Ходасевич, — писали классическими размерами. И у каждого интонация неповторима, чиста — возможности русского классического стиха безграничны»¹³.

Надо сказать, что сделанные Шаламовым различные заметки к «Воспоминаниям» Надежды Мандельштам и еще к некоторым произведениям Мандельштама едва уместились на 76 листах — восьми школьных тетрадях со сквозной пагинацией¹⁴. Интересно, что Шаламов пытался придумать и предложить Надежде Яковлевне варианты названий для ее книги: «Мандельштам распятый», «Акмеизм в аду», «Черная свеча», «Голгофа акмеизма» и т. д. В красную рамку он обвел — «Черная свеча», это, надо полагать, и есть его рекомендация¹⁵.

3

Уже было сказано, что в 1964 году Шаламов посвятил Н.Я. Мандельштам стихотворение. Приведем его бесхитростный текст, созданный словно бы специально для «Тарусских страниц», хотя и усомнимся в том, что Н.Я. могла бы его высоко оценить:

Н.Я. Мандельштам

Карьер известняка
Районного значения
И робкая река
Старинного течения.

Таруса. Русский Рим,
А не поселок дачный,
Мечты усталый дым,
Усталый дым табачный.

¹³ Шаламов, 2004. С. 765—766.

¹⁴ РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 131. Л. 1—76.

¹⁵ Записи о Мандельштаме не редкость и в других тетрадях Шаламова. Вот еще пример (от 20 сентября 1966 г.): «Камень» стоял очень близко к стиху Ахматовой — к «Четкам», к «Белой стае» — по своей структуре, по внутренней наполненности, по словарю, по «простоте». Но стихи «Воронежской тетради» очень далеки от стихов Ахматовой последних лет и тридцатых годов» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Д. 35. Л. 37 об.).

Здесь громки имена
Людей полузабытых,
Здесь сеют семена
Не на могильных плитах.

Не кладбище стихов,
А кладезь животворный,
И — мимо берегов —
Поток реки упорный...

Здесь тени, чье родство
С природой, хлебом, верой,
Живое существо,
А вовсе не химера.

Хранилище стиха,
Предания и долга,
В поэзии Ока
Значительней, чем Волга.

Карьер известняка
Районного значенья
И светлая река
Старинного течения...

Но это было не единственное шаламовское произведение, посвященное Н.Я. Ей же посвящены еще и «Стихи в честь сосны» (*«Я откровенней, чем с женой, с лесной красавицей иной...»*) и рассказ «Сентенция» из цикла «Левый берег», написанный в 1965 году. Лирический герой рассказа — доходяга, едва справляющийся с кипячением воды в титане. Его исходное состояние — почти такое же, как и у Поэта из «Шерри-бренди». Но вот однажды он вспомнил слово из своей прежней жизни — слово «сентенция», и он кричит его радостно, что есть сил, — даже еще не вспомнив его значения. С этого слова — единственного — все и началось: сердце з/к уже вытравивает, постепенно возвращаются и другие воспоминания, и вот он уже готов к тому, чтобы бежать на звук патефона, расставленного на пне, — и слушать, и слышать музыку!..

Посвящение Н.Я. Мандельштам не случайно — ее мемуары, несомненно, служили для Шаламова таким же верным признаком медленного, но оттаивания и выздоравливания страны, ее, процитируем «Сентенцию», неудержимого *«возвращения в тот мир, откуда... не было возврата»*.

2 сентября 1965 года уже сама Н.Я. Мандельштам писала В.Т. Шаламову по поводу этого рассказа:

«Дорогой Варлам Тихонович! Я еще не кричу “сентенция”, но период зависти уже прошел. <...> ...Ося хорошо обеспечил меня от внешнего (вдовьего) успеха. Он заранее принял меры, чтобы ни «вечеров памяти», ни знаменательных дат у него не было. Вы напрасно поэтому беспокоились, что мне бросится молоко в голову, и я зашуршу вдовьями ризами. Единственное, что я знаю, это — что стихи хороши. <...> Рассказ по каждой детали, по каждому слову — поразительный. Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни. Ваш труд углубляется и уходит с поверхности жизни в самые ее глубины. <...> В этом рассказе присутствует более, чем где-либо, ваш отец, потому что все — сила и правда — должно быть от него, от детства, от дома. Дураки Оттенны что-то пищали, когда мы у них были, что ко мне ходят “поклонники”. А я подумала, что и перед вами, и перед Володей Вейсбергом, с которыми я пришла к ним, я всегда буду стоять на задних лапах, потому что вы оба — он в живописи, а вы в слове и мысли — достигли тех глубин, куда я могу проникнуть только вслед за вами, когда вы лучиком освещаете мне путь. Я горжусь всем, что вы делаете, особенно последними рассказами, особенно тем, который я уже почти знаю наизусть. Сентенция! Н. Мандельштам.

1) По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века. <...>¹⁶.

4

Оба «мандельштамовских» рассказа Шаламова — и «Шерри-бренди», и «Сентенция» — как бы навечно закреплены за «своими» книгами — «Колымскими рассказами» и «Левым берегом». И тем не менее они невольно образуют своеобразный цикл, или диптих. И дело, конечно же, не в том, что один посвящен Осипу, а другой — Надежде Мандельштам.

Их связь и их соотношение гораздо глубже — оба начинаются с описания одного и того же, на первый взгляд, физического состояния — доходяжничества, состояния между жизнью и смертью. Но если равнодушные и апатия, в которых пребывает умирающий Поэт, как бы

¹⁶ Шаламов, 2004. С. 778—779.

гарантируют неминуемость и даже близость его смерти, то изначальная злость героя «Сентенции» и явилась той почвой, в которой медленно, но неуклонно будет прорасти совершенно иное, быть может, даже прямо противоположное тому, что в «Шерри-бренди», состояние.

Слово *почва* здесь дважды уместно: скованной и промерзлой атмосфере «Шерри-бренди», не оставляющей иного выбора, кроме как честно умереть и попасть на верх штабеля трупов, сложенных возле барака, противостоит безотчетное, но оттого не менее властное от-тепельное стремление героя «Сентенции» как бы заново прорасти в себе зерно возрождения.

Связь и соотношение между ними и есть самое интересное: это не подчеркивание разницы характеров Осипа и Надежды Мандельштам или з/к Мандельштама и з/к Шаламова, нет!

Это скорее соотношение целых эпох, напластование поколений, — циклическое, если угодно, соотношение смерти и жизни, а точнее, сменяющих друг друга фаз, или сезонов — в данном случае это зима и весна.

Человек умирает. Песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут...

(«Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...», 1920)

КАК И ГДЕ ИЗДАВАЛСЯ МАНДЕЛЬШТАМ? (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ)

Иве Делекторской, Лиле Брусиловской и Алине Мироновой

1

Мандельштамовское общество и Кабинет мандельштамоведения Научной библиотеки РГГУ на протяжении многих лет ведут сбор текущей библиографии, отражающей как издания произведений О.Э. Мандельштама, так и исследований, посвященные его жизни и творчеству на русском и иностранных языках, издающихся в России и за рубежом, в том числе в периодической печати. Публикация накопленного материала могла бы существенно обогатить корпус знаний о современном мандельштамоведении.

Получению промежуточного результата нашей работы поспособствовала помощь со стороны Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, частично поддержавшего нашу заявку на выполнение проекта под названием «Осип Мандельштам и „Тамиздат“: к анализу роли русскоязычных издательств и периодики Франции и других западных стран в публикации и изучении наследия О.Э. Мандельштама». Его главной целью было создание научной базы библиографических данных (ББД) по зарубежной мандельштамиане (тамиздату) с последующим ее анализом и написанием на ее основе авторской или коллективной монографии. Подчеркнем, что проект охватывал только русскоязычную мандельштамиану.

2

Фактическое начало проекта восходит еще к в 1993—1994 гг., когда пишущий эти строки и покойная Марина Соколова, в то

время ученый секретарь МО, приступили к формированию первых погодичных перечней текущей библиографии. Эта работа получила дополнительный импульс в рамках работы над «Мандельштамовской энциклопедией».

С той поры в МО сложилась традиция: ведения текущего библиографического учета, чем занимаются ученые секретари. Поэтому вклад М. Соколовой, И. Делекторской, М. Воробьевой, Д. Мамедовой, О. Шамфаровой, Л. Брусиловской и А. Мироновой невозможно переоценить. Мониторинг охватывал информационные поступления всех видов — как результаты целенаправленного поиска в интернет-каталогах, библиотеках и архивах, так и библиографические «подарки», которыми с нами щедро и систематически делились члены и друзья МО, в частности, Л. Кацис, О. Лекманов, А. Еськова, П. Поберезкина, М. Сальман, Ю. Фрейдин, С. Шиндин и многие другие. С. Василенко, Н. Поболь и пишущий эти строки «специализировались» на поиске и проверках библиографических данных в библиотеках и архивах и на изготовлении необходимых копий.

Основная трудность и основной объем работы заключались в объединении текущих перечней с уже имеющимися — и, заметим, немалыми — библиографическими «заделами» по Мандельштаму. Колоссальным подспорьем в этой работе стали самая первая библиография, составленная Б.А. Филипповым и Г.П. Струве еще в 1960-е и опубликованная ими в томе 3-м Собрания сочинений О. Мандельштама, вышедшем в Вашингтоне в 1969 году. В конце 1980-х — в 1990-х гг. в СССР и в России — и в первую очередь А. Мецем с соавторами — был опубликован целый ряд серьезных библиографий, посвященных О.Э. Мандельштаму¹.

Все эти библиографии имеют лакуны, свои индивидуальные особенности, свои сильные и слабые стороны. Так, обе библиографии под редакцией А. Меца в совокупности являются, бесспорно, самыми фундаментальными из опубликованных. Существенным их недостатком являлись «недоучет» эмигрантских изданий, запутанность общей композиции и глухота частных описаний. Работать с ними, несмотря на именные указатели, крайне неудобно, поскольку единицей учета

¹ Библиография [прозы О.Э. Мандельштама] // О. Мандельштам. Слово и культура: О поэзии. Разговор о Данте. Статьи, рецензии / Сост. П. Нерлер. М.: Советский писатель. 1987. С. 313—318. Осип Эмильевич Мандельштам / Сост. Н.Г. Захаренко, А.Г. Мец // Русские советские писатели. Поэты. М., 1990. Т. 13. С. 116—207; Библиография посмертных публикаций О.Э. Мандельштама / Сост. А. Никитаев // *Слово и судьба*, 1991. С. 460—507; О.Э. Мандельштам. Библиография / Сост.: Т.В. Котова, Г.А. Мамонтов, А.Г. Мец // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома 1993. Материалы об О.Э. Мандельштаме. — СПб.: Академический проект, 1997. С. 239—394.

здесь является не индивидуально-авторская публикация, а издательская: так сказать, мандельштамовский блок, материалы в котором объединены единством места публикации (например, номер журнала, посвященный поэту), но составляющие этот блок материалы не разнесены на авторские единицы.

Иными словами, этот этап потребовал выработки единых критериев индивидуального библиографического описания, разработки общих принципов композиции библиографии и синтеза всех имеющихся или доступных данных текущего учета с разработками МО. Именно эта часть труда и была особенно трудоемкой и кропотливой: она полностью легла на плечи С. Василенко и П. Нерлера.

Тут следует сделать несколько дополнительных оговорок о том, что именно включено в наши рабочие перечни, а что не включено. Ядро массива составляют научные или научно-популярные статьи, полностью или существенной своей частью посвященные О.Э. Мандельштаму, мемуары о поэте, произведения, ему посвященные (стихи и рассказы), различные анонсы и информационные заметки о посвященных ему мероприятиях.

Спасение творческого наследия Мандельштама и его посмертная эдиционная судьба совершенно неотрывны от Н.Я. Мандельштам, поэтому в перечни включены не только ее публикации об О.М., но и аналогичные материалы о ней самой. В охваченный анализом массив включены и интернет-публикации, хотя, несомненно, они требуют внесения определенных корректив в методику своего их описания².

3

В 2009—2010 г. в рамках упомянутого выше проекта работы велись в целом ряде крупнейших библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа. Поиск велся и в интернете, в том числе и с помощью таких электронных ресурсов, как ББД ИНИОН, EastView и Интегрум.

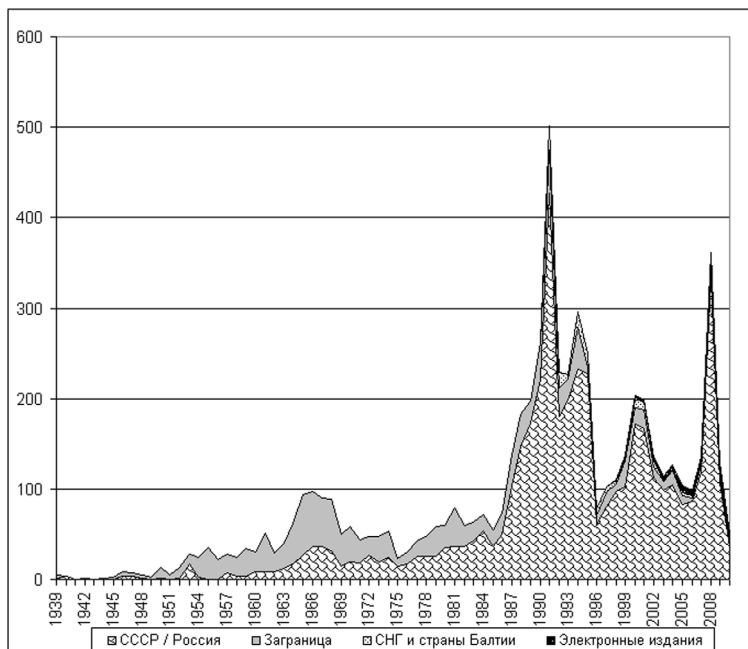
Результирующими обсчетами, однако, охвачен пока что не весь массив ББД, а его наиболее трудная и объемная часть — блок посмертных публикаций об О.Э. Мандельштаме. Именно этот блок релевантен для анализа доли тамиздата в посмертной издательской судьбе О.Э. Мандельштама и его роли в осмыслении творчества поэта.

Результаты соответствующих расчетов можно видеть на диаграммах 1 и 2.

² В то же время для некоторого количества уже выявленных публикаций встретились затруднения с установлением мест их издания: такие публикации временно — вплоть до установления этих сведений — не учтены в расчетах.

Диаграмма 1

**Публикации об О.Э. Мандельштаме на русском языке:
количественный аспект (1939—2010, ед.)**

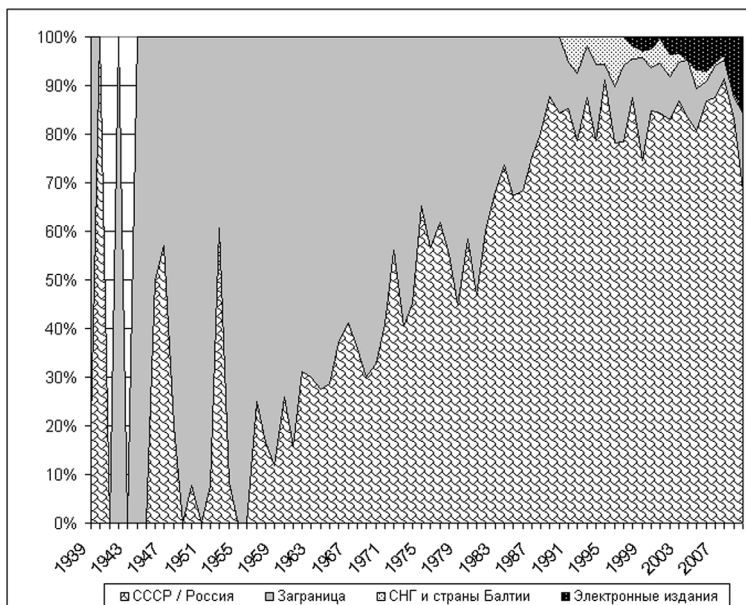


Из 1 528 публикаций о Мандельштаме, вышедших в таможне дальнего зарубежья, 660, или 43 %, вышли во Франции, 405, или 27 %, — в США и 203, или 13 %, — в Германии. Далее следуют Нидерланды (67), Израиль (33), Англия (28), Австрия (10), Италия (9), Польша (7), Бельгия и Венгрия (по 5), Канада (4), Аргентина (3), Швеция, Сербия, Швейцария и Финляндия (по 2), Австралия, Хорватия, Чехословакия и Япония (по 1).

Общее количество учтенных публикаций об О.Э. Мандельштаме на русском языке, увидевших в свет в 62-летнем интервале между 1939 и 2010 гг., составило 6 170 единиц. В 1940-е гг. число публикаций о Мандельштаме не превышало десятка в год, в 1950-е гг. интенсивность возросла, но и в это 10-летие число ежегодных публикаций оставалось небольшим и не превышало 50. В четыре года с 1965 по 1968 гг. число публикаций за год вплотную приблизилось к 100, что, по всей видимости, связано с бурным рецензированием первых томов вашингтонского Собрания сочинений поэта. Затем количество публикаций снова падает, но, начиная с 1979 года, не опускается ниже

Диаграмма 2

Публикации об О.Э.Мандельштаме на русском языке:
структурный аспект (1939—2010, %)



отметки в 50 единиц. Резкий взлет кривой публикаций начинается в 1987 году — прямое отражение горбачевской гласности: 1987 — 137 публикаций, 1988 — 183, 1989 — 198, 1990 — 262 и, наконец, 1991 — год столетия Мандельштам — 501 публикация: абсолютный рекорд!

Затем резкое падение и еще 4 года, державшиеся в интервале между 200 и 300 публикациями в год. В 1996 году число публикаций вновь опустилось ниже уровня в 100 единиц — явный признак «усталости» печатных медиа от Мандельштама (любопытно, что второй точно такой же провал был отмечен в 2006 году, то есть спустя ровно десять лет). После такого спада начался новый, но куда менее мощный подъем, пиком которого стал 2000 год (203 единицы). Далее спуск и ежегодное число публикаций, близкое к сотне единиц, с одним необычайно резким исключением — в 2008 году число публикаций — благодаря годовщине смерти и открытию памятников поэту в Воронеже и в Москве — составило 362!

Из 6 170 публикаций 4 423, или 71,7 % вышли в СССР или в России, 1 662, или 26,9 % — за границей и 85, или 1,4 % — в интернете. Однако если считать по количеству лет, когда число публикаций

«там» превосходило число публикаций «здесь», то, по состоянию на 2010 год, первенство с 31 выигрышем и 1 «ничьей» из 60 «зачетных»³ лет и сегодня, в 2010 году, остается пока за границей! За период с 1939 по 1974 гг. советские публикации опережали западные всего 4 раза (в 1940, 1947, 1953 и 1972 гг., в 1946 году была ничья). После этого пальма первенства перешла к СССР, но еще два раза — в 1979 и 1981 гг. — «побеждал» тамиздат.

Говоря о советско-российских публикациях, нельзя не отметить, что 62 % из них вышло в Москве. Подавляющее большинство из числа 1 662 заграничных публикаций о Мандельштаме 1 528, или подавляющее большинство, вышли в т. н. «дальнем зарубежье», и лишь 134 — в «ближнем», то есть в странах СНГ и Балтии после 1991 года. При этом надо, конечно, помнить, что последние стали самостоятельными игроками на этом поле только в 1991 году, но и на протяжении последующих 20 лет в 19 случаях в очном поединке побеждало дальнее зарубежье, и только 1 раз — в 1995 году — ближнее.

Начиная с 1998 года, совершенно новым «игроком» на библиографическом поле мандельштамоведения стал «Сетьиздат», то есть интернет-публикации. С середины 2000-х гг. их число уже стало соизмеримым с годичным количеством публикаций за границей.

Таковы, вкратце, самые общие итоги анализа потока публикаций о Мандельштаме.

Более детальный и тщательный анализ еще предстоит: так, например, очень интересно рассмотреть другие внутренние структуры, скажем, соотношение русских эмигрантов и западных славистов в среди авторов публикаций тамиздата и др. Но и из изложенного видно, что на протяжении долгих десятилетий именно тамиздат, и прежде всего американский и французский, являлся не только гарантом знакомства читателей с оригинальным творчеством самого Мандельштама, но и научной средой, продвигавшей вперед и мандельштамоведение во всех его проявлениях.

³ Из них дважды — в 1941 и 1943 гг. — не было отмечено ни одной публикации о Мандельштаме.

НА ПУТИ К СОЦИОЛОГИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА: ИНТЕГРУМ-АНАЛИЗ ЕГО УПОМИНАЕМОСТИ И ЦИТАТНОСТИ В РОССИЙСКИХ СМИ¹

Александр Смольянский

Новый виток в гонке вооружений гуманитария

Информационная система Integrum — это служба баз данных, состоящая из крупнейшей электронной коллекции русскоязычных документов и информационно-поисковой системы для их обработки. Это как бы гигантская библиотека, в которой все под рукой и всплывает по первому требованию.

Библиотека бесплатная. Получив или приобретя то или иное информационное пополнение, «Интегрум» обходится с ним далее как с товаром и ведет себя как комиссионный или букинистический онлайн-магазин, работающий от процентов. Поставщик информации получает свою долю только в том случае, если его информация была разыскана и приобретена пользователем. Вместе с тем сравнение не-много хромает, если учесть, что приобретенный у «Интегрума» товар уже оцифрован, проиндексирован и встроен в определенный корпус отобранных текстов, то есть приведен «Интегрумом», так сказать, в товарный вид.

На конец 2013 года в «Интегруме» имелось почти 8000 баз данных, сведенных в 37 тематических групп и состоящих из примерно 500 миллионов документов. Среди них — полные архивы тысяч СМИ, большинство из которых начинается в первой половине 1990-х гг. Базы «Интегрума» обновляются ежедневно, увеличиваясь в среднем на два

¹ Эта статья написана на основе расчетов, выполненных А. Смольянским.

источника и на 40 тысяч документов в день. Общий объем документов уже превысил один терабайт (или 2^{40} байт!).

«Интегрум» располагает своего рода «дышащим» конкордансом, или словарем из 10.000 наиболее частотных слов русского языка со специальными обучающими функциями².

«Интегрум» имеет весьма совершенную многофункциональную информационно-поисковую систему «Артефакт», обеспечивающую эффективную навигацию в подопечном себе информационном пространстве. Это несравнимо более продвинутый инструментарий, чем, скажем, информационно-поисковые машины Интернета, вслепую шурующие в мировом океане информационного мусора. И, хотя поиск в Интернете — процедура трудоемкая и испытание для терпения, итог поиска нередко неутешителен: гора ненужного — и кучка искомого, при этом без гарантии качества или хотя бы полноты добытой информации. Не дает Интернет и доступа в полнотекстовые архивы СМИ.

«Интегрум» же, в отличие от Интернета, умеет прицеливаться, то есть ограничивать область изначального поиска, он работает не в безбрежном хаосе, а в хорошо структурированном и разгороженном пространстве сообщающихся друг с другом массивов и систем данных.

Система «Артефакт» многофункциональна и располагает разветвленным языком запросов со сложным синтаксисом, осуществляет поиск слов с запутанной морфологией и даже с опечатками, поиск дат и людей, сортировку результатов по разным критериям и т. п. Отсюда, кстати, ясно, что половина успеха при пользовании «Интегрумом» — это грамотно поставленный запрос.

«Интегрум» позволяет строить гипотезы не на субъективной оценке нескольких случайно обнаруженных фактов, а на основе анализа колоссального русскоязычного материала. Так что применение «Интегрума» — это новый виток в «гонке вооружений» в сфере научной гуманитарной мысли.

В считанные секунды на монитор выводится любой документ, отражающий всю палитру российских СМИ, в том числе материалы множества провинциальных изданий, знакомство с которыми без «Интегрума» было бы просто весьма затруднено, чтобы не сказать невозможно. При этом гарантируется «качество» каждого выхваченного по запросу документа — его аутентичность и репрезентативность, что не может не сказываться и на обоснованности выводов и качестве конечного научного результата.

Осями, вокруг которых крутится «Интегрум», являются Россия и русский язык. Все его базы данных так или иначе связаны с ними,

² См.: *Integrum: точные методы и гуманитарные науки* / Ред.-сост. г. Никипорец-Такигава. Вступ. сл.: В. В. Иванов. Предисл. А.Я. Шайкевич. М.: Летний сад, 2006. 430 с.

что делает его самой крупной на сегодня электронной коллекцией информации о России вообще.

В целом интегрум-анализ — инструмент широкого профиля. Он вполне мог бы явиться инструментом консенсусного закрепления неологизмов в живом словаре. Есть и обратная задача — проверка на вшивость существующего словаря, определение бездействующих слов, даже таких красивых, как слово «шерешь», которым гордился Николай Асеев и даже хвастался им.

Изначально «Интегрум» не предназначался для академической науки, тем более для гуманитариев. Его адресатом были совсем другие пользователи — отчасти, компьютерно более продвинутые, но главное — более состоятельные, так как годовая лицензия на «Интегрум» — удовольствие дорогое!³ Ее владельцы, в основном, из числа крупных компаний, банков и информационных агентств.

Первопроходцами из гуманитариев стали филологи. Стремление «Интегрума» сохранять любой русскоязычный документ (и в этом «Интегрум» на «комиссионку» уже не похож) сулит им новые и дополнительные перспективы.

Первые попытки применения «Интегрума» в филологии и в других гуманитарных областях все же напоминали стрельбу из пушки по воробьям: они были достаточно примитивны и сводились к поиску и анализу отдельных примеров, благо их нахождение с помощью «Интегрума» и даже подбор определенной совокупности с самого начала были не слишком трудным делом.

Со временем «Интегрум» стал создавать все новые и новые инструменты для автоматической обработки полученных данных, в частности, специальные сервисы «Сравнительной и относительной упоминаемости (статистики)» и «Частотный словарь языка СМИ». С их помощью доступной стала фиксация первого упоминания исследуемого объекта в базах «Интегрума» или построения различных нормированных рядов опирающиеся на довольно сложные запросы и сделанные по ним расчеты.

Рассчитываться могут, например: а) абсолютное количество документов, в которых объект встречается в каждой заданной временной точке, б) процентное отношение документов, в которых объект встречается, к общему количеству документов, которые содержатся в «Интегруме» в каждой заданной временной точке, в) процентное отношение документов, в которых объект встречается в одном контексте, к количеству документов, в которых он встречается в другом контексте, г) процентное отношение количества документов, в которых объект встречается в одном контексте, к количеству документов,

³ Впрочем, любой может при необходимости приобрести кусочек «Интегрума» *on line* на ограниченную сумму.

в которых он встречается в любом контексте, д) процентное отношение количества документов, в которых упоминается один объект, к количеству документов, в которых упоминается другой объект и т. п.

Появление этих и других сервисов, как бы специально «заточенных» под нужды аналитики (в том числе и социального или гуманитарного профиля), окончательно убедило ученых в целесообразности освоения и полезности практического применения интегрум-анализа.

Серьезным ограничителем, конечно же, является платность «Интегрума» как ресурса. Поэтому необходимость или предпочтительность использования «Интегрума» надо всякий раз серьезно и конкретно обосновывать. Тем не менее в настоящее время все большее количество университетов (иногда вскладчину) приобретает кампусные лицензии, в результате чего количество пользователей и ценителей «Интегрума» среди ученых-гуманитариев неизменно растет.

Вместе с тем освоение «Интегрума» все еще затруднено тем, что способы применения его баз данных и инструментов систематически еще нигде не были описаны. Назрела необходимость не только в консолидации опыта ученых, активно пользующихся «Интегрумом», но и в создании своего рода «методички» по его применению, а главное — в определении границ его возможностей и места в ряду инструментов точного гуманитарного анализа. Иными словами — в выявлении и демонстрации тех типов научных задач, чьи решения стали возможными благодаря использованию «Интегрума».

Мандельштам и интегрум-анализ: социология Осипа Эмильевича

Осип Мандельштам проложил одну из магистральных линий русской поэзии XX века и оказал колоссальное влияние на всю русскую литературу 2-й половины XX века.

На интуитивном уровне поэзия Мандельштама обладает, — как бы в качестве побочного эффекта, — явно повышенной афористичностью и, как следствие, высокой цитируемостью (как явной, так и скрытой).

Разумеется, это влияние отчетливо прослеживается в литературной сфере — прежде всего в творчестве многих десятков поэтов, среди которых как малоизвестные авторы, так и Нобелевские лауреаты. Но влияние Мандельштама на потомков к этому не сводится и этим не ограничивается.

Многие тексты поэта, такие, например, как *«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»*, *«Мы живем, под собою не чуя страны...»*, *«Сохрани мою речь навсегда...»*, *«Пространством и временем полный...»*, подобно грибоедовскому *«Горю от ума»*, уже давно «разошлись на цитаты» и вошли в широкий словарно-языковой обиход.

Нас будут интересовать преимущественно случаи внелитературного употребления мандельштамовских текстов, особенности их усвоения в медиасфере, то есть в актуальной текущей журналистике, естественно-научной периодике и, возможно, в других словесных пластах. По возможности, будут учитываться как явные, так и скрытые цитаты, парафразы и коннотации, особенности их употребления внутри статей и в статейных заголовках.

Эмпирическим полигоном и одновременно идеальным инструментом, с помощью которого производился собственно анализ, был *Integrum* — система, которую без преувеличения можно уподобить расширяющейся информационной галактике.

В биографии самой этой системы есть пересечения и с событиями посмертной мандельштамианы. А именно: начало полноформатной деятельности «Интегрума» пришлось на 1991 год⁴, точнее, это точка отсчета ретроспективы его основных информационных баз, что совпало со столетним юбилеем Осипа Мандельштама, пришедшимся на самое начало года (на 15 января).

Собственно говоря, Мандельштам для «Интегрума» — нетрудный орешек, но авторитетного корпуса текстов Мандельштама до недавнего времени в него так и не было заведено.

Уже говорилось, что интегрум-анализ особенно хорошо чувствует себя в социологии и политологии.

Что ж, поговорим тогда о социологии Мандельштама.

Упоминаемость

Обратимся к его совокупной упоминаемости в постсоветской медиасфере⁵. А чтобы Мандельштаму не было скучно, подберем ему кампанию и, по возможности, неплохую: Ахматова, Бродский, Есенин, Маяковский, Пастернак, Цветаева и Ходасевич. Конечно, тут нет Блока, нет Белого — поэтов того же ряда, что и названные, но уж не судите слишком строго.

Маленький методический нюанс. Практически у каждого поэта есть омонимическая нагрузка — однофамильцы, родственники, пароходы, кинофильмы и другие «источники информационных шумов», общее влияние которых на уровень частотности может быть весьма и весьма значительным.

⁴ «Интегрум» стал реально работать на рынке с 1995 г. Архивов по периоду до 1993 г. очень мало, а архивы за 1990 и 1991 гг. есть лишь по единичным изданиям. Поэтому качество данных за этот период уступает более поздним датам.

⁵ В данном случае учитывались только центральная и региональная периодика, а также теле- и радиопередачи.

Интегрум позволяет выявлять и анализировать эту омонимическую компоненту с любой степенью дробности, но в этот нюанс мы не станем здесь углубляться.

Важно подчеркнуть, что всякий раз мы оперируем множествами, о происхождении и структуре которых имеем ясное представление

Итак, ранговая последовательность тут такова:

Таблица 1

**Упомятаемость восьми русских поэтов
в системообразующих СМИ (1991—2012 гг.)***

	А.А.	И.Б.	С.Е.	О.М.	В.М.	Б.П.	В.Х.	М.Ц.
1991	5—8	1—2	4	5—8	1—2	3	5—8	5—8
1993	3—7	3—7	3—7	3—7	1	3—7	8	2
1996	4	3	5	6	1	2	8	7
1998	3	4—6	4—6	7	1	2	8	4—6
2001	6	3	4—5	7	1	4—5	8	2
2003	4	2—3	2—3	7	1	5	8	6
2006	4—5	3	2	7	1	4—5	8	6
2008	4—5	3	2	7	1	4—5	8	6
2011	4	3	2	7	1	5	8	6
2012	3—5	3—5	2	7	1	3—5	8	6

* Учитывались: центральная и региональная пресса, ИТАР-ТАСС и РИА-Новости, интернет-издания, теле— и радиовещание.

Условные обозначения: А.А. — А. Ахматова; И.Б. — И. Бродский; С.Е. — С. Есенин; О.М. — О. Мандельштам; В.М. — В. Маяковский; Б.П. — Б. Пастернак; В.Х. — В. Ходасевич; М.Ц. — М. Цветаева.

Как видно из табл. 1 и рис. 1а и 1 б (см. на вклейке), популярность поэтов в базовых СМИ — вещь не слишком стабильная. Тем не менее просматривается следующее деление внутри этой восьмерки: выделяются явный «лидер» (Маяковский, оторвавшийся от остальных чуть ли не вдвое), шестерка «середняков» (Есенин, Бродский, Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам) и явный «аутсайдер» — Ходасевич. Мандельштам, хотя и «закрепился» на предпоследнем месте, но по уровню показателей, совсем ненамного отстоит от остальных троих. Интересно, что в «середняках» оказались все четверо представителей той самой «квадриги» поэтов, что определяла читательские вкусы шестидесятников, — Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам. Как интересно и то, что лишь одному из них — Пастернаку и только в первой половине 1990-х гг. — доводилось быть вторым по популяр-

ности в этом ряду, после него «вторым» некоторое время был Бродский, а в последнее время — Есенин.

Интересно, что в 1992—1993 гг. семеро из восьми (исключением был, разумеется, Маяковский) были примерно равнопопулярны, но на довольно низком уровне. Затем все, кроме Ходасевича, несколько поднялись и внутри шестерки стали происходить упомянутые выше перестановки.

Примечательно, что та же макроструктурность наблюдается и в тех случаях, когда мы расщепляем тестируемую медиасреду на составные части.

Влияние юбилеев не слишком заметно — ни в 1991, ни в 1996, ни в 2001 гг. Да и про 1996 год утверждать что-либо определенное и приписывать этот успех юбилею не просто: в тот год небольшой или значительный подъем испытали буквально все, включая Ходасевича.

А ргopos Ходасевич. Его стабильное последнее место в этом и только этом ряду — отнюдь не последнее в русской поэзии!

Единственный поэт, все-таки совершивший очевидное восхождение, — это Есенин: с 0,13 до 0,26⁶. Единственный не растерявший высоту — Маяковский: 0,43. Но у него было труднообъяснимое падение в 1994 году — до 0,17. Остальные же не выдержали, запыхались и поотстали.

В целом траектории поэтов «коренной квадриги» Серебряного века — Мандельштама, Пастернака, Ахматовой и Цветаевой — довольно близки друг к другу: крутое падение в 1992—1994, рост в 1995—1996 и медленное полупадение-полупарение в последующем. Ахматова обогнала Мандельштама уже в 1993, а Цветаева — в 1994 году.

Разительнее всего сама крутизна падения цитируемости Мандельштама — с 0,49 до 0,03, — то есть в 18 раз! Думается, с ним произошло то, что и Ходасевичем, — он вошел в свои берега, и стадионы на его имя ни сегодня, ни завтра уже не созовешь.

Как к этому относиться: как к «слава богу» или как «к сожалению»?

На этот вопрос, слава богу, можно и не отвечать. По крайней мере здесь.

Упоминаемость в разных сегментах медиасферы

Интересно сопоставить «вес» и его динамику для каждого из восьмерки поэтов в разных информационных пространствах⁷. При

⁶ Хорошие показатели Есенина в 2005 г., вероятно, связаны с выходом сериала «Есенин».

⁷ Здесь мы ограничились лишь последними девятью годами (2004—2012 гг.).

сравнении видно, что «траектории» для разных пространств отличаются очень сильно.

Так, в сегменте центральной прессы (рис. 2) преимущество Маяковского еще безоговорочней, зато Есенин съезжает со 2-го на 4-е место, пропуская вперед Бродского и Пастернака. Мандельштам — все на том же стабильном 7-м месте, но его отставание здесь минимально.

А вот в сегменте региональной прессы (рис. 3) Есенин дает бой Маяковскому и один раз даже настигает его. Третьей идет Ахматова, которую в 2012 году неожиданно догнала Цветаева. Мандельштам — все так же на 7-м месте.

В сегменте радиоэфира (рис. 4) преимущество Маяковского не столь велико. Но при этом Есенин скатывается до 6—7-го места, пропуская вперед не только Бродского и Пастернака, но и Ахматову (спорящую с Пастернаком за 3-е место) и Цветаеву. Мандельштам лишь в половине случаев — на 7-м месте, в остальных — на 6-м и даже на 5-м.

В интернет-изданиях (рис. 5) Бродский и Есенин попеременно отнимают друг у друга 2-е место, а Мандельштам, начиная с 2005 года, — все на том же стабильном 7-м месте.

Любопытные результаты можно получить, если сегментировать еще мельче, например, по отдельным органам СМИ, в частности, газетам. Так, в «Коммерсанте-Daily» Маяковский доминирует, вторым, во главе плотной группы, идет Бродский, а с Мандельштамом за 7-е место иногда конкурирует и Ходасевич. А в «Красной звезде» в трети дат идущий 2-м Есенин догоняет даже Маяковского. В «Литературной газете» Маяковский впереди, но никакого его доминирования нет; в отдельные годы в лидеры выбивались то Есенин, то Пастернак, то даже Ахматова! Мандельштам борется за 6-е место, но с непривычным соперником — с Бродским.

Цитатность

Цитатность — это встречаемость (частотность) отдельных цитат из того или иного автора. Анализ таблицы 2 говорит о сравнительной цитатности мандельштамовских стихов в медиасфере. Лишь немногие фразы или отдельные выражения выказывают относительную «конкурентоспособность» на этом интеллектуальном «рынке».

Например: «*под собою не чуя страны...*» или «*кремлевский горец*» из того же стихотворения, но при этом политическая лирика явно доминирует в этом внутримандельштамовском ряду (далее следуют

«век-волкодав» и «руки брадобрея»). Иные, чисто художественные, цитаты, запомнившиеся современникам поэта, так и не вошли в медийное сознание (от силы 2—4 упоминания в год).

Интересно, что этот вывод не распространяем на других поэтов: лирические цитаты из Маяковского, Ахматовой и Пастернака оказались весьма и весьма популярными, то же наверняка можно сказать и о тютчевском «уме и аршине».

Таблица 2

**Встречаемость отдельных цитат
из О. Мандельштама и др. поэтов, раз (1992—2007 гг.)***

Цитата	Всего	В т. ч. по сегментам СМИ:		
		Центр	Регионы	Интернет
Из О. Мандельштама:				
«Под собою не чужа страны...»	1068	439	288	138
«Под собою не чужа страны...»**	664	262	209	88
«кремлевский горец»	856	368	209	133
«век-волкодав»	523	252	148	51
«век-волкодав»**	411	189	127	42
«руки брадобрея»	255	124	54	38
«В Петербурге мы сойдемся снова...»	61	26	23	5
«Россия, Лета, Лорелея...»	57	33	2	16
«Слово, в музыку вернись...»	54	27	12	6
«Глубокий обморок сирени...»	41	10	19	7
«Красота — не прихоть полубога...»	41	20	11	4
Из В. Маяковского:				
«Если звезды зажигают...»	1899	494	732	240
Из Ф. Тютчева:				
«Умом Россию не понять...»	1630	786	435	174
Из А. Ахматовой:				
«Когда б вы знали, из какого сора...»	1217	456	453	144
Из Б. Пастернака:				
«Быть знаменитым некрасиво...»	497	244	152	41
«Свеча горела на столе...»	471	119	241	32

Окончание табл. 2

Из М. Цветаевой:				
«Искусство при свете совести»	50	31	13	1

* Всего учитывалось 5204 источника.

** Без упоминания Мандельштама в двух смежных предложениях.

Один интересный методический момент. Большинство цитат неотрывны от своего автора и от его имени, но в некоторых случаях они существуют как бы и в отрыве от него. Так, около 1/3 упоминаний *«под собою не чужа страны»* и 1/4 *«веков-волкодавов»* встретились без того, чтобы имя Мандельштама всплыло в пространстве хотя бы двух фраз от места своего упоминания.

За это время «кремлевский горец» был зафиксирован 533 раза в 231 публикации. Больше всего таких публикаций — в «Московском комсомольце» (10), «Новом мире» (9), «Новой газете» и «Октябре» (по 8), «Новом времени» и «Континенте» (по 6). А вот в «Красной звезде» ни одной броской цитаты из Мандельштама вообще не было.

Максимальная цитируемость ахматовской строки — *«Когда бы вы знали, из какого сора...»* — примерно такая же: 13 («Российская газета»). А вот цитатный рейтинг тютчевского *«Умом Россию не понять...»* вчетверо выше (в том же «Московском комсомольце» — 40 раз)!

Интересно, что такая, например, цитата, как «Мастерица виноватых взоров», пошла по рукам не только в отрыве от автора, не только в отрыве от правил цитатности (то есть без кавычек), но и в отрыве от адресата — Марии Петровых. Таких цитат несколько, и я приведу только одну: *«Мастерица виноватых взоров и маленьких бытовых трагедий, Улицкая протащила контрабандой в свою классическую прозу совершенно психоделический кусок»*⁸. Но ведь кроме цитат есть еще и парафразы!

Примечательна инструментализация и трансформируемость строчки, хотя бы и вырванной из контекста. *«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»*. Цитата сама по себе довольно популярна, — особенно в силу своей, как выясняется, универсальности и применимости к чему угодно, а не только к городу на Неве.

Первой этим воспользовалась Алла Пугачева, однако не географически, а гендерно: первую строчку она переделала на свой, на девичий лад: *«Я вернулась в мой город...»*.

⁸ «Казус», который снял Юрий Грымов // Тихоокеанская звезда. Хабаровск. 2005. 2 декабря).

А так — к чему эти «знакомые слезы», кроме Ленинграда и Питера, только не прилагались: и к Красногвардейску в Крыму, и к Красноярску, и даже к Парижу (причем в случае Собчака!).

Забавная аберрация про Путина: именно этой строчкой называлась одна из заметок о его посещении одного города. И какого бы Вы подумали?

— А вот и не угадали: Лейпцига!..

Цитатность в социальных медиа (блогосфере)

Сравнительно недавно «Интергум» разработал инструментарий и для аналогичного сканирования и анализа блогов, то есть социальных медиа. В настоящее время в социальных сетях («LiveJournal», «ВКонтакте», «Твиттер», «Facebook», «Google+», «Mail.ru» и других) зарегистрировано около 29 миллионов блогов, многие миллиарды записей!

Для экспериментального зондажа блогосферы на предмет присутствия в ней цитат из Мандельштама, Пастернака, Тютчева и Бродского⁹ была выбрана «гомеопатическая» недельная доза. Навскидку была взята неделя с 20 по 27 октября 2013 года, число экспертно предложенных цитат из каждого поэта было равно 5 (из Мандельштама — 6, но 2 из одного и того же стихотворения).

Неожиданно в лидерах оказался Мандельштам. Встречаемость цитат из него составила 3888, из них 95,2 % пришлось на словосочетание «век-волкодав», а еще 3,4 % — на «под собою не чужа страны». Третьим идет «Я вернулся в мой город...» (0,7 %). Из социальных сетей доминирует «ВКонтакте» — 99,3 %, у идущего вторым «Твиттера» — всего 0,5 %. Среди отдельных блогеров по частоте цитирования Мандельштама на указанной неделе лидировали Александр Алехин и Юлия Земляникина — соответственно, 20 и 10 раз.

Цитаты из Тютчева встречались на неделе 1396 раз, чаще всего — «Умом Россию не понять...» (64,6 %) и «Мысль изреченная есть ложь...» (19,2 %). А цитаты из Пастернака и Бродского — на порядок реже: соответственно, 402 и 212 раз. У Пастернака в лидерах «Свеча горела на столе...», у Бродского — «Ниоткуда с любовью...». У всех лидируют «ВКонтакте» и «Твиттер», но в случае Пастернака доля «Твиттера» достигала 26,8 %.

Возможность пролистать навскидку конкретные случаи убеждают в том, что довольно часты цитаты-пересмешники, иногда очень смеш-

⁹ Наше исследование, по свидетельству А. Смолянского, является вообще первым зондажом такого рода.

ные. Например, *«Умом Россию не понять, а другими местами очень больно»*. Или: *«Лежало сало на столе, лежало сало...»*.

Полученные для блогосферы результаты интегрум-анализа представляются тем более интересными, что и сама виртуальность становится в целом все более и более привычной «средой обитания» для Мандельштама.

МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЕ МЕСТА

ГОРОДА ПОЭТА

Георгию Михайловичу Ланно

1

Жизнь Мандельштама не была долгой.

Родился 15 января 1891 года в Варшаве — умер (погиб) 27 декабря 1938 года под Владивостоком. Без неполных трех недель полные сорок семь лет, или 564 месяца.

Далеко не про каждый месяц мы знаем наверняка, где Мандельштам или его семья тогда находились: например, точная дата переезда из Варшавы в Павловск и из Павловска в Санкт-Петербург решительно неизвестна. Поэтому в нехитрых наших расчетах с хроникой жизни поэта в руках приходилось пользоваться иной раз не только округленными, но и огрубленными данными.

Жизнь его была нанизана на ту же ось, что и жизнь всей России, — на связку из Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда) и Москвы. Более семидесяти процентов отпущенного поэту времени протекли в этих столицах.

Но насколько же более «петербургским» и по этому признаку был Мандельштам! Около 45 % своей жизни он провел в этом блистательном городе, а если взять северную столицу еще и с ее окружением — Павловском и Царским (то бишь Детским) Селом, — то и все 55 %! Тогда как на идущую второй Москву, даже с ее ближним и дальним окружением (Узкое, Болшево, Саматиха), пришлось всего 16 %!

Павловск, длительность непосредственного проживания в котором между 1894 и 1897 годами мы оценили в тридцать шесть месяцев, стал третьим из главных «мандельштамовских» городов.

Он опередил (правда, ненамного) Воронеж, где было прожито тридцать четыре месяца.

Практически столько же времени Мандельштам провел и в Крыму, где он тоже редко сидел на одном месте: но главными тут, конечно,

были киммерийские Феодосия с Коктебелем и южнобережные Ялта с Гурзуфом.

Шестым по продолжительности «мандельштамовским местом» стала Варшава (двадцать пять месяцев), в самом центре которой в 2012 году открылась первая в мире улица Мандельштама — Ulica Mandelsztama.

Далее следуют Киев, Париж и Гейдельберг: соответственно, тринадцать, семь и пять месяцев.

Еще в шести городах — Батуме, Тифлисе, Сухуме, Савёлово, Калинин и Эривани — Мандельштам прожил приблизительно по четыре месяца.

2

В 1922 году в «Шубе» Мандельштам написал: *«Все города русские смешались в моей памяти и слиплись в один большой небывалый город, с вечно санным путем, где Крецатик выходит на Арбат и Сумская на Большой проспект»*. Думается, что недостает в этом перечне еще и воронежской топографии: проспекта Революции или Петровского сада — бесспорно из этого *«небывалого города с вечно санным путем»!*

Не будучи записным урбанистом, Мандельштам был убежденным горожанином и поэтом именно города: в городской культуре и в городских ритмах он черпал темы и образы своих стихов, а иногда и их метрику (знаменитая воронежская одышка в стихах о водокачке). Ни местечковой, ни сельской (кроме дачно-курортной) жизни он не знал, не любил и не искал.

Жизнь и творчество Мандельштама неотрывны от сразу нескольких урбанистических сред, или, если хотите, миров, — и не только петербургского, московского, воронежского, киевского или харьковского, но и парижского, тифлисского или гейдельбергского... Иные из этих миров, — в частности, петербургский, — раскрутили себя до такой степени, что обзавелись еще и собственными «мифами» или хотя бы «текстами» (причем в их разворачивании и интерпретации наблюдаются подчас трудносовместимые вариации).

Он родился на самом западе империи — в Варшаве, и за свою не слишком долгую, но бродячую жизнь, окончившуюся на самом ее востоке, перебивал во многих европейских и российских городах — как в столицах (Петербург с Москвою, Париж, Берн с Женовой, Берлин, Рим с Генуей и Венецией, Киев с Харьковом, Тифлис, Эривань), так и в провинциальных — разного калибра и пошиба (Павловск, Рига, Реймс, Монтрё, Гейдельберг, Кельн, Франкфурт, Александрова Слобода, Феодосия, Батум, Ростов, Баку, Царское Село, Ялта, Сухум, Чердынь, Воронеж, Тамбов, Задонск, Савёлово, Тверь-Калинин). Владивостока

же, близ которого он умер, а точнее погиб, поэт не увидел: город закрывали сопки, и «судьбы развязка» наступила в лицезреньи бесцветья лагерных бараков, зелени сопки и, на вершок, синевы Японского моря.

Но только два города в этом перечне по праву «претендуют» на ключевую роль — это Петербург-Ленинград и Москва.

Свой «Камень» в булыжное основание революции — немного самоубийственно, но чрезвычайно торжественно — положил и Мандельштам. Но и при другом социальном строе, переименовавшем его Петрополь в Ленинград, отношение к самому городу, хотя и наполнилось до краев соприродными времени страхами и трагизмом («*Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса...*» — «Ленинград», 1930), но не утратило ни силы своей привязанности, ни ауры и флера влюбленности («*Я вернулся в мой город, знакомый до слез, / До прожилок, до детских припухлых желез...*» — там же). Поэт и сам вопрошает — отчего же так? «*Так отчего ж до сих пор этот город довлеет / Мыслям и чувствам моим по старинному праву?..*». И отвечает себе: «...Он от пожаров еще и морозов наглее — / Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!..» («С миром державным...», 1931).

Точно так же и Мандельштам, влюбленный в Цветаеву, получил от нее в 1916 году «в подарок» еще и любимый ею город. С ее подачи его собственное творчество прикипело к Москве. Именно здесь были написаны так называемые «Новые стихи» (иногда называемые еще и «Московскими тетрадами») и многие другие, так хорошо нам теперь известные.

В них снова — фантастическое ощущение города как единого целого:

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы...

Но если Петербург для него — мужское начало: отцовское или братское («*твой брат, Петрополь, умирает...*»), то Москва, хотя бы и курва, — но это женская, сестринская, согревающая ипостась:

И ты, Москва, сестра моя легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка, —
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

«ПОЛЬША НЕЖНАЯ...»: МАНДЕЛЬШТАМ И ВАРШАВА

Мареку Ерчиньскому и Адаму Поморскому

Осип Эмильевич Мандельштам — один из величайших русских поэтов XX века — родился в Варшаве 3/15 января 1891 года в семье ремесленника-шорника и торговца кожами Эмиля (Хацкеля) Вениаминовича Мандельштама. Точные метрические записи о рождении поэта, несмотря на многочисленные попытки, обнаружены не были. Вероятней всего, они пропали в годы войны, когда погибло большинство материалов гражданского состояния за 1891 год. Единственный установленный адрес, связанный с семьей Мандельштамов, это адрес Менделя Мандельштама, торговца, проживавшего в Мурануве, одном из еврейских районов Варшавы, — на ул. Налевки (Nalewki), 19¹.

Сын ремесленника и купца сначала второй, а потом и первой гильдии, Мандельштам жил с родителями вне черты оседлости и никогда не бывал в местечке.

А ведь местечко запросто могло стать и его судьбой... Йоселе, уличный голодранец, крошка-хасид со слезавшимися и потому колющимися пейсиками, первенец Хацкеля, нашего муранувского шорника...

Да и Варшава начала 1890-х была не тою же самой, какой ее описывал Башевис-Зингер в своих «Рассказах мальчика, выросшего в Варшаве»². Да и помнил ли Мандельштам вообще хоть как-то Варшаву — город, который он оставил в двухлетнем возрасте? Едва ли...

Там он не задержался — в 1892 году семья переехала в аристократический и дворцовый Павловск. Он (а вернее, его отец) не сидел на

¹ Степень родства Менделя и Хацкеля Мандельштамов не прояснена. Так же не прояснено и родство с Элией Мандельштам (1887—1957), матерью известного польско-еврейского врача-нейрохирурга Ержи Шапиро (1920—2003).

² См., например, великолепные образчики этой биографической прозы в журнале «Лехаим» за 1995 год.

месте, и следующей станцией его детской «урбанистической карьеры» стал уже сам Санкт-Петербург, торжественный и великолепный³.

Но именно тут Мандельштам и встретился с «местечком». Произошло это в доме Бориса Синани, в годы первой русской революции, где Иосиф познакомился с одним очень необычным человеком. В нем — в Семене Акимыче Ан-ском⁴, «родном человеке» в доме Синани, сугулившимся «от избытка еврейства и народничества» — в нем одном «помещалась тысяча местечковых раввинов — по числу преподанных им советов, утешений» и т. д. Блестящий представитель местечкового еврейства, он и в Мандельштаме, возможно, всколыхнул уснувшую в нем родовую «местечковую» память.

Задокументирован и еще один приезд Мандельштама в Варшаву — с 21 декабря 1914 по 5 января 1915 года, когда он устроился работать в Варшаве санитаром в одном из военно-санитарных эшелонов или госпиталей, но, не справившись с впечатлениями, вернулся в Санкт-Петербург.

В годы войны Мандельштам написал несколько стихотворений, в которых упоминалась Польша или поляки. Интересно, что одно из них — «Połacy!» — было переведено на польский язык полицейским чином и опубликовано в 1935 году в книге его воспоминаний: этот перевод оказался одним из самых ранних переводов Мандельштама на иностранный язык!⁵ Но и в 1920-е годы, и в 1930-е польские реалии нередко встречались в поэзии и прозе Мандельштама.

Первые профессиональные художественные переводы стихотворений Мандельштама появились в 1934—1935 гг., когда сам поэт уже находился в ссылке. Первым стал перевод «Декабриста», выполненный молодым поэтом В. Слободником, входившим в варшавский круг Дмитрия Философова. С тех пор поэзия Мандельштама практически непрерывно присутствует в польской литературе.

³ Тут уже «не сидела на месте» мать, всегда недовольная снятыми квартирами и чуть ли не ежегодно их менявшая.

⁴ Ан-ский Семен Акимович (настоящее имя Раппопорт Шлойме-Зейнвил Аронович; 1863—1920) — русско-еврейский писатель и драматург, сочетавший в себе, по словам Мандельштама, «еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым». В 1880-е гг. проповедовал народнические идеи. В 1890-е гг. — жил за границей, был личным секретарем философа-народника Петра Лаврова. Стал одним из организаторов эсеровской партии. В России в начале XX века сотрудничал с одним из «провозвестников» первой русской революции Гапоном. После 1905 г. занимался просветительской деятельностью, сбором еврейского фольклора в черте оседлости, решая задачу «спасения» и «созидания» еврейского народа.

⁵ Мицнер П. Польский полицейский переводит Мандельштама // Новая Польша. 2007. № 1; Мицнер П. Начало восприятия Мандельштама в Польше (1926—1947) // Мандельштамовские дни в Варшаве. VI Мандельштамовские чтения. 18—23 сентября 2011. [Варшава: Польский Пен-клуб, 2011] С. 34—37.

После того, как сам поэт погиб в ГУЛАГе в конце 1938 года, его замечательные поздние стихи еще долго не печатались на родине, и только в 1960-е годы появились их первые публикации в СССР. В 1950-е и 1960-е годы в США вышли первые посмертные книжные издания Мандельштама. Откликом на это стали многочисленные переводы стихов и прозы Мандельштама на иностранные языки, в том числе и в особенности — на польский.

Поразительным является то, что самые первые посмертные переводы мандельштамовских стихов появились в Польше еще до этого издательского бума, а сразу же после Второй мировой войны — в 1945—1947 гг., а также в 1956—1957 гг. — на волне послесталинской оттепели. В 1960-е гг. переводы поэзии и прозы Мандельштама на польский язык, как и статьи о его творчестве, стали появляться постоянно. В 1970-е гг. на польский язык — в Лондоне, польскими эмигрантами — были переведены и запрещенные книги его вдовы — Н.Я. Мандельштам.

Польский читатель, не понаслышке знакомый с прелестями несвободы по-советски, вполне мог оценить и оценил его поэзию во всех ее ипостасях — от гражданской до лирической. Одна из книг польского поэта Я.М. Рымкевича так и называется: «Улица Мандельштама». Осип Эмильевич стал героем стихотворений и других польских поэтов, в том числе В. Ворошильского, Я. Качмарского и А. Мендзыжецкого.

Польский филолог Рышард Пшибыльский входил в число близких друзей Н.Я. Мандельштам и был одним из наиболее известных исследователей творчества Мандельштама. Именно Пшибыльским изданы первые в Польше однотомники стихотворений и статей Мандельштама (оба в 1971 году), и несколько книг прозы в посткоммунистическое время. На польском языке стихи Мандельштама издавались 7 раз в различных переводах и подборках, в том числе и в эмиграции, как, например, «Поздние стихи» в переводе С. Бараньчака в Лондоне (1972). Несколько стихотворений, положенных на музыку, стали в 1970-е годы популярными песнями в исполнении Евы Демарчик.

9 июня 2008 года в Варшаве состоялся поэтический вечер Мандельштама, организованный Польским Пен-клубом и Мандельштамовским обществом.

В связи с 120-летием со дня рождения поэта эти же организации, а также Исследовательский центр Восточной Европы Варшавского университета и Правительство Варшавы провели с 18 по 22 сентября 2011 года Мандельштамовские чтения.

А в мае 2012 года на территории Варшавского университета была открыта первая в мире «Улица Мандельштама».

«ГОРОД, ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЕЗ...»: МАНДЕЛЬШТАМ И ПЕТЕРБУРГ

*Эсфири Богдановой, Александру Лаврову
и Борису Фрезинскому
Памяти Изы Ханцын*

Классическая русская литература моложе Петербурга не меньше чем на полстолетия. Петербург, это окно в Европу (он же — и окно из Европы в Россию), дал вторую, необходимую для творческого равновесия точку опоры не только русской истории и географии, но и русской словесности. Тракт Петербург — Москва с легкой руки (и с тяжелой судьбы) Радищева стал главной осью бурного развития самой юной из великих литератур Европы. Вслед за колесами радищевской коляски, свои колеи оставили здесь и Батюшков, и Гоголь, и Пушкин, и Белинский, и Герцен.

Петербург-Петроград-Ленинград — это не только великий город, это еще и великая **тема** русской литературы и, в частности, поэзии¹. Ах, как недостает нам любовно собранной и любовно изданной антологии «петербургской» лирики! Какая замечательная и поучительная была бы книга, с каким волнующим «сюжетом»!

Пушкинские сады, проспекты Гоголя, подворотни Достоевского, фонари и набережные Блока, мосты и ветры Ахматовой, эсхагологическая архитектура Бенедикта Лившица², дверные цепочки Мандельштама, трамваи и коллекция влажных окон Кушнера, — как многолик и разновозрастен этот город, и вместе с тем как узнаваем, как похож на свои отражения в воде и в стихах!

И через всю эту поэзию, как через сам Петербург, — эта грозная и организующая сила — река: «Невы державное течение...».

¹ Вот уже несколько десятилетий как это именуют еще и петербургским **текстом**.

² Его книга «Болотная медуза», целиком посвященная Петербургу, целиком же должна бы войти в эту антологию.

В Петербург Мандельштам переехал в 1897 году, на 7-м году жизни. Не счесть адресов, смененных здесь его непоседливыми родителями (да и им самим — в 1920-е годы) — за два с лишним пунктирных десятилетия, проведенных «на якоре» в этом каменно-водяном царстве! Здесь он рос, мужал и формировался как поэт.

О, как он его любил, как знал и как чувствовал, свой великолепный город! Он воспринимал его не как сумму обособленных архитектурных ансамблей, но как урбанистическое целое, чувствовал — как единый природный организм.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна...
(«Петербургские строфы», 1913)

Многочисленные петербургские аллюзии рассыпаны и в прозе Осипа Мандельштама, особенно в «Шуме времени», «Египетской марке» и нескольких газетных очерках, предшествовавших «Шуму времени». Два из них — «Кровавая мистерия 9-го января» и «Шуба» — это, в сущности, подступы к «Шуму времени», нащупывание его жанра³.

Героем «Кровавой мистерии 9-го января» (1922), помимо вышедшего на демонстрацию народа, является и сам город, в котором все это происходило. Мандельштам проявил здесь поразительное чувство города как целого, его топографии и планировочной структуры⁴. В «кровавом воскресеньи» он увидел не только историческую, но и сугубо планировочную и истинно «петербургскую» трагедию, которая — «... могла развернуться только в Петербурге, — его план, расположение его улиц, дух его архитектуры оставили неизгладимый след на природе исторического события. Центристремительная тяга этого дня, правильное движение по радиусам, от окраины к центру, так сказать, вся динамика девятого января обусловлена архитектурно-историческим

³ Оба очерка были опубликованы в ростовской газете «Советский Юг» в начале 1922 г. (там же увидели свет и другие статьи поэта — «Багум», «Письмо о русской поэзии», «Кое-что о грузинском искусстве»). Первый из них был напечатан 22 января (в специальном выпуске, посвященном очередной годовщине расстрела мирной народной демонстрации; номер газеты вышел под девизом «Вечная память погибшим за счастье трудящихся!»), а второй — 1 февраля. В Ростове Мандельштам был проездом, возвращаясь из длительной поездки по Закавказью.

⁴ Между прочим, вскоре после победы Октябрьской революции Мандельштам некоторое время работал в правительственной комиссии по разгрузке Петрограда, занимавшейся проблемами перевода многих центральных учреждений в Москву, — он заведовал в ней Бюро печати (см.: *Нерлер П.* Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918—1919 годах // ВЛ. 1989. № 9. С. 275—279).

смыслом Петербурга. Архитектурная идея Петербурга неизбежно приводит к представлению мощного центрального единства. Всеми своими улицами, облупленными, желтыми и зелено-серыми, Петербург естественно течет в мощный гранитный водоем Дворцовой площади, к красной подкове зданий, рассеченной надвое глубокой меднобитной аркой с взвисяшейся на дыбы ристалищной четверной. Люди шли на Дворцовую площадь, как идут каменички, чтобы положить последний кирпич, венчающий их революционное строение».

Знал он и Петроград в разгар иных классовых боев:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит...

Знал и Ленинград двадцатых — тридцатых годов:

Вы, с квадратными окошками,
невысокие дома,
— Здравствуй, здравствуй, петербургская
несуровая зима!..

После бани, после оперы, —
все равно, куда ни шло,
Бестолковое, последнее
трамвайное тепло!

От этой исторической разноплановости и от акмеистической точности деталей, в которых прорастает и, прорастая, шумит время, образ города становится особенно значительным, объемным и помандельштамовски щемящим.

Можно отметить и своеобразную расфокусировку настоящего времени: в стихах Мандельштама о Петербурге преобладают предчувствия или воспоминания, иногда во взаимном смещении друг с другом, как, например, в стихотворении «Ленинград», впервые напечатанном в «Литературной газете» в ноябре 1932 года:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток...

Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(«Ленинград», 1930)

Стихотворение было написано в декабре 1930 года, вскоре после возвращения Мандельштама из путешествия в Армению и Грузию — путешествия, вернувшего поэту чувство поэтической правоты, а с ним — и поэтический голос, стихи.

В январе 1931 года, под сороковую свою годовщину, Мандельштам — в то время москвич поневоле — пишет другое стихотворение («С миром державным я был лишь ребячески связан...»), где — в искренней и безнадежно безуспешной попытке отречься от своего прошлого, перечеркнуть себя самого — признается в своей неотделимости от родного города.

Не без раздражения и досады он восклицает:

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, молодежавый.

Но это «довление мыслям и чувствам», эта тоска по Петербургу — Ленинграду действительно сопутствовали Мандельштаму всю жизнь...

«ПРАБАБКА ГОРОДОВ»: СЕМЕСТР В ПАРИЖЕ

Никите Струве, Кристине Пигетти и Ральфу Дутли

«Слава была в ц.к., слава была в б.о.»!

В январе 1921 года в Ростове Осип Эмильевич Мандельштам вдруг вспомнил и с пронзительной остротой описал в газетном очерке¹ одно яркое отроческое впечатление: протестующую демонстрацию рабочих, ведомых Гапоном, и ее расстрел.

Событие, называемое еще и прологом русской революции 1905—1907 гг., всплыло не случайно. Молодой поэт (тогда еще Иосиф, а не Осип) не просто сочувствовал протестующим: живя тогда *«тем же, чем жила тогда большая часть молодежи, на многое надеявшаяся, многого ожидавшая»*², он сам внутренне рвался в революционное действие, под порывы того, что он называл «шумом времени» и «ветром революции».

Мандельштамовская «революционность», в отличие, скажем, от эренбургской, не была социал-демократической³. Точнее, она была и таковой, но только в самом начале и очень недолго — год или полтора. Со временем его душою прочно овладели эсеры (социалисты-революционеры). Причина тому лежала не столько в особенностях их программы или романтическом ореоле их катакомбной жизни, сколько в тех, с кем свела Мандельштама ученическая судьба.

Учился он в Тенишевском с удовольствием, но все же не настолько прилежно, чтобы можно было обойтись без репетиторов. Своих репетиторов — Сергея Ивановича Белявского и Бориса Вячеславоича

¹ Кровавая мистерия 9-го января // Советский Юг (Ростов-на-Дону). 1922, 22 января.

² Мандельштам Е., 1995. С. 133.

³ Хотя поначалу он отдал должное и ей, читая Каутского, «Эрфуртскую программу» и открывая (видимо, ненадолго) Марксов «Капитал».

Бабина-Кореня — он впоследствии назвал не иначе как «репетиторами революции». Их политическое влияние на Мандельштама было огромным, но, если первый был социал-демократом⁴, то второй — эсером, к тому же не рядовым, а видным — членом Петербургского комитета партии⁵.

Только зная толк в партийных программах и только наблюдая с очень близкого расстояния, — можно походя обронить так, как это сделано у Мандельштама в главке «Семья Синани» из «Шума времени»: *«Здесь, в глубокой страстной распри с.-р. и с.-д., чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников».*

Эта распря прошла и по самому Мандельштаму. Влияние эс-деков, персонифицированных в абстрактном Каутском и реальном «Сергее Ивановиче», явно брало верх во время самой революции и еще некоторое время после нее, но потом ослабело.

Почему?

*«Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник... Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, куда он был жив...»*⁶. То был Борис Синани, умерший в 1909 году⁷.

Подобно тому как Владимир Васильевич Гиппиус, тенишевский словесник, оказался для Мандельштама учителем еще и такой неформальной дисциплины, как «литературная злость», формируя тем самым будущий характер поэта, другим его учителем на всю жизнь стал Борис Синани. В доме его отца, врача-психиатра Бориса Наумовича Синани, близко знакомого со многими членами ЦК эсеровской партии, Мандельштам сблизился с эсерами настолько, что вступил в их партию и попросился в боевую организацию!..

⁴ Именно так — как студент политехнического и социал-демократ — он охарактеризован в картотеке Тайного департамента полиции (ГАРФ. Ф. Р—102, 3 д/п, 1902 г., д. 53, л. В; Ф. 102, 3 д/п, 1899 г., д. 3299; Ф. 102, 4 д/п, 1910 г., д. 106, л. В)

⁵ «Б.В. Бабина-Кореня я знал лучше, чем Сергея Ивановича, так как он занимался не только с братьями, но и со мной. Это был профессиональный революционер, эсер, человек большой душевной стойкости и благородства. В царское время он прошел через тюрьму и ссылку. В ссылке подружился с Вышинским. После Октября судьба его тоже была нележкой, вернее, трагичной. Он вел какое-то время интересную и плодотворную научную работу у Гастева в Институте научной организации труда в Москве. Но принадлежность в прошлом к партии эсеров привела к постоянным арестам. Его освобождали и тут же вновь арестовывали» (Мандельштам Е., 1995. С. 133).

⁶ Там же.

⁷ Ср. в «Шуме времени»: *«И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревавший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы революции!»* (главка «Тенишевское училище»).

«Тенишевец» и «Пробужденная мысль»

Последние два года учебы в училище были ознаменованы бурным всплеском самой прямой революционности. Особенно бурным был 1905/1906 учебный год — и почти с самого начала занятий. Точкой отсчета может послужить 17 октября — день начала Всероссийской политической стачки. Естественно, митинг прошел и в Тенишевском училище⁸. С 9 по 13 декабря тенишевцы дружно бастовали, да и после 13 декабря школьные классы еще долго заполнялись наполовину⁹.

Наивно думать, что тенишевцы были единодушны в своем революционном порыве. В училище, конечно, были представлены разные краски политической палитры, но главный скол шел не по социальным корням и даже не по политическим платформам, а по степени революционного радикализма.

Часть учеников — Витя Жирмунский, Костя Ляндау и др. — проповедовала сдержанность и выступала за продолжение учебы и получение образования как средства подготовки к будущей борьбе. Они группировались вокруг редколлегии рукописного ученического журнала «Тенишевец».

Другие — Боря Синани, Юра Каменский, братья Надежины — отвергали столь неуместную умеренность и «реакционность», их рупором стал другой рукописный журнал «Пробужденная мысль». Именно к последним, ясное дело, примкнул и Иосиф Мандельштам.

«Мальчики девятьсот пятого года, — сказано в «Шуме времени», — шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась, — только слава переехала... Слава была в ц.к., слава была в б.о., и подвиг начинался с пропагандистского искусства»¹⁰.

Мандельштам, вероятно, пробовал встать на этот путь, но ни в партийные активисты, ни тем более в бомбисты-боевики его не взяли — в силу очевидной, по-видимому, с первого же взгляда профнепригодности¹¹. А вот в агитаторы его могли и взять: во всяком случае? в марте 1907-го он толкнул зажигательную речь перед какими-то рабочими в связи со случившимся в Государственной думе 2 марта обвалом потолка.

⁸ См. подробнее в: Мец, 2005. С. 17—19.

⁹ Там же. С. 24. Именно с упущенным для занятий временем А.Г. Мец резонно связывает саму необходимость в репетиторах.

¹⁰ Главка «Семья Синани».

¹¹ Правда, он и пишет в «Египетской марке» (на то она и проза), что участвовал в охране одного нелегального собрания.

Но не забудем, что не юношеская влюбленность, а именно революция, а вернее — ничем не замутненное и возвышенное юношеское представление о ней и ее целях — сделали Мандельштама тем, кем мы его знаем, — поэтом. «Слава» для него переехала еще раз, и теперь уже окончательно.

1906 год, зрелище подавленного крестьянского бунта в тишайшем Зегевольде — на живописном лифляндском курорте с умиротворяющей природой, где, вместе с матерью, братьями и «Эрфуртской программой» в руках, Иосиф провел летние каникулы 1906 года. Повсюду были следы прокатившихся зимой в этих краях крестьянского восстания, точнее, жестокостей его подавления. Спаду революционности в душе молодого тенишевца это никак не способствовало.

Сжатые кулаки социального протеста, в сочетании с вдохновляющей тягой идиллической природы, дали непредсказуемый, но совершенно органичный для Мандельштама результат — гражданские стихи!

Опубликованные в январе 1907 года в «Пробужденной мысли»¹², то были первые стихотворные опыты Мандельштама — но какие! Некрасов бы с Надсоном позавидовали!

...Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплавав слезы обильные,
Спит, и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

...Скоро столкнется с звериными силами,
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

Этим стихам не откажешь не только в гражданском пафосе, но и в выразительности. Выразителен и псевдоним под одним из них: «Фитиль». Кроме столь же великой, сколь и абстрактной, любви к великому и тоже абстрактному «народу» в стихах отразилось и зрелище — зарево? — подавления крестьянского бунта.

Весной 1907 года Осип Мандельштам закончил учебу в Тенишевском коммерческом училище, а 15 мая получил соответствующий аттестат¹³.

¹² Оба стихотворения — и «Среди лесов, унылых и заброшенных...», и «Тянется лесом дороженька пыльная...» — были напечатаны в 1-м выпуске журнала «Пробужденная мысль», вышедшем в январе 1907 г.

¹³ За № 24. В случае досдачи экзаменов по древним языкам (а их в Тенишевке не проходили) он мог бы попробовать поступить в Санкт-Петербургский университет,

А в сентябре 1907 года Синани и Мандельштам съездили в Финляндию, в Райволу, имея целью записаться в боевые отряды, в те самые вожаденные «б. о.»!

Спустя два десятилетия — в 1927 или 1928 году, — отвечая на анкету Б.П. Козьмина, Мандельштам записал: «...16 лет был с.-р. и занимался пропагандою на массовках»¹⁴.

Этой юношеской и, в общем-то, преходящей, близости поэта с эсерами еще предстоит — и не раз — играть свою роль в его судьбе, заставляя, например, бежать из Петрограда летом 1918 года и из Москвы в начале 1919-го, — вплоть до анкет и допросов в кабинетах следователей на Лубянке в 1930-е годы.

Святая родительская наивность

Революционная «деятельность» первенца не на шутку тревожила родителей Мандельштама, особенно мать. Охранное отделение и в царские времена было организацией достаточно серьезной, чтобы родители таких вот, как он, желторотых и народолюбивых юнцов, ее побаивались. И вот в конце сентября 1907 года родители Мандельштама, явно обеспокоенные революционным настроем сына, отправляют его учиться в Париж. И, с их точки зрения, очень вовремя.

Как раз в октябре 1907 и январе-феврале 1908 годов охранка провела две успешных акции против неподконтрольного Азефу Северного летучего боевого отряда, готовившего покушения на членов Государственного Совета, на Великого князя Николая Николаевича и на министра юстиции Щегловитова. На одной из дач в Финляндии был арестован Трауберг («Карл»), а в Петербурге, перед квартирой Щегловитова, — еще девять террористов. Семеро из них, в том числе Анна Распутина, Лидия Стуре, Лев Синегуб, Всеволод Лебединцев и другие, уже через неделю после скорого суда были повешены, — приняв смерть с улыбкой, без малейших признаков раскаяния или сожаления¹⁵. Но если бы Партии понадобились новые герои, то недостатка в желающих не возникло бы...

Отправляя сына в Париж, Эмиль Вениаминович и Флора Осиповна явно рассчитывали на то, что в отдаленье от Петербурга сын их порвет с этой не столь уж и безобидной эсеровской средой, в которую в обстановке домашней он все больше и больше втягивался.

и 13 августа он подает прошение о зачислении вольнослушателем естественного отделения физико-математического факультета.

¹⁴ *Писатели современной эпохи...* С. 178—179.

¹⁵ Об ауре эсеровского героизма см. «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева, а также ранние рассказы А. Грина.

О, святая родительская наивность!..

Еще с XIX века Париж, Лондон и Женева были главными центрами российской социалистической заразы. К 1908 году на первые позиции окончательно переместился именно Париж. Сюда переехали и здесь себя вольготно чувствовали руководящие органы и лидеры почти всех российских нелегальных партий и организаций.

Здесь выходила и большевистская газета «Пролетарий», на базе которой формировался так называемый «Парижский архив РСДРП»¹⁶, и меньшевистская «Голос социал-демократа» под редакцией П. Аксельрода, Ф. Дана, Ю. Мартова, А. Мартынова и Г. Плеханова. Несколько анархистских изданий: «Бунтарь» (1906—1909, Париж — Женева), «Буревестник» (1906—1910), «Анархист» (1907—1910, Женева — Париж), «Без руля» (1908) и «Альманах. Сборник по истории анархического движения в России» (1909). Выходило и «Возрождение» (1904—1905, Лондон — Париж) — орган еврейской революционной мысли. Свой орган в Париже был даже у студентов-сионистов («Кадима», 1904).

Но все же больше всего изданий эсеровских: «Революционная Россия» (1900—1905, Куоккала, Томск, Женева, Лондон, Париж), «Вестник русской революции» (1901—1905, Женева — Париж), «Коммуна» (1905), «Солдатская газета» (1906—1907), «Земля и воля» (1907—1912, СПб. — Париж), «Знамя труда» (1907—1914), «Революционная мысль» (1908—1909), «Известия Областного комитета заграничной организации русских социал-революционеров» (1908—1911), «Листок» (1908—1911), «Извещения Парижской группы социалистов-революционеров» (1909) и «Российская трибуна» (1904—1913), а также знаменитые сборники по истории русского освободительного движения «Былое» (1908—1913), которые редактировал В.Л. Бурцев — разоблачитель Азефа.

Как именно распространялись эти газеты в Париже — сказать трудно, но часть из них была доступна в крупнейших библиотеках, особенно русских¹⁷.

Доподлинно известно, что весной 1908 года Мандельштам охотно побывал на крупном эсеровском собрании, посвященном памяти Гершуни. Михаил Карпович, который привел его туда, вспоминал: «... политика здесь была ни при чем: привлекала его, конечно, личность и судьба Гершуни. Главным оратором на собрании был Б.В. Савинков.

¹⁶ В него вошли фонды «Рабочей газеты», Комитета заграничных организаций РСДРП, партийной школы в Лонжюмо и др.

¹⁷ В 1907—1908 гг. в Париже, увы, уже не было знаменитой «Славянской библиотеки в Париже», основанной в 1855 г. русскими иезуитами по инициативе князя И.С. Гагарина (с 1901 по 1917 гг. библиотека находилась в Брюсселе). Но уже была другая — «Русская библиотека», открытая в 1875 и с 1883 года носящая имя И.С. Тургенева, одного из двух ее основателей (вторым был Г.А. Лопатин).

Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад — так что я даже боялся, как бы он не упал»¹⁸.

Да и в Гейдельберге, куда Мандельштам приехал учиться в следующем, 1909 году, среди учившихся вместе с ним было даже два таких будущих левозсеровских министра в первом коалиционном послеоктябрьском правительстве — Борис Камков (Кац) и Исаак Штейнберг.

Соотечественники

...И все-таки главными русскими революционерами в Париже были не анархисты, не эсеры и не эсдеки, а совсем другие люди — художники.

В разное время здесь жили и работали Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Кругликова, Гудиашвили, не говоря уже о множестве менее громких имен: например, Мария Васильева, приехавшая в Париж в начале 1908 года, то есть почти одновременно с Мандельштамом.

Примерно тогда же, с шляпинских концертов, начали свой отсчет и знаменитые русские сезоны Дягилева. Из писателей в дореволюционное время с Парижем особенно тесно были связаны Бальмонт, Волошин¹⁹, Гумилев и Амфитеатров, Эренбург, Цветаева, Ахматова, Валентин Парнах и др.

В 1908 году о монпарнасской «Ротонде» еще не было слышно, но были другие кафе, где собирались русские. Так, на углу бульвара Монпарнас и проспекта Обсерватуар было кафе «Closerie des Lilas»: сюда приходил в 1907 году Гумилев на встречу с Жаном Мореасом. Популярностью пользовались и кафе на бульваре Сен-Мишель: в одном из них, в частности, Мандельштам познакомился с Михаилом Карповичем.

Время от времени кому-нибудь из приезжих приходила в голову мысль что-нибудь в Париже издавать: так, в 1906 году Амфитетров

¹⁸ Карпович, 1957. С. 259—260. И далее: «Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А.О. Фондаминская и Л.С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама».

¹⁹ О его пребывании в Париже см.: Купченко В. Парижские адреса Максимилиана Волошина (РМ. 1997, 26 сент. — 1 окт., С. 11; Там же // 2—8 окт. С. 11; Там же // 9—15 окт., С. 11—12). В то время, когда в Париже был Мандельштам, М. Волошин скорее всего отсутствовал: впервые после 1906 г. он приехал в Париж только 30 июня 1908 г. и остановился у Бальмонта.

выпустил под своей редакцией целых шесть номеров журнала под симптоматическим названием «Красное знамя», а Эренбург — в 1909 году — альманах «Бывшие люди» (вышел, кажется, всего один номер).

В 1907 году выходил и журнал искусства и литературы «Сириус», его редакторами были Н. Гумилев, М. Фармаковский и А. Божерянов. Всего вышло три номера²⁰. Мандельштама среди авторов нет, зато есть среди них Анна Ахматова (это был ее литературный дебют!).

Об этом же и проникнутые нечастой теплотой воспоминания Георгия Иванова: «...В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал “Сириус”. Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны... Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, — вскладчину. Каждую неделю члены “Сириуса” собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнением на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без “свеженького” материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал “пронепечатать” все, что хотел.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на “артистичность”: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое — его опять, еще пуще ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. Сириус прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить Сириус уже в Петербурге. Первая попытка — “Остров”, бывший по составу сотрудников повторением Сириуса, скоро прекратился сам собой).

Кстати, граф Алексей Толстой, прибывший в Париж с художницей Софьей Дымшиц, проживал сравнительно недалеко от Мандельштама — в доме 225 по Rue Saint-Jacques.²¹

Rue de Sorbonne

Самое время сказать о том, где остановился сам Мандельштам.
И когда он приехал в Париж?
Начнем со второго вопроса.

²⁰ Возможно, выпусков было и больше, на что указывает по меньшей мере обозначение журнала как двухнедельника.

²¹ См.: Ponfily, 1990. См. также: Русские за границей. Путеводитель по Западной Европе. Берлин, Изд-во Г. Каспари, 1913.

...Поезд, которым ехал Мандельштам, по всей видимости, прибыл на парижский Восточный вокзал не ранее 5 (18) октября 1907 года. С дороги, из Вильно, Мандельштам послал родителям почтовую карточку с изображением Большой улицы Вильно²². Оказывается, в дороге его сопровождал старинный друг мандельштамовской семьи Юлий Матвеевич Розенталь (ок. 1840 — не ранее 1916) — финансист, участвовавший в строительстве железных дорог²³. Карточка датирована 3(16) октября:

«Дорогие мама и папа! В дороге я чувствую себя отлично. Читаю, хожу в гости к Ю<лию> М<атвеевичу> — станет скучно, смотрю в окна. Соседи мои финны. Благодаря своей сдержанности они меня нисколько не стесняют. Погода разгулялась, и голова моя — тоже почти свободна от мыслей. Напишу завтра. Ваш Ося»²⁴.

Следующая хронологическая вешка — это заполненный Мандельштамом формуляр записи на факультет словесности Парижского университета (Сорбонны) на 1907—1908 годы²⁵. Кстати, такие формуляры были введены как раз в год приезда Мандельштама. Гумилев, учившийся в Сорбонне годом раньше, такого формуляра не заполнял²⁶.

Еще Никита Струве, первый публикатор этого документа²⁷, указал на языковые неловкости этой заполненной по-французски анкеты: тут и идишно-немецкое окончание собственной фамилии, и порядковое числительное в обозначении даты рождения, и неточность в обозначении улицы в парижском адресе, и диковатый на французский слух «Certificat de Russie» в графе об имеющемся образовании.

Кое-что в формуляре, кстати, вписано не Мандельштамом, а регистратором Сорбонны, в частности, имматрикуляционный номер (1610) и номер квитанции об уплате регистрационного сбора (8316). Того же происхождения и цифра «30» в левом нижнем углу формуляра: можно, впрочем, предположить (по характерной для денежных сумм черточке справа), что это не что иное, как размер регистрационного сбора. Даты заполнения формуляра, к сожалению, нет.

²² Адрес: Петербург, Сергиевская 60, кв. 10. Мандельштам. Штемпель: Вильно. 16.X.1907.

²³ В «Шуме времени» ему посвящена одноименная глава «Юлий Матвейч».

²⁴ К письму имеется приписка Ю.М. Розенталя: «*Мир Вам и покой. Ваш Ю. Розенталь*».

²⁵ Dossier des élèves bénéficiaires du P. C. V. (Archives Nationales, AJ¹⁶ 5002). Эта замечательная архивная находка была сделана переводчицей Мандельштама на французский язык Кристиной Пигетти в Национальном Архиве. Оригинал потом некоторое время числился как «потерянный», но на самом деле он был заложен.

²⁶ Сообщено Д. Гузевичем.

²⁷ См.: *Н.С[труве]*. Мандельштам в Париже / ВРСХД, № 160. Париж, 1990. С. 255—257.

Однако для характеристики пребывания Мандельштама в Париже особо существенны две графы: «Цель обучения» (*Ordre d'études*) и «Адрес обучающегося» (*Adresse de l'étudiant*). В качестве цели Мандельштам указал изучение французского языка (*Certificat d'études françaises*), адрес же записал такой: *rue de Sorbonne, 14*.

Забегая вперед, заметим, что на одном из писем, отправленных в феврале 1908 года, указан другой номер дома: 12. Думается, однако, что ни в одном из двух случаев Мандельштам не описался: просто между октябрём 1907 и февралём 1908 года ему пришлось переехать, благо что по соседству.

Данные из парижских справочников сильно укрепляют нас в этой догадке²⁸. В доме в № 14 находился отель «Gerson», где Мандельштам и Розенталь, вполне возможно, и поселись по приезду. А вот в доме № 12 (он принадлежал некоему Hermann'у) располагались книжная лавка и отель (а скорее всего общежитие) для вольнослушателей Коллеж де Франс. Записавшись со временем в их число, Мандельштам, вероятно, получил право на проживание в этом, несомненно более дешёвом, общежитии — и перебрался в него. Оба дома — в шесть этажей, комнатки, надо полагать, крошечные, в одно окно.

Но независимо от этого разное местоположение снятой Мандельштамом комнаты — просто гениальное: в самом сердце Латинского квартала, практически напротив главного входа в Университет!

Вторая мишень школяра Мандельштама — слегка утопленный за красную линию романтический особняк *College de France*, — был следующим за Сорбонной зданием по *Rue des Ecoles* (на *Place Marcelin-Berthelot, 11*). Широкие ступеньки, огибающие бюст Марселя Бертело, вели как бы на самую вершину европейского научного знания и, что еще важнее, на вершину европейской мысли²⁹. Публичные лекции были бесплатными, и послушать иных профессоров Коллеж де Франс, — таких, например, как Анри Бергсон³⁰, — собирался весь Париж.

Поблизости — на *rue de Val-de-Grace, 9* — была в те годы и Тургневская библиотека, как и студенческая читальня на *рю Сен-Женевьев*.

²⁸ См.: *Didot-Bottin. Annuaire du Commerce. 1915. Paris. Administrations liste alppabetique des noms et raison Sociale. Rues et plans. Guide de interatond de eacpeteur communes de la Seine avec plans. Paris, 1915: Prefecture de Police. Direktion Surte der Territorial. Registre pour etrangers.*

²⁹ В то время профессорами Коллеж де Франс были Жозеф Бедье (старофранцузская литература), Анри Бергсон (философия), Филипп Бергер (древнееврейский язык и литература), Вырубоф (общая история науки), Камилл Жордан (математика), Мишель Леви (естественная история и неорганический мир), Масперо (египетская филология и археология), Антуан Мейе (сравнительная лингвистика), Гастон Пари (древнегреческий язык), Сильван-Леви (ориенталист, индолог) и др. Администратором Коллеж де Франс был г-н Левазье (*Lévasseur*). См.: *Archives Nationales, F¹⁷ 13553*.

³⁰ В следующих двух семестрах (1908—1909 и 1909 г.) Бергсон не читал, и его заменял Рене Вормс См.: *Archives Nationales, F¹⁷ 13553*.

Рукой подать и до Люксембургского сада, а без него парижская жизнь Мандельштама, как мы еще увидим, непредставима. Ближайшей станцией метро в то время была «Одеон».

Сама же Rue de la Sorbonne — улочка тихая, короткая (всего 185 метров) и узкая (12—16 метров). Одну ее сторону занимали стена гигантского, в целый квартал, дворцового комплекса Сорбонны, другую — многоэтажные доходные дома.

По разным источникам удалось установить, что и кто размещались в них примерно в то время, когда здесь жил Мандельштам. В доме № 2 была антикварная лавка «Bernin», а в № 6 — издательство и книжная лавка «Didier», а также «Gui de Internationales» — курсы живого французского языка. В № 8 размещался отель «Montesque» (владелец — г-н Beaumont), в № 10 (владелец — г-н Emil Blanchard) — библиотека «Schot» и отель «De Faoulites» (в этом же доме, как пишет Н. Струве, находились книжная лавка и издательство Шарля Пегги, не меньшего, чем Мандельштам, поклонника Бергсона).

В следующем же доме (№ 16) в то время размещались Высшая школа социальных наук (Ecole des haute Etudie sociales) и Школа журнализма и морали (Ecole de Journalisme et de Morale). В 1901 году Максим Ковалевский и другие основали в этом здании Высшую российскую школу социальных наук: среди выступавших в ней с докладами был в 1903 году и господин Ильин, более известный под другим своим псевдонимом: Ленин.

Последующие архивные разыскания в Париже особенных находок не добавили. В Архиве префектуры полиции уточняющих данных о регистрации и проживании Мандельштама обнаружить не удалось³¹.

Круг общения

Итак, парижская жизнь Осипа Эмильевича Мандельштама ведет свой отсчет с октября 1907 года.

Около 30 ноября 1907 года он написал открытку своему младшему брату в Санкт-Петербург (еще на Сергиевскую, 7)³²:

«Дорогой мой Женичка,

Обо мне можешь узнать все от мамы, а о себе напиши мне еще раз, сам. Чем больше привыкаешь, тем больше скучаешь. Я никуда не хожу — разве только музыку послушать — все читаю, да пишу, да

³¹ Письмо директора архивно-музейной службы Префектуры полиции г. Парижа П. Нерлеру от 6 апреля 1993 г. (в архиве автора).

³² Раскрашенная почтовая карточка (Carte postale) с видом Парижа. Надпись: «26. — Paris. Le Boulevard Monmartre. Carte Postale». Штемпели: 1) Paris: 30 <11?> Depart; 2) Петербург 19.11.07.

мечтаю — чего никому не желаю. Поцелуй от меня всех, кого любишь, и скажи, что я в общем доволен. Твой Ося».

24 декабря 1907 года, в католический сочельник, Мандельштам познакомился с Михаилом Карповичем, таким же, как и он, российским слушателем Сорбонны. Спустя полвека М. Карпович, редактор нью-йоркского «Нового журнала» — одного из главных журналов русской эмиграции, решился записать и опубликовать воспоминания о своем знакомстве и встречах с совершенно еще неизвестным Мандельштамом.

Итак, вечер перед Рождеством он справлял в небольшой русской компании в уютном кафе на Бульмише (Boulevard Saint-Michel). «По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша, привлечший мое внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше всего он был похож на цыпленка, и это сходство придавало ему несколько комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных глазах было что-то привлекательное. Услышав, что мы говорим по-русски, он нами заинтересовался. Было ясно, что среди происходившего вокруг него шумного веселья он чувствовал себя потерянным и одиноким. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он с радостью на это согласился. Мы узнали, что его зовут Осип Эмильевич Мандельштам.

В этот вечер мы разговорились и быстро установили общность наших литературных интересов...»³³

По оставленному М. Карповичем адресу Мандельштам пришел чуть ли не назавтра. С этого момента и до самого отъезда Карповича в Россию весной 1908 года они виделись часто — на неделе по нескольку раз: «...обычно он приходил ко мне или вернее — за мной, так как беседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции. Мандельштаму было тогда семнадцать лет, мне девятнадцать...»³⁴

Больше всего Карповича поражала в Мандельштаме его необыкновенная впечатлительность: «Казалось, для него действительно были еще новы “все впечатленья бытия” и на каждое из них он откликался всем своим существом. В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем творце “Камня” еще не было... В нем не чувствовалось никакой связанности или ущемленности. Он был беспомощен в житейских делах, но духовно он был самостоятелен и, я думаю, достаточно в себе уверен».

³³ Карпович, 1957. С. 258.

³⁴ Карпович, 1957. С. 258, 260.

Эстетические вкусы и литературные увлечения 17-летнего Мандельштама представлялись 70-летнему Карповичу все же несколько эклектичными: *«Помню, как он с упоением декламировал «Грядущих гуннов» Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию Gaspard Hauser'a. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса, под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены «Танцем Саломей», а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее. К стыду своему, ни одного из ранних стихотворений Мандельштама я не запомнил...»*³⁵

Случай подарил нам еще одну хронологическую зацепку и даже парижскую фотографию Мандельштама. 23 января (5 февраля) 1908 года он послал матери следующую открытку:

«Дорогая мамочка! Посылаю тебе свою физиогномию, которая совершенно случайно запечатлелась на этом снимке. Можно сказать, что я обернулся нарочно, для того чтобы послать вам свой привет!.. Ося».

Петербургский адрес, указанный на карточке, переменялся: почти ежегодно Мандельштамы переезжали с квартиры на квартиру, и теперь они проживали по Итальянской улице, 27/2, кв. 30.

На самой же открытке изображены похороны парижского кардинала Ришара, прошедшие 1 февраля 1908 года. Надпись гласит: *«Funerailles de S. Em. Mgr. le Cardinal Richard Archeveque de Paris (1-er fevrier 1908). Arrivee du Cortege au Paris Notre-Dame».* Траурная процессия движется мимо собора Парижской Богоматери, в сторону от фотографа. На переднем плане — Мандельштам: он единственный, кто обернулся назад, в сторону фотокамеры.

Следующее письмо Мандельштама датировано 7(20) апреля 1908 года. Это пространственный ответ матери на ее письмо.

Вот его полный текст:

«Дорогая мамочка!

Получил, получил твое письмо. Что же это станется из нашей переписки, если неделями будем мы молчать...

Этак всякое живое содержание из нее исчезнет и поневоле останутся одни общие места.

Была ты, значит, у В. В. Это хорошо... Жалею, что не послал для него письма...

Любопытно мне, что он скажет. Надеюсь об этом скоро узнать.

³⁵ Карпович, 1957. С. 259. Стихами же Мандельштам отреагировал и на двухнедельный отъезд Карповича в Италию в апреле 1908 г. Из них Карповичу запомнилась только одна строка: «Поднять скрипучий верх соломенных корзин».

Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова... Период ожиданий и стихотворной горячки...

Время провожу так:

Утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер, — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа...

Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера.

Это милая комедия.

К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку.

И происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки...

Вчера, например, я до самого вечера говорил с неким молодым венгерским писателем о превысренних материях, состязаясь с ним в искажении языка. Этот талантливый поэт настойчиво употребляет странное выражение: "мустар" для обозначения горчицы (мелко, но характерно).

Не слишком ли преждевременно будет теперь думать об университетских хлопотах?

Ведь их и невозможно начать раньше осени?

А если меня не примут — то я поступлю в один из немецких университетов... и согласую занятия литературой с занятиями философией.

Маленькая аномалия: "тоску по родине" я испытываю не о России, а о Финляндии.

Вот еще стихи о Финляндии³⁶, а пока, мамочка, прощай.

Твой Ося».

Любопытен распорядок дня Мандельштама, начинающийся с одиноких прогулок по Люксембургскому саду. Свое подтверждение и неожиданное развитие тема таких прогулок нашла в следующем превеселом документе:

«Дорогой Вячеслав Иванович!

С.П. Каблуков есть лицо, не заслуживающее доверия, и все, что он клеветал — ложь.

И та строчка из моего стихотворения, которую он цитировал в своем письме к вам, читается без "в":

Неудержимо падай
Таинственный фонтан,

³⁶ К письму приложено стихотворение «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...».

а не “в таинственный”, как он утверждает; а если я в бытность мою в Париже упал в Люксембургский фонтан, читая Мэтерлинка, — то это мое дело.

И. Мандельштам».

Это недатированное письмо Мандельштама к Вячеславу Иванову, а может быть, не к нему, а к самому «не заслуживающего доверия лица» — С.П. Каблукову, вклеено в дневник последнего вслед за записью от 18 августа 1910 года.

В.В., о котором Мандельштам спрашивает в большом письме к матери от 7(20) апреля, это Владимир Васильевич Гиппиус — литературовед и поэт, тенишевский учитель словесности, оказавший на юного Мандельштама, быть может, самое сильное и формообразующее влияние, что со всею силой страсти и непочтительности отражено в завершающей «Шум времени» главке «В не по чину барственной шубе».

Мандельштам ждет от Гиппиуса высказывания: о чем же? Судя по следующему письму — скорее всего об очерке о Верлене, который он передал через мать. Спустя неделю после письма матери — 14(27) апреля — Мандельштам пишет ему отдельное и, так же весьма длинное, письмо:

«Уважаемый Владимир Васильевич!

Если вы помните, я обещал написать вам, “когда устроюсь”.

Но я не устроился, т. е. не имел сознания, что делаю “нужное”, до самого последнего времени, и поэтому я не нарушил своего обещания.

Поговорить с вами у меня всегда была потребность, хотя ни разу мне не удалось сказать вам то, что я считаю важным.

История наших отношений, или, может быть, моих отношений к вам, кажется мне вообще довольно замечательной.

С давнего времени я чувствовал к вам особенное притяжение и в то же время чувствовал какое-то особенное расстояние, отделявшее меня от вас.

Всякое сближение было невозможным, но некоторые злобные выходы доставляли особенное удовольствие, чувство торжества: “а все-таки..”

И вы простите мне мою смелость, если я скажу, что вы были мне тем, что некоторые называют: “друго-врагом»...

Осознать это чувство стоило мне большого труда и времени...

Но я всегда видел в вас представителя какого-то дорогого и вместе враждебного начала, причем двойственность этого начала составляла даже его прелесть.

Теперь для меня ясно, что это начало не что иное, как религиозная культура, не знаю, христианская ли, но во всяком случае религиозная.

Воспитанный в безрелигиозной среде (семья и школа), я издавна стремился к религии безнадежно и платонически — но все более и более сознательно.

Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения.

Но связь религии с общественностью для меня порвалась уже в детстве.

Я прошел 15 лет через очистительный огонь Ибсена — и хотя не удержался на “религии воли”, но стал окончательно на почву религиозного индивидуализма и антиобщественности.

Толстой и Гауптман — два величайших апостола любви к людям — воспринимались горячо, но отвлеченно, так же как и “философия нормы”.

Мое религиозное сознание никогда не поднималось выше Кнута Гамсуна, и поклонение “Пану”, т. е. несознанному Богу, и поныне является моей “религией”.

(О, успокойтесь, это не “мэонизм”, и вообще с Минским я не имею ничего общего.)

В Париже я прочел Розанова и очень полюбил его, но не то конкретное культурное содержание — к которому он привязан своей чистой, библейской привязанностью.

Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку — но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь. Отсюда вам будет понятно мое увлечение музыкой жизни, которую я нашел у некоторых французских поэтов, и Брюсовым из русских. В последнем меня пленила гениальная смелость отрицания, чистого отрицания.

Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки.

Кроме Верлэна, я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне.

Затем немного прозы и стихов.

Лето я собираюсь провести в Италии, а вернувшись, поступить в университет и систематически изучать литературу и философию.

Вы меня простите: но мне положительно не о чем писать, кроме как о себе. Иначе письмо обратилось бы в “корреспонденцию из Парижа”.

Если вы мне ответите, то, может быть, расскажете мне кое-что, что могло бы меня заинтересовать?

Ваш ученик Осип Мандельштам.

Мой адр<ес>: Rue Sorbonne, 12».

Если в письме к матери примерно очерчен распорядок дня школяра Мандельштама, то в письме к Гиппиусу — круг его занятий

и интересов. К сожалению, мандельштамовские тексты того времени практически не сохранились — ни о Верлене, ни о Роденбахе, ни о Сологубе. Единственный, который, пожалуй, можно заподозрить в принадлежности к этому периоду, — это перевод стихотворения Малларме «Ночной ветер» («Brise marine», 1865). До нас дошел, и то благодаря все тому же «не заслуживающему доверия» Каблукову, лишь начальный фрагмент:

Плоть опечалена, и книги надоели...
Бежать... Я чувствую, как птицы опьянели
От новизны небес и вспененной воды.
Нет — ни в глазах моих старинные сады
Не остановят сердца, пляшущего, доле;
Ни с лампою в пустынном ореоле
На неисписанных и девственных листах;
Ни молодая мать с ребенком на руках...

Оставим в стороне все шуточки и хохмы, которые пришлось Мандельштаму выслушать по поводу «кормящей сосны» в одной из редакций последней строки («И молодая мать, кормящая со сна...»)! Перевод был выполнен по совету И. Анненского и, надо сказать, удачно. И ритмический и смысловый рисунок оригинала переданы хорошо.

А чтобы не быть голословными, воспроизведем по-французски те же первые восемь строк:

La chair est triste, hélas! Et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnu et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retindra ce coeur qui dans la mer se trempe
O nuits! Ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que le blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant...

Addio, Paris!

...В мае или начале июня 1908 года Мандельштам покидает Париж. По крайней мере не позднее 9 июня он уже был под Петербургом, в имении Дубки близ станции Преображенской Варшавской железной дороги, куда ему и младшему брату (средний, Шура, был в Райволе)

написала мама — скорее всего из курорта Халлензее под Берлином. А уже к 24 июня Осип и Женя приехали к ней в Берлин. Об этом, сетуя на то, как улетают деньги, она написала Шуре: «*Ося милый, хороший, только очень слаб. Париж его извел*»³⁷.

Что именно имеется в виду — неясно, но по крайней мере одно обстоятельство упомянуто: «*Ося возится с зубами — еще хуже, чем у тебя, Шурушка, — нельзя откладывать было. Береги зубы, дитя, чисти, полощи, а то горе — уши, нос страдают*»³⁸.

На 26 июня, как явствует из писем, намечался отъезд в Шварцвальд, в печально прославившийся «чеховский» Баденвайлер. Но уже 27 июня цель маршрута обозначена иначе: город Юденроде в Гарце. Во всяком случае в июле, вместе с матерью и младшим братом, он уже был в Швейцарии, в Берне, откуда (24 июля) делает краткий и спонтанный бросок на юг — в Италию, в Геную (тайком от матери, с 20 франками в кармане)³⁹.

Был ли на самом деле визит в Италию, куда в апреле, кстати, уезжал и Карпович, таким уж скоротечным, сказать затруднительно. В стихах Мандельштама — внятные следы «очного» знакомства вовсе не с Генуей, а с Венецией, Римом и Флоренцией. Но, может быть, это знакомство состоялось или продолжилось годом позже, после «гейдельбергского» семестра Осипа Мандельштама?..

Не знаем. Но в любом случае «лета в Италии», о чем Мандельштам писал Гиппиусу, не получилось. 6 августа, то есть спустя две недели после Генуи, уже из швейцарского Сан-Морица Осип пишет отцу в прусский городок Хомбург-фон-дер-Хюэ (Гессен-Нассау): «*Видишь — я совсем близко. В Берне я буду может послезавтра. Там есть русское консульство. Тот же Париж. Спешить и волноваться нечего. В Интерлакен-отеле меня безсовестно ограбили*».

Зачет по Франции

«*Очарование этого прекрасного города, который некоторыми своими сторонами напоминает Рим, Венецию и Лондон, задело его на всю жизнь*», — так в 1926 году писал Валентин Парнах о Мандельштаме и о Париже⁴⁰.

³⁷ Из семейного архива А.Э. Мандельштама.

³⁸ Там же.

³⁹ Об этом — в письме к Шуре от 24 июля (6 августа). См. в наст. издании, с. 340—341.

⁴⁰ См.: Валентин Парнах о Мандельштаме // *Мандельштам О. Собр. соч.*: В 3 т. Т. 3. Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Нью-Йорк: Межъязыковое литературное содружество, 1969. — С. 399.

Франция и Париж прочно и навсегда вошли в сознание поэта, ассоциируясь в нем с солнечным, весенним, грозовым — о, революционные вихри! — началами (не отсюда ли и любовь к Барбье?). Мандельштам вспоминал — и тосковал — и писал о них и в петербургском предреволюционном великолепии («...*Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame, / Я изучал твои чудовищные ребра...*», 1912), и в принудительной промозглости Воронежа («*Я молю, как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости...*», 1937).

Париж для Мандельштама был тем же, что и для Вийона за пять веков до этого, — «...*морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной. Но так легко натолкнуться на один из бесчисленных мифов праздного существования...*» («Франсуа Виллон»).

Образы французской поэзии, как, впрочем, и образы самих французских поэтов — и в первую очередь Вийона и Верлена (поэтических братьев, в его представлении) — вошли в самое ядро поэтического сознания Мандельштама. Одна и та же линия пронизывает и связывает беззаботно-школярский парижский семестр 1907—1908 гг. и написанную по его впечатлениям в 1910 году статью «Франсуа Виллон», опубликованную в 1913 году в «Аполлоне»⁴¹, а также дивные стихи о Вийоне 1937 года:

...То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец.

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок,
и в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который как череп глубок;

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

⁴¹ И, кстати, единственную в книге «О поэзии» (1928), не подвергшуюся никаким переделкам.

Лекции в Коллеж де Франс также не прошли даром. Учение Анри Бергсона, как раз в 1907 году выпустившего свою знаменитую «Творческую эволюцию», аукнулось в одной из важнейших критических работ Мандельштама — «О природе слова» (1920—1922):

«Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, современная философия, в лице Бергсона, чей глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью практического монотеизма, предлагает нам учение о системе явлений. Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но и в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию.

Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и на долгое время поработившей умы европейских логиков, выдвигает проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики и, именно поэтому, более плодотворную для научных открытий и гипотез.

Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса...»⁴².

В 1923 году, в рецензии на книгу А. Свентицкого «Книга сказаний о короле Артуре и о рыцарях Круглого Стола» Мандельштам помянет и другого профессора из Коллеж де Франс — Жозефа Шарля Мари Бедье (1864—1938). Он назовет его главой современной романской филологии, а сделанную им реконструкцию фабулы «Тристана и Изольды» — подлинным филологическим чудом. Без его лекций вряд ли Мандельштаму пришло бы в голову заняться в начале 1920-х годов переводами из старофранцузского эпоса.

Наконец, Париж свел Мандельштама с некоторыми земляками, и это знакомство со временем перешло в доброе приятельство, как с Константином Мочульским или Михаилом Карповичем, или же в прочную дружбу, как с Николаем Гумилевым (если только они познакомились действительно в Париже).

⁴² О влиянии Бергсона на Мандельштама см. в работах *Фэвр-Дюпэвр А. Бергсоновское чувство времени у раннего Мандельштама // Мандельштамовские дни в Воронеже. Материалы. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1994. С. 27—31; Ее же. Тоска по единству: о влиянии Бергсона на раннего Мандельштама // RL. V. XLII (1997). No. 2. P. 137—152.*

«НА ЗАПАДЕ, У ЧУЖДОГО СЕМЕЙСТВА...»: СЕМЕСТР В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ¹

Габриэлю Суперфину

С душою прямо геттингенской...²

Три процента

Если не считать Дерптского (Юрьевского) университета, устроенного по «немецкому» образцу, то до начала XVIII века университетов в России не было. Лишь в 1755 году стараниями фрайбергско-марбургского школяра Михайлы Ломоносова открылся первый университет в Москве. Опоздавшей с университетами на три-четыре столетия, России потребовалось еще лет 150, чтобы примириться с самой мыслью об их автономии, ни на секунду при этом не расставаясь с побуждением одновременно и всесторонне ее ограничивать.

Так, в 1865 году, при Александре Втором Освободителе введены были неперенные вступительные экзамены по латыни и древнегреческому. Александр Третий пошел дальше, ужесточив контроль и повысив плату за обучение; его же эпохе обязаны мы и примерными

¹ Инициатором и вдохновителем поисков мандельштамовских следов в Германии, а также документов в гейдельбергском архиве был Г. Суперфин, первым публикатором — американский славист Т. Бейер (см.: *Th. R. Beyer. Osip Mandelstam and the University Heidelberg // The Slavonic and East European Review. 1987. Vol. 65. No 2. P. 236—237; Бейер Т. Осип Мандельштам и Гейдельбергский университет // Минувшее. Вып. 5. Париж, 1988. С. 222—227, с репродукцией подлинных документов). См. также: Нерлер, 1994; Nerler P. Ossip Mandelstam in Heidelberg // Mandelstam und sein Heidelberger Umfeld. Russica Palatina. Skripten der Russischen Abteilung des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg. Nr. 21 (Hrsg. W.Birkenmaier). Heidelberg. 1992, S. 3—69.*

² А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Часть 2.

учебными планами и государственными экзаменационными комиссиями. С царствования Николая Второго над зарвавшимся студенчеством зависла действенная угроза сменить университетскую скамью на солдатскую казарму: монарший ответ на студенческие волнения, прокатившиеся по России в 1887—1890 годах. До 1905 года и студенты и профессора носили особую униформу.

Для еврейских юношей поступление в университет регулировалось пресловутой «трехпроцентной нормой»³. Еще хуже евреев были женщины: их не принимали даже в слушательницы!

Летом 1908 года прошел слух о грядущей отмене трехпроцентной нормы в России. И уже в сентябре Мандельштам возвращается из Европы в Петербург с твердым намерением тотчас поступить в Санкт-Петербургский Университет. Но слух не подтвердился, и план этот был отставлен и заменен другим, тоже обидевшимся в письме к матери — поступать в университет в Германии.

Так оно и вышло: на следующий год Мандельштам поступил в Гейдельбергский университет.

Город

Ночи напролет бродя по горам Гейдельберга, смотрел я, бывало, на летящую под облаками луну, на переливающийся огнями сизо-туманный город подмною с его мостами и башнями...⁴

Край небритых гор еще неясен...⁵

...Сильная, упругая река, высокие, всхолмленные, буком поросшие берега, старинный замок на одном и живописные развалины на другом, гармоническое нагромождение зданий в низине, сплетенная из них паутина улиц.

³ См. в разделе «И возник вопрос...» в наст. издании, с. 207—215.

⁴ *Степун*, 1990. С. 150. Степун Федор Августович (1884—1965) — русский философ; с зимнего семестра 1903/04 учился в Гейдельберге. В 1910 г. защитил у Виндельбанда диплом на тему «Владимир Соловьев». Редактор русского издания философского журнала «Логос». При правительстве Керенского работал в военном министерстве. После высылки в 1922 г. за границу получил кафедру социологии в Дрездене; в 1937 г. отправлен на пенсию. С 1947 г. профессор русской духовной истории в университете Мюнхена. Упомянутые воспоминания в трех томах впервые опубликованы в 1949 г. в авторском немецком переводе. По-русски впервые вышли в двух томах в 1956 г. в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке.

⁵ Из стихотворения «Канцона», написанного 26 мая 1931 г.

Особенно прекрасен город в утренний час, когда опаздывающее из-за близких гор солнце разгоняет сгустившийся за ночь густой туман, опустившийся чуть ли не на крыши домов. Тишину разгоняют колокола и трамваи, да разве что на Неккаре перекинутся друг с другом парой громких приветствий встречные катера и груженные лесом баржи.

Вот как описывает первое впечатление от Гейдельберга Федор Степун: *«После страшного ночного Берлина приветливый утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией... Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнезвился знаменитый Гейдельбергский замок со своей древней круглой башней. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным горбатым мостом. По параллельной Неккару Главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через новый мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесно-го города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора»⁶.*

В городе театр, симфоническое общество, что-то еще и еще, но главное — университет. Впрочем, о Марбурге, Тюбингене и Гейдельберге не говорят, что в них есть университет (*Sie haben Universität*), о них говорят, что каждый из них, собственно, и есть университет (*Sie sind Universität*).

Эти города никогда не отделяли себя от своей ученой ипостаси; сдача комнат внаем и кормление студенчества долго были чуть ли не единственными источниками доходов горожан, и никакой профессор не мог пройти по улице без того, чтобы не приходилось отвечать на приветствия всех без исключения прохожих.

В праздники — а они тут не редкость — весь город пестрел разноцветными флажками, целые гирлянды флажков висели между домами на противоположных сторонах узеньких улочек и скрипели при порывах ветра. Студенты, разбитые на корпорации (в основном по земляческому признаку: например «Тюрингия» или «Боруссия»⁷), дружно враждовали друг с другом. Они носили разноцветные костюмы и шапочки, ленты, знамена, даже шпаги и рапиры⁸ — чем немало

⁶ Степун, 1990. С. 99. Заметим, что речь идет о старом, ныне не существующем вокзале, находившемся приблизительно напротив так называемого «Нового моста».

⁷ «Пруссия» (лат.).

⁸ Высшим шиком считались шрамы на лице — следы дуэлей — и еще бульдоги, прыгающие по команде хозяина через палку или трость. Об этом пишет другой русский гейдельбержец — Владимир Михайлович Зензинов (1880—1940; будущий видный эсер и член омской Директории) — в своей мемуарной книге «Пережитое» (Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953. С. 82—94).

способствовали той карнавальности, что так прочно утвердилась в городе. Летом бывал особенный праздник — «Итальянские ночи», когда к флажкам добавлялись столь же пестрые фонарики, а город — под отовсюду гремевшую музыку — весь поголовно танцевал!

«...Очень дружелюбный и чистый город — такой чистый, что о галлошах здесь и не заговаривают, — писал о Гейдельберге родителям 13/25 ноября 1859 года Александр Порфирьевич Бородин, 25-летний студент-химик и будущий автор «Богатырской симфонии». — ...*Погода чудесная, и все ходят в легких пальто, головные уборы здесь ни к чему; окна весь день можно держать открытыми, а на ивах совершенно зеленые листья, и, что совершенно невероятно, цветут на открытом воздухе розы*»⁹.

Иностранцы, и русские в том числе, держались друг друга, с немцами почти не соприкасались. Бородин, например, находил их невыносимыми и напыщенными: с легким сарказмом описывал он домашним обычную ситуацию. Если занесет вас вдруг нелегкая в какое-нибудь немецкое семейство, где — Боже правый! — подросли дочки, и если вы присели с одной из них к роялю и сыграли что-нибудь простенькое в четыре руки, то назавтра все на вас глядят уже не иначе как на законного жениха.

Общество немцев-студентов он находил и того хуже — шумная, крикливая братия в сапогах необъятных размеров, пьяницы и дуэлянты, разбившиеся на группки с непременным каким-нибудь отличием в цвете шарфа или шляпы. Поводом же для дуэли служило, как правило, такое страшное оскорбление, как: «*Ну ты, неразумный мальчишка!*..» И так, настаивал Бородин, испокон веку!..

Впрочем, к чести извительного химика, еще меньше шадил он своих соотечественников. Он различал среди них две неравные группы: первые — что-то делали, например, ходили на лекции, вторые — не делали ничего. И даже Иван Сергеевич Аксаков, славянофил из славянофилов, под впечатлением факельного шествия в честь одного профессора, а в точно таком же виде оно могло состояться и 200 и 300 лет назад — писал из Гейдельберга домой о том, как недостает русским этой немецкой почтительности и уважения к традиции¹⁰.

В действительности русское общество уже тогда было расколото и еще по одному признаку — политическому.

⁹ В те же годы, что и Бородин, в Гейдельберге учились и такие будущие знаменитости, как Д.И. Менделеев и И.М. Сеченов. В те времена комната (с постельным бельем и уборкой) стоила 11 гульденов, или 6 рублей и 60 копеек; обедали в час дня, в отеле «Badischer Hof», где обыкновенно собирались русские. См.: Дианин С.А. Письма А.П. Бородина. Вып. I (1857—1871). М., 1927—1928. С. 36.

¹⁰ В конце концов он и вовсе сбежал от переизбытка соотечественников в Гейдельберге, который он называл «маленьким русским городом» — в город многолюдный и большой, где легко затеряться, — в Мюнхен!

«Правые», консерваторы, поддерживали правительство, в том числе и в польском вопросе; «левые», радикалы, или «красные», не жаловали самодержавие, боготворили Герцена и записывались добровольцами на защиту восставшей Польши или в отряды Гарибальди. Именно они устроили осенью 1861 года «кошачий концерт» Евфимию Васильевичу Путятину — но не как прославленному вице-адмиралу, герою гончаровского «Фрегата “Паллада”», а как временщику-министру (народного просвещения!), только что запрещенному студенческие корпорации и закрывшему часть российских университетов¹¹.

Пироговская читальня

Именно в «левой» среде и зародилась, а в конце 1862 года осуществилась идея собственного клуба, места, где можно было бы собираться и спорить, листая как российские «Ведомости», так и лондонский «Колокол» и другую запрещенную литературу.

Таким местом стала русская читальня, получившая со временем название Пироговской. Собственно, ни основателем, ни попечителем этого заведения знаменитый русский военный хирург не был¹². Но уважение студенчества — как правого, так и левого — он себе снискал, и еще добрых полвека его имя почтительно повторялось в названии гейдельбергской русской читальни.

Вначале читальня размещалась в двух комнатах при кондитерской фрау Хелверт, в доме 52 по тихой университетской улочке Плэцк.

¹¹ Судя по названию отеля («Anlage»), где остановился не на шутку перепугавшийся министр, жил он практически там же, где позднее Мандельштам. После полученной душевной травмы Путятин перебрался в Штутгарт, а в декабре 1861 г. подал в отставку, сдав дела А.В. Головнину. Этот-то министр и прислал своим представителем в Гейдельберг тайного советника Пирогова. Подробнее см.: *Russische Stimmem...*, 1992. S. 19—25.

¹² Николай Иванович Пирогов прибыл в Гейдельберг в июле 1862 г. в качестве официального представителя Министерства народного просвещения для опеки тех из российских студентов, что были посланы за границу на министерские стипендии (в этом качестве он пробыл в Гейдельберге до 1865 г.). Истинными же основателями читальни были студенты Л.И. Бакст, Г. Веселицкий, А.Л. Линев и В.Ф. Лугинин (см.: *Russische Stimmen...*, S. 7—18). Читальня была названа именем Пирогова лишь после его смерти в 1881 г. Сам же Пирогов скорее был причастен к созданию другого очага русской общественности, кажется, угасшего с его отъездом, чего-то вроде научного русского кружка, собиравшегося одно время чуть ли не еженедельно в отеле «Руссише хоф» на Леопольдштрассе, 35, где звучали главным образом сообщения о научных интересах, а иногда и о результатах работы того или иного стипендиата или студента (*Russische Stimmen...*, S. 47—48).

Назначение читальни было сформулировано в ее уставе так: «Предоставить членам возможность знакомиться с известиями о России и русской литературе посредством приобретения русских периодических изданий и книг, а также иностранных книг, в коих повествуется о России»¹³. На складчину русских колонистов поступали сюда газеты, журналы, книги, а поначалу — в 1864 году — кратко время издавался сатирический журнальчик, точнее периодический листок, залетевший даже на страницы тургеневского романа «Дым»¹⁴.

Состояние читальни в середине 1880-х годов описывает известный юрист Г.Б. Слиозберг: «Русские студенты встречались в читальне, помещавшейся на одной из главных улиц в нанятой комнатке. Ею управлял какой-то комитет, которого мы, студенты, никогда и не видели. Двери этой читальни были денно и ночью открыты, какая-то невидимая рука — редко — убирала эту комнату и стирала пыль с книг; студенты же, кто мог, делали кое-какие взносы на содержание библиотеки, на выпуск журналов, — большинство последних, впрочем, получалось бесплатно. Бюджет библиотеки был весьма ничтожный: 100 или 150 марок в месяц»¹⁵.

Позднее библиотека, кажется, переехала. Во всяком случае Ф. Степун пишет о мансарде темноватого трех- или четырехэтажного дома на Мерцгассе (внизу даже вывеска на русском языке висела!). Наткнувшись на вывеску случайно и решив посмотреть, «что за читальня и что за народ в ней читает», он вынес из своего первого посещения «читалки» не самое лучшее впечатление: «В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и “борцов за свободу”, сидели, осторожно шуриша тонкой бумагою конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди.

Никакого привета себе как русскому я в быстрых, исподлобья брошенных на меня взорах, не почувствовал. Прочтя на двери, ведущей в соседнюю комнату, надпись: “Правление, часы приема такие-то”, я постучался и тут же услышал “Herein!”¹⁶. В двух зад-

¹³ Цит. по: *Zum Winkel*, 1982. S. 140.

¹⁴ Он выходил под двойным французско-русским названием: «A tout venant je sçache, или Бог не выдаст — свинья не съест») и был оружием партии радикальных приверженцев Герцена («нигилисты»), или «петербуржцы») в их борьбе с партией умеренных либералов — поклонников М.Н. Каткова («москвичи»). Разысканы (А. Черняком) два, и достоверно? упоминание также о третьем номере журнала. Подробнее см.: *Сватиков С.Г.* Студенческая печать с 1755 по 1915 гг. (Журналы, газеты, отписки и альманахи). М., 1916 (отдельный оттиск); *Черняк А.* Журнал русских студентов в Гейдельберге // ВЛ. 1959. № 1. С. 173—183.

¹⁵ См.: *Слиозберг Г.Б.* Дела минувших дней. Записки русского еврея. Т. 1. Париж, 1933. С. 161.

¹⁶ «Войдите» (нем.).

них комнатах, заваленных книгами в дешевых переплетах и, главным образом, журналами, курило несколько по всей своей культурно-бытовой сущности совершенно инородных мне молодых людей. Я просмотрел каталог, записался в члены и вышел из читалки более одиноким, чем вошел в нее»¹⁷.

В декабре 1912 года, когда отмечалось 50-летие читальни, в ней насчитывалось уже около трех тысяч томов¹⁸: На юбилейном заседании выступил знаменитый социолог Макс Вебер, к слову сказать, изучавший русский язык. Он посвятил свой доклад отношению русской и немецкой культур. По мнению его, Россия — страна неограниченных размеров и возможностей, страна гигантских, словно бы другой исторической эпохе принадлежащих, явлений (Толстой, Шаляпин, Карсавина). Он утверждал и пророчествовал: “Wir sind auf einander angewiesen auf Leben und Tod!” — “Россия и Германия не могут и жить друг без друга!.. Ах, если бы только русские знали меру, как знаем ее мы, немцы! Если бы понятие немецкой меры соединилось бы с русской безмерностью, — тогда наступила бы гармония, которая бы спасла мир. В противном случае наша цивилизация и культурный мир погибнут от дисгармонии!”¹⁹

¹⁷ См.: Степун, 1990. С. 114. «С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей, — продолжает Ф. Степун, — сблизилась с такою чуждой поначалу средой западно-русского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так и не стали». Он пишет о том презрении, которое питало к беспартийным «академикам» и «буржуям» русско-еврейское социалистическое студенчество. Председателем читальни во времена Ф. Степуна был Товбин — «нищий, чахоточный, идеалистический марксист». Очень интересно описание докладов, читанных эсдеками Л. Дейчем и Б. Столлнером, эсерами А. Гоцем и И. Бунаковым и, наконец, полемизировавшим со всеми самим Ф. Степуном, поддержанным одним только Б. Кистяковским. Тем не менее «читалка» притягивала к себе с неумолимостью, и даже внепартийный Ф. Степун участвовал в концертах, вечерах и балах в ее пользу. На собственный вопрос: «Почему!?!» — Ф. Степун отвечает: «Таков уж был дух времени: самая таинственная, самая неуловимая и все же реальная сила истории» (Степун, 1990. С. 119). Не случайно, что именно в этой среде родился и осуществился замысел, кажется, первого русского философского журнала «Логос», редакторами которого были С. Гессен и Ф. Степун (предтечей «Логоса» была коллективная брошюра «Von Messias» («О мессии»), напечатанная в 1909 г. и состоявшая из пяти эссе пятерых друзей-авторов — Р. Кронера, Г. Мелиса (будущие редакторы немецкого издания «Логоса»), Н. Бубнова, С. Гессена и Ф. Степуна.

¹⁸ Эту цифру приводит Н.Н. Бубнов в послесловии к рефотографированному изданию: *Heidelberger russische Periodika*. Alphabetisches Verzeichnis der 154 russischen Periodika des Slavischen Instituts und der Universitätsbibliothek Heidelberg / Zusammen-gestellt vom W. Kasack. Heidelberg, 1952. S. 17.

¹⁹ Штейнберг, 1991. С. 196. Об этом заседании см. также: Birkenmaier W. Max Webers Rede zum Jubiläum der russischen Lesehalle // Mandelstam und sein Heidelberger Umfeld. Russica Palatina. Skripten der Russischen Abteilung des Instituts für Übersetzen

Но гармония так и не наступила. Грянула Первая мировая война, и читальня пала одною из несчетных ее жертв: ее закрыли, переведа по сути — наравне с большинством читателей — на положение гражданской пленницы. Книги же разослали по лагерям военнопленных русских офицеров. После войны, когда книги стали возвращаться целыми пачками, их, не разбирая, складывали в сыром подвале университетской библиотеки. Неизвестно, что с ними стало бы, если бы не Н. Бубнов — старый гейдельбержец, ученик Виндельбанда, Тоде и Риккерта, товарищ Степуна по философскому журналу «Логос»: Бубнов возродил читальню со всем ее инвентарем как ядро основанного им Института славистики!²⁰

В конце концов ее некогда внушительные фонды — точнее, то, что от них осталось — легли на стеллажи университетской библиотеки Гейдельберга²¹.

Университет

*Гейдельберг того времени был Меккой, куда стремились... русская учащаяся молодежь, преимущественно натуралисты*²²

und Dolmetschen der Universität Heeidelberg. Nr. 21. Heidelberg, 1992. S. 70—78. О связях Макса Вебера с русским студенчеством и их взаимовлиянии см.: *Treiber H. Die Geburt der Weberschen Rationalismus-These: Webers Bekanntschaften mit der russischen Geschichtsphilosophie in Heidelberg. Überlegungen anlässlich der Veröffentlichung des ersten Briefbandes der Max-Weber-Gesamtausgabe // Lenathaus. 1991. Nr 3. S. 435—451.*

²⁰ Николай Николаевич Бубнов (1880—1962) — русский философ и «гейдельбержец» с огромным стажем. Впервые приехав сюда в 1902 г., он проучился на философском факультете в общей сложности 7 семестров и в начале 1908 г. защитил диссертацию «Сущность и предпосылки индукции». В 1911—1914 и 1919—1956 гг. преподавал в Гейдельбергском университете (с 1924 г. — профессор); в промежутке испытал все прелести интернирования. В 1920 г. под эгидой Фонда науки и искусства им. Портхайма и на базе остатков Пироговской читальни создал Институт славистики, в 1931 г. вошедший в состав Гейдельбергского университета; с 1931 по 1956 гг. был его бессменным директором и одновременно (с 1933 г.) руководил русским отделением университетского Института переводчиков.

²¹ Что касается архива Пироговской читальни, то лишь малая его часть сохранилась в архиве Гейдельбергского университета. Большая часть — стараниями представителя Русского зарубежного исторического архива в Праге историка Сергея Григорьевича Сватикова (1880—1942), учившегося в Гейдельберге с 1902 г. и защитившего у Г. Елинека диплом на тему «Проекты изменения русской конституции. К развитию конституционных идей в России, 1730—1819», — в начале 1920-х гг. была переправлена в США (см.: *Zum Winkel*, 1982. S.140) — предположительно в Бахметьевский архив.

²² *Тимирязев К.А.* Биографический очерк А.Г. Столетова // *Столетов А.Г.* Собрание сочинений. Том 2. М., 1941. С. 9.

Имени Его Высочества великого герцога Баденского Рупрехта Карла университет — Ruperto Carolina — был основан означенным лицом в 1386 году. По размерам он относился к числу средних (число студентов в 1883 году впервые перевалило за тысячу, а в летний семестр 1908 года — за две тысячи; впрочем, зимние семестры всегда были малолюднее летних²³), по научным традициям и силам — к числу ведущих. Профиль университета: юриспруденция, медицина, естественные науки с математикой, философия и теология.

Начиналось все, естественно, с богословия. В XIX веке гремели имена естественников во главе со знаменитыми химиками Бунзеном и Кекуле, было немало и известных философов, но по числу записавшихся студентов долгое время первенствовал юридический факультет. В начале XX века — ненадолго — лидерство захватил факультет философский (учеба Мандельштама пришлось как раз на этот промежуток) — с тем чтобы вскорости пропустить вперед медицинский.

В тот год, когда Мандельштам приехал в Гейдельберг, во главе университета стоял известный философ Вильгельм Виндельбанд. Должность его называлась проректор, так как ректором по традиции считался очередной Великий герцог Баденский. Виндельбанду выпала честь быть президентом Третьего философского конгресса, прошедшего в Гейдельберге ровно за год до приезда туда Мандельштама — в сентябре 1908 года²⁴.

Деканами факультетов — теологического, юридического, медицинского, философского и естественно-математического — были, соответственно, профессора Г. фон Шуберт²⁵, Г. Елинек²⁶, К. Менге²⁷,

²³ Для сравнения, в зимнем семестре 1991/1992 гг. имматрикулировалось 29 тыс. студентов.

²⁴ О Виндельбанде еще будет сказано ниже.

²⁵ Тайный церковный советник Ганс фон Шуберт (1859—1931), чья — уже ректорская — подпись скрепит в 1911 г. отчисление Мандельштама, родился 12 декабря 1859 г. в Дрездене, изучал германистику, историю, классическую филологию, а также правоведение в университетах Лейпцига, Бонна, Страсбурга и Цюриха. В 1884 г. в Страсбурге защитил диссертацию, преподавал теологию в Тюбингене, Галле, Страсбурге и Киле, а с 1906 по 1928 гг. — в Гейдельберге.

²⁶ О тайном советнике Георге Елинеке (1851—1911) — *«меланхолическом рыжем австрийце»* (в действительности еврее из Лейпцига, в 1910 г. перешедшим в протестантизм; в Вене же он всего-навсего преподавал с 1874 по 1889 гг. — П.Н.), *с кривым пенсне на нервных ноздрях и снулым взором поверх него»,* вспоминал все тот же Ф. Степун: *«В равной мере историк и юрист, Елинек был одним из первых социологов среди немецких государствоведов. Его живые и в научном отношении весьма поучительные лекции отличались стереоскопической рельефностью научного анализа и не лишены творческого пафоса полемическим задором»* (? (Степун. 1990. С. 111).

²⁷ Карл Густав Аугуст Фридрих Давид Герман Менге (1864—1945) в Гейдельберге работал с 1908 по 1930 гг.

Ф. Болль²⁸ и Куртиус²⁹.

Гейдельберг — северная окраина Герцогства Баденского, и университет географически был как бы нацелен на земли соседей. Студенты из Гессена, Пфальца, Пруссии и других частей Германии составляли здесь зримое — не менее трех четвертей — большинство. От 10 до 15 процентов приходилось на чужестранцев, из них около половины составляли выходцы из Российской империи (далее следовали швейцарцы и граждане Австро-Венгрии).

Среди российских студентов существовало примечательное расслоение. Если взять для примера данные зимнего («мандельштамовского») семестра 1909/1910 года, то увидим, что из 105 студентов 37 учились на медицинском, 36 — на юридическом, 19 — на естественно-математическом, 11 — на философском и 2 — на теологическом. При этом чуть ли не две трети их числа составляли юноши из еврейских семей, и лишь процентов по 10 приходилось на русских, поляков и «прочих» (главным образом прибалтийских немцев). Подавляющее большинство евреев записывались на медицинский и юридический, десятая часть — на естественно-математический и лишь считанные единицы — на философский (в «мандельштамовском» семестре ими были он сам и еще братья Штейнберги). Симпатии собственно русских, поляков и «прочих» распределялись между всеми факультетами, кроме теологического и камерального, примерно поровну.

Подчеркнем, что все это был почти исключительно «мужской контингент». И хотя, в отличие от нынешних времен, женщин среди студентов почти не было, все же именно с Гейдельбергом и именно с российскими подданными связаны революционные сдвиги в этом довольно нелепом положении. Чтобы сломить вяловатое перед таким напором сопротивление университетского сената, потребовались приезд (весной 1869 года) и энергия 20-летней русской провинциалки из Палибино в Витебской губернии, — Софьи Ковалевской (1850—1891). Сначала, в порядке исключения и с согласия немецкого профессора (а такой нашелся!), сенат разрешил зачислить ее слушательницей естественно-математического факультета³⁰. Когда Ковалевская покинула Гейдельберг в 1871 году, впереди ее ждали защита диссертации в Геттингене, профессура в Стокгольме, членкорреспондентство в Российской академии наук — и все это вперыве в неэмансипированном мире!

²⁸ Франц-Иоганн Болль (1867—1924) — профессор классической филологии Гейдельбергского университета в 1908—1924; в 1909/10 — декан философского факультета и член Малого сената; в 1923 г. — ректор.

²⁹ Сведениями не располагаем.

³⁰ С 1891 года на этом и с 1895 и 1899 гг. на философском и на теологическом факультетах такое разрешение уже и не требовалось).

В 1900 году — впервые в истории германских университетов — был снят запрет и на имматрикуляцию женщин, а заодно и на их право писать и защищать диссертации. В результате доля женщин в числе студентов составила в 1903 году около трех, а в 1914 — уже десять процентов.

Если в российских университетах экзамены — вступительные и выпускные — были своего рода повинностью, горнилом, средством отбора, то в германских — напротив, честью, ибо надобны были лишь тем, кто планировал двигаться вверх по академическим ступенькам (например, писать и защищать диссертацию).

Учеба разбивалась на два семестра: летний и зимний. Летний начинался 15 апреля и кончался 15 августа, зимний, соответственно, 15 октября и 15 марта.

Впрочем, поступить можно было и месяцем позже — срок подачи матрикулов, то есть заявлений о приеме, истекал, например, в зимнем семестре 18 ноября³¹.

Какой была сама процедура имматрикуляции?

Непременное условие — личное присутствие кандидата в студенты. В университетской канцелярии будущий студент сам вписывал свое имя и основные данные в пудовый *Album Academicum*, или *Album Matriculorum*, и заполнял *Anmeldungslist* — бланк заявления о приеме³².

При этом для германских подданных требовался аттестат зрелости, выданный по окончании немецкой гимназии, реальной гимназии или высшего реального училища, а для иностранноподданных, кроме аттестата зрелости, — еще и свидетельство об образовании, признаваемое на родине достаточным для того, чтобы подать заявление на учебу в иностранном университете³³. Если человек подавал заявление в университет сразу же по окончании среднего учебного заведения на родине, то требовалось еще и свидетельство о добронравном поведении, а в иных случаях — выданное полицией свидетельство

³¹ Но, заявивсь сюда девятнадцатого числа хоть Иммануил Кант с Александром Гумбольдтом, они скорее всего вернулись бы ни с чем: орднунг есть орднунг! Исключения для опоздавших, впрочем, допускались, — разумеется, лишь при указании подобающих ситуации уважительных причин, но в любом случае опоздавших лишали права сдавать экзамены в этом же семестре (решение принимала специальная комиссия; в зимнем семестре 1909/10 года в ней состояли ректор Виндельбанд, декан теологического факультета фон Шуберт и сотрудник дисциплинарного департамента).

³² По уставу, бланк заполнялся от руки, подписывался и сдавался в канцелярию в предобеденные часы любого из первых четырех дней недели, но в действительности администрация несколько упростила себе жизнь, начав принимать заявления раз в неделю (см. ниже об имматрикуляции О. Мандельштама).

³³ Между прочим, на женщин эта льгота не распространялась: для них непременным условием был аттестат зрелости именно немецкого учебного заведения.

о благонадежности, паспорт или удостоверение о соответствующем гражданстве³⁴. Студент расписывался в том, что признает регулирующие его жизнь положения гражданского и университетского права³⁵.

Факультет определялся в соответствии с выбором учебных дисциплин. В любое время допускался переход с одного факультета на другой, но допуск к государственным, церковным или академическим экзаменам разрешался лишь в том случае, если переход совершился в сроки, не выходящие за рамки обычных сроков для подачи заявлений³⁶.

Если к подателю заявления не возникало вопросов (документы в порядке, в черных списках революционеров не значится), то ему остается еще наведаться в квестуру, или, как сказали бы сейчас, в бухгалтерию.

Система платы за обучение, как и все в Германии, была разработанной и разветвленной. Оплате подлежали следующие сборы и пошлины.

Одноразовый вступительный сбор — 20 марок при первом поступлении и 12 — если поступающий уже учился до этого в другом немецком университете или высшем техническом училище. За каждый семестр: страховой сбор в 2 марки в *Krankenverein* — на случай ухода в связи с возможной болезнью; комиссионный студенческий сбор в 2 марки — на покрытие расходов достойных представителей студенчества *Ruperto-Carola*³⁷; так называемые аудиторные деньги, предназначенные для покрытия общеуниверситетских расходов, — 5 марок³⁸. На частичное покрытие расходов по обеспечению необходимыми для обучения материалами взимался так называемый практикантский взнос. От 30 пфеннигов до 5 марок составлял сбор в кассу страхования от несчастных случаев.

³⁴ Для тех, кто уже обучался до этого в других университетах, требовались и надлежащие выпускные свидетельства).

³⁵ Впрочем, как сообщает Ф. Степун, для поступления на философский факультет все же требовалось свидетельство о сдаче экзамена по одному из древних языков. Лично он еще из России обратился к ректору с письмом, где просил принять его без такого свидетельства, а лишь с аттестатом реального училища. Он был принят, но с тем условием, что перед докторским экзаменом предоставит и такое свидетельство (*Степун*, 1990. С. 95).

³⁶ Не принимались заявления от служащих общественных учреждений и от лиц, зарегистрированных в иных учебных заведениях или уже имеющих ремесленную или другую самостоятельную специальность.

³⁷ «Руперто-каролинцы» — самоназвание местного студенчества, подобно «филиппинцам» из марбургского Филипп-университета.

³⁸ С медиков, фармацевтов и естественников взимался еще и институтский сбор на поддержание оборудования соответствующих институтов: 5 марок, а для иностранцев — 25.

Коллегиальный сбор рассчитывался на каждый семестр пропорционально числу прослушиваемых еженедельно курсов лекций (обычно их было четыре или пять) колебался от 4—5 до 6—10 марок (в зависимости от того, сопровождалась ли лекция опытами, экспериментами и прочими демонстрациями или нет). Обычный лекционный курс, занимающий один семестр, стоил 20—25 марок³⁹.

Посещение продолжающегося цикла лекций разрешалось лишь на основании записи в соответствующем журнале, сделанной не позднее 28 ноября. В более поздние сроки разрешение мог дать только ректор, только письменно и только в порядке исключения. Каждый обучающийся обязан был прослушать в течение одного семестра по меньшей мере 4 часа дополнительных лекций.

Конечно же, во всех этих правилах и установлениях были прорехи и лазейки, которыми студенты, как могли и умели, охотно пользовались. Некоторые, оплатив из родительского кармана необходимые суммы, почти не появлялись на занятиях, находя себе «магниты по-притягательнее», но были и такие, что, наоборот, платили по минимуму, а посещали — все, что только можно, и еще чуть-чуть.

Кроме писаных, существовали и неписанные правила. Одним из них являлось непременно посещение на дому либо проректора, либо декана, либо своего будущего профессора. Все свидетельствуют о том, что визиты эти наносились на дому.

Вот как описывает свой визит к Виндельбанду Всеволод Никандрович Иванов, учившийся в Гейдельберге в летнем семестре 1909 года:

«Впечатляющий визит!.. Помню даже до сих пор адрес — улица Роз, 14. Квартира этого тайного советника, доктора, профессора и так далее выходила на площадку лестницы двумя дверями — налево помещалась квартира семьи, направо — его собственные две комнаты. Мне запомнилась комфортабельная столовая с массивным буфетом и столом, обширным диваном. На стене висела огромная копия известной картины Каульбаха “Пир Платона”, воспроизводившей диалог об Эросе, одухотворяющем Вселенную...»

Вильгельм Вильденбанд принял меня, долговязого юнца из России, с отменной любезностью, спросил меня о моих будущих занятиях так же просто, как Мефистофель расспрашивал ученика у Гете в “Фаусте”. Между прочим, он не обинуясь поставил вопрос о моем “беруфе” <профессии (нем.) — П.Н.>, то есть о том, что я намерен делать в жизни. “Вы хотите быть преподавателем философии?” — спросил он меня.

³⁹ Упражнения в семинарах, как правило, были бесплатные. Однако химические и физиологические лаборатории, а также анатомический театр оплачивались суммой от 50 до 100 марок за семестр, а клиники — 25—40 марок.

Для немца, ясно, такой вопрос был вполне уместен, меня же он сконфузил: мне казалось нескромным говорить о своем будущем, да еще столь высоко. “О, если бы это мне удалось, — отвечал я, — то конечно”. — “Вы не надеетесь на свои силы, молодой человек? Но ведь у вас уже есть аттестат зрелости! Надо сразу, придя в наш университет, знать, чего Вы тут будете добиваться”. Это было произнесено с такими решительными, хотя и сдержанными жестами, что у меня перехватило горло. Вот оно, то самое, ради чего я приехал сюда... Еще бы! Передо мной сидел ученый, давно знавший, чего он хочет. И уходил я от этого доктора, профессора, тайного советника весело и бодро. Ведь мне было только двадцать лет; неужели я не добьюсь того, чего я хочу? Я сорвал одну розочку на крыльце — продел ее в петлицу пиджака и, окрыленный, двинулся по улице Роз...»⁴⁰

...Венцом всей процедуры посвящения в студенты был торжественный акт в университетской аule. Вот как описывает его тот же Вс. Н. Иванов: «...Вступив в актовъй зал университета, я был поражен той роскошью, с которой был построен и отделан этот зал. Не очень большой, он был охвачен тройным кольцом нижних галерей, в середине которых стояли кресла партера, так что кафедра возвышалась среди аудитории. Дубовый потолок был украшен двумя расписными плафонами. Окна, тоже резного хитрого дела, в два света, освещали актовъй зал с обеих сторон. На передней стене за кафедрой — мраморный бюст ректора университета герцога Баденского; справа и слева — два медальона с именами его славных предков. По сторонам, перед двумя верхними окнами, — два резных балкона со свисающими с них университетскими знаменами, расшитыми шелком и золотом. Переднюю же стену, обращенную к аудитории, занимало большое панно живописца и скульптора того времени Макса Клингера. У синего моря, на берегу Эллады, той Эллады, которая была воскрешена немецкими философами, искусствоведами, художниками и музыкантами в начале XIX века, перед толпой молодых греков, вытянув вперед руки и подняв к небу незрячие глаза, восседал нагой Гомер, декламируя свою бессмертную поэму.

Картина была написана в условном серебристо-синем, зеленоватом, розоватом колорите морской пены, от которой однажды возникла и улетела на белых голубях богиня красоты Афродита. Замерев от восторга, слепому певцу внимали красавцы юноши и удрученные

⁴⁰ Иванов В.Н., 1989. С. 94. Всеволод Никандрович Иванов (1888—1971) — русский прозаик, автор повестей и романов «На Нижней Дебре», «Черные люди» и др. (См.: Русская литература Сибири. 1917—1970. Библиографический указатель. Часть II. Новосибирск, 1977. С. 136—138). Одно время находился в эмиграции (в Тяньцзинь), где редактировал ежемесячник «Вестник Китая» (См.: Материалы к сводному каталогу периодических и продолжающихся изданий российского зарубежья в библиотеках Москвы (1917—1990). М.: ГПИБ — ГБЛ, 1991. С. 15).

годами старцы. Эта романтическая композиция — в обрамлении дуба, великолепно освещенная со всех сторон, — производила сильное впечатление. Она отрывала мысль студентов от современности, переносила их на берег Эгейского моря, а нагота фигур на картине очеловечивала, объединяла их.

И, созерцая эту картину и слушая обращенную к нам речь ректора, я уже не чувствовал себя костромичом, приехавшим поклоняться свету разума в немецком университете... “Мы, — сказал он <речь идет о Виндельбанде — П.Н.>, очень эффектный в черной шелковой мантии и в берете, с большой золотой цепью на груди, — мы, ваши учителя, должны сказать вам, молодым людям, что не будем учить вас чему-нибудь определенному, той или иной отдельной науке. Мы будем учить вас работать самостоятельно над установлением, нахождением истины... Вы должны оставаться самими собой, самостоятельными в исследовании, каждый из вас должен проявлять в этой работе свою личность”⁴¹.

Мансарда

Найти квартиру в Гейдельберге в те времена было достаточно просто. В сущности, весь старый город был сплошным студенческим отелем⁴².

Из мандельштамовской переписки мы твердо знаем, что его адрес — семейный пансион фрау Джонсон «Континенталь» на Leopoldstrasse, 30. В записной книжке Вячеслава Иванова значится: «Мандельштам Осип Эмилевич Heidelberg Continental Anlage 30»⁴³.

Иногда в письмах Мандельштам обозначал свой адрес еще проще: «Anlage, 30»⁴⁴. В справочниках это название тоже указывалось (в скобках, как бывшее и факультативное), но было оно явно популярнее основного⁴⁵.

⁴¹ Иванов В.Н., 1989. С. 93—94.

⁴² Иные находили квартиру сами, но многие прибегали к услугам академической квартирной службы, располагавшейся в главном университетском здании. Обращаться туда рекомендовалось непосредственно, минуя квартиросдатчиков. Поскольку начало и конец семестров приходились на 15-е числа, то при ежемесячной оплате концом месяца считалось именно 15-е число. Если же обучение занимало более одного семестра, а студент хотел бы сохранить за собой квартиру или комнату, то он должен был оплачивать и каникулярное время.

⁴³ Там же — другая запись: «Флора Мандельштам. Моховая, 27, кв. 55 (до 24 сентября), потом Загородный пр., 70» (РГБ. Ф. 109. Карт. 43. Д. 7. Л. 144 об.—145).

⁴⁴ Что-то наподобие «бульвара» или «аллеи» (Grüne Anlage)

⁴⁵ То же самое и сейчас, когда улица переименована в Friedrich-Ebert-Anlage — в честь государственного деятеля послевоенной Германии, уроженца Гейдельберга.

Тридцатый номер — это центральная часть великолепного здания, облицованного розовато-желтой клинкерной плиткой⁴⁶. Четырех-пятиэтажное здание, с самого начала проектировавшееся как внешне единое, но в то же время внутренне трехчастное, было построено по общему проекту архитектора из Манхайма Леонарда Шэфера⁴⁷ — в 1892 году, то есть всего за 17 лет до приезда Мандельштама.

В доме 32 и по сю пору расположена гостиница с интригующим названием: «Hotel Anlage». Среди первых, по состоянию на 1895 год, собственников этого дома — Л. Харпер (L. Harrer, владелец пансиона Pension Villa Beau Séjour), профессор истории искусств Генри Тоде (на чьи занятия Мандельштам как раз записался!) и граф Иосиф фон Закревский. В более позднее время дом 32 принадлежал Францу Брауну, державшему заведение «Харпер» — одновременно отель и общежитие для иностранцев⁴⁸.

Дом же № 30, согласно адресной книге Гейдельберга за 1909 год, принадлежал жене капитана Гарри Джонсона (Johnson Harry, Kapitan Frau), державшей там семейный пансион. В адресной книге Гейдельберга фамилия Джонсон впервые встречается в 1900, а в последний — в 1916 году⁴⁹. На обе крайние даты самой хозяйки в городе не было и она фигурировала лишь как владелица здания, но в год, когда там жил Мандельштам, она вела пансион сама⁵⁰.

Само местоположение здания в городе уникально: одновременно в самом центре и на самом краю. Старый город — через улицу, два-три раза в неделю площадь напротив⁵¹ заполнялась гулом традиционного овощного базара. До вокзала (тогдашнего), до реки и до ратушной площади — какие-то сотни метров, не больше. И вместе с тем это самый край города: дом стоял у подножья Гайсберга — поросшей корабельным лесом горы.

Окошко мансарды, в которой жил Мандельштам⁵², выходило сюда же, на гору. От самого дома завивалась вверх ухоженная тропа —

⁴⁶ Одно время смущала нумерация: старейшая из служащих отеля предполагала, что нумерация домов здесь после войны менялась. Этого рода сомнения рассеялись после получения подтверждения из гейдельбергского городского архива (письмо архивариуса Д. Вебер П. Нерлеру от 16 марта 1992 г.).

⁴⁷ Стилистически оно принадлежит неоренессансу, но несет в себе черты и югендштиля.

⁴⁸ Сообщено С. Шульте (с 1971 г. дом № 32 находится в собственности ее семьи). В доме по-прежнему существует отель «Anlage».

⁴⁹ С 1916 г. она жила в Карлсруэ.

⁵⁰ В 1900 г., например, пансион вела вдова по имени Фрида Гириш.

⁵¹ Тогда она называлась Wrehl-Platz (в честь какого-то генерала); ныне — Friedrich-Ebert-Platz.

⁵² Разумеется, мы не знаем, на каком из этажей здания находилась комната Мандельштама. В пользу этой догадки говорит, однако, не только романтическое

Riesensteinweg⁵³: петляя по лесу, пересекаясь с другими тропками и дорожками, она могла бы привести к полуразрушенному замку с его конюшнями и непомерных объемов «Царь-бочкой» на 22 тысячи ведер вина⁵⁴, к старым заброшенным шахтам, к сторожкам и кострам лесорубов, на вершину Königstuhl'я — куда угодно. Впрочем, с Кёнигштуля было особенно приятно спускаться...

У фрау Джонсон, надо полагать, Мандельштам и столовался: наверняка завтракал, а возможно и обедал, и ужинал. И пансион, и ресторанчик капитанши, похоже, был и у русских на примете. Так, в зимнем семестре 1905/06 г. здесь жили Б. Кистяковский и Живаго, а в летнем семестре 1908 года — Ольжский. Именно здесь, в ресторанчике «Континенталь». Ф. Степун впервые увидел свою будущую жену⁵⁵.

Но Мандельштаму в соседи достались одни немцы. Обычно в пансионе проживало человек восемь-десять студентов. В зимнем семестре 1909/1910 годов, вместе с Йозефом Мандельштамом, их и было восемь. Пятеро были из соседних Гессена и Пфальца, причем четверо из Майнца: медики Франц Дюнгей, Вилли Шмидт, Филипп Крайсс и естественник Якоб Альбрехт, а пятый, Антон Росси (тоже медик), был родом из Оффенбаха. Еще двое были из Пруссии — студент факультета камералистики⁵⁶ Генрих Германнс из Кельна и студент философского Карл Ломерер из Санкт-Йоханнесбурга. Ломерер и Росси учились в Гейдельберге уже целый год, а Вилли Шмидт — аж целых три!⁵⁷

начало, но еще и то, что комнаты под крышей были тесней и сдавались дешевле других.

⁵³ Буквальный пер. с нем.: «Тропа огромных камней».

⁵⁴ Так называемая «Grosser Fass», то есть «Великая бочка», объемом в 2 211 726 литров, сооруженная, — а иначе и не скажешь, — в 1751 г. при курфюрсте Карле Теодоре. Предание связывает ее с выходками знаменитого шута Перкео. Не менее удивительно, что, в отличие от московских «Царь-пушки» (никогда не стрелявшей) и «Царь-колокола» (никогда не звонившего), эта бочка с успехом служила бочкой: и наполнялась, и опорожнялась.

⁵⁵ Сама фрау Джонсон (Степун называет ее фрау Капитэн) предстает в его воспоминаниях эдаким рубенсовским типажом: «...хозяйка пансиона... нарядно, высокогрудно массою пышно восседала на конце стола» (Степун, 1990. С. 152). Фигурирует она и в автобиографическом романе Ф. Степуна «Николай Переслегин» (Париж: Современные записки, 1929), выстроенном в форме эпистолярного монолога. К слову сказать, и позднее. Степун «не изменял» все той же Leopoldstrasse: в 1905—1907 г. он жил в доме 14, а в 1907—1908 г. — в домах 36 и 79.

⁵⁶ Так называли иногда отделение камералистики (соответствует современной политологии и социологии) на философском факультете.

⁵⁷ Многие из них остались и на летний семестр, например, Я. Альбрехт, Ф. Дюнгей, Г. Германнс и — номинально — Йозеф Мандельштам. Известно, что двое сменили адрес: Ф. Крайсс переехал на Unterneckarstrasse 19, а А. Росси — на Bunsenstrasse 4, следы еще двоих теряются. На место выбывших (возможно, в доме были и летние помещения) прибыло сразу шестеро новичков, так что число по-

...Приехал Мандельштам в Гейдельберг скорее всего в сентябре, во второй его половине, и прожил здесь осень, зиму и весну, по крайней мере ее начало.

Не будем гадать, дождался ли он той поры, когда знакомые бурные холмы, столь угрюмые зимой, зазеленели и заklubились, словно сливки, вишневым и миндальным цветом⁵⁸.

Но в осени, зиме и в начале весны мы вполне уверены, а это немало: соловьи, бывает, начинают свои коленца уже в феврале!..

Зима в Гейдельберге, хоть и мягкая, но довольно мрачная. В комнатах прохладно: ставить двойные рамы не принято.

Топили — за отдельную плату — буковыми дровами. Печка мерцает начищенным кафелем, но заслонки в ней нет, тепло она не держит — быстро нагревается и еще быстрее остывает.

Эх, хорошо бы в Италию! Вот где, несомненно, тепло, вот где хорошо: не съездить ли?

Пофантазируем еще немного.

...Воскресное утро, где-то без четверти восемь. Мандельштам уже проснулся, умылся и застелил кровать. Он лежит на одеяле с книгой, набросив на ноги плед. Вдруг сбрасывает ноги с кровати и подходит к столику у окна, что-то записывает. Не отрываясь от книги, подходит к печке, еще не остывшей после утренней топки: как же славно приложить руку к разогретому кафелю — сначала одну, потом, переметнув книгу, другую.

Ровно в 8 (в будние дни еще раньше) негромкий стук в дверь. Рыжеватая хозяйка — эдакий рубенсовский типаж — с необоримой вежливостью и знанием ответа наперед спрашивает: «Möchten Sie frühstücken, Herr Mandelstam?»⁵⁹.

стояльцев фрау Джонсон возросло до десятка. Перебрался сюда Фридрих Адлер, студент камералистики, уроженец Страсбурга, столицы тогда еще немецкого Эльзаса (зимой он жил совсем рядом — на Leopoldstrasse, 34); вместе с братом Эрнстом, поступившим на юридический, переехал сюда и студент-медик Людвиг Леви из прусского тогда Позена (совр. Познань) — в зимнем семестре Людвиг снимал жилье в Мангейме. Еще один новичок — медик Карл Демут (выходец из Пруссии). Двое новеньких — иностранцы: швейцарец из Лозанны Жорж Бурнье, записавшийся одновременно на юридический и теологический, и «австро-венгр» Курт Гольдшмидт из Находа, записавшийся на философский. (Эти сведения почерпнуты из двух выпусков «Personal-Verzeichnis Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg», выпущенных к зимнему семестру 1909/1910 и к летнему 1910 годов.)

⁵⁸ Все говорит за то, что — не дождался. Еще одно подтверждение тому обнаружилось в довольно-таки неожиданном месте — в протоколе допроса арестованного в мае 1934 года поэта. На вопрос: «Бывали ли вы за границей?», он ответил, что «...был в 1910 году в Гейдельберге, где учился в университете — всего один семестр» (Нерлер, 2010. С. 44).

⁵⁹ «Не желаете ли позавтракать, господин Мандельштам?» (нем.).

В ответ — как и вчера, как позавчера и, как наверняка и завтра, — твердо-застенчивое, с угловатым русским акцентом: «Danke schön, Frau Dgonson, gerne!»⁶⁰. Отвечавший накидывает курточку и спускается вниз, в столовую, куда собираются на кофе, булочки и мармелад и остальные постояльцы.

Мандельштам полюбил этот неизменный, уютный и какой-то домашний уклад и разговор. Он словно отдыхал в нем после казенного бархата фразочки, застрявшей в ушах с первых его гейдельбергских дней, когда он еще никого и ничего не знал: «Das tut mir leid, aber...»⁶¹

Со временем он возненавидел даже мелодию этой фразы — за ее лицемерие и фальшь: ну не гнусно ли — сначала смягчать и скрадывать, а потом — «aber!...» — наносить проникающий, разящий удар в виде отказа, запрета или еще какой-нибудь гадости?..

Желание еврейской матери посмотреть, как же устроился в чужом городе и чужой стране ее любимый первенец, и естественно, и священно. Уклониться все равно не получится. Так что известия о том, что по дороге из Монтрё в Россию в Гейдельберг приезжают Флора Осиповна с Женей, младшим из сыновей, следовало ожидать.

Сам Евгений Эмильевич вспоминал об этом визите: «С осени Осип уехал в Гейдельберг, где занимался у профессоров знаменитого университета. И мы с ним вновь встретились уже в этом старинном городе, куда мать приехала проведать сына и посмотреть, как он устроился. Брат показывал мне город и замок, где находился музей. В окружении такой средневековой старины я был впервые. Мне, мальчишке, конечно, запомнились лица студентов-корпорантов со шрамами — следами дуэлей, частных среди членов разных корпораций, и разноцветные шапочки, удостоверяющие их принадлежность к тому или другому землячеству»⁶².

Студент

...Уже около семи недель, как Мандельштам в Гейдельберге, а он до сих пор еще не подал заявления о зачислении в студенты! Все медлил, все тянул, словно присматривался к чему-то с тайной надеждой: не испугает ли что, не насторожит ли? Думал, что приглядывается, при-

⁶⁰ «Большое спасибо, фрау Джонсон, даже с большой охотой» (нем.).

⁶¹ «Мне очень жаль, но...» (нем.).

⁶² Далее младший брат продолжает: «В 1911 году <Неточность: в 1910 — П.Н.> брат вернулся в Петербург. Закончить полный курс в Гейдельберге семья ему возможности не дала. И все же надо сказать, что занятия в Сорбонне и Гейдельберге брату очень многое дали, став основной его многогранного филологического образования» (Мандельштам Е. 1995. С. 135).

выкает к городу, к реке, к лесу, заглядывающему прямо в окно, к комнате, к хозяйке, а оказалось, на самом-то деле, — что к самому себе.

Но, к счастью, ничего такого не происходило, чем можно было бы воспользоваться как причиной или поводом для побега из этого профессорско-студенческого рая.

Само дело оказалось проще простого. Пришел в университетскую канцелярию со своими бумагами и получил бланк *Anmeldung`a* — прошения о зачислении в студенты. Присев к массивной чернильнице, тут же его и заполнил. Много времени это не отняло, всего восемь вопросов, а о том, что в конце полагается ставить дату, он и вовсе забыл — так и отдал в окошко.

Приглядимся к бесхитростной анкете и мы:

Фамилия и имя: — *Йозеф Мандельштамм*⁶³.

Ответ последовал в обратном испрашиваемому порядке и с лишней буквой «м» в транскрибировании фамилии (что, впрочем, имеет соответствие в немецком же *Stamm* — «ствол»).

День и год рождения: — *16 января 1891*.

Но это не описка и не ошибка счета. Примерив на себя повсеместный на Западе григорианский календарь (новый стиль), Мандельштам, видимо, не учел, что разница между этим календарем и календарем юлианским (старый стиль) — величина от века к веку переменная: в двадцатом веке — и это он, вероятно, знал и запомнил — отличие составляло 13 дней, но в девятнадцатом — на один день меньше и т. д.⁶⁴

Место и страна рождения (если Пруссия, то укажите провинцию): — *Варшава*.

Коротко и исчерпывающе.

Гражданство: — *Россия*.

Занятия: — *Филология*.

Имя, фамилия, общественное состояние и место жительства (укажите улицу) отца, матери или опекуна: — *Эмиль Мандельштам, торговец, Петербург, Загородный 70а*⁶⁵.

Религия: — *Израэлит (Israelit)*, что соответствовало принятой в России формуле «иудейского вероисповедания».

Место проживания в настоящий момент (укажите улицу, номер дома и имя владельца): — *Anlage 30, frau Dgonson*⁶⁶.

⁶³ Ответ последовал в обратном испрашиваемому порядке и с лишней буквой «м» в транскрибировании фамилии (что, впрочем, имеет соответствие в немецком же *Stamm* — «ствол»).

⁶⁴ В России — кроме Прибалтики, Польши и Финляндии — вплоть до специального ленинского декрета от 14 февраля 1918 г. действовал юлианский календарь.

⁶⁵ Семья Мандельштама переехала в квартиру по этому адресу осенью 1909 г.

⁶⁶ Видно, как нетверд Мандельштам в немецком написании английской фамилии.

Правильность сообщенных сведений подтверждается. Гейдельберг... 19... Подпись учащегося: — Проигнорировав дату, Мандельштам ограничился одной подписью.

Впрочем, известна и дата события. 12 ноября — именно под этим числом и под номером 556 значится его имя в Album Matriculium — столетиями ведомой, необъятных размеров и непомерного веса торжественнейшей книге в переплете красной кожи с золотым тиснением и металлическими уголками. Каждый студент в те годы собственноручно записывал в нее основные сведения о себе.

Вот как заполнил свою строчку Мандельштам:

Фамилия и имя: *Мандельштам Иосиф*

Возраст: *19*

Место рождения: *Варшава*

Состояние и местожительство отца, матери или опекуна: *Торговец, Петербург*

Вероисповедание: *иудейское*

Факультет: *философский*

Прежде посещавшийся университет:

Такса: *20 марок⁶⁷*

После этого только и оставалось, что посетить квестуру и уплатить все причитающиеся с него взносы, сборы и пошлины.

Что и было сделано в тот же или на следующий день: во всяком случае матрикул, то есть официальная регистрационная запись университета, датирована не 12, а 13 ноября.

Мандельштам раскачивался все-таки на удивление долго — почти два месяца!

Площадь, на которой стоят оба главных университетских здания (старое и новое) да еще университетская библиотека, невозможно не назвать Университетской. От пансиона фрау Джонсон до этого места — считанные минуты ходьбы.

Читальные залы (здание библиотеки было построено всего за несколько лет до приезда Мандельштама) были открыты всю неделю с 9 утра до 6 вечера (с часу до трех обед), в субботу — только в первой половине дня; абонемент работал ежедневно с 11 до часа, а в среду — с трех до пяти часов. В будние дни библиотека была открыта с 9 утра до

⁶⁷ Судя по тому, что предыдущие записи датированы 5 ноября, а последующие 18 ноября, матрикуляция все-таки происходила в определенный день недели. В тот же день, что и Мандельштам, матрикулировались более полусотни студентов. Среди них и те, чьи имена еще всплывут (например, Борис Кац).

9 вечера (с часу до двух — перерыв на обед), а в выходные — с 11 утра до часу дня (впрочем, в зимнем семестре к этому прибавлялись еще 4 вечерних часа — с 4 до 8). Читальня была платной и стоила студентам и слушателям 1 марку за семестр, преподавателям и служащим университета — 8 марок за год, а прочим интересующимся — уже 10 марок плюс особое разрешение.

При желании студенты могли также посетить университетскую античную Археологическую коллекцию⁶⁸, Ботанический сад (зимний и летний) и Обсерваторию на Кёнигштуле (586 метров над уровнем моря), куда в 1908 году был дотянут фуникулер.

В том же здании, что и библиотека, — в старом университетском корпусе (Augustiniengasse 15) — размещался в те годы философский факультет. В 1902 году он поразил Степуна *«темноватой теснотой своего входа, узостью главной лестницы, маленькими аудиториями, неудобными скамейками... — одним словом, всем своим монастырским идиллическим аскетическим духом»*⁶⁹.

Но что представлял он собой осенью 1909 года? На чьи лекции десятками, а то и сотнями ломились студенты?

Среди заявленных на тот зимний семестр профессоров (штатных и заштатных) и приват-доцентов — филологи Болль (декан), Шолль, Браунэ, Нойман, Бекольд, Хоопс, Бартоломае, Улих, Леффман, Брандт, Вальдберг, Шниганс, Кале, Петш и Картильери, философы Виндельбанд (проректор) и Ласк, искусствоведы Тоде и Пельтцер, музыкальный директор Вольфрум, историки Дюн, Домашевский, Онккен, Кох и Штелин, экономисты Готхайн, Хампе, братья Альфред и Макс Веберы, Лезер, Шотт и Яффе, географ Геттнер.

Сколько почтенных имен, сколько ярчайших звезд! Теория штандортов Альфреда Вебера, например, или антропогеография Альфреда

⁶⁸ Археологическая коллекция была открыта еще в 1848 г. Ее другое название — Antiquarium Greuzerianum: в честь профессора древней истории Георга-Фридриха Грейцера (1771—1858), стоявшего у ее основания. Первоначально состояла исключительно из античных гемм и vaz, древнегреческих и римских монет. Коллекция постоянно пополнялась за счет дарений и приобретений (в том числе «дублетов» из раскопанной Шлиманом Трои, электротипий нумизматической коллекции Британского музея и т. д.) и во времена Мандельштама экспонировалась по адресу: Augustiniengasse 7. В 1910 г., после того как в Гейдельберге в течение долгих лет проработал профессор Август Айзенлор, здесь был основан и Институт египтологии и начала складываться коллекция, в наши дни выставленная для общественного обозрения. Можно предположить, что и античное, и египтологическое собрание могли быть в той или иной мере доступны и известны Мандельштаму, так или иначе повлияв на формирование отношения поэта к античной и египетской культуре. Это подтверждает также устное предположение А.А. Морозова о том, что в стихотворении 1931 г. «Канцона» речь идет именно о Германии, о Гейдельберге: *«... Там зрачок профессорский орлиный, — Египтологи и нумизматы...»*.

⁶⁹ Степун, 1990. С. 100.

Гетнера — это же целые эпохи, принципиально новые парадигмы в своих дисциплинах! Может быть, еще более знаменитым был профессор экономики и финансовой науки — великий социолог Макс Вебер (1864—1920), но в мандельштамовском семестре он был свободен от лекций.

Еще совсем недавно философский Гейдельберг был славен знаменитыми на всю Германию курсами Куно Фишера. Из года в год весь Гейдельберг собирался в университетской ауле послушать его заключительную лекцию о гетевском «Фаусте»! Именно ради Куно Фишера за десятилетие до Мандельштама направлялись именно в Гейдельберг и многие русские юноши, в их числе — Владимир Зензинов и Федор Степун.

Во времена Мандельштама признанным лидером среди университетских философов был уже Виндельбанд, перебравшийся сюда из Страсбурга. Однако таких ярких звезд и оригинальных голов, как марбургский Коген или геттингенский Гуссерль, среди гейдельбергских профессоров в то время не было. Здесь культивировалось то, что называли «систематической философией» и рациональным «добыванием истины».

Степун был поражен той политической слепотой и индифферентностью лучших мыслителей на Гейдельбергском философском конгрессе в 1908 году (спустя три года после событий 1905 года!), той бесстремительной дистанцией, на которой они позволяли отнюдь не безмолвному времени держать и удерживать себя. Правда, оговаривается он, во вступительном своем слове Виндельбанд, президент конгресса, *«...горячо говорил об опасности борьбы “всех против всех”, которую несут с собой популяризация знания и демократизация общества; но, анализируя эти опасности и оптимистически предсказывая возврат человечества к разумно-гуманитарным идеалам XVIII века, он в гораздо большей степени волновался борьбою Сократа с софистами, о которой блестяще писал в своих прелюдиях, чем своей современностью. Социологическая незаинтересованность и политическая нечувствительность были поистине потрясающими. Успокаиваясь на том, что Ницше — поэт и филолог, а Маркс — экономист и политик, маститые профессора философии или вообще не занимались этими мыслителями, или занимались ими в целях приспособления их идей к положениям научной философии, что по тем временам значило — к Канту»*⁷⁰.

Следующий философский конгресс состоялся в 1911 году в Болонье и стал триумфом парижанина Анри Бергсона — уже вовсю набирал силу интерес и к бергсоновской «интуиции», и к кьеркегоровской «философии жизни». Тот же Виндельбанд заявлял с кафедры, что со времен Декарта не знала Франция столь оригинального мыслителя,

⁷⁰ Степун, 1990. С. 147—148.

как Бергсон. (Для Мандельштама, недавнего парижского школяра и слушателя Бергсона, все это было вдвойне значимо.)

Но вернемся к документам.

Что представляет с собой матрикул? На первом листе, под шапкой университета и готическим заголовком «*Studien— und Sittenzeugnis*», что правильней всего перевести как «Свидетельство об успеваемости и благонравии», следует типографский текст с несколькими вставленными от руки словами (мы их выделяем скобками; дата, к слову сказать, отштемпелевана). Текст же гласит: «*Господину (Йозефу Мандельштаму), родившемуся в (Варшаве), сыну <тут прочерк — П. Н.>, настоящим удостоверяется, что он, на основании аттестата зрелости реальной гимназии, высшего реального училища <пропуск — П. Н.> или выпускного свидетельства университета или высшего технического училища, на основании достаточных для этого свидетельств — с 13.11.1909 зачислен в студенты (философского факультета) и оставлен на нем вплоть до окончания (летнего) семестра 1910 года и, согласно представленным документам, посещал следующие занятия*».

Целая страница предназначена для солидного перечня лекций и семинаров (*Bezeichnung der Vorlesungen und Übungen*), а также преподавателей (*Dozenten*), но она девственно чиста, а продолжение — оно же окончание — следует на обороте листа:

«Касательно его поведения (во время пребывания здесь до конца зимнего семестра 1909/1910 года) ничего предосудительного не обнаружено. (...)

Гейдельберг, (25 февр.) 19(11).

Проректор: фон Шуберт

Академический сотрудник по дисциплинарным вопросам: Кастенхольц».

На первой странице — еще несколько существенных помет. На левом поле — каллиграфическим почерком: «*A(Anmeldung? — П.Н.). No 662 / Taxe 10 M*» (цифра вписана другой рукой) и чуть ниже (третьей рукой?) — синим карандашом: «*ab 27/2*».

Что означают эти буквы и цифры? Очевидно, номер мандельштамовского заявления (в таком случае это заявление о зачислении на летний семестр 1910 года, но ведь заявление на зимний семестр имеет совершенно другой номер — а именно 838, см. ниже) и, вероятно, некую февральскую дату (27 февраля), с которой связано то или иное, с точки зрения бюрократа, существенное событие: скорее всего подача самого заявления. Тогда это, разумеется, 1910 год, что согласуется и с 10-марочной оплатой семестра (но нельзя исключать и другого, — если вспомнить о дате, когда ректор подписал отчисление Мандельштама, что это дата закрытия дела или передачи его в архив — и тогда это, конечно, 1911 год).

На той же странице, сверху — и тем же синим карандашом:

«20 Akademisch Vorschr<<ift>> / S<<ommer>> S<<emester>> 1910».

Это, по-видимому, указание на параграф университетского (академического) кодекса, регулирующего вопросы оплаты, — иными словами, юридический повод для отчисления⁷¹.

Впрочем, мы изрядно засиделись в канцелярии. Заглянем-ка и в аудиторию — ведь уместилось же в эти гейдельбергские недели нечто притягательное для Мандельштама!

Так что же?

Доверимся в таком случае еще одному документу из университетского архива. Это мандельштамовский Einzugslist — «Ведомость единовременной платы» Мандельштама за учебу при зачислении, своего рода отчетная ведомость, «платежка» (Zahlung)⁷². Из пяти ее граф — занятия; преподаватели; гонорар (в марках); плата за практикум и замечания — понадобились лишь первые три, из пятнадцати строк — только шесть.

Судя по всему, главным магнитом для Мандельштама-студента были лекции знаменитого филолога-романиста Ноймана.

Фридрих Генрих Георг Нойман (1854—1934) учился в Берлине и Гейдельберге. В Гейдельберге защитил обе диссертации (1876 и 1878); профессор Фрайбургского (1882—1890) и Гейдельбергского (1882 и 1890—1923, вплоть до выхода на пенсию) университетов. Ко времени приезда Мандельштама он, что называется, почивал на лаврах: носил чин тайного надворного советника и члена Гейдельбергской академии, редактировал журнал «Литературный листок германской и романской филологии». Его главный труд — «Романская филология. Очерк» — вышел еще в 1886 году, в Лейпциге.

Мандельштам, потративший на лекции Ноймана половину своих денег на учебу и половину строчек в своей «Ведомости», записался на три его курса (фактически — на два, ибо второй и третий были слишком тесно связаны)⁷³.

⁷¹ Трудно отделаться от впечатления, что весь документ не составлялся в течение трех лет, а был написан в один или два присеста и был закончен единым махом торопливо-умелой рукой второго из подписавшихся. Иначе просто невозможно объяснить вопиющую скоропись и небрежность в его заполнении: ведь едва ли ими преследовалась цель несколько стилизоваться под не существовавшего и не существующего для них злостного — и поделом отчисляемого — неплательщика!

⁷² На ведомости типографская помета: «Дубликат, заполняемый студентом в заголовке и в графах 1а и 1б, содержит перечень лекций для квестуры». Стало быть, заполнена она самим Мандельштамом. В финансовой отчетности, откуда ее извлекли, она имела некий номер 838. Поскольку этот же номер — причем вслед за аббревиатурой «А» — фигурирует и во всех сводных выплатных листах (Zahlungsliste), заводившихся квестурой на каждый платный курс каждого профессора, то мы вправе сделать вывод: под этим номером фигурировало заявление, или прошение, Мандельштама именно на зимний семестр 1909/1910 года.

⁷³ Попутно исправляем некоторые неточности названий курсов в публикации Т. Бейера. Часы, когда курсы читались, а также подзаголовки некоторых из них,

1. «История средневековой французской литературы» (курс читался по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 9 до 10 часов; плата — 20 марок; всего на курс записалось 135 (!) студентов, Мандельштам в списке значится 70-м).

2—3. «Интерпретация старофранцузского текста» и «Упражнения по старофранцузским и провансальским текстам» (по средам и субботам с 11 до 12 часов; плата — 10 марок; записалось 146 человек, Мандельштам — 74-й в списке).

Вторым после Ноймана, заняв еще две позиции в «ведомости» Мандельштама, шел профессор новейшей истории искусств **Генри Роберт Тоде** (1857—1920). Он был женат на Даниэле фон Бюлов, племяннице Ференца Листа и падчерице Рихарда Вагнера. Уроженец Дрездена, он учился в Лейпциге, Вене, Берлине и Мюнхене. В Вене (1880) и Бонне (1886) защитил диссертации. В 1889—1891 гг. — директор Франкфуртского института искусств, а в 1893—1911 — профессор Гейдельбергского университета, член Гейдельбергской академии. Мандельштам застал его в чине тайного надворного советника, но уже годом позже Тоде получил чин тайного советника второго класса, после чего подал в отставку и стал «частным исследователем» (перешел на вольные хлеба, как выразились бы в России). Его основные труды были всемирно известны: книга «Франциск Ассизский и зачинатели искусства Ренессанса в Италии» (1885) выдержала четыре издания, двухтомная монография «Микеланджело и конец Ренессанса» (1902—1903) — два издания, кроме того — монографии «Нюрнбергская школа живописи XIV и XV столетий» (1891) и «Беклин и Фома» (1905).

Был он к тому же щеголем и великолепным оратором, перенявшим от Куно Фишера славу и слушателей, переполнявших зал на его публичных лекциях. Вот каким увидел его Федор Степун: «По своей внешности, манерам и, главное, по стилю своего очарования Тоде показался мне, привыкшему представлять профессора скромно одетым бородастым интеллигентом, человеком совсем не профессорской среды. В Москве этого элегантно, всегда изысканно одетого человека с бритым, мягко освещенным грустными глазами лицом каждый принял бы скорее за актера, чем за ученого. Особенно живописно выглядел Тоде в берете и таларе на торжественных университетских актах... Он ежегодно читал в переполненном актовом зале цикл общедоступных лекций, на которые, как на концерты Никишиа, собирался не только весь город, но приезжали даже слушатели из соседних городов. Пре-

почерпнуты из справочника: Anzeiger der Vorlesungen der Grosserzoglichen Badischen Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg für das Winterhalbjahr 1909/1910. Heidelberg, 1909. S. 21—25. Сведения о количестве записавшихся содержатся в сводных выplatных листах (Zahlungsliste), заводившихся квестурой на каждый платный курс каждого профессора.

красные бледные руки лектора часто молитвенно складывались, ладонь к ладони. Длинные пальцы касались губ. Как все романтики, Тоде много и хорошо говорил о несказуемом и несказанном, о тайне молчания. По окончании лекции аудитория благодарила любимого лектора бурным топотом сотен ног»⁷⁴.

Тоде не представлял себе, как можно изучать историю искусств без экскурсий и путешествий по Европе; каникулы, в его понимании, были созданы исключительно для того, чтобы совершать экскурсии в Италию. Когда он узнал, что тот же Степун из-за каких-то сердечных дел собирается не в Венецию, а — прости Господи! — в Москву, то без обиняков сказал: забудьте о серьезном искусствоведении⁷⁵.

Мандельштам записался на два курса Тоде.

4. «Великие венецианские художники XVI века» (по понедельникам и средам с 12 до 13, по вторникам — с 12 до 13 и с 18 до 19 часов; плата — 20 марок; на курс записалось 45 студентов, имя Мандельштама — 33-е в списке).

6. «Основы истории искусства» (по понедельникам — с 18 до 19 часов; бесплатно, вход свободный)⁷⁶.

Третьим гейдельбергским профессором в ведомости оказался знаменитый германист **Теодор Вильгельм Браунэ** (1850—1926). Выпускник Лейпцигского университета (1869), он и проработал в Лейпциге до 1880 г., защитив там обе свои диссертации; в 1880—1888 — профессор Гиссенского университета, а с марта 1888 — профессор и преемник Карла Бартша на посту директора романо-германского семинара в Гейдельберге, где проработал до 1919 года (в 1920—1923 гг. возглавлял академическую библиотеку). Был он редактором журнала «Сообщения по истории немецкого языка и литературы», членом академий Страсбурга, Мюнхена и Гейдельберга; с 1909 — тайный надворный советник. Важнейшие работы выходили в Галле: «Готтская

⁷⁴ См.: Степун, 1990. С. 101—102.

⁷⁵ Сам он любил Италию настолько, что обзавелся там собственной виллой. В этой связи любопытна следующая, указанная Г. Суперфином, заметка: «Вдова немецкого историка искусств Генриха Тоде, скончавшегося в прошлом году в Копенгагене, вернулась недавно в Италию, где она собиралась поселиться в своей вилле. К своему удивлению, г-жа Тоде нашла свою виллу занятой писателем д'Аннунцио, который весь дом с ценными произведениями искусства "аннексировал", по собственному его утверждению, только временно. Все протесты г-жи Тоде и даже обращение ее к итальянскому правительству не привели ни к чему. Д'Аннунцио разрешил г-же Тоде поселиться в маленьком домике во дворе. Г-жа Тоде через своего отца, известного датского юриста Шегнера, предприняла соответствующие шаги к освобождению своей виллы через датское Министерство иностранных дел» (Летопись Дома литераторов. 1921. № 4. 20 декабря).

⁷⁶ Выплатной лист с поименной росписью студентов этого курса за зимний семестр 1909/1910 гг. в квестурном деле профессора Тоде отсутствует.

грамматика» (1880; 14 изданий до 1953 года!) и «Древневерхненемецкая грамматика» (1886; 8 изданий).

В мандельштамовской «Ведомости» пятую позицию занимает курс Теодора Браунэ «Разбор поэмы “Мейер Хельмбрехт” (упражнения по древневерхнегерманской литературе для начинающих)» — по субботам с 9 до 10 и с 10 до 11 часов; плата — 10 марок; из 95 записавшихся на этот курс Мандельштам в списке 55-й.

Кто же такой Мейер Хельмбрехт? Это герой сатирической поэмы Вернхера фон Гартенаэра, поэта второй половины XIII века. Во всяком случае, как чеканит об этом «Большой Брокгауз», он в совершенстве владел искусством дворцового стихосложения и обладал собственным взглядом на человеческие поступки. В поэме повествуется о крестьянском сыне, ставшем в конце концов разбойником⁷⁷.

Но неужели Мандельштам записался на этот прикладной курс и проманкировал главный курс Браунэ — «Историю средневерхненемецкой литературы»?

Затребовав соответствующий Zahlungslist Браунэ, мы действительно обнаружили в нем имя Мандельштама (68-м в списке из 103 студентов), но... зачеркнутым!.. В чем тут дело? В том, что плата за этот курс — еще 20 марок? Тогда объяснение простое: Мандельштам платить передумал, а на лекции ходил.

Но выскажем и еще одну версию, по нашему мнению, более вероятную: Мандельштам отказался, когда узнал, в какие часы читался этот курс: от вторника до пятницы — с 8 до 9 часов утра!..

Но, конечно же, официальным списком перечень курсов, которыми интересовался Мандельштам и которые посетал, не исчерпывается. Нежданно-негаданно тому нашлись подтверждения и свидетельства.

В 1965 году, в Лондоне, старый гейдельбержец Арон Штейнберг рассказывал Кларенсу Брауну о Мандельштаме в Гейдельберге⁷⁸. Об этом еще будет сказано, но вот что существенно сейчас: Осип Эмильевич никогда не пропускал лекций Ноймана, но посещал занятия и других. В частности, он ходил — правда, нерегулярно — на показавшийся ему скучным курс Виндельбанда о Канте⁷⁹. Зато чудесными и даже поэтичными находил Мандельштам лекции Эмиля Ласка, молодого профессора философии; эти лекции, утверждал Штейнберг, во многом повлияли на складывавшееся в эти годы мировоззрение поэта.

«Скучный» лектор — тайный советник 2-го класса **Генрих Вильгельм Виндельбанд** — был в Гейдельберге, повторим, ни много ни мало

⁷⁷ Имеется несколько ее научных изданий и стихотворных и драматических переложений.

⁷⁸ Brown, 1973. P. 46.

⁷⁹ Вместе с тем, Мандельштаму, летом 1916 года — в Крыму! — готовящемуся к университетскому экзамену, занудилась книга именно Виндельбанда по истории античной философии (письмо к матери от 20 июля 1916 г.).

проректором. Родился он 11 мая 1848 года, умер, немного не дотянув до 97-летия, в Берлине, 3 февраля 1945 года; учился в Йене, Берлине, Геттингене, член академии Лейпцига; преподавал в Цюрихе, Фрайбурге и Страсбурге; с ноября 1902 и до 1915 — в Гейдельберге.

Арон Штейнберг называет его выдающимся историком философии, хорошим стилистом, широко образованным человеком. Но вместе с тем, как бы в тон Мандельштаму, вспоминает, что ходил слушать Виндельбанда больше из учтивости, чем из настоящего интереса: «*Но я, молодой человек, посещавший его лекции, хорошо знал, что ничего не потеряю, если пропущу их, потому что достаточно взять его книги и почитать, может быть, даже с большей пользой*»⁸⁰.

В мандельштамовском семестре Виндельбанд читал два лекционных курса «*Введение в философию*» (по вторникам, средам, четвергам и пятницам, с 17 до 18 часов) и «*Историю и систему теории познания*»

⁸⁰ См. великолепное описание Виндельбанда у Арона Штейнберга (*Штейнберг*, 1991. С. 103—104). В том же духе, хотя и гораздо более прочувствованно и пространно отзывается о Виндельбанде и Ф. Степун: «*Виндельбанд жил совершенно иначе, чем Тодде. Вместо лакея — скромная горничная. В квартире никаких далей: ни далей всемирного искусства, ни далей всемирной славы. В весьма буржуазной столовой, служившей и приемной, ждало уже несколько студентов в сюртуках. Не без трепета вошел я в доверху заставленный книгами и украшенный подвешенными под самым потолком — рамка к рамке — гравированными портретами великих философов, кабинет. С кресла у письменного стола навстречу мне слегка приподнялся грузный человек с очень большим животом и маленькую головку на широких плечах; вместо шеи — красная складка над очень низким воротником. Таким я себе философа уж никак не представлял. Мое недоразумение длилось, однако, недолго. Сев в указанное мне бархатное кресло и взглянув в глаза ученого, я сразу же почувствовал, как этот “пивовар”, как я сразу же окрестил его, — пивовар совершенно особенный. Передо мной сидел живой Сократ, каким Виндельбанд описал его в своих только что прочтенных мною “Прелюдиях”. та же “втянутость головы в пухлые плечи”, та же “внушительность всячего живота”, та же характерная для грузных людей легкость движений. Сходство с Сократом почувствовалось мне и в невероятно живых, умных, остропроницательных, но отнюдь не созерцательных глазах и в настороженном выражении лица, точно ждущего ответа на “иронически” поставленный вопрос. Я слушал Виндельбанда в продолжение пяти лет и за это время так вжился в его философский пафос, так изучил его манеру чтения, привычку шарить правой рукой по животу в поисках висевшего на длинной тесемке пенснэ, вскидывать пенснэ на нос, разглаживать двумя пальцами левой руки лежащую перед ним записную книжку... Виндельбанд был типичным немецким профессором своей эпохи, то есть преподавателем научной дисциплины, и только» (Степун, 1990. С. 102—104). Ср. там же о речи Виндельбанда на открытии III Философского конгресса в Гейдельберге в 1908 г. и об устном экзамене, который оказался «*одной из самых интересных научно-философских бесед*» в воспоминаниях Степуна (Степун, 1990. С. 147—148 и 177—178). Кстати, и Виндельбанд, и Ласк — оба жили на Landfriedstrasse (первый в доме 14, второй — в доме 8). Это очень близко от временного жилища Мандельштама.*

(по понедельникам и субботам, с 10 до 11 часов), кроме того, он вел философский семинар: «Кантовская критика силы суждения». Какой из курсов имел в виду А. Штейнберг, сказать непросто, но скорее всего — первый (второй вызывает сомнения еще и тем, что по субботам перекрывался по времени курсом Браунэ). На «скучные» виндельбандовские курсы, заметим, записалось нешуточное количество студентов — соответственно 178(!) и 95 человек!

Гораздо проще с единственным курсом приват-доцента доктора **Эмиля Ласка** (профессором, вернее, исполняющим обязанности профессора он стал лишь в феврале 1910 года). На зимний семестр 1909/1910 он заявил курс «История новейшей философии до Канта включительно» (читался по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, с 16 до 17; записавшихся на курс было 29 человек, в том числе и братья Штейнберги). Ласку было тогда всего 35 лет, семьи и детей не было, так что спустя пять с небольшим лет — 25 мая 1915 года — некому было оплакать смерть еврейского профессора-волонтера в бою при Турца Мата в Галиции (откуда, кстати, он был родом!)⁸¹.

Сам он учился правоведению и философии в университетах Страсбурга и обоих Фрайбургов (швейцарского и германского), а с 1901 года уже преподавал в Берлине (до 1904 г.), что не помешало ему защитить (1902) диссертацию во Фрайбурге. С 1905 года Ласк в Гейдельберге: здесь он стал членом местной академии (1905) и получил должность — сначала исполняющего обязанности профессора (7 февраля 1910), затем (уже 31 марта того же года) — профессора. Ко времени приезда Мандельштама в Гейдельберг им уже были напечатаны по меньшей мере две книги — «Идеализм Фихте и история» (Гейдельберг, 1902) и «Философия права» (Гейдельберг, 1905). В 1910 году, в Тюбингене вышла еще одна его книга: «Логика философии и учение о категориях»⁸².

⁸¹ Между прочим, именно у Ласка писал свою докторскую работу «Der Begriff der Realität» («Понятие реального») Арон Штейнберг. Так и не успев защитить ее до начала войны, он оказался в немецком гражданском плену (Штейнберг, 1991. С. 173, 175). С Эмилием, как он его называет (подчеркивая еврейское происхождение), был хорошо знаком и даже дружен и Степун (в одном из «гейдельбергских писем» его романа «Николай Переслегин» Ласк выведен под фамилией Dehlis). Степун, служивший артиллеристом в русской армии, знал и о том, что Ласк волевал за Германию, и о том, что он погиб (см. в: Степун Ф. Из писем прапорщика артиллериста. Прага, 1926. С. 145, 152—154). Со временем, вероятно, узнал об этом и Мандельштам: на это предположение наводят параллели с другим немецким офицером, убитым в боях с русскими, — с Эвальдом Кристианом Клейстом, поэтом времен Семилетней войны, на судьбе которого во многом «замешано» стихотворение «К немецкой речи» (1932).

⁸² Уже после смерти Э. Ласка, в 1923—1924 гг., в том же Тюбингене вышли его «Избранные сочинения в трех томах». См. о нем также: *Hobe K. Zwischen Rickert und*

Итак, платежная ведомость позволила нам заглянуть не только внутрь мандельштамовского портфеля и расписания, но и отчасти в его кошелек.

О кошельке. За учебу в зимнем семестре в Гейдельберге (не считая платы за комнату, — а это, судя по опыту Федора Степуна, — 10—15 марок в месяц⁸³) Мандельштам одновременно заплатил 69 марок и 30 пфеннигов: 60 марок стоили курсы, 5 марок — взнос за пользование аудиториями, еще 4 — единый страховой и комиссионный сбор (Kranken— und Ausschusskasse) и 30 пфеннигов — страхование от несчастного случая (все прочие сборы Мандельштама не касались).

Что касается графика занятий, — а суммарно это от 4 до 6 лекционных или семинарских часов в будние дни и 2 часа в субботу, — то он, признаться, впечатляет.

Если, конечно, принимать его всерьез.

Ведь на следующий семестр Мандельштам попросту не явился!

Поэт

*Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить...⁸⁴*

...Мы не знаем, как Мандельштам учился, сколь исправно он посещал лекции и семинары — хотя бы те, на которые записался и за которые заплатил. Но мы точно знаем, что был он занят и *другим*, и, может статься, это другое как раз и было для него самым главным уже тогда.

Другое — это, конечно, стихи.

...Вернемся в Россию, в весенние месяцы 1909 года, когда поездка в Германию только планировалась.

Heidegger. Versuch über eine Perspektive des Denkens von Emil Lask // Philosophisches Jahrbuch. 78. Jg. 2. Halbband. 1971. S. 360—376; Hobe K. Emil Lask's Rechtsphilosophie // Archiv für Rechts— und Sozialphilosophie LIX/2. 1973. S.221—235; Rosshoft H. Emil Lask als Lehrer von Georg Lukach // Abh. zur Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Bonn, 1975.

⁸³ Небольшая комнатка на «Вилле Дорнрошн» на улочке Klingenteich близ замка стоила ему 13 марок, или шесть с половиной тогдашних рублей, в месяц, причем в цену входили утренний кофе, освещение и уборка. Пообедать — впрочем, невкусно — в дешевом ресторанчике можно было пфеннигов за шестьдесят (*Стенун*, 1990. С. 100—101 и 107—108).

⁸⁴ Из одноименного стихотворения, написанного в Гейдельберге в декабре 1909 г.

Весной Мандельштам, вероятно, познакомился с Гумилевым (если только это не произошло годом раньше — когда оба находились в Париже). 23 апреля он впервые попадает в квартиру Вячеслава Иванова на Таврической, на заседание «Академии стиха» в знаменитой ивановской «Башне», но стихов своих в первый раз, кажется, не читал. Его литературное крещение в ивановской «Проакадемии» состоялось вскоре — 16 мая. Присутствовали, кроме него и хозяина, М. Замятни-на, Е. Дмитриева, П. Потемкин, В. Ивойлов (Княжнин), Б. Мосолов, В. Гофман, В. Пяст, Е. Герцык.

Пяст написал об этом вечере в своих мемуарах: «...Однажды при-шел... Виктор Гофман в сопровождении совсем молодого стройного юноши в штатском костюме, задиравшего голову даже не вверх, а прямо назад: столько чувства собственного достоинства бурлило и про-силось наружу из этого молодого тела. Это был Осип Мандельштам. По окончании лекции и ответов аудитории ему предложили прочесть стихи. Не знаю, как другим (Вяч. Иванов, конечно, хвалил, — но ведь это было его всегдашним обыкновением!), но мне чрезвычайно понра-вились его стихотворения»⁸⁵.

Второе майское событие, которое хочется отметить, — это сдача 27 мая экзамена по латыни за 8 классов мужской гимназии⁸⁶. И, хотя, по-видимому, сам экзамен не принес особой радости ни экзаменатору, ни абитуриенту, но еще один необходимый шаг для получения права на университетское образование был сделан.

Можно предположить, что встреча с Вячеславом Ивановым и его похвала произвели на 19-летнего поэта сильнейшее впечатление, за-ставив его привязаться к признанному мэтру и теоретику символизма. Как вне сомнения и то, что Мандельштам знал все или почти все из того, что Иванов публиковал.

Поэтому столь простым и естественным казалось ему под-держивать установившиеся отношения и на расстоянии: не будучи в Петербурге, он завязывает с ним серьезную и вместе с тем весьма странную переписку. Странную уже потому, что Иванов, кажется, так ни разу и не ответил ни на одно письмо — может быть, по занятости, а может, и из-за граничащего с непочтительностью тоном поэтического, «братского» равноправия, с которым к нему обращался молодой и столь «невоспитанный» поэт, не чувствующий установленной им, мэтром, дистанции.

⁸⁵ Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 139. О том, что стихи Мандельштама «были приветствуемы Вяч. Ивановым», записал позднее (18 августа 1910 г., возможно, со слов Мандельштама) в своем дневнике и С.П. Каблуков.

⁸⁶ Свидетельство № 10153 о сдаче с оценкой «удовлетворительно» (СПбГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 59170. Л. 6). В Тенишевском коммерческом училище, которое Ман-дельштам окончил в 1907 г., латынь и греческий не изучались.

Первое письмо Мандельштама было отправлено 20 июня из Павловска (в Царском Селе Мандельштам жил до отъезда за границу):

«Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки. Радую себя надеждой встретить Вас где-нибудь летом. Почти испорченный Вами, но... исправленный Осип Мандельштам».

Одним из таких семян, быть может, был и совет поехать учиться в Германию: подозревать в этом совете Вячеслава Иванова, берлинского ученика Теодора Моммзена, не покажется натяжкой.

Следующая зафиксированная летописью дата — 28 июля, а если сделать поправку на новый стиль, то 9 августа. Этим числом датирована посланная из Берлина открытка — брату Александру в Мустамяки (дача Чебакова) с изображением открытой террасы винного заведения (Weinhaus «Rheingold»).

Текст же гласит:

«Дорогой Шурочка!

Сижу тут и дожидаясь поезда. Вспомнил о тебе и решил послать тебе это вещественное доказательство своих губительных наклонностей. Одновременно пишу маме.

Твой Ося»⁸⁷.

Поезд, которого дожидался Осип Эмильевич, всего вероятнее, отправлялся в Швейцарию, в Лозанну. Это явствует из второго письма Мандельштама В. Иванову, посланного 13(26) августа из знаменитого курорта Монтрё, что на берегу Лемана — Женевского озера.

Климатический и водный курорт Монтрё, популярный у легочных, золотушных, малокровных и нервных больных, расположен в кантоне Ваад со столицей в Лозанне. Мягкий, стабильный, умеренно-влажный микроклимат, великолепный столовый виноград. Превосходную связь с Женевой и всем миром призван олицетворять крохотный, но весьма торжественный вокзал, построенный в 1901—1902 годах.

Местность Montreux—Territet, где находился пансион L'Abri, в котором остановился Мандельштам (а с ним, вероятно, и его мать с младшим братом) — это юго-восточная оконечность Монтрё. В 1909 году то была маленькая деревушка с восхитительным видом на горы⁸⁸, на озеро и на опоясанный пальмовым променадом мыс, на котором, собственно, расположились казино и все шикарные отели Монтрё⁸⁹.

Здесь, в тесном треугольнике между променадом и вознесенной на опорах железной дорогой, находились и корты теннисного клуба,

⁸⁷ См.: О.Э. Мандельштам в переписке семьи / Публ. Е.П. Зенкевич, А.А. Мандельштама и П.М. Нерлера // *Слово и судьба*, 1991. С. 55—56.

⁸⁸ Очень величествен и красив возвышающийся над городом пик Рошершде-Найе (2045 м).

⁸⁹ Они действовали круглый год, точнее, с перерывом на два зимних месяца — декабрь и январь.

основанного в 1890 году. А за алтарем англиканской церкви притулилась нижняя станция фуникулера, ведущего в деревушки Глион (Glion) и Ко (Саух). Пущенный в 1883 году, он скрипел и при Мандельштаме⁹⁰.

Поразителен и сам променад, связывающий Террите с центром курорта: даже зимой — пальмы, ароматы самшита и магнолии. На горах между тем снег; на озере часто густой туман; очертания противоположного берега едва угадываются, хотя к полудню солнце уже знает, что делать с туманом. Публика на променаде классически праздная, нарядная: и в самую солнечную погоду можно встретить даму, а то и кавалера в норковой шубе до пят.

Очень ласково и преданно плещется Леман; на галечном пляже много уток и чаек, но чайки помалкивают, не кричат. Исключительной красоты зрелище являют собой местные закаты: солнце заходит за гористый горизонт противоположного берега озера.

Вот цитата из письма Мандельштама В. Иванову от 13 (26) августа 1909 года:

«...Две недели я жил в Beatenberg'e, но потом решил провести несколько недель в санатории и переехал в Montreux. Теперь я наблюдаю странный контраст: священная тишина санатории, прерываемая обеденным гонгом, — и вечерняя рулетка в казино: faites vos jeux, messieurs! — remarquez, messieurs! — rien ne va plus!⁹¹ — восклицания croupiers⁹² — полные символического ужаса. У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль Hotel'я и англичанок⁹³, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне. Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и sentimental'но. Может быть, в этом виновато слабое здоровье? Но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это.

<...> Напишите мне также, В<ячеслав> И<ванович>, какие теперь в Германии есть лирики. Кроме Dhemel'я, я не знаю ни одного. Немцы тоже не знают, — а лирики все-таки должны быть».

⁹⁰ Старинный, тех времен, вагончик стоит нынче на вечном приколе своеобразным памятником; современные же, без водителей и контролеров, шныряют вверх-вниз каждые четверть часа, суля за три с половиной франка и за четыре минуты вознести любого желающего на плато над Монтрё.

⁹¹ «Делайте ставки, господа! — внимание, господа, ставок больше нет!» (франц.).

⁹² Крупье (франц.) — распорядитель в игорном доме: следит за игрой, выдает выигрыши и забирает проигрыши.

⁹³ Английская община, по-видимому, была примечательной особенностью Монтрё. Возле железнодорожной станции Territet расположена англиканская церковь святого Иоанна. Небольшой садик перед ней украшен великолепным мраморным памятником в память и в честь приезда сюда Ее Величества королевы Елизаветы Английской (скульптор Ант. Хиатоне, Лугано).

К письму приложены стихотворения «Истончается тонкий тлен...», «Ты улыбаешься кому...» и «В просторах сумеречной залы...»⁹⁴.

Очень интересно, что, приближаясь к Германии, Мандельштам начинает интересоваться немецкими поэтами, в частности, Рихардом Демелем (1863—1920)⁹⁵. Демель, импрессионист, воспевавший несокрушимую власть Эроса, был одним из основателей журнала «Пан», вместе с А. Стриндбергом он входил в группу «Черный поросенок». Между прочим, он дружил с Д. фон Лилиенкромом, которого Мандельштам в 1920-е гг., вместе с другими экспрессионистами, переводил. Выходу в 1906—1909 гг. собрания сочинений Демеля (возможно, именно оно попало на глаза или в руки Мандельштама еще в Швейцарии) предшествовали сборники («Стихотворения», 1891; «О любви», 1893; «Листья жизни», 1895, и «Женщины и мир», 1896)⁹⁶.

Четырьмя днями позже из Монтрё улетело еще одно письмо в Россию — открытка Иннокентию Анненскому в Царское Село:

«Глубокоуважаемый г. Анненский!

Сообщаю Вам свой адрес на случай, если он будет нужен редакции «Аполлона». Montreux-Tearitat Sanatorium l'Abri.

С глубоким почтением Осип Мандельштам».

Во всяком случае 6(19) сентября Мандельштама в Петербурге не было, раз деньги — а это скорее всего гонорар за стихи, принятые в «Аполлон» еще весной или в начале лета, — нужно было куда-то послать.

Куда? В Монтрё?

Вероятнее всего — уже в Гейдельберг. В пользу этого говорит и встреча Мандельштама с Д.С. Мережковским в Гейдельберге, о которой Мандельштам писал Волошину⁹⁷. Судя по календарю Мережковских, она могла состояться только между 9(22) и 16(29) сентября⁹⁸.

⁹⁴ Первое из них выдержало испытание самокритикой и спустя год вошло в состав подборки, с которой Мандельштам дебютировал на страницах «Аполлона». К слову сказать, сам «Аполлон» как раз только что появился: его первый номер вышел 25 октября 1909 г.

⁹⁵ Интерес к Бартелю или к Рильке, если он был, обозначился скорее всего позже. По крайней мере, на вопрос об отношении Мандельштама к Рильке, заданный ей К. Азадовским, Н.Я. Мандельштам как-то смугилась, помедлила и лишь потом — и то не слишком уверенно — ответила: «Хорошо относился».

⁹⁶ Позднее, в 1913 г., вышел сборник «Прекрасный дикий мир».

⁹⁷ Автограф этого и другого письма Волошину: *ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Д. 818*; стихи хранятся отдельно (*Там же. Оп. 6. Д. 149*). Оба письма (правда, второе в качестве приписки к первому) были опубликованы в: *Купченко, 1987. С. 187—188*.

⁹⁸ См.: *Мандельштам, 1990. С. 344*. К сожалению, комментаторы не указывают источник своих сведений. Мы вынуждены принять их датировку, не имея иных сведений о поездке Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус за границу. Аргументом **за** эту датировку является то, что реалии стихотворения «В холодных перебивах

Вот упомянутое письмо Волошину, открывающее вереницу собственно гейдельбергских писем поэта:

«Глубокоуважаемый Макс Александрович!

Оторванный от стихии русского языка — более чем когда-либо, — я вынужден составить сам о себе ясное суждение. Те, кто отказывают мне во внимании, только помогают мне в этом. Так помог мне Мережковский⁹⁹, который на этих днях, проездом в Гейдельберг, не пожелал выслушать ни строчки моих стихов, помог мне милый Вячеслав Иванович, который, при искреннем ко мне доброжелательстве, не ответил мне на письмо, о котором просил однажды. С Вами я только встретился. Но почему-то я надеюсь, что Ваше участие в моей трудной работе будет немного иным. Если Вы пожелаете обрадовать меня своим отзывом и советом — мой адрес: Heidelberg, Anlage 30. Stud. phil. Mandelstam».

К письму приложено пять стихотворений: «В холодных переливах лир...», «Твоя веселая нежность...», «Не говорите мне о вечности...», «На влажный камень возведенный...» и «В безветрии моих садов...». Думается, что можно рискнуть отнести эти стихотворения к написанным — не позднее 20-х чисел сентября 1909 — в Гейдельберге.

Вчитаемся в тексты. Не будем при этом наивно надеяться, что встретим в стихах непременно те или другие гейдельбергские реалии — Мандельштам теперь крайне редко мгновенно откликнулся на события, непосредственно предшествовавшие стиху.

И тем не менее!..

В холодных переливах лир
Какая замирает осень!
Как сладостен и как несносен
Ее золотострунный клир!

Она поет в церковных хорах
И в монастырских вечерах

лир...», первым приложенного к письму Мандельштама Волошину, ближе скорее к сентябрю (молодое вино, сжатые колосья), чем к ноябрю; аргументом *против* является то, что поэт подписался студентом философского факультета: все-таки вряд ли бы он это сделал до имматрикуляции, а она, как было уже показано, состоялась только 12—13 ноября 1909 г. Однако следующая поездка Мережковских в Германию, сведениями о которой мы располагаем, состоялась в августе 1910 г.: Мережковский во Фрайбурге — вместе с Л. Шестовым, Ф. Степуном, С. Гессеном и Н. Бубновым — участвовал в организованном Риккертом обсуждении замысла русского издания международного философско-культурологического журнала «Логос», издававшегося в Тюбингене (*Штейнберг*, 1991. С. 222—223).

⁹⁹ Вероятно, проездом из Франкфурта-на-Майне в Берлин. В начале 20-х чисел сентября Д.С. Мережковский был уже в Петербурге (*Мандельштам*, 1990. С. 344)..

И, рассыпая в урны прах,
Печатает вино в амфорах.

Как успокоенный сосуд
С уже отстоянным раствором,
Духовное — доступно взорам,
И очертания живут.

Колосья, так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.

В стихотворении узнается сравнительно ранняя — «золотая» — осень, когда завершается уборочная страда и природа замирает, словно из солидарности с земледельцами.

Любовная линия, обозначенная в конце (прижатые друг к другу пальцы), возобладала уже в следующем стихотворении, более всего как раз напоминающем набросок, написанный по горячим следам:

Твоя веселая нежность
Смутила меня.
К чему печальные речи,
Когда глаза
Горят, как свечи,
Среди белого дня?

Среди белого дня...
И та — далече —
Одна слеза,
Воспоминание встречи;
И, плечи клоня,
Приподымает их нежность.

В третьем стихотворении, если понимать его в гейдельбергском контексте, обозначен новый этап переживаний влюбленного студента — этап, которого вполне можно было ожидать: учебные обязательства и лирическое чувство, кажется, вступили друг с другом в конфликт¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Наверное, возможна аналогия с ситуацией, столь примерно, возвышенно и обстоятельно описанной Борисом Пастернаком в «Охранной грамоте» и стихах марбургской поры; у Пастернака спор также решился не в пользу философии (как,

Не говорите мне о вечности —
 Я не могу ее вместить.
 Но как же вечность не простить
 Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет
 И полуночным валом катится,
 Но — слишком дорого поплатится,
 Кто слишком близко подойдет.

И тихим отголоскам шума я
 Издалека бываю рад —
 Ее пенящихся громад, —
 О милом и ничтожном думая.

Но любовная история развивается явно не так, как мечталось бы Мандельштаму. О мстительности угрюмо-каменного и недобродушного Амура и о страданиях живого поэта — в следующем стихотворении:

На влажный камень возведенный,
 Амур, печальный и нагой,
 Своей младенческой ногой
 Переступает, удивленный

Тому, что в мире старость есть —
 Зеленый мох и влажный камень —
 И сердца незаконный пламень —
 Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый
 В наивные долины дуть:
 Нельзя достаточно сомкнуть
 Свои страдальческие губы.

В нем же, кстати, узнаваема и топография Гейдельберга: обдуваемые ветрами «наивные долины»¹⁰¹.

впрочем, и не в пользу предмета увлечения). Заметим, что эпидемия влюбленности буквально свирепствовала среди российского студенчества в Гейдельберге: приезжая сюда нередко в возрасте 19 или 20 лет, по существу впервые предоставленные самим себе, без какой бы то ни было опеки со стороны семьи, студенты, в сущности, были обречены! Разумеется, это касалось не только поэтов: достаточно вспомнить те невероятные по насыщенности любовные переживания, которые выпали на долю Ф. Степуна или В. Зензинова, подробно описавших их в своих мемуарах.

¹⁰¹ Впрочем, поиски в городе реального фонтана с занесенной для шага ножкой любвеверящего младенца оказались тщетными; не исключено, что таковой и был

В пятом — и последнем из числа посланных Волошину — стихотворении совершается процесс мнимой самоизоляции лирического героя, попытки вытеснения столь дорогого недавно образа чем-то иным, быть может, метафизикой собственных переживаний, замыканием на самого себя.

Мандельштам как бы осекается в конце — ввиду явной угрозы сорваться в привычно-лирическое, не утратившее своей болезненности русло.

В безветрии моих садов
Искусственная никнет роза;
Над ней не тяготит угроза
Неизрекаемых часов.

В юдоли дольней бытия
Она участвует невольню;
Над нею небо безглагольно
И ясно, — и вокруг нея

Немного, на чем печать
Моих пугливых вдохновений
И трепетных прикосновений,
Привыкших только отмечать.

По поводу пятого стиха Мандельштам написал Волошину еще раз. Первоначально там было: «*В безвыходности бытия*». Сообщив поправку, автор отозвался о первоначальном варианте так: он «*торчит, как оглобля*».

Следующая надежная веха — письмо Вячеславу Иванову из Гейдельберга от 13(26) октября:

«Дорогой Вячеслав Иванович!

Если вам хочется мне написать и вы не отвечаете мне по какой-нибудь внешней причине, то все-таки напишите мне. Я хочу многое вам сказать, но не могу, не умею до этого.

Любящий вас Осип Мандельштам. Heidelberg. Anlage 30».

Любящий Мандельштам напоминает о своем двухмесячной давности письме из Монтрё, как бы откладывая еще недели на две вопрос о своей будущей неизбежной обиде на молчание мэтра.

Но 22 октября (4 ноября) Мандельштам снова пишет В. Иванову — забыв или отбросив обещание обидеться (а может быть, получив

во времена Мандельштама, когда фонтанчики и как бы текущие из скалы или стены дома роднички служили не только декорациями и были здесь почти что на каждом шагу.

какую-нибудь весточку с «Башни» на Таврической — в чем, впрочем, заставляет усомниться вызывающе дерзкое «по-прежнему» в начале письма). Итак:

«По-прежнему дорогой Вячеслав Иванович!

Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения. Насколько первыми я обязан вам — настолько вторые принадлежат вам по праву, о котором вы, быть может, и не думаете.

Ваш Осип Мандельштам».

К письму приложены стихотворения: «В холодных перебивах лир...», «Озарены луной ночевья...», «Твоя веселая нежность...», «Не говорите мне о вечности...», «На влажный камень возведенный...» и «Бесшумное веретено...». Четыре из них нам уже знакомы по письму Волошину (текстуальных разночтений между ними нет), новыми являются лишь два — «Озарены луной ночевья...» и «Бесшумное веретено...» (их, стало быть, можно датировать временем не позднее начала ноября 1909 года).

Первое из них написано как будто перед распахнутым в холодную ночь окном (к слову сказать, рябина, встречается на склонах Гайсберга):

Озарены луной ночевья
Бесшумной мыши полевой;
Прозрачными стоят деревья,
Овеанные темнотой, —

Когда рябина, развивая
Листы, которые умрут,
Завидует, перебирая
Их выхолонный изумруд, —

Печальной участи скитальцев
И нежной участи детей;
И тысячи зеленых пальцев
Колелблет множество ветвей.

Во втором — поэт как бы отдает дань отвергнутой им ради любви философии и пытается философски взглянуть именно на любовь (одновременно он не может отказать себе в трудном удовольствии решить формальную задачу оригинально — заковыристой строфы на две сквозные рифмы)¹⁰²:

¹⁰² Помета «Heidelberг» на беловике этого стихотворения, по предположению А.Г. Меца, более поздняя, чем сам автограф (см.: Мандельштам, 1990. С. 318).

Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И — мною ли оживлено —
Переливается оно
Безостановочной волною —
Веретено.

Все одинаково темно;
Все в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано —
Веретено.

Итак, Мандельштам послал В. Иванову шесть, а Волошину — пять стихотворений, причем четыре из них совпадают. Можно предположить, что все эти стихи объединяет и место их написания: рискнем утверждать, что это Гейдельберг. Об этом же говорит и наличие некоего сюжета в сложившейся таким образом подборке.

Но семью этими стихотворениями выделяемый нами сугубо условно гейдельбергский цикл (мы отдаем себе отчет в том, что такое настоящий цикл!) далеко не ограничился.

Следующее из дошедших до нас писем В. Иванову — приблизительно от 11—12 (24—25) ноября — не что иное, как записка, приложенная еще к четырем стихотворениям:

«Дорогой Вячеслав Иванович!

Вот еще — стихи. Неизменно вас любящий Осип Мандельштам».

Впрочем, письмо примечательно и тем, что начато в вагоне поезда Франкфурт — Карлсруэ — Базель и закончено в Гейдельберге. Едва ли это говорит о поездке в Швейцарию — мало ли куда идут поезда, в которые мы садимся, но определенно фиксирует поездку во Франкфурт, — быть может, акунувшуюся в 1932 году в стихотворении «К немецкой речи» строчками: *«Еще во Франкфурте отцы зевали, / Еще о Гете не было известий...»!*

Какие же стихотворения были приложены к этому письму?

Это — «Если утро зимнее темно...», «Пустует место. Вечер длится...», «В смиренномудрых высотах...», «Дыханье вещее в стихах моих...» (соответственно, все они написаны не позднее 12 ноября 1909 года — дня фактической имматрикуляции).

Если утро зимнее темно,
То — холодное твое окно

Выглядит, как строгое панно:
Зеленеет плющ перед окном;

И стоят под ледяным стеклом
Тихие деревья под чехлом —
Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены

И ветвями переплетены.
Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой — шелковист —
Содрогается последний лист.

Окно — то же самое, но уже не по-летнему распахнутое и не по-осеннему приоткрытое, а по-зимнему затворенное. И все-таки — еще зелен плющ (как это характерно для Гейдельберга!) и не сорвался еще последний дрожащий лист!

Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь;
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами;

Напрасно резвые извивы —
Покуда он еще дымит —
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.

О зиме здесь — длаящийся вечер и пустынный воздух. Все остальное — о любви: ее не пускают в дверь, а она проникает в стихи с горячим паром дымящегося кофе или, возможно, шоколада.

В смиренномудрых высотах
Зажглись осенние Плеяды.
И нету никакой отрады,
И нету горечи в мирах.

Во всем однообразный смысл
И совершенная свобода:

Не воплощает ли природа
Гармонию высоких числ?

Но выпал снег — и нагота
Деревьев траурною стала;
Напрасно вечером зияла
Небес златая пустота;

И — белый, черный, золотой —
Печальнейшее из созвучий —
Отозвалось неминучей
И окончательной зимой.

После того как выпал снег, зима, как видим, названа уже «окончательной». Белизна снега, чернота деревьев и золото звезд в черноте ночи — таким колористическим аккордом предстает поэту зимний Гейдельберг. Но взгляд его не останавливается на городе, а скользит все выше и выше, углубляясь в гармонию освобожденной ото всего природы.

Возможно, что в этом или следующем стихотворении отозвалось что-нибудь из услышанного поэтом на лекциях:

Дыханье веще в стихах моих
Животворящего их духа,
Ты прикасаешься сердец каких —
Какого достигаешь слуха?

Или пустынное напева ты
Тех раковин, в песке поющих,
Что круг очерченной им красоты
Не разомкнули для живущих?

Это стихотворение «не скрывает» своих многочисленных связей со стихотворениями так называемого основного корпуса — включенными поэтом позднее в первое или последующие издания «Камня», например, со стихотворением «Дано мне тело — что мне делать с ним...».

Еще два стихотворения были приложены к следующему письму В. Иванову из Гейдельберга, от 13 (26) декабря:

«Дорогой Вячеслав Иванович!

Может быть, Вы прочтете эти стихи? С глубоким уважением
Осип Мандельштам.

P.S. Извините за все дурное, что Вы от меня получили».

«Эти стихи» — это «Нету иного пути...» и «Что музыка нежных...» (их можно также датировать не позднее 13 декабря 1909 года).

Нету иного пути,
Как через руку твою —
Как же иначе найти
Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам,
Если захочешь помочь:
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.

Тонкие пальцы дрожат;
Хрупкое тело живет:
Лодка, скользящая над
Тихою бездною вод.

И это, и следующее стихотворения подхватывают прежде всего любовную тему цикла:

Что музыка нежных
Моих славословий
И волны любви
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда, —

И сумерки тканей
Пронизаны телом —
В сиянии белом
Твоих трепетаний?

Завершающее 1909 год письмо к Вячеславу Иванову, трактующее «природу ямба», содержало стихотворение «На темном небе, как узор...»:

На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и все выше ты
Возводишь изумленный взор?

— Вверху — такая темнота, —
Ты скажешь, — время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.

Высоких, неживых деревьев
Темнеющее рвется кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!

К письму приложен еще один автограф, разнящийся от основного текста в двух местах: в стихе 3-м («Но выше и все выше ты») и в стихе 5-м («Божница неба заперта.»). О самом стихотворении говорится, что оно «...хотело бы быть *“romance sans paroles”*. (*Dans l’interminable epnii...*)¹⁰³. *“Paroles”*¹⁰⁴ — т. е. интимно-лирическое, личное — я пытался сдержать, обуздать уздой ритма. Меня занимает, достаточно ли крепко взнудано это стихотворение? Невольно вспоминаю Ваше замечание об антилирической природе ямба. Может быть, антиинтимная природа? Ямб — это узда “настроения”.

С глубоким уважением О. Мандельштам.

Наконец, пятнадцатым гейдельбергским стихотворением следует признать знаменитое «Ни о чем не нужно говорить...», вошедшее в третье издание «Камня» (1923), а также в раздел «Камень» в итоговом сборнике «Стихотворения» (1928)¹⁰⁵.

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

¹⁰³ «Песней без слов» (В безбрежной тоске...) (франц.) — начало стихотворения П. Верлена из его книги «Песни без слов».

¹⁰⁴ «Слова» (франц.).

¹⁰⁵ Известна первоначальная редакция этого стихотворения. Приводим ее целиком, поскольку она очевидно относится к гейдельбергскому периоду: «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить, / Ибо, если в жизни смысла нет, / Говорить о жизни нам не след. / Я еще довольно сердцем дик. / Скучен мне понятный наш язык. / И печальна так и хороша / Темная звериная душа: / Ничему не хочет научить, / Не умеет вовсе говорить / И плывет дельфином молодым / По седым пучинам мировым».

Но есть еще несколько стихотворений, написанных в 1909 или 1910 годах, которые можно бы заподозрить в принадлежности Гейдельбергу¹⁰⁶. Из числа включавшихся в «Камень» — это прежде всего «Нежнее нежного...», столь явственно аukaющеся по меньшей мере с двумя стихотворениями из числа приведенных выше, — «Твоя веселая нежность...» и «Что музыка нежных...»:

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.

От неизбежного —
Твоя печаль
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

К числу «подозрительных» можно отнести еще два стихотворения из «Камня». В стихотворении «Есть целомудренные чары...» угадывается эллинский пантеон, неплохо представленный в античной коллекции Гейдельбергского университета (в то же время «часы внимательных закатов» у «тщательно обмытых ниш» заставляют думать и о Швейцарии, о Монтрё):

Есть целомудренные чары:
Высокий лад, глубокий мир;
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов,

¹⁰⁶ Вне «подозрений», например, такие стихотворения из основного корпуса как «На бледно-голубой эмали...» и «Невыразимая печаль...» (по содержанию относятся к весне).

Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой!,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

Еще теснее переключка со стихотворением «Дано мне тело — что мне делать с ним...», вошедшим в первое издание «Камня» (1913) под заглавием «Дыхание»:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пушай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

Из стихотворений 1909 года, не включенных в основной корпус, по крайней мере те, что были отправлены В. Иванову из Монрё, написаны до Гейдельберга: «Источается тонкий тлен...», «Ты улыбаешься кому...» и «В просторах сумеречной залы...».

Все остальные — клонятся в сторону Гейдельберга.

Вот стихотворение «В морозном воздухе растаял легкий дым...»:

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,

Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне
По снежной улице, в вечерний этот час —
Собачий слышен лай и запад не погас,
И попадаются прохожие навстречу.
Не говори со мной — что я тебе отвечу?

Это очевидно «зимнее» стихотворение, датированное по дневнику С.П. Каблукова, впрочем, могло быть написано и в начале 1909 года — периоде, о котором мы мало что знаем.

Стихотворение «Сквозь восковую занавесь...» по-своему переключается со стихотворением «На темном небе, как узор...» — кажется, что и оно имеет задачу обуздать свой размер.

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненной кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавеситься,
Все небо охватить:
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

Стихотворение «Здесь отвратительные жабы...» — по сочетанию размера и содержания — служит мостом между стихотворениями «Озарены луной ночевья...» и «Бесшумное веретено»:

Здесь отвратительные жабы
В густую прыгают траву.
Когда б не смерть, то никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

Вам до меня какое дело,
Земная жизнь и красота?
А та напомнить не сумела,
Кто я и кто моя мечта.

Соглашаясь с датировкой «1909», данной по стилистическим признакам в литпамятниковском «Камне» стихотворениям «Музыка твоих

шагов...» и «Пилигрим», отметим, что отнести их предположительно к гейдельбергскому периоду заставляет главным образом содержание (холод, снег, мороз):

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов,
И, как медленная тень
Ты сошла в морозный день.

Глубока, как ночь, зима,
Снег висит, как бахрома.
Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна
Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души —
Созревающей в тиши.

ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
Повторяю твои свои обеты.
Ветер треплет края одежды —
Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный — пускай скитальцы
Безотчетно сжимают пальцы.
Ветер веет неутомимо,
Веет вечно и веет мимо.

Таким образом, число стихотворений, написанных предположительно в Гейдельберге, внушительно: от пятнадцати до двадцати трех. Может быть, их было и больше, может, и немного меньше, но в любом случае мы столкнулись с явлением самого интенсивного творческого подъема у раннего Мандельштама: вплоть до своих феноменальных тридцатых годов он ничего подобного не испытывал!¹⁰⁷

¹⁰⁷ Справедливости ради, мы должны были бы упомянуть еще два стихотворения, приходящихся на первую половину 1910 года. Это стихотворение «Когда

Зима десятого года

Сведения о том, как провел Мандельштам ту часть зимнего семестра, что пришлось на 1910 год, исключительно скудны.

По существу, единственной надежной датой является доклад А. Штейнберга «Искусство и критика», состоявшийся 10 февраля (28 января?) 1910 года в Пироговской читальне, на котором Мандельштам определенно был.

Арон Штейнберг и его старший брат Исаак и были теми двумя российскими евреями из трех (третьим был Йозеф Мандельштам), что записались не на медицинский, не на юридический и даже не на естественно-математический, а именно на философский факультет¹⁰⁸.

Из старожилов, конечно, был Федор Степун, в 1910 году защищавший свою диссертацию о Владимире Соловьеве, но никаких, даже косвенных, указаний на знакомство с ним Мандельштама нет. Зато на медицинском, по-видимому, в свое время учился другой выходец из России Тимофей Ефимович Сегалов, защитивший диссертацию об эпилепсии у героев Достоевского; о Сегалове очень тепло вспоминает Степун как о талантливом исполнителе еврейского танца «дределе» и декламаторе прозы Глеба Успенского на благотворительных вечерах в библиотеке: *«Танцевал Сегалов в длинном черном сюртуке и в заломанном на затылок цилиндре. Под локти за спиной пропускалась палка, большие пальцы запускались в проймы жилета, остальные, в растопырь, подрыгивались в такт музыке. Все тело подергивалось и раскачивалось в каком-то комическом, но не лишенном своеобразной грации ритме»*¹⁰⁹.

С этим человеком, по всей видимости, Мандельштам познакомился достаточно близко. Во всяком случае 7 февраля 1916 года — в самый разгар увлечения Мандельштамом Цветаевой и поездок его

мозаик никнут травы...», автограф которого вклеен в дневник С.П. Кабукова за 24 сентября 1910; на автографе помета — «Лугано». И, по-видимому, прав А.А. Морозов, относящий это стихотворение к началу года и ко времени поездки Мандельштама из Гейдельберга в Италию. Более чем вероятно предположить, что Мандельштам отправился в Италию в наступившие по окончании семестра каникулы и оттуда уже перебрался в Россию. Второе стихотворение — «Листьев сочувственный шорох...» — твердо датируется маем 1910 года, когда Мандельштам в Гейдельберге наверняка уже не было.

¹⁰⁸ Тут был один нюанс, о котором Мандельштам, возможно, и не задумывался. Но о котором знал и который четко учитывал Штейнберг: *«Чтобы получить право на жительство, я должен был сдать в русском университете государственные экзамены. По философии я не мог их сдать, так как такого факультета не существовало. Значит, нужно было перейти на какой-нибудь другой факультет, для меня самый легкий — юридический. Поэтому в Гейдельберге я сразу же записался на оба факультета, в предвидении будущих событий...»* (Штейнберг, 1991. С. 19).

¹⁰⁹ Степун, 1990. С. 126.

к ней в Москву — они обедали втроем с С.П. Каблуковым, а Каблуков переписывался в том же году с Сегаловым и его женой, Марией Романовной, хлопоча об устройстве Мандельштама или переводчиком «Универсальной библиотеки» или на переводческую службу в один московский банк, а еще лучше сразу и в московский, и в петроградский банки, потому что Мандельштам, — по выражению жены Сегалова, это «человек-самолет»¹¹⁰.

Братья Штейнберги были одними из тех немногих соотечественников, с кем пребывание в Гейдельберге свело Мандельштама достаточно близко. Почти ровесник Мандельштама (он родился 12 июня 1891 года в Двинске), Арон Штейнберг в Гейдельберге появился еще в зимнем семестре 1907/1908 года, учился сначала все-таки на юридическом, потом на философском факультетах (жил — вместе с братом¹¹¹ — на Унтер-Неккарштрассе, 28, у госпожи Зайлер). В 1910 году, когда Мандельштам уже уехал, он возглавлял совет Пироговской читальни.

Будущий сотрудник философского отдела «Русской мысли», один из учредителей петроградской Вольной Философской ассоциации (Вольфилы), сокамерник Блока во время его ареста Петроградской ЧК 15/16 февраля 1919 года, эмигрант с 1924 года и впоследствии активнейший деятель Всемирного еврейского конгресса, — он оказался, по сути, единственным человеком, свидетельствующим о гейдельбергской жизни Мандельштама.

Отголоски этой жизни вкраплены в книгу его воспоминаний, начинающуюся столь для интригующе для нашей темы:

«В 1910 году я был уже третий год студентом философского факультета Гейдельбергского университета в Германии. В это же время

¹¹⁰ Во время своих наездов в Москву в 1916 г., Мандельштам если не останавливался, то по меньшей мере бывал у Сегаловых на Плющихе (См.: О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова // *Мандельштам*, 1990. С. 252—255).

¹¹¹ Исаак Штейнберг учился в Гейдельберге одновременно с братом; был видным деятелем партии левых эсеров; возглавлял Наркомат юстиции в первом большевистско-левоэсеровском правительстве 1917—1918 гг. См. его книгу «От февраля по октябрь 1917 г.» (Берлин: Скифы, 1922) и статью «Дантоново и Робеспьерово начало в революции» в сборнике «Пути революции» (Берлин: Скифы, 1923). Тогда же в Гейдельберге учился и другой министр этого правительства — Борис Камков. Стоит отметить, что в Гейдельберге учились и некоторые члены Временного правительства, сметенного большевистским переворотом, в частности Абрам Рафаилович Гоц (1882—1940; в Гейдельберге — три летних семестра 1901, 1902 и 1904 гг.) и легендарный Борис Викторович Савинков (1879—1925; в Гейдельберге — летний семестр 1901 и зимний 1901/1902). Роза-Мейер Левине, вдова германского революционера (русского происхождения) Евгения Левине, пишет в своих воспоминаниях о муже: «Впервые я увидела Евгения Левине в Гейдельберге в начале 1910 года. Город был полон русскими революционерами» (*Meyer-Levine R. Levine: Leben und Tod eines Revolutionärs. Carl Hanser Verlag, München, 1972. S. 7—9*; она упоминает имена братьев Штейнбергов, революционного писателя Ольгина и др.).

я начал увлекаться русской поэзией и меня стал одолевать порыв самому писать стихи. Увлечение поэзией мешало занятиям в университете. Иногда бьешься-бьешься над каким-нибудь философским вопросом, кажется, никогда не достигнешь того, что хотел сказать Кант своей трансцендентальной дедукцией категорий, а тут промелькнет облачко на закатном небе — напишешь строчку-другую, и кажется тебе, что никаких проблем и не существовало, что они расплывутся, вот так же, как это облачко над долиной Неккара... Одно мешало другому. И я решил: если какой-нибудь уважаемый и признанный мастер русского стихосложения скажет мне откровенно, что в моих стихотворных упражнениях есть какой-то смысл, я начну заниматься поэзией, а если он посоветует мне заниматься чем угодно, но не стихами, я и тут послушаюсь его»¹¹².

Увы, в книге нет ни единого прямого упоминания о ровеснике и поэте, учившемся вместе с автором, — об Иосифе Мандельштаме!

И дело, как мне кажется, не в том, что Мандельштам был на виду у Штейнберга в 1909/10 годах, а воспоминания начинаются с 1911 года! Не упоминание Мандельштама, которого он хорошо знал, представляется не таким уж случайным: ведь даже Ахматовой и Гумилеву, с которыми Штейнберг был едва знаком, у него посвящены целые абзацы и страницы. Думается, что свою роль сыграли своеобразная солидарность Штейнберга с Андреем Белым (на которого Мандельштам в 1922—1923 г. несколько раз нападал в печати) и с Аркадием Горнфельдом, чей конфликт с Мандельштамом в 1928 году достаточно хорошо известен, а может, и сомнительное, с точки зрения Штейнберга, отношение Мандельштама к еврейству¹¹³.

Итак, примерно за месяц до окончания зимнего семестра, а именно — 10 февраля 1910 года¹¹⁴, Штейнберг прочитал в русском кружке

¹¹² Штейнберг, 1991. С. 5. В своем очерке о Шестове Штейнберг подробно рассказывает о его приезде в Гейдельберг в августе 1910 г. ради знакомства со своим заочным почитателем, предложившим ему услуги переводчика «Философии трагедии» и «Апофеоза беспочвенности» на немецкий язык. Несколько неожиданно для Штейнберга Шестов оказался рыжебородым киевским евреем по фамилии Шварцман. «Почитатель» водил «беспочвенника» по городу, показывал ему «Тропу философов» на противоположном берегу, университет и знаменитую «Царь-бочку» в замке.

¹¹³ Тем не менее осмелимся высказать предположение, что упоминания Мандельштама могут обнаружиться в письмах Штейнберга родителям из Гейдельберга (частично они хранятся в Лондоне у его ближайшей сотрудницы последних лет жизни, Анны Григорьевны Клаузнер), а также в фонде А. Штейнберга в САНПР — Центральном архиве истории еврейского народа в Иерусалиме, что и подтвердилось стараниями Нины Портновой (см.: Портнова, 2011. С. 252—259).

¹¹⁴ А может быть 28 января? Мы не знаем календарной принадлежности этой даты.

доклад на тему «Искусство и критика». Когда спустя 55 лет Штейнберг, по просьбе разыскавшего его Кларенса Брауна, нашел в своих бумагах пометы с этого доклада, то он и сам удивился тому, как отчетливо запечатлелся в его памяти «...19-летний Мандельштам... со своим детским голосом, которому я тут же подражал, и своей почти неподражаемой походкой»¹¹⁵.

Еще в гимназии Арон Штейнберг выделялся широтой интересов, любознательностью и активностью. И в Гейдельбергском университете было то же самое: он не только занимался философией, но и все время писал стихи и прозу, путешествовал, занимался психоанализом, делал один за другим доклады в Пироговской читальне.

Вот несколько автоштрихов к портрету самого Штейнберга, относящихся как раз к февралю 1910 года, обнаруженных Н. Портновой.

Запись от 15 февраля: «*Последние 2 месяца забыл о себе, погрузился в чужие мысли, наблюдал людей, любил природу, писал и читал доклад об эстетике; об одном еврейском писателе, много часов провел в беседах... скучно. Написал один хороший сонет «Зима», начинал много стихотворений, не находил терпения довести их до конца; много читал Кап'а и, мне кажется, скоро и эта чаша разбавленного вина будет допита до конца... Скучно.*»

Сам Браун тоже вспоминал, как Штейнберг показывал ему листок с пометами, сделанными по ходу состоявшегося после доклада обсуждения; там было и имя Мандельштама. Основным тезисом (Браун подчеркивает его нетривиальность для 1910 года) Штейнберга было утверждение, что произведение искусства должно рассматриваться как автономное целое, как система в собственном смысле слова, именно с этих позиций должна строиться и его критика как таковая, независимо от субъективных и биографических соображений. Штейнберг улыбался, вспоминая, каким гипнотическим оратором был Мандельштам и как он умел властно привлечь внимание слушателей к своим словам!

Доклад был в первую очередь конспектом задуманной Штейнбергом философской системы, опубликовать которую он, возможно, задумал под псевдонимом¹¹⁶.

Процитируем, вслед за Н. Портновой, начало реферата: «*В кругу вопросов об искусстве центр занимает красота. Обыденный мир субъекта и объекта: субъект воспринимает, объект воспринимается. Все различают в мире восприятия красивое от некрасивого. Многие хитроумные и просто лукавые эстеты и все просто мудрые люди ду-*

¹¹⁵ Из письма А. Штейнберга Ф. Каплан от 1 июня 1965 г. (САНПР. А. Steinberg Collection. Box XIII).

¹¹⁶ Об этом свидетельствует список, хранящийся в архиве вместе с черновиками доклада: «Доклад М. Аврелина, т. е. А.З. Штейнберга, в русской колонии Heidelberg'a 10 февраля 1910 года» (Портнова, 2011. С. 256).

мают, что области безобразия и красоты строго отграничены <...> Это неверно. Мир бесконечен».

Далее доказывалась общность между полярными понятиями в эстетике, этике, философии. «Границы между красотой и безобразием, между добром и злом, между истиной и ложью, границы эти незаконны». Эта идея, считал он, должна быть основанием системы, которую он предложит миру. Поэтому свой реферат Штейнберг оценивал как судьбоносный¹¹⁷.

Мандельштам проигнорировал такое понимание «искусства» и остановился в большей степени на «критике». Можно думать, что Мандельштам, который скажет потом: «только реальность может вызвать к жизни другую реальность» («О собеседнике»), оценил идеи об участии субъекта в познании, и «тоска по мировой культуре», как определял он суть акмеизма, была тесно связана с идеологией европейского философского единства, над которой работали «логосцы» и следовавший за ними А. Штейнберг.

Прикрыв глаза, Штейнберг медленно извлекал из памяти для сидящего перед ним Брауна суть того, что говорил тогда Мандельштам...

Так, Штейнберг процитировал в докладе строку Верлена: «Музыка прежде всего», и именно от нее оттолкнулся в своем выступлении Мандельштам. Его речь сводилась примерно к тому, что и сама критика может быть таким же органическим целым, как и то, чему она посвящена, и не важно, насколько она субъективна. Ее значимость может зиждиться и на ее собственном праве: праве быть произведением искусства. Характерность этого высказывания для критических статей самого Мандельштама в пояснениях не нуждается. Достаточно вспомнить статью «Франсуа Виллон», датированную, кстати, 1910 годом.

Штейнберг вспоминал также, что двумя излюбленными темами Мандельштама были философия и еврейский вопрос. Мандельштам, как показалось Штейнбергу, своим еврейством был смущен и подавлен. На вопрос, не родственником ли ему известный окулист Мандельштам, отвечал, что родней не интересуется¹¹⁸.

¹¹⁷ 12 октября 1969 г. он записал в дневнике: «Каждый может написать одну, по крайней мере, интересную книгу: историю собственной жизни. Высказал впервые в русском «реферате» под заглавием «Искусство и критика», давшем мне под конец 1910 академического года, во время каникул в Москве, повод поставить тему о новейших течениях в немецкой эстетике в самом начале списка тем, намеченных мною по предложению Вал[ерия] Як[овлевича] Брюсова для «Русской мысли» (напечатано в феврале 1911 г.)» Н. Портнова отмечает, что идеи этого доклада были развернуты Штейнбергом в пяти статьях, опубликованных в «Русской мысли» в течение 1911 г. (Портнова, 2011. С. 259).

¹¹⁸ «...Поэт казался определенно пристыженным и огорченным своим еврейством» — отмечал в Мандельштаме Штейнберг. О своем отношении к еврейству Мандельштам и сам ярко и откровенно написал в «Шуме времени».

Надо сказать, что и сам Штейнберг, спустя 12 дней после своего доклада, после встречи со своими провинциальными родственниками в Ковно, записал в дневнике: «22 февраля 1910 г. Хорошие очень и нервные люди», и далее: «Как странно: я — еврей!?».

Рассказ Штейнберга завершился замечаниями о посещении Мандельштамом лекций Неймана, Виндельбанда и Ласка. В устной беседе с Брауном Штейнберг назвал имена еще двух соотечественников, игравших особо заметную роль в жизни русской колонии в Гейдельберге¹¹⁹. Это Борис Давидович Камков (Кац) и Александр Иванович Хаинский.

Кац, согласно матрикулу, родился в г. Кобилне 20 мая 1883 года. Будущий юрист — видный левый эсер, деятель июльского восстания 1918 года, — он проучился здесь два семестра в 1907/1908 году; два следующих семестра — во Фрайбурге, а затем еще два семестра в Гейдельберге — в то же самое время, что и Мандельштам¹²⁰.

Гораздо меньше известно об Александре Ивановиче Хаинском. Ни его матрикула, ни иных официальных записей, говорящих именно об учебе в Гейдельберге, обнаружить не удалось. Но в небольшом собрании документов о «Русской Пироговской в г. Гейдельберге читальне» его имя встречается не один раз. Так, им как заведующим подписан датированный маем 1909 года «Отчет о состоянии кассы с 25 февраля по 8 мая 1909 г.»¹²¹. Но в другом документе, датированном 1 августа 1909 года, заведующим значился уже Яков Орховский¹²².

Во втором случае разбирался очередной конфликт между товарищами Александром и Хаинским в связи с инцидентом, возникшим на

¹¹⁹ *Brown*, 1973. P. 45—46.

¹²⁰ В 1909 г. он защитил дипломную работу у Лилиенталя на тему «Проблема свободы воли и уголовное право» (см. также примечания к опубликованному В. Захаровым (А. Рогинским) воспоминаниям Б.А. Бабиной «Февраль 1922» в: *Минувшее. Исторический альманах*. Вып. 2. Париж, 1986, С. 39—43). Заметим также, что позиции гейдельбержца и левого эсера, члена первого и последнего послеоктябрьского коалиционного правительства Камкова во многом совпадали с позицией другого гейдельбержца и члена того же правительства Исаака Штейнберга, писавшего свою дипломную работу — «Учение о преступлении в Талмуде. Юридическо-догматическая студия» — у того же профессора Лилиенталя (1910).

¹²¹ Вместе с ним расписались члены правления: М. Островская, Александр, М. Шанканов, А. Ляшперт, члены ревизионной комиссии: Л. Салова, Г. Гурвич.

¹²² По всей вероятности, смена заведующего связана с инцидентом, происшедшим между А.И. Хаинским и неким товарищем Александром (фамилия, предположительно, Брюллов), членом правления. Из протоколов третейского суда видно, сколь малозначительными были причины и поводы для этого разбирательства. В первом случае (май 1909 года; стороны: тов. Александр, Островская, Мальцев против т. Хаинского; представители сторон: тов. Ланц и Медич) суд вынес обоим порицание за взаимную некорректность (см. подробнее: *Нерлер*, 1994. С. 60—63).

собрании 6 ноября 1909 года. Едва ли Мандельштам присутствовал на этой разборке (хотя и исключить этого тоже нельзя: в Гейдельберге он в это время определенно был), но приведем все же текст постановления и этого третейского суда, настолько выразительно передает этот документ безоговорочную личную порядочность того поколения русских революционных интеллигентов (ох уж эта терминология: «товарищ Александр!»), их хрупкую незащищенность и наивность, детскость, если угодно. Многие из них позднее, когда подготавливаемая ими революция вырвалась из их рук и закрутила, засвистела над Россией снеговыми метельными столбами, эти свойства характера стоили жизни.

Итак, читаем: «*В словах “Тов. Новомисский предупреждал меня о Вас, тов. Александр!”*, произнесенных т. Хаинским на публичном заседании третейского суда в мае 1909 года, суд лжи не усматривает. Тов. Новомисский, давая о тов. Александре в своей беседе с тов. Хаинским похвальный отзыв во всех отношениях, упомянул между прочим и о некоторых мелких недостатках т. Александра как члена правления, чисто технического характера.

В вышеприведенных словах т. Хаинского суд поэтому видит большое преувеличение того, что ему было сказано т. Новомисским.

Преувеличение это допущено однако т. Хаинским неумышленно и при повышенной атмосфере собрания.

Суд считает необходимым подчеркнуть крайнюю неосторожность заявления, сделанного т. Хаинским в условиях, не допускавших немедленной проверки, и в такой форме, которая при недоговоренности могла дать повод к самым различным толкованиям.

Переходя к инциденту, разыгравшемуся на собрании 6-го ноября 1909 года, суд находит, что оскорбление, нанесенное т. Александром т. Хаинскому, является незаслуженным.

Хотя суд видит смягчающее вину т. Александра обстоятельство в том, что оскорбление было нанесено им в субъективной уверенности в своей правоте и в пылу раздражения, вызванного чувством обиды и приподнятого настроения собрания (чему способствовало отчасти и поведение т. Хаинского), суд тем не менее находит его поступок некультурным и недопустимым, тем более что ему дана была возможность т. Хаинским восстановить истину при помощи третейского суда.

Суд поэтому постановляет, чтобы т. Александр извинился публично перед т. Хаинским в выработанной самим судом форме.

Подписи: Гр. Гурвич, М. Островская, т. Борис, Л. Левин, Г. Ланиц».

Ну, не буря ли это в стакане воды? Конечно, она самая — буря в стакане воды, но сколько, согласитесь, в ней чистоты, порядочности, культуры и вместе с тем страсти — всего того, чего так недоставало

вскоре разыгравшимся бурям иного рода! Разве что в страсти недостатка не ощущалось. Атмосфера, запечатленная в этом документе, кажется уже навсегда и утраченной.

...Февраль 1911 года был заполнен стихами, дружескими встречами с Сергеем Платоновичем Каблуковым, версткой новой подборки стихов в «Аполлоне» и всякой всячиной. Санкт-Петербургский университет в январе бастовал и был еще, кажется, закрыт. Но уже созрело решение поступать в этот домашний университет, и в середине мая Мандельштам примет формальное крещение в методистской кирхе выборгского пастора Розена.

Накануне — 7 мая — из этого же университета будет уволен Гумилев — конечно же, как не внесший платы. И с самим Мандельштамом это еще произойдет, причем дважды: в общей сложности за шесть лет он проучится восемь семестров, но университетского диплома так и не получит.

Во всяком случае вряд ли бы он смутился, получи он из далекого Гейдельберга с сургучной печатью конверт и узнав, что 25 февраля 1911 года подписи господина ректора, действительного тайного советника Ганса фон Шуберта и дисциплинарного чиновника доктора Макса Кастенхольца скрепили его, Йозефа Мандельштама, из Гейдельбергского университета исключение.

Разумеется, как не внесшего плату за обучение.

...Он не смутился бы, конечно, но — как знать! — гейдельбергские видения и воспоминания посетили бы его в этот день: и мансарда в пансионе фрау Джонсон, и семинар Эмиля Ласка, и Пироговская читалка, а возможно и та, имени которой нам не суждено да и не нужно знать.

А вот представить мемориальную доску себе на здании пансиона фрау Джонсон или заметку о себе в гейдельбергских путеводителях Мандельштам и тем более не мог¹²³.

¹²³ Ср.: «В доме 30 по ул. Фридриха Эберта (Anlage 30), в семейном пансионе “Континенталь”, владелица которого носила несколько англоязычную фамилию Джонсон, осенью 1909 и в начале 1910 проживал русский лирик Осип Мандельштам» (Buselmeier M. Literarische Führungen durch Heidelberg. Eine Kulturgeschichte im Gehen. Heidelberg: Winderhorn Verlag, 1991. S. 29).

«О TANNENBAUM, О TANNENBAUM!..»: МАНДЕЛЬШТАМ И ГЕРМАНИЯ

Габриэлле Леупольд
Памяти Габриэлы Фельберг

1

«Немецкие» впечатления были для Мандельштама-ребенка едва ли не ярчайшими из всех других «европейских» впечатлений. Они окружали поэта с самого раннего детства и в степени, соизмеримой только с еврейским или русским началом.

Немецкое — попадалось на глаза на прогулках по Петербургу: *«Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа»* («Шум времени»: «Ребяческий империализм»). Этот «голландский Петербург» семи-восьмилетний Мандельштам, тогда еще не Осип, а Иосиф, не обинуясь, *«считал чем-то священным и праздничным»*.

Но самые прочные «немецкие» ассоциации прописались дома. Отец поэта, Эмиль Вениаминович Мандельштам, в юности учился в берлинской Высшей талмудической школе, откуда, впрочем, бежал, но германофилом оставался всю жизнь. В отцовском кабинете, в своеобразно-естественном окружении мускусного запаха иудаизма, стояли и *«турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем»*, а главное — *«стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой»*.

«Над иудейскими развалинами, — вспоминал Мандельштам в «Шуме времени» — начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер,

Гете, Кернер — и Шекспир по-немецки — старые лейпцигско-тюрингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей («Книжный шкап»).

Продолжим цитату — чтобы уткнуться в «немецкое» и на материнских полках этого шкапа: «Еще выше стояли материнские русские книги — Пушкин в издании Исакова — семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического... У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гете и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к “Ниве”. Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожицей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он “тяжелый”; Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, “Вешними водами” и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает»¹.

Звучал в доме и немецкий язык — составная часть того, как говорил отец. «Речь отца и речь матери — не слиянем ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь... У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки. По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге.

¹ Похоже, что Мандельштам имеет в виду тургеневский роман «Дым», где, кстати, мельком упоминается и Гейдельберг.

Религиозные интересы вытравлены совершенно... Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на равнина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу...» («Шум времени»: «Хаос иудейский»).

Немецкий язык звучал и в школе: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «О Таппенбаум, о Таппенбаум!»² В «Сведениях об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища Мандельштама Осипа за 1901/2 г.», читаем: «Русский язык: За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении излагать результаты его на бумаге. Немецкий язык: К делу относится прекрасно, речью владеет довольно свободно, читает и пишет вполне удовлетворительно»³, а в выданном ему за номером 24 аттестате Тенишевского училища в графе «немецкий язык» стоит пятерка.

Есть еще одно — несколько неожиданное — свидетельство тонкости проникновения Мандельштама в немецкую речь и немецкую культуру. Весь шуточный цикл «Антология житейской глупости» построен на обыгрывании русской «кальки» классической немецкой фразы, ее зачина: «*Das ist...*». Буквальный перевод — «*Это есть...*», но так никто не говорит. В результате — прекомический эффект, в случае с Натаном Альтманом усиленный еще и игрой с фамилией художника:

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.

Он художник старой школы,
Целый свой трудится век,
Потому он невеселый,
Очень старый человек.

(Очевидцы свидетельствуют, что в авторском исполнении пародировалась еще и немецкая фонетика: «*Отиэнь старий тиэловэк...*»).

Вспоминая в «Шуме времени» о тех годах, Мандельштам помянул и Германию: «*А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Ма-*

² «О, елочка, о, елочка!» (нем.).

³ Оригинал — в архиве Е.Э. Мандельштама, младшего брата поэта (Собрание Е.П. Зенкевич).

ленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках большие духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых» («Шум времени»: «Тенишевское училище»).

Долго еще немецкое и еврейское начала — неразлучной парой — будут сопровождать Осипа Эмильевича⁴. Хотя жизнь, конечно, содержала образчики и нарочито «раздельного» их сосуществования.

Например — на Рижском взморье, где «...по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерлингсофа до скупенного и пахнущего пеленками еврейского Дуббельна...

Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгордил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели буриши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Маойренгофе, у немцев, играла музыка — симфонический оркестр в садовой раковине — «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.

В Дуббельне, у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением...» («Шум времени»: «Хаос иудейский»).

Вот и наметилась другая многозначительная «пара» с немецким капиталом — Германия и музыка. Но этой темы мы еще коснемся.

А пока еще одна «связка» с участием Германии: «Германия — социал-демократия — революция». Не даром одна из главок «Шума времени» озаглавлена: «Эрфуртская программа». Мандельштам даже за Маркса брался, но «обжегся, и бросил — вернулся опять к брошюрам: “Капитал” Маркса — что “Физика” Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку — вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль... Здравствуй и прощай, Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано, приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения (“и паутинки тонкий волос

⁴ Ведь даже Дрейфус — французский еврей обвинялся в шпионаже — в пользу Германии! И, стало быть, был ее отголоском!

дрожит на праздной борозде») А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени»: «Эрфуртская программа»).

Встретившись в темноте отцовского кабинета, в самой речи родительской — и даже в расписании поездов на рижском взморье — русское, еврейское и немецкое (расширяющееся до всеевропейского) начала — в сущности уже более не расставались, составляя каркас личности поэта. Их соотношение в разное время разнилось, но поражала сама по себе их неразлучная слитность.

2

Но никакое заочное знание не могли бы заменить в мироощущении Мандельштама те полгода, что он провел непосредственно в Германии. В конце сентября или начале октября 1909 года, оставив семейных на курорте, Мандельштам переехал в Гейдельберг. Записавшись на философский факультет на зимний семестр 1909/1910 годов, он провел здесь осень, зиму и весну, по крайней мере ее начало⁵.

Черед же стихов, так или иначе связанных с Германией, пришел позже — только в 1913 году. Первым, насколько можно судить, было стихотворение «Бах»:

Здесь прихожане — дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом — Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исая,
О, рассудительнейший Бах!..

В тот же год⁶ лютеровская фраза — «Hier stehe ich — ich kann nicht anders...» — легла в эпитафию и начало знаменитого четверостишия:

«Здесь я стою — я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора —

⁵ См. об этом подробнее в наст. издании, с. 275—331.

⁶ Впрочем, есть основания и для другой датировки: «1915».

И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

«Кряжистость», крестьянскость, огненная романтическая наивность, по Мандельштаму, — непрменные спутники немецкого духа. Превосходно зная «правила», среду, почву, регламент, Мандельштам тем более ценил «исключения». Тот же царственно-жертвенный костер бетховенских симфоний, например, их личностное и в высоком смысле индивидуалистское начало⁷.

...Между тем незаметно подкрался июль 14-го года. Выстрел, грянувший в Сараево, разбудил бога войны и всех ее бесов. Россия и Германия оказались врагами, в стихи ворвались сполохи пожаров, бомбардировок, смерти. Истинная хрупкость и зыбкость, казалось бы, неоспоримых культурных ценностей — внушала ужас.

В сентябре европейцы были поражены известиями о бомбардировках немцами готических красавцев-соборов во французских городах: *«Отныне и вовеки, — писал известный журналист В.И. Немирович-Данченко, — проклятие и презрение тебе, некогда великая страна, навшая сейчас до последних степеней варварства... Мы не пойдем за тобой. Мы пощадим твой Кельнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах — от призраков таких же, как и он, великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена»*⁸.

Сходные чувства испытывал, по-видимому, и Мандельштам. В том же сентябре 1914 года он написал стихотворение «Реймский собор» (другой вариант заглавия: «Реймс и Кельн»), с которым не раз выступал на различных вечерах (сборы от них, как правило, шли в пользу лазаретных касс). Вот первоначальная — «длинная» — версия этих стихов⁹:

Шатались башни, колокол звучал —
Друг горожан, окрестностей отрада,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога
Пока не разорвется Олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших бога.

⁷ См. «Оду Бетховену» (1914) и статью «Скрябин и христианство» (1915).

⁸ Нива. 1914. № 40. 4 октября.

⁹ Недовольный этой редакцией, Мандельштам отбросил первые две строфы и именно в таком виде пустил стихи в печать (Петроградские вечера. 1915. Кн. 4. С. 13—16).

Но в старом Кельне тоже есть собор,
 Неконченный и все-таки прекрасный,
 И хоть один священник беспристрастный,
 И в дивной целости стрельчатый бор.

Он потрясен чудовищным набатом,
 И в грозный час, когда густеет мгла,
 Немецкие поют колокола:
 — Что сотворили вы над реймским братом?

Тут примечательно само противопоставление «германского» — как отвлеченно-имперского, воинственного, грубого — и «немецкого» — как причастного культуре, совести, христианству. «Германец выкормил орла», — как будет сказано позднее в стихотворении «Зверинец», или «Ода миру» (1916). Призывая запереть всех воюющих, державных «зверей» — орла, льва, петуха, медведя — в душевспасительном «зверинце», Мандельштам обращался к праистокам — «вину времен», к равно необходимому всем и каждому «льну», к глубинному очистительному свету великих рек — Волги и Рейна, испокон века призванных течь и обмывать раны великих своих стран и народов. Символическое значение этих рек было столь прочно и неоспоримо, что и годом позже, когда все окончательно перепуталось, и отброшенная во времена варварства Европа («Шумели в первый раз германские дубы, / Европа плакала в тенетах...») не представляла уже, что на самом деле с ней станет, именно через реки Мандельштам уловил и по-своему выразил, напроорочил грядущее историческое небытие и России и Германии, их союзную, их роковую причастность к царству мертвых:

...Все перепуталось, и некому сказать,
 Что, постепенно холодея,
 Все перепуталось, и сладко повторять:
 Россия, Лета, Лорелея.

Внутренняя коннотационная взаимозаменяемость таких связей как «Россия — Волга» или «Лорелея — Рейн — Германия» в процитированном стихотворении «Декабрист» (июнь 1917) самоочевидна.

Это же подтверждает и набросок 1935 года, созданный во время работы над циклом «Кама»:

Это я. Это Рейн. Браток, помоги.
 Празднуют первое мая враги.

Лорелеиным гребнем я жив, я теку
 Виноградные жилы разрезать в соку.

В другом пореволюционном стихотворении («Когда на площадях и в тишине келейной / Мы сходим медленно с ума...», декабрь 1917) отрезвляет — вино, «холодный и чистый рейнвейн», предложенный поэту — и поэтом — от лица чисто российской «стужи» и «жесточкой зимы». Насколько же, воистину, «все перепуталось»!

Вскорости было написано и стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. / Нам пели Шуберта — родная колыбель...»¹⁰. У этого стихотворения есть четкий адресат — Анна Ахматова — и столь же четкий импульс: посещение вместе с ней концерта певицы О.Н. Бутомо-Названовой, состоявшегося 30 декабря 1917 года в Малом зале Петроградской консерватории¹¹. Стихотворение, открывающееся эпиграфом из Гейне, — «Du, Doppelgänger, du, o bleicher Geselle!..»¹² — и вовсе переносит нас в Германию — в ту самую, где философствующий школяр любовался с противоположного берега городом, замком, рекой — под вдохновенный аккомпанемент соловьев. Знаменитые шубертовские романсы — на стихи Гете («Лесной царь»), Гейне («Двойник»), В. Мюллера («Прекрасная мельничиха»), — как это у него нередко бывает, сплавлены у Мандельштама в одно целое.

Сам же Шуберт встречается и у позднего Мандельштама едва ли не чаще других композиторов¹³. А в стихах, написанных на смерть Ольги Ваксель¹⁴, — встретим не только упоминание имени Шуберта, но и новые отсылки к его романсным циклам (в частности, к песне «Движение» из цикла «Прекрасная мельничиха»):

...И Шуберта в шубе замерз талисман, —
Движенье, движенье, движенье.

Но бесспорной кульминацией немецкой темы у Мандельштама является стихотворение «К немецкой речи» — уникальное в целом ряде отношений¹⁵.

¹⁰ В одном из автографов оно даже имело заглавие: «Шуберт» (собрание М.И. Чуванова).

¹¹ В программе — романсы Ф. Шуберта и Н. Метнера (см. комментарий Б.А. Каца в кн.: Мандельштам О. «Полон музыки, музы и муки...». Стихи и проза. Ленинград, 1991. С. 118).

¹² «О, <мой> двойник, о, <мой> бледный собрат!..» (Из стихотворения Г. Гейне «Двойник», входившего в «Книгу песен»).

¹³ «Жил Александр Герцович...», 27 марта 1931 года), «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...», ноябрь 1933 — январь 1934 гг.

¹⁴ «На мертвых ресницах Исакий замерз...» и «Возможна ли женщине мертвой хвала?...» (июнь 1935 года).

¹⁵ См. его разбор в наст. издании, с. 159—169.

«РИМ-ЧЕЛОВЕК»: МАНДЕЛЬШТАМ И ИТАЛИЯ

Стефано Гардзонио

Путешествия

Италия для Осипа Мандельштама — это не страна как страна в ряду прочих, а нечто гораздо большее. Скорее это целый континент или даже материк. Континент Культуры, материк Истории, исток европеизма и самой Европы, начало начал.

В таком понимании Мандельштам, собственно, никогда и не покидал своей Италии, всегда носил ее с собой, но все же часто и остро тосковал от того, что физически это не так. Многие его путешествия и 20-х, и 30-х годов (в частности, в Крым или в Армению) и даже ссылка в Воронеж воспринимались им по шкале «приближения» к Италии, к Средиземноморью или «отдаления» от них. Своего физического максимума тоска достигла именно в Воронеже.

Сугубо биографически Мандельштам был в Италии дважды. Первый раз — буквально на один день и тайком от родителей — он посетил Геную. Об этом свидетельствует его письмо среднему брату Шуре от 24 июля (6 августа) 1908 года — замечательной красоты почтовая карточка с фотографией г. Сиона в Швейцарии.

*Russie. Финляндия. Райвола. Дача Пец. А. Э. Мандельштаму.
Шуринька!*

Я еду в Италию! Это вышло само собой. У меня 20 фр<анков> с собою — но это ничего. Один день в Генуе, несколько часов у моря и обратно в Берн. Мне даже нравится эта стремительность. Поезд

веться по узкой долине Роны. Отвесные стены — скалы и лес завешены облаками. «Они»¹ ничего не знают — пока, конечно.

Add'io!²

Ося.

Всего несколько часов у моря, на берегу Генуэзского залива («...Генуи ленивая дуга...»), но как отзовутся эти острые впечатления от спонтанного «набега» на генуэзскую метрополию позднее в Крыму, в Феодосии и в Судакe, где Мандельштама ждали встречи с остатками генуэзских крепостей!

Второе итальянское путешествие Мандельштама состоялось весной (предположительно в марте) 1910 года, по завершении семестра в Гейдельбергском университете. Поэт как бы последовал «совету» одного из своих профессоров, искусствоведа Генриха Тоде, в шутку (а может и всерьез) не понимавшего, как это можно ходить на его лекции, скажем, на «Основы истории искусства» или на «Великие венецианские художники XVI века» (именно их и слушал Мандельштам), и при этом так ни разу в Италии не побывать³. Из Италии поэт вернулся уже не в Гейдельберг, а в Санкт-Петербург. Маршрут этой поездки никак не задокументирован, но по позднейшим стихам можно смело предполагать, что мимо Рима, Флоренции, Венеции и Неаполя Мандельштам не проехал.

Но на самом деле Мандельштам подчинился не столько внешнему, сколько внутреннему голосу, — сирене, манившей его в Италию, может быть, всю жизнь. «Ожог» от этих двух коротких посещений Италии был пожизненно неизгладим.

Не будет преувеличением приравнять 1932—1934 годы к третьему итальянскому «ожогу» Мандельштама. Тогда он учил итальянский язык и, по выражению Ахматовой, «*весь бредил Дантом, читая наизусть страницами*»⁴. На это же время пришлось сильнейшее увлечение Петраркой, Ариостом и Тассом.

Эссе «Разговор о Данте» — почти одновременно со стихотворным «Ариостом» — писалось весной 1933 года в Старом Крыму и Коктебеле. И когда уже в Воронеже, по заказу Радиокомитета, Мандельштам переводил неаполитанские песенки, он не удержался и написал, — «*На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!*...»⁵, — то имел он в виду, конечно же, не один только Крым и не одно только «наше

¹ Речь идет, очевидно, о матери и младшем брате — Ф.О. Мандельштам и Е.Э. Мандельштаме, находившихся в это время в Берне.

² До свиданья! (ит.)

³ См. в наст. издании, с. 300—301.

⁴ Ахматова, 2005. С. 111.

⁵ В стихотворении «День стоял о пяти головах...» (1935).

черноморье», но и итальянскую «лазурь» и все «широкое и братское лазорье», о которых писал в «Ариосте».

СТИХИ

В стихи Мандельштама Италия попала далеко не сразу — спустя добрых пять лет после второго визита. Да и не всегда легко сказать, является ли Рим из широко понимаемого «римского» цикла 1914 года современным ему католическим городом, начиненным развалинами своего иного и древнего величия, или же собственно Древним Римом?

В стихотворении «О временах простых и грубых...» Рим уже совершенно абстрактен и, мешаемый в песнях со снегом, дан из перспективы скифского Овидиева изгнания. Столь же отдаленно и условно «римским» — а по сути петербургским — является и стихотворение о Казанском соборе и его создателе, Воронихине («*А зодчий не был итальянцем, / Но русский в Риме...*»). Тот и не пытался скрывать своего восторженного подражания создателю Собора Святого Петра, но, не будучи связан тисками уже построенного, распорядился своими странством и свободой конгениально:

И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

Но максимальной степени отвлечения от современного Рима Мандельштам достигает в «двойчатке», обращенной непосредственно к римским «развалинам».

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

Мандельштамовское представление о соотнесенности в Вечном городе истории и природы, их перетекании одного в другое, необычайно сродни эйнштейновским тезисам о соотношении времени

и пространства. И, когда в другом стихотворении из той же двойчатки («Когда держался Рим в союзе с естеством...»), он восклицает —

А ныне человек — ни раб, ни властелин,
Не опьянен собой — а только отуманен;
Невольно думаешь: всемирный горожанин!
А хочется сказать — всемирный гражданин!

— то эту «всемирность» воспринимаешь не как глобальный космополитизм «граждан мира», а скорее как некий пан-историзм, как некие причастность и «гражданство» во всемирной истории. Человек мира — это человек Рима.

Тогда приоткрывается и смысл уподобления Мандельштамом Рима — *«месту человека во вселенной»*. Мировая история обнаруживает себя не только как экстерриториальная, но и как вневременная категория, способная выкристаллизовываться в такие абстрактные категории как, скажем, демократия, свобода, закон, гуманизм, человеческое достоинство. Это открылось ему в Риме, и с таким багажом и таким «посохом» ему уже не страшно и не стыдно будет пускаться в любой путь, хотя бы он и вел на Вторую Речку!

И в то же время в мандельштамовском Риме есть «место» и для католической начинки. Поэт как бы смотрит на Рим глазами и католика-неофита, и чуть ли не самого понтифика одновременно:

Поговорим о Риме — дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль, и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны, —
И строго-канонические луны —
Двенадцать слуг его календаря.

На дольный мир глядит сквозь облак хмурых
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!

Стихотворение «Encyclica»⁶, написанное уже иным размером, продолжает все ту же двойственность, не переходящую в раздвоение:

⁶ Папское послание.

Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зрением, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma! —
Он только сердце веселит...

После этого тема Рима уходит как бы в тень, уступая давлению военно-политических событий (Мандельштам — впечатленный варварскими немецкими бомбардировками — очень скоро оказался в стане противников войны). Дважды, если не трижды названа Италия в его стихотворении 1914 года «Европа», посвященном геометрическим контурам и меняющейся по ходу войны топологии Старого Света. «Ленивая дуга» Генуэзского залива и собственно «медуза» Аппенинского полуострова (именно медуза, а не более привычный «сапожок») относятся для него к безусловному ядру Европейского континента.

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк.
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

...Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Через два года, в 1916 году, Мандельштам написал стихотворение «Зверинец», в котором достаточно ярко представил воющую Европу в качестве геральдического зверинца. К Италии, в частности, он обратился со следующими ироническими словами:

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?

Однако в октябре 1915 года тема Рима возвращается вновь — в цикле (или, как называл его Каблуков, «складне») о Риме: «Обиженно уходят за холмы...», «С веселым ржанием пасутся табуны...» (оба вошли в «Камень» 1916 года) и «У моря ропот старческой кифары...». Здесь,

однако, уже совсем другая оптика: поэт смотрит на Рим издалека — из Крыма и сквозь Крым. Да, все здесь насквозь пропитано римскими запахами и воспоминаниями, все здесь напоминает семихолмие Вечного Города, но все-таки это не Рим — подобие, похожесть, соприсродность не в силах перечеркнуть его удаленность...

Похожий, и вместе с тем совершенно другой ракурс — в одном из «московских» стихотворений Мандельштама, окрашенных влюбленностью в Марину Цветаеву. В феврале 1916 года с искренним изумлением он обнаружил в Кремле творение Аристотеля Фиораванти — *«Успенье нежное — Флоренцию в Москве...»*.

Но, может быть, самое знаменитое мандельштамовское стихотворение об Италии — и самое загадочное — это «Венецйская жизнь» из «*Tristia*» (1920).

Венецйской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи, синие прожилки,
Белый снег, зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха,
Тяжелее платины Сатурново кольцо,
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах — роза или склянка,
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает,
Все проходит, истина темна.
Человек рождается, жемчуг умирает,
И Сусанна старцев ждать должна.

Просто поразительно, как сумел поэт уловить и передать тот немного рваный ритм венецианского приboя, мелко и мерно, в такт гребкам, покачивающего гондолы. Этот влажный ракурс, взгляд с водной поверхности и чуть ли не через дождь, совмещен и с сухопутной перспективой — замкнутой и ограниченной достаточно небольшим пространством дворцовой, музейной или церковной залы, даже окна которой не дают выхода из этой замкнутости, ибо упирают взгляд во все ту же, покачивающуюся твердь или в противоположный берег канала. Смерть и любовь напитали собой каждую строчку этого удивительного стихотворения, но нам уже никогда не узнать того, что послужило ему в 1920 году реальными поводами и причиной.

Итальянская тема, точнее, итальянские реалии возвращаются в мандельштамовские стихи спустя десятилетие, в 1931 году, и с несколько другой стороны. В стихотворении «Я пью за военные астры...» неожиданно всплывает «веселое асти-спуманте» — как дешевая и плебейская альтернатива дорогому и благородному вину Папского замка. В стихотворении «Канцона» итальянским огоньком блеснуло и снова погасло само название. В белых стихах («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...», «Еще далеко мне до патриарха...»), как бы переключаясь? любимых художников, Мандельштам упомянул Рафаэля и двух венецианцев — Тициана и Тинторетто («...Вхожу в вертепы чудные музеев, / Где пучатся кащеевы Рембрандты, / Достигнув блеска кордованской кожи, / Дивлюсь рогатым митрам Тициана / И Тинторетто пестрому дивлюсь / За тысячу крикливых попугаев»).

Под знаком Данта

А 1932—1934 годы и вовсе прошли у Мандельштама под знаком итальянской литературы — прежде всего Данта, Петрарки и Ариосто. Наряду с «Разговором о Данте» — этим, по выражению Л.Е. Пинского, *ars poetica* Мандельштама, — в ее магнитное поле попали и стихи, и переводы.

Кроме сонетов Петрарки, он перевел и немало стихотворных отрывков — цитат из Данте для своего «Разговора». А несколько стихотворений возникли как бы на полях «Разговора о Данте». Вот, например, этот отрывок, датированный маем 1932 года (переработан в сентябре 1935 года):

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.

Но всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Через год, 4—6 мая 1933 года, было написано стихотворение «Ариост»:

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной песни —
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души, —
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея,
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка

От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснушему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

Стихотворение «Ариост» стало «двойчаткой», но двойчаткой по-неволе: оно считалось утерянным, и Мандельштам в июле 1935 года фактически заново его написал. В мае же 1933 году роль «дополнительного» играло следующее стихотворение:

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить.

О, как мучительно дается чужого клекота полет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

В декабре 1933 — январе 1934 Мандельштам переводил сонеты Петрарки (общим числом четыре). Арест и ссылка — сначала в Чердынь, а потом в Воронеж — поначалу ослабили сосредоточенность Мандельштама на итальянском, но очень скоро Италия и итальянские образы вернулись и в его стихи.

В июне 1935, работая над радиопередачей о Гете, он пишет о нем четверостишие, начинающееся словами: «Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гете манившее лоно...». Там же и тогда же, в 1935 году в Воронеже, он перевел еще и несколько «Неаполитанских песенок».

Но, если в первой и второй «Воронежских тетрадах», итальянские мотивы почти не выходили на поверхность (кроме «Итальянского путешествия» Гете это еще Паганини, например), то в третьей тетради Италия снова вышла на поверхность. Так, стихотворение «Не сравнивай, живущий не сравним...», написанное 18 января 1937 года, заканчивалось следующей строфой:

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, ясным в Тоскане.

В марте 1937 — еще несколько «итальянских» стихов — «Тайная вечеря» (9 марта), двойчатка «Заблудился я в небе — что делать?..» (9—19 марта) и «Рим» (16 марта).

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов —
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, —
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —

Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

Это стихотворение — эпиграмма на *диктатора-выродка* — как бы раскрывает тезис об отвратительности рук власти-брадобрея (вспомните ножницы, которые спустя всего четыре с половиной года другие выродки занесут над окладистыми раввинскими бородами в городках и местечках бывшей черты оседлости!). Ни в каком другом стихотворении о Риме Мандельштам не был так топографичен и так подробен, как в этом. Фашистская Италия тут уже не смешная курица времен Первой мировой, а свора злобных щенков из «убийства питомника».

Доктрина психопата с тяжелым подбородком, как и доктрина горца с широкой грудью осетина решительно не совмещается у Мандельштама со всем тем, что выкристаллизовалось в Риме и из Рима («Рима-человека») за тысячелетия его истории.

«АМЕРИКАН-БАР»: МАНДЕЛЬШТАМ И АМЕРИКА, АМЕРИКА И МАНДЕЛЬШТАМ

*Кларенсу Брауну
Памяти Омри Ронена*

1

Мандельштам родился в ночь со второго на третье (а по новому стилю — 15) января 1891 года на одном, самом западном, конце огромной Российской империи — в Варшаве, а умер, вернее, погиб — на другом, самом восточном — под Владивостоком.

Дата его рождения имеет провиденциальное отношение к нашей теме. Тысяча восемьсот девяносто первый год — это год депортации евреев из Москвы и Ростова-на-Дону и начала первого массового исхода евреев из России (главным образом в США и в Палестину). И сложись судьба Осипа Эмильевича (вернее, его родителей) иначе, то и он мог бы угодить в Америку чуть ли не в возрасте пеленашки.

Но его отец был ремесленником (кожевенником) и купцом второй гильдии, и это вырывало его и его семью из тисков черты оседлости. В результате семья хотя и переехала, но не так радикально: из Варшавы в Павловск, а затем из Павловска — в Санкт-Петербург.

Так началась жизнь этого необычайно подвижного применительно и ко времени, и пространству человека, которому, и без путешествия в Новый Свет, суждено было «намотать» десятки тысяч вольных и невольных километров.

Здесь не место описывать все его поездки и бродяжничества, включая и последнее из его «путешествий» — на Колыму, куда он так и не доехал: *«На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!..»*.

Без осознания и учета европеизма и даже европоцентризма Мандельштама невозможно было бы понять и его отношение к Америке — стране эмигрантов и эмиграции.

2

Сама тема эмиграции была отнюдь не чужда Мандельштаму. Но, побывав за границей, ощутив весь уют и соблазн Европы, он тем не менее твердо вернулся в Россию. А размышления над судьбой и творчеством Петра Чаадаева помогли ему выразить суть своего отношения к эмиграции.

Вот цитата из статьи «Петр Чаадаев», написанной в 1914 и опубликованной в 1915 году в журнале «Аполлон»:

«...Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью.

Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный. Эта свобода стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры...

...У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев принял ее, как священный посох, и пошел в Рим.

...Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима.

...Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно.

Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева.

На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данте: “Этот был там, он видел — и вернулся”.

А сколько из нас духовно эмигрировали на Запад! Сколько среди нас — живущих в бессознательном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась там!..»

Иначе говоря, Мандельштам ощущал себя причастным к своеобразной чаадаевской традиции — традиции тех, кто, побывав на Западе, нашел в себе достаточно сил, чтобы не остаться там

навсегда и вернуться (чисто биографически у этого имелся и еще один испытательный стенд: в 1922 году литовский посол в России и русский поэт Балтрушайтис предлагал Мандельштаму уехать, но тот остался).

В несколько иронической плоскости это выразилось и в шуточном четверостишии, адресованном Бенедикту Лившицу:

Ubi bene, ibi patria, —
Но имея другом Бена
Лившица, скажу обратно:
Ubi patria, ibi bene.

...Впрочем, то утверждение, что, начиная с осени 1910 года, Мандельштам за границей не бывал, все же нуждается в оговорках. Да, за старой границей старой Российской империи — он действительно более не бывал, а вот за новой границей нового советского государства — побывать успел и даже тюрьмы «заграничные» перепробовал. Ведь ни врангелевский Крым, ни меньшевистская Грузия, ни даже Украина, где в мае 1919 года он встретился и сошелся с Надей Хазиной — своей будущей женой, в то время Советской Россиию не являлись.

3

Но, как бы то ни было, за пределы Старого Света Мандельштам уж точно не выбирался. Так что, в отличие от Маяковского, Есенина, Тихонова, Ильфа с Петровым или Пильняка, лично Осип Эмильевич Мандельштам с Соединенными Штатами Америки знаком не был. С точки зрения русской литературы урон незначительный: ведь и перечисленные авторы меньше всего обязаны своей славой произведениям, написанным в Новом Свете или о Новом Свете.

Несмотря на отсутствие прямых и непосредственных впечатлений, ясное и вполне живое представление об Америке у Мандельштама было, как был и интерес (хотя бы, поначалу, и отрицательный). Америка встречается у него десятки раз, и самый анализ этих упоминаний оказывается весьма интересным и поучительным. Своим отношением к Америке О.М. отчетливо обязан прежде всего (но не исключительно) своему органическому европеизму.

Америка в стихотворении «Европа» 1914 года была для Осипа Мандельштама самой настоящей, географической Америкой — материком, омываемым океаном и еще не «аннексированным», по точному замечанию Маяковского, одним-единственным государством,

неудержимо завладевшим немалой толикой земли, а затем и целым именем этого материка и с той поры не выпускающим его из крепчающих рук.

В таком своем качестве — в качестве Северо-Американских Соединенных Штатов (или С.А.С.Ш., как именовали США в Европе ранее) — Америка и американцы попали в стихи Мандельштама еще в 1913 году (не позднее июня). Вот первое из двух стихотворений того времени, где «Америка» проникла даже в заглавие.

АМЕРИКАН БАР

Еще девиц не видно в баре,
Лакей невежлив и угрюм;
И в крепкой чудится сигаре
Американца едкий ум.

Сияет стойка красным лаком,
И дразнит сода-виски форт:
Кто незнаком с буфетным знаком
И в ярлыках не слишком тверд?

Бананов груды золотая
На всякий случай подана,
И продавщица восковая
Невозмутима, как луна.

Сначала нам слегка взгрустнется,
Мы спросим кофе с кюрассо.
В пол-оборота обернется
Фортуны нашей колесо!

Потом, беседа негромко,
Я на вращающийся стул
Влезаю в шляпе и, солодкой
Мешая лед, внимаю гул...

Хозяйский глаз желтей червонца
Мечтателей не оскорбит...
Мы недовольны светом солнца,
Теченьем медленных орбит!

Оно было напечатано в 7-м номере журнала «Аргус» за 1913 года и, видимо, было списано с натуры, поскольку в Петербурге, при ре-

сторане «Медведь» (Большая Конюшенная, 27) действительно имелось заведение, именовавшееся «Американ бар».

А вот второе, образующее с первым своеобразный диптих, причем в отличие от первого — оно даже попало в книгу «Камень».

АМЕРИКАНКА

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

Как видим, он смотрит на Америку как истинный европеец, и сквозь призму старой европейской культуры американские достижения в области цивилизации вызывают у него сначала и прежде всего устойчиво ироническую улыбку, даже усмешку. Американские романы или фильмы, да и сами живые американцы и американки где-нибудь в Лувре или на Елисейских полях, — и вправду давали для этого сколько угодно поводов. Признаки ханжества или дикарства буквально бросались в глаза.

Манделштам от души, но не едко иронизирует над американской туристичностью, над американской поверхностностью, над американской непричастностью, — а то, если хотите, и враждебностью, — культуре, отождествляемой им с европейской традицией. При этом он и сам, конечно, рискует впасть в поверхностность и односторонность, рискует — но все-таки не впадает.

Интересно, что и представления О.М. о самой Америке отнюдь не поверхностные, посмеивается или подшучивает он не просто походя,

а, так сказать, со знанием дела. Многое он неожиданно хорошо знает (“и красных небоскребов трубы” — это же никогда не виданный им Манхэттен начала века!), но он понимает и то, что есть и другая Америка, к которой он подспудно питает и уважение, и даже восхищение, но встреча с которой еще у него не произошла.

Поэтому он подчеркнуто настаивает на своем первом впечатлении, дав своего рода развернутый комментарий к этому диптиху в своей рецензии на один плохой перевод Джека Лондона¹, опубликованной в «Аполлоне» все в том же 1913 году. Тут уж он отпустил вожжи и пустил свою язвительность галопом:

«...Анемичному русскому обывателю необузданный здоровяк Лондон пришелся как нельзя более по вкусу: его герои живут особенно охотно за полярным кругом, отличаются железной выносливостью, пьют виски, как воду, и т. п. Однако связь этого мнимого дикаря с новейшим, чисто американским развитием техники — несомненна. В универсальном техническом прогрессе человеческая машина-организм занимает одно из последних мест, но могущественный спорт в союзе с разнообразными идеалами физического процветания идет навстречу этому чувствительному техническому пробелу современности. С прозорливостью янки Джек Лондон взял патент на усовершенствованного нового человека еще раньше, чем его тип был осуществлен в действительности естественным подбором и спортивными упражнениями. Полярный скороход, проходящий на пари две тысячи миль в 60 дней при 90° мороза, — (“Сын Солнца”) — или плантатор, больной дизентерией, исключительно волевым напряжением властвующий над толпой людоедов на Соломоновых островах, — (“Приключение”) — великолепные человеческие особи. И нужно отдать справедливость Лондону: фантастическая мужественность его героев временами правдоподобна и подчас внушает уважение...

...Но художественная значительность произведения измеряется не глубиной мыслей, высказываемых автором, а теми произвольными духовными испарениями, которые создают атмосферу произведения. Вокруг приключений Джека Лондона — самая обыкновенная духовная пустота, как вокруг газетного фельетона или рассказа Конан-Дойля. Как и прочие англо-американские писатели-спекулянты, Джек Лондон искусственно вызывает острое любопытство с тем, чтобы сполна и добросовестно его удовлетворить; если на первой странице рассказ

¹ Джек Лондон. Собрание сочинений с предисловием Л. Андреева. Перевод с английского под редакцией А.Н. Кудрявцевой. СПб., 1912. Кн-во “Прометей” Н.Н. Михайлова.

пленительно нов, то на последней — смертельная скука ликвидации и погашенных векселей.

“Художественный” прием Лондона — непрерывность действия. Каждая страница дает новую сенсацию подобно тому, как номер американской газеты содержит очередное убийство. Джек Лондон так мало знает, что ему делать с людьми, и — что весьма отрадно — ему так не хочется обращать их в манекенов, что он предпочитает убивать их, как только они сделают свое сенсационное дело. Идеология Джека Лондона поражает своим убожеством и своей старомодностью с европейской точки зрения: весьма последовательный и хорошо усвоенный дарвинизм, к сожалению, прикрашенный дешевым и дурно понятым ницшеанством, — он выдает за мудрость самой природы и непоколебимый закон жизни.

В одном месте Лондон обмолвился значительным признанием: “огромная, страшная и чужая вещь, которая называется культурой”. Эта скромная самооценка и наивное благоговение перед чужой и непонятной сложностью культуры — пожалуй, самое ценное в Лондоне. Болезнь Нового Света, тайный недуг чудовищных городов — культурное одичание? нашло в Джеке Лондоне неожиданно привлекательного выразителя. Дело в том, что у Лондона это историческое одичание не обусловлено личным вырождением, а выступает особенно наглядно на фоне безукоризненного физического и душевного здоровья.

Современному человеку нет надобности ехать в Клондайк или на остров Тихого океана, чтобы почувствовать себя дикарем: так легко заблудиться в лабиринте Нью-Йорка или С<ан>-Франциско, в стихийном лесу молодой цивилизации, мощная растительность которого непроницаема для живительных лучей культуры. Безобидная занимательность и душевная ясность Лондона делают его незаменимым писателем для юношества. Наивное увлечение Лондоном взрослых читателей можно только приветствовать: оно показывает, насколько поверхностны были прежние увлечения читательской толпы, и что если подлинное искусство пользовалось успехом, то проникало в умы контрабандой, под флагом посторонних соображений...

Америка всплывает и в статье 1918 года «Государство и ритм» (впрочем, не Америка, а американская буржуазия), но особенно многозначительным является высказывание из программной статьи О.М. «О природе слова» 1920 года, когда он был близок к тому, чтобы отказать в культурности и самой Европе:

«Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из самых глубин истории; это в своем роде такой же неугасаемый огонь, как и огонь филологический.»

Есть такие вечные огни на земле, пропитанные нефтью: где-нибудь случайно загорится и горит десятки лет. Нет нейтрализующего состава, погасить абсолютно нечем. Лютер был уже плохой филолог потому, что, вместо аргумента, он запустил в черта чернильницей. Антифилологический огонь изъязвляет тело Европы, пылая горящими сопками на земле Запада, навеки опустошая для культуры ту почву, на которой он вспыхнул. Ничем нельзя нейтрализовать голодное пламя. Нужно предоставить ему гореть, обходя заклятые места, куда никому не нужно, куда никто не станет торопиться.

Европа без филологии — даже не Америка; это — цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские Кремли и Акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди будут смотреть на них, не понимая их, и даже скорее всего станут пугаться их, не понимая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры.

Да что говорить! Америка лучше этой, пока что умопостигаемой, Европы. Америка, истратив свой филологический запас, свезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась — и вдруг завела свою собственную филологию, откуда-то выкопала Уитмэна, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной, номенклатурной поэзии, под стать самому Гомеру.

Россия — не Америка, к нам нет филологического ввозу: не прорастет у нас диковинный поэт вроде Эдгара Поэ, как дерево от пальмовой косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик золотой арфы, каких никогда не бывает на Западе: переводчик по призванию, по рождению, в оригинальнейших своих произведениях» (1920—1922).

Уловив в 1920-е годы глубинную общность младожавой Америки и молодой — и как бы отвернувшейся от Европы — Советской России, Мандельштам отошел от своего предвоенного взгляда на Джека Лондона и на Америку. И о переводном Майне-Риде — а чем он, по большому счету, не Джек Лондон? — в статье 1928 года «О переводах» он пишет уже совсем не так, как о переводном Джеке Лондоне в 1913 году:

«...Теперь о «Молодой гвардии». У нее монополия на юношество. Она ее очень своеобразно понимает: молодежь-де слопает все... Нам нужен свой приключенческий роман для юношества с этнографической и прочей начинкой. В настоящее время Майн-Рид имеет только ретроспективное значение. Это — здоровая романтика. Живучесть Майн-Рида объясняется тем, что он учел великую жадность молодежи к познанию географического пространственного мира. Он — блестя-

щий педагог, сочетавший в своих образовательных путешествиях научные сведения своего времени с бесхитростной фабулой. За создание «советского Майн-Рида»!»

Над «советским Майн-Ридом» Мандельштам, кстати, немало работал, отредактировав переводы нескольких томов его собрания сочинений (любопытно, что при этом сам он по-английски не читал и при необходимости использовал французские переводы из Вальтера Скотта и Майн-Рида).

4

Но примерно в это же время, даже чуть раньше, происходит встреча Мандельштам и с «другой» Америкой — с Америкой иммиграции, с тою разновидностью судьбы, которая его и его семью миновала. Встреча произошла благодаря тому, что в середине 1920-х гг. Мандельштам зарабатывал на хлеб, главным образом, переводами и писанием внутренних рецензий на переводные книжки.

И вот, в 1926 году в издательстве «Прибой» ему дают на рецензию книгу американской писательницы Розы Коген. Знакомиться с романом ему помогала, очевидно, жена, прекрасно знавшая английский язык. Ей же, после того как внутренняя рецензия была написана и мнение поэта услышано, предстояло и перевести роман на русский язык. И книга действительно увидела свет в 1927 году².

Интересно, что сам роман еще не раз переиздавался и по-английски. Так, одно из изданий вышло в 1971 году в серии с красноречивым названием: «Американская иммиграционная библиотека»³.

Роза Гэллуп (Коген) — не вымышленное лицо, а реальный автор. Ее отец эмигрировал в 1890 году. Едва он успел зацепиться за землю Манхэттена, как купил два предоплаченных билета на пароход: за ним, к нему потянулись родственники, в том числе, в 1892 году, — его 12-летняя дочь Роза. Из одной черты оседлости в другую — из российской конфессиональной в американскую экономическую. Ибо вырваться из нижних номеров Ист-Сайда не легче, чем из местечка или от кагала.

Что же должно было с девочкой произойти и сколько должна была она испытать, прежде чем она стала автором англоязычной (sic!) автобиографической прозы об Ист-Сайде! В 1918 году, когда книга

² Когэн Роза. Сквозь ночь. [Роман] / Пер. Н.Я. Хазиной. Под ред. О.Э. Мандельштама. Л.: Прибой, 1927.

³ Cohen, Rose. Out of the Shadow. Illustrated by Walter Jack Duncan. New York GH Doran Co, New York, JS Ozer 1971, 313 p. (The American Immigration Library).

была впервые опубликована, автору было всего 38 лет. Героине же, Рахель Рут, ко времени завершения книги, — всего 22 года, и в центре всего — впечатления именно ребенка, а не преодолевшей уже ассимиляцию женщины. Каким шоком для девочки из черты оседлости было увидеть, как ее любимый отец, взяв ее на первую субботнюю прогулку по городу, вдруг купил ей немного фруктов и при этом расплатился деньгами, притрунувшись к монетам! Отец — ее родной и любимый отец! — оказался ей отвратительным святотатцем и предателем: от ужаса она убежала и едва не потерялась!.. Впереди ее ждало еще множество таких «измен» и этапов эмансипации, в том числе и самое ее торжество: выходить замуж не только можно и нужно не по уговору, а по любви!..

Но вернемся к тексту мандельштамовской внутренней рецензии — к тому, что сам Мандельштам думал о романе и, через роман, об Америке.

РОЗА КОГЕН. АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ

Книга «Роза Коген» — любопытнейший памятник массовой еврейской эмиграции в Америку и, безусловно, один из основных документов по этому вопросу. По форме это увлекательная повесть, по содержанию — глубокий и непреднамеренный социальный памфлет.

Еврейская местечковая семья перебрасывается в Нью-Йорк. (Характерная подоплека — беспорядок в воинских делах отца.) Трагически назревающие сборы. Тайный переход границы в контрабандных фурах, под охапками соломы. Рассказ ведется от лица девочки, которая несколько позже последовала за отцом. Повесть отталкивается от впечатлений «черты оседлости». Эмигрантская станция в Гамбурге и само плавание показаны кратко и напряженно. Доминирует инстинкт жизни и жажда новизны. В дальнейшем книга складывается как стройная биография девушки-работницы с резким предрасположением к американизации. Постепенно перевезенная, вернее, с громадными усилиями перетащенная в Нью-Йорк, семья немедленно закабаляется как рабочая сила. Наблюдения кристаллизуются вокруг бытовых явлений. Еврей-торговец, например, для уличной безопасности берет в провожатые девочку, ибо в Америке «уважают женщин». Вежливые «полу-погромы». Подкуривание еврейских домов. Из первой части мы узнаем, как живет и хозяйничает в Нью-Йорке семья, считающая на десятки долларов, узнаем с такой яркостью и подробностью, как если бы говорилось о Белостоке или Балте.

Центральная часть почти всецело посвящена условиям труда: портновские, кройные, плиссировочные мастерские, женский, дет-

ский труд, синдикализация, локауты. Полутемная квартира мелких американских дельцов, где живут и обедают при электрическом свете. Спать на стульях в кухне, “совсем как дома”. Центральный эпизод — неудачное сватовство 16-тилетней героини. Отвергнутый жених-бакалейщик. Основная черта Розы Коген — отвращение к плаксивому и обличительному тону и непобедимое жизнелюбие. В последней части освещена своеобразная филантропически-миссионерская деятельность американского капитала в еврейской массе. Пресвитерианский госпиталь. Благотворительный спорт. Дама-патронесса, читающая из роскошной золотообрезной книги поэму... о ритуальных убийствах. Вообще книга “Роза Коген” необычайно богата материалом по американскому лицезмерию: на бельевой фабрике работницам, по случаю возвращения хозяина из Европы, раздают в конвертиках золотые безделушки, стоимость которых вычитается из заработной платы, и т. д.

Книгу, с некоторыми сокращениями, можно рекомендовать массовому читателю: она органически вводит в быт современной Америки, заинтересовывая в то же время личностью самой рассказчицы.

5

И уже в самом конце жизни — еще две встречи с Америкой, причем, подчеркну, не с *американкой в двадцать лет*, а с совершенно другой Америкой.

Первая встреча произошла в Воронеже. Поэт замер под уличным радиорепродуктором, из которого лились негритянские спиричуэлсы и завораживающий тембр *«певицы с низким голосом»* — Мариан Андерсон. Из этого уличного «концерта» родились дивные стихи:

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И тайтянок кроткие корзины...

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!

Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

А вторая встреча — с Чарли Чаплиным. В самые последние мандельштамовские стихи он вошел так же мощно и уверенно, как и давнишний любимец Франсуа Виллон. Сначала — 3 марта 1937 года — он возникает в стихах о Франции («*Я молю, как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости...*»):

...А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Будучи любимым артистом Мандельштама, он был для него кем угодно, но только не комиком, не потешным дуралеем-эксцентриком, каким воспринимало его большинство зрителей, падающих с кресел от хохота.

И когда примерно в ту же пору, на вечере в Воронеже, Мандельштам определил акмеизм не иначе как «тоску по мировой культуре», то, думается, есть немало оснований полагать, что Мандельштам уже больше не задирает Америку и не настаивал на исчерпавшем себя противопоставлении культуры и цивилизации, а стало быть — и Европы с Америкой.

6

Но Америка и не думала сердиться на Мандельштама. При его жизни она просто и не подозревала о его существовании: мало ли кто и где на земном шаре пишет стихи да еще не по-английски!

А вот после смерти Мандельштама она обратила на него свое благосклонное внимание. Вослед американскому контексту у Мандельштама со временем появился и мандельштамовский контекст — у Америки.

Исторически сложилось так, что в процессе мирового освоения жизни и творчества Мандельштама совершенно исключительная роль принадлежит США. Здесь обрели свое место все три кита этого освоения — издание наследия, изучение творчества и даже хранение центрального архива.

Именно в США были изданы первый посмертный однотомник поэта (1955, Нью-Йорк, изд-во имени Чехова) и первое многотомное Собрание сочинений (в 1964—1971 гг. в Вашингтонском издательстве «Межъязыковое литературное содружество» вышло три тома, причем первые два тома — двумя изданиями; четвертый том вышел в 1981 году в парижском издательстве YMCA-Press). Эти издания сыграли исключительную научную и политическую роль, став своего рода «гарантом» того, что великая поэзия гениального поэта, с риском для жизни сохраненная его вдовой, друзьями и читателями, не погибла, не канула в Лету, а будет бережно донесена до читателя.

Именно в США, вокруг таких филологов-славистов как Г.П. Струве (Калифорнийский университет, Беркли) и К.Ф. Тарановский (Гарвардский университет), сложились целые исследовательские школы и направления, в значительной степени сориентированные на изучение творчества О. Мандельштама, главным образом, поэтики. Многие исследователи его творчества из СССР, главным образом представители «таргусской» структуралистской школы Ю.М. Лотмана, в 1970—1980-х гг. эмигрировали в США и продолжают работать над изучением Мандельштама. Мало того — целые филологические школы, складывавшиеся отчасти и в США, становились, оттачивались и апробировались на мандельштамовском по преимуществу материале, например, интерлингвистическая школа.

Велик вклад американских славистов и в разработку биографии поэта. Первопроходцем тут был Г.П. Струве с его постоянно пополнявшимся биографическим конспектом О.М., бережно воссоздававшимся из самого разношерстного материала в очерках и заметках о поэте. Именно в США, собственно говоря, увидела свет в 1973 году пусть и неполная, но первая научная биография поэта «Мандельштам», написанная профессором сравнительной литературы Принстонского университета и первооткрывателем творчества О.М. для англоязычного читателя Кларенсом Брауном (Clarence Brown).

Браун родился в 1929 году в Андерсоне (Южная Каролина). Учился в Duke University, где изучал древнегреческую и русскую литературу, а также в Институте военных переводчиков в Монтеррее, что в Калифорнии, где изучал немецкий язык (окончил в 1952 году). Военную службу проходил в качестве переводчика в Берлине. Демобилизовавшись в 1954 году, поступил в аспирантуру Мичиганского университета, где изучал лингвистику, а после женитьбы на Жаклин Дукень,

астрофизике (бельгийке по происхождению), перевелся в Гарвардский университет, где учился у Р. Якобсона, Вс. Сечкарева, Р. Поджиоли и др.

В 1962 году в Гарварде Браун защитил диссертацию «Жизнь и творчество Осипа Мандельштама» — первую в мире квалификационную работу об О.Э. Мандельштаме. Начиная с 1959 года и на протяжении последующих сорока лет, Браун работает в Принстонском университете: в отделе сначала романских, затем славянских языков, а с 1972 года — в отделе сравнительного литературоведения. В конце 1960-х гг. он вел спецкурсы по акмеизму, в значительной степени посвященные поэзии Мандельштама. Среди других его русских «любимцев» — В. Набоков, Е. Замятин и др.

В 1962—1966 гг. Браун несколько раз бывал в Москве и Ленинграде, где встречался с А. Ахматовой, Е. Эткиндом, Н. Мандельштам и др. В 1962 году Ефим Эткинд подарил ему автограф стихотворения Мандельштама «Под грозowymi облаками...», долгие годы украшавший рабочий кабинет-башню Брауна в Принстоне (401 East Pyne). Именно Браун весной 1966 года вывез из Москвы рукопись «Воспоминаний» Н.М., опубликованных на Западе в 1970 году. Вместе с Ольгой Андреевой-Карлайль, Никитой Струве и Пьетро Сормани он входил в созданный Н.М. своеобразный «Комитет четырех» — орган, призванный координировать все действия по изданию и переводу ее книг на Западе, в том числе правовые и финансовые.

В 1960-е и 1970-е он много переводил из Мандельштама — в основном прозу, но также и стихи (вместе с Вильямом Стэнли Мервином — как говорят, это одни из лучших переводов). Первое же книжное издание Мандельштама («The Prose of Osip Mandelstam», 1965) было удостоено Национальной книжной премии (National Book Award), а монография «Мандельштам» (1973) — премии имени Кристиана Гаусса в области литературной критики. Сильными и радующими сторонами этой книги были чуткость к поэтическому слову и тот личный, персональный характер тональности, в которой книга написана. При этом Браун не ограничивался тем, что узнавал от Н. Мандельштам, с которой многократно консультировался и которой он посвятил книгу. Весьма ценным был его контакт, например, с Ароном Штейнбергом, учившимся вместе с Мандельштамом в Гейдельберге. Предисловие и первые семь глав дают итог всего того, что было известно о биографии поэта до 1925 года включительно. Более чем скудными были сведения о том, что с Мандельштамом случилось после 1925 года; и все, что К. Брауну, удалось наскрести, уместилось в одну восьмую главу, более напоминающую хронику. Как бы в «гармонии» с этим находится и аналитический компонент: стихотворения до 1925 года разбираются тщательно и любовно, а стихотворения 1930-х гг. почти не рассматриваются.

В 1976 году, отказавшись принять основной архив Мандельштама в дар от Н.Я. Мандельштам лично, Браун всячески содействовал его передаче в Библиотеку в Принстонский университет, став фактически его первым куратором. В январе 1991 года Браун участвовал во Вторых Мандельштамовских чтениях в Москве⁴, тогда же был избран в Совет Мандельштамовского общества. В 1999 году Браун вышел на пенсию и переехал в Сиэтл.

Ощутимый вклад в освоение мандельштамовской биографии внесли и другие американские ученые, такие как Томас Бейер, первым опубликовавший материалы о студенческих днях Мандельштама в Гейдельберге в 1909—1910 гг., или как Виктория Швейцер, вскоре после переезда в США опубликовавшая свои московские архивные находки, и др.

Америка стала родиной и систематического библиографирования О.М. Его первые библиографии, опубликованные Г.П. Струве и Б.А. Филипповым в однотомнике 1955 года (только произведения самого Мандельштама) и особенно в 1969 году, в 3-м томе собрания сочинений (учтена и литература о Мандельштаме), стали прочным и надежным основанием для всех последующих библиографических описаний.

На основе первых трех томов Собрания сочинений в 1974 году в США, в Корнелльском университете (Итака) был издан первый в мире конкорданс к произведениям Мандельштама (с предисловием К. Брауна)⁵. Его составитель, Деметриус Кубурлис, работал в Университете штата Айдахо в... Москве (!) — небольшом агрогородке на севере Айдахо. В конце 1974 года он сделал доклад «О конкордансах и их пользе» на советско-американской лингвистической конференции в Амхерсте.

Ну и, наконец, самое главное: судьбе было угодно распорядиться так, чтобы именно в США на вечное хранение попал основной массив документов о жизни и творчестве Мандельштама — его семейный архив, в 1976 году подаренный его вдовой Принстонскому университету.

⁴ Свои впечатления он изложил в серии репортажей «Московский дневник» в газете «The Times of Trenton», где он вел регулярную рубрику «Суп из чернил».

⁵ Kouburlis, Demetrius J. A concordance to the poems of Osip Mandelstam. Ed. by D.J.Kouburlis. With a foreword by Cl. Brown. Ithaca, Cornell University Press, 1974. 678 p. (В настоящее время были созданы и другие конкордансы Мандельштама, например, Л. Митюшина: http://www.rvb.ru/mandelstam/m_o/concordance_index.htm).

«ТИФЛИС ГОРБАТЫЙ...»: МАНДЕЛЬШТАМ И ГРУЗИЯ

*Памяти Александра Цыбулевского
и Гии Маргвелашвили*

1

Очное знакомство Мандельштама с Грузией состоялось в августе 1920 г. в Батуме. Как и при каких обстоятельствах — об этом ниже. Но Грузия, грузинская тема вошла в его стихи значительно раньше — по крайней мере, осенью 1916 г.

Именно так датировано стихотворение «Я потеряла нежную камею...», впервые напечатанное в харьковском журнале «Камена» (1918, № 1, с. 9) и включавшееся затем в сборники «Tristia» (1922) и «Камень» (1923). Кто она, эта Тинатин, эта прекрасная грузинка? Н.И. Харджиев, ссылаясь на В.М. Жирмунского, сообщает, что имеется в виду Тинатин Джорджадзе¹.

Декабрем 1916 года помечены и стихи «Соломинка»². Этот диптих, или «двойчатка» (термин Н.Я. Мандельштам) обращен к другой грузинской знакомой Мандельштама — к Саломее Николаевне Андрониковой (Андроникашвили, по мужу — Гальперн), с 1900 по 1919 г. жившей вместе с отцом в Петербурге. В 1916 году ей было 28 лет, а Мандельштаму — 26³. Мандельштам сравнивает ее с героинями Эдга-

¹ *Мандельштам О.* Стихотворения. Л., 1983. С. 311. Потомок офицера русской службы Давида Джорджадзе (см. о нем в: *Горгидзе М.* Грузины в Петербурге. Тбилиси, 1976. С. 366), она была замужем за Танеевым (братом фрейлины Вырубовой). Умерла в Париже.

² Впервые — в альманахе «Тринадцать поэтов», 1917. С. 25. Кроме того, в фелодсийском альманахе «Ковчег», 1920, и в журнале «Москва», 1922, № 7; входило в сборники «Tristia» и «Стихотворения»).

³ Она умерла в Лондоне в возрасте 94 лет. Подробнее о ней см.: *Шарадзе Г.* Муза двадцатого века // ЛПр. 1983. № 3. С. 168—173; а также: *Васильева Л.* Саломея, или Соломинка, не согнутая веком // Огонек. 1988. № 3. С. 22—26.

ра По (Лигейя, Ленор) и Бальзака (Серафита). В другом посвященном ей стихотворении 1916 года («Мадригал») Мандельштам обыгрывает семейную легенду о происхождении княжеского рода Андроникашвили от достославного византийского императора⁴.

Заочными встречами Мандельштама с Грузией можно считать и прижизненные публикации его стихов или статей, о которых он сам, возможно, даже не подозревал. Так, в 1919 г. в Тифлисском журнале «Орион» (№ 6), издававшемся С. Рафаловичем при участии С. Городецкого, было напечатано стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла...». Позднее в батумских газетах перепечатывались и статьи Мандельштама: в газете «Искусство» (21 июня 1921 г.) — статья «Слово и культура»⁵, а в «Батумском часе» (11 февраля 1922 г.) — «Письмо о русской поэзии»⁶.

2

Однако пора уже перейти к обстоятельствам очного знакомства Мандельштама с Грузией. А они таковы. В августе двадцатого года после пяти или семи суток плавания *«ветхая баржа, которая раньше плавала только по Азову»*, стала на батумском рейде⁷. Вечером с палубы город казался *«...гигантским казино, горящим электрическими дугами, светящимся ульем, где живет чужой и праздный народ...»*

Утром рассеялось наваждение казино и открылся берег удивительной нежности холмистых очертаний — словно японская прическа — чистенький, волнистый, с прозрачными деталями, карликовыми деревьями, которые купались в прозрачном воздухе и, оживленно жестикулируя, карабкались с перевала на перевал. Вот она — Грузия!..» («Возвращение»).

Прием, однако, был не особенно гостеприимным. Мандельштам с братом (Александром) препроводили в тюрьму с тем, чтобы отправить обратно во врангелевский Крым.

В том, что этого не произошло, возможно, сказалась договоренность между РСФСР и Грузией о правилах взаимного въезда и выезда их граждан, ограничивавшего передвижение лишь лиц, находившихся

⁴ «Дочь Андроника Комнена / Византийской славы дочь! / Помоги мне в эту ночь / Солнце выручить из плена. // Помоги мне пышность тлена / Стройной песнью перевозмочь, / Дочь Андроника Комнена, / Византийской славы дочь!»

⁵ Впервые: Дракон. ПГ., 1921.

⁶ Впервые: Советский Юг (Ростов-на-Дону), 1922. 21 января.

⁷ Скорее всего это произошло примерно 10 сентября (тифлисское «Слово» сообщило о прибытии Мандельштама в Батум и о его аресте в связи с недоразумениями с визой 12 сентября).

под следствием⁸. Тем не менее существуют две версии спасения Мандельштама из батумской тюрьмы, а точнее карантина⁹.

Вот первая — «голубороговская» — версия.

В воспоминаниях Нины Табидзе «Память» этот эпизод выглядит так:

«В первый год после нашей свадьбы мы поехали на лето в Батум. Соблазнил нас Нико Мицишвили, который там одно время работал в газете. Он и Тициану предложил с ним работать. Он же организовал в Батуме вечер Тициана, который прошел очень тепло и интересно.

(...) Раз, выходя с пляжа, я увидела Тициана, идущего с какими-то молодыми людьми. Я окликнула его, они остановились. Тициан объяснил мне, что в батумском карантине оказался приехавший из Крыма поэт Осип Мандельштам и надо как-то вызволить его оттуда.

Место, где люди находились в карантине по случаю возможной эпидемии чумы, было обнесено проволокой, туда никого не пускали. Тициана пропустили, а я ждала его на улице. Он вышел оттуда очень взволнованный. Оказывается, когда ему показали на Мандельштама, он сперва не поверил, что этот поэт, этот эстет, сидит на камне, обросший, грязный. Тициан некоторое время не верил, что это и есть Мандельштам и даже стал задавать вопросы, на которые он один мог бы ответить. Например: “Какое ваше стихотворение было напечатано в таком-то году, в таком-то журнале”. Тот назвал и даже прочитал свои стихи наизусть. Потом читал еще другие стихи. Тициан понял, что перед ним действительно Мандельштам...

Мы уезжали из Батума, и Мандельштам поехал с нами в Тифлис...»¹⁰

Более подробно описывает эту историю Николоз Мицишвили:

«В 1919 (1920 — П.Н.) году летом в Батум приехал из Крыма известный русский поэт Осип Мандельштам. Приехал он на маленьком пароходе в числе десяти каких-то сомнительных пассажиров. Все они были арестованы береговой охраной.

В те времена я и поэт Тициан Табидзе жили в Батуме. Как-то раз на улице наступает нас какой-то старичок, останавливает и гово-

⁸ Слово (Тифлис). 1920. 15 августа. Между прочим, это не помешало С.М. Кирову, бывшему тогда полномочным представителем РСФСР в Грузии, направить меньшевистскому правительству протест против продолжающихся арестов и высылки российских граждан из Батума в Крым. На этот протест чрезвычайный комиссар Батума и Батумской области В.С. Чхиквишвили ответил, что в начале августа, действительно, были арестованы около 30 человек, «представляющих собой неблагонадежный элемент» и содержащихся не в тюрьме, а в карантине в Махинджаури (Слово, 1920. 25 авг.). Кстати сказать, советским представителем в Батуме в конце августа 1920 г. был назначен Л.Н. Старк, а консулом Зверев (Слово, 1920. 27 августа).

⁹ В городе была зафиксирована вспышка чумы; городскую комиссию по борьбе с ней возглавлял профессор Широкогоров.

¹⁰ Дом под чинарами, Тбилиси. 1976. С. 41—42.

рит, что он старшина местной еврейской общины, и спрашивается — известен ли нам поэт Мандельштам. Мы ответили, — да, известен.

— Если так, — сказал старик, — поэты должны помочь поэту: Мандельштам арестован и сидит в Особом отряде.

Мы пошли в Особый отряд. Нам сказали, что среди арестованных на самом деле есть какой-то Мандельштам, но невозможно, чтоб этот был наш знакомый: такой уж он непоэтический на вид.

Самого Мандельштама нам не показали, и мы, усомнившись в правильности подхода к поэзии со стороны Особого отряда, отправились к генерал-губернатору Батумской области.

— Посмотрим, что это за человек, — ответил он и тотчас же распорядился по телефону доставить Мандельштама к нему.

Доставили.

Входит низкого роста, сухопарый еврей — лысый и без зубов, в грязной, измятой одежде и дырявых шлепанцах. Вид подлинно библейский.

Губернатор взглянул на него и обратился к нам по-грузински:

— Я думал, в самом деле кто-нибудь, а это какое-то страшило, черт возьми. На него дунуть — улетит. Нашли тоже опасного человека.

Затем усадил его, дипломатически выяснил, что он действительно поэт Мандельштам, и вежливо извинился.

Мандельштам, как воробей, присел на край стула и начал рассказывать.

— (...) От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма пустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого. Какой же я белый? Что мне делать? Теперь я сам не понимаю, кто я — белый, красный или какого еще цвета. А я вовсе никакого цвета. Я — поэт, пишу стихи и больше всяких цветов теперь меня занимают Тибулл, Катулл и римский декаданс... (...)

Затем коснулся Крыма»¹¹.

Впервые это было напечатано в 1930 году в книге Н. Мицишвили «Тень и дым», вышедшей в ГИХЛе.

Письмо З. Черняка, редактора этой книги, к автору сохранило для нас реакцию Мандельштама на эти прижизненные мемуары о событиях десятилетней давности: «Забыл упомянуть, что на днях говорил случайно с поэтом Мандельштамом, который рвет и мечет по поводу строк, посвященных ему в Вашей книге. Особенно волновался Мандельштам из-за ваших “цветовых” характеристик (“...а я не белый и не красный...”) — и требовал, чтобы я устранил их из рукописи. Я ему, разумеется, указал, что редактор не вправе вносить такого рода из-

¹¹ Цит. по кн.: Мицишвили Н. Пережитое. Тбилиси, 1963. С. 164—165.

менения, что редактор обязан вмешаться лишь в тех случаях, когда мемуарист искажает исторически бесспорные даты и т. д. Моим резонам Мандельштам, к сожалению, не внял — так что ждите от него грозного послания, смертоносное действие которого может быть ослаблено разве только тысячекилометровым расстоянием, отделяющим Вас от пылкого и по-африкански темпераментного поэта»¹².

Примерно в том же духе, что и грузинские поэты, описывает в своих мемуарах вызволение Мандельштама и Илья Эренбург. Его, однако, считала необходимым поправить Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта. Со слов мужа она рассказывала, что грузинские поэты действительно пришли в портовый карантин, где содержался Осип Эмильевич с братом Александром. Они предложили поручиться за Мандельштама и моментально освободить его, но за его брата поручаться не стали. На таких условиях Мандельштам, разумеется, принять личную свободу не мог. Помог Мандельштаму, как он это сам описывает в очерках «Возвращение» и «Меньшевики в Грузии», конвойный солдат Чигуа, сочувствовавший большевикам, хотя не исключено, что грузинские поэты, уезжая, предупредили о Мандельштаме чрезвычайного комиссара Батума и области В.С. Чхиквишвили, вмешательство которого окончательно решило вопрос о свободе обоих братьев.

3

Пребывание Мандельштама в Грузии в 1920 году было недолгим, но все же оставило след в литературной жизни Батума и Тифлиса. Батумские газеты («Эхо Батума» и «Батумская жизнь») сообщали о вечере О. Мандельштама в батумском ОДИ (Обществе деятелей искусства) 16 сентября, а «Батумская жизнь» поместила 18 сентября еще и отчет И. Зданевича¹³.

Даже берлинский журнал сообщал в январе 1921 года о том, что Мандельштам «...жил в 1920 г. в Крыму и Коктебеле близ Феодосии. В настоящее время находится в Закавказье. Устраивал вместе с И. Эренбургом в Батуме и в Тифлисе вечера поэтов, на которых читал свои стихи»¹⁴ Примерно в то же время в издававшемся на грузинском языке журнале «Гантиади» появилась заметка о том, что Н. Мицишвили организует в Париже грузинское издательство, к работе которого он намерен привлечь и русских писателей — Мандельштама, Эренбурга, Городецкого (сообщено М.Н. Мицишвили).

¹² РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 7122. Л. 209.

¹³ Вступительное слово произнес И. Зданевич (см. Тименчик Р. Заметки об акмеизме. Вступление // RL. 1974.— No 7/8., P. 25)

¹⁴ Русская книга. 1921. № 1. С. 25.

Прибыв в Тифлис и повстречав там вскоре И. Эренбурга, Мандельштам ненадолго окунулся в гущу довольно-таки бурной — «столичной» — художественной жизни. Пестрота здесь нашла на пестроту: разнообразие эстетическое, политическое, национальное.

Из русских писателей необходимо отметить Сергея Городецкого, приехавшего в Тифлис еще в 1917 году. Он редактировал журнал «ARS» (издавался на средства Анны Антоновской, которых хватало на 4 номера) с обширной интернациональной программой, организовал при журнале «Артистериум», ведя в нем самые различные курсы, устраивая выставки, и т. д. Он же вел и русский сатирический журнал «Нарт», печатал свои стихи и фельетоны в газете «Кавказское слово» и выпустил поэтический сборник «Ангел Армении». Он же создал, по образцу петербургского, тифлисский Цех поэтов, из участников которого упомянем Олега Дегена, Нину Пояркову, Анну Антоновскую, Алексея Крученых, Татьяну Вечорку (Толстую), Нину Лазареву, Сергея Рафаловича и др. Сергей Рафалович с помощью бакинского издательства «Книжный посредник» в 1919—1920 гг. издавал журнал «Орион» и газету «Понедельник»¹⁵.

Однако уже в этот приезд в центре внимания и общения оказались в первую очередь грузинские поэты — Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Валериан Гаприндашвили и другие. 26 октября в Консерватории состоялся единственный, как было заявлено в газетных объявлениях, вечер Осипа Мандельштама и Ильи Эренбурга. Вечер открыл Г. Робакидзе, произнесший слово о новой русской поэзии. Затем Эренбург сделал доклад «Искусство и новая эра», после чего оба поэта читали свои стихи¹⁶.

Две или три недели, что провел Мандельштам в сентябре — октябре 1920 года в Тифлисе, отогрели его.

4

Во второй раз Мандельштам с женой приехал в Тифлис в июле 1921 года. Они проехали через Ростов и Баку, с поездом «Центроэвака» — учреждения, которое должно было заниматься расселением и устройством эмигрировавших из Турции армян¹⁷.

¹⁵ Вскоре, однако, откололось левое крыло Цеха (Деген, Крученых и Семейко) и вместе с Ильей Зданевичем сгруппировалось вокруг журнала «Куранты» (См.: *Городецкий С.* Искусство и литература в Закавказье в 1917—1920 гг. // Книга и революция. 1920. № 2. С. 12—13).

¹⁶ Россия. 1922, № 2.

¹⁷ В «Центроэваке» работал художник К.А. Лопатинский, давний знакомый и сослуживец Мандельштама по Наркомпросу.

Лето и осень 1921 г. они провели в Тифлисе, в августе и сентябре побывав наездами в Батуми¹⁸.

Сначала, вспоминает Колау Надирадзе, их поселили в одной из комнат Дворца искусств — особняка, ранее принадлежавшего известному меценату К. Сараджеву (ныне Дом писателей Грузии). Потом они переехали в дешевую комнату в одном из старых дворов на углу улиц Гунибской (ныне Барнова) и Кирпичной (ныне Белинского), Н.Я. Мандельштам указывала на другую последовательность: во Дворец искусств им пришлось «водвориться» лишь после того, как квартал, в котором они жили, был для какой-то цели в одночасье выселен. Через весь город их провез на полугрузовичке — забавнейшая фантазмагорическая деталь — шофер-негр.

«Помню, как Паоло Яшвили великодушным жестом приказал швейцару отвести нам комнату..., и швейцар не посмел ослушаться — грузинские поэты никогда бы не позволили своему русскому собрату остаться без крова»¹⁹.

Мандельштамы прожили месяц в одной из комнат первого этажа, Тициан Табидзе и Паоло Яшвили с семьями жили на втором. Сходились на одной из террас особняка, говорили о стихах, пылко и жаростно спорили. Мандельштам, вспоминала Надежда Яковлевна, нападал на символизм, Тициан и Паоло именем Андрея Белого клялись уничтожить всех врагов символизма²⁰.

Именно здесь оттачивались все антисимволистские выпады Мандельштама, которых немало в статьях 1922—1923 гг., начиная с «Кое-что о грузинском искусстве», где эти выпады носят почти личный характер.

Зато в оценке Важа Пшавела расхождений не было: именно здесь Мандельштам и перевел его поэму «Гоготур и Апшина». Здесь же было написано стихотворение, которое Н.Я. Мандельштам по праву называет переломным:

Умывался ночью на дворе.
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч, как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями...

¹⁸ Из Батума на пароходе «Димитрий» они уплыли в Новороссийск перед самым новым, 1922 годом (сам Новый год, вспоминала Н.Я. Мандельштам, они встречали на рейде в Сухуме).

¹⁹ Последняя заметка Н. Мандельштам. В кн.: *L'avanguardia a Tiflis. Venezia*, 1982, с. 229.

²⁰ Младшие голубороговцы — Мицишвили и Гаприндашвили — при этом тайно сочувствовали Мандельштаму.

«...В эти двенадцать строчек, — пишет вдова поэта в «Моцарте и Сальери», — в невероятно сжатом виде вложено новое мироощущение возмужавшего человека, и в них названо то, что составляло содержание нового мироощущения: совесть, беда, холод, правдивая и страшная земля с ее суровостью, правда как основа жизни; самое чистое и прямое, что нам дано, — смерть, и грубые звезды на небесной тверди...» (Фоном всему этому послужила одна деталь быта Дворца искусств: в роскошном особняке не было водопровода, воду привозили и наливали в огромную бочку, стоявшую во дворе, — всклянь, до самых краев).

В этот приезд Мандельштам глубоко проникся духом грузинской поэзии.

К. Надирадзе вспоминал: «Грузинские стихи он слушал как музыку, просил при этом читать помедленней, выделяя мелодию (любопытно, что об этом просил и А. Белый) и не всегда даже расспрашивал о содержании. Звучание некоторых стихов так его очаровывало, что он старался заучить их, подбирая к непривычным для русского слова звукам довольно близкие русские фонетические эквиваленты. Больше других восторгался он Бараташвили и Важа Пшавела, знал наизусть бараташвилевскую “Серьгу” в переводе Валериана Гаприндашвили...»²¹.

Приведем здесь ее текст:

Как легкокрылый мотылек
Качает ландыша цветок,
Вполне отдавшись упоенью,
Под ухом девы молодой
Серьга, влюбившись в призрак свой.
Играет с собственной тенью.
Как странно счастлив будет тот,

Кто на минуту отдохнет
Под этой тенью безмятежной;
Кого крылатая серьга,
Как тихий шелест ветерка
Прохладою обвеет нежной.
Серьга? Скажи мне лишь одно —
Кому судьбою суждено
Губами с этой тенью слиться?
Чтобы бессмертия шербет
Сквозь огненный и сладкий бред
Пить и навеки насладиться.

²¹ Устное сообщение.

Действительно, за те полгода, что Мандельштам с женой «проболтался (по ее выражению) в богатой и веселой Грузии», он настолько прочно вошел в культурную жизнь Тифлиса, что петроградский «Вестник литературы» сообщил в хронике, что «*поэт О. Мандельштам переехал в Тифлис*»!²²

Мандельштам имел в виду прежде всего себя, когда писал: «*Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовью, присущей национальному характеру, и легким целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиришественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа. Грузинский Эрос — вот что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда была нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить*»²³.

Разве не служит стихотворение Мандельштама «Мне Тифлис горбатый снится...» превосходной иллюстрацией к этим словам?

Как бы то ни было, но веселому и непритязательному Мандельштаму в 1921 году в Грузии неплохо жилось и хорошо работалось — в атмосфере дружеского участия со стороны грузинских поэтов и... посольства РСФСР в Грузии, посол — Б.В. Легран, журналист и гимназический товарищ Н. Гумилева²⁴, взял Мандельштама на службу, на которой тому полагалось делать вырезки из газет (о расстреле Н. Гумилева О. Мандельштам узнал также от Б. Леграна). М. Булгаков уважительно отозвался об их жизни в Грузии как о «*бедной, гордой и поэтически беспечной*»²⁵.

Именно здесь, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, у него «*прорезался новый голос*» — тот самый голос, которым выговорены стихи следующего за «Камнем» и «Гристия» этапа его творчества — стихов 1921—1925 гг. Недаром в книге «Стихотворения» (1928) вторым в этом разделе шло стихотворение «*Умывался ночью на дворе...*»²⁶.

О полугоде тифлисской жизни Мандельштамов известно не так много. Первою сводкой соответствующих свидетельств явилась статья А.Е. Парниса²⁷. Он сообщает о лекции в батумском Центросоюзе в августе 1921 года, прочитанной Мандельштамом в связи с кончиной

²² 1922, № 2. С. 23.

²³ Советский Юг (Ростов-на-Дону), 1922, 19 января.

²⁴ В 1920 г. он также был полномочным представителем РСФСР в Грузии (до С.М. Кирова), затем в Армении. Не исключено, что Легран встретился с Мандельштамами в сентябре 1920 г.

²⁵ Ермолинский С. О Михаиле Булгакове // Театр, 1965, № 9. О встрече Булгакова и Мандельштама в 1921 г. в Грузии см. также: Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М.: Книга, 1988. Гл. 1.

²⁶ Впервые оно было напечатано в первом номере русской газеты «Фигаро» от 4 декабря 1921 г. (редактировал газету Н. Мицишвили).

²⁷ Парнис, 1982. С. 211—223.

Блока²⁸, о двух поэтических выступлениях в Тифлисском Цехе поэтов, о зачислении О. Мандельштама 5 октября 1921 года в действительные члены Союза русских писателей²⁹ (сохранилась расписка о получении Мандельштамом 27 сентября 1921 года денежного пособия от Союза). Мандельштам активно сотрудничал в «Фигаро», участвовал в различных диспутах и вечерах, даже преподавал в Театральной студии, организованной в Тифлисе Н.И. Ходотовым³⁰.

Но особого разговора заслуживает неожиданно активная переводческая деятельность О. Мандельштама в Грузии. *«Сам по себе переводческий труд Мандельштам недолюбливал,— вспоминает К. Надирадзе, — но, тем не менее, оставил после себя несколько прекрасных переводов с грузинского...»*

Что же это за переводы?

Прежде всего — поэма Важа Пшавела (по свидетельству Н.Я. Мандельштам, подстрочник подготовили Т. Табидзе и П. Яшвили). 4 декабря 1921 года в первом номере «Фигаро» сообщалось: *«О. Мандельштам закончил перевод на русский язык поэмы Важа Пшавела “Тоготур и Апишина”. Перевод одобрен и принят Наркомпросом к печатанию. Та же поэма переведена также и А. Кулебакиным. На днях во Дворце искусств состоялось чтение обоих переводов, после чего были устроены прения».*

Однако книга не была напечатана, хотя дважды отрывки из поэмы публиковались в Тифлисе³¹. Почти сразу по возвращении из Грузии (через Ростов, Харьков и Киев) в Москву, О. Мандельштам заключил с Госиздатом договор на издание своего перевода в 417 стихотворных строк³², 17 ноября 1922 г. книге был назначен тираж в 3 000 экземпляров³³, но и эта книга не увидела света. В начале 1923 года Мандельштам передал перевод издательству «Всемирная литература»³⁴, и он был, наконец, опубликован с послесловием и под редакцией профессора К. Дондуа в журнале «Восток»³⁵. Мандельштамовский перевод поэ-

²⁸ Об участии Мандельштама в двух тифлисских вечерах памяти А. Блока во Дворце искусств и в Консерватории (1 и 3 сентября) сведений нет. Вероятней всего, он был в Батуме.

²⁹ Председателем Союза был избран С. Рафалович, членами редколлегии — В. Эльснер, Д. Гордеев и Ю. Данцигер, секретарем — Н. Васильева (Правда Грузии. Тифлис, 1921, 28 мая).

³⁰ См. в его кн.: Близкое — далекое. Л. — М., 1962. С. 267.

³¹ В газете «Фигаро» (№ 4 за 6 февраля 1922 г.) и в журнале «Пламя» (1923, № 1, 22 апреля 1922 г.).

³² ГАРФ. Ф. Р—395. Оп. 10. Д. 53. Л. 40; Д. 54. Л. 66.

³³ Там же. Оп. 1. Д. 247. Л. 27.

³⁴ Гонорар за него был получен 23 февраля 1923 г. (ЦГАЛИ СПб, Ф. 2963. Оп. 1. Д. 53. Л. 250).

³⁵ Восток. 1923. № 3. С. 1—13. Вошел также в: Важа Пшавела. Поэмы. Перевод с груз. М., Гослитиздат, 1935. С. 7—21.

мы «Гоготур и Апшина» стал подлинным открытием Важа Пшавела в русских переводах³⁶.

Другой линией переводческой работы Мандельштама стала поэзия группы «Голубые роги». Для первой русской антологии «Поэты Грузии», изданной в Тифлисе в самом конце 1921 г. (составитель Н. Мицишвили) он перевел четыре стихотворения — «Бирнамский лес» Тициана Табидзе, «Пятый закат» Валериана Гаприндашвили, «Прощание» Н. Мицишвили и «Автопортрет» Георгия Леонидзе. Кроме того, для изданной в 1922 г. книги Иосифа Гришашвили «Стихотворения» — «Перчатки» и «Мариджан».

Наконец, в № 4 «Фигаро»³⁷ сообщалось, что из печати вышло новое произведение армянского поэта-футуриста Кара-Дарвиша «Пляска на горах» в переводе О. Мандельштама, посвященное поэту Г. Робакидзе. Текст его долго не удавалось разыскать, пока, наконец, он не был обнаружен в частном собрании В.П. Нечаева³⁸. И, хотя Мандельштам утверждал, что для русской поэзии «обетованной страной... стала не Армения, а Грузия» («Кое-что о грузинском искусстве»), это прикосновение к армянской поэзии и армянскому языку послужило неким преддверием к путешествию в Армению в 1930 г. А.Е. Парнис справедливо пишет: «...Работа над этим переводом еще до выхода на активный контакт с национальной культурой и была зарождением армянской темы, ставшей в зрелый период поэта важным этапом его творчества»³⁹.

5

Отголоски пребывания Мандельштама в Грузии в 1920 и 1921 годах еще не раз обнаружат себя и в последующем. Вот только некоторые из них.

В статье «Литературная Москва», вышедшей в сентябре 1922 года⁴⁰, встречаем имя известного антрепренера Ф.Я. Долидзе, «в летнее

³⁶ См. об этом: Литературный критик. 1938. № 1. С. 217—233; Цыбулевский А. Высокие уроки. Поэмы Важа Пшавела в переводе русских поэтов. Тбилиси, 1980; Нерлер П. Важа Пшавела и русская литература // ВЛ. 1981. № 4. С. 269—274.

³⁷ От 6 февраля 1922 г., то есть уже после отъезда Мандельштама из Тифлиса.

³⁸ Текст «Пляски на горах» приведен в вышеупомянутой статье А.Е. Парниса. Автограф части этого перевода сохранился в Музее литературы и искусства им. Е. Чаренца (Ереван). Ф. 547 (Кара-Дарвиш). Д. 597, на обороте (См. подробнее: Ахвердян Г. О стихотворении в прозе Кара-Дарвиша в переводе с армянского О. Мандельштама // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 2. Симферополь, 2013. С. 162—177.)

³⁹ Парнис, 1982. С. 211.

⁴⁰ ЛУ. 1980. № 1. С. 129.

время, по крайней мере душой, переселяющегося в Озургеты», а также сравнение иных поэтов с шиитами, готовыми «...лечь на землю, чтобы по ним проехала колесница зычного голоса (Маяковского. — П.Н.)»⁴¹

Михаил Пришвин в рассказе «Сопка Маира» вспоминает, как Мандельштам расписался в ведомости на получение продовольственной посылки АРА... по-грузински⁴². В небольшой прозе «Сухаревка» поэт вспоминает тифлисский майдан — «разгоряченные, лукавые, но в подвижной и страстной выразительности всегда человеческие лица грузинских, армянских и тюркских купцов».

Наконец, в анонимной заметке, помещенной в журнале «Искусство и промышленность» вслед за богато иллюстрированной статьей К. Паустовского «Грузинский художник», посвященной творчеству Н. Пиросманашвили, читаем: «Поэт О. Мандельштам предложил редакции написать исследование на неожиданную и оригинальную тему — “Вывески Москвы”. Из статьи этой, которая появится в одном из ближайших номеров журнала, будет, между прочим, ясно, что отголоски творчества Пиросманашвили достигли Москвы. На многих вывесках шашлычных и т. п. заведений имеются как ясные подражания этому художнику, так и работы других молодых продолжателей клеенок и жесты Пиросмани»⁴³.

6

Если отвлечься от малоизвестной поездки с женой на отдых в Армавир и Сухум в ноябре 1927 года⁴⁴, то следующие встречи с Грузией состоялись спустя почти десятилетие.

Весной и осенью 1930 года Мандельштам с женой снова побывали в Грузии.

Пребывание в Тифлисе и Сухуме обрамило их знаменательную поездку по Армении, описанную в «Путешествии в Армению» («Звезда», 1933, № 5)⁴⁵.

В Сухуме поэт провел шесть недель, дожидаясь вызова в Армению. Ему отвели «солнечную мансарду в так называемом “доме Орджони-

⁴¹ В Тифлисе Мандельштам был свидетелем фанатичного шиитского обряда самоистязания «шахсе-вахсе».

⁴² Огонек. 1923, 29 июля, № 18.

⁴³ Искусство и промышленность. М., 1924, № 2, с. 56.

⁴⁴ О ней см. в деловой переписке Ленотгиза (ЦГАЛИ СПб. Ф. 2913. Оп. 1. Д. 558. Л. 157).

⁴⁵ С. Лакоба в заметке «Абхазия тридцатых — глазами поэта», ссылаясь на Н.Я. Мандельштам, сообщает еще о двух приездах Мандельштама в Сухум — в 1931 и 1933 гг. с поездками в Новый Афон, Гудауту, Ткварчели (Советская Абхазия. Сухуми, 1981, 9 января). Подтверждением, по крайней мере для 1931 года, служит письмо О.М. отцу из Нового Афона от 29 июня.

кидзе” — «оцепленной розами, никем не заслуженной, блаженной даче», — вынесенной над городом «как на подносе срезанной горы; так и плывет в море вместе с подносом».

В так называемых «Записных книжках» мы находим имена нескольких лиц, составивших круг общения Мандельштамов, — М. Ковач, собиратель абхазских народных песен, Анатолий К., директор Тифлисского национального музея, Гулиа — президент общества любителей кавказской словесности, поэт Безыменский. Именно от Безыменского Мандельштам «принял океаническую весть о смерти Маяковского», которая «...как водяная гора, бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту». Для атмосферы «блаженной дачи» характерно, что «общество, собравшееся в Сухуме, приняло весть о гибели первозданного поэта с постыдным равнодушием. Ведь не Шаляпин и не Качалов даже! В этот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни».

Как ни удивительно, но о пребывании Мандельштама собственно в Тифлисе известно еще меньше, чем о Сухуме, и неизмеримо меньше, чем о 1920 или 1921 гг. Известно, что велись переговоры с Бесо Ломинадзе об архивной работе в Тифлисе⁴⁶, известно, что была встреча с Егише Чаренцем и его, поразившие Мандельштама, слова: «Осип Эмильевич, из вас лезет книга».

Но что же это за книга?

По всей очевидности, эти стихи об Армении — цикл из 12 стихотворений и ряд примыкающих к ним стихов, написанные в октябре — ноябре 1930 г. в Тифлисе. Этими стихами прервалось пятилетнее молчание Мандельштама-поэта, и как знаменательно, что произошло это благодаря Кавказу и непосредственно в Грузии!

В свой последний приезд в Грузию Мандельштам переводами не занимался. Но, как бы то ни было, его переводы 1921 года, в особенности «Гоготур и Апшина» — по существу открыли целую цепь его стихотворных переводов, протянувшуюся через ямбы Огюста Барбье (1923) к сонетам Петрарки (1934).

Одновременно переводческую работу Мандельштама в 1921 году в Грузии следует отнести, вслед за работой К.Д. Бальмонта, к самым истокам серьезных контактов русских поэтов-переводчиков и грузинской поэзии, достигших своего расцвета уже в тридцатых годах, когда к переводам с грузинского были привлечены Б. Пастернак, М. Цветаева, Б. Лившиц, Н. Заболоцкий, Н. Тихонов и др. русские поэты.

Есть свидетельство — правда, единственное — о том, что ориентировочно в 1933 г. Мандельштам передал свой сборник в одно из грузинских издательств. В.А. Меркурьева писала Е.Я. Архипову

⁴⁶ Примерно в это время Н.Я. Марр и К. Мегрелидзе создавали первую грузинскую Академию наук.

4 января 1934 г.: *«Мандельштам обворожителен, но — посмотреть и почитать, кстати, стихов своих он мне так и не дал, — разрознены, затеряны, единственный экземпляр печатается в Тифлисе, выйдет неведомо когда...»*⁴⁷

В этой связи весьма примечательна рабочая запись В.В. Гольцева, сделанная в 1934 году на рукописи «Избранного» Симона Чиковани: *«Желательны переводы Мандельштама!»*⁴⁸

7

До этого, однако, не дошло. В мае 1934 года Мандельштам был арестован и выслан на три года в далекую уральскую Чердынь, замененную на Воронеж.

В Воронеже, 7 ноября 1935 г., Мандельштам правил стихотворение «Тифлис», заменив в 4-й строфе *«товарища»* на *«обманщика»*, а *«духан»* на *«бутылку»*, а в феврале 1937 года Тифлис снова мощно ворвался в стихи — далекий, желанный, летний:

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертое величье,
А я — его: как он разногolos,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы;
Балкон — наклон — подкова — конь — балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, —
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

Ритмическая волна перекинулась с Куры и Тифлиса на Колхиду, на всю Грузию, в целом. Воспоминание о свадебной кавалькаде, встреченной однажды в Сухуме, отозвалось так:

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:

⁴⁷ РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.1. Д. 70. Л. 13 об.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 5059. Л. 57.

Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?..

Это стихотворение — воспоминание о свадебной кавалькаде, встреченной однажды в Сухуме. Написанное в начале февраля 1937 года, вслед за отчаянным «Куда мне деться в этом январе?», созданное в Воронеже — городе, названном Н.Я. Мандельштам в этой связи бесприютным, оно возвращает поэта в средиземноморскую, эллинскую атмосферу Золотого руна, в «моложавое, стареющее лето», в лоно «грузинской традиции» русской поэзии. Ведь и Грузия для русских поэтов часто была страной изгнания, но, как подчеркивает Н.Я. Мандельштам, изгнания совсем другого — приветливого, гостеприимного, а нередко и желанного, всегда — приятного!

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова
И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курюю в ущелье балконном
Шили платье у тихой портнихи...

Эти строки — все, что осталось в памяти Н.Я. Мандельштам от еще одного «грузинского» стихотворения, написанного в Воронеже уже в апреле 1937 года (эта датировка косвенно подтверждается совпадением с мощной ритмической волной — анапестом — марта-апреля: «Как по улицам Киева-Вия...» и др.).

И, в завершение, несколько неожиданный постскрипtum.

Несловоохотливый художник Василий Шухаев, вернувшийся в Тбилиси с Колымы в 1945 или 1946 году, рассказывал Кире Вольфензон-Цыбулевской, как однажды — а был он в том же пересыльном лагере, что и Мандельштам, — его угостили самокруткой, свернутой из... мандельштамовского автографа.

«МОСКВА, СЕСТРА МОЯ...»: МАНДЕЛЬШТАМ И МОСКВА

Леониду Видгофу

*Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!¹*

1

В жизни все непредсказуемо и переплетено. В жизни петербуржца Осипа Мандельштама первое ощущение от Москвы неотрывно от Марины Цветаевой.

Впервые судьба свела их летом 1915 года в Коктебеле на даче Волошина — но как-то бегло и мельком. На Рождество Цветаева приезжает в Петроград. Только что (в декабре) вышло второе издание мандельштамовского «Камня», и вот Цветаева читает на подаренном ей экземпляре: «Марине Цветаевой — камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 января 1916 г.»

Может быть, произошло это на воспетом Цветаевой «нездешнем вечере» у Каннегисеров? Мы не знаем, часто или редко, но Цветаева и Мандельштам видятся, возможно, гуляют вместе по заряженным поэтическим током улицам и проспектам и, что вне всякого сомнения, читают друг другу стихи. Кажется, завязываются не вполне обычные, странные отношения — дружески-влюбленное со стороны Мандельштама и восхищенно-дружеское — со стороны Цветаевой:

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!..

¹ Из одноименного стихотворения М. Цветаевой, написанного 8 июля 1916 г. и включенного в цикл «Стихи о Москве».

18 января Цветаева возвращается в Москву. Вместе с ней или сразу же вслед ей уехал в Москву и Мандельштам. Он впервые оказался в городе, с которым у него еще столько будет связано!

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Позвякивая карбованцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

А в ответ раздается уже голос Мандельштама, впечатленного Соборной площадью:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Цветаевское видение Москвы обернулось мандельштамовским видением, причем Москва и сама Цветаева как бы наплывали друг на друга, словно дуги и брови какого-то таинственного лица-собора, лица-города.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Прочитанное стихотворение было написано в феврале, по-видимому, уже во второй приезд Мандельштама в Москву. Суще-

ствует список этого стихотворения, озаглавленный «Москва». Оно было впервые напечатано в том же году в «Альманахе муз» вместе с другим — мартовским — стихотворением, посвященным и Москве, и Цветаевой:

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

Позднее, в 1931 году, в «Истории одного посвящения» Цветаева вспомнит, что в эти чудесные дни, с февраля по июнь 1916 года, она дарила Мандельштаму Москву.

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке — все сорок сороков
И реющих над ними голубков;
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянная Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил.

В тот же день, когда было создано это стихотворение — 31 марта 1916 года, Цветаева пишет и другое:

Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!

<...>

Ты озорство прикончи
Да засвети свечу,
Чтобы с тобой нонче
Не было — как хочу.

На что Мандельштам ответил апрельским стихотворением, где очень явно — и столь же тщетно — пытался отделить свою любовь от полученного им в дар города и, может быть, перенести первую на второй:

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье
В кувшинах спрятанный огонь...

Но как набат — прошедшее время в цветаевском глаголе:

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил!

Прежде чем смириться и предоставить этому пророчеству сбыться, Мандельштам в 1916 году еще дважды преодолевал *«сотни раз»*

единых верст» ради попытки сближения с Цветаевой — в июне, в Александровской слободе, и в июле, в Коктебеле. Попытки успешными не были, и об этом подробно рассказано в воспоминаниях как самой Марины², так и ее сестры Анастасии.

2

В следующий раз Мандельштам попадет в Москву уже после Октябрьской революции, весной 1918 года. 1 мая он уволился со своей недолгой службы в Центральной коллегии по разгрузке и эвакуации Петрограда, а через месяц — он уже на новой службе.

По рекомендации А.В. Луначарского он был принят в Наркомпрос на должность заведующего подотделом художественного развития учащихся в Отделе реформы школы. Наркомпрос поэтапно перебирался в Москву. Сюда переехал и Мандельштам. Поселился он там, где сначала жили все руководители страны, включая Сталина и Бухарина, — в гостинице «Метрополь», комната 263.

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям,

Протекает по улицам пыльным
Оживленье ночных похорон... —

эта картина площади перед Большим театром словно увидена из распахнутого в майскую ночь окна гостиницы.

Но почему за картиной *«мрачно-веселых толп»*, льющихся из *«божественных недр»* театра, возникает образ спящего Геркуланума перед извержением? Почему охотнорядский пейзаж — *«убогого рынка лачуги»* — оказался чуть ли не вровень с торжественной дорической колоннадой и квадригой на фронтоне?

Ответ мы найдем в еще одном московском стихотворении этого времени:

Все чуждо нам в столице непотребной:
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.

² См. письмо М.И. Цветаевой к К.Я. Эфрон от 12 июня 1916 г. (*Саакянц А. О правде «летописи» и правде «поэта»* / ВЛ. 1983. № 11. С. 209—211.)

Она, дремучая, всем миром правит.
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь — и полвселенной давит
Ее базаров бабья ширина.

Ее церковей благоуханных соты —
Как дикий мед, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелеты
Угрюмые волнуют небеса.

Это та же самая Москва — но дневная, обнаженная, не приукрашенная ни лунным светом, ни чувством к женщине. «*Раскаченный смутьянами шаткий мир*» — рухнул, разбой «*безъязыкого*» колокола перекинулся на весь Кремль, а «*благоуханные соты*» церковей уже не нужны дремучему, удельному миру, текущему по «*сухим желобам*»³.

Тем жарким летом страшная, непотребная, чуждая Москва, в которую не на побывку, а на службу, на жизнь прибыл Мандельштам, словно прислушивалась к гулу, нарастающему внутри нее самой, — зрел левоэсеровский мятеж, грянувший 7 июля. Сигналом к нему послужило убийство 6 июля чекистами-эсерами Блюмкиным и Андреевым германского посла Мирбаха.

С начинающим поэтом Блюмкиным Мандельштам был хорошо знаком — незадолго до убийства Мирбаха между ним и Блюмкиным произошла стычка. Среди многих других ее описал и... Феликс Эдмундович Дзержинский — 10 июля 1918 года, в показаниях по делу Мирбаха. Блюмкин «...*позволяет себе говорить такие вещи: жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гр. Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор, но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее оставит и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами*»⁴.

По другой версии, Мандельштам просто разорвал пачку ордеров на арест, которой махал перед его носом подвыпивший чекист. Во всяком случае, можно допустить связь этой истории с отсутствием Мандельштама на службе и, как выразилась секретарь его отдела товарищ Мыльникова, с его «*недопустимым манкированием своими обязанностями*»⁵.

«Дело» о манкировании разбиралось на коллегии отдела реформы школы Наркомпроса 13 августа. Мандельштам представил следующие

³ Позднее они откликнутся немотой «сухой реки» в стихотворении «Ласточка».

⁴ Красная книга ВЧК. Сборник документов. Изд. 2-е. М., 1989. С. 257.

⁵ Нерлер П. Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918—1919 годах // ВЛ. 1989. № 9. С. 275—279.

объяснения: *«В начале июля я захворал истерией. По получении отпуска я уехал домой. Чувствуя себя плохо, я к 15 июля передал товарищу просьбу довести до сведения коллегии о просьбе моей освободить меня от занятий еще немного времени. Товарищ пробыл две недели в дороге и не сообщил в Комиссариат о моем нездоровье. Единственно, в чем виноват я, — это в неофициальном осведомлении коллегии о причинах моей неявки. Но, согласно заявлению тов. Пантелеймонова Льва Николаевича, свидетельства пользовавшихся меня врачей я не представил».* Дело замяли, административных санкций не последовало⁶.

В отделе Мандельштам заведовал подотделом эстетического воспитания. В чем заключалась его деятельность? Мандельштам предлагал в первую очередь издать или переиздать книги Д.Л. Колодца «Детские игры» (М., 1909), Д. Кейра «Детские игры. Исследование о творческом воображении у детей», Н.Н. Бахтина «Театр и его роль в воспитании», С.М. Волконского «Выразительное слово» (СПб., 1913) и А.И. Долинова «Практическое руководство к художественному чтению» (Пг., 1916). 10 ноября на коллегии ритмистов, а 16 ноября на коллегии Наркомпроса Мандельштам выступил с проектом сметы Института физического ритмического воспитания (смету утвердили). 3 декабря на секции эстетического развития было решено приступить к составлению и редактированию сборника «Ритм». Сборник не вышел, но статья для него — «Государство и ритм» — была написана, хотя и увидела свет только в 1920 году в Харькове.

Последнее выступление Мандельштама в стенах Наркомпроса прозвучало, согласно документам, 8 декабря в дискуссии о предметах, преподававшихся в трудовой школе.

В начале февраля 1919 года — незадолго до репрессий против левых эсеров, коснувшихся Блока и других писателей, — Мандельштам с братом уехали на Украину, сперва в Харьков, а потом в Киев, где Осипа Эмильевича ожидала встреча с Надеждой Хазиной... А затем — врангелевский Крым, Коктебель, Феодосия, тюрьма, Батум, еще одна тюрьма — меньшевистская, Тифлис, Владикавказ и в октябре 1920 года по дороге в Петроград — опять Москва.

3

Весной 1921 года — новое путешествие на Кавказ, через Киев и Ростов, и опять на пути из Петрограда — остановка в Москве. Здесь — ни много ни мало — дуэльная история, несостоявшаяся дуэль с Вадимом Шершеневичем. «Виновница» инцидента — актриса Хри-

⁶ Там же.

стина Бояджиева, которую приревновал Шершеневич, писала в своих воспоминаниях: «Я не забыла тот вечер, не забыла бледного человека хрупкого сложения, который мужественно боролся за честь!»⁷ Сам Шершеневич сообщал, что «из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке Камерного театра я разгорячился и дал ему пощечину. Нас растащили»⁸. Назавтра к нему явился поэт (впоследствии и прозаик) Вячеслав Ковалевский и в качестве секунданта вручил ему торжественный вызов на дуэль. Шершеневич в этот день переезжал на другую квартиру, и дуэль расстроилась. «С Мандельштамом мы не кланяемся до сих пор, хотя я прекрасно сознаю свою вину. Но смешно через десять лет подойти к человеку и извиниться за глупость и грубость, которую допустил когда-то»⁹.

Сам Мандельштам никогда об этом эпизоде не упоминал, не знала о нем и Надежда Яковлевна (инцидент произошел чуть ли не за неделю-другую до их свадьбы). И все же до нас дошло поразительное свидетельство «с его стороны». Это — «Протокол о поведении В. Шершеневича и его секундентов после вызова О. Мандельштамом В. Шершеневича»¹⁰.

«В понедельник 4 апр. с.г. Осип Эмильевич Мандельштам явился в 12 ч. ночи в клуб Союза Поэтов и в присутствии Р. Ивнева, И. Грузинова и В. Ковалевского сообщил, что он сегодня в фойе Камерного театра обменялся пощечинами с Шершеневичем при следующих обстоятельствах.

Во время беседы О. Мандельштама, Шершеневича и бывших около них дам Шершеневич все время шокировал Мндельштама наглыми остротами по его адресу. Кто-то из присутствующих указал Шершеневичу на то, что он ставит Мандельштама в неловкое положение, на что Шершеневич отвечал, что ставить других в неловкое положение — его специальность. Такое поведение Шершеневича вызвало со стороны О. Мандельштама справедливые и резкие замечания, вроде: “Все искусство т. Шершеневича ставить других в неловкое положение основано на трудности ударить его по лицу, но в крайнем случае трудность эту можно преодолеть”. Минуты две спустя Шершеневич нагнал уходившего О. Мандельштама и в присутствии гардеробных женщин ударил его по лицу. О. Мандельштам ответил ему тем же, после чего Шершеневич повалил его на землю.

Поднявшись наверх в буфет, О. Мандельштам, несмотря на протесты Таирова, заявил присутствовавшей публике о только что слу-

⁷ См. в ее воспоминаниях (Альманах «Поэзия». Вып. 57. 1990. С. 186—195).

⁸ Шершеневич В.Г. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910—1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 639.

⁹ Там же.

¹⁰ ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Д. 415 (здесь с сокращениями).

чившемся, прибавив, что настоящее оглашение он делает вследствие убеждения в подлости Шершеневича, благодаря которой он может скрыть возвращенную ему пощечину.

Сообщив вышеизложенное Р. Ивневу, Грузинову и Ковалевскому, О. Мандельштам прибавил, что инцидент он считает неисчерпанным и просит помочь ему вызвать Шершеневича на дуэль. В. Ковалевский согласился быть его секундантом и пригласил вторым секундантом Р. Рока.

На следующее утро, 5 апр., В. Ковалевский и Р. Рок передали вызов Шершеневичу на пороге его квартиры. Вызов был принят, и Шершеневич сказал, что сегодня же переговорит с Кусиковым. В. Ковалевский просил сообщить Кусикову, что он его ждет сегодня в Клубе поэтов. Шершеневич обещал передать это Кусикову...

Но все же и после этих разговоров, помня настойчивость О. Мандельштама, В. Ковалевский отправился на квартиру к Кусикову. Там его не оказалось.

Настойчивость О. Мандельштама была так велика, что В. Ковалевский пошел даже на то, что до встречи с Кусиковым уже искал место для дуэли и вел переговоры с доктором, а Р. Рок пытался достать оружие.

Ни к 11-ти ч., ни позже Кусиков в клуб поэтов не пришел.

На происходившем в ночь с 6-го на 7-е апр. совещании О. Мандельштама с В. Ковалевским было решено, что поведение секунданта со стороны Шершеневича, А. Кусикова, О. Мандельштам обязан принять за явное уклонение от дуэли, и В. Ковалевский дал честное слово О. Мандельштаму огласить отклонение от дуэли с эстрады клуба поэтов. Сверх этого О. Мандельштам просил сообщить Шершеневичу, что принятый им ранее вызов может иметь силу только в том случае, если он письменно извинится за некорректность его секунданта и пришлет новых, для того чтобы дуэль могла состояться сейчас же по возвращении О. Мандельштама из Киева приблизительно через неделю.

В 10 ч. веч. 7 апр. В. Ковалевский встретил в клубе поэтов С. Есенина, который сообщил ему, что он вторым секундант Шершеневича и что он пришел поговорить с В. Ковалевским. В. Ковалевский выразил крайнее удивление, что его никто об этом не уведомил, и сказал, что по этому самому не может С. Есенина считать официальным секундантом. При этом В. Ковалевский сообщил ему о поведении Кусикова и о решении, принятом О. Мандельштамом. Есенин, в свою очередь, выразил удивление по поводу поведения Кусикова, и из его слов явствовало, что по сию пору он в контакте с Кусиковым не находится. Упрек по адресу Кусикова Есенин передал лично Шершеневичу, который в клуб пришел в 11-том часу для выступления.

Здесь же в присутствии Есенина и Рока В. Ковалевский сообщил Шершеневичу о выводах, которые принуждены были сделать О. Мандельштам и его секунданты на основании поведения Кусякова и Шершеневича. Причем В. Ковалевский добавил, что немедленно огласит уклонение Шершеневича.

Считая дальнейшую погоню за секундантом вызванной стороны нарушением элементарных правил и имея в виду непримиримый тон Шершеневича, его отказ от извинений и присылки новых секундантов, В. Ковалевский и Р. Рок пришли к заключению прекратить попытки к дальнейшим переговорам и все вышеизложенное придать широкому оглашению по требованию О. Мандельштама.

У В. Ковалевского находится письмо от О. Мандельштама, написанное им за несколько часов до отъезда, из которого явствует, что поведение В. Ковалевского не только не расходится со взглядами О. Мандельштама, но непосредственно вытекало из инструкций последнего.

1921. 8/IV. Москва. Вячеслав Ковалевский. Рюрик Рок».

Это не единственная в жизни Мандельштама дуэльная история: литературно-богемная — и разночинная по преимуществу — среда российского Серебряного века по-своему, даже несколько театрально, культивировала и поощряла институт дуэли. В то же время, памятуя о дуэлях Пушкина и Лермонтова, среда эта делала все, чтобы ни одна дуэль не состоялась.

Дуэльный список Мандельштама не так уж и короток. В 1913 году, оскорбленный антисемитскими стихами Хлебникова (предположительно о деле Бейлиса), прочитанными в «Бродячей собаке», он — как русский и как еврей — вызвал Хлебникова на дуэль. Не чем иным, как картелью было и хамское письмо Мандельштама Волошину по поводу книг из волошинской библиотеки, пропавших по его вине (1920). Пощечины фигурировали и в острейших конфликтах Мандельштама с Амиром Саргиджаном (1932) и Алексеем Толстым (1934). Но конфликт с Шершеневичем, пожалуй, наиболее классический с точки зрения института дуэли¹¹.

4

После этого Мандельштам уехал из столицы почти на год. Из Киева он с молодой женой через Ростов и Баку перебрался в Тифлис и вернулся оттуда через Батум, Новороссийск, Ростов и Харьков. Поэт

¹¹ См. об этом специальное исследование: Кобринский А. «Сияющие латы» Осипа Мандельштама // Кобринский А. Дуэльные истории Серебряного века. Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 262—295.

снова в Москве¹². Поразительное везенье — Союз писателей выделил ему большую комнату с окнами во двор в левом флигеле Дома Герцена, где тогда размещались почти все писательские организации и писательское общежитие. Соседями Мандельштамов были А. Свирский, С. Клычков. Б. Зубакин, Д. Шепеленко, П. Карпов, вернувшийся недавно из Парижа В. Парнах. *«Посредине комнаты, — вспоминает Лев Горнунг, — находился полосатый матрас, один конец которого был положен на табуретку... Осип Эмильевич лежал на голом матрасе, закинув руки за голову. Каким-то чудом он не сползал с него вниз...»*. В этой комнате Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна прожили с апреля 1922 года по август 1923-го, а с декабря 1922 года с ними жил и Александр Эмильевич, ночевавший вместе с В. Парнахом в проходной комнатке на ящике.

В эту пору литературная деятельность Мандельштама была, что называется, кипучей: несколько договоров на переводы, десятки публикаций — не только стихи, по и статьи и очерки на всевозможные темы. В 1923 году в московских издательствах вышли поэтические сборники — третье издание «Камня» в Госиздате и «Вторая книга» в кооперативном издательстве «Круг».

Завязывается дружба с Пастернаком, Клычковым, налаживается быт. Тема Москвы все прочнее вплетается в творческую канву.

В сентябре 1922 года в журнале «Россия» выходит статья Мандельштама с характерным названием «Литературная Москва». Ее начало заставляет вспомнить стихотворение 1918 года о *«непотребной столице»*:

«Москва — Пекин; здесь торжество материка, дух Срединного царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины. / Кому не скучно в Срединном царстве, тот — желанный гость к Москве. Кому запах моря, кому запах мира».

Как резко меняется отношение поэта к столице, как оно перевернулось за эти четыре года! Даже ругая Москву, этот пахнувший миром, а не морем город, Мандельштам ругает ее влюбленно:

«Здесь извозчики в трактирах пьют чай, как греческие философы; здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму; здесь приличный молодой человек на бульваре, не останавливая ничьего внимания, высвистывает сложную арию Тангейзера, чтобы заработать свой хлеб, и в полчаса на садовой скамейке художник старой школы делает вам портрет на серебряную академическую медаль; здесь папиросные мальчишки ходят стаями,

¹² 8 апреля 1922 г. датирована его гонорарная расписка издательству «Никитинские субботники» (РГАЛИ. Ф.341. Оп.1. Д.251).

как собаки в Константинополе, и не боятся конкуренции; ярославцы продают пирожные, кавказские люди засели в гастрономической прохладе. Здесь ни один человек, если он не член Всероссийского Союза писателей, не пойдет летом на литературный диспут, и Долидзе на летнее время, по крайней мере, душой переселяется в Азуркеты, куда он собирается уже двенадцать лет.

...Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе, они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. Смешно говорить о московской литературе, так же точно, как и о всемирной. Первая существует только в воображении обозревателя, так же, как вторая — только в названии почтенного петербургского издательства. Непредупрежденному человеку может показаться, что в Москве совсем нет литературы. Если он встретит случайно поэта, то тот замахает руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит, и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напуганный благословениями папиросных мальчишек, умеющих как никто оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности».

А какой радостью и свежестью веет «воробьиный холодок» из стихотворения «Московский дождик», опубликованного в том же сентябре:

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве:
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

В июле 1923 года в «Огоньке» появляются два московских очерка Мандельштама — «Холодное лето» и «Сухаревка» — оба пронизанные впечатлениями 1918 года.

«Холодное лето» — это прогулки обитателя «Метрополя», выходящего каждый день на площадь Большой оперы и шагающего на Арбат, на Петровку, на бульвары к Нескучному или еще бог знает куда! «Тот не любит города, кто не ценит его рубица, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек, кто не заглядывался в каторжном дворе Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную прелесть аэроплана...»

И если в «Холодном лете» Мандельштам процитировал «Холода рассадник... в лапчатой Москве» из прошлогоднего московского стихотворения, то в «Сухаревке» он уже без обиняков адресует к стихотворению о «непотребной столице»: «Как широкая баба, на-

валится на тебя Сухаревка — недаром славится Москва своих базаров бабьей шириной, плещется злой мелководный торг в зелено-желтых трактирных берегах».

«Но, — продолжает поэт, снова вспоминая Китай, — русские базары, как Сухаревка, особенно жестоки и печальны в своем свирепом многолюдстве... Такие базары, как Сухаревка, — возможны только на материке — на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющийся матом эту самую землю».

А между тем базар уже вырос до высоты философской категории, обволакивая собой деятельность советских учреждений и контор. И воспетый Булгаковым Дом Грибоедова — Дом Герцена — на исключительность тут не претендовал. Жизнь его бесчисленных правлений и общежития, увы, не мыслилась без скандалов, кухонных перебранок, интриг.

Уезжая 5 августа 1923 года на полтора месяца в санаторий ЦЕКУБУ в Гаспре, Мандельштам обратился в хозяйственную комиссию Всесоюзного союза писателей с просьбой оставить комнату за ним и разрешить жить в ней это время своему брату Александру. А 23 августа Мандельштам направил в правление союза заявление о своем выходе из него «по причине крайне небрежного отношения Правления Союза к общежитию». Он обвинял писателя-коменданта А.И. Свирского и его семью в злостном нарушении писательского покоя и превращении общежития в проходной двор¹³.

Вернувшись из Крыма в Москву, Мандельштамы оказались буквально на улице. Вот как описана эта ситуация в письме Осипа Эмильевича к отцу (январь — февраль 1924 года):

«Приехав в Москву, мы три недели жили у Евгения Яковлевича на Остоженке¹⁴. Это было довольно уютно и весело, благодаря его милому характеру и тому, что он как раз перед этим развелся с женой, — но не очень удобно.

Я несколько растерялся. Выпустил вожжи. Ни работы, ни денег, ни квартиры, Надюша ездила четыре раза за город (о городе мы и не думали). Все напрасно. Там лачуги, чепуха, дорого, слякоть. В городе комната стоит червонцев сорок. Мы хоть уезжать — но куда? — были готовы! Хотели снять с учета магазин, чтобы жить.

И вдруг приходит человек и говорит: немедленно поезжайте на Б. Якиманку¹⁵. Через двадцать минут мы за Москвой-рекой. Тихая

¹³ ИМЛИ. Ф.225 Оп.1. Д.16, 17.

¹⁴ Савельевский пер., д. 9.

¹⁵ Б. Якиманка, 45, кв. 8.

улица. Дом — «особняк с колонками». Квартира профессора, который живет круглый год на даче. Комната огромная — 8x8 аршин, два окна, светлая... Тихо... Рядом живет какой-то чудак, что-то вроде музыкального критика или стихотворного эстета... Бедность в доме, как в двадцатом году.

Просят за комнату 15 червонцев и сдают ее до осени. Разумеется, мы взяли. Там видно будет. Очевидно, мы купим ее совсем. Сейчас мы уже месяц, как переехали, прописались, перевезли мебель. У нас тепло, невероятно тихо. До центра 20 минут трамвая. Ни одна душа к нам не заходит.

Своя кухня... дрова... тишина... Одним словом — рай... Акушером переезда был Евгений Яковлевич¹⁶. Он занял у кого-то для нас пять червонцев в нужную минуту. На %%?! Остальное я наскреб. Все вещи целы.

Что я делаю? Работаю для денег. Кризис тяжелый. Гораздо хуже, чем в прошлом году. Но я уже выровнялся. Опять пошли переводы, статьи и пр. ... «Литература» мне омерзительна. Мечтаю бросить эту гадость. Последнюю работу для себя я сделал летом. В прошлом году работал для себя еще много. В этом — ни-ни...»

В этой комнате Мандельштамы прожили до конца мая. После короткой поездки в Ленинград, где они виделись с Ахматовой и Шилейко, около месяца они живут в подмосковном доме отдыха «Апрелевка», а затем, по-видимому лишившись комнаты на Якиманке, снова на какое-то время поселяются на Остоженке у Е. Хазина.

В начале сентября (или в самом конце августа) они перебираются и Ленинград. И почти целых пять лет Мандельштаму предстоит бывать в Москве только наездами, по издательским делам или же по дороге в Крым или из Крыма (из-за туберкулеза Надежде Яковлевне приходилось месяцами жить и лечиться в Ялте или в Гаспре). А весной 1927 года им довелось побывать в Москве вдвоем. Отсюда полетело письмо в Армавир, где тогда находился брат Шура: «Сейчас мы трянули московской стариной, будто никогда и не уезжали. Видели своих чудаковатых друзей. Восхищались автобусами и такси. Ели икру с бумаги на извозчике... Гиз московский — дик и странен, как персидское посольство».

Только осенью 1928 года Мандельштамы снова появились в Москве, точнее, под Москвой — в санатории «Узкое»¹⁷. В ноябре — декабре разыгрывается первый акт «Дела об «Уленшпигеле».

¹⁶ Хазин, брат Н.Я. Мандельштам.

¹⁷ Здесь Мандельштам познакомился с Э.Г. Герштейн. Ее ценные воспоминания, содержащие немало «московских» аллюзий и фактов, впервые были опубликованы

Весной 1929 года Мандельштам вновь поселяется в Москве. Сначала он живет в «*караван-сараях ЦЕКУБУ*» («Четвертая проза»), то есть в общежитии ученых на Кропоткинской набережной, а летом — в пустой комнате брата в Старосадском переулке (д. 10, кв. 3).

Как раз весной разыгрался второй акт «Дела об «Уленшпигеле». В действие вступил такой виртуоз интриги и инсинуации, как Давид Заславский. Двух его фельетонов — «О скромном плагиате и о развязной халтуре» («Литературная газета», 7 мая) и «Жучки и негры» («Правда», 5 июля) — и последовавших за ними травли и изнурительного судебного разбирательства, признавшего в конце концов ошибочность публикации фельетонов и одновременно «*моральную ответственность Мандельштама*», было достаточно для того, чтобы лишить поэта не только последней работы, но и остатков душевного равновесия.

Мандельштам пишет «Открытое письмо советским писателям»: «*Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо иметь, чтобы после года дикой травли, пахнувшей кровью, вырезать у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его «морально ответственным» и даже ни словом не обмолвиться по существу дела... Я ухожу из Федерации советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы*»¹⁸.

Из «Дела об Уленшпигеле», которое Мандельштам называл дома «делом Дрейфуса», выросла «Четвертая проза» — такая, по выражению Ахматовой, «*неуслышанная, забытая... во всем XX веке не было такой прозы!*»¹⁹

Вторым «источником» «Четвертой прозы» была недолгая — с августа 1929 по февраль 1930 года — служба Мандельштама в газете «Московский комсомолец», где он редактировал «Литературную страничку» и занимался с литературным «молодняком»²⁰.

То была проза-пощечина, проза-удар, проза-прозрение, после которой Мандельштам ощутил себя не «*усыхающим довеском*», попутчиком, приносящим революции «*дары, в которых она не нуждается*», а «*отщепенцем*» и, главное, очевидцем, дорожащим своим

в ее книге «Новое о Мандельштаме» (Париж, 1986). См. переиздание в: *Герштейн*, 1998.

¹⁸ ВРСХД. 1977. Т. 120. Вып. 1. С. 240—255.

¹⁹ Ахматова, 1989. С. 205.

²⁰ См. об этом воспоминания С. Липкина, А. Глухова-Щуринского, А. Алексеева-Гая в: *Мандельштам О.Э.* «И ты, Москва, сестра моя, легка...»: Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии; венок Мандельштаму / Сост. и автор вступ. ст. и примеч. П.М. Нерлер. М.: Московский рабочий, 1990.

мнимым «отщепенством». Без этого «нового опыта» едва ли родились бы в 30-е годы стихи, которые по праву также называются новыми, — стихи из так называемых «московских» и «воронежских» тетрадей.

Впрочем, не было бы их и без очистительного путешествия в Армению. В апреле 1930 года, после ходатайств Н.И. Бухарина и С.И. Гусева, Мандельштам получает вызов в Армению. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна возвращаются оттуда только в ноябре. В уложенной Надеждой Яковлевной корзинке шелестят листки с родившимися в Тифлисе стихами — о большеротом шелкунчике и крошащемся табаке, об Армении. (Где-то в кармане — бумажка с адресом нового, Арменией подаренного друга — биолога Бориса Сергеевича Кузина, жившего на Б. Якиманке.)

Почти сразу же по возвращении поэт и его жена перебрались ненадолго в «*город, знакомый до слез*» — сначала жили в Старом Петергофе, а потом, очень недолго, на Васильевском острове, в семье младшего брата, Евгения Эмильевича.

В феврале 1931 года Мандельштамы возвращаются в Москву и поселяются врозь: Надежда Яковлевна у своего брата на Страстном бульваре, а Осип Эмильевич — у своего в Старосадском переулке. То была огромная коммунальная квартира, где жили двенадцать семей, и среди них никому тогда не известный, а сегодня известный всем скрипач Александр Герцевич (фамилия его была Айзенштадт).

В этой комнате после полуночи, когда «...*сердце ворует / Прямо из рук запрещенную тишь*», складывался «волчий» цикл, здесь крепла уверенность в том, что —

не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

А в начале апреля Москва, пусть и обруганная «курвой», жестко и властно ворвалась в стихи:

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы...

В мае — июне, когда Мандельштамы ненадолго снова переехали в Замоскворечье, в квартиру Цезаря Рысса, жившего в самом начале Большой Полянки, писался цикл белых стихов, плотью и духом которых стала Москва, самый ее центр.

И снова возник образ «разбойника Кремля» с великовозрастным «недорослем» — колокольней Ивана Великого.

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,

С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня ...

...Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие...

Стоя на старом, тогда еще чугунном, но все равно именуемом Большим Каменным, мосту (он тогда приходился в створ Ленивки), поэт упирался взглядом в кремлевский холм с крепостными стенами, тоновским дворцом, кремлевскими соборами («*фисташковые эти голубятни*») и возвышающимся надо всем Иваном Великим — все это прекрасно отражалось в речной ряби («*декалькомани*»). Уткнувшись в Зарядье, взгляд соскальзывал направо, на другой берег и находил в отдалении дымящиеся трубы МОГЭС—1²¹.

Затем, просквозив по Софийской набережной, уже тогда обутой в гранит, взгляд утыкался в купальщика-завод («Красный факел», бывший Листа) и в купы садов по-над набережной²². Большую Полянку с моста не было видно, ее загораживала большая стройка (как раз достраивался многоэтажный Дом правительства!), а за ней дымящаяся четырехтрубье — МОГЭС—2, более известная как Центральная электростанция городского трамвая²³.

Если прочертить панораму еще дальше — к стрелке, то уткнешься и еще в одного «купальщика» — в комплекс кирпичных зданий кондитерской фабрики «Красный октябрь» (б. Эйнема) на Берсеневской набережной, а за ними, возможно, и в цеха Голутвинской мануфактуры за каналом. Не отсюда ли и «пряжа» в этих стихах? Или, может быть, ее занесло с Суконого двора?²⁴ Ведь для того, чтобы залететь в стихи, не обязательна и ткань — достаточно имени!²⁵

²¹ Было ли их в 1931 г. четыре — не знаю. В 1935 г. их было пять, а сейчас и того больше.

²² Перед Английским посольством, например, и перед 19-й школой — бывшим Институтом благородных девиц.

²³ На Болотной набережной — прямо за будущим кинотеатром «Ударник».

²⁴ Комплекс зданий, постройки начала XVIII в., на месте современного Б. Каменного моста, примыкавший к Софийской набережной и снесенный при строительстве моста в 1937—1938 гг.

²⁵ Все же упомянем из добросовестности и еще одно предприятие текстильной промышленности в окоме: корпуса Краснохолмского камвольного комбината (б. Шрадера) с его прядельным и ткацко-отделочными цехами за Балчугом.

До конца замыкать панораму и «снимать декалькомани» с Христа Спасителя, — еще одного архитектурного «недоросля», — Мандельштам не стал: глаз он не радовал и тогда...²⁶

А что же сама Москва — с ее недоступным грядущим и «стеклянными дворцами на курьих ножках»?

...Ей некогда. Она сегодня в няньках.
 Все мечется. На сорок тысяч люлек
 Она одна — и пряжа на руках.

Несмотря на всю суету, на весь «дробот», Москва, как и в 1918-м или 1922 году, представляется Мандельштаму буддийской, азиатской, неподвижной, стоячей, срединной («Москва — Пекин...»):

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
 С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.
 В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...
 Нет на Москву и ночью угомону,
 Когда покой бежит из-под копыт...
 Ты скажешь — где-то там на полигоне
 Два клоуна засели — Бим и Бом...²⁷

Тема шума и «дробота» Москвы подхвачена в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха...»: телефон, воробьи, снова трамваи. Через повседневность жизни, через реалии, — мало кто, например, знает, что «целлулоид фильма воровской» — это не только «воровская фильма» «Путевка в жизнь», но еще и целлулоидный рожок, с помощью которого можно было звонить по автомату, не опуская пятнадцатикопеечную монету²⁸ — передана воробьиная бездомность поэта, его неустроенность, его бытовое изгойство.

Примечательно стихотворение «В год тридцать первый от рождения века...», вернее, его отрывки, или, еще точнее, обрывки, поскольку Мандельштам разорвал рукопись после того, как Б.С. Кузин эти стихи разругал. Здесь Москва еще раз названа буддийской, и здесь она впер-

²⁶ А третью, теперешнюю, вертикаль Мандельштам, к счастью, видеть не мог: да и недорослем черетелиевского Петра Великого никак не назовешь.

²⁷ Кстати, Бим и Бом — это не только популярные комики Радунский и Вильзак, но еще и ночная проверка трамвайных путей, začínающаяся двумя контрольными ударами по рельсу, после чего нередко начинали что-то подправлять и со звоном ремонтировать. Эта догадка-комментарий принадлежит Э.Г. Герштейн.

²⁸ Сообщено Н. Поболем. См. в наст. издании, с. 20.

вые отчетливо противопоставлена «субботней», то есть ветхозаветной, Армении с ее Араратом и ковчегом.

О том же — в «Стихах о русской поэзии», где Мандельштам сравнивает Москву с листвой смоковницы. Евангельская притча гласит, что бесплодная смоковница, не сумевшая утолить жажду взалкавшего путника, была предана проклятию и тут же засохла. Так же и Москве, надо полагать, в это время нечего было предложить испытывавшему творческую жажду поэту.

Поэт подчеркивает недобровольность своего бытия, своей бездомности; признание «московских законов» (*«Уж я люблю...»*) с вытекающими из них «казнями» — насильственно, вынужденно! И тем ясней историческое призвание поэта — быть не просто очевидцем, но летописцем, пером, голосом, «сохранить дистанцию свою» — и говорить

...за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

«Московские» главы «Путешествия в Армению» расширяют мандельштамовскую топографию Москвы (Институт народов Востока на Берсеневке, Музей западного искусства на Кропоткинской, Зоологический музей на Никитской). Но главное — они обнажают ту пропасть, которая пролегла между бездомным поэтом и окружавшими его повсюду, кроме нескольких дружеских компаний и кружков, обывателями «начала стройки ленинских годов» (*«И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет»*).

Кульминацией этих настроений явился эпизод с оглохшей от старости липой, приговоренной жильцами к свержению и распилке на дрова. *«Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой, — казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы»*.

Это ли не ключ к жизненной позиции поэта — точно так же *«обреченного на сруб»*?

В январе 1932 года Мандельштамы вновь поселяются в Доме Герцена, на этот раз в правом флигеле — перестроенной конюшне. 10 ноября в редакции «Литературной газеты» состоялся вечер новых стихов Мандельштама: присутствовали и выступали Д. Святополк-Мирский, М. Левидов, М. Зенкевич, А. Жаров, В. Шкловский, А. Селивановский, А. Крученых, Н. Харджиев и другие, а 23 ноября та же газета напечатала подборку стихов Мандельштама. Вот что писал

Осип Эмильевич отцу: *«Каждый шаг мой по-прежнему затруднен, и искусственная изоляция продолжается. В декабре я имел два публичных выступления... Эти выступления тщательно оберегались от наплыва широкой публики, но прошли с блеском и силой, которых не предвидели организаторы. Результат — обо всем этом ни слова в печати. Вот уже полгода, как я продал мои книги в ГИХЛ, получаю за них деньги, но к печатному станку они не подвигаются»*²⁹.

14 марта 1933 года в Политехническом музее состоялся большой вечер Мандельштама³⁰, вступительное слово на нем произнес Б. Эйхенбаум. Еще один вечер — в Клубе художников — прошел 3 апреля. В тот день арестовывают Б.С. Кузина, но очень скоро, через неделю, выпускают (может быть, и вследствие хлопот Мандельштама, специально писавшего об этом М. Шагинян), и еще через неделю Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, захватив с собой Кузина, отправляются в последнее добровольное путешествие — в Старый Крым, ко вдове Александра Грина, а затем в Коктебель — ко вдове Макса Волошина. Там написаны стихи об Ариосте и проза о Данте.

Между тем в Ленинграде, в майском номере «Звезды» вышло «Путешествие в Армению». Мандельштамы в это время ожидали вселения в новую кооперативную квартиру, в Нацокинском переулке (ул. Фурманова, д. 5, кв. 26) деньги за которую были уплачены уже давно. Двухкомнатная квартира Мандельштамов — с ванной и телефоном! — была на последнем, пятом этаже. В июле или августе они получили ордер и переехали.

*«Бродячая жизнь как будто кончилась, — заметила Ахматова. — На самом деле ничего не кончилось...»*³¹

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

<...>

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я, как дурак, на гребенке
Обязан кому-то играть.

²⁹ НМ. 1987. № 10. С. 205.

³⁰ См. о нем в воспоминаниях С. Липкина, Н. Соколовой и Е. Осьмеркиной-Гальпериной.

³¹ Ахматова, 1989. С. 205.

<...>

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель
Такую ухлопает моль.

<...>

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилия.

Поводом к этому стихотворению послужила реплика Пастернака, зашедшего поглядеть на новое жилье Мандельштама. Уходя, он сказал: «Вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи». Надежда Яковлевна описывает ярость Мандельштама, не переносившего жалоб на внешние обстоятельства: *«Слова Бориса Леонидовича попали в цель — Мандельштам проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям... Проклятие квартире — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали...»*³².

Н.Я. Мандельштам полагала, что стихотворение «Квартира» фигурировало в деле Мандельштама наряду со «Старым Крымом» и эпиграммой на «кремлевского горца». Возможно, оно и фигурировало на следствии, но в тех протоколах, которые следователь Шиваров включил в мандельштамовское дело, нет на него и намека³³.

Арестовали Мандельштама в ночь с 16 на 17 мая 1934 года на квартире в присутствии жены, переводчика Давида Бродского и приехавшей накануне Анны Ахматовой. Следствие длилось две недели и было «успешным» — подследственный подтвердил справедливость доноса и самолично записал текст эпиграммы в кабинете следователя Шиварова (на дверях которого, как говорили злые языки, висела табличка: «Отдел литературы и искусства»). Этот вырванный из школьной тетради в клеточку листок, эти шестнадцать строчек стихотворного текста и подпись поэта — страшный документ. Вглядываясь в эти оцепеневшие строчки, видишь, что происходило с Мандельштамом,

³² Мандельштам Н. Воспоминания. 1999. С. 176—177.

³³ См.: Нерлер, 2010.

когда он решился это записать, как дрожала его рука, как не слушалось перо. Чтобы написать строчку — по четыре, по пять раз окунал он ручку в чернильницу!

...Приговор был на удивление мягок — три года ссылки в уральский город Чердынь без последующего права жить в Москве и еще двенадцати городах. Ну не чудо ли, если вспомнить, что Мандельштама взяли, так сказать, «с поличным»! Мало того, после прибытия в Чердынь и случившегося там у поэта тяжелого психического припадка ему милостиво разрешили переменить место ссылки на петровский Воронеж!

16 июня 1934 года Мандельштамы покинули Чердынь и через пять-шесть дней ступили на перрон воронежского вокзала. Без малого год должен был пройти, прежде чем к Мандельштаму вновь вернулись стихи. Это произошло 5 апреля 1935 года, после концерта Галины Барановой, облик и темперамент которой, по свидетельству С.Б. Рудакова, разбудил в Осипе Эмильевиче воспоминания о... Марине Цветаевой!

У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка...

Едва ли будет преувеличением посчитать здесь своею — не воронежскую, а московскую жизнь. Можно себе представить, как жадно ловил он любые новости из столицы, как набрасывался на газеты, как впивался в наушники, как хватал за рукав изредка появлявшихся в Воронеже москвичей, как расспрашивал вернувшуюся из Москвы жену (а она ездила туда довольно часто — в поисках работы, беспокоясь за сохранность квартиры и т. п.).

Наушнички, наушники мои,
Попомню я воронежские ночки.
Недопитого голоса Аи
И в память с Красной площади гудочки...
Ну, как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки.

Здесь, в Воронеже, куда-то в тень отступили московские обиды, московские заботы, с этой дистанции Москва представляла совсем иной, чем прежде, не буддийской и сухопутной, а родной и нежной, утренней и путеводной:

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата

До первого трамвайного звонка, —
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока.

Для Мандельштама такое сестринство равносильно признанию в любви — подобно тому, что запечатлел Пастернак в «Сестре моей жизни», самой почитаемой Мандельштамом книги Пастернака. Спустя еще два года, в мае 1937-го, истек срок ссылки, и Мандельштам, забыв об осторожности, приехал наконец в Москву и никуда из нее не торопился. Очевидцы рассказывают, как нравилось ему все новое, что он увидел в столице, — то же метро, например.

И снова лик и лицо, город и женщина как бы наплыли друг на друга. И, право, непросто понять, кто же — Лиля Попова, жена Яхонтова, или Москва — стала героиней стихотворения «С примесью ворона — голуби...»:

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена...

...Но Мандельштаму напомнили о необходимости соблюдать установленный паспортный режим. Летом 1937 года вместе с женой он перебирается в Савёлово — поселок на Волге, имевший с Москвой регулярное железнодорожное сообщение. В каждом из трех дошедших до нас стихотворений, написанных там в начале июля, хотя бы по разу, но поминается Москва.

...И даже в бродячей строчке, дошедшей до нас из дальневосточной пересылки, — снова Москва:

Река Яузная, берега кляззные...

«НА КАМЕ-РЕКЕ...»: УРАЛЬСКИЕ ВОЛНЫ МАНДЕЛЬШТАМА

Галине Похмелкиной

1

С Уралом судьба сталкивала Мандельштама трижды.

Первый раз — в 1923—1924 гг. — заочно: его материалы печатались в одном екатеринбургском журнале.

Второй раз — в июне 1934 года — очно: Чердынь была назначена ему как место отбытия трехлетней высылки, к которой его приговорили.

Представим себе на секундочку, что мандельштамовский ранг в советской писательской иерархии был бы вровень с горьковским. Тогда бы газеты поместили, наверное, следующую заметку: *«В начале июня 1934 года известный советский писатель, лауреат Сталинской премии за 1934 год (замена расстрела высылкой), Осип Эмилевич Мандельштам с супругой посетили Уральский регион с кратковременным (двухнедельным) творческим визитом. Целью визита были пропаганда и личное участие в военно-спортивной подготовке (путешествие под вооруженным конвоем и ночные прыжки из окна), а также сбор необходимых впечатлений для будущих произведений».*

Будущие произведения, кстати, состоялись, став содержанием третьей — и снова заочной — встречи Мандельштама с Уралом. В Воронежские стихи 1935—1937 гг., где и когда к поэту вернулись стихи, Урал и Кама фигурируют в них как одни из важнейших мотивов¹.

¹ См. об этом в: *Фрейдин Ю.* Долгое эхо: поэтическое пространство Урала и воронежские стихи О. Мандельштама // *Осип Мандельштам и Урал.* М.: Петровский парк, 2009. С. 82—87.

2

...В марте 1923 года в Екатеринбурге начал выходить двухнедельный иллюстрированный журнал «Товарищ Терентий» — литературное приложение сразу к пяти газетам: «Уральский рабочий», «Звезда», (Пермь), «Советская Правда» (Челябинск) и «Трудовой Набат» (Тюмень). В октябре 1923-го «Терентий» перестал быть приложением к уральским газетам, обрел самостоятельность — нэпом было рождено акционерное общество «Уралкнига», и редакция журнала ушла под крыло книгоиздателей. В ноябре вышел снова первый номер иллюстрированного журнала «Товарищ Терентий» — в другом формате и с новой обложкой, а декабрьский выпуск был сдвоенным — «№ 1/2. 8 декабря 1923 г.».

Выходил журнал в 1923—1925 годах регулярно, но довольно часто сдвоенными номерами. Он быстро выбился в самый известный и престижный журнал в городе и регионе. В нем дебютировали Павел Бажов, Аркадий Гайдар и другие известные писатели. В 1926 году он был переименован в «Уральскую новь», а в 1927 году он и вовсе прекратил свое существование.

Кто же такой «товарищ Терентий»?

Не ищите его в святцах подпольных движений. «Анкетой» товарища Терентия открылся первый сдвоенный выпуск журнала, датированный 18 марта 1923-го:

«Как зовут: «Терентий — Веселый Плотник». Где родился и почему так назван: «Где родился — не знаю. Назван попом, и с тех пор — «Терешка... Терентий Парфентьевич... просто Парфентьевич и, наконец, товарищ Терентий». Образование: «Образование у меня солидное... Я исходил и изъездил в поисках потерянного ремесла пол-России и, наконец, прибыл на Урал — уже квалифицированным деревообделочником. Я умел обдирать не только дерево, но и глупых бабенок, но и разные веселые делишки». Основная профессия: «Плотник». Причины издания журнала: «Рассказать уральцам, где бывал, что видал, где бываю и что вижу».

Вот такой персонаж.

В уже упомянутом сдвоенном декабрьском номере 1—2 за 1923 год был напечатан очерк Осипа Мандельштама «Международная крестьянская конференция», сильно отличающийся от более известного очерка с почти таким же названием — «Первая международная крестьянская конференция»².

В № 4—5 за 1923 год, вышедшем 23 декабря, была опубликована неподписанная заметка о Пьере Ампе, или Хампе (или Гампе, как на-

² Огонек. 1923. № 31. 28 октября. С. 12.

печатано в журнале), предваряющая — такой же анонимный — перевод его рассказа «Муха». Как раз в это время Мандельштам переводил Хампа — в начале 1924 года в издательстве «Московский рабочий» в его переводе вышла книга Хампа «Золотоискатели в Вене» (из быта «шиберов»). Но даже не это, а сам по себе прозаический стиль — неповторимо раскованный и одновременно пристальный — «выдает», на наш взгляд, авторство Мандельштама.

И наконец, в 1924 году, в № 7 от 20 января, в «Товарище Терентии» снова встречаем имя Мандельштама — на сей раз в качестве переводчика стихотворения О. Барбье «Шахтеры Ньюкэстля». Этот перевод долгое время находился в неизвестности — им, по-видимому, не располагал и Н.И. Харджиев, впервые собравший в своей «Библиотеке поэта» переводы Мандельштама из Барбье воедино³.

Других следов сотрудничества Мандельштама с «Товарищем Терентием» обнаружить не удалось, однако его имя встречается в других материалах, в частности, в статье Э.М. (Эмиля Миндлина?) «Литературный Петербург»⁴.

Остается лишь добавить, что самый механизм сотрудничества был предельно прост. «Товарищ Терентий» имел в Москве уполномоченного редакции (им был М.Е. Долинов), размещавшегося по адресу — Большой Гнезниковский переулок, д. 10, комн. 609. Мандельштам в этом доме бывал постоянно — здесь на первом этаже располагалась московская редакция газеты «Накануне», а в ней в это время он регулярно печатался...⁵

Случайные вроде бы заработки, первые подвернувшиеся под руку тексты, библиографический полукурьез, — все это так, но, тем не менее, через них в мандельштамовскую судьбу впервые прокрался Урал.

3

То, что вокруг дела Мандельштама происходит что-то необычное, первым почувствовал Михаил Львович Винавер⁶: «*Какая-то особен-*

³ Первыми обнаружили его А. Григорьев и Н. Петрова — составители первой библиографии переводов и переложений О.Э. Мандельштама (см. в: RL. 1984. Т. XV. Вып. 1).

⁴ Товарищ Терентий. Екатеринбург. 1923. № 4—5. 23 дек. С. 27 (обнаружено Н. Поболем).

⁵ См.: *Нерлер П.* Поэт у «плотника» // Урал. 1991. № 7. С. 172—176.

⁶ Винавер Михаил Львович (1880—1937), адвокат и правозащитник, еврейский деятель, гражданин Польши. Зам. председателя Польского Красного Креста, а с 1924 г. зам. председателя «Общества помощи политическим заключенным» (Помполит), основанного в 1918 г. и до 12 июня 1922 г. известного как «Комитет

ная атмосфера: суета, перешептывания...» — говорил он Надежде Яковлевне⁷.

И как в воду глядел. Начиная с 26 мая, стали твориться самые настоящие чудеса — чудеса, доведенные до Надежды Яковлевны Шиваровым под лаконичным девизом: *«изолировать, но сохранить!»*

Во-первых, звонок следователя ей самой и предложение свидания — редчайший случай!

Свидание состоялось 28 мая в присутствии следователя Шиварова:

«Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он всё? время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

<...> Когда ввели О.М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств — «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О.М. тотчас заметил, что я в чулком пальто. Чье? Мамино... Когда она приехала? Я назвала день. “Значит, ты всё время была дома?” Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Думая, что мы расстанемся надолго, а может, навсегда, О. М. поспешил передать со мной весточку на волю. <...> О. М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом “мужикоборец” в четвертой строке: “Только слышно кремлевского горца — душегубца и мужикоборца”... Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О.М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь не-

помощи политическим ссыльным и заключенным» или «Политический Красный Крест» (при председателе Е.П. Пешковой). Общество было закрыто в середине 1937 г., а сам Винавер 3 августа был арестован в Крыму, где находился на отдыхе. За 16 месяцев следствия, проходившего в самый разгар применения физических методов воздействия, никого не оговорил. 29 июня 1939 г. приговорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58.6 (Видре К. Хочу спасти от забвения (М.Л. Винавер и Политический Красный Крест) // Звезда. 2002. № 3). В начале 1942 г. освобожден из лагеря по амнистии как польский поданный, 29 сентября (по другим сведениям — в 1943 г.) скончался (Екатерина Павловна Пешкова. Биография: Документы. Письма. Дневники. Воспоминания / Сост. Л. Должанская. М., 2012. С. 678—682).

⁷ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 110.

прерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл “беспрецедентным контрреволюционным документом”, а меня соучастницей преступления: “Как должен был на вашем месте поступить советский человек?” — сказал он, обращая ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова “преступление” и “наказание”. Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верха, — первая милость... Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение... И тут Христофорыч предложил мне сопровождать О.М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если б я отказалась»⁸.

Во-вторых, — и это главное — сам приговор «копеечный»: всегонавсего высылка на три года в Чердынь!

И, в-третьих, жене предложили сопровождать в ссылку мужа, с чем она немедленно согласилась. Для сопровождения Мандельштама Надежде Яковлевне тут же выдали удостоверение.

Но уезжать нужно было уже в этот же вечер, 28 июня! До отправления оставалось совсем немного времени, и все оно полностью ушло на всевозможные сборы.

Ахматовой запомнились приготовления, провода и прощание на Казанском вокзале: «...Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку всё содержимое своей сумочки»⁹.

По версии Надежды Яковлевны, Булгакова не только сама дала денег, но и, вместе с Ахматовой, собирала по всему дому на отъезд Мандельштамов.

4

...Поезд на Свердловск уходил с Казанского вокзала. С Ленинградского — в тот же день и час — уезжала Ахматова.

⁸ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 38—40.

⁹ Ахматова, 2005. С. 115.

«На вокзал мы поехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами... Осипа очень долго не везли... Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т. е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться»¹⁰.

29—30 мая Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна провели в поезде.

Не одни, а под неусыпным надзором тройки «славных ребят из железных ворот ГПУ» — своих конвоиров. Согласно уставу конвойной службы, существовали эшелонное конвоирование (Мандельштам еще столкнется с ним в 1938 году¹¹), пешее и так называемое особое, когда конвоирование осуществляется в индивидуальном порядке и по особому распоряжению. Именно с этим видом конвоирования, похоже, и столкнулся О.М. на этот раз. Конвоиров ему заказали не из внутренних или конвойных войск и уже тем более не из милиции (случалось и такое), а из низового состава ОГПУ, вооруженных скорее всего наганами.

Собственно, они так и назывались: спецконвой ОГПУ, и старшего из троих звали так же, как и конвоируемого, — Осипом. Во внутреннем кармане у него лежал запечатанный конверт в выпиской из протокола Особого совещания, который надлежало доставить в чердынскую комендатуру — цитирую предписание — *«вместе с личностью осужденного, следуемого спецконвоем в ваше распоряжение, для отбывания высылки»¹².*

Первою целью на их маршруте был Свердловск. Там, в областном центре, по-видимому, надлежало сделать соответствующую отметку. Когда бы не это, то самый короткий путь в Чердынь пролегал бы через Пермь.

В пути у Мандельштама усилился душевный недуг, обозначившийся во внутренней тюрьме: напряженное ожидание казни, навязчивая идея самоубийства. И вместе с тем он сохранял адекватность восприятия и присущее ему чувство юмора. Иначе бы не сочинил 1 июня в Свердловске, на полпути из Москвы в Чердынь, следующую трагикомическую басню:

*Один портной
с хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.*

¹⁰ Там же. С. 116.

¹¹ См.: Никольский, Поболь, 1999. С. 43—47.

¹² ЦА ФСБ. Следственное дело Р—33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 36. Оборот «Формы № 54».

*И что ж? — портновской следуя манере,
С себя он мерку снял
И до сих пор живой.*

Закройщик собственной судьбы, Мандельштам, несомненно, понимал, каким должен был быть его «приговор» — высшая мера: и разве не сам он пояснял, что смерть для художника и есть его последний творческий акт? И он сделал для этого «все что мог». Но оказалось, что именно это и спасло его от высшей меры и что, благодаря самоубийственному поведению, он от гибели-то и ускользнул.

5

До Свердловска почтовый поезд № 72 тащился почти двое с половиной суток, или, согласно расписанию, — 57 часов и 17 минут. Там — первая пересадка: ссыльная парочка и трое «телохранителей» несколько часов дожидались вечернего поезда по соликамской ветке. До Соликамска — еще одни сутки: почтовый поезд № 81 находился в пути, согласно расписанию, 20 часов и 14 минут¹³.

В Соликамске — снова пересадка, причем от вокзала до пристани ехали на леспромхозовском грузовике (это тут Мандельштам, увидев бородача с топором, перепугался и шепнул: «Казнь-то будет какая-то петровская!»).

Надо не просто сказать — подчеркнуть, что психическое состояние Мандельштама оставляло желать много лучшего. Травмопсихоз — термин, сообщенный поэту или его жене скорее всего следователем со слов тюремного врача, — был, по замечанию Ю.Л. Фрейдина, не чем иным, как эвфеизмом: правильно было бы говорить о тюремном психозе плюс так называемый железнодорожный психоз (разновидность галлюцинаторно-параноидного психоза), когда человеку — от обилия или остроты впечатлений — за всю дорогу не удавалось сомкнуть глаз!

Последний перегон — водный и против течения (вверх по Каме, по Вишере и по Колве) — Осип Эмильевич с Надеждой Яковлевной проплыли с комфортом — в отдельной каюте, снятой по совету Оськи-конвоира («*Пусть твой отдохнет!*»). Этим маршрутом плавали два парохода — «Обь» и «Тобол»¹⁴: Мандельштам знал об обоих, так что, возможно, оба были зашвартованы в Соликамске или же просто встретились по пути¹⁵.

¹³ Информация Центральной научно-справочной библиотеки Министерства путей сообщения (сообщено А. Никольским).

¹⁴ А вот, для сравнения, некоторые дореволюционные имена: «Альфа», «Гражданин», «Доброжелатель» (сообщено С.А. Попковой).

¹⁵ Эта часть маршрута скорее всего тоже была отработанной. Именно так проследовал в Чердынь за год до Мандельштама Кураев (*Кураев*, 1998. С. 13).

Внимание Мандельштама не могли не привлечь береговые знаки — створные меты и футштоки. Меты маркировали изгибы фарватера и километраж от устья реки: их появление впереди было предвестником поворота русла или какой-то иной перемены. Окрашенные в белый цвет, они являли собой хорошо видимые капитанам и ночью высокие столбы с прибитыми друг над другом четырьмя поперечными рейками переменной и уменьшающейся снизу доверху длины. А футштоки — это своего рода «стационарные» мерные рейки, фиксирующие уровень воды. Они состояли из чередующихся красных и черных меток и цифр и действительно напоминали старинные верстовые столбы из дореволюционного времени¹⁶.

Наложившись друг на друга, футштоки и створные столбы попали в стихи: *«И речная верста поднялась в высоту...»*

Колва в Чердыни судоходна исключительно по большой воде, то есть в мае-июне. Так что можно сказать, что Мандельштамам «повезло» со временем прибытия¹⁷.

6

Что знал Мандельштам о Чердыни, усаживаясь напротив своих конвоиров в вагоне? Скорее всего — ничего. Ситуация — так мало походившая на путешествие в Армению в 1930-м, готовясь к которому поэт не вылезал из музеев и библиотек!

Исторически и географически он себе плохо представлял, куда *«везут они его»*, эти *«чужие люди»* из *«железных ворот ГПУ»*. Если Чердынь как-то и звучала для него, то музыкально: возможно, она сопрягалась у него со старообрядцами.

Ему было невдомек, что Чердынь, — городок хотя и маленький (около 4 тысяч жителей), но один из древнейших на всем Урале. Некогда вполне себе гордый — величавшийся Пермью Великою Чердынью, что говорило о его столичности в этой самой Перми, широко ведшей свою торговлю (пушнина да еще серебро) — от Великого Новгорода до Персии. Более скромное название «Чердынь», в переводе с коми-пермяцкого, — это *«поселение, возникшее при устье ручья»*, при этом подразумевалась речка Чердынка (или Чер), впадающая здесь в Колву.

Судоходная Колва (правый приток Вишеры, левого притока Камы) связывала Чердынь с Волгой, а через короткие волокни (впоследствии замененные грунтовыми дорогами) — и с Северной Двиной и Печорой. Реки в этих краях — исток и устье всего сущего. Все селения вокруг

¹⁶ Благодарю А. Лапшевцева и Н. Поболя за соответствующую консультацию.

¹⁷ Тот же Кураев просидел в Екатеринбурге до открытия навигации около месяца.

Чердыни расположены исключительно по берегам рек. Транспорт, рыба, молевой сплав (главным образом на Волгу) — все это основа повседневной экономики города и горожан.

Сама Чердынь оседлала правый берег реки — высокий и обрывистый, покрытый хвойным лесом: это он в стихах у Мандельштама отражался в воде. В лесу все больше пихта да ель, но встречается и сосна, реже лиственница и кедр. Чахлый елово-пихтовый лес, растущий на болоте, именуется здесь согрой, а высокий, «корабельный», растущий по горам, — пармой. Вода в самой Колве у Чердыни из-за глинистых и торфяных берегов — мутная взвесь: при высокой воде берега размываются.

Первое письменное упоминание — под 1451 годом: тогда Чердынь, чистое коми-пермяцкое селение, только обживалась русскими и перестраивалась из новгородского в московские вассалы. В 1462 году православные миссионеры основали здесь монастырь и пытались окрестить местных коми-пермяков и вогулов, а те не горели таким желанием и иногда сопротивлялись. В 1472 году московский отряд во главе с князем Федором Пестрым и устюжским воеводой Гавриилом Нелидовым даже ходили на Чердынь и Пермь Великую замирать их, после чего Чердынь окончательно закрепилась за Москвой, а в 1535 году официально провозглашена городом.

Отсюда начиналась Чердынская дорога — древний путь через Уральские горы в Западную Сибирь: до конца XVI века здесь зимовали купцы, двигавшиеся на восток. Однако с истощением здесь серебряных руд и с усилением соледобычи в Прикамье экономическая роль Чердыни сошла на нет, а сама она — при Строгановых, в XVII в. — только что не захирела. Соляные копи были хоть и не далеко, а все же не здесь: железную дорогу дальше Соликамска (это в 100 км) не стали тянуть — рыбе да мехам не нужны рельсы. Неподалеку и Красновишерск, где в 1930-е годы строился, в том числе и шаламовскими руками, грандиозный целлюлозно-бумажный комбинат.

С давних пор уездная Чердынь наращивала свою частную инициативу и гуманитарную мускулатуру: тут имелись свое Общество любителей истории, археологии и этнографии Чердынского края, при котором образовались археологический музей, а в 1899 году, в ознаменование пушкинского юбилея, — еще и общеобразовательный. В 1918 году оба музея слились в один — Общеобразовательный (с 1922 года — Чердынский краеведческий) музей им. А.С. Пушкина. Множество документов по истории края погибли в 1792 году во время пожара, истребившего архив и почти весь город.

Были в городе до революции городское 4-классное училище, женская прогимназия, низшая ремесленная школа и приходское

училище, земская публичная библиотека, земская же больница на 30 коек¹⁸, аптека, ветеринарная амбулатория, богадельня, приют для бедных детей. Был и городской сад. Действовали некоммерческие товарищества — Общество семейных вечеров (при нем театр), Музыкально-драматическое общество, Общество вспомоществования бедным учащимся (при нем столовая с общежитием) и Общество потребителей.

Без устали служила Чердынь российским уездным городом и как бы законсервировала в себе образ его северной ипостаси: над малоэтажной застройкой, почти сплошь деревянной (даже тротуары террасовые!), возвышаются простецкие белокаменные соборы постройки XVIII века¹⁹. Старообрядцев здесь хотя и большинство, но соборов больших у них нет. Зато внутри церквей — неожиданные, словно орган, — красовались когда-то деревянные, как у католиков, скульптуры. Потом их даже собрали в музей... в Перми! Тоже своего рода депортация.

7

Подплывая к городу, они не могли не восхититься его панорамой: город-то с силуэтом! Раскиданные по городским холмам маковки церквей и колокольня (а еще и водонапорная башня) господствовали над приземистой купеческой застройкой, языками добегавшей до самой реки. *«Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом»*, — писала потом Н. Мандельштам. Храмы еще сохраняли кресты и побелку, а то, что они большею частью были закрыты и «перепрофилированы» — с реки не углядишь²⁰.

И вот пароход, замедляя ход, причалил к Чердынскому дебаркадеру. Впереди оставалась развилка — направо заворачивала река, а слева, под тупым углом, в нее впадала, запутавшись в своих старицах, речка Чердынка.

Вдоль берега чернели и громоздились циклопические, рубленные из лиственницы дровяные амбары — бывшие купеческие (в них хра-

¹⁸ См. об этой больнице в наст. издании, с.415. Ее фасад украшает памятная доска в честь О.Э. Мандельштама (впервые установлена в 1999 г., в 2009 г. заменена на более прочную).

¹⁹ Но есть в центре и каменные светские дома: купеческие особняки и торговые лавки, гостиные дворы, школы.

²⁰ Церкви начали закрывать еще в 1930 г., и ко времени приезда Мандельштама изо всех городских церквей, кажется, только одна была оставлена для отправления старорежимных нужд, а остальные были расписаны под склады и прочие социальные потребности. В Воскресенском соборе, например, был устроен кинотеатр.

нили соль и зерно). Тут же стояла и такая же почерневшая от времени деревянная мельница, а рядом электростанция²¹. Прямо от пристани, перпендикулярно берегу, уносился вверх глубокий овраг и с ним по тальвегу глиняная дорога — Прямица — такая крутая, что казалось: пойди сейчас дождь, никому и ни за что сходу ее не одолеть, несмотря на плитняк, которым она была выложена. Пешеходу же было и вовсе трын-трава: обочь Прямицы шел самый настоящий тротуар, даром что тесовый.

За мандельштамовской «пятеркой» и багажом новоприсельцев районный комендант Попков наверняка выслал подводу. Она доставила всех пятерых в районное представительство ОГПУ, располагавшееся в бывшем доме купца Могильникова — старинной каменной усадьбе на улице Ленина²².

Самого товарища Попкова Надежда Яковлевна воспринимала как *«типаж не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше»*²³. Но это к нему и его регистраторам должен был, останься он в Чердыни, каждые пять дней навещаться высланный Мандельштам. Это ему предстояло решать, куда — в райцентр или куда поглуше — определить в пределах района столичного «писателя» и его жену. Ведь Чердынь — единственный на весь район город: грамотеев здесь и своих много!..

Но, сдавая непосредственно коменданту «личность осужденного», старший конвоир Оська поступил нестандартно. Он проинструктировал Попкова в том смысле, что об *«этом поете»* велено заботиться, после чего пошел на почту отбивать на Лубянку условленную телеграмму²⁴.

Всю дорогу Оська поражался тому, что в СССР, оказывается, можно получить срок, по его выражению, «за песни». Он допустил массу поблажек и отклонений от инструкции, хоть в чем-то, но облегчавших положение своих конвоируемых. Вот только от угощения домашними запасами, сколько бы им это ни предлагала жена конвоируемого, он строго уклонялся — запрещено: а вдруг отравят?

Но после передачи «личности осужденного» с рук на руки *«славные ребята из железных ворот ГПУ»* перестали отказываться: *«Теперь мы свободны — угощай...»*. Выпив и закусив, «тройка» зашагала вниз, к пристани, где ее терпеливо дожидался пароход.

²¹ Мельница потом сгорела, а электростанция была разрушена в 1970-е гг.

²² Ныне Юргановская.

²³ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 70.

²⁴ По словам Н. Побоя, давалась самая обычная телеграмма с кодом примерно такого типа: «Дрова сданы». Вместо «дров» могло стоять и что-то другое: «деревянные изделия», «мебель» и т. д.

8

Под воздействием слов начальника конвоя неслыханную для себя гуманность проявил и Попков. Он устроил новеньких одним в огромной и пустой угловой палате правого крыла на втором (самом верхнем) этаже просторной земской больницы. В соседних палатах лежали раскулаченные мужики из района — с запущенными переломами, с запущенными язвами — такие же бородатые, как и сам Мандельштам.

Больница была едва ли не лучшим зданием в городе. Ее построили на средства местных купцов к 1913 году, то есть к трехсотлетию дома Романовых, и оборудовали по последнему слову тогдашней техники — горячей и холодной водой, рентгеновским аппаратом²⁵. Располагалась она в доме 29 по улице... Сталина!²⁶

Ну не диво ли: человек, в чью честь она так называлась, отправил другого человека, в порядке чуда, — вместо того света на улицу имени себя!

Прибытие Мандельштама в Чердынь датируется строго 3 июня, когда в комендатуре при местном райотделе ОГПУ его поставили на особый учет и выдали ему за № 1044 удостоверение административно-высланного. Режим его наказания предусматривал явку в дом Могильникова каждые пять дней — 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа — для получения соответствующего штампика в этом удостоверении. Регистратором, возможно, был Миков — инспектор ОГПУ по ссылкам²⁷.

Но отметки за 5 июня у Мандельштама нет — видимо, из-за того, что он «отметился» в Чердыни совершенно иначе: в первую же ночь, то есть с 3 на 4 июня, одержимый тюремными галлюцинациями и манией преследования, он выбросился из окна палаты, где его с женой так шикарно разместили...

Нервный, чувствительный, тонкий, «не созданный для тюрьмы» (автохарактеристика), Мандельштам явно не выдержал очной ставки с государственной карательной машиной, заплатив за нее бессонницей, бредом, галлюцинациями и, наконец, — попыткой самоубийства.

«Прыжок — и я в уме», — так диагностировал ситуацию сам поэт.

Женщина-врач («встрепанная и очень злая врачиха»), по характеристике Н. Мандельштам — это предположительно Мария Селиверстовна Семакова, замещавшая на время отпуска заведующего, А.М. Семакова, своего начальника и мужа²⁸. Она констатировала

²⁵ Памятники архитектуры, истории, искусства Чердыни и Чердынского района. Т. II. Чердынь, 1997. С. 11—12.

²⁶ Нынешняя Прокопьевская.

²⁷ Кунтур, 2009. С. 43.

²⁸ Кунтур, 2009. С. 42—43.

у Мандельштама вывих правого плеча. Диагноз ее не был верен (правильным был бы перелом), но в период белых ночей электричество даже в больницу подавалось нерегулярно и рентгеновский аппарат не работал.

После «прыжка» Мандельштама с женой перевели в другое помещение — в небольшой и отдельно стоящий флигель, где размещался Красный уголок больницы. Каменный и одноэтажный домик — из окна точно не выбросишься.

В больнице Мандельштамы сдружились с одной эсеркой-кастеляншей — такой же, как и они, административно-высланной, но только с несоизмеримо большим жизненным опытом. Кастелянша еще раз даст о себе знать — в 1939 году, на Колыме, в лагпункте «Балаганное», судьба свела с ней Елену Михайловну Тагер, законспирировавшую ее в своих воспоминаниях под инициалами Е.М.Н. (возможно, сознательно искаженными)²⁹.

Е.М.Н. рассказывала Тагер об «одном писателе», Иосифе Мандельштаме, содержащемся в чердынской больнице, где она работала. Он страдал, по ее выражению, «абсолютным психозом»: каждый день заново свято верил, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать — забивался в угол, трясся, кричал... Лечить его было нечем, но очень помогал описанный и Надеждой Яковлевной трюк: незаметно перевести часы на два часа вперед... Восемь часов — совсем другое дело, никто за ним не приходил! — и поэт успокаивался...³⁰

Недавно установлены имена двух реальных кастелянш, работавших в больнице в это время: это Татьяна Алексеевна Коломойцева, административно-ссылная дворянка из Новороссийска (принята на работу в 1931 г.) и Валентина (или Василиса?) Дмитриевна Казаринова³¹.

9

С правой рукой на перевязи, заросший уже не щетиной, а густой трехнедельной бородой — Мандельштам выглядел по меньшей мере импозантно. Травматический психоз его не отпускал, и он все ждал определенного часа (шести вечера), в который его непременно должны

²⁹ Из работников Чердынского здравоохранения ближе всего к ним имя Екатерины Абрамовны Носовой, одной из руководительниц райздравотдела.

³⁰ Тагер Е. О Мандельштаме / Публ. и комм. Г.П. Струве // НЖ. 1965. Кн. 81. С. 172—199.

³¹ Кунтур, 2009. С. 43 и 55—57.

были расстрелять. Но хуже всего было ночью: бессонница! И не та, творческая, когда все в тебе настроено на стихи, и ночь дарит тебе возжеленную *«запрещенную тишь»*, а совершенно другая — болезненная и изнурительная, начавшаяся в дороге и перекидывавшаяся по мосткам тревоги за него к жене. Утомляли и белые ночи, но к ним быстро привык, — Чердынь и Петербург расположены почти на одной широте.

Рука у Осипа Эмильевича быстро заживала, хотя отныне и до конца жизни он был практически сухорук. Уже через несколько дней после «прыжка» он и Надежда Яковлевна начали выходить в город — прежде всего в тщетных поисках жилья. Заходили они, надо думать, и в музей, и в библиотеку, читали или покупали районную прессу.

Невозможно себе представить, чтобы они не заглянули в местный музей³². Сохранилась книга отзывов музея за 1934 год: мандельштамовской записи там, правда, нет, зато есть чья-то сердитая запись-выговор за то, что нетути в этом музее ни львы, ни тигры! Зато в одной из витрин красовалась настоящая серебряная персидская посуда, найденная не где-нибудь, а в окрестностях Чердыни при археологических раскопках.

И тогда на память приходит первое из двух мандельштамовских писем жене от 4 мая 1937 года, где читаем: *Сейчас был в книжном магазине — большом. Там изумительные «Металлы Сассанидов» Эрмитажа — 50 р.*³³. Так что же это, как не еще один «чердынский след» в судьбе поэта?

Заходили они, надо полагать, и в библиотеку, находившуюся там же, где и сегодня — в доме 57 по Коммунистической (ныне Успенской) улице, где читали или покупали районную прессу³⁴.

Газет в Чердыни было в то время две³⁵. Одна — «Северная коммуна» (орган райкома партии, райисполкома и райпрофсовета) выходила трижды или четырежды в неделю под редакцией некоего

³² Его директор, Илья Музейный (Илья Алексеевич Лунегов, 1900—1994 гг., возглавлял музей в 1929—1966 гг.) был активным и удачливым исследователем и администратором, сделавшим необычайно много для наращивания и совершенствования экспозиции.

³³ Т. 4. С. 290. К этому месту Н.М. дала такой комментарий: *«Юдина купила и послала в подарок» («Любил, но изредка чуть-чуть изменял»)*. Заметки Н.Я. Мандельштам на полях американского собрания сочинений О. Мандельштама / Публ. Т. Левиной и А. Никитаева // *Philologica*. 1997. № 4. С. 181). Книга не сохранилась.

³⁴ Библиотекарь Селиванов удостоился у Кураева определения *«прелестный человек»*: *«В его холодной библиотеке я читаю газеты, беру их и на дом»* (Кураев, 1998. С. 53).

³⁵ Опираемся только на номера, сохранившиеся в газетохранилище Российской государственной библиотеки в Москве. Ни в Чердыни, ни в Перми их не оказалось. По всей вероятности, недостающие номера сохранились в Свердловске, бывшем в то время для Чердыни областным центром.

Яборова³⁶. Номер мог состоять и из россыпи мелких, даже мельчайших заметок, а мог и целиком из перепечатки какого-нибудь Постановления ЦИК и СНК СССР, например, о сельхозналоге на 1934 год. Много о лесосплаве и о потребной для этого непьющей рабсиле, о сенокосе и о подписке на первый тираж первого выпуска займа «Второй пятилетки», розыгрыш которого вот-вот должен был состояться в областном Свердловске. Сказано и о ликвидации в Чердыни разведки Востокнефти³⁷.

18 июня, когда поэт уже плыл в сторону Казани, вышел номер, который, застрянь Мандельштам в Чердыни, его явно бы заинтересовал. В нем объявление об открывшейся в «Северной Коммуне» вакансии корректора. Одна из заметок по соседству с объявлением о вакансии называлась *«Колхозники принимайте вызов»* — это о задолженностях по займу «Вторая пятилетка». Запятой в заголовке нет — так что корректор газете был точно нужен.

Едва ли Мандельштаму в «уездной» Чердыни светило что-то большее: это тебе не «губернский» Воронеж, мобилизованный помогать беспартийному Овидию по звонкам и письмам из ЦК.

Выходила в Чердыни и еще одна газетка — «Известия», орган Чердынского райисполкома, рассчитанный специально на осевших в городе и районе спецпереселенцев! Выходила она трижды в месяц, каждые десять дней, и единственный номер, который Мандельштам мог держать в руках, вышел 11 июня³⁸.

Здесь, как и в «Северной коммуне», максимум внимания — лесосплаву и сельхозработам (в частности, взмету паров и прополке). Есть ударники и передовики, например, семья спецпереселенца Ф. Головки, в которой работают и не ленятся все — и стар, и млад. Но есть и лодыри, бездельники: они клеймятся и поносятся, приводятся их имена. Это из-за них в прорыве и сплав на Котомышском участке, и сев на Вишере, и случная кампания в Елтвинской сельхозартели, где не слушали еще никого, поскольку *«не было приказа чтоб можно было слушать»*. Такой ответ не удовлетворил корреспондента, и он потребовал в эпилоге — *«за матками и производителями поставить уход, чтоб создать им охоту к покрытию... Только путем этого можно будет обеспечить выполнение поставленных задач по животноводству»*. Статья подписана «М.», но вряд ли это Мандельштам.

Попадаются и чистые анонимки: *«На поселке Н-Родина обеды из столовой по распоряжению Губиной выдаются близким и знакомым*

³⁶ Возможно, тот самый герой-фронтовик, чье имя сегодня носит улица (бывшая Сталина), на которой стоит городская больница, фасад которой украшает мемориальная доска в память об О.Э. Мандельштаме.

³⁷ Северная коммуна. Чердынь. 1934. № 77 (454). 16 июня.

³⁸ Известия. Чердынь. 1934. № 15. 11 июня.

совершенно нигде не работающим. **Рабочий**». Или: «Медфельдшер поселка У-Пулт Луцин И.А. из привезенных медикаментов два литра спирта выпил сам. **Жаркий**». Представляете?

Однако главная тема номера — это постановление президиума Чердынского райисполкома от 8 июня 1934 года о восстановлении в избирательных правах 16 бывших спецпоселенцев из различных сельхозартелей, «*достигших в спецсылке избирательного возраста и показавших на общественной работе добросовестное отношение к труду, а также лояльность к советской власти*». Постановление, за подписями заместителя председателя РИКа Пестерева и секретаря Сурсякова, было принято на основе соответствующего постановления ЦИКа от 17 марта и было издано по ходатайству райотдела ОГПУ. Публикуются текст постановления и передовица: «*В шеренгу полноправных граждан СССР*».

Спецпереселенцы — это раскулаченные, сосланные сюда в 1930 или 1931 годах. Но еще в 1920-е годы потек сюда ручеек административно-высланных, главным образом бывших революционеров — эсеров, меньшевиков, а позднее и большевиков (например, взятый по рютинскому делу Василий Каюров — антисемит и укрыватель Ленина³⁹).

И с этой ссыльной средой поэт и его жена начали потихонечку знакомиться.

10

Сразу же после злосчастного прыжка и счастливого приземления на клумбу в Москву — в ОГПУ, в «Известия», в Общество помощи политическим заключенным — посыпались телеграммы.

И, поскольку сталинское чудо продолжало действовать, то само же ОГПУ и выхватило объект этого чуда назад.

Но комендант был недоверчив («*Кто знает, может это ваши родственники телеграмму бабахнули?*»), да и не было такое в порядке вещей. Ожидание подтверждения растянулось еще на несколько дней.

14 июня Мандельштам получил свою первую и последнюю отметку в комендатуре, а 15-го или 16-го его вызвали к Попкову для выбора нового города высылки. Комендант потребовал, чтобы выбрали немедленно, в его присутствии. Зато выбирать можно было все что угодно, кроме двенадцати важнейших городов, — Москвы и области,

³⁹ Товарища Сталина, подчеркивая его близость к Каменеву, он называл «*кавказским евреем*» (сообщено О. Лейбовичем), тогда как Осип Эмильевич — всего лишь «*осетином*».

Ленинграда и области, Харькова, Киева, Одессы, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Минска, Тифлиса, Баку, Хабаровска и Свердловска⁴⁰.

Выбор остановился на Воронеже:

«Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О.М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. “Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач”, — сказал О.М., и мы остановились на Воронеже»⁴¹.

11

Итак, 16 июня, пробыв в Чердыни ровно две недели, Мандельштамы покинули этот городок, провожаемые недоуменно-косыми взглядами эсерки-кастелянши⁴².

Обратный маршрут пролег иначе: до Казани они плыли на пароходе (с пересадкой и суточной задержкой в Перми), а от Казани до Москвы — на поезде.

В Москву они прибыли 20 или 21 июня, провели здесь несколько дней.

А 23 или 24 июня они уехали вечерним поездом в Воронеж, где остановились в гостинице «Центральная», находившейся — в согласии с названием — на проспекте Революции⁴³.

12

...Это неспешное возвращение по воде, это плавание по великой реке, превосходящей саму Волгу, не только вернуло Мандельштаму вкус к жизни, но и, в некотором смысле, проложило дорогу стихам.

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

⁴⁰ ЦА ФСБ. Следственное дело Р—33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 32.

⁴¹ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 112.

⁴² Там же. С. 113.

⁴³ Ныне пр. Революции, 44.

Так я плыл по реке — с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала — трех конвойных везла.

Сами стихи (триптих «Кама» и другие) пришли позднее, уже в Воронеже, в 1935 году, но все их наполнение, а возможно, и былинный размер все же прикамские. Памятуя о мандельштамовских принципах метрических волн и ритмического соседства⁴⁴, можно предположить и тесную связь с «Камой» стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть...», написанного летом 34-го и скрыто обращенного к М. Петровых⁴⁵.

Так Урал стал составной частью их жизни. Его образами наполнены и воронежские стихи⁴⁶, особенно из «Первой тетради», чей поток пролился весной и летом 1935 года — спустя неполный год после переезда в Воронеж.

Тогда же, в конце весны 1935 года, Мандельштам всерьез обсуждал с женой, находившейся в эти дни в Москве, следующий прожект: *«Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по старому маршруту. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль»*⁴⁷.

Но разве можно было себе представить такое годом раньше, в самой Чердыни, когда первое же, что поэт сделал по приезду, — выбросился из окна?!

В конце июня 1934 года О. М. осмотрел воронежский психиатр и никакого травматического психоза уже не обнаружил.

В больницу же попала Надежда Яковлевна, неожиданно заболевшая сыпным тифом...

⁴⁴ См. в наст. издании, с. 131—158.

⁴⁵ Совершенно иначе смотрит на этот стихотворение Э. Герштейн: *«Но основной расчет на оправдание или на облегчение участи Мандельштама был именно в том, что стихи о Сталине никто не записал. И назвать единственного человека, который их записывал, — это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения: “распространение контрреволюционного материала”. И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о “черной свечке” — это оправдание или раскаяние. Оно лишено эротики, обращено к любимой женщине. Такое прямое высказывание мы встречаем в лирике Мандельштама лишь один-единственный раз. Не уверена, что Наде было известно о дополнительном характере указания Мандельштама на Марусю»* (Герштейн, 1998. С. 433).

⁴⁶ Фрейдин Ю. Долгое эхо: поэтическое пространство Урала и воронежские стихи О. Мандельштама // Осип Мандельштам и Урал. М., 2009. С. 82—87.

⁴⁷ См. в письме жене от конца мая 1935 г.

«ВОРОНЕЖ-НОЖ»: ВОРОНЕЖСКИЙ МАНДЕЛЬШТАМ И МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЙ ВОРОНЕЖ

Памяти Натальи Штемпель

*И побед социализма
Не воспеть ему никак...¹*

1

Мандельштам и Воронеж — эти имена стали неотрывными друг от друга.

Воронеж стал для Мандельштама и Овидиевой Скифией, и пушкинским Болдино одновременно, Мандельштам для Воронежа — одной из самых ярких красок во всей творческой истории города.

«Трудно сложились для поэта и житейские обстоятельства. После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже» — так трогательно написал об этой миграции Александр Дымшиц, автор похабного предисловия к томику Мандельштама, вышедшему в «Библиотеке поэта» в 1973 году².

В Воронеже поэт оказался не по своей воле, как ссыльный. Здесь он и провел 35 последующих месяцев, лишь ненадолго отлучаясь в непродолжительные поездки — в Сосновку и Воробьевский район (в командировку от газеты), в Тамбов (в санаторий) или в Задонск (на дачу).

Но постепенно над поэтом сгустились тучи, сначала бытовые (изгнание практически со всех мест, где он работал), а потом и политические: в апреле 1937 года в статье О. Кретовой в «Коммуне» ему были предъявлены обвинения в «правотроцкизме» — точно такие же, что

¹ Из стихотворения Г. Рыжманова «Лицом к лицу».

² Дымшиц А. Поэзия Осипа Мандельштама // *Мандельштам*, 1973. С. 11.

чаще всего имели для обвиненного самые радикальные последствия — вплоть до расстрела. Так что возвращение Мандельштама в Москву в середине мая 1937 года было, возможно, невольным и уж заведомо недоговоренным, но спасением.

Но самое поразительное — это те дивные стихи, которые он написал в Воронеже!

Трижды — с апреля по июль 1935, с декабря 1936 по февраль 1937 и с марта по май 1937 гг., его накрывало здесь волной невероятного творческого прилива, а когда волна уходила, то «на берегу» всякий раз оставалась стопка листков с новыми стихами.

Вот свидетельство близкого современника (20 апреля 1935 года): «...*дико работает М<андельштам>. Я такого не видел в жизни. <...> Я стою перед работающим механизмом (может быть, организмом — это то же) поэзии. <...> Больше нет человека — есть Микель Анджело*³.

Это сказано о «работе» над стихами «Первой воронежской тетради», где Мандельштам и сам сравнивал небо над ополоумевшим от весенних дождей Воронежем с тем же Микеланджело: «*А небо, небо — твой Буонарроти...*»

Есть в «Первой тетради» одно часто цитируемое, но от этого не менее загадочное четверостишие:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

«Ключ» к нему неожиданно отыскивается во «Второй», зимней, тетради. С одной стороны — какая может быть свобода у ссыльного?

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...

А с другой — вычитываем в «Третьей» — у ссыльного, если он поэт, свободы ровно столько, сколько он ее себе пожелает: небо у него в услужении, и каждое стихотворение — каждая «весть», каждое «*не начинающееся путешествие*» — равносильно успешному побегу на волю —

От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

³ О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935—1936), 1997. С. 44.

2

За те три года, что Мандельштам провел в воронежской ссылке, политическая ситуация в стране менялась неоднократно и стремительно, но не было ни одного случая, чтобы мог Осип Эмильевич подумать: «*И чего же это я тогда написал "Мы живем, под собою не чуя страны..."*»!

10 июля 1934 года постановлением ЦИК СССР ОГПУ было преобразовано в Главное управление государственной безопасности в составе впервые созданного всесоюзного Наркомата внутренних дел (НКВД). Наркомом назначен Г.Г. Ягода.

А 1 декабря того же года, воспользовавшись убийством Кирова, Президиум ЦИК принял постановление «*О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов*», согласно которому срок предварительного следствия ограничивался десятью днями, дела слушались без участия сторон, кассации и просьбы о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. Уже в январе 1935 года прошел ленинградский процесс по делу об убийстве С.М. Кирова. Страну захлестывает первый вал массовых арестов и высылки (так, 22 октября были арестованы и сын, и муж Анны Ахматовой).

В марте — апреле 1936 года творческие силы были втянуты в бесплодную, но зато небезопасную дискуссию о формализме, причем каждое собрание или выступление в столице отзывалось такими же мероприятиями-двойниками в провинции. В августе 1936 года проходит процесс по делу «*троцкистско-зиновьевского террористического центра*», режиссер-постановщик которого — Н.И. Ежов — в сентябре становится наркомом внутренних дел. В феврале 1937 года арестован Бухарин — с тем чтобы вместе с другими, в том числе и с Ягодой, сыграть свою роль в процессе по делу «*антисоветского право-троцкистского блока*» в марте 1938 года.

Интеллигенции, в том числе и писателям, на многочисленных собраниях, проходивших, начиная с августа 1936 года, в редакциях журналов, издательствах, в Союзе писателей, вменялось в обязанность выразить отношение к «отщепенцам и предателям», а заодно повысить бдительность по отношению к товарищам и коллегам. Так что общее собрание писателей Воронежа, состоявшееся 11 сентября 1936 года и посвященное борьбе на литературном фронте, было — как и в случае с недавним либерализмом по отношению к Мандельштаму — акцией, исходящей из Центра. Естественно, что присутствие в городе опального поэта даже несколько облегчало задачу руководителей Воронежской писательской организации — нет ничего проще, как «разоблачить» уже осужденного по политической статье.

Началом сентября, собственно, и датируется начало личной травли Мандельштама в Воронеже.

До этого в органы по его поводу обращался разве что его третий квартирохозяин из «меблирашки» на проспекте Революции — «агент» и «мышьебоек», как его называла Н.М., мелкая сошка в НКВД⁴, написавший на него донос. Мандельштама вызвали в НКВД и даже показали ему донос — своеобразный знак своеобразного доверия. В доносе сообщалось, что к нему приходил подозрительный тип, после чего из его комнаты доносилась стрельба (!). «Подозрительным типом» оказался В. Яхонтов, гастролировавший в Воронеже 22—23 марта 1935 года и подтвердивший, что посетил друга-поэта в эти дни и просидел у него до утра.

«На этом дело и кончилось. Самый факт вызова по поводу доноса показывал, что его не собираются использовать», — писала Надежда Мандельштам⁵. Но она ошибалась — некоторый ход делу всё же дали, о чем свидетельствует следующий любопытный документ из мандельштамовского следственного дела, начатого в 1934 году. Эта «Справка ГУГБ НКВД № 23» от 2 июля 1935 года — чужеродный осколок, не имеющий отношения ни к следствию, ни к реабилитации Мандельштама, — напрямую связана с доносом «агента».

Поражает в «Справке» больше всего то, что от ощущения прошлого года чуда не осталось и следа! Ее настрой прямо противостоит линии этого «чуда» и списан с шиваровских протоколов, еще не допуская для чуда ни малейшей возможности. «Справка» тем не менее ходу дано не было, хотя угрозой — и серьезной — она, безусловно, являлась.

3

Нелишне отметить здесь и то (штрих эпохи), что партаппаратчики, еще недавно состоявшие друг с другом в дружелюбной переписке по поводу положения поэта Мандельштама осенью 1934 года, вскоре и сами попали под жернова всё той же карательной машины, что и объект их опеки (миновало это одного П.Ф. Юдина).

Надо заметить, что чекистская «разработка» троцкистской темы, достигшая апогея в середине 1937 года и влившаяся в многоголосую ораторию под названием «Большой Террор», началась еще в 1920-х годах, затем несколько поутихла и снова зазвучала, набирая

⁴ О.М. и Н.М. проживали у него с апреля 1935 по февраль 1936 г. (*Мандельштам Н.* Воспоминания. М., 1999. С. 154—157).

⁵ Там же. С. 155.

мощь, в первой половине 1936 года⁶. Не желая приумножать сущности, «троцкистов» поженили с «зиновьевцами» и получили интересный гибрид — «троцкистско-зиновьевский контрреволюционный блок» (или, иначе, «троцкистско-зиновьевская банда»), с террористической деятельностью которого и начали рьяно бороться. После рассылки соответствующего закрытого письма ЦК ВКП(б) от 29 июля 1936 года заметно расширился круг обвинений, которые этим бандитам приличествовало предъявлять: террор остался, но появились и шпионаж, и вредительство, и диверсионная деятельность — это заметно упрощало задачу борющихся со всем этим чекистов.

25 сентября два сочинских отдыхающих, Сталин и Жданов, отправили своим кремлевским друзьям телеграммку, после чего назавтра у страны появился новый нарком внутренних дел — товарищ Ежов. И понеслось...

Уже через четыре месяца спектакль под названием «О процессе по делу Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и др.» (он же «Процесс антисоветского троцкистского центра», или «Параллельного антисоветского троцкистского центра») был поставлен и отрепетирован. Целую неделю, с 23 по 30 января 1937 года, шла эта постановка. Но не все, в отличие от Лиона Фейхтвангера и Мартина Андерсена Нексе, искренне залюбовавшихся и режиссурой, и игрой, могли наблюдать ее из партера, поэтому кульминацией стал даже не сам приговор, а его публикация 30 января в «Правде» — вместе со стенограммой суда и подборкой писем трудящихся⁷. Более наглядного призыва к чекистской массе и не требовалось!

Следующий залп — доклад Сталина «О недостатках партийной работы и о мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников», сделанный 3 марта 1937 года на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б). Слово «зиновьевский» здесь куда-то провалилось: видимо, осознавая всю оксюморонность выражения «троцкистско-зиновьевский», сталинские пропагандисты к этому времени выдвинули термин еще более причудливый, но всё же, как им казалось, более ласкающий слух — «право-троцкистский». Памятуя о том, что троцкисты — это леваки, получаем по смыслу — «праволевацкий».

Но страна проглотила и это.

⁶ Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2003. С. 723, 753, 756—766 и др.

⁷ См.: Арнауттов Н.Б. Роль газеты «Правда» в нагнетании массового политического психоза в 1937 году // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию голода 1932—1933 годов. Материалы II региональной научной конференции. Краснодар, 2004. С. 129—131.

4

Сменив Чердынь — городок районного масштаба и предел клюевских ссыльных мечтаний, на губернско-областной Воронеж, бедный Осип Эмильевич и не догадывался, куда влечет его свободная стихия — на сколь «опасное» для его априори пошатнувшегося идеологического здоровья поэта-попутчика⁸ место сменил он свое камское благодатное захолустье.

А дело всё в том, что, как оказалось, как раз в бытность Мандельштама в Воронеже, мало того — именно в 1934 году, то есть аккурат в год и чуть ли не в месяц его приезда, весь советский Воронеж накрыло густое и ядовитое «право-троцкистское» облако. Бедный поэт и не догадывался, что здесь, на шумных улицах и в тиши начальственных кабинетов, свила себе гнездо контрреволюция, отсюда распустила она свои сети и щупальца — эдакая гидра-контра, направляемая несуществующей, но от этого не менее страшной конторой под названием «Воронежская право-троцкистская вредительская террористическая организации» (ВПВТО). И возглавили ее не кто-нибудь, а первый секретарь обкома партии товарищ Е.И. Рябинин и председатель Воронежского облисполкома товарищ Д.А. Орлов. Так и работали они бок о бок много лет, вредя стране, а наружу всё «вылезло» только в июле 1937 года...

Честно говоря, иронизировать и не стоило бы. Десятки человек, многих из которых Мандельштам знал лично, заплатили за этот бред жизнью, да и сам Осип Эмильевич запросто и без лишних слов вполне мог бы угодить под тот же самый топор⁹.

Одной из первых скатилась голова Максима Исаевича Генкина, подлинного мандельштамовского покровителя, заведовавшего «при Мандельштаме» сначала отделом культуры и пропаганды (именно в этом качестве он и переписывался о Мандельштаме с А.И. Стецким¹⁰), а в 1935—1937 годах — отделом школ, науки, научно-технических изобретений и открытий¹¹ Воронежского обкома ВКП(б). Его арестовали всего на полмесяца раньше Рябинина — 2 августа 1937 года, осудили в Воронеже 10 января 1938 года и в тот же день расстреляли.

⁸ А стало быть, «инвалида от рождения».

⁹ Впрочем, само дело мифической ВПВТО — рутина для ежовского наркомата, сеявшего смерть и ужас направо и налево, — так, небольшая себе региональная операция, — не чета ни «национальным», ни «кулацкой» операциям, начинавшимся тогда же, в июле 37-го! См. оперативные приказы НКВД №№ 00439 и 00447 от 25 и 30 июля 1937 г. по немецкой и кулацкой операциям.

¹⁰ См.: *Нерлер П.* «Он ничему не научился...» О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // ЛО. 1991. № 1. С. 91—95.

¹¹ Подумать только: открытий! — не больше и не меньше!

А Александра Григорьевича Магазинера, генкинского преемника по культпросветотделу обкома и профсоюзного лидера¹², взяли 10 сентября 1937 года, а расстреляли вместе с Генкиным — 10 января 1938 года.

Аресты шли волнами, и в 1937 году вслед за июльско-августовской и сентябрьско-октябрьской волнами прошла и еще одна волна — ноябрьско-декабрьская. Из одного только итээровского дома по ул. Ф. Энгельса, 13, где в свое время жил и Мандельштам, о чем теперь напоминает памятная доска, только в соответствии со сталинскими расстрельными списками было арестовано пятеро (все — работники ЮВЖД, отчего занимался ими Дорожно-транспортный отдел НКВД этой дороги).

Итак, практически всё воронежское областное руководство — и партийное, и советское, и профсоюзное, и литературное, — все те, к кому Мандельштам в свое время обращался за помощью, погибли в сталинских репрессиях, и большинство — даже раньше Мандельштама.

Не покинь поэт Воронеж в мае 1937 года, а застрянь в нем еще на несколько месяцев или даже недель, областная волна борьбы с «правым троцкизмом» смыла бы в Лету и его, «числившегося за Москвой»¹³. В любом случае — обвинения, с которыми Мандельштам столкнулся в Воронеже в начале 1937 года — были не сотрясением воздуха: *они были смертельно опасны!*

Что ж, еще один раз, — кажется, в предпоследний, — Мандельштаму повезло: словно царь Аршак, он получил от ассирийца *«еще один добавочный день»* — и еще раз улизнул от гибели, будучи на волосок от нее!

5

Когда первого секретаря Воронежского обкома Варейкиса перевели на Дальний Восток, он забрал с собой и Швера, «отвечавшего» при нем в Воронеже сразу за газету и за Союз писателей. Одного Швера в Воронеже заменили сразу два человека: на посту главного редактора «Коммуны» — Сергей Васильевич Елозо, а в Воронежском отделении Союза писателей — директор Воронежского пединститута Степан Антонович Стойчев. Первым из них двоих арестовали Стойчева — 23 августа 1937 года: расстреляли 15 января 1938 года. Вторым

¹² К нему О.М. — и возможно не раз — обращался с разного рода письмами по бытовым вопросам.

¹³ О том, насколько это не пустой звук, свидетельствует «томская» судьба Н.И. Клюева, посланного в Колпашево в Западной Сибири. В октябре 1934 г. его перевели в Томск, где в июне 1937 г. его вторично арестовали и расстреляли.

замели Елозу — 14 ноября 1937 года, обвинив его не только в активном участии, начиная с 1936 года, в известной право-троцкистской террористической организации, но и в «поощрении проникновения на страницы “Коммуны” всякого рода контрреволюционных “ошибок” и “опечаток”»¹⁴. Осудили и расстреляли — 13 апреля 1938 года.

Именно с арестом Елозы (а еще вероятней — с арестами в Хабаровске Варейкиса и Швера), скорее всего, и была связана та горячка новой волны нападков на троцкистов-попутчиков, разыгравшаяся в ноябре 1937 года и, разумеется, не ограничивавшаяся Воронежем. Так, в Курске арестовали Сергея Никитича Шевцова, журналиста и секретаря редакции «Курской правды». Его взяли 17 ноября, последним из девяти сотрудников его газеты, арестованных за принадлежность — вот вам и курская специфика! — к право-троцкистскому военному заговору¹⁵.

Кстати, этот человек, будучи гражданским мужем Ольги Кретовой, как минимум дважды «соприкоснулся» с Осипом Эмильевичем, сам о том, скорее всего, ничуть не подозревая. Во-первых, тем самым ребенком-грудничком, что вдохновил Мандельштама на стихотворение «Когда заулыбается дитя...», был его и Ольги Кретовой сын — Игорь Шевцов, известный воронежский географ. Во-вторых, именно на Шевцова и его репрессированность как на своеобразное заложничество и как на инструмент давления на себя не раз указывала и сама Кретова, когда пыталась оправдаться за свое столь активное участие в гонениях на Мандельштама в апреле 1937 года: хронологически это совершенно «не бьет» (Шевцова арестовали только в ноябре того же года), но ведь могли быть и другие события и признаки беды, кроме ареста?¹⁶

В рассказе Булавина о том, как они с Романовским писали свою статью с нападками на Мандельштама и других, есть один момент, поначалу ускользающий от внимания, а именно: срочность заказа! Цитирую: «Статью писали мы вместе с Романовским по поручению редакции альманаха “Литературный Воронеж”. Написали за одну ночь у меня на квартире. Нужно было так спешно. <...> Тему предложил Подобедов. Договорились, что писать будем у меня. — Романовский: Закончу в институте, приду к тебе. — Всю ночь писали. Он держал ручку. Творчество совместное»¹⁷.

¹⁴ Силин В.В. Летописцы из «Коммуны». Воронеж, 2007. С. 215.

¹⁵ См. о нем: Ошеров А. Над пропастью во лжи. Курск, 1998. С. 128—130.

¹⁶ Надо отдать должное Ольге Капитоновне Кретовой: за освобождение Шевцова она боролась отчаянно, но ни ее хлопоты, ни заявление Шевцова в ЦК ВКП(б) от 24 июня 1939 г. — ничто не помогло: в мае 1955 г. она получила извещение о том, что он умер 14 января 1943 г. в Севжелдорлаге.

¹⁷ Письмо М.Я. Булавина В.Н. Гыдову от 7 ноября 1981 г. (частично опубликовано в: Гыдов, 1993. С. 37—39).

Личных контактов и конфликтов с поэтом у Романовского не было¹⁸, что не помешало ему сначала самостоятельно (в апреле 1937 года), а позднее (в ноябре того же года) на пару с Булавиным, дважды выдвинуть против него и других ссыльных интеллигентов смертельно опасные обвинения в троцкизме¹⁹.

В первой — единоличной — статье Романовский писал: *«Пытавшиеся проникнуть в писательскую организацию Мандельштам, Айч, Стефен были своевременно разоблачены и не допущены к организации»*. О второй же — совместной — статье ее соавтор-долгожитель Булавин добавлял: *«Статья эта не имеет никакого значения, и пользоваться ею нельзя. Ни Рябинин, ни Варейкис никогда не были троцкистами и погибли во время культа личности и произвола»*²⁰.

Казалось бы, прозрел человек — ан нет: в другом месте Булавин дал поистине гениальную, — а главное, действенную — формулировку троцкизма! Оказывается, что для того чтобы быть троцкистом, даже не обязательно знать или читать Троцкого: *«Конечно же, троцкисты действительно были враждебны советской власти. Некоторые были высланы в Воронеж. Через несколько лет были высланы в Воронеж Стефен, Айч и Мандельштам. Замечу вам, что чтобы быть троцкистом, не обязательно быть в партии. Нужно разделять их взгляды»*²¹.

Кстати, Николая Романовского, булавиного соавтора по этим самым нападкам на Мандельштама-троцкиста (лично, впрочем, поэта не знавшего), органы и самого не позабыли. Правда, позднее: где-то в 1938—1939 г. он был арестован и девять месяцев находился под следствием. Ожидал ареста и глубокий знаток сути троцкизма Булавин²². А раз ожидал, то, по собственной логике, тоже был троцкистом.

6

Лето — а оно в 1936 году было на редкость жарким, знойным — кончилось, воронежские писатели съехались в родной город. В начале

¹⁸ По крайней мере, об этом нет ни одного свидетельства.

¹⁹ Романовский Н. Создадим литературу, достойную сталинской эпохи. К пятилетию Постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций // Молодой коммунар. 1937. 26 апр.; Романовский Н., Булавин М. Воронежские писатели за 20 лет. Обзор // Литературный Воронеж. Сб-к Воронежского союза советских писателей. Вып. 1. Воронеж, 1937. С. 224—234.

²⁰ Письмо В.Н. Гыдову от 7 ноября 1981 г. (Гыдов, 1993. С. 39).

²¹ Там же. С. 38.

²² Ср.: *«Мой товарищ Н. Романовский тоже был репрессирован. Я ждал своей участи. Н. Романовский, мой друг, находился семь месяцев в предварительном заключении безвестно, и я должен был признать его врагом народа, так называли его следственные органы НКВД. После освобождения он преподавал в пединституте литературу, а когда началась война — ушел добровольно на фронт и погиб. Это был смелый и храбрый офицер»* (Там же).

сентября вернулся из Задонска и Осип Мандельштам. Впереди его ждала самая настоящая травля и самая настоящая поэзия — вторая и третья «Воронежские тетради».

Поговорим о первой. 11 сентября состоялось общее собрание, посвященное «вопросам борьбы с классовыми врагами в литературных организациях и на литературном фронте». В центре внимания было три человека: Леонид Завадовский (потому что ранее принадлежал к эсерам и входил в группу «Перевал»), Борис Песков (потому что находился под влиянием Завадовского и в разговорах с писателями допускал ряд политически неправильных и вредных высказываний) и Осип Мандельштам.

И уже 16 сентября в воронежской газете «Коммуна» появилась статья И. Черейского под названием «“Каникулы” в Союзе Писателей». Журналист писал: *«Воронежская организация СП сумела довольно быстро разглядеть явно чуждых людей, которые пытались использовать СП и журнал «Подъем», развивая на его страницах путаные и вредные теории, предлагая туда свою литературную продукцию (Калецкий, Айч, Стефен, Мандельштам). С некоторым опозданием, не сразу, недостаточно решительно, но эти люди получили свою оценку. Но не так обстоит с писателями, которые, являясь нашими советскими людьми, отразили в своем творчестве явления, далекие от нас по своим идейным установкам, чуждые по духу. Тт. Ряховский, Сергеевко, Подобедов и др. указывали, например, на творчество Л. Завадовского и Б. Пескова...»*

Куда подробнее, чем перед читателем, писательская организация отчиталась по вертикали перед своим центром — Союзом советских писателей СССР. 28 сентября Стефан Стойчев — в то время еще секретарь партгруппы Воронежского отделения ССП и основной докладчик на собрании 11 сентября — сообщал о Мандельштаме Владимиру Петровичу Ставскому, лично контролировавшему ситуацию в Воронеже и пославшему телеграфный запрос «о разоблачении классового врага»:

«С Мандельштамом дело обстояло и обстоит так: осенью 1934 г. он явился к тогдашнему председателю Союза писателей т. Шверу с просьбой предоставить ему возможность принимать участие в работе воронежского Союза писателей. Швер дал свое согласие и даже взял Мандельштама на должность литературного консультанта правления ССП. Однако скоро обнаружилось, что Мандельштам совершенно неспособен к работе с начинающими авторами.

В феврале 1935 года на широком собрании воронежского ССП был поставлен доклад об акмеизме, с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому. В своем выступлении Мандельштам показал, что он ничему не научился, что он кем был, тем и остался.

Осенью 1934 г. и позднее воронежскому правлению ССП через Зав. культурпропом т. Генкина было указание от работника культурпропа

ЦК ВКП(б) т. Юдина об оказании Мандельштаму всяческой помощи. Правление ССП в разное время выдало Мандельштаму (еще при Швере) около тысячи рублей. Но в жизни союза Мандельштам, после вечера об акмеизме, никакого участия не принимал и не принимает²³.

В течение этого года Мандельштам несколько раз обращался в правление с просьбой о ходатайстве перед Москвой об оказании ему медицинской помощи; просился на Минский пленум; вообще всячески старался добиться, чтобы правление в каких бы то ни было формах стало на путь реабилитации его перед советской общественностью. Правление ограничилось посылкой сведений о состоянии здоровья Мандельштама в Литфонд СССР, куда Мандельштам писал заявление о предоставлении ему места на курорте. Что же касается других неоднократных притязаний Мандельштама, то правление неизменно и решительно отклонило их. В свое время о Мандельштаме мы сообщили правлению ССП СССР.

Много раз в правление приходила жена Мандельштама и угрожала, что если-де воронежский Союз не окажет им, Мандельштамам, материальной и моральной помощи, то они покончат самоубийством. Так обстоит дело с Мандельштамом, который отбывает ссылку в Воронеже. Ни членом, ни кандидатом организации он не является и в деятельности ССП никакого участия не принимает²⁴.

В целях дальнейшей, углубленной проверки членов и кандидатов ССП правлением намечено за время сентябрь—декабрь подвергнуть широкому обсуждению всю деятельность каждого члена и кандидата ССП, как творческую, так и общественно-политическую. Проведение этого мыслится так: устраивается вечер, целиком посвященный одному писателю. Докладчик делает анализ всего того, что написано писателем. Сам писатель рассказывает о себе, что он пишет в настоящее время «...» Секретари обкома тт. Рябинин и Ярыгин интересуются каждым новым произведением, написанным нашим писателем, и читают не только, когда произведение напечатано, но и в рукописи, помогая советом, указаниями, вдохновляя писателя на работу.

Основное ядро наших писателей несомненно здорово, творчески дееспособно. У большинства из наших писателей дело овладения основами литературного мастерства подходит к концу и в ближайшее время мы вправе ожидать от них зрелых, достойных Сталинской эпохи произведений.

Секретарь партгруппы
Воронежского Союза Советских Писателей Ст. Стойчев»²⁵

²³ Этот абзац отчеркнут слева на полях.

²⁴ Этот абзац отчеркнут слева на полях.

²⁵ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 5. Д. 32. Л. 10—13. Подчеркивания и отчеркивания на полях принадлежат, скорее всего, В.П. Ставскому. Впервые в: *Нерлер*, 1991. С. 93—94; здесь — с некоторыми уточнениями.

30, 31 марта и 4 апреля 1937 года состоялось общее собрание писателей Воронежской области, посвященное обсуждению статьи Р. Шпунт о воронежских писателях в «Комсомольской правде»²⁶. 7 апреля О.К. Кретова, зам. председателя ССП Воронежской области, направляет в правление ССП резолюцию этого общего собрания. Одним из пунктов этой резолюции значитсся следующий, чуть ли слово не в слово повторяющий решение собрания от 11 сентября 1936 года: «Собрание констатирует, что на протяжении ряда лет правление неоднократно давало отпор классово-враждебным элементам, пытавшимся сблизиться с союзом писателей, найти для себя трибуну (Стефен, Айч в 1934 г., О. Мандельштам в 1935—36 гг.). <...> Председатель собрания М. Подобедов»²⁷.

23 апреля вновь выстрелила Кретова. В статье, озаглавленной «За литературу, созвучную эпохе!» и написанную к 5-летию постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций, она писала: «В течение последних лет с областной писательской организацией неоднократно пытались сблизиться, оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди: Стефен, Айч, О. Мандельштам. Но они были разоблачены писательской организацией»²⁸.

Думается, что подлинной загрузкой для кретовской статьи послужила не столько корреспонденция Шпунт, сколько сталинский доклад от 3 марта на Пленуме ЦК ВКП(б), посвященный борьбе с двурушничеством. Сама Ольга Капитоновна позднее рассказывала Н.Е. Штемпель, что писала статью, так сказать, «не по своей воле», а вынужденно (у Кретовой арестовали мужа, и Ставский обещал закрыть на это глаза, — взамен же потребовал разоблачительную речь и статью).

До конца воронежской ссылки оставалось три недели, и Мандельштам, конечно же, был просто обязан среагировать на этот опаснейший выпад. Но сделал он это, правда, не сразу, а только 30 апреля 1937 года, когда по-видимому об этой милой публикации узнал. В этот день он отправил сразу два письма жене, находившейся тогда в Москве.

В первом (к нему были приложены выписки из «Коммуны» и письмо В. Ставскому) он писал:

«Родная моя Надинька!

Посылаю выписку и заявление для передачи Ставскому.

²⁶ Шпунт Р. Еще одна писательская канцелярия // Комсомольская правда. 1937. 16 марта.

²⁷ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 5. Д. 58. Л. 8 (впервые в: Нерлер, 1991. С. 94).

²⁸ Коммуна. Воронеж. 1937. 23 апр. С. 3.

Я здоров и спокоен. Ты приедешь, как только сделаешь всё необходимое. Думаю, что дольше 5-го оставаться не надо. В крайнем случае приедешь без денег. Не всё ли равно? Лишь бы маму отправить.

Заявление свое в Союз Советских Писателей я считаю крайне важным.

Но если Ставский найдет, что не стоит подымать вопроса по вздорному поводу — я соглашусь. Я — не склочник. Во всяком случае — покажи ему.

Важно то, что после этого в Воронеже оставаться физически невозможно. Это — объясни.

Целую тебя, мой родненький. Спешу отправить. Твой Ося».

Второе письмо было отправлено в тот же день, но, видимо, с вечерней почтой:

«Родная доченька Надик!

Сейчас пришли твои сто рублей. А у нас еще было, и всё на 1 Мая уже куплено. Новость: курица клюнула маму в щеку и поцарапала. Чуть—чуть. Сегодня я сам стоял в бакалейной очереди, а маму усадил на улице на скамейку.

Утром отправил тебе выписку из статьи О. Кретовой в «Коммуне» от 23 апреля и заявление мое Ставскому в Союз Писателей по поводу воронежцев.

На всякий случай посылаю в адрес Евгения Яковлевича вторую выписку и сокращенное заявление в Союз Советских Писателей.

Не знаю, как быть с обувью? Спрошу тебя. Будущее меня не смущает.

Приезжай не позже 6-го. Можно и без денег. Совершенно всё равно. Бесконечно тебя жду.

Твой Ося»

Сохранился и полный текст заявления Мандельштама на имя Ставского:

В Секретариат Союза Советских Писателей

Уважаемый тов. Ставский!

Прошу Союз Советских Писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям Областного Отделения Союза, моя воронежская деятельность никогда не была разоблачена Областным Отделением, но лишь голословно опорочена задним числом. При первом же контакте с Союзом я со всей беспощадностью охарактеризовал свое политическое преступление, а не «ошибку», приведшее меня к адмвысылке.

За весь короткий период моего контакта с Союзом (с октября 34 г. — по август 35 г.) и до последних дней я настойчиво добивался в Союзе и через Союз советского партийного руководства своей работой, но получал его лишь урывками, при постоянной уклончивости руководителей областного отделения.

Последние 1½ года Союз вообще отказывается рассматривать мою работу и входить со мной в переговоры.

Если как художник (поэт) я могу оказать «влияние» на окружающих — то в этом нет моей вины, а между тем это единственное, что мне ставится областным отделением в вину и кладется в основу убийственных политических обвинений, выводимых из моей воронежской деятельности поэта и литератора.

Располагая моим заявлением к минскому пленуму, содержащим ряд серьезных политических высказываний, — Союз, который это заявление принял и переслал в Москву, до сих пор не объявил его двурушническим, что является признаком непоследовательности.

Принципиальное устранение меня от общения с Союзом никогда не имело места. Летом 35 года мне было заявлено: «Мы вас не считаем врагом, ни в чем не упрекаем, но не знаем, как относиться к вам писательский центр, а потому воздерживаемся от дальнейшего сотрудничества». После этого Союз рекомендовал меня (протоколом правления) на работу в городской театр.

Считаю нужным прибавить, что моя работа по другим линиям (театр, радиокомитет) не вызвала никаких общественных осуждений и была неоднократно и серьезно использована после соответствующей политической проверки. Пресеклась она моей болезнью.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза предоставляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово-враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым.

В результате меня позорят не за мою прошлую вину, а за то положительное, что я пытался сделать после, чтобы искупить ее и возродить себя к новой работе.

Фактически мне инкриминируется то, что я хотел себя поставить под контроль советской писательской организации.

О. Мандельштам»

К Ставскому это письмо не попало, оттого и сохранилось в архиве. Но, как знать, может, предыдущее или телефонный разговор и возымели некоторую силу. Во всяком случае, вместо естественного в таком случае нового приговора им было разрешено покинуть место ссылки. 13 мая 1937 года Осип и Надежда Мандельштам уехали из Воронежа

в Москву. Впереди у Мандельштама оставалось всего лишь полтора года жизни, лишь один неполный год свободы, скитаний и мытарств.

И вовсе не недоразумением были те проклятия и угрозы, что неслись ему вдогонку из Воронежа. В первом же выпуске сборника «Литературный Воронеж» (подписан к печати 4 ноября 1937 года) его имя и образ были задеты сразу в двух произведениях. Первое — это гневная отповедь Григория Рыжманова, созданная им еще в декабре 1936 года:

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И... без отклика сердец.

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд,—
Не его проходит смена,
Не его стихи поют,

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.

И глядит он вдохновенно:
Неземной — пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!

И когда увижу мэтра
Замолчавших вражбх лир,
Напрягаюсь, как от ветра.
Четче, глубже вижу мир.

Презирай, гляди надменно, —
Не согнусь под взглядом я
Не тебе иду на смену
И не ты мой судия!

В том же сборнике — в обзоре «Воронежские писатели за 20 лет» — Н. Романовский и М. Булавин сочли необходимым рассеять

сомнения О.М. в том, троцкист ли он: *«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников Обкома (Генкин и др.), которые предлагали воспитывать эту банду. Особо тяжелые условия для писательского коллектива были созданы бухаринским шпионом Рябининым и его приспешниками».*

7

Будучи очень общительным по природе человеком, Мандельштам в воронежской ссылке столкнулся с острейшим дефицитом человеческого общения. Из-за его статуса ссыльного многие побаивались, как сказал один артист воронежского Большого советского театра, «прислоняться» к нему, а в конце, когда появились эти чудовищные обвинения, многие стали от него просто шарахаться. Был случай, когда один довольно известный университетский профессор-философ²⁹ просто испугался знакомиться с ним, полагая, — и, наверное, резонно, — что это небезопасно.

Словом, постепенно вокруг Мандельштама в Воронеже выкачивался воздух. Находясь в вакууме, задыхаясь в нем, человек обычно попадает в жуткую депрессию, начинает думать о самоубийстве и т. д. Но с Мандельштамом — вопреки болезни и слабости — произошло иначе. Сама природа, сам город, его лучшие люди, с которыми он здесь не просто общался, а подружился — как Наталья Штемпель или Павел Загоровский — вдохнули в него воздух дружества и, вместе, оказались сильнее репрессивной машины.

И как итог всему — около сотни написанных в Воронеже стихотворений, с их просветленным оптимизмом, замешенным на человеческой трагедии, — лучшие и вершинные у Мандельштама.

²⁹ Б.М. Бернадинер, автор книг «Философия Ницше и фашизм» (1934) и «Демократия и фашизм» (1936).

«НА ОТКОСЫ, ВОЛГА, ХЛЫНЬ...»: МАНДЕЛЬШТАМ НА ВЕРХНЕЙ ВОЛГЕ

*Виктории Швейцер, Владимиру Коркунову
и Псою Короленко*

1

16 мая 1937 года истекал трехлетний срок воронежской ссылки Мандельштама.

Как-то оно будет дальше? Продлят ссылку или не продлят?¹ Отпустят или не отпустят?..

С тревогой в душе шли Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна в здание областного УНКВД на Володарского, 39, где находилась и приемная комендатуры. Будучи в Воронеже, Мандельштам сюда практически не заглядывал: сталинское «чудо о Мандельштаме» избавило его и от «прикрепления», то есть от необходимости отмечаться здесь с месячной или какой-то иной заданной частотой.

Идти было недалеко — проулками по кромке косогора по-над рекой Воронеж. Очередь в приемной к окошку совсем никакая — с полтора десятка мрачных интеллигентов. Почему? — Объяснение пришло быстро: времена изменились, и высылками и ссылками НКВД больше не пробавлялся. Из следственной тюрьмы дорога вела уже не в губернские города и даже не в ссылочную глухомань, а прямо в лагеря или на смерть.

Самое верное, на что можно было рассчитывать, это на отсутствие ответа, на что-то вроде *«Ваших бумаг нет, приходите завтра или через неделю»*. Но рука из окошка протянула Мандельштаму бумажку, прочитав которую он «ахнул» и даже бросился назад переспрашивать: *«Значит, я могу ехать куда хочу?»* Но дежурный рявкнул, не отвечая, и счастливцев больше не переспрашивал, словно боясь утратить в счет ответа, если бы он был дан, толику своего счастья.

¹ Свежий пример Пяста говорил им, что очень даже продляют.

«Бумажка» эта не сохранилась, но представление о том, что это такое, у нас все же есть. Полугодом ранее совершенно аналогичный документ — «Форму № 13» за № 1480/452 — получал в Томском горотделе НКВД Николай Эрдман, и его «бумажка» почему-то сохранилась²:

СПРАВКА

Выдана гр. Эрдман Николаю Робертовичу, 1900 г. рожд. урож. г. Москвы в том, что он отбыл срок ссылки (высылки), определенный ему постановлением Особого Совещания при НКВД от 16 октября 1933 г.

Настоящая справка выдана для представления в Управление (Отдел, Отделение) РК Милиции по месту избранного жительства для прописки.

Справка действительна при предъявлении паспорта и при прописке оставляется в соответствующем Управлении (Отделе, Отделении) Милиции.

Начальник ГО НКВД

...Начались предотъездные хлопоты. В тот же день Надежда Яковлевна завершила переписывать для Наташи Штемпель «Наташину книгу», а Осип Эмильевич подарил ей «Шум времени» с надписью: «Милой, хорошей Наташе от автора. В. 16/V—37 г.»³.

Еще как минимум неделя ушла на «ликвидацию воронежской оседлости»⁴. Скарб распродали и раздали, но всё равно осталась громада вещей, на которые троица — поэт, его жена и его теща — однажды уселись на воронежском вокзале в ожидании поезда. В кармане мандельштамовского пиджака веером разлеглись три небольшие картонки — плакаты на Москву⁵. А на следующее утро эта же троица, передавая друг другу корзинки, узлы и чемоданы, вылезла уже на столичную платформу.

Везение, однако, продолжилось и в Москве. Ни Костарева, ни его жены и ребенка, ни даже его вещей в квартире не было: короткая записка на столе извещала о том, что всё это откочевало на дачу.

² См.: Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 293. См. также: «Верните мне свободу!». Деятели литературы и искусства России и Германии — жертвы сталинского террора. Мемориальный сборник документов из архивов бывшего КГБ / Сост.: В.Ф. Колязин. М.: Медимум, 1997. С. 14—21.

³ Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже // НМ. 1987. № 10. С. 222—223 и 214—215; оригиналы переданы в РГАЛИ.

⁴ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 258.

⁵ Прямых поездов Москва — Воронеж в 1930-е гг. не было, было два проходящих пассажирских — № 42 и 44, шедших до Москвы, соответственно, 18 часов и 15 минут и 16 часов и 44 минуты (сообщено А. Никольским).

И сразу же предрестная жизнь и жизнь нынешняя «склеились» в единое целое, словно и не было страшной трехлетней пустоты посередине, заполненной Лубянкой, Чердынью, Воронежем, Воробьевкой, Задонском, стукачом Костаревым за одной стеной и гитаристом Кирсановым за другой. Оказавшись одни и у себя, Мандельштамы взад забыли и про новые ежовые времена (а ведь был самый канун того, что позднее станут называть Большим Террором!), и про свои «минус двенадцать»⁶. Они вдруг потеряли страх и уверовали в прочность своего возвращения, в то, что они достаточно намаялись и отныне их ждет нормальная и спокойная жизнь. И неважно, что Костарев, их жилец и персональный доносчик, всего лишь на даче, а не съехал, как неважно и то, что всё время давало о себе знать больное сердце, и Осип Эмильевич всё норовил прилечь и полежать. Важно то лишь, что они снова дома, что они у себя, что вокруг звенит трамваями курва-Москва, где живут и где ждут их любимые друзья и братья и где водять по бумаге пером их собратья по цеху.

И первый же московский день Мандельштама задался! С самого утра он обернулся двойным счастьем — встречей с А. Ахматовой, подгадавшей свой приезд к их и остановившейся еще накануне в их же доме у Ардовых, и вожделенным походом «к французам», в масляное царство обморочной густой сирени, кустившей за стенами Музея нового западного искусства.

Ну разве не чудо, что первым гостем была именно Ахматова! Всегда, когда Мандельштаму было особенно трудно, она оказывалась рядом — вместе с Надей встречала в Нащокинском «гостей дорогих» и тотчас же пошла хлопотать, провожала его в Чердынь и проводывала в Воронеж. Нет, при ней Мандельштам и не думал лежать — он бегал взад-вперед и всё читал ей стихи, «отчитывался за истекший период», аккуратно вобравший в себя «Вторую» и «Третью» воронежские тетради, которых Ахматова еще не знала. Сама она прочитала совсем немного, в том числе и обращенный к Мандельштаму «Воронеж»: на душе у нее самой скребли кошки — заканчивался пунинский этап ее жизни.

На следующий же день Мандельштам пошел в Союз писателей к Ставскому — устраивать свои литературные дела: договариваться о вечере и публикациях, может быть, о службе и возобновлении пенсии и уж наверняка — о московской прописке (а заодно и выслушать слова признательности за то, что он, несчастный ссыльный поэт, так помог всемогущему Ставскому в эти годы со временным устройством Костарева). Но... Владимир Петрович оказались как назло чрезвычайно перегружены работой и в спонтанном приеме отказали. «Через неделю, не раньше», — передали оне через секретаря.

⁶ А напоминание об этом не могло не стоять в документе, полученном в воронежской комендатуре.

А в этой «неделе» таилась для Мандельштама самая настоящая административная западня — столько ждать, не нарушая режим, он не мог. Он должен был куда-то уехать! — и именно этого от Мандельштама ожидали, собственно, и занятый по горло Ставский, и деликатный дачник Костарев.

Проблема Костарева, кстати, и вообще не должна была возникнуть, ибо по мартовской, 1936 года, «джентльменской» договоренности между ним и Мандельштамами он поселялся в Нащокинском под поручительство Ставского самое большее на 8—9 месяцев и, стало быть, должен был смотать свои удочки не в мае 1937-го, а самое позднее в январе⁷. Но не смотал и в конце концов прописался на мандельштамовской жировке! (Этот прямой профит от мандельштамовской эковской судьбы и близкая личная дружба со Ставским заставляют лишний раз задуматься о, возможно, и более зловещем участии Костарева во всей истории со вторым арестом Мандельштама).

Но друзьям-дальневосточникам не повезло, вернее, чрезвычайно «повезло» самому Мандельштаму — в Доме Герцена, куда он доковылял после холодного душа в приемной у Ставского, на внутренней лестнице, ведущей в Литфонд, куда он и направлялся, с ним приключился стенокардический криз. Скорая, которую вызвали сотрудники Литфонда, оказала Мандельштаму первую помощь и доставила его домой, наказав лежать, не вставая, как минимум два или три дня.

Случилось это скорее всего 22 мая, поскольку 25-го он сам отправился в поликлинику Литфонда. Там его осмотрела профессор Разумова, консультант экспертизы нетрудоспособности, и, кажется, всё-всё поняла. Вот ее комплексный медико-социальный диагноз: «*по состоянию здоровья показан абсолютный покой в продолжении 1—2-х дней*». Соответствующая справка, в сочетании с постоянно продлеваемым бюллетенем (листком о нетрудоспособности), защитила Мандельштама и на протяжении еще целого месяца (!) обеспечивала легитимность его пребывания в Москве. Чуть ли не каждый день заходил и литфондовский врач — откуда такое внимание и сострадание?..

Разумеется, и Мандельштам не сидел на месте. Сильнейшее впечатление, например, на него произвело новое, с иголкой, московское метро: благо, красивейшая из станций — «Кропоткинская» — была буквально в двух шагах от дома.

Но однажды кончилась и эта защита: последний раз бюллетень был продлен 20 июня — по обыкновению, на три дня, до 23-го числа. Именно в эти несколько дней, наверное, и приехал Костарев, сказав, что на несколько дней. Кульминацией его приезда стал визит милицейского чина, косившего под «монтера».

⁷ В.Я. Хазина, теща Мандельштама, аккуратно вносила за зятя ежемесячно по 155 рублей в порядке его расчетов с жилищно-строительным кооперативным товариществом «Советский писатель» (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 81).

Мандельштам его сразу же «разоблачил»! Выйдя из-за шкафа, где он сидел вместе с женой и захавшим в Москву Рудаковым, он пошел прямо на «монтера» и сказал: «*Нечего притворяться <...> говорите прямо, что вам нужно — не меня ли?*»⁸

Милиционер не покраснел и не стал отпираться. Предъявив свои документы, он потребовал у Мандельштама его, после чего повел его в отделение милиции. Но далеко они не ушли: по дороге с ведомым опять случился припадок, и скорая вновь водворила поэта в его проходное царство. Поднимали его на последний этаж на кресле, одолженном у Клычковых, живших в том же подъезде на первом этаже⁹, и не исключено, что и «монтеру» пришлось немного поучаствовать в этом неожиданном для милиции трансфере. Дождавшись, когда Мандельштам придет в себя, он попросил все его медицинские справки и бумаги и ушел в костаревскую комнату, где стоял мандельштамовский телефон. Выйдя из этой своеобразной телефонной будки, он кинул справки на стол, передал сказанное на том конце провода: «*Лежите пока*» — и ушел.

Происходило это всё скорее всего 20 или 21 июня: до реального отъезда в Савёлово оставалось всего несколько дней. Пару дней Мандельштама посещали и врачи, и милиционеры (дважды в день — либо сам «монтер», либо его коллеги).

Днем Осип Эмильевич развлекался: «*Сколько у них со мной хлопот!*», — но ночью подкатывало отчаянье и к нему: однажды он даже пригласил жену вместе выпрыгнуть из распахнутого окна, но та произнесла: «*Подождем*», — и Мандельштам не стал настаивать.

Поводом же для суицида мог послужить классический и экзистенциальный вопрос советского человека — вопрос прописки и, соответственно, жилплощади. Сообразив, что весь сыр-бор с «монтером» в штатском только из-за этого, Мандельштамы улучили момент, когда не было ни врачей, ни милиции, и спустились в домоуправление. Там выяснилось самое главное: сволоч Костарев сумел, во-первых, выписать Надежду Яковлевну, а во-вторых, оформить себе в порядке исключения («*звонили, просили сделать исключение!*») постоянную прописку взамен временной!¹⁰

Побывали они — по поводу прописки — и в милиции: сначала в районной, а потом и на Петровке, в центральной. В прописке им отказали (ну не Ставский же будет за него просить!), а заодно объяс-

⁸ Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 347.

⁹ Ранее ошибочно циркулировала фамилия О. Кольчева, никогда не жившего в этом доме (благодарю Л. Видгофа, указавшего на это несоответствие).

¹⁰ Его семья — Н.А. Баберкина (жена) и Наталья Николаевна Костарева (дочь, родившаяся 3 июля 1937 г. — то есть вскоре после окончательного выдворения Мандельштамов) — проживала в этой квартире и в 1950-е гг. (сообщено Л. Видгофом).

нили, что и в Воронеже их теперь не пропишут: после отбытия срока приговорные «минус двенадцать» превращались для лиц с судимостью в пожизненные «минус семьдесят»!.. И не только для репрессированных, но и для их ближайших родственников!¹¹

Наконец, терпение «монтера» лопнуло, и он сказал однажды утром, что пришлет «своего врача». Осип Эмильевич воспринял это адекватно — как угрозу прекратить это либерально-медицинское безобразие, и в тот же день бежали из своего дома. Ночевали у Яхонтова в Марьиной Роще¹², а назавтра, когда Н.М. пришла к матери за приготовленными к отъезду вещами, Костарев немедленно вызвал милицию, потащившую в отделение уже ее. Соврав, что Мандельштам уже уехал из Москвы, а куда — неизвестно, Н.Я. Мандельштам и сама стала жертвой административных мер: с нею, женой контрика, выписанной из «*московского злого жилья*» и более не прописанной, церемониться больше не стали и взяли подписку об оставлении пределов Москвы в течение 24 часов.

Но даже в этой административной малости Мандельштамы, эти государственные преступники и нарушители паспортного режима, отказали родному государству. В «бесте» у Яхонтова они отсиживались еще три дня, обложившись картами Подмосковья и только теперь задумавшись: куда же податься?

2

23 мая 1937 года, когда Мандельштам уже покинул Воронеж, Политбюро ЦК ВКП(б) выпустило Постановление о выселении из Москвы, Ленинграда, Киева троцкистов, зиновьевцев и др., а 8 июня 1937 года — о выселении троцкистов и вообще правых¹³. Второго же июля вышло и Постановление ПБ ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах»¹⁴. Так что зацепиться за Москву было практически невозможно, прописаться можно было не ближе чем за сто пятым километром.

Отказавшись от поисков счастья в Александрове, куда за 20 лет до этого он ездил на поклон к Марине Цветаевой, Осип Эмильевич остановил свой выбор на Кимрах, точнее, на Савёлово. На одном конце маршрута привлекала Волга (а свою летнюю жизнь чета хотела бы организовать как дачную), а на другом — близость Савёловского вокзала к Марьиной Роще, где жили и Яхонтовы, и Харджиев.

¹¹ Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 336—340.

¹² На Новом шоссе (ныне Тимирязевской улице).

¹³ Там же. С. 216.

¹⁴ Там же. С. 234—235.

Не было и никакой работы — даже переводной. Жить оставалось только на помощь друзей и подаяние знакомых. Деньги на это лето подарили братья Катаевы, Михоэлс, Яхонтов и Лозинский, давший сразу 500 рублей.

25 июня¹⁵ Мандельштамы распрощались с Москвой.

Вещи на Савёловский вокзал принесли братья, а с Верой Яковлевой они конспиративно попрощались на бульваре: «Здравствуйте, моя нелегальная теща!» — сказал ей Мандельштам, прежде чем обнять и поцеловать.

Не раз и не два они еще будут приезжать сюда — останавливаясь то у Харджиева, то у Яхонтовых, то у Катаева, то у кого-то еще. А однажды съездят даже в Переделкино к Пастернаку.

Выберутся и в Ленинград — пусть всего и на две ночи. Остановились у Пуниных, повидали Эмиля Вениаминовича, отца, и Татюку, любимую племянницу, Стенича, Вольпе и даже Лозинского в Луге.

Но всякий раз — нелегально и с риском (отныне уже общим) быть задержанными за нарушение режима.

3

Когда в январе 1916 года Мандельштам помянул Волгу в стихотворении «Зверинец», сама река существовала у него в сознании разве что в виде абзаца из учебника географии и синей ленточки на карте Ильина:

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

Но когда в июле 1937 года он же писал, —

На откосы Волга, хлынь, Волга, хлынь...
Гром, ударь, в тесины новые...

¹⁵ Для установления точной датировки служит единственная сохранившаяся телеграмма, отправленная — по-видимому, назавтра — из Савёлово. Надежда Мандельштам, по памяти, датирует этот переезд началом июля.

— то это была уже живая Волга, более того — в волнующий для нее самый момент наполнения Угличского водохранилища.

Здесь, на Волге, в Савёлово, на правом, крутом волжском берегу, он с женой прожили несколько полу-дачных месяцев — с конца июня и по конец октября 1937 года.

От Москвы до Савёлово 130 км. Сегодня это неполные два с половиной часа электричкой от Савёловского вокзала. А во времена Мандельштама ходили только обыкновенные поезда, как сейчас до Сонково, и дорога занимала, наверное, на час дольше.

Но для Мандельштама это были пустыки, — ведь дорога была их домом: «Дорога легкая короткая слушал Щелкунчика смотрел Волгу Москву большой привет Яхонтову — Мандельштам»¹⁶

4

...Жилье в Кимрах они нашли в Савёлово, правобережной части Кимр, некогда самостоятельном большом селе, давшим свое негромкое имя одному из московских вокзалов. В черту Кимр село было окончательно включено в 1934 году¹⁷.

В собственно Кимрах они и не пробовали ничего искать. В точности следуя совету Галины фон Мекк селиться в любой дыре, но не отрываться от железной дороги («лишь бы слышать гудки...»), Мандельштам с самого начала делал «ставку» на правобережье. «Железная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью»¹⁸, а необходимость переправляться на пароме через Волгу¹⁹ серьезно осложнила бы спонтанные поездки в Москву.

¹⁶ Из телеграммы Лиле Поповой от 26 июня 1937 г.

¹⁷ Процесс вхождения Савёлово в состав Кимр начался в 1920-е гг. и завершился в августе 1934 г.: «ВЦИК постановил: «Включить в черту города Кимры Кимрского района Московской области следующие селения поименованного района с сельскохозяйственными землями: Чернигово, Березниково и Коноухино — по левую сторону р. Волги; Старое и Новое Савелово, Шиково, Крастуново, выселки близ переправы, пристани и у шоссе, поселок при станции Савелово Северной железной дороги и земли специального назначения, занятые промышленными предприятиями с правой стороны» (За коммунистический труд. Кимры. 1984. 18 авг.; Собрание узаконений и распоряжения Рабоче-крестьянского правительства РСФСР 20 августа 1934 г., № 31, ст. 185, с. 246). Этой деталью мы обязаны В. Коркунову, в лице которого Кимры нашли заступника и борца за законный приоритет Кимр на стихи, написанные О.М. в Савёлово (см.: Коркунов В. «Пароходик с петухами» (О пребывании Осипа Мандельштама в Кимрах) // Знамя. 2009. № 2. С. 153—158).

¹⁸ Мандельштам Н. Воспоминания. 1999. С. 351.

¹⁹ Современный мост через Волгу был построен в Кимрах лишь в 1978 г.

«Дачей» им послужил двухэтажный, на несколько квартир, дом Чусова с зеленой крышей на центральной савёловской улице²⁰. Улица сохранилась до наших дней, а вот дом нет.

Конечно, не раз они переправлялись на пароме или на лодке на левый берег — в собственно Кимры, старый и облупленный город, гуляли по его центральной купеческой части, но чаще оставались на «своем» берегу: прогуливались вдоль реки, купались, ходили в жидковатый лес, до которого было рукой подать.

Лето 37-го выдалось жаркое, Волга и та обмелела. Мандельштамов часто можно было видеть у берега: река и тенистые улицы, спускавшиеся к ней, были настоящим спасением от зноя.

Другим аттракционом был пристанционный базар, где *«торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась чайная “Эхо инвалидов”²¹ — нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О.М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. <...> Да и книг мы с собой почти не взяли...»²²*

Перебраться в Кимры можно было только на лодке, этим, а также продажей рыбы промышлял бакенщик Фирсов²³. Он-то и перевозил Мандельштамов и их редких гостей, например, Владимира Яхонтова с Еликонидой Поповой или Натальей Штемпель, в Кимры. От той поры сохранились бакен, стрелка Волги и Кимрки да нетронутая брусчатка по улице, загибавшейся от пристани мимо торговых рядов к Соборной (ныне Октябрьской) площади, где нынче стоит театр.

Тут же, рядом, в доме № 5 по ул. Пушкина, проживала тетя девятилетнего савёловского мальчика, Юры Стогова²⁴: он-то и увидел, а главное, хорошо запомнил Мандельштама.

Тетя как-то услышала — от подруги-учительницы, а та в свою очередь от заведующего гороно Тулицына — про приезд Мандельштама в Кимры. Узнав его на улице, она произнесла при племяннике это необычное и потому врезавшееся в его память имя, а вскоре из окна теткиного дома он увидел и самого поэта.

Окно тогда было тем же, чем сейчас является телевизор, и однажды в нем «показали» следующую «картинку»: по улице не спеша

²⁰ Установить ее название пока не удалось.

²¹ В. Коркунов слегка поправляет мемуариста: настоящее название чайной — «Эхо», а промартель инвалидов была ее корпоративным хозяином.

²² Мандельштам Н. Воспоминания. 1999. С. 350.

²³ Домик бакенщика находился всего в тридцати метрах от электростанции, расположенной в Вознесенской части Кимр.

²⁴ Юрий Георгиевич Стогов (1930—2011). См. о нем: Ефремов П. Поиск продолжается // За коммунистический труд. Кимры. 1991. 12 марта.

шла необычная тройца — полный мужчина в парусиновых брюках и в рубашке-кавказке с частыми пуговицами, женщина в белом платье и в легкой вязаной шляпке на голове. Третий же, Мандельштам, как бы в противовес был в темных брюках, мало разговаривал, но казался серьезным и сосредоточенным. Двое первых, судя по всему, это Владимир Яхонтов и Лиля Попова. Они остановились в тенистом местечке возле электростанции и долго беседовали.

Юра набрался смелости и подошел к ним поближе. Один (Мандельштам) был всё время грустным и задумчивым, другой же, напротив, без умолку балагурил. Заметив восхищенный мальчишеский взгляд, обращенный к женщине, «балагур» сказал: «Вот у Вас еще один поклонник появился».

5

Это савёловское лето — с частыми наездами в Москву, с влюбленностью в Лилю Попову и адресованными ей и не только ей стихами²⁵, с приездами время от времени друзей (Наташи Штемпель, Яхонтова и Поповой), — было сравнительно благополучным и не то чтобы беззаботным, но каким-то бодрым и обнадеживающим. Раскаты Большого Террора, уже вовсю громыхавшего в столицах и промышленных центрах, как бы не доносились до кимрской глуши, и только газеты в чайной не давали расслабиться.

Н.Я. Мандельштам вспоминает некую командировку на канал Москва — Волга, устроенную для Мандельштама Лахути, и даже написанный по ее впечатлениям «канальский» стишок, уничтоженный ею самой в Ташкенте — с благословения Ахматовой.

Понятно, что такая командировка не была долгой, а скорее всего — и вообще однодневной. И вероятней всего она была как-то приторочена к 15 июля — официальной дате открытия канала.

Еще в мае Мандельштам бомбардировал Союз писателей письмами и звонками с предложениями своего поэтического вечера. Идея читки весьма понравилась все тому же Лахути — более того, она показалась ему спасительной. *«Да знаю ли я что-нибудь о Лахути, кроме того, что он был приветлив и внимателен? Ровно ничего... Но в той озверелой обстановке его приветливость казалась чудом. Самостоятельно решить вопрос о вечере ни Ставский, ни Лахути не могли. Всё решалось наверху. Мы ждали в Савёлове разрешения этого вопроса государственной важности и изредка наведывались в Союз, чтобы узнать мнение по этому поводу высших инстанций.»*

²⁵ Из написанных тогда стихов почти всё пропало при аресте — лишь несколько уцелело в архивах Рудакова и Поповой.

<...> Вечер всё не назначался. Наконец позвонили из Союза Евгению Яковлевичу. У него спросили, как найти Мандельштама и можно ли немедленно сообщить ему, что вечер назначен на следующий день. Телеграф работал как ему заблагорассудится, и Женя не решился довериться на его милость. Он бросился на вокзал и последним поездом приехал к нам в Савёлово. В ту минуту он, наверное, тоже поверил в стихи и вечер.

На следующий день мы отправились в Москву и в назначенный час пришли в Союз. Секретарши еще сидели на своих местах, но про вечер никто ничего не знал: кажется, что-то слышали, а что именно, не помним... В клубе все комнаты были закрыты. Никаких объявлений мы не нашли.

Оставалось только узнать, рассылались ли повестки. Шкловский не получил, но он посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов — приглашения часто рассылались только членам секций. У нас под рукой был телефон Асеева. О.М. позвонил ему и спросил, получил ли он повестку, и, поблбднев, повесил трубку. Асеев ответил, что как будто что-то мельком слышал, но что разговаривать он не может: занят, торопится в Большой театр на «Снегурочку»... К другим поэтам О.М. звонить не рискнул.

Загадку вечера мы так и не разгадали. Звонили действительно из Союза, но кто — неизвестно. Быть может, отдел кадров, потому что секретарши, обычно занимающиеся этими делами, никаких распоряжений не получали, хотя что-то смутно слышали. Если ж это был отдел кадров, то зачем ему понадобился Мандельштам? У нас мелькнуло предположение, что О.М. выманили из Савёлова, чтобы его арестовать, но не успели получить санкции какого-нибудь начальства, может, самого Сталина, поскольку в прошлом деле имелись его распоряжения. Для облегчения работы перегруженных чекистов людей не раз вызывали в какое-нибудь учреждение, чтобы оттуда отправить на Лубянку. Рассказы о таких случаях ходили во множестве. Гадать, что к чему, не имело смысла: не стоит себя преждевременно хоронить. Мы вернулись в Савёлово и снова сделали вид, будто мы дачники»²⁶.

Но «Снегурочка» действительно шла в этот день в Большом и повестки действительно рассылались Сурковым! В архиве А.Е. Крученыха даже сохранился экземпляр, посланный, в частности, Иосифу Уткину²⁷. Уткин числился по секции поэтов, но повестку, похоже, получили и прозаики, по крайней мере Пришвин. 16 октября 1937 года он записал в дневнике: «Встретился Мандельштам с женой (конечно) и сказал, что **не обижается**». И затем — загадочная приписка: И не на кого обижаться: сами обидчики обижены»²⁸.

²⁶ Мандельштам Н.Я. Воспоминания. 1999. С. 362.

²⁷ РГАЛИ. Ф.1334. Оп. 1. Д.557.

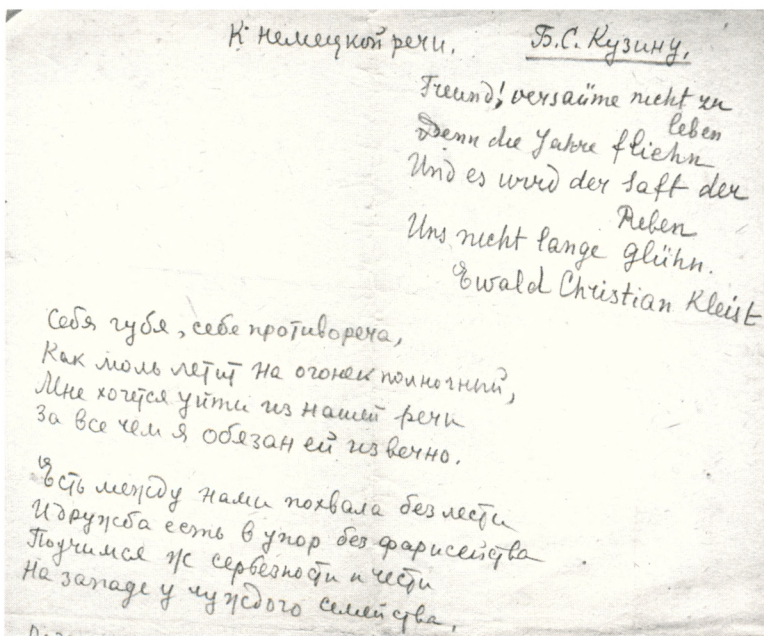
²⁸ Пришвин М.М. Дневники. 1936—1937. СПб.: Росток, 2010. С. 771.



О. Мандельштам. Воронеж. 1935



О. и Н. Мандельштам на развалинах храма в Армении. 1930



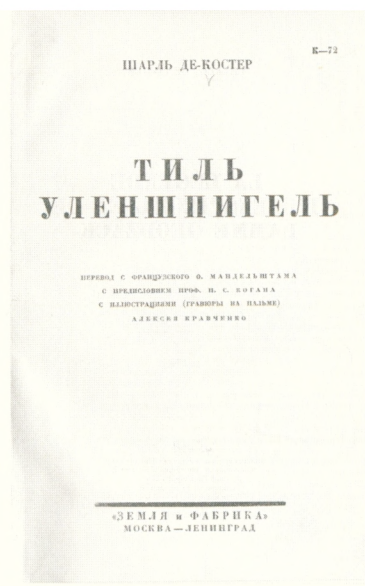
О.Э. Мандельштам. К немецкой речи (Фрагмент).
Список рукой Н. Мандельштам



Эвальд Христиан Клейст. Гравюра



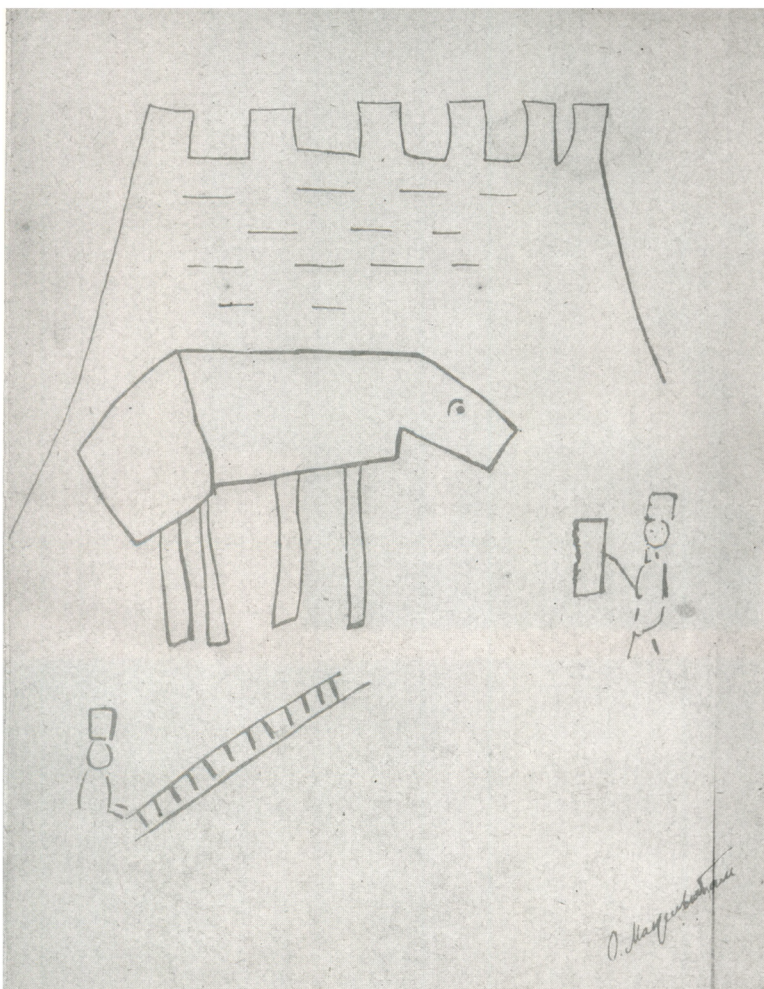
Б.С. Кузин. 1930-е



*Обложка и фронтиспис книги Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель»
(М.: ЗИФ, 1929)*



А.Г. Горнфельд



Троянский конь. Рисунок О.Э. Мандельштама

Бенедикт Ливици



Екатерина Ливици



О. Мандельштам. 1919



Н. Мандельштам. 1920-е



Ольга Ваксель. Нач. 1930



*Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Наталья Штемпель,
Маруся Ярцева. Воронеж, 1937*



Наталья Штемпель. 1930-е



Павел Калецкий. 1930-е

А. Ахматова. 1936

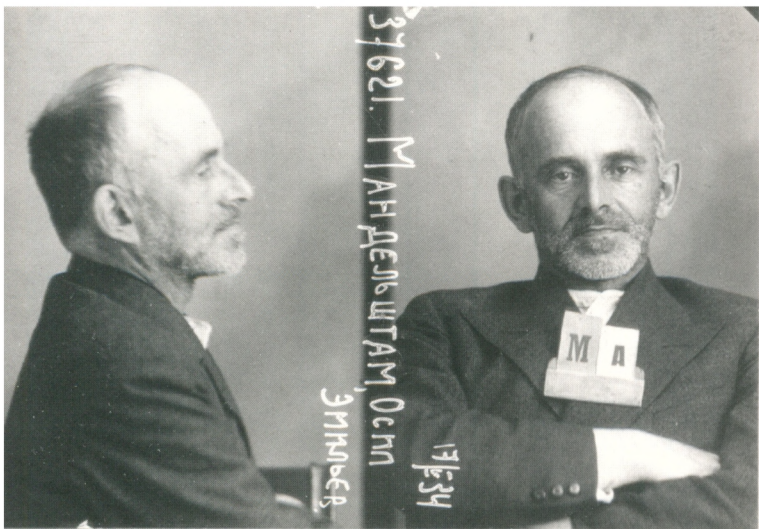


1936.

Л. Юрлиц.



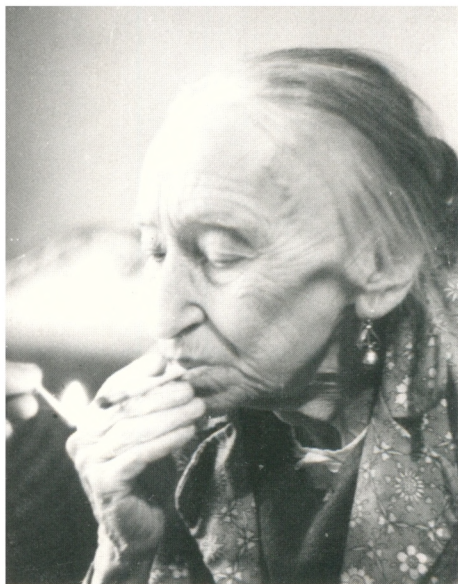
Отец Николай Бруни.
Автопортрет. 1937



Тюремное фото. Май 1934



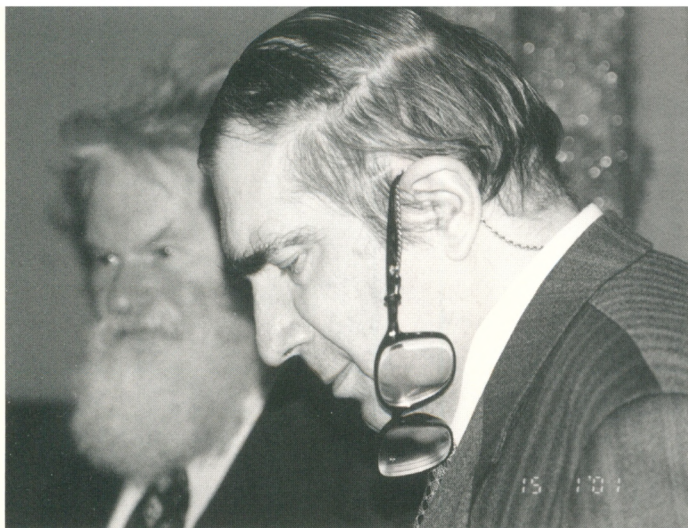
Тюремное фото. Май 1938



Н.Я. Мандельштам. 1970-е



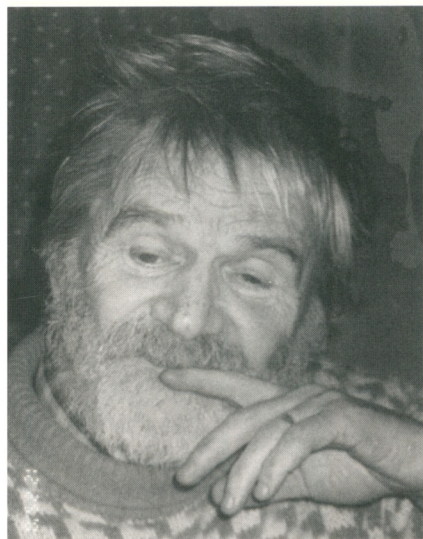
*Могила Н.Я. Мандельштам и кенотаф О.Э. Мандельштама
на Старокунцевском кладбище в Москве*



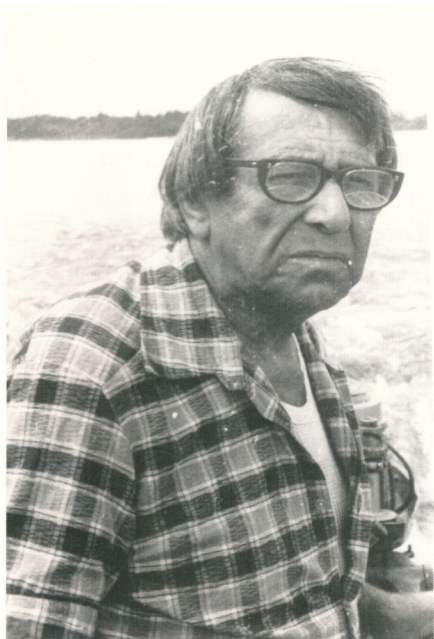
С. Аверинцев и В. Микушевич в ЦДЛ. 2001



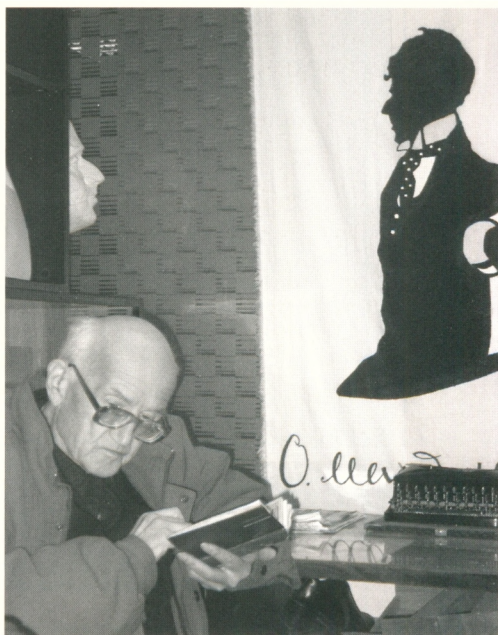
К. Браун. 1960-е



А. Морозов. 2000-е



*А. Штейнберг на моторке. Юминское.
Нач. 1980-х*



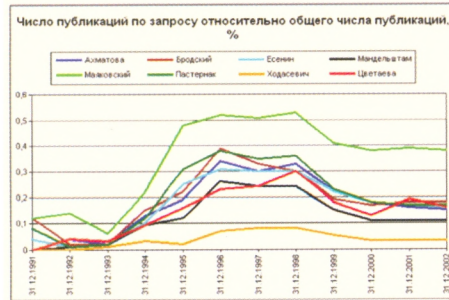
*М. Гаспаров в Мандельштамовском обществе.
Нач. 2000-х*



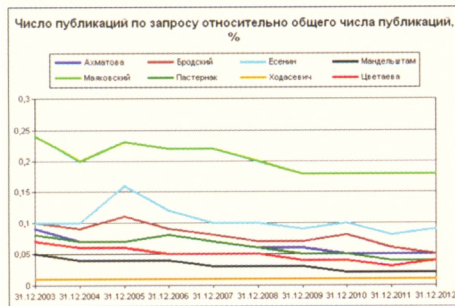
П. Нерлер и Н. Поболь. Сер. 1970-х

К статье НА ПУТИ К СОЦИОЛОГИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА:
ИНТЕГРУМ-АНАЛИЗ ЕГО УПОМИНАЕМОСТИ И ЦИТАТНОСТИ
В РОССИЙСКИХ СМИ

Рис 1. Число публикаций по запросу относительно общего числа публикаций (%)
1А. 1991—2002 (по состоянию на 31 декабря)



1Б. 2003—2012 (по состоянию на 31 декабря)



* Учитывались: центральная и региональная пресса, ИТАР-ТАСС и РИА-Новости, интернет-издания, теле- и радиовещание.

Рис 2. Число публикаций по запросу относительно общего числа публикаций (%)
Центральная пресса: 2004—2012 гг. (по состоянию на 31 декабря)

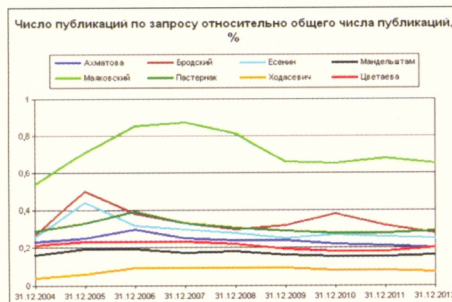


Рис 3. Число публикаций по запросу относительно общего числа публикаций (%):
Региональная пресса: 2004—2012 гг. (по состоянию на 31 декабря)

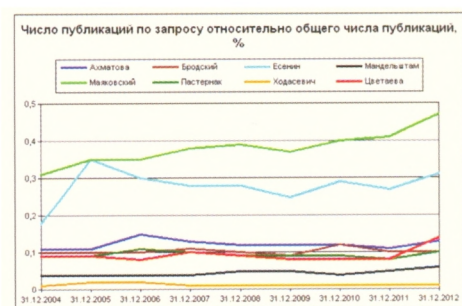


Рис 4. Число публикаций по запросу относительно общего числа публикаций (%)*.
Радиоэфир: 2004—2012 гг. (по состоянию на 31 декабря)

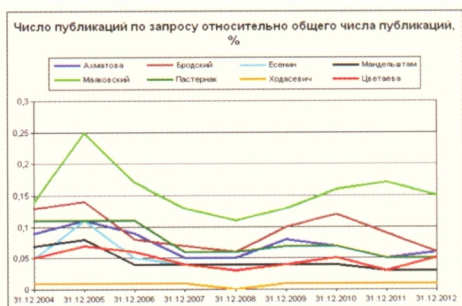
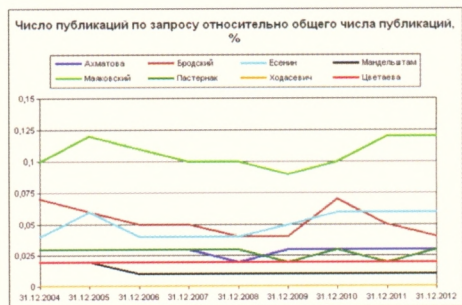


Рис 5. Число публикаций по запросу относительно общего числа публикаций (%),
Интернет-издания: 2004—2012 (по состоянию на 31 декабря)



Загадочная фраза, но явно относящаяся к разгильдяйскому — или хорошо организованному? — конфузу предыдущего дня, точнее, вечера с несостоявшейся читкой стихов.

Может быть, Союз хотел показать Мандельштаму, насколько не востребованы другими его новые стихи и он сам?

Но почему же тогда не было ни Суркова, ни даже Лахути?..

6

Савёловский «дачный сезон» 1937 года растянулся до октября. Для проживания зимой снятая в доме Чусова комната, видимо, не годилась.

И Мандельштамы вновь переехали. На этот раз в Калинин, давешнюю и нынешнюю Тверь, Осип и Надежда Мандельштам прожили несколько месяцев — с конца октября или начала ноября 1937 до 10 марта 1938 года: сначала — в новоотстроенной гостинице «Селигер» на Советской улице, 52.

А начиная с 17 ноября 1937 по 10 марта 1938 гг. — в пятистенной избе на 3-й Никитинской ул., 43, в доме рабочего-металлурга Павла Федоровича и Татьяны Васильевны Травниковых. По вечерам устраивались «концерты»: Осип Эмильевич ставил раздобытые им пластинки Баха, Дворжака, Мусоргского и др. и просматривал «Правду», на которую был подписан хозяин, а хозяйка ставила самовар и угощала всех чаем с вареньем²⁹.

Несколько раз в Калинин приезжали близкие люди — Е.Я. Хазин и Н.Е. Штемпель.

Совет поехать именно в Калинин дал Мандельштамам Бабель, предположивший, что с устройством на месте сможет помочь уже сосланный туда Николай Эрдман. Позднее в Калинин приехала в ссылку подруга Надежды Яковлевны — Елена Михайловна Аренс с двумя мальчиками, выбравшая Калинин уже из-за наличия здесь Мандельштамов.

И Савёлово, и Калинин — это Верхняя Волга, но по географическому положению эти места разительно отличались друг от друга. Савёлово, хоть и ближе в Москве, было транспортным тупиком, а от Калинина Москва была хоть и дальше, но сообщение было куда более интенсивным. Возникал соблазн съездить не только на юг, в Москву, но и на север, в Ленинград, каковому соблазну Мандельштамы один, а может быть и два раза поддались.

²⁹ Обстоятельства жизни Мандельштамов в Калинин в 1938 и 1939—1941 гг. хорошо отражены в их письмах этого времени к Б.С. Кузину, а также в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам, посвятившей Травниковым отдельную главу («Последняя идилия»).

Из Калинина путь вел в Саматиху, откуда начинался уже крестный путь навстречу гибели у Тихого океана.

В начале мая 1938 года, вскоре после ареста Мандельштама в Саматихе, в Калинин приезжала и Надежда Яковлевна, забравшая корзину с мандельштамовским архивом. Она опередила сотрудников областного управления НКВД Недобожина-Жарова и Пука, также побывавших у Травниковых, но только 28 мая 1938 года и без особого результата.

В конце мая 1939 года, уже после гибели мужа и неудачных попыток обосноваться в Малом Ярославце, Надежда Яковлевна «вернулась» в Калинин. Она поселилась и временно прописалась в одном доме с Е.М. Аренс и ее детьми (по адресу: деревня Старая Константиновка, № 78). Вместе с нею же Надежда Яковлевна работала надомницей в артели детской игрушки, а с осени 1939 года, переехав ближе к центру (по адресу: Школьный пер., 23, кв. 10), работала учительницей в школе (уволена к лету 1941 года).

30 сентября 1941 года Надежда Яковлевна с мамой эвакуировалась из Калинина в Среднюю Азию.

В ОДИННАДЦАТОМ БАРАКЕ: ПОСЛЕДНИЕ ОДИННАДЦАТЬ НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА (ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ)

*Памяти Юрия Моисеенко, Дмитрия
Маторина, Константина Хитрова и
всех тех, кого судьба свела в пересыль-
ном лагере с Осипом Мандельштамом*

Уведи меня в ночь, где течет Енисей...¹

Эшелон

Чье сердце не обливалось кровью и не переполнялось состраданием к несчастным чернокожим, проданным в рабство жестоким плантаторам и бросающим последний взгляд на родимые пальмы какой-нибудь Гвинеи или Берега Слоновой Кости, прежде чем провалиться, под свист бичей, в ужасное жерло трюма? Вот картинка из школьного учебника, которая так и стоит перед глазами, не давая погаснуть здоровому пламени классовой ненависти. Наворачиваются слезы, сжимаются кулаки. Нет, никогда и ни за что не простит простой советский человек эксплуататорским классам их жестокости, их подлости, их вероломства, ничто не вытравит из разгневанных сердец картины нечеловеческих условий, в которых содержались и перевозились эксплуатируемые народные массы — что при рабовладении, что при феодализме, что при капитализме!

СССР, хоть и морская, на три океана распластанная, держава, но в еще большей степени страна сухопутная. Рабства и прочей эксплуатации в СССР, по определению, нет и быть не может, а если кого и перевозят на работу группами, — бывает, конечно, что и в трюмах,

¹ Из стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...».

но все больше вагонами, — то именно самих этих проклятых эксплуататоров: разных буржуев, кулаков, прихвостней-эсеров, троцкистов, гнилых интеллигентов и прочую сволочь. Условия там, конечно, не очень, тесновато бывает, но все-таки ничего. И то — хватит им нашу пролетарскую кровь пить — пусть сами помучаются, поработают!..

А все-таки: как в СССР перевозили заключенных?

Основным местом погрузки в Москве, например, был так называемый пересыльно-питательный пункт НКВД по Московской области на станции Красная Пресня Окружной железной дороги. Черные вороны, перегороженные внутри так, чтобы двое конвоиров оказывалось сзади, доставляли заключенных из разных тюрем Москвы и Подмосковья — Серпуховской, Коломенской, Таганской и, конечно же, Бутырской. Но есть свидетельства и о погрузке на станции Ярославская-Товарная².

Построение перед вагонами, перекличка — сверка с эшелонными списками, затем погрузка в длинные вагоны с зарешеченными окнами. С лязгом и скрежетом их сцепляют.

И вот, встряхиваясь на стыках, эшелон пополз...³ Медленно, то ускоряясь, то тормозя, он прошел от Пресни до Ростokino по Окружной, вывернул на северный ход, по которому шел главный маршрут, и двинулся на восток — на Ярославль и Киров.

Обычно состав с 2—3 тысячами арестантов днем переставался в тупиках, двигались же на восток главным образом ночью. Так что не удивительно, если путь до Тихого океана занимал месяц-полтора, а иногда и все два.

В поезде длиной в 440 м насчитывалось 34 вагона — 9 двухосных, служебных, и 25 четырехосных — для з/к. Фактический вес поезда, учитывая неполное использование грузоподъемности вагонов при людских перевозках, мог превышать тысячу тонн.

На равнинных участках эту 1000-тонную махину тянул грузовой паровоз серии «Э», на трудных профилях Урала и Сибири использовалась двойная тяга.

В деревянных товарных вагонах⁴, с учетом «живого груза» несколько переоборудованных, стояли нары в два этажа — неструганый настил в два яруса. Но зимние морозы часто загоняли всех на один

² *Пейрос*, 2008. С. 58.

³ См.: *Шульц В.* Таганка. В Средней Азии / Доднесь тяготеет. Выпуск 1. Записки вашей современницы. М., 1989. С. 208—209.

⁴ В ходу было два типа вагонов: так называемые НТВ (нормальные товарные вагоны) — двухосные и грузоподъемностью в 16,5 т и теплушки-«пульманы» — четырехосные и грузоподъемностью в 50 т. Для людских перевозок последние утеплялись: стены — снаружи войлоком и второй обшивкой стен, пол — опилками

ряд: так, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, люди меньше страдали от холодов.

Рассчитывалось вагоны на 40 душ, или койко-мест. Но нередко утрамбовывали и до 60 эков, а случалось, что и до сотни. В таком случае разместиться можно было фактически только лежа: ни тебе встать и пройтись, ни размяться. Не удивительно, если иные «пассажиры» не выдерживали и быстро приближались к другой конечной станции — к состоянию классического доходяги...

Для людских перевозок крытые вагоны снаружи утеплялись второй обшивкой стен. Между двумя слоями досок укладывался войлок. Пол для предотвращения промерзания утепляли опилками и вторым слоем досок⁵. Так получалась знаменитая «теплушка». Но для перевозки заключенных могли подать и неутепленные вагоны.

В двухоснике ставилась одна печь с вертикальной трубой, выводимой через крышу. В четырехосных вагонах было даже по две печи. И около каждой сидел дневальный и неустанно смотрел за нею. Правда, грош цена всей этой «теплоизоляции» — если туалетом служила не параша, а открытая в полу дыра, ничем не огороженная, всеми обозреваемая⁶.

Умывальников — да и воды — не было. Но некоторым эшелонам везло — тем, кому выпадала баня в Омске⁷ или в Чите⁸.

Советские вагонзаки (арестантские вагоны, не общие!) совершенно напрасно назывались «столыпинскими»: в тех еще были окна, пусть и зарешеченные, а в советских «столыпинных» наружных окон не было, решетчатые окна были только в коридорах, куда эков и по нужде без нужды не пускали.

Вот чего нельзя было лишить в дороге — звуков. В России паровозные свистки, или гудки, традиционно мощнее и красивее, чем в силовой Европе: на сигнал подавался пар рабочего давления в 12 или 14 атмосфер, благодаря чему звук состоял из трех-пяти тонов. Конечно, для узников ГУЛАГа эта «песня», сопровождавшая их на всем пути, звучала надрывно и щемяще⁹.

и тоже второй обшивкой, а крыша — жостью, но иногда всего лишь брезентом (Никольский, Поболь, 1999).

⁵ Главное, что проверялось, — это прочность досок, чтобы уменьшить возможность побега.

⁶ Ср. в воспоминаниях Л. Ельницкого: «В двери, противоположной той, через которую нас сажали в вагон, в нижнем углу выпилено отверстие и к нему приставлен узкий и короткий деревянный лоток — это наша уборная, пользуйся сколько хочешь... Для меня особенно мучительной представлялась необходимость испражняться не только что при народе, но и буквально в его тесноте» (Ельницкий Л. Три круга воспоминаний. Лагерный дневник. М.: Аграф, 2013. С. 226—228).

⁷ *Пейрос*, 2008. С. 63.

⁸ *Хургес*, 2012. С. 496.

⁹ *Никольский, Поболь*, 1999. С. 43.

На площадках — бдительные наряды энкавэдэшников-конвоиров, молчаливых, жестоких и злых на весь свет — за то, что их способ путешествовать, когда они на посту, казался им еще хуже того, каким ехал охраняемый ими контингент¹⁰.

Прочем, согрело и знание, что на самом-то деле их способ отличался — и еще как! Продукты, командировочные и белье (по две смены) конвою выписывались на 30 суток. И еще им предлагалось и полагалось прослушать интереснейшую лекцию: «Питание в пути и желудочно-кишечные заболевания»¹¹.

Перед отправкой одаряли и конвоируемых: по пустому котелку на двоих. Суточный паек в дороге — 400 грамм хлеба, миска баланды с рыбьими головами. Кипятка — одна кружка и к ней два кусочка сахара. Но и этот рацион выдавался не весь: конвой разворовывал. Одним словом — и голод, и жажда, особенно после селедки.

Мандельштамовский эшелон

Согласно наряду ГУЛАГа и плану перевозки НКВД № 1152, мандельштамовский эшелон подлежал отправке в «Севвостлаг» НКВД — сначала во Владивосток, а оттуда на Колыму. Командировка конвою была выписана по спецнаряду I спецотдела НКВД на срок с 7 сентября по 28 октября 1938 года. Начальником эшелона был командир 1-й роты 236-го полка Конвойных войск старший лейтенант И.И. Романов¹².

Общее число вагонов — в данном случае 34, из них 25 для «л/свободы», то есть «лишенных свободы» (их теплушки были четырёхосными). В головном вагоне ехала обслуга, во втором — склад конвойных войск, в третьем — кухня для з/к, в четвертом — кухня и столовая для конвойных войск; в пятом — склад з/к. В 15-м и 24-м вагонах — караульные помещения. Зёков же везли тремя блоками — в вагонах с 6-го по 14-й, с 16-го по 23-й и с 25-го по 32-й. В самом хвосте — изолятор (33-й вагон) и тут же рядышком, в 34-м вагоне, — оперативная группа с личными делами.

Численность конвоя определялась в 110 человек, то есть примерно по 16 з/к на одного «сопровождающего». Примечателен и состав конвоя: по одному начальнику конвоя, политруку и коменданту, по двое начальников караула и их помощников, разводящих — 6, оперативная группа — 9 и, наконец, часовых — 78 (кроме того, хозяйственная

¹⁰ Свободный от дежурства конвой находился в первом и последнем вагонах.

¹¹ Никольский, Поболь, 1999. С. 46.

¹² Во время войны ст. лейтенант И.И. Романов воевал на Украине — командовал мотосредковым батальоном 22-го мотострелкового полка Внутренних войск НКВД СССР, в июле 1942 г. переданного в состава Красной Армии в качестве 346-го стрелкового полка (2-го формирования) 63-й стрелковой дивизии.

обслуга и резерв — по 3, связисты и собаководы — по 2 человека). Лекнома и повара не было ни для з/к, ни для конвойных войск — в соответствующих графах прочерки!

Всего в эшелон было принято 1 770 человек, в том числе 209 из Бутырок. Фактически эшелон отправился из Москвы 8 сентября. Большая часть контингента направлялась и была доставлена на станцию Известковая (1038 человек — политические попеременно с уголовными) и во Владивосток (700 человек — сплошь 58 статья, в их числе и О.М.). Еще 17 человек предназначались для лагерей в Мариинске, а 8 — в Красноярске. «Сдачи» состоялись, кроме того, в Свердловске (3 человека), а также в Москве, Зиме, Могоче и Урульче (по 1 человеку).

Несколько странный пункт о «сдаче» одного человека в Москве объясняется, видимо, тем, что з/к Паниткова Пелагея Денисовна была по невыясненным причинам просто-напросто освобождена. Еще трое одиночек — это те, кто не вынес тягот пути и в дороге умер или тяжело заболел. Их «сдавали по актам» в Зиме, Могоче и Урульче¹³.

Кто Вы, «физик Л.»?

В том же транспорте, что и Мандельштам, но в другом вагоне ехал 24-летний «физик Л.» — очевидец, с которым встречалась Надежда Яковлевна и чьи свидетельства она считала самыми достоверными и надежными из всех. Виделись они, вероятней всего, летом 1965 года, когда Надежда Яковлевна уже закончила «Воспоминания». Их заключительная главка «Еще один рассказ», — сжатый пересказ того, что ей сообщил «Л.», — смотрится в них как своего рода постскрипtum, добавленный в последний момент.

Твердое желание «физика Л.» сохранить инкогнито более чем понятно. Летом 1965 года, когда за спиной не было даже такой призрачной защиты от сталинизма, как Никита Хрущев, больше всего хотелось побережиться и не рисковать ничем. Об этом же просил Эренбурга в феврале 1963 года (то есть еще при Хрущеве!) Давид Иосифович Златинский¹⁴: *«Дорогой И.Г.! Письмо предназначено только для вас. Я не хотел бы, чтобы публично ссылались на меня. И культа нет, и повеяло другим ветром, а все-таки почему-то не хочется «вылезать» в печа-*

¹³ Кстати, акт о сдаче больного и акты о смерти — единственные документы, выполненные на бланках, пусть и весьма некачественных, на плохой бумаге и с отвратительной печатью. Все остальные документы заполнялись как бог на душу положит, на самой плохой, чаще всего папиросной, бумаге, и их сохранность внушает самые серьезные опасения.

¹⁴ По некоторым сведениям, фамилия его писалась и так: Златинский. Он родился 2 июля 1903 г. в Одессе.

ти с этими фактами. Могу только заверить вас, что всё написанное мною — правда, и только правда».

Эренбург передал письмо Надежде Яковлевне, а та, в свою очередь, подарила его А.А. Морозову, который и опубликовал его впервые в 1989 году — в своем комментарии к первому на родине изданию ее воспоминаний¹⁵.

Инкогнито «физика Л.» продержалось гораздо дольше — до ноября 2013 года. Конечно же, фамилия единственного физика в эшелонных списках привлекла мое внимание еще в 2001 году, когда списки были обнаружены:

«170. Константин Евгеньевич Хитров, 1914 г. р., физик, к.р. агит.»

Мало того, К.Е. Хитров — один из тех немногих, сведения о ком сложились и в мемориальной базе данных; известен даже номер его следственного дела.

Но принятое на веру — и, как оказалось, напрасно — указание Надежды Яковлевны на то, что ее физик Л. был из Таганской, а не из Бутырской тюрьмы уводило на ложный след и ни к кому не вело. Долгое время я думал, что Надежда Яковлевна вообще замуровала эту тайну: не был ее информатор физиком и фамилия его не начиналась на «Л.»! И что если мы что-то когда-то о нем и узнаем, то от смекнувших детей или внуков.

Оказалось, однако, что буква «Л.» действительно была намеренно неточной, а вот наводящие сведения о профессии своего собеседника Надежда Яковлевна сообщила правильно. Просто и с ними ничего бы не удалось найти вплоть до 2011 года, когда средние учебные заведения Подмосковья компьютеризировались и — не все, но некоторые — даже обзавелись своими сайтами.

И вот его величество Гугл привел меня на сайт Фряновской вечерней (сменной) общеобразовательной школы¹⁶, где я прочел:

«История школы — это история страны со всеми ее трудностями и достижениями. Вместе со страной пережили все ее беды и радости и учителя, работавшие в школе. В нашем архиве сохранились Книги приказов с 1951 года, когда директором школы была Клавдия Иосифовна Орлова, замечательный человек и педагог.»

Более двадцати лет проработал в школе, ныне покойный, Константин Евгеньевич Хитров, где он был директором с 1966 по 1981 год. Во время его директорства о Фряновской «вечерке» часто писали в районной газете, так как школа рабочей молодежи постоянно занимала первые места в социалистическом соревновании среди вечерних школ села Трубино, поселка Монино, города Щелково. На базе школы часто проводились районные семинары и совещания.»

¹⁵ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989. С. 427—430. О Д.И. Злотинском известно, что в 1960-е гг. он жил на станции Перловская под Москвой.

¹⁶ См.: <http://smenschool.edusite.ru/p8aa1.html>

<...> Сам Константин Евгеньевич запомнился всем как мудрый наставник и прекрасный педагог. Он многому научил своих коллег, жил их заботами, помогал сотрудникам в трудные минуты их жизни. Талантливый математик и физик, Константин Евгеньевич был репрессирован 1938 году за выступление на молодежном диспуте в студенческие годы. После смерти Сталина его реабилитировали, и Хитров приехал во Фряново, где работал сначала учителем, а потом директорствовал. Его школу руководителя прошли многие директора школ: Т.А. Мартынова, Л.А. Деньгова, С.А. Шибалова, Е.В. Левина».

Физик, учитель физики! Репрессированный в 1938 году!..

Указанные на сайте контактные данные, однако, вели уже в никуда: означенную школу летом 2013 года ликвидировали, присоединив к Щелковской открытой школе. Скоро, видимо, не будет и самого сайта. Иными, словами интернет приоткрыл нам лишь узенькую щелочку и на очень короткое время!

Но ниточка уже повилась, и я начал с указанного на сайте мобильного номера Любви Константиновны Черновой — последнего, как оказалось, директора этой школы. Сама она не знала Хитрова, но много слышала о нем как о замечательном педагоге и человеке. В разговоре с ней наметились точные импульсы и адреса дальнейшего поиска, наиболее многообещающими из них оказались — и оказались — Щелковское районо (руководитель Татьяна Геннадьевна Кувырталова) и Фряновский краеведческий музей (главный хранитель Екатерина Евгеньевна Чернова).

Кстати, в оставшееся временно бесхозным помещением закрытой школы въехал именно этот музей. Уже в силу одного этого в нем обнаружилась небольшая коллекция материалов, связанных с Хитровым, — даже картина «Осень», написанная Хитровым, но не Константином, а Александром, его старшим братом, учителем живописи¹⁷.

Константин Евгеньевич Хитров родился 17 марта 1914 года в селе Спас-Клепики к северу от Рязани. Его отец — Евгений Михайлович — преподаватель словесности местной церковно-учительской школы, первый и любимый учитель поэта Сергея Есенина¹⁸.

Репрессия у Хитрова — какая-то многоэтажная. Сажали его дважды — в 1936 и 1938 гг. и оба раза за антисоветскую агитацию, причем за одну и ту же¹⁹. Впервые его арестовали еще в 1936 году, 26 апреля. Он тогда проживал на подмосковной станции Окружная, улица Верхние Лихоборы, 32 и учился на первом курсе педагогического института.

¹⁷ У К. Хитрова была старшая сестра Мария (1902 г.р.) и трое старших братьев — Александр (1904 г.р.), Борис (1905 г.р.) и Юрий (1910 г.р.).

¹⁸ В есенинском музее в Константиново выставлен первый сборник «Радуница» с дарственной надписью Хитрову—старшему.

¹⁹ Сохранились и два следственных дела: ГАРФ. Ф. Р—10035. Дело П—839 и П—49535 (соответственно, за 1936 и 1938 гг.).

Областной следователь Марков «шил» ему и еще троим студентам «профашистские разговоры» — «антисоветскую группу» и «антисоветскую агитацию», то есть статьи 58.10 и 58.11. Но другой следователь, младший лейтенант гб Смирнов, не найдя связи между Хитровым и остальными, 7 июня переаквалифицировал его дело в отдельное производство № 578²⁰. Зато само следствие он провел наступательно: трое свидетелей дали показания против Хитрова, пересказывая его речи на занятиях политкружка. Он-де сравнивал политику Гитлера, разрывающего государственные договоры, с политикой Ленина в 1918 году (свидетели Малявин и Шнейдерман), сетовал на малость стипендии и иронизировал по поводу слов Сталина о том, что жить стало веселей, зато очень хвалил Гитлера (свидетель Владимирский, повторивший это и на очной ставке с Хитровым). 10 июня дело Хитрова было передано Смирновым в спецколлегия Мосгорсуда. Однако суд, под председательством В.Ф. Подылова, состоялся 6 сентября 1936 года и, сочтя обвинение недоказанным, оправдал строптивого Хитрова!

27 апреля 1938 года, ровно спустя два года и один день после первого ареста Хитрова, уже третьекурсника, арестовали вновь. Вбросив в следствие новых свидетелей (в частности, Трофимова и Кулакова) и обвинения в террористических высказываниях в адрес руководителей партии и правительства, а также сопоставление договора между СССР и Монголией с гитлеровскими аннексиями, Хитрова на этот раз осудили. Принимая работничка, Колыма!

На Колыме Хитров-младший отбыл не один, а целых три срока: самый первый — пять лет — истек 29 апреля 1943 года, второй — тоже пять лет — достался совсем легко, даже без суда: не спросив его мнения, страна просто оставила его, номинально свободного человека, на Колыме — в силу обстоятельств военного времени, а третий — и снова пять лет — ему впяли в начале 1948 года.

О первой «пятилетке» он отзывался так — *«тяжелейшие года»: «Многих людей, ехавших сюда, как я, до меня, со мной и после, уже нет. Моя молодость и здоровье перебороли все тяжелое»*²¹. В какой-то момент способности недоучившегося учителя физики и математики были оценены, и Хитрова взяли на работу в бухгалтерию²² механических мастерских Чай-Урынского горнопромышленного управления в поселке золотодобытчиков Нексикан, что на правом берегу реки Берелех в Сусуманском районе (тогда — Хабаровского края). Ох, и суровые же это места — с чередованием вечного дня и вечной ночи, с морозами за 50 и даже за 60 градусов! Они вдохновили Хитрова на такое, например, описание колымской природы в одном из писем во Фряново: *«Сейчас 4 часа (у вас 8 часов утра) — уже вечер.*

²⁰ Во время следствия коллективное дело имело № 361.

²¹ В письме родным от 31 декабря 1951 г.

²² Сначала старшим бухгалтером, потом заместителем главного бухгалтера.

*Кругом однообразные сопки, покрытые снегом. Мороз настолько силен, что когда дышишь ртом, раздаётся какой-то звенящий шум, похожий на звук, издаваемый пустой стеклянной банкой, в которую дуют. Организация теплого жилья это основной вопрос на Колыме. Топящаяся печка — колымская поэзия. Зимой здесь даже звери не живут, волки и те убегают на юг <...>*²³.

О второй «пятилетке» сам Хитров пишет так: «...С 1943 по 1948 год я работал по вольному найму в тайге, вдалеке от жизненных центров. <...> В военное время отсюда почти никого не отпускали, потом же я много раз настойчиво обращался к начальству с просьбами и требованиями об отпуске меня с работы и выезде в центральные районы страны. Мне все обещали; вот-вот едет замена. Весной говорят — поедешь осенью, осенью — в начале навигации следующего года. Меня обманывали, и, следовательно, я вас обманывал»²⁴.

Видимо, Хитров достал НКВД своими обращениями, и на него состряпали дело, надолго снимавшее вопрос об отпуске его «с работы и выезде в центральные районы страны». Хитрова судили вместе с начальником крупного разведрайона за то, что они прикрыли начальника материально-хозяйственной части этого управления, ограничившись списанием с него причиненного ущерба и снятием с работы, но не передав дело в органы. По 109-й статье — злоупотребление служебным положением — партийному начальнику дали год, а беспартийному бывшему ээку — пять.

Всю свою третью «пятилетку» Хитров отработал бесконвойно, старшим или главным бухгалтером — первые два года в Сусуманской райбольнице, а третий — там же, в геолого-разведывательном управлении. Заработок (примерно 750 рублей в месяц) рассчитывался в половину от оклада вольнонаемного, но на сравнительно нормальное питание этого хватало. Тем не менее в 1950 году Хитров тяжело болел — крупнозным воспалением легких. От неправильной дозировки раствора хлористого кальция при уколе образовался некроз руки, долго не проходивший, но потом зажило.

С учетом всех зачетов за отличный труд пять лет «истекли» 12 сентября 1951 года, но необходимые бумаги из Магадана, понятное дело, задержались, и Хитрову пришлось еще раз зимовать на Колыме. Зиму он провел снова в Нексикане, устроившись по вольному найму в местное управление, где его хорошо знали и где жил его приятель, знакомый еще по московскому институту.

Вернувшись из своей 15-летней «отлучки», Хитров с отличием закончил физико-математический факультет Московского педагогического института и начал работу во Фрянновской вечерней школе

²³ Из письма родным от 19 ноября 1943 года.

²⁴ В письме родным от 31 декабря 1951 г.

рабочей молодежи. В том же институте вместе с ним учился его «колымский» друг, ставший впоследствии литератором и кандидатом педагогических наук, — Борис Алексеевич Лозовой (1915—1976), редактор издательства «Молодая гвардия» и автор книг «Золотая Колыма» (1972), «Верность» (1974), «Азимут» (1981) и др.²⁵

Педагогами были и его близкие: сестра, Мария Евгеньевна, работала завучем Фряновской общеобразовательной школы, а жена, Мария Андреевна (1923—2005), учителем русского и литературы там же. Пока Хитров изучал Колыму, и его братья, и его жена воевали: жена — в составе 38-й армии 1-го Украинского, позже 4-го Украинского фронтов она сражалась на Украине, на Курской дуге, освобождала Польшу и Чехословакию. У них родились двое детей: сын Александр и дочь Наталья. Сам К.Е. Хитров умер 12 июня 1983 года.

Старожилы-учителя, вспоминая Хитрова, отмечали и его скрытность: интересный собеседник, интеллигентный человек, но о себе говорил редко, не любил фотографироваться и даже на общих школьных фотографиях отворачивался. Однажды с глазу на глаз учительница химии спросила его: «За что посадили?». — Он рассказал: «За вопрос, заданный на лекции по истории в институте: «Чем по отношению к СССР сейчас является Монголия?»»²⁶. Увезли его в эту же ночь в 4 часа утра. На допросах не признавал вины и все не мог понять, за что, почему его арестовали, что такого особенного он спросил? А на суде даже запустил чернильницей в судей!

Было ему тогда всего 24 года. А отсидел он (считая и жизнь в статусе номинально вольного человека) более 15 лет. Рассказывал, что в ссылке дружил с Туполевым (поддерживал с ним связь и после освобождения) и... *очень сдружился с одним поэтом!*

С кем именно — не говорил.

Так что «инкогнито» тут было двойным, двусторонним.

Смородкин и Малевич

В письмах Константина Хитрова домой²⁷ дважды упоминается еще один эшелонный попутчик Мандельштама — художник Михаил Павлович Смородкин (3.6.1908 — 3.9.1974). Константин знал его еще до ареста: Александр Хитров, его старший брат, учился с ним во ВХУТЕМАСе. В 1937 году Смородкин работал вместе с Петром Малевичем²⁸ художниками в издательстве «Сельхозгиз».

²⁵ Иногда они встречались втроем и предавались воспоминаниям — Хитров, Лозовой и Цховребов, о котором, кроме фамилии, ничего не известно.

²⁶ См. об этом выше.

²⁷ Сохранились у дочери.

²⁸ Малевич Петр Харитонович (1904 — 1968?).

О том, в чем они оба «проштрафились», в декабре 1937 года товарищу Сталину писал зам. Народного комиссара внутренних дел СССР тов. Бельский:

«Произведенным расследованием о выпуске трестом школьных и письменных принадлежностей Наркомместпрома РСФСР ученических тетрадей с обложками, в которых имеются контр-революционные искажения, установлено:

1. Художники СМОРОДКИН и МАЛЕВИЧ, выполняя штриховые рисунки с репродукций картин художников ВАСНЕЦОВА, КРАМСКОГО, РЕПИНА и АЙВАЗОВСКОГО, умышленно внесли в эти рисунки изменения, что привело к контр-революционному искажению рисунков, а именно:

а) в рисунке с картины ВАСНЕЦОВА «Песнь о вещем Олеге» СМОРОДКИН нанес изменения рисунка колец на ножке меча и рисунка ремешков обуви Олега. В результате получился контр-революционный лозунг — «Долой ВКП»;

б) при изготовлении штрихового рисунка с картины РЕПИНА и АЙВАЗОВСКОГО «Пушкин у моря» на лице ПУШКИНА СМОРОДКИНЫМ нарисована свастика;

в) штриховой рисунок с картины художника КРАМСКОГО «У Луккоморья дуб зеленый» делал художник МАЛЕВИЧ, который у воинов, лежащих на земле, нарисовал красноармейские шлемы и произвольно изобразил вместо четырех воинов — 6;

г) свастика на безымянном пальце ПУШКИНА, в рисунке с картины художника ТРОПИНИНА Портрет ПУШКИНА нанесена уже при печатании в типо-литографии «Рабочая Пенза» на готовое клише;

2. Не смотря на явное контр-революционное искажение в рисунках, они все же были одобрены к печати ВОЛИНЫМ и были завизированы уполномоченным Главлита БУДАНОВЫМ.

3. Клише изготовлялись в цинкографии «Правда» и разосланы 12-ти типографиям Наркомместпрома и 4-м бумажным фабрикам Наркомлеса.

4. Печатание обложек с этими клише производили с февраля по сентябрь 1937 года. Общий тираж выпуска составляет около 200 миллионов тетрадей (в этот тираж входит вся серия тетрадей, выпущенных к пушкинскому юбилею).

Наши мероприятия:

1. Из всех типографий, печатавших тетрадные обложки с контр-революционными искажениями, изымается клише.

2. Арестовываем основного виновника контр-революционных искажений СМОРОДКИНА Михаила Павловича, 1908 г. рождения, беспартийного.

3. Пензенский Горотдел проводит расследование по типо-литографии «Рабочая Пенза».

В силу того, что по сообщениям ряда УНКВД имеются в продаже такие тетради (в миллионах экземпляров) просим разрешить вопрос о дальнейшей продаже тетрадей, имеющих обложки с контрреволюционными искажениями»²⁹

Так или иначе Смородкин был арестован в 1938 году и попал в один эшелон с Хитровым и Мандельштамом. Хитров искал его на Кольме, но не нашел, а осенью 1941 года из дому написали, что Смородкин жив и находится в лагерях на Алтае (по всей вероятности, его комиссовали еще во Владивостоке, где Смородкин схлопотал воспаление легких и лишился части левой, отмороженной, ступни, и направили, как и Моисеенко, в Мариинск)³⁰.

В феврале 1945 года Смородкин участвовал в 6-й краевой выставке в Барнауле, посвященной 27-й годовщине Красной Армии. В 1946 году в ссылке в Бийске, художник местного драматического театра. В 1955 году — главный художник Государственного Русского драматического театра им. Ленинского комсомола Белоруссии. С 1957 года и по 1970 год — художник и главный художник Калининградского областного драматического театра. После этого он на какое-то время уезжал в Омск, но потом снова вернулся в Калининград, где и умер. Все, кто его знал, отмечали его нелюдимость и подчеркнутую сдержанность в общении.

Что касается Петра Малевича, то его арестовали 17 февраля 1938 года за «контрреволюционную работу и подозрения в шпионской деятельности». Постановлением ОСО при НКВД СССР от 2 июня 1938 года «за контрреволюционную агитацию» он был приговорен к заключению в ИТЛ на пять лет. Заключение отбывал в Каргопольской ИТЛ в Архангельской области. 11 февраля 1940 года его дело было пересмотрено и прекращено, а сам Малевич освобожден³¹.

Мандельштам в «своем» эшелоне

Но вернемся в мандельштамовский эшелон...

О том, что в эшелоне едет «*этот один поэт*», то есть Мандельштам, Хитров узнал еще в дороге от одного из попутчиков. Тот серьезно заболел и попал в вагон-изолятор: вернувшись, он рассказал, что встретился там с Мандельштамом.

²⁹ Со ссылкой на: ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 79. Л. 380—382. Опубликовано в: <http://therese-phil.livejournal.com/4291.html#>

³⁰ См.: Выставки советского изобразительного искусства. Т. 3. 1941—1947 гг. М.: Сов. Художник, 1973.

³¹ Сообщено С Ларьковым на основании архивной справки ГА РФ от 4 мая 2010 г. (№ дела: П—47226).

Поэт, по его словам, все время лежал, укрывшись с головой одеялом. Казенной пищи не ел и явно страдал психическим расстройством. Преследуемый страхом, что его хотят отравить, он буквально морил себя голодом, не притрагивался к баланде.

На отставки от полученного в тюрьме 48-рублевого перевода от жены он просил конвойных купить ему на станциях булку. Когда он ее получал, то разламывал пополам и делился с кем-нибудь из арестантов. До своей половины не дотрагивался, пока не увидит, что тот съел свою долю, и с ним ничего не произошло. Тогда садился на койке и с удовольствием ел сам³².

Все же трудно поверить в то, что медицинское обслуживание в пути — да еще в отсутствие штатного врача — было на таком уровне, что диагностировались и душевные недуги.

Тогда почему же Мандельштам оказался в изоляторе? Не потому ли, что правдив рассказ о том, что в вагоне его избил журналист Кривицкий?³³

В списке Бутырской тюрьмы действительно значится Кривицкий Роман Юльевич, 1900 г. р., журналист, осужденный за контрреволюционную деятельность³⁴. Еще бы — до ареста он был ответственным секретарем бухаринских «Известий» и, вероятно, знал Мандельштама и до их встречи на вагонных нарах³⁵.

На пересылке Кривицкий не задержался и сразу попал на Колыму. Осенью 1943 года на приiske Беличья, в больнице Севвостлага, чьей начальницей была «мама черная» — Нина Владимировна Савоева³⁶, он, по-видимому, умер от водянки. На соседней койке лежал Шаламов, запомнивший Кривицкого как опухшего доходягу³⁷.

14 сентября эшелон был в Свердловске. Здесь был снят с поезда з/к Барзунов Николай Иванович, а также сданы двое других — Михаил Владимирович Гуцин и Артур Евгеньевич Полей. 19 сентября — остановка в Марининске, где располагались крупнейшие женские и «инвалидные» мужские лагеря. По расписке было сдано 17 человек (все — по 58-й статье). Точная дата прибытия в Красноярск не поддается прочтению, но здесь «сошло» еще восьмеро.

³² Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 460.

³³ Об этом мне говорил И.С. Поступальский.

³⁴ См.: *Нерлер*, 2010. С. 115. В списке Таганской тюрьмы есть еще и однофамилец: Кривицкий-Кошевич Илья Абрамович, 1898, 5 лет.

³⁵ Его родной брат — очеркист и писатель Александр Юльевич Кривицкий (1910—1986) — был заместителем главного редактора «Нового мира» при главном редакторе К.М. Симонове.

³⁶ См. о ней в наст. издании, с. 216—217.

³⁷ В.Т. Шаламов — Б.Н. Лесняку, 18 января 1962 г. (*Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп. Т. 7, дополнительный: Рассказы и очерки 1960—1970; Стихотворения; Статьи, эссе, публицистика; Из архива писателя.* — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. С. 318).

Где-то за Красноярском в эшелон впервые наведальась смерть. Первым — от «острой слабости сердца» — умер совсем еще не старый (35 лет!) Давид Филиппович Бейфус (1903 г. р.; приговор — 5 лет по ст. 58.10). Его выгрузили и сдали на станцию Зима 23 сентября, а 1 октября на станции Могоча был «сакрирован» труп 52-летнего Спиридона Григорьевича Деньчукова (1886 г. р.; приговор — 8 лет по ст. 58—10).

29 сентября на станции Урульча был выгружен и сдан в качестве тяжело больного Авив Яковлевич Аросев — издательский работник, автор ряда книг о планировании в издательском деле, выпущенных Госсосоэкономиздатом в 1931—1935 гг.³⁸ Сел он скорее всего из-за родного брата — Александра Яковлевича Аросева (1890—1938), чистопородного большевика, чекиста и дипломата, арестованного 3 июля 1937 и расстрелянного 10 февраля 1938 года. До ареста он был начальником Всесоюзного общества культурных связей с границей и лично переводил Сталину во время беседы с Роменом Ролланом в 1935 году. Молотов был другом его революционной молодости, что не помешало тонкошему не просто подписать расстрельный список с его фамилией, но и молвить: «Попал под обстрел в 30-е годы!»³⁹

7 октября эшелон прибыл на станцию Известковая на севере Еврейской автономной области. Здесь состав полегчал более чем наполовину — отцепили сразу 16 вагонов, «сошло» 1038 человек, в том числе 105 женщин. Все как на подбор отчаянные энтузиасты, как и положено будущим строителям героического БАМа!..

История — или легенда? — зафиксировала еще одну стоянку этого поезда — на станции Партизан⁴⁰, что на главном ходе Транссиба. 11 октября «мандельштамовский» эшелон переставал здесь накануне последнего броска к «Второй Речке», до которой оставался перегон всего в 70 км. Некто Николай Иванушко, ныне живущий в г. Большой Камень Приморского края, а тогда 7-летний пацан, получил — якобы из рук самого Мандельштама — записку: «*Меня везут на Дальний Восток. Я человек видный, пройдут годы, и обо мне вспомнят. Иосиф Мандельштам*»⁴¹.

Как именно это произошло — непонятно, но вполне возможно, что поэт сумел выбросить записку из коридорного окна, когда шел на opravку.

³⁸ Упоминается в: Аросева О. Прожившая дважды. М.: Астрель, 2012. С.31.

³⁹ Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневников Ф. Чуева. М.: Терра, 1991. С. 68.

⁴⁰ Ныне ст. Баневурово.

⁴¹ В памяти Н. Иванушко отложилась дата июнь-июль 1938 г. (см. об этом: Калашникова Ю. Незнакомец по имени... Мандельштам // Дальневосточные ведомости (Владивосток). 2010. 31 марта. Цит. по: Марков В. Очевидец. К 75-летию гибели Осипа Эмилевича Мандельштама. Документально-историческое эссе // Рубец. Тихоокеанский альманах. Вып.13. Владивосток. 2013. С. 231).

Прошли годы, — и о Мандельштаме вспомнили — и больше не собираются о нем забывать⁴².

Эшелонные списки: попутчики

В Российском государственном военном архиве хранится документация конвойных войск НКВД — ценнейший источник по российской истории. Сколько тысяч эшелонов прошло через них, сколько миллионов душ — эков и спецпоселенцев, своих или чужих, военнопленных, — они отэтапировали!

Дела в фонде конвойных войск систематизированы по полкам, так что найти здесь конкретного человека — все равно что иголку в стогу. Но Николаю Поболу и его легкой руке чудом удалось в 2001 году обнаружить документы, относящиеся к этапированию именно мандельштамовского эшелона⁴³.

...Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом...
— Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Этот список дважды публиковался полностью: в 2008 году, в дальневосточном альманахе «Рубеж» и в 2010 году, в книге «Слово и „Дело“ Осипа Мандельштама»⁴⁴. Признаться, мы рассчитывали на то, что его прочтут и на него отзовутся родственники тех, кто увидел и узнал бы «своих» в этих нескончаемых строчках. Но не отозвался, увы, никто.

Конечно, мы переоценивали силу и проникаемость печатного слова — этого «старееющего сына» глиняных табличек и папирусов.

⁴² . А история с запиской должна стать предметом отдельного дорасследования.

⁴³ РГВА. Ф. 18444. Список 2. Д. 203. Л. 75—122. Тут следует с благодарностью отметить и консультации А. Гурьянова. См. о находке в: *Собеседник на пиру*, 2013. С. 14, 417—430.

⁴⁴ См.: *Нерлер П., Побол Н. Мандельштамовский эшелон. К 70-летию гибели поэта // Рубеж. 2008. № 8. С. 249—267; Нерлер, 2010. С. 113—134. Список подготовлен совместно с Н. Поболем. В примечаниях к нему даются краткие биографические справки о тех, о ком хоть что-то удалось установить.*

Как только небольшой фрагмент списка — всего несколько десятков еврейских фамилий, выбранных из перечня тех лишь, кого, как и Мандельштама, делегировали в эшелон Бутырки, — оказался в интернете, на сайте сетевого журнала «Заметки по еврейской истории»⁴⁵, немедленно были получены первые отклики, ощутимо расширяющие или уточняющие наши знания⁴⁶.

Первым отозвался Элеазер Рабинович из Нью-Джерси, сын Меера Рабиновича, 1893 г. р., механика, 2 августа 1938 года — в тот же день, что и Мандельштам, — осужденного за контрреволюционную деятельность: *«Я совершенно потрясен увидеть имя отца в одном списке и одном поезде с Мандельштамом. Отец, конечно, понятия не имел, с кем он ехал, и никогда не рассказывал о Мандельштаме»*.

Меер Лейзерович Рабинович, родился в Минске в 1893 году. В 1923 году женился на Брохе Медалье, дочери главного московского хасидского раввина Шмарьяху-Иегуда-Лейба Медалье (1872—1938). Был рабочим высокой квалификации, специализировался на ремонте зубоорудования. Глубоко религиозный человек, состоял одно время в Совете Московской хоральной синагоги, главным раввином которой был его тесть. Тестя арестовали 4 января 1938 года и уже 26 апреля, на второй день после Пейсаха, расстреляли.

Меера же арестовали 9 июня 1938 года и приговорили к 8 годам ИТЛ. Провел он их на Колыме. Освободился летом 1946 года и поселился в Петушках, в зоне 100 км от Москвы. 14 февраля 1949 года его арестовывают вновь, приговаривают к вечной ссылке и отправляют на поселение в глухую деревню в Красноярском крае, откуда он сумел перевестись в райцентр Большая Мурта. Осенью 1954 года, после смерти Сталина, ему разрешили вернуться из «вечной ссылки», но в Москве вплоть до 1955 года не прописывали, хотя и за нарушениями режима не следили. В феврале 1959 года Меер Рабинович умер от простого гриппа.

Вторым «нашедшимся» человеком из еврейского списка мандельштамовского эшелона оказался Эммануил Соломонович Гольдварг, родившийся 1 апреля 1917 года в селе Яковка Березовского района Одесской области. Перед арестом проживал на станции Пушкино Московской области. Работал в Москве техником радиоузла в Цен-

⁴⁵ *Нерлер П.* Цинберг, Александров и Герчиков... Еврейский след в истории последних дней Мандельштама. К 75-летию со дня гибели поэта // Заметки по еврейской истории. 2013. № 11. В сети: http://www.berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer11_12/Nerler1.php

⁴⁶ Надо сказать, что наш опыт массового сличения этого списка и ряда других имен с уникальной мемориальной базой данных «Жертвы политического террора в СССР» (<http://lists.memo.ru>) показал сравнительно небольшую квоту совпадений.

тральном доме культуры железнодорожников⁴⁷. Вспомнивший его Л. Флят виделся с ним в Израиле и запомнил, что его лагерный стаж составил примерно 16—17 лет, что заставляет предположить, что он, как и М. Рабинович, был одним из повторников. В начале 1990-х гг. он репатриировался в Израиль, жил в Тель-Авиве, где и умер 31 декабря 2006 года, не дотянув всего 3 месяца до 90-летия.

Третьим «нашедшимся» был Авив Аросев, так и не доехавший до «Второй Речки»: о нем уже говорилось.

Кстати, все тот же сетевой журнал «Заметки по еврейской истории» помог уточнить или пополнить не только список попутчиков, но и список солагерников поэта.

Публикация в «Заметках» воспоминаний химика и сиониста Моисея Герчикова, в апреле 1939 года проследовавшего через пересылку из Беломорска на Колыму, вывела на еще одну еврейскую «ниточку». В лагере ему рассказывали, что прошлогодний декабрьский сypняк унес жизни не только близкого ему и по духу, и по профессии Сергея (Израиля) Лазаревича Цинберга (1872—1938), но и поэта Осипа Мандельштама⁴⁸.

Цинберг — историк еврейской литературы, библиограф и публицист, добрый знакомый Горнфельда. Химик по образованию, он возглавлял еще и химическую лабораторию Кировского завода. Его арестовали в Ленинграде 8 апреля 1938 года и приговорили к 8 годам ИТЛ.

Прибыл он на пересылку 15 октября 1938 года, то есть на три дня позже Мандельштама. А умер 28 декабря того же года — всего на один день позже, чем Мандельштам!⁴⁹ При этом сообщалась деталь, на удивление совпадающая с тем, что рассказывал о мандельштамовской смерти Ю.И. Моисеенко: «По рассказу очевидца, группу заключенных, в которой был Ц., погнали в баню, после чего долго держали на улице, не выдавая одежды, в результате многие заболели и умерли»⁵⁰.

Подразумеваемым тут очевидцем был, по всей вероятности, другой гебраист, находившийся в том же лагере, — историк и со-

⁴⁷ Книга памяти Московской обл. Личное дело: Р—15890.

⁴⁸ См.: Герчиков М. Пути-дороги // Сетевой альманах «Еврейская старина». 2006. № 11. Гл.7. В сети: <http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm>. Реабилитированный в 1963 г., Моисей Герчиков (1904—1966) свои воспоминания записал в Ленинграде незадолго до смерти.

⁴⁹ См.: Элиасберг, 2005. С. 140—148. М. Бейзер сообщает о другой дате — 3 января 1939 г. (Bejzer M. New information on the life of Izrail Zinberg // Soviet Jewish Affairs. 1991. Vol.21. No.2. P.35)

⁵⁰ См. о нем в «Электронной еврейской энциклопедии» (<http://www.eleven.co.il/article/14623>) и в: Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1991). СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. (В сети: <http://memory.pvost.org/pages/aleksandrov.html>)

циолог Гилель Самуилович Александров (1890—1972). Он был осужден и прибыл на Вторую Речку еще осенью 1937 года, попал в отсек и был оставлен для работы в регистратуре. Перед смертью Цинберг просил его позаботиться о своем архиве (точнее, о той его части, что не погибла в НКВД), как и о том, чтобы имя его не было забыто. Вернувшись в Ленинград в 1959 году, Александров не преминул это сделать и занялся исследованием архива Цинберга, переданного семьей на хранение в ленинградский филиал Института востоковедения АН СССР (фонд 86)⁵¹. Как знать, может отыщется архив и самого Гилеля Александрова?..

Эшелонные списки: социальный автопортрет страны

Поистине вся огромная советская страна сошлась и отразилась в этих будничных для НКВД документах! Вглядимся в них попристальнее.

На истреваемой, какая попадется, бумаге, иногда папиросной, — эшелонные списки. Нестройные колонки слов и цифр — иногда только имена, но нередко еще и профессии, возраст, статьи, сроки...

Практически все из списка Бутырской тюрьмы были осуждены или за контрреволюционную или антисоветскую деятельность, или за агитацию, или по подозрению в шпионаже, или как СОЭ — «социально-опасный элемент»⁵².

Но поражает социальная широта списка: кого тут только нет! В основном это рабочие и колхозники — каменщик, электромонтер, плотник, землемер, инженер, торговый работник, техник-конструктор, экономист, бухгалтер, иногда мелкие хозяйственники, и подозрительно много учителей.

Тут весь советский народ, от лица и от имени которого якобы существует и говорит советская власть!

Бросается в глаза и то, как непропорционально много людей с прибалтийскими, финскими, немецкими и, само собой, еврейскими фамилиями. Много и русских, но родившихся за пределами СССР, в той же Прибалтике. Наша постоянная шпиономания!

Главный, наверное, вывод после прочтения эшелонного списка: осужденная партийная, советская, военная и чекистская номенклатура — лишь капля в океане репрессированного народа. Самый

⁵¹ См. публикации Г. Александрова об этом архиве в журнале «Советише геймланд» (1965. №№ 2 и 3).

⁵² Исключения составляли лишь двое, осужденные за педерастию, и два оперативных работника, совершившие должностные преступления.

большой начальник из ехавших с Мандельштамом — это Тришкин, беспартийный секретарь захудалого Высокиничского райисполкома⁵³.

Идея уничтожения непосильным трудом — не сталинская и не гитлеровская. Она ничья, как и все, что носится в воздухе⁵⁴.

В сущности, лагерь — та же «вышка», только растянутая во времени. На общих работах на Колыме долго было не протянуть никому, и если бы не 5 марта 1953 года («...И, клубясь, издох питон»), то мало кто вообще бы вернулся.

Этот день — 5 марта — вполне заслуживает того, чтобы стать всенародным праздником и нерабочим днем.

«Вторая Речка». И синее море!

...Итак, 12 октября 1938 года, в среду, мандельштамовский эшелон прибыл на безлюдную станцию «Вторая Речка», в 6 км к северу от тогдашнего Владивостока.

Замедляясь и переставая стучать колесами по стыкам, переходя на скрип и лязг, состав остановился. И только в эзких ушах долго еще раздавался, все не уходил этот перестук — пыгы-пыгы, пыгы-пыгы, пыгы-пыгы...

За месяц отвыкшие от движения и отекие от лежания тела словно целиком сковало и свело: так затекала иногда нога или рука, — но чтобы все тело? Легкие привычно втягивали в себя спертую и парашную атмосферу запертого вагона, как вдруг слева, сквозь решетчатые окна и щели влетели струйки свежего соленого воздуха...

Море? Океан?..

И тут же — сквозь гудящую смесь стоящего в ушах перестука и тишины прорвался совершенно новый, неожиданный и гортанный, звук: те, кто рос или жил на берегах морей или хотя бы больших рек, сразу же узнали его, — чайка! крик чайки!

Так, значит, океан? Значит, приехали? Значит, конец пути?..

Обычно эшелоны с «врагами народа» ставили на запасной путь под разгрузку рано утром: выгрузка из вагонов и передача невольников из одних рук в другие занимала часа четыре-пять, не меньше.

⁵³ Впрочем, есть одно занятное исключение — В.М. Потоцкий (№ 132 в списке Бутырской тюрьмы), портной, обвиненный в преступлении по должности. Интересно, какое должностное преступление может совершить портной? Оказывается, на самом деле этот «портной» — начальник отдела НКВД Башкирской АССР (в то время не было специальных лагерей для чекистов, и его закамуфлировали под портного). Впрочем, судя по мандельштамовскому следователю — Шиварову (*Нерлер*, 2010. С. 27—29), им и в лагере жилось, не в пример прочим заключенным, куда как вольготней. Ворон — ворону...

⁵⁴ *Хурлес*, 2012. С. 543—545.

Один за другим, но только поодиночке настезь открывались и опорожнялись вагоны. Лестниц или сходней не было, и измученные дорогой и ослепленные дневным светом люди спрыгивали с полутораметровой высоты прямо на щебенку или на землю. Иные падали, подворачивали затекшие ноги, а те, кто спрыгнуть не мог, садились на край и свешивали ноги вниз: медленно переваливаясь, они соскальзывали в распростертые руки тех, кто уже был внизу...

Съехал на землю и Мандельштам в своем истрепанном эренбургском пальто — желтом кожаном реглане. Его вагон был в хвосте поезда, и если посмотреть назад, то открывалась живописная перспектива: с одной стороны и до горизонта — зеленые сопки, с другой — и всего в сотне метров — серо-голубой океан... Тихий, спокойный, ручной.

«На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушкó!..», — молил когда-то поэт.

Вот и получил — на игольное только ушкó, точь-в-точь, тютельница в тютельница!..

«Сдал — принял»

Между тем длинная змея красно-коричневых вагонов, с их решетками, пулеметами и прожекторами, ушла на запасной путь — дожидаться конвоя.

А 700 человек построили в колонну по пятеро в ряд, окружили свирепым кольцом с собаками и повели в сторону сопки. Конвоировали не спеша, понимая, что после месячной полуголодной неподвижности в запертом товарном вагоне тело еще не привыкло к движению, каждый шаг давался с трудом.

А идти, все забирая в гору и не останавливаясь, — четыре километра.

...Часа через два, когда появились вышки и забор с колючей проволокой, стало понятно, что уже пришли.

Сто сорок пятерок медленно вплывали в широкие ворота КПП⁵⁵, украшенные каким-то дежурным лозунгом. С обеих сторон колонны стояли офицеры и пересчитывали ряды. Эшелонный конвой передавал свой «груз» лагерной охране: «эшелон сдал» — «эшелон принял».

«Акт приемки» датирован 12 октября 1938 года. Его подписали начальник эшелона Романов и целая приемная комиссия Владивостокского отдельного лагпункта Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД (СВИТЛ) — начальник учетно-распределительной

⁵⁵ Контрольно-пропускной пункт.

части по фамилии Научитель; врид начальника санчасти, главврач Николаев, начальник финчасти Морейнис и врид начальника Отдела учета и распределения Владивостокского райотделения Управления НКВД Козлов.

Принято было ровно 700 человек — 643 мужчины и 57 женщин, и все, согласно акту, здоровые. Хотя в этом как раз стоило бы и усомниться: если верить акту, то и горячая пища в пути выдавалась каждодневно, а эшелон сопровождал некий военврач, фамилия которого не указана. И понятно, почему не указана: согласно командировочному предписанию — никакого врача в эшелоне не было!

Пересылка: врата Колымы

Старожилы — те, кого выбросили в этот лагерь из таких же эшелонов раньше, — высыпали к проволоке поглядеть на пополнение. Тысячи пар глаз искали среди прибывших знакомых и друзей, может быть, родню.

Осматривались и новички. Сразу после сдачи-приемки началось их распределение по зонам.

Первыми отделили женщин от мужчин, потом «политических» («контриков») от «урок». Это было большим облегчением для «контриков»: оставалась более или менее своя среда — с общим прошлым, общими разговорами и общими интересами.

Потом начали тасовать самих «контриков». Часть погнали еще в какую-то зону. «Привет огонькам большого города» — насмешливо встречала их обслуга зоны.

Лагерь в 4 км от станции «Вторая Речка» существовал с 1932 года и имел официальное название: Владперпункт (Владивостокский пересыльный пункт). Именовали его и транзитной командировкой Владивостокского ОЛП⁵⁶, а также пересыльным лагерем Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ) или Главного управления строительства Дальнего Севера⁵⁷. В обиходе — пересылкой или транзиткой.

За аббревиатурами скрывалось административная структура «Дальстроя» — государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Основанный в 1932—1933 гг. для комплексного освоения и эксплуатации природных ресурсов Северо-Востока Сибири, он нашел и проявил себя главным образом на колымском золоте, а после 1938 года — еще и на

⁵⁶ Отдельный лагерный пункт.

⁵⁷ Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923—1960. Справочник / Сост. М.Б. Смирнов. М., 1998. С. 187.

олове. С самого начала «Дальстрой» был могущественной организацией, государством в государстве — своего рода «Ост-Индской компанией», независимой от всяких там местных властей. Начиная с 4 марта 1938 года, «Дальстрой» передается в прямое ведение НКВД СССР с преобразованием его в Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой». К этому времени «Дальстрой» приобрел черты горнопромышленного монстра, пожирающего многоотраслевого, оснащенного техникой треста.

В течение почти двадцати лет⁵⁸ Дальстрой ежегодно получал почти по несколько десятков тысяч эзков (в 1938 и 1939 гг. — примерно по 70 тыс. чел.)⁵⁹, но из-за высокой смертности общая численность работников на Колыме редко превышала 200 тысяч душ одновременно, из них 75—85 % составляли заключенные⁶⁰. Всего же за 1932—1953 гг. в системе Дальстроя перебывало около миллиона человек⁶¹. К 1939 году Магадан окончательно утвердился в сознании как административный центр «Дальстроя» — а, стало быть, и Колымы как его синонима,

Первым начальником «Дальстроя» был знакомый Шаламов еще по Красновишерску Эдуард Петрович Берзин (1893—1938)⁶²: его арестовали 29 ноября 1937 года, в поезде Москва — Владивосток, на станции Александров, и расстреляли 1 августа 1938 года. Вторым — с 21 декабря 1937 по октябрь 1939 гг. — старший майор гб Карп Александрович Павлов (1895—1957, покончил жизнь самоубийством). При Павлове начальником УСВИТЛа (с 21 декабря 1937 по 27 сентября 1938 гг.) был полковник Степан Николаевич Гаранин (1898—1950), прославившийся своими расстрелами, личным садизмом и жестокостью⁶³. Мандельштам попал во Владивосток уже после ареста Гаранина в сентябре 1938 года и накануне замены его на капитана

⁵⁸ В 1953 г. имущество Дальстроя было передано Министерству горнорудной промышленности.

⁵⁹ Эту аббревиатуру некогда знали буквально все: она происходит от «з/к», что означало «заключенный-колонирист», или, фактически, просто «заключенный».

⁶⁰ См.: Широков А.И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000; Бацаев И.Д. Особенности промышленного освоения Северо-Востока России в период массовых политических репрессий. 1932—1953. Магадан, 2002; Навасардов А.С. Транспортное освоение Северо-Востока России в 1932—1937 гг. Магадан, 2002; Bollinger M.J. Stalin's Slave Ships. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2003.

⁶¹ Согласно А.Г. Козлову — 876 тыс. чел. (Козлов А.Г. В период «массового безумия» // <http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=389>)

⁶² Он «начинал» еще в 1931 г. на строительстве Красновишерского целлюлозно-бумажного комбината.

⁶³ После следствия в Магадане Гаранин был переведен в Москву, а с мая 1939 г. находился в Сухановской тюрьме, но вину нигде не признал. Осужден ОСО при НКВД СССР в январе 1940 г. «за участие в контрреволюционной организации» на 8 лет ИТЛ; впоследствии срок заключения был во внесудебном порядке продлен. Умер в 1950 г. в Печерлаге МВД. В 1990 г. реабилитирован.

гб Ивана Васильевича Овчинникова (работал с 14 октября 1938 года до 10 февраля 1939 года).

В 1935 году начальником пересыльного лагеря был Федор Соколов⁶⁴. Осенью 1938 года, по свидетельству Д.М. Маторина, начальником был некто Смык, а комендантом, по свидетельству Е.М. Крепса, — Абрам Ионович Вайсбург, сам из бывших ссыльных. Оба оставили по себе добрую память относительной незлобностью.

Назначение лагеря — быть перевалкой для бесконечной рабсилы, завозимой с материка на Колыму. А также для обратного ручейка — тех, кого вызвали на переследствие, или тех, кто, если выжили, отбыли свой срок на Колыме и не подошли.

Пересыльный лагерь был своеобразным ситом и сортировочным пунктом сразу в нескольких смыслах слова. Во-первых, политических («контриков») тут отделяли и содержали отдельно от уголовных («урок»), что было для первых огромным, хотя и кратковременным, облегчением. Во-вторых, людей сортировали по их физическому состоянию. Более крепких и сравнительно здоровых отправляли морем на Колыму, остальные же попадали в «отсев» (часть зимовала на пересылке, а большинство — в основном, инвалиды — направлялось на запад, в Мариинские лагеря недалеко от Кемерово).

Сроки индивидуального пребывания в транзитном лагере были непредсказуемы. Четверка дальстроевских пароходов — «Джурма», «Дальстрой» (бывший «Ягода»), «Кулу» и «Николай Ежов» (будущий «Феликс Дзержинский») — лишку не простаивала. Одна только «Джурма» — крупнейший из пароходов — могла забрать в свои трюмы население трех-пяти эшелонов, если только допустить, что все эти люди работоспособны на Колыме.

Одних гнали в трюмы и на Колыму буквально назавтра после приезда, другие кантовались месяцами, а третьи умели так приспособиться к требованиям начальства, что жили здесь годами. Попавших в отсева и не зацепившихся за этот лагерь ждали Мариинские инвалидные лагеря.

Пересылка: лагерь

Место для пересылки было выбрано безлюдное и в то же время доступное. Лагерь был вытянут по долине Саперки и занимал около 7 гектар. Территория была испещрена частой сетью водосточных каналов, необходимых при ливневых дождях.

Баракы оседлали пологий южный склон Саперной сопки⁶⁵, так что из лагеря хорошо были видны, пусть и вдалеке, и Амурский за-

⁶⁴ Бацаев, Козлов, 2002. С. 254.

⁶⁵ Однако северный склон сопки был достаточно крут; внизу протекала речка Саперка, ныне забранная в трубу.

лив, и сопки — и покрытые тайгой, и лысье⁶⁶. На одной из них было заметно укрепление — один из люнетов Владивостокской крепости.

Особо приветливым это место не назовешь. Тем не менее пересылка была сравнительно благополучным и обжитым лагерем: обтянутые брезентом добротные бараки из доски-шестерки⁶⁷, трехэтажные нары в них (в летние месяцы бывал и четвертый «слой» — стихийный: лежали и на полу), «буржуйки».

Да и начальство особо не зверствовало — сказывался, возможно, гаранинский шок. В пределах своей огороженной зоны по лагерю днем можно было свободно передвигаться, двери бараков закрывались только на ночь — ходи из одного в другой и общайся⁶⁸. В сочетании с бархатной осенью эта свобода внутри несвободы воспринималась как подарок судьбы.

Пересылка состояла из двух частей: в первой находились уголовники, или «урки» (около двух тысяч человек), во второй — политические, или «контрики».

В центре, в учетно-распределительной («ничейной») зоне, — административное здание и несколько в глубине — двухэтажная, буквой «П», деревянная больница-стационар на 100 коек в зимнем режиме и на 350 в летнем (за счет доразмещения в палатках). Рядом — амбулатория пропускной способностью до 250 человек в сутки, аптека⁶⁹.

Здесь, как бы в центре лагеря, всегда толкался народ из разных бараков, шел перманентный торг и обмен.

Напротив КПП — пищеблок, а в противоположном конце лагеря — в глубине урочьей зоны — находилась баня с прожаркой. Рядом с ней — небольшой карьер, откуда и Мандельштам с Хитровым перетаскивали на тачке камень.

⁶⁶ Сама территория лагеря и даже его конфигурация в течение длительного времени не подвергалась изменениям благодаря тому, что все это перенял так называемый «экипаж № 15110» — одна из учебных военно-морских частей Тихоокеанского флота. Из построек 1930-х годов на территории «экипажа» частично, но всё же до самого конца сохранялись здания пищеблока и больницы. В 2007 г. экипаж окончательно ликвидировали, а его бывшую территорию поглотил город — теперь уже вся территория бывшего лагеря застроена. С юга «лагерь» был ограничен нынешней Днепровской улицей, с севера — Печерской, а с востока — Областной, долгое время служившей северным выездом из города. Ныне вся территория и железнодорожной станции, и лагеря, и причала находится в пределах городской черты Владивостока. А «Вторая Речка» — это название большого городского микрорайона. Местность же, где располагалась пересылка, называется «Моргородком».

⁶⁷ Из-за брезента некоторые поначалу и вовсе воспринимали их как палатки.

⁶⁸ При крайней необходимости пробирались из барака в барак и ночью, как, например, в случае Хинта, хотевшего повидать Мандельштама, но уезжавшего утром на запад, на переладствие.

⁶⁹ Из доклада начальника перпункта Ф. Соколова за 1935 г. (*Бацаев, Козлов, 2002. С. 254*). И.К. Милютин, единственный, сообщает о двух печах для сжигания трупов умерших (*Милютин, 1997*).

Та часть лагеря, где содержались «контрики», называлась «Гнилой угол», или «Тигровая балка», причем в ней были три обособленные зоны: мужская (на 5—7 тыс. чел.), женская (на 2 тыс.) и «китайская» (на 3 тыс. — для эмигрантов из Харбина и китайцев Приамурья). В зоне «контриков» стояли комендантский барак и больничка на двенадцать коек (изолятор). В отгороженном от глаз дощатым забором домике в китайской зоне располагалась своего рода «шарашка» местного значения — так называемый лагпункт № 1, или конструкторское бюро, обслуживавшее нужды города и Дальстроя. Женская зона представляла собой огромный огороженный колючей проволокой и основательно загаженный двор, пропитанный запахом аммиака и хлорной извести.

Между зонами — десятиметровые полосы, в которые на ночь выпускали собак. Женская зона была огорожена двумя дополнительными рядами колючей проволоки, а «китайская» — забором.

В лагере — около 20 добротных барачков, каждый емкостью примерно в 600 человек. Итого пропускная способность лагеря — 10—12 тысяч эков⁷⁰. Но в теплое время — в предвкушении транспорта и Колымы — здесь скапливалось гораздо больше людей. Многие ночевали четвертым барачным слоем — под нарами или же прямо на улице. Зимнее население лагеря было, конечно, много меньше⁷¹.

Баракы были царством крупных черных клопов и жирных бесцветных вшей. Редкий мемуарист забывал помянуть этих незабываемых насекомых. Они господствовали по всему лагерю, переползая из зоны в зону. И даже прожарка не помогала.

С ними распозались тиф и дизентерия, «высвобождая» нары и лучшие места в бараках для все новых и новых последующих. Но ожидаемой эпидемии сыпняка осенью еще не было — она ударила в декабре-январе.

Чем кормились клопы и вши мы уже знаем, а чем кормились люди? Один вспоминал: баланда (похлебка из крупы или чечевицы), перловая каша, иногда кусок селедки, летом даже зеленые помидоры. По словам другого (лагерного раздатчика и будущего академика), рацион был такой: утром — хлеб, сахар-рафинад (два кусочка) и кипяток, на обед и ужин — баланда, разваренное мясо или рыба, каша (перловка или соевая).

Перед завтраком всех заставляли пить заменитель витаминов — смолисто-мыльную, на сырой воде, хвойную настойку: считалось, что она помогает от цинги. Десны с зубами она, может, и стягивала,

⁷⁰ Е.М. Крепс назвал меньшую цифру — 2 тыс. чел. — из расчета 100 человек на барак, но, вероятно, он имел в виду лишь одну из зон. В мужской зоне было два ряда по 10 барачков, нары в бараках, в основном, трехэтажные. В.М. Меркулов говорил о 40 тыс. эков в пиковые периоды (по прикидке Ю.И. Моисеенко — около 20 тыс.).

⁷¹ Согласно инженеру Н.Н. Амагову, прибывшему в лагерь 31 декабря 1937 года, новый 1938 год там встречало около 3 тыс. чел.

но пить этой пойло было явным испытанием испытанием рвотных рефлексов.

Режим был нестрогий: бараки закрывались только на ночь — с 10 вечера (кувалдой по рельсине) до 6 утра. В остальное время броди по своей зоне как хочешь.

Солагерники

Разного рода источники донесли до нас имена более чем 40 человек, находившихся с поэтом в одном лагере и так или иначе перекававшихся с ним, по меньшей мере разговаривавших.

Некоторые приехали сюда прежде Мандельштама: Дмитрий Маторин, Василий Меркулов, Евгений Крепс, Давид Злотинский. Гилель Александров.

Другие — приехали сюда вместе с ним, в одном эшелоне. Но задокументированы контакты лишь с одним из них — с Хитровым.

Иные приехали в лагерь позднее Мандельштама: Юрий Моисеенко, Юрий Казарновский, Сергей Цинберг.

Один — Хинт — возвращался с Колымы на переследствие.

Многие жили с ним в одном бараке: Иван Милютин, Казарновский, Моисеенко, Иван Ковалев, Владимир Лях, Степан Моисеев и Иван Белкин.

В других бараках, но в той же зоне «контриков», жили Хитров, Хазин, Меркулов, Крепс и Маторин, но не исключено, что Маторин — по крайней мере какое-то время — жил в так называемой «китайской» зоне.

Одних со временем увезли на Колыму — Милютин, Крепса, Хитрова.

А других — в Мариинские лагеря: Меркулова, Злотинского и Моисеенко. В Мариинские лагеря, наверняка попал бы и Мандельштам, останься он жив.

Немало было и таких, кто не был на пересылке в это время, но кто жадно ловил и собирал слухи и сведения о нем, кто бы их ни привез. Из таких — Игорь Поступальский, Варлам Шаламов, Нина Савоева.

Некоторых свидетелей подводила память или, скорее, их информаторы, когда они сообщали о третьих лицах: мол, те сидели с Мандельштамом в одно время и в одном месте. Особенно часто мерещился Бруно Ясенский, автор «Человек меняет кожу», к этому времени уже давно расстрелянный⁷². Такие же aberrации коснулись пушкиниста

⁷² Его «видели» или о нем слышали и Моисеенко, и Злотинский, и Баталин, и Герчиков. Разгадка этого феномена, возможно, в надписи, вырезанной на до-

Юлиана Оксмана, проехавшего через пересылку в самом начале 1938 года, и художников Николая Лансере⁷³ и Василия Шухаева⁷⁴

Одиннадцать недель на пересылке: историография и методология

Мандельштаму оставалось прожить здесь, на пересылке, 77 дней — ровно 11 недель.

Об этой тоненькой, последней полоске его жизни поколениями исследователей выявлено и собрано не так уж и мало свидетельств.

Прежде всего — это заключительные главы «Воспоминаний» Надежды Яковлевны Мандельштам. Главные ее информаторы — Юрий Алексеевич Казарновский, биолог Василий Лаврентьевич Меркулов (он же «агроном М.»), студент-физик Евгений Константинович Хитров (он же «физик Л.»), а также Самуил Яковлевич Хазин. С Казарновским она встретилась в Ташкенте еще в 1944 году, а остальные нашли ее через Илью Григорьевича Эренбурга, прочитав о Мандельштаме в его воспоминаниях «Люди. Годы. Жизнь». Очень важный источник — письмо Давида Исааковича Злотинского Эренбургу: Эренбург переслал его Надежде Яковлевне, но она не учла его в своей книге, как и коротенький мемуар Ивана Корнильевича Милютин⁷⁵, переданный ей через Ахматову. В распоряжении биографов были и рассказы сокамерников Мандельштама — Евгения Михайловича Крепса, Владимира Алексеевича Баталина (отца Всеволода) и Меркулова, записанные известным коллекционером Моисеем Семеновичем Лесманом. А также полученные от Марка Ботвинника⁷⁶ имена еще двух сокамерников Мандельштама — альпиниста Михаила Яковлевича Дадиомова и библиотекаря и учителя танцев Леонида Викторовича Соболева, проживавшего в Москве по адресу: Бутиковский переулок, 5, кв.31⁷⁷.

ске в стене одного из барakov: «Здесь лежали писатель Бруно Ясенский и артист МХАТа — Хмара» (Хургес, 2012. С. 497—498).

⁷³ Имеется в виду архитектор-художник Николай Евгеньевич Лансере (1879—1942)

⁷⁴ О нем вспоминали Крепс и Моисеенко.

⁷⁵ Может быть, из-за критического по отношению к Мандельштаму настроения, которым проникнуты эти воспоминания.

⁷⁶ Марк Наумович Ботвинник (1917—1994) историк-античник. Сам был арестован в январе 1938 г. (по одному делу с И.Амусиным), вышел на свободу в конце 1939 г. (сообщено С.Б. Кулаевой, его внучкой)

⁷⁷ Л.В. Соболев проживал по этому адресу по меньшей мере до середины 1980-х, далее его следы теряются (дом не сохранился). А вот о М.Я. Дадиомове (1906—1976; уточнением самой его фамилии и рядом других подробностей я обязан Г. Суперфину) удалось узнать больше. Один из первых альпинистов Казахстана, он был

Были также и наши собственные записи аналогичных рассказов Дмитрия Николаевича Маторина (его опрашивала также С.Н. Неретина), Евгения Михайловича Крепса (с ним разговаривали также Марк Ботвинник и Евгений Эмильевич Мандельштам, младший брат Осипа) и Игоря Стефановича Поступальского. Волна мандельштамовского юбилея в январе 1991 года вынесла наверх еще одного ценнейшего очевидца — Юрия Илларионовича Моисеенко (его опрашивали Эдвин Лунникович Поляновский и мы с Поболем).

Наконец, многие точки над *i* расставило тюремно-лагерное дело Мандельштама, впервые обнаруженное в 1988 году в магаданском областном архиве МВД при активном содействии сотрудников Центрального архива МВД СССР В.П. Коротеева и Н.Н. Соловьева. То же можно сказать и подконвойных списках того эшелона, с которым Мандельштам прибыл на пересылку (соответствующее дело в марте 1998 года обнаружил в Российском государственном военном архиве Поболь). Масса деталей об этапе и о пересыльном лагере под Владивостоком — в многочисленных воспоминаниях бывших заключенных, а также в публикациях владивостокского краеведа Валерия Михайловича Маркова.

...Разъясв все эти рассказы, часто путанные, на отдельные факты — как бы на кирпичи — и сдув с них строительный мусор, приходишь к рискованному желанию: а не построить ли из них заново то, что согласится построиться?

Попробуем же, суммируя все собранные свидетельства⁷⁸ и лавируя между их скудостью и противоречивостью, огибая информаци-

в группе Е. Абалакова, в 1936 г. впервые поднявшейся на Хан-Тенгри (6995 м). На спуске Дадиомов едва не погиб: он жестоко обморозил ноги и руки, все 20 пальцев подверглись в той или иной мере ампутации. В это время Дадиомов жил в Москве, работал инженером в проектной организации «Союзпродмашина» (см.: *Захаров П.П.* Дадиомов Михаил Яковлевич — легенда советского высотного альпинизма. В сети: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6170). В марте 1938 г., чуть ли не с больничной койки, М. Дадиомов был арестован по делу о «контрреволюционной фашистской террористической и шпионской организации среди альпинистов» под руководством заслуженного мастера спорта по альпинизму и дипломата В. Семеновского (см. *Корзун И.* Воспоминания. В сети: http://www.the-ratner-family.com/Korzun_memoirs.htm). В 1939 г. Дадиомов был отправлен на поселение в Казахстан и в конце концов так и остался в Алма-Ате, где стал одним из организаторов восходительского движения в Казахстане. Несмотря на все увечья и испытания, он и в 1956 г. был в состоянии выполнять нормы мастера спорта по альпинизму!

⁷⁸ Из четырех десятков лиц, с которыми Мандельштам в пересыльном лагере контактировал, около десяти оставили свидетельства о поэте. Довольно полным и, отчасти, критическим их сводом, а также обзором материалов из государственных архивов России является глава «Вторая Речка: последние месяцы жизни» в: *Нерлер, 2010. С. 135—157.* Этот источник как бы представляет за все другие, в нем

онные мели и избегая водоворотов, проплыть по фарватеру судьбы поэта и еще раз посмотреть, чем были заполнены последние дни его жизни.

Применим ко всему сообща разысканному презумпцию нефальсифицированности, но и не будем испытывать обязательств перед мифическим или бредовым⁷⁹. Отдавая себе отчет в том, что такое «абerrация памяти», постараемся в меру сил воссоздать событийную канву этих коротких последних одиннадцати недель⁸⁰.

Воображению позволим включаться лишь там, где иначе никак не восстановить небольшие звенья общей цепи, начисто отсутствующие в источниках.

«Эмильевич» Первая неделя (13—19 октября)

...12 октября пришлось на среду.

Было солнечно, но в четверг с юго-востока задул ветер, небо заволокло тучами, пошел дождь и прогремела гроза. В пятницу задудло уже с севера, 10—15 метров в секунду — не ураган, но ощутимо для измученного тела. Температура не выше 8—10 градусов. Но уже в субботу, 15 октября, как это бывает в Приморье, хорошая погода установилась вновь и продержалась почти две недели. Воздух прогрелся до 15 градусов, что значительно выше средней.

Пересыльный лагерь в эти дни был чудовищно перенаселен. Новичкам было некуда воткнуться и негде притулиться. Многие разместились на первую ночь прямо под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода, и мало кто рвался под крышу — на съедение вшам.

Уже назавтра всех новичков, прибывших 12 октября, осматривала комиссия, присваивавшая им группу трудоспособности. Колыма

адекватно представленные. К перечню первоисточников здесь прибавлено еще три: книга Э. Поляновского (*Поляновский*, 1993), лишь частично учтенная в (*Нерлер*, 2010), искрящееся подробностями оригинальное аудиointerview с Ю.И. Моисеенко (2003) и статья В. Маркова «Очевидец», содержащая — впервые — сводку его краеведческих разысканий (*Марков В. Очевидец. К 75-летию гибели Осипа Эмильевича Мандельштама. Документально-историческое эссе // Рубеж. Тихоокеанский альманах. Вып. 13. Владивосток. 2013. С. 202—231*). К сожалению, основным содержанием статьи явилось другое — недостойная и совершенно несостоятельная попытка развенчания Ю.И. Моисеенко как очевидца последних дней жизни Мандельштама.

⁷⁹ Байки про расчлененный труп Мандельштама в четырех ведрах, случайные оговорки про Сучан и некоторые другие «истории» см. в: *Марков*, 2013.

⁸⁰ Сведения о погодных условиях осенью и зимой 1938 г. даются по данным Пулковской обсерватории (сообщено Э.Г. Богдановой) и данным метеоролога А.А. Петрошенко (сообщено В.М. Марковым).

нуждалась все же в довольно крепких рабочих руках, а здоровяков тут было немного. Многие попадали в отсеб, среди них и Хитров, еще мальчишкой сломавший себе ногу, и, разумеется, Мандельштам.

Осип Эмильевич поначалу даже огорчился, что его не взяли на Колыму. Вопреки тому, что говорили опытные люди, ему все казалось, что в стационарном лагере будет легче, чем в пересыльном. Проецируя Воронеж на Магадан, он надеялся на то, что на Колыме больше порядка и больше возможностей для него найти себе интеллигентную «службу». Там его легче найдет Эренбург или Пастернак, которым наверняка позвонит Сталин, особенно после того как Мария Кудашева подобьет своего Романа Роллана написать о нем Сталину. И тогда — его отпустят!..

Но вскоре, наслушавшись историй, он осознал, что такое Колыма и перестал туда врать.

...Вопрос — в бараке или на улице? — для него даже не стоял. Он сходу попал в непарный 11-й барак у восточного края лагеря и зоны «политических», на северном склоне Саперной сопки, во втором ряду и самый верхний по склону (примерно в 500 м слева от КПП).

В бараке, где содержалось около 600 человек, большинство составляла «пятьдесят восьмая», в основном ленинградцы и москвичи, и эта общность судьбы и среды как-то скрашивала всем им жизнь, а точнее, примиряла с собой.

Мандельштам и других новичков встречал староста. Им, согласно Меркулову, был артист одесской эстрады, чемпион-четечочник Левка Гарбуз (его сценический псевдоним, возможно, Томчинский). Мандельштам он вскоре возненавидел — возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто — за что-то и преследовал его как мог: переводил на верхние нары, потом снова вниз и т. д. На попытки Меркулова и других урезонить его Гарбуз всплескивал руками: *«Ну что вы за этого придурка вступаетесь?»*

В середине ноября Гарбуз исчез — возможно на Колыму. Старшим стал Наранович, — бывший заведующий СибРОСТА-ТАСС, спецкор «Известий» и председатель радиокомитета в Новосибирске⁸¹ при секретаре Западно-Сибирского крайкома Эйхе.

Барак как социум был дважды структурирован. Номинально он был разбит на «роты», к которым приписывалось определенное ко-

⁸¹ Петр Федорович Наранович (1903-??) — с 1921 г. в компартии, на партийной или газетной работе в Таре, Омске и Новосибирске. В 1933 вышел из доверия и направлен начальником политотдела маслосовхоза Кабинетный в Чулымском районе края. В конце 1936 г. обвинен в связи с контрреволюционером-троцкистом Альтенгаузеном, после чего, как правило, следовали арест и осуждение (сообщено Е. Мамонтовой и С. Красильниковым — по материалам кадрового дела П.Ф. Нарановича в: Государственный архив Новосибирской области. Ф. П—3. Оп. 15. Д. 11845).

личество заключенных, а фактически состоял из компактных жилых гнезд нескольких десятков «бригад» по несколько десятков душ в каждой, состав которых складывался нередко еще в эшелонах и вполне демократически — волеизъявлением снизу.

Так, одна из «бригад» 11-го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она поначалу под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не удалось. Их старшим был самый младший по возрасту — 32-летний и единственный здоровый — Иван Корнильевич Милютин, инженер-гидравлик, до своего ареста (26 января 1938 года) служивший в Наро-Фоминском военном гарнизоне инженером⁸².

Староста подвел к нему Мандельштама к попросил взять его в свою группу. При этом он произнес: *«Это Мандельштам — писатель с мировым именем»*. Больше он ничего не сказал, ну а технарх Милютин и не стал уточнять: подумаешь, знаменитостей и среди его старичья хватало. Никаких разговоров с Мандельштамом Милютин по своей инициативе не вел.

В первую свою ночь в 11-м бараке Мандельштам уснул так крепко, как давно уже не засыпал. Уснул, не снимая ни обуви (какие-то полуботинки), ни свое желтое эренбургское пальто, успевшее превратиться в лохмотья настолько, что Маторин принял его за зеленый френч.

Жизнь — какая ни есть, а жизнь! — потекла своим порядком: голодали, ждали раздачи баланды, бросали в сторону вшей или выбивали их из одежды, ходили оправляться в чудовищные гигантские гальюны (уборные), спали на нехолодном еще октябрьском полу.

Худой, среднего роста, Мандельштам, несмотря на фактическую голодовку, вовсе не впал в отчаяние или астению. Ему — нервическому, моторному, привыкшему сноваť из угла в угол — было в своем бараке тесно. *«Быстрый, прыгающий человек... Петушок такой»*, — говорил о нем тот же Маторин. Выбираясь на улицу, он подбегал к запрещенным зонам, чем вечно раздражал стражу и начальство.

Днем Мандельштам все время куда-то уходил, где-то скитался. Как потом оказалось, он сошелся с какими-то блатарями и ходил к ним на чердак одного из барачков — читать стихи! Их главарь, по фамилии Архангельский, видимо, знал и ценил их еще до ареста. Гонораром

⁸² В конце ноября 1938 г. Иван Корнильевич Милютин (1906—1973) был отправлен на Колыму, плыл на «Дальстрое». Освободился в 1946 г., но 25 июня 1949 г. вновь арестован и отправлен в ссылку в с. Богучаны Красноярского края (на Ангаре). Здесь в 1950 г. он познакомился с Т.П. Лаговской, сосланной туда же, полюбил ее и женился на ней. Реабилитирован 24 апреля 1956 г., когда проживал в Минусинске. В 1957 Милютин с женой и тещей переехали в Эстонию, где в 1958 г., по настоятельной просьбе своей жены, записал свои воспоминания о встрече с поэтом. Через С.Г. Спасскую и А.А. Ахматову эти воспоминания были переданы Н. Мандельштам, но та их фактически проигнорировала.

служили невесть откуда берущийся белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски.

Мандельштам чувствовал себя в среде блатарей как-то защищено, читал им стихи, тискал романы и сочинял для них «веселые», то есть скабрезные, вирши, а может быть — если просили — и матерные частушки⁸³.

Чего не было — так это стихов у костра, как и самих костров. «Разжигал» их, по словам Меркулова, сам Эренбург — для создания антуража и стиля.

Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской зря над острогом встает...

...В какой-то момент Милютин понял, что в бараке Мандельштам просто симулирует сумасшествие, косит под психа. Это его раздражало, но он не показал и вида: если так легче — пусть. Но однажды Мандельштам прямо спросил Милютина, производит ли он впечатление душевнобольного? Полученный ответ: *«нет, не производите»* Мандельштама, кажется, всерьез огорчил. Он как-то сдулся и сник.

Больной или только прикидывающийся больным, но Мандельштам почти ничего не ел. Он всерьез боялся любой приготовленной казенной еды, путал котелки, терял свою хлебную пайку. Боялся он и уколов — любых, отказывался от них: опасался шприцов как орудия физического уничтожения.

Но временами был вполне здравомыслящим и даже осторожным; его речи были всегда остры, точны и умны.

Через два дня, 14 октября (на Покров), прибыл еще один транспорт из Москвы⁸⁴. К вечеру, когда закончилась его оформление, в 11-й барак пришло очередное пополнение, занявшее остававшиеся свободными или, может быть, освободившиеся места в третьем верхнем ряду нар. Среди новеньких были и два Юрия — 33-летний поэт-песенник Казарновский и 24-летний студент-юрист Моисеенко.

Казарновскому суждено будет стать самым первым серьезным свидетелем последних дней Мандельштама: в Ташкенте в 1944 году его терпеливо выспрашивала о Мандельштаме его вдова.

Там, на Второй Речке, Казарновскому не нужно было объяснять, кто такой Мандельштам. Он был счастлив такому везению, да и место его в бараке оказалось совсем рядом с местом Мандельштама.

⁸³ Ср. письмо бывшего заключенного транзитного лагеря П. Яхновецкого В. Маркову от 1 февраля 1989 г.: *«А, наверное, Мандельштам О. в 38-м году был на пересылке. Какой-то мужик, лет сорока, сочинял стихи, частушки. Стихи про Сталина — их не помню...»*.

⁸⁴ А 15 октября пришел транспорт из Ленинграда, с которым приехал Цинберг.

В старшем поэте младшего поразило лицо — узкое, худое и изможденное, вместе с тем доброжелательное и, по выражению того же Маторина, «необозненное». Борода утыкалась в щеки, лоб сливался с широкой залысиной, посередине хохолок. Голос тихий, речь — осторожная и настроенная ко всему и вся.

Но над молодежью подшучивал: «Ну, и где же, того-этого, ваши невесты, а?»

Казарновский, в передаче Н. Мандельштам, никого кроме Осипа не упоминает. Немного странно, что самого Казарновского не упоминает Моисеенко, его товарищ и по эшелону, и по бараку.

Зато он рисует коллективный портрет дружной шестерки, разместившейся (и Мандельштам в их числе) справа от входа, в первой трети барака и теперь уже на привилегированном третьем ряду нар. Ближе всего к дверям из шестерки был 24-летний Моисеенко.

Рядом с Моисеенко — Владимир Лях, ленинградец, человек образованный, геолог, арестовали в геологической партии, пытали в «Крестах». Третий — Степан Моисеев из Иркутской области, физически крепкий, но хромой... Дальше — Иван Белкин, шахтер из-под Курска, ровесник Моисеенко: он и позвал Моисеенко к ним на третий ярус.

Пятый (следующий за Белкиным) — и был Мандельштам. Его звали «ленинградцем», «поэтом» или «Стариком». Многие, в том числе и Моисеенко, звали Мандельштама по отчеству: «Эмильевич». Узнав фамилию «поэта», Моисеенко, в отличие от Казарновского, недоумевал — что за поэт, почему не знаю?⁸⁵

Шестой, наконец, — Иван Никитич Ковалев, пчеловод из Благовещенска и смиренный человек. Если слушает — то вопросов не задает... Он-то, Ковалев, и стал последней и верной опорой поэту, помогал ему во всем, даже спускаться и подниматься на третий ярус нар... Редкость: обычно заискивают перед сильными и тянутся к ним, а вот Ковалев тянулся к тому, кто слабее всех, — к «Эмильевичу». Мандельштам же, словно не замечая этого, все больше общался с Ляхом. К Ляху обращался: «Володя, Вы...», а к Ковалеву — «Иван Никитич, ты...».

Наутро подъем был на час-полтора позже положенных шести часов. Позже всех поднимался Мандельштам, сидел на нарах, застегивал свою рубашку в крапинку на пуговицы, здоровался с соседями: «Доброе утро». Во время первого завтрака Моисеенко разглядел его: очень худой (про худобу говорил — «курсак пропал»), мешки под глазами, высокий лоб, выделяющийся нос, и глаза — красивые и ясные⁸⁶. Узнав, что Моисеенко не из Москвы и не из Ленинграда, а из Смоленска, Мандельштам потерял к нему интерес.

⁸⁵ Поэтический пантеон Моисеенко состоял тогда из Демьяна Бедного, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Коласа, Купалы и комсомольских поэтов.

⁸⁶ Поляновский, 1993. С. 165, 179.

«Черная ночь, душный барак, жирные вши...»
Вторая неделя (20—26 октября)

Постепенно круг мандельштамовских знакомств и дружб расширялся.

Были среди них и представители лагерной элиты (или «придурков», если на блатном лексиконе) — такие, как раздатчики (Евгений Крепс и Василий Меркулов) или даже санитар, а по совместительству и чертежник шарашки (Дмитрий Маторин).

Знакомство и даже дружбу с Крепсом выделим особо: его с Мандельштамом объединяла довольно крепкая ниточка — оба учились в Тенишевском училище. Евгений Михайлович — был в одном классе с В. Набоковым и Евгением Мандельштамом, младшим братом поэта.

Крепс обратил внимание на седого невысокого человека, на которого ему указали как на поэта по фамилии Мандельштам: большие глаза, интересное лицо. Крепс знал не только его стихи, но и немного биографию. Он подошел и обратился по имени-отчеству: «Здравствуйте, Осип Эмильевич!» Но Мандельштам сидел на земле и, глядя в пространство, никак не реагировал на приветствие. Тогда Крепс обратился несколько иначе: «Осип Эмильевич, я тоже тенишевец — брат Термена Крепса...» Мандельштам тут же вскочил, обрадованно заулыбался и возбужденно начал вспоминать общих тенишевских знакомых.

Но тут Крепс спросил Мандельштама о том, что же ему инкриминируется. Он допустил бестактность, об этом не принято спрашивать, и поэт сразу замкнулся.

Знакомство и даже дружба с силачом (чемпионом Ленинграда по борьбе) Дмитрием Маториным так же заслуживает отдельного разговора: Маторин провожал поэта в последний путь. Мандельштам его не боялся, называл Митей, не отказывался с ним есть. У Маторина всегда что-то для него было, и Мандельштам всегда бурно благодарил: хватал за руку и целовал ее.

Не раз Маторин буквально спасал поэта от людского гнева и выручал из других переделок, в которые его вгонял страх быть отравленным через пищу.

Вспоминает Маторин:

«При мне его не били. Был случай, когда Мандельштам бросился к ведру с питьевой водой и стал жадно пить»⁸⁷. Был другой случай, когда он схватил пайку до раздела. Что это значит — “до раздела”? Когда привозили хлеб (в тюрьме пайка — 350 граммов, здесь 400 с довеском, который прилеплялся к “основе” деревянным штырьком), его раздавали так: один из эзков отворачивался, другой брал в руки пайку и говорит:

⁸⁷ Воду в барак носили ведрами «бытовики» (т. е. неполитические эзки) и сливали в стоявшую у порога бочку (свидетельство Ю.И. Моисеенко).

«Кому?» Тот: «Иван Ивановичу!» и т. д. Так вот: Мандельштам схватил пайку, не дождавшись раздела. Его хотели за это бить, но я не дал, сказав, что, хотя и не по правилам, но Мандельштам взял не чужую, а свою пайку...»

Он был крайне небрежен, Маторин иногда заставлял его мыться и учил тем гигиеническим правилам, которых следовало держаться в лагере: «Ося, делай зарядку — раз! Дели пайку на три части — два!».

А Мандельштам кивал, и делал все по-своему: чечевичку — черпачок — выпивал залпом, пайку хлебную сгрызал всю сразу, а это, хоть и мало, а все же 400 граммов! Маторин: «Ося, сохрани!» — Мандельштам: «Митя, украдут же!»

Схожие впечатления — у Меркулова:

«Распределяя хлеб по баракам, я заметил, что бьют какого-то щуплого маленького человека в коричневом кожаном пальто. Спрашиваю: «За что бьют?» В ответ: «Он тянул пайку». Я заговорил с ним и спросил, зачем он украл хлеб. Он ответил, что точно знает, что его хотят отравить, и потому схватил первую попавшуюся пайку в надежде, что в ней нет яду. Кто-то сказал: «Да это сумасшедший Мандельштам!»

С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахара. Мы собрали для Мандельштама что что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару⁸⁸.

Период относительного спокойствия сменился у него депрессией. Он прибегал ко мне и умолял, чтобы я помог ему перебраться в другой барак, так как его якобы хотят уничтожить, сделав ему ночью укол с ядом. <Со временем> эта уверенность еще усилилась. Он быстро съедал все, был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне, постоянно был голоден и таял на глазах...».

Иногда Мандельштам приходил в рабочий барак (так называлось жилище лагерной элиты) и кланчил еду у Крепса: «Вы чемпионы каши, — говорил он, — дайте мне немного каши!» Крепс — будущий академик-физиолог — и сам часто зазывал Мандельштама и подкармливал. Ел тот, правда, очень мало.

Немало свидетельств того, что Мандельштам на пересылке — по крайней мере, в первые недели охотно читал стихи и даже сочинял! «Все больше сочинял, — поправляет Маторин. — Стихи не записывал, они у него в голове оседали». Собирался с Маториным поэму о транзитке написать.

Иметь свою бумагу и карандаш в пересылке не разрешалось, но у Мандельштама они были — маленький отрезок карандаша и плотный лист бумаги, сложенный во много раз, наподобие блокнота.

⁸⁸ Мандельштам, кажется, был убежден, что сахар — это голова всему и что в обмене веществ он играет определяющую роль.

Иногда он его вынимал из пиджака, медленно разворачивал, что-то записывал, потом снова сворачивал и обратно в карман. Через какое-то время повторялось то же самое. Как сказал Моисеенко, «Он жил внутри себя»⁸⁹.

Свидетелей, запомнивших конкретные стихи или их обрывки, — совсем немного.

Так, Маторин, охотно слушавший как Мандельштам читает, запомнил только строчки: «*Река Яузная, берега кляузные...*».

Матвей Буравлев: «*Там за решеткой небо голубое, голубое, как твои глаза, здесь сумрак и гнетущая тяжесть...*»

Меркулов: «*Черная ночь, душный барак, жирные вши*» — вот все, что он мог сочинить в лагере».

Иногда — темными вечерами, но в свои светлые минуты, — Мандельштам читал у себя в бараке или «в гостях» стихи. Пока был душевно здоров, никогда не напрашивался и стихов не навязывал. Читал не всем, а в довольно узком кругу тех, кого уважал... В основном, это были москвичи и ленинградцы.

По Моисеенко, читок таких в бараке было пять или около того — вечером, после отбоя, на нарах. Руки под голову и, глядя в потолок, читал, в такт кивал головой, закрывал глаза. Ни на кого не смотрел, а между стихотворениями всегда делал паузы.

Но одна читка запомнилась особенно — та, когда «поэт» прочел стихи о Сталине: читал тихо, чтобы слышали только те, кто был около него⁹⁰.

Читал и в других бараках — в частности, в том, где жил Злотинский, и в рабочем, где жил и Меркулов, подробнее других запомнивший мандельштамовские «читки»:

«Когда Мандельштам бывал в хорошем настроении, он читал нам сонеты Петрарки, сначала по-итальянски, потом — переводы Державина, Бальмонта, Брюсова и свои. Он не переводил «любовных» сонетов Петрарки. Его интересовали философские. Иногда он читал Бодлера, Верлена по-французски.

Среди нас был еще один человек, превосходно знавший французскую литературу, — журналист Борис Николаевич Перелешин⁹¹, который читал нам Ронсара и других. Он умер от кровавого поноса, попав на Колыму.

Читал Мандельштам также свой «Реквием на смерть А. Белого»... Он вообще часто возвращался в разговорах к А. Белому, которого считал гениальным. Он говорил, что А. Белый был ему чрезвычайно дорог

⁸⁹ Поляновский, 1993. С. 178.

⁹⁰ Там же, с. 178, 176.

⁹¹ Перелешин Борис Николаевич — журналист и поэт, член группы «фуистов».

и близок, и он собирался писать воспоминания о встречах и беседах с А. Белым»⁹².

Об остальных отзывался критичнее: о Блоке говорил, что не слишком его любил. В Брюсове ценил только переводчика. А о Пастернаке сказал, что интересный поэт, но «недоразвит». Эренбург — талантливый очеркист и журналист, но слабый поэт⁹³. Но существенно уже то, что и в лагере, едва ли не до самого конца, Мандельштам не переставал думать и говорить о поэтах-современниках. Кстати, на барачных поэтических вечерах он читал и чужие стихи, в частности, Белого и Мережковского.

Полное безразличие к своей судьбе сочеталось в Мандельштаме с самоиронией. Однажды он пришел к Меркулову в рабочий барак и не терпящим возражением голосом сказал: «*Вы должны мне помочь!*» — «*Чем?*» — «*Пойдемте!*»

Мы подошли к «китайской» зоне... Мандельштам снял с себя всё, остался голым и сказал: «Выколотите мое белье от вшей!». Я выколотил. Он сказал: «Когда-нибудь напишут: «Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта». Я ответил ему: «У вас просто паранойя».

А вот мандельштамовская автохарактеристика, зафиксированная московским интеллигентом Злотинским, познакомившимся с Мандельштамом на «променаде» вдоль водосточной канавы. Поэт охотно пошел за Злотинским к его друзьям и читал им свои поздние, неизданные стихи. Об одном из них, особенно понравившемся слушателям, он сказал: «...*Стихи периода воронежской ссылки. Это — прорыв... Куда-то прорыв...*». Так приходил он сюда, к благодарным слушателям, еще несколько дней: читая — преображался. Увы, никто за ним не записывал: не было бумаги, зато был страх, опасались обсков.

Да и кому в ГУЛАГе, кроме тех, кого Мандельштам называл товарищами — нескольких интеллигентов типа Злотинского — было по-настоящему до стихов?

Все были заняты одним — как бы выжить и уцелеть.

⁹² Интересно, что в архиве Е.Э. Мандельштама в свое время хранились два стихотворных списка, сделанных одной и той же рукой и даже одним и тем же (при том весьма характерным сине-красным) карандашом. Сочетание текстов — а это именно «Реквием на смерть Андрея Белого» и стихотворный набросок, приписываемый Меркуловым Мандельштаму («Черная ночь. Душный барак. Жирные вши...»), наводит на предположение, что записаны они именно Меркуловым. В указанном списке пропущено одно слово (в стихе 16: «*Представилось в полвека — полчаса*»), все остальное соответствует авторскому тексту.

⁹³ В другой раз Мандельштам говорил Меркулову об Эренбурге: «*Вы человек сильный. Вы выживаете. Разыщите Илюшу Эренбурга! Я умираю с мыслью об Илюше. У него золотое сердце. Думаю, что он будет и вашим другом*».

«Последние дни я ходил на работу,
и это подняло настроение»
Третья неделя (27 октября — 2 ноября)

В середине октября, как это нередко в Приморье, установилась хорошая погода, продержавшаяся почти две недели. Температура воздуха поднялась до 12—15 градусов, а это значительно выше средней. Потом, правда, пошли дожди.

В эти-то дни, по-видимому, понимая, что тепло преходяще, а планы начальства неисповедимы, Хитров со своей «бригадой», составившейся из нескольких десятков довольно крепких любителей ночевать на воздухе, начал подыскивать себе и им крышу над головой.

Тогда-то и произошла его встреча на чердаке с блатарем Архангельским и его братией, а через него — наконец-то! — и знакомство с Мандельштамом. Однажды Архангельский, не называя имен, пригласил Хитрова к себе в «салон» — послушать стихи. Дело происходило все на том же чердаке, освященном толстой свечой. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб: неслыханное угощение для голодающего лагеря.

В окружении шпаны сидел человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он-то и читал стихи. Хитров их узнал — Мандельштам⁹⁴. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял. Его угощали, и он спокойно ел — видно, боялся только казенных рук и казенной пищи.

Больше Хитров в этом салоне не бывал, да и сам Архангельский пропал из виду: мецената и его бригаду скорее всего перебросили в Нагаево.

Зато с Мандельштамом встречался часто, и всякий раз к нему подходил. Разговорившись, он понял, что поэт страдает чем-то вроде мании преследования и *idée fixe*. Главное — это боязнь казенной еды, из-за чего он буквально морил себя голодом или воровал чужую еду.

Еще он боялся прививок, якобы практиковавшихся на Лубянке для того, чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания. Другая интерпретация этих укулов: прививки бешенства, — и такое ему, мол, кололи. Назначение этой версии — отпугивающее: с таким укулотым лучше не связываться, один его укус смертелен! Но воздействие такой уловки на окружающих, их готовность в это поверить, были исчезающе малыыми?

Тогда Хитров и сам пошел на уловку. Он сказал Мандельштаму, что считает, что тот сам и сознательно распространяет слух о своем

⁹⁴ Возможно, ему попалась на глаза и запомнилась публикация 1932 г. в «Литературной газете» или какая-то иная. Судя по тому, что он не знал названия первой книги поэта («Камень»), знатоком всего творчества Мандельштама Хитров не был

мнимом «бешенстве» для того, чтобы его сторонились... И добавил: «Но меня-то Вы не хотите отпугнуть?», — после чего Мандельштам хитро улыбнулся, и все разговоры о бешенстве и прививках в общесте Хитрова прекратились.

Зато однажды им довелось поработать несколько дней вместе — физически и совершенно добровольно!..

Никаких особых работ на пересылке не было. Уборка барачков не в счет, но и на нее Мандельштам не посылали: даже в истощенной эковской толпе он выделялся своим плохим состоянием.

Время от времени в урочьей зоне, где находились прожарка и карьер, возникала нужда в рабочей силе. Например, разгрузить и перенести стройматериалы или поработать в карьере. Никаких норм выработки, разумеется, не было, да никто и не собирался надрываться. Но и оплаты никакой, даже в рации: расчет, и правильный, был на то, что желающие все равно найдутся — те, кому надоело толкаться на пяточке «политической» зоны и кто ищет себе — о, святая простота! — физической разрядки перед Кольмой.

Записался на работу и Хитров. А подумав, что нетрудная работа будет в радость и Мандельштаму, спросил его: «Хотите?»

Мандельштам кивнул, и Хитров взял его в напарники.

Сложной работа и впрямь не была: грузили на носилки один или два камня, тащили их за полкилометра, в «китайскую», возможно, зону, где вечно что-то строилось, вываливали их и приседали отдохнуть. Пустые носилки нес один Хитров. И так два или три дня — пока не пошли дожди.

В один из заходов, присев на кучу камней отдохнуть, Мандельштам сказал: «Первая моя книга называлась “Камень”, а последняя тоже будет камнем...»⁹⁵

Этот выход на работу в новом, незнакомом месте очень хорошо повлиял на обоих напарников: оба устали физически, особенно Мандельштам, но оба воспряли духом. Прямой отголосок «субботника» — в мандельштамовском письме, где он сообщал о выходе на работу и о поднявшемся настроении.

«Очень мерзну без вещей...»
Четвертая неделя (3—9 ноября)

Мягкая погода и бархатная температура с кратковременными перепадами продержалась до ноября. Последний скачок температуры

⁹⁵ Хитров запомнил эту фразу, хотя и не знал названия первой книги поэта. Рассказывая об этом его вдове, он переспросил: «А его книга действительно называлась “Камень”?» И был очень рад тому, что память не подвела его.

вверх (6 ноября) сменился резким похолоданием: уже 8 ноября термометр упал ниже нуля, выпал, но еще не лег первый снег (с дождем).

Такая погодная динамика заставляет еще раз передатировать единственное — и последнее — письмо Мандельштама, отнеся его не ко времени после или накануне 7 ноября, а к самому этому дню, объявленному еще и «Днем письма»⁹⁶. Главное тому основание — соотнесение с фразой: «*Очень мерзну без вещей*» (в тюрьму из Саматихи Осипа Эмильевича увезли даже без пиджака!⁹⁷).

Про 7 ноября Мандельштам говорил Моисеенко, с кем бы он отмечал этот праздник, будь он в Москве: из называвшихся фамилий в паямти остались только две — Ахматова и Сельвинский.

А «День письма» — это вот что. После завтрака, часов около одиннадцати, явился представитель культурно-воспитательной части и раздал каждому по конверту и по половинке школьного тетрадного листа в линейку или другому клочку бумаги. И еще карандаши — по шесть штук на барак. Установка по содержанию: вопросов не задавать, о том, кто с вами здесь, не писать, писать только о себе — здоровье, погода и т. п. Конверты не запечатывать.

День письма — был и днем терзаний. Мучили именно незаданные вопросы: как-то оно дома? не арестовали ли кого-то вслед за тобой? что с детьми?

После того как письма отдали, все до самого отбоя молчали. И только назавтра, как после безумия, каждый приходил в себя. «*Как будто дома побывали...*» — обобщил Моисеенко.

Мандельштам писал сидя, согнувшись на нарах... И потом, как и все, тоже был очень подавлен и удручен.

Что с Надей? Арестована или нет? Не зная этого и подозревая только худшее, он адресовался к своему среднему брату:

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Источен до крайности. Исхудал, незнаюем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

⁹⁶ Ю. Моисеенко датировал «День письма» 2—3 ноября.

⁹⁷ В. Меркулов сообщил, что к моменту наступления холодов на Мандельштаме были только парусиновые тапочки, брюки, майка и какая-то шапка.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постовные. Я, очевидно, попал в "отсев", и надо готовиться к зимовке. И я пишу: пошлите мне радиogramму и деньги телеграфом»⁹⁸

Это письмо — без натяжек — было весточкой с того света. В то же время оно — самая твердая фактическая опора и точка отсчета в хронике лагерной жизни з/к Осипа Мандельштама⁹⁹.

Вот как выглядел оригинал этого письма в описании И.М. Семенко, разбиравшей архив поэта в 1960-е годы: *«Два неровно обрезанных листа желтой оберточной бумаги, приблизительно в ¼ листа. Написано простым карандашом. Конверт самодельный, из той же бумаги. Чернильный карандаш почти стерт. Адрес: Москва Александру Эмильевичу Мандельштаму. Два штампа "Доплатить" (конверт без марки). Штамп «Владивосток 30—11—38» и "Москва 13—12—38"».*

Вообще-то допускалась отправка и получение до двух писем в месяц¹⁰⁰. Но других писем Мандельштам не писал.

Разве что товарищу Сталину, о чем говорил Маторину. И, наверное, с напоминанием, что пора ему, Сталину, его, Мандельштама, выпускать.

История, правда, умалчивает, где именно такие письма бросали в печьку — во Владивостоке, Магадане или все же в Москве?

Ночной визит Пятая неделя (10—16 ноября)

Мандельштам встрепенулся, когда услышал, что в лагере находится человек по фамилии Хазин: не Надин ли родственник? Попросив Казарновского себя сопровождать, он довольно быстро нашел этого Хазина, оказавшегося просто однофамильцем.

⁹⁸ Мандельштам, 1997. Т. 4. С. 201.

⁹⁹ Оригиналы письма ныне в Принстонском университете, вместе с основной частью архива. Копия, сделанная, по-видимому, тогда же адресатом — Александром Эмильевичем, была отправлена младшему брату, в архиве которого и сохранилась.

¹⁰⁰ С этим утверждением согласуется эпистолярная практика гребраиста С.Л. Цинберга: эшелон с ним отправился из «Крестов» 9 сентября 1938 г., то есть практически одновременно с мандельштамовским (при этом первую весточку домой он отправил еще из поезда — 28 сентября, на подьезде к Иркутску), а прибыл на станцию «Вторая Речка» 15 октября 1938 г., то есть тремя днями позднее, чем Мандельштам. Умерли они почти одновременно (см. ниже), но Цинберг умудрился и за более короткое время пребывания на пересылке отправить не одно письмо, как Мандельштам, а целых три! Первое — 30 октября, второе — 15 ноября и третье — 15 декабря 1938 г. (содержало уточнение в адресе: «12-спецколонна, 3-я рота») (Элиасберг, 2005. С. 143—145).

Вскоре они увиделись еще раз, когда Хазин пришел к поэту среди ночи вместе с инженером Хинтом, соседом по своему барaku, уезжавшим на запад на переследствие. Хинт был латышом (а скорее всего — эстонцем) и ленинградцем, и еще, кажется, школьным товарищем Мандельштама. Их встреча, по словам Хазина, была очень трогательной¹⁰¹.

Несмотря ни на что, в самые первые недели пребывания Мандельштама в транзитке как физическое, так и душевное его состояние было относительно благополучно. Периоды возбуждения перемежались периодами спокойствия, не застывая, но и не зашкаливая. Гордый человек, он никогда не плакал и не говорил, что погибнет.

Успокаивающе действовали бы на него книги, вообще чтение. Но книг в лагере не было. Были самодельные, из хлебного мякиша, шахматы. В них Мандельштам не играл, но охотно смотрел за тем, как играют другие.

Махорку в обмен на сахар! Шестая неделя (17—23 ноября)

Начиная со второй половины ноября у Мандельштама начало дергаться левое веко — но только тогда, когда он что-то говорил. И вообще он стал быстро сдавать и слабеть.

Он по-прежнему опасался и избегал казенной еды, но даже на то, чтобы, рискуя быть побитым, схватить чужую (неотравленную!) пайку, уже не было сил. Блатных «меценатов» и иных источников альтернативного питания тоже не было никаких. Объективно говоря — он недоедал, причем именно тогда, когда наружный температурный фон становился все более и более суровым.

Соответственно, и поведение Мандельштама становилось все более и более вызывающим и асоциальным.

Вот случай, описанный Матвеем Буравлевым. Как-то раз он и Дмитрий Федорович Тетюхин лежали в своем бараке на нарах — голодные и умирающие от желания покурить: «...Вдруг к нам подходит человек лет 40 и предлагает пачку махорки в обмен на сахар (утром мы с Дмитрием получили арестантский паек на неделю). Сахар был кусковой, человек взял сахар, с недоверием его осмотрел, полизал и вернул обратно, заявив, что сахар не сладкий и он менять не будет. Мы были возмущены, но махорки не получили.

¹⁰¹ Гипотеза, что этим Хинтом мог быть известный эстонский изобретатель и лауреат Ленинской премии СССР за 1962 г. Иоханнес Александрович Хинт (1914—1985), не подтвердилась (спасибо В. Литвинову).

Каково же наше было удивление, когда узнали, что этим человеком оказался поэт О. Мандельштам»¹⁰².

Последнее, что поэту Мандельштаму оставалось — это ходить по лагерю, подходить к новым, незнакомым людям и предлагать прочесть им свои или чужие стихи — в обмен на неказенную еду (или даже казенную, но не его, а их). Невероятно, но позднее «на прилавок» была брошена даже эпиграмма на Сталина! Этот, как ее описывал тот же Буравлев, «шедевр: *усищи, сапожищи*», за который, собственно, он и попал в лагерь, он предлагал прочесть всего за полпайки!¹⁰³ Но никто не соглашался на такой «курс».

Или за курево: махорка из рассказа Буравлева — скорее всего «гонорар»! (Сам Мандельштам к этому времени уже не курил: бросил еще в тюрьме).

Безусловно, он был по меньшей мере назойливым и настырным. Когда приставал со стихами — его отгоняли («Вали отсюда!»), не били, — но грозились побить.

Многие считали Мандельштама немного «того». Он и на Крепса произвел впечатление психически расстроенного человека.

Неделя на простынях Седьмая неделя (24—30 ноября)

В самом конце ноября на Колыму — одним из последних транспортов в эту навигацию — был отправлен его «ротный» — Милютин. Все старики и инвалиды, которых Милютин изо всех сил опекал, остались на материке, в лагере, и вскоре попали под карантин по сыпняку, объявленный 2 декабря.

Таким же стариком, объективно говоря, был и Мандельштам. С той лишь разницей, что у него была самоубийственная навязчивая идея об отравленной еде. Отвергая казенную пищу, он как бы боролся за свою жизнь, а на самом деле — приближал смерть.

Состояние Мандельштама все ухудшалось. Он начал распадаться психически, потерял всякую надежду на возможность продолжения жизни.

Однажды ночью Мандельштам прибежал к Меркулову, в рабочий барак и разбудил его криком: «*Мне сейчас сделали укол, отравили!*». Он бился в истерике, плакал. Вокруг начали просыпаться, кричать.

¹⁰² Это письмо было передано нам племянником Д.Ф. Тетюхина Валентином Михайловичем Горловым — журналистом и писателем из поселка Грибаново Воронежской области (*ЖиТМ*, 1990. С. 46).

¹⁰³ Некие, по Меркулову, «оба варианта». До этого он начисто отрицал свое авторство и уверял, что все это «выдумки врагов».

Меркулов вышел с ним на улицу. Мандельштам успокоился и пошел в свой барак.

А назавтра Меркулов обратился к врачу.

К этому времени было сооружено из брезента еще два барака, куда отправляли «поносликов» (больных дизентерией) слабеть и умирать. Там был уход, лучше кормили, жарче топили — прямо в бочках из-под мазута. В медицинском отношении командовал ими Николай Николаевич Кузнецов, бывший земский врач где-то в Курской губернии. Осмотрев Мандельштама, он сказал: *«Жить ему недолго. Истощен, нервен, сердце сильно изношено (порок), — в общем, не жилец»*¹⁰⁴.

Но когда Меркулов попросил Кузнецова взять Мандельштама в один из его бараков, тот сначала отказал: мол, у него и так полно доходяг, и люди мрут как мухи. Но вскоре, — видимо, как только освободилась койка, — Кузнецов все же взял его к себе. Произошло это, вероятней всего, в третьей декаде ноября. Тифа у поэта не оказалось, и Кузнецов продержал Мандельштама в своем коечно-простынном «санатории» около недели, больше уже просто не мог.

Надо сказать, что врачи всегда были верной опорой и защитниками поэта Мандельштама. Память И.С. Поступальского сохранила имена трех медиков — вероятно, сотрудников Кузнецова, имевших дело с Мандельштамом, пока он там лежал: это Иван Васильевич Чистяков, заведующий 4-й палатой, где, вероятно, поэт лежал, и двое врачей — Вазген Атанасян и Евгений Иннокентьевич Цеберябов.

Мандельштам в больнице немного оправился и пришел в себя. И врачи даже устроили его «на работу» — сторожем на склад одежды покойников: за это он получил тулуп и добавочное питание. Но потом, — видимо, в преддверии объявления в лагере карантина по сыпняку, — его перевели обратно в 11-й барак.

Карантин

Восьмая неделя (1—7 декабря)

Карантины по сыпняку объявляются не с первым же случаем, а на гребне определенной волны. Какие-то особо жирные и, наверное, самые породистые белые вши обнаглели и полностью захватили бараки еще в ноябре. Тиф был неизбежен, и он начался.

Карантин был объявлен 2 декабря, и был он, по словам Хитрова, «энергичным». Пик эпидемии, вероятно, был все же упущен, и стали опасаться за Владивосток: с чем, вероятно, и связана «энергичность».

¹⁰⁴ По другим сведениям, у Мандельштама была и дизентерия, и даже восточная лихорадка.

Бараки заперли на замок, на улицу никого больше не выпускали. Утром приходили санитары — приносили еду, мерили температуру, забирали парашу. Пока они все это делали, мороз, вероятно, проверял помещения. И те, кого миновал тиф, схватывали воспаление легких.

Запоздавая профилактика помогала мало, и болезнь косила направо и налево. Выявленных заболевших переводили в изолятор, о котором ходили чудовищные слухи: считалось, что дорога оттуда только одна — на тот свет. И что тем, кому оставалось недолго, — даже «помогали»...

Бараки постепенно пустели. «Люксом» теперь стали нары второго яруса: внизу была постоянная толчея, а наверху невыносимая духота.

Свободное передвижение по лагерю и любые межбарачные контакты начисто пресеклись, и Хитров потерял Мандельштама из виду.

Да ему и самому было ни до кого. В какой-то момент и он перебрался в «люкс». Но через несколько дней Хитрова охватил озноб, и он снова запросился наверх — в спертый жар и духоту человеческих испарений. Но озноб не прекратился и наверху.

Поняв, что это сыпняк, Хитров решил во что бы то ни стало переболеть в бараке: главное — не дать утащить себя в изолятор. Для этого он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Но жар не отпускал, и однажды у него уже не было сил правильно рассчитать и аккуратно стряхнуть градусник. Он перестарался, попался на обмане, и его тут же унесли.

Изолятор же, вопреки слухам, оказался не таким страшным. Хитров провел в нем несколько дней, пока не подтвердился диагноз: сыпняк. Тогда его перевели в стационар, частично отданный под тифозных. Больница на «Второй Речке» оказалась и вовсе пристойной, даже чистой: впервые за много месяцев человек лежал на простыне, и болезнь обернулась не пыткой, не агонией, а отдыхом и чуть ли не санаторным комфортом¹⁰⁵.

Это уже после тифа Хитрову не повезло: он попал не в Мариинские, а на Колыму. Севвостлаг проголодался, и фактор его молодости уже перевешивал фактор сломанной в детстве ноги.

Диктатура санитаров *Девятая неделя (8—14 декабря)*

В 11-м бараке все было так же, как и в других. Сыпной тиф проник, конечно, и сюда, вши ели нещадно. Казалось, что кто-то рассыпал их по нарам щедрыми пригоршнями.

¹⁰⁵ В декабре в сыпнотифозный барак попал и Злотинский.

Каждое утро вводили заболевших, и никого из них больше не видели...

Шестерка Моисеенко стала пятеркой: недосчитались Степана Моисеева из Иркутской области, физически крепкого, но хромого...

Между тем к власти в лагере, в том числе в карантинных бараках, пришли предоставленные самим себе санитары, — в основном, это блатные и бытовики. В деле поддержания порядка в лагере начальство доверяло только им, социально близким.

В бараки они разносили хлеб, баланду, чай, сахар, а из бараков несли одежду потеплей да получше, которую выменивали на еду или даже отнимали (взамен оставляя тряпье). Жаловаться на мародеров было некому.

У Эмильевича после больницы был неплохой тулуп, пусть уже и потертый по тюрьмам и этапам. Санитары пытались его выменять — поэт не отдал, попытались отнять — но «пятерка» встала горой.

Доходяга *Десятая неделя (15—21 декабря)*

Чем дальше в зиму, тем тяжелее и болезненнее Мандельштам переносил холод, голод и авитаминоз. Один из видевших его врачей (Иоганн Миллер) говорил о нем как о классическом пеллагрознике, но крайне истощенном и с нарушенной психикой.

Слабея, он стал впадать сначала как бы в сеансы напряженного молчания, а 20 декабря он окончательно слег и практически больше не вставал и почти не говорил. На вопросы о самочувствии отвечал полупшепотом: «Слабею».

Наранович все спрашивал: «Врача не вызвать?». — «Не надо!», — отвечал Мандельштам, не столько словами, сколько шепотом губ и покачиванием головы.

Физически слабый, слабеющий, угасающий — он не падал духом и мужественно ждал конца. Лежал с открытыми глазами, левый глаз дергался уже и при молчании. А может быть он дергался потому, что внутренняя речь — его мысли и, быть может, стихи — звучали и не умолкали в нем.

Конец карантина и прожарка *Одиннадцатая неделя (22—27 декабря)*

У паразитов — возбудителей сыпняка инкубационный период — 12—14 дней. Соответственно, 25 дней — это стандартный срок, на который вводится в таких случаях карантин. И ровно 26 декабря карантин сняли по всей пересылке.

И не приходится удивляться: утром этого дня, часов примерно в десять-одиннадцать, все наличное население 11-го барака повели в баню, но не на помывку, а на санобработку. Никаких исключений быть не могло: будь ты хоть при смерти, задуй хоть тайфун, — но свои 500 метров от барака до прожарки будь любезен пройти! А пока ты, стуча зубами, идешь или стоишь, проводилась, надо полагать, обработка и самого барака.

Накануне, 22—24 декабря, прошел сильный снегопад с метелью, дул шквалистый, северный ветер, 18 градусов мороза — дорожки были расчищены узкие. Снаружи 26 декабря было достаточно сурово.

«Пойдемте купаться, Осип Эмильевич», — сказал Ковалев. Мандельштам долго, очень долго собирался, завязывал шнурки, надевал пиджак и вязаную шапочку, складывал в узелок свою вторую рубашку, копался. Медленно сполз с нар, постояв на нижних; медленно прошел ко двери барака. Все его терпеливо и молча ждали.

Путь был хотя и под горку, но 11-й барак шел медленно, очень медленно. Мандельштам еле переставлял ноги, глаза полузакрыты, под руку его поддерживали верные оруженосцы — Моисеенко и Ковалев.

Коль скоро это была прожарка, а не помывка, то в бане никакой воды не было — ни горячей, ни холодной. Деревянный пол обдавал таким холодом, на какой кажется, не способны были ни цемент, ни лед. Когда пришли в раздевалку, все по команде разделись и повесиلى свою одежду и личные вещи на железные крючки, которые передали работающим экам-санитарам (мандельштамовские вещички развесил Ковалев).

Крючки вешали на железную стойку, а стойку загоняли в жаропечь, в которой и осуществлялась их санобработка — прожарка горячим паром и смертельными для насекомых газами. Обработывали и людей: волосяные покровы смачивали какой-то дурно пахнущей жидкостью (вероятно, раствором сулемы).

Одна скамейка на всех: люди сидели на корточках или ходили взад и вперед. Толпа голых, едва стоящих на ногах мужиков, три четверти часа дрожала и мерзла в ожидании своих прожаренных вещей, а Мандельштама от холода аж трясло.

Но вот раздался выкрик хамским голосом: *«Разбирай одежду!»*. Дверцы жарокамеры открылись, и прошпаренное, дымящееся, обожженное белье выехало из печи, из которой повалил пар и дым, запахло серой. Прижимая горячие комья к груди, обжигаясь о металлические пуговицы, люди чуть ли не бегом пролетали через пустую баню в другой отсек — в одевалку, чтобы побыстрей облачиться и освободить место для следующих, уже подмерзавших на улице.

Некоторые заключенные не выдерживали этой гигиенической пытки.

Не выдержал ее и Мандельштам, чей больничный тулуп, заменивший желтое («эренбургское») пальто, в прожарку не взяли: кожа

в таком случае коробилась и приходила в негодность (тулуп забрали на обработку сулемой). Оставшись совсем без ничего, Мандельштам весь мелко задрожал.

Быть может, inferнальные серные испарения из жарокамеры и стали той последней каплей?..

Когда крикнули разбирать одежду, Мандельштаму стало плохо, и, положив левую руку на сердце, он рухнул на пол. Совсем голый, с побледневшим лицом, без малейших признаков жизни!

Подбежали товарищи, тоже голые, сгрудились вокруг него. Затем повернули тело: никаких мышц, одна шкурка, — бесформенное, истощенное тело человека, боявшегося съесть свою порцию! Но положить тело было некуда, так как лавки были завалены бельем.

«Человеку плохо!». Вызвали по телефону врача.

Пришла медсестра в белом халате и со стетоскопом. Спросила: «Кто тут болен?» Поискала пульс — не нашла, долго слушала сердце... Вынула зеркала и поднесла к носу, подождала. Кто-то сказал: «Готов», а она сказала: «Накройте хоть чем-нибудь», — и Мандельштама накрыли его одеждой, но только наполовину, до пупка.

Пришел начальник смены и прикатил низкую тележку с большими колесами. Побрызгав на нее и на неподвижное тело мутным и густым раствором сулемы с жутким запахом (тифа все еще боялись), Мандельштама положили на тележку и увезли.

В это время в другом углу на пол упал другой эзк. То был Маранц, кажется, Моисей Ильич — высокого роста еврей, лет 50 или больше. Медсестра подбежала к нему и поднесла зеркала и к его носу. И вновь никакой реакции.

Вернувшиеся санитары, покрыв сулемой, увезли и Маранца¹⁰⁶.

Вот откуда та уверенность, с которой Моисеенко полагал, что видел не обморок, не преддверие смерти, а саму смерть. Смерть поэта в прожарке.

Смерть

Но Мандельштам не умер тогда¹⁰⁷.

Судьба (и врачи) вновь подарили ему еще один добавочный день, — но это уже в самый последний раз и буквально: один-единственный день!

¹⁰⁶ То же, возможно, произошло и с Израилем Цинбергом, заболевшим после такой же прожарки, но умершем 28 декабря. Сообщалось, что его группу морозили и снаружи: а не потому ли, что внутри разбирались с Мандельштамом и Маранцем?..

¹⁰⁷ Возможно, что не умер и Маранц. По крайней мере, он — или его однофамилец — Соломон Рувимович Маранц, бывший коммерческий директор одного из московских трестов и сионист, арестованный по подозрению в шпионаже 18 января 1938 г. — умер на пересылке от сыпного тифа 11 февраля 1939 г. (ГАРФ. Ф. Р—10035. Дело П—24029).

Его отвезли не в изолятор, а именно в стационар, в олповскую¹⁰⁸ двухэтажную больницу, располагавшуюся вдвое ближе больнички для «контриков» в их зоне. Так что напрасно Надежда Яковлевна переживала, слушая своего «физика Л.»: ее муж умер на кровати и на простыне!¹⁰⁹

Там — на кровати и на простыне — поэт, возможно, пришел в себя и молча пролежал этот подарок-день. Он то открывал, то закрывал глаза, отказывался от еды и время от времени беззвучно шевелил губами.

Так или почти так, усилием сострадающего воображения и всего колымского провидческого опыта представлял это себе спустя 15 лет Варлаам Шаламов («Шерри-бренди»):

«Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла... Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком.... Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову...

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал... Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось...

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться — возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние...

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка; он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте.

Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами...

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него...»

¹⁰⁸ От ОЛПа — отдельного лагпункта, то есть пересылки.

¹⁰⁹ Ср.: «Рассказ Л. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О. М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сыпной тиф, то умереть О. М. мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней» (Мандельштам Н. Воспоминания. 1999. С. 466).

27 декабря, во вторник, в 12.30 дня, то есть спустя почти сутки после того, как он рухнул на цементный пол, поэта дождалась — или настигла — смерть...

Визит ее удостоверен актом № 1911, составленным врачом (очевидно, дежурным) Кресановым и дежурным медфельдшером, чья фамилия неразборчива¹¹⁰.

Жизненный путь поэта, начавшись на противоположном конце империи — на Западе, в Варшаве, закончился на самом восточном ее краю ...

Причина же смерти, согласно акту, — паралич сердца и артериосклероз. По-стариковски изношенное сердце окончательно отказало.

Сердце другого старика-Мандельштама — 82-летнего Эмиля Вениаминовича, отца поэта — остановилось всего полугодом раньше: он умер — в полном одиночестве — в ленинградской больнице имени Карла Маркса 12 июля 1938 года. На фотографии 1932 года оба, отец и сын, сняты вместе и выглядят как братья-погодки.

Наверное, отец сердился на Осипа, не понимая, почему он не приезжает хотя бы проститься?..

Мать Мандельштама, Флора Осиповна, умерла в 1916 году, будучи 47 лет от роду, — в том же возрасте, что и ее первенец.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать, —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат...

Пальчики

С мертвых, согласно инструкции, снимали дактилоскопические отпечатки правой руки.

Сами пальчики прокатали, пока они еще не остыли, сразу же, 27 декабря: эта работа большой квалификации не требовала. А вот необходимое сличение имеющихся и полученных отпечатков состоялось только 31 декабря, когда старший дактилоскопист ОУР РО (отделения угрозыска райотдела) УГБ НКВД по Дальстрою тов. Повереннов произвел «сличение и отождествление пальцев-отпечатков, снятых на дактокарте з/к, умершего 27 декабря 1938 г. и числящегося в санчасти ОЛП согласно ротной карточки под фамилией Мандельштам (так в документе. — П.Н.), с отпечатками пальцев на дактокарте, заре-

¹¹⁰ Осматривавший труп врач (Кресанов?) счел нужным отметить, что на левой руке в нижней трети плеча имеется родинка.

гистрированными на его имя в личном деле. Оказалось, что строение папиллярных линий (специфических рельефных линий на ладонных и подошвенных поверхностях. — П. Н.), узоров и характерных особенностей пальце-отпечатков по обоим сличаемым дактокартам между собой обозначаются как совершенно тождественные и принадлежат одному и тому же лицу» (и первая и вторая дактограммы имеются в деле).

В свидетельстве о смерти как-тостораживает то, что труп не вскрывали. Что это значит? Обычная ли это практика или исключительный случай? И разве можно установить причину смерти без паталогоанатома? А если да, то входят ли в число таких безусловных причин паралич сердца и артериосклероз? И не является ли вдруг эта запись указанием на насильственный характер смерти?

Нина Владимировна Савоева рассказывала, что как бы трудно ни было, но в колымских больничках вскрывался каждый труп. На пересылке же все могло быть совсем иначе, к тому же в декабре 1938 года налево и направо косил сыпняк: не справляясь с «потоком» мертвецов, врачи вполне могли оставить одного или нескольких, или даже многих и без вскрытия.

Похороны жмурика

Декабрь 38-го года — это массовая смертность заключенных от сыпного тифа. Тела выносили прямо из барака в палату морга, где снимали отпечатки пальцев и к большому пальцу правой ноги привязывали бирку. Это кусок фанеры со шпагатом, на фанерке — химическим карандашом — фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и срок.

Трупы, уже прошедшие дактилоскопическую сверку, складывали штабелями возле барака, или накапливали в ординаторской палатке. Иногда они лежали по 3—4 дня, пока не придет конная повозка, чтобы увезти на «кладбище».

...Однажды начальник лагеря вызвал Маторина, в то время санитара, и велел: «Отнеси жмурика», то есть покойника.

Жмуриком, согласно бирке, оказался Мандельштам¹¹¹. «Но прежде я ему руки поправил. Они были вдоль тела вытянуты, а я хотел их сложить по-христиански. И они легко сложились. Мягкие были. И теплые. Знаете, ведь покойник окостеневаает, руки-ноги не гнутся, а здесь... Я напарнику говорю: “Живой будто...” (Прошу за догму не принимать. Мало ли что, могло и показаться.) Но факт был: руки сложились легко...».

¹¹¹ Смущает, что нести жмурика было велено из изолятора в больницу.

А дальше за дело брались урки с клещами. Прежде чем покойника похоронить, они обыскивали одежду и вырывали золотые коронки и зубы (а у Мандельштама были золотые коронки, — в молодости над ним еще потешались: «Златозуб»!). Снимали с помощью мыла кольца, а если не поддавалось, то отрубали палец.

Хоронили же на владивостокской транзитке, разумеется, без гроба — в нательной рубашке, в кальсонах, иногда оборачивали простыней. Мертвые тела опускали в каменный ров, в братскую могилу-траншею, глубиной всего 50—70 см¹¹². Затем присыпали землей и притаптывали.

¹¹² Копать такие рвы, особенно зимой, было очень тяжело. Впрочем, Милютин, единственный из свидетелей, пишет и о двух крематорных печах в лагере (Милютин, 1997).

СОВРЕМЕННОКИ И СОВРЕМЕННОЦЫ

ДРУЗЬЯ И СОБРАТЬЯ

Вячеславу Каневскому

*И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я...*¹

*Шум стихотворства и колокол братства...*²

1

В статье «О собеседнике» Мандельштам провел четкую грань между «друзьями в поколеньи», то есть современниками поэта де-факто, и его читателями «в потомстве», его провиденциальными друзьями, — то есть теми, кто найдет или кого найдут стихотворные послания из прошлого — словно брошенные в море бутылки, запечатанные сургучом.

Когда бутылка найдена и послание прочитано, то оба — и читатель, и автор — становятся как бы рядом, на одну и ту же ступеньку, улыбаются друг другу, протягивают и, не веря своим глазам от счастья,жимают руки.

Пространство и время услужливо меняются местами, и время перестает разделять. Наоборот, оно собирает избранных собеседников воедино, на общий пир, в некий временной веер, так напоминающий пространственный. Разве не это имелось в виду в том месте «Разговора о Данте», где говорится о «совместном держании времени»?

И не от противоположного ли отталкивался Мандельштам, когда писал о толпе: «Нет, никогда ничей я не был современник...»! Хорошо сказала об этом Надежда Мандельштам во «Второй книге»: «Толпа легко теряет связь с прошлым и не видит будущего, а художник по своей природе анахроничен и живет не только в текущем времени, но

¹ Из стихотворения Евгения Боратынского «Мой дар убог и голос мой негромок...».

² Из стихотворения «Батюшков».

устремлен в будущее и тесно связан с прошлым, потому что ощущает своих предшественников, поэтов как собеседников, учителей и друзей».

Итак, всё начинается как бы заново, воспринимается как с чистого листа:

«...Ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы — и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость...» («Слово и культура»).

В пантеоне «провиденциальных собеседников» Мандельштама, в сонме тех, на чьи брошенные в воздушный океан стихи-послания, радостно вздрагивая, отзывался всем существом сам Мандельштам встречаем избранных им поэтов, отстоящих в обычном времени друг от друга чуть ли не на три тысячелетия. Здесь собрались фигуры как вполне мифические, вроде Оссиана или Гомера, так и настолько реальные, как Фёдор Тютчев, что мандельштамовские родители могли бы быть с ним лично знакомыми: ведь он умер в Царском Селе всего за 18 лет до того, как Осип Мандельштам в Варшаве родился.

Всех их Мандельштам обожал и называл даже не друзьями, а братьями или, как школяра и шкодника Вийона, своими «кровными любимцами». Вместе они бродили и в Замостье, и в окрестностях Трои, вместе путешествовали по Италии и по Inferno, вместе беседовали и читали друг другу упоительные стихи.

Ах, вот бы узнать, что подумали о Мандельштаме и что сказали ему Пушкин или Дант! Ведь и он, Мандельштам, в провиденциальном смысле — такой же их кровный любимец! А его стихи — страница, на которой, отшумев, раскрылся для них неслыханный XX век?..

2

Но и проблема «друзей в поколеньи» — одна из главных, стоящих перед каждым человеком, а перед поэтом в особенности. Заметим, что друг поэта — наверняка и его читатель, причем не абстрактный незнакомец из будущего, а именно тот, к кому поэт обращается еще при жизни и как бы по имени.

Судьба Мандельштама не скупилась на друзей. Они обретались почти везде и сопровождали его почти всю жизнь — от тенишевского ученичества и до воронежско-савёловского изгойства.

Но что, вернее, кого понимать под друзьями поэта? Есть ли тут какие-то внятные критерии?

Так, любимые мандельштамовские поэты — Дант, Петрарка, Пушкин, Батюшков — для него, даже в переносном смысле, не друзья, а *братья* (уж если они и чьи-то друзья, то своего родимого языка — «бессмысленного» и «солено-сладкого» итальянского или «виноградно-мясного» русского).

Быть может, любимые женщины, те «европейки нежные»? — Нет, нет, увольте! Кто угодно — но только не друзья. Дружба односторонней не бывает, и Мандельштам не мог бы сказать про себя то же, что сказал про Гёте, чья «дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой» («Молодость Гёте»).

Анна Ахматова — единственная из них, кто сумела вырваться из этой квадратуры мандельштамовской влюбленности и стать его полноправным другом, причем едва ли не самым близким. А вот Наташа Штемпель — никогда не была внутри этой квадратуры: и мандельштамовская любовь к ней — любовь к душевной, а не к телесной красоте — с самого начала прочно покоилась именно на их дружбе: недаром Мандельштам повторял, что Наташа «владеет искусством дружбы».

Вот кто был стопроцентный друг Мандельштама — это его жена, его «щелкунчик», его «дружок», его «товарищ большеротый», его «нищенка-подруга». Мы так привыкли ценить подвиг сохранения ею мандельштамовского наследия, что порой забываем и ее прижизненную миссию.

Из семьи самым близким Осипу был брат Шура, но в середине 20-х стал произошло сближение с отцом («дэдой», как его называли в письмах).

Конечно же, со временем менялось и наполнение самого понятия «дружба».

Современник и наследник символистов, Мандельштам поначалу поддался их немного шизофренической манере раздвоения отношений на «дружбу-вражду». Это напрямую отозвалось в самом раннем образчике дружбы — а именно с Владимиром Гиппиусом, словесником в Тенишевском училище и мандельштамовским первоучителем «литературной злости». Это была дружба ученика с учителем, причем ученик, жадно впитывая, стремился и к самостоятельности, и к независимости. 27 апреля 1908 года, спустя год после окончания училища, Мандельштам писал своему наставнику из Парижа: «И вы простите мне мою смелость, если я скажу, что вы были мне тем, что некоторые называют: “друго-врагом”... Осознать это чувство стоило мне большого труда и времени...».

Та же оппозиция проявилась и в дружбе с Борисом Синани, тоже «старшим» другом и тоже наставником, даром что сверстником. Тот

мастерски и вдребезги разбил эсдековские иллюзии, позаимствованные Мандельштамом у «репетиторов русской революции», и заменил их своими, эсеровскими. Для «вражды» или хотя бы ревности места в этом родниковом юношеском союзе практически не оставалось.

Литературные занятия и литературные дебюты Мандельштама — на «Башне» ли у Вячеслава Иванова, в «Аполлоне» или в «Бродячей собаке» — окунули его и в богемную жизнь, и тут его первым товарищем и дружкой стал Георгий Иванов. И не так уж важно, правда ли то, что у них с Мандельштамом была общая визитка на двоих, или нет. Важно, что эту веселую и почти беззаботную жизненную полосу они действительно прошагали нога в ногу.

Счастливая эта веселость, помноженная на перманентные полемики всех со всеми (о, как пригодилась здесь *«литературная злость»!*) и на чисто филологическое остроумие, и создавала ту общую атмосферу *«веселости едкой литературной шутки»*, о которой писала Ахматова и в которой упражнялись все поголовно. Без эпиграмм, пародий, шаржей и прочих шуточных жанров («Антологии античной глупости», например) жизнь Мандельштама в 10-е годы непредставима, как, впрочем, и в 20-е и в 30-е. «Доставалось» всем — Гумилеву, Лившицу, Штемпель. А фамилия Александра Моргулиса была позаимствована для основания еще одного прелестно-веселого жанра — «маргулет».

Но с годами отношение Мандельштама к дружбе и к друзьям менялось.

В зрелости ему был глубоко чужд тот постмодернистский подход, что низводил дружбу до средства лоббирования и оказания взаимных «услуг» в сочетании с безответственным собутыльничеством.

Мандельштам искал собеседников и не чурался ответственности. Как бы ни относился он к «дачевладельцу» Волошину и к *«несчастью быть лично с ним знакомым»*, он хорошо усвоил один его урок: когда 4 августа 1920 года, в самый разгар пустычного, но, тем не менее, острейшего личного конфликта между ними, Мандельштама в Феодосии арестовала врангелевская контрразведка, Волошин, не колеблясь, вступился за него и добился его освобождения.

Отвращение к политике и привычка не вмешиваться в чужие дела не уберегли Мандельштама от право- и друго-защитничества. Он не только написал стихи-пощечину про не чужую под ногами страну — от имени всех, но и лично вступался за своих репрессированных друзей (например, за Кузина) или помогал им отбывать наказание (например, Пясту).

Иными словами, *«на стену лез»* — как выразился Сталин в разговоре с Пастернаком о Мандельштаме и о надлежащем поведении друзей-поэтов. С той же горячностью он хлопотал и за умерших собратьев по перу, в частности, хлопотал о переиздании Грина: это

было еще и данью его вдове, Нине Грин, с которой Мандельштамы дружили. В таких хлопотах он включал все «приводные ремни», которыми располагал или думал, что располагает (Бухарин, Шагинян, Демьян Бедный).

Когда же настал и его «черед», то тем легче было Пастернаку, Ахматовой, Шкловскому и другим хлопотать за самого Мандельштама или помогать ему в его беде.

В дружбе он ценил прежде всего тот твердый сплав доверия, искренности, щедрости и благодарности, что делает невозможными предательство и подлость («не расстреливал несчастных по темницам»), но особенно — ту обоюдную душевную предрасположенность, своего рода сердечное западание, чей импульс и толкает людей друг к другу. Это роднит дружбу с влюбленностью и даже с любовью, но без эротики.

Дружба встряхивала Мандельштама как минимум дважды: впервые — в Тенишевке, когда он «открыл» для себя Бориса Синани. И второй раз — в 1930 году в Армении, где он встретил Бориса Кузина, ставшего его главным собеседником и «вторым я», влиянию которого сам поэт приписывал рождение «зрелого Мандельштама».

СВИДЕТЕЛЬНИЦА ПОЭЗИИ (НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ)

*Алексею Любимову
Памяти Евгения Пермякова*

*Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой...¹*

Милый, милый, как соскучилась...²

*Вы, Наденька, очень умная женщина
и очень глупая девчонка...³*

Наденька Хазина родилась 18 (30) октября 1899 года в Саратове...
Надежда Яковлевна Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года
в Москве...

Долгая, отчаянно трудная и неслыханно счастливая жизнь!..

I ПЕРЕЖИТОЕ

Саратов и Киев. Семья

...Родилась Надя Хазина в купеческо-губернском Саратове, последним ребенком в семье. Квартировали в доме Жаркова, что на Большой Воздвиженской, недалеко от реки, а когда дети подросли, то переехали немного повыше, на Малую Казачью⁴.

¹ Из одноименного стихотворения.

² Н. Мандельштам. Из письма 1919 года.

³ Слова С. Клычкова (*Мандельштам Н.* Воспоминания, 1999. С. 311).

⁴ Сообщено саратовским краеведом В.В. Критским. Современные названия улиц — Первомайская и Яблочкова. Дом Жаркова не сохранился.

...Отец, Яков Аркадьевич Хазин, — высокий, прямой и кареглазый, носил сюртуки одинакового покроя и звал свою пепельноволосую младшую дочку почему-то «рыжиком»⁵. Сын кантониста и убежденный атеист, он, под влиянием семейной кухарки Дарьи (она же Надина нянька, водившая ее по храмам), исправно соблюдал православные посты. Из двух своих дипломов Санкт-Петербургского университета — математического и юридического — больше любил первый, но для жизненного употребления выбрал второй — за то, что лучше кормил. И не ошибся: молодой и блестящий юрист, присяжный поверенный и адвокат, он неплохо зарабатывал.

В начале 1900-х гг., когда в провинциальном Саратове ему стало тесно, он отправил младшую дочь в Швейцарию, а сам с остальным семейством перебрался на Днепр — в Киев. От Саратова, а точнее от Волги, на всю жизнь остались неодолимая кулинарная страсть к осетрине и еще своеобразная смесь барства с кротостью и скупостью (его любимая шутка: «У меня нет богатого отца»).

Яков Аркадьевич был человеком мягким и податливым, любил присесть на корточки и раздвинуть руки, чтобы обнять сразу всех вернувшихся с прогулки детей. У него, вспоминала дочь, «не было повелительных интонаций». Тем не менее, перед ним «поджимали хвосты» все ее будущие нахалы-друзья — и поэты, и художники, и артисты с их подругами. Сам же он выделял в ее «табунке» братьев Маккавейских, Владимира и Николая, чей отец — Николай Корнильевич Маккавейский, знаток топографии Страстей Христовых, преподавал на кафедре пастырского богословия и педагогики Киевской Духовной академии.

С зятем Яков Аркадьевич был ровен и дружен, а тот любил послушать его рассказы и весной 1929-го даже собирался написать по их канве четырехлистную повесть «Фагот»: «В основу повествования положена “семейная хроника”. Отправная точка — Киев эпохи убийства Столыпина. Присяжный поверенный, ведущий дела крупных подрядчиков, его клиенты, мелкие сошки, темные люди — даны марионетками, — на крошечной площадке с чрезвычайно пестрым социальным составом героев разворачивается действие эпохи — специфический воздух “десятих годов”. Главный персонаж — оркестрант киевской оперы — “фагот”. До известной степени повторяется прием “Египетской марки”: показ эпохи сквозь “птичий глаз”. Отличие “Фагота” от “Египетской марки” — в его строгой документальности, — вплоть до использования кляузных деловых архивов. Второе действие — по-иски утерянной неизвестной песенки Шуберта — позволяет дать в историческом плане музыкальную тему (Германия)»⁶.

⁵ Возможно, потому, что в младенчестве у нее были именно рыжие волосы.

⁶ Т. 2. С. 603.

В конце жизни, ощутив на самом себе всю силу «советского», а не «римского» права (он проиграл ЧК суд из-за собственной квартиры), он оставил юриспруденцию и переключился на свою «первую любовь» — математику, всю жизнь остававшуюся тайной его и недостижимой мечтой⁷. Всё приговаривал: «*Больше 16 часов в сутки я работать не могу*»⁸.

Умер Яков Аркадьевич Хазин 8 февраля 1930 года⁹.

Младшая дочь унаследовала от отца роскошный математический лоб, а от матери — поразительно красивые пепельные волосы («седенькие») и чистую кожу. И от обоих — прекрасно подвешенный и очень острый язык.

...Вера Яковлевна Хазина числилась по иудейскому вероисповеданию. С мужем она, возможно, познакомилась еще в Петербурге, когда училась на врача на Высших женских медицинских курсах при Медико-хирургической академии, первых в России. Но поженились они, — спасаясь, по-видимому, от давления собственных мишпух¹⁰, — во Франции: тамошние гражданские браки признавались в России, а вот межконфессиональные браки в самой России решительно не приветствовались, причем переход из православия в иное вероисповедание даже преследовался¹¹.

В голодный 1891 год ее как дипломированного врача посылали на помощь голодающим крестьянам Поволжья. Но после Саратова она уже не работала по специальности — следила за домом и разросшимся семейством. «*Она была крошкой — не доходила ему до плеча, а помещалась где-то под его локтем. Оба они до революции были чересчур полные. У отца это не бросалось в глаза из-за роста, а мать казалась просто шариком. Она ездила за границу лечиться от полноты, но ничего не помогало, потому что ели мы по-русски, обильный московский стол с селянками, пирогами, растегаями*»¹².

21 мая 1934 года, ликвидировав комнату в Киеве и распродав мебель, Вера Яковлевна приехала в Москву — «*доживать жизнь с зятьком и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженной. Но все эти*

⁷ По свидетельству Ю. Фрейдина, Н. Мандельштам до 1970-х гг. хранила его математические работы, но большого научного интереса они не представляли.

⁸ Герштейн, 1998. С. 400.

⁹ Справка о смерти Я.А. Хазина (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 511).

¹⁰ Семья, семейный клан у евреев.

¹¹ Осип и Надежда... С. 476.

¹² Мандельштам Н., 2006. С. 452.

чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О.М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам»¹³.

Пока зять и дочь отбывали сталинское «чудо о Мандельштаме» — высылку в Чердынь и ссылку в Воронеже, теща стерегла их квартиру в Нащокинском и еще подушку со стихами зятя. Когда Осипа Эмильевича арестовали, она оставалась единственным представителем «семьи», прописанным в мандельштамовской квартире. Но была она только съемщицей в квартире зятя: кооператив как бы «сдал» ей одну из двух его комнат сроком на пять лет, начиная с 15 февраля 1939 года¹⁴.

С середины 1937 года Вера Яковлевна с дочерью почти не виделась: пребывание Надежды Яковлевны в Москве, не говоря об Осипе Эмильевиче, могло быть — и было — только нелегальным. Но Вторая мировая вновь соединила мать и дочь¹⁵.

...Отрочество и юность Нади Хазиной прошли в Киеве. Сначала Хазины поселились в доме № 10 по Большой Васильковской¹⁶, затем жили в доме № 25 по Рейтарской¹⁷. А в 1911 году они переехали еще раз — в дом № 2 по Институтской улице: угловой по Крещатику, — прямо напротив городской Думы¹⁸.

Надя была четвертым и последним ребенком в семье: двое старших были голубоглазыми, а двое младших — кареглазыми. Самой старшей была сестра Аня, родившаяся в 1888 году. Она жила в Петрограде, нищей приживалкой в квартире папиного брата, и умерла от рака в июне 1938 года, в один год с Осипом Мандельштамом и его отцом.

Это удивительно, но обоих Надиных братьев звали в точности так, как и двух мандельштамовских, — Шура и Женя! Свой бойцовский характер Надя закаляла в непрерывных битвах и драках с братьями, так и норовившими поиграть ею в футбол или посадить на шкаф. Братья были погодками, 1892 и 1893 годов рождения, причем Шура родился в самый последний день «своего» года — 31 декабря¹⁹.

Уклонившись от петлюровской мобилизации, оба добровольно пошли в Белую армию. Старший, Александр, — кажется, самый лю-

¹³ Мандельштам Н., Воспоминания. 1999. С. 28.

¹⁴ АМ. В. 3. Ф. 104. С. 2. Им. 639—641.

¹⁵ См. в наст. изд., с. 525—526.

¹⁶ Весь Киев, 1905. Киев, 1905. Столбец 581.

¹⁷ Весь Киев, 1910. Киев, 1910. Столбец 898.

¹⁸ Весь Киев, 1915. Киев, 1915. В квартире имелся телефон с четырехзначным номером: 33—61. Сам дом был разрушен в 1941 г.

¹⁹ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 56184 (сообщено М.Г. Сальман).

бимый — выпускник Первой киевской гимназии и петербургского юрфака, бежал от большевиков на Дон и, предположительно, погиб уже в 1920 году. Кто-то, по слухам, видел его в Константинополе, но когда бы и так — из эмиграции никаких признаков жизни он не подавал.

Средний, Женя, и родился, и умер на шесть лет раньше Нади. Как и Шура, был в Белой Аармии. Скрывая свое белогвардейское прошлое, с трепетом дожид в Москве до 80 лет. Страх разоблачения хотя и сделал его «самым сдержанным и молчаливым человеком на свете»²⁰, но нисколько не мешал той реальной помощи, которую он всегда и без промедления оказывал сестре и ее опальному мужу-поэту. Это у него, на Страстном, 6, всегда, если было нужно, она останавливалась, и это ему, Женьке, она всегда могла доверить любые — в том числе самые деликатные — поручения, связанные с Осиным архивом или Осиной книгой: так что вполне логично, что секретарем первой комиссии по литнаследию был именно он.

Обе братнины жены — и Софья Касьяновна Вишневецкая, и Елена Михайловна Фрадкина — были еще и Сонькой и Ленкой, то есть подругами Надьки Хазиной из их безбашенного киевского «табунка», обе — театральные художницы из круга Александры Экстер и Александра Мурашко, к тому же еще и частые соавторши. Обе — вместе с Надеждой Яковлевной и Любовью Михайловной (Любой) Козинцевой, женой Эренбурга, и другими — истово оформляли революционные торжества в Киеве к Первомаю 1919 года²¹.

Сонька приехала в Москву почти одновременно с Надей (в 1921 году) и устроилась в таировский Московский Камерный театр. В 1924 году она ушла от Е.Я. Хазина к Николаю Адуеву, поэту-конструктивисту, в доме которого держала что-то вроде салона. Но вскоре колобок pokazился дальше, и она стала женой Всеволода Вишневого, самого идейного и благополучного советского драматурга. В 1941 году она и сама вступила в партию, в 1951-м — за оформление спектакля Вишневого «Незабываемый 1919-й» — даже стала лауреатом Сталинской премии второй степени. К чести этой семьи, Вишневецкие регулярно посылали Мандельштаму в Воронеж деньги.

Ленка доучивалась уже в Москве, во ВХУТЕМАСе, — у Кончаловского и Лентулова. Как с «невесткой», у Надежды Мандельштам были с ней непрекращающиеся проблемы²².

²⁰ Мандельштам Н., Воспоминания. 1999. С. 22—23.

²¹ Впрочем, подругой Надежды Яковлевны была и Э.Г. Герштейн, чей роман с Е.Я. Хазиним в начале 1930-х гг. был инспирирован самой Надеждой Яковлевной.

²² Что не помешало Н.М. назвать ее в одном из завещаний фактическим бенефициаром доходов от публикации произведений Мандельштама и своих.

Младших брата и сестру, Женьку и Надьку, связывала неизменно и нежная дружба, омраченная лишь однажды — перед смертью матери²³. Когда оба состарились, а у Н.М. завелись деньги, она охотно и много помогала брату с добыванием редких лекарств и даже с публикациями статей и книги²⁴. В 1974 году его не стало.

...В детстве Надя много болела, и в 1905—1914 гг. родители не раз вывозили ее лечиться в Европу — в Швейцарию, где она прожила два года, Германию, Францию, Италию, даже в Швецию. Благодаря этим поездкам и гувернанткам, она освоилась с французским и немецким, а заодно и с английским языками²⁵.

В Киеве она окончила Киевскую женскую гимназию Аделаиды Владимировны Жекулиной — лучшую в городе. Она находилась в доме 26 по Большой Подвальной²⁶; позднее для жекулинских гимназии и высших курсов было выстроено специальное здание на Львовской, 27а²⁷. Занятия шли по программе, разработанной для мужских гимназий, преподавали отличные педагоги — своих питомиц Жекулина приутоворяла к взрослой самостоятельной жизни²⁸.

Сохранился листок с записью о поступлении Н. Хазиной в гимназию: пятерки по закону Божьему, по русскому и немецкому языкам, четверка по математике. Успеваемость в старших классах была скромней: по одной только истории неизменные пятерки²⁹.

Гимназисткой она однажды видела царский проезд. Глядя на царевича и четырех царевен (средняя, Мария, была ее ровесницей), она вдруг осознала, что сама — *«гораздо счастливее этих несчастных девчонок: ведь я могу бегать с собаками по улице, дружить с мальчишками, не учить уроков, озорничать, поздно спать, читать всякую дрянь и драться — с братьями, со всеми, с кем захочу... С боннами у меня были очень простые отношения: мы чинно выходили из дому вместе,*

²³ См. ниже.

²⁴ Имеется в виду статья Е.Я. Хазина о романе Л.Н. Толстого «Война и мир», о публикации которой в воронежском журнале «Подъем» хлопотал по просьбе Н. Мандельштам в конце 1960-х гг. А.И. Немировский. В 1972 г. в Париже, в издательстве YMCA-Press, вышла книга Е.Я. Хазина «Всё позволено. Размышления о творчестве Достоевского», оплаченная из гонораров Н.М. Его последняя книга («Этюды о драматургии») не опубликована до сих пор.

²⁵ О своей семье Н. Мандельштам рассказывает в очерках «Отец», «Девочки и мальчик» и «Семья».

²⁶ Ныне Ярослав Вал. Дом сохранился.

²⁷ Ныне школа № 138 на ул. Артёма.

²⁸ Выпускницы гимназии могли продолжать свое образование на учрежденных ею же высших курсах.

²⁹ Кальницкий М. Тот самый Первомай // <http://mik-kiev.livejournal.com/2009/05/01/>.

а затем разбегались в разные стороны — она на свиданье, а я к своим мальчишкам — с девочками я не дружила — с ними разве подерешься как следует! А эти бедные царевны во всем связаны: вежливы, ласковы, приветливы, внимательны... Даже поддаться нельзя... Бедные девочки!» («Девочки и мальчик»).

Между 8 ноября 1917 и 20 мая 1918 гг. и, несомненно по настоянию отца, Надя проучилась два неполных семестра на юридическом факультете Киевского университета Святого Владимира³⁰. Подбить ее на большее было уже нельзя, отцовы ремесло и хлеб ее решительно не прельщали.

В 1918—1919 гг. она входила в круг (по ее выражению — «табунок») киевской богемно-артистической молодежи, по определению революционной и экстремально левой. Все же заметим, что «табунок» этот — в воспоминаниях Н. Мандельштам — из того же словесно-смыслового ряда, что и «потрава»: леваки в искусстве делали примерно то же, что большевики в политике и общественном устройстве.

Членами «табунка» были А. Тышлер, Р. Фальк, Б. Лившиц, А. Дейч, М. Эпштейн и др.³¹ Сама Н.М. занималась живописью в студиях Александры Экстер и Александра Мурашко³², но училась и у неоклассика М.Л. Бойчука³³.

На протяжении всей жизни Надя обращалась на «ты» лишь к друзьям своей киевской молодости, к «жеребцам» и «кобылкам» из этого табунка, да еще к Эренбургу, тоже «киевлянину», но не коренному³⁴. Ко всем остальным своим взрослым знакомым и собеседникам (а их было превеликое множество за ее долгую жизнь, в том числе и куда более близкие, например, Борис Кузин) она обращалась исключительно на «Вы», точнее на «вы», ибо «Вы» с большой буквы она категорически не писала.

Так же поначалу обращалась она и к Мандельштаму — своему «братику» и «дружку», но все-таки не-киевлянину...

³⁰ Фрезинский Б. Университетское личное дело Н.Я. Хазиной // СМР. Вып. 3/2. М.: РГГУ, 2000. С. 258—259. В ее личном деле — всего три листочка: заявления о приеме, об отчислении и справка из библиотеки.

³¹ Петровский М. Киевский роман О. Мандельштама // Петровский М. Городу и миру. Киевские очерки. Киев, 1990. С. 235—264.

³² Осип и Надежда... С. 409.

³³ Горбачёв Д. Три вечера с бойчукистами // Малевич. Классический авангард. Витебск. Вып. 10. Минск: Экономпресс, 2008. С. 193—194; Дмитриева М. От этнографии до эстетики. Теоретические позиции Культур-лиги и еврейский художественный дискурс // Культур-лига. Художний авангард 1910—1920-х років. [Киев]. 2007. С. 55.

³⁴ Впрочем, на «ты» была она и с Пастернаком.

Киев. Первой девятнадцатого.
Встреча с Мандельштамом

Автор «Камня» приехал в Киев в середине апреля 1919 года — в несколько неожиданной для себя официозной роли наркомпросовского комиссара, или эмиссара. Он был откомандирован из Москвы, где работал в Отделе реформы высшей школы в Наркомпросе, для работы в Театральном отделе Киевского Губнаробраза³⁵. Вместе со своим средним братом (Шурой) и другим откомандированным — Рюриком Ивневым — он остановился в гостинице «Континенталь», раз или два читал свои стихи на вечерах.

Кульминацией его «эмиссарства», как, возможно, и всего большевистского присутствия в Киеве в 1919 году, стало карнавально яркое празднование Первой.

Этот день, — быть может, самый важный и самый насыщенный в его жизни — сложился из трех разрозненных составляющих.

Утром — поход в Киево-Печерскую Лавру, впечатление — самое удручающее: «...Здесь та же “чрезвычайка”, только “навыворот”. Здесь нет “святости”»³⁶.

Днем — собственно первомайские торжества и демонстрация на Софийской площади, где разместились не только собор и памятник Хмельницкому, но и цитадель советского правительства. Площадь, да и весь город стараниями добровольцев-авангардистов — художников, литераторов, артистов и музыкантов — изменились до неузнаваемости.

Через улицы тянулись полотнища с подобающими случаю лозунгами, наспех разрисованными студийцами и студийками Экстер (их развешивали и натягивали накануне ночью сами художники, врываясь — не хуже чекистов и в сопровождении тех же управдомов — в квартиры и со смехом будя спящих и трясущихся от страха жильцов). На той же Софийской, рядом с конным, но всё еще бронзовым гетманом поставили гипсовый обелиск в честь Октябрьской революции. Тут же, рядом, такие же гипсовые Ленин и Троцкий и еще узенькая фанерная «триумфальная арка», сквозь которую браво прогарцевали конные красноармейцы и опасно продефилировали пешие силы и все сознательные граждане. Арку огибала колонна открытых грузовиков, на которых артисты разыгрывали подходящие

³⁵ Губернский комитет народного образования. См. упоминания о деятельности Эренбурга и Мандельштама в Театральном отделе (*Соммер Я.* Записки / Публ., предисл. и примеч. Б.Я. Фрезинского // *Минувшее: Исторический альманах.* Вып. 17. 1994. С. 147—148).

³⁶ *Рюрик Ивнев*, 2008. С. 124 (запись от 2 мая 1919 г.).

к случаю агитки, — своего рода первый лав-парад в честь революции и солидарности трудящихся.

Гипс — этот податливый, но хрупкий и недолговечный материал — вобрал в себя всю хирургию и всю символику момента. На Крещатике — гипсовый же Карл Маркс, на Красноармейской — такой же Фридрих Энгельс, на Европейской площади — Тарас Шевченко (ну чем не «вождь революции»?), перед Оперой — Карл Либкнехт, на Контрактовой — Роза Люксембург, а возле завода «Арсенал» — Яков Свердлов, сраженный буржуазной «испанкой»³⁷.

Но Мандельштама, стоявшего, скорее всего, на начальственной трибуне на Софийской, впечатлили не аляповатые фигуры-однодневки, а монументальные стены прекрасного собора. Он сказал тогда Ивневу, показывая на них: *«Поверьте, что всё это переживет всё»*³⁸.

В тот же вечер состоялась и вторая их встреча. Завершением этого бесконечного дня стало празднование 26-летия Александра Дейча, критика и переводчика и все из того же киевского «табунка». Отмечалось оно в кафе «ХЛИАМ» («Художники — Литераторы — Артисты — Музыканты»), находившемся в подвале той самой гостиницы «Континенталь», где жил Мандельштам. Он спустился вниз и был немедленно приглашен присоединиться к компании, дружно шумевшей за составленными столиками. За одним из столиков сидела и Надя Хазина, та самая юная художница из театра, вскидывавшая иногда в его сторону прекрасные и полные насмешливого любопытства карие глаза.

Мандельштама попросили почитать стихи — и поэт, обычно на публике капризный и заставляющий себя уговаривать, тут же и охотно согласился: *«Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам... Открывая глаза, смотрел только на Надю Х.»*³⁹ Смотрела на него и она — зрачки в зрачки, дерзко и загадочно улыбаясь...

Разгоряченные, они вышли на улицу (оба курили) — и за столики уже не вернулись. Всю ночь гуляли по притихшему после праздника городу, вышли по Крещатику на Владимирскую горку и, забыв о гипсовых идолах и о вполне осязаемых бандитах и страхах⁴⁰, кружили аллеями по-над Днепром, встречали рассвет над Трухановым островам. И, не умолкая, говорили — обо всем на свете.

Словно предупреждая о возможных в сочетании с ним осложнениях, Мандельштам рассказывал Наде о Леониде Каннегисере, своем

³⁷ Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов умер 16 марта 1919 г., заразившись гриппом по дороге из Харькова в Москву.

³⁸ Рюрик Ивнев, 2008. С. 124.

³⁹ Дейч, 2000. С. 146.

⁴⁰ Спустя полтора месяца, 14 июня, бандиты, например, застрелили А.А. Мурашко.

родственнике, убийце Урицкого, и о «гекатомбе трупов», которой на его теракт ответили большевики⁴¹.

Пробирал холод, и мандельштамовский пиджак перекачевал на Надины плечи. Но со своей задачей не справлялся и как надо не грел. Не беда: через каждые сто метров парочка останавливалась — они обнимались, целовались, перешептывались...

Надежда Мандельштам вспоминала об этом так: «В первый же вечер он появился в “Хламе”, и мы легко и бездумно сошлись...»⁴²

Второго мая в греческой кофейне их «благословил» Владимир Маккавейский, ближайший Надин друг и поэт из семьи богослова⁴³: большего для освящения таинства любви между евреем, окрещенным методистом, и еврейкой, крещенной православной, явно не требовалось.

Сама дата 1 мая стала для Осипа и Надежды как бы сакральной и совершенно свободной от пролетарских коннотаций. Осип вспоминал о ней, например, 23 февраля 1926 года, когда писал: «Надюшок, 1 мая мы опять будем вместе в Киеве и пойдём на ту днепровскую гору тогдашнюю...».

Вспоминали ее и в 38-м, в снежной западне в Саматихе, когда под самое утро 2 мая, ровно в 19-ю годовщину киевской «помолвки», их разбудили энкавэдэшники и разлучили уже навсегда. «Ночью в часы любви я ловила себя на мысли — а вдруг сейчас войдут и прервут? Так и случилось первого мая 1938 года, оставив после себя своеобразный след — смесь двух воспоминаний»⁴⁴. Мандельштама, подталкивая в спину, увели, а все его бумаги покидали в мешок: «Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься»⁴⁵.

...Тогда, в Киеве Мандельштам провел тогда еще три с лишним недели. Вечером 10 мая — еще один подарок искусства революции: премьеры спектакля по пьесе Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»), поставленного в Соловцовском театре Константином Марджановым. Угнетенные испанские средневековые женщины дружно восставали против своих угнетателей и насильников, а в самом конце, плотоядно поводя бедрами, ни с того ни с сего кричали: «Вся власть Советам!» Исаак Рабинович, один из лучших учеников Экстер, был сценографом спектакля, а Надя Хазина одной из двух его ассистенток. После представления на поклон выходили и они,

⁴¹ Мандельштам Н. Вторая книга, 1999. С. 428.

⁴² Мандельштам Н. Вторая книга, 1999. С. 21.

⁴³ Мандельштам Н. Вторая книга, 1999. С. 120.

⁴⁴ Мандельштам Н., 2008. С. 111.

⁴⁵ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 427.

вкушая свою толику успеха — оглушительные аплодисменты и вороха дешевых киевских роз.

Тогда же, 10 мая была завершена «Черепаша» — стихи ничем еще не потревоженного счастья, где «холодком повеяло высоким от выпукло-девического лба» и где только «мед, вино и молоко».

Не ранее 24 мая⁴⁶ — и всё в том же сопровождении — Мандельштам возвращается в столичный Харьков, где хлопочет о командировке в Крым, тогда еще «красный»⁴⁷. Вскоре, однако, возвращается — вдвоем с Шурой — в Киев, где снова поселяются в «Континентале». После того как их оттуда вежливо попросили, братьев приютит кабинет Я.А. Хазина⁴⁸.

Но в конце августа братья все же покинули Киев: с артистическим вагоном доехали до Харькова, оттуда — в Ростов и оттуда, наконец, в Крым. На прощанье Надежда подарила Осипу свою фотографию с надписью: «Дорогому Осе на память о будущей встрече»⁴⁹.

Встреча эта, по плану, намечалась еще в Харькове, куда Надя должна была приехать в обществе Эренбургов. Плану, однако, не было суждено осуществиться, так что встреча, хотя и состоялась, но с порядочным опозданием — приблизительно в полтора года.

Они часто писали друг другу, но сохранилось только четыре письма Н. Мандельштам⁵⁰. В них она называет своего Осю «милым», «милым братиком» или «милым дружкой». В сентябре она всё еще ищет оказию в Харьков или Крым и всё ждет от своего милого телеграмму. Он и отправил ее 18 сентября из Коктебеля, но пришла она только... 13 октября: все имевшиеся оказии к этому времени были упущены.

На самом деле Надя и не хочет никуда уезжать — и то зовет его к себе в Киев, то, описывая киевские трудности, отговаривает от этого и тут же, через строчку, снова зовет.

А Мандельштама ждала его причерноморская одиссея — с двумя арестами — в Феодосии и Батуме, с обретением старых и новых друзей — и врагов, и с новыми стихотворениями:

Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

⁴⁶ Ср. запись в дневнике А. Дейча от 23 мая 1919 г.: «Надя хотела повести его на «Овечий источник»» (Дейч, 2000. С. 146).

⁴⁷ Рюрик Ивнев, 2008. С. 132 (запись от 22 мая 1919 г.).

⁴⁸ Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1999. С. 26.

⁴⁹ Цит. по неподписанному комментарию Ю.Л. Фрейдина в заметке «Надежда Яковлевна Мандельштам. Фотографии и биография», помещенной без пагинации на четвертой странице иллюстративной вклейки между с. 272 и с. 273 в сб.: *Смерть и бессмертие поэта*. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28—29 декабря 1998 г.). / Записки МО. Т. 11. М.: РГГУ, 2001. Вклейка открывается именно этой фотографией.

⁵⁰ Мандельштам, 2009—2011. Т. 3. М., 2011. С. 604—606.

...И только в марте 1921 года, узнав от Любы Эренбург новый киевский адрес Хазиных, Осип Мандельштам поехал за ней и увез в Петроград и Москву. А еще через год, в конце февраля — начале марта 1922 года, в Киеве, Осип и Надежда зарегистрировали свой брак: шафером на их свадьбе был Бен Лившиц⁵¹.

Москва — Ленинград — Царское Село

«Н. Х.», то есть Наде Хaziной, посвящена не только «Черепаха», но и вся «Вторая книга» (1923), а также несколько более поздних стихотворений Мандельштама.

С самого начала Надежда Яковлевна стала как бы живым продолжением пера или голоса своего мужа: записывала под его диктовку и стихи, и прозу или же переписывала их набело. В результате немалая часть сохранившегося рукописного наследия Мандельштама дошла до нас в ее списках, как авторизованных, так и не авторизованных. Помогала она мужу и в переводной работе (особенно при переводах с английского), нередко переводила и сама.

В 1922 году он познакомил ее с Цветаевой, а в 1924 году, в Царском Селе, с Ахматовой. Цветаевский «прием» вышел ледяным, буквально «мордой об стол», а ахматовский — простым и теплым: дружба с А. Ахматовой, тогда начавшись, не прекращалась до самой ее смерти.

С этого времени Осип и Надежда стали почти неразлучны. Жена сопровождала поэта практически во всех его поездках по стране, включая такие специфические путешествия за казенный счет, как ссылки в Чердынь и Воронеж, а также в санаторий в Саматихе. Все эти «путешествия» прекрасно описаны ею самой, они были в такой же степени ее «репрессией», как и его, и на них я останавливаться здесь не буду.

Разлучали их разве что те случаи, когда она сама, как в 1925—1930 гг., часто лечилась от хронического туберкулеза в Крыму или когда — во время воронежской ссылки Мандельштама — она ездила по делам в Москву: именно в эти месяцы и недели разлуки он особенно часто писал ей⁵².

Впрочем, один биографический эпизод едва не завершился трагически для их союза — это история с Лютиком, или Ольгой Ваксель. Мандельштам знал ее в молодости в Коктебеле прелестной девочкой-

⁵¹ В 1957 г., в связи с потерей свидетельства о браке, Н. Мандельштам даже просила его жену — Таточку (Екатерину Константиновну) Лившиц — подтвердить этот факт (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 220).

⁵² Около восьмидесяти его писем к Н. Мандельштам составляют около трети всей сохранившейся эпистолярии поэта.

подростком. Встретив ее случайно в январе 1925 года в Ленинграде, он был буквально сражен ее женской красотой и невероятным обаянием, под воздействием на него — и без малейшего усилия с ее стороны — в точности так же, как и на бесчисленных других ее обожателей как до, так и после их встречи и расставания. Он поэтично полюбил ее и с женой, которая не только не возревновала его, но и сама подпала под чары ее красоты и обаяния. И если в этом неожиданном треугольнике Лютик и отвечала кому-то взаимностью, то не ему.

Мандельштам же совсем потерял голову и повел себя как стареющий и богатый бонвиван, добывающийся взаимности в поздней интрижке: снимал номер в «Астории», заказывал в номер ужин и свечи, упал на колени. При этом Ольга и не пресекала этой возни: не исключено, что в ее голове и впрямь прокручивались планы и риски очередного замужества, к чему в данном случае ее, возможно, подталкивала и мать.

Во всяком случае, треугольник прорвался в том самом классическом углу, где находилась «старшая» жена — 26-летняя Надежда Яковлевна, вспомнившая о своем «табунковом» свободолюбии. К середине марта она сговорилась со своим будущим спутником — Владимиром Татлиным, — и в один из дней, когда Мандельштам ушел в город, просто стала собирать чемодан и вызвала по телефону свою пассию. Но Осип Эмильевич за чем-то вернулся и, увидев то, чем была занята жена, вдруг увидел и себя, и ее, и Лютика в какой-то совершенно другой перспективе. В одно мгновение он смял и выбросил в корзину, словно отброшенный черновик, весь свой вакселевский проект: женин чемодан закинул на шкаф, ее как раз подоспевшего жениха ласково вытолкнул обратно, позвонил Ольге и твердым голосом, почти грубо, уведомил ее об одностороннем прекращении всяких с ней отношений и даже за чем-то упрекнул в нехорошем отношении к людям! Жену же схватил в охапку и увез в Царское Село.

А в сухом остатке — семейное согласие и несколько дивных стихов!..

Впоследствии Мандельштам уже не испытывал свой брак на прочность: его платонические влюбленности в Марусю Петровых и Наташу Штемпель, — как и в случае с Лютиком, но безо всяких драм, — были с успехом конвертированы в золотой чекан прекрасных стихотворений. Но и о том, насколько это серьезно было у Мандельштама тогда, зимой 25 года, лучше всего свидетельствуют тоже стихи — 1935 года, обращенные всё к той же Ольге Ваксель, но уже к мертвой.

В 1930 году милостивая судьба подарила сорокалетнему Осипу Мандельштаму другое чудо — чудо истинной дружбы. Эту дружбу с биологом Борисом Кузиным он сравнил с выстрелом, вновь разбудившим в нем, маститом спеце-литераторе, все ювенильные таинства поэзии. Этот блестящий, внутренне свободный, живущий научными

интересами, дышащий музыкой и стихами человек был ровней Мандельштаму и лучшим его собеседником в оставшиеся годы. Другими его новыми собеседниками в 1930-е годы стали Яхонтов и Харджиев.

В той же мере была очарована Кузиным и Надежда Яковлевна, быть может, даже в большей мере, ибо именно у него, сосланного в степные казахские Шортанды, искала она в конце 1938 года дружеского утешения и участия. Свою вдовью жизнь она представляла себе только двояко — или вместе с Борисом Сергеевичем или без никого.

Получилось — без никого.

*Москва — Савелово — Калинин — Саматиха
Струнино — Шортанды — Москва — Малый Ярославец —
Калинин*

При жизни мужа Надежда Мандельштам практически не служила, если не считать работы в редакциях газет — одной московской («За коммунистическое просвещение», теперешняя «Учительская») в 1932 году и в воронежской «Коммуне» в 1934—1935 гг.

Зато после его ареста и смерти ей пришлось сполна вкусить все прелести советской службы: Струнино — Калинин — Ташкент — Ульяновск — Чита — Чебоксары — Псков — вот географические станции ее жизни и карьеры, педагогической по преимуществу.

...В мае 1937 года, после возвращения из Воронежа, не только Осип, но Надежда Мандельштам автоматически лишилась московской прописки. Начались поиски подходящего жилья за пределами стоверстной зоны (Малый Ярославец, Таруса). Лето они провели в Савёлово — селе напротив Кимр, а осень и зиму — в Калинин. Лишь изредка, наездами они бывали и в обеих столицах — повидать родных и друзей, послушать музыку, пособирать милостыню (деньгами или вещами), сходить в музей.

Спустя год, в мае 1938 года Надежда Яковлевна была вместе с Осипом Эмильевичем в подмосковном доме отдыха «Саматиха», где присутствовала при последнем аресте Мандельштама 2 мая 1938 года. Сопровождать мужа хотя бы до Москвы жене на этот раз не разрешили: срок действия сталинского «чуда» 1934 года уже истек.

Только 6 или 7 мая Надежда Яковлевна сумела выбраться из Саматихи. По-видимому, сразу же после этого она выехала в Калинин, где забрала корзину с мандельштамовскими рукописями. Она понимала, что такой же «налет» неизбежно предпримут и органы, и сумела опередить и без того перегруженный аппарат НКВД. В корзинке, по оценке Н. Мандельштам, находилась примерно половина архива Мандельштама, вторая половина была в Ленинграде у С.Б. Рудакова.

Вернувшись в Москву, находиться в которой было довольно рискованно, Н. Мандельштам не провела в ней и двух дней. Ее эпопея «стопятницы»⁵³ началась с Ростова Великого, где ее ждала неудача.

На обратном пути она попыталась счастья в Струнино — маленьком поселке с несколькими текстильными и ткацкими фабриками. Некоторое время она распродала мандельштамовскую библиотеку, но книги кончились. Жизнь стало не на что — так что нужно было искать и находить способы существования.

С 30 сентября по 11 ноября 1938 года она проработала ученицей тазовщицы прядильного комбината «5-й Октябрь» в городе Струнино Владимирской области. Оплата повременная — 4 р. 25 коп. в день⁵⁴.

Но, заметив явно повысившийся интерес к себе со стороны отдела кадров, Надежда Яковлевна в одночасье уволилась и укрылась от возможных «поисков» в Казахстане, в поселке Шортанды, куда был сослан Б.С. Кузин и где она пробыла до самого конца декабря 1938 года.

Последнее письмо поэта из лагеря, датируемое началом ноября, обращено к среднему брату и жене. В ответ 15 декабря 1938 года Надежда Мандельштам телеграфом отправила в лагерь денежный перевод. Она не могла знать, что жизни Мандельштаму оставалось всего двенадцать дней.

19 января 1939 года, в период ослабления Большого Террора, написала заявление на имя нового наркома НКВД Л.П. Берии с требованием или освободить мужа, или привлечь к ответственности и ее — как постоянную свидетельницу и участницу его жизни и работы. До 30 января 1939 года она не знала, что освободить было уже поздно и некого: Осип Эмильевич Мандельштам умер 27 декабря, за 18 дней до своего 48-летия.

А 5 февраля⁵⁵ пришел назад перевод, с припиской — «За смертью адресата».

После чего и началась ее — уже вдовья — жизнь.

Седьмого февраля она обратилась в ГУЛАГ с просьбой выдать ей свидетельство о смерти мужа. Ждать пришлось почти полтора года. В июне 1940 года ЗАГС Бауманского района г. Москвы наконец выдал А.Э. Мандельштаму свидетельство о смерти О.Э. Мандельштам 27 декабря 1938 года — для передачи вдове (в этой дате, известной

⁵³ «Стопятницы», «стоверстницы» — обозначение тех, кому было запрещено проживать в Москве и ближе чем в 100 км от нее.

⁵⁴ Расчетная книжка № 585 (АМ. В. 3. Ф. 104. С. 1. Им. 594—595, 625).

⁵⁵ Сама Надежда Яковлевна датировала получение посылки 5 февраля — днем публикации в газетах указа о награждении орденами и медалями писателей. Однако Кузину о смерти Мандельштама она написала еще 30 января (Кузин, 1999. С.564), и тем же днем датировано письмо Э. Герштейн Ахматовой с той же новостью (Нерлер, 2010. С.158)

в течение сорока лет как официальная дата смерти, Надежда Яковлевна всегда сомневалась).

Весь январь и первую половину февраля 1939 года Надежда Мандельштам провела в Москве без прописки, что было опасно. В середине февраля, оставив мать в квартире вместе с Костаревыми, она уехала в Малый Ярославец, где прожила около месяца (по адресу: Коммунистическая, 34).

Вернувшись в Москву, где нужно было помочь маме в ее занятиях квартирным вопросом (обмен, хлопоты о пае), она рассчитывала вновь выехать в Шортланды, но приезд к Кузину его невесты, А.В. Апостоловой, сделал это невозможным.

В конце мая 1939 года она вновь вернулась в Калинин (по адресу: д. Старая Константиновка, № 78), где жила ее близкая подруга Е.М. Аренс, устроившая ее вместе с собой в артель детской игрушки. Почти всё лето у нее гостила мама, приезжала и Н.Е. Штемпель, а в сентябре 1939 года она и сама съездила в Воронеж. Осенью Надежда Яковлевна переехала (новый адрес: Калинин, Школьный пер., 23, кв. 10) и устроилась работать учительницей старших классов в двух разных школах — № 1 и № 26.

В 1941 году она послала необходимые документы на заочное отделение Института иностранных языков. Но началась война, и ни абитуриентке, ни институту, судя по всему, было уже не до этого заявления.

Калинин — Муйнак — Михайловка — Ташкент

Бомбардировки Калинина начались уже в июле-августе 1941 года. 30 сентября, когда немцы уже приближались к городу⁵⁶, Надежда Яковлевна с матерью отправилась в эвакуацию — буквально с последним катером. Останься они в городе — немцы бы их расстреляли: расстрельные рвы копались для всех евреев, для крещеных тоже. Под бомбежкой они доплыли до Сызрани, откуда хотели добраться до Воронежа. Но узнав, что немцы наступают и на Воронеж, развернулись на юго-восток — в Среднюю Азию. Поездом их привезли в Бухару, а оттуда — вновь по реке (по Аму-Дарье) — на зловещий остров Муйнак в узбекской части Приаралья, где находилась и колония прокаженных. Бежать отсюда было непросто, но через месяц все же удалось; поколесив по Казахстану, через Семипалатинск и Джамбул, она и ее на глазах слабеющая мама приземлились в колхозе «Красная Заря» в с. Михайловка Джамбульской области (дом Колесниковой).

⁵⁶ Немцы оккупировали часть города 14 октября 1941 г., а весь город — 17 октября. 16 декабря, перейдя в контрнаступление, Красная армия освободила Калинин.

Уже из Михайловки Н. Мандельштам списалась с находившимися в Ташкенте в эвакуации А. Ахматовой и Е.Я. Хазиным: волею случая они жили даже в одном доме 54 по улице Жуковской! Те тут же начали хлопоты о переводе Надежды Яковлевны и Веры Яковлевны в Ташкент. Получив в середине июня 1942 года соответствующее разрешение, уже в начале июля они, вместе с приехавшим за ними Е.Я. Хазиным, переехали в Ташкент и временно остановились у него. А в начале сентября 1942 года Н.М. переехала с мамой на окраину Ташкента — к переводчице Нине Пушкирской (Водопадный проезд, 3, кв. 3). Иногда здесь собирались близкие друзья (В. Жирмунский, Л. Чуковская, Н. Леонов) — пили зеленый чай, спорили, даже читали Мандельштама.

Проскитавшись по узбекско-казахским степям и пустыням, Вера Яковлевна так изголодалась и ослабела, что уже впала в детство, говорила и думала только о еде и буквально таяла на глазах. Последние месяцы ее жизни были отравлены неслыханно черствым и эгоистичным поведением ее сына с невесткой: отношения Надежды с «ее» Женей в середине 1943 года были ничуть не лучше отношений Осипа с «его» Женей в феврале 1936-го — то был тяжелый, на грани разрыва, разлад⁵⁷.

Надежде Яковлевне приходилось бегать из расположенного в центре Дома пионеров на Водопадный кормить больную мать и после этого возвращаться обратно. Возможность жить на Жуковской да еще приводить учеников в центрально расположенный дом наверняка облегчила бы их жизнь...

Вера Яковлевна не задержалась на этом свете: около 17 сентября 1943 года она тихо скончалась. Вскоре после ее похорон, получив «вызовы» от Союза писателей, возвратились в Москву А. Ахматова, а за ней и Женя с женой. У Н.Я. Мандельштам, фактически ссыльной, на вызов в Москву не было никакой надежды.

Впрочем, в Ташкенте она устроилась относительно неплохо: в 1942—1943 гг. она работала — вместе с Л.К. Чуковской — в Центральном доме художественного воспитания детей, заведовала его литературной частью и преподавала детям, на выбор, английский, немецкий и французский языки. Своих учеников — Эдика Бабаева, Валю Берестова и Мура (Г.С. Эфрон, сын М.И. Цветаевой) — она, любя, величала «вундеркиндами проклятыми». Берестову же его учительница — «*в кожанке, носатая, энергичная, с вечной папиросой во рту*» — напоминала «*не старую и всё же добрую Бабю Ягу*»⁵⁸. В конце апреля 1943 года Надежда Яковлевна перенесла эти занятия в комнату А. Ахматовой — на так называемую «балахану».

⁵⁷ См.: Кузин, 1999. С. 713—719.

⁵⁸ Берестов В.Д. Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны // «Отдай меня, Воронеж...»: Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1995. С. 334—335.

А в 1945 году Н. Мандельштам решает подучиться и сама — на кафедре романо-германской филологии на филфаке Среднеазиатского госуниверситета (САГУ)⁵⁹, который она и окончила 10 июля 1946 года экстерном. Когда ее спросили на экзамене об Озерове, она ответила: «Да, да, ах Озеров, это о нем мой муж писал...»⁶⁰. На протяжении 1947—1948 гг. она сдала семь экзаменов кандидатского минимума по специальности «романо-германская филология» — пять в Ташкенте, в САГУ, и два — в Москве, в МГУ⁶¹.

Уже с 1 марта 1944 года (и вплоть до 19 января 1949 года) — она одновременно и преподает в университете — английский язык на кафедре иностранных языков САГУ.

В круге ее общения — немало университетских коллег: от биолога Леонова до прославленной ею самой «Гуговны» — Алисы Гуговны Усовой⁶².

Постоянной заботой Н. Мандельштам был мандельштамовский архив, помещавшийся тогда в корзинку или в один небольшой чемодан. Чудом доезжала она его до Ташкента, какое-то время хранителем архива был ее лучший ученик Эдик Бабаев, попавший однажды в облаву со списком мандельштамовского «Разговора о Данте» в руках. Его отобрали в милиции: когда же выпускали и возвращали тетрадь, то молоденький милиционер, по виду вчерашний школьник, переспросил: «Сочинение?» — «Да, сочинение». — «Пиши яснее», — искренне понапутствовал участливый милиционер.

15 мая 1944 года, с возвращающейся из эвакуации Ахматовой, Н. Мандельштам передала часть мандельштамовского архива в Москву, Э.Г. Герштейн, у которой он пролежал более двух лет. Но, напуганная постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, Эмма Григорьевна вернула ей архив. Надежде Яковлевне надо было уже срочно возвращаться в Ташкент, но в считанные дни она нашла достойную замену хранителю: около 26—27 августа 1946 года архив был отдан братьям Бернштейнам — Сергею Игнатьевичу⁶³ и Игнатию Игнатьевичу (он же Саня Ивич) в Руновском⁶⁴.

⁵⁹ Позднее ей даже вручат медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

⁶⁰ «Гуговна», 2008. С. 235.

⁶¹ См. в ее личном деле в Чувашском педагогическом институте (сообщено Г.Г. Тенюковой).

⁶² Высказывания «Гуговны» о Н. Мандельштам в переписке были, как правило, язвительны и критичны.

⁶³ Жил по адресу: Столешников пер., д. 11, кв. 17.

⁶⁴ Он жил в Замоскворечье (Руновский пер., 4, кв. 1). 9 августа 1954 г. датировано завещание Н. Мандельштам мандельштамовского архива в пользу Сони Ивич (архив С.И. Ивич-Богатырёвой) — одно из нескольких завещаний такого рода.

В первой половине лета 1948 года Н. Мандельштам снова в Москве, где перенесла серьезную операцию на груди: удаленная опухоль оказалась, по счастью, не раковой⁶⁵.

Ульяновск — Чита — Чебоксары

После Ташкента бездомной, в сущности, Надежде Яковлевне приелось изрядно поколесить по вузовским городам Союза.

Ее первой остановкой — зимой 1949 года — стал Ульяновск, где она поселилась в общежитии по-над Волгой⁶⁶, что не могло не навевать ей воспоминаний о беззаботном саратовском житье. В Ульяновском пединституте Н. Мандельштам проработала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков с 4 февраля 1949 по апрель 1953 г.

В 1950 году она закончила свою первую — начатую еще в Ташкенте — диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, но защититься ни сходу, ни в 1953 году ей так и не дали. Внезапный личный интерес товарища Сталина к «вопросам языкознания» придал этой когда-то сравнительно нейтральной научной дисциплине неожиданно опасную идеологическую окраску, так что диссертацию, в соответствии с менявшейся конъюнктурой, пришлось переписывать несколько раз⁶⁷.

31 августа 1955 года, уже после смерти вождя-лингвиста, в письме А.А. Суркову, Н. Мандельштам так описывала ситуацию с защитой: *«Мне не дали защитить диссертацию в 1953 году. (Диссертация “Исследование древнегерманских языков” — т. е. действительно настоящее языкознание). Все авторитетные люди в моей области (акад. Шишмарёв, Жирмунский, Ярцева, Стеблин-Каменский, Аракин и др.) подтвердят это. Но у меня уже нет сил на защиту (сердце). (Боролась с диссертацией две специалистки по травлям — канд. Ахманова и Левковская). Черт с ней, с защитой»*⁶⁸.

К середине 1951 года ее отношения на кафедре обострились настолько, что она охотно перебралась бы в другое место⁶⁹, но кто же возьмет к себе столь сомнительную вдову-еврейку в самый пик анти-семитского угара в стране?

В Ульяновске, впрочем, у нее был свой — и немалый — круг общения: биологи Александр Александрович Любищев (а с ним его

⁶⁵ «Луговна», 2008. С. 241.

⁶⁶ Располагалась по адресу: Пролетарская площадь, 31. Номера комнат менялись: 7, 75 (сообщено С.И. Ивич-Богатыревой).

⁶⁷ Это замечание принадлежит Ю. Фрейдину.

⁶⁸ Три письма Надежды Мандельштам к Алексею Суркову / Публ. и предисл. С. Шумихина // Окна. Иерусалим. 1999. 2 декабря. С. 4—5.

⁶⁹ «Вчера получила письмо от Надежды Яковлевны. Она какая-то “шалая”, успела так обострить в Ульяновске отношения, что ищет себе “на всякий случай” что-нибудь под Москвой» (Там же. С. 241).

жена — Ольга Петровна и сестра — Любовь Александровна, у которой был арестован сын), Борис Михайлович Козо-Полянский и Роза Ефимовна Левина, историк Иосиф Давыдович Амусин, парижанка-репатриантка Нина Алексеевна Кривошеина, с которой Надежда Яковлевна еще и в баню хаживала⁷⁰, словесница Марта Моисеевна Бикель, уроженка румынского города Радуци близ Черновиц. Впрочем, были и влиятельные враги во главе с директором института кандидатом географических наук Виктором Степановичем Старцевым⁷¹, его заместителем и партгором Тюфяковым⁷² и деканом факультета иностранных языков Глуховым⁷³.

А с 1 сентября 1953 и по 13 августа 1955 г. Н. Мандельштам уже в Чите, куда ее перевели из Ульяновска старшим преподавателем английского языка местного пединститута, располагавшегося в доме 140 на улице Чкалова. Вела она здесь и кружок по изучению готского языка. О городе и об институте она отзывалась чуть ли не с восторгом. Так, в письме от 15 сентября 1953 года В.Ф. Шишмарёву она пишет: *«Мне не страшно, что это так далеко — город удивительной красоты, а Институт на десять голов выше Ульяновского. Кафедра наша тоже гораздо лучше. А главное, здесь мирно и миролюбиво»*⁷⁴.

Сохранилась фотография, запечатлевшая Н. Мандельштам вместе с коллегами по кафедре, а Л. Острая, сослуживица по институту, запечатлела ее домашний антураж: Надежда Яковлевна *«...лежала на своей маленькой кровати, покрытой старым пледом, с книгой в руках и обязательно с дымящейся сигаретой. Книги, табак и кофе были ее неразлучными спутниками. <...> Ее гардероб был своеобразным, но не необычным. В течение двух лет она носила неизменное серое платье и синий шарф. Когда становилось холодно, она облачалась в шубу своеобразного модного покроя с широкими рукавами, каких в Чите в то время еще не видели»*⁷⁵.

⁷⁰ «У Любищевых я часто встречала Надежду Яковлевну; иногда мы с ней вместе ходили в баню — там можно было спокойно поговорить...!» (Кривошеина Н. А. Четыре трети нашей жизни. М.: Русский путь, 1999. С. 234).

⁷¹ Старцев Виктор Степанович (1894—1973), кандидат географических наук, доцент, с августа 1952 по лето 1954 г. директор Ульяновского пединститута и зав. кафедрой педагогики (сообщено А. Рассадным).

⁷² Тюфяков Павел Алексеевич (1907—1954), с лета 1950 г. в Ульяновском пединституте: во время работы Н.Я. Мандельштам зам. директора пединститута и секретарь партбюро факультета иностранных языков (сообщено А. Рассадным).

⁷³ Глухов Иван Кузьмич (1892—?) — кандидат философских наук, доцент. В 1939—1941 гг. директор Ульяновского пединститута. В 1950—1959 гг. вновь в институте: доцент кафедры основ марксизма-ленинизма и, по совместительству, декан факультета иностранных языков (сообщено А. Рассадным).

⁷⁴ *Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 896. Оп. 1. Д. 272* (Сообщено Л. Степановой).

⁷⁵ *Селина М. Хранящий тайны // Забайкальский рабочий* (Чита). 2002. 5 декабря. С. 4.

С 1 сентября 1955 и по 20 июля 1958 г. она снова на Волге, на этот раз в Чебоксарах, — старшим преподавателем и даже исполняющим обязанности зав. кафедрой английского языка Чувашского ГПИ им. И.Я. Яковлева. Альтернативой мог бы стать... Воронеж, но приглашение оттуда запоздало — пришло уже после того, как Н. Мандельштам была зачислена в штат.

Город поразил, но не так, как Чита: «...*весь в оврагах, горах и глине. Грязь осенью страшная. Вдоль улиц в центре деревянные лестницы. — Тротуары. Дикая старина. Я еще по такому не ходила*»⁷⁶. И в другом письме: «Здесь деревянные тротуары и лестницы. Самый фантастический город-деревня на свете. Грязь доисторическая. Мою хозяйку и ровеснику дворник носил на руках в школу — пройти нельзя было. Сейчас кое-где есть мостовые, а горы из скользкой глины всюду. Таких оврагов я нигде не видела, а в детстве я хотела знать, что такое овраг. Чувашки очень серьезные, без улыбки, как армянки»⁷⁷.

Самое первое жилье — комната в доме по адресу Ворошилова 12, квартира Павловой — было просто ужасным: «С квартирами здесь полная катастрофа, а из-за этого я могу вернуться. Сняла я комнату у сумасшедшей старухи — Вассы. 200 р. Каждое слово слышно. Проход через нее, и 3 километра до института по мосткам — (это вместо тротуаров). Но старуха уже гонит меня (за папиросы). Форточки нет. Воды нет. Постирать нельзя. Вымыть за 5 верст»⁷⁸. Позднее жила по адресу: Кооперативная ул., 10, кв. 13.

Этой же осенью, 10 ноября, Н. Мандельштам пришлось возглавить кафедру — женский коллектив из 14 душ. В ноябре 1955 года она провела пять недель в Москве и до марта занималась лишь диссертацией, которую благополучно и защитила 26 июня 1956 года⁷⁹. Научный руководитель — В.М. Жирмунский — был прежний, но тема диссертации была новой: «Функции винительного падежа в англо-саксонских поэтических памятниках».

На Чебоксары пришелся и XX съезд партии со всеми его последствиями. За гибель мужа Надежда Яковлевна получила 5000 рублей компенсации — деньги пошли на раздачу долгов, покупку каблукковского «Камня» и съем дачи для брата в Верее.

В 1956 году, по совету секретаря СП СССР А.А. Суркова, Н. Мандельштам добилась реабилитации Мандельштама (но, как оказалось, лишь частичной — по его последнему делу). В марте 1957 года была

⁷⁶ Письмо В.В. Шкловской-Корди от 16 сентября 1955 г. (Архив В.В. Шкловской).

⁷⁷ Письмо В.В. Шкловской-Корди, от 24 сентября 1955 г. (Архив В.В. Шкловской).

⁷⁸ Письмо В.В. Шкловской-Корди от 11 сентября 1955 г. (Архив В.В. Шкловской).

⁷⁹ На получение диплома ВАК (Высшей аттестационной комиссии) ушло еще полгода (№ 000345 от 14 февраля 1957 г.).

создана Комиссии по литературному наследству О.Э. Мандельштама и принято решение об издании тома его стихов в Большой серии «Библиотеки поэта».

Редактором этой книги, по ее предложению, стал Н.И. Харджиев. Для работы, естественно, ему был нужен поэтический архив, более 11 лет находившийся в столе у Сани Ивича (И.И. Бернштейна). Н. Мандельштам позвонила ему и распорядилась передать «то, что оставила», «Коле», то есть Харджиёву. Что Ивич и сделал, но с соблюдением формальностей, о которых сама Надежда Яковлевна не просила и, из опасения обидеть Харджиёва, не попросила бы. Ивич же, относившийся к «Коле» с прохладным недоверием и в течение многих лет не поддерживавший с ним отношений, предпочел передать тексты не напрямую, а через Комиссию по литературному наследию: Е.Я. Хазину, ее секретарю, он и передал 3 ноября 1957 года папку с архивом (вместе с подробной описью ее содержимого) и не просто передал, но и взял с него расписку⁸⁰. Н. Мандельштам передала Харджиёву материалы и из других тайников, но без расписки⁸¹.

Таруса — Псков — Таруса

Осенью 1958 года Н. Мандельштам прекратила преподавать в Чебоксарах и вышла на пенсию, сильно не дотянув до положенного двадцатилетнего трудового стажа⁸². Чуда не произошло, комнату в Москве ей не дали, и в результате получился «третий вариант». Надежда Яковлевна осталась зимовать в советском «Барбизоне» — Тарусе. Ее первым тарусским стал дом Е.М. Голышевой (1-я Садовая, 2), куда ее прописали как домработницу. Вторым — трехконный дом на горе по улице К. Либкнехта, 29. Хозяйка — тетя Поля, Пелагея Фёдоровна Стёпина — прописала ее уже как таковую. Три из четырех комнат были в распоряжении Н.М. — с расчетом на гостей. Жизнь для молодой женщины была довольно спартанской — осенне-зимняя холодрыга, дрова, печка, колодец, удобства на дворе.

Здесь, в Тарусе — уже летом 1958 года — она впервые и засела за воспоминания. Здесь же, можно сказать, состоялся и ее литературный дебют. В 1961 году Надежда Яковлевна приняла участие в нашумевшем альманахе «Тарусские страницы», где, под псевдонимом «Н. Яковлева», были напечатаны ее очерки⁸³.

⁸⁰ Согласно описи, хранящейся у С.И. Ивич-Богатыревой, в папке находились 58 автографов, в том числе и «Разговора о Данте», и 28 машинописных списков, как по старой, так и по новой орфографии.

⁸¹ См. в ее очерке «Архив» (*Мандельштам Н.*, 2006. С. 158).

⁸² Согласно записи в ее трудовой книжке (*Осин и Надежда*, с. 412).

⁸³ «Хлопот полон рот», «Птичий профессор», «Куколки» (Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 9—11, 14—16, 142—150).

Осенью 1959 года — подозрения на рак поджелудочной железы, к счастью, не подтвердившиеся. Но отсюда и тогда — снова мысли о завещании и о наследниках: им должен был стать коллектив, в котором она первоначально видела Н.И. Харджиева, Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштаба⁸⁴.

Пенсия по возрасту, которая полагалась Н. Мандельштам, была настолько мала, что со временем она решила поработать еще и снова стала подыскивать себе очередной провинциальный вуз. Особо долго искать не пришлось — всё разрешилось само собой летом 1962 года прямо в Тарусе. Там тогда отдыхали Л.Я. Гинзбург и Софья Менделевна Глускина, преподавательница Псковского государственного пединститута им. С.М. Кирова и сестра жены философа и историка-античника И.Д. Амусина, которого Н. Мандельштам хорошо знала еще по Ульяновску. Вернувшись в Псков и переговорив с Иваном Васильевичем Ковалёвым, ректором института, она отбила в Тарусу телеграмму с приглашением от его имени в Псков⁸⁵.

Итак, еще два года — с сентября 1962 по 9 августа 1964 гг. — Н. Мандельштам в Пскове. «Почему Псков?» — спросила ее Ахматова уже в 1963 году. «А *“фер-то ке”?*» («А что же делать?»), — отшутилась Надежда Яковлевна. И добавила: «*Псков вырачает*»⁸⁶.

К Пскову она быстро привыкла, город ей, как и Чита, понравился. Еще 16 сентября она называла его «чужим и красивым городом»⁸⁷, а уже 27 сентября отчуждение испарилось: «*Псков производит чудное впечатление вместе со стариной и новыми домами. Масса зелени. На 1½ месяца отдельная однокомнатная квартира. Но что будет дальше?*»⁸⁸ В октябре Н. Мандельштам подняла его рейтинг до: «*Псков — город — прекрасен. Институт хороший*»⁸⁹.

В Пскове она сменила несколько адресов. Сначала и недолго — прекрасная комната в старинном доме на Октябрьском проспекте, рядом с Главпочтой и очень близко от института⁹⁰. Одно время она жила и у Майминых. А потом начались псковские наемные комнаты. В одну из них — «каморку с печуркой» — к ней приходила Л.И. Вольперт: Надежда Яковлевна покорила ее интересом к шахматам⁹¹.

⁸⁴ См.: Письма Надежды Яковлевны Мандельштам к Лидии Яковлевне Гинзбург // Звезда. 1998. № 10. С. 125—126).

⁸⁵ Позднее от Н.Е. Штемпель пришли сведения о возможности попытаться счастья в Воронеже, но было уже поздно (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 316—317).

⁸⁶ Письмо Н.М. А. Ахматовой (не ранее 10 октября 1963 г.) (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 244). Н. М. цитирует знаменитый рассказ Н.А. Тэффи «Ке фер?».

⁸⁷ Письмо Н.М. Е.М. Аренс от 16 сентября 1962 г. (*Осия и Надежда... С.* 416).

⁸⁸ Письмо Н.М. Н.И. Харджиеву от 27 сентября 1962 г. (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 288).

⁸⁹ Письмо Н.М. Л.Я. Гинзбург, октябрь 1962 г. (Звезда. 1998. № 10. С. 130).

⁹⁰ Дом снесен в 1998 г.

⁹¹ Из электронного письма Л.И. Вольперт В.Б. Литвинову от 11 ноября 2006 г.

Приезжали к ней друзья из Москвы, как например, Вячеслав Всеволодович (Кома) Иванов — приехавший к ней специально на 25-летие со дня смерти Осипа Мандельштама (с ним были еще Симон Маркиш, в то время античник, и Виктор Хинкис, переводчик «Улисса»).

В первую же псковскую зиму — в феврале 1963-го — ее провели И. Бродский с М. Басмановой и А. Найман с Э. Коробовой, приехавшие полюбоваться старинной псковской архитектурой и передать ей книжки и привет от Ахматовой. А. Найман позднее вспоминал: *«Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще. Она была усталая, полубольная, лежала на кровати поверх одеяла и курила. Пауз было больше, чем слов, явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура — не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетие за десятилетием, безысходная, по чужим углам, по чужим городам. Когда через несколько лет она наконец переехала в Москву, это был другой человек: суетливая, что-то ненужное доказывающая, что-то недостоверное сообщающая, совершенно непохожая на ту до конца дней явно или прикровенно ссыльную, которой нечего терять, и недопустимо и унижительно — прельщаться мелочами беззаботной жизни вольняшек»*⁹².

Среди коллег по институту, помимо Амусина и Глускиной, — заведующий кафедрой русской литературы профессор Евгений Александрович Маймин с женой (Татьяной Степановной Фисенко, работавшей у него же на кафедре), декан историко-филологического факультета Софья Ивановна Колотилова⁹³, молодые преподавательницы — Лариса Ильинична Вольперт и Лариса Яковлевна Костючук⁹⁴, преподавательница философии Металлина Георгиевна Дюкова⁹⁵, заведующая библиотекой Лариса Михайловна Курбатова. Вне института — отец Сергей Желудков и его семья.

Студенты были, конечно, разные, и не все могли оценить то качество знаний, что им предлагала Н. Мандельштам. Некоторых из своих гостей она даже «предъявляла» студентам, например, Фриду Абрамовну Вигдорову (для добрых знакомых — просто Фриду), журналистку и депутата Моссовета.

От предложенного ей деканом факультета иностранных языков (Петр Иванович Иванов) соучастия в травле художников с Манежа

⁹² Найман, 1999. С. 113.

⁹³ См. о ней: Вербловская, 2011. С. 69—70.

⁹⁴ См. ее воспоминания о псковском периоде жизни Н.М. (Осип и Надежда... С. 402—407). Это она заботливо заменила Н.М. на втором ее псковском году от неподъемных обязанностей куратора учебной группы.

⁹⁵ См. о ней в статье: Куранда Е. «...К более или менее далекому неизвестному адресату...» (Находка между страниц Философской энциклопедии) // СМР. Вып. 4/2. М.: РГГУ, 2008. С. 780.

Н. Мандельштам категорически отказалась. Вместо этого она, чем могла, поддерживала провинциального художника-изгоя Алексея Аникеёна, прозванного казанским «Ван Гогом». Урывками, но продолжала писать и «Воспоминания».

За два года Надежда Яковлевна уже пресытилась Псковом, — и весной 1964 года она с трудом доживала последние месяцы и недели. На третий год она уже ни за что не осталась бы — независимо от того, получила бы она в Москве прописку или нет. Она рвалась на волю, «к себе» — в Тарусу или в Москву, к своей работе, к своим друзьям, к своему брату с невесткой.

Но и переехав в Москву, Н. Мандельштам еще несколько лет ежегодно навещалась в Псков, останавливаясь у отца Сергея Желудкова.

Москва. Прописка. Вечер. Квартира

Еще в 1957 году Н.М. обращалась в Моссовет с просьбой предоставить ей жилье, в чем ей было сухо отказано — «*в связи с недостатком жилой площади*»⁹⁶. «Непрописуемая Надежда» — шутили друзья.

А возвращение из Пскова в Москву в 1964 году ознаменовалось страшным везением. Еще летом 1964 года Василиса Георгиевна Шкловская-Корди прописала ее у себя в Лаврушинском переулке в Москве — на правах дальней родственницы⁹⁷. 22 июля Надежда Яковлевна писала С.М. Глускиной: «*Прописка в Москве действует неотразимо на мою психику — я поверила в лучшее будущее*»⁹⁸. На этой волне Н. Мандельштам даже написала еще одну диссертацию — докторскую, но тут до защиты дело уже не дошло.

13 мая 1965 года на механико-математическом факультете МГУ состоялся первый на родине поэта вечер памяти Осипа Мандельштама, который вел И. Эренбург. Собравшаяся публика приветствовала вдову поэта аплодисментами.

А уже поздней осенью 1965 года она переехала в собственную однокомнатную кооперативную квартирку (адрес: Большая Черемушкинская ул., 50, корп. 1, кв. 4), приобретенную на средства, одолженные К.М. Симоновым (вступить в кооператив помог К.В. Хенкин по просьбе Н.И. Столяровой). Свой первый Новый год в собственном жилье

⁹⁶ См. письмо к ней заместителя председателя Исполкома Моссовета Д. Лебедева от 9 июля 1957 г. (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 97).

⁹⁷ Благодаря хлопотам Ф.А. Вигдоровой, Н.И. Столяровой и др. ее друзей. Так, Вигдорова уговорила С.Я. Маршака подписать ходатайство на имя высокого милицейского начальника с просьбой прописать Н. Мандельштам в Лаврушинском (А.В. Головачёва сообщает, что об этом же хлопотала М.С. Петровых — см.: *Осип и Надежда*, 2002. С. 182—183). Поскольку В.Г. Шкловская, хозяйка квартиры, просила о том же, начальник, уважавший Маршака, поставил резолюцию: прописать, но без права на площадь.

⁹⁸ А.А. Ф.8. Оп.1. Д.1.

Н.М. встречала в обществе Варлама Шаламова, Виктора и Юлии Живовых, Димы Борисова⁹⁹. То был самый разгар дружбы с Шаламовым, дома у которого, как вспоминала И.П. Сиротинская, висели два портрета — Осипа Мандельштама и Надежды Мандельштам.

Эта дружба, ярко вспыхнувшая после вечера в МГУ, к 1968 году уже полностью прогорела. Писем ее позднее июля 1968 года в архиве Шаламова нет, да, собственно, их и не было. Неизбывная потребность видетсья или переписываться с Н. Мандельштам иссякла, к этому времени они уже крепко раздружились — и по его, если верить И.П. Сиротинской, инициативе¹⁰⁰.

«За что Шаламов отлучил меня от ложа и стола?» — шутивно сетовала Надежда Яковлевна.

Впрочем, она знала за что: слишком по-разному они относились к Солженицыну, к славе которого Шаламов, по ее мнению, «ревновал», считая ее незащищенной¹⁰¹.

Летние месяцы Н. Мандельштам по-прежнему проводила в Подмоскovie: с 1966 года — снова в Верее, на даче, которую она снимала для брата и невестки, а начиная с 1970-х гг., когда перемещаться самостоятельно стало трудно, — у друзей в Прибалтике, в Кратово или в Салтыковке.

Выход на Западе, соответственно, в 1970 и 1972 гг., двух томов ее воспоминаний по-русски (тамиздат) и их скорая инфильтрация в советское читательское поле (самиздат) очень многое изменили в жизни Надежды Яковлевны. К ней пришли — почти одновременно — слава, деньги и новые страхи.

Ее однокомнатная квартирка на Большой Черемушкинской стала местом паломничества для тех, кто прочел ее книги и искал возможности поблагодарить автора за смелость и талант. Едва ли не каждый день был отмечен новыми гостями — как заграничными, так и московскими, причем среди московских тон задавали отнюдь не писатели и литературоведы, а скорее техническая интеллигенция — так называемые «физики». Чужеземцы — вот среди них преобладали все же филологи, а меньшинство составляли корреспонденты западных газет, — часто служили ей курьерами: они привозили новые экземпляры томов мандельштамовского собрания сочинений и ее собственных книг, а иногда и «подарки от друзей» — небольшие или крупные суммы денег или боны (чеки для магазина «Березка»).

Понятно, что всё это не могло не вызывать интерес и у органов — отсюда и ее новые страхи. Но отныне она боялась уже не за стихи: худо-бедно она их собрала, и отныне гарантом их сохранности выступали тамиздат с самиздатом. И не за себя лично: сажать такую старуху, как она, власти было себе дороже. Она боялась за уцелевшие мужни-

⁹⁹ Сообщено Ю.М. Живовой.

¹⁰⁰ Сиротинская И. Поход за рукописями // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 277—278.

¹⁰¹ Мурина, 2001. С. 165.

ны рукописи и другие листочки, составлявшие мандельштамовский архив. Мысль о том, что за архивом могут прийти и конфисковать, преследовала и мучила ее. Причем настолько, что она пошла на конфликт с некоторыми очень близкими друзьями (например, с Ириной Семенко), но твердо решила отправить архив в безопасное место. Что и произошло: уже в 1973 году два чемоданчика перекочевали в Париж, а еще через два года — в Принстон.

Отрешившись, вместе с архивом, от главного источника своего беспокойства и оказавшись вдруг довольно состоятельной женщиной, Н. Мандельштам наслаждалась дружеским общением и радостями филантропа. Как же часто и как долго Мандельштаму и ей, его «нищенке-подруге», приходилось существовать практически на подаяния родственников и друзей! И вот теперь ей овладевает стремление поделиться, отдать и вернуть, она может и хочет помогать нуждающимся и отблагодарить тех, кто помогал ей с Осипом Эмильевичем в трудные годы ссылки.

Персонализировалось это стремление, в первую очередь, в двух адресатах — в брате Евгении с его женой (брату она раздобывала лекарства и даже оплатила издание одной его книжки в Париже) и в Василе Шкловской и ее детях. К концу 1970-х гг. забота переросла во всеохватную щедрость. Покупать хорошие вещи в «Березке» и дарить, одаривать, задаривать ими знакомых, а иногда и незнакомых людей — всё это стало источником специфической радости Надежды Яковлевны.

В 1970-е гг., на склоне лет, будучи крещенной с детства, Н. Мандельштам переживает опыт обновленного воцерковления. Она искренне уповала на Церковь как на вероятную спасительницу России. Решающей тут, по-видимому, стала ее встреча и дружба с православным богословом отцом Александром Менем, который, в свою очередь, тоже оценил и полюбил ее, стал ее духовником. Н.М. не влилась в его общину, но примкнула к ней, часто ездила к Меню в Семхоз и гостила у него. Окружавшая о. А. Меня молодежь очень ценила не только книги «Надежды Яковлевны», но и саму «бабу Надю», а та, в свою очередь, находила понимание и любовь у этой молодежи (у «внуков», а не у «детей», как она подчеркивала).

Видя, как слабеет и все беспомощнее становится Н.М., отец А. Мень стал присылать к ней для ухода — и как бы на «послушание» — молодых представительниц своей общины, двух Татьян — Птушкину и Дроздову, те привлекли своих подруг и так далее. Даже при весьма ограниченных потребностях Н.М. все же было нужно, чтобы каждый день кто-то приходил, что-то приносил, прибирал, готовил, открывал дверь гостям — к Н. Мандельштам не принято было ходить, не согласовав визит заранее по телефону: внезапный звонок в дверь мог ее серьезно растрогать.

Девушки приходили по очереди и самоотверженно ухаживали за Н.М., развлекали ее, выводили на прогулку, вывозили на дачу, вели несложное хозяйство, обихаживали гостей... Их группа была небольшой,

но дружной и сплоченной. Им и самим это было интересно и даже, по-своему, лестно. Разумеется, Н. Мандельштам со всею щедростью последних лет одаривала их, но это была не «плата за труд», а именно проявление открывшейся в ней страсти к щедрости.

Свое последнее лето — лето 1980 года — Надежда Яковлевна провела в Переделкино — на свежем воздухе, в покое и довольстве, рядом со знаменитой пастернаковской «дачей» — в скромной «сторожке», где по традиции летом жили последние ее гостеприимцы — Елена Владимировна и Евгений Борисович Пастернак с семьей.

Осенью Н. Мандельштам тяжело заболела, и во время этой последней болезни, когда требовалось гораздо больше ухода, чем прежде, образовалось несколько большее и совершенно уникальное содружество «волонтеров» из числа как послушниц отца А. Меня, так и давних подруг Н.М. Приходили, конечно, и подружившиеся с ней врачи.

Как заметил Ю. Фрейдин: *«Среди этих нескольких десятков человек, сменявших друг друга в режиме непрерывного круглосуточного дежурства, не оказалось ни одного ненадежного звена. В целом складывалось впечатление какой-то “исторической справедливости”, быть может — иллюзорной, но безусловно связанной с личностью, судьбой и книгами Н.М.: будто то, чего не додали О.М. современники, их потомки старались дать его совершенно одинокой, нарушившей все правила и каноны вдове... Не зря Гладков сказал о ней — Великая Вдова»*¹⁰².

...Надежда Яковлевна Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года, а 30 декабря ее тело было насильственно вывезено из квартиры, где собрались друзья почтить ее память, и под милицейским конвоем отправлено в морг. Похороны Н. Мандельштам 2 января 1981 года вылились в демонстрацию оппозиционной интеллигенции.

Над ее могилой на Кунцевском кладбище установлен деревянный крест, а рядом гранитный кенотаф — памятный знак Осипу Мандельштаму (скульптор Д.М. Шаховской).

II

СОХРАНЕННОЕ

«Воспоминания»

«Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву...» — этот зачин к «Воспоминаниям» Надежды Яковлевны Мандельштам вошел в число самых известных в русской прозе XX ве-

¹⁰² Электронное письмо П. Нерлеру от 4 апреля 2013 г.; в этом же письме — рассказ о том, как отец А. Меня организовал коллективный уход за Н.Я. Мандельштам.

ка, узнаваемых с первого взгляда. Сами по себе ее мемуарные книги относятся к числу самых известных русских мемуаров столетия.

Впервые она села за воспоминания о Мандельштаме летом 1958 года в Тарусе, вскоре после того, как прекратила преподавать в Чебоксарах и вышла на пенсию. Несколько раз, казалось, она ставила последнюю точку, но нет — снова и снова возвращалась к рукописи.

Работа над кандидатской диссертацией потребовала у Н. Мандельштам немало сил и лет, но, определенно, дала ей навык систематической работы над темой. За три с лишним года, что она провела в Тарусе, она если и не завершила «Воспоминания», то написала бóльшую их часть; отдельные главы она давала читать самым верным и проверенным знакомым.

Еще несколько небольших заметок Н. Мандельштам были опубликованы во второй половине 1960-х гг. в качестве предисловий к некоторым первым публикациям Осипа Мандельштама в советской периодике.

Самой ранней «внутренней рецензией» на «Воспоминания», оказался 35-страничный отзыв Александра Александровича Любичева, знакомившегося даже не с «Воспоминаниями», а с отдельными их главами («Капитуляция», «Труд», «Майская ночь» и «Дата смерти»). Читал он их в июне — июле 1961 года, благо и сам отдыхал этим летом в Тарусе. Читал внимательно — и отвечал основательно. Но были ли эти четыре главы промежуточным итогом написанного к этому времени или фрагментом чего-то большего?..

М.К. Поливанов датирует завершение работы над первой книгой мемуаров Н.М. началом 1962 года¹⁰³, но он, вероятно, зафиксировал лишь один из моментов ее промежуточного завершения, поскольку работа продолжалась и в 1962—1964 годах — в Пскове, во время учебных семестров, и, особенно, в Тарусе, во время летних каникул.

Пожалуй, детальней и достоверней всего заключительная фаза работы Н. Мандельштам над «Воспоминаниями» запротоколирована в дневнике драматурга Александра Константиновича Гладкова, с которым она познакомилась в январе 1960 года в Тарусе и долгое время поддерживала самые дружеские и доверительные отношения, много рассказывала ему о Мандельштаме и о себе. Она не только давала ему читать свои воспоминания в рукописи, но и выслушивала, не морщась, его замечания.

Впервые Гладков читал еще незаконченную рукопись в конце августа 1961 года. Он записал в дневнике за 27 августа 1961: «Прочел рукопись Н.М. Это очень интересно, хотя с ее историческими «теориями» я и не согласен. Она еще не закончила ее...»¹⁰⁴. А 4 февраля

¹⁰³ Сам он читал ее в машинописи уже в феврале 1962 г. (Поливанов М. Предисловие // Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С. 4).

¹⁰⁴ Мандельштам Н., 2008. С. 8.

1962 года он отмечает в дневнике: «Н.М. начала писать едва ли не самую важную главу в своей работе»¹⁰⁵.

Согласно дневнику Gladkova, Надежда Яковлевна еще как минимум дважды «кончала» свои «Воспоминания» — осенью 1963 и осенью 1964 года¹⁰⁶. Запись от 1 мая 1963 года: «Н.М. дает мне читать еще 120 стр. своей рукописи, уже доведенной до лета 1937 года, с отступлениями разного рода (например, “Мандельштам и книги” и пр.). Хорошо и точно»¹⁰⁷.

Это явное свидетельство того, что работа над воспоминаниями — в самом разгаре: и началась много раньше, и от завершения далека.

29 сентября 1963 года Gladkov записывает в дневник: «Заходил прощаться к Над. Як. Она уезжает опять в Псков, на этот раз с великой неохотой и плохими предчувствиями. Она закончила свою “книгу”, осталось кое-что отделать — это замечательный памятник поэту и страстное свидетельство о времени. Есть и преувеличения, и односторонность, но как им не быть с такой каторжной жизнью. На редкость умная старуха. Мало таких встречал»¹⁰⁸.

Книга, однако, всё еще не была завершена, работа над ней продолжалась еще около года. Известно, что в начале сентября 1964 года Н. Мандельштам давала ее читать Ариадне Эфрон: «...на днях Мандельштамшиа, под страшным секретом, дала мне читать свои воспоминания. Сплошной мрак, всё — под знаком смерти; а когда так пишут, то и жизнь не встает. Как бы ни была глубоко трагична жизнь Осипа Эмилевича, но ведь она была жизнью — до последнего вдоха. В ее же воспоминаниях (Надежды Яковлевны), в ее трактовке основное — обстоятельства пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта “обстоятельств” нет, есть Рок, под них подделывающийся. Воспоминания же — обстоятельно-обстоятельны, и от этого — мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но... “чему это учит?”»¹⁰⁹.

А 31 октября 1964 года Gladkov записал: «Н.М.» кончила книгу и кладет ее “в бест”¹¹⁰. Я уговаривал ее сдать экземпляр в ЦГАЛИ. Она плохо выглядит, лежала дома час с грелкой, но весела. Сегодня ей 65 лет»¹¹¹.

Вот тут-то, судя по всему, и следует поставить датирующую точку.

Ю. Фрейдин относит завершение этой работы к концу 1965 или даже к 1966 году. Конечно, авторское совершенствование и доводка

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Ю. Л. Фрейдин относит этот срок еще дальше — в 1965 г.

¹⁰⁷ Мандельштам Н., 2008. С. 8.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Письмо А.С. Эфрон В. Н. Орлову от 7 сентября 1964 г. (Эфрон А.С. История жизни, история души: В 3 т. Т. 2. Письма 1955—1975. М.: Возвращение, 2008. С. 198).

¹¹⁰ Укрытие, прибежище (выражение, бывшее в обиходе у Н.Я. Мандельштам, ныне малоупотребительное).

¹¹¹ Мандельштам Н., 2008. С. 9.

текста не останавливаются, как правило, никогда. Но Фрейдин имеет в виду другое: в его машинописи «Воспоминаний» книга завершается отсутствующей в западных изданиях главкой «Мое завещание». Это эссе было написано в декабре 1966 года, — то есть в самый разгар работы над следующей книгой об Ахматовой. В то же время ни на одном книжном экземпляре «Воспоминаний», вышедших в тамиздате (без этого эссе), Н. Мандельштам ни разу не попыталась восстановить или обозначить указываемую Фрейдиным композицию¹¹². Думается, что тут мы имеем дело именно с композиционным ходом автора, мысленно включившей «Мое завещание» в некие будущие издания в качестве своего рода приложения или постскриптума.

Н. Мандельштам давала читать свою книгу только близким друзьям и лишь с большими предосторожностями, и, конечно же, естественно было бы ожидать, что одним из первых ее читателей была Ахматова. Однако фраза из «Листков из дневника» — *«Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает»*¹¹³ — документирует лишь то, что Анна Андреевна определенно знала о том, что Н.М. пишет воспоминания.

Но, как ни странно, в число их читателей Ахматова вообще не входила. Нет ни одного свидетельства о том, что Анна Андреевна их читала, как и о том, что Надежда Яковлевна давала их почитать. Сообщение Ю. Фрейдина о том, что в конце 1965 года Ахматова, с начала ноября лежавшая в больнице, *«успела получить один из многих машинописных экземпляров»*¹¹⁴, — не более чем предположение. А предположения, что неразысканная надпись Ахматовой на «Беге времени» — «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было» — не что иное, как напутствие и чуть ли не призыв Анны Андреевны к Н. Мандельштам написать новую книгу воспоминаний, не более чем догадка. Более вероятной догадкой являлось и то предположение, что некий отзыв Ахматовой о «Воспоминаниях», заглазный и неодобрительный, до нее дошел¹¹⁵. Таким отзывом, например, могла быть и фраза, брошенная Ахматовой Анатолию Найману, своему фактическому литературному секретарю: *«Что Надя думает: что она будет писать такие книги, а они ей давать квартиры?»*¹¹⁶

В то же время есть прямые свидетельства об обратном. Ане Каминской, прочитавшей «Воспоминания» в самиздате и сказавшей: *«Акума, там есть много о тебе»*, — Ахматова недоуменно заметила: *«Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою*

¹¹² См. об этом у Ю.Л. Фрейдина (*Мандельштам Н.Я.* Третья книга. С. 507).

¹¹³ *Листки из дневника.* С. 111.

¹¹⁴ *Мандельштам Н.Я.* Третья книга. М.: Аграф, 2006. С. 480.

¹¹⁵ Там же. С. 494.

¹¹⁶ *Найман, 1999.* С. 114.

книгу»¹¹⁷. Найману она так сказала о рукописи Н. Мандельштам: «Я ее не читала. <...> Она, к счастью, не предлагала — я не просила»¹¹⁸.

В ахматовских репликах явно сквозит отчетливое стремление — уклониться от чтения воспоминаний подруги. Тут можно, конечно, припомнить и общую для обеих — и Ахматовой, и Н. Мандельштам — «аллергию» на мемуары типа «жоржиковых» (Г. Иванова), но главное все же в другом — в желании Ахматовой избежать неизбежного в таком случае выяснения и ревизии отношений с Н. Мандельштам.

Примерно такими же соображениями руководствовалась и сама Надежда Яковлевна, не показывая ей свою первую книгу или ее фрагмент. Чисто физических возможностей сделать это было предостаточно — они виделись по нескольку раз в год, в Москве или Ленинграде¹¹⁹, и отношения, как показывает их переписка, были в 1960-е годы вполне безоблачными¹²⁰.

Однако «новая» Н. Мандельштам, с написанием мемуаров окончательно порвавшая с тою прежней, почти бессловесной — вблизи и в тени Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой — «Наденькой», прекрасно понимала, чем это им обоим грозит. Крахом, полным разрывом отношений — причем почти независимо от того, что именно та Ахматова о ней написала! Идти на этот риск Н. Мандельштам решительно не хотела, но и не писать она уже тоже не могла.

Никого, кроме Ахматовой, такие меры предосторожности, конечно, уже не касались, и у «Воспоминаний» вскоре появились первые желанные и благодарные читатели. Ими стали люди из того круга, которому Н. Мандельштам определенно доверяла, и это еще далеко не самиздат, как некоторые вспоминают¹²¹. Так, в 1964 году «Воспоминания» прочел высоко чтимый ею художник — Владимир Вейсберг. Он называл их «великой книгой»¹²².

Весной 1965 года рукопись Н.М. прочитал Лев Левицкий, новоявленный друг Гладкова. 15 апреля он записал в дневнике:

«Только что прочитал замечательную рукопись о Мандельштаме Надежды Яковлевны, с которой знаком еще с тарусских времен. Горя хлестнуть Осипу Эмильевичу пришлось больше, чем кому-либо другому.

¹¹⁷ Герштейн, 1998. С. 415.

¹¹⁸ Найман, 1999. С. 114.

¹¹⁹ В ноябре 1964 г., например, Н. Мандельштам гостила несколько дней у А. Ахматовой в Ленинграде.

¹²⁰ В 1963 г., возможно, одной из причин могла быть и обида Надежды Яковлевны (высказанная, впрочем, только во «Второй книге») на то, что и Ахматова не слишком торопилась с показом ей собственных мемуаров о Мандельштаме. «Листки из дневника» она получила только в конце 1963 года, к 25-летию со дня гибели мужа, — и то явно не все, а часть.

¹²¹ Скорее всего, это отзвук воспоминаний о бесчисленных фото— и ксерокопированиях тамиздата — книжной версии мемуаров Н. Мандельштам, вышедшей гораздо позже.

¹²² Мурина, 2001. С. 133.

Была в нем особая незащищенность, обрекавшая его на нескончаемые муки. Пастернак тоже не был защищен, но его спасал темперамент. К тому же внутренний конфликт Пастернака с государством раз-вернулся сравнительно поздно, когда у него уже было имя, известное во всем мире. Да и от политики он стоял дальше. В конце концов, чаша не миновала и его. История с “Живаго”. Но время уже было другим. Самые ужасные кошмары стали достоянием прошлого и даже были осуждены на государственном уровне. Жизнь Мандельштама в двадцатые годы — это непрерывные унижения, нищета, отверженность. Невозможность печататься. Тридцатые годы он встретил с изрядным запасом злости и ненависти. Достаточно было малейшего повода, чтобы эти чувства выжили наружу. Они воплотились в стихотворении о Сталине. Оно имеет мало что общего с поэтикой Мандельштама — с ее сложными ассоциативными ходами, неожиданной метафоричностью, богатым подтекстом. Это стихотворение напрямую связано с обстоятельствами, в какие был поставлен Осип Эмилевич, несмотря на всю свою рафинированность, ощутивший кровное родство с людьми от сохи. В его строках их голоса и его голос сливаются воедино.

Рукопись Надежды Яковлевны замечательна. В ней образ поэта. В ней передано время. Она написана страстно, умно, темпераментно. Человеком, умеющим ценить каждое проявление добра и поднимающимся до испепеляющей ненависти. Той самой ненависти, которой нет у большинства наших интеллигентов, приучивших себя безропотно сносить все удары судьбы и потихоньку клясть свою несчастную долю. Возвращая Н.М. рукопись, я сказал ей, что не припомню по части воспоминательного равное тому, что она написала. Тут мы с А.К. обнаружили полное единодушие. Несмотря на то, что он и Н.М. не совпадают в оценке двадцатых годов»¹²³.

А в июне 1965 года — с рукописью ознакомился такой дорогой для автора читатель, как Варлам Шаламов, чрезвычайно высоко оценивший «Воспоминания»¹²⁴.

Но уже тогда, то есть в первом, самом узком, читательском кругу, складывались и другие мнения о мемуарах вдовы Мандельштама. Иначе как неприятием книги нельзя назвать позицию не только А.С. Эфрон, но и И.Г. Эренбурга и его жены. Мы не знаем, что он говорил о рукописи автору, но Гладкову он «сказал, что она ему не нравится. Потом выяснилось, что всё о Мандельштаме ему нравится, но не нравится то, что Н. М. слишком резка в отзывах о людях: без серьезных оснований называет людей стукачами (Длигач, поэт Бродский, какая-то Паволоцкая, которую Люб^овь Мих^айловна знала и др.) Доля истины здесь есть. И. Г. и Л. М. [И.Г. и Л.М. Эренбурги — П.Н.] о мании преследования, которая издавна свойственна Н.М.»¹²⁵.

¹²³ Левицкий Л. Дневник // Знамя. 2001. № 7. С. 138—139.

¹²⁴ См. в наст. издании, с. 219—221.

¹²⁵ Запись от 7 июня 1966 г. (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 106. Л. 64).

Кстати, в начале 1968 года, покуда «Воспоминания» еще не вышли на Западе, Н. Мандельштам предприняла дерзкую попытку предложить их, — через Викторию Швейцер — «Новому миру»! Вот что ответил ей А.Т. Твардовский 9 февраля 1968 года на официальном бланке журнала:

«Глубокоуважаемая Надежда Яковлевна! Большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность прочесть Вашу рукопись.

Не собираюсь писать на нее “внутреннюю рецензию”, вряд ли и Вы в этом нуждаетесь, — скажу только, что прочел я ее “одним дыхом”, да иначе ее и читать нельзя — она так и написана, точно изустно рассказана в одну ночь доброму другу, перед которым нечего таиться или чем-нибудь казаться. Словом, книга Ваша счастливым образом совершенно свободна от каких-либо беллетристических претензий, как это часто бывает в подобных случаях. А между тем написана она на редкость сильно, талантливо и с собственно литературной стороны — с той особой мерой необходимости изложения, когда при таком объеме ее ничто не кажется лишним. Даже своеобразные повторения, возвращения вспять, забегания вперед, отступления или отвлечения в сторону, вбок — всё представляется естественным и оправданным.

Трагическая судьба подлинного поэта, при жизни до крайности обуженной, внутрилитературной известности, вдруг захваченного погребельной “водовертью” сложных и трагических лет, под Вашим пером приобретает куда более общезначимое содержание, чем просто история тех испытаний, какие выпали на Вашу с Осипом Эмильевичем долю.

Мне хочется сказать Вам, что книга эта явилась как выполнение Вами глубоко и благородно понятого своего долга, и сознание этого не могло не принести Вам достойного удовлетворения, как бы ни трудно было Вам вновь и вновь переживать пережитое. <...>

Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, — потому и называю рукопись книгой, — только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным»¹²⁶.

Твардовский и не подозревал, сколь недалеко уже эти «сроки». Сам он, правда, имел в виду книгоиздание в Союзе, где выход книги Н. Мандельштам и в самом деле был решительно невозможен. Ведь даже публикации стихов Осипа Мандельштама в советской периодике можно было по пальцам пересчитать! Как и первые публикации Н. Мандельштам — преамбулы к таким публикациям.

А вот на Западе биффордов шнур издания «искрился» уже вовсю. В начале 1966 года, на православное Рождество, ее увез Кларенс Браун: с этим американским славистом, профессором компаративистики Принстонского университета, оказалась вплотную связана судьба обе-

¹²⁶ ВРСХД. 1973. № 108—110. С. 187—188.

их мемуарных книг Н. Мандельштам — «Воспоминаний» и «Второй книги» — на Западе, а позднее и самого мандельштамовского архива.

Поначалу Браун, правда, не слишком торопился и даже давал их в качестве упражнений на перевод своим же студентам. Но в 1970 году, почти одновременно, в нью-йоркском издательстве им. Чехова и в нью-йоркском издательстве «Atheneum» вышли массовые русское¹²⁷ и английское¹²⁸ издания. Критики были единодушны в том, что «Воспоминания» — это потрясающее свидетельство силы человеческого духа в борьбе за свободу.

Английское вышло под рыночным названием, обыгрывавшим то состояние, в котором Н.М. тогда пребывала: «Hope against hope», или что-то вроде «Надежде вопреки». Переводчиком выступил Макс Хэйворд, до этого завоевавший себе громкое имя переводами романов Пастернака и Солженицына¹²⁹.

За ним и за рецензиями в лучших журналах и таблоидах последовали переиздание в издательстве «Collins Harvill Press»¹³⁰ и целый вал переводов едва ли не на все европейские языки. Образовалась неожиданная инверсия: известность и слава мемуаров Н. Мандельштам быстро превзошла известность стихов Осипа Мандельштама, переводившихся во второй половине 1960-х годов (благодаря успеху его американского издания по-русски), но не столь интенсивно, как книга Н. Мандельштам.

Впрочем, и русский оригинал «Воспоминаний» выдержал впоследствии еще три зарубежных переиздания¹³¹.

«Об Ахматовой»

Смерть Ахматовой 5 марта 1966 года потрясла всех сколько-нибудь причастных к поэзии, равно писателей и читателей. Сходное ощущение уже возникало в этом столетии, но всего несколько раз — после смерти Блока, после смерти Маяковского и после смерти Пастернака¹³².

¹²⁷ *Мандельштам Н.* Воспоминания. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова. 1970. 432 с.

¹²⁸ *Mandelstam Nadezhda.* Hope against hope. A memoir / Hayward, Max (transl.; translators preface); Brown, Cl. (introd.). New York: Atheneum, 1970, xiii, 431 pp.

¹²⁹ За работу над переводом мемуаров Н.М. ему была присуждена премия Американского ПЕН-клуба за 1970 год.

¹³⁰ *Mandelstam Nadezhda.* Hope against hope / M. Hayward (transl), Cl. Brown (Introd.). London: Collins Harvill Press, 1971. 421 p.

¹³¹ Второе вышло в 1971 г., третье в 1976 (все в издательстве им. Чехова). Четвертое — уже в издательстве УМСА-Press — двумя заводами: в 1982 и 1985 гг.

¹³² Из более поздних событий в этот ряд могут быть поставлены, пожалуй, еще и смерти Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, бывших своеобразным рупорами — народным и интеллигентским — в диалоге с советской властью.

С уходом Ахматовой «трон», по выражению Семёна Липкина, опустел: не стало последнего поэта из тех, кто определял облик Серебряного века русской поэзии. Отсюда и та внутренняя потребность записать впечатления от общения с Ахматовой, воспроизвести беседы, зафиксировать, пока не растворились бесследно в памяти, ее высказывания о литературе, о современниках, о себе самой, наконец. Эта тяга овладела десятками, если не сотнями людей, вблизи или издали, многие годы или всего по нескольким встречам знавших Ахматову.

Лучше всего это выразил Корней Чуковский в телеграмме, отправленной в Ленинградское отделение Союза писателей СССР: *«Поразительно не то что она умерла после всех испытаний а то что она упрямо жила среди нас величавая гордая светлая и уже при жизни бессмертная тчк необходимо теперь же начать собирать монументальную книгу о ее вдохновенной и поучительной жизни = Корней Чуковский»*¹³³.

Нечто подобное, несомненно, ощущала и Надежда Мандельштам.

Лев Озеров рассказал мне однажды, что на импровизированном митинге перед моргом клиники им. Склифосовского Надежда Яковлевна вдруг сказала ему: *«Всё это нужно запомнить и описать!»*

Не прошло и года-полтора с того момента, когда Н. Мандельштам закончила свои «Воспоминания» — книгу об Осипе Мандельштаме, как смерть Анны Андреевны снова толкнула ее — и весьма властно — в объятия того же жанра: *«...Я всё думаю об Анне Андреевне, — писала она Д.Е. Максимова в последней декаде марта. — Она мне говорила, что я последнее, что у нее осталось от Оси, и она тоже последнее, что у меня осталось от него. Мы вдвоем всегда были с ним. Анна Андреевна это моя жизнь в течение сорока лет. Вероятно, я о ней напишу...»*¹³⁴

Итак, весной 1966 года Надежда Мандельштам начала новую книгу воспоминаний, в центре которой находилась Ахматова.

По первому впечатлению книга была написана сразу же после смерти и похорон Ахматовой и чуть ли не на одном дыхании. Это, однако, если и справедливо, то лишь для сравнительно небольшой части текста.

Непосредственное отношение к этому этапу имеет, по-видимому, рукописный набросок, включенный в корпус «Об Ахматовой» на правах приложения. Это своего рода конспект, а точнее, зародыш всей будущей книги Н. Мандельштам, в котором уже узнаваемы такие детали, как «шапочка-ушаночка» из самого ее начала (это, кстати, еще и парафраз из первой книги воспоминаний Н. Мандельштам) или разговор на Дмитровке из середины, а также посещение Надеждой

¹³³ Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. Л.: Лениздат, 1990. С. 554.

¹³⁴ Письма Максимова, 2007. С. 310—311.

Яковлевной и Анной Андреевной в 1938 году умирающей сестры Н. Мандельштам — из самого конца.

Судя по уважительному тону, с которым здесь еще говорится о Харджиеве, страничка эта относится к самому началу работы над книгой об Ахматовой — возможно, к первым же дням после того, как она вернулась из Ленинграда с ахматовских похорон¹³⁵.

Вернулась же она 11 марта 1966 года¹³⁶, а уже к 16 марта работа разгорелась вовсю! *«Я целыми днями пишу и сейчас (не) писать не могу (об А. А.). Кажется, выходит»*, — пишет она Наташе Штемпель в этот день. И уже в конце марта — а всё это время Надежда Мандельштам настойчиво зазывает ее к себе! — она как бы переводит дух и сообщает: *«Мне есть что вам показать»*¹³⁷.

И Наталья Евгеньевна приехала, — судя по всему, в первых числах апреля 1966 года. Но в начале апреля — завтра или на послезавтра после ее отъезда — Н. Мандельштам написала ей вдогонку в Воронеж: *«Наташенька! Я ночью после отъезда в первый раз перечитала всё. Никому не показывайте вторую главу. Она вся глупо сделана. Ее нужно переделать»*¹³⁸.

Так что и в конце апреля продолжалась интенсивная работа: *«Сонечка! Я сейчас влипла во всякую работу и приехать не смогу...»* То же самое — и в мае: *«После смерти Анны Андреевны не могу найти равновесия. Пока почти не выхожу из дому, кроме как в магазин. Для меня кончилась эпоха и человек, с которым я прожила всю жизнь»*¹³⁹.

Работа продолжалась, по-видимому, и летом 1966 года, в Верее¹⁴⁰, а возможно, и осенью, в Москве. 19 и 20 сентября рукопись вновь перечитывал А.К. Гладков: *«Это замечательно при всей односторонности и субъективизме. Когда-то я сокрушенно думал, что наша эпоха не оставит великих мемуаров. Оказалось, что оставит. Ведь и гигантский цикл рассказов Шаламова — тоже мемуары»*¹⁴¹.

А 16 января 1967 года Н. Мандельштам перечеркнула свой летний труд: *«Наташенька! <...> Очень много работаю над второй книгой. Она идет не хуже первой. Ту — летнюю — надо в печку. <...> Привет Шуре. Он очень милый, а застал меня в диком виде — в работе...»*¹⁴².

¹³⁵ См.: Мандельштам Н., 2008, С. 16—17.

¹³⁶ См. письмо Н.Я. Мандельштам к Н.Е. Штемпель, написанное вскоре после возвращения из Ленинграда: *«Наташенька! У меня нет сил писать. Я хоронила Анну Андреевну в Ленинграде. Вы сами знаете, как мы с ней связаны. Вернулась я одиннадцатого и еще не опомнилась»* (Там же. С. 345—346).

¹³⁷ Там же. С. 346.

¹³⁸ Там же. С. 347.

¹³⁹ Там же. С. 18.

¹⁴⁰ Летом Наталья Евгеньевна, похоже, еще раз приезжала туда к Н. Мандельштам.

¹⁴¹ Запись от 19 сентября 1966 г. (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 106. Л. 119).

¹⁴² Мандельштам Н., 2008. С. 350.

В январе 1967 года в Москве была вдова Бенедикта Лившица, именно тогда Надежда Яковлевна прочитала ей посвященный ей зачин. Из нескольких писем к Тате Лившиц, датированных январем — мартом 1967 года, можно заключить, что именно тогда работа над мемуарами об Ахматовой завершилась (во всяком случае, так полагала тогда сама Н. Мандельштам¹⁴³).

Однако гладковский дневник поправляет и тут. 20 марта, проведая вечером Надежду Яковлевну, Гладков записывает: «...Застаю ее в плохом настроении. Она пишет воспоминания об Ахматовой, очень волнуясь и нервничая, и говорит: “Старуха забрала ее когтями и когда она кончит, то утащит за собой...” У нее неважно с сердцем, и она плохо выглядит»¹⁴⁴.

А двадцать второго апреля 1967 года он делает следующую запись в дневнике: «С утра еду в ВУАП¹⁴⁵, потом в Лавку писателей, затем к Н.М. К ней приходят Адмони и Нат<алья> Ивановна Столярова. Пьем чай и в две руки с Адмони читаем ее рукопись об Ахматовой, где уже 155 страниц машинописи.

Много интересного и умного, но ей мало быть мемуаристкой, и она снова философствует, умозаключает, рассуждает о времени, об истории, о смене литературных школ, о стихах и даже о любви. А. А. у нее очень живая, но как-то мелковатая, позерская и явно уступающая автору мемуаров в уме и тонкости. Совершенно новая трактовка истории брака с Гумилёвым: она его никогда не любила. Верное замечание, что тема А. А. — не тема “любви”, а тема “отречения”. Есть и случайное, и ненужные мелочи. Хотя Н.М. сказала, что она согласна с моими замечаниями, но мне почему-то кажется, что она чуть обиделась»¹⁴⁶.

Работа продолжалась всю весну¹⁴⁷ и, наверное, всё лето. Во всяком случае, дневниковая запись Гладкова от 7 июня 1967 года всё еще не фиксирует ее конца, хотя бы и промежуточного: «У Н.М. <...> Читаю ее рукопись об Ахматовой. Она расширяется (раздвигается) и растет. Спор об отношении к М-му в 30-х годах. Очень всё интересно и еще интереснее устные дополнения Н.М. (“только не записывайте”) об интимной жизни А.А.»¹⁴⁸.

¹⁴³ На март указывает и одно из писем Н. Мандельштам к Д.Е. Максимову (*Письма Максимову*, 2007. С. 322).

¹⁴⁴ *Мандельштам Н.*, 2008. С. 18.

¹⁴⁵ Всесоюзное управление по охране авторских прав (ВУОАП); в 1973 г. на его основе было создано Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП).

¹⁴⁶ Там же. С. 19.

¹⁴⁷ См. письмо Н.М. Н.Е. Штемпель, написанное в середине мая 1967 г.: «Я работаю, и это очень растет» (Там же. С. 354).

¹⁴⁸ Там же. С. 19.

Существенная поправка по сравнению с утверждавшимся ранее: осенью 1967 года Надежда Яковлевна, может быть, и отреклась от своей книги об Ахматовой, но вовсе не уничтожила рабочие к ней материалы. Рукопись (точнее, ее варианты) сохранилась не только у Н.Е. Штемпель¹⁴⁹, но и у нее самой, причем у нее — даже в трех вариантах!

Разрыв с Харджиевым и «Завещание»

После окончательного разрыва с Харджиевым, произошедшего тогда же — в мае 1967 года, Надежда Яковлевна «приняла меры». 30 июня, в последний день перед отъездом в Верею, она зарегистрировала у нотариуса следующий документ:

«МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

1. Я прошу моих друзей — Иру Семенко, Сашу Морозова, Диму Борисова, Володю Муравьёва и Женю Левитина — принять весь груз, который я столько лет несла, и работать дружно, вместе, заботясь лишь о том, чтобы лучше донести наследство Мандельштама до того дня, когда его можно будет опубликовать и открыто заговорить о нем.

2. Я прошу не выпускать из рук архива, чтобы этим закрепить за собой право на издания. После издания я хотела бы, чтобы архив поступил в какой-нибудь архив, но я не хочу, чтобы он доставался архиву бесплатно. Мандельштам всегда настаивал на том, что его стихи стоят дороже других. Я настаиваю на том, чтобы за его архив (после всестороннего опубликования) было заплачено как можно больше.

3. Архив принадлежит всем пятерым, а хранится там, где в данное время это безопаснее.

4. Архивом может пользоваться каждый из пятерых для своих целей. Где и как читаются материалы, решается совместно.

5. Я прошу предоставить Ирине Михайловне Семенко исключительное право на расшифровку стихотворного материала, Диме и Саше — работу над прозой. Это не исключает права любого из пятерых заниматься любой областью. Володю и Женю я прошу подготовить к печати мое личное наследство (обе книги) и провести мелкую редактуру, бережно отнестись к смыслу.

6. Прошу пятерых составить редколлегию всех будущих изданий и не допускать к наследству О.М. и моему никаких ловкачей и жули-

¹⁴⁹ Подаренная ею пишущему эти строки, именно эта рукопись легла в основу изданий книги «Об Ахматовой», выпущенных издательствами «Новое издательство» и «Три квадрата» в 2007 и 2008 гг.

ков. Если пятеро захотят привлечь кого-нибудь к изданию, пусть они решают это вместе. Я прошу, чтобы в старости каждый выбрал себе продолжателя, одобренного всеми. Иначе говоря, чтобы всегда существовала комиссия, охраняющая это наследство от вторжений. Лучшие отложить издание, чем дать его в руки негодных людей.

7. Я прошу, пока жив мой брат, Евгений Яковлевич Хазин, доходы от изданий, если они будут, предоставлять ему. То же относится к Фрадкиной Елене Михайловне.

8. Прошу выжать из этого наследства максимум денег и совместно решать, что с ними делать. Но также прошу помогать из этих денег Юле Живовой и в случае бедствия Варе Шкловской.

9. Если будет конвенция, прошу передать право на распоряжение этими материалами за рубежом (право опубликования, право перевода) Кларенсу Брауну и Ольге Андреевой-Карлайль.

10. Умоляю извлечь из этого наследства максимум радости, не презирать денег и восполнить своими удовольствиями то, чего были лишены мы с О.М. Умоляю работать дружно и вместе, не поддаваясь соблазнам мелкого собственничества и исключительности, которых был начисто лишен сам Мандельштам. Работать вместе и помнить, что всё делается для него.

11. Прошу всех лиц, имеющих прямые или косвенные материалы по Мандельштаму, предоставить наследникам для использования все свои материалы. Надежда Мандельштам Москва, 30 июня 1967 года.

Номер завещания, хранящегося в первой конторе на Мясницкой (Кировской), 2д, — 3415»¹⁵⁰.

Здесь упоминаются «обе книги» самой Надежды Мандельштам, и второй из них, бесспорно, является именно книга об Ахматовой.

Однако осенью 1967 года Надежда Яковлевна, по свидетельству В.М. Борисова, уничтожила свою рукопись. О том, как и почему это произошло, еще будет сказано ниже, здесь же проследим за хронологией событий, приведших к отказу от одной книги и написанию вместо нее другой, названной впоследствии вполне акмеистически — «Вторая книга», как бы в переключку со «Второй книгой» Осипа Мандельштама.

Окончательное решение поступить именно так, и не иначе, пришло Н. Мандельштам, вероятнее всего, в середине июля в Ленинграде, где она выступала свидетельницей на процессе о судьбе ахматовского наследства. К этому времени, собственно говоря, работа над «Второй книгой» шла, хотя и исподволь, но всюю: вырвав в мае у Харджиева мандельштамовский архив, Надежда Яковлевна всё лето его разбирала и, по мере разбора, всё более и более гневалась на «Николашу». Тогда-то она и написала очерки «Архив» и «Конец Харджиева», посвященные

¹⁵⁰ Там же. С. 19—21.

печальной истории мандельштамовских рукописей. Они не вошли во «Вторую книгу», но были основательно в ней использованы, а главное — многое определили в направленности и тональности книги.

Конец 1967 года и начало 1968 года прошли, видимо, под знаком продолжения разбора архива и писания комментария к стихам 1930-х гг.¹⁵¹ Не забудем, что примерно в это же время — вероятнее всего, в 1968 году, когда работа над архивом как таковая была уже позади, — Н. Мандельштам взялась и еще за одно произведение — эссе «Моцарт и Сальери». В нем почти нет историко-мемуарного импульса — биографических коннотаций или исторического контекста: это специальное исследование эстетики Осипа Мандельштама и продолжение ее размышлений о природе поэтического творчества, это ее вклад в *ars poetica* Мандельштама, своего рода переключка с «Разговором о Данте».

Эссе «Моцарт и Сальери» впервые вышло по-русски в «Вестнике русского христианского движения» почти одновременно со «Второй книгой» — в 1972 году, в 1973 году оно вышло и по-английски (в переводе Роберта Мак-Лиана).

«Вторая книга»

Эпистолярно-биографических вех, документирующих работу Надежды Яковлевны над «Второй книгой», еще меньше, чем в первых двух случаях. Почти все они, собственно, восходят к переписке Н. Мандельштам с Натальей Евгеньевной Штемпель и начинаются, самое раннее, только с 31 июля 1968 года: «Немногожко работаю, но очень мало»¹⁵². Следующая полушутливая вешка датируется сентябрем того же года:

*«Вроде пробую работать, но почти ничего не выходит. Не знаю, как быть. Варлаам раздувает ноздри и говорит, что <...> существует специальная литература жен, писавших о своих мужьях. Этой литературе никто, как известно, не верит. Поэтому Варлаам советует немедленно перестать писать об Осе. Я даже затосковала: попасть в эти жены обидно, но это единственное, о чем мне хочется говорить и о чем мне есть что сказать. Беда...»*¹⁵³

Лейтмотив всех последующих весточек один и тот же — усталость, «урывочность» и вялость ее работы над книгой: «Жить очень трудно.

¹⁵¹ К декабрю 1967 г. этот комментарий был практически готов, см. запись в дневнике А.К. Гладкова от 7 декабря 1967 г.: «Вечером у Н.Я. Мандельштам. Она нездорова и скучна. Говорит, что написала комментарий к стихам О. Э.» (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 107. Л. 192).

¹⁵² Мандельштам Н. 2008. С. 269.

¹⁵³ Там же. С. 270.

Я всё же пробую работать. Идет вяло. Как-то руки опускаются от всей сложности жизни» (10 октября 1968 года)¹⁵⁴; «Я работаю урывками, но всё же что-то делаю. Господи, хоть бы доделать» (11 апреля 1969 года); «Я смертно усталая вхожу в эту зиму. Болею. Скучаю. Работая (очень медленно), тоскую. Очень хочу вас видеть. <...> Думаю, что у меня еще год работы, а там я всё кончу» (30 сентября 1969 года). Работала Н. Мандельштам, как правило, лежа, печатала на старенькой машинке, один экземпляр — порциями — забирала на хранение Лёля Мурина.

И, наконец, весной 1970 года — краткое и сухое сообщение: «Работу кончила. Летом устраним мелочь». Тогда, по всей видимости, она и показывала Штемпель свою машинопись и получила от нее одобрение. Отсюда — благодарный и несколько более бодрый тон последнего упоминания работы над «Второй книгой»: «Спасибо за доброе слово... Но я думаю, это еще сырье. Работы много впереди. До конца жизни хватит — лишь бы успеть. Я усталая и грустная» (1 июня 1970 года).

Летом, собрав несколько таких же суждений, как Наташино, Н. Мандельштам, возможно, кое-что и поправила в книге, а может быть, и нет. Во всяком случае, в октябре 1970 года рукопись (точнее, машинопись) уже пересекла границу СССР — на Запад ее вывез Пьетро Сормани, московский корреспондент итальянской газеты «Corriere della Sera». В декабре 1970 года, выполняя распоряжение автора, он передал ее Никите Струве, которому та делегировала все права по изданию «Второй книги» на Западе (кроме Италии), в том числе право на редактирование ее манускрипта¹⁵⁵.

Пытаясь перенести на Запад опыт советских Комиссий по литературному наследию (а точнее — неиспробованный опыт той «Комиссии одиннадцати»), о которой она писала в декабре 1966 года в «Моем завещании»¹⁵⁶, Н. Мандельштам создала своеобразный «Комитет четырех» — орган, призванный координировать все действия по изданию и переводу ее книг на Западе, в том числе правовые и финансовые¹⁵⁷. В состав «четверки» входили Ольга Андреева-Карлайль (с правом замещения Натальей Резниковой), Никита Струве, Кла-

¹⁵⁴ И почти тогда же — 24 октября — Максимова: «Немножко работаю, но каждое слово дается с великим трудом просто потому, что гложет беспокойство и нет сил» (Письма Максимова, 2007. С. 322).

¹⁵⁵ В любом случае маловероятно, чтобы Н. Мандельштам заново взялась за рукопись в 1970 или 1971 гг. — «в состоянии крушения "оттепельных" надежд и в сознании итога», как это предполагал А.А. Морозов (Мандельштам Н.Я. Вторая книга, 1999. С. I).

¹⁵⁶ Мандельштам Н. 2006. С. 131—139.

¹⁵⁷ Еще более близким его прообразом, впрочем, был коллектив из пяти (а по сути — семи) наследников в завещании Н. Мандельштам от 30 июня 1967 г. (см. выше, с. 548—549).

ренс Браун и Пьетро Сормани. Каждый делал что мог и как мог, и, хотя старшего среди них не было, реальные усилия по изданию, как и координирующая роль по переводам концентрировалась в Париже, у Струве. И если между членами «четверки» и возникали разногласия, то одно их соучастие в этом необычном коллективном органе чисто психологически удерживало каждого от каких-либо резких или несогласованных движений.

Сама Н. Мандельштам больше всего была заинтересована в скорейшем и полном издании прежде всего русского оригинала своей книги. И вот в середине 1972 года «Вторая книга» вышла в парижском издательстве YMCA-Press, руководимом Н. Струве.

В октябре того же года книга вышла и по-английски, с тем же переводчиком (Макс Хэйворд) и в том же издательстве («Atheneum»), но под вестернизированным названием «Hope Abandoned», обыгравшем имя автора («Рухнувшая надежда») ¹⁵⁸.

Мемуары Н. Мандельштам прочла вся Америка, узнал весь мир. Несмотря на свою исключительную дискурсивность и полемичность (последнее качество на Западе, кажется, недопонималось), они надолго стали основным источником для всех читателей и исследователей Осипа Мандельштама — от биографов до поэтологов и текстологов.

Парадоксальным образом западные читатели книги Надежды Мандельштам знали гораздо лучше, чем произведения самого Мандельштама. И хотя рецензенты (например, Р. Хьюз) называли Н. Мандельштам литературным порождением и продолжением дела своего мужа, в нерусскоязычном сознании они скорее менялись местами: не Надежда Яковлевна была женой Мандельштама, а сам Мандельштам — ее мужем.

Если в центре «Воспоминаний» стоял гениальный поэт на фоне страшной эпохи, то содержанием «Второй книги» стала сама эта эпоха на фоне своих современников. Этот портрет эпохи, составленный из сотен мазков и ликов, — убийственен и для советской действительности и системы в целом, и для каждого его элемента, в частности. Ю.Л. Фрейдин справедливо указывает на мрачность и безнадежность интонаций и на резкость оценок Н. Мандельштам, даваемых «собственной молодости, всем поколениям своих современников» ¹⁵⁹.

Отдавая должное обличительной силе книги, даже соглашаясь с ее пафосом в целом, многие находили, однако, в том или ином хорошо им знакомом персонаже или эпизоде черты, которые они все же не могли принять или с которыми не могли согласиться. Это породило целую серию протестов, заступничеств и отповедей, среди которых

¹⁵⁸ Mandelstam Nadezhda. Hope Abandoned. New York: Atheneum, 1970, xiii, 000 p.

¹⁵⁹ Фрейдин Ю.Л. Мандельштам (Хазина) Надежда Яковлевна // О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники, 2007. С. 107.

особенно выделяются голоса Э.Г. Герштейн, В.А. Каверина и Л.К. Чуковской, написавшей уже в 1973 году целую книгу-отповедь: «Дом поэта». Она называет Н. Мандельштам «мастерицей всевозможных сплетен» и решительно отказывает ей в претензии на тройственное и совместное с О.М. и Ахматовой «мы». Быть может, четче и жестче других настроения всех задетых и возмущенных «Второй книгой», просуммировал и выразил В.А. Каверин, написавший Н. Мандельштам в том же 1973 году резкое и фактически открытое письмо: *«Вы не вдова, Вы — тень Мандельштама. В знаменитой пьесе Шварца тень пытается заменить своего обладателя — искреннего, доброго, великодушного человека. Но находятся слова, против которых она бессильна. Вот они: “Тень, знай свое место”»*¹⁶⁰.

В то же время большинство читателей были свободны от груза личных коннотаций и восприняли «Вторую книгу» как органическое продолжение «Воспоминаний». Их позицию подытожил И.А. Бродский в некрологе Н. Мандельштам: *«Эти два тома Н.Я. Мандельштам, действительно, могут быть приравнены к Судному дню на земле для ее века и для литературы ее века, тем более ухабном, что именно этот век провозгласил строительство на земле рая. Еще менее удивительно, что эти воспоминания, особенно второй том, вызвали негодование по обе стороны кремлевской стены. Должен сказать, что реакция властей была честнее, чем реакция интеллигенции: власти просто объявили хранение этих книг преступлением против закона. В интеллигентских же кругах, особенно в Москве, поднялся страшный шум по поводу выдвинутых Надеждой Яковлевной обвинений против выдающихся и не столь выдающихся представителей этих кругов в фактическом пособничестве режиму...»*¹⁶¹

Архив Мандельштама

Предназначением всей своей оставшейся после смерти Осипа жизни Надежда Яковлевна считала сохранение его поэзии и его архива. Мандельштамовские стихи и прозу (особенно поздние) Н. Мандельштам знала наизусть, она переписывала их от руки и раздавала списки надежным друзьям, через которых они попадали в самиздат и в тамиздат и в таком виде доходили и до массового читателя. Сам же архив она предпочитала хранить не у себя, а у друзей и родных: среди хранителей — С.Б. Рудаков (эта часть архива до нас не дошла),

¹⁶⁰ Письмо В. Каверина к Н.Я. Мандельштам [20 марта 1973 г.] // ВРСХД. 1973. № 108—109—110. С. 189—191.

¹⁶¹ Бродский И. Надежда Мандельштам (1899—1980) // *Мандельштам Н. Мое завещание и другие эссе*. Изд. 2-е, доп. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. С. 12—13.

Н.Е. Штемпель, М.В. Ярцева, Э.Г. Бабаев, Л.А. Назаревская, Е.Я. Хазин, Э.Г. Герштейн, И.И. Бернштейн и др.

В конце 1960-х гг. установился и контакт Н. Мандельштам с Г.П. Струве и Б.А. Филипповым, редакторами американского Собрания сочинений О.М.; она передала им для публикации копии еще не изданных в то время прозы, переводов и писем Осипа Мандельштама, обеспечив тем самым материалом ранее не планировавшийся 3-й том собрания сочинений (вышел в 1971).

Вместе с И. Семенко в работе по разбору архива, текстологии и подготовке публикаций О. Мандельштама в СССР и за рубежом при жизни Н. Мандельштам участвовали В. Борисов, С. Василенко, А. Морозов, Ю. Фрейдин и др. Н.М. охотно встречалась и с западными славистами, изучавшими творчество Мандельштама, и ее дом вскоре стал своеобразным центром притяжения для знатоков и поклонников его творчества, интересующихся его судьбой и произведениями.

После выхода «Воспоминаний» на Западе опасность тех или иных репрессий со стороны властей резко возросла, особую угрозу в этой связи представляла перспектива конфискации семейного архива поэта. Это подтолкнуло Н. Мандельштам к непростому решению о передаче архива на Запад. Это решение не встретило одобрения со стороны И. Семенко и некоторых других лиц из близкого окружения. Не считая возможным держать архив у себя дома, Надежда Яковлевна передала его на временное хранение Ю. Фрейдину, но при этом не возражала против перефотографирования архива в интересах текстологов и исследователей творчества Мандельштама в СССР¹⁶².

В 1973 году, усилиями С.Н. Татищева, в то время атташе по культуре посольства Франции в Москве, архив был переправлен в Париж (непосредственным исполнителем явилась его жена Анна Татищев), где находился у Н.А. Струве, причем по материалам архива О.М. был подготовлен 4-й «дополнительный» том Собрания сочинений Мандельштама (вышел в 1981 году). В 1976 году, согласно юридически оформленной воле Н. Мандельштам, архив поступил в качестве дара в Отдел рукописей и редких книг Файерстоунской библиотеки Принстонского университета, где и хранится в настоящее время: его первым куратором был К. Браун.

В 1999 году в Москве, к 100-летию со дня рождения Н. Мандельштам, и в 2002 году в Принстоне, к 25-летию передачи туда архива, состоялись международные конференции, посвященные наследию и памяти Надежды Яковлевны Мандельштам.

Некоторое представление о том, что могло произойти с архивом Мандельштама, останься он в Москве, дает судьба той части архива, которая стала откладываться у Н. Мандельштам уже после того, как основной архив был переправлен на Запад.

¹⁶² Фотокопии архива были сделаны в начале 1970-х гг. В.А. Вальгером и В.Д. Познанским.

Собственно говоря, это был личный архив Н. Мандельштам, хранившийся у Ю.Л. Фрейдина, одного из ближайших ее друзей и душеприказчиков. 2 июля 1983 года — через два с половиной года после ее смерти — архив был конфискован у него КГБ после обыска¹⁶³. Сам Юрий Львович так охарактеризовал ситуацию: «*Летом 1983 г. имевшиеся у меня мандельштамовские материалы, включая книги, фотокопии рукописей, личный архив и воспоминания Надежды Яковлевны, копию ее завещания, издания собрания сочинений О.Э. Мандельштама, а также многое из моего личного архива, — было без каких-либо законных оснований изъято у меня сотрудниками московской прокуратуры и КГБ. Полная история этой грабительской акции выходит за рамки данной статьи. Скажу только, что мои протесты, поданные вплоть до самых высоких инстанций, остались без ответа. Может быть, теперь, к 100-летию поэта, грабители или те, кто хранит награбленное, усовестятся и вернут всё законному владельцу?..*»¹⁶⁴

Ссылаясь на вырванное у Фрейдина под давлением «согласие», КГБ передал архив Н. Мандельштам в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ), который, в свою очередь, отказался возвратить его владельцу. Бумаги пролежали в ЦГАЛИ—РГАЛИ безо всякого движения более двадцати лет, и вплоть до 2006 года не предпринималось ничего для их научного описания и обработки.

Подступы к «Третьей книге». Интервью

В 1970-е гг. Н. Мандельштам написала несколько очерков (главным образом, о своем детстве) для задуманной ей автобиографической «Третьей книги».

Она по-прежнему энергично переписывалась с заграницей и дала несколько интервью иностранным корреспондентам, в том числе и единственное свое видеоинтервью (голландскому телевидению 1 мая 1973 года). Режиссер Франк Диаманд, взяв интервью еще и у А. Синявского и др., смонтировал фильм в 1976 году.

Кажется, последним по счету было интервью, взятое у нее 9—10 октября 1977 года корреспондентом «Таймс» Элизабет де Мони с мужем Эриком де Мони¹⁶⁵.

Неизменным условием всем интервьюерам было: публикация только после ее смерти.

¹⁶³ Вести из СССР. Мюнхен, 1983, № 17.

¹⁶⁴ Фрейдин Ю.Л. «Остаток книг»: библиотека О. Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М., 1991. С. 237. См. также: Фрейдин Ю. Л. Судьба архива поэта // ЛГ. 1991. № 1. 9 янв. С. 13.

¹⁶⁵ Де Мони Э. Интервью с Надеждой Яковлевной Мандельштам // Континент. М.; Париж, 1982. № 31. С. 393—404.

Фильм Ф. Диаманда был показан по голландскому телевидению уже в январе 1981 года, то есть почти сразу после смерти Н. Мандельштам.

Посмертные издания на родине

Конечно, западные издания, особенно переводные, были не свободны от самых разных дефектов: в силу понятных причин автор была не в состоянии ни держать корректуры, ни визировать наборные рукописи.

До выхода книг Надежды Мандельштам на родине оставалось подождать еще два десятилетия — в 1989 году в издательстве «Книга» вышли «Воспоминания» с послесловием Николая Панченко, а в 1990 году в издательстве «Московский рабочий» — «Вторая книга» с предисловием Михаила Поливанова. Этому предшествовали первые советские публикации в периодике — в журнале «Юность» (1988, № 8; 1989, № 7—9), подготовленные Ю. Фрейдиным и С. Василенко, а также в двухнедельнике «Смена» (1989, № 2).

В эдичионном плане серьезнейший шаг вперед был сделан в 1999 году — в год столетнего юбилея Н. Мандельштам, — когда московское издательство «Согласие» любовно выпустило оба тома мемуаров — в новой текстологии, с новыми предисловиями, примечаниями и указателями и в едином и превосходном полиграфическом исполнении¹⁶⁶. Ю. Фрейдин и С. Василенко, составители и текстологи, соответственно, первой и второй книг, опирались на чудом уцелевшие авторские машинописи обеих книг и на их первые зарубежные издания с авторской правкой и пометами Н.Я. Мандельштам. Предисловия написали Н. Панченко и А. Морозов, последний выступил и комментатором обеих книг. В 2006 году оба издания были переизданы «Вагриусом», но без какого бы то ни было аппарата. В том же году в издательстве «Аграф» вышла «Третья книга» Н.Я. Мандельштам, составленная Ю. Фрейдиным и вобравшая в себя почти все то, что не вошло в двухтомник «Согласия». В 2007 году отдельным изданием вышла книга Н. Мандельштам «Об Ахматовой», дополненная четырьмя эпистолярными блоками — переписками Н.Я. Мандельштам с А. Ахматовой, Е. Лившиц, Н. Харджиевым и Н. Штемпель (составитель — П. Нерлер, научный редактор — С. Василенко). Книга вышла в «Новом издательстве», директор которого, Е. Пермяков, и был инициатором

¹⁶⁶ Иницирующие эти издания переговоры с владельцем издательства «Согласие» В.В. Михальским были в свое время предприняты от имени Мандельштамовского общества пишущим эти строки; по достижении принципиального согласия конкретные переговоры были переданы в руки Ю.Л. Фрейдина.

издания. В 2008 году книга была переиздана в издательстве «Три квадрата» (в ином оформлении и с незначительными улучшениями).

Книгу, выпущенную в 2013 году издательством «Аст» под названием «Мой муж — Осип Мандельштам», можно рассматривать как коммерческий артефакт и составительский курьез с ничем и никем не обоснованной перетасовкой колоды фрагментов из разных произведений в новую композицию¹⁶⁷. Ни составитель, ни источники текста не указаны, комментарии и оглавления нет...

III ПОНЯТОЕ

*Стихотворение живо внутренним образом,
тем звучащим слепком формы, который пред-
варяет написанное стихотворение. Ни одного
слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это
внутренний образ, это его осязает слух поэта*¹⁶⁸.

*Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ...*¹⁶⁹

В 1972 году Надежда Яковлевна встречала свой день рождения с совершенно новым ощущением. К этому времени все главные задачи, что она ставила перед собой, нашли свое решение — промежуточное или окончательное.

Она сберегла или собрала ненапечатанные стихи и прозу, и эти стихи и проза увидели свет!¹⁷⁰ При этом она сделала щедрые заготовки для будущих издателей и комментаторов, кем бы они ни были, зафиксировав свои версии окончательных редакций и датировок и дав подробные пояснения к поздним стихам¹⁷¹.

¹⁶⁷ Она состоит из двух частей: первая («Мы») — это несколько глав из «Второй книги», вторая («Гибельный путь») — это большая часть «Воспоминаний», кончающихся, как и у автора, главкой «Еще один рассказ», после которого неожиданно вновь возникают фрагменты из «Второй книги» (главки «Этапы моей жизни», «Годы молчанья» и «Последнее письмо»).

¹⁶⁸ Из статьи «О собеседнике».

¹⁶⁹ Из стихотворения «Холодок щекочет темя...»

¹⁷⁰ В 1969 г. вышел уже третий том «американского» Собрания сочинений, а в 1971 г. закончилось переиздание первых двух томов.

¹⁷¹ О ходе и о результатах ее текстологической работы см. в статьях С.И. Богатыревой: «Завещание» // ВЛ. 1992. № 2. С. 260—262; Воля поэта и своеволие его вдовы: проблемы текстологии позднего Мандельштама // «Отдай меня, Воронеж...». Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 360—377.

Она собрала или сберегла остатки архива, — и архив этот благополучно покинул страну, в которой, будь страна другой, и ему было бы самое место!

Она собрала свои собственные горестные заметы, и ее воспоминания — обе книги, одна за другой — уже увидели свет!

Ее свидетельства о времени и месте, где творил и погиб Манделштам, ее суждения о судьбе и мутациях литературы в условиях несвободы и ее оценки современников поэта по-настоящему поразили читателя. Книги переводили на десятки языков, и им сопутствовал оглушительный успех.

Но за всем этим несколько затерялась еще одна, ничуть не менее потрясающая миссия Н. Манделштам — *миссия свидетельницы поэзии*. Жена гениального поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми непосредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рождения стихов. По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые влюбленности и измены. Никакой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не рассказывал!

Влюбленностям и изменам она, разумеется, тоже отдала свою дань, — это общее и неизбежное место. А вот в постановке темы физиологии поэзии она, кажется, была одной из первых и лучших. Попробовав об этом написать, Н. Манделштам сделала это так тонко и глубоко, как, кажется, никто из побывавших в сходной биографической ситуации.

При этом она честно признается, что не сразу сообразила, с чем именно столкнулась:

«Я впервые поняла, как возникают стихи, в тридцатом году. До этого я только знала, что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось. Вначале — с 19-го по 26 год — я даже не догадывалась, что О.М. работает, и всё удивлялась, почему он стал таким напряженным, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, во двор, на бульвар... Потом сообразила, в чем дело, но еще ни во что не вникала. Когда кончился период молчания, то есть с тридцатого года, я стала невольной свидетельницей его труда.

Особенно ясно всё мне представилось в Воронеже. Жизнь в наемной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке — как это назвать? — с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, безнадежно беспочвенная и упрощенная, привела к тому, что я всмотрелась во все детали «сладкогласного труда»¹⁷².

Продолжим цитату:

«Сочиняя стихи, О.М. никогда не прятался от людей. Он говорил, что если работа уже на ходу, ничто больше помешать не может. Василиса Георгиевна Шкловская, с которой он очень дружил, рассказывает,

¹⁷² Манделштам Н. Воспоминания. 1999. С. 211.

что в 21 году, когда они жили рядом в Доме искусств на Мойке, О.М. часто забредал к ней погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василесе... А стихи об ангеле-Мэри появились в Зоологическом музее, куда мы зашли к хранителю Кузину, чтобы распить с ним и его друзьями грузинскую бутылочку, тайком принесенную вместе с закуской в чьем-то ученом портфеле. Мы сидели за столом, а О.М., нарушая обряд винопития, бежал по огромному кабинету. Стихи, как всегда, сочинялись в голове. В музее же я их записала под его диктовку. Вообще, женившись, он ужасно разленился и всё норовил не записывать самому, а диктовать.

А в Воронеже открытость его труда дошла до предела. Ведь ни в одной из комнат, которые мы снимали, не было ни коридора, ни кухни, куда он мог бы выйти, если б захотел остаться один. И в Москве мы не Бог знает как жили, вернее, Бог знает как, но там всё же было, куда мне забежать на часок, чтобы оставить его одного. А тут уйти было некуда — только на улицу мерзнуть, а зимы, как на зло, стояли суровые. И вот, когда стихи доходили до восковой зрелости, я, жалея бедного, загнанного в клетку зверя, делала что могла: прикорнув на кровати, притворялась спящей. Заметив это, О.М. уговаривал меня иногда «поспать» или хоть лечь к нему спиной»¹⁷³.

Тут как бы слышится противоречие: с одной стороны — работать на людях, никогда не прятаться от людей, а с другой — отвернуться и лечь спиной. Противоречия на самом деле нет — «беременность» уже позади, «плод» уже на выходе, весь рвется наружу, и речь идет не более чем об определенном акушерском комфорте.

В этот момент Надежде Яковлевне нужно было умудриться одновременно и «лежать спиной», и «быть под рукой» — для того, чтобы записать народившееся.

Вот еще одна принципиальная связка:

«Сочиняя стихи, О.М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате — к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам.

Стихи и движение, стихи и ходьба для О.М. взаимосвязаны. <...> В «Разговоре о Данте» он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою «Комедию». Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил «стертое величие» подметок пришедшего поэта. Это не только тема нищеты — подметки, конечно, всегда были стертые, — но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О. М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 го-

¹⁷³ Там же. С. 211—212.

да, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки “1-го января 1924”. И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть — в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи, и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким голосом в конце “Второй воронежской тетради”...»¹⁷⁴

От движения она переходит к другому физиологическому критерию тайнослышания:

«Движение — первый признак, по которому я распознавала работу; второй признак — шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось.

Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом Рабочий топот губ — это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О.М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: “Громким шепотом честолюбивым, / Вспоминающих топотом губ, / Он торопится быть бережливым, / Емлет звуки, опрятен и скуп...” И про флейту — “И ее невозможно покинуть, / Стиснув зубы, ее не унять, / И ? в слова языком не продвинуть, / И губами ее не размять...” Мне кажется, что слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут первые слова...

«... О.М. в этих стихах говорит про топот «вспоминающих» губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски “потерянного слова” — “Я слово позабыл, что я хотел сказать, / Слепая ласточка в чертог теней вернется”, — как не попытка припоминания еще несуществующего? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании»¹⁷⁵.

При такой физиологии поэзии, как у Осипа Мандельштама, бессмысленными становились всякие разговоры о «дуализме формы и содержания». Н. Мандельштам замечает в этой связи:

«Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучавшая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В “Разговоре о Данте” О.М. сравнил “форму” с губкой, из которой выжимается “содержание”. Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания

¹⁷⁴ Там же. С. 215—216.

¹⁷⁵ Там же. С. 217—219.

подбирается соответствующая форма. Этот путь О.М. проклял в том же “Разговоре о Данте”, а людей, идущих этим путем, назвал “переводчиками готового смысла”. <...>

Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающее то, что я называю уже существующим целым.

«Стихотписание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властью. <...> Мой странный опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть»¹⁷⁶.

Но мандельштамовская «физиология стиха» — не единственно возможная, были и другие. Вот наблюдение Н. Мандельштам, но не над Осипом Мандельштамом, а над Анной Ахматовой:

«Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекла далеко не так открыто, как у О.М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О.М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражали меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой открытостью, как это делал О.М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О.М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат»¹⁷⁷.

Далее в «Воспоминаниях» идут интереснейшие наблюдения, но над несколько иными этапами поэтического труда — вторичными, если угодно. Над видением и складыванием форм представления уже готовых произведений — самостоятельно или в составе поэтического цикла или книги, например.

Интересно, что в обеих последующих книгах Н. Мандельштам об этой «физиологии» практически ничего нет. Единственное исключение — следующий пассаж о ташкентских погудках Ахматовой:

«Когда я приехала в Ташкент, меня поразило, что Анна Андреевна стала грузной, тяжелой женщиной, с трудом двигалась и никуда не выходила одна, потому что в 1937 году заболела боязнь простран-

¹⁷⁶ Там же. С. 219—220.

¹⁷⁷ Там же. С. 221.

ства. Теперь, сочиняя стихи, она уже не бегала, как олень, а лежала с тетрадкой в руках. Память тоже начала сдавать, и сочинять стихи в уме она уже не могла»¹⁷⁸.

В книге «Об Ахматовой» акценты сместились скорее в область социологии чтения. Надежда Яковлевна рассуждает в ней о читателе и о его коварном испытании выбором между свободой и своеволием. Всё это, заметно усилившись, перекочевало и во «Вторую книгу».

Свое развитие эта тема получила в эссе «Моцарт и Сальери». Коренная разница между «Моцартом» и «Сальери» в том, что это, если хотите, экстракты двух различных поэтических физиологий. Но в каждом реальном поэте, как замечал Осип Эмильевич, есть и Моцарт, и Сальери.

Н. Мандельштам продолжила здесь свои наблюдения над физиологией поэзии. Она пишет: *«Мандельштам отчуждался и на людях и, вслушиваясь в себя, вдруг переставал слышать, что ему говорят. Его страсть к ходьбе и прогулкам — обязательно одиноким — отвечала его потребности одновременно быть среди людей — прохожих — и одному. (...) Это вовсе не значит, что он тут же начнет писать стихи. Чтобы начать писать стихи, надо жить и, живя, часто бывать одному»*¹⁷⁹.

Оставшиеся годы Надежда Мандельштам провела с ощущением исполненной миссии: бессильной уберечь самого Мандельштама от избранной им самим судьбы, ей достало воли и сил для того, чтобы сохранить его стихи и рукописи и оставить важнейшие из свидетельств о его жизни и поэзии.

Вместе с тем ее книгам сразу же стали тесны рамки материалов к чьей бы то ни было биографии. Два тома воспоминаний — это мозаично-эпический рассказ о страшном времени, выпавшем ей и Осипу Мандельштаму на жизнь и на смерть.

А еще это превосходная русская проза!

¹⁷⁸ Мандельштам Н. 2008. С. 125.

¹⁷⁹ Мандельштам Н. 2006. С. 197.

«НАДО ПОБЫТЬ ВМЕСТЕ...» (НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ И АННА АХМАТОВА)

Нине Поповой и Роману Тименчику

*Пусть и мой голос — голос старого друга —
прозвучит сегодня около вас...¹*

*В этой жизни меня удержала только вера
в Вас и в Осю².*

Для Надежды Яковлевны Мандельштам Ахматова была не просто поэтом «Серебряного века» или подругой акмеистической юности покойного мужа. Она сама знала Ахматову без малого половину календарного столетия, ведя отсчет с лета 1924 года, когда Мандельштамы перебрались из Москвы в Петербург, а потом в Детское (оно же Царское) Село. Осип Эмильевич привел тогда на Фонтанку свою молодую киевлянку-жену. «С этого дня, — записала в «Листках из дневника» А.А., — началась моя дружба с Надюшей и продолжается по сей день». Эта дружба никак не вписывалась в разряд эпизодических отношений с женой или вдовой друга, она была мощной и самостоятельной силой, ярко освещавшей четыре с лишним десятка лет до дня смерти Ахматовой и еще пятнадцатилетие после ее смерти. Переписка между ними, несмотря на всю неполноту сохранности, отчетливо передает эту силу.

Дважды по несколько лет Анна Андреевна и Надежда Яковлевна проживали в одном городе или почти в одном — четыре года в середине 1920-х, когда Мандельштамы жили в Детском Селе, и около двух лет в Ташкенте, в годы эвакуации, где какое-то время они жили

¹ Из телеграммы А. Ахматовой Н. Мандельштам от 27 декабря 1963 г. (*Мандельштам Н.* 2008. С. 247).

² Из письма Н. Мандельштам А. Ахматовой от 29 декабря 1963 г. (*Мандельштам Н.* 2008. С. 248).

буквально бок о бок³. Все остальные годы они прожили на изрядном расстоянии друг от друга.

Ахматова, ставшая невольной свидетельницей ареста Мандельштама и настойчивой просительницей за его освобождение, собиралась посетить и посетила его и Надежду Яковлевну и в Воронеже, куда их привела его милостивая опала. 12 июля 1935 года она написала ему в Воронеж следующее письмо:

«Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память. Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно — обязательно побываю у Вас.

Лето ледяное — бессонница и слабость меня совсем замучили.

Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется, я его не увижу — он сказал мне, что погибает от тяжелой психостени.

Что это за мир такой? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.

С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свиданья.

Крепко жму Вашу руку и целую Надеюшу.

Ваша Ахматова»⁴

Приезд Ахматовой несколько раз переносился, но все-таки состоялся — с 5 по 11 февраля 1936 года. Надо ли говорить о том, какой радостью, каким подарком была эта встреча?

4 марта, в стихотворении «Воронеж», Ахматова написала об этом стихи: «А в комнате опального поэта / Дежурят страх и Муза в свой черед, / И ночь идет, / Которая не ведает рассвета...». Она прочтет эти стихи адресату только в мае 1937-го, когда Мандельштамы ненадолго вернутся в Москву.

Небольшое письмо, отправленное в Воронеж, было скорее исключением в переписке Ахматовой с Мандельштамами. Телеграмма, казалось, была для нее более органичным эпистолярным «жанром». На десяток ее телеграмм к Надежде Яковлевне, считая и коллективные, приходится всего четыре письма, каждое из которых по объему не сильно превышало телеграмму. А вот Надежда Яковлевна, состоявшая в переписке сразу со множеством корреспондентов, письма писала помногу и щедро, — ее скитания по провинции просто не оставляли ей другого выбора. В переписке с Ахматовой, охватившей

³ А.А. провела в Ташкенте более двух с половиной лет — с 9 ноября 1941 по 15 мая 1944 гг. Надежда Яковлевна приехала в Ташкент 3 июля 1942 г.

⁴ Впервые: ВРСХД. 1975. № 116. С. 186 [Публ. Н.А.Струве]. Печ. по: АМ. Вох 3. Folder 85.

два десятилетия — с 1944 по 1964 г., — письма вдовы Мандельштама явно преобладают.

Если Анна Андреевна поделила свою послевоенную жизнь — и даже смерть! — между Ленинградом и Москвой, то бездомной Надежде Яковлевне пришлось изрядно поколесить по вузовским городам Союза. Их переписка началась сразу после отъезда Ахматовой из Ташкента. Прилетев в Москву 15 мая 1944 года, она провела в столице две с небольшим недели. Именно в эти московские дни и ушла в Ташкент, на Жуковскую, 54, ее бодрая телеграмма, открывающая эту переписку.

Но Надежда Яковлевна в Ташкенте не находила себе места без Ахматовой, она жаловалась Б.С. Кузину на то, как без нее трудно и грустно⁵. Кроме того, молчание Анны Андреевны ее пугало, — и, в ответ на ее письма и телеграммы (не сохранившиеся), та отозвалась наконец рассказом о своей личной трагедии — разрыве с Гаршиным.

Следующая группа писем и телеграмм — 1957—1958 гг. — относится к «чебоксарскому» периоду Надежды Яковлевны. В марте 1957 года ей понадобился адрес Таты Лившиц, и Ахматова тотчас же отбила его в Чебоксары. Письма Надежды Яковлевны крутятся, в основном, вокруг внешних событий⁶ Комиссии по наследию О.Э. Мандельштама, коваленковской провокации⁷, мандельштамовского издания, а также квартиры в Москве, куда Союз писателей намеревался поселить их обеих и вместе.

Из этой затеи так ничего и не вышло: не только Ахматова сама отказалась от квартиры, но одновременно и Надежде Яковлевне отказали в предоставлении любой жилой площади в Москве вообще. Со временем, когда трудности, которых не избежать в случае, если бы совместное проживание состоялось, стали заслонять упущенные радости от того же самого, Надежда Яковлевна даже написала Харджиеву: *«Мне ее очень жаль, но все же хорошо, что она отказалась тогда от квартиры»*⁸.

Постепенно на первый план выходит будущая книга стихов Мандельштама. В 1958 году, когда договор с Харджиевым уже был подписан, а книга стояла в плане, рассуждения и тревоги Надежды Яковлевны по этому поводу заслоняют буквально все.

Но, начиная с 1959 года, когда, после короткой мартовской поездки в Ташкент, Надежда Яковлевна поселилась в Тарусе, ее переписка с А.А. приобрела устойчивую «ахматовоцентричность» — отзывы о книгах

⁵ Кузин, 1999. С. 731, 733.

⁶ Впервые: ВРСХД. 1975. № 116. С. 186 [Публ. Н.А. Струве]. Печ. по: АМ. В. 3. F. 85.

⁷ См.: Н. Мандельштам, 2008. С. 227—228.

⁸ См.: Н. Мандельштам, 2008. С. 285—286.

Мандельштама, просьбы об экземплярах и о «Поэме», отклики на события ее жизни, воспоминания былых встреч и переговоры о встречах грядущих. Лишь изредка мелькают упоминания о других людях и событиях — колючая встреча с Ариадной Эфрон, трудная защита у Егора Клычкова, окации в Ленинград и лица, пригодные в письменноши. Лейтмотивом идут зазывания Ахматовой в Тарусу, где, по мнению Надежды Яковлевны, рай в любое время года, а Паустовский, приедь Ахматова, скупил бы пол-Елисеевского.

В конце 1961 года — как бы «на плечах» Владимира Соловьева, на следы чтения которого Мандельштамом она указывает, — Мандельштам вновь возвращается на страницы их писем, а с ним и сама Надежда Яковлевна: *«Пришлите мне что-нибудь — письмо, слово, улыбку, фотографию, что-нибудь. Умоляю... Я ведь тоже человек — все об этом забывают, — и мне бывает очень грустно в этой самой разлуке. Моё поколение сейчас психически сдаёт — Эмма, Николаша, я»*. И там же — уж совсем неожиданное: *«Вот я бы взяла заказ на книгу: “Русская философская школа. В. Соловьев. Теория нравственности и познания”. Докторская диссертация или популярный очерк на 10 печатных листов»*. Это, по сути, едва ли не первая заявка Н.Я. на писательство, а не просто свидетельство того, что она ощутила в себе литературный дар и как бы подыскивает себе подходящую тему⁹. Порой Надежда Яковлевна откровенно веселится и даже сообщает Ахматовой, что Николаша (Харджиев) снова не прочь стать их «общим»¹⁰.

Весной (скорее всего на майские праздники) 1963 года Надежда Яковлевна приезжает к Анне Андреевне в Ленинград. Возвратившись, она пишет ей с благодарным восхищением: *«Ануш, дорогой мой! Очень трудно от Вас уезжать. <...> Думаю, что уж и мне пора написать Вам о “Поэме”. Я эту зиму очень о ней думала. Постараюсь собраться с мыслями и сделать это. А сейчас о Вас. Мне нечего говорить о том, как я Вас люблю, как я счастлива, что у Оси есть такой несравненный друг, и о том, какую жизненную силу я получила от Вас. Это и я, и Вы знаем — для нас это не новость. Мне о другом хочется — какая Вы прелесть. Умница, веселая, красивая. Просто прелесть. <...> Умница, роднуша, прелесть»*.

В октябре 1963 года Надежда Яковлевна возвращается и к «Осиной книге»: *«Новостей у меня нет. Про Осину книгу Вы знаете. Ну их всех к... Равнодушной мне быть надоело. 27 декабря (если верить этой дате) 25 лет со смерти Оси. Подумайте, четверть века...»*.

А свое обещание написать о «Поэме без героя» Надежда Яковлевна выполняет в самом конце года: *«<...> В сталинские дни мы были*

⁹ Как знать, может быть, именно «Тарусские страницы», свои очерки в которых Н.Я. нисколько не ценила, сослужили ей и нам добрую службу будильника?

¹⁰ См.: Мандельштам Н. 2008. С. 242.

так измучены общим давлением эпохи, что могли думать и говорить только о том, что было связано непосредственно с ней. Сюда подходит вся тема “невстречи”, и многое, и “Поэма” (взгляд настоящего-будущего на прошлое и на [то] предчувствие будущего, которое охватило людей, стоявших на пороге надвигающейся эпохи). Это движение пластов времени, которыми Вы орудуете в “Поэме”, очень характерное чувство для нашей жизни. <...> И еще об одном. О том, что история, эпоха, течение времени, просто само время, наконец, действуют на нас, на наши чувства и мысли гораздо больше, чем мы могли предположить. Казалось, что мы всегда мы, запуганные или успокоившиеся, плачущие или спящие. Оказывается — это не совсем так. Время, как будто, это и есть наша “несвобода”, наше “изгнание из рая”, наши настоящие оковы. Не возраст, а само его течение. В такие эпохи, как наша, это наглядно».

Это письмо заметно выделяется во всей переписке. До известной степени его можно уподобить эскизу, причем к обеим книгам Надежды Яковлевны — и к той, которую она в это время заканчивала, и к той, которую еще не начинала.

А 27 декабря, спустя ровно четверть века после гибели Мандельштама, Надежда Яковлевна получила от Анны Андреевны следующую телеграмму: «Пусть и мой голос голос старого друга прозвучит сегодня около Вас крепко целую = Ваша Ахматова». Вдогонку пришло и письмо, датированное тем же числом: «Надя, посылаю Вам три странички — это в “Листки из дневника”, которыми я продолжаю постоянно заниматься. Вероятно, кончится небольшой книгой. Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня — Дня слез и Славы. Нам надо побыть вместе — давно пора. У Вас, то есть у Осипа Эмильевича, все хорошо. <...> Ваша Ахматова».

Надежда Яковлевна ответила Ахматовой 29 декабря 1963 года: «Ануш, мой друг! Спасибо Вам за все — за телеграмму, за листки из дневника, за записочку. Понимает ли мой старый друг Анна Андреевна, Ануш, Аничка, Анюта, что без ее дружбы я никогда бы не дожила до этой печальной и хорошей годовщины — двадцатипятилетия? Конечно, понимает. Ведь все было так наглядно. В этой жизни меня удержала только вера в Вас и в Осю. В поэзию и в ее таинственную силу. То есть чувство правоты. <...> Я Вас очень люблю и всегда о Вас думаю — каждый день. Ваша Надя».

А 23 июня 1964 года уже Надежда Яковлевна поздравляла Ахматову — с ее предпоследним, как оказалось, днем рождения: «Анечка вся наша жизнь прошла вместе Я вспоминаю все целую вечного друга в день семидесятипятилетия»¹¹.

¹¹ Эту телеграмму она подписала именами своим и Харджиева.

И жизнь Анны Андреевны, и жизнь Осипа Эмилевича, как, впрочем, и жизнь Надежды Яковлевны, были отданы русской поэзии и стали манифестацией той самой таинственной силы и внутренней правоты.

«БЛАЖЕННЫХ ЖЕН РОДНЫЕ РУКИ...» (НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ И НИНА ГРИН)

Галине Лавриненко и Ольге Линник

1

В июле 1932 года не стало Александра Степановича Грина, в августе — Максимилиана Александровича Волошина. И вдовы их — Нина Николаевна Грин и Мария Степановна Волошина — остатки своей жизни посвятили служению их памяти — сбережению и, насколько возможно, изданию их произведений.

Тем же знаменита и Надежда Яковлевна Мандельштам, овдовевшая в конце 1938 года.

Их мужей связывали долгие и, заметим, весьма сложные отношения: с Волошиным Мандельштам познакомился в 1909 году, не раз в (1915, 1916, 1917 и 1919 годах) приезжал к нему в Коктебель. По меньшей мере с 1920 года знаком Мандельштам и с Грином: оба зимовали на «сумасшедшем корабле» Дома Искусств на Мойке. Давними знакомцами — а с 1924 года пусть и дальними, но соседями — были и Грин с Волошиным.

Любопытно, что с водворением Грина в Старом Крыму, эта бывшая ханская столица стремительно «приблизилась» к Коктебелю, а сами Грин и Волошин в нашем сознании стали столь же близко: все, что их разделяло в жизни, — отошло и утратило значимость.

В реальности же — когда ни коктебельским, ни старокрымским музеями и не пахло — сложилась и работала своеобразная вдовья солидарность и вдовье сострадание.

В этом контексте понимаешь, почему не только мы — сегодня, но и Мандельштам — в свое время, очень четко воспринимал Старый Крым, куда он и Надежда Яковлевна приехали в апреле 1933 года,

и Коктебель, куда они переехали в конце мая, — как некий единый и очень близкий, родной по жизнеощущению, комплекс.

Похоже, что то же ощущал и другой представитель «Серебряного века» — Владимир Алексеевич Пяст, писавший Нине Николаевне Грин 23 февраля 1933 года из северного города Сокола (в Кировской области): «Если бы я имел право поехать в Крым, — выбрал бы я или место Александра Степановича или другого покойного поэта, соседа Александра Степановича и жившего с ним одновременно, — Коктебель...»¹

В апреле или марте 1934 года Пяста перевели в Одессу. Здесь он узнал об аресте в Москве Мандельштама, и нет сомнений, что именно это событие он имел в виду, когда на эзоповом языке тех лет писал в Старый Крым:

«Милая Нина Николаевна!

Прежде чем ездить через Одессу по побережью милого Черного моря, заезжайте-ка в Москву, там ждут Вас новости не очень-то приятного свойства, но, при Вашей отзывчивости, Вам приятнее было бы быть полезной Вашим заболевшим родным, чем оставаться в бездействии...»

Нина Николаевна, видимо, откликнулась телеграммой, ибо уже 3 июля Пяст пишет ей вновь: «Вы хотите знать адрес Александра Эмильевича? К сожалению, не знаю, узнать можно в адресном столе».

В следующем письме (7 июля) уже Пяст спрашивает Нину Николаевну о Мандельштамах: «Напишите, когда Надюша будет иметь постоянный адрес, а то так посылать неловко. Как она-то здорова, и будет ли ездить она в Москву, а если нет, то почему? (Меня это интересует с точки зрения ее жилищной)».

Видимо последняя фраза взорвала добрейшую Нину Николаевну, знавшую, что ее корреспондент, как и она сама, находил в Москве пристанище у своих общих друзей (с которыми Пяста, конечно же, связывало много больше, чем ее). И если избыточное эзопство и даже равнодушие к судьбе осужденного товарища и поэта она еще могла простить Владимиру Алексеевичу, тоже ведь поэту и тоже осужденному, то — на этом фоне! — какой бы то ни было «интерес» (или простое любопытство) показались ей — и в действительности являлись — недостойными и оскорбительными. Ощущений своих она видимо не сочла нужным скрывать, подтверждение чему мы находим в пястовском письме к ней от 18 ноября того же года:

«Дорогая Нина Николаевна!

Как-то недавно в старом “Всемирном следопыте” видел Ваш портрет, читал про ястребенка. Не знаю, почему Вы не исполнили обещания с посылкой остальных книг Александра Степановича? Получили ли Вы “Веселого попутчика” и “Корабли в Лисе”? Я и этого не знаю,

¹ РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Д. 65. л. 2 об.

так как с самых тех пор, месяцев 5 (или 4) Вы мне ничего не писали. Или письмо не дошло.

Может быть, и даже наверное, я заслужил это. Но все же даже когда и так — человеку предпочтительно, чтобы ставили точки над «i». Легче перенести.

Намек здесь, конечно, вы понимаете на что. На мои отношения не к Вам и не к Александру Степановичу, — о, нет, — к совсем другим, несчастным людям.

Но ведь легкомыслие (проявленное мною) — не злая воля. И потому, если можно, наказывайте меня крутенько, но все же не безвестностью.

<...> Ответьте же, может ли Н.Я. ездить в Москву? В.П.»

Судя по следующим письмам самого Пяста, Нина Николаевна не отвечала ему еще пять лет, невзирая даже на то, что этот горячий поклонник ее мужа и Эдгара По трижды за это время навещал Крым. Вот Вам образчик человеческого достоинства и подлинной солидарности, столь стремительно быстро растерянных, судя по этой переписке, Владимиром Пястом.

2

Контраст двух людей, двух линий поведения только усиливается оттого, что более чем двадцатилетней дружбе Пяста с Мандельштамом, противостоит всего лишь трехлетнее знакомство с ним Н.Н. Грин. Вот фрагмент из ее воспоминаний, повествующих о событиях зимы 1932/33 гг., когда она приехала в Москву хлопотать об издании книг покойного своего мужа:

«В это время меня познакомили с поэтом Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Я изредка бывала в Доме Герцена, во флигельке, у неких Островских. Они, видимо, и познакомили. Оба Мандельштама, почитатели книг А.С., встретили меня душевно тепло, устроили жить в пустовавшей в то время комнате М. Пришивина и подкармливали. Это устроило у меня чувство суровой бесприютности, но дела мои по-прежнему не двигались, я страдала тоской по могиле А.С., по матери, жестоко в Крыму нуждавшейся, и от невозможности из-за долгов вернуться в Старый Крым»².

В феврале 1933 года Мандельштамы уехали в Ленинград, где у Осипа Эмильевича были два авторских вечера. Оттуда прилетело к Нине Николаевне первое из трех сохранившихся писем к ней Надежды Яковлевны — от 3 марта:³

² Грин Н.Н. Тетрадь VI. Различные воспоминания по поводу Александра Степановича Грина. 1954 г. Астрахань (РГАЛИ, Ф. 127. Оп. 3. Д. 17. Л. 98об.).

³ РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Д. 49. В письме упоминаются писатели Маризтта Шагинян и Петр Павленко, члены правления Издательства Писателей в Ленинграде,

«Милая Нина Николаевна!
Мы дикие варвары: через неделю первое письмо.
Сначала о делах —

Отношение к переизданию избранного Грина самое горячее. Очень ценят, очень любят. Затруднения формальные: Ленингр<адское> издательство писателей не имеет права на переиздание, а только на новые книги. Для переиздания необходима санкция Москвы. 9-го марта на заседании президиума окончательно вырешат вопрос об издании, напишут мотивированное заявление о необходимости этого издания и через Мариэтту и Павленко — членов правления изд<ательства>, живущих в Москве, получат визу на переиздание.

Таким образом 90% за то, что избранное будет издано — но оформительный процесс затягивается. Хорошо, что в Москве виза на переиздание будет получаться Мариэттой — т. е. можно будет проконтролировать и поторапливать и т.д. Думаю, что в марте все разрешится. Кроме того, ленинградцы напишут Бубнову дополнительное письмо относительно пенсии. Вот как будто и все. Мы возвращаемся по всей вероятности седьмого. Очень соскучились. Хочу в Москву.

Как вам живется без нас? Мне тревожно — хочется вас видеть. Целую вас.

Надя.

Вернулся ли Рудерман?

Научился ли топить печку?

Нас сейчас задерживают главным образом деньги. Ждем получки, чтобы уехать: вечера сошли благополучно. Один 23, другой — в Доме Печати — вчера. Принимали хорошо — но мало хлопали, а большие вздыхали. Спасибо вам за весточки. Вы по сравнению с нами европейцы, а мы дикари.

Целую Надя.

Ося говорит с Прокофьевым, поэтому я запечатываю без его приписки».

3

...А весной 1933 года уже Мандельштамы гостили у Нины Николаевны. Она вернулась из Москвы на неделю раньше (прописалась у себя

а также Михаил Рудерман — сосед Мандельштамов по Дому Герцена (к 1933 году — 28-летний автор двух поэтических книг и будущий автор знаменитой «Песни о тачанке») и Александр Прокофьев — в то время молодой ленинградский поэт. Бубнов Александр Семенович — партийный и политический деятель; в 30-е годы нарком просвещения. Вечера Мандельштама состоялись 23 февраля — в Капелле и 2 марта — в Доме Печати.

12 апреля, а 18-го уже приехали Мандельштамы, прихватив с собой в Старый Крым еще и Бориса Сергеевича Кузина, только что выпущенного после первой — недельной — отсидки на Лубянке). В «Домовой книге для записывания лиц, приезжающих и выбывающих, дома № 40 по улице К. Либкнехта, района Старокрымского» сохранилась запись от 12 апреля 1933 года о временной прописке *«писателя, персонального пенсионера Совнаркома, члена Союза Печатников», и его жены — иждивенки писателя-пенсионера*⁴.

Надо ли говорить, что это было за время. Самый разгар коллективизации и вызванного ею искусственного голода, когда миллионы разоренных крестьян с Украины, Дона, Северного Кавказа стронулись с места и бродили по стране в поисках куска хлеба и хоть какого-нибудь заработка.

Мандельштам все это видел. Видел — и, в отличие от большинства своих собратьев по перу, не закрывал глаза. Он написал стихотворение — первое из тех трех роковых, что он не решался помещать в списки «Новых стихов». Устойчивая традиция приписывает ему заглавие «Старый Крым». В протоколе допроса на Лубянке рукою следователя записано другое — «Холодная весна». Благодаря протоколам известен и точный текст этого стихотворения — отличающийся от того, что сохранился в памяти Надежды Яковлевны:

Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.
Как был при Врангеле, такой же виноватый.
Колючки на земле, на рубищах заплаты,
Все тот же кисленький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица.
И тени страшные Украины и Кубани —
На войлочной земле голодные крестьяне —
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Но память Надежды Яковлевны цепко сохранила то, что сейчас называют реальным комментарием. В «Книге третьей» она пишет:

«Мы приехали с диким багажом: на месяц пришлось взять с собой хлеба. Вся страна сидела на пайке, а на Украине, на Кубани, в Крыму

⁴ РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Д 209. Л. 4 об.

был форменный голод. Раскулачиванье уже прошло, остались только слухи и толпы бродящего народа. Старый Крым в испуге как-то сжался. Ежедневно рассказывали, как ночью проломали стену, залезли в кладовую и вытащили всю муку и крупу. Именно это было предметом грабежа. Целый день к воротам подходили люди. Откуда? С Кубани... С Украины. Они рассказывали, как целиком выселялись громадные станицы, как раскулачивали и умирляли... Стихотворение о Старом Крыме фигурировало в «деле» О.М. 34 года — клевета на строительство сельского хозяйства. Из этих стихов ясно, что мы приехали в Крым ранней весной, когда цветет миндаль. Обонятельное ощущение — дым — всегда к ночлегу, к дому. Дымок — это мысль о жилье. “Рассеянная даль” была вначале “расстрелянной”, но это показалось О.М. чересчур прямым ходом. Кубань и Украина названы точно — расспросы людей, бродивших с протянутой рукой. Калитку действительно стерегли день и ночь — и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили саманную стенку дома и не вытащили последних запасов муки. Тогда ведь хозяева сами стали бы бродягами»⁵.

Но не только этими стихами было отмечено пребывание Мандельштама в Старом Крыму и Коктебеле, — здесь же были написаны «Разговор о Данте», стихи «Ариост» и примыкающие к нему («Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...» и «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...»)

Следующей зимой Нина Николаевна, очевидно, вновь гостила у Мандельштамов в Москве — на этот раз в их новой квартире. Об этом свидетельствует презанятнейший автограф, сохраненный ею в гигантском гриновском архиве⁶. На вырванном из блокнота листке, Осип Эмильевич, взяв карандаш, записал:

... Там, где на землю брошена
Небесная глина,
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина...
(отрывок из стих. Г.Шенгели)

Писал О. Э. Мандельштам.

Ниже — рукой Н.Н.Грин — приписка:
«19 января 1934 г. вечером у себя в Нащокинском пер., 5, кв. 26».

Мандельштам процитировал — очевидно, по памяти — стихотворение Георгия Шенгели «Планер», написанное в 1933 году. В печатном виде строфа выглядит существенно иначе:

⁵ Мандельштам Н., 2006. С. 184—186.

⁶ РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Д. 15., Л. 5.

Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.

Почему же Мандельштам записал эти стихи?

Вспомним, что по свидетельству С. И. Липкина, говорил о Шенгели Мандельштам: «Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм»⁷.

Именно ритм «Планера» как мне кажется, задел Мандельштама прежде всего⁸, но не менее интересна и смысловая вариация в «мандельштамовской» редакции четверостишия. Эта «небесная глина» — настолько его, мандельштамовская, что сопоставляя даты, начинаешь сомневаться, а не «поправил» ли тут Осип Эмильевич «российских ямбов керченского зрителя»?

4

...Спустя три месяца Мандельштама арестовали. Это и последующие события косвенно отразились в переписке В.А. Пяста и Н.Н. Грин, с чего мы и начали. Письма же от Н.Я. Мандельштам стали — начиная с конца апреля 1935 года — приходить в Старый Крым уже из Воронежа и Задонска:

«Нинуш! Пишу вам с опозданием, потому что сидела большие месяца в Москве — по всяким издательским делам. Очень радовались вашему письму. Вы очень хорошо написали про книгу. Что с ленинградским изданием Алекс<андра> Степ<ановича>. Я слышала, будто его не будет — сняли с плана. Очень жаль будет? Напишите.

Как жизнь? Как старокрымские розы? Как хочу к вам! Все себе представляю, какая у вас погода, — наверное, сейчас рай. В Крыму Женина жена — Лена. Что-то вроде твс колена. Бедная. Но честно говоря хотела бы быть на ее месте.

Как Ольга Алексеевна? Возится ли нынче на огороде? Напишите обо всем — мне все хочется знать. Мы уже воронежские старожилы. Живем хорошо, очень спокойно и тихо. Не скучаю — потому что много работы. Я почти рада Воронежу, особенно, когда возвращаюсь из Москвы.

⁷ Липкин, 2008. С. 25.

⁸ Об «очаровании ритма» в этом стихотворении пишет и сам С. Липкин (там же, с. 39).

Как жаль, что мы с Вами дважды разминулись и как нехорошо, что вам даже в голову не пришло заехать к нам в Воронеж.

Целую вас, Нинуш.

Пишите “до востребования”.

Надя⁹.

Еще в начале 1936 года Мандельштам добивался от Союза писателей путевки в Крым¹⁰.

Комментируя стихотворение «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...», написанное 4 февраля 1937 года, Н.Я. Мандельштам писала: «Тоска по Крыму не покидала О.М. В письмах разговоры о хлопотах, чтобы пустили в Старый Крым под любым предлогом — болезнью и т. п.»¹¹

Отголосок этого стремления — и в третьем, последнем из сохранившихся, письме жены Мандельштама вдове Грина. Оно написано из Задонска 4 августа 1936 года:

«4 августа 36 г. Задонск (Вор. область) ул. К. Маркса, 8

Милая Нина! Я пишу вам после долгого молчания — и письмо мое — не лирика, а глубокая проза. У меня сейчас исключительно тяжелая жизнь. Уже полгода, как Ося серьезно болен. Первые тяжелые, угрожающие жизни припадки начались в январе. Дегенерация сердечной мышцы на почве склероза (преждевременного — ему 45 лет) — кардиомиопатия, миокардит. Он перенес острый аортит. Сейчас резкое расширение дуги аорты. За это время несколько тяжелых припадков (поднимали на улице, выносили из театра и и т.д.). По неделям был на камфоре.

Есть признаки рассеянного склероза и, как говорят врачи — несомненный склероз сосудов мозга. У него месяцами было непрерывное головокружение даже в постели. Врачи запретили работать, читать. Но сам он даже и не мог бы читать и только сейчас после полугода — он впервые берет книги с работы (он служил в театре) — его сняли. Городская комиссия направляла его на ВТЭК для получения официальной инвалидности.

О лечении (специальном) не может быть и речи. Все хлопоты не привели ни к чему. Литфонд давал ему путевку, но ехать лечиться нельзя. Но, когда я решила отвезти Осю в деревню, я просила перевести ценность путевки в деньги, то мне в этом отказали. В результате я все-таки Осю вывезла в деревню (жара в городе опасна — прямая опасность, по словам врачей, для жизни).

⁹ В письме упоминается Елена Михайловна Фрадкина (см. выше). Книга А.С.Грина «Фантастические новеллы» вышла в 1935 г. в Москве. Ольга Алексеевна — мать Н.Н. Грин. Тбс — туберкулез (лат. мед.)

¹⁰ Протокол № 3—4 от 16 марта 1936 г. заседания правления Воронежского отделения СП СССР (Государственный архив Воронежской области. Ф. 2029. Оп. 1. Д. 1. Л. 164).

¹¹ Мандельштам Н., 2006. С. 404.

Живем мы очень плохо — и что хуже — очень тревожно. Заработков нет никаких. Ося работу потерял, а мне работу не дают. Все поездки в Москву кончались ничем, и я перестала ездить. (В последний раз Воронежский союз. пис. вызвал меня телеграммой к больному Осе). Уже полгода я буквально не могу отойти от больного.

Мы живем на то, что нам присылает Женя. Это очень нервно, криво и косо. Жене никто не помогает. Осини братья, за все время вдвоем прислали 100 рублей и написали 100 гнусных писем, о том, что больше оторвать у своих детей они не могут.

Вам это положение знакомо. Твердо молчит Союз Советских писателей, работы нет, болезнь. Единственное, что остается, это помощь друзей и вот о чем я вас прошу: в Москве и Ленинграде сейчас никого нет. Но в Коктебеле наверное отдыхают какие-нибудь писатели. Съездите в Коктебель. Если там есть-кто-нибудь из поэтов — Осе помогут. Ни один поэт не откажет. В прошлом году вдова Волошина предлагала Осе помощь. Она бедная женщина. Не берите у нее денег. Но она смогла бы поговорить с кем-нибудь из приехавших. Если есть 1—2—3 человека — они дадут немного денег. Мы сейчас очень урезаем себя во всем и всякая помощь ощутительна. Я хочу как можно дольше пожить в деревне. В Воронеже меня ничего не ждет — никаких денег или заработков я получить не могу. За комнату в Воронеже (частную по 200 р. в месяц) не плачено. Мы можем остаться там на улице. Когда вы получите это письмо — телеграфируйте — можете ли вы съездить в Коктебель. Не пишите. Письмо может меня не застать. Я попробую задержаться до 15 авг. Если не будет помощи со стороны — увезу Осю в Воронеж — на полную пустоту. Я жду телеграмму. Отрицательный ответ — тоже хорошая вещь — это реальность. Поэтому прошу вас — если вы не можете съездить в Коктебель — тоже телеграфируйте. Я жду телеграммы.

Целую. Надя.

Адрес. Воронежская обл. город Задонск, ул. Маркса, 8. Мандельштам.

Если поеду в Воронеж раньше срока — дам телеграмму.

Я забыла сказать: в Воронеже мы жить не будем — у нас нечем уплатить за комнату. Только поедем ненадолго, а устроившись на зиму придется в районе, а это очень тяжело с больным — без квал<ифицированных> врачей».

Мы не знаем, конечно, удался ли план Надежды Яковлевны. Но нет ни тени сомнения в том, что и вдова Грина, и вдова Волошина сделали все, что еще было в их силах, чтобы смягчить отчаянное положение Мандельштамов (надлежит быть отмеченным и то, что, несмотря на эту отчаянность, Надежда Яковлевна закликает Нину Николаевну не просить и не брать ничего у Марии Степановны).

И как бы то ни было, но зимовали Мандельштамы не в Задонске, а в Воронеже. Это была тяжелая и прекрасная зима 1936—1937 годов — зима Второй и, отчасти, Третьей «Воронежских тетрадей».

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...

И уже не хлопоты о путевке, а сами стихи свидетельствовали о том же: *«Тоска по Крыму не покидала Мандельштама...»*

ВОРОНЕЖСКАЯ БЕАТРИЧЕ (НАТАЛЬЯ ШТЕМПЕЛЬ)

*Нелли Гординой, Васе Гыдову и Диме Заславскому
Памяти Виктора Гордина*

К пустой земле невольно припадая...¹

Из людей, близких нам, надо назвать Наташу Штемпель, женщину чудной духовной красоты. Она поздно вошла в нашу жизнь, но навсегда осталась в ней².

1

Наталья Евгеньевна Штемпель родилась в Воронеже 7 сентября 1908 года.

В 1915—1922 гг. она тяжело болела туберкулезом тазобедренного сустава, месяцами была прикована к постели. Последствиями болезни и стали ее хромота (впрочем, не ощущавшаяся ею как физический недостаток) и воспитая Мандельштамом «*неравномерная сладкая походка*». Во время болезни она страстно и бескорыстно увлеклась русской поэзией, выделяя среди прочих и своего «земляка» Ивана Никитина, стихи которого первыми выучила наизусть. Страстно — потому что способность человека слышать стихи, воспринимать поэзию стала для нее своеобразным минимальным критерием собеседничества. Бескорыстно — потому что сама Наташа стихов никогда не писала.

Ее отец — дворянин и неперемный член Губернского собрания, при советской власти работал юрисконсультom. После того, как родители в 1925 году развелись, она жила с матерью, Марией Ивановной Левченко, учительницей, и младшим братом Виктором в двух комнатах в собственном доме³.

¹ Из одноименного стихотворения.

² Мандельштам Н. Вторая книга. 1999. С. 239.

³ По ул. Каляева, д. 21; в послевоенные годы жила в Купянском (2-м Буденновском) переулке, д. 3. кв. 7 и, начиная с 1961 г., по ул. Никитинской, д. 38а, кв. 29.

В 1926—1930 гг. Наталья Евгеньевна училась на литературно-лингвистическом отделении Воронежского государственного университета и одновременно работала в педологическом кабинете у профессора Павла Леонидовича Загоровского. Опубликовала две так и не разысканные статьи в журналах «Культурный фронт ЦЧО» и «Практическая педология» (Орёл), написала большую (около трехсот пятидесяти страниц) работу «Школа, семья и собственная личность в оценке школьников старшего возраста», основанную на анализе семи тысяч сочинений воронежских старшекласников. Хотела поступать в аспирантуру, но туда ее не взяли — из-за дворянского происхождения. В 1930 году она устроилась на работу на политико-педагогической станции при Воронежском областном отделе народного образования в качестве научного сотрудника (изучала киноинтересы воронежских школьников).

В 1931—1932 гг., учась на годичных курсах психотехников-профконсультантов, Наталья Евгеньевна год прожила в Ленинграде. По возвращении в Воронеж заведовала психотехнической лабораторией в Институте организации и охраны труда, а затем в Институте гигиены и санитарии, где изучалась специфика профессий, характерных для сельского хозяйства Воронежской области. После того как в 1935 году педология и психотехника были развенчаны как «лженауки» и лаборатория П.Л. Загоровского закрыта, она вернулась к своей «первой» профессии и начала преподавать литературу и русский язык в Воронежском авиатехникуме им. В.П. Чкалова, где и проработала до самого выхода на пенсию в 1971 году. Как поэзия и литература являлись ее любовью, так и преподавательская работа оказалась ее призванием: по свидетельству учеников, она обладала даром прививать свою любовь к поэзии другим.

В феврале 1936 года Наталья Евгеньевна познакомилась с Сергеем Борисовичем Рудаковым, от него она впервые и услышала о том, что в Воронеже находится Осип Мандельштам. Рудаков не торопился знакомить ее с ссыльным поэтом и его женой — их первая встреча состоялась только в сентябре, уже после того, как Рудаков покинул Воронеж, причем Осип Эмильевич напустился на нее за то, что она прочитала наизусть стихотворение «Я потеряла нежную камею...» — самое его слабое, как он тогда полагал. Но очень скоро знакомство перешло в дружбу, и встречи стали почти ежедневными. Мандельштам и Наталья Штемпель часто гуляли вместе, посещали воронежские музеи и ходили на концерты.

Предупредив дочь об опасности встреч с опальным и ссыльным поэтом, мать Наташи не только не запретила ей встречаться, но и принимала его с женой у себя, единственная в это время в Воронеже.

Штемпель познакомил Мандельштама и с Загоровским, после этого так же встречавшимся с поэтом и помогавшим ему материально (последние полтора года Мандельштамы жили в Воронеже без заработков и практически в полной изоляции). Сам Мандельштам так говорил о Наталье Евгеньевне: «*Наташа владеет искусством дружбы*».

Постепенно у Осипа Эмильевича выработалась привычка читать ей каждое новое стихотворение, а несколько его стихотворений, написанных в начале мая 1937 года, посвящены или обращены непосредственной к ней — «Клейкой клятвой липнут почки...»⁴, «На меня нацелилась груша да черемуха...» и «К пустой земле неволью припадая...».

Вручая посвященные ей стихи «К пустой земле неволью припадая...», Мандельштам сказал: «*Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом*». В мае 1937 года, незадолго до отъезда из Воронежа, он попросил жену переписать для Наташи все воронежские стихи, а также другие ненапечатанные стихи 1930-х гг. Получилось три больших блокнота.

После отъезда Мандельштамов из Воронежа Наталья Евгеньевна несколько раз ездила повидаться с Мандельштамами в Савёлово, Москву и Калинин. Получив от Надежды Яковлевны известие о гибели Осипа Мандельштама, она поехала к ней в Калинин, а оттуда, по ее просьбе, и дальше на север — в Ленинград, к Ахматовой, чтобы рассказать ей о смерти поэта, сообщить о которой в письме Надежда Мандельштам тогда побоялась.

2

После смерти Осипа Эмильевича отношения Натальи Евгеньевны с Надеждой Яковлевной, жившей в различных городах, не прервались. Они постоянно переписывались или перезванивались, несколько раз Надежда Яковлевна приезжала в Воронеж, но чаще всего они — обе филологи-педагоги — встречались в каникулярное время в Москве или на подмосковных дачах (в Тарусе, Верее, Кратово, Переделкино), куда к Надежде Яковлевне приезжала уже Штемпель.

Кроме подаренных Мандельштамом трех блокнотов (получивших название «Наташина книга»), у Натальи Евгеньевны отложился довольно большой архив: автографы стихов и эпиграмм, стихи, запи-

⁴ В конце мая 1936 г. Н.Е. Штемпель вышла замуж за инженера-строителя, Бориса Евгеньевича Молчанова, но уже в конце того же года они разошлись. Это замужество нашло отражение и в стихотворении О.М. «Клейкой клятвой липнут почки...».

санные Надеждой Яковлевной на узких полосках ватмана, которые ей отдавал сам Мандельштам по мере написания, а также «Ода Сталину» (автор, правда, просил уничтожить ее, но Наталья Евгеньевна ее все-таки сохранила). После смерти Мандельштама Надежда Яковлевна передала Наташе на хранение подлинники всех писем Осипа Мандельштама к ней, а также второй список всех ненапечатанных стихов, включая воронежские. Всё это она сберегла, унеся из Воронежа накануне занятия города немцами — погибли только письма к самой Штемпель, в том числе от Осипа и Надежды Мандельштам и от С.Б. Рудакова.

После войны Наталья Евгеньевна продолжала хранить этот архив (за исключением 1948—1951 гг., когда он находился в Киеве у Маруси Ярцевой — близкой подруги Натальи Евгеньевны, которую она в свое время в Воронеже познакомила с Мандельштамами). Не позднее середины 1950-х гг. Наталья Евгеньевна возвратила Надежде Яковлевне не только всё доверенное ей на хранение, но и то, что О.М. подарил лично ей (оставив себе только книги, надписанные Мандельштамом⁵).

Все эти годы Наталья Евгеньевна переписывалась с Надеждой Яковлевной, где бы та ни находилась. Вместе с Василисой Шкловской, Наташа Штемпель была, наверное, единственной, о ком Надежда Мандельштам в своей «Второй книге» отзывалась хорошо, и только хорошо! Когда Надежда Яковлевна умерла, то именно ее попросили сказать первое поминальное слово о покойной.

В Воронеже вокруг Штемпель образовался круг друзей и любителей русской поэзии, в который входили З.Я. Анчиполовский, А.Б. Ботникова, Р. Герцог-Бородина, Н.С. и А.А. Буяновы, П.Л. Загоровский, Д.П. Заславский, В.Л. и Н.В. Гордины, Т.Л. Гурина, В.И. Исаянц, Р.С. Иткина, Л.К. Коськов, Ш. Кола, А.С. Крюков, А.И. Немировский, Е.Н. Перкон, В.А. Свительский и и Н.М. Митракова, А.И. Слуцкий, Л.А. Сохненко и др. Из разных городов к ней часто приезжали С.Н. Лукьянченков (двоюродный брат), близкие друзья (М.В. Ярцева), а также те, кто был неравнодушен к творчеству Мандельштама или занимался им (С.В. Василенко, В.Н. Гыдов, А.Г. Мец, Л.А. Мнухин, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин и др.).

Кроме того, Наталья Евгеньевна была очень популярна и любима в московском кругу друзей Надежды Яковлевны: там расходились в копиях ее воспоминания, там демонстрировались и обсуждались сделанные ею вместе с В.Л. Гординым альбом и слайд-фильм — сокращенные версии ее воспоминаний, любовно скомпонованные и проиллюстрированные гординскими фотографиями и слайдами.

⁵ В настоящее время находятся в РГАЛИ.

Известность Наталье Евгеньевне принес выход в 1987 году ее воспоминаний о Мандельштаме, над которыми, по просьбам друзей, она работала долгие годы. Тем не менее, зимой 1988 года она отказалась приехать в Москву на первый в СССР вечер памяти Мандельштама в Центральном Доме литератора, потому что заболела ее соседка и некому, кроме Натальи Евгеньевны, было за ней ухаживать; кроме того, не на кого было оставить и дворовых кошек, коих ежедневно, в любую погоду и независимо от состояния здоровья, она кормила.

Через несколько месяцев саму Наталью Евгеньевну сразил инсульт, и она умерла 28 июля 1988 года. Похоронили ее на городском кладбище в Воронеже⁶.

В 1992 году тиражом 300 экземпляров вышел сборник воспоминаний Н.Е. Штемпель «Мандельштам в Воронеже», открывший собой серию «Записок Мандельштамовского общества».

Ее близкий друг и соавтор по «Альбому», Виктор Леонидович Гордин, эту книгу, увы, не увидел. 30 января 1992 года, на 52-м году жизни, в Тель-Авиве, куда он с семьей переехал незадолго до этого, Виктор трагически погиб в автомобильной аварии.

3

...Однажды Аверинцев рассказал мне, как его поразил звонок Надежды Яковлевны, как-то буднично обронившей среди прочего: «*А завтра ко мне приезжает воронежская Наташа*». Для Сергея Сергеевича это прозвучало так же, как если бы приезжала Лаура или Беатриче!

Интересно, но почти таким же было отношение к ней и... самого Мандельштама!⁷ Она не была Прекрасной Дамой, не была Музой и уж тем более не была «*европейной нежной*» — она была в точности такой, какой он ее обессмертил:

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопроводять воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.

⁶ На ее могиле установлен памятник работы скульптора В.И. Циммерлинга (средства на его установку были собраны МО, основным спонсором явился московский коллекционер В.С. Михайлович).

⁷ По словам А.И. Немировского, Наталья Евгеньевна доверительно рассказывала ему, что в несохранившихся письмах Мандельштама к ней она представляла «*как новая Лаура*» (сообщено Ю.Л. Фрейдиным).

И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно...

В 1970-е годы, когда судьба свела с Натальей Евгеньевной и меня, она по-прежнему обладала всё той же аурой. Из всех знакомых мне людей, кого жизнь сталкивала с Осипом Эмильевичем, она была буквально единственной, чье отношение к поэту было и осталось беспримесно чистым, что вызывало у большинства других ее современников недоумение и неприятие. Они просто не понимали, как это можно рассказывать или писать о Мандельштаме вне силовых линий различных мнений и партий. Та же Эмма Григорьевна Герштейн за глаза называла ее наивной дурочкой, а прочитав воспоминания, не постеснялась отчитать ее за какие-то ошибки и неточности, — за что Наталья Евгеньевна ее от души поблагодарила и сослалась на то, что она не литературовед.

Свое же отношение к Мандельштаму она пояснила так: *«Просто было безумно жалко человека, стремилась помочь ему, облегчить это изгнание, скрасить хоть чем-нибудь»*.

Да, ей было безумно жаль живого страдающего человека, но еще она беззаветно любила русскую поэзию, и встреча с тем, кто в ее глазах и являлся олицетворением поэзии, была для нее, неверующего человека, поистине божественным подарком и источником радости и силы.

Наталья Евгеньевна сохранила стихи Мандельштама (важнейший источник воронежских стихов, ныне хранящийся в Принстоне, так и называется: «Наташина книга»), она же сохранила его письма (правда, не к себе, а к Надежде Яковлевне).

И последнее, что она могла еще для него и для других сделать, — это сохранить свою память о нем: в 1970-е годы она приступила к своим главным воспоминаниям «Мандельштам в Воронеже», а в 1980-е — вместе с Виктором Гординым — начала нелегкую работу над фотоальбомом «Осип Эмильевич Мандельштам в Воронеже» (далее сокращенно «Альбом»).

И то, и другое она успела завершить.

4

Об «Альбоме» следует сказать особо. Автором самой идеи была Наталья Евгеньевна. В лице Виктора Гордина и его жены Нелли она обрела не только верных друзей, но и надежных помощников в реализации этого замысла. Виктор, профессиональный химик и доцент университета, по ходу работы из фотолюбителя переквалифициро-

вался в настоящего профессионала и практически всю техническую часть оформления «Альбома» взял на себя.

Надо ли говорить, что вся эта гигантская работа выполнялась на голом энтузиазме, безо всякого «гранта»? Другое дело, что имя Натальи Штемпель открывало многие двери, и недостатка в добровольных помощниках не было: в ее присутствии у большинства имевших с нею дело людей индивидуальные стремления и амбиции сходили на нет, а интриги глохли. Тем не менее работа над «Альбомом», начавшись в 1980-х гг., шла медленно и растянулась на долгие годы.

Сам по себе «Альбом» представлял собой папку, в которую было вложено около 60 листов плотного ватмана размером 59,4 на 42,0 см, каждый из которых имел свой тематический сюжет. На листе в определенной последовательности сочетались наклеенные на ватман машинописные фрагменты и фотографии. Текстовые вставки — это, как правило, краткие тематические описания, принадлежащие Наталье Евгеньевне, а также фрагменты из стихов Мандельштама или из других произведений. Фотографическая часть представлена почти что 230 репродукциями: среди них 49 портретов, 48 видов городов, 45 фото со стихами и другими текстами, 4 кинокадра, 5 музейных экспонатов, 7 рисунков и 70 современных снимков. Все фотографии на листах были пронумерованы, и соответствующие подписи были вынесены на оборот предыдущего листа таким образом, чтобы их можно было видеть в едином пространстве с просматриваемым листом. Иными словами, «Альбом» предназначался для медленного и вдумчивого рассматривания.

«Альбом» существовал в трех экземплярах. Из них первый был передан составителями в дар Центральному (ныне Российскому) государственному архиву литературы и искусства: официальный акт датирует это событие 16 июня 1985 года. Этот дар был частью небольшого, но цельного собрания различных материалов и документов, в основном, о Мандельштаме (и среди них — два мандельштамовских инскрипта!).

Это собрание естественным образом отложилось у Натальи Евгеньевны и рассматривалось ею и ее окружением (в том числе и пишущим эти строки, исполнившим роль посредника между Натальей Евгеньевной и архивом) как ее личный архив и персональный фонд в необъятном собрании госархива. На протяжении более чем двадцати лет будущий фонд Н.Е. Штемпель лежал в ЦГАЛИ—РГАЛИ мертвым грузом, не разобранным, не описанным и потому недоступным исследователям.

В 2006 году, в связи с работой над проектом воссоединенного виртуального архива Осипа Мандельштама, архив Н.Е. Штемпель,

наконец, «заметили» и учли, а в 2007—2008 гг. его даже разобрали и описали, а в 2010 году ему присвоили номер: 3398.

Второй экземпляр «Альбома» — он и буквально второй (первая подкопирная копия!) — экземпляр самой Н.Е. Штемпель. После ее смерти он был подарен Т.О. Муштавинской и Т.В. Ледовской (свояченицей и племянницей Натальи Евгеньевны) пишущему эти строки; последний передал его в архив Мандельштамовского общества вскоре после образования общества в январе 1991 года⁸. И, хотя композиционные различия между двумя экземплярами и имеются, но они весьма незначительны: в качестве окончательной нами признана композиция первого экземпляра «Альбома».

Наконец, третий экземпляр принадлежал второму соавтору — Виктору Гордину — и до сих пор хранится в его семье⁹. Его особенностью является наличие нескольких вставок в текст альбома, сделанных соавторами, видимо, уже после передачи экземпляра «Альбома» в ЦГАЛИ, а также предисловия В.В. Иванова, написанного в 1989 году, то есть уже после смерти Н.Е. Штемпель. Текстуальные вставки были учтены в издании 2008 года, как и предисловие В.В. Иванова, не входившее ни в одну из версий, существовавших при жизни Н.Е. Штемпель: оно было вынесено в конец «Альбома», став его послесловием и завершающим аккордом книги¹⁰.

Изначально «Альбом» Н.Е. Штемпель и В.Л. Гордина был попыткой переложения воспоминаний Натальи Евгеньевны о Мандельштаме на иной жанровый лад и в другой образный язык — альбомно-фотографический. Этот «жанр», однако, потребовал дополнительных разысканий, а иногда и некоторого дистанцирования от воспоминаний: в итоге в «Альбоме» возникает немало сведений и трактовок, отсутствующих в воспоминаниях.

Надо сказать, что одновременно с работой над альбомной версией «Осипа Мандельштама в Воронеже», его соавторы, Н.Е. Штемпель и В.Л. Гордин, вели работу над несколько иной его версией — слайдовой. В итоге, в 1986—1987 гг. был создан, хотя и постоянно модифицировался, еще и слайд-фильм «Осип Мандельштам в Воронеже» (со звуковым сопровождением). Впоследствии он неоднократно демонстрировался в различных аудиториях в Воронеже, Москве, Ленин-

⁸ Этот экземпляр и лег физически в основу подарочного издания: *Осип Мандельштам в Воронеже*, 2008. Оригинал из РГАЛИ оказался нам, увы, недоступен, но, тем не менее, он был нами учтен (благодаря сохранившимся записям 1980-х гг., зафиксировавшим различия между версиями).

⁹ Копия именно этого экземпляра была передана Н.Л. Гординой О.Г. Ласунскому, который, в свою очередь, передал ее в Государственный архив Воронежской области.

¹⁰ *Осип Мандельштам в Воронеже*, 2008. С. 194—195.

граде и других городах, в том числе и на Первых Мандельштамовских чтениях в Москве в 1988 году.

Наталья Штемпель и Виктор Гордин по праву гордились своим «Альбомом» и считали его одним из главных свершений своей жизни; оба, конечно же, мечтали увидеть его напечатанным.

Пусть и не сразу, но эта мечта сбылась — увы, уже после смерти обоих соавторов. К сентябрю 2008 года, времени открытия в Воронеже памятника Осипу Мандельштаму, Благотворительный Резервный фонд А.Е. Лебедева, спонсировавший и сам памятник, приурочил выход подарочного издания «Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. К 70-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама» (составитель — П. Нерлер). Тогда же в воронежском издательстве «Кварт» вышел сборник текстов самой Натальи Евгеньевны и посвященных ей мемуаров и стихов — книга «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н.Е. Штемпель» (составители П. Нерлер и Н. Гордина).

Памяти Натальи Евгеньевны был посвящен и пятый выпуск мандельштамовского альманаха «Сохрани мою речь...», выпущенного в 2011 году, в котором посвященные ей материалы составили целый раздел.

БЕНО́

(БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ)

Памяти Екатерины Лившиц

*...Литературный неудачник, я не
знаю, как рождается слава...¹*

1

Бенедикт Константинович Лившиц (1887—1939) избегал крайностей и не познал той славы, которая выпала на долю иных поэтов — его современников и близких друзей. Но то, что ему досталось (точнее, то, что он завоевал) — дорогого стоит: высочайшая репутация литературного мастера. Большой и сложный поэт, непревзойденный переводчик французской и грузинской поэзии, автор «Полутораглазого стрельца» — этих «теоретических», как их назвал Ц. Вольпе, мемуаров о русском футуризме.

Его роль в литературной жизни страны, начиная с 1910-х гг., была весьма ощутимой, а его творческий путь — на редкость своеобразным.

Вступив в литературу в 1909 году как вполне сложившийся символист (причем скорее французского, нежели русского «толка»), он, попав в водоворот живописных и поэтических экспериментов Давида Бурлюка и других, переходит на эстетические позиции русского футуризма (1912—1914) с тем, чтобы впоследствии найти себя в наиболее созвучной его духу неоклассицистической поэтике акмеизма.

Каждый из этих этапов запечатлелся в поэтических книгах Б. Лившица: «символистский» — во «Флейте Марсия» (Киев, 1911), «футуристический» — в «Волчьем солнце» (Петербург—Херсон, 1914), «акмеистический» — в сборниках «Из топи блат» (Киев, 1922, но то была лишь часть более обширной книги «Болотная медуза. Стихи 1918—1922 гг.», так и не вышедшей отдельно) и «Патмос» (Москва,

¹ Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 419.

1926). Все эти книги, заново отредактированные, вошли в качестве разделов в итоговую книгу Лившица-поэта «Кротонский полдень» (Москва, 1928).

Стихи же, написанные в 1930-е годы, — а из них складывалась небольшая, но очень цельная книга «Картвельские оды», — при жизни Лившица появлялись лишь в периодике. Стихи эти почти сплошь были посвящены Грузии, которая неожиданно вошла в его жизнь и многое в ней переиначила, осветила по-новому. Как и Пастернаку и Мандельштаму, встреча с Кавказом, в частности, с Грузией, дружба с грузинскими поэтами возвратили Лившицу собственный поэтический голос.

«Пушкин, Гораций и Рембо», — так ответил Б. Лившиц на вопрос о любимых поэтах в одной из литературных анкет начала века, а позже писал, что Рембо и Лафорг надолго определили путь его лирики. Увлечение французской поэзией, начавшись в 1905 г., продолжалось всю жизнь, и одним из его воплощений была собранная Лившицем превосходная по полноте библиотека французских поэтов (около 1000 томов), к сожалению, утраченная.

Лившиц был поэт-переводчик божьей милостью. Верный подлиннику мастер поэтической композиции, он как никто умел сохранить динамическое ощущение целостности оригинала и при этом воссоздать его структуру.

В 1930-е годы вышли две антологии французской поэзии в переводе Б. Лившица — «От романтиков до сюрреалистов» (1934) и «Французские лирики XIX и XX веков» (1937)². Похожую Лившиц мог бы составить — и составил бы, когда бы не погиб — из своих грузинских переводов. Он был, кажется, единственным переводчиком, кто всерьез взялся и за изучение грузинского языка!

В 1919 г. в статье «В цитадели революционного слова» Лившиц писал: *«Мы заинтересовываемся новым явлением искусства в лучшем случае к тому времени, когда оно начинает агонизировать, обычно же этот интерес возникает к явлению уже завершеному, к течению уже умершему; мы привыкли и любим получать произведения искусства из рук историка, а не художника, и нужны поистине сверхъестественные усилия, чтобы нарушить нелепую привычку нашу приходить «на все готовое» и считать это судом истории. Чтобы добиться общественного признания, необходимо прежде всего обратить на это общественное внимание, запаздывающее на добрую четверть века».*

В этих словах — точное объяснение той внутренней мотивации, которая привела Лившица в начале 1930-х годов к обращению к мемуарам. Толчком послужила и смерть Маяковского, на которую отозва-

² Кроме того, он перевел без счета французскую прозу, в том числе Бальзака, Гюго, Роллана, Барбюса, Франса, Дюамеля, Ампа и других.

лись Пастернак, Шкловский, отчасти, Мандельштам. Так, в 1933 году появился «Полутораглазый стрелец» — мемуар о футуристах и одновременно размышления о футуризме, уходящие порой не в историю, а в теорию вопроса.

2

Бенедикт Лившиц утверждал, что его род и фамилия происходят от испанского города Лихоэс³.

Родители Бенедикта Лившица были — особенно на фоне его одесского дедушки-миллионера — чуть ли не нищими. Они совершенно разорились после революции, выезжали на комиссионерстве. Тем не менее до революции средства на обучение сына в Киевском университете имени святого Владимира они нашли, а учился он очень хорошо, несмотря на все соблазны, которые таили в себе и студенческий, и богемный *art de vivre*.

Корпулентный и импозантный, он был в душе щеголем, любил хорошо и со вкусом одеваться, все на нем выглядело великолепно.

Со своей будущей женой, Екатериной Константиновной Скачковой-Гуриновской, Лившиц познакомился зимой 1920 года. Ее подружки — Люба Козинцева, Соня Вишневецкая и Надя Хазина — занимались живописью у Александры Экстер, она же выбрала стезю балерины и записалась в класс Брониславы Нижинской, актрисы Мариинского театра, а затем дягилевской труппы, сестры знаменитого танцовщика. На вечерние репетиции нередко приходили люди искусства, в том числе и Лившиц. Там-то он и увидел Катю Скачкову, которой тогда не было еще и семнадцати лет...

Пешие прогулки по городу, лодочные — по Днепру, разговоры о любимых поэтах, стихи. «*Читая стихи*, — вспоминала его вдова. — *Бен словно покачивался в такт, перенося всю тяжесть тела с одной ноги на другую*»⁴.

«*Сияет солнце, блестит река, / Гудит мотор Эртечека*», — вспомнит позднее Лившиц в своей шуточной поэме, написанной ритмами блоковских «Двенадцати» (поэма, как и многое другое, навсегда утрачена).

14 июля 1921 года Бенедикт Константинович Лившиц и Екатерина Константиновна Скачкова венчались церковным браком, на чем настаивал как раз жених, только что и с невероятным трудом

³ Устное сообщение С.И. Липкина.

⁴ Из черновика письма Е.К. Лившиц М.Н. Чуковской от 4 мая 1984 г. (РНБ. Ф.13.15. Д.21). М.Н. Чуковская (1905—1993) — переводчик, мемуарист; жена Н.К. Чуковского, приятельница Б. Лившица.

расторгший узы своего гражданского и церковного брака с Верой Александровной Вертер-Жуковой. Лившиц венчался в визитном костюме и в чужой сорочке с пластроном, а невесте родители в каждую туфельку — чтобы богато жилось — зашили по империялу.

А спустя восемь месяцев, в конце февраля — начале марта 1922 года, зарегистрировали свой брак — и тоже в Киеве — Надя Хазина и Осип Мандельштам: шафером на их свадьбе был Бен Лившиц.

...Осенью 1922 года Лившицы перебрались в Петроград⁵, где жили, распродавая приданное жены. Самостоятельная жизнь началась лишь после того, как Бен получил работу во «Всемирной литературе».

А Мандельштамы переехали в Петроград из Москвы весной 1924 года. В тот же год на лето обе пары поселились за городом, в Китайской деревне, в двух шагах друг от друга — по разные стороны от круглой ротонды. Постоянное общение, теснейшее и самое дружеское, общие гости — Ахматова, Выгодские, историк И.У. Будовниц с женой.

25 декабря 1925 года у Лившицев родился сын: Кирилл, или Кика, как все его называли. Его крестными были Михаил Кузмин и Надежда Мандельштам.

Вдохновленный примером Корнея Чуковского, Лившиц сочинял для него веселые детские стихи о мальчике, схватившем пожарную кишку:

...Вот она скачком неожиданным
Прыг из рук и фырк фонтаном.
Миг — и столб воды взвился
Выше крыши в небеса.

Мальчик был крупным, в отца, рос здоровым и сильным, был помешан на морях и презирал все женское и штатское. Своим умом он дошел до истины, что «капиталисты» — это такие люди, которые копят деньги, а напульники называются так потому, что они защищают пульс человека, то есть пульс бойца, что примиряло его гордый дух с печальной необходимостью надевать эти самые напульники.

Мандельштам очень трогательно относился к Кике, но взять его на руки отказывался — боялся. Однажды, показав на сушащуюся пеленку, он смеясь спросил: «Это что — кикерин?»

Общими у Лившица с Мандельштамом были даже стихи — правда, только шуточные. Широко известна, например, «Баллада о горлинках» из «Чукоккалы», менее известны — басня «Тетушка и Марат» и посвященное Выгодскому стихотворение «На Моховой семейство из Полесья...».

⁵ В Киеве Лившиц служил в Губвоенпродснабе, долго и упорно не отпускавшем его в Москву.

О том, как 25 декабря 1924 года писалась «Баллада о горлинках», рассказала сама Екатерина Константиновна в письме автору этих строк от 18 декабря 1981 года: *«Это было у Мандельштамов, они снимали тогда две комнаты у чтицы Марадудиной [на Б. Морской. — П. Н.]. Было это поздно ночью. Мы с Надей валялись в спальне на супружеской кровати и болтали, дверь была открыта, и нам было видно и слышно, как веселились наши мужья. Они ходили по комнате и сочиняли эту балладу, смеясь, перебивая друг друга, ища слова, меняя строки, рифмы, варианты, отмечая «сор», — это наплывало одно на другое, и рождающаяся баллада качалась на этих ритмических волнах».*

По-видимому, тогда же, в середине двадцатых, была написана и следующая эпиграмма Мандельштама на Бена (так друзья называли Бенедикта Лившица):

Ubi bene, ibi patria,
 Но имея другом Бена
 Лившица, скажу обратное:
 Ubi patria, ibi bene.

Друзья, кстати сказать, не раз обсуждали вопрос об эмиграции, и оба, по свидетельству Е.К. Лившиц, не считали для себя возможным уехать.

3

...В июне 1929 года Бенедикт Лившиц писал из Кисловодска Корнею Чуковскому: *«С Эльбрусом мы не сошлись и я еду... по Грузинской дороге в Тифлис: может быть, с Казбегом у нас установятся лучшие отношения. Хочу проехать на лошадях, а не на авто, которое мчитя бешеным темпом».* Возможно, именно тогда Лившиц и оказался впервые в Грузии (впрочем, Г. Леонидзе в своем «Слове о друге» указывает на 1930 год).

Другая его поездка в Грузию, судя по письму к Т. Табидзе от 20 января 1932 года, состоялась осенью 1931 года. Тогда-то, по всей видимости, и завязались те дружеские, — впоследствии братские, — отношения со многими грузинскими поэтами, но прежде всего с «голубороговцами» — Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили и Гоглой Леонидзе.

«...Не с целью поторопить Вас я взялся за перо. Нет! Мне просто хотелось в ответном письме услышать Ваш голос, почувствовать немало того братского тепла, которое сделало дни моего пребывания в Тифлисе счастливейшими днями моей жизни, а Грузию—моей второй поэтической родиной», — писал он 21 декабря 1935 года Тициану

Табидзе. Осенью 1935 года Лившиц вместе с друзьями-поэтами участвовал в перенесении праха Важа Пшавела с Дидубийского пантеона на Мтацминду — тогда-то и были созданы многие стихотворения из «Картвельских од».

11 ноября, еще с дороги, возвращаясь из Грузии домой, в Ленинград, Лившиц писал Леонидзе: *«Я еще весь полон Грузией, нашими встречами и беседами, тоскую по Тифлису, по друзьям...»*. Прошло менее полугода — и Бенедикт Лившиц снова в Грузии, снова в Тбилиси, снова среди друзей. В начале апреля он побывал в Кахетии, куда занесла его печальная необходимость присутствовать на похоронах матери друга. В посвященном Г. Леонидзе стихотворении «Смерть в Патардзеули» удивительно точно уловлен и тонко передан жизнерадостный от природы дух грузин, умеющих сочетать скорбь об ушедших с жизнелюбивыми чувствами естественности утраты и побеждающей смерть родовой преемственности.

Бенедикт Лившиц не так уж часто посещал Грузию — может быть, четыре или пять раз. Но после каждой поездки его охватывало столь возделенное для поэта творческое горение, которого хватало и на собственные стихи, и на переводы. Во втором письме к Г. Леонидзе (от 22 ноября 1936 года) он писал: *«Вчера перевел твою «Иорскую ночь», не дождавшись присыла полной транскрипции и разбивки на строфы. Сделал все, что мог, а главное — сон amore...»*.

Те же слова позднее он скажет и о переводах из Галактиона Табидзе: *«Посылаю Вам Галактиона — как видите, значительно раньше обусловленного срока. Делал я его сон amore...»* (из письма к В. Гольцеву от 8 февраля 1937 года)⁶.

Son amore — это значит: по любви!

Екатерина Константиновна Лившиц, вдова поэта, в одном письме так писала о своем муже: *«Это был неистовый и безоглядно увлекающийся человек. Он и в Грузию без памяти влюбился, как в женщину, и посвящал ей любовные стихи»*.

...Я еще не хочу приближаться к тебе, Тбилиси,
Только имя твое я хочу повторять вдалеке,
Как влюбленный чудак, рукоплещущий бурно актрисе,
Избегает кулис и храбрится лишь в темном райке.

«Влюбленный чудак»?.. Влюбленность?.. Да, пожалуй, это наиболее точное обозначение тех чувств, которые питал к Грузии и ко всему грузинскому Бенедикт Лившиц. Сколь характерна сама лексика — любовная обида! — скажем, его третьего письма к Г. Леонидзе, не любившему

⁶ Нерлер П. «Сон amore!» Памяти Бенедикта Лившица // ЛГр. 1985. № 11. С. 166.

писать письма: «Дорогой Гогла! Что означает твое гробовое молчание? Неужели с глаз долой — из сердца вон...?» (1 декабря 1936 года).

Но «влюбленный чудак» Бено (так его называли грузинские друзья и так он нередко подписывал свои письма к ним) явно не «избегает кулис». Его робость была предвкушением, была радостью, одной из ее разновидностей.

По природному своему складу Б. Лившиц не хотел и не умел любить Грузию пассивно — любить-созерцать. Он любил ее страстно, деятельно, серьезно, любил-познавал: ее историю, географию, мифологию, обычаи, ее поэзию, ее язык, наконец!

Всякая любовь щедра на дары, а Грузия, еще с незапамятных времен аргонавтики, — в особенности.

Что же она подарила, чем наградила нашего «влюбленного чудака»?

Прежде всего — возрождением собственного лирического «я», обретением заново поэтического голоса, уже было умолкнувшего на рубеже 30-х годов. Примечательно, что в это же время почти то же самое происходило и с Пастернаком, само название книги которого — «Второе рождение» — глубоко символично. Несколько раньше то же испытал и Осип Мандельштам, и хотя в его случае роль «повитухи» взяла на себя Армения, сами стихи настигли его на обратном пути с Кавказа и именно в Тбилиси!

Грузия запала в самую душу Б. Лившица — и щедро ее оплодотворила. Именно в этом смысле, видимо, следует понимать его слова о Грузии как о «второй поэтической родине»⁷.

Его «Картвельские оды» частично увидели свет еще при жизни автора — несколько подборок в ленинградских журналах «Звезда» и «Литературный современник». Эти два с небольшим десятка (не считая тех, что пропали) стихотворений, посвященных Кавказу и, в частности, Грузии, — едва ли не лучшее из всего написанного Бенедиктом Лившицем. В «Картвельских одах» — то ни у кого более не встречаемое единение трепета, торжественности и полной распаханности навстречу всему тому, что несет в себе и с собою Грузия.

В то же время «Картвельские оды» — один из самых проникновенных и потому наиболее прекрасных «грузинских циклов» в русской поэзии вообще, в один ряд с которым можно поставить, пожалуй, лишь циклы Якова Полонского и Бориса Пастернака.

Думается, что именно в грузинских стихах Б. Лившиц как никогда близко подошел к воплощению кредо своей поэтической юности, сформулированному еще в 1915 году в ответе на анкету А.И. Тинякова: «Слово в движении и движение в слове!»

⁷ Их привел Г. Леонидзе в своем предисловии к: *Лившиц Б. Картвельские оды.* Тбилиси, 1964. С. 11.

Холмы, холмы... Бесчисленные груди
И явственные выпуклости губ,
Да там вдали, в шершавом изумруде,
Окаменевший исполинский круп...
Так вот какую ты уснула, Гея,
В соленый погруженная туман,
Когда тебя покинул, холодея,
Тобой пресытившийся океан!..
(«Предгорье»)

Масштабная, геологическая образность, представление о ландшафте, об окоеме как о высочайшем творчестве — чрезвычайно созвучны мировосприятию Б. Лившица: *«И судорогою порфира / В праматериковом бреду, / Ощерившись, музыка мира / Застыла у всех на виду»*. И не случайно в своих мемуарах он сравнивает поэтический язык В. Хлебникова именно с Кавказом: *«Если бы доломить, порфиры и сланцы Кавказского хребта вдруг ожили на моих глазах и, ощерившись флорой и фауной мезозойской эры, подступили ко мне со всех сторон, это произвело бы на меня не большее впечатление»*.

И уж коль скоро мы заговорили о поэтическом языке, то нельзя обойти молчанием его красоту и богатство в стихах самого Б. Лившица. Словоновшеств, столь характерных для поэтики Хлебникова или Маяковского, у него почти нет. Но какое богатство существующего словаря, какое изысканное и совсем не нарочитое сочетание, точнее чередование античной лексики, «переливающейся» мифологическими смыслами, и лексики, отображающей современную грузинскую жизнь...

При этом — характерный и новаторский по тем временам прием «Картвельских од»: встраивание в русский текст грузинских слов и понятий, так сказать, в «чистом» — не переведенном, а транскрибированном виде — *«груды нежно-розового мцвади...», «курчавую вязью хуцури...», «И жизнь зовет: «Идем, мегобаро!»* и т. д. и т. п. Возникающие при этом семантическая неясность, напряженность, как правило, мнимые, смысл грузинских вкраплений либо прозрачно ясен из всего контекста, либо легко восполняется примечанием-переводом, зато прием этот, как отмечал Г. Гачев, *«...не просто краска, местный колорит: он имеет громадное мировоззренческое значение, ибо он дышит двуязычием, помещает сознание и точку наблюдения на меже языков-логик в системе мышления»*⁸.

Ручейки античной и грузинской лексики почти не пересекаются, но всегда перекликаются в стихотворениях «Картвельских од», при

⁸ Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М.: Просвещение, 1968, С. 76.

встрече же переключка приобретает не только смысловой, но и звуковой оттенок: «...*Зачем же пленником в дадианури / Дианы я отыскиваю след?..*» — чем не поэтический «аргумент» в пользу яфетической теории Н. Марра, столь занимавшей воображение и Б. Лившица, и других его современников?

Второй и не менее щедрый дар Грузии поэту — дар чисто человеческого. «*Я дружбой был, как выстрелом, разбужен...*», — эти слова поэта мог бы повторить и Б. Лившиц, обращаясь к Тициану Табидзе, Паоло Яшвили и Гогле Леонидзе. Атмосфера одухотворенной дружбы и поэтического братства, которую любили и умели создавать вокруг себя грузинские поэты-голубороговцы, оказалась бесценной и целебной не только для музыки, но и для самой личности Бенедикта Лившица. Дополнительным источником, радости и восхищения явилось, возможно, и то, что в кругу голубороговцев — и особенно в лице Паоло — он неожиданно для себя встретил «*подлинных знатоков своих давних любимцев — Малларме и Рембо, Корбьера и Лафорга*» (из воспоминаний И.С. Поступальского).

Третий дар — это сама Грузия: ее горы и море, ее города к села, ее культура, язык и самое главное — ее люди. Недаром, по свидетельству жены, Б. Лившиц называл для себя Грузию еще и «Нечаянную Радостью»! Сразу оговорюсь, что наш поэт, к своей чести, был далек от столь распространенного — чисто внешнего, «экзотического» и «застольного» — восприятия этой, что и говорить, поразительной страны. В его стихах дышит «*полновесная жизнь в упор*» — отрезвляющая, многосложная, противоречивая, чем-то даже угрожающая и будничная, несмотря на обилие праздников и тостов:

...Мы не пьянство, однако, славим,
Предводимые тамадой,
Мы скорее стаканы оставим
Иль смешаем вино с водой,
Чем забудем о том, что рядом,
Только выйти к подножью гор,
Отрезвляет единым взглядом
Полновесная жизнь в упор.

Наконец, четвертый дар Грузии — ее поэзия, и этот дар Бенедикт Лившиц благодарно, бережно и благородно переадресовывает нам, читателям. Г. Леонидзе писал, что он «*строил большие планы перевода грузинских поэтов на русский язык и уже начал вносить свою лепту в это благородное дело...*». Для этой цели, ради того, чтобы сделать общение с оригиналом более непосредственным, как он к тому при-

вык в случае с французской поэзией, Б. Лившиц начал изучать грузинский язык. На творческом вечере Тициана Табидзе, состоявшемся в Ленинграде 21 марта 1937 года, Н. Тихонов даже счел необходимым отметить, что «...Бенедикт Лившиц влюбился в Грузию так сильно, что стал даже изучать серьезно грузинский язык, чтобы переводить прямо с оригинала, без помощи подстрочника».

Когда в ленинградском Союзе писателей была организована секция грузинской литературы, ее председателем номинально был Тихонов⁹, а фактически — Лившиц. Секретарем была Цуца (Александра Федоровна) Карцевадзе (1905—1960) — ближайшая подруга Таты Лившиц, обаятельная, мягкая, умная и благороднейшей души женщина.

Из письма к Н. Мицишвили мы знаем, что Б. Лившиц успел перевести с грузинского не так уж и мало — от полутора до двух тысяч строк. Вместе с тем то, что на сегодня известно, — не составляет и трети этого объема: около 600 строк переводов из Николоза Бараташвили, Важа Пшавела, Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе, Карло Каладзе. Из писем Б. Лившица мы знаем и о других переводах, в частности из Р. Эристави, Важа Пшавела, Г. Табидзе и Т. Табидзе, но разыскать их не удалось. Кроме того, у некоторых из дошедших до нас переводов Б. Лившица — чрезвычайно сложная и запутанная судьба.

Б. Лившиц хотел издать книгу своих переводов грузинских лириков, в свой осенний приезд в 1935 году он даже заключил на нее договор с издательством «Заря Востока», ко и эта книга, как и «Картвельские оды», не увидела света при жизни автора. Что касается «Картвельских од», то для нее уже была выполнена обложка. Более того, художник, известный советский книжный график Д. Митрохин, даже получил за нее гонорар! К сожалению, эта обложка утеряна, но Е.К. Лившиц вспоминала, что она была очень простой: на фоне невысоких, мягких гор был нарисован опирающийся на посох чабан в бурке впереди отары овец.

Не сохранилась и издательская рукопись «Картвельских од». Поэтому при подготовке первого издания книги ее пришлось заново составлять, по немногим сохранившимся автографам и журнальным публикациям. Выходу книги предшествовал ряд публикаций и статей, в которых имя Бенедикта Лившица было заново возвращено читателю¹⁰.

⁹ Н.С. Тихонов (1896—1979) — поэт и переводчик, хороший знакомый Лившица. См. его фразу из письма Г. Леонидзе от 22 ноября 1935 г.: «Вчера вечером у меня собрались несколько приятелей (Тихонов, Саянов и др.): мы пили здоровье наших грузинских друзей, грузинских поэтов, до 5 часов утра говорили только о Грузии» (Лившиц Б. Картвельские оды. Тбилиси, 1964. С. 70).

¹⁰ Особенно большая заслуга в этом принадлежит Г.В. Бебутову.

...Дружба Мандельштама и Лившица, хотя и омраченная ссорой в конце 1929 года, прошла через все испытания. Осенью 1933 года, в Ленинграде, Мандельштам читал Лившицу только что законченный «Разговор о Данте».

Обоих поэтов впереди ждала страшная участь.

Осенью 1937 года чекисты «раскрыли» (читай: сфабриковали) огромный и разветвленный право-троцкистский заговор писателей под руководством Н. Тихонова и И. Эренбурга с целью убийства И.В. Сталина. Примечательно, что сами Тихонов и Эренбург никак не пострадали, а вот по тем, кем они якобы «руководили», каток репрессий проехался всюю¹¹.

Аресты по этому делу растянулись на девять месяцев. Первым — на рассвете 20 июля 1937 года — был арестован Николай Олейников, но четкая связь его дела с «заговором писателей» не прослеживается¹².

Лившица арестовали вторым (а если Олейников ни при чем — то первым) — в ночь с 25 на 26 октября 1937 года¹³. Видевшие его в тюрьме с трудом узнавали в окровавленном и психически сломленном человеке жизнелюба и сибарита Бенедикта Лившица. Он явно

¹¹ В настоящее время в научный оборот введены материалы дел далеко не всех «фигурантов» заговора. Но и то, что уже опубликовано, дает довольно внятную картину погрома, учиненного чекистами среди писателей. Первым этим занялся Эдуард Шнейдерман, в 1990-е гг. сумевший добиться доступа к делу Б.К. Лившица (АУФСБ СПбИЛО. Дело № 35610. Архивный №: П—26537). Он опубликовал и самым обстоятельным образом проанализировал материалы этого дела (Шнейдерман, 1996). В печать попадали также отдельные документы из дел Н.А. Заболоцкого и И.А. Лихачева (Заболоцкий Н. История моего заключения // Даугава. 1988. № 3. С. 107—115; Заболоцкий Н. «Я нашел в себе силы остаться в живых» / Публ. и комм. Б. Лунина // Аврора. 1990. № 8. С. 125—133), а также Ю.И. Юркуна (АУФСБ СПбИЛО. Дело № П—31221). См. также: «Подвергнутая экспертизе литература...»: Из следственного дела И.М. Наппельбаум / Публ. Е.М. Царенковой, вступ. статья и примечания А.Л. Дмитренко // In memoriam: Сб. памяти Владимира Алоя. СПб., 2005. С. 390—417. Ценные детали и комментарии содержатся также в различных публикациях А.Я. Разумова.

¹² Олейников А. Последние дни Николая Олейникова // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В.Н. Сажин. В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 595. Распространенная версия об аресте Н. Олейникова в ночь со 2 на 3 июля неверна. Расстреляли его 24 ноября 1937 г. — одновременно с его давним другом филологом-японистом, востоковедом Д.П. Жуковым, арестованным 29 мая 1937 г. (Там же. С. 605). И хотя Олейникову и Жукову инкриминировали участие в троцкистской контрреволюционной организации, из опубликованных материалов дела Н. Олейникова напрямую связь с делом Б. Лившица и других участников «Заговора писателей» не просматривается (Там же. С. 597—608).

¹³ См. подробнее: Шнейдерман, 1996.

не выдержал обрушившихся на него пыток и начал давать следствию обильные «показания».

11 января 1938 года, отвечая на вопрос следователя о террористическом характере их заговорщицкой организации, Лившиц сказал:

«Призывом к террору были и стихи Мандельштама, направленные против Сталина, а также те аналогии, которые я проводил, сравнивая наши годы с 1793 годом и Сталина с Робеспьером.»

В 1937 году у меня дома собрались Тихонов, Табидзе, Стенич, Юркун, Л. Эренбург и я¹⁴. За столом заговорили об арестах, о высылках из Ленинграда. Тициан Табидзе сообщил об аресте Петра Агниашвили, зам. председателя ЦИК Грузии, близко связанного с Табидзе. Далее разговор перешел к аресту Мандельштама, которого Табидзе также хорошо знал. Тихонов сообщил, что Мандельштам скоро должен вернуться из ссылки, так как заканчивается срок, на который он был осужден»¹⁵.

Приговор Бенедикту Лившицу — «десять лет без права переписки» — сегодня уже не нуждается в разъяснениях¹⁶. Его расстреляли 21 сентября 1938 года¹⁷.

Мандельштам, кстати, тоже фигурант того же «заговора», но посаженный по другому делу, он пережил своего друга всего на три месяца...

Перед отъездом в Саматиху, где арестовали уже Мандельштама, он в последний раз ездил в Ленинград. Именно тогда — между 3 и 5 марта — в последний раз они увиделись с Ахматовой. Надежда Яковлевна вспоминала:

«Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О.М. обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу... Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону»¹⁸.

По телефону!..

К этому приезду уже начали сбываться самые мрачные пророчества О.М. о «мертвецов голосах» и о «гостях дорогих». Лившицу, Стеничу, Выгодскому — одним из самых близких ему людей — было уже не позвонить. Всех их арестовали — кого осенью, кого зимой...

¹⁴ Эта встреча состоялась в марте 1937 г.

¹⁵ Шнейдерман, 1996. С. 98.

¹⁶ См. подробнее: Шнейдерман, 1996.

¹⁷ В официальной справке 1953 г. сообщается о смерти Б.К. Лившица 15 мая 1939 г. «от сердечного приступа».

¹⁸ Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 378.

С Беном Лившицем не удалось проститься и в предыдущий приезд — летом 1937 года. На ранний, с вокзала, звонок Тата (Екатерина Константиновна) Лившиц мужа будить не стала, за что потом была им жестоко отругана — весь день Бенедикт Константинович просидел у телефона, словно догадывался или предчувствовал, что этот их тысяча первый за жизнь разговор, если бы он состоялся, был бы последним.

Но Мандельштам, увы, так и не позвонил¹⁹.

¹⁹ Екатерина Константиновна, и в старости не склонная к сентиментальности, рассказывая это, словно заново переживала свою невольную «вину» и не сдерживала слез. Ведь до ареста ее «благоразумного» мужа оставались тогда считанные месяцы!

ОФИЦЕРСКАЯ КОСТОЧКА, БАЛЕТНЫЕ ПАЧКИ, ПЕРЕШИТЫЙ БУШЛАТ (ЕКАТЕРИНА ЛИВШИЦ)

Александрю Кушнеру
Памяти Ирины Вениаминовны Будовниц

1

Всех, кто был знаком с Екатериной Константиновной Лившиц, вдовой Бенедикта Лившица, поражала ее удивительная цельность, открытость и не зависящая от возраста грациозность. Общение с ней, вне зависимости от ее физического состояния, всегда было по-особому насыщенным и праздничным, в ее безукоризненной речи, простоте — даже в осанке — дышала сегодня уже совершенно непредставимая эпоха.

...Она родилась 25 сентября 1902 года в материнском поместье Завалье близ Тульчина, что под Винницей, в семье банковского служащего. Ее дед по матери был кадровым офицером, и свою, столь неожиданную для нее самой, стойкость к бесчисленным жизненным невзгодам и испытаниям она, улыбаясь, не раз объясняла именно «офицерской косточкой».

Вот как она сама описывает свое детство в письме к Марине Николаевне Чуковской:

«Я очень рано начинаю себя помнить. Наверное, потому, что когда мне было года четыре, резко изменилась обстановка, в которой я жила. Папа мой, как и его родители, — исконный петербуржец, а женился он на маме, когда служил на юге, вернее, в Юго-Западном краю, близко от границы. Там у маминых родителей была небольшая усадьба, рядом со знаменитым Пестелевским Тульчиным (Пушкин виделся там с Пестелем) уже за крепостным валом, и так она и называлась: «Завалье». Там всегда стояло много воинских частей. Мамин отец после Киевского

кадетского корпуса тоже вышел в Севский полк (обыкновенный, армейский), но он умер, когда маме был лет 18—19.

Бабушка, в честь которой я была названа Екатериной, была полькой <...> и очень заядлой. Поэтому мама училась в польском пансионе и говорила, что их там ежедневно душили *Histoire de la Pologne* — во-круг было много польских поместий. <...>

Соседи у нас были, мы друг к другу ездили, но это было не так часто — и потому я росла одна, без подруг. Зато были сад, озеро, лошадки, собаки, кошки, кролики. И была голубятня»¹.

Со временем семья переехала в Казань, затем в Киев, где у отца в самом начале революции были «большие неприятности, т. к. все банковские служащие саботировали». Потом ненадолго Москва, потом опять Киев, а потом, в 1922 году, родители переехали в Ленинград. «Да, была еще длинная папина командировка в Ульяновск, родители забрали туда Кикуну², потом я за ними туда приехала и мы все вместе вернулись в Петроград, нет, уже в Ленинград. Последнее время папа служил в сберкассе и даже в блокаду ходил куда-то на Московский проспект, хотя давно был на пенсии».

2

16 октября 1937 года забрали мужа, Бенедикта Константиновича, а 31 декабря 1940 года арестовали и саму Екатерину Константиновну.

Между двумя этими арестами ей суждено было пережить и такой сокрушительный удар как отказ киевских и проскуровских родственников Лившица взять к себе зачумленного племянника — осиротевшего Кирилла приютили и спасли совершенно чужие люди!

Сначала его забрали в детский дом, там он вел себя дерзко и однажды запустил стулом в воспитательницу, обзвавшую его заклятым сыном заклятого врага народа. Тогда Алексей Матвеевич Шадрин, поэт и переводчик (умер в 1983 г.) взял его под свою опеку.

В 1941 году десятиклассник Кирилл Лившиц записался добровольцем на фронт, но был демобилизован по малолетству и вскоре, вполне вкусив блокады, эвакуирован в Свердловск. Там, подделав документы (накинув себе пару лет), он снова попадает в армию, едет на фронт — матросом Волжской флотилии, а 18 октября 1942 года погибает под Сталинградом, попав под бомбежку. Похоронен на Мамаевом Кургане.

Да, имперIALы в свадебных туфельках явно не сработали!..

¹ Из черновика письма Е.К. Лившиц М.Н. Чуковской от 4 мая 1984 г. (РНБ. Ф.1315. Д.21).

² Сын Б. Лившица — Кирилл Лившиц (1925—1942).

3

Свой собственный срок Екатерина Константиновна получила, как она сама считала, за разговоры в кругу жен репрессированных по так называемому «грузинскому делу», когда основательно «погромили» всю грузинскую колонию в Ленинграде. Ее арестовали 31 декабря 1940 года и 18 апреля 1941 года приговорили по статьям 58.8, 10 и 11 к 7 годам лагерей и 2 годам поражения в правах. После кассации приговор изменили и срок снизили до 5 лет³.

Эти пять лет бывшая балерина провела в Сосьве, в лаготделении Севураллага.

«Видели бы мои предусмотрительные родители, — писала Е.К. Лившиц в своих незаконченных «Воспоминаниях» — как я вернулась с Урала, не имея права жить в Ленинграде, без паспорта, с соответствующей справочкой, в бушлатике, перешитом из старой шинели, верно служившей неизвестному мне русскому солдату все военные годы, и с 17 рублями в кармане, заработанными мною за 5 лет!»

...Лишь в 1946 году Екатерина Константиновна освободилась из лагеря и поселилась сначала в Щербаткове, где около двух лет работала нештатным руководителем различных самодеятельных кружков, а потом в Луге (все — в «заставерстной» зоне), дрожа от страха потерять работу (в мастерской по ручной росписи женских косынок и платков). В 1953 году с нее сняли судимость, и только в 1955-м она вернулась в Ленинград — какое-то время жила на заработки машинистки и гонорары от переизданий переводов, сделанных в свое время заботливым мужем.

Это о ней, о Таточке Лившиц, писала Н. Мандельштам в самом начале книги об Ахматовой: *«Эта прелестная женщина, вдова Л., символизирует для меня бессмысленность и ужас террора — нежная, легкая, трогательная, за что ей подарили судьбу? Вот уж удивительно — женщина, как цветок, как смели отравить ей жизнь, уничтожить ее мужа, плевать ей при допросах в лицо, оторвать от маленького сына, которого она уже никогда не увидела, потому что и он погиб, пока она зноилась на каторге в вонючем ватнике и шапочке-ушанке. За что?»*

<...> А с другой стороны моя Тата, оставшаяся прелестной даже в старости — это символ женской силы, невиданного пассивного сопротивления тем, кто превратил “сильных мужчин” в покорную и дрожащую тварь с хорошо организованным коллективным разумом”. Это Таточка ответила прокурору, когда он сказал ей, что она может еще выйти замуж, — так у нас иногда, в виде особой милости, сообщали о расстреле, гибели или другой форме уничтожения мужа — Я с мертвыми не развожусь»⁴.

³ РНБ. Ф. 1315. Д. 1. Л. 12.

⁴ Мандельштам Н., 2008. С. 111—113.

Самым последним испытанием, выпавшим на долю Екатерины Константиновны были затяжные (тянущиеся с 1980 года!) хлопоты об издании однотомника Б. Лившица⁵. Срываясь то в унижения, то в отчаянье, эти хлопоты велись сначала в Москве (в «Художественной литературе» — где не увенчались успехом), а затем в Ленинграде (в «Советском писателе» — где увенчались, но не сразу).

Издавать или не издавать? Со «Стрельцом» или без? С купюрами или без? Сколь полным должен быть поэтический корпус и какими должны быть примечания? — на всю эту изнурительную борьбу с добровольными апостолами трусости, своеволия и безгласности ушли последние годы и последние силы. Работа, ведись она по-человечески с самого начала, заняла бы не 9—10 лет, а 2—3, от силы 4 года.

1 декабря 1986 года Екатерина Константиновна писала Манане Мегрелидзе⁶: *«Если умела скучать, скучала бы. Но дела много. 24 декабря в Союзе Писателей будет вечер памяти мужа. Это день его столетия. Не знаю, смогу ли быть»*.

Вечер, организованный секцией художественного перевода и секцией поэзии, состоялся в Доме писателей им. В.В. Маяковского и прошел замечательно. Помимо Екатерины Константиновны, прочитавшей свои воспоминания, в вечере принимали участие С. Иванов, Ю. Корнеев, Э. Линецкая, Н. Рыкова, А. Урбан и В. Шефнер.

Продолжу цитату из того же письма: *«Книга все еще строится. Она должна выйти в 87 году. Как бы дотянуть в более или менее человеческом виде»*.

В 1987 году она писала тому же адресату: *«Мне бы пожить еще годика два, дожидаясь выхода книги, порадоваться и немного привести в порядок архив. Но я все время забываю, что мне скоро будет 85!!!!*

Сейчас умирать ну никак нельзя. Такие интересные новости, такие надежды. Так оживилась даже наша захолустная, провинциальная жизнь...»

В том же году и тому же адресату: *«С книгой у меня опять осложнение. Парнис потребовал (он комментатор) себе (!) листов на комментарий. Это неслыханно. В противном случае грозит выйти*

⁵ Имеется в виду издание: *Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихи. Переводы. Воспоминания / Предисл. А.А. Урбана. Сост. Е.К. Лившиц и П.М. Нерлера. Примеч. и подг. текста П.М. Нерлера и А.Е. Парниса. Л.: Сов. писатель, 1989. 720 с. В подготовке книги принимали участие также В.Я. Мордерер и Е.Ф. Ковтун.*

⁶ Манана Константиновна Мегрелидзе, дочь Александры Федоровны (Щуцы) Карцевадзе, любимой подруги и «поздельницы» Е.К. Лившиц. Цитируется по черновикам (в собрании П. Нерлера).

из издания. Ему хочется развернуться вовсю. Похвастаться своей эрудицией, а книга опять может быть отложена. Эпоху он, конечно, знает прекрасно, но кровушки выпил он из всех нас изрядно»⁷.

...А когда в 1989 году книга наконец вышла, Екатерины Константиновны уже не было в живых. Она умерла 1 декабря 1987 года.

Даже гранок заветного тома ей увидеть не привелось, не то что поддержать книгу в руках!.. И никак не избыть горького чувства несправедливости, досады и общей вины.

5

Жившие в разных городах, вдовы Мандельштама и Лившица не переписывались. Та дружба, то теснейшее общение, что при живых Бене и Осипе были самоочевидностью, — после их гибели уже не восстановились. Видимо, слишком много и тяжело досталось каждой из них, чтобы дружба мужей перешла и во вдовью. Центр тяжести их привязанности был да так и остался в прошлом.

У Надежды Яковлевны даже адреса Таты не было тогда, когда он ей оказывался нужен. В таких случаях ей дважды приходилось прибегнуть к услугам Ахматовой. Первый раз — в марте 1957 года, когда Н.Я. хватилась и не нашла утерянное свидетельство о браке с О.М.: *«Я еще могу оказаться не вдовой. Тогда вдовой будет Евг[ений] Эм[ильевич]. Это очень смешно, но все же может быть маленьким осложнением. Тата Лившиц — была, кажется, свидетелем этой грозной процедуры в Киеве в 1922 году. (Меня без этой бумажки не брали в штабной вагон.) Нельзя ли попросить ее написать соответствующее показание? Я не знаю ее адреса»*⁸. Второй раз — спустя 10 лет, когда вдруг вспыхнула история с мемуарами Лютика⁹.

Впрочем, у этой дистанции между двумя вдовами были свои преимущества и немалые. Во-первых, это право на «внепартийность»: Тата, конечно же, всегда была в курсе всех актуальных ссор и конфликтов Н.Я., но никогда не бывала в них вовлечена. Во-вторых, отношения сами по себе складывались ровные — из такого далека уж никакая кошка не перебежит дорожку.

Письма Н.Я. к Тате Лившиц без труда уместились в пределах одного года — того самого 1967-го, весной которого Н.Я. закончила свои воспоминания об Ахматовой. В марте — взволнованность, страстное

⁷ Ср. в письме от 7—8 марта 1987 г.: *«Книга только сейчас вырвана из рук комментатора»*.

⁸ См. выше в переписке Н.Я. с А.А.

⁹ См. выше в переписке Н.Я. с А.А.

желание видеть, показать, дать почитать рукопись! А осенью — почти полная отрешенность от всего этого, погруженность в быт и будни, пускай и скрашенные выходом «Разговора о Данте».

Но вернемся к Тате.

И тут, пожалуй, стоит упомянуть еще одно стоящее рядом письмо Н.Я. — письмо А.К. Гладкову от 12 декабря 1967 года, где она писала: *«Таточку Лившиц я люблю. (Ее почему-то не любила Анна Андреевна; в частности, за то, что там сломался ее муж; но за это грех ненавидеть жену, да и самого человека.) Это трогательная красotka, маленькая луна, ветерок, Таточка, балеринка без балета, похоронившая всех своих близких (сын погиб на войне, когда она была далеко), вызывала у меня всегда великую нежность именно тем, что никак не заслужила своей участи. Судьба нас развела в разные стороны, но я помню и люблю бедную Тату. На похоронах Анны Андреевны она сказала мне, что у нее уже был инфаркт. За что? Передайте ей от меня нежнейший привет»*¹⁰.

Возможно, именно это письмо стало для Надежды Яковлевны сигналом к тому, чтобы в книгу «Об Анне Ахматовой» включить и новеллу о вдовьей судьбе Таточки. Но само по себе это нисколько не удивительно. Когда арестовали ее саму, Тату, следовательно, впервых, дал ей понять, что Бена уже нет в живых, а потом, видимо, очарованный ее скорбной красотой, предложил ей — без обиняков и сентиментальностей — выйти замуж за него.

Задумайтесь!..

Мало было той власти, *«отвратительной, как руки брадобрея»*, отобрать у Лившиц все, что ей было дорого, — разорить семейный очаг, расстрелять мужа и осиротить сына! Нет, палачам хотелось оприходовать еще и ее саму — с пользой для общества и к собственному удовольствию!

Так восхитимся мужеством этой хрупкой и беззащитной женщины, отказавшейся от столь лестного предложения.

В день похорон Екатерины Константиновны Лившиц я написал посвященные ее памяти стихи:

Так вот каков он — праздник скифский!
Каэр без права переписки
И с конфискацией семьи!
 А ненасытная медуза
 Над каждой люлькою союза
 Свивает щупальца свои.

¹⁰ РГАЛИ. Ф.2590. Оп.1. Д.298. Л.117.

И произнес убийца Бена:

«Иди, ищи ему замену.

Глядишь, и я тебе сгожусь?..»

Но нет, не общая природа

У слуг и у врагов народа:

«Я с мертвыми — не развожусь!»

ЛЮТИК ИЗ ЗАРЕСНИЧНОЙ СТРАНЫ (ОЛЬГА ВАКСЕЛЬ)

Александру Ласкину и Елене Чуриловой

Дичок, медвежонок, Миньона...¹

*В Лютике не было как будто ничего особенного,
а все вместе было удивительно гармонично; ни одна
фотография не передает ее очарования²*

*Я спрашивал тогда бабушку: “Ведь Лютик — это
такой цветок, а почему маму называют Лютиком?”*

*Она ответила: “В детстве твоя мама и была как
цветочек”³.*

1

..Нескольких стихотворений, обращенных Осипом Мандельштамом к Ольге Ваксель или же посвященных ее памяти, оказалось вполне достаточно для того, чтобы заинтересоваться адресатом и посвятить ей самой отдельную книгу.

Именно это и сделал Александр Ласкин, написавший о ней документальную повесть «Ангел, летящий на велосипеде»⁴. При этом он опирался на архив О. Ваксель, предоставленный в его распоряжение ее сыном, А.А. Смольевским: в этом архиве — ее дневник, стихи и ри-

¹ Из стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

² Из подготовленного к печати более полного текста воспоминаний Е.Э. Мандельштама (Собрание Е.П. Зенкевич; нынешнее местонахождение собрания неизвестно).

³ Разрозненные записи А. Смольевского (В архиве А.С. Ласкина).

⁴ См.: Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: Документальная повесть об О. Ваксель и О. Мандельштаме; Я недолго жила на земле...: Избранные стихи / О.А. Ваксель. СПб.: Стройиздат, 2002.

сунки. Вместе с тем повесть, хотя бы и документальная, создавалась по законам художественного, а не научного жанра, и ее изначальные источники оставались в тени.

И тут-то произошло самое неожиданное и самое важное: оказалось, что Люттик (домашнее прозвище Ольги Ваксель) была куда более сложной, глубокой и самостоятельной фигурой, чем это принято полагать. Воспоминания Н.Я. Мандельштам рисовали ее как красавицу-капризулю, к тому же марионетку в материнских руках. Крупным планом всплывает другой ее образ, именно тот, что мы уже раз видели — в мандельштамовских стихах. И даже начинает казаться, что понимаешь, в чем секрет ее привлекательности.

Это не только женская красота и обаяние, это еще и то, что мы бы назвали *гением жизнетворчества*.

Потрясающие вкус, находчивость, шарм, искренность... Состряпать гениальные завтраки — буквально из ничего,шить гениальный вечерний наряд — из шторы или прогнать разбойников гениально находчивой фразой («Эй, Коля, Петя, Миша, вставайте, разбойники пришли!»⁵) и ручным фонариком, изображающим пистолет, — вот что было ее стихией и ее амплу.

Существенное проявление жизнетворческих талантов Люттика — и ее поэзия. Не так уж важно, что объективно Ольга Ваксель была поэтом слабым, откровенно подражающим Ахматовой «Четок», Гумилеву «Романтических цветов» и, немножечко, Мандельштаму «Камня». Важнее всего было само поэтическое мироощущение, к которому она чувствовала себя причастной и из которого вытекало ее отношение к стихам.

Жизнетворчество Ольги Ваксель распространялось и на ее личную жизнь. Тут оно было часто загадочным и непредсказуемым для нее самой. Какой-то механизм, запрограммированный сначала на восторг и взлет, — а потом на крах, на падение, на разрыв, на развод и — в самом крайнем случае — на выстрел!..

А вот быть хорошей матерью, например, в ее амплу не входило. В иные периоды она как будто напрочь забывала, что у нее есть сын. «Общество Аси⁶ — это хорошо, но не вечно же! Полтора месяца полнейшего одиночества даже мне показались целой вечностью». Даже больного и слабого, но формально пристроенного куда-то, она могла не видеть неделями, легко уговаривая себя тем, что с ним все в порядке (как это и было, например, в 1929 году, пока заболевшего корью Арсика не поместили в лазарет в Сиверской, известив ее телеграммой).

Казалось бы, ребенок должен был бы если не ненавидеть, то уж во всяком случае недолюбливать столь эгоистичную и эгоцентричную

⁵ Цитаты из «Воспоминаний» и стихотворений О. Ваксель даются по изданию «Возможна ли женщине мертвой хвала?..». 2012.

⁶ Сына Арсения.

мать, — на деле же он ее не просто необычайно любил, а буквально боготворил и никогда ни за что не осуждал, во всех ее конфликтах (с отцом ли, с бабушкой или с кем-то еще) преданно вставая на ее и только на ее сторону.

А конфликтов в жизни Лютика было с лихвой, как и приводящих к ним контактов. Ее общительность не знала ни границ, ни усталости. Круг знакомств еще с детства был необъятным и охватывал сотни людей — от портовой голи до Государя Императора.

Твердое знание о ее семье, о ее матери, отце и отчине позволяет лучше понять то, что произошло с нею самой: сложносоставные (но фактически безмужние) семьи — и у ее матери⁷, и у нее. Родители разошлись, когда ей не было и трех лет, она же ушла от Арсения Федоровича, не дождавшись даже рождения сына (развелись они спустя год, и еще год прошел, пока отец, у которого жил ребенок, не отдал его матери).

Осипа Эмильевича она и Надежда Яковлевна в шутку называли «мормоном», весело и прозрачно намекая на практикуемую мормонами полигамию. Пишет об этом, как и о многом другом, Ольга Александровна легко и безо всякой застенчивости — чувствуется, что сексуальная революция произошла у нее лично уже давно⁸.

И все-таки главный «мормон» воспоминаний Ольги Ваксель — это она сама: от ее романов и увлечений просто рябит в глазах, на некоторых страницах умещается по два, а то и три партнера, зато о каждом (или о каждой) она находит как доброе слово, так и не очень доброе. Почему-то она явно благоволила к морякам, пожилым и дальним родственникам своих ухажеров, иногда к женщинам.

Сил удержаться и устоять хватало ей, самое большее, на неделю. Рациональнейший Евгений Эмильевич Мандельштам, де-факто жених Лютика летом 1927 года, сам отказался от нее после того, как встретил ее на батумской набережной со своим приятелем, с которым накануне и познакомил. Но вот что характерно: и спустя 40 лет после событий он, беседуя с третьим участником этого путешествия — Арсением Арсеньевичем, явно сожалел о том, что Лютик не осталась с ним и не вышла за него замуж!

⁷ Она, кстати, тоже росла без отца, умершего, когда ей шел тринадцатый год.

⁸ 90-летняя Эмма Григорьевна Герштейн, когда решила заговорить о том же, сделала это натужно и по-ханжески. В написанном ею на склоне лет очерке «Надежда Яковлевна» она замахнулась чуть ли не исчерпывающий обзор проявлений бисексуальности у Н.Я., а заодно и «мормонства» у О.Э., не исключая и приставаний лично к ней. Осмелев от своего анализа, мемуаристка пошла еще дальше и пустилась в глубокомысленные объяснения потомству того, как сквозь призму сих обстоятельств следует понимать поэзию и чуть ли не поэтику Мандельштама! (Герштейн, 1998. С. 412—445). Сорвав на этом постмодернистские аплодисменты и Букера, мемуаристка оставила по себе крайне неприятный осадок.

А вот что она пишет о своем втором муже: «...Зная себя, я не надеялась сохранить такие же чувства, тем более, что характер их был слишком реальный. Мне жалко было Льва, который плакал как ребёнок, уходя по моему капризу в такой далёкий рейс. Было несомненно, что если он не любил меня, когда мы поженились, то любит теперь, как только можно любить на Земле. Я сама в эти последние дни любила его без памяти. <...> В это время мне пришла в голову мысль немного поинтересоваться моей соседкой по дому...». И т. д.

Каждый из очарованных и брошенных ею мужчин, — а «общей не ушли судьбы» не только братья Мандельштамы, а буквально все, не исключая, по-своему, и Христиана Вистендаля, — был с нею по-настоящему счастлив! Иначе бы не возвращались они к ней или за ней, почти каждый, так упорно и дружно.

Гётевский образ Миньоны из «Вильгельма Мейстера», возникший у Мандельштама, удивительно точен. Лютик и была его живым воплощением: бродячая циркачка, поющая дивные песни, околдовывающие слушателей, девчонка почти, рядящаяся в мужские одежды, и в то же время зрелая чувственная женщина, умеющая глубоко и возвышенно любить и страдать. Вместе с тем было в Лютике что-то и от Кармен — бесконечно женственной, непреодолимо влекущей, вожделенно греховной и патологически неверной, а также от Гермینی, богемной умницы-грешницы из «Степного волка» Гессе, густо настоящего все на том же Гете. В неодолимой притягательности богемы и в ее творческом начале — страшная ее сила, а в неотвратимой от нее и после нее изжоге и мути — ее небесплодная суть.

Всем им прямою противоположностью была бы, кажется, Гретхен из «Фауста» — милое и безгрешное существо, созданное для семейного счастья и сулящее именно его, но — милостью дьявола — распятое вместе с дитем на кресте людских предрассудков!

Не оттого ли так тянется — пусть и безнадежно — Лютик и к чему-то прямо противоположному или к попросту нормальному — к подруге ли Леле Тимофеевой, к Саше ли Хрыпову («совершеннейшему человеческому существу», осторожно пытавшемуся, пусть и безуспешно, перевоспитать ее) или к тому же Христиану Вистендалю?

2

Воспоминания Лютика содержат в себе важный предметный комментарий к мандельштамовским стихам. Так, «медвежонок» — это ее детская любовь к плюшевым мишкам — будь то чужой «большой медведь с пуговичными глазами, очень грустный и лохматый» или собственный «большой толстый мишка с очень длинной шерстью и кротким выражением лица».

Ольга Ваксель — вся волшебство и непосредственность, но вовсе не святость и отнюдь не простота. Это видно уже из того, что в своих воспоминаниях она говорит много и весьма откровенно, но говорит далеко *не все* и вспоминает *не о всех*, кого определенно помнила!⁹

Так, она сознательно умалчивает о том, что знала Осипа Мандельштама еще по дореволюционному Коктебелю, и вовсе не упоминает Евгения Мандельштама, так что читатель может подумать, что ее черноморское путешествие 1927 года с сыном было эдаким аскетически одиноким¹⁰, тогда как на самом деле оно более всего походило на медовый месяц.

Зато она небрежно вставляет имя поэта в другом месте, и это упоминание, датированное осенью 1916 года¹¹, заставляет кое-что переосмыслить в биографии и самого Мандельштама.

7 июня 1916 года, вместе со средним братом — Шурой, Осип Мандельштам приехал в Коктебель, где провел около 1,5 месяцев — до тех пор, пока 24 или 25 июля телеграмма о том, что при смерти их мать, не вернула братьев в Петроград. В промежутке — обычное коктебельское оборотство и несколько совместных с Ходасевичем и Волошиным поэтических выступлений на разных площадках Коктебеля и Феодосии.

Ольга Ваксель, заболевшая весной 1916 года ревматизмом, находилась в Коктебеле уже с 8 мая. Вместе с ней были друзья ее матери — Георгий Владимирович Кусов и художница Варвара Матвеевна Баруздина («Матвеич»). Ее мать, Юлия Федоровна Львова, приехала позднее, около 22 мая, — с тем, чтобы уехать вместе с дочерью в Петроград около 13 августа¹². 17 мая в Коктебель приехала Марина Цветаева с Сергеем Эфроном — с тем, чтобы уехать уже через пять дней (Эфрона вызвали телеграммой в военный комиссариат), но успела заявить, что в *«это лето в Коктебеле нет духа приключений»*¹³.

Иного мнения была 14-летняя Олечка Ваксель: *«...Исходив эти горы вдоль и поперек, я полюбила их...»*. Поразил ее и волошинский Дом Поэта, населенный *«...почти исключительно петроградской и москowsкой богемой. Было несколько поэтов¹⁴, порядочно актеров, пара*

⁹ Есть в ее воспоминаниях немало и мелкого фактографического брака: она пишет, что впервые попала в Коктебель в конце апреля 1916 г., а на самом деле 8 мая; что с нею ехала тогда же ее мать, а на самом деле Ю.Ф. Львова приехала позднее, около 22 мая.

¹⁰ Сам Евгений Эмильевич, прочитав воспоминания Лютика в 1967 г., решил восполнить этот пробел и посвятил путешествию несколько страниц в собственных воспоминаниях.

¹¹ Что так и оставалось незамеченным!

¹² Кунченко В. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб.: Алетей, 2002. С. 397, 406. См. также фотографию этого времени с М. Волошиным на террасе его дома (Там же, на вкладке).

¹³ Там же, С. 398.

¹⁴ И тут она выразительно умолчала о Мандельштаме!

музыкантов». Несколькими страницами ниже: *«Иногда в мастерской Макса устраивались вечера поэзии, в которых принимали участие все проживавшие в Коктебеле поэты разных направлений»¹⁵. Слушателями были избранные ценители искусств».*

Видимо, именно в Коктебеле Люттик и сама начала писать стихи. На обратном пути, не желая покидать это счастливое место, она *«всю дорогу ревела от огорчения и писала массу стихов и обещала сама себе туда вернуться на следующее лето».*

Она сполна оценила и полюбила артистически-богемную атмосферу Коктебеля, к тому же она была влюблена — но не в 25-летнего поэта с длиннющими ресницами, а в 16-летнего Лелю Павлова, сына одного из коктебельских дачевладельцев. Большая полудетская-полувзрослая кампания совершала частые вылазки в карадагские бухты, Люттик бегала между морем и берегом — сообразно возрасту — в трусиках и сетке. Мандельштам в эти вылазки, судя по ее воспоминаниям, не брали, но в том-то и дело, что строго по ее воспоминаниям судить как раз и не надо.

Осмелюсь предположить, что Мандельштам все же был членом этой развеселой «сердоликовой» кампании и что, когда в июле 1935 года в Воронеже он вспомнил о Коктебеле и написал эти стихи, —

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Двуискренние сердолики... —

он вспомнил и Ольгу Ваксель в 1916-м году — его июньские стихи ее памяти еще не остыли!..

И если бы там, в Сердоликовой бухте, его не было, то с чего бы это вдруг он стал осенью того же 1916 года, кося под «родственника» нашей институтки, навещать ее в приемные дни в Екатерининском институте, располагавшемся на Фонтанке¹⁶.

Об этом визите, кстати сказать, в воспоминаниях Люттика упоминание есть, и имя Мандельштама, наконец-то, названо:

«В приемные дни дежурили в зале девочки, никого не ожидавшие к себе на прием. В двух концах зала сидели за столом инспектрисы, окруженные сидящими на длинных скамьях дежурными, к ней подходят родственники, называют фамилию, класс и степень своего родства. Молодых людей, приходивших на прием, допрашивали очень тщательно»

¹⁵ Еще одно выразительное умолчание о том же лице.

¹⁶ Надежда Яковлевна пишет, что по просьбе матери и как старый друг. В-первых, обозначение «старый друг» могло быть хоть как-то заслужено только в случае достаточно тесного общения в Коктебеле. А во-вторых: Осип Эмильевич в роли Юлия Матвеевича, дальнего родственника своей матери, сопровождавшего его, по ее просьбе, в Ригу и Париж в 1907 году?! Увольте.

но, но все они прикидывались родственниками, пленяли инспектрису хорошими манерами и проходили. Таким образом, у меня перебивали Арсений Федорович¹⁷, узнавший о моем пребывании в институте от своей приятельницы — учительницы музыки, поэт Мандельштам, Георгий Владимирович Кусов и мои друзья детства Аркадий Петерс, молодой офицер, и Юра Пушкин».

Мечта Лютика сбылась, и она побывала в Коктебеле и на следующее лето — в 1917 году, под опекой семейства Ниселовских (ее мать, Юлия Федоровна, провела с ней не более двух недель). Точные временные рамки пока не прояснены, но приезд в Коктебель — это, предположительно, стык апреля и мая, как и в прошлый раз, а отъезд пришелся на пору полнолуния, то есть на начало июля¹⁸. Оленька, уже что угодно, только не дитя в трусиках и сеточке, отважилась на самостоятельную (то есть без разрешения и без спросу¹⁹) двухнедельную вылазку по Крыму, но имени своего спутника или спутников, что характерно, она не назвала. Но то был определенно уже не 17-летний Леся Павлов, поцеловать которого в первый и единственный раз Лютик решила лишь в день своего внезапного оставления Коктебеля.

Очень долго — примерно с 20 мая по 10 октября — был в 1917 году в Крыму и Осип Мандельштам. Сначала около месяца он прожил в Алуште (на даче Магденко), затем, 22 июня, переехал в Коктебель, откуда снова вернулся в Алушту в конце июля, но и на этот раз ненадолго, ибо в августе, сентябре и октябре он уже жил в Феодосии. Едва ли Мандельштам имел какое-либо отношение к Олиной «отлучке», но и в том, что по приезде в Коктебель он непременно с ней повиделся, сомневаться тоже не приходится. Если положиться на график полнолуний, то пара недель у него для этого в запасе была!

Об этом лете у Мандельштама сказано в стихах 1931 года:

...Чужа грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европейнок нежных —
Сколько я принял смущенья, насады и горя!..

Кто они, эти «те», эти «европейки нежные»? Саломка, соломинка — Саломея Андроникова? Или Марина Цветаева, в чей «монастырь» в Александровой Слободе Мандельштам буквально приперся, непрошенный, перед Крымом, после чего, уже в Крыму, она прямо-таки избегала оставаться с ним наедине? А может Анна Зельманова?

¹⁷ А.Ф. Смольевский — ее будущий муж.

¹⁸ Летом 1917 г. полнолуния приходились на 5 июня, 4 июля и 3 августа.

¹⁹ Представьте, какова была эта «отлучка» опекавшим ее Ниселовским. Вероятней всего, именно «отлучка» и стала причиной изгнания 15-летней Ольги из коктебельского рая.

Или Анна Радлова? Или Вера Судейкина в Алуште? Или же кто-то еще? — ведь недаром на 1916 год приходится бум мандельштамовских записей в дамских альбомах! И нет ли среди этих «тех» хотя бы малой частички уже и от Лютика?...

3

Как бы то ни было, но не так уж и не права была Анна Ахматова, когда, читая воспоминания и стихи Ольги, вздрагивала на слове «реснички». Это слово было для нее индикатором одного и только одного человека — Осипа Мандельштама. «Колют ресницы...»²⁰, «Как будто я повис на собственных ресницах...»²¹ — Мандельштам буквально ощущал свои ресницы как «какой-то добавочный орган»²².

И даже если Христиан Вистендаль, норвежский вице-консул, и был прозван Ольгой Ваксель «ресничками», то он мог быть тут только вторым. Первыми «ресничками» был Осип Мандельштам — оттого-то и приняла она поначалу своего викинга-Христиана за еврея!

Следующая встреча Лютика и Ресничек-Первых произошла в середине января 1925 года. Но что это была за встреча!

Словно молния поразила поэта, когда он вдруг — на улице и совершенно случайно — встретил Ольгу. Перед ним стояла не девушка-цветок из 17-го года (и уже тем более не девочка в трусиках и сеточке из 16-го года), а, по выражениям Ахматовой, самая настоящая «ослепительная красавица»²³, прекрасная, «как Божье солнце»²⁴.

Он был сражен, причем настолько, что не замечал ни обострения болезни жены, ни собственных сердечных — в прямом смысле слова — болезни и одышки.

Все было ярко и скоротечно — и в середине марта все уже кончилось. Если не считать двух замечательных стихотворений...

*«Дура была Ольга — такие стихи получила!...»*²⁵

4

Версии из двух женских углов этого треугольника прямо противоположные. Согласно Ваксель, у них был некий гетерогамный союз

²⁰ Из стихотворения О.М. «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...» (1931).

²¹ Из стихотворения О.М. «1 января 1934 года» (1934).

²² Мандельштам Н., 2008. С. 157.

²³ Смольевский А.А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // ЛУ. 1990. № 1.

²⁴ Мандельштам Н., 2008. С. 142.

²⁵ Из письма Н. Мандельштам Е. Лившиц (см. ниже).

во главе с Надюшей, как ее называет Ольга. И все бы ничего, если бы третий, Осип Мандельштам, этим и ограничился, но тот вздумал разрушить этот гедонистический оазис и, бросив жену, непременно жениться на Ольге. Согласно «Надюше», Ольга была плакса и маленькая дочка, откровенно — и под дирижерскую палочку матери — отбивавшая у нее мужа и не стеснявшаяся заявиться к ним даже после того, как Мандельштам — неожиданно и твердо — сделал своей окончательный выбор.

Надежда Яковлевна высказывалась по этому поводу как минимум четырежды — в письмах Александру Гладкову и Тате Лившиц и дважды в воспоминаниях — в книге «Об Ахматовой» и во «Второй книге».

Наиболее лаконичным было первое по времени высказывание — в книге об Анне Андреевне:

«И все же настоящая дружба началась не в первые наши встречи, а в марте 1925 года в Царском Селе. Это было трудное время единственного серьезного кризиса в наших отношениях с О.М. В январе 1925 года О.М. случайно встретил на улице Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой-институткой, и привел к нам. Два стихотворения говорят о том, как дальше обернулись их отношения. Из ложного самолюбия я молчала и втайне готовила удар. В середине марта я сложила чемодан и ждала Т., чтобы он забрал меня к себе.

В этот момент случайно пришел О.М. Он выпроводил появившегося Т., заставил соединить себя с Ольгой, довольно грубо простился с ней²⁶. Затем он взял меня в охапку и увез в Царское Село.

Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и твердая воля в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Ольга была хороша, «как Божье солнце» (выражение А.А.) и, приходя к нам, плакала, жаловалась и изпод моего носа уводила О.М. Она не скрывала этих отношений и, по-моему, форсировала их²⁷. Ее мать ежедневно вызывала О.М. к себе, а иногда являлась к нам и при мне требовала, чтобы он немедленно увез Ольгу в Крым: она здесь погибнет, он друг, он должен понимать... О.М. был по настоящему увлечен и ничего вокруг не видел. С одной стороны, он просил всех знакомых ничего мне об этом не говорить, а с другой — у меня в комнате разыгрывались сцены, которые никакого сомнения не оставляли. Скажем, утешал рыдающую Ольгу и говорил, что все будет, как она хочет.

В утро того дня, когда я собралась уйти к Т., он сговаривался с ней по телефону о вечерней встрече и, заметив, что я пришла из ванны,

²⁶ Я в ужасе вырвала у него трубку, но он нажал на рычаг, и я успела только услышать, что она плачет (Примеч. Н. Мандельштам).

²⁷ Я видела страничку ее воспоминаний об этом, но там все сознательно искажено: она, очевидно, сохранила острое чувство обиды (Примеч. Н. Мандельштам).

очень неловко замял разговор. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Я подозреваю только одно: если б в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были б написаны, очень возможно, что он мне дал бы уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я не успела задать О.М.

И при этом он болезненно переживал всякое стихотворение, обращенное к другой женщине, считая их несравненно большей изменой, чем все другое. Стихотворение «Жизнь упала, как зарница» он отказался напечатать в книге 28-го года, хотя к тому времени уже все перегорело, и я сама уговаривала его печатать, как впоследствии вынула из мусорного ведра стихи в память той же Ольги и уговорила его не дурить. Честно говоря, я считала, что у меня есть гораздо более конкретные поводы для ревности, чем стихи, если не живым, то уж во всяком случае к умершим».

Судя по всему, Надежда Яковлевна, описывая здесь этот кризис, еще не читала воспоминаний Ольги Ваксель (точнее, их фрагмента о себе и о Мандельштаме).

В таком случае это было написано еще в 1966 году, поскольку знакомство с мемуаром Лютика состоялось в феврале 1967 года, когда ее посетил Евгений Эмильевич и показал означенный фрагмент, любезно перепечатанный для него на машинке сыном Лютика. Эти страницы взволновали Надежду Мандельштам до чрезвычайности, — ей все мерещилось (и это впоследствии подтвердилось), что фрагмент не полный, что есть в этих воспоминаниях что-то еще!

Это «что-то еще» потому так и взволновало ее, что было не вымыслом, а правдой, и то, как это «что-то» могло преломиться в чужих воспоминаниях, глубоко и сильно тревожило и задевало ее. Убедиться в том или ином, но минуя при этом Евгения Эмильевича, — стало для нее поэтому глубокой потребностью и чуть ли не идеей-фикс.

Человеком, который раздобудет для нее полностью весь мемуар Лютика, Надежда Мандельштам «назначила» Александра Гладкова, «литературоведа и бабника», как она сама его охарактеризовала. 8 февраля 1967 года она отправила ему письмо, поражающее своей длиной, но еще более — откровенностью.

Но иначе, правда, было бы не объяснить ту самую настоящую панику, что в письме названа «легким испугом», и тот случившийся с ней припадок «ужаса публичной жизни» — мол, «все выходит наружу, да еще в диком виде»?

«Дорогой Александр Константинович! У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне

помочь... Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О.М. («Жизнь упала, как зарница», «Я буду метаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мертвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (в Осло, а не в Стокгольме) (29—30—31 год), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвез их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология — и она, и муж — <и> мемуары!). У этого сына культ матери, который выражается в том, что он всем раздает ее мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня... Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что все выходит наружу, да еще в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О.М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее.

Женица эта, видимо, была душевнобольная. Ося расстался с ней безобразно. После встречи в гостинице (это и его, и ее версия) он вернулся домой и застал меня со сложенным чемоданом, через минуту за мной пришел Татлин (все это только вам: не говорите даже Эмме). (Про Татлина — он всегда был один, и я знаю не один случай, когда женица, меняя мужа или выбирая себе второго, временно сходилась с Татлиным.) Произошла легкая сцена, Татлин пожаловался, что ему сорок лет и у него нет жены, а Ося увез меня в Детское Село, где мы ссорились, и я рвалась уйти; потом приехала Анна Андреевна, и как-то все забылось. Вот грубое содержание этой драмы.

Это 25[-й] год. Я тогда посоветовала Татлину поискать жену на Украине — там их много. А его как раз приглашали туда. Он послушался и поехал, расставшись со мной. Жену оттуда привез. И так, я сыграла роль в его жизни, не только постельную.

Ося при мне позвонил этой женице по телефону и сказал ей, что уезжает и больше ее видеть не хочет («потому что вы плохо относитесь к людям» — всё). Хамство, как видите, полное. Да еще я ее позвала к телефону.

Через несколько лет она пришла к нам в Детское Село. Я ей рассказала, как со мной хамила ее мать. Это все... [Во всяком случае] что касается Оси и что я знаю.

После О.М. среди толпы других она жила с Евг[ением] Эмильевичем. Он возил ее на Кавказ. (Именно после этого она к нам пришла в Детское.) Евгений Эмильевич недавно явился ко мне и рассказал про дневник, и я слегка испугалась. Кажется, она мстит в нем Оське за это дикое прощание.

Несколько слов об этой женице. Ее звали Ольга Ваксель. Дочка Львовой — б. фрейлины. Хороша была, как ангел. Ничего подобного

в жизни я не видела. Тогда — благородно и приятно. Целыми днями сидела у нас и плакала. Пол был мокрый от слез. У меня всегда с ней были хорошие отношения. Я не ссорилась с «соперницами», а только с мужиком.

Теперь, чего я боюсь. Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать). Второе: она пишет об Осе зло (как сказал Евг[ений] Эм[ильевич]). Нет ли клеветы?.. Для этого мне надо знать, что там. На клевету похоже. Уже тогда у нее были почти маниакальные рассказы о бросивших ее любовниках, которые не подтверждались ничем (эротические, нередко садистические, — хотя она была нежна, добра и безобидна, — и тому подобное). Единственная ее особенность: она ходила по Ленинграду и давала всем и всё. Потом переехала в Москву и служила в Метрополе. Там и нашла мужа. Жаль ее ужасно. Знаете, у Фоукнера есть женщина, чудо любви (мать Линды)²⁸ — это она, Ольга Ваксель, или Лютик, как ее звали.

Вот моя проблема: я бы хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой). Противно это безумно, и я бы с радостью избавила себя от этого удовольствия, но надо это сделать. Нашел сына Мануйлов. Обо всем этом знает и Таточка Лившиц, но ее, если можно, не надо бы вмешивать. Нельзя ли через Мануйлова получить этот дневник, чтобы избавить меня от удовольствия ехать к сыну? Или съездить вам — огромная дружеская услуга — рассказать про Фоукнера, про чудо красоты и про то, что я видела у Анны Андреевны фотографии, но ни одна не передает реального очарования этой необыкновенной прелести... Сын тоже сумасшедший и ищет всех, кто хочет поговорить об его матери... Не можете ли вы мне помочь?

Еще такая деталь: она пишет, что после того, как зашла к нам в Детское (осенью 27 года), она опять встречалась с О.М. и всё, что она прогнала его... Ося никогда не врал. До смешного. Но про эти вторичные встречи я не знаю. Были ли они в Ленинграде (возможностей для них почти не было: мы ездили из Детского в Ленинград вместе, было много разного, но совсем другого плана) или в Москве (он задержался на месяц в Москве, когда я была в Ялте; это хлопоты о “пяти” из “Четвертой Прозы”; жил он у моего и у своего брата). Служила ли Ольга в Метрополе ранним летом 28 года (?) Если да, то это бросает очень неожиданный свет на кое-какие события (связь с Метрополем), к которым сама Ольга, надеюсь, никакого отношения не имела. Я думаю, и в Метрополе она в каких-то отношениях была чиста. Об этом я вам расскажу при встрече.

²⁸ Персонаж романа У. Фолкнера «Особняк».

Почему я обращаюсь к вам. Проклятая, как я называю это, публичность, может вытащить эти мемуары наружу. Вы, я знаю, думаете об О.М. и любите курьезные документы. Мне безумно не хочется ехать к сыну; не хочется ворошить все это самой. А вы мне друг и способны прийти на помощь. Вы умны и знаете меня — что здесь нет безумного любопытства сумасшедшей старухи. Вы литературовед и бабник, следовательно, знаете, что такое женская месть и клевета. К Евг[ению] Эм[ильевичу] я обратиться не могу: у него есть эти мемуары и он мне их предлагал. Но я этого не хочу: он грязный тип.

И, наконец, последнее, очень интимное. О.М. мне клялся в очень странной вещи (я вам скажу, в какой, при встрече), в которую я не верила и не верю, но, если это правда, то она могла быть очень дико истолкована бедной Ольгой. Дико ворошить все это на старости лет. Но что делать? Помогите, если можете.

Ведь Мануйлову вы можете сказать, что угодно: биография О.М., например. Если не хотите говорить с Мануйловым, спросите у Таточки Лившиц. (Я когда-то ей сказала, что не люблю О.М. — в этом выразилась моя ревность в период его романа с Ольгой.) Сын Ольги меня хочет видеть, — можно, узнав его имя и адрес — попросить всё это для меня, сказав, что я так стара, что не могу приехать. Я готова написать ему письмо с описанием красоты его матери... Только помогите и избавьте меня от встреч. Чертова молодость: сколько осложнений она оставляет в жизни. Н.М.»²⁹

Имеется еще и добавление Надежды Яковлевны к этому же письму: «...Я нашла и “сына”: Смольевский Арсений Арсеньевич. <...>

Прочла кусок мемуаров. Они гнусны, но их нужно знать. Правде не соответствуют, кроме небольших элементов. У меня впечатление, что это написано по дневникам дочери матерью, чудовищной женщиной. Своеобразная месть за гибель дочери и сведение счетов (в частности, со мной). А счета были.

Дочь была не только красавицей, но очень нежной и тихой. Этот язык и все представления ближе к матери. Между прочим, мать предъявила к О.М. требования, которые он не исполнил. Она из тех, что продают дочерей. Любопытно, что Евг[ений] Эм[ильевич], частично требования выполнивший (он был там после О.М.), не упоминается вовсе (это путешествие на Кавказ).

Сын жаждет мне показать все это. Если бы достать... Я боюсь, что Евг[ений] Эм[ильевич] дал мне не все. А знать это нужно. Надо восстановить (скажем, в письме к вам или к Харджиеву) то, что было. Увлечение О.М., наша попытка развестись (я уходила к Татлину) и потом примирение. Была драма. Могла кончиться плохо.

²⁹ РГАЛИ. Ф.2590. Оп.1. Д.298. Л.140—142об.

Случайно уцелели. Девчонка плакала целыми днями у меня в комнате. Не думаю, чтобы она любила О.М.: к этому времени она была уже половой психопаткой и жила с целой толпой. Как О.М. уцелел, трудно себе представить, потому что такого чуда, как эта Ольга, я не видела. Последний разговор их (по телефону) был при мне. Я была поражена грубостью О.М. <...> При встрече через 3 года тоже. Но и там она отличилась... Есть ли у сына продолжение — я читала до ее прихода через три года... Попробуйте достать... Если нет, я к сыну не пойду. Это патология первого класса уже в третьем поколении... Н.М.³⁰

Получив письмо, Gladkov записал в дневнике 12 февраля 1967 года: «Страннейшее письмо от Н.Я. с рассказом (длинным) о каких-то изменах ее с Татлиным и О.Э. с Ольгой Ваксель в 25—27 гг. и просьбой найти сына О. Ваксель и попросить у нее дневник матери. Будто бы там может быть какая-то “клевета” и пр. Я человек любопытный и могу этим заняться, но зачем это Н.Я.?»³¹

Перед Gladkovым Надежда Яковлевна почти и не скрывалась: зачем? Однако правда в воспоминаниях Люттика — ее собственная склонность к лесбиянству и мандельштамовская к «мормонству»³² — пугали ее больше любой напраслины. Skandal такого рода мог быть запросто использован недоброжелателями и против Мандельштама, и против нее самой: под этим предлогом могла бы серьезно осложниться и ситуация с книгой в «Библиотеке поэта».

17 февраля вдова Мандельштама снова писала Gladkovу:

«Дорогой Александр Константинович! Спасибо, что вы так быстро откликнулись. <...> А, может, действительно это лучше сделать через Таточку Лившиц. Она мне тоже говорила про “сына”. Она почти не знает о том, что произошло в прошлом. Для нее Ольга Ваксель просто увлечение О.М. (бедная Надя) и какая-то моя жалоба, что Оська мне надоел. Поэтому не говорите ей о моем беспокойстве. Только, что я хочу иметь фотографию Ольги и странички ее дневника... т. е. мемуаров... Тата дружит с Евг[ением] Эм[ильевичем]; она может от него узнать адрес “сына” и Гревса...

Знала про всю эту историю Анна Андр[еевна] — от меня, от Оси (смягченно) и от... Татлина. Я думаю (вернее, надеюсь), что Ольга не написала реалистических вещей. Женщины такого рода обычно пишут: “Как он меня любил, но я его выгнала” — дай-то Бог! Единственное, что у нее есть основание для большой обиды на О.М. — он поступил с ней по-свински (со мной тоже). Чего бы мне хотелось — это избежать

³⁰ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп.1. Д.298. Л.143—143об.

³¹ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп.1. Д.107. Л.31.

³² См.: Герштейн, 1998. С. 412—444.

реалии и выключить себя из этой игры. Проклятое легкомыслие и распутство юности — и еще остатки десятых и двадцатых годов...³³

Что предпринял Gladkov и как он преуспел, мы не знаем. Он уехал в Ленинград — к своей актрисе-жене — и пропал! И Надежда Яковлевна принялась его искать, сама обратившись за помощью к Тате — той самой, кого она не слишком-то и хотела видеть в качестве своей confidentки³⁴. Ей она и пишет 18 марта:

«Gladkov перестал писать в минуту, когда этого бы не следовало делать.

Я просила его достать для меня “мемуары” Ольги Ваксель (Лютика). У меня есть сильное подозрение, что это сочиняла не она, а ее мать по ее дневникам.

Евг[ений] Эм[ильевич] мне показал об О.М. Там явное раздражение и кое-что — брехня. Не брехня то, что мы тогда едва не развелись и что О.М. был сильно увлечен. Но вещи сдвинуты ...

При последнем объяснении я была — по телефону. Она плакала. О.М. поступил с ней по-свински.

Если Евг[ений] Эм[ильевич] показал мне все, то можно это игнорировать. Но он рассказывал совсем иначе (напутал? или потом что-то скрыл?). Показывал он кусок до прихода через три года к нам, — и все... Вот тут-то что-то может быть (если судить по рассказу Евгения Эм[ильевича])

Кстати, через 2—3 дня после ее прихода мы уехали и большие в Ленинград не возвращались.

Евг[ений] Эм[ильевич] говорил, что она служила в Метрополе (Москва), теперь он говорит, что она служила в «Астории» — где правда? А это очень существенно. Евгений Эм[ильевич], конечно, мог все напутать — у нас очень плохо рассказывают — с фактами не считаются... Во всяком случае, я хотела бы знать, что у нее в действительности написано. Плохо, когда речь идет о поэте. «Все липнет», как говорил О.М...

Помнишь, как О.М. звонил ей при Бене? А Бен потом подошел ко мне и сказал «бедная»?

Господи, как это давно было...

Меня испугало молчание Gladkova: может, в этом дневнике такая мерзость — это месь, — что он мне боится показать.

³³ РГАЛИ. Ф.2590. Оп.1. Д.298. Л.145—145 об.

³⁴ Интересно, что сама Тата не просто поддерживала отношения с младшим братом Мандельштама, но и была его confidentкой. Она относилась к нему вполне критически, но все же жалела и даже пускала к себе ночевать, когда тот приезжал из Москвы в Ленинград по делам или выяснять отношения со своей брошенной ленинградской семьей. 5 апреля 1964 г. он даже обратился к ней в следующих выражениях: «Но это же Вам я пишу — моему альтер-эго, милому и доброму, все понимающему другу» (РНБ. Ф.1315. Д. 63).

<...> Кстати, мать Ольги Ваксель приезжала к нам (на Морскую) и требовала, чтобы Ося увез Ольгу в Крым. При мне. Я ушла (к Татлину) и не хотела возвращаться... Тьфу...

Дура была Ольга — такие стихи получила...

Если она служила в Москве, это может объяснить одну странную историю, которая произошла со мной.

Не говори об этом письме Евгению Эмильевичу»³⁵.

27 марта Н.М. снова пишет Тате:

«С этим сыном Ваксель уже не стоит говорить. “Мемуар” есть у Евг[ения] Эм[ильевича]... Это он все напутал и стилизовал Осю под себя. Мемуар полон ненависти ко мне и к Осе.

Он действительно по-свински с ней поступил, но и она тоже не была ангелом. Ну ее. То, чего я боялась, т. е. реальности, нет ни на грош. Просто он стоял на коленях в гостинице... Боялась я совсем другого — начала.

Жаль, что она оказалась такой. Она ненавидела свою мать, а в “мемуаре” чистая мать. Все же я подозреваю, что это мать...»

5

Ни Гладков, ни Тата с добыванием воспоминаний Лютика для Надежды Яковлевны не преуспели, и она ознакомилась с ними именно по той копии, которой располагал Евгений Эмильевич.

Надо ли говорить, сколь многое в записках Ваксель, начиная с «прозаической художницы» и «ног как у таксы», было для Надежды Яковлевны просто непереносимо! Поглядевшись в зеркало чужих мемуаров, она ощутила себя остро уязвленной и униженной. Мертвая Ольга, снисходительно смотрящая с этих страниц на нее сверху вниз, и из могилы нанесла ей сокрушительной силы удар и как бы отомстила сполна за все «свинство» мандельштамовского разрыва. Нелепое предположение о том, что воспоминания Лютика не то надиктованы, не то записаны ее матерью, только подчеркивают ту растерянность и то замешательство, в которые вдруг впала Надежда Яковлевна.

Возможно, что именно тогда она и ощутила настоящую потребность написать свою версию событий и тем самым «ответить» Лютику — то ли защищаясь от ее несказанных слов, то ли атакуя их. Ей вдруг открылись и убойная сила мемуаров, и преимущества печатного и первого слова перед устными оправданиями: вон сколько громов и молний переметали они с Анной Андреевной и в Жоржика Иванова, и в Шацкого-Страховского с Маковским, и в Миндлина

³⁵ РНБ. Ф. 1315. Д. 64. Л. 2—4 (с конвертом). Процитировано в: Ласкин, 2002. С. 135—136.

с Коваленковым, а чувство победы или торжества справедливости в их устном против их печатного споре все равно не возникало. А еще, кажется, она поняла — и как бы усвоила! — одну нехорошую истину: не так уж и важно, правдив мемуар или лжив.

Интересно наблюдать и ту роль, которую тема Ольги Ваксель и эскизы к ней сыграла в формировании текста и атмосферы «Второй книги» Надежды Мандельштам, где Лютику посвящена уже не пара абзацев, как в «Об Ахматовой» и в письмах, а целая главка («Пограничная ситуация»), не считая многочисленных упоминаний до и после этой главки.

Надо, однако, сказать, что сексуальная тематика отнюдь не была табу в разговорном обиходе вдовы Мандельштама. Так, ей уделено немало места в единственном видеointервью, данном ею для голландского телевидения в середине 1970-х годов. Пишущий эти строки, часто посещавший Надежду Яковлевну во второй половине 1970-х гг., может засвидетельствовать, как охотно она обращалась к теме плотской любви и ее нетрадиционных разновидностей. Иногда для этого был повод (скажем, выход в «Новом мире» «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой), но чаще всего никакого повода и не требовалось. Рассказы о ее киевских любовниках (без называния имен!) и фразочки типа «*Ося был у меня не первый*» с комментариями никогда не выходили на первый план, но не были и редкостью.

Некоторые мемуаристки, преодолев неловкость, фиксируют проявления сексуальной революции у Надежды Яковлевны и в 1920—30-е (Э. Герштейн), и в 1940-е (Л. Глазунова) годы.

Годы богемной юности не прошли для Надежды Яковлевны бесследно. Да и Лютик едва ли уступала ей по степени раскрепощенности. А по какому-то внутреннему счету, особенно если мерилом считать любовные стихи, Надежда Яковлевна тогда Лютику все-таки «проиграла»! Иначе бы не бросила в сердцах про дуру-Лютика, получившую *такие* стихи!..

6

Довольно существенно, что Ольга Ваксель была поэтом. Стихи были проявлением и потребностью ее высокоталантливой природы, и не так уж важно, что объективно она была поэтом слабым, эпигоном акмеистов, прежде всего Ахматовой и Гумилева.

Самые ранние стихи Лютика датированы летом 1918, самые поздние — октябрём 1932 года. Но поэзия уже занимала ее и в 1916, когда, в Коктебеле, она виделась с Мандельштамом и тосковала по Арсению Федоровиче, своем будущем муже, раздражаясь в его адрес стихами. Хорошо, что они не сохранились.

Сохранившимся еще долго были свойственны неуклюжее изящество и подростковая угловатость: «*И все чернее ночи холод, / Я так живу, о счастье помня, / И если вдохновенье — молот, / Моя душа — каменоломня*» (Павловск, 1920) Или: «*Задача новая стоит передо мной: / Внимательно стать и вместе осторожной, / И взвешивать, чего нельзя, что можно...*» (1922). Или: «*И лето нежное насыплет на плечá / Крупинки черные оранжевого мака*» (1923).

Возможно, тут сказывалось и то, что Ольга и не помышляла разносить свои стихи по редакциям (а многое, кстати, и напечатали бы!) и оттого не считала нужным окончательно их отделять. Она даже не показывала их своим друзьям-поэтам — тому же Мандельштаму, например. Вместе с тем, и не будучи публичным поэтом, она определенно себя ощущала поэтом как обладателем некоего дара:

Но если боль иссякнет, мысль увянет,
Не шевельнется уголь под золою,
Что делать мне с певучею стрелою,
Оставшейся в уже затихшей ране?

(«Когда-то, мучаясь горячим обещаньем...», 1921)

И уже по одному ощущению своей тайной причастности к поэзии личность Мандельштама, поэта публичного и бесспорного, была Лютику отнюдь не безразлична. В воспоминаниях видно, как она изо всех сил старается представить его фигуру комической, а личность — скучной и назойливой. Но это деланное безразличие! Несомненно, она видела и ценила в нем замечательного поэта, тянулась к нему, мечтала показать ему свое. (А может быть — вопреки имеющимся свидетельствам, в том числе и своим, — и показывала?..)

Большинство ее стихов были написаны в традиционном раннеакмеистическом ключе, с характерным сложным грамматическим рисунком и романтическим настроением. В них как бы законсервировались десятые годы, и стихи были не хуже того, что тогда печаталось, например, в «Гиперборее».

Прототипы же легко узнаваемы. Вот стихотворение, живо напоминающее одновременно о Гумилеве и Гумилева, —

Все дни одна бродила в парке,
Потом, портрет в старинной раме
Поцеловав, я вечерами
Стихи писала при огарке.
Стихи о том, что осень близко,
О том, что в нашей церкви древней
Дракон с глазами василиска...

А вот другое, столь же отчетливо кивающее на Ахматову:

Спросили меня вчера:
«Ты счастлива?» — Я отвечала,
Что нужно подумать сначала.
(Думаю все вечера.)
Сказали: «Ну, это не то»...
Ответом таким недовольны.
Мне было смешно и больно
Немножко. Но разлито
Волнение тонкое тут,
В груди, не познавшей жизни.
В моей несчастной отчизне
Счастливыми не растут.
27 декабря 1921

А вот поклон и автору «Камня»:

Березки — как на черном бархате,
Небес прозрачна синева...
Вы, злые вороны, не каркайте!
Не верю: это не Нева.
Лука над берегами черными,
Но вдалеке нависший дым
Над городами непокорными
Под небом плачет молодым.
Расплывчатыми очертаньями
Волнуют взор и даль и близь,
И огненными трепетаньями
Во мне предчувствия слились.
Вдыхая ночи пламя сладкое,
Прислушиваясь к тишине,
Я с гордостью ловлю украдкою
Твой взор, несущийся ко мне.
19 июля 1921 Прибыtkовo

Иногда (не часто) на страницы врывается и ее собственная биография, как, например, в стихотворении «Дети» (1921—1922):

У нас есть растения и собаки.
А детей не будет... Вот жалко.
<...>
На дворе играют чужие дети...
Их крики доносит порывистый ветер.

Несколько чаще среднеакмеистического обретается на ее страницах тема смерти: «Мне страшен со смертью полет... / Но поздно идти назад» (1921). Или: «И если снова молодым испугом / Я кончу лёт на черном дне колодца, / Пусть сердце темное, открытое забьется / Тобой, любимым, но далеким другом» (1922). Или: «Мне-то что! Мне не больно, не страшно — / Я недолго жила на земле...» (1922).

Конечно, ожидаешь найти «следы» и Мандельштама — и находишь! Например, в стихах февраля 1922 года:

Ведь это хорошо, что я всегда одна.
Но одиночество мое не безысходно:
Меня встречаешь ты улыбкою холодной,
А мне подобная же навсегда дана...
Ведь это хорошо, что выпита до дна
Моя печаль, и ласка так нужна мне.
Иду грустить на прибрежном камне,
Моя тоска, как камень холодна...
Не много пролито янтарного вина,
Когда весь мир глаза поцеловали;
И думаю, что радостней едва ли
И девятнадцатая шествует весна...
Очнувшись от блистательного сна,
Пыталась возродить его восторг из пепла,
Но небо солнечное для меня ослепло.
Сквозь искры алые обмерзшего окна.
И ширились лучи от волокна
Дрожащего, испуганного света...
Кто знает, что дороже нам, чем это,
Когда душа усталости полна.

7 февраля 1922

Или:

Какая радость молча жить,
По целым дням — ни с кем ни слова!
Уединенно и сурово
Распутывать сомнений нить,
Нести восторг своих цепей,
Их тяжестью не поделиться.
Усталые мелькают лица,
Ты ж пламя неба жадно пей!
Какое счастье, что ты там,

В водвороте не измучен
(Как знать мне, весел или скучен?),
Тоскуешь по моим цветам.
Как хорошо, что я так жду,
И, словно в первое свиданье,
Я в ужасе от опоздания,
Увидев за окном звезду.

11 февраля 1922

И не о ресницах ли самого Мандельштама (до Вистендаля еще чуть ли не десятилетие!) часом вот эти строчки? —

Стройнее и ближе, зарей осиянный,
Чуть видимый оку, приблизившись плавно,
Встаешь успокоен, счастливый и сонный,
Глядишь сквозь ресницы с влюбленностью фавна.

21 декабря 1921

Стихов, написанных в 1925—1930 гг., нет или они не сохранились. Да и за 1931—1932 гг. осталось всего два стихотворения: одно, написанное еще в России, и второе — в Норвегии.

И это, отметим, уже совсем другие стихи — без угловатости и подражательности. В них есть и свобода и, в общем-то, легкое мастерство.

Я не сказала, что люблю,
И не подумала об этом,
Но вот каким-то теплым светом
Ты переполнил жизнь мою.
Опять могу писать стихи,
Не помня ни о чьих объятьях;
Заботиться о новых платьях
И покупать себе духи.
И вот, опять помолодев,
И лет пяток на время скинув,
Я с птичьей гордостью в воде
Свою оглядываю спину.
И с тусклой лживостью зеркал
Лицо как будто примирила.
Все оттого, что ты ласкал
Меня, нерадостный, но милый.

Май 1931

В последнем же стихотворении — еще и прямые указания на причины трагедии, толкнувшей Ольгу Ваксель на самоубийство³⁶.

7

Пора уже вернуться к Ресничкам-Вторым, к Христиану Вистенда-лю. Вот описания их первых встреч:

«Было довольно скучно. Музыканты играли всё те же, тысячу раз слышанные вещи, “Рамону” и др. Все те же надоевшие лица всегда-таев “Европейской”, смешные пары, танцующие с ужимками, словом, пора было уходить. Вдруг Николай обнаружил на той стороне зала нечто примечательное. “Посмотрите на этого молодого еврея, какие у него замечательные ресницы!” Я возразила: “Не только ресницы”. И вечер сразу наполнился большим содержанием».

Спустя некоторое время Люттик и Реснички оказались вдвоем:

«...Я сообщила ему, что влюблена в него, как девчонка. В первый раз в жизни он слышал подобное признание, и не знал, как на него реагировать. Он никак не мог принять этого всерьез, но все же хотел выслушать всё, что я могу ему сказать. <...> Он был очень серьезен и внимателен. <...> Я вложила всю горячность своего увлечения в ласки, которыми осыпала его, и он сам был теперь ближе, нежнее и человечнее. Это было потрясающее счастье, после которого можно было умереть без сожаления или пережить долгую и скучную жизнь, согреваясь одним воспоминанием о нем. Я спала урывками, просыпаясь с блаженной улыбкой; видела его во сне, как будто мы не расставались».

Еще позднее:

«Около этого времени, встретив Х[ристиана], я согласилась снова встречаться с ним. Я чувствовала себя в силах быть ровной, спокойной, не доставлять ему неприятностей своей экспансивностью, которая его пугала.

Итак, на совершенно новых началах мы виделись снова. Теперь эти встречи в тихом шведском Консульстве были моим отдыхом, моей радостью. Ради них я готова была на всё. <...> Сначала мне казалось, что Х[ристиан] так же сух и холоден, как раньше, но постепенно от раза до раза он стал проявлять ко мне настоящую нежность и внимание совершенно другого порядка, более человеческого. Я была счастлива, как только это мыслимо...».

Воспоминания О. Ваксель заканчиваются описанием разгоревшейся страсти:

³⁶ Оно приводится чуть ниже.

«...Когда я обнимала его, — это был действительно трепет живого сердца. Он говорил мне, что ожил, что он снова хочет жить и любить меня и работать, сделать что-нибудь для своей маленькой Норвегии. Я была горда и счастлива.

Бывали минуты, когда мне казалось, что возвращается пора безумия, что я снова слишком начинаю увлекаться, что я мучаю моего друга своей чрезмерной страстностью. Но я во время брала себя в руки, только сжимала зубы до скрипа, чтобы не проявить как-нибудь своих бурных настроений. Иногда во сне мне казалось, что я громко произношу его имя. Я просыпалась, обнимая подушку».

Все это было написано весной 1932 года — частично самой Ваксель, но большей частью — под ее диктовку — ее третьим мужем, норвежским дипломатом Христианом Иргенс-Вистендалем. В диктовку веришь все-таки с некоторым трудом, настолько стилистически хорошо — как бы на родном языке и на едином дыхании — все написано³⁷.

Воспоминания обрываются на событиях весны 1932 года, когда жить Ольге оставалось всего полгода. В эти полгода уместилось не так уж мало: поездка в Крым и на Кавказ с Христианом, лето с сыном в Мурманске и подготовка сына к поступлению в школу, в начале сентября — когда было получено официальное разрешение на брак с Вистендалем — поездка в Москву для регистрации брака и получения зарубежной визы и, последнее: приезд в Ленинград для оформления доверенностей, прощания с сыном и матерью, на чье попечение она оставляла Арсика.

«28 сентября Христиан увез Ольгу на свою родину, в столицу Норвегии Осло. <...> Она была окружена вниманием и трогательной заботой родных и друзей Христиана; языкового барьера не было, так как Ольга Александровна хорошо говорила по-французски и по-немецки, да и занятия норвежским у нее шли успешно. Но неожиданно для всех, прожив всего лишь месяц в семье Христиана, 26 октября 1932 года, оставив несколько стихотворений и рисунков, Ольга Александровна застрелилась из револьвера, найденного в ночном столике мужа. Сказались и ностальгия, и глубокая осенняя депрессия, и тяжесть от травли, которые несли ей бесконечные преследования со стороны Арсения Федоровича, усталость от жизни, в которой она безуспешно пыталась найти свое место. И твердое решение жить только до тридцати лет, которое она приняла. Смерть Ольги принесла большое горе всем близким»³⁸.

³⁷ Да и не напишешь столько за один — первый — месяц пребывания в чужой стране, когда с избытком чисто внешних впечатлений и усилий по привыканию! Может быть, существовала предшествующая авторская редакция, лишь переписанная Вистендалем?

³⁸ Цит. по: Смолевский А.А. Ольга Александровна Ваксель (1903—1932) // Львова А.П., Бочкарева И.А. Род Львовых. Новоторжский родословец. Выпуск I.

Последнее стихотворение Ольги Ваксель — это своего рода предсмертная записка самоубийцы:

Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синее дало,
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполняюсь горестной печали.
Уже слепая к вечной красоте,
Я проклинаю выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Прозящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир — мне страшная тюрьма,
За то, что я испепеленным сердцем,
Когда и как, не ведая сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.

Октябрь 1932

Увы, в цикле ее сердечных привязанностей (а стало быть и «отвязанностей») ничего не изменилось: и норвежский рай оказался очередной ошибкой — непредставимой поначалу, но роковую на этот раз.

8

Весть о том, что Лютика нет в живых, что она застрелилась где-то в Скандинавии, достигла Мандельштама не сразу. В один из его приездов в Ленинград ее принес театральный журналист и, естественно, один из поклонников Лютика — Петр Ильич Сторицын³⁹. Гролом среди ясного неба новость не оказалась, иначе стихи памяти Ваксель — и несомненно другие — появились бы сразу.

Почему же тогда спусковой крючок сработал в начале лета 1935 года в Воронеже?

Причин тут две. Главная — это обращение к Гете, занятия которым заставили Мандельштама задуматься об этапах творчества поэта и о роли женщин на этих этапах. На все это постепенно наплывавший уже чисто «вакселевским» образ вожденной Миньоны.

Торжок, 2004. («Возможна ли женщине мертвой хвала?..» С. 264). Вот завершение этого рассказа: «... Через полтора года умер и Христиан от сердечной болезни. Юлия Федоровна взяла со всех своих друзей клятву, что об истинной причине смерти Ольги они ничего не скажут мне, ее сыну. В 1934 году переписка с Осло, с сестрой Христиана и с Норвежским консульством в Ленинграде прервалась».

³⁹ Сторицын (Коган) Петр Ильич (1894—1941), литератор, театральный критик.

Второе — это краткое отсутствие в Воронеже Нади. Стихи памяти Ваксель Мандельштам, безусловно, считал *«остро-изменническими»*, и в ее присутствии такие стихи автоматически не писались.

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

...Я тяжкую память твою берегу —
Дичок, медвежонок, Миньона, —
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

И сразу же слова о свадьбе в «заресничной стране» приобрели окончательный — совершенно новый и зловещий — смысл.

«ДАР ТАЙНОСЛЫШАНЯ ТЯЖЕЛЫЙ...» (ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ)

Николаю Богомолову и Вадиму Перельмутеру

1

Суровой и прекрасной зимой 1920—1921 гг. чуть не все оставшиеся в Петрограде поэты, художники и ученые стянулись в одно место, поближе друг к другу — в «убогую роскошь» Дома Искусств, целого артистического квартала на углу Невского и набережной Мойки. Это было не просто общежитие полугодных интеллигентов — это был целый культурный мир, а те несколько лет, что он просуществовал, обернулись целой эпохой — эпохой революционного напряжения и творческого подъема. «Дом Искусств» издавал свои журналы, многие из его постояльцев запечатлел и этот мир в своих произведениях, и просто удивительно, что весь этот богатейший материал, без проникновения в который многое непонятно в истоках сегодняшнего искусства, — до сих пор не собран. Какая замечательная могла бы получиться книга!

Главу о Ходасевиче в ней я бы открыл цитатой из мандельштамовского очерка:

«Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меблированных комнат, куда спланировали нас за неимением места в хоромы Дома Искусств, — поэта Владислава Ходасевича, автора “Счастливого домика”, чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девичий смех в морозную ночь» («Шуба»).

Действительно, 191 стихотворение, составившее пять прижизненных книг, — сколь это ничтожная цифра на фоне Мережковского, Брюсова, Бальмонта, даже Блока с их собраниями сочинений. Трудно подыскать поэта более скупого на стихи!..

Владислав Ходасевич родился в Москве, в Гостиной Слободе, 16 (28) мая 1886 года. Его отец и мать были родом из Литвы: Фелициан Иванович Ходасевич сомнительной карьере художника (он занимался в Академии художеств у Ф. Бруни) предпочел фотографическое ремесло, открыв магазин сначала в Туле, потом в Москве. Владислав, шестой ребенок в семье, обожал свою мать, Софью Яковлевну (урожденную Брафман). Семья была католической, но происхождение родителей позволило Ходасевичу с горечью откликнуться в ноябре 1914 г. — в одном из писем к Борису Садовскому — на газетные сообщения о погромах в Польше так: *«мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев»*.

Сам Ходасевич, хотя и был похоронен в Париже по католическому обряду, никогда не выказывал папистской ревности. Не забудем и того, что —

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она же была и няней Влади. Читать он выучился в три года, первые стихи, обращенные к младшей из своих двух сестер (*«Кого я больше всех люблю, / Уж всякий знает — Женичку»*), сочинил в шесть или семь лет. В раннем детстве он упал со второго этажа, в девять лет переболел черной оспой — и то, и другое обошлось без последствий.

В 1896—1904 гг. учился в 3-й Московской гимназии (в одном классе с братом Валерия Брюсова Александром), твердый «четверочник». В автобиографической канве, сделанной в 1922 году по просьбе Н.Н. Берберовой, обращает на себя внимание ремарка, относящаяся к 1903 году: «Стихи навсегда». В 1904 году поступил в Московский университет на юридический; спустя год — перевелся на историко-филологический, где проучился два года, после чего был отчислен за неуплату взноса за обучение.

Выход «Молодости» — первой книги Владислава Ходасевича — позволил ему снова приступить к занятиям осенью 1908 года. На сей раз на три полных семестра, после чего он снова увольняется, и снова по безденежью — с тем, чтобы осенью 1910 г. сделать третью и последнюю безуспешную попытку (на сей раз вновь на юридическом факультете). В мае 1911 года он распростился с alma mater навсегда.

2

К этому времени Ходасевич уже хорошо известен в московских литературных кругах. С 1902 года он участник вечеров Московского литературно-художественного кружка, страстный поклонник Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, с последним он близко и горячо сдружился. В 1905—1907 гг. Ходасевич дебютирует в периодике, причем скорее как критик, а не поэт (соотношение публикаций 4:1). В. Гофман и В. Брюсов, два рецензента его книги «Молодость», сравнили ее с «Романтическими цветами» — первой книгой Н. Гумилева, ровесника Ходасевича.

«Молодость» была посвящена М.Э. Рындиной, первой жене Ходасевича, и вышла спустя несколько недель после их разъезда. Два с половиной года брака с этой, по отзывам современников, столь же красивой, сколь и эксцентричной богачкой, личного счастья Ходасевичу не принесли (немудрено, что слова «карты» и «пьянство» чаще других мелькают в автобиографической канве за эти годы).

Вторая книга Ходасевича — «Счастливый домик» (1914) — объединила стихи 1908—1913 гг. Разрыв отношений с женщиной, не относившейся всерьез к чувствам полюбившего ее поэта, нелепая смерть матери, а затем и отца — этих трех событий, произошедших в 1911 году, было более чем достаточно, чтобы поставить Ходасевича на грань самоубийства: его спас Муни — Самуил Викторович Киссин, ближайший друг. Это описывает сам Ходасевич в «Некрополе»:

«Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: "Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты, в пустой квартире у Михаила".

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: "наше" не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в висок. Через сорок минут он умер».

Это произошло на рассвете 28 марта 1916 года в Минске, где Муни служил по санитарному военному ведомству: находившийся в Москве Ходасевич, увы, не смог вернуть долг своему спасителю. И на всю жизнь сохранил ощущение личной вины перед спасенным другом (1922):

Леди долго руки мыла.
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы, как птица,
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

Весной того же 1916 года у Ходасевича открылся туберкулез позвоночника, или спондилит, — следствие неудачного падения на именинах у поэтессы Любови Столицы, после чего позвоночник сместился. Гипсовый корсет, разумеется, не повышал настроения.

Ходасевич принял обе российские революции. 15 декабря 1917 года он писал Б. Садовскому: «Верю и **знаю**, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и ...того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная **трудовая** страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. <...> К черту буржуев, говорю я»¹.

И спустя полтора года, 3 апреля 1919, он пишет тому же адресату, что от «диктатуры бельэтажа» его «тошнит и рвет желчью»: «Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, и пойму дворянина, бездельника милости Божию, но рябушинскую сволочь, бездельника милостью собственного хамства, понять не смогу никогда.

<...> Поймите и Вы меня, в конце концов, приверженного к Советам. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно»².

«В России новой, но великой...» — скажет Ходасевич в своем «Памятнике», а пока, в 1923 году, напишет в стихотворении «Сквозь облака фабричной гари...»:

Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят: историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славилы они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни —

¹ Ходасевич, 1996. С. 359—360.

² Там же, 359—360.

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить
Два: побежденных не жалеть.

После революции, чуть ли не впервые в жизни, Ходасевич определился на службу. Сначала секретарем третейского судьи, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (комиссар труда В.П. Ногин даже предлагал ему заняться новой кодификацией законов о труде, но недоучившийся юрист-второкурсник, разумеется, не счел себя достаточно для этого компетентным), затем в Театрально-музыкальной секции Моссовета и в Театральном отделе переведенного в Москву Наркомпроса.

Летом 1918 года Ходасевич, вместе с П. Муратовым и другими, организовал первую «Книжную лавку писателей» в Москве, где, в свою очередь с другими, дежурил за прилавком, а Анна Ивановна Ходасевич, на которой он фактически женился в 1911 году, сидела за кассой (книга «Счастливый домик» посвящена ей). Одновременно он читал лекции о Пушкине в московском Пролеткульте. Зимой 1919—1920 гг. и он, и жена некоторое время служили в Книжной палате: он — заведующим, она — секретарем.

Недоедание, зимний холод (не выше пяти градусов!), переутомление — не прошли даром: весной 1920 года Ходасевич заболел тяжелой формой фурункулеза.

Тогда же появилась третья книга стихов — «Путем зерна». Ходасевич посвятил ее памяти Муни.

... Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

(1917)

В этой книге впервые встречается одна из излюбленных форм Ходасевича — длинные фрагменты, написанные нерифмованным разноstopным ямбом («Обезьяна», «Полдень» и др.).

В них, возможно, сказался такой переводческий прием Ходасевича, как его переложение русским дактилическим гекзаметром на-

писанных на иврите поэм Саула Черняховского. Вот начало одной из них — идиллии «Вареники»:

Редкое выдалось утро, каких выдается немного
Даже весной, а весна — прекрасна в полях Украины,
В вольных, как море степях! — Но кто же первый увидел
Прелесть прохладного утра, омытого ранней росой,
В час, как заря в небесах, розовая, воздушно сияет?
Жаворонок первый увидел...

В ноябре 1920 года Ходасевич с женой и ее сыном переезжает в Петроград, где поселяется в «Доме Искусств» (*«хорошие две комнаты, чисто, градусов 10—12 тепла...»*) и устраивается на службу в горьковскую «Всемирную литературу», чьим представителем в Москве он стал после переезда в новую столицу. Его избирают в комитет Дома Литераторов, в правление Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, в суд чести при этой организации, в Высший совет Дома Искусств. В этой, несколько искусственной и карнавальской, атмосфере литературного Петрограда, с удивительной быстротой — за два с небольшим года — сложилась четвертая книга Ходасевича «Тяжелая лира» (в ее первое, госиздатовское, издание 1922 года вошло 43 стихотворения, во второе, берлинское, 47 стихотворений, из них около 30 датированы 1921 годом).

С выходом «Путем зерна» Ходасевич окончательно утвердился в ряду первых поэтов Серебряного века. Не отрекаясь от предыдущих книг, тем не менее, с нее он повел отсчет своим лучшим стихам, составляя свое последнее прижизненное избранное — парижский том «Собрания стихов» (1927). Вторая часть этой книги и есть «Тяжелая лира», а третья — книга «Европейская ночь»: стихи, написанные Ходасевичем уже за границей.

3

Необходимо внести ясность в вопрос об отъезде В. Ходасевича за границу в июне 1922 года и его невозвращении на родину. Вот его собственная позиция: *«...Но с февраля <1922 г.> кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт сроком на 6 месяцев. Боюсь, что придется просить отсрочку, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена»³*

³ Новая русская книга. Берлин, 1922. № 7. С. 36—37.

«Кое-какие события личной жизни...» — это разрыв с женой, А.И. Гренцион, и любовь к юной Нине Берберовой, согласившейся уехать с Ходасевичем в Берлин и ставшей впоследствии его третьей женой. Стихи Ходасевича продолжали выходить в петроградских и московских изданиях вплоть до 1925 года (в журналах «Москва», «Творчество», «Россия», «Петроград», «Ленинград», осели в знаменитой антологии И. Ежова и Е. Шамурина). Все свои российские гонорары и значительную часть литературного заработка за границей (он в качестве критика сотрудничал в ряде газет, стихи, а также статьи печатал в «Современных записках», в «Беседе» — журнале, основанном им совместно с М. Горьким, и других изданиях) он пересылал Анне Ивановне Гренцион. Письма Ходасевича к ней этих лет свидетельствуют не только об их личной драме, но и об удивительном достоинстве и дружеской заботливости поэта.

Из них также ясно, что «кое-какие события личной жизни» оказались и главным тормозом на пути Ходасевича обратно в Россию. Вот выдержка из письма от 1 августа 1923 г.:

«...С радостью вижу, что последние твои письма писаны разумным и духовно здоровым человеком. Может быть, я преувеличиваю — но мне кажется, что теперь можно поговорить с тобой на серьезную тему, — которая, кстати, явится ответом на твой вопрос: когда я вернусь в Россию?»

Слушай. Дело обстоит так. Во-первых — сторона политическая. Могу ли я вернуться? Думаю, что могу. Никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. Самые же стихи совершенно лояльны и благополучно (те же самые) печатаются в советских изданиях. В Кремле знают, что я — не враг.

Хуже — второе. Здесь я кое-что зарабатываю. Жизнь здесь дешевле. Есть люди, которые мне помогают. А вот где я буду печататься в России — не вижу. Вряд ли я смогу там печатать больше, чем ты сейчас продаешь моих вещей. А сейчас я печатаюсь. То же самое два раза: там и здесь. Здесь легче находить издателей на книги. Здесь «Беседа», которая мне дает фунта 2 в месяц и в которой у меня есть верный кредит!! Но предположим, что я рискую — и все же решаю ехать в Россию, куда мне, конечно, очень хочется. Тут настает третья затруднение.

*Кроме визы советской, мне нужна **твоя** виза на въезд в Россию. Боюсь, что ее получить — труднее. Подумай хорошенько и просто, спокойно, по-человечески, ответь мне: сможем ли мы ужиться в Питере? (В Москву я ехать не хочу. Терпеть ее не могу). Пойми, что именно при условии той прямой и открытой дружбы, того хорошего, что есть у нас обоих нас друг к другу — мы **могли бы** ужиться. Поверь, что всегда и во всем я сумею (и гарантирую это) — сделать так, чтобы между*

нами был мир и покой. Но можешь ли ты гарантировать, что наши встречи будут происходить в таком тоне, чтобы им не делаться предметом всеобщего поганенького любопытства и злорадства? Без покоя я не смогу работать. Не работая, я существовать не могу. Очень прошу тебя ответить, думаешь ли ты, что мы уживемся в Питере? (...) Твое согласие я буду рассматривать, как обязательство, которое содержишь. Твое несогласие — как принуждение меня сидеть здесь»⁴.

В действительности этот «тормоз» был не единственным и даже не главным, все было значительно сложнее. Но, как бы то ни было, Ходасевич остался, не вернулся в Россию. Вся родина сгустилась, собралась в пушкинском восьмитомнике, — едва ли не единственном, что прихватил с тобой из России:

Но восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Жизнь на чужбине складывать не просто. В одном из писем он пытается пересчитать, сколько раз в жизни ему пришлось менять кров, жилище — и сбивается со счета. Ходасевич жил в Германии, Чехословакии, Италии, даже Ирландии, пока, наконец, в 1925 году окончательно не обосновался в Париже. Стихи писались с каждым годом все трудней и все реже: начиная с 1925 года — не более четырех за год! «Собрание стихов» 1927 года как бы подвело черту под периодом поэтического по преимуществу горения и мировосприятия.

Зарабатывая на хлеб текущей критикой, Ходасевич выпустил в 1930-х гг. три книги блистательной прозы: «Державин» (1931), сборник статей «О Пушкине» (1937) и мемуарную книгу «Некрополь» (1939). В 1954 году, уже в Нью-Йорке, Н.Н. Берберова собрала и выпустила еще один замечательный сборник Ходасевича — «Литературные статьи и воспоминания».

Особенно трудными для Ходасевича были последние его годы. Жизнь — в долг, карточные проигрыши, старые и новые болезни. В 1932 году его оставляет Н.Н. Берберова. Страшась одиночества, Ходасевич женится в 1933 году в четвертый раз — на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице писателя М.А. Алданова.

14 июля 1939 года, пятидесяти трех лет от роду, Владислав Фелицианович Ходасевич умер в частной клинике на улице Университэ,

⁴ РГАЛИ. Ф.537. Д. 50. Л. 18.

прожив лишь 13 часов после тяжелой операции. Наиболее вероятная причина смерти — рак поджелудочной железы.

16 июля, при большом стечении народа, его похоронили на кладбище Булонь-Бьянкур в предместье Парижа.

4

Человек редкой мужественности и правдивости, он имел достаточно воли сносить все жизненные напасти — и душевные, и физические. Расхожая легенда рисует его человеком злым, желчным, язвительным. Однако едва ли это определяло его характер, его человеческий облик.

...Душа выграла. Ей не надо
Ни утешенья, ни улад.

...Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жильё
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

Это «равенство гордое», возможно, и было главным в отношениях Ходасевича с людьми. Он был требователен к друзьям не меньше, чем к самому себе, и не все умели этому соответствовать. Софья Парнок — в стихотворении, датированном 30 ноября 1928 года и посвященном Ходасевичу, высказалась о нем так:

С детства помню: груши есть такие —
Сморщенные, мелкие, тугие,
И такая терпкость скрыта в них,
Что, едва укусишь — сводит челюсть...
Так вот для меня и эта прелесть
Злых, оскомистых стихов твоих.

Ходасевич любил и ценил шутку и, между прочим, написал сам несколько превосходных шуточных или иронических стихов. Так, после того, как Н. Павлович, читавшая в голодный год его стихи в Бежецке, привезла ему с десяток яиц — дар «благородных слушателей» — он написал свой первый — шуточный — «Памятник»:

Павлович! С посошком бродячею каликой
Пройдем от финских скал вплоть до донских станиц!
Читай мои стихи по всей Руси великой,
И столько мне пришлют яиц,

Что, если гору их на площади Урицкой
 Поможет мне сложить поклонников толпа,
 То, выглянув в окно, уж не найдет Белицкий
 Александрийского столпа!

Творческое одиночество, честность с собой и миром, преданность пушкинским традициям и поразительная духовная наполненность — вот подлинные столпы стихов Ходасевича.

Мне каждый звук терзает слух,
 И каждый луч глазам несносен,
 Прорезываться начал дух,
 Как зуб из-под припухших десен.
 («Из дневника»)

Из этой боли, из этого терзанья и родилось его уменье одновременно «нежно ненавидеть» и «язвительно любить» — ни с чем не сравнимая *тяжесть* его лиры:

Психея! Бедная моя!
 Дыхание робко затая,
 Внимать не смеет и не хочет:
 Заслушаться так жутко ей
 Тем, что безмолвие пророчит
 В часы мучительных ночей.
 Увы! За что, когда все спит,
 Ей вдохновение твердит
 Свои пифийские глаголы?
 Простой душе невыносим
 Дар тайнослышанья тяжелый.
 Психея падает под ним.

Но куда поэт — поэт, куда его муза, его душа, Психея еще выдерживает этот опасный для него — этот *тяжелый* дар, пока его глаза таковы, что и «сквозь день увидишь ночь», —

...пока вся кровь не выступит из пор,
 Пока не выплачешь земные очи —
 Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
 Как брызжет свет, не застилая очи.
 («Ласточки»)

Во всем, что касается пресловутой «техники стиха», Ходасевич удивительно традиционен, даже консервативен. Формальные задачи — поиск нового размера или неслыханной рифмы — органически чужды

ему. Он верит в старые мехи, в четырехстопный ямб например, верит в то, что ему по силам вобрать в себя все то историческое напряжение, которое так остро улавливал его поэтический слух, его тайнослышанье. Главной темой Ходасевича, пожалуй, был все же не «Недоносок» Боратынского, как считал в 1923 году Мандельштам («Буря и натиск»), а скорее лермонтовское: «Люблю отчизну я, но странною любовью...». В стихотворении, посвященном своей тульской кормилице, Ходасевич выразил это особенно грозно:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

И когда, на исходе дней, Ходасевич явственно ощутил себя неотъемлемым звеном единой, непрекращающейся цепи русской поэзии, он написал свой второй — серьезный и гордый — «Памятник»:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

P.S.

Несколько слов под конец об отношениях Мандельштама и Ходасевича. Во-первых, вслед за Л. Видгофом⁵, хочется несколько отодвинуть начало их личного знакомства. Оно произошло не летом 1916 года в Коктебеле, а 30 января в Москве: этим днем датирован автограф стихотворения «Императорский виссон», вписанный Мандельштамом в альбом Анны Ивановны Ходасевич⁶: разве стал бы Мандельштам, по уши влюбленный в Цветаеву, приходить к незнакомой ему женщине в отсутствие ее мужа, рецензия которого на «Камень» 1916 года вышла в этот же самый день в газете «Утро России»? И разве такой визит — возможно, совершенно спонтанный — подразумевает

⁵ Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город». М: Астрель, 2012. С. 595.

⁶ РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Д.127. Л.12.

хотя бы тень обиды на слова о «маске петербургского сноба» в тексте рецензии? Мандельштам, чей «Теннис» подвергся в ней уничижительной критике, отчасти и сам разделял ее настрой: уж больно хотелось наглядно и в рифму проиллюстрировать постулаты акмеизма. Мое дороже показали ему слова рецензента о холодной и размеренной чеканке строк, о замедленном и спокойном движении стиха, сквозь которое прорывается пафос, который не удалось сдержать.

Еще был жив Муни, еще далеко было до рокового шага на дачный балкончик у Любви Столицы, и Мандельштам с Ходасевичем, полагая, с интересом познакомились и с уважением пообщались. Летом же, из Коктебеля, последовали эпистолярные эскапады Ходасевича по поводу якобы непроходимой мандельштамовской «глупости» и «ущемления» его «литературного самолюбвица» и с непричислением его в итоге к лику поэтов. Едва ли в этом было больше концептуальной системности⁷, чем желчного раздражения затянутого в корсет ипохондрика поневоле, с неодолимой брезгливостью и завистью взирающего на дурашливую, глупую непосредственность шалящей у самого берега и хохочущей безо всякого повода молодежи.

А о том, насколько это «комплекс поэтической полноценности» у Ходасевича преходящ, лучше всего свидетельствует другая его рецензия — на «Tristia». Вопрос о том, поэт ли Мандельштам, более не встает, коль скоро его поэзия — *«благородный образчик чистого метафоризма. Подобно Адаму поэт ставит главной целью — узнавать и называть вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой... Поэзия Мандельштама — танец вещей, являющийся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, — поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов... Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного...»*⁸.

Мандельштаму же и в голову не приходило ставить под сомнение качества поэзии Ходасевича. И Александр Кушнер все же не прав, утверждая, что их жизни проходили в непересекающихся мирах⁹. Иначе бы Мандельштам не включил Ходасевича в малый круг своих современников — *«русских поэтов не на вчера, не на сегодня, а на всегда»* («Выпад»)

⁷ См., например, в: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С.456—460.

⁸ Дни (Берлин). 1922. 13 ноября. С. 11.

⁹ Кушнер А. Мандельштам и Ходасевич // *Столетие Мандельштама*, С.44.

«Я МЕТАЛСЯ В ПОИСКАХ РОДИНЫ...» (ВАЛЕНТИН ПАРНАХ)

Евгению Витковскому и Семену Заславскому

*...В Петербурге я давно привык жить, как тень.
Я жил, как тень, и здесь в Париже. Далеко от русских,
от евреев, от всего мира. Иногда я жил так, как будто
уже умер¹.*

*Он носил дедушкину визитку и кашне — другого
у него ничего не было. Рыжеватоенький, весь покрыт
веснушками ... Лицо у него было тонкое и вдохновенное².*

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока!..³

1

Валентин Яковлевич Парнох родился 15 (27) июля 1891 года в Таганроге в еврейской, но вполне обрусевшей семье. Его отец, аптекарь и врач Яков Соломонович Парнох (1853?—1913), был одним из самых богатых в городе людей. Мать, Александра Абрамовна (девичья фамилия Идельсон), умерла около 1899 года. Детей воспитывала мачеха, Алиса Яковлевна Каминская, от опеки которой пасынок постарался как можно скорее избавиться. И это ему удалось с окончанием гимназии: как медалиста, его зачислили в Санкт-Петербургский университет.

У него было две сестры, и обе, как и брат, писавшие: обе, в отличие от брата, «попали» в «Краткую литературную энциклопедию». Особенно известной (и, впрочем, заслуженно) была его старшая сестра — Софья Яковлевна Парнок (1885—1933). Как и брат, она изменила себе фамилию: но если Валентин сделал это ради того, чтобы приблизиться

¹ В. Парнах. Пансион Мобер.

² Из воспоминаний Е.М. Фрадкиной (в архиве автора).

³ О. Мандельштам. Египетская марка.

к написанию имени ветхозаветного Парнаха, или Фарнаха⁴, то София руководствовалась исключительно соображениями благозвучия. Умница и язва, она снискала себе известность и как поэтесса — автор лирических сборников «Стихотворения» (1916), «Розы Пиэрии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926) и «Вполголоса» (1928), — и как переводчица: перевела в основном «французов» — Бодлера, Роллана, Пруста и др.

Елизавета Яковлевна Тараховская (1891—1968), — к слову сказать, она и Валентин Яковлевич были близнецами, — была более известна как детская писательница, автор книг «О том, как приехал шоколад в Моссельпром» (1925), «Метрополитен» (1932, при переизданиях — «Метро»), «Стихи и сказки» (1965), пьесы «По щучьему велению» (1936) и др. В конце жизни выпустила и два лирических сборника — «Скрипичный ключ» (1958) и «Птица» (1965), занималась также переводами.

Таганрог лежал вне черты оседлости, преобладающей культурной средой в городе была русско-греческая. Сильнейшими гимназическими впечатлениями (восемь лет) были, однако, стихи на латыни и впервые прочитанные Бодлер и Верлен, — французский язык с детства был как родной. Первое собственное стихотворение Парнах написал в 9 лет, оно начиналось так: *«Моисей, о, если б ты увидел / Позор народа своего!..»*. Как видим, девятилетний автор всерьез мечтал о судьбе освободителя евреев!

Парнах поступил в Петербургский университет на юридический факультет без экзаменов — в числе 45 евреев-медалистов, «положенных» по «норме». Но доучиться в России — стране погромов и мракобесных процессов об убиении христианских младенцев — ему было не суждено: все последующее десятилетие — период непрерывных скитаний и метаний по белу свету.

Путь его пролегал сначала на юг Европы и вскоре впервые привел в Париж. Привел для того, чтобы вскоре — уже в июле 1914 года (война!) — его, Париж, покинуть.

«Полетим к светлым городам Азии...» — этот стих Катулла стал для Парнаха указующим перстом; путеводителем же служило «Путешествие на Восток» Жерара де Нерваля⁵. В Константинополе он садится на русский пароход и отправляется в Палестину.

Честно пытался Парнах найти свое место в ветхозаветной Палестине. *«Я еще не признавался себе, что у меня меньше любви к евреям, чем отращения к царской России ... Наконец, вдали от Европы, больше, чем когда-либо, я почувствовал себя европейцем и осознал, что был*

⁴ Книга чисел, 34, 25.

⁵ Отрывки из «Путешествия ...» — в переводе В. Парнаха — были опубликованы в «Северных записках» в 1913 г.

им всегда. И я впервые испытал необходимость поселиться в Европе...». В яффской гостинице он искренне завидует европейцам, возвращающимся в свои страны, чтобы вступить в армию: «Мне казалось, они счастливы. Ведь у них есть родина».

Но и здесь, в Палестине, поэт чувствовал себя чужим. Ему было мучительно не по себе — без снегов, без стихов, без родины. Русский язык и русская поэзия неудержимо тянули к себе, — и он снова едет в Россию!

На том же пароходе, что и он, правда, на другой палубе, ехали православные паломники-антисемиты. От омерзения Парнах сходит в одном из болгарских портов и уже по земле возвращается в Россию: *«Граница! Казалось, за мною захлопнулась дверь тюрьмы».*

Интуиция не обманула его. После всего того, что он в России увидел, что пережил и что понял, негодование охватило его. А увидел он, например, еврейскую депортацию из прифронтовых губерний: *«Еврейских бедняков изгоняли из прифронтовых губерний, увозили в скотных вагонах, помеченных надписью “40 евреев, 8 лошадей”. На этих отверженных тяготело проклятие; запрещено было оказывать им помощь. Случалось, что губернатор той области, куда их направили, не желал их принимать и отсылал обратно. Тогда первый губернатор возвращал их второму, и оба принимались играть в мяч, пересылая друг другу “унутренних врагов”. Так в этих подвижных тюрьмах перевозилось мясо для погрома»⁶.*

Об этих вагонах Парнах написал и в стихах:

*Вповалку и по накладной!
Евреи в вони скотского вагона
После резни очередной.
Вот где цвести вам, пальмы Соломона!*

...Язык! Русский язык? Писать по-русски?! Но не преступление ли это против этих несчастных — гонимых Россией евреев?..

*Но что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая.*

«Раньше область стихов, — писал он, — была для меня убежищем, и вот это последнее убежище осквернено царской Россией. Ведь язык — некая броня, которая предохраняет поэта от натиска внешнего мира. И вот эта броня оказалась неверной защитой. Ведь язык — оружие, мое единственное. И вот я безоружен. И это оружие обращается против меня самого»⁷.

⁶ Парнах, 2005. С. 37—38.

⁷ Парнах, 2005. С. 29.

И что же?

Из *такой* России оставалось только бежать, уехать. И в 1915 году, кружным путем через Стокгольм и Лондон, он попадает в Париж, где живет более шести лет.

...За кажущейся беспорядочностью перемещений открывался, однако, своеобразный строй: русский по языку и поэтическому призванию, европеец по культурному самоощущению, иудей по крови — Валентин Парнах метался в географическом треугольнике Россия — Европа — Палестина, нигде не находя успокоения и повсюду тоскуя о недостающих углах треугольника.

2

Поэтическое призвание Валентин Парнах ощущал в себе с детства, но по-настоящему оно проявилось только в конце 1910-х гг. в Париже. Здесь он основал «Палату Поэтов», и, по выражению А. Бахраха, был «одним из ее столпов». На заседаниях «Палаты» он не раз выступал и со стихами, и с докладами (в частности, «На смерть Блока», «О новых формах поэзии», «Рецепт для публики»).

В Париже вышли и первые его сборники — «Набережная» (1919, с рисунками М. Ларионова), «Самум» (1919, с рисунками Н. Гончаровой) и «Словодвиг. Motdipamo» (1920, на русском и французском языках, с рисунками Н. Гончаровой и М. Ларионова). В 1922 году в парижском издательстве «Франко-русская печать» вышла еще одна книга стихов Валентина Парнаха — «Карабкается акробат». На обложке — портрет автора работы Пабло Пикассо, в книге — рисунки Натальи Гончаровой и Ладло Гудиашвили (Dilado), а также авторские иероглифы танцев. С этим поэтическим сборником вышла такая история: парижская газета «Общее дело» обвинила автора в порнографии — два стихотворения были посвящены фаллическому ритму и, по выражению автора, «фаллической фантастике в индийском роде». После этого издатель — О.Г. Зелюк — распорядился вырезать из книги страницы 25—26, восстановленные лишь в авторских экземплярах.

Здесь же, в Париже, были написаны поэма «Саббатеянцы» и книга статей о современности и новой поэзии (и поэма, и статьи были впоследствии утрачены). В 1919 году он (вместе с рядом видных эсеров, кстати сказать) участвовал в редакционной подготовке сборника произведений русских воинов «На чужбине»⁸.

⁸ См.: На чужбине. Сборник произведений русских воинов. 1914—1919 / Издание газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». Париж, 1919(?). На с. 5 читаем: «От редакции: выражаем признательность О.С. Минору, В.Я. Парнаху,

Несмотря на бесспорный творческий дар автора, несмотря на наличие большой и неоспоримо прочувствованной темы, поэтическим потрясением стихи Валентина Парнаха все же не стали.

И все-таки многие ставили их достаточно высоко. Например, Довид Кнут, приехавший в Париж в 1920 году и посвятивший Парнаху (наряду с М. Таловым и А. Гингером) целую статью («Первые встречи, или Три русско-еврейских поэта»):

«...С формальной точки зрения Парнах был эпигоном футуризма. Фактически же ему удалось создать нечто вроде синкретического искусства из акмеизма и истинного футуризма взамен той карикатуры (временами, правда, дававшей плоды), которая, в соответствии с учением Маринетти, именовалась в России “футуризмом”.

Русская поэзия по обе стороны границы не знала, как мне кажется, поэта машин и механизмов столь значительного, с таким талантом и размахом, как Парнах. В его “механистических” стихах, написанных со скупостью и пренебрежением к псевдопоэтическому украшательству, нет-нет, да и мелькнет неожиданно и социальная скорбь, и подобие метафизической боли за униженных и оскорбленных, которые позволительно связать с еврейским происхождением этого русского футуриста...».

Кнут вспоминал о Парнахе как о «...человеке крайне замкнutoм, невысокого роста, рыжем, с узким лицом, телом напоминающем змею. Изумительными были его голос и пластика». Был он «...не только поэтом, но и танцором, создавшим свой собственный стиль, в котором негритянский фольклор соединился с неповторимым хореографическим искусством»⁹.

Своим совмещением танца и поэзии, как и своим еврейским происхождением, Парнах необычайно гордился. «Должно быть, — продолжал Д. Кнут, — это единство рисовалось ему, как современная вариация на древнюю тему жреца-поэта...

Помню еще “лежащий танец” Парнаха. Не знаю, понимал ли это сам поэт-танцор, но его танцы, которые он исполнял облаченным в смокинг, самым причудливым образом, в декадентской форме, выражали кризис нашей урбанистической цивилизации и, возможно, даже крах агонизирующего общества»¹⁰.

Еще в Петербурге Парнах брал уроки танцев, а в Париже начал изобретать танцы сам, изобретать — и исполнять. В мае-июне

В.М. Зензинову и М.О. Цетлину, разделивших с нами редакционно-издательскую работу» (сообщено С. Гардзонио).

⁹ Цит. по: Кнут Д. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1 / Сост. и коммент. В. Хазана. Иерусалим, 1997. С. 269—270.

¹⁰ Там же.

1921 года в Париже и в Риме¹¹ с успехом прошли вечера новых танцев В. Парнаха. Он был, в сущности, чем-то вроде джазового танцовщика, создателя причудливых танцевальных композиций, для записи которых, кстати сказать, Парнах разработал оригинальный, наподобие нотописи, «язык танца» — своеобразные хореографические алфавит и грамматику. Чего стоят одни только названия этих танцев — «Лос бандерильос», «Эпопея», «Жирафовидный истукан» или «Этажи иероглифов»! В 1932 году в Париже он даже выпустил монографию «История танца»¹².

3

Летом 1922 года В. Парнах в очередной раз возвращается в Россию, на сей раз уже в советскую Москву. Произошло это во второй половине августа, как явствует из письма В.Я. Парнаха А.М. Ремизову от 30 августа, сохранившегося в фонде последнего в Центре Русской Культуры Амхерст-колледжа (штат Массачусетс, США): *«Дорогой Алексей Михайлович, шлю Вам и Серафиме Павловне преданный привет из Москвы. Ехал неделю + три дня карантина в Великих Луках, с трудом вырвался оттуда. Спал на узкой доске, на соломе, на чемоданах. Сейчас сплю на скамье в Союзе Писателей: Тверской бульвар, 25, где меня на несколько дней устроил О.Э. Мандельштам. Мейерхольд сейчас в ПБ, приезжает на днях. Я привез jazz-band. Это письмо привезет Вам поэт Б.Л. Пастернак».*

Осип и Надежда Мандельштам, сами приехавшие в Москву из Киева сравнительно недавно, в апреле 1922 года, получили комнату в писательском общежитии Дома Герцена, в его левом флигеле. Они не только устроили Парнаха на несколько дней, но и добились выделения ему отдельной комнаты в писательском общежитии в Доме Герцена на Тверской. Соседями его в 1922—1924 гг. были сами Мандельштамы: в их две комнатухи можно было попасть, только проходя через комнату Парнаха.

О прибытии Парнаха оповестила и газета «Известия», поместив на первой странице объявление: *«В Москву приехал Председатель Парижской палаты поэтов Валентин Парнах, который покажет свои работы в области новой музыки, поэзии и эксцентрического танца, демонстрировавшиеся с большим успехом в Берлине, Риме, Мадриде,*

¹¹ Весной 1921 г. в Риме он жил на Виа Бабиано, в доме адвоката Антонио Гера (см.: Новая русская книга. Берлин, 1921, № 4).

¹² Parnack. Histoire de la danse. Paris: Redier, 1932.

Париже»¹³. Парнах тут же попадает в центр внимания артистической Москвы, он нарасхват, его рвут на части. Он сближается с поэтической группой «Московский Парнас», выступает с лекциями и публикует статьи. Его танцы становятся сенсацией. Он учит фокстроту Эйзенштейна и ставит танцы в театре Мейерхольда — с участием Игоря Ильинского, Марии Бабановой и Льва Свердлина. Именно с приездом Парнаха у Мейерхольда, как полагает Алексей Баташев, начинается период биомеханики.

Мало того, Парнах стал первым человеком, познакомившим российскую публику с новым мировым музыкальным явлением — *«потрясающим искусством с пронзительно звенящим и жужжащим названием — с джазом»*¹⁴. Из Парижа в Москву он привез весьма экзотические предметы — саксофон и наборы сурдин для труб и тромбонов. По свидетельству Евгения Габриловича, Парнах основал первый в СССР джаз-бэнд и дал первый в СССР джаз-концерт.

Произошло это в переполненном зале Дома печати: *«Парнах прочел ученую лекцию о джаз-банде, потом с грехом пополам (ибо никто в Москве не умел играть на саксофоне) сыграли джазовые мелодии. Когда же сам Парнах исполнил страннейший танец «Жирафовидный истукан», восторг достиг ураганной силы. И среди тех, кто яростно бил в ладоши и зывал «еще», был Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он тут же предложил Парнаху организовать джаз-бэнд для спектакля, который тогда репетировался...»*¹⁵.

4

Парнах увидел в джазе и донес до московского зрителя то в джазе, что Алексей Баташев назвал *«сплетением мировых культур»*. О джаз-бэнде он говорил, что тот *«одновременно чрезвычайно прост и чрезвычайно сложен, как и современная жизнь. Его простота — мелодия. Его сложность — экспрессия»*.

Несомненно, Мандельштам «использовал» свое близкое знакомство с Валентином Парнахом при написании «Египетской марки», наделив его главного героя — Парнока — не только чертами, но и самим именем Парнаха. *«Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него...»* — эта отчаянная реплика Мандельштама вполне могла быть воспринята Парнахом как пощечина.

¹³ К сожалению, А. Баташев, первым приведший эту публикацию, не указал ее точной даты.

¹⁴ *Баташев А.* Валентин Парнах: пророчество жирафовидного истукана // Джаз-Квадрат (Минск). 1998. № 7.

¹⁵ *Габрилович Е.* Рассказы о том, что произошло // Искусство кино. 1964. № 4.

Известно, что Парнах, действительно, смертельно обиделся. Напрасно. С трагическим и шаржированным образом Парнока — главного персонажа этого произведения — литературная молва прочно связала и самого автора «Египетской марки». Как бы то ни было, но образ Парнока несет в себе черты и черточки разных судеб и характеров. Главное в нем — сочетание хрупкости, напуганности, уязвимости и уязвленности — с чувством достоинства, чести, с бесстрашием в вопросах жизни и смерти.

И, каким бы жалким, беспомощно-хрупким ни казался нам Парнок, — в прачечной ли рядом со священнической рясой Бруни или в прихожей портного Мервиса — именно он, этот Акакий Акакиевич наших дней, отождествления с которым так опасался «автор», — именно он бросается в самую гущу событий, пытаясь доступными ему средствами спасти от расправы неизвестного ему человека, приговоренного толпой к самочинной расправе! Не подобным ли образом действовал в свое время и сам Мандельштам, так боявшийся клопов и милиционеров, но сразу же выхвативший из рук одного начинающего поэта, более известного как убийца Мирбаха, пачку арестных ордеров, которыми тот вертел перед его носом, пьяно хвастаясь властью над «пачкой» судеб? Мандельштам разорвал их на глазах остолбеневшего и уже почти отвыкшего от человеческих поступков чекиста!..

Биография самого Парнаха содержит немало такого, что решительно несовместимо с образом неудачника-Парнока. Но кем бы Парнок ни был — Парнахом или Мандельштамом, или сразу обоими, — куда важнее то, что несколько лет Валентин Парнах и Осип Мандельштам жили бок о бок и тесно общались. И не исключено, что сама идея, несколько странная для 30-летнего человека, — идея обратиться к писанию мемуаров — пришла в голову одного из них под влиянием или по примеру другого: Мандельштам написал в 1923—1924 гг. «Шум времени», а Парнах — «Пансион Мобер».

5

В середине 1920-х гг. Валентин Парнах, по собственному признанию, начал задыхаться от *«...тирании предшественников РАПП, от злобного православия старой загнивающей интеллигенции, от расцветшего с новой силой общественного антисемитизма»*.

В 1925 году он выпустил свой последний, — а на родине, к слову, первый, — поэтический сборник: «Вступление к танцам».

И вот в конце 1925 года Парнах снова едет в Париж — и снова на шесть лет.

Там он печатает свои переводы... с русского на французский. В частности, отдельными книгами вышли проза К. Федина¹⁶ и гражданская поэзия Пушкина¹⁷. Печатается и в периодике, в том числе в англоязычной. Так, в 1926 в американском еврейском двухмесячнике «The Menora Journal» он опубликовал статью «В русском литературном мире», посвященную Гершензону, Пастернаку, Мандельштаму, Анткольскому и Лапину¹⁸.

Как-то в библиотеке он наткнулся на протоколы испанской инквизиции. Среди них обнаружили редкостные, в тюрьмах написанные стихи: *«Казалось, моя кровь текла вспять к родной древности. Да я и сам пережил некую инквизицию в царской России... Все, что было инквизиционного в нашем веке, пребывало во мне самом. В биографиях и стихах испанских и португальских поэтов-евреев, подвергнутых пыткам, изгнанных или загубленных инквизицией, я — как это ни страшно — обретал некий покой: ведь их участь была куда жестче моей, и все-таки они писали на языке инквизиторов. В этих книгах я черпал новые силы. Из этого тюремного мира я выходил, возрожденный к жизни»*¹⁹.

Это был целый пласт трагической поэзии, — поэзии, загубленной и похороненной испанской или португальской инквизицией. Знакомство с судьбами и стихами еврейских поэтов, большая часть которых пали жертвами инквизиции, но писали стихи на языке своих убийц, потрясло Парнаха до глубины сердца и подвигли на перевод, — как на русский, так и на французский языки, — всего того, что после них осталось. Во Франции книга вышла в 1930 году (под названием «Инквизиция»), а в России — в 1934 году (в издательстве «Academia» и под названием «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции»).

Впечатление же она произвела на современников сильнейшее: известно, как восторгался этой книгой в Воронеже Осип Мандельштам! Из писем С.Б. Рудакова жене мы знаем, что находящийся в ссылке поэт был потрясен ею настолько, что даже начал учить испанский язык.

Надо полагать, что, читая, Осип Эмильевич вспоминал не Парнока из своей прозы, а живого Парнаха, своего ровесника и соседа по Дому Герцена.

¹⁶ Fedin K. Transvaal. Paris, 1927.

¹⁷ Pouchkine A.S. Poèmes révolutionnaires... Paris, 1929.

¹⁸ Parnach Valentine. In the Russian World of Letters // The Menorah Journal (New York). June-July 1926. Vol. 12. No.3. P. 302—305. Фрагмент из этой статьи — под заглавием «О некоторых образах Мандельштама» — опубликован на русском языке в: Мандельштам О. Собрание сочинений в 2 т. Т.2. Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Вашингтон, 1966. С. 399—412.

¹⁹ Парнах, 2005. С. 16—91.

6

Из Парижа Парнах вернулся в 1931-м, и эти скитания, наверное, продолжались бы еще долго, когда бы советская власть была согласна. Но она не была согласна, и поездки прекратились: ни второго, ни третьего Эренбурга Сталину не требовалось.

В.Я. Парнах был талантливым переводчиком, и последние двадцать лет жизни он почти полностью отдал переводам. Он переводил не только с французского, который знал в совершенстве (особо выделим его перевод «Трагических поэм» Агриппы д'Обинье), но и на французский; мало того, он и сам писал стихи по-французски. Переводил с испанского (великолепен его Лорка!) и с португальского, кроме того — с немецкого и итальянского.

Главными и бесспорными достижениями Парнаха-переводчика стали книги «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции» (1934, серия «Лит. памятники») и «Трагические поэмы и мемуары» Агриппы д'Обинье (1949), стихи Федерико Гарсиа Лорки, а также пьеса Кальдерона «Жизнь есть сон».

Остается только гадать, как Валентин Парнах, этот вечно ищущий родину человек, этот Вечный Жид и безродный космополит, уцелел в 30-е и в 40-е годы. Не приходится сомневаться: он прожил это время в каждодневном страхе.

Страшной осенью 1941 года Парнах с семьей был эвакуирован в Чистополь. Как и другой изгой — Цветаева, Парнах попытался устроиться за кусок хлеба в литфондовскую столовку: он — стоять в дверях, она — мыть посуду. Его — взяли, а Цветаеву, как известно, нет (после чего она переехала в Елабугу — навстречу смерти).

Парнаху же оставалось жить еще десять лет. Он умер 19 января 1951 года, полгода не дожив до своего 60-летия, и похоронен в стене Новодевичьего монастыря. Судьбе было угодно, чтобы он умер в своей постели: это произошло хотя и после убийства Михоэлса, но еще до дела врачей и смерти Сталина.

Но, если уж и были в СССР настоящие космополиты, то Валентин Яковлевич Парнах был, несомненно, одним из них. Больше всего его хочется сравнить с Агасфером, пространством вечных странствий которого был мысленный треугольник между Россией-СССР, Палестиной и Францией (Парижем).

Одной из осей его «космополитического» мироздания, наряду с Россией и Палестиной, была Европа, чьими символами, последовательно спускаясь с этажа на этаж, были Франция, Париж, Латинский квартал и его тихая комнатка в большом, шумном и гротескном пансионе.

Назывался он так же, как и сам парнаховский мемуар, – «Пансион Мобер».

Собственно говоря, это даже не воспоминания, а исповедь Валентина Парнаха. Бесправный российский еврей, зажатый «чертой оседлости» и «процентной нормой», он задыхался в царской России — стране-тюрьме, как он ее буквально кожей ощущал и поэзию которой так страстно, так самозабвенно любил.

Зажигаясь, словно жар-птица, на искрящихся стыках культур, языков и жанров, он исполнил несколько блистательных па на ничейном и вольном небосводе. Очередное приземление в Москве ознаменовалось укрощением беса вечной мобильности. Здесь, в России советской, – в герметической стране-лагере, – он окончательно сложил крылья и обернулся «мыслящей саламандрой» из мандельштамовской прозы.

Спрятав под ненужные уже перья свое марранство и агасферство, она талантливо слилась со стенкой террария.

АВИАТОР, СВЯЩЕННИК, ПОЭТ... (НИКОЛАЙ БРУНИ)

Памяти Нины Константиновны Бруни-Бальмонт

Есть в «Египетской марке» одно невымышленное имя — отец Бруни.

Вводя в ткань повести реальную и достаточно широко известную фигуру, Мандельштам сращивает жизнь и вымысел, дает понять, что особой разницы между ними нет, усиливает и без того не слабое впечатление жизненности «вымысла». В свою очередь и жизненная правда, попав в атмосферу естественной и искусственной «забывчивости» не выдерживает и разрушается, как бы ржавеет. И сейчас, в итоге, имя мандельштамовского товарища по первому Цеху поэтов отца Николая Бруни само по себе скажет читателю немногим больше, чем вымышленное имя Кржижановского или искаженное имя Парнока¹.

Вместе с тем о Николае Александровиче Бруни более чем стоит рассказать. Он родился 16 (28) апреля 1891 года в Петербурге. Его отец был известным архитектором, дядя — еще более известным художником. Живописью занимался и Николай Александрович (большим художником стал его младший брат Лев²). Образование получил в Тенишевском училище (учился на год позже Мандельштама), а позднее — в Петербургской консерватории (окончил ее по классу фортепьяно в 1913 году). Владел пятью иностранными языками и еще эсперанто, увлекался... и футболом (был заядлым футболистом и членом первой в Петербурге футбольной команды). В 1911—1914 гг. входил в Цех поэтов, печатал стихи в «Голосе жизни», «Новой жизни», «Гиперборее». В 1914 году ушел на фронт добровольцем, служил сани-

¹ Впрочем, у постановщиков «Египетской марки» в театре-студии имени Петра Фоменко нашлись веские резоны даже для того, чтобы сделать отца Бруни и его окровавленную рясу едва ли не главными персонажами спектакля.

² На квартире Л. Бруни собирался Литературно-художественный кружок, членами которого были и Н. Бруни, и О. Мандельштам (см.: Пунин Н.Н. Квартира № 5 // Панорама искусств. Вып. 4. М., 1981. С. 156—157).

таром, на фронте писал рассказы и «Записки санитар-добровольца». Полный георгиевский кавалер!

В 1915 году он окончил петроградскую школу авиаторов, а в 1916 году произошло событие, направившее его жизнь совершенно по иному руслу. Во время боевого вылета его самолет потерял балансировку и врезался в землю. Последней мыслью было — «Мы погибли!».

Но он не погиб. Болгарская санитарная машина спасла его (дело происходило в Одессе). На самой грани жизни и смерти — 18 переломов! — жизнь взяла вверх, но смерть — на память о себе наградила пожизненной хромотой (одна нога стала короче другой на семь сантиметров!).

В ознаменование этого чуда Николай Бруни решает стать священником. Революция застала его в Харькове за получением духовного образования (одновременно он брал столярные и печные работы). Предположительно в 1918 году, приняв сан, отец Николай получил маленький приход где-то под Харьковом, затем в Козельске (Георгиевская церковь), а затем в Москве, в Николо-Песковском переулке, но этот приход так и не открылся.

Современникам заполнилась панихида, отслуженная им по Александру Блоку. Он начал ее с того, что с амвона прочел: «Девушка пела в церковном хоре...». Казалось, что «...завучал пророческий голос самого Блока»³.

В начале 1920-х годов отец Бруни поселился в Оптиной Пустыни, но здесь не служил, хотя и сана не снимал. В 1924 году он получил приход Касынь в Тверской губернии (в 16 км от Клина), а в 1926 — приход в Клину, где прослужил до 1928 года. Именно в этот промежуток, по видимому, он и ездил накоротко в Ленинград, где «попался» на перо Мандельштаму с его «Египетской маркой».

Сейчас уже много известно о тех гонениях, которым в конце 1920-х годов подвергалась православная церковь. Отцу Николаю пришлось сменить призвание на профессию. Он пытался вернуться в испытательную авиацию, но жил от продажи собственноручных мольбертов и деревянных игрушек, продававшихся в московской Лавке художников. На рубеже 1929—1930 гг. после встречи на улице со своим товарищем инженером Акатовым⁴, он начал делать технические переводы для военно-авиационного НИИ (со всех пяти языков!), а затем работал в авиаконструкторском бюро.

Эта работа дала не только средства, но и крышу: к этому времени у Николая Александровича, женатого на Анне Александровне Полиевктовой (1898—1959), было уже шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.

³ Львов-Рогачевский В.Л. Поэт-пророк. М., 1921. С. 25.

⁴ Не тот ли это инженер Н. Акатов, что работал на пересылке в то же самое время, когда там был и Мандельштам?..

Но квартира же и погубила, оказавшись даром данайцев: в декабре 1934 года, сразу после убийства Кирова, он был арестован — сосед донес, что он принимает у себя иностранцев. Иностранцем был французский авиатор и коммунист Жан Пуантисс, подаривший его детям кой-какую одежду. Случай ясный, так что следователь Полозов закончил свою работу уже 12 января⁵ 1935 года: приговор — пять лет ИТЛ.

Попал же Н.А. Бруни в лагерь Чибью под Ухтой. Лагерный художник, он выполнил самые разные заказы — от портретов жен лагерного начальства и игрушек для их детей до замечательного гипсового памятника Пушкину, установленного в 1937 году⁶. В качестве награды скульптору разрешили месячное свидание с женой: Анна Александровна привезла домой, в Малый Ярославец, его автопортрет и несколько стихотворений. В одном из них («Декабристы») пушкинские мотивы переплелись с гулаговскими:

...Сомкните мудрые уста,
Отдайтесь радости в страданье,
Пускай упрямая мечта
Созреет в северном сиянье.
Забудем счастье и уют
И призрак мимолетной славы,
Пускай нас братья предадут,
Но с нами Данте величавый.
Сильней симфоний и стихов
Греметь мы будем кандалами,
И мученики всех веков,
Как братья старшие, за нами.
Пусть нам свободы не вернуть,
Пусть мы бессильны и бесправны!
Но наш далекий, трудный путь
Постигнет прозорливый правнук.
О, не оглядывайтесь вспять,
О, не заламывайте руки —
Для тех, кто любит, нет разлуки,
Так солнце может мир обнять!

В 1936 году осужден еще раз и приговорен уже к 10 годам. А в ноябре 1937 года на отца Николая открыли третье дело («внедрение религиозных традиций в среду заключенных»!), и 29 января 1938 года⁷ его

⁵ По другим данным 3 марта 1935 г.

⁶ В юбилейный для Пушкина 1999 год его восстановили в бронзе.

⁷ По другим данным 4 апреля 1937 г.

расстреляли на так называемом «Одиннадцатом километре», на берегу Ухтарки. Перед залпом он пел псалмы, а после залпа расстрельная команда или другие охранники продавали его кисти и краски — чем не универсальный символ для отношений художника и власти в СССР?..

В 1957 году Николая Бруни реабилитировали.

Справка о реабилитации пришла всего за неделю до смерти жены, осужденной в 1945 году на 10 лет лагерей за сотрудничество с немцами (Анна Александровна была переводчицей в оккупированном Малом Ярославце). Совершенно больная физически (астма и эпилепсия) и душевно, она отбыла весь срок и освободилась в 1955 году...

ТОВАРИЩ ПО ССЫЛКЕ (ПАВЕЛ КАЛЕЦКИЙ)

Татьяне Калецкой и Наталье Гецовой

1

Павел Исаакович Калецкий был моложе Мандельштама на 15 лет. Он родился в январе 1906 года в Могилеве¹ в семье инженера². В 1915 году поступил в могилевское реальное училище, а завершил свое среднее образование он уже в Бобруйске, куда семья переехала в 1918 году: отец работал в аппарате уездного совнархоза, а затем на заводах инженером. Здесь же, в Бобруйске, в 1921 году начинает работать и сам Павел — библиотекарем в Центральной библиотеке.

В январе 1923 года от грудной жабы умирает отец, и семья — мать и двое сыновей — переезжает в Москву. П.И. Калецкий устраивается старшим библиотекарем в библиотеку Коммунистического университета им. Свердлова³, а в 1925 года, не оставляя работы, поступает на литературное отделение Первого МГУ. Окончив учебу в 1930 году, он уходит и из Комуниверситета и работает в Госиздате — сначала библиографом, а затем редактором социально-экономического отдела. В 1931 году на год уезжает в провинцию, в Нижний Новгород, где редактирует художественную литературу в краевом издательстве. Вернувшись в Москву, возвращается в библиотеку Комуниверситета, на сей раз в должности старшего научного сотрудника.

Еще на студенческой скамье Павел Исаакович приобщился к научной работе: в 1928 году он сделал доклад по фольклору в Государ-

¹ Биографические сведения почерпнуты в основном из «Автобиографии», датированной 26 октября 1936 г., и других материалов, хранящихся у дочери, Т.П. Калецкой, а также заметки о П.И. Калецком в кн.: Ленинградские писатели-фронтовики. 1941—1945: Автобиографии. Биографии. Книги. Л., 1985. С. 469—470.

² Он был специалистом по электротехническим и водопроводным установкам.

³ На фондах этой библиотеки базируется нынешнее книгохранилище Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР.

ственной академии художественных наук и написал для Литературной энциклопедии статью о Вельтмане⁴. В Нижнем Новгороде для этого же издания он пишет статью о Лескове и сотрудничает в краевом журнале «Натиск»⁵.

Весной 1933 года Калецкого высылают на три года из Москвы, место ссылки — Воронеж. Причина ссылки так и не установлена⁶, неясен и административный статус Калецкого в Воронеже. Но он явно отличался от мандельштамовского, ибо не исключал поездок даже в Москву.

В самом Воронеже Калецкий устроился относительно хорошо и основательно. В местном пединституте читал заочникам курсы по фольклору, древнерусской литературе и литературе XIX века. Преподавал в старших классах средней школы, работал редактором литературно-художественной и детской книги в областном издательстве «Коммуна», а также в областной газете (тоже «Коммуна»)⁷.

Его имя нередко встречается на страницах единственного в Воронеже «толстого» журнала «Подъем», в редколлегия которого в 1933—1934 гг.⁷ входили Б. Дьяков, В. Есин, О. Кретьова, М. Козловский, Л. Завадовский, М. Сергеев, М. Подобедов, Л. Плоткин, В. Покровский и А. Швер (последний был тогда и главным редактором «Коммуны»)⁸.

Первой публикацией Калецкого в «Подъеме» была статья «Эдуард Багрицкий» (1933. № 2), второй — статья о Кнуде Гамсуне — «Лейтенант Глан на фашистской службе» (1933. № 7), третьей — статья «О реализме Тургенева» (1933. № 8—9).

В этом же номере журнала появился рассказ «Ванда» 21-летней дебютантки Зои Каниной⁹. Возможно, Калецкий редактировал и вел эту публикацию в журнале, возможно, они познакомились как-то иначе, но в 1934 году Калецкий на Зое женился.

⁴ Литературная энциклопедия. 1929. Т. 2. Ст. 137—139. Для этого издания он написал также статьи «Лесков» (1932. Т. 6. Ст. 312—319) и «Пинкертоновщина» (1934. Т. 8. Ст. 645—649).

⁵ См. его статью «Литературный нигилизм Лескова» (Натиск. 1931. № 4).

⁶ По некоторым сведениям — за «троцкизм».

⁷ 29 июля 1934 г. Калецкий писал М. Гецову: «...Состою рецензентом по зрению в областной газете «Коммуна» и печатаю под псевдонимом плохие рецензии о гастролях московских и прочих театров. <...> Встречающие утверждают, что кроме очков от меня ничего уже не осталось» Из газеты, как явствует из письма от 30 марта 1935 г., он ушел в марте 1935 г., оставшись, кроме института, еще и в школе (8, 9 и 10 классы).

⁸ Перемены в редколлегии произошли в № 7—8 за 1934 год. Ответственным редактором тогда стал М. Подобедов, а ответственным секретарем — Б. Песков. В редколлегия вошли также С. Елозо и А. Комаров.

⁹ Зоя Григорьевна Канина (1912—1935).

Вместе со Стефеном, директором кукольного театра в Воронеже, молодожены написали пьесу «*на материалах русского сказочного фольклора для русского театра*». Весной 1935 года пьеса была «...уже принята в Воронеже к постановке, если Главрепертуарком не наложит на нее своего veto. Как будто оснований для этого нет. Тогда мы вместе со Стеффеном разошлем ее по СССР и можно надеяться на довольно солидную сумму, так на нашу долю — около 7—8 тысяч»¹⁰

Увы, это был очень короткий брак. В октябре 1934 года Зоя тяжело заболела: порок сердца... Павел Исаакович преданно и старательно за нею ухаживал¹¹. В мае 1935 года они собирались поехать в Кисловодск, но в апреле Зоя слегла в больницу и уже больше не вставала: 19 июня 1935 она года умерла...

23 июня 1935 года Калецкий написал об этом своему лучшему другу: «*Маля, Маля, я не писал тебе, потому что не мог и не написал бы скоро, если бы не твое письмо. У тебя умер отец, а у меня умерла Зоя (19-го). Хоронили ее 20-го июня. Полтора месяца она лежала в клинике и месяц дома, уже без сознания. Два месяца тому назад ее объявили безнадежной. Кошмар, который все это время был, описать трудно.*

Сейчас я начал работать и буду занят до 20 июля. Потом, видимо, уеду в Москву на 10 дней, а с 1 августа думаю на юг. Сейчас у меня гостит мама (она приехала накануне смерти). Я очень измучен, отправлюсь и напишу подробнее».

Между тем карьера молодого ссыльного филолога Калецкого не стояла на месте. В начале 1934 года (или даже в конце 1933 года) его как активного участника литературной жизни Воронежа приняли в местное отделение Союза писателей СССР как кандидата. Тогда же или чуть позже его ввели в редсовет драматической секции ССП¹².

10 февраля 1934 года на совместном собрании воронежских писателей и работников издательства «Коммуна», обсуждавшем план издания художественной книги в 1934 году, его избрали в комиссию по уточнению плана¹³. По всей видимости, тогда же ему поручили подготовить для «Коммуны» массовое издание однотомника избранных стихов Алексея Кольцова.

Интересно, что, не будучи делегатом, он фактически принял участие в работе Первого съезда советских писателей в Москве!

В № 4—5 «Подъема» за 1934 год выходят статьи Калецкого «Алексей Кольцов» и «Орловские очеркисты», а в № 7—8 — рецензия на

¹⁰ Из письма Гецову от 10 мая 1935 г.

¹¹ 8 декабря 1934 г. Калецкий писал Гецову: «...Полтора месяца..., заполненные термометром, клизьмой, диетой, лекарствами... Трудно входить в жизнь».

¹² Подъем. 1934. № 1. С. 130.

¹³ В комиссию вошли также А. Баумштейн, М. Подобедов, С. Данилов и Б. Песков (Подъем. 1934. № 2. С. 128).

«Избранные произведения» Н.С. Лескова (М., ГИХЛ, 1934). В рецензии он критикует П.С. Когана и Л.П. Гроссмана — авторов вступительных статей к этому изданию: *«Давно ли, тов. Гроссман, мы научились требовать от классиков русской и иностранной литературы идеологической выдержанности? В противовес этому утверждению голосую за издание наряду со сборниками избранного Лескова его полного академического собрания сочинений»*.

Последняя публикация П.И. Калецкого в «Подъеме» — рецензия на постановку «Вишневого сада» в воронежском Большом Советском театре (1935. № 2) — вышла уже тогда, когда в Воронеже был Мандельштам.

Зимой 1934—1935 гг. Калецкий сел за кандидатскую диссертацию, защитить которую должен был до 1 января 1936 года. О выбранной теме — «"Записки охотника" и физиологические очерки 40-х гг.» — он пишет: *«Проблематика ее многопланова и увлекает. Если удастся то, что хочется, то это будет моя первая настоящая и принципиальная работа»*¹⁴. Но работа, видимо, не пошла, и в октябре 1936 года он защитил работу совсем на другую тему¹⁵.

2

26-летний Павел Калецкий был выслан в Воронеж из Москвы весной 1933 года¹⁶, на год с лишним раньше Мандельштамов. Из Воронежа он уехал 20 июля 1935 года, так что его и их пребывание в Воронеже совпали по времени всего лишь на год с небольшим.

Н. Я. Мандельштам упоминает его несколько раз — и, как правило, через запятую с Рудаковым. Характеризуя последнего, она пишет: *«Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил со вторым нашим постоянным посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других... Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О.М.: "все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война..." Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: "Я верю в партию". Калецкий смутился и покраснел. "Я верю в народ", — тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его*

¹⁴ Из письма М. Гецову от 8 декабря 1934 г.

¹⁵ См. ниже.

¹⁶ Точные причины высылки нам неизвестны.

стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его „квантом“ и пояснял: “Это самая маленькая сила, способная выполнять работу“...<...> У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня — переписывать рукописи, О.М. — писать стихи, Калецкого — думать...»¹⁷.

«И все-таки, — добавляет Н. Я. на следующей странице, — и Рудаков и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше».

Еще в большей степени утешением был для Калецкого с его больной женой и Мандельштам. 8 декабря 1934 года он писал М. Гецову: «...Развлекает меня знакомство с Мандельштамом, который теперь в Воронеже».

Нечаянная встреча друга с Мандельштамом, видимо, заинтересовала Гецова, и в письме от 18 января 1935 года П.И. Калецкий пишет о нем подробнее:

«...Ты спрашиваешь о Мандельштаме?»

Рассказывать о нем надо много и долго. Очень умный, путаный человек, с гениальными иной раз высказываниями, говорящий о стихах, как о своем хозяйстве, практически неумелый — как ребенок, вспыльчивый, взрывающийся как бомба при легчайшем споре — он очень трудный и обаятельный человек.

Иной раз его замечание — это чистый клад, над которым надо сидеть и сидеть, иной раз остроумный афоризм, которым прикрывается все же бессодержательность.

Живет он неважно, хотя ему в лечении идут навстречу. Числится он консультантом при «Подъеме» и получает жалованье. Его по существу жалко, впрочем, он и сам в этом виноват.

Встречи с ним бывают интересны и представляются ярким пятном на фоне серости человеческого материала в Воронеже».

Слова о «человеческом материале», да еще о его серости, конечно, не украшают молодого человека, но никаких сальерианских комплексов у Калецкого, в отличие от Рудакова, точно не было.

Добавим, что Калецкий обладал еще одним немаловажным в общении с Мандельштамом качеством, — юмором, самоиронией, — обеспечивающим необходимый в их ситуации жизненный стоицизм. В качестве примера можно привести фрагмент его шуточного стихотворения «Мое горе»:

Я хотел бы стать поэтом,
 Чтоб блистать пред целым светом,
 Чтобы русский край, немецкий
 Знал фамилию: Калецкий.

¹⁷ Мандельштам Н. Воспоминания. С. 326.

Чтобы мог в одно мгновенье
Начертать стихотворенье.
Чтоб торжественную оду
Написать мог на свободу...

3

Ценными источниками реконструкции отношений Манделъштама и Калецкого оказались письма С.Б. Рудакова жене, Л.С. Финкельштейн¹⁸, и его собственные письма ближайшему, с бобруйских времен, другу — Марку Азриэловичу Гецову¹⁹. Друзья переписывались всю жизнь, но для нас особенный интерес представляют письма Калецкого из Воронежа²⁰, где есть упоминания и об О.Э. Манделъштаме — к сожалению, крайне редкие и скудные. В письмах же Рудакова Калецкий упоминается часто, и все, что и как сообщается, только подтверждает данную Н.Я. Манделъштам оценку отношения Рудакова к «некому» Калецкому.

Впервые мы встречаем его имя в письме от 13 апреля 1935 года — спустя две недели после прибытия Рудакова в Воронеж:

«...Часов в 6 у М. застал некоего Калецкого (ученика Шкловского, знакомого Томашевского, Гинзбург, Гуковского etc, etc). Он в Воронеже уже полтора года (обживаетеся и завидует авторитетности моих мечтаний о Ленинграде). Сейчас он доцент педвуза и учитель девятилетки. Жена у него в больнице: сидели втроем, пили чай, говорили. Он институтский по типу молодой ученый <нрзбр.> Здесь он «готовил» Кольцова, который лопнул»²¹.

¹⁸ В настоящее время в Пушкинском Доме (ИРЛИ. Ф. 803. Д. 6—13). Частично и впервые письма опубликованы в: Герштейн Э. Новое о Манделъштаме. Париж, 1986, а позднее в серии ее журнальных публикаций «Манделъштам в Воронеже» (Подъем. 1988. №№ 6—10). См. фундаментальную публикацию этого комплекса писем в: О.Э. Манделъштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935—1936), 1997. Мне довелось поработать в ИРЛИ с этим комплексом самостоятельно и разобрать некоторые места, опущенные или не прочитанные публикаторами. Здесь цитаты — по ИРЛИ. В письмах Рудакова встречаются следующие аббревиатуры: М. и О. — О. Э. Манделъштам; К. — Калецкий; А. А. — А. А. Ахматова; Н., Н. Я. — Н.Я. Манделъштам.

¹⁹ Гецов М. А. (1904 — 1942). Учился в Бобруйске, Минске и Ленинграде, где закончил лингвистический факультет университета. Работал преподавателем русского языка и литературы в различных учебных заведениях Ленинграда. Умер во время эвакуации из блокадного Ленинграда.

²⁰ Хранятся у Т.П. Калецкой, дочери П.И. Калецкого.

²¹ Ср. в письме П.И. Калецкого к М.А. Гецову от 8 марта 1934 г.: «Должен был сдать Кольцова».

Взаимно радуемся встрече. Жаль, что основная часть его книг все еще в Москве. Но он сказал, что поможет в смысле книг здесь...

Мы (большие я) говорили, а М. слушал, и чувствую, что на косвенном материале (т. е. не на прямой беседе — полемика с ним) он постепенно привыкает к моим принципам. Но острит, что я так люблю все третьестепенное (Щербина etc), что он за себя боится.

<...> Рад, что нашелся К. — он вполне квалифицирован для разговоров. Может быть, и для совместного дела (он тут понемногу печатает статьи). Шли к трамваю асфальтовыми тротуарами — стук каблуков напомнил Ленинград.

<...> Да, страшно рад: у Калецкого безграничное уважение к „Проблемам поэтического языка“ Тынянова».

Из письма от 24 апреля 1935 года:

«Сегодня был на семейном обеде у М-ов — обед из телятины с изумительной картошкой и бутылки столового вина. Первый тост О. Э. — «за наших жен». Потом был Калецкий. Конец всегда у него. Устал от шкловского формализма. Насколько я новее!»

Из письма от 12 мая 1935 года:

«Огромный отдых от игры в шахматы с Калецким».

Из письма от 4 июня 1935 года:

«<...> А я с М. читали их [стихи Рудакова. — П. Н.] и новые его Калецкому и еще знакомому. Те говорят, что его традиционно, а мое для него ново. Когда узнали, что одно мое — решили, что «Караим» его и очень нов, а второе мое и ему раздражительно. Они говорили убедительно и были смущены, когда узнали правду, а Оська чуть не плакал».

Из письма от 11 июня 1935 года:

«Эпизод. Калецкий играет в шахматы со мной. О. психует, что на него здешние литераторы не обращают внимания. «Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? — Катенин. Кюхля... Вот Бонч-Бруевич за архив мой предложил 500 р. и, когда я поднял шум, написал мне честное письмо: «Я-де и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом, не обижайтесь и на нас не сердитесь — другие и даром дарят...». Я не Хлебников (по Калецкому), я Кюхельбекер, — комическая сейчас, а может быть и всегда, фигура. Оценку выковали и символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех и у других...»

(Он убежал на улицу). Калецкий вякает о том, что высшая оценка его стихов «понимающими» не совпадает с оценкой масс».

Из письма от 14 ноября 1935 года:

«<...> Сегодня — неожиданный Ленинград: Калецкий. Он за вещами приехал. Служба в библиотеке Академии Наук и все прочее (рекомендации Эйхенбаума, Оксмана, Пушкинский Дом etc). Его явление рецидивно. У нас возбуждается зависть и еще что-то. А он еще корезится, что

350 ему и материально, и морально мало, что то да се. Но это пустое. Собираемся сыграть турнир по 5 партий (он, Н. и я)»

В середине ноября 1935 года Калецкий приезжал в Воронеж за оставшимися там вещами. Его приезд вызвал у Мандельштамов радость, а у Рудакова с его «солидностью перспектив» чистую зависть и раздражение. Тем не менее в память о прошлом Калецкий, Рудаков и Надежда Яковлевна сыграли шахматный турнир в пять партий, в котором победил точно не Рудаков, поскольку о турнире он ничего больше жене не написал.

Особенно интересно рудаковское письмо от 16 ноября 1935 года — оно дает некоторое представление о первом воронежском годе Мандельштама:

«Калецкий едет 20, а я решил его выпотрошить по части О. К тому же он засуматошен и выбит из колеи воронежским одиночеством. Я ночевал у него... Дело оформилось так: он мне надиктовал сведения об О. периода раннего Воронежа. Тут отношения его с союзом, планы etc...

Между прочим> — планы организации раб<очего> универс<итета> — по лит<ературе> с утопическими программами, планы фольклорной работы (по этой части у К. есть Оськина записка — копию ее обещает прислать из Л<енинграда>да — или тебе передать). Сведения не многообильные, но пополняют запас».

4

3 июня 1935 года П. Калецкий писал М. Гецову: «Сегодня выяснили неожиданные перспективы устройства в Ленинграде и преодоления всех формальных трудностей этого. Вопрос только в жилье и работе. В смысле жилья есть шансы, рассчитывая, по крайней мере на первое время, на тебя. В смысле работы есть шансы получить либо доцентуру, либо аспирантуру в одном из педвузов. <...> Основания у меня есть большие (2 года самостоятельного чтения курса в ВУЗе, член Союза полиграфических работников, кандидат в члены Союза писателей, ряд статей)».

Из Воронежа Калецкий уехал в июле 1935 года, причем не в Москву, откуда приехал, а в Ленинград. Работал сначала в Библиотеке Академии наук СССР, а с февраля 1936 года — консультантом-библиографом в сценарном отделе Ленфильма. Уже в январе 1936 года с него была снята судимость.

Статьи и рецензии П. Калецкого все чаще появляются в «толстых» журналах и научных сборниках. Среди них отметим статьи «О поэтике частушки» (Литературный критик. 1936. № 9. С. 186—201), «От "Дубровского" к "Капитанской дочке"» (Литературный современник.

1937. № 1, С. 148—168) и «Новая сказка» (в сборнике «Советский фольклор». 1939. С. 216—235)²².

25 октября 1936 года он защитил кандидатскую диссертацию «Исторические песни XVI—XVIII веков». Судя по крайним датам соответствующего архивного дела, степень ему присудили лишь 19 февраля 1941 года, то есть спустя 4,5 года после защиты²³. В эти годы он работал доцентом в Ленинградском пединституте им. А.И. Герцена, а также научным сотрудником в Пушкинском Доме, где занимался фольклором. В 1939 г. трижды в месяц он ездил в Новгород, где работал по совместительству в учительском институте по отделению языка и литературы. Его коллеги по институту, в частности Д.К. Мотольская и М.Л. Семанова, отзывались о нем как о чрезвычайно порядочном и добром человеке и прекрасном специалисте²⁴.

В начале войны был в штабе противовоздушной обороны пединститута, читал в госпиталях лекции о русской литературе.

Павел Исаакович Калецкий умер от блокадной дистрофии в возрасте 36 лет 5 февраля 1942 года и похоронен в одной из братских могил на Каменном острове.

5

Еще одним красноречивым свидетельством взаимоотношений Калецкого и Мандельштама является выдержка из письма, адресованного Калецким ответственному секретарю Ленинградского отделения ССП. Письмо не датировано, но из контекста его можно отнести к маю 1937 года²⁵:

«Из перечисленных в письме лиц, с которыми я был якобы связан, я был знаком со Столетовым, который работал в ССП с начинающими писателями и печатался в органах ССП, и Мандельштамом.

С последним я познакомился ближе в последние месяцы моей жизни в Воронеже, когда он и его жена оказались единственными людьми, которые оказали мне большую и добрую человеческую поддержку во время болезни и при смерти моей жены, в то время как никто из моих

²² Он написал также ряд статей и рецензий на произведения Э. Багрицкого, Е. Федорова, И. Кратта, А. Козачинского и др., а также предисловия к различным фольклорным изданиям.

²³ ЦГА СПб. Ф. 4331. Оп. 31. Д. 656.

²⁴ В ИРЛИ хранятся неопубликованные работы П.И. Калецкого, в частности, монография «Исторические песни» и статья «Частушка» (ИРЛИ. Разряд, кол. 17, п. 10, № 1—4).

²⁵ Цитируется по авторскому черновику.

воронежских коллег по ССП не считал нужным интересоваться моим положением, и за эту поддержку я Мандельштамам глубоко и искренне благодарен».

Сам по себе процитированный документ является попыткой автора защититься от клеветнических нападок воронежских писателей. Думается, что Калецкий «отвечает» таким образом на статью Н. Романовского и М. Булавина «Воронежские писатели за 20 лет», опубликованную в первом номере альманаха «Литературный Воронеж»²⁶:

«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стеффен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников Обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспитывать» эту банду. Особо тяжелые условия для работы писательского коллектива были созданы бухаринским шпионом Рябининым и его приспешниками» (с. 232—233).

Авторы этого доноса, в сущности, повторили более ранние нападки, прозвучавшие со страниц газеты «Коммуна». Так, 16 сентября 1936 г. журналист И. Черейский в статье ««Каникулы» в Союзе Писателей» писал:

«На пленуме Союза Писателей Воронежской области, состоявшемся в начале апреля этого года, шел разговор о недостатках, которые мешают успешной работе писателей. <...> Воронежская организация Союза Писателей сумела довольно быстро разглядеть явно чуждых ей людей, которые пытались использовать Союз Писателей и журнал «Подъем», развивая на его страницах путанье и вредные теории, предлагая туда свою литературную продукцию (Калецкий, Айч, Стеффен, Мандельштам). С некоторым опозданием, не сразу, недостаточно решительно, но эти люди получили свою оценку».

Политически еще грозней и опасней «высказалась» О. Кретова в номере от 23 апреля 1937 года (впрочем, в свой список она Калецкого не включила): «...За последние годы в организацию Воронежского областного отдела Союза Писателей пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Стеффен, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены»²⁷.

Тем весомее и значительнее слова Калецкого о Мандельштаме из его вынужденного заявления — ясное свидетельство их непреходных, товарищеских отношений, в которых есть место и веселью, и горю, и состраданию.

²⁶ Подписан к печати 4 ноября 1937 г. Ответственный редактор — М. Подобедов.

²⁷ Коммуна. 1937. 23 апр. С. 3.

В ПОХОДЕ ЗА ШУМОМ ВРЕМЕНИ (БОРИС ГОРНУНГ)

*Маргарите Воробьевой
Памяти Михаила Горнунга*

Появление в мандельштамовском контексте имени Бориса Владимировича Горнунга (1899—1976) — поэта и ученого, активного участника московской литературной тусовки 1920-х гг. — оправдано и биографически, и творчески. Он был не только современником и хорошим знакомым Мандельштама, не только адресатом его писем или шуточных стихов, но и его собеседником и коллегой, соучастником общей литературной и, отчасти, житейской среды — общей не только по интересам, но и по подстерегавшим за любым углом опасностям.

Он был одним из тех, кто почитательно боготворил стихи Мандельштама. Но он шел дальше и переносил эту любовь к стихам на самого их автора, трудного в быту человека. Совершенно бескорыстно, тихо и незаметно он помогал своему кумиру, если в том была нужда. Живя достаточно скромно и не будучи ни графом Эстергази, ни баронессой фон Мекк, он всегда держал двери своих двух коммунальных комнатшек открытыми для друзей и поэтов.

Он искренне гордился знакомством и дружбой с Мандельштамом, но был начисто лишен комплекса сальеризма «а ля Сергей Рудаков». Похоже на то, что и с собственными сочинениями, зная о мандельштамовском недоброжелательстве к эпигонам, он Осипу Эмильевичу не сильно докучал. Он не годился в друзья, скажем, Есенину, но в друзья и собеседники Мандельштаму «годился» и им являлся. Он был, если хотите, частью их общей творческой и интеллектуальной среды, без которой и сам Мандельштам-то непредставим, но которую мы знаем очень плохо.

При этом Борис Горнунг был вполне активным элементом этой среды. И его немногочисленные стихи (прежде всего те, что составили единственный прижизненный сборник «Поход времени»),

и его статьи, рецензии и эссе отмечены подлинным дарованием и талантом. Статья «Гуманисты и античность» (формально это глава из неопубликованной рукописи «Структуральная поэтика») написана по-мандельштамовски широкими мазками, с редкостным и завидным стилистическим блеском и легкостью. Поэтическое начало Бориса Горнунга проступило здесь с силой даже большей, чем в иных стихотворениях.

Имя Мандельштама играет поистине скрепляющую роль: оно встречается и в разделе поэзии (стихи, посвященные Мандельштаму или подражания ему), и в разделе критики (рецензии на стихи Мандельштама, многочисленные упоминания и разборы его творчества в других статьях).

Тем самым книга Бориса Горнунга выполняет как бы двоякую роль: восстанавливает существенный пласт творческой биографии Мандельштама в контексте его окружения и служит достойным памятником своему автору — поэту и другу поэтов.

ПЕРВЫЙ СТАРАТЕЛЬ (НИКОЛАЙ ХАРДЖИЕВ)

Памяти Лидии Гинзбург и Эммы Герштейн

*Пойдемте отсюда. Она хочет сочинять*¹.

1

Александровский переулок, дом 43, квартира 4 — этот марьино-рощинский адрес когда-то принадлежал Виктору Шкловскому и его семье. Когда в 1933 году Шкловские переехали сначала в писательский кооператив на ул. Фурманова, а в 1937 году — в другой дом, в Лаврушинском переулке, одну комнату в этой квартире получила сестра Василисы — Таля (Наталья Георгиевна) с дочерью Васей.

Именно у нее, а не у Василисы ночевали Мандельштамы в свои нелегальные приезды в Москву — и эти полуконспиративные ночлеги красочно живописала Надежда Яковлевна². В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Харджиев³ и еще одну — Борис Арнольдович Вакс, драматург, помешанный на ремонте свой трущобы (это про него Мандельштам как-то пошутил: «Вакс — ремонтнодышащий...»).

Этот полуразрушенный деревянный дом, эта заземленная квартира на первом этаже служили Мандельштамам их ночною крепостью в столице, а 9-метровая харджиевская комната-пенал, или, иначе, шкатулка, с низким окном во двор исполняла роль форума-салона или «Башни»: за нескончаемыми разговорами Мандельштам и Харджиев засиживались далеко за полночь.

¹ *Осип и Надежда*, 2002. С. 119.

² *Мандельштам Н.* Воспоминания, 1999. С. 414—416.

³ Э.Г. Герштейн упоминала об остром конфликте по поводу этой комнаты между Шкловским и Н.Х. (см.: «На фоне всех ревизий века...» Беседа И. Врубель-Голубкиной с Э.Г. Герштейн // *Зеркало*. 1999. № 9—10. С. 14).

Студеную эту комнату Ахматова с полным правом называла «убежищем поэтов»: кроме нее и Мандельштама, здесь побывали и Пастернак, и Цветаева, и Хармс, и Олейников, и Зенкевич, и Нарбут и многие другие. Именно здесь состоялась в 1941 году вторая и последняя встреча Ахматовой с Мариной Цветаевой⁴.

Харджиев и Ахматова познакомились в Ленинграде где-то на стыке 1929 и 1930 гг.⁵ Знакомством этим, по всей вероятности, они были обязаны кругу интересов Н.Н. Пунина, основательно пересекавшемуся с аналогичным харджиевским «кругом»⁶. Знакомство перешло в дружбу, которая не прерывалась — и, кажется, даже не омрачалась⁷ — до конца жизни Ахматовой. Конечно, она чрезвычайно ценила его как специалиста, знатока русской поэзии и живописи: «Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины»⁸. Не случайно именно его она попросила «откомментировать» модильяниевские наброски⁹ и именно с ним она обсуждала свою «публикацию отчаяния» в «Огоньке» в 1950 году¹⁰.

Но, помимо знаний и памяти, еще больше она любила в нем чисто его, харджиевское, сочетание живой мысли, острого языка, веселой непосредственности и вместе с тем — галантной деликатности в обращении и общении¹¹.

Е.К. Гальперина-Осьмеркина вспоминала следующий эпизод. В один из своих приездов в Москву Ахматова остановилась у них: «К ней приходили гости часто. Особенно я помню приход Харджиева. Она очень дружила с Харджиевым, очень его любила, он был ее большим другом. И вот мы сидели у нее в комнате, о чем-то беседовали,

⁴ Бабаев, 1989. С. 226—227. Герштейн, 1998. С. 499—500.

⁵ Ср. надпись Ахматовой на обороте подаренного ею рисунка В. Хлебникова: «Н.И. Харджиеву от Ахматовой. Скоро 10 лет, как мы дружим. 2 дек. 1939 г.» (Бабаев, 1989. С. 225).

⁶ Забавно, что Ахматова называла Пунина в переписке в точности так же, как Надежда Яковлевна именвала в переписке Харджиева, — «Николаша».

⁷ Одно время Ахматова находила, что Харджиев хорошо относится лично к ней, а к ее стихам равнодушен (Чуковская, 1997. С. 54—55).

⁸ См.: Чуковская, 1997. С. 84.

⁹ См.: Харджиев Н. О рисунке А. Модильяни // День поэзии 1967. М., 1967. С. 253—253.

¹⁰ Подборкой просоветских стихотворений, посвященных 70-летию Сталина и опубликованных в «Огоньке» (1950. № 14. С. 20), А.А. хотела вырвать из заключения своего сына, но и это ему не помогло.

¹¹ Надежда Яковлевна называла его в первой своей книге «великим обольстителем, Цирцей, красивым и обаятельным, когда захочет, человеком» (Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 328) Напомним, что Цирцея — это легендарная волшебница со сказочного острова Эя. Спутников Одиссея она превратила в свиней, а его самого обольстительными речами год удерживала на своем острове, после чего родила от него сына.

и вдруг она после милой и даже такой остроумной беседы села с ногами на кушетку и приняла свой облик “какаду”, как мы говорили. Он на меня посмотрел, легонько так толкнул меня в локоть или взял за локоть и сказал: “Пойдемте отсюда. Она хочет сочинять”. Это было абсолютно точно сказано, он не искал никаких формулировок литературных. “Она хочет сочинять”. Очевидно, так это и было... Мы с ним сидели в мастерской, а она довольно долго пребывала в этой комнате»¹².

Ну разве можно было не оценить и не полюбить такого человека?

Отсюда и те поистине «царские подарки», которые Николай Иванович и Анна Андреевна время от времени подносили друг другу: в 1934 году Ахматова получила старинный, 1838 года, альбом, принадлежавший одному из князей Долгоруких, — в него она позднее записывала окончательные редакции своих стихов, а сама она в 1939 году подарила Харджиеву — к 10-летию их знакомства — хлебниковский рисунок¹³.

Переписка между ними завязалась в 1932 году¹⁴. И с самого начала ее явными или неявными персонажами становятся Осип и Надежда Мандельштам. Уже во втором письме (1932) Ахматова спрашивается о них. Летом 1934 года она пишет: «Спасибо за альбом, он чудный. Когда я Вас теперь увижу, милый Николай Иванович, мне что-то очень скучно стало жить. Совсем не вижу людей, плохо работаю. Что Москва, после мая я отношусь к ней по-новому. Напишите мне. <...> Жму руку. Ахматова»¹⁵. Адресату понятно, что за майские события имеются в виду — арест Мандельштама.

В свою очередь и Ахматова прочно «прописалась» в той переписке, что за четверть с лишним века разыгралась между Надеждой Яковлевной и Харджиевым. Из Ташкента он получал и письма Ахматовой с ее припиской (аналогичные письма писались тогда и Эмме Герштейн), и отдельные письма от них обоих, но писанные и отправленные — по почте или с оказией — одновременно и даже в одном конверте (эпистолярный «прием», который чета Мандельштамов практиковала еще в переписке с Б.С. Кузиным и с отцом Мандельштама).

С Осипом Мандельштамом Харджиев познакомился осенью 1928 года в другом «пристанище поэтов» — у Эдуарда Багрицкого в Кунцево, где Харджиев в то время попросту жил. «М[андельштам] приехал в Кунцево с Зенкевичем. Беседа была многочасовая, пили вино, сочиняли шуточные экспромты на мотив “Таврилы”. Тогда же

¹² Осип и Надежда, 2002. С. 118.

¹³ См. об. этом: Чуковская, 1997. С. 59, 100.

¹⁴ Сохранившиеся письма А.А. см. в: Бабаев, 1989 (перепеч. в: Анна Ахматова. Поэтическое странствие. М.: Радуга, 1991. С. 327—335).

¹⁵ Бабаев, 1989. С. 222—223.

М[андельштам] предложил Багрицкому и Х[арджиеву] встретиться в Москве, у Адуева. Встреча состоялась...»¹⁶

В 1932 году — в самый разгар работы над собранием сочинений Маяковского — Харджиев признавался Василисе Шкловской: «*Могу читать только Мандельштама. Если получу новые его стихи, пришлю вам»¹⁷.*

Но своей кульминации дружба с Мандельштамом достигла в 1937 году.

С кем первыми встретились Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна в Москве по возвращении из Воронежа? — С Анной Андреевной, специально подгадавшей свой приезд из Ленинграда к этому дню, и с Николаем Ивановичем¹⁸.

У кого провела Надежда Яковлевна самые первые дни после второго ареста Мандельштама? — У Николая Ивановича.

А у кого после известия о смерти Мандельштама? — Тоже у Николая Ивановича! Тогда она «*...лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть: "Ешьте, Надя, это горячее", или "Ешьте, Надя, это дорогое"... Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни»¹⁹.*

А вот как тот же эпизод описан самой Надеждой Яковлевной в другом (казалось бы, самом неподходящем) месте — в одном из «дуэльных» ее писем к Харджиеву: «*Во всей Москве, а может, во всем мире было только одно место, куда меня пустили. Это была ваша деревянная комната, ваше логово, ваш мрачный уют. Я лежала полумертвая на вашем пружинистом ложе, а вы стояли рядом — толстый, черный, добрый — и говорили: — Надя, ешьте, это сосиска... Неужели вы хотите, чтобы я забыла эту сосиску? Эта сосиска, а не что иное, дала мне возможность жить и делать свое дело. Эта сосиска была для меня высшей человеческой ценностью, последней человеческой честью в этом мире. <...> Человек символическое животное, и сосиска для меня символ того, ради чего мы жили»²⁰.*

¹⁶ Письмо-«рецензия» Н.И. Харджиева на книгу Э.Г. Герштейн «Новое о Мандельштаме» (СХА. Vox 155).

¹⁷ РГАЛИ. Ф.562. Оп.1. Д.1000. Л.9.

¹⁸ Харджиев должен был принести вино и закуску, но опаздывал так, что Ахматова уже ушла к месту своего ночлега; Н.Х. вернул ее назад звонком — благо было недалеко, на Пречистенке. Этот пир на столике и матрасе вошел в историю литературы под именем «бессарабская линейка» (*Мандельштам Н. Воспоминания. 1999. С. 263—265*).

¹⁹ Там же. С. 414—415.

²⁰ См. письмо от 28 мая 1967 г. Редкий случай, когда не письмо послужило эскизом для мемуарного эпизода, а мемуар для письма.

Разве такое можно забыть?

К человеческой, дружеской стороне примешивалась и еще одна — профессиональная: «О. М. говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уж почти десять лет не может выйти в «Библиотеке поэта»»²¹.

И кого же из тех, кто был ей после смерти Мандельштама так близок, Надежда Яковлевна в конце концов возненавидела больше всего? — Тоже Николая Ивановича!

Эта печальная история имеет решающее значение для понимания того, что произошло с Надеждой Яковлевной в середине 1967 года и, как следствие, со второй книгой ее воспоминаний. Так что в этом непременно следует разобраться, их переписка — тридцать два ее письма и пять его — позволяет к этому приступить.

2

Переписка распадается на несколько блоков. Самый первый — письмо Надежды Яковлевны из Калинина 1940 года — совершеннейший артефакт, великолепный образец эпистолярного искусства вообще и свидетельством литературного таланта вдовы Мандельштама в частности. Автор — вся кротость, вся смиренность, человечество она разбивает на знакомых и на родных с единственной целью поместить адресата первым в числе вторых. Это, если хотите, даже не письмо, а стихотворение в прозе²², а в контексте литературного творчества Надежды Яковлевны — одна из первых, может быть, проб ее собственного пера²³.

Следующий блок — двусторонняя серия «ташкентских» писем 1943—1944 гг. Наряду с радостью получения весточек и описанием быта (еда, жара²⁴, окружающие люди), в них с упорством проводится одна и та же шутейная литературная игра — в Николая Ивановича как «общего мужа» Надежды Яковлевны и Анны Андреевны, что, согласитесь, возможно только между старинными и проверенными

²¹ Мандельштам Н. Воспоминания, 1999. С. 415.

²² В нем, конечно, нет той документальной, ничем не занавешенной страстности, какую дышат письма Н.Я. Мандельштам к Б.С. Кузину — документы прежде всего человеческие, а не литературные.

²³ Она, кстати, не забывала об этом письме и в Ташкенте, прямо отсылая к нему того же адресата: «Теперь уже не напишешь, почему бы вам не приехать в Ташкент — далековато».

²⁴ А гророс жара. Как по-разному пишут о ней А.А. и Н.Я.! От жары изнывают обе, но А.А. буквально стенает и изнемогает, а Н.Я. — посмеивается над ней: «Я его [Тышлера — П.Н.] обожая, но — о, боже — какой он мокрый. Мы мокрые, как будто мы всегда только что описались. Мокрое все. Это климат».

друзьями²⁵. Именно тема дружбы и ностальгии по дружеским пирам с чаем, вином, сыром и сосисками, да еще в сочетании с неистребимой веселостью и смешливостью, является в этих письмах преобладающей: «Я тоже есть ваш друг и протягиваю вам руки — по прямой линии — через Аральское море»²⁶. Вторым лейтмотивом можно признать гениальное (кажется, пунинское) мот — «Не теряйте отчаянья!».

Затем — группа писем 1957—1963 гг., запечатлевших сначала всю эйфорию и волнения, все надежды и упования «хрущевско-сурковской» оттепели — с конституированием Комиссии по литературному наследию О.Э. Мандельштама и с запуском тома стихов в «Библиотеке поэта», а затем — всю тщету и эфемерность этих надежд, разбивавшихся теперь уже не о ГУЛАГ, а о светонепроницаемую шкуру мало в чем изменившейся советской системы.

«Нам надо начать работать» — вот девиз писем 1957 года. И работа началась: Николай Иванович задает вопросы о темнотах мандельштамовских стихов, — и Надежда Яковлевна немедленно отвечает на них. А вот и архив, не без скрипа, но переместился из Руновского переулка²⁷ на Пречистенку (Кропоткинскую), из хранительского тайника на верстак текстологии — письменный стол Николая Ивановича Харджиева, составителя и редактора первой на родине посмертной книги Мандельштама!

И тут-то Надежда Яковлевна расслабилась и успокоилась: все, дело сделано, Харджиев работает, а «раз Николаша вертится, значит, все будет хорошо»²⁸. Из чебоксарского, из тарусского и, поначалу, из псковского далека интриги вокруг Ахматовой, вязаные кофточки и состояние здоровья Харджиева беспокоят ее, кажется, больше, чем самое главное — ход его мандельштамовской работы, в которой и в котором она не сомневается. Без звука прощает она ему потерю письма, как-то связанного с Пастернаком, и даже не позволяет себе сердиться на первые не согласованные с нею шаги в издательстве: в «конфликте» Н.Х. с торопившим его Орловым она безоговорочно встает на сторону Н.Х., пока еще не замечая, что его путь начинает расходиться с ее путем.

Но как раз «прощение потери» и именно успокоительные слова Н.Я. и покоробили, и взбесили Н.Х. В начале октября 1962 года он пишет ей «дуэльное», по выражению Н.Я., письмо, которое закан-

²⁵ Энтузиасты ковыряния в грязном белье и специалисты по «дон-жуановским спискам», разогретые мемуарами Эммы Герштейн, могут тут все же не волноваться.

²⁶ Это «есть ваш друг» повторяется неоднократно, явно перекидывая мостик к «Антологии житейской глупости» и другим акмеистическим дразнилкам («Это есть художник Альтман»).

²⁷ Где жил А. Ивич с семьей.

²⁸ Из письма Харджиева Н.Я. Мандельштам, датированного началом октября 1962 г. (Мандельштам Н., 2008. С. 289).

чивает так: *«Повторяю: у меня не пропало и не могло пропасть ни листочка, ни обрывка, ни запятой. Именно поэтому я и взвалил на себя весь чернорабочий труд по изданию. Если вы этого не понимаете, то я разрешаю вам плюнуть мне в лицо и прекратить со мной знакомство. Н.Х.»*²⁹.

Как знать, если бы Надежда Яковлевна в день своего отъезда во Псков в сентябре успела забежать к Харджиеву на Пречистенку (а она просто закрутилась в последний московский день), то этой ссоры-звоночка, возможно, и не было бы, и ей не пришлось бы писать следующее: *«Если вы меня и сейчас не понимаете, то отложим ссору и объяснение до встречи. Откровенно сказать, я думала, что вы меня всегда понимали, хотя у вас нет моего опыта. Если мы встретимся, вы меня поймете сразу, и ссоры не произойдет. Вот и все. Если и это письмо вас рассердит, сдержитесь. Человеческие отношения — то есть наши с вами — важнее всего. Попробуйте мне по-человечески написать — я буду рада. Вспомните, что я никогда не поддавалась мелкому раздражению в отношениях с людьми, которыми дорожу. А мы с вами друг другом дорожим. Не забывайте этого. Надя. Знакомства прекращать с вами я не намерена. С какой стати? А вы? Вы так легко собираетесь отдать меня?»*³⁰

Николай Иванович, судя по дальнейшим письмам, тогда быстро отошел и что-то человеческое написал. Ссора потухла, но малоприятное ощущение, что друг друга они понимают уже не всегда, раз возникнув, едва ли исчезло. Ну а переписка после этого крутится, уже не соскальзывая, вокруг книги.

Между прочим, почти за два года до этого эпизода со свойственной ей меткостью Надежда Яковлевна напроорочила: *«Старость — это не только “скля-роза”, но еще выявление самых характерных черт. Пока можно, их сдерживают и скрывают, а тут они лезут наружу. Из всех нас полезло. Скоро и из вас полезет — вы же у нас молоденький. Из меня еще мало лезет — это начнется к 70»*³¹.

Писем за 1964—1966 гг. в переписке нет — что и понятно, ибо в ноябре 1965 года Надежда Яковлевна, уже с лета 1964 года номинально прописанная в Москве (кстати — у Шкловских), въехала в собственную квартиру на Большой Черемушкинской улице.

²⁹ Для того, чтобы лучше понимать состояние и настроение самого Харджиева осенью 1962 г. не лишне знать, что именно в это время и именно он затыгивал все издание!

³⁰ Из письма к Н.И. Харджиеву от 14 октября 1962 г. (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 289—290).

³¹ Из письма к Н.И. Харджиеву от 23 декабря 1960 г. (*Мандельштам Н.*, 2008. С. 284—285).

Собственно, и в 1967 году никаких писем не должно было писаться — если бы между Надеждой Яковлевной и Николашей все было бы по-прежнему хорошо.

Но «по-прежнему хорошо» между ними уже не было...

3

Последние пять писем в этой переписке — письма разрыва.

Их непосредственная предыстория существует только в одной версии — в версии Надежды Яковлевны³². Переломными для нее стали зима и весна 1967 года.

В середине января Надежда Яковлевна писала Наташе Штемпель о Харджиеве с горечью и досадой, но все-таки миролюбиво: *«Книга стихов как будто выйдет. Харджиев наделал в ней бед. Он, конечно, просто маниак и безумец. Но пусть выйдет хоть такая»*³³.

Постепенно обживаясь в своей кооперативной квартире на Юго-Западе, Надежда Яковлевна, конечно же, постоянно обращалась мыслями к мандельштамовскому архиву на Пречистенке. Но к Харджиеву обратилась все же не сразу, а лишь в январе 1967 года³⁴, когда решила переснять архив, после чего оставить себе фотографии, а подлинники вернуть ему, Харджиеву. Эта идея напугала Харджиева, маниакально боявшегося похищений (в данном случае фотопленки) и тиражирования.

Тогда Надежда Яковлевна дала ему три месяца на то, чтобы он сам подобрал фотографа, которому доверяет. Но он не нашел никого, поскольку, возможно, никому и не доверял. Вместо этого он заявил, что хочет добавить в книгу тридцать стихотворений, и «пригрозил»: если у него заберут архив, то он никогда больше к Мандельштаму не прикаснется (а ведь еще предстояла задача подготовки всего корпуса, за что Харджиев как профессионал отказывался братья без договора!). С издательством, как оказалось, он обсуждал добавление не тридцати, а всего лишь одного стихотворения, но какого — «Неизвестного солдата»!

Зато в нем он собирался опустить последнюю строфу — «открытие», которое вызывало у Надежды Яковлевны решительное неприятие и отпор. А также естественное желание и непреодолимую

³² Она запечатлена не столько в ее воспоминаниях, сколько в специальных очерках («Архив» и «Конец Харджиева»), а также в некоторых письмах (к Н.Е. Штемпель, в частности).

³³ Письмо к Н. Штемпель от 16 января 1967 г.

³⁴ С 1967 г. Харджиев стал, наконец, получать пенсию. До этого, по словам Н.Я., она еще и жалела старика, сидевшего и без пенсии, и без гонораров.

потребность — как можно скорее забрать архив! Она еще отчетливее поняла и ужаснулась тому, какую опасность таят в себе единственность, одноэкземлярность и порождаемая ею монополия: «...*Нельзя оставлять эти рукописи в чьих-то одних руках. Большие всего я боюсь монополии на Мандельштама, а она, несомненно, ему угрожает. <...> Я помню одно: всякое чувство собственности и всякий монополизм были абсолютно чужды Мандельштаму*»³⁵.

Николай Харджиев, силою и стечением не самых лучших обстоятельств, оказался в положении именно такого монополиста. Сначала — на заемный архив, затем — на свою текстологию, а со временем — и на сам архив (уже как бы на квази-свой). В этом его поддерживали и издательский редактор (И.В. Исакович), и Э.Г. Герштейн — добровольная помощница, дружески выполнившая для книги немало харджиевских поручений. Вполне в духе своего времени и места, обе культивировали так называемую «редакторскую тайну», заключающуюся в закрытии для посторонних любой информации³⁶. «*Макет ей посылать не собираюсь*, — писала Харджиеву Исакович. — *Он делается дсп*»³⁷.

Аббревиатуру «ДСП» («для служебного пользования») тогда понимал каждый, как и то, что знакомиться с материалами «ДСП» были вправе только лица с определенной формой допуска: вдове Мандельштама, спасшей его стихи и передавшей его архив для работы над книгой, допуска к «служебной информации» по книге не полагалось!³⁸

Растиражированный для членов редколлегии макет книги Мандельштам стал объектом болезненных переживаний Харджиева, боявшегося попадания его на Запад, и специальных мер предосторожности со стороны издательства, призванных не допустить его попадание к Надежде Яковлевне. После того, как Харджиев сообщил Исакович как скверный анекдот, что вдова забрала у него архив, и заявил, что теперь он не будет расширять состав, Исакович сразу же испугалась — но чего? А того, что книга Мандельштама может выйти с опережением еще где-нибудь, например, в Армении, на какую-то мысль ее надела публикация прозы Мандельштама в мартовской тетрадке «Литературной Армении»!³⁹

³⁵ Мандельштам Н., 2006. С. 161.

³⁶ Э.Г. Герштейн, обобщая, называла это почему-то не иначе как «профессионализмом». Могу засвидетельствовать, что искусство выпытать у собеседника интересующее тебя и не выдать ему интересующего его также входило в это довольно уродливое ее представление.

³⁷ Письмо И.В. Исакович к Н.И. Харджиеву от 30 мая 1967 (*Вох* 155).

³⁸ Кстати, макет в руки Н.Я. вскоре попал, и она ужаснулась тому, что увидела.

³⁹ Мандельштам О. Путешествие в Армению // Литературная Армения. 1967.

№ 3. Исакович тут же связалась с начальством на предмет ускорения издания и заключения с Н.Я. Мандельштам договора как с наследницей и выплаты ей 60 % гонорара.

Страхи Харджиева, повторим, шли еще дальше — он боялся не столько Н.Я., сколько своих заокеанских конкурентов — Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, которым Н.Я. могла бы сбыть его работу. И не суть важно, что первый — поэтический — том из вашингтонского собрания сочинений Мандельштама вышел в 1964, а второй — прозаический — в 1966 году! К американским коллегам, как, впрочем, и к советскому самиздату, Харджиев относился ничуть не лучше, чем КГБ, — пусть и на других основаниях, но, увы, не гнушаясь и политического соуса.

В 1969 году, в частности, он писал В.Н. Орлову: *«Что же будет с Мандельштамом? С кем говорить? Что делать? Владимир Николаевич, посоветуйте что-нибудь. Когда вспомнишь похабно ощеренную харю “директора” русской литературы Лесючевского, то опускаются руки, а ноги перестают ходить. Неужели двенадцатилетняя дьяволиада закончится тем, что американские гангстеры анонимно перепечатают мой каторжный труд? Можно ли с этим примириться? Отсутствие издания создает Мандельштаму фальшивый ореол и размножает тех истерических “почитателей”, которых не следует смешивать с настоящими читателями стихов»*⁴⁰.

С макетом, кстати сказать, у Харджиева с Исакович конспирация не удалась. Надежда Яковлевна нашла возможность заполучить его на какое-то время, и только тогда и так она сумела составить себе представление о том, какую книгу подготовил их «черный» и «общий». 11 апреля 1969 года она писала Наташе Штемпель: *«Мне сперли книгу Харджиева. Она мерзка»*⁴¹.

4

Вернемся в 1967 год. В апреле, когда истекли три месяца, отведенные на фотографа, а ничего не произошло, — терпение Надежды Яков-

⁴⁰ РГАЛИ. Ф. 2833. Оп.1. Д.283. Л.6—7об. Задолго до истории с Б. Янгфельдтом идея глобального империалистического заговора западных и своих славистов, конечной целью которого являлось похищение тех или иных сведений из его не вышедших трудов, основательно обуюла Харджиева (с Хлебниковым и хлебниковедами проблем у него было, кажется, еще больше). Библиографические сведения Г. Дальнего в рецензии на американский 3-томник Мандельштама (ВРХСД. 1970. № 97), он и Э.Г. Герштейн всерьез посчитали украденными из харджиевских примечаний к не вышедшему тому в «Библиотеке поэта»! А то, что другие филологи — вот чудачки! — сидят себе в библиотеках и архивах и истово прочесывают все, что можно и что нельзя в поисках следов Мандельштама, было для них откровением.

⁴¹ В том же письме она — вопреки всем фактам — вдруг «привязывает» Харджиева к Ахматовой: *«Помните, как он ругался в телефон? Как я попала с ним. Смешно, но все, что от Анны Андреевны, всегда плохи (либо сразу, либо погодя)»*.

левны лопнуло. Она поняла, что Харджиев просто оттягивает время, и твердо решила отобрать у него архив. В начале мая она написала ему большое письмо, которое должен был вручить их «связной» — преданный им обоим Александр Морозов. Но, предупрежденный от этого, Харджиев перестал пускать его в дом, так что письмо — 16 мая — пришлось отправить заказным по почте⁴². Это письмо — последняя (нет, предпоследняя!) попытка Надежды Яковлевны по-хорошему объясниться с «Николашей». Она и начинает его как бы в тон старому «дуэльному письму» самого Харджиева (*«отнеситесь серьезно к моему письму»*). Свои обвинения и упреки она перемежает в нем с объяснениями и увещаниями — сочетание, конечно же, не из самых простых и не из самых действенных.

Около 20 мая, в выплатной день издательства «Советский писатель», Надежде Яковлевне удастся получить чемодан с архивом назад⁴³. Вскоре после этого — уже не питая никаких иллюзий, — в письме Наташе Штемпель она поставила Харджиеву свой «диагноз»: *«Видно, у меня конец отношений с Харджиевым. Жаль, но ничего не поделаешь. Я забрала у него стихи (рукописи). Они лежали у него 11 лет... Отдал он их спокойно, но сейчас работает его психопатический аппарат, развивая ненависть. С этим ничего не поделаешь. <...> Бог с ним...»*⁴⁴

24 мая Харджиев, уже «безархивный», пишет ей ответ. Все, что касается архива, он как бы сразу отрезает: *«Надежда Яковлевна, пишу не об архиве. О нем писать нечего. Я многократно говорил, что он будет возвращен по первому вашему требованию, — независимо от каких бы то ни было моих соображений...»* — как если бы тому не предшествовали месяцы просьб и увещаний! От «чести» быть наследником Надежды Яковлевны он тоже открестился, язвительно ссылаясь на инфантов помоложе. На упрек в двойном стандарте отношения ко вдовам поэтов ответил тоже как бы с котурн (*«Мне тошно отвечать от имени того пошляка, который...»* и т. д.), но попутно все же мелочно бросив, что у Лили Брик и автографов-то никаких не было, кроме тех 3—4, что дал ей он! Другой упрек — в неуважении к поэту — он почел снятым самим фактом его работы над изданием Мандельштама, отношение же свое к Мандельштаму он скромно аттестовал как верность или преданность.

⁴² От волнения она даже пишет в адресе вместо привычного «Крапоткинская ул.» (именно так, через «а» — как слышится) — «ул. Крапоткина».

⁴³ См. об этом свидетельства двух участников «операции» — самой Н.Я. Мандельштам (Конец Харджиева // *Мандельштам Н.*, 2006. С. 124) и И.В. Сиротинской (Поход за рукописями // *СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 274—278.*

⁴⁴ См. письмо к Н. Штемпель от сер. мая 1967 г. (*Мандельштам Н. 2008. С. 354—355.*)

Затем уже Харджиев перешел в высокопарное наступление: Мандельштам настолько велик, что обидеть или испортить его нельзя, он общий для всех читателей, и монополии на него нет ни у редактора, ни у вдовы. Их, редактора и вдовы, общее прошлое ныне мерещится ему *«какой-то омерзительной сосиской»*.

После чего сбился буквально на визг и вдруг налетел на *«старых лицемеров, сестер Корди»* — Василису и Наталью — людей, близких Надежде Мандельштам. Что же так задело в них Харджиева, что же хочет он у них отбить? — Оказывается, не что иное, как Марьюну Рощу — это не их, а его, Николая Харджиева, *«братская дружба»* и не их, а его *«братская ответственность»*. И далее: *«Семейка Шкловских сыграла фарс дешевого великодушия, воспользовавшись моим тогдашним местопребыванием. Понятно?»*

— Нет, непонятно, но помочь тут может цитата из другого исторического произведения Харджиева — его эпистолярной «рецензии» на книгу Э. Герштейн «Новое о Мандельштаме» (Тенафли, 1986). Здесь Харджиев настаивает уже и на том, что Мандельштамы в Марьиной Роще ночевали вовсе не у Тали: *«Кстати, ночи на вилле в Марьиной Роще описаны вами лживо <...>. В пустующей комнате свояченицы Шкл[овско]го М[андельштамы] не ночевали никогда. Они ни разу не воспользовались двумя ключиками человеколюбивого Ноздрева Борисовича⁴⁵. Квартира была коммунальная (3-ий жилец). Я должен был своевременно находиться дома и ждать их звонка. Виктор Ноздревич <...> со свойственным ему предательством предоставил в их распоряжение мою комнату (со всеми возможными последствиями такого гостеприимства)»⁴⁶.*

Иными словами, Харджиев, не смущаясь уже ничем, навыки своего вольного редактирования немножечко применил и к биографии Осипа Мандельштама. Всю же свою эскападу против Шкловских, Корди и Надежды Яковлевны, а с нею и письмо, он закончил убийственной, как ему кажется, фразой: *«Куцая у вас память, Надежда Яковлевна»*.

Итак, медицинский «диагноз» Надежды Мандельштам полностью и блистательно подтвердился! Казалось бы, получив такое письмо, полное желчи и оскорблений, она ответит ему в том же ключе⁴⁷, устроит грандиозный скандал или же плюнет на все и прекратит с ним личные отношения!

Но Надежда Яковлевна поступила совершенно иначе. 28 мая она написала Харджиеву еще раз, причем на этот раз не деловое, а со-

⁴⁵ Подобные прозвища-дразнилки — на манер Александра Сердцевича — Харджиев придумывал для своих врагов. Так, Надежду Яковлевну после мая 1967 г. он называл не иначе как «Иуда Яковлевна» и т. д.

⁴⁶ СХА. В.155.

⁴⁷ В чем-чем, а в слабости по части разрывных писем Надежду Яковлевну не заподозришь! Перечитайте ее письма Б.С. Кузину за 1939 год!

вершенно удивительное личное письмо. Его, как и первое послание тому же адресату, можно было бы тоже назвать и «эпистолярным кунштштюком», и стихотворением в прозе, — когда бы не страсть и вдохновение, недостатка в которых на этот раз не было. В злобном, хамском и визгливом харджиевском письме, граничащем с патологической психопатией или безумием, она вдруг расслышала нечто — бессознательное и знакомое, нечто совершенно родственное любви, — а именно: *ревность*, бешеную, безумную *ревность*!

И, в качестве последнего аргумента, она тотчас выкладывает это Харджиеву: «...*Неужели вы не понимаете, что происходит на самом деле — не на поверхности? Мы оба — два черных ревнивца. Мы жестоко ревнуем друг друга к Осе. То есть как-то не так, но нас трясет от неистовой ревности: кому из нас принадлежит Ося.*

Благородные слова, что Ося уже не моя и не ваша собственность — брехня. Он, может, принадлежит какой-то стороной и другим, но по-своему и нам, и мы до смерти будем его оспаривать друг у друга. Кроме того, вы ревнуете меня ко всем, с кем я вожусь, а я вас ревную ко всем поэтам, с которыми вы изволите изменять Оське. <...> Так и есть. Так и будет. И до конца жизни будем мучить друг друга. А вот сосиску никто у нас не отнимет».

Бажется, все свое существо, весь свой талант, все остатки любви вложила в это письмо Надежда Яковлевна. Как будто она и впрямь надеялась на чудо, которое это письмо сотворит, — на своего рода воскресение прежнего Николаши — «общего» и «черного». Чтобы исключить всякие почтовые случайности, она не бросила это письмо в ящик, как всегда, а пошла для надежности на центральный почтовый узел своего Октябрьского района и подала конверт в окошечко, — может быть, единственный в жизни раз.

И правда: адресат получил его уже назавтра! И — более уже никогда и ни на что письменно Надежде Яковлевне не отвечал.

5

Тем не менее — через полтора месяца судьба столкнула Надежду Яковлевну и Николая Ивановича лицом к лицу, да так, что не уклониться. Оба — и Надежда Яковлевна, и Харджиев — являлись свидетелями со стороны Льва Гумилева на его процессе против Ирины Пуниной о праве наследования архива А.А.

В Ленинградском горсуде дело впервые рассматривалось 14 июля 1967 года, и Надежда Яковлевна имела случай убедиться в том, что бывает с архивами поэтов, если оставить их на самотек. (Удостовериться в том, какими бывают «наследники», она успела еще раньше — после

смерти «Акумы» Ира Пунина звонила ей). Вся эта история отчетливо показала ей — спасительнице мандельштамовского архива, насколько роковой для архива может оказаться юридическая бесхозность или хотя бы двусмысленность его статуса, сколь бесчестными и хищными могут обернуться иные «наследнички», а главное — сколь опасной и губительной может оказаться идея монопольного завладения архивом вообще — причем неважно, кто окажется владельцем — государство или частное лицо.

Свое отношение к этому она сформулировала в «Моем завещании», написанном в конце декабря 1966 года, то есть еще до крайнего обострения отношений с Харджиевым. Выход из положения виделся Надежде Яковлевне в назначении комиссии из одиннадцати человек и коллегиальном наследовании этой комиссией архива О. Мандельштама и смежных прав⁴⁸.

Что касается суда, то 18 июля, уже по возвращении из Ленинграда, Надежда Яковлевна так описывала все это действо В.Т. Шаламову⁴⁹: *«Я проделала всю эту операцию с неслыханным напором и быстротой, но было мерзко и отвратительно до боли. В четверг я выехала в Ленинград. На вокзале меня встретил Бродский, и мы поехали к нему, выпили чаю и в суд. Там уже собрались люди. Пришло человек 20—30, все знакомые. Среди них Жирмунский и Адмони. Прошла Ира Пунина — невероятно зеленая и измученная — ей дорого дались 7 или 8 тысяч, которые она украла. Все люди, когда она проходила, отвернулись — никто ее не узнал. А все они знали Иру ребенком, большинство было знакомо с ее родителями. Дело по просьбе Иры было отложено: юрисконсульт Публичной библиотеки в отпуске! (Это туда она продала часть архива.) Допросили только свидетелей, приехавших из Москвы — меня, Харджиева и Герштейн. Я была первая. Как я понимаю, я дала правильные ответы. Ирина сообщала, что Анна Андреевна ее “воспитывала”. Я очень удивилась: суд не знал, что у нее была собственная мать, и мне пришлось объяснять эту дикую ситуацию: жена с ребенком в одной комнате, муж с любовницей в другой, хозяйство общее, как случилось, что они вместе в квартире. Я рассказала... все это очень противно. Пришлось говорить и об отношениях с Ирой Анны Андреевны, о том, как ее выгоняли в Москву и обо всем прочем... О составе архива... Все гнусно беспредельно, во всем виновата Анна Андреевна, и она ни в чем не виновата...»⁵⁰*

⁴⁸ См.: Мандельштам Н., 2006. С. 131—139.

⁴⁹ Шаламов, 2004. С. 784—785.

⁵⁰ Перенесенное заседание состоялось 11—19 февраля 1969 г., и Ленинградский горсуд решил дело в пользу Л. Гумилева. Но 3 июля 1969 г. Верховный суд РСФСР пересмотрел дело в пользу И. Пуниной.

А далее — о встрече с самим Харджиевым: *«Харджиев еле смотрит на меня — оскорблен. Он благодетельствовал Мандельштама, а я посмела отобрать у него рукописи... Мерзость. Слава Богу, основные рукописи у меня, хотя многого он не вернул. Саша Морозов устраивает мне сцены — неизвестно, на каком основании. Это наследники при моей жизни начинают скандалить. Что же будет после моей смерти? В моем случае речь идет не о деньгах, а о праве распоряжаться. Я нашла ответ. Я готовлю собрание и зову себе на помощь, кого хочу. Если не нравятся — пошли вон. Так?..»*

6

Почти все лето и сентябрь 1967 года Надежда Яковлевна провела в Верее, понемногу разбирая архив и определенным образом — ну примерно как кислота, пролитая на известняк, — реагируя на то, с чем она при этом столкнулась. Сначала она написала очерк истории архива. Закончив его в начале августа⁵¹, она уселась и за комментарии к стихам 1930-х гг. 17 августа 1967 года она писала Шаламову: *«Понемногу работаю (текстология). Трудно и невыносимо грустно. Грустно от разного»*⁵². И в тот же день — более развернуто и с безнадежной горечью — Наташе Штемпель: *«Сейчас я в бешенстве на Харджиева. Еще больше, чем раньше, потому что вникаю глубже в то, что он наделал. Скотина, каких мало. Борьба произойдет, когда я вернусь, худо дело. <...> Он обрезал листок с “Нищенкой” (отрезал первую строфу). Зачем? Наверное, мне на пакость — чтобы напечатать без нее на формальных основаниях: нет рукописи. Доказать, что он отрезал, очень просто. Есть другие листки такого же вида, но больше... на строфу. Гад. Он не стихи любит, он свое редакторство любит»*⁵³.

Еще в Верее, разбирая архив и все более и более ужасаясь, она обнаружила еще и то, что многого просто не хватает! Первой на это она пожаловалась Наташе — в сентябре: *«Мои дела с Харджиевым такие: он врет так, что попадает на каждом шагу. <...> Конечно, он психопат, маниак и вор. Мне стыдно, что я доверила ему рукописи. <...> У меня к вам такой конкретный вопрос: были ли у вас маленькие листочки со стихами (писавшимися в ту зиму) моей рукой с датой Осинной рукой? Он мне не вернул ни одного. Сам он притворяется невинным... Сам он и все мы скоро умрем; всё равно всё будет в архивах.*

⁵¹ Очерк «Архив» был завершен в Верее 4 августа 1967 г. (Мандельштам Н., 2006. С. 140—162).

⁵² Шаламов, 2004. С. 788.

⁵³ Мандельштам Н. 2008. С. 354—357.

Но это воровство для меня страшное предательство... На что он посягнул...»⁵⁴

Вернувшись в Москву, Надежда Яковлевна в два присеста составила опись «недостач» и потребовала все назад⁵⁵. Свое все еще вежливое письмо от 11 октября она начала с обращения, не до конца казенного — «Дорогой Николай Иванович», а заключила его так: «Я прошу вас найти и вернуть вместе с автографами из редакции. Я уверена, что где-то лежит конверт с этой кучкой бумаг. Вы собирали все так быстро, что вполне могли не вложить несколько листков»⁵⁶.

Но Харджиев не ответил и на это письмо. И уж тем более — не прислал ни с кем никаких рукописей. В ноябре 1967 года Надежда Яковлевна жаловалась Штемпель — своей верной воронежской подруге: «У меня ничего нового. Книга в Ленинграде постепенно движется. Возможно, в будущем году выйдет. Зато с Харджиевым полный разрыв. Я потребовала, чтобы он мне вернул то, что он оставил у себя, но он врал честнейшим голосом и ничего больше не вернул. Какие там конверты. Никаких конвертов не видел... И многое другое. Например: найденное мной стихотворение “Нет, не мигрень” он будто бы уничтожил — ведь это не автограф... Он не вернул мне ни одного листочка из второй и третьей воронежской тетради О.М., где была дата рукой О.М. (кроме двух — вашим почерком). Оказался сволочью полной. <...> Я проклинаю себя за то, что отдала ему архив, но, вспоминая прошлое, понимаю, что ничего другого сделать не могла. Ведь я жила чорт знает где, бумаги хранились в доме, где Харджиева не переносили, он сел за работу и т. п.»⁵⁷

Но в этом же письме Надежда Яковлевна как бы поправляет саму себя — кое-что Харджиев все-таки ей вернул и после майской операции: «Сейчас произошли некоторые изменения: Харджиев прислал мне два черновика: оба 37-го года. Он сказал, что Лина дала ему просмотреть письмо Сергея Бор[исовича] из Воронежа; и это там он нашел стихи 37 года... Ложь всегда выявляется в связях времени и пространства, как говорила Анна Андреевна. Рудакова в 37 году уже давно в Воронеже не было, следовательно, он не мог стащить черновик и послать его Лине. Столь же мало шансов, что он положил один черновик, полученный у меня, в конверт. Следовательно, Харджиев получил этот черновик либо от меня, либо другим способом; и лжет напраполю. А может, верит своей лжи? Кто его знает. Хорошо, что почти всё у меня, но какое-то “почти” осталось у него...»⁵⁸

⁵⁴ Мандельштам Н. 2008. С. 301.

⁵⁵ Тот же самый перечень, но в несколько более развернутом виде, она привела и в очерке «Конец Харджиева» (Мандельштам Н., 2006. С. 163—171).

⁵⁶ Мандельштам Н. 2008. С. 359—360.

⁵⁷ Мандельштам Н. 2008. С. 35.

⁵⁸ Мандельштам Н. 2008. С. 360.

16 ноября 1967 года Надежда Яковлевна пишет два письма. Одно — в Воронеж, Штемпель: «Харджиев врет напрапалу, и Саша верит ему и плачет (“Он уничтожил этот листок, потому что нашел лучший автограф... Неужели вас не удовлетворяет это объяснение? Он скажет, где автограф, когда выйдет книга”, — сказал мне Саша... Этого достаточно для профессионального суда. Такое обращение с доверенными ему текстами преступно). <...> Я этого дела так не оставляю. Публичного скандала я поднимать не буду — не стоит. Но оставляю в Осином архиве всю эту историю, а кроме того, составлю новую комиссию по наследству (под предлогом, что двое — Ахматова и Эренбург — ушли) и не введу в нее Харджиева. Я не хочу, чтобы он был “авторитетом” по Мандельштаму, заняв себя такой подлостью»⁵⁹.

Другое письмо — самому Николаю Ивановичу. Отбросив на сей раз всякую дипломатию и сентиментальность, она написала ему то, что он, в ее глазах, полностью заслужил. Написала твердо и спокойно — называя маниакальность маниакальностью, шизофрению шизофренией, манипулирование архивом манипулированием архивом, а ложь ложью.

Обещая разрушить его доброе профессиональное имя и репутацию в случае, если он не вернет ей недостающее, она, в сущности, прибегла к элементарному шантажу. Но Харджиев не поддался на него, на письмо не ответил, а только огрызнулся оставшейся невидимой миру ремаркой на ее письмо: «Омерзительная шантажистка».

Известно, что Надежда Яковлевна и Николай Иванович после этого говорили по телефону, и Харджиев категорически отрицал, что у него еще что-либо осталось. Если бы в этот момент он вернул хоть какие-нибудь автографы, то трудно предположить, что этого бы нигде не упомянула сама Надежда Яковлевна⁶⁰.

Зато известно, что две трети из «недостающего» впоследствии в архиве обнаружилось, или, точнее, оказалось. Впрочем, прежде всего и главным образом это говорит о том чудовищном состоянии, в ко-

⁵⁹ Мандельштам Н. 2008. С.362.

⁶⁰ О находке Надеждой Яковлевной всего якобы «украденного» Харджиевым свидетельствует и Эмма Герштейн: «Через некоторое время Н.И. получает по почте письмо от Надьки со списком рукописей, которые он ей не сдал. На Н.И. было страшно смотреть, я очень боялась за него. У него не было этих рукописей, потом они у Н.Я. нашлись. И это известно, но она не сказала ему: “Я ошиблась, рукописи все тут”. Она сочинила список рукописей, украденных Харджиевым. <...> И после получения этого списка, якобы того, что он ей не вернул, Николай Иванович сказал Наденьке: “Вы дрянь!” Она этого забыть не могла никогда!». Правда, свидетельство в интервью, которое Э.Г. Герштейн дала И. Врубель-Голубкиной («На фоне всех реvizий века...» // Зеркало. 1999. № 9—10. С. 3—34) — и само по себе не слишком солидное. Его дезавуировала и сама Э.Г. Герштейн (НМ. 2000. № 2).

торое пришел архив, на протяжении около тридцати лет кочевавший от одного хранителя к другому. Ясно, что переход от фазы хранения к фазе подготовки издания, подразумевающей многократное раскладывание и перекладывание листов, сохранности и структурированности архива не способствовал. Так что внезапное обнаружение самой Надеждой Яковлевной того или иного листочка из списка «без вести пропавших» — объяснение наиболее вероятное.

Некоторых позиций из «пунктов обвинения» Надежды Яковлевны, возможно, и вовсе никогда не было в архиве, иначе трудно было бы понять, почему сведения о них не отразились хотя бы в комментариях Харджиева к тому стихов Мандельштама в «Библиотеке поэта», а относительно двух ранних стихотворений, например, Харджиев в пометах на полях письма вдовы указал на свои источники в периодике.

Строго говоря, лишь четыре позиции из двенадцати в обвинительном перечне Н.Я. Мандельштам не опровергаются теперешним состоянием архива⁶¹. Это может означать одно из двух: или того, на что указывала Надежда Яковлевна, в архиве не было и она запомнявала, или это в архиве было и Харджиев это уничтожил.

Знакомство с архивом самого Харджиева — по крайней мере, амстердамской его части (московская его часть по-прежнему остается недоступной) — не дает оснований для подтверждения выдвинутых обвинений⁶².

Скорее всего «подозрения» Надежды Яковлевны рассосались сами собой — в результате «всплытия» в находившемся уже у нее архиве Мандельштама большей части «украденного». Иначе было бы все-таки трудно понять, почему скандал о харджиевском воровстве и самоуправстве так быстро затих. Во «Второй книге» Надежда Яковлевна обвиняет Харджиева во многом и разном, но все-таки не в воровстве, она не приводит и перечень недостатков, а саму недостатку квалифицирует как фальсификацию текстов и объясняет простительным (по крайней мере, понятным) вирусом собирательства: *«Все же большую часть рукописей он вернул, кое-что придержал для “коллекции” и уничтожил то, где хотел изменить дату или навсегда утвердить не тот текст...»*⁶³

⁶¹ Мандельштам Н., 2008. С. 300—303.

⁶² Под слабое «подозрение» подпадает разве что пункт 6 — печатный текст стихов об авиации (в СХА имеется журнальная корректура стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой...»). Однако это стихотворение имело домашнее название «Летчик», тогда как «Стихами об авиации» называлось стихотворение «Давайте слушать грома проповедь...»).

⁶³ Мандельштам Н. Вторая книга, 1999. С. 402. На другой немаловажный аспект указывает (увь, в том же интервью) и Э.Г. Герштейн: ей, Надежде Яковлевне и Харджиеву предстояло вместе защищать интересы в споре Льва Гумилева и Ири-

Текстологический спор двух ревнивцев — Надежды Яковлевны Мандельштам и Николая Ивановича Харджиева — касался главным образом двух стихотворений — «Нет, не мигрень...» и «Вехи дальние обоза...». Их автографы в принстонском семейном архиве поэта отсутствуют. Тем не менее в споре вокруг «Карандашика» (стихотворения «Нет, не мигрень...») победа осталась за Харджиевым, правота которого подтвердилась другим источником — беловиком из архива М. Зенкевича⁶⁴.

Но означает ли это, что Надежда Яковлевна в своих подозрениях и даже обвинениях решительно не могла быть правой и что Харджиев — это такой человек, который никогда и ни при каких обстоятельствах не пошел бы на манипулирование архивом и на фальсификацию источника?

Нет, увы, не означает. Случаи его поведения именно такого рода, к сожалению, известны.

Так, Хенрик Баран зафиксировал практику идеологического «выпрямления» Харджиевым тех текстов Хлебникова, где наружу выходили его национализм и антисемитизм. Публикуя в «Неизданных произведениях» (1940) программную статью Хлебникова «Курган Святогора» (1908), Харджиев выпустил из нее фрагмент, исполненный верноподданнических чувств. Так же поступил он и с пьесой «Снежимочка» (1908), из которой изъял положительные реплики в адрес черносотенного движения⁶⁵.

Этим вмешательством, безусловно, он хотел только одного — защитить своего героя — Хлебникова — от будущих нападок.

Но встречалась и другая, менее благородная, мотивация. Вот что установила искусствовед Александра Шатских:

«Заслуженный историк искусства, литературовед Н.И. Харджиев, по справедливости ненавидевший советскую власть, советский режим, губивший людей, которых он боготворил (Даниил Хармс и Казимир Малевич были для него такими главными людьми), тем не менее, пользовался методами советской власти — как известно, ретушировавшей и «подправлявшей» неудобные фотографии. Он отредактировал оба варианта снимка: в обоих вариантах от общей группы, о которой писал Малевич в письме к Петникову, были отрезаны Гриц и Тренин, Харджиев остался вдвоем с Малевичем (в комментарии к одному из вариантов снимка, опубликованному в «Зеркале» (см. ниже), Харджиев указал: «Газета с руганью Бухарина по поводу “Черного квадрата”»).

ны Пуниной за наследство А. Ахматовой. Компрометация Харджиева не могла не ослабить позиций «Лёвиной» партии.

⁶⁴ В настоящее время в Отделе рукописей ГЛМ.

⁶⁵ Баран Х. Еще раз об идеологии Хлебникова // Труды русской антропологической школы, Вып. 2. М., 2004. С. 98—112.

Такими отредактированными эти фотографии хранились в архиве Харджиева, такими они были получены журналисткой Ирой Врубель-Голубкиной в январе 1991 года и помещены ею в журнале «Зеркало» за 1995 год. Такими они были опубликованы и в монументальном двухтомнике 1997 года, использовавшем материалы из архива, находящегося ныне в Амстердаме в Фонде Харджиева. Поистине, лицезрение метаморфоз с фотографиями становится тем знанием, что умножает скорбь»⁶⁶.

Так что вопрос о манипулировании архивом оставался. В то же время «альбом Эренбурга», действительно, был разброшюрован, а, скажем, «Ватиканский список» и впрямь порезан.

Но если не Харджиевым, то кем?..

7

Что ж, история тяжелая, запутанная и, в конечном счете, не слишком веселая. Много в ней можно списать на взрывной, неврастенический характер Харджиева, унаследованный им от родителей⁶⁷, на тот «психопатический аппарат, вырабатывающий ненависть», названный в диагнозе, поставленном в одном из писем Надежды Мандельштам. Много и впрямь можно объяснить тою ревностью, которую с восторгом обнаружила у него — и разбудила в себе — та же Надежда Яковлевна, ревностью и борьбой за «своего Мандельштама»!

Харджиеву фантастически повезло. Он дружил с Мандельштамом, дружил с Ахматовой... Потом ему повезло еще раз: по старой дружбе ему посчастливилось первому изучить и издавать стихи Осипа Мандельштама — не друга, не современника и не собутыльника, а великого поэта.

Надежда Яковлевна саркастически назвала его во «Второй книге» «первым старателем», но начало его старательства на прииске поэзии Мандельштама вовсе не предполагало сарказма. Приступая к работе, Николай Харджиев поступал так же, как и всякий другой поступил бы на его месте, — спрашивал у вдовы, спрашивал у других современников, у библиографов, зарывался в библиотеки...

Он начинал первым, и вклад его неоценимо велик. Но вклад его вовсе не непререкаем.

⁶⁶ Шатских А. «Последний кружок им. Бухарина»// Супремус. 1999. № 6.

⁶⁷ Его мать, Христиклия Мельтиадовна, или Христина Михайловна, Василуполу (? — 1945), происходила из измирских греков, а отец, выходец из богатой армянской семьи, оставил семью и проиграл все свое состояние — аккурат накануне революции.

Несмотря на все филиппики Надежды Мандельштам и Виктории Швейцер⁶⁸, долгое время как-то казалось, что главные дефекты томика Мандельштама в «Библиотеке поэта» — это статья Дымшица и куцый состав, — а вот все то, что в книгу уже попало, сделано, пусть и поперек воли Надежды Яковлевны, пусть и авторитарно, зато куда как авторитетно, по-гроссмейстерски, безупречно.

К сожалению, это не так: описания источников текста расплывчатые и глуховатые, иные текстологические решения на самом деле допускали серьезную альтернативу и впоследствии пересматривались, или, по крайней мере, альтернатива эта учитывалась. Для издания, готовившегося семнадцать лет, просто поразительны ссылки на не существовавшие собрания автографов, как, например, липкинское. Да и комментарии, даже если отвлечься от их огорчительного футуристического перекоса, содержат труднообъяснимые отдельные ошибки и неточности.

Само по себе все это совершенно нормально и не умаляет огромных заслуг Харджиева. Ибо именно находками, прочтениями и открытиями измеряется качество работы текстолога и комментатора. Неточности и ошибки столь же нежелательны, сколь и неизбежны, и под пристальным перекрестным вниманием коллег — в здоровой ситуации немонопольности — они обязательно будут замечены, а возможно обруганы или высмеяны, но — самое главное — исправлены! В этом-то и заключается, так именно и срabатывает непроизвольный феномен *коллективной работы*, будь Харджиев или иной текстолог хоть тысячу раз индивидуалистом, «одиноким волком», слышать и видеть никого не желающих.

Но одно Николай Иванович все-таки точно перепутал: Мандельштам, «сам-друг», был его работой, а он думал, что работа его была Мандельштамом, да так — чтобы после нее места для иных прочтений уже не оставалось. Получив в десятилетнее распоряжение столь великую драгоценность — подлинный архив поэта, он обращался с ним явно бестрепетно, не как со святыней, а как с рабочей лошадкой, а иной раз и как с расходным материалом. Он действительно любил свое «редакторство» и берег от чужих глаз свою редактуру, но списки и автографы поэта не берег даже от своих ножниц.

Но даже если бы он совершил невозможное — нашел себе надежного фотографа — и обложил бы себя фотокопиями и разрезал бы их, а не оригиналы, он все равно бы злоупотребил своим счастьем — временным и нездоровым положением монополиста.

⁶⁸ См.: Швейцер В. Спустя почти полвека (К выходу «Стихотворений» О. Мандельштама) // *Rossica*. 1981. Литературный сборник. New York: Russica Publishers Inc., 1982. С. 229—255.

Этими чертами характера Харджиев отчаянно напоминал своего нечаянного предшественника — самого первого мандельштамоведца и единственного, с кем судьба свела и самого Мандельштама.

Был им, к сожалению, Сергей Борисович Рудаков. К сожалению — по двум причинам. Первая — это присвоение и утеря архива, а вторая — извращение миссии.

Завоеванное в Воронеже доверие привело к тому, что Мандельштам отдал Рудакову на хранение и «для работы» весьма существенную — видимо, лучшую — часть своего архива. Рудаков же воспринял это с той поры как часть своего рабочего архива и не предпринял никаких специальных мер к его сбережению, решил только порекомендовать архив заботам Лины Самойловны Финкельштейн — своей жены, а потом и вдовы.

Именно с Рудакова повелась та опасная традиция ревностной борьбы за монополию пользования архивом поэта и за свободу своего и только своего самовыражения в мандельштамоведении.

8

Для Надежды Яковлевны именно драма отношений с Харджиевым стала тем последним, тем непереносимым ударом, который потряс ее существо и подвиг к пересмотру смысла дружбы и многих других ценностей.

Начавшиеся с дружбы и со стихов, продолженные верностью и ревностью, отношения Надежды Мандельштам и Николая Харджиева обернулись своей противоположностью — ненавистью и жаждою отомстить. После разрыва с Харджиевым из современников-ровесников она не доверяла уже никому, делая исключение, быть может, для двух-трех самых беззаветных и безамбициозных своих подруг, как Василиса Шкловская или Наталья Штемпель...

Ущерб, нанесенный Харджиевым архиву, и его фиаско с изданием, — а именно таким Надежда Яковлевна видела положение вещей, — заставили ее не только искать ему основательную замену⁶⁹, но и, отчасти, самой влезть в его шкуру, взявшись за биографический и, частично, текстологический комментарий к поздним стихам.

«Просмотрев архив, я убедилась, что он в таком ужасном состоянии, что нельзя обойтись без моих сведений или без моего текстологического комментария. Мне придется дать объяснения почти

⁶⁹ Разбором архива занимались И. Семенко, В. Борисов и А. Морозов, уже в 1968 г. напечатанные фрагменты из записных книжек и заметок О. Мандельштам (*Мандельштам*, 1968. С. 181—199).

к каждому стихотворению 30—37 годов. То, что сделали с этим архивом, настоящее преступление. Но все же стихи спасены. Но тексты придется устанавливать не обычным способом, изучая автографы и авторизованные беловики, их, к несчастью, сохранилось слишком мало. Хорошо, что есть «альбомы» и я еще кое-что помню из высказываний О.М. Это единственный путь к установлению текстов. Другого нет, как не было и другой такой эпохи, как наша»⁷⁰.

В двух последних фразах — «Это единственный путь к установлению текстов. Другого нет...» — запрограммирована вся последующая деятельность Н.Я. как мандельштамоведа. Это программа — и одновременно, пусть невольно, — западня: раз нет черновиков и прижизненных списков, то спрашивать надо у нее и только у нее, у Надежды Яковлевны, а она уж постарается все вспомнить, как оно было. Или — как она помнит. Или — как оно лучше.

Оставив Харджиеву усыхающую лужайку «Библиотеки поэта», она выпустила свою первую книгу — «Воспоминания» (пусть и «лояльную» еще по отношению к «Николаше») — и воцарилась на всем остальном мандельштамовском пространстве. Даже смерть Надежды Яковлевны задолго до смерти Харджиева ничего, в сущности, не изменила в этой конstellации взаимной ненависти, расколовшей, кстати, на два лагеря и читателей.

Этот путь, замешанный на просвещенном и вместе с тем не ограниченном уже ничем своеволии, приведет к проклятой ей самой монополии и ее саму. Причем к монополии, пожалуй, еще более амбициозной, чем у Харджиева⁷¹. Если Харджиев как монополист ограничивался областью текстологии только, то Надежде Яковлевне этого уже казалось мало, и она отваживалась на куда большее, в частности, на интерпретацию стихов и — через оценки, даваемые тем или иным людям и событиям — на интерпретацию судеб и истории.

Столь катастрофический разрыв с Харджиевым разобрил ее и с Ахматовой, и та книга об Ахматовой, исполненная горя от утраты друга, книга, полная любви к ее личности и поэзии, книга, которую Надежда Яковлевна писала уже больше года и почти закончила ко времени этого разрыва, в одночасье и безнадежно устарела...

Нет, дудки, — теперь она напишет другую книгу. Книгу об эпохе и о себе самой!

И она написала ее. «Вторая книга» и есть портрет эпохи на фоне сотен людей, а не групповой портрет на фоне эпохи, как ее многие поняли и обиделись за своих знакомых. Этот портрет эпохи, со-

⁷⁰ Мандельштам Н., 2006. С. 162.

⁷¹ О том, как это отразилось на текстологии, см., например: Богатырева, 1995. С. 360—377.

ставленный из сотен мазков и ликов, — убийственен для советской действительности, и, если бы Надежда Яковлевна вместо реальных имен прибегла бы к прозвищам, как Катаев, или хотя бы к аббревиатурам, то она сэкономила бы персонажам и читателям немало нервов, а критикам — перьев.

Она посчиталась в ней и с Харджиевым⁷².

Но посчиталась и с Ахматовой...

⁷² Но относительно мягко, по сравнению с очерками «Архив» или «Конец Харджиева», например.

ЛЕТОПИСЕЦ (ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ)

Памяти Веры и Сергея Лукницких

Согласно выправленным бумагам, Павел Николаевич Лукницкий — ровесник века. Родился 29 сентября 1900 года (по старому стилю) в Санкт-Петербурге, в благополучной дворянской семье. Среди его аристократических предков — генералы, инженеры, академики, сенаторы, историки, живописцы и писатели, как, например, пращур Аристарх Владимирович Лукницкий (1778—1811), редактор журнала «Северный Меркурий».

Уже в детстве много путешествуя с родителями, в основном, по Европе, он побывал в Германии, Франции, Дании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Италии, Греции, Турции и на Мальте. Во Франции застало его начало Первой мировой, и именно с этим оказались связаны самые первые, 1914 года, дневниковые записи одиннадцатилетнего Павлика Лукницкого: *«16 июня (29 июня) 1914 г. Мы поехали осматривать Эйфелевскую башню. Она поразила меня своими громадными размерами — саженой 50 (квадратных). В ней есть лифт, который поднимается на предпоследнюю площадку башни. На самом верху телеграфная станция, маяк для аэропланов и что-то вроде каютки».*

Образование Павлик получал в Санкт-Петербурге. Родители записали его в Третью гимназию, где он проучился три года, а затем перевели в Пажеский корпус, который он так и не кончил: учеба, как и все остальное, была прервана и порвана Революцией.

Тогда же, в семнадцатом, Павел Николаевич увлекся еще одним «делом всей жизни» — фотографией. Привычка и умение фиксировать на пленке гущу текущих событий необычайно пригодились ему позднее, в экспедициях и во время Второй мировой, а оставленный им после себя фотоархив (более сотни тысяч негативов и отпечатков) впечатляет по-своему не меньше рукописного наследия.

Революция приучила к самостоятельности и «взрослой жизни». В 1917—1918 гг. Павел Лукницкий попрактиковался в таких профессиях, как разносчик и продавец газет, грузчик на дровяных складах, рабочий и десятник на железнодорожном строительстве, слесарь, кочегар и помощник машиниста. Свое «повзросление» он понял и принял буквально, в 1918 году «выправив» документы и из 16-летнего подростка превратившись в 18-летнего юношу. Так что столетие Павла Николаевича Лукницкого, собственно говоря, есть артефакт, точнее, розыгрыш юбиляра, дающий потомкам приятный шанс обратиться к юбилею еще раз, два года спустя.

Что же, «розыгрыш» себя оправдал: уже в 1920 году Лукницкий стал одним из руководителей крупной железнодорожной стройки: — ветки Александров Гай — Эмба. С этим жизненным опытом и знаниями Лукницкий приехал в сентябре 1921 года в Ташкент и поступил в Среднеазиатский университет, на факультет общественных наук.

Здесь он встретил первого в своей жизни живого писателя — Бориса Лавренева. Сам же Павел Лукницкий еще в 1919 году впервые вдохновился на писание стихов. Все более и более проникаясь литературными интересами и все глубже погружаясь в материю стиха, осенью 1922 года он перевелся в Петроградский университет, который и окончил в 1925 году, став членом Всероссийского Союза Поэтов (в 1924 году) и Всероссийского Союза Писателей (в 1925 году; в том же году он был избран секретарем Всероссийского Союза Поэтов) и выпустив два поэтических сборника — «Волчец» и «Переход».

Любовь же к стихам поначалу была монополизирована личностью и персонифицирована поэзией Николая Гумилева. Его яркая романтическая жизнь и, по-своему, яркая смерть навели Павла Лукницкого на мысль стать его первым биографом.

Надо сказать, что, начав собирать материалы о любимом поэте, Лукницкий весьма в этом преуспел. Во-первых, он был действительно первым, кто этим занялся, но главное было в другом: начав «приставать» с расспросами и просьбами к близким и современникам Гумилева, Лукницкий, — словно кирка стукнула о крышку ящика с сокровищами, — непроизвольно обнаружил истинный клад в самом себе.

Этот клад — призвание летописца и одержимый коллекционера.

Склонность к тому и другому у Павла Лукницкого явно была врожденной (кстати, и его отец в свое время долгие годы вел обстоятельный дневник, еще ждущий своего исследователя). Собранный им за жизнь огромный архив оказался в итоге на редкость «качественным» и, сообразно жизненным интересам и перипетиям, разнообразным.

Уже внешний вид дневника Павла Лукницкого производит довольно сильное впечатление. Более двухсот тетрадных томов соб-

стенноручного изготовления, сделанных с таким расчетом, чтобы они легко помещались в пиджачном кармане. Испещренные довольно мелким, но, по привыканию, достаточно хорошо читаемым почерком, иногда дополненные вклейками и вставками, а иногда, увы, и со следами вырванных страниц, — вместе взятые, они занимают целый книжный шкаф.

Напомним, что сам Павел Николаевич начал вести дневник еще в 1914 году, то есть в 11-летнем возрасте, а закончил — буквально — в день смерти, 22 июня 1973 года в Москве. Нет, все-таки он писал не каждый день, но явно стремился к этому, не чураясь иной раз даже почасового хронометража событий! Иногда он притормаживал на собственных переживаниях и высказываниях, хотя слова собеседника и обещали большее, иногда — увязал в деталях, которые из сегодняшнего дня могут показаться менее интересными по сравнению с тем, что осталось за кадром, — но помилуйте: разве не таковы законы этого жанра? Частный дневник, в отличие от отчета или рассказа, ведется для себя и не предназначен для чужого прижизненного глаза (впрочем, в одном случае Лукницкий вынужден был отступить от этого неписаного правила и давать кое-что читать своему «персонажу» — Ахматовой).

Современники знали об этой особенности Лукницкого и, как могли, осторожничали — одни полу-шутя, другие всерьез. Так, Ахматова сердилась на Пунина за то, что тот выговаривал ей за что-то «...при Лукницком, который, как вы знаете, все записывает»¹.

Записывал он изначально, разумеется, и «все о Гумилеве». Готовность современников помочь в сборе материалов к гумилевской биографии была исключительной. Вот только одна, но достаточно выразительная деталь: оказавшись за границей, в Токио, Н.Н. Пунин пишет, «по просьбе молодого биографа Н.С.», Н. Гончаровой, в Париж и спрашивает, не знает ли она случаев реального имени той «Синей Звезды», которой посвящен парижский сборник Гумилева?²

Но постепенно мир, в котором обретался летописец Лукницкий, превращался из однополюсного в двухполюсный. Уже не одно, а два акмеистических светила освещали его небосвод — Гумилев и Ахматова³.

С Анной Андреевной Лукницкий познакомился в декабре 1924 года, при встрече поразив ее тем, что огромному псу, яростно облаяв-

¹ Пунин, 2000. С. 264.

² Пунин, 2000. С. 293.

³ Интересно, что к Мандельштаму аналогичного интереса у Лукницкого не было. Он был ему интересен главным образом как источник информации о Гумилеве и Ахматовой.

шему незваного гостя, запросто положил руку прямо в пасть, чем заставил его перестать. После этого и на протяжении без малого пяти долгих лет Павел Лукницкий был завсегдаем в доме Ахматовой и, временами, ее фактическим секретарем и первым собеседником. Никита Струве назвал его «*первым по времени Эккерманом Ахматовой*»⁴.

По отношению к Ахматовой Лукницкий, кажется, испытывал своеобразный комплекс, буквально разрываясь между любовью к ее поэзии и поэзии ее первого мужа. Лучшие поэтические строки самого Лукницкого — обращены к Ахматовой или навеяны ею:

И многие века падут
И люди новые придут,
И ты придешь в сияньи новом,
И в камне вырастут цветы,
Когда его коснешься ты
Одним непозабывтым словом⁵.

Свою озаренность Ахматовой он явственно ощущал и неизменно подчеркивал⁶:

Мне светил в этой жизни провидицы взор
Ангелицы с земною котомкой!

...Со второй половины 20-х годов начинает раскрываться, если угодно, «вторая натура» Лукницкого — натура страстного путешественника. Каждое лето с 1926 года он на долгие месяцы уезжал в Крым или на Кавказ, занимался матросом на каботажные суда. В 1928 году вместе с Тихоновым и Кавериным он пешком исходил Сванетию, Дигорию и Абхазию, а в августе, в Ялте, почти месяц провел рядом с еще одним акмеистом — Осипом Мандельштамом (с которым познакомился, как и с Ахматовой, в декабре 1924 года⁷). Именно тогда, 25 августа, то есть в годовщину расстрела Гумилева, в Ленинград, Ахматовой, было послано тройственное письмо от Мандельштама, его жены и Лукницкого, и в нем знаменитая мандельштамовская фраза: «*Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется...*».

⁴ Н.С.<струве>. Acumiana // Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. Том I. 1924—25 гг. Париж, 1991, С. 3.

⁵ Лукницкий П. Стихотворения. М.: Спас, 1998. С. 13.

⁶ Там же. С. 22.

⁷ Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого, 1991. С. 135.

А вот занятиям Павла Лукницкого Гумилевым и акмеистами суждено было прерваться. В самом конце двадцатых годов, заблаговременно уловив, откуда и куда задул в СССР ветер, Лукницкий счел за благо отдалиться от Анны Ахматовой и от ставшей ему столь привычной литературной среды. Ему стало не по пути с попутчиками.

В 1929 году Лукницкий написал главному геологу СССР — академику Ферсману. Его просьба-предложение принять участие в исследовательских экспедициях было а с благосклонностью принято, и с этого началась многолетняя полевая жизнь Павла Лукницкого. Вот лишь выдержки из довоенного перечня экспедиций, в которых он участвовал: на Кавказ и в Туркмению (1929), на Памир и в Таджикистан (1930—1934 и 1938), на Хибинь (вместе с Ферсманом; 1931—1932), в Казахстан (1935), в Заполярье (1937), в Ленско-Витимский район (1939) и др. Особенно щедрым на яркие события были памирские 1930 и 1931 годы — тут и плен у басмачей, и открытие месторождения лазурита, и обнаружение и картирование неизвестной ранее гряды гор, два пика в которой он назвал Ак-Мо (в честь Ахматовой) и Шатер (по названию последнего сборника стихов Гумилева).

Как литератор, «переключившись» на геологические экспедиции, Павел Лукницкий как бы разменял былую свободу вольного стихосложения на политически безопасную «путешественническую» прозу. При этом он в полной мере сохранил (и даже развил!) выработанные им за десятилетие навыки и стиль жизни — активное собирание архивов, дневниковую и фотографическую фиксацию текущих событий и т. д. Кстати, именно путевые и фронтовые заметки и дневники легли в основу целой когорты книг Лукницкого об экспедициях и о войне, — книг, находивших при советской власти не только издателя, но и читателя (некоторые из его книг переведены на многие иностранные языки).

Как из многих других литераторов, война сделала из Лукницкого фронтового корреспондента. На фронт он ушел добровольцем 24 июня 1941 года. Первое время воевал в Карелии, а с сентября 1941 г. стал военным корреспондентом ТАСС по Ленинградскому и Волховскому фронтам, в 1943—1945 гг. прошел Румынию, Австрию, Венгрию и с партизанскими отрядами Югославию.

Но вернемся в переломный для Лукницкого 1929 год. Его уход в тень ни в коей мере не был предательством поэзии и еще вчера боготворимых им поэтических светил, не был отказом от их солнечного света. Это была осознанная мера разумного, в понимании Лукницкого, компромисса, которая позволяла ему, дворянскому сыну, приладиться к устанавливавшейся в стране от имени пролетариата диктатуре и обезопасить себя от истинных и ложных опасностей и даже неприятностей.

Но и большим роялистом, чем король, Павел Николаевич никогда не был. Его общение с той же Ахматовой отнюдь не пресеклось. Она писала ему в тридцать первом году, она же надписывала ему книги в тридцать седьмом (!) и в пятьдесят седьмом, а он приходил к ней в блокадном Ленинграде незадолго до ее отъезда в Ташкент. В 1962 году, узнав, что Лукницкий в Комарово, Ахматова запросто пришла к нему из своей комаровской «будки».

В начале 1960-х годов, когда многие, и Павел Николаевич в том числе, поверили не в оттепель, а в весну, он с удовольствием восстановил некоторые из старых утраченных связей, например, с Надеждой Яковлевной Мандельштам. В 1962 году она дала ему перепечатать списки или, вероятнее, машинопись поздних стихов Мандельштама. В 1964 году он переплел их в желтый коленкор и получившийся том авторизовал следующей надписью: *«Почти все, вошедшее в этот том, передано мне Н.Я.Мандельштам в 1962 г. в Москве. Переплетено в марте 1964 г. Текст вытравлен по первому экземпляру у Н.Я. Мандельштам»*⁸.

Что испытывал Павел Николаевич Лукницкий, перечитывая свои дневники или перебирая гумилевские или ахматовские автографы? Как знать, может быть, тяжело вздыхая, он все же признавался себе в том, что те прошедшие после 1929 года десятилетия так и не смогли перевесить тех нескольких выпавших на его долю лет, осененных поэзией и поэтами?..

Во всяком случае собранные им за жизнь гумилевско-ахматовские и иные сокровища он честно и любовно хранил, каковую потаенную миссию после его смерти переняла и продолжила его молодая подруга и жена Вера.

Ей же выпало разобрать архив и, с первыми же лучами перестроечной весны, подготовить к печати многочисленные журнальные и книжные публикации из дневника и архивных коллекций Павла Николаевича — публикации, привнесшие так много в компендиум знаний о Гумилеве, Ахматовой, Мандельштаме, о литературной жизни 20-х гг. Во всем ей помогал сын, Сергей Павлович Лукницкий, и судьба распорядилась так, чтобы именно он, сын первого биографа Гумилева, внес решающий вклад в раскрытие «Дела Гумилева», обнаружив и предав гласности материалы о расстреле поэта!

Часть бесценного архива П.Н. Лукницкого, в основном концентрирующаяся вокруг гумилевского наследия, в 1997 году была передана на государственное хранение в Пушкинский Дом. Собственно говоря, это именно та часть, которая лучше других известна читателю по публикациям.

⁸ Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого, 1991. С. 111.

Но практически неосвоенным остается основной массив дневника Павла Лукницкого — двести с лишним рукописных томов, охватывающих без малого шесть десятилетий между 1914 и 1973 годами. Более продолжительной летописи, кажется, не знают ни новейшая литература, ни новейшая история.

Разобрать его, описать, прокомментировать и подготовить к возможно более полному изданию — вот титаническая, но совершенно необходимая и созревшая задача. Приступить к ней было бы не только жестом восхищенного уважения к подвигу жизни Павла Лукницкого и к эпохе, в которой он жил, но и данью любви к российской литературе и российской истории — главным персонажам его летописи.

СЛОВО И БЕСКУЛЬТУРЪЕ

НЕ-КОЛОННОВОЖАТЫЙ

Памяти Семена Липкина

Всячески отодвигая в тень творческое наследие таких мастеров, как Горький и Алексей Толстой, Маяковский и Есенин, Твардовский и Исаковский, нам пытаются навязать сегодня новую историко-литературную версию, где на первом плане стоят совсем иные писатели — талантливые, заслуживающие нашего уважения и памяти, но в реальной, действительной истории советской литературы не являвшиеся ее колонновожатыми, — скажем, Мандельштам и Пастернак, Ахматова и Цветаева, Булгаков и Бабель...¹

Нельзя согласиться с нарушением исторических пропорций, которые допускает автор. Ю. Трифонов отводит Мандельштаму одно из главнейших мест в отечественной литературе, определяющих лицо русской поэзии в целом. Мандельштам — интересный поэт, но есть, кроме него, еще и Пушкин, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Лермонтов, Тютчев... всех не перечислить. Именно они определяют лицо русской поэзии, питают поэзию нашего времени².

В статье «О природе слова» Мандельштам писал: «...Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных

¹ Кузнецов Ф. Долговременная программа действий. К 10-летию постановления ЦК КПСС «О литературно—художественной критике» // Московский литератор. 1982, 29 января. С. 1.

² Из редакционного заключения издательства «Молодая гвардия» на рукопись Ю. Трифонова (Кувалдина) «Подкова на счастье (повести)» (полностью — в наст. изд., с. 766).

предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня».

Думал ли, гадал Мандельштам, когда писал эти строчки, что не пройдет и 20 лет после его смерти, как заработает, как застрекочет ундервудными клавишами и как зашелестит фиолетовыми и черными копирками самиздат, некоронованным королем которого станет он сам? Думал ли он и гадал, что через 30 лет, в шестидесятые, его стихи, переплетенные в разноцветный самиздатский коленкор, станут неотъемлемой принадлежностью каждого интеллигентного дома и не только в Москве? Что они станут чем-то вроде домашней утвари, столь же насущной, как кастрюля и сковорода? И что он сам, таким образом, станет источником того «тонкого телеологического тепла», о котором писал в 1920 году?!

Шестидесятники — наследники того четвертого сословья, которому присягал Мандельштам, — с восторгом и радостью окунулись в мир его стихов. Физики в этом не отличались от лириков: первый мандельштамовский вечер в СССР в МГУ в 1965 году организовали аккуратно математики, то есть «физики». Стогны обернулись кухнями, где и физики, и лирики взахлеб читали и на машинках перетюкивали друг для друга московские и воронежские стихи.

Дефицит свободы, поделенный еще и на трудность миграции внутренней (прописка) и невозможность миграции внешней, преодолевался по-разному: одни искали острых, но свободоносных впечатлений в экстремальном туризме (горы и пещеры, плоты и байдарки), другие шли в диссиденты, а третьи уходили в нечто парадоксальное — в эмиграцию внутреннюю.

Вот как зацепила это явление Светлана Алексиевич, точнее, один из ее собеседников:

«...А я из поколения дворников и сторожей. Был такой способ внутренней эмиграции. Ты живешь и не замечаешь того, что вокруг, как пейзаж за окном. Мы с женой окончили философский факультет Петербургского (тогда Ленинградского) университета, она устроилась дворником, а я истопником в котельной.

Работаешь одни сутки, двое — дома. Инженер в то время получал сто тридцать рублей, а я в котельной — девяносто, то есть соглашаешься потерять сорок рублей, но зато получаешь абсолютную свободу. Читали книжки, много читали. Разговаривали. Думали, что производим идеи. Мечтали о революции, но боялись, не дождемся.

Закрытую, в общем-то, вели жизнь, ничего не знали о том, что творится в мире. Были «комнатные растения». Все себе придумали, как впоследствии выяснилось, нафантазировали — и Запад, и капитализм, и русский народ. Жили миражами. Такой России, как в книжках и на наших кухнях, никогда не было. Только у нас в голове. В перестройку все кончилось... Грянул капитализм... Девяносто рублей стали десятью долларами. На них — не прожить. Вышли из кухонь на улицу, и тут выяснилось, что идей у нас нет, мы просто сидели все это время и разговаривали. Откуда-то появились совсем другие люди — молодые ребята в малиновых пиджаках и с золотыми перстнями. И с новыми правилами игры: деньги есть — ты человек, денег нет — ты никто. Кому это интересно, что ты Гегеля всего прочитал? «Гуманитарий» звучало как диагноз. Мол, все, что они умеют, — это держать томик Мандельштама в руках...»³

И хоть как следует не печатали при советской власти никого, даже Маяковского с Есениным, но тут все же симптоматично, что томик не кого-нибудь, а Мандельштама. Самиздатский или тамиздатский, надо полагать...

Официальное же книгоиздание зорко стояло на страже правильного понимания и оценки творчества Осипа Эмилевича. «Отечественный» Мандельштам, впервые объявленный еще в 1956 году, вышел в «Большой библиотеке поэта» только в самом конце 1973 года: книгу промурыжили долгих семнадцать лет!

Оставим в стороне трудности, связанные с ее реальной подготовкой, но не оставим самую главную «трудность» — упорные поиски советской властью «правильного» автора для вступительной статьи⁴. Когда же он был найден (Александр Дымшиц) — начались упорные поиски, уже им, «правильных слов» о столь «неправильном» поэте-декаденте.

Как очень точно написала о нем Виктория Швейцер: «Для меня Дымшиц как бы и не реальный человек, а обобщенный образ ортодоксально-официального литературоведа, работающего одновременно и политическим флюгером»⁵ В 1973 году — году очередного ближневосточного кризиса — флюгер с удвоенной уверенностью показывал: «Внимание, внимание! Время назвать всем известные вещи своими именами еще не пришло! еще не пришло! еще не пришло!.. И время жить, под собою чужа страну, тоже еще не пришло! еще не пришло! еще не пришло!..»

³ Алексиевич С. Время секунд хэнд. М., 2013. С. 21—22.

⁴ Первым из таких авторов был А.Т. Македонов, вторым — Л.Я. Гинзбург.

⁵ Швейцер В. Мандельштам и Дымшиц // Время и мы. 1979. № 45. Сентябрь. С. 125.

И в результате читатель получил от советской власти такие вот словесные кульбиты. Об аресте 1934 года: «Трудно сложились для поэта и житейские обстоятельства. После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже» (с. 11). Или о втором аресте и о гибели в лагере: «В 1937 году оборвался творческий путь Мандельштама. Поэт умер в начале 1938 года» (с. 12).

После того, как автор сознательно пошел на такие искажения узловых событий судьбы поэта, неточности в топографии (Чердынь находится отнюдь не на Каме) или хронологии (смерть не в начале, а в конце 1938 года) не имеют уже никакого значения.

Выбор Дымшица по-своему закономерен — он был «в теме», и однажды, рецензируя Эренбурга, уже походя лягунул Мандельштама и Цветаеву, противопоставив им Блока и Маяковского:

«Ставить талантливо, но все же второстепенного поэта Мандельштама в один ряд с этими гигантами, по-моему, неосмотрительно... Осип Мандельштам был поэтом интересным, тонким; он чувствовал “краски” истории, но недостаточно чувствовал свое время, Он умел выражать интимнейшие переживания, но с трудом выходил за их пределы. Идеалистическая философия и эстетика декаданса мешали ему широко шагнуть навстречу современности. Тому свидетельством и его стихи и его статьи. Его нельзя, не нужно вычеркивать из истории литературы, его «дыхание и тепло» сохранятся в ней, но нельзя, не нужно преувеличивать его масштабы, вводить его как «мэтра» в современную поэзию. <...> Поэты эти⁶ — в прошлом»⁷.

Попробуем заглянуть на «кухню» прохождения книги в «Библиотеке поэта», для чего ознакомимся со внутренними рецензиями на рукопись. У многих членов редсовета «Библиотеки поэта» суждения не так уж и отличаются от дымшицевских.

Вот критик В. Перцов, друживший с Надеждой Яковлевной⁸, рассуждает о книге «образцов поэзии» (6 ноября 1960 года):

«<...> Кроме того, можно освободить рукопись от некоторых вещей, где бормотанье может быть неправильно понято, например, “Нет, никогда, ничей я не был современник...”».

В разделе “Стихотворения 1930—1937”, в целом гораздо менее значительном, можно видеть, как сказала выключенность поэта из эпохи. До этого продолжался разгон, взятый еще до революции, и даже нарастала сила поэта. Но потом иссякла, не получая питания. Цикл

⁶ Кроме Мандельштама здесь подразумеваются еще Цветаева и Волошин.

⁷ Дымшиц А. Мемуары и история // Октябрь. 1961. № 6. С. 196.

⁸ Это он ознакомил Н.Я. Мандельштам с макетом книги и тем самым провал ту необъявленную информационную блокаду издания, установленную составителем и редактором (Харджиевым и Исакович), — разумеется, для пользы дела, — вокруг вдовы поэта.

об Армении написан очень квалифицированно (у Манделъштама ведь вообще нет плохо написанных стихов), но нет ничего нового, оскудели мысль и чувство, устала рука. Не вносит в поэзию Манделъштама нового и стихотворение “Как люб мне натугой живуций...” И то же самое я должен сказать о таких стихах, как “Мы с тобой на кухне посидим...”, “Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...», «Еще далеко мне до патриарха...», а бормотанье на современные советские темы не дает ничего в смысле поэзии (“...Река-Москва в четырехтрубном дыме...”, “К немецкой речи...”) вообще, этот запоздалый, усталый кубизм едва ли может что-нибудь состарить в том арсенале, каковым должна быть “Библиотека поэта”. А такие стихи только могут компрометировать автора:

Я должен жить дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все — немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

Это уже плохо написанные стихи, включать их, конечно, не следует. А таких стихов в этом разделе немало.

Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко,
Под синим морем глубоко,
Гуди протяжно вглубь веков,
Гудок советских городов.

В цикле воронежском стихи свидетельствуют больше о несчастной биографии поэта, чем о движении в его поэзии. Зачем же впускать их в книгу образцов поэзии? К чему, например, это:

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны (?)
И брони боевой, — и бровь, и голова,
Вместе с глазами (?) любововно собраны.

В целом у меня такой совет. Издать этого Манделъштама, а не делать из него советского поэта. Отсюда следует, что из раздела “Стихотворения 1930—1937” взять только оригинальные стихи, т.е. в очень небольшом количестве».⁹

⁹ СХА, Вох 168.

Не слишком далеко от «книги образцов поэзии» и рецензент Твардовский со своим «стеклярусом искусства». Его первая рецензия датирована 13 января 1961 года:

«Я совсем не знал до рукописи, присланной мне из “Библиотеки”, Мандельштама неопубликованного, того, который представлен во второй части этой рукописи.

И должен признаться, что эта часть стихотворений Мандельштама производит на меня впечатление гораздо меньшей значительности, несмотря на то, что в них как будто явственней и “признаки века”, и отголоски личной печальной судьбы поэта. Странное дело, но Мандельштам этой поры гораздо темнее и замысловатее прежнего. Попросту — я бы не взялся истолковать недоумевающему читателю многие из этих стихотворений, а редактор, вообще говоря, должен быть хотя бы про себя и готовности к такому элементарному истолкованию: что — про что?

Назову наудачу такие стихи как “На мертвых ресницах Исакий замерз”; “С миром державным...”; “Я не хочу средь юношей тепличных...” (первая строфа ясна, дальше — мрак); “Еще мне далеко до патриарха...”; “Возможна ли женщине мертвой хвала...” (может быть, указать — о ком речь?); “Толубые глаза и горячая лобная кость...” (Андрей Белый?); “От сырой простыни...” (что такое: “захлебнулась винтовка Чапаева?”); “Где связанный и пригвожденный стон...”; “Я скажу это начерно шепотом...” (2-я строфа — не понять); “На меня нацелилась груша да черемуха...” (знакомая есенинская интонация, а что — про что — бог весть); “Я смотрел, отдаляясь, на вьюжный восток” (нужно знать биографический момент, а то опять же не добраться ни до какого смысла); “Куда мне деться в этом январе”; “Еще не умер ты...”; “Эта область в темноводье...” (вроде бы и понятно, да — нет) и т. п.

Боже упаси, я не говорю, что эти стихи нужно снять, я даже испытываю некоторую неловкость, что приходится сознаваться в своей непонятливости, но я-таки не понимаю подобных стихов. Это все уже настолько субъективно и “лично”, что, кажется, порой написано без малейшей озабоченности тем, будет ли что доступно пониманию какой-либо другой душе, кроме авторской. Я далек от того, чтобы усматривать в этих стихах некую “тайнопись” неблагоприятного политического толка (хотя, конечно, иные читатели будут стремиться разгадать здесь нечто написанное “между строк”), но просто, повторяю, как редактор я бы лично затруднился такие стихи представить читателю, не будучи в готовности объяснить их объективный смысл.

Сложны и темноваты и многие другие стихи этой неопубликованной части наследия Мандельштама, но я взялся бы объяснить, изложить поэтическое содержание таких, например, стихотворений, как “Рим”; “За Паганини длиннопалым...”; “Вооруженный зреньем узких

ос...”; “И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гамме...”; “Батюшков”; “Мастерица виноватых взоров...” и т. п.

Может быть, особая усложненность и внутренняя притемненность при внешней будто бы отчетливости стихов этого периода объясняется отчасти особым, болезненным состоянием психики автора, о чем говорят люди, знавшие его в последние годы его жизни? Это тоже нужно иметь в виду».¹⁰

В результате книга вышла спустя лишь 12 лет после того, как были написаны процитированные отзывы.

Интересная особенность — обоим рецензентам труднее всего давался именно поздний Мандельштам. То есть тот самый, что вообще не издавался в СССР!

И тот самый, что разошелся бесчисленными тиражами в самиздате!

¹⁰ Цитата по: РГАЛИ. Ф.1816. Оп.2. Д.89. Л.2—4.

ЗОЛОТОЕ РУНО vs. ГОЛУБОЕ САЛО ЗАКАТ МАНДЕЛЬШТАМА ИЛИ ОБРЕТЕНИЕ БЕРЕГОВ?

Памяти Александра Сопровского

*Народу нужен стих, таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался...¹*

*Да кому он сегодня нужен, этот ваш Мандельштам?..
(Парафраз)*

1

Казалось бы, с падением СССР, с отменой цензуры, ситуация для Мандельштама переменялась на идеально хорошую.

Но не все так просто.

Ибо тут же появились новые критерии и, повторим за Блоком и Мандельштамом, «*возник вопрос!*»

Весной 1997 года Михаил Новиков, уважаемый публицист из «Коммерсанта» (ныне, увы, покойный), отозвался рецензией на выход 4-го тома в Собрании сочинений Осипа Мандельштама². Текст, озаглавленный «И от нас природа отступила», задевал за живое. Он был не столько о Мандельштаме и о вышедшем томе его не слишком известных писем, сколько о резонансе на него читающей публики, точнее, о том, как этот резонанс улавливает и фиксирует тренированное критическое ухо.

Замерял его Новиков по-«коммерсантски» просто — тиражами.

¹ Из стихотворения «Я нынче в паутине световой...» (1937).

² Новиков М. И от нас природа отступила. Вышел 4 том Мандельштама // Коммерсант. 1997. 4 июля.

Если первый том 4-томника тянул на 10 тысяч экземпляров, а последний всего на 5 тысяч, то это же двукратное падение интереса! Хорошо еще, что журналист не знал, что во времена издательского «бури-и-натиска» на стыке СССР и России тиражи мандельштамовских книг доходили до 350 тысяч, а суммарные тиражи зашкаливали за десятки миллионов!³ Ведь тогда падение интереса оказывалось бы 50-кратным!

Но особенно «архаичным» и «позорным» показалось Новикову само издательство, выпускавшее 4-томник, особенно его название: «Арт-Бизнес-Центр». Это «*что-то из скоротечной и совсем уж выветрившейся кооперативной эпохи*». Правда, разбираться в том, почему это не сделали кошерные вагриусы и ад-маргинемы, а вот это, из презренной кооперативной подворотни, взяло и сделало — ему запахло и влом⁴.

Всем этим уважаемый критик, вероятно, хотел сказать что-то вроде: плох тот писатель, живой или мертвый, которого издает не «Вагриус»⁵, чьи тиражи не пятизначны, а вечера собирают гостиные, а не залы и стадионы. И даже из тех считанных читателей, кто дал себя уговорить и купил первый том со стихами, лишь каждый второй согласился бы ознакомиться с эпистолярной скучнятиной поэта.

Досталось и читателю: «*Выходит, что общественное — или, лучше сказать, среднеинтеллигентское — сознание похоже на капризного ребенка: выпросив себе дорогую игрушку, он теряет к ней интерес. Получив наконец полный корпус текстов полузапретного автора, мы обнаруживаем, что читать его расхотелось*».

А не путает ли наш критик Мандельштама с куколкой Барби?

При этом он продолжает поковыривать скальпелем во внутренностях отношений «читатель — поэт»:

«*Как раз на рубеже 80-х и 90-х имя Мандельштама сделалось (или, точнее, хотелось сделать его) какой-то легальной культурной иконой. Довольно-таки скромное exegi topinent — улица Мандельштама — было истолковано в либерально-шестидесятиническом, если не сказать вознесенско-евтушенском, духе слишком буквально: Мандельштам — наше все, и все мы вышли из его клетчатого пиджака. Почва для усилий такого сорта была подготовлена блестящим повествовательным даром Надежды Мандельштам — в семидесятые годы ее книгами невозможно было не зачитываться, и, собственно, ее героическим интерпретациям поэзия Мандельштама обязана своей второй инкарнацией. Но никакого коллективного гения не бывает:*

³ Заглянул в библиографию и с изумлением увидел, что только у книг с моим личным участием суммарный тираж зашкаливал за миллион!

⁴ См. об этом в наст. издании, на с. 28—29.

⁵ Сегодня «вагриусом» был бы, наверное, «Аст».

максимум, на что были способны два десятка критиков, говоривших об одном, — это убедить общество в том, что имярек велик. Убедить — да, но сподвигнуть читать?»

В этом контексте не удивителен и общий диагноз: «Четвертый том Мандельштама, вышедший только что и содержащий незначительные, вообще говоря, письма поэта, как-то и обозначил пройденный поворот. Если угодно — конец времени Мандельштама. Не как поэта — Боже сохрани, нет, — как символа».

Итак, господа, у нас тут такое!.. Кризис Мандельштама и выпадение его из обоймы, а очень скоро ожидается и вовсе его демонтаж, и выведение Мандельштама под белы ручки из актуальной культуры!

Стоп!..

Ибо тут-то и ключ ко всему. Речь идет не о Мандельштаме-поэте, а о Мандельштаме-символе и его способности собирать аудитории и тиражи.

«Если простительна несколько технократическая метафора, можно сказать, что всякие стихи рассчитаны под определенные нагрузки читательского внимания. Что-то прочнее, что-то хлипче: кое-какое чтение выдержит, пожалуй, и Щипачев. Мост, выстроенный Мандельштамом, крепок, конечно, и простоит еще. Просто сейчас по нему ходит не так уж много народу. Школьным классиком, повседневной потребностью многих, частью речи эта поэзия не является. Почему? Всякие причинно-следственные построения, когда дело касается литературных материй, неизбежно условны до смешного. Но все же, оставаясь не то чтоб в рамках, а хотя бы около говорливой поэтики Мандельштама, следует идти на риск высказывания <...>

Знаменитые слова о “тоске по мировой культуре” вызывают какую-то тревогу, если не сказать протест. Тоска, в конце концов, бывает от отсутствия чего-то. И это “нечто”, в данном случае традиционно-мифическую (для русской) “мировую” культуру, тоска и замещает. Конечно, управлять исторической ситуацией, в которой мы оказываемся по факту рождения в данной стране в данное время — не в нашей власти. Мандельштамовская тоска — это признание фатальной, неизбежной аморфности русской жизни, желание преодолеть вызванную ею же, бессмысленной и беспощадной аморфностью, собственную поэтику. Обрести мировую логику, избыть свою “русскость”, перестать бормотать и бредить».

Но критику мало было поставить свои диагноз и клизму Мандельштаму, он покушался и на тех немногих, кто все еще любит поэта (не символ!): «Из этого исходя, можно сказать, что чем меньше людей понимает теперь Мандельштама, чем менее внимательно в него следующее поколение, чем, в конце концов, менее

он классик — тем лучше. Мы стали здоровей, и поутихла тоска. Русь как-то оструктурируется. Цивилизуется, что ли? И локальная, европейски-консервативная ясность Георгия Иванова нам становится ближе и дороже, может, и глобального, но темного, по-советски языческого мандельштамовского кода.

Так бы и окончить: за здоровье. На оптимистической. Дескать, вылечились, вырвались из кода на свободу. Но, глядя вслед уходящей популярности Мандельштама, выговорить это невозможно. «Кто может знать при слове “расставанье”, какая нам разлука предстоит?» Мандельштам был последним доверчивым русским поэтом: во мгле окружающей жизни он еще хотел различать первобытные знаки. Костерок еще горел. У обэриутов действительность уже обрушилась, но они умели ходить по горячим углям. Все последующее — так или иначе либо минималистические, комнатные частности, либо искусные фокусы. Зола. Это неопасно, да и неинтересно: цивилизация — это скука, *love it or leave it*».

Полагаю все же, что не только поэтическая, но и символическая роль Мандельштама осталась в целости и сохранности.

Просто в начале 1990-х голод на Мандельштама, утолявшийся копирками и переплетами самиздата, сменился сытостью, а пороку и место на собрание различных его изданий были уже не у всех.

Буря-и-натиск прошли, а интерес к поэту вошел в свои берега.

2

Статья, повторю, задела, уважение к мыслящему ее автору было тому фоном, — и осенью я разыскал Новикова и вытащил его в Мандельштамовское общество на разговор. 26 ноября 1997 года, вместе с Институтом высших гуманитарных исследований РГГУ, мы провели диспут на тему «Конец столетия — закат Мандельштама?». В нем, кроме Новикова и меня, приняли участие Г. Кнабе, Н. Самохина, О. Лекманов, Л. Кацис, Ю. Фрейдин и М. Горнунг.

В устном исполнении тезисы Новикова были еще провокативнее: поэт, не могущий собрать «Лужники», никому уже не нужен, кроме своего фан-клуба. А Мандельштамовское общество — это стало быть, классический фан-клуб, что-то вроде сонма поклонниц группы «Ласковый май»⁶.

⁶ Именно так — «фан-клубом русского поэта-страдальца» — назвала МО в своем репортаже о Мандельштамовских днях 2001 года Лиза Новикова (*Новикова Л. Осип Мандельштам попал в хорошее общество // Коммерсантъ. 2001. № 5. 16 января*).

Сразу стало интересно, а что или кого противопоставляет Манделштаму Новиков, какова его «позитивная программа», кто его «герои *нашего* времени»? На кого, кроме обэриутов, он ставит? В ком наш пропагандист мейнстрима усматривает самую глубь его фарватера?

Оказалось, что это — прости господи — Владимир Сорокин.

Голубое сало против золотого руна, мастеровитая пошлость против «гармонического проливня слез»!.

Интересно, что именно обэриутство как хохмачески кривое зеркало времени — сначала бессознательно, а потом и совершенно сознательно — противопоставлялось своими адептами именно акмеизму.

В одном из интервью Новиков спросил у своего кумира: «*Что Вы думаете по поводу цепляния за Серебряный век, за акмеистов, которое так свойственно “шестидесятникам”?* Эти трагедии биографически выдержат любую нагрузку, а тексты? Насколько это мощная литература, как Вы думаете?»

Сорокин, этот талантливый имитатор всего чего угодно, если надо — то и акмеистов, **услышал** и без запинки и зазрения совести отвечал:

«Безусловно, акмеизм для меня не самое сильное и яркое явление в литературе XX века. Конечно “обэриуты” гораздо интересней, но так получилось, что они физически и культурно погибли и эта линия заглохла. “Шестидесятники” держатся за акмеизм, потому что он отвечает их представлениям о высокой культуре. Есть представление о том, что культура бывает высокая и низкая, и, конечно, им Хармс поперек горла, потому что он говорит, что есть только чистота внутреннего порядка, а она может быть и в объявлении на заборе... Это довольно наивное представление, и оно настолько в разрыве с западной культурой, где давно перешагнули такие критерии, как высокое и низкое... Вообще, в 60-х больше каких-то гротескных, комических фигур. Для них культура, литература всегда были средством, способом борьбы, расшатывания чего-то, свержения.

— Вы считаете, что наше поколение более благополучное?

— Более нормальное»⁷.

Все здесь от постмодернистской балды расплывчатой — и акмеизм, и «шестидесятники», и якобы антагонизм между Хармсом и Манделштамом, и постмодернистская «норма», а на деле полное отсутствие нормы и каких бы то ни было ее критериев.

Впрочем, для Сорокина не только Манделштам и Хармс «жмурики», покойница для него и вся литература: «*Сейчас не время литературных премий, так как русская литература закончилась и лите-*

⁷ Владимир Сорокин: мы не встанем ни под каким памятником // Коммерсантъ-daily. 1998. № 161. 2 сент. С. 10.

ратурный процесс сошел на нет. Русская литература господствовала в обществе и была самым важным языком влияния на него в более ранние века. Сейчас же этот великан умер. <...> Сейчас надо давать премии в других областях — кино, ТВ, мульти-медиа. Литература достойна быть просто нормально похороненной»⁸.

Литература для Сорокина не более чем медиум, чем СМИ, и как таковая — не более чем перчатка, носок или гульфик, которые в разные времена, в зависимости от конъюнктуры, надевают на то, на что их сейчас принято надевать.

⁸ Коммерсантъ-daily. 1997. 22 окт. С. 13.

СМОТЯЩИЙ ЗА КУЛЬТУРОЙ vs. КУЛЬТУРА

Науму Клейману

Если ведомству необходимо подготовить госпрограмму «Развитие культуры», мы не сможем отчитаться за нее в правительстве исследованием творчества Манделъштама или монографиями о средневековой архитектуре Британии¹.

14 декабря 2012 года Владимир Мединский, известный мифоборец и министр варваризации России, апологет пропаганды и такой «культуры», важнейшим из искусств которой является братковский мордобой без правил, в интервью «Российской газете» вдруг возьми да сморозь:

«Фундаментальные научные исследования и проекты, такие как многотомная “История искусства”, будут финансироваться государством в полном объеме. Но — повторю свою мысль уже в правильном контексте — ученые, самостоятельно определяя сферу своих научных интересов, должны отвечать на запросы государства и общества. Если ведомству необходимо подготовить госпрограмму “Развитие культуры”, мы не сможем отчитаться за нее в правительстве исследованием творчества Манделъштама или монографиями о средневековой архитектуре Британии»².

Ну ладно — случайно, наверное, обмолвился Осипом Эмильевичем. И сам ведь не промах перышком по клавиатуре водить, даже возглавлял (вот Новиков с Сорокиным оценили бы) библиоглобусовы рейтинги. Так что неровен час: услышал фамилию — и ляпнул. С кем не бывает...

Но спустя две недели 27 декабря 2012 года — кстати, в годовщину смерти Манделъштама — тот же министр в интервью все тому же

¹ Высказывание министра культуры одной из развивающихся стран, 2012.

² <http://www.rg.ru/2012/12/14/medinskii-site.html>

официозу — и на этот раз в связи с посещением Института искусствознания в Козицком переулке, — снова обронил такой же шарик:

«...Говорят: спасите гуманитарную науку. Знаете, в сохранении ныне действующей модели НИИ я вижу не спасение, а полный крах и фиаско остатков гуманитарной науки. Это такое доживание... У меня была сложная беседа в НИИ искусствознания. Это наиболее известный институт, с репутацией, 350 сотрудников. Работа их никак не связана с министерством, к сожалению. Госзаказа как такового нет, он не сформулирован. Общественного коммерческого заказа очень мало. Зарплаты низкие... И когда кто-то из ученых говорит: знаете, мне сейчас 55 лет, до 70 я буду заниматься творчеством Мандельштама и раз в месяц приходит за зарплатой в 15 тысяч рублей — это неправильный подход. Так не будет. И не было так никогда в мире...»³

Тут уже случайна разве что дата — ну откуда путинскому министру знать, когда умер Мандельштам. Да и не было такого конкретного сотрудника в этом конкретном институте! А вот само имя Мандельштама для его соседа по «Википедии» Мединского явно знаковое, не случайное.

Ну конечно же, добрые блогеры заступились и за Мандельштама, и за культуру, и даже за профильного министра⁴:

Виктория Ко: *«Не знаю, как на развитие культуры влияет архитектура средневековой Британии, но вот творчество Мандельштама, прочитанное талантливым ученым, влияет однозначно».*

Екатерина Барабаш (В блоге Ксении Лариной)⁵: *«А когда сегодня Иван Демидов сказал кинематографистам: “Я знаю, каких тем в кино хотят наши зрители, — гордость за Россию, а также тема пенсии и зарплат”, — тут умер даже Кафка. Я-то умерла еще позавчера, на словах Мединского: “Ну что такое академическая наука? Вот человек говорит: я хочу изучать творчество Мандельштама, а вы мне платите за это деньги. Почему мы должны ему платить деньги за творчество Мандельштама? Что этот ученый сделал для Министерства культуры?»*

Сергей Станкевич: *«Вот выходит человек и говорит: я буду рулить культурой, а вы мне деньги платите. Почему мы должны ему*

³ Корнеева И. Культура на просвет — про деньги, кино и цензуру // Российская газета. 2012. 27 декабря (В сети: <http://www.rg.ru/2012/12/27/medinskij.html>) том же материале изложена точка зрения министра на современное российское кино: «Если деньги платит государство, оно имеет право влиять на контент, если деньги рыночные — цензуры нет. Все. Контент определяет творец самостоятельно».

⁴ См. форумы обеих публикаций, а также: <https://www.facebook.com/xenialarina/posts/481920208516469>

⁵ <https://www.facebook.com/xenialarina/posts/481920208516469>

платить деньги, которые можно потратить с толком — например, на изучение творчества Мандельштама?»

Денис Щепин: «Мединский не ставил вопрос про “забыть Мандельштама”, а почему кто-то должен его изучать на бюджетные деньги. Как измерить результаты этого “изучения”? И таких паразитов в науке подавляющее большинство и масса их заслоняет настоящих учёных».

Олег Василенко: «Денис Щепин, я думаю и в Казахстане наличие знаний о Мандельштаме не помешает. Это, так сказать, наличие культурного поля, может даже перегнать, что бы могло вырасти что-то достойное, не всем же тюрбаны вокруг головы крутить и о науке размышлять».

Наталья Володина: «По новым стандартам в школе будут проходить русскую литературу до серебряного века, а дальше факультативно:-). То есть Мандельштам, Цветаева, Набоков и тд это излишество для нашей молодежи:-)».

Леонид Зильберов: «Когда-то нынешний президент Украины (Янукович — П.Н.) назвал русскую поэтессу Анну Ахматову украинской поэтессой Анной Ахметовой. Но я не помню ни одного министра культуры до Мединского, который был бы столь дремуч, чтобы гениального поэта Осипа Мандельштама назвать каким-то там ученым Мандельштамом, который ничего не сделал для “министерства культуры”».

Не так уж и важно, что не все заступники разобрались в том, что именно рек Мединский. Сам по себе его «месседж» предельно ясен и грозен. Культура в нынешней России — такая же сфера государственных интересов и вертикальных отношений, как наука или политика. Государство (то бишь министерство) само назначает культурные приоритеты и формирует госзаказ на выполнение привязанных к ним задач. Средства же выделяет на это по возможности лишь тот, кто экономит на закрываемых и увольняемых, а еще на всем прочем, что плохо вписывается в вертикали, выстраиваемые им практически повсеместно.

Когда Ливанов и Голодец, товарищи Мединского по правительству, осуществляли рейдерский захват Российской академии наук, то ничуть не меньшим слюнным раздражителем, чем вкуснота недвижимости, была для них и своего рода «диагональность» административной структуры РАН — иными словами, ее недостаточная вертикальность, осложняющая ручное управление из Кремля. Эти ученые, блин, уже почти триста лет пеклись об интересах науки больше, чем об интересах государства: разве годится такое в России? Каждая копейка не из государственных рук плоха уже тем, что работает на культуру

или науку, работает на творца, а не на государство. Вот Академию и переформатировали, встроив ее в правильные потоки политической воли и казенных денег, отлучив ее от научного интереса и безродных грантов, но и дав при этом ученому миру и пару вдоволь пошуметь.

Сам Мединский разобрался со своей министерской наукой и ее институтами еще раньше, но у него, слава богу, таких монстров, как Академия, под ногами не было. Разбомбил институты — принялся за музеи.

Но до чего же примечательно, что для самоидентификации этот министр вертикальной культуры в качестве антипода бессознательно выбрал именно Мандельштама!⁶ До чего же по-своему точен его выбор и красноречив самый жест! Это же почти как некогда про Пушкина: «А работать за вас кто — Пушкин будет?»⁷.

⁶ Мединский В. Министр культуры заявил: НИИ закрыты не будут // Российская газета. 2012. 14 декабря (в сети: <http://www.rg.ru/2012/12/14/medinskii-site.html>)

⁷ В чем-то даже и лестно: своеобразная форма всенародного признания...

СЛУЗГАННАЯ КУЛЬТУРА, ИЛИ НОВАЯ АТЛАНТИДА

Карену Свасьяну

Отшумит век, уснет культура, переродится народ...¹

Ты напрасно Моцарта любил...²

И в распухнувшее тело

Раки черные впились...³

1

Когда-то, в 1921 году, в статье «Слово и культура», Мандельштам с надеждой писал о том, что революция раскрепостила культуру и напросилась ей в дочери, что революционное государство сделало культуру своей религией, своей церковью и своей советницей. После чего слово стало плотью и хлебом, мир разделился на врагов и на друзей слова, а государство осознало свой глубочайший культурный голод. «*Нужно рассыпать пшеницу по эфиру*», — отвечал на это Мандельштам, после чего (и уже в 1927 году) добавил: «*Классическая поэзия — поэзия революции*».

Полного доверия к тому, как справляется государство с этой новой для себя ролью, не было и тогда: «*Сострадание к государству, отрицающему слово, — общественный путь и подвиг современного поэта*» («Слово и культура»).

А вскоре иллюзии и вовсе развеялись. Человека, а тем более поэта, с ног до головы накрыла чудовищная тень и окутала вязкая пирамидальная вага новой социальной архитектуры, напоминающей ассирийскую или египетскую. Только куда как худшую, ибо от ассирийских пленников, копошащихся, как цыплята, под ногами, никто не требовал славословий в адрес мучителей и палачей.

«Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Асси-

¹ Из статьи «О природе слова» (1920).

² Из стихотворения «Ламарк» (1932).

³ Из стихотворения Пушкина «Утопленник» (1825).

рия и Вавилон» — заклинал тогда Мандельштам в «Гуманизме и современности», и все впустую, напрасно: не легло, раздавила (копошиться себе под плитой сколько угодно!).

Отсюда до пощечины-эпиграммы и до пророчесва «Ламарка» — хотя и десять еще лет, но всего один шаг:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны...

Автаркический строй, закрывший для граждан свои границы, отнявший у них настоящее, укравший будущее и покушающийся на прошлое, получил в этих стихах свою лучшую несмываемую метку.

Сталина же эти стихи настолько порадовали и развеселили, что он подарил автору еще пять лет жизни, и, только когда они истекли, дал ему по чину умереть — с причитающимися «гурьбой и гуртом».

2

Нынешнее время — не такое кровавое, как при Сталине, но еще более ассирийское и более «вертикальное». Теперешняя вертикаль власти догадалась (чего Сталин не смог): самая жесткая реакция на стихи и на правду — это не замалчивание их и не запрет, не казнь болтунов, а полная тишина, абсолютное молчание, игнорирование, в том числе и того, что еще скажут по этому поводу другие: «мели, Емеля — караван идет...»

Новым идеологам и пропагандистам (а пропаганда в таком вертикальном государстве и есть субститут культуры) достается тяжелее, ибо в отличие от Сталина с его госпланами, голодоморами и воронками, они уже смекнули, что с псевдо-социалистических им выгоднее перейти на псевдо-капиталистические рельсы, ибо там нет заслонов на личное обогащение и потребление.

Второе удобство — не надо беспокоиться о поддержании уровня страха в стране. Мнения же и суждения у граждан могут быть любые, какие угодно, — ну и пусть себе резвятся сколько хотят в своем виртуале. А если кто не заметит, как перегнул палку, и особенно если кто-то перенесется в реал — то для таких «рассеянных» всегда найдется небольшой, с карманными обмудсменами гулажек на миллион душ.

Жемчуг поэзии — ее сущностное, ее сакральное и возвышенное ядро, столетиями ежесекундно удерживавшее и скреплявшее мир, столетиями делавшее жизнь столь многих чище и лучше, — вылучено из нее, словно семечко, слопано и слузгано через губу вместе с кожуры.

Высокая поэзия, чистая и возвышенная, столетиями и ежесекундно удерживала и скрепляла мир, делая жизнь столь многих и чище, и

лучше. И вот на наших глазах ее сакральное ядро, ее жемчуг, вылуцен, словно семечко, и слугзан через губу вместе с кожей!

Ее можно, не переставая, любить и продолжать носить под сердцем и в сердце, но уже не потому, что «иной не видал», и тем более не потому, что в нее «можно только верить».

3

Начинает, похоже, сбываться самое страшное (чур, чур меня!) мандельштамовское пророчество — о глухоте паучей. Кубарем скатываемся вниз по двигающейся вверх земноводной лестнице Ламарка, и мохнатое зрелище фривольного союза и торжествующего соития словесной пошлости, нуворишского хамства и варварской власти — все эти постмодернистские присоски и примочки — отнюдь не очередной «закат Европы», а покушение на внеочередное и необъявленное убийство поэзии.

С нынешними векторами образования и сквозь просеки «научных» (экспертиза) и «культурных» (пропаганда) вертикалей уже неплохо просматривается и неисчерпаемый мир инфузории-туфельки с ее бесподобно-гениальными вакуолями.

Когда убиты не только поэты, но удушена и сама поэзия, некому уже выхватить шпагу из ножен и броситься на мохнатого, некому вступить за честь поэзии, за честь культуры, за честь самой природы!

Вот в чем было истинное назначение поэзии, и без нее возвращение в океан — в его праводы и протобуквы — представляется почти неизбежным. Когда выходили на берега, то миллионы лет шли вверх из однозначного «до»-культурия, назад же, к кольцецам и усоногим спускаемся быстро и на иной, от противного, тяге — от «бескультурия».

Материк культуры уходит под воду, но не героическим самоубийцей-«Варягом», а отступлением береговой линии и раздроблением в архипелаг. Он еще выступает над варварской пучиной сотнями дорогих читательскому сердцу имен-островков и еще дышит последними миллионами читательских сердцебиений.

Но читатели Мандельштама — это матросы ковчега или будущие жители Атлантиды, которым впору уже теперь учиться жить под зацветшей и просаленной водой!

Сколько будет длиться этот стихомор и всекультурный потоп — бог весть, но схлынет и он, отсмордится, просыхая, болото, и все жаворонки и соловьи, все голуби и щеглы встряхнутся и снова рассядутся по своим веткам. И снова можно будет, вслед за поэтом, справиться, -

...Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?

**ВМЕСТО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

ВЕК МАНДЕЛЬШТАМА

*Евгению Бунимовичу, Валерию Ненаживину
и Дмитрию Шаховскому
Памяти Лазаря Гадаева*

Я к величаньям еще не привык...¹

Когда устроители лучшей мандельштамовской конференции, прошедшей в 1991 году в Лондоне под патронажем Исая Берлина и Иосифа Бродского, назвали ее «Столетие Мандельштама», они вкладывали в это название не только дань памяти календарному юбилею поэта, но и то особое отношение, установившееся у Осипа Мандельштама с веком, в котором он жил и который по праву называл своим.

Бесспорно, он был одной из центральных фигур русской поэзии XX века. Его гениальные стихи, как лирические, так и гражданские, сохраняя верность высоким традициям Пушкина и Тютчева, открывали в русской поэзии новые горизонты и прорывали в ней новые ходы, во многом определившие все последующее ее развитие. Его неотрывная от стихов проза явилась блистательным образцом словесной и образной яркости и свежести и, вместе со статьями Блока и Цветаевой, легла в основание «прозы поэта» как особого жанра в русской литературе.

Взятое в целом, творчество Мандельштама вошло в резонанс с его личной судьбой и русской советской историей. При жизни его травили, разлучали с читателем (основная часть его поздних стихов была напечатана только спустя 20—30 лет после его смерти, да и то не на родине, а на Западе; основной формой его «хождения» в СССР был «самиздат»), наконец, политически преследовали (несколько арестов, ссылка в Чердынь и Воронеж, роковая отправка на Колыму). Все это, в особенности, его знаменитая эпиграмма на Сталина и мученическая смерть в гулаговском пересыльном лагере под Владивостоком, принесло ему прочную читательскую любовь и поставило в самый центр своеобразного мифологического противоборства Поэта и Тирана, весьма

¹ Из стихотворения «Батюшков» (1932).

значимого для понимания века. Воспоминания его вдовы, Надежды Яковлевны Мандельштам, переведенные на многие языки, отнюдь не создали, а лишь только закрепили эту трагическую мифологему.

В контексте общекультурного его литературное и историческое значение, равно как и читательское признание (в России и во всем мире), сегодня является поистине мировым и не оспаривается уже никем. Его произведения, в том числе и несколько многотомных собраний сочинений, изданы миллионными тиражами во многих странах мира, о нем написаны тысячи статей, опубликованы сотни книг и защищены десятки диссертаций. И не случайно, что именно на мандельштамовском «материале» складывались и формировались многие методологические парадигмы современной филологии (как, например, интертекстуальный анализ и др.). Мандельштамоведение является, бесспорно, одной из самых динамичных ветвей русской филологии.

В 1991 году было создано международное Мандельштамовское общество, объединившее и объединяющее несколько сот членов и осуществляющее многочисленные проекты, главными из которых на сегодняшний день являются подготовка и издание Мандельштамовской энциклопедии, объединенного цифрового интернет-архива поэта, а также нового многотомного собрания сочинений Мандельштама.

Конечно, главная память о поэте — это его стихи, его книги. Стихи Мандельштама сохранила его вдова, неизданное первыми выпустили американские ученые.

Бесценна и память очевидцев — воспоминания друзей и иных современников. И ее место — в изданиях: не записанное и не опубликованное, а всего лишь озвученное живет только в слышавших и уходит с ними.

Но есть еще и память, материализованная в прочных материалах — в камне или металле, память овеществленного признания и благодарности поэту, память увековеченная. Это памятники и мемориальные доски, маркирующие места или события, связанные с поэтом. Одновременно они предмет вдохновения и для иных творцов — скульпторов и еще — частица обновляемой с их появлением городской среды.

Впрочем, самый первый памятник Мандельштаму возник еще в 1985 году за десятилетие до того — в ограде могилы Надежды Яковлевны Мандельштам на московском Старокунцевском кладбище. Против — и как бы в сени — дубового креста с вырезанной на нем молитвой лег небольшой серый камень-кенотаф², и на нем надпись:

«Светлой памяти Осипа Эмильевича Мандельштама».

² Так у древних эллинов называлась ложная могила, не содержащая останков умершего.

А в 1991 году в Москве, Ленинграде, Воронеже, в 1993 — в Париже, а в 1994 — в Гейдельберге и в 1999 году — в Чердыни открылись мемориальные доски в честь Осипа Мандельштама. В 2006 году в Воронеже открылась доска в честь посещения Мандельштама Ахматовой, а в 2009 году пришедшая в негодность чердынская мемориальная доска была заменена новой. А в 2010 году мемориальная доска открылась и в Кимрах (Савёлово).

В 1998 году во Владивостоке — на месте гибели поэта — открыли первый фигуративный памятник Мандельштаму (скульптор В. Ненаживин). Но этот памятник пришлось открывать и перемещать еще дважды — в 2001 и 2004 гг., после того как он дважды становился жертвой атак вандалов.

В 2007 году в Санкт-Петербурге — во дворе Фонтанного Дома, где Мандельштам бывал у Ахматовой — открыли второй памятник Мандельштаму (скульптор В. Бухаев) — своеобразный памятник его тени, как бы изготовившейся к тому чтобы скользнуть в ахматовский подъезд.

В 2008 году — к 70-летию гибели поэта — открылись еще два памятника Мандельштаму — в Воронеже (скульптор Л. Гадаев) и в Москве (скульпторы Д. Шаховской и Е. Мунц).

Памятник Осипу и Надежде Мандельштам в Санкт-Петербурге работы Х. де Мунк, З. Баккера и Х. Белого, открытый в 2011 году во дворе Санкт-Петербургского университета, стал пятым в мире, но первым, где образ поэта соединен, как это было и в жизни, с образом его жены — Надежды Мандельштам.

Улицы Мандельштама в России все еще нет. Но в 2012 году открылась первая в мире улица Мандельштама — на его родине, в Варшаве...

Энтузиасты во Фрязино делают все, чтобы в их городе открылся первый в мире музей, посвященный Мандельштаму, — своего рода музей-библиотека. Хлопочут о мандельштамовском музее и там, где ему самое место, — в Москве.

Память о Мандельштаме — это трудная память.

Воды будут смыкаться и размыкаться, власти меняться и уходить, но *corpus poeticum*, и в его сердцевине Мандельштам, уже не вытравим.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Читатели и не заметят, как станут амфибиями, чудо поэзии не оставит их, и все это, как и напророчено, — «...будет вечно начинаться»!

По любви, *con amore!*

ПРИЛОЖЕНИЯ

*Мариэтте Чудаковой
Памяти Евгения Тоддеса,
Ирины Семенко и Эдуарда Бабаева*

Приложение 1

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

1980

<...>

31. V

Утром приходила Соня Марголина. Биолог, аспирантка биофака, стихов не пишет. Принесла статью в лист. «Мандельштам. Опыт постижения» — вот так-то. <...>

Рассказывала про Рогинского (антрополога, знакомого [с О. М.] по Воронежу). Ему 85 лет уже, много помнит, в т. ч. утерянные стихи, начинающиеся «На красной площади земля всего круглей...» (кончается «каменноугольными сердцами»). Очень интересно. <...>

1 июня.

<...> Да, вчера еще меня посетила мысль (точнее, дрема) о Мандельштамовском Обществе — Mandelstam-Gesellschaft наподобие Bachgesellschaft, — которое бы объединяло всех неформально заинтересованных людей, где бы можно было собираться и делиться находками, читать доклады, обсуждать их, спорить. Та же Соня Марголина прочла бы свой доклад «Мандельштам. Опыт постижения» вместо того, чтобы давать мне рукопись. <...>

6.6.

<...> Галина Сергеевна [Кузина, сестра Б.С. Кузина] — старушка довольно высокая, с благородной осанкой и речью <...>. Я показал ей свое издательское «дело». В разговоре выяснилось, что копий писем Н.Я. и О.М. к Б.С. у нее нет (все у вдовы), но ее рассказы очень интересны. В частности, есть письма из Саматихи, где М., ничего

не подозревающий и счастливый, писал своим здоровым почерком (у него был и болезненный тоже) о том, что он полон сил и рвется к работе.

Галина Сергеевна дала мне почитать воспоминания Б.С. Кузина о Мандельштаме, написанные в октябре 1970 г., после того как ему на 1,5 дня дали почитать рукопись книги Н.Я. Это потрясающие 38 страниц! Во-первых, это не просто воспоминания, а воспоминания друга, и притом умного друга, в своих суждениях к тому же совершенно независимого человека. Во-вторых, — это превосходно написано, это — литература. Фактов, особенных уточнений не так и много (кроме, разумеется, отношений самого Кузина с М.), но очень интересен, скажем, эпизод с визитом к Эренбургу (в связи с судом). Или о Клычкове. Да, еще о Рудермане (расспросить бы этого ЦДЛьского завсегда — эх, кабы я знал раньше!), или про Шортанды, где после отсидки работал Кузин и куда приезжала к нему Н.Я.

Расстались мы с Галиной Сергеевной очень тепло, обменялись телефонами, и я надеюсь на продолжение знакомства. Хочется почитать другие мемуары Б.С. <...>

8. VI

<...> Заметки на полях рукописи С. Марголиной «Мандельштам. Опыт постижения».

В целом — интересно. Местами — здорово. Заглавие следует уточнить: «опыт моего постижения», но так ведь только и может все это быть!

Мне не нравится начало, заглубленное в пра-что-то (прамиф, праслово, пратворчество), на что М., в сущности, было наплевать, мне кажется. М. у нее получается каким-то шаманом, заклинателем слов. Поиск примирить это с полным отсутствием мистики у него. Ведь шум времени — его предмет — вне мистики.

С. Марголина: «Камень» — ощущение первобытного человека».

Я: если говорить о М., то его путь скорее обратный — от эстетического одиночества до «гурьбы и гурта». И вообще, хорошенькое «шаманство», — наука Вл. Гиппиуса и Вл. Соловьева! О.М. был искушенным в к-ре человеком. В его детской «звериной душе» — неприятие и поза, по-моему.

<...> Читать М. и анализировать, ловить (усваивать) поэтическую мысль — одно и то же.

С. Марголина: «*Не город Рим живет среди веков, а место человека во вселенной*». Так думал М. Но человеку не достало места и на земле.

— Я: Поэтическое мальтузианство? Не места мало, а жить плохо.

Интересная догадка про известь в крови у века (23—24 гг.) — не из бюллетеней ли о здоровье вождя?

М. поражает дуализмом сознания, а вовсе не чистым неприятием и уж подавно — не проклятием, сорвавшимся с его уст раз или два всего. <...>

11.3

<...> Был у Натальи Александровны Гиппиус, художницы (она живет на Софийской наб., и благодаря этому визиту я прогулялся по своим родным местам — по Фалеевскому, по скверу, заглянул во двор — ужас — там что творится. Вохровец даже сидит — караулит!). Наталья Александровна подарила мне фотографии Вл. Вас. Гиппиуса — незабываемого педагога О.М. по Тенишевке. Я взял у нее еще 2 картинки Элеоноры Самойловны и отвез их ей. Мы с ней проговорили долго, но о М. почти ни слова — единственно, что про словечко-паразит «того-этого» в последние годы О.М. <...>

12. VI.80

Мир начинался страшен и велик —
Зеленой ночью папоротник черный.
Пластами боли поднят большевик
Единый, созидающий, бесспорный.
Упорствующий, дышащий в стене
Привет тебе, скрепитель добровольный
Трудящихся, твой каменноугольный
Могущий мозг — гори, гори стране
(печ. «На Красной площади всего круглей земля»)

— это стихи, что запомнил антрополог Я.Я. Рогинский. Сегодня ко мне заходила с утра С. Марголина — она взяла у него интервью. Очень коротко и очень интересно (Французская революция — высохшее озеро, обнажившее дно: Ламарк приказывает природе, Дарвин — ? — забыл, что Дарвин). В общем Соня молодец, и главное — стих <...>.

Поговорили о ее статье. Соня с моей критикой ее «шаманизирования» О.М. не очень согласна. И это ее священное право. Но (случайно залетевший в мою голову) образ самолета и его тени на земле и важности, сосредоточившись на «тени» все время не упускать из виду перпендикуляр, соединяющий ее (тень) с самолетиком — этот образ, кажется, несколько ее поколебал. Ее догадка про «известь в крови» <...> похоже, справедлива — склероз мозга — см. об этом у Дабкиной). Я ее подбиваю поговорить еще с Фрадкиной (вдовой Евг. Як. Хазина) и с Вольпиным, знающим лагерные частушки про О.М.). <...>

13.6

<...> Визит к Г.С. Кузиной.

Якиманка, 22 (доходный Дом Папюшева) — рядом с букинистическим. Кв. 155, 4—5 этаж, окна на Якиманку.

Каммерер — застрелился в 27 г.

Шортанды в Казахстане (Н.Я. была влюблена в Кузина)

Ст. Шустихино (Борок) — Папанин провел туда железную дорогу.

И.Д. Папанин. Лед и пламень. М. Политиздат, 1977, с. 398 —

Что ж, визит к Галине Сергеевне был хорош. Чудное варенье (клубника, антоновка и мирабель) в сочетании с чаем поддержали мое хрипящее горло, а разговор и чтение — были полезны и приятны. О разговоре: очень интересно про их житье на Якиманке, про Папанина и про то, что Н.Я., оказывается, была влюблена в Бориса Сергеевича (не в этом ли секрет ее слов — и главное их тона — о своих письмах к Кузину в переписке с Любичевым?). <...>

22.6

Вернулся из Мещеры. Отошел душой, оттаял — под комариные укусы.

Морозов меня обвинял в пафосе публикаторства (во что бы то ни стало). У меня действительно есть пафос: пафос гласности всего, что касается О.М., ибо это воистину третий кит, на котором все держится (еще Пушкин и Блок). И оттого у меня не пафос публикаторства, а — уточнил бы я — пафос публикаций, хотя упрек — оговорку «во что бы то ни стало» я обязательно должен учесть: сам А. Морозов преподавал мне великий урок и своим разговором, и своими публикациями.

23.6

Утром была С. Марголина. Принесла мне Рогинского. Разговорились о Цыбулевском и о Мандельштаме. Она о доподлинности — что ее должно преодолевать и что в стихах у Цыбулевского она преодолена, а в прозе — нет, и оттого ей проза неинтересна. Я ей: а это проза такая — несамостоятельная, служебная, подстилающая — подстрочник. Для стихов, ради стихов. Без стихов — малопонятная, почти бессмысленная, но — при наличии стихов — наливающаяся соками.

И у М. так же с прозой и стихами, как правило. Словно бы кипит некий прозаический котел с единственной целью — парить и ошпаривать (стихи). И эти котлы есть и у Цыбулевского, только уж больно разные щи в них кипят (ср. «Шум Времени» и «Гомон современности»). К тому же, Цыбулевский нанюхался мандельштамовского пару. <...>

24.6

Переделкино. Шел по прохладе и думал, что, да — мир должен строиться на любви, и он может строиться на любви к Мандельштаму,

как, например, у Морозова. Но нельзя задавать структуру и параметры иным мирам, нельзя вносить в жизнь — фанатизм (фанатизм чего бы то ни было).

Разговор с Тарковским, у которого завтра день рождения. Очень интересно про то, как М. научил его пасьянсу «Слава Наполеона» (способ с 7 картами на углах, видимо, перенял от матери).

Или сценка: приходит Нарбут: «Оська! Бросай свою кривоногую Надьку и пойдем пить пиво с раками» (пивной зал на Страстной площади).

О.Э. знакомит кого-то с братом (конец 20-х гг.): «А это, разрешите предупредить, мой младший брат, негодяй Женька».

(О склерозе у матери М. и у самого М.)

Переделкино же. На даче Пастернака после разговора с Евгением Борисовичем [Пастернаком] — мне было видение: Надежда Яковлевна!!!

Она семенила от двери в ближайшую комнату и была уже на пороге, отчего она не видела меня и, возможно, не поняла, кто это к ней обратился: «Здравствуйте, Надежда Яковлевна». Но для меня — это странное зрелище, как из сна, что ли. Я не сразу пришел в себя, хотя продолжал ходьбу и даже разговаривал с Евгением Борисовичем по дороге. <...>

29.6

<...> А вечером — пренеожиданный разговор с Т.О. Это просто поразительно, как (каким образом) и как (сколь глубоко) заходит и внедряется в жизнь человеческую — Мандельштам, его стихи и трагедия общечеловеческая (не забыть — пьяный алкоголик — ее сосед Юрий Михайлович, читающий стихи О.М.). Поразительные слова и совпадения о непросении и ненависти за (из-за) М. к тем, кто убил его. Как это близко к пониманию морозовскому — это просто поразительно! Любовь — боль, любовь — молитва, любовь — вопль — непрекращающийся, любовь — болезнь (а у меня — это другое совсем, любовь — дело. Какая разная бывает любовь, в т.ч. и к Мандельштаму).

Все это выплеснулось вдруг далеко за рамки светской беседы и даже несветского разговора о гениальном поэте и личности. <...>

Да, звонил сегодня Миндлину. Ему недавно пробил 80 лет, и надо же — в такие годы — ему выпало пережить гибель жены! Она — сгорела (нервы после ложного диагноза врачей — какой-то нелепый кухонный пожар — было плохо слышно, а я не расспрашивал). Известие о книге О.М. его явно порадовало. Рукописей О.Э. у него не

осталось (было много) — пропали при аресте (остались Цветаева, Эренбург, Волошин). Про книгу О.М. в Госиздате в 1923 г. он, конечно, уже не помнит, а про «Накануне» расскажет, но не сейчас, а дней через 10 (он уезжает на днях в Переделкино, в тот же № 48, где я был у Тарковского). <...>

8.7

<...> Вчера в ГБЛ, в «Обзрении театров г. Воронежа», выходявшем в 1918 г. и редактировавшемся Нарбутом, наткнулся на заметку, подписанную О.М. В принципе, это мог быть и Мандельштам (в это же время — «Сирена»), но уж больно нейтрально содержание — пересказ речи Луначарского о театре. Надо, надо искать в архиве (воронежском?).

8.8

<...> [Марголина] мне дала почитать статью Ронена о «Стихах о неизв. солдате». Он их низводит — однако с нарастающей по ходу убедительностью — до поэтического пересказа Фламариона. <...>

12.7.

<...> Да, вот слова из письма Пастернака к М. (от 31.01.25 г.), которые я хотел бы и мог бы поставить эпиграфом к своей деятельности: *«Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмешься продолжать и не кончится»!!!*

Как хорошо сказал, черт возьми!

13.7 Переделкино

Лев Исаевич Славин. Мой чувствительный друг. М, СП, 1973.

Славин рассказал о М. — совсем чуть-чуть. Он его не знал — они были соседями в Нащокинском, и только. Так вот. Как-то в 36 г. (в 37?) М-мы пришли к ним и долго-долго сидели, не уходили. Только потом, мол, дошло да Славина, что они хотели переночевать (дома-то — «сосед»!). И еще: якобы соседи по лестничной площадке сердились на М. — их шокировало, что он иногда выбегал на площадку в одних кальсонах и т. п. Чуть!

У Катаева: <...>

«У Вас разбойничий глаз, второй раз не хочется перечитывать». «Ратратчики» — там шерри-бренди, премьера.

Очень пристально следил, ругал нещадно.

О Багрицком: *«тигр из мехового магазина».*

Шли с М. на ул. Станиславского в 22 (?) г. встретили Пастернака. Тот нес из «Круга» тираж книги «Сестра моя жизнь» и подарил им по экземпляру.

М. прощался на Тверском бульваре с Г. Ивановым. 1923 или 1922 г. Складные дорожные туфли Г. Иванова.

<...>

Про «Накануне». Все рукописи визировались у И. А. Майского и шли диппочтой. Репортером газеты был Яров-Геренский (он делал хронику, он же, кстати, и донес в 1961-м г. на Миндлина). В Берлин шли машинописи, а рукописи оставались, в основном, у Миндлина, но все, что касалось О.М., включая и письма О.Э. (12—15 шт., деловые и дружеские — ничего особенно примечательного в них не было), было изъято при аресте и не возвращено.

Газеты (иностраннне), наряду с «Накануне», где тогда бойко печатались советские авторы (официального запрета не было) — это прежде всего «Парижский вестник» («Новости?»), нью-йоркское «Новое русское слово» (газета Д. Бурлюка) и берлинский «Руль» (газ. Милокова). Мандельштам вряд ли посылал куда-нибудь что-нибудь — он был все-таки трусоват, говорит Миндлин, но, если и посылал, то вероятней всего в Париж. Прибалтика — вряд ли.

М. жили на Тверском. Там же был писательский ресторан и собирались писательские кружки. По понедельникам (?) — «Литер. особняк», по средам — «Литер. звено» (вел проф. Львов-Рогачевский) и еще «Литер. четверг». М. ходил в «Лит. особняк», ходил иронически и был там чужой (Миндлин привел по памяти список ходивших, среди них Зубакин, приятель Шепеленки, друг А. Цветаевой, Павлович, Шершеневич, Арго, Адуев, Бекар, В. Федулов, Ардов, Ковалевский, Соболев, С. и В. Парнок, Ивнев, Клычков, И. Аксенов, С. Мар, Г. Мачтет.

Редакция «России» была на Полянке, в квартире И. Г. Лежнёва. Против теперешнего телеграфа было знаменитое кафе «Домино» (запыленный Хлебников пешком из Харькова и байка про внецензурную поэтессу Хабиас (или Похабиас), любовницу И. Грузинова).

Кусиков — сын грузинского дельца, содержал на деньги отца имаж. кафе «Стойло Пегаса» и издательство «Чихи-пихи». А издательство СОПО содержал Матвей Серг. Ройзман, сын буфетчика кафе «Стойло Пегаса», поэт-графоман.

Пощечина О.М. гр. А. Толстому лично Миндлину напомнила ругательное письмо М. к Волошину. Вот, кстати, интересный разговор во дворе «Московского комсомольца» в 29-м году: «Мои враги потерпели поражение! Бухарин на моей стороне...». Много детского было в его жалобах и обидах.

И еще один разговор (последний) — встреча в 36—37-м году в метро. О.Э.: «Вот без меня метро построили...». Миндлин стал ругать метро, мол, нечего человеку уходить под землю, а О.Э., наоборот, защищал метро («Мы никогда не понимаем современников и что в конце концов делать людям, которых становится все больше и больше?»).

<...> Этому крепышу не дать не то что 80-ти лет, — 60-ти не дашь! Во дает человек (не хочу пользоваться мандельштамовским определением: кстати, неужели Катаев не знает? — ведь про Благого он с удовольствием вспомнил и повторил).

<...>

Самое существенное — и это даже пригодится для комментария (к «Вееру герцогини») — вот что: у Катаева, как и у многих других, пропали (в войну) мандельштамовские письма. Их было штук 25 (это он явно махнул — П.Н.), главным образом, из Крыма, пляжная болтовня, а вот одно — наиболее серьезное — из Воронежа: мгновенный отклик М. на выход (в 36-м? г.) В «Красной нови» (уточнить!) катаевского «Белеет парус одинокий»: письмо было гневным, но только две фразы: «У Вас разбойничий глаз... Второй раз не хочется перечитывать». Вообще, говорил Катаев, М. почему-то очень пристально следил за ним и его работой. О «Растратчиках» он писал и оттуда (побывав на премьере — 1926 г. — он, якобы, взял себе «шерри-бренди» — тоже все проверить!).

Интересный эпизод на балконе в Лаврушинском (нелегальный приезд), когда М. накричал на Катаева из-за Фета.

Очень интересно про то, как при Катаеве к М. на Тверской зашел Г. Иванов прощаться (1922 или 1923 г.?). Складные туфли Иванова. Звал ехать с ним, М. наотрез отказался.

Еще байка (в полном противоречии с Н.Я. и Пастернаками). Они с М. идут по улице (теперь Станиславского), а навстречу, из издательства «Круг» — Пастернак, с пачкой книг — тираж «Сестры моей — жизни». И он им сразу же надписал и подарил (обоим). (Евгений Борисович сказал, что в «Круге» у Пастернака выходила проза). <...>

(NB! — пока не забыл. Славин еще советовал мне разыскать вдову Домбровского — у ее мужа были якобы лагерные стихи Мандельштама). Прежде всего — почти предвиденная мною неловкость — встреча с Н. Я. Я поздоровался. Она на меня посмотрела, узнала и говорит: «*Вы меня и здесь нашли!*». Я отвечаю: «*Надежда Яковлевна, я Вас не искал вовсе, я просто не к Вам*» (что-то в этом духе). И сам как дурак, стою вместо того, чтобы пройти в комнату к Евгению Борисовичу, который, дабы укоротить неловкость, уже выжидательно сел к столу (он мне кстати, рассказал, что чувствует она себя неважно и при этом рвется в Москву. Я переписал ей стишок про испанца).

Работа моя Пастернакам понравилась, и несколько их важных замечаний я сразу же учел (интересно о Вильяме-Вильмонте. Поездка Пастернака в 1916 (?) г. В Петроград и разговор с Гумилевым и О.М., именно о широком словаре футуристов и узком — символи-

стов, т. е. разговор, буквально-таки подхваченный и продолженный М-мом в его «Вульгате»!).

Таков был мой трудовой воскресный день. Люди ездят в Переделкино отдохнуть, я — устать. Почти без сил и слегка простывший я вернулся домой уже часов в 11-ть, сил записывать все не было и я продолжал эти записи — урывками — два дня (понедельник и сегодня, вторник).

<...>

Да, еще один ход последних дней. Общение с Казиным навело меня на Котова и на его дочь, Наталью Анатольевну (она секретарем у Пузикова сейчас, директора Госиздата), которая была настолько любезна, что навела мне все возможные в нынешнем Худлите (б. Госиздате) справки — увы, следов 2-томника 31—32 гг. там нет единственное, что возможно я знаю — это адрес Чечановского (он жив), что тоже не мало. Но я просто поражен — воистину — любезностью этой молодой женщины, тем более выразительной и оценимой мною, что сам О.Э. для нее известен, похоже, слабовато (она иногда путается и называет его Мендельштам). Чисто по-человечески мне это как-то приятно, что ли. <...>

22. VII

<...> Был в «ДН» у Л. Аннинского. Разговор — неожиданно для меня — соскочил на О.М. (он только что прочел «Вторую книгу» Н.Я., живет ею и хотел бы что-нибудь напечатать из О.М. в журнале (о переводе, разумеется). Расспросил о книге, пожелал успеха. Он — читатель, и я рад, что его позиция (мнение) полностью совпадает с моим. Чем больше текстов — тем лучше — а там разберутся, где М. был искренен, а где не очень. Я спросил, как ему название книги. Он посмотрел и сказал: «Не очень. Типичное название для провинциального автора, издающегося в Москве». — «А как бы вы назвали?» — Он смотрит в оглавление и говорит: «Да вот же! — «Слово и культура!».

(Оказалось, что он смотрел [на] старое — симоновское еще — заглавие: «Поэзия, искусство, время»).

23. VII

<...> Переписка с Литмузеем (Бонч-Бруевичем). Какой, однако, кошмар. Бонч-Бруевич — старый (нет, древний) дурень — уперся в том, что М. не классик и не всем по вкусу, и упустил бесценный архив. А. М., упершись на своем достоинстве, вместо того, чтобы сдать его (да хоть задаром!) — тоже остался «на бобах». Через несколько дней — какая издевка! Какая мистика! — Мандельштама арестовали, и часть его архива перешла в папки, на которых писалось: «хранить вечно!». <...>

15.8., пятница.

<...> Сегодня: 1) 2 письма — от Кушнера (очень интересное и со стихами) и из Киева, об Ушакове и О.М. 2) разговор с М. Чудаковой — удивительный. О хорошем ко мне отношении и — вместе с тем — о принципах ее жизни — дозировке общения (требование профессии и способ жизни). Просила не обижаться. Я не обиделся и усвоил, хотя и удивился несколько (больше всего тому, что с лучшими своими друзьями она видится 1—2 раза в год, не чаще). Комментарии мои вполне приличные, по ее словам.

18.8

<...> Почему, собственно, М-м должен идти иным, нежели Булгаков, Пастернак, Цветаева, Ахматова, путем? Дерево в песок не посадишь — нужна глина в лунке, нужно писать статьи, делать публикации — нужно строить. А уже потом жить — да и не нам, боюсь, жить все равно. Максимализм же — дурная метода для строительства. Если начинать с крыши — есть риск оказаться под нею погребенным. <...>

Подвиг М-ма, по-моему, и в том, что он акмеист, тенишевец и прочая (барин) — преодолев все, ни от чего не увернувшись — пришел к народу, к «*гурьбе и гурту*». Отщепенец по природе своей, он и в целом народе разглядел схожее отщепенство и раскрыл объятия всему, что надвигалось на него. <...>

8.9

<...> Из разных событий этой эпопеи недавних дней отмечу еще полную симпатию и принятие Штейнбергом моей «платформы» (принесил ему в больницу). <...>

11.IX.80

Еще одно событие — телефонный разговор с Марком Осиповичем Чечановским. Он решительно отказывается от всякой близости с О.М. (да, знаком, часто виделся, бывал в «Доме Герцена», пил чай) и от какой бы то ни было полезности для меня. Он работал параллельно в Гослитиздате (М-ма он не редактировал — зато редактировал Белого — и ничего о 2-томнике не знает, а из коллег помнит только... Григоренко и Пузикова — уточнить) и в «ЗКП», архив которой должен быть в Минпросвете. Он помнит, как там сотрудничал и О.М. («тяжелая артиллерия»), и Н.Я. (всякого рода оперативные репортажи, статейки о педагогике — подп. Н. Хазина или без подписи). (Надо бы все же просмотреть подписку за 32—34 гг.). Вот и все. Встретаться не захотел — «трата времени для Вас», разрешил позвонить в следующем году. <...>

15.IX

<...> Сегодня читал «Пансион Мобер» Валентина Парнаха. Превосходная проза, острая, едкая, выпуклая — и какой трагической фигурой предстает автор. Трагедия изгойства, неприкаянности и неизбывности любви-ненависти к России, русскому языку, еврейству — всему, чем он жил. Гораздо значительней приключений Эренбурга (см. «Годы, люди, жизнь»), а главное — какой резкий контраст с тем, какой Парнок у Мандельштама (чему, в общем-то, не противоречили — но и этому не противоречат — джазовые, музыкальные склонности Вал. Парнаха). Почему М[андельшта]м взял для карикатуры именно его — ей-богу, понятно. А ведь это важный вопрос. <...>

22.IX

<...> Зашел к Л. Озерову. Масса любопытного.

1). У него был частный разговор с Вит. Озеровым и Верченко. Л.А. сказал, что стоил бы издать критику Ходасевича, Хлебникова, Пастернака и др. Однофамилец ему ответил, испуганно улыбаясь: «Куда Вы так торопитесь? Вы что, всех нас взорвать хотите? Хватит с Вас (нас? — П. Н.) Мандельштама!»

2) О Ходасевиче. Оказывается, он, Лев Озеров, издал его в 1960-х годах в журнале «Москва». И даже выбил для Анны Ив. гонорар!

С Анютой Ходасевич он был близко знаком, дружил с ней, у него хранятся ее мемуары и некоторые другие бумаги. <...>

3.X

...Звонок. Бархатный голос Полякова. Эдак по-свойски объясняет мне, что он в панике из-за книги, что время идет — пора ее пропихивать в план давно, — а ничего не сделано. И столько вопросов! Вот эти все вещи — «Михоэлс», «Книжный шкаф» — их все надо убирать! — Почему? — Из прогрессистских соображений!!! — Гмм — Ну да, конечно. Ведь какую кость мы тем самым бросим Палиевскому и всем остальным «православным»! Ведь там же главная мысль — особость еврейской культуры, ее несмешанность с русской. — Да, говорю я, ну и что с того? Ведь сам М. весь, все его творчество — свидетельствует как раз об обратном!.. — Поляков: И тем не менее, нельзя эту кость им бросать, никак нельзя, — он категорически против.

Можно, на худой конец, дать список всех критических работ М. в конце. Надо, говорит, все это печатать отдельно, в сборниках и проч. «Вы, говорит, возьмите “Михоэлса” и отнесите в “Наш современник” — завтра же напечатают!». <...>

11.X

Сегодня вместе с Шубиным мы ездили в Матвеевское в Дом Ветеранов Кино к М. Полякову. <...> И так, с опозданием, но мы трое встретились — тоже вроде редколлегии (и снова в Матвеевском!). Однако разговора, просеивания текстов не состоялось — мы только расставили фигуры и сделали по несколько ходов (Шубин — великолепный игрок, психолог-театрал, так сказать). Однако, дела наши плохи — несмотря на призыв Шубина подумать и о душе (и тот послушно кивал головой) — М. Поляков хотел бы снять не только «Михоэлса» и «Кн. шкап», но и вообще все режущее слух (всю политику и всю прозу) и оставить одну только «литературу». И при этом — текстов он не помнит, ничего не читал: стало быть, он поет с чужого голоса. <...>

20.X.80

<...> Поляков по телефону набросился на меня и на Шубина, что мы-де совсем с ума сошли, хотим совсем погубить книгу разными там статьями и всякими разговорами о душе (задел-таки его Лев Алексеевич). «Я, — говорит — могу написать Вам хороший отзыв на что угодно, делайте, что хотите, но я вас предупреждаю, что книги не будет. Она даже дойдет до верстки, но цензура не пропустит “Книжный шкап”, политические статьи и хуже того, начнет цепляться ко всему остальному и даже “О поэзии” — перетрясет». Вот, примерно, его позавчерашняя логика. По ходу доставалось не только Шубину (что за чушь он там нес о душе и проч.?), не только мне («Павел, дорогой, простите, но Вы не профессиональный человек, раз Вы хотите издавать у нас полное собрание критики Мандельштама. Пожалуйста, составляйте его и читайте сами в свое удовольствие, давайте друзьям, мне обязательно дайте почитать...»), но и Мандельштаму («глупая статьяка этот Ваш Тудиш», ни черта Ваш Мандельштам не понял в Джеке Лондоне, он не понял, что это за явление» и т. п.). <...>

Кстати, мы поначалу договорились с П. <...> ориентировочно на вторник.

Чтобы уточнить дату, я позвонил ему и вчера, в воскресенье. Разговор был совсем другим. Он говорил, что он оказался в очень неприятном положении с этой книгой, что он, так же, как и мы, хочет всего в этой книге, а вынужден играть роль фактического цензора. Это ему совсем не нужно, и он не хочет ругаться с нами и т. д. и т. п. (я ему поддакивал — «ну конечно», «да, да»). И что он еще не решил, будет ли он писать статью или не будет, что он даже предлагал статью Леве, но тот отказывается и т. п. Но что статью «Пушкин и Скрябин» о христианской культуре, хотя все в ней замечательно и правильно, можно печатать только в Патриархии, а не в «Сов. Писе». <...>

28.X

<...> Вечером заходил к Л. Озерову. Подробность разговора с его тезкой и Верченко (но после Мандельштама надо будет сделать большой перерыв).

Лев Адольфович вспомнил частушку 30-х годов из Долматовского:

Мандельштам — цадик
Пошел посидеть в садик
Уселся в самый задик

И т. п.

<...> Л. А. рассказал мне историю Пастернака: Борис Пастернак. — Зинаида Николаевна — Г. Нейгауз. Эта история может явиться прелюбопытным жизненным комментарием стихов О. М. о Нейгаузе («Разве руки мои — кувалды?» И т. д.), ибо в пору своих переживаний Г. Нейгауз действительно нередко срывал концерты, хлопал рояльной крышкой и проч. (Такой-то концерт — «неудачный», как его кто-то назвал, кажется, Н. Я. — и слышал, видимо, О. Э.). <...>

1.XI, вечер.

Встреча с Евгением Владимировичем Гиппиусом

М-ма помнит хорошо; глаза, устремленные куда-то вовнутрь, но надо его разговорить, чтобы он загорелся. Даже написал о нем стихи:

...Он плавает в эфире,
Но ходит по земле.

Отец (Владимир Васильевич) был беспокойной натурой, ежегодно менял квартиры и мебель в них, но в Перекупном пер. (1914) они застряли (на углу Старо-Невского, 158).

В.В. Гиппиус был утвержден директором Тенишевского училища только после революции, в 1917 г. (до этого его все время кассировало правительство).

М. бывал именно в Перекупном пер. Отец относился к нему очень любовно, но не вполне сочувствовал его стихам (это было в духе времени <...>).

Отец и мать — двоюродные брат и сестра. Герб Гиппиуса — из двух Пегасов. Родственники из Риги — основатель летописи рода Гиппиуса — уехал ни с чем. Отец был близок с Ф. Сологубом, с женой он разошелся в 21-м году, женился на ученице, бросил педагогику и ушел в литературу, много писал. Он умер 5 декабря 1941 г., практически под обстрелом, в декабре же умерла его 1-я жена и брат Александр (друг

Блока), а в марте умер Василий Васильевич, который успел сдать архив Владимира Васильевича в Пушкинский Дом.

Отец родился 15 июля 1876 (по старому стилю), похоронен он на Охтинском кладбище.

Евгений Владимирович много слышал, как сам М. читал стихи, его интонации. Отец очень уставал в двух школах, приходил вечером, ложился на диван и читал (в это время приходили иногда ученики, в т. ч. ученики (Набоков к ним не приходил).

Тенишевское училище — создано князем Тенишевым — спец. роскошное здание — было отдано в Министерство торговли (считалось как коммерческое), но за этот счет все делалось по-своему — об этом же пишет Рубакин в воспоминаниях — изданы после войны. Когда умер князь Тенишев, княгиня Тенишева пошла войной на училище: она подняла арендную плату за здание, почему пришлось резко поднять плату за учебу.

М. и Жирмунский учились раньше, при директоре Острогорском... Школа была буржуазной, немало евреев, много думских (кадетов и октябристов).

Отец хлопотал даже о новом здании для училища, независимо от княгини.

Отец был не только учителем литературы, он был учителем духа, у него был свой морально-литературный кодекс. М. таким уж обожателем не был. Ходил и В.М. Жирмунский (его отец был доктор «ухо-горло-нос»). Переписку отца Евгений Владимирович не сохранил сознательно (по части лирики).

У М. к отцу было отношение как к поэту. Издавал книги отца Сувчинский (он еще жив в Париже). Его цитировал в дарственных надписях Блок.

<...>

Отец, как и все тогда, в сущности признавал самого себя. Очень ценил стихи Блока и Сологуба — только.

Обожал, боготворил Мандельштама Г. Маслов — троюродный брат, Е. В., он жил у бабушки на Васильевском острове, на 14-й линии, между Средним и Малым проспектом. Туда ходил и М.

Драйден, соученик Ник. Чуковского.

— золотые 10-е годы России — были очень душливыми при всем при том.

Обструкция — была нормой поведения. Обструкция Блоку после «12-ти» — была не только из-за «12-ти», но из-за традиции обструкции.

Вторая жена — Надежда Михайловна Томилина.

Василий Васильевич и Евгений Владимирович — оба работали в Пушкинском Доме. Брат 2-й жены — тоже что-то сохранил. Там же архив деда, Вас. Ив-ча Гиппиуса (он был начальник Переселенческого управления).

Неточности у В. Орлова.

Биография: кончил Петербургский университет, статья о Пушкине (пропала у Груздева), книжка стихов «Пески» под своей собственной фамилией, скупил ее после сам и ушел на педагогическую работу, писал литературные фельетоны в газетах и три книги стихов: «Возвращение» (Кн. Бестужев, 1912), «Ночь на звездах», (Вл. Бестужев, Вл. Нилединский — 1915) и «Томление духа» (Вл. Нелединский). Поэма «Лик человеческий» — 1-е 8 песен в «Алконосте» в библиотеке. Кроме того, книга «Пушкин и христианство» — глава из диссертации.

Два брата двоюродных в Ленинграде (сыновья Василия) — Василий и Сергей. <...>

21.XI. Был сегодня в ЛГ у Аллы Латыниной. Она очень хочет отметить как-нибудь 90-летие О.М., причем не как-нибудь, а как можно лучше. <...> Должны быть или стихи, или какая-то мощная статья о литературе. <...>

Вечер Михаила Ивановича Чуванова в ЦДЛ. Брадатый дед 90-летний: «*кристалл по имени Чуванов*» — как сказал Озеров.

Познакомился с ним, он дал телефон. Мандельштамовского у него расписка и несколько стихов. <...>

23.XI

<...> Вечером — визиты к Э. Ананиашвили и С. Липкину, который, в частности, сообщил о появлении мемуаров О. Ваксель. Надо достать. Там же и рассказ Ходасевича и мемуары Берберовой.

Б. Лившица Семен Израилевич знал мало (в частности, по дому Лозинских). Но ему запомнилось, что тот гордился тем, что он чистокровный еврей, и производил свою фамилию от г. Лихоэс в Испании. <...>

2.XII

<...> Еще? Разговор по телефону с Чувановым. Он посмотрит еще, но мандельштамовского у него, в сущности, одна расписка (зато 30-х годов, МТП-вская¹ — уж не за рец. На Коваленкова ли?). Была у него книга «Стихотворений» 1928 г. с надписью О.М. Виноградову — но сперли.

¹ От МТП: «Московское товарищество писателей. — П.Н.

5.XII

<...> Звонил сегодня Над. Як. Она очень больна.

Другое событие дня — визит к В. Б. Шкловскому, который дал мне записку в ЦГАЛИ и повел смотреть бруниевский портрет. Он дал изумительно объемное, на мой взгляд, определение человеческой сущности Манделъштама — всего в четырех эпитетах: «Это был человек странный, трудный, трогательный и гениальный». А немного спустя добавил: «беззащитный и самоуверенный».

Штейнберг об О.М.: «трепещущая плоть и непреклонный дух». Это и делает человека гениальным: гениальное — это качество человеческое, а не художественное». (4.1.81). Ахматова, ревновавшая к чужой славе и даже к Натали Гончаровой, говорила ему о Манделъштаме: «От нашего времени один только Манделъштам и останется, а мы все — временные». Вот как! <...>

8.XII

Издательство «Художественная литература». Доклад Сергея Александровича Ошерова «Перевод и синтез. Античная поэзия и стихи Манделъштама».

Перед докладом, на стенде «Гослитиздат 30-х годов» висят фотографии следующих людей:

Котова Лидия Тихоновна (секретарь)

Котов Анат. Константинович

Рябинина Александра Петровна [и др.] <...>

Не знаю, зачем мне этот перечень, — но, кто знает, м.б. еще пригодится.

<...>

Сам доклад (это 2-й доклад о диптихе: первый — о влиянии, восприятии античных авторов русскими поэтами — от Кантемира до Пушкина).

Доклад мог бы называться так: Манделъштам. Перевод и античность.

Это есть комментарий к двум стихотворениям:

«Когда Психея жизнь спускается...»

«Я слово позабыл...»

Символизм вообще сильно расширил горизонты русской поэзии. В частности, страшно умножаются переводы, в т. ч. драма и трагедия (пер. Мережковского, Зелинского, Анненского, Вяч. Иванова). М. знал античность не столько в переводах, сколько в оригиналах — Катулл, Вергилий, Гораций и др.

(Сначала — о Брюсове, Анненском и Вяч. Иванове).

М. Л. Гаспаров говорил о неточности переводов Анненским «Эврипида». Мандельштам говорил о внутреннем, домашнем эллинизме. Мир Анненского — почти чеховский мир повседневности, в котором разворачивается трагедия одиночества. И здесь, естественно, нет места для соприкосновения с эллинизмом. Анненский притягивал его к себе, преображал его своим миром.

Но этот домашний эллинизм был очень плодотворным для русской поэзии. Мандельштам знал гимназическую латынь и немного греческий (1,5 года классического отделения). Жирмунский писал о М., что это не только поэзия жизни, а поэзия поэзии. Это, если и справедливо, то только к «Камню».

Ошеров утверждает, что Эллада, Греция, Рим — главный центр творчества Мандельштама. Античный архетип.

Золотое руно, где же ты...?

Вера Александровна Боссе — жена Стравинского (бывшая жена Судейкина).

По Ошерову, античный мир есть символ мира вообще, символ космоса в чистом греческом значении: 1) народ 2) род 3) порядок), т. е. что? — Мандельштам есть опасность: Рим и место человека во вселенной, и Рим — католический (на Западе есть единство) — каким фонарем светить (какой статьёй) — «Слово и культура» или «Чаадаев». Но Рим жесток слишком, и Мандельштам останавливается на Элладе («На каменных отрогах Пиэрии... и т. п.» — ср. Р. Пшибыльский, К. Тарановский — Левинтон!). Монтаж цитат из переводов Гесиода (В. Вересаева) и Сафо (Вяч. Иванова). Этот монтаж еще гораздо гуще.

По Пшибыльскому, античность для Мандельштама — есть Аркадия, оторванная от нашей жизни, только припоминаемая утопия. Но более всего с этим не согласен... сам Мандельштам (статья «Слово и культура», трава, растущая на мостовых; поэзия — плуг, целина времен). Из этого Ошеров заключает, что Аркадия не позади, а впереди (а какая, черт побери, разница, если она не сейчас!). И то, и другое — мифично и, стало быть, негуманно!

Интересно, какое эллинизмо можно видеть в «Воронежских стихах»? Вся ли жизнь М. был эллинистом.

Непоследовательность, недоучет периодов этапов, этапов творчества, их переходов и переливов.

Универсализация одной ноты (процедуры).

В статье «Слово и культура» Бергсон здесь ни при чем, ибо у Бергсона как раз время необратимо (кристаллики сахара в чае). Мандельштаму чужды причинно-следственное восприятие времени (ср. с Кассирером, немецким философом), ему как раз родственно циклическое время, вечность, тождество.

А как быть с «Антологией античной глупости»? — доклад нацелен на серьезность бо́льшую, чем это было свойственно Мандельштаму.

Уже босая Делия летит — реминисценция 1-й элегии Тибулла (а также из Батюшкова).

В мандельштамовское понятие эллинизма входит и античная поэзия. «Гражданское равноправие с мифом» (Дон-Жуан, Кармен). Мир Мандельштама населен вещами. Эллинизм — для него «телеологическое тепло», печка, утварь. Мандельштам широко использует особенность поэтического слова, отмеченную Бахтиным: поэтическое слово помнит все свои контексты (во-первых — прошлые контексты, цитаты; во-вторых — его собственная проза, его биография).

Он смотрит это на словах «ласточка», «призрачность», «Когда Психея — жизнь...»

Мифическое пространство Аида (слепая ласточка, нежность, сухость; «зеркальце, и баночка духов», ладья египетская) — или же стелла [нрзб.], т. е. эллинское изобразительное искусство. Стало быть, смерть так же существенна, так же соотносится с космосом.

Лепешка медная — обол (греческая медная монета — в дороге для Харона).

Эвридика спустилась в ад, за ней идет Орфей. Но — он потерял свою арфу, свое слово — т.е. то самое, чем он может вызвать Психею. И вот теперь-то:

Я слово позабыл, что я хотел сказать...

Это — слово, вернувшееся вспять, вернувшееся в музыку (Силенциум), но оно бессильно возратить Эвридику, возратить плоть.

Именно в поэзии Мандельштама, в поэзии «Тристриа» русская поэзия с необычайной глубиной синтезировала греческую и латинскую поэзию.

Мои вопросы: 1) как последующий Мандельштам? 2) де Мюссе

Ответ: казалось, все перечеркнуто (греки сбондили Елену по волнам). Если бы не Ариост в др. стихотворении — Мандельштам не нашел бы нового трагического архетипа! (Крит зеленый).

10.XII.

Звонил Чуванову. Тот просил перезвонить еще через неделю, но добавил, что у него, кажется, есть еще 2 стихотворения и записочка Балтрушайтиса: приостановить работу Мандельштама над каким-то переводом (19 год).

Альманах «Свиток». ЗИФ, 1925 (упомянут О. Манд.).

Это единственный след от моего визита в библиографический отдел ГИХЛа (см. выше). Самый ранний тематический указатель — за

1932 г. А самые интересные — за 1930 и 1931 гг. — в отсутствии, м. б., они и вовсе не выходили. Вот такие печали—триссии.

Забегал в ВОПЛИ <...> и получил от В. Непомнящего в дар верстку № 12-го, а именно публикации Э. Герштейн «Воронежских рецензий» с ее исключительно интересным предложением, в котором особенно ценны 2 вещи: 1). Неизвестное стихотворение О.М., посвященное Л. Поповой; 2) весть о рудаковском архиве, который уже в Пушкинском Доме. Ура! (только вот Пушкинский Дом нынешний...)

Жаль, что Э. Гр. не знала (?) ЦГАЛИевского стиха к Л. Поповой и еще образчика «былинности» О.М. — его «Гоготура и Апшину».

<...>

1981

4 января 81 г.

<...> Звонил в «Литературную газету». Оказывается, Алла Латынина в отпуске <...>, а замещающий ее Вл. Вл. Радзишевский говорил, что вопрос о публикации О.М. как раз сегодня должен принципиально решаться. Но сегодня так и не решился. Завтра утром. <...>

6.1, вторник

Вчера вечером — в связи с динамичностью ситуации в ЛГ — я сделал работу, которую следовало бы сделать уже давным-давно, но руки все не доходили. Я выявил свод стихов О.М., так и не печатавшийся еще у нас нигде — ни у Харджиева, ни в журналах.

С этим сводом, а также со всеми прочими материалами, которые могли бы быть предметом публикации, я и пришел сегодня в ЛГ.

Не застав Радзишевского сразу, я позвонил С. Мнацаканяну в «Московский литератор»: сразу одной заботой стало меньше, поскольку он согласен печатать только отчеты о каких-то вечерах памяти О.М., но уж никак НЕ в связи с его юбилеем (довольно оригинальное кредо).

Пришел Вл. Вл. Радзишевский, и мы с ним сели смотреть принесенный мной свод, поскольку Чаковский, у которого он только что был, оставил себе «Шубу» посмотреть еще раз, но попросил подготовить стихи на замену. Вскоре позвонили из секретариата — сообщили, что «Шуба» не пойдет (что очень прискорбно — славная, удивительно славная проза — чистая, разговорная, дышащая). Затем принести и саму «Шубу» <...>

При этом у начальства вдруг сложилось мнение, что раз Мандельштам — был поэт, то лучше всего почтить его память стихами (раньше у них было другое мнение, и только Алигер отмечалась подборкой

стихов). Возможно, это мнение складывалось в надежде, что стихов под рукой не окажется (ведь дело решалось — если в отрицательном смысле — только сегодня, завтра уже поздно).

Но, к несчастью (я хочу сказать: к счастью) я проделал необходимую подготовительную работу, и пока «Шубе» выносился суровый приговор, мы с Вл. Вл. уже отобрали стихи из сделанного мною «свода». Сначала мы отобрали 18 менее или более проходных стихов, из которых мы отобрали потом 12 стихов более или менее проходимых. Я их перепечатал за 1,5 часа на машинке (Вл. Вл. менял мне копирку и считывал, и готовил врезку — такой конвейер), и мы уложились в данный нам срок — к 4 часам подборка была готова и передана в секретариат.

Вот такая сложилась подборка:

- 1). Наушники, наушнички мои...
- 2). Не искушай чужих наречий...
- 3). Я около Кольцова...
- 4). Флейты греческой Тэта и Йота...
- 5). Исполню дымчатый обряд...
- 6). Нынче день какой-то желторотый...
- 7). Уходят вдаль людских голов бугры...
- 8). Как женственное серебро горит...
- 9). «Рождение улыбки»
- 10). Как дерево и медь — Фаворского полет...
- 11). Обороняет сон мою донскую сонь...
- 12). Гончарами велик остров синий.

Из них 4 стихотворения были отвергнуты на 1-м этапе, в секретариате, еще — «После полуночи сердце ворует»: но оно все равно было ранее напечатано в «Дне поэзии», а остальные 8 были отправлены в набор, чтобы потом ими бы уже было можно манипулировать, komponуя страницу. (Любопытен сам этот их набор). Завтра должны быть гранки, и там увидим, что и как.

Мало меня занимающий, но важный момент. Публикация идет за моим именем: газете же нужно какое-то имя, мое же их устраивает еще тем, что я как-то официально связан с О.М. — через книгу и издательства (между прочим: они хотели напечатать письмо К. Симонова по поводу О.М., но издательство воспротивилось, заявив, что это затруднит прохождение книги. Занятно, и жаль, что не напечатали — письмо неплохое). Итак, об авторстве публикации. Завтра, когда (и если) будут гранки (но не раньше!) я позвоню Фрейдину — если застану его дома — и спрошу о возможности сверки текстов с рукописями. Если это будет сделано, я предложу ему совместную публикацию, если нет — нет: в конце концов, дело не в запятой, а тексты, которыми

я располагаю, достаточно достоверные, самой же Н.Я. просмотренные в свое время. Главное — чтобы вышли стихи!

<...> В общем так. Поживем — увидим, что из этого выйдет.

7.1., среда.

В 11 часов принесли гранки + (узнал по телефону) и сразу же позвонил Фрейдину, которого (увы, как я и предчувствовал) дома не оказалось. Он будет только в 5 часов. Ну, что ж, так тому и быть (на всякий случай я оставил для него редакционный телефон).

Я поехал в редакцию, и мы с Радзишевским сверили гранки (одно есть сомнение — в «Рождественской улыбке» — вселение или вселения). К сожалению, В. В. из осторожности (быть может, и чрезмерной) оставил подборку в бесструктурном виде и не стал исправлять во врезе, что это все стихи 1935—1937 гг. и написанные в Воронеже. Сейчас он понес их к редактору номера — тот еще, м.б., будет их как-то сокращать или укрощать.

7.1.81. Визит к Е. П. Зенкевич

<...> Да, целый вечер у Евгении Павловны. Но какой вечер! Сколько интересного я сегодня увидел, услышал, прочел, сколько ценного и важного.

Начать хотя бы с даты рождения О.М. Оказывается, не все ясно не только с датой его смерти. В свидетельствах о рождении и принятии веры значится иная, нежели 2/15—1—91 г. Дата, а именно — 8/20—1—91 г.

Множество оригиналов фотографий, в т. ч. мне незнакомых.

Аттестат за 3-й класс Тенишевского училища, содержащий поразительный отзыв Гиппиуса об успехах О.М. по русскому языку и словесности. Воспоминания Л. Горнунга и О. Ваксель.

Наконец, письма О. Э. к отцу и Е. Э. его письмо в «Петрополис» (так вот откуда оно есть в 3 т., если только это одно и то же).

Да и сами рассказы Е. П. — сегодняшние — были очень интересны и важны. Начиная от внутрисемейных отношений у Мандельштамов (отец, практически бросивший мать, — сын Е., привязанный к матери, ушел из-за этого от отца, а потом фактически должен был кормить его всю жизнь; Леля и Шура — Леля и Юра — тоже неожиданно) до таких деталей как ее визит к Н. Я. (4 часа в ведре семейных помоев) и слегка наглый звонок Ю. Фр. (по поручению Н. Я.) с требованием «предъявить» архив. <...>

8.1

В 11 часов я дозвонился в ЛГ Радзишевскому. События развивались так. Вчера вечером его вызвал редактор и попросив, ввиду огра-

ниченности места, сократить подборку на 2—3 стихотворения, «Какие бы два Вы сняли?» — спросил меня Вл. Вл. «Про народ и какое-нибудь из 4-стиший», — ответил. «Про народ мы с Вами совпали, а второе я снял «Рождение улыбки». И то по месту чуточку не умещаемся в отведенный ранжир...»

Ну что тут сокрушаться — по сравнению с самим фактом публикации в «Литературке» и отмечанием тем самым 90-летия О.М. (и этот факт может оказать свое серьезнейшее влияние в последующем) — все эти огорчения (3-кратное сокращение подборки, ее бесструктурность, глухость редакционного вреза) особого значения не имеют. Нужно заказывать экземпляры (тьфу, тьфу, тьфу!). <...>

На всякий случай — наперед. Список лиц, кто мог был выступить на Большом Вечере памяти О.Э.:

1) Л. Я. Гинзбург (Л-д) 2) Н. И. Харджиев 3) Э. Г. Герштейн 4) Лукницкая 5) Е. П. Зенкевич 6) Пастернаки, 7) Морозов, 8) Штейнберг, 9) Л. Озеров 10) Сурков 11) Парнис — Тименчик (О.М. в Грузии) 12) Мец, Василенко — с чем? В общем — народ есть — был бы вечер.

9.1

В ЛГ, наконец, пришла полоса: 6 стихотворений. Если ее сегодня утвердят — то все в порядке.

Я, ездил, наконец, в Ухтомскую, к старейшине М. И. Чуванову — кристаллу, как называл Озеров (ул. Р. Люксембург, 22). В 300 (примерно) м от станции, большой участок, крепкий бревенчатый дом со своим запоминающимся образом, утоптанная дорожка к крыльцу, сени, приветливое лицо хозяйки, божественные борода и лысина хозяина. Книги, иконы, портреты, картотеки.

По О. Э. у Чуванова нашлось немного: не считая перепечаток (переписка, как он их называет), только 3 автографа стихотворений (Шуберт, Мне холодно..., Концерт на вокзале — в усеченной редакции). У него пропала не только книга 28 г., но и записка (какая сволочь это делает?), но о ее содержании остался след в картотеке (расписка Кожебаткину, т. е. «Альционе», от 17.7.1918 г., кажется, на 150 руб.). Записку Балтрушайтиса он не нашел, но поищет. Так же, как и материалы по Лившицу и Ходасевичу (съезжу к нему еще раз). Под конец Михаил Иванович достал с полки толстейший альбом «На каждый день» — тот самый с 2 жизнями альбом «Величко — Чуванова», о котором была статья во «В мире книг» — и попросил, чтобы я записал на сегодняшний день (9 января) какие-нибудь свои стихи, лучше бы те, какие вряд ли будут напечатаны. Я записал ему «Художника» («Это страшное слово «художник») и тем самым удостоился чрезвычайной для

меня чести и очутился в одной компании с Лесковым, Майковым, академиком Лихачевым и др.

Подумал вдруг: ведь Чуванов — этот крепкий, ладный старик, ни на что кроме глаукомы не жалующийся, — ведь он Мандельштаму — р о в е с н и к! Просто ли представить себе теперь — Мандельштама живым?!

10.1

<...> Телефон с Фрейдиным. Рассказал ему про пластинки с валика. Узнал, как ехать на кладбище (там 4-го уже ограду поставили): авт. 103, авт. 11 (от М «Кунцевской» — ЖБИ). Про ксерокс предисловий Юра сказал, что Н.Я. успела их прочесть и сказала: «Это не Ося...» (в т.ч. и про Тудиш?). В общем, ясности это не внесло, и вся надежда уже не на Надежду, а на лицевые счета Госиздата.

Про стихи выяснилась следующая деталь: оказывается, 4-стишья «Уходят вдаль людских голов бугры» — <...> кусок пресловутой «Оды», но, к счастью, выделенный им самим из «Оды» и записанный как отдельная вещь в «Воронежскую тетрадь». <...>

10 января 1981 г.

Визит к Эмме Григ. Герштейн (пишу ее ручкой — свои забыл дома).

<...> Я пришел в 9.20 — ушел в полпервого ночи. Открыла дверь нестаровидная старушка с приветливо-настороженным лицом. Ах, эти лица приветливо-настороженные, как характерны вы для всего того, что происходит вокруг М. и этой книги М.! как все густо замешано — перемешано на склоке!

Начали мы разговор с ее публикации в ВОПЛЯХ (она мне написала журнал). Очень интересно про Рудакова.

Вот как, по ее словам, выглядит вся история с ним и с архивом. М. назначил его как бы редактором своего посмертного собрания сочинений, и поэтому рукописи ему были даны не для сохранения, а для работы (сразу вопрос: а зачем же тогда ему Ахматова на салазках отвезла архив?). Итак, он работал над собранием сочинений О.М. (каждодневно он «отчитывался» в письмах жене Лине Михайловне (Наумовне?) — о том, как идет работа. У него были автографы всех стихов плюс записанные со слов О.М. автокомментарии к ним — бесценные тетрадки.

Итак, он увез рукопись для работы (кстати, рукопись «Разговора о Данте» — список С. Рудакова с поправками Н.Я. — есть промежуточный список и никакой особой ценности для текстологии не представляет). Они хранились в его комнате. Он ушел на войну — там погиб, в Л-де умерла, кажется, его мать, а жена эвакуировалась в Свердловск. Квартину опечтал управдом.

Вернувшись в Л-д после войны его жена (как ее зовут) обнаружила, что мебели нет, а книги и рукописи все на месте. Чудо? Чудо.

Сразу она сообщила об этом Э. Гр. (они, видимо, были дружны — останавливались друг у друга), та — Харджиеву, А. А. и Н. Як. Казалось бы, что бы тем не только обрадоваться, но и забрать! Никто и не пошевелил пальцем (что, впрочем, не основание, по-моему, для того, чтобы обвинить в конечной пропаже архива саму Н. Я., как это делает Э. Г.). В 48-м году вдруг обнаруживается, что с гумилевским архивом просчет, беда — нет его, обозналась вдова, скрутили его весь ребятишки на каких-то голубей и проч. Э. Гр. поверила, а менее наивная А.А. — не поверила. Казалось бы, тут-то Н. Як. встрепенется, но и тут не встрепенулась. Дальше. Отношения между вдовой (обозначу ее Л. И. — Лина Наумовна?) и Э. Гр. ослабли. И вдруг в 54 г. телеграмма из Л-да, что Л. И. срочно приезжает на день в Москву. Приезжает и рассказывает, что ее арестовали (действительно, сидела месяц) и что при обыске забрали весь мандельштамовский архив. Вот ведь напасть, Господи! И только тут Н. Я. всполошилась, но и при этом — разговор между ней и А.А. и этой вдовой с глазу на глаз состоялся только чуть ли в 58 г., и тогда эта вдова сказала, что у нее не изъяли рукописи, а их сожгла ее мать, когда ее арестовали. Стало быть — врет, и, стало быть (может быть) — врала и раньше. Как бы то ни было, итог такой: Гумилевский архив пропал, рукописи О.М. пропали (почему же не пропал «Разговор о Данте?»), и, наконец, пропали тетради с комментариями О.М. (тут был один след, но и он затерялся). Если случится чудо — тетрадь эта выплывет, но вряд ли. Что же осталось? Письма С. Б. Рудакова к жене — их очень много (ежедневные!) — Э. Гр. сама их печатала спешно на машинке, и получилось порядка 300 страниц, (и из этих писем, увы, и сам С.Б. Рудаков предстает не очень благовидно — чуть ли он научил О.М., как писать воронежские стихи) да еще письма самого О.М. к Рудакову, да еще — все-таки — какой-то стих О.М. неизвестный. Все это передано дочерью Рудакова в Пушкин. Дом, и Э. Гр. собиралась там делать публикацию, но пока там что-то не движется.

Собственно, этим она сейчас и занята, плюс ее собственные мемуары об О.Э. и Ахматовой, откуда она безуспешно старается изъять себя, свое личное — боясь оказаться голенькой перед всем народом.

Что еще интересного я узнал для себя у Э. Герштейн? Видел «Воронежские тетради» в издании В. Швейцер. <...> Узнал подробности разрыва Н.Я. с Харджиевым (68-й год), когда та собралась жаловаться на Х. в Союз Писателей, что он якобы украл у нее стихи, что было неправдою, а сама склоняла Н. Х. переориентировать свою работу

с «Библиотекой поэта» на Запад, а тот отказался. Затем этот список «украденного» и т. д. <...>

12. XI

Телефон с Д. <...> из «Московского Комсомольца». Напрасно я огорчался, что не охватил хлопотами сию газетку — эта дама, сидящая <...> на том же «месте», что и сам М. некогда, — она даже не пошла по начальству <...>. Я, мол, и так все наперед знаю. Очень удобная у нас эта порода редакторов, все знающих наперед. <...>

13.1

С утра — в ЛГ. И что же? Все в порядке!

Вл. Вл. Раdziшевский принес мне свежий номер завтрашнего выпуска, раскрыл на нужной странице — и внизу, слева довольно броский заголовок: «"Я тоже современник..." К 90-летию со дня рождения Мандельштама». И ниже врезка и в несколько столбцов (3? 4?) стихи. И этот «фрагмент», не без сожаления отмечаю все-таки, тоже 2-й по счету. Черт с ним, с фрагментом, пусть меня поклюют, кто хотят: <...>. Ведь они только потому не ошибаются, что ничего не делают, а за них (за нас) делать никто не будет. Тут подчас нужна даже лихость, подчас известная доля аферизма пойдет в ход, а чувство архитектуры и чистоты линии — в нынешних условиях — ничего кроме безумства означать не может. Вот и проскочило бы 90-летие неотмеченным никак? — а отмеченное «Литатуркой», пусть бы там даже и одно стихотворение прошло или одна строфа всего! — это уже большое дело. Это поможет и дальнейшему, в т. ч. и книгам.

А номер этот «ЛГ» завтрашний — я вечером подарил Штейнбергу, которого навестил ненадолго вечером (я его месяц с лишним не видел — с его дня рождения, 11 декабря). Он мне, между прочим, внушал, что мне пора собой заняться, своей работой, а уж если и не собой — то не заикливаться на Мандельштаме, который ничего не значит, выбранный из цепи всей русской поэзии (а вот Фет, по мнению Штейнберга, значил бы и сам). Арк. Ак. прав в том, что неплохо бы мне почитать и перечитать стихи наши русские, ох, неплохо бы! <...>

15.1. <...> День рождения О.М. <...> Да еще вчерашний разговор с Левиным: <...> публикация в «ЛГ» показалась ему слишком скромной — тоже позиция.

ЦГАЛИ вечером. Переворошил бумаги ГИХЛа, в т. ч. и такие «плодородные», как бухгалтерские, 4 даже за 1933 г. (и кого там только нет — даже Арк. Штейнберг!), а Мандельштам — как будто его и не было! И только единственный раз <...> я обнаружил в плане изданий по отделу «Поэзия» обозначенье «Мандельштам — том 1». Но и это —

огромная радость, ибо до сих пор мемуарные и эпистолярные сведения о собраниях сочинений документально ничем не подтверждались. Так что эта мелочь — из разряда крупных удач!

<...> Телефон с Л. Озеровым, хвалившим публикацию в ЛГ: но почему-то ему показалось, что именно 4-стишия являются наиболее завершенными из опубликованных стихотворений.

17.1.

Утром — телефон с Ю. Трифоновым. Тот рассказал две любопытные вещи. Первая — о вечере Евтушенко в МАДИ 15 января. Тот начал вечер с того, что сегодня 90 лет Мандельштаму, что это великий русский поэт. Прочел какие-то стихи О.М. и 2 своих, О.М. посвященные (одно — про то, как О.М. с лестницы спускал графомана) — надо бы их для своей антологии попросить.

Второе — это как «отметила» юбилей О.М. газетка «Московский Комсомолец». Отметила анонимно, но шикарно. Вышло два материала со следующими заголовками: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» и «Одиссей возвратился, пространством и временем полный».

Утром же два визита — к Л. Озерову и Э. Герштейн. Л. Озеров показал мне чешское издание (точнее неиздание) Мандельштама (см. выше) и 2 антологии со стихами О.М. (первая — о Тбилиси, вторая — о труде). Связал меня со вдовой Дейча.

Эмме Григорьевне очень понравилась моя статья о «ПА» (дала мне почитать свою брошюру о «Герое нашего времени»). <...>

Да, у Э. Г. есть автограф О.М. на книге «Ег. марка» (по памяти!) «Эмме Григорьевне Герштейн с сердечным уважением О. Мандельштам II (?) ноября 1928 г.» <...>

Вечером же в ГБЛ (1-й раз по противному серому новому читательскому билету туда). Просмотрел 2 книги, где переводы стихов — судя по лицевым счетам ГИЗа в ЛГАЛИ — мандельштамовские. В пьесе Э. Синклера «Тюремные соловушки» — ура — пролетарские стишки, но сам образ (прообраз) соловушки в яме-тюрьме все же задевает, соприкоснувшись с судьбой переводчика. Значительно интересней стихи из 2-й книги (Дж. Тулли «Приключения бродяги», посвящена, между прочим, великому бродяге Ч. Чаплину) — там, в основном, текст негрит. спиричуэлсов и гимнов. <...>

19.1

ЦГАЛИ. Довершил просмотр 1-й порции документов ГИХЛ. И еще находки — 3 упоминания искомой книги. 1 раз — как Собр.соч., другой — как избранное. Более того, известен объем (12 авт.л.? — как мало! — неужели на эти деньги можно было хорошо пожить года 1,5 — 2?) и предполагавшийся тираж (5 тыс. экз.). что ж, это довольно ценные крупницы (это, кстати, в темплане 33 г.).

Сделал новый заказ по ГИХЛУ (по массовому отделу) — с прицелом в т. ч. и на Волгодонскую поездку (если ее только не ССП организовал), а также по фондам Меркурьевой и Грина (дневники Н.Н. Грина). <...>

22.1

<...> А после ЦГАЛИ — с полдевятого вечера до часу ночи — просидел у Э. Гр. Герштейн, слушал 60 страниц ее воспоминаний. Они начинаются 1-й встречей в Узком 29/X—28 г. и обрываются где-то накануне стихов о Сталине. Воспоминания замечательные — живописные, умные, точные (о последнем сужу по косвенным совпадениям с другими мемуаристами).

Вот наиболее интересные, зацепки, местечки:

— «*шершавая эстетика*» — mot О. Э. об их безбытном быте.

— о Пастернаке, о «Втором рождении», этот стих про ураган аравийский,

— гениальный, гордость за поэзию (отсутствие зависти у самого М.),

— жил на Полянке, у Ц. Рысса, на Тверских — Ямских, на Покровке, на Щипке, 8 (б. больница им. Семашко — ныне институт им. Вишневского) у Герштейнов и др.;

— Тынянов о «Ламарке» — гениальные стихи — предсказание вырождения человечества;

— поэт Звенигородский, последний из Гедиминовичей;

— близость с П. Васильевым («еврей» — это не Бабель, а сам О.М.)

— 27-летний Кузин — ученый, путешественник — экзотика для О.М.

Ругал «Сегодня можно снять декалькомани...». О.М. — в ответ — падая в диван: «*Это что, социальный заказ с другой стороны?*»

— о Яхонтове: скандировали про доху и Каранович (на Полянке). (А вообще свинство — не платить за квартиру).

— Еще одна Маргулета (кончается: «Выгонят, выгонят его из-за / Коммунистическое просвещение/)

— в трамвайной перебранке: зубы будут.

— дивный комментарий с реалиями к «Бим и Бом».

— о Блоке: а) стихотворение, где — «еще не бывшим» — считал лучшим у Блока; б) пометы на полях предисловия к «Возмездью» (изд. «Алконост»). Подчеркнуть 2 киевских события — 2 убийства Ющинского и Столыпина. Книга пропала в войну (м.б., украдена Рудаковым). Э. Гр. помнит, что записи начинались пародийно: «*И возник вопрос...*»

— фигура кентавра, чаплинская походка;

— как М. спал волшебю!

23.1.81

ГБЛ. Смотрел мемуары Е. Лундберга — искал упоминания «поэта М.» в Наркомпросе (совет Тименчика). Не нашел. Но есть о поэте Х. (не Ходасевич ли?) — не очень лестно — примерно за август 1918 г., в Москве. <...>

9.2

<...> ...Сегодня — был в ЦГАЛИ. Доразгреб опись 1 фонда ГИХЛа. Наткнулся в ней на стихи О.М. — сделал заказ — посмотрим. <...>

11.2

<...> Все Мандельштама обожают, чуть ли не под подушкой стихи его держат — но печатать, увы, не могут. «Вы же сами понимаете...» Его, де, нет в списке юбиляров на этот год (Ломунова). «Мы даже Соколова и Ахмадуллину не можем напечатать» (Е-ва. <...>). Вот так. М. напечатан не весь, а какая-то матрешка <...> свои стишки печатает пудами — как это в ее собственной голове укладывается? Не понимаю. <...>

12.2

Прогулка с Лелей Гурвич по Старосадскому пер. Теперь я твердо знаю, где они жили (10; кв. 3). Ближний правый подъезд — перед ним сторожка дворника — третий этаж, в квартире и сейчас 8 звонков (было 10 комнат). Их комната — узкая, но длинная — четвертая слева (окна на Ивановский спуск, овальные вверху).

Эл. Сам. рассказала, как капризен, инфантильно-капризен был О.Э. «Чаю! Чаю, чаю, Наденька, чаю» — так он мог, не переставая, нудить очень долго. Обожал, умываясь, руки мылить мылом до пены.

Я сделал несколько снимков, но приду в другой раз — не та погода.<...>

16.2

<...> А сегодня в ЦГАЛИ сделал серьезную находку — обнаружил личную карточку и анкету О. Мандельштама в издательстве ГИХЛ. Из нее, между прочим, следует, что О.М. должен был напечатать там не Собр. Соч., а две книги — «Стихотворения» (вероятно, «Моск. тетради») и «Избранное».

Еще 2 упоминания — в списке вн. рецензентов сектора ин. лит. (к сожалению, внутр. рец. в описи нет) и как переводчик книги Флобера «Бувар и Пекюше» (правда, без инициалов — это м. б. и Исай Бенедиктович. Надо проверить).

Да, стоит записать о вчерашнем разговоре (у Штейнберга) с Андреем Кистяковским, другом А. Морозова. <...>

Пора бы мне стать тверже, отстаивать свою правоту или же улы-
баться как японцы. Не ошибаются, к тому же, только те, кто и не делает
ничего. А поглумиться над ошибкой (а если ее нет — то нарисовать)
всегда найдется тьма пернатых охотников. <...>

28.2

<...> Вечером — семинар Левика. После я спросил В. В-ча о вечере
О.М. Тот сказал вещи любопытные: Огородникова (не Таня — серо-
глазка из «Театра», а их теперешний председатель, ее мать), ходила по
этому поводу в секретариат. Там было решено такой вечер устроить,
но не как о М.—переводчике, а как о М.—поэте (на «переводчика» —
не больше четверти!). Дай Бог, если так.

21.2

<...> Вечером — разговор с Т. Огородниковой о Мандельштаме
и Хлебникове. Я развивал ту мысль, что М. — как и Хлебников — ве-
ликий русский поэт и гений. Первое потому — что они оба (вместе,
а не порознь) совершили с русским стихом то, что совершили, — ре-
волюцию звучания и значения (корнесловие и гнущее слово), тогда
как атаки третьего гения — на ритмику и на слог — были куда менее
плодотворными для русской поэзии как живого организма.

Я заметил, что и первые «посадки» О.М. в 1920 г. (Феодосия
и Батум) тоже дали какие-то вспышки безумия (точнее: без-умие, вне-
умия), отразившееся в стихах. Например, «Я слово позабыл...» <...>

23.2.

<...> Случился занятный спор-разговор с Кожиновым (отчество
которого я первоначально назвал ошибочно — Валерьевич вместо
Валерианович). Я ему звонил спросить, нет ли чего про О.М. у При-
швина. Выяснилось удивительное: в прошлом году в «Лит. учебе» был
напечатан рассказ Пришвина «Сопка Маира» — о Мандельштаме (там
какая-то купюра есть). Наверняка есть что-то и по дневникам, но
это — гигантский труд (к тому ж они пока закрыты в ЦГАЛИ).

Кроме того, со слов своего тестя, Вл. Вл. Ермилова, секретаря
«Кр. Нови» в конце 20-х годов(?), Кожинов рассказал, что М. при-
ходил требовать аванс просто так и, если не давали, то ложился на
пол и лежал, пока не давали. Последнее — вздор какой-то, даже для
мандельштамовского эксцентризма.

Визит вечером к Поступальскому — наконец-то, слава богу.
Дверь без звонка — открывают на стук или шевеление. Хозяин —
бодрый бритоголовый старик (74 года), очень живой. Жизнь «типич-
ная» — 10 лет Колымы. У него 2 мешка писем к нему и 10 мешков

вырезок из газет и всяческих библиографий, утверждает, что О.М. — по 20-м годам — весь), стопки книг по дарителям: Мандельштам, Пастернак, Тихонов, Лившиц, Белый, Маяковский и др.

Рассказал много интересного о Манд., о Лившице, о Нарбуте, о Брюсове. Вот что о Мандельштаме:

— Тюремно-лагерное: общий следователь Шиваров (отдел литературы и искусства), упомянул какую-то еще эпиграмму О.М. («Диктатор в рыжих сапогах» — ?!?). Красавец Кривицкий (брат теперешнего) хвастался, что бил Мандельштама в вагоне и что видел, как того били и на пересылке.

— И Пост. сказал М., что его стихи несравненно лучше его переводов. Тот вспыхнул и закричал: «Забудьте! Мандельштама — переводчика не существует! Это мой черствый хлеб и только!».

— М. считал, что во время истории с Горнф. все его предали, но зато поддержал РАПП (прихоть Авербаха). В это время диалог: М: «Скажите, а вы член группкома?» — П.: «Да» — М.: «В таком случае это рукопожатие было последним».

— Пост. делал доклад о Манд. в доме Евг. Як. Хазина в присутствии М—ма, Зенкевича, Лившица. В «прениях» М. сказал: «Я, например, вполне уверен, что придет время, когда Лившица будут открывать».

— Пост. «нашел» для О.М. в журналах «Лет» и «Петроград» стихи «Война. Опять разногосица». Тот был очень рад и напечатал их вновь в «Нов. мире» (???)

— Маяковский. Хорошо отзывался о М-ме.

(Что-то во мне шевельнулось, когда Пост. спросил, не знаю ли я публикаций О.М. в воронежских газетах? А надо посмотреть. Чем черт не шутит!).

28.2. Сегодня хоронили Пинского, прощались с Пинским. И в квартире в 12 часов, и в крематории (Донском) было много народу. (Я заметил, что я стал последним человеком на похоронах: по возрасту мне всегда уместно поднести гроб или крышку...). Леонид Ефимович в гробу был очень красив, только губы искусаны (умирал он, говорят, в страшной агонии — у него был рак легких). На двух рисунках, изображающем его в гробу и уже и уже висящем на стене его кабинета (как я себя корю, что откладывал и откладывал свою просьбу о встрече с ним!) он даже как бы силился, что ли, приподнять в гробу голову. «Блаженны умершие» — это была его первая фраза в нашу первую встречу. «Воистину блаженный».

В крематории говорили только 2 человека — Аникст и Г.С.П.² Оба говорили хорошо и от сердца, но оба по-разному и о разном.

² Григорий Соломонович Померанц. — П. Н.

Аникст — поставленным голосом, немного риторически, нет, ораторски — подводил итог значению Пинского — ученого и доблестям Пинского — ученого. Для него Пинский не только литературовед, но еще и — сквозь литературоведение — еще и философ. Для Померанца (он говорил тише, человечнее — волнуясь и волну) этих не «только» и «еще и» не существует. Пинский для него — мыслитель, причем религиозный мыслитель, достигший стадии «томления по томлению». Во-вторых, Пинский для него еврей и в этой связи и поэтому (вот что интересно!) — правдоборец. Он говорил об исконной тяге еврейского народа к правде, о борьбе за это. Да, еще меня поразила мысль Г.С.П. о разговоре каждого со смертью: хотя бы минутном.

Женщина, руководящая похоронами, слушала его в смещении испуга и восхищения, удивления и почтения на лице: «что за странный еврей, такой дерзкий и такой умиротворяющий?» — было написано на ее лице.

На этих печальных мероприятиях я имел три «деловые встречи»: 1) Э. Герштейн (я был у нее вчера, о чем ниже) указала мне на ляпус с этюдами о Данте и Гете (в статье Коваленкова), 2) очно познакомился с И.М. Семенко и передал ей «ЛГ» и 3) Л. Озеров подарил мне удивительную вырезку из «Сов. Абхазии», где С. Лакоба напечатал панегирик самой одиозной части мандельштамовского в «Армению» — главке «Сухуми». Он, как ни в чем не бывало (умница, молодец!), пишет о Н.Я., о ее недавней смерти даже, пишет о мемуарах Ахматовой и дважды — сначала тонко, а потом толсто — намекает на «Четвертую прозу». Стало весело от напечатания такой статьи. Чудеса в решете — да и только (новой информации об О.Э. в статье почти нет).

Теперь о визите к Э. Гр. Она мне читала письма Рудакова к жене (Лине Самойловне) за апрель — май — июнь 35 года. Оказывается, стихи воронежские начались и пошли при нем, Рудакове, 17—19 апреля — Надя тогда села в отъезде по моск. хлопотам. до стихов — была «Иветта» Мопассана («Иветка»), после — рецензии для «Подъема».

Письма частные, обстоятельные, глаз и ухо у Рудакова цепкие — материал бесценный, особенно если вспомнить о всех сопутствующих «пропажах» (между прочим, пропали и стихи самого Рудакова). Самый замечательный пересказ из О.М. тот, где он, сегодя на себя и гордясь, говорил, что «Чернозем» и еще цикл там — это тысяча первые стихи, стихи же «Чапаев» и другие — это уже новое, это первые стихи, но и те, и другие — при этом могут быть стихами замечательными. Разговоры о Вагинове, Заболоцком, прекрасная шутка О.М. о «любви Р. к третьестепенным поэтам, бросающей тень и на Мандельштама», комментарий к авиакатастрофе с дирижаблем «Максим Горький» и многое другое. Самое неприятное — сам Рудаков. И дело не столько в «Оське»

и «Осюке», сколько в его явно медицинского характера мании соавторства с Мандельштамом, его зависти ко всему, и к М. прежде всего, в его вере в свои великие произведения (на деле — слабые) и в свою систему взглядов и оценок поэзии, которую он пытался привить или навязать О.М. Это ужасно со многих точек <...>

5.3

Вчера — разговор по телефону с Фрейдиным. Насчет разночтений с «Веером герцогини» Юра меня заверил, что в ближайшем будущем все это устроится и какой-то порядок доступа к архиву Н. Я. (?) определится. Что ж, подождем. <...>

8.3.81.

Вчера предпринял «атаку» на ГИХЛовских редакторов. Выяснилось, что умер Чечановский, что Казин мало что помнит. Звонки Котовой, Френкелю и Мунблиту (рец. в «Заре Востока» в 1925 г. — подп. И. Мунблит — на «Шум времени»). Мунблит идет по лестнице вверх — вниз идет М. с оттопыренными пальцами: «Несу клопа в правление — пусть они видят, куда они нас вселили». <...>

10.3.

<...> Накануне (10.3) обсуждался на семинаре Золотусского—Ланщикова — книга о Цыбулевском. Был подвергнут сокрушительной критике и забавным нападкам. И. З. сказал, что в вещах мелких я король, а в серьезных (уровни словесности, например) — слабак. <...>

13.3

Визит к Ир. Мих. Семенко: вместо полчаса больше двух часов. Я ей оставил посмотреть свои комментарии и свою статью о ПА (интересно, что она скажет, — ведь это она готовила «Зап. книжки» к ПА).

Впечатлений много, выношу самые главные.

Мир вокруг О.М. был еще сложнее и запутаннее, чем я представлял себе уже теперь. Был еще антагонизм Морозов — Семенко (она была попросту шокирована моим впечатлением о святости Саши Морозова: по ее мнению это очень большой, тщеславный и самолюбивый человек). Н. Я. взяла Морозова с собой к Харджиеву, когда поехала к тому застать его «врасплох» и отобрать рукописи. Харджиев очень обиделся на «понятого», и никакие письма не помогли потом. Н. Я. очень дорожила Семенко и ее работой, хотела всячески выставить ее работу в пику харджиевской (Ир. Мих. работала с рукописями стихов 30-х годов — у нее сохранилась фото пленка и опись «принстонского архива», ее текстологическая работа). Неплохо бы было ей издать книгу стихов 30-х годов — попробую узнать в Худдите. При этом

Ир. Мих не убеждена, как и Морозов, что сейчас, надо печатать все подряд: публикация Э. Гр., по ее мнению, только загромождает образ поэта нехарактерной поденщиной. Я уточнил: речь идет именно о загромождении, а не об искажении (как у Морозова).

Между прочим, еще я из этого визита вынес чувство необходимости своего визита к Н. И. Харджиеву, хотя бы визита вежливости. Я человек ничей, и такой пробел для меня ни к чему — а ему ведь под 80 лет уже! <...>

15.3.81.

Вечер О. Мандельштама в КСП³ в клубе «Металлург» (за м. Варшавская). Готовил — Борис Сергеевич Мягков (кто таков?). Вечер (хотя я был на нем лишь час с небольшим (торопился на другой конец Москвы, на Щелковскую, к Вале Яхонтовой, где Саша Сопровский читал свою книгу «Встречный огонь»), вечер произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, сам факт очень приятен — к тому же любовное оформление вечера (пригласительные билеты, фотографии на стенах, большая стенгазета с фотографиями О.М. и Н.Я., с фотографиями рукописей и публикацией, в т.ч. и с вырезкой из «ЛГ» и между прочим, фотографиями Воронежа), а с другой стороны — сам вечер. Мне говорили, что будет пение на стихи О.М. — это было бы любопытно послушать и обозреть (был на вечере и П. Старчик, но песен не было. Была бессмысленная композиция из стихов О.М. и разношерстных мемуаров о нем <...>

22.3.

Сегодня (как и вчера) — дивный весенний день — солнечный, капающий, текущий. Наконец-то выбрался на Троекуровское кладбище — вместе с Юрой Трифоновым и Т. Огородниковой. На дереве, где сворачивать, действительно был белый крест, но нашли мы могилку Н. Я. не сразу (кстати, это участок 3, могила № 3843). Там уже ограда проржавела, венки не рассыпался. Как хорошо, что дерево (липа) на участке и вообще могила хорошая, пока еще не торжественная. Назад шли другим путем, мимо церкви.

Потом зашли к Юре. Он мне подарил несколько фотографий О.М., каких у меня не было. Он получил отрицательный отзыв на свою прозу из «Молодой гвардии» и я больше чем уверен, что исключительно из-за «Улицы Мандельштама», точнее из-за Мандельштама. Я даже перепечатал страничку из отзыва для своей мандельштамистики — как любопытный документ эпохи. Вот она, слева.

Изд-во «Мол. гвардия»

³ Клуб студенческой песни. — П.Н.

Из редакционного заключения рукописи Ю. Трифонова
«Подкова на счастье» (повести)

... Третья вещь рукописи «Подкова на счастье» — «Улица Манделъштама», которую автор называет «повестью в стихах». Это своего рода исследование поэзии О. Манделъштама, несущее отчетливо выраженную печать субъективного, авторского восприятия стихов поэта.

Можно понять, что творчество такого интересного поэта, как Манделъштам, увлекло Юрия Трифонова. Однако нельзя согласиться с нарушением исторических пропорций, которые допускает автор. Ю. Трифонов отводит Манделъштаму одно из главнейших мест в отечественной литературе, определяющих лицо русской поэзии в целом. Манделъштам — интересный поэт, но есть, кроме него, еще и Пушкин, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Лермонтов, Тютчев... всех не перечислить. Именно они определяют лицо русской поэзии, питают поэзию нашего времени.

Однако автору важно не только утвердить то, что Манделъштам, по его пониманию, величайший поэт. Для него важно заострить внимание читателя на том факте, что творчество такого большого поэта неизвестно широкому читателю, что стихи его печатаются у нас не в соответствии с теми «истинными» вариантами произведений, которые находятся на руках повествователя. И здесь начинает отчетливо звучать тема судьбы поэта и его поэзии, судьбы, искореженной действительностью. В этом плане «Повесть о стихах» дополняет две первые вещи Ю. Трифонова, углубляя общий смысл прозаического сборника «Подкова на счастье». «Умерщвляющая» действительность выступает здесь уже не в лице большого города, но в лице той реальности, в которой живет наш соотечественник, в которой живем мы.

Эту авторскую позицию наше издательство принять не может.

Исходя из всего сказанного, считаем невозможным рекомендовать к изданию рукопись Ю. Трифонова «Подкова на счастье».

Зав. редакцией по работе с молодыми авторами И.И. Слепнев
Редактор Е. Еремина

<...> Зашел к Е. С. Гурвич. <...>

В Армавир Шура попал вот почему: книгоношество. Очередная фантазия Шуры. Работая в ОГИЗе, он уехал на 2 года на «низовую» работу. Первоначально — Алма-Ата (1924). Хотел ехать вместе с Лелей (ее тогда выгоняли из ВХУТЕМАСа, но не выгнали и просто она к нему туда приезжала в 27-м году). Вероятней всего — 25 год (в Старосадский въехали в 29-м году). Лена — жена Е. Я. Хазина. Бильярд — (Н. Як.: «Он не играет, а мажет» — случай с 500 руб. на панцирную кровать).

<...>

Ахматова ехала с Шурой в Красноуфимск в одном поезде (у него был ужасный вид, он все говорил: «Я потерял семью...»). Вид у него был такой, как у кандидата на тот свет.

Э. С. встретила в Ташкенте Е. Я. Хазина. Тот привел ее к Ахматовой.

(Телеграмма от Шуры из Красноуфимска).

До войны Шура работал в КОГИЗе⁴, в журнале «На книжном фронте». <...>

23.III. <...>

Доклад Севы Некрасова на Литобъединении им. Недогонова в ДК им. Горбунова (у Валеры Краснопольского)

БЛОК, ХАРМС И МАНДЕЛЬШТАМ (разговор)

— «Рукописи не горят» — (это оправдалось в 50-е годы);

— Удивительная негорючесть стихов М., Хармса и др.;

— Лет 10—15 все писали под Пастернака, сейчас — все под М., и выясняется, что М. труднее поддается имитации;

— Загадка М. и загадка Хармса;

— Л. Журавлева: литература и не-литература;

— Торжество «второй реальности»;

— Тема начинающего поэта у М., Зощенко и Хармса (у первого — сказочность, понятно; у второго — это загадочнее). Хармс — крайняя не-литература;

— Хармс: не как это сделано? А как это поставлено в мире?

— Хармсовский трюк: ничего-ничего-то нет, никаких таких героев! (худ. Кабаков).

— Хармс как концептуалист (а не только абсурдист);

— Лирика — столица литературы — началась с Пушкина, с 1820 г.

Слияние речи и песни;

— «Провал» после Фета и Тютчева;

— Блок: «наркотизированность» стиха;

— Маяковский, отрицая эстетику Блока, воздвиг свою новую эстетику, не менее громоздкое отрицание <нрзб.>;

— А вот Хармс — это действительно отрицание. Хармс — анти-эстетизм;

— Есенин — прямое высказывание — чистая литература;

— Акмеизм — оппозиция стихобасни;

— Манд-м откликается на Блока: «Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит», «Нет, никогда, ничей...», «Равенна»;

— Мандельштам знает что-то такое в своих стихах, чего не знает Блок. Было ему что-то добавить...

⁴ Кооперативное объединенное государственное издательство. — П.Н.

— М. опасается стиха, не доверяет ему; его тема — «Не надо упоения!»;

— М. — это Литература № 2 (№ 1 — Блок; Антилитература — Маяковский и обэриуты);

— М. — выпадение кристалла;

— М. — ранний, начался с тех вещей, которым многие кончали (Пастернак, Заболоцкий, Сельвинский). М. — поперек этой липовой схемы;

— М. — это реализация футуристической программы, то самое «самовитое слово» — но в социуме!

— М. — это литература, учитывающая антилитературу. М. не боится ни Хармса, ни его рабочего с «А по-моему ты говно».

ДИСКУССИЯ:

Померанц говорил об условности, о понятности, классичности раннего М. Просто форма у М. очень классична и красива. Ранний М. — мнимо понятен.

В общем, это был вечер, посвященный 265-летию со дня рождения Блока, Хармса и Мандельштама. <...>

29.3.81. Зашел к Семену Израилевичу. Узнал, что умер Трифонов. Относительно вечера О.М. сам даже не знает, соглашаться или нет. Порекомендовал Лидию Корн. Чуковскую. Кое-что рассказал про О.М., про его к себе и своим стихам отношение: три стопки стихов, отзыв Влад. Любина, визит к Клюеву (Клычков хвастал П. Васильевым, а О.М. привел Липкина). Разговор о его собственных стихах.

31.3.81 <...>

Вот образчики современного поэтического ерничества. Сам О.М. оказался на месте латинского поэта Люциуса:

Из стихов Александра Еременко

И Шуберт на воде, и Пушкин в черном теле,
И Лермонтова глаз, привыкший к темноте.
Я научился вам, блаженные качели,
Слоняясь без ножа по призрачной черте.

Как будто я повис в общественной уборной
На длинном векторе, плеснувшем стгоряча.
Уже моя рука по локоть в жиже черной
И тонет до плеча...

Из стихов. «И. А. Антону, художнику, йогу и человеку»

/.../ Потому что в жизни этой гадской,
Там, где тень наводит на плетень,
На подвижной лестнице Блаватской
Я займу последнюю ступень.
/.../ К пъяницам сойду я и к усопшим,
к тем, кто вовсе не имеет ног...
Тот не может называться йогом,
кто с бутылки устоять не смог.
<...>

5.IV

<...> Семен Израилевич отказался от участия в вечере О.М. — нет внутренней потребности, как он выразился. М. б. и не стоит сейчас связывать или увязывать две разные судьбы — его и О.М. Не знаю, хотя и жалко, что он не выступит.

<...>

13.IV

Разговор с Марком Колосовым, 77-летним. Долго и трудно говорил о «Юношеской правде» и проч. О.М. ему очень запомнился внешне — образ и общение..Очень спокойно, сдержанно достойно, опрятно вел себя. Но разговоры не запомнились. А ведь были и чисто деловые контакты: ведь М. Колосов был редактором в «Молодой гвардии». Встречались и в редакции «Комс. правды», где вел «Литстраницу» И. Уткин (возможно Уткин, через Багрицкого, и порекомендовал Мандельштама для этой редакции).

14.4

<...> Сегодня же — мой визит к Лукницкой — первый плод годовалого терпения. Вера Константиновна — женщина моложавая, мягкая и влюбленная, как она о себе призналась. В квартире у нее полным-полно всего разного — на кухне ложки (в т. числе одна гигантская), есть восточная комната с тибетейками, спальня вся в шкурах и пушистых покрывалах, с баром и бешеными рыбками. Она меня отменно накормила: салаты, уха с тертым сыром и чесноком, плов таджикский — все очень вкусно, включая коньяк. Пробыл у нее час, и думаю, что не в следующий раз, так через раз мы дойдем и до предметного разговора о Мандельштаме. Пока же ей — ни до чего и ни до кого. Она желает жить сама! — у нее конференция в обществе «Дружба» и проч., и проч. Ну и <...> пусть живет, надо только постараться так сделать, чтобы в ее «жить самой» вошло и немножко повозиться с бумагами (между прочим, П.Н. Лукницкий собирал еще и географические карты).

16.IV

Вчера у нас в ИГАНе был вечер песен Пети Старчика. Пел он на стихи М. Цветаевой, О. Мандельштама и проч., среди которых — Ду Фу, Л. Миллер и академик Митин. Надо сказать, что лучшие песни его — на стихи не М. Цветаевой и не О.М., а на Кочеткова («Баллада»), Твардовского, Радковского даже. Почему так (у него, а не вообще)? Во-первых, не критическое отношение к репертуару (жжение в области солнечного сплетения — и готово: отсюда — монотонность и похожесть многих песен). Во-вторых, непонимание аккомпанементной роли ф-но — он на нем солировал, вел тоже мелодию (оттого-то на гитаре — много лучше!) — и ни в чем нельзя было разобраться. Да еще вечная спешка его, поет быстрее, чем читаешь, — это уж совсем недопустимо, но главное не в этом (тут я поспорил с Левиным, там же оказавшимся), Левин считает, что песня — это перевод своего рода на язык музыки. Я считаю несколько иначе: стих — уже самодостаточная целостность, законченное, без лишнего и без пустот произведение. Музыкой (а м. б., даже голосом, в принципе ничего к нему не добавишь такого, чего в нем нет);

(Как пошутил Андрюша:

К ее стихам, написанным так рано,
Он не добавил, в сущности, ни грана...).

Но — можно убить, заглушить, затмить (при этом, впрочем, может передать или даже педалировать идею, образ стиха в целом, но за счет потери текста, потери слов и отдельных мыслей: это, кстати, потолок для Старчика, который, конечно же, неизмеримо выше Пугачевой, занимающейся просто опошляющей стилизацией). Я хочу сказать, что музыка к стихам — есть абсурд, нонсенс, поскольку музыка уже при них, но существует она в них, а ни в коем случае не к ним... к ним она и не нужна. Поэтому человек, подбирающий свои бледные аккорды к хорошим стихам, ничуть не композитор; он — оранжировщик, он в чем-то близок скорее декламатору. Но — бывают редкие Сорокины и Качаловы, а бывает — и Яхонтов). Иными словами, робкая, тактичная аранжировка, музыкально тематическая и гармоническая нюансировка, высвечивание отдельных мест стиха (в чем, впрочем, несомненно может и должна быть концептуальность, что все-таки сближает это дело с переводом, да) плюс, разумеется, мелодия, идущая от стиха, заложенная, имеющаяся в нем (одна из многих) — вот единственный, на мой взгляд, путь для занятия, которым занялся П. Старчик.

Я ведь и сам тоже был к этому пристроен (в хорошем смысле) больше Пети (я имею в виду «Тифлис» у Андриюши Трейвиша и «Ленинград» у меня⁵). <...>

16. IV

Сын Бухарина — Юрий, художник — педагог. Архива отца нет. Секретарша — Августа Петровна Короткова (пеночка, а не белочка).

18. V

Преображенка. <...> зашел к Кларе Домбровской. Радужная, приветливая женщина. Как она огорчилась, когда подтвердилось, что ничего нового для себя я у нее не обнаружил (вот что у нее: экземпляр «Стихотворений» 1928 г. со множеством рукописных вставок и куча списков стихов О.М.; с Н. Я. они общались в Доме творчества в Голицыне — это 68—69 г.).

Кое-что любопытное для себя я все же почерпнул: 1) Стих Керенскому был напечатан в газ. «Голос народа», № 173, 15.XI.1917 г.) 2) «Куда как тетушка моя была богата...» — процитирована в какой-то статье Г. Иванова («Дни», 4.IV.25), 3) «Пылает за окном звезда...» (какое щемящее, какое замечательное стихотворение» если это С. Клычков — то я заявляю громко и ясно, что обожаю этого поэта и хочу издать его книгу!) — тот же Г. Иванов (с. 309) утверждает, что стих О. М-ма и речь в нем идет о женитьбе О.М. и его дочери (стих сам по себе с текстурой в противоречие не входит).

<...>

21/IV

Ну вот — закрылся мой самый вопиющий пробел в очном мандельштамоведении. Сегодня я заходил к Харджиеву и просидел у него часа 2 (он, живет, между прочим, прямо у м. «Спортивная» — так близко отсюда я некогда так часто бывал!). Его заинтересовал, через Э. Герштейн, IV том — он набросился на него жадно, сладострастно находя в нем те или иные, с его т. зр., недостатки и изъяны (насчет «О, красавица Сайма» или «Осип Мандельштам», даты Нарбутова ареста, премьер Раковский и проч.). О, читатель комментариев — все остальное он пролистал очень быстро, а тут подзастрял как следует!

Ничего страшного, эдакого злобно-паучьего в нем не оказалось — хотя и добродушию его тоже веришь не до конца. Облик Яго был для меня неожиданным: полный, моложавый (а ведь под 80 лет!) неяркий армянин — какой-то наставник (еле сдержался, чтоб не сказать, «пре-лат») из Гегарда, Тер-Харджян. Но никакой агрессивности, особой

⁵ Имеются в виду песни на эти стихи Мандельштама. — П.Н.

злбности — пожилой, умудренный человек, с каким-то старомодным юмором и безукоризненной речью и улыбкой (чем напомнил мне даже такого добряка и пикейного жилета, как Василевский).

По существу встречи — вот что. Книга, конечно, его заинтересовала, — и сама по себе, и как поприще для желчной критики. Критическими статьями О.М. он специально не занимался, так что никакой неловкости не случилось и случиться не могло. Статья о Барбье — машинопись с авторской правкой — увы, в архиве О. М./Н. Я., но, м. б., у него залежалась в том чемодане копия — он посмотрит, а заодно и оттиск для меня своей публикацией в «RL».

Ругал мемуаристов вообще и Б. Лившица в частности (детский воздушный шар, составленный по газетам; Лившиц — случайный человек, попутчик футуризма — ого! — все футуристы не хвалили «1,5-глазого стрельца», отнюдь не первоисточник). О самом Б. Лившице говорил очень тепло и любовно, как об очень хорошем человеке, много делавшем для О.М. (за что потом тот не давал ему руки и тем гордился), не очень умном, но очень умно писавшем в статьях и очень лихо — в декларациях. Вспомнил эпизод на квартире Багрицкого в Кунцеве, когда на кисло-сладкие слова Багрицкого о Б. Лившице как о поэте, О.М. очень горячо за него вступился именно как за поэта (лично они тогда ведь были не очень — конец 20-х годов). Это уже интересно (Липкин — обратное, но Поступальский — то же).

Еще сцены — с Клычковым и с князем Звенигородским (2 сборника 1907 г.).

Да, а те стихи из ЦГАЛИ — не Хлебникова, а Петникова.

В общем, я очень рад, что я сходил к Харджиеву, — словно грех некий с себя снял, да и деловые результаты утешительные (еще ведь он сказал про газету «Моряк»).

22.4. Разговор с чужеземной Рамел'ой, знакомой знакомого Элеоноры Самойловны. Занимается 10—20 гг. (Вяч. Ивановым), собирает материалы для издания «Венка Мандельштаму». <...>

7.V.81. Утро, пятый час.

<...> Вечер, вроде бы, будет точно. В пятницу, 15-го, в 17-00, в конференц-зале (ауд. 212 Н). Вот примерная программа (по порядку): Арк. Штейнберг (будет вести) — МАДИ — Е.П. Зенкевич (мемуары) — голос (Шилов?) — П. Нерлер (М. и Белый) — Старчик (песни) — М. Чудакова — Королев — песни (Нерлер / Трейвиш) — Ю. Трифонов — Пугачева (?).

Юра, спяну, спросил меня вчера: а зачем нужен вечер такой? Кому? Отвечу, но не ему, а себе: нужен как звеньшко культурной жизни, из которой изымать М-ма — преступно по отношению к нему.

С какой, собственно, стати какой-нибудь N. имеет 40 вечеров в год, а О.М. — один вечер в 40 лет? Не надо догонять N., но и не надо подсоблять всяким Бонч-Бруевичам и Прокофьевым, утверждающим, что О.М. вообще не было и нет. <...>

Еще вчера полезный был визит к Поступальскому. Он дал мне «концы» Н. Рыковой, вдовы Бродского. Через Э. Герштейн я постараюсь выйти на Наппельбаумов. Его сын, оказывается, даже жил в Нащокинском (снял комнату) в кв-ре О.М. — когда тот был в ссылке. (Там же останавливался Эйхенбаум). Весьма вероятно, что что-то у нее есть. Вдова Бродского подтвердила, что что-то осталось, но искать сейчас не может. Сама Э. Гр. никак не кончит свои мемуары. Она придумала гениальную формулировку (специально для С. Наровчатова) — что-то вроде *«Вы прочтете все это как поэт и поступите как редактор»* (нет, у нее гораздо лучше сформулировано).

22.11.1981: Вечер в Химках:

Наброски к докладу П. Нерлера:

Я полагаю, что сегодня у нас не заседание филологического семинара, а вечер, посвященный памяти одного из лучших русских поэтов — Осипа Мандельштама. В этом году, правда, в начале года, ему исполнилось бы 90 лет. И, кстати сказать, сегодняшний вечер — единственный, проходящий в юбилейный для М. год. А в общей сложности это, кажется, 4-й по счету его вечер, проходящий после его смерти.

«Три вопроса» А. Блока

Когда мы читаем стихи М., мы должны знать и то, почему он их написал, как и помнить, что не написать их он не мог. Не смог бы — чтобы они ни значили, чем бы ни грозили. Ибо та вина и та боль, тот порыв и та погудка, из которых и с которыми они возникали, не утолялись и не отпускали до тех пор, пока стихи не были написаны. Писать стихи — был его рок и его долг — прежде всего перед самим собой. И он платил по этому векселю всем, чем располагал, вплоть до свободы и жизни. Не заплатить, не написать — он, повторяю, не мог и не умел:

Куда как страшно нам с тобой...

Единственное, что он мог, — припрятать, примолчать, но и это ему не удавалось как следует. Стихи и к Ваксель, и к Петровых — довольно скоро — стали известны его жене, а стихи о Сталине — Сталину.

Песнь бескорыстная — сама себе хвала,
Утеха для друзей и для врагов — смола...

1) Представить; 2) Эманации личного общения; 3) Поэзия нового типа, новый тип классики; 4) Нерв русской поэзии 20 в. прошел по нему; 5) Опыт личного бессмертия в творчестве М.

О смерти: «Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. <...> У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность» (Н. Я., С. 22).

Смерть — творческий акт, а как же тогда со смертью биографии и с ней романа? М. б., смерть — последнее, что не умерло, что не умирает?

xxxxx

Надо сказать, что фигура смерти занимает совершенно особое место не только в мировоззрении, но и в самой поэтике М. В статье «Пушкин и Скрябин» он говорил о смерти художника как о высшем акте его творчества, который *«...не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено»*.

Поэзию и судьбу, жизнь и смерть — он воспринимал целокупно, как единый, творческий по своей природе, текст.

Голова А. Шенье, скатившаяся с плахи за день до разгрома Коммуны, полная безвестность о кончине Вийона — все это не случайные, а закономерные вехи, неизбежные финалы жизненных симфоний этих людей. Так же воспринял он и смерть Блока, на годовщину кончины которого он откликнулся целой статьей: *«Блок был человек 19-го века и знал, что дни его столетия сочтены»*. Ранняя смерть Блока — это смерть века, его века!

То же — или почти то же — было прочувствовано М. и после смерти Андрея Белого, последовавшей 8 января 1934 г. Вот что писал Бенедикт Лившиц М. Зенкевичу 14 января:

«Дорогой Михаил Александрович, пишу Вам под еще неизжитым впечатлением от смерти Белого. Весть об этом как-то не сразу проникла до глубины моего сознания и лишь теперь, пытаюсь отдать себе отчет в том, что сильнее всего в эти дни угнетает, я наталкиваюсь на это событие, заслонившее для меня все остальное. <...> И тем не менее — ни одна из смертей последнего времени не впечатляла меня так сильно, как эта смерть. Оборвалась эпоха, с которой мы были — хотим ли мы это признать или нет, безразлично — тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед. <...> Дело не в самом факте смерти <...>, а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой... <...>

Как жаль, что здесь нет Осипа: я почти не сомневаюсь, что и на него эта смерть произвела не меньшее впечатление!»

Он словно в воду глядел!

О самих Пушкине и Скрябине М. писал, что они «...явили пример соборной, русской кончины, умерли полной смертью, как живут полной жизнью, их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце — сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы».

Не то ли произошло и с самим М.?

Его смерть, его судьба, к ней приведшие, давно уже переросли значение пусть великой, но единичной судьбы (как, скажем, смерть Кузмина). Она стала воистину символом, причем символом целого народа, загнанного в лагерь.

21.12.81

Разговор со Штейнбергом: его мысль о переменной и постоянной компонентах М.

Моя мысль: для М. еще далеко не закончена эпоха Великих географических открытий. Он еще не собран, он еще не издан.

Первейшее условие успеха в анализе — гласность, изданность и доступность.

1984

16.3.1984⁶

А.А. Штейнберг: «Надо торговаться. Книга должна выйти — “О поэзии” уже есть, “Разговор о Данте” есть. Позором будет именно невыход книги. Забирать ее Вы не имеете права, Вы не автор книги, свою книгу Вы можете взять под мышку и сколько угодно обижаться на кого угодно. А на Мандельштама у Вас просто права такого нет. Вы не его представитель, не его приказчик, а читателя. Надо служить ему у литературе, а не Мандельштаму...»

Все мандельштамисты... сумасшедшие. Они думают, что кроме М-ма никого и на свете не было в русской литературе, а это далеко не так.

Успокойтесь, старик, и делайте то, что можете. Идите, обьясняйтесь, торгуйтесь... Если Вы книжку заберете, то доставите огромное удовольствие господам Куняеву и Русскому клубу в Институте мировой литературы».

⁶ После атаки В. Еременко, директора изд-ва «Советский писатель», на состав книги критической прозы О. Мандельштама «Слово и культура», когда уже и у меня все-таки возник вопрос, а не отказаться ли ото всей книги! — П.Н.

Приложение 2

Павел Нерлер БИБЛИОГРАФИЯ

В настоящей библиографии представлены литературные сочинения и филологические работы П.М. Нерлера, опубликованные им до 1 января 2014 года под этим именем в бумажных и электронных СМИ. Работы, опубликованные под фамилией «Полян», в библиографию не включены. Общее число охваченных перечнем библиографических единиц — более 500.

Библиография структурирована по следующим рубрикам, соответствующим различным эдиционным жанрам:

Книги и другие отдельные издания

Авторские поэтические сборники

Другие авторские книги

Книги О.Э. Мандельштама и других авторов, составленные или отредактированные П.М. Нерлером

Тематические сборники, составленные или отредактированные П.М. Нерлером

Буклеты, карты и календари

Стихотворения и поэтические переводы

Стихотворения

Поэтические переводы

Статьи, сопроводительные заметки и тезисы

Статьи

Статьи для энциклопедий

Сопроводительные заметки

Тезисы

Воспоминания. Записные книжки. Из переписки
Рецензии и круглые столы
 Рецензии
 Круглые столы
Публикации, комментарии, подготовка текстов
Библиографии
Хронологии
Некрологи
Репортажи, хроники, заметки
 Репортажи и хроники
 Заметки
Интервью и письма в редакцию
 Интервью, взятые П. Нерлером
 Интервью, взятые у П. Нерлера
 Письма в редакцию
О Павле Нерлере

Внутри рубрик соблюдается хронологический принцип. Иногда титульные и реальные даты выхода изданий не совпадают: в таких случаях реальные даты даются в квадратных скобках [].\

В случаях электронных публикаций, а также для бумажных публикаций, имеющих интернет— версию, приводятся их установленные сетевые адреса (дата обращения к ним — 21 октября 2013 г.). Под публикациями также указываются рецензии и иные отклики: в случаях, если последние не имеют собственных заглавий, названия рецензируемых произведений не повторяются.

КНИГИ И ДРУГИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Авторские поэтические сборники

Стихи из книги «Ботанический сад» (1970—1987) [Препринт] / Поэтическая серия «Визитная карточка». М.: Линоар, 1995. 25 с. (Тираж: 100 экз.).

Рец.: *Жажоян М.* Судьбы и реки // РМ. 1996. 25—31 июля. С. 13.

Ботанический сад. Книга стихов (1970—1987). М.: Арт-Бизнес-Центр, 1998. 150 с. (Тираж: 1000 экз.).

В сети: <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=606>

Рец. и др. отклики: Литературная жизнь Москвы. Клубы и салоны. Сезон 1998/99 гг. Вып. 2 (19). — 1998, сентябрь-октябрь. С. 6

(заметка «30.09. Филиал Литературного музея в Трубниковском пер.»); Kasper K. Das literarische Leben in Rußland 1998. Zweiter Teil: Jüngere Generationen, Preise, Fundsachen, Gedächtnisarbeit // Osteuropa. 1999. Jg. 49. Heft 6. Juni 1999. S. 580; В. Крейд // НЖ. 1999. № 217. С. 302—305.

Високосные крүги. Стихи 1970—2012 гг. М.: Водолей, 2013. 176 с. (Тираж: 1000 экз.).

Рец.: Пять книг недели // Независимая газета. Ex-libris. 2013. 20 июня. В сети: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2013-06-20/1_five.html; Румер. М. Биография души. Размышления о поэзии Павла Нерлера // ЕГ. 2013. Июль. С. 19; Логош О. Презентация книги стихов Павла Нерлера [в Ахматовском музее 2 июля 2013 г.] // Питербук: события. 2013. 7 июля. В сети: <http://krupaspb.ru/piterbook/events.html?um=&arc=0&nn=2188&np=1>; Бычков С. Касание поэзии. В прозрачной рея бирюзе... // МК. 2013. 17 июля. В сети: <http://www.mk.ru/culture/article/2013/07/17/885697-kasanie-poezii.html>; Давыдов Д. Топография памяти // КО. 2013. № 20. С. 10.

Другие авторские книги

Осип Манделъштам в Гейдельберге. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 82 с. (Записки МО. Т. 3). (Тираж: 1000 экз.)

«С гурьбой и гуртом...». Хроника последнего года жизни Манделъштама. М.: Радикс, 1994 [1995]. 112 с. (Записки МО. Т. 5). (Тираж: 1500 экз.)

Осип Манделъштам и Америка. М.; Ставрополь: Изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2012. 182 с. (Записки МО. Т. 21; посв. К. Брауну]. (Тираж: 200 экз.)

Осип Манделъштам и Америка. Изд-е 2-е, исправленное и дополненное. М.: Вердана, 2012. 254 с. (Записки МО. Т. 21; посв. К. Брауну]. (Тираж: 250 экз.)

Слово и «Дело» Осипа Манделъштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений / При участии Д. Зубарева и Н. Поболя. Ред.: С. Василенко. М.: Петровский парк, 2010. 199 с., илл. (Тираж: 1000 экз.).

Слово и «Дело» Осипа Манделъштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений [Электронное издание] / При участии Д. Зубарева и Н. Поболя. Изд-е 2-е, исправленное и дополненное. М.: Литрес, 2013. В сети: <http://www.litres.ru/pavel-nerler/slovo-i-delo-osipa-mandelstama-kniga-donosov-doprosov-i-obvinitelnyh-zaklucheniya/>

**Книги О.Э. Мандельштама
и других авторов,
составленные или отредактированные П. Нерлером**

(Сост.) Мандельштам О. Слово и культура: О поэзии. Разговор о Данте. Статьи и рецензии / Вступит. статья М. Полякова. Примеч. П. Нерлера. М.: Сов. писатель, 1987. 320 с. (Тираж: 50 000 экз.).

В сети: http://rvb.ru/mandelstam/slovo_i_kultura/toc.htm

Рец.: Бабаев Э. Мандельштам как текстологическая проблема // ВЛ. 1988. № 4. С. 201—211; Тоддес Е. Мандельштам и его и издатели // ЛО. 1988. № 5. С. 63—65; Мец А. Поэзия как способ познания мира // Нева. 1988. № 8. С. 186.

(Сост.) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания / Предисл. А.А. Урбана. Подг. текста П.М. Нерлера, А.Е. Парниса и [В.Я. Мордерер]. Примеч. П.М. Нерлера, А.Е. Парниса, [В.Я. Мордерер] и А.Ф. Ковтуна. Л.: Сов. писатель, 1989. 720 с. (Совм. с Е.К. Лившиц). (Тираж: 50 000 экз.).

(Сост.) Мандельштам О. Избранное / Сост., предисл. и примеч. П. Нерлера. Таллинн: Ээсти раамат, 1989. 336 с. (Тираж: 50 000 экз.).

Рец.: Абашина Н. Возвращая забытые имена // Советская Эстония. 1989. 19 февраля.

(Сост., подг. текста и комм.) Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Т. 1: Стихотворения. Переводы / Вступит. статья С.С. Аверинцева. М: Художественная литература, 1990. 638 с. (Тираж: 200 000 экз.).

В сети (оба тома): <http://rvb.ru/mandelstam/dvuhtomnik/toc.htm>

(Сост.) Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Т. 2: Проза. Переводы / Подгот. текста и комм. П.М. Нерлера и А.Д. Михайлова. М.: Художественная литература, 1990. 464 с. (Совм. с С.С. Аверинцевым) (Тираж: 200 000 экз.).

(Сост.) Мандельштам О. «И ты, Москва, сестра моя, легка...». Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму / Сост., вступит. статья и примеч. П. Нерлера. М.: Московский рабочий, 1990. 560 с. (Тираж: 100 000 экз.).

(Сост.) Мандельштам О. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи / Вступит. статья Г. Маргвелашвили. Послел. и примеч. П. Нерлера. Тбилиси: Мерани, 1990. 416 с. (Тираж: 250 000 экз.; 2-й завод вышел в том же году, тираж: 100 000 экз.). (Совм. с Г. Маргвелашвили).

(Сост.) Мандельштам О. Избранное [Репринт эстонского издания 1989 г.] / Сост., предисл. и примеч. П. Нерлера. Магадан: Магаданское книжное изд-во, 1990. 336 с. (Тираж: 50 000 экз.).

(Сост.) Мандельштам О. Избранное / Сост., предисл. и примеч. П.М. Нерлера. М.: Совм.е предприятие «Интерпринт», 1991. 480 с. (Тираж: 100 000 экз.).

(Сост., послесл.) Mandelstam O. Über Dichtung. Essays [О поэзии. Эссе] / Перевод: Alfred Frank, Marga und Roland Erb // Gustaw Kiepenheuer Verlag, Leipzig und Weimar, 1991, 192 S.

Rezensionen: Essays über Dichtung // Ostthüringische Zeitung. 1991, 14 Dezember; *Sell G.* In den Ländern von Sprache und Zeit. Ossip Mandelstam Essays // Sächliche Zeitung. 1991, 24 Dezember; *Ullrich H.* Entwurf einer neuen Ästhetik. Ossip Mandelstams Feingefühl für poetische Werte // Neue Zeit. 1992. 13 Februar.

(Сост., примеч. и вступит. заметка) Мандельштам О. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1: Стихи и проза 1906—1921. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. 368 с. (Совм. с А.Т. Никитаевым) (Тираж: 10 000 экз.).

В сети (все тома): <http://rvb.ru/mandelstam/toc.htm>

(Сост., примеч. и вступит. заметка) То же. Т. 2: Стихи и проза 1921—1929. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. 704 с. (Совм. с А.Т. Никитаевым) (Тираж: 10 000 экз.).

(Сост., примеч. и вступит. заметка) То же. Т. 3: Стихи и проза 1930—1937. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 528 с. (Совм. с А.Т. Никитаевым) (Тираж: 9 600 экз.).

(Сост. примеч. и вступит. заметка) То же. Т. 4: Письма. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1997. 608 с. (Совм. с А.Т. Никитаевым, Ю. Фрейдиным и С. Василенко) (Тираж: 5 000 экз.).

Рец.: *Сарнов Б.* Глухарь на току // ЛГ. 1997. 14 мая. С. 12; *Новиков М.* И от нас природа отступила. Вышел 4 том Мандельштама // Коммерсант. 1997. 4 июля; *Айзенберг М.* «Я тоже современник» Вышел в свет последний, четвертый том «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама // Итоги. 1997. 14 октября. С. 90—91. (Републ.: Стенгазета. 2007. 8 февраля. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=2812>).

(Сост.) *Семенко И.М.* Поэтика позднего Мандельштама (От черновых редакций к окончательному тексту) // Предисл. Л. Гинзбург. М.: Ваш Выбор, 1997. 144 с. (Совм. с С. Василенко) (Записки МО. Т. 8).

(Ред.) *Горнунг Б.* Поход времени: стихи и переводы; статьи и эссе / Сост.: М. Воробьева; предисл.: П. Нерлер; послесл.: М. Горнунг: В 2-х книгах. М.: РГГУ. 2000. 510 с. (Библиотека МО. Т. 2).

(Сост.) Надежда Мандельштам. Об Ахматовой / Вступит. статья П. Нерлера. Подг. текста П. Нерлера и С. Василенко при участии Н. Крайневой. Комм. П. Нерлера при участии Н. Крайневой. М.: Новое издательство, 2007. 444 с. (Записки МО. Т. 13). (Тираж: 1000 экз.)

Рец.: *Мордерер В.* Две капли Горгоновой крови / Круг чтения. Русский журнал. 2008. 7 апреля. В сети: http://www.russ.ru/layout/set/print/krug_chteniya/dve_kapli_gorgonovoj_krovi; *Перельмутер В.* Другая книга // TSQ. No 24. 2008. В сети: <http://www.utoronto.ca/tsq/24/nadmandel24.shtml>; Новая книга Надежды Мандельштам: за и против [Интервью В. Бабицкой с А. Найманом и Ю. Фрейдиным на презентации книги в клубе «Апшу». 2008. 6 февраля] // Openspace.ru. В сети: <http://www.openspace.ru/literature/events/details/2061/>

(Сост.) Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. Изд-е 2-е, исправл. / Вступит. статья П. Нерлера. Подг. текста П. Нерлера и С. Василенко при участии Н. Крайневой. Комм. П. Нерлера при участии Н. Крайневой. М.: Три квадрата, 2008. 408 с. (Записки МО. Т. 13). (Тираж не указан).

(Сост.) Мандельштам О. «Жизнь упала, как зарница...» / «Ferner Blitz — das Leben fiel...» [Избранные стихи О. М. на русском языке с параллельным переводом на нем. язык] / Отв. ред. Ю.Г. Фридштейн. Автор проекта Е. Гениева. М.: Вагриус, 2008. 432 с. (Совм. с А. Филипповым). (Тираж 3 000 экз.).

(Сост. и предисл.) Надежда Мандельштам. За Ахматова / Пер. на болг. яз.: Белла Цонева-Динкова. София: Рива, 2011. 368 с. (болг. яз.).

(Сост., примеч. и послесл.) Nadeschda Mandelstam: Erinnerungen an Anna Achmatowa / Пер. на нем. яз.: Christiane Körner. Berlin: Bibliothek Suhrkamp, Nr. 1465. 2011. 205 S., Abb.

Рец.: *F. Ph. Ingold*. Freundschaft in Zeiten des Terrors. Nadeschda Mandelstams anrührende «Erinnerungen an Anna Achmatowa» // *Neue Züricher Zeitung*. 2012. 2 Januar. В сети: http://www.nzz.ch/magazin/buchrezensionen/freundschaft_in_zeiten_des_terrors_1.14038126.html (В переводе на англ. яз. в: *Signansight*. 2012. 1 September. В сети: <http://www.signansight.com/features/2209.html>)

(Научн. ред.) «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» Стихи и воспоминания Ольги Ваксель / Редактор-составитель и автор послесловия: А. Ласкин; Подг. текста: И.Г. Иванова, А. Ласкин, Е. Чурилова; Комментарии: Е. Чурилова. М.: РГГУ, 2012. 437 с. (Записки МО. Вып. 20). (Тираж: 1000 экз.).

Рец.: *Марков А.* Живые души перед чертогом теней // *Русский журнал*. 2012. 8 октября. В сети: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/ZHivye-dushi-pered-chertogom-tenej>; *Шабалева Т.* Пятикнижие // *ЛГ*. 2012. 17—23 октября. С. 7; *Сафронова Е.* Записки Мандельштамовского общества // *Знамя*. 2013. № 1. С. 216—219. В сети: <http://magazines.russ.ru/znamia/2013/1/s16.html>; *Лурье С.* // *Звезда*. 2013. № 3. С. 237—238; *Давыдов Д.* «В отчуждении и в силе...» // *КО*. 2013. № 9. С. 7.

(Сост., примеч. и послесл.) Nadejda Mandelstam: Sur Anna Akhmatowa / Пер. на фр. яз.: Sophie Benech. Paris: Le Bruit du temp, 2013. 224 p.

Тематические сборники, составленные или отредактированные П.М. Нерлером

(Ред.). Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования.

Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. 544 с. (Совм. с С.С. Аверинцевым, В.М. Акаткиным, В.Л. Гординым и др.) (Тираж: 1000 экз.)

(Ред.) Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М.: Наука, 1991. 508 с. (Совм. с Е.В. Ивановой, В.А. Келдышем, З.С. Паперным и др.) (Тираж: 1000 экз.)

(Сост.) «Сохрани мою речь...». К 100-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама. Мандельштамовский сборник. [Вып. 1]. М.: Обовление, 1991. 98 с. (Совм. с А.Т. Никитаевым). [Записки МО. Т. 1] (Тираж 100 000 экз.)

(Ред.) Воронежский период в жизни и творчестве О.Э. Мандельштама. Материалы. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1991. 106 с. (Совм. с В.М. Акаткиным, О.Г. Ласунским и др.)

(Сост.) *Штеммель Н.* Мандельштам в Воронеже. Воспоминания / Вступит. статья Д.П. Заславского. Подгот. текста и примеч. В.Н. Гыдова. — М.: МО. 1992. 146 с. (Совм. с В.Н. Гыдовым) (Записки МО. [Т. 2]). (Тираж: 300 экз.)

(Сост.) «Сохрани мою речь...» [Мандельштамовский сборник]. Вып. 2. М.: Книжный сад. 1993, 128 с. (Совм. с О. Лекмановым) (Записки МО. Т. 4) (Тираж: 2 000 экз.)

(Сост.) Ossip Mandelstam. 1891—1938. “Ich muss nun leben, war schon zweifach tot...» [«Я должен жить, хотя я дважды умер...»] / Katalog zur Ausstellung. Berlin — Freiburg i.Br. — Heidelberg. — Frankfurt a.M. — Leipzig. 1993—1994. Aus dem Russischen übersetzt von G. Leupold. — Reclam Verlag Leipzig, 1993. — 205 S. (Совм. с А.Е. Рудник, А.Е. Залиевой и М.В. Соколовой).

(Ред.) Мандельштамовские дни в Воронеже. Материалы. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1994. 96 с. (Совм. с В.М. Акаткиным, М.Л. Гаспаровым, О.Г. Ласунским и др.)

(Ред.-сост.) «Отдай меня, Воронеж...». Третьи международные Мандельштамовские чтения: сб. статей / Ред.: О.Г. Ласунский, Г.А. Левинтон, О.Е. Макарова, П.М. Нерлер, В.Г. Перельмутер, М.В. Соколова и Ю.Л. Фрейдин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1995. 382 с.

(Ред.-сост.). Сохрани мою речь [Мандельштамовский альманах]. Вып. 3. В 2-х частях. (Совм. с О. Лекмановым, М. Соколовым и Ю. Фрейдиным). М.: РГГУ, 2000. 278 с. (Записки МО. [Т. 10]) (Тираж: 300 экз.)

(Ред.). Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама (Москва, 28—29 декабря 1998 г.) М.: РГГУ, 2001. 320 с. (Совм. с М.З. Воробьевой, И.Б. Делекторской, М.В. Соколовой и Ю.Л. Фрейдиным). (Записки МО. Т. 11) (Тираж: 1000 экз.)

(Сост.) О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. М.: РГГУ,

2007. 308 с. (Совм. с: И. Делекторской, Д. Мамедовой, И. Ряховской и Ю. Фрейдиным). (Записки МО. [Т. 12] Т. 11 указан ошибочно). (Тираж: 500 экз.).

(Ред.-сост.). Сохрани мою речь [Мандельштамовский альманах]. Вып. 4. В 2-х частях. М.: РГГУ, 2008. 808 с. (Записки МО. [Т. 14]) (Совм. с: И. Делекторской, О. Лекмановым и Д. Мамедовой). (Тираж: 300 экз.).

(Ред.-сост.). «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н.Е. Штемпель Предисловие П. Нерлера. Научный редактор С. Василенко. М. Воронеж: Кварта, 2008. 340 с., илл. (Совм. с Н. Гординой) (Записки МО. Т. 15). (Тираж: 700 экз.)

(Сост., послесл. и примеч.) Осип Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. К 70-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама / Подгот. текста С.В. Василенко и П.М. Нерлера. Научн. ред. С.В. Василенко. Худ. А.П. Гуцин. М.: [Изд-во не указано], 2008. 311 с. (Тираж: 1000 экз.).

(Ред.-сост.) Семен Липкин. «Угль, пылающий огнем...» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. М.: РГГУ, 2008. 456 с. (Совм. с Н. Поболем и Д. Полищуком). (Записки МО. Т. [16]. Указание на т. 15 ошибочно) (Тираж: 500 экз.)

Рец.: *Бычков С.* Очевидец // TSQ. No. 29. Summer 2009. В сети: <http://www.utoronto.ca/tsq/29/bychkov29.shtml>

(Сост.) Осип Мандельштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы / Предисл.: П. Нерлер; послесл.: Ю. Фрейдин; научн. ред.: С. Василенко. М.: Петровский парк, 2009. 88 с.

(Ред.-сост.) Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011. 316 с. (Совм. с Д. Мамедовой). (Записки МО. Т. 17). (Тираж: 300 экз.).

(Сост.) «Сохрани мою речь...» [Мандельштамовский альманах]. Вып. 5. В 2-х частях. М.: РГГУ, 2011. 684 с. (Совм. с С. Василенко, А. Еськовой, О. Лекмановым и С. Шиндиным). (Записки МО. Т. 19). (Тираж: 500 экз.).

Буклеты, карты и календари

(Карта) Прогулка по Мандельштамовской Москве. Карта-экскурсия. М., 2008 (Совм. с Л. Видгофом).

(Буклет) Памятник О.Э. Мандельштаму в Москве, в Старосадском переулке. М., 2008. 80 с. Подарочное издание (Совм. с Е. Бунимовичем, Л. Видгофом, Н. Городской и Ю. Фрейдиным) (Тираж: 200 экз.).

(Календарь) Осип Манделъштам. 1891—1938. Манделъштамовский календарь на 2009 год. М.: Петровский парк, 2008. 14 с. (Совм. с Н. Поболем).

(Календарь) Память о поэте. Манделъштамовский календарь на 2010 год. М.: Петровский парк, 2009. 14 с. (Совм. с Н. Поболем).

(Буклет) Манделъштамовское общество. Кабинет манделъштамоведения Научной библиотеки РГГУ. М.: Петровский парк, 2009. [8 с.].

(Карта) Прогулка по манделъштамовскому Петербургу. Карта-экскурсия. М., 2010 (Совм. с М. Сальман).

(Календарь) Книги поэта. Манделъштамовский календарь на 2011 год. М.: Петровский парк, 2010. 14 с. (Совм. с Н. Поболем).

(Календарь) Друзья поэта. Манделъштамовский календарь на 2012 год. М.: Петровский парк, 2011. 14 с. (Совм. с Н. Поболем).

(Календарь) Города поэта. Манделъштамовский календарь на 2013 год. М.: Петровский парк, 2012. 14 с. (Совм. с С. Василенко).

Рец.: Сафронова Е. Записки Манделъштамовского общества // Знамя. 2013. № 1. С. 216—219. В сети: <http://magazines.russ.ru/znamia/2013/1/s16.html>

(Календарь) Пантеон поэта / Манделъштамовский календарь на 2014 год. М.: Петровский парк, 2013. 14 с. (Совм. с С. Василенко).

(Буклет) Манделъштамовские дни в Москве. К 75-летию со дня гибели поэта (25/12/13 — 27/01/14). М.: Манделъштамовское общество; Еврейский музей и Центр толерантности. 2013. 32 с. (Совм. с А. Бердигалиевой).

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Стихотворения

Органный чин («Органный чин консерваторский...») // За медицинские кадры. 1977. № 33. 23 ноября. С. 4.

Коктебельские камушки (I. «Слышны седые разговоры...»). II. «Как редко в небо поднимаем...»); Комариные реки (I. «Гудят поемные луга...»? II. «Когда отходит август по стерне...»); «Там водорослей зыбкие начесы...»; «Пока мы говорили — рассвело...»; Из Галактиона Табидзе («Уходишь... И муки уносишь...»); Москварь («А в Столешниковом ночью...»); «Когда, как люстра, разбивается вода...»; «Иду аллеями и кленопись читаю...» // За медицинские кадры. 1977. № 35. 7 декабря. С. 4.

«Над монастырской стеной зубчатый воздух распластался...» (Фрагмент) // *Природа*. 1978. № 2. С. 62 (в составе статьи: Полян П. География и вдохновляющие ресурсы природы).

Зедазени; «В ночи горит решетчатый квадрат...»; «Не умолкает в сумерках поток...» // *ЛПр*. 1978. № 9. С. 85—86. (Специальный выпуск «Свидетельствует вещей знак...»).

Оптимистические стихотворения (1. Август в тундре; 2. Деревья Луковня; 3. Киммерия (I—II) // *МК*. 1978. № 38. 14 февраля. С. 4. (Предисловие С.Липкина).

«Луна летела вслед за электричкой...»; Теряевская слобода («В ночи горит решетчатый квадрат...»); «Чайки над озером рыщут...»; Ты далеко... («Ковыльный лоск. Полыни пряность...»); Сад Муштаид («Ну вот и хватит. Пожил для себя...»); Ботанический сад («Как странно мне наследовать чужое...»); Фанагория («Под низким азовским звездинцем...») // *За медицинские кадры*. 1979. № 1. 3 января. С. 4.

Тарусские стихотворения («Листья облетели и прикрыли...», «Когда в душе смятение и мука...», «Мы еще долго будем пахнуть дымом...», «Благоухало лето...»); Из цикла «Негордое время» (I. «Ты ушла в телефонные дали...». II. «Пока мы говорили — рассело...», III. «Вновь на полу рассыпана картошка...») // *За медицинские кадры*. 1979. № 11. 2 мая. С. 4.

Ноябрь («Озябший лес, заиндевелый...»); Февраль («Есть в лесу, как в душе, закоулки...») // *За медицинские кадры*. 1979. № 14. 6 июня. С. 4.

Памяти Цыбулевского (I—II) // *ЛПр*. 1980. № 2. С. 102—103 (в редакторской версии, без согласования с автором).

Маленькая поэма // *За медицинские кадры*. 1980. № 9. 6 марта. С. 4.

Сентябрь («Вот и сентябрь. В проулках тишина...»); Юминское («Сквозь разрывы кувшинок влажных...»); Кубачи («Неоглядные горы уснули...»); «Все, что я в жизни раздобыл...»; Ботанический сад в Тбилиси («Ах, куда же мне деться от запаха пыли...»); «Когда играют “эр” и “эн”, и “эль”...»; «Нет, не жена и не подруга...») // *За автомобильно-дорожные кадры*. 1980. № 22. 3 октября. С. 4.

Тбилисскому фотохудожнику Д. Давыдову; Тарусские стихи // *ЛПр*. 1981. № 8. С. 150—152.

Лошак В. Солнечный листопад. Этюды о Тбилиси // *Вечерняя Одесса*. 1982. № 26. 1 февраля. С. 2, 4.

Линия жизни («Вдоль ладони от запястья...») // *За медицинские кадры*. 1981. № 3. 19 января. С. 4.

Високосные стихи (I. «Доверчив и радостен мой карандаш...»; II. «А может быть поздно и вышел нам срок...») // *За медицинские кадры*. 1981. № 10. 10 апреля. С. 4.

Памирская двойчатка; Древо // Вишневая заря Таджикистана. Стихи русских поэтов. — Душанбе: Ирфон, 1982. С. 191—192. (Помещенное здесь же стихотворение «Древо» П. Нерлеру не принадлежит и опубликовано под его именем ошибочно).

Зедазени в тумане; Памяти Цыбулевского // «Если пелось про это...». Грузия в русской советской поэзии. Тбилиси: Мерани, 1983. С. 239—240.

Сад Муштаид. Ботанический сад в Тбилиси // ЛПр. 1983. № 8. С. 170—171 (Специальный выпуск «Свидетельствует вещей знак...»).

Русский пейзаж. I—III // МК. 1987. № 160. С. 4. [Три части из поэмы «Прощание с псевдонимом»; название «Русский пейзаж» с автором не согласовывалось и принадлежит редакции].

Из книги «Ботанический сад». С предисловием Арс. Тарковского // Альманах «Поэзия». Вып. 27. 1991. С. 158—160.

[«Остров Врангеля» и др. стихотворения] // Порыв. Москва: Сов. писатель. 1991.

[«Над кроватью — клинок без ножен...» и др. стихотворения] // НРС. 1991, 26 ноября. С. 18.

Юминское (1—4). Памяти Арк. Штейнберга // Аркадий Штейнберг. К верховьям: Собрание стихов. О Штейнберге. М.: Совпадение, 1997. С. 588—590.

«Жена стирает форменные брюки...», «Луковня» // НРС. 1999. 9 сент. (с опечаткой: «Нермер» и в связи с объявлением о литературных чтениях с участием И. Машинской и П. Нерлера 16 октября 1999 г. в клубе «Оскар»).

Два имени. Из книги «Ботанический сад» / Предисловие Д. Чконии // Партнер (Дортмунд). 2007. № 2. С. 92—94 (рубрика «Литературный Рейн»).

Архангел Гавриил Златые Власы; «Наши речи прямые, но бракованы мысли до вздоха...»; Фанагория; Караимское кладбище под Бахчисараем; Юминское [Стихи]; Излучение [Очерк] // Alma mater. Литературная студия Игоря Волгина «Луч». Поэты МГУ. М.: Фонд Достоевского; Зебра Е, 2010. С. 154—163.

Памяти И.М. Маергойза. Стихи // Географическое положение и территориальные структуры: памяти И.М. Маергойза. М.: Новый Хронограф, 2012. С. 190.

Понары (по мотивам чужого подстрочника) // Заметки по еврейской истории. 2012. № 8. В сети: <http://litbook.ru/article/1925/>

Вольные стансы [отцу] // Знамя. 2012. № 9. С. 78.

В сети: <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/9/n9.html>

Из Павла Нерлера («Комариные реки», «Кубачи», «Гунибские строфы», «Караимское кладбище под Бахчисараем», «Два имени»,

«Вольные стансы отцу») // [Зайончковская Ж.А.] Павлу Марковичу Поляну — 60 лет // Демоскоп Weekly. 2012. №№ 521—522. 6—15 сентября. В сети: <http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/nauka05.php>

Високосные круги: стихи 2008—2012 гг. // Семь искусств. Электронный журнал. 2013. № 3. В сети: <http://7iskusstv.com/2013/Nomer3/Nerler1.php>

У горшка: homo virtualis // Зарубежные задворки. 2013. 4 февраля. В сети: <http://za-za.net/u-gorshka-homo-virtualis>

Копирайт. Памяти Николая Поболя // Стенгазета. 2013. 20 мая. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=9175>

Копирайт. Памяти Николая Поболя // Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя. М.: ОГИ, 2013. С. 318—319.

Коле — на шестидесятилетие // Там же. С. 322.

Поэтические переводы

Переводы из Райнера Мария Рильке. Из «Часослова» («И час изогнулся, коснулся меня...»; «Как много братьев у меня на юге...»; «Не нам тебя писать по произволу...»; «Я так люблю ту сумрачную пору...»); Из «Книги образов» (Воспоминание; «Чем душу мне сдержать, чтобы она...») // За медицинские кадры. 1978. № 12. 19 апреля. С. 4 (Пер. с немецкого).

Арутюн Овнатан. Родина; «Наши реки быстрее ветра...»; «Моя слеза не бьет из родника...» // Литературная Армения. 1979. № 12. С. 84—86. (Пер. с армянского).

Искандер Идиев. Ключи живой воды... Стихи // Памир. 1979. № 8. С. 54—56. (Пер. с таджикского).

Тамаз Бадзагуа. «От уставших глаз убежишь...» // ЛПр. 1981. № 12. С. 104. (Пер. с грузинского).

«Помоги листу запеть...» и др. переводы // Нодар Нарсия. Помоги листу запеть. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси: Мерани, 1983. С. 36—50.

Зураб Лордкипанидзе. Ночные чернила; Нравы вечности не меняются // ЛПр. 1985. № 12. С. 71. (Пер. с грузинского).

Нодар Джалагония. Размышления о траурных объявлениях; Пароход «Грузия» в Стамбуле; «Где Арагвы, сливаясь, бесятся...» // Нодар Джалагония. Ода современнику. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси: Мерани, 1987. С. 38, 51, 58.

Отар Мампория. «Рано и поздно», «Поезд» и др. переводы // Отар Мампория. Окраина сада. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси: Мерани, 1987. С. 8, 34—40, 62—64.

СТАТЬИ, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И ТЕЗИСЫ

Статьи

Александр Цыбулевский — теоретик перевода // ДН. 1978. № 1. С. 271—274.

Из одного ключа... (Александр Цыбулевский и проблемы художественного перевода) // Мастерство перевода. 1979. Сб.12. М.: Сов. писатель, 1981. С. 246—269.

Краткостища: поэтика и случайность (о кратких формах в японской и русской поэзии) // Вопросы истории литератур Востока. Фольклор, классика, современность. Сб. статей. М.: Наука, 1979. (Часть 1). С. 222—235.

Доподлинность — поэтика Александра Цыбулевского // Дом под чинарами 1982. Тбилиси: Мерани, 1982. С. 268—276.

Осип Мандельштам в «Московском комсомольце» // ЛУ. 1982. № 4. С. 125—130.

«Соп amore!» Памяти Бенедикта Лившица // ЛГр. 1985. № 11. С. 149—155.

Осип Мандельштам — читатель Пушкина // ЛУ. 1987. № 3. С. 141—150.

«Из Крыма пустился в Грузию...» // ЛГр. 1987. № 9. С. 197—203.

Заметки о «Путешествии в Армению» Осипа Мандельштама // Литературная Армения. Ереван, 1987. № 10. С. 69—79.

«Дар тайнослышанья тяжелый ...» // Альманах «Поэзия». 1988. Вып. 50. С. 220—226.

«Новый Гиперборей» // ЛУ. 1988. № 2. С. 125—131.

Последние дни // Наше наследие. 1988. № 6. С. 97—103.

«За гремучую доблесть грядущих веков...» [Предисловие] // Мандельштам О. Избранное. Таллинн: Ээсти раамат. 1989. С. 5—15.

«С гурьбой и гургом...». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама // Минувшее. Париж, 1989. Вып. 9. С. 350—386.

Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918—1919 годах // ВЛ. 1989. № 9. С. 275—279.

Поэт и город [Предисловие] // Мандельштам О. «И ты, Москва, сестра моя, легка...». Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму. Москва, 1990. С. 3—20.

«Мне Тифлис горбатый снится...». О. Мандельштам и Грузия [Послесловие] // Мандельштам О. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси, 1990. С. 376—386.

Заметки о русских переводах 129-го сонета Уильяма Шекспира // Шекспировские чтения 1990. М.: Наука, 1990. С. 216—227.

Павел Калецкий и Осип Мандельштам // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Но-

вые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, Воронеж, 1990. С. 60—71.

«За гремучую доблесть грядущих веков...» [Предисловие] // Мандельштам О. Избранное. М., 1991. С. 5—15.

Републикация (как послесловие, без ведома автора): Мандельштам О. Шум времени: Стихотворения. Проза / Сост. А.И. Кобенков. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1991. С. 268—275.

Валентин Яковлевич Парнах. 100 лет со дня рождения // Памятные книжные даты. 1991. М.: Книга, 1991. С. 143—146.

Николай Александрович Бруни. 100 лет со дня рождения // Памятные книжные даты. 1991. М.: Книга, 1991. С. 130—132.

«С гурьбой и гуртом...» (Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама) // Возвращение. Вып. 1. М.: Сов. писатель, 1991. С. 392—430.

Отголоски шума времени // ВЛ. 1991. № 1. С. 32—67.

«Он ничему не научился...» О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // ЛО. 1991. № 1. С. 91—95.

О Екатерине Константиновне Лившиц [Послесловие к публ. ее воспоминаний об О.Э. Мандельштаме] // ЛО. 1991. № 1. С. 90.

Слово и судьба Осипа Мандельштама // Вечерняя средняя школа. 1991. № 1. С. 38—41.

Поэтическое завещание О. Мандельштама (об одном пушкинском подтексте его воронежских стихов) // Воронежский период в жизни и творчестве О.Э. Мандельштама. Материалы. Воронеж, 1991. С. 43—44.

Прогулки по Марбургу // РМ. 1991. 1 ноября. С. 12.

Отклик: Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. Столетие Пастернака в Марбурге // РМ. Париж, 1992. 20 марта. С. 12.

«С гурьбой и гуртом...» (Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама) // Рубеж. Тихоокеанский альманах. Москва — Владивосток, 1992. № 1. С. 226—249.

Кенотаф. Посмертная судьба Осипа Мандельштама (1) // РМ. 1992. 28 августа. С. 11.

Кенотаф. Посмертная судьба Осипа Мандельштама (2) // РМ. 1992. 4 сентября. С. 11.

Mandelstam und Heidelberg [Мандельштам в Гейдельберге] // Russica Palatina. Skripten der Russischen Abteilung des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg. Nr. 21: Mandel'stam und sein Heidelberger Umfeld. Heidelberg, 1992. S.3—69.

Mandelstam und Deutschland [Мандельштам и Германия] // P.M. Nerler, A.E. Rudnik, O.L. Salijewa, M.W. Sokolowa. Ossip Mandelstam. 1891—1938. "Ich muß nun leben, war schon zweifach tot" / Katalog zur Ausstellung. Berlin — Freiburg i.Br. — Heidelberg. — Frankfurt a.M. —

Leipzig. 1993—1994 / Перевод на немецкий: G. Leupold. Leipzig, 1993. S. 122—139.

О композиционных принципах позднего Мандельштама. (К постановке проблемы.) // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума [Лондон, 1991]. Тенафли — Нью-Йорк: Эрмитаж, 1994. С. 326—341.

En Masse: A Chronicle of the Last Days of Osip Emilevich Mandelstam [«С гурьбой и гуртом...»: хроника последних дней Осипа Мандельштама] / Пер. на английский: Linda Tapp // Manoa. A Pacific Journal of International Writing. Vol. 6. No 2. Winter 1994. P. 182—205.

«К немецкой речи»: попытка анализа // «Отдай меня, Воронеж...». Третьи Международные Мандельштамовские чтения: Сборник статей. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1995. С. 177—192.

Ossip Mandelstam (1891—1938) // Berlin — Moskau 1900—1950 [Anlässlich der Ausstellung «Berlin — Moskau / Moskau — Berlin 1900—1950»]. München; New York: Prestel, 1995. S. 326—328 (на нем. языке).

«Ein Herd politischer Agitation»? Die Russische Akademische Lesehalle an der Großherzoglichen Badischen Universität Freiburg [«Очаг политической агитации?» Русская академическая читальня во Фрайбургском университете Великого Герцогства Баденского] // Expressum. Information aus dem Freiburger Bibliotheksystem. Hrsg. von der Universitätsbibliothek Freiburg i.Br. 1995, Nr. 11. S. 14 — 17 (Совм. с F.-J. Leithold).

Осип Мандельштам (1891—1938). Москва — Берлин. 1900—1950. Каталог выставки. Мюнхен — М.: Prestel; Галарт, 1996. С. 326—328.

Евреи — студенты из России в Германии в начале XX века: Эпизод с созданием русской читальни во Фрайбурге // Вестник Еврейского университета. 1996. № 2. С. 194—211.

Следственное дело № 4788 (1937—1939) // Аркадий Штейнберг. К верховьям: Собрание стихов. О Штейнберге. М.: Совпадение, 1997. С. 326—349.

«И блаженных жен родные руки...». Памяти вдов поэтов // RL. 1997. August, Vol. XLII. P. 183—192.

Мандельштам и Германия // Гамбургская мозаика. Вып. 1. Гамбург, 1997. С. 5—13.

«Читатель, я тебе завидую...» [Предисловие к кн.: *Видгоф Л.* Москва Мандельштама. Книга-экскурсия]. М.: Корона-принт, 1998. С. 4—5. Акимыч // РМ. 1998. 4—10 июня. С. 13.

«Блюмки в топках». Заметки о единстве русского языка и писательства // РМ. 1998. 16—22 июля. С. 14—15.

Мандельштамовский эшелон // МН. 1998. 13—20 сентября. С. 23.

«Поезд шел на Урал...» // РМ. 1998. 12—18 ноября. С. 15. (Совм. с Н. Поболем).

Die Poesie ist ein Pflug. Neues aus russischen Archiven: Ossip Mandelstams letzte Reise [«Поэзия — плуг». Новое из русских архивов: по-

следнее путешествие Осипа Мандельштама] // *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 1998. 24 Dezember. S. 34.

Парижский семестр Осипа Мандельштама // *Osip Mandelstam und Europa*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1999. S. 257—279.

Ossip Mandelstam in Schülerhand [Осип Мандельштам в стране двоечников] // *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 1999. 3 Juli. S. 47.

Принстонский архив Осипа Мандельштама (1) // *PM*. 1999. 7—13 октября. С. 12.

Принстонский архив Осипа Мандельштама (2) // *PM*. 1999. 14—20 октября. С. 12.

Принстонский архив Осипа Мандельштама (3) // *PM*. 1999. 21—27 октября. С. 13.

Русские литературные сайты в Интернете и цифровой проект «Воссоединенный архив Осипа Мандельштама» // *PM*. 2000. 18—24 мая. С. 15. (Совм. с Н. Шапиро).

Летописец (К 100-летию Павла Николаевича Лукницкого) // *Русская литература*. 2000. № 4. С. 183—186 (Совм. с П. Поляном).

Материалы об О.Э. Мандельштаме в американских архивах // *Россия в США. 50-летию Бахметьевского архива Колумбийского университета посвящается / Материалы к истории русской политической эмиграции*. Вып. VII. М., 2001. С. 90—123.

Документы об О.Э. Мандельштаме в российских и зарубежных архивах // *Зарубежная архивная Россия. Итоги и перспективы выявления и возвращения / Материалы Международной научно-практической конференции*, 16—17 ноября 2000 г. Москва. М., 2001. С. 109—114.

Дело Мандельштама // *Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама (Москва, 28—29 декабря 1998 г.)*. М.: РГГУ, 2001. С. 162—173. (Совм. с Н.Л. Поболем). (Записки МО. Т. 11).

В походе за шумом времени [Предисловие] // *Горнунг Б. Поход времени: стихи и переводы; статьи и эссе*. Кн. 1. М.: РГГУ, 2001. С. 7—10.

Председатель Мандельштамовской комиссии // *Роберт Рождественский: удостоверение личности*. М., 2002. С. 407—414.

[О переводах Р.М. Рильке] / *Лысенкова Е.Л. За строкой информации (переводчики Р.М. Рильке о своем труде)*. Магадан: Кордис, 2002. С. 58—60 (Тираж: 100 экз.).

«Поэзия — плуг, взрывающий время...». К 65-летию гибели Осипа Мандельштама // *ЕГ*. 2003. Декабрь. С. 26.

«Поэзия — плуг, взрывающий время...». К 65-летию гибели Осипа Мандельштама // *Заметки по еврейской истории [Интернет-журнал]*. 2003. № 36. В сети: <http://berkovich-zametki.com/Nomer36/Nerler1.htm>

«Con amore!» Памяти Бенедикта Лившица [Републикация] // *Грузино-российские научно-культурные связи в истории Санкт-Петербурга*. СПб.: Логос, 2003. С. 432—436.

«Я метался в поисках родины...» / Вступит. заметка к публикации фрагментов из воспоминаний В. Парнаха «Пансион Мобер» // ЕГ. 2003. Январь. С. 30.

Иосиф Бродский на «Воздушных путях» (к истории первых публикаций поэта на Западе) // Лотмановский сборник. Вып. 3 / Редакторы Л.Н. Киселева, Р.Г. Лейбов, Т.Н. Фрайман. М.: ОГИ, 2004. С. 520—524 (Под неверным в данном случае именем «Павел Полян», присвоенном материалу редакции).

Гете и Мандельштам (Заметки к теме) // Гете в русской культуре XX века. М.: Наука, 2004. С. 264—271.

В.Я. Парнах. Пансион Мобер. Воспоминания [Вступительная статья] // Диаспора. Новые материалы. Т. 7. Париж — Санкт-Петербург: Atheneum — Феникс, 2005. С. 7—16.

Мандельштам и Италия // Международный журнал «Lettre Internationale / Всемирное слово» [Спецвыпуск «Россия и Италия»]. СПб., 2005. № 17/18. С. 37—40.

Mandelštam e l'Italia // Lettre Internationale / Всемирное слово. [Italia — Russia. Presenazione sintetica del numero speciale della rivista Lettre Internationale dedicato all'Italia]. 2005. No 17/18. P. 15—16.

Мандельштамиана в архивах Москвы и Санкт-Петербурга // Отечественные архивы. 2005. № 3. С. 115—117 (Совм. с З.К. Водопьяновой).

«Слава была в ц.к., слава была в б.о.»! // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 461—471.

Републикация на сайте: Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 года (в сети: <http://socialist.memo.ru/firstpub/y04/stanford.htm>)

Элегии осени [Предисловие к кн.: Инна Ряховская. Свет осенний. Избранные стихи (1966—2006)]. М., 2006. С. 5—10.

Дело Мандельштама // Инновационные библиотечные технологии для образования, науки и культуры. Мандельштамовские чтения. Материалы объединенной научно-практической конференции. 18—22 сентября 2006 г. Владивосток: Изд-во Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2006. С. 91—103 (соавторство Н. Поболя указано в тексте ошибочно).

«Поезд шел на Урал...» // Инновационные библиотечные технологии для образования, науки и культуры. Мандельштамовские чтения. Материалы объединенной научно-практической конференции. 18—22 сентября 2006 г. Владивосток: Изд-во ВГУЭСС, 2006. С. 103—107 (Совм. с Н. Поболем).

Поэт и город. Об увековечении памяти поэта Осипа Мандельштама в Москве // Культура. 2006. 7—13.12. 2006. 7 — 13 декабря. С. 5.

«Пусть и мой голос — голос старого друга — прозвучит сегодня около Вас...». Письма Анны Ахматовой Надежде Мандельштам //

Wort — Geist — Kultur. Gedenkschrift für Sergey Averincev / Hrsg. von J. Besters-Dilger, H. Miklas, G. Neweklowsky u. F. Poljakov. Wien, 2007. С. 415—428. (Сер.: Русская культура в Европе. Т. 2).

Поэт и город. Об увековечении в Москве памяти поэта Осипа Мандельштама // ЕГ. 2007. Январь. С. 25.

Поэт и город. Об увековечении в Москве памяти поэта Осипа Мандельштама // Полит.ру. 2007. 12 января. В сети: <http://www.polit.ru/dossie/2007/01/12/mandelshtam.html>

Воронежская Беатриче // Воронежский курьер. 2007. 12 мая. С. 7.

На пути к Мандельштамовской энциклопедии // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. М., 2007. С. 9—12.

Kraft für das Leben und den Tod. Varlam Šalamov und die Mandelštams [Сила для жизни и смерти. Варлам Шаламов и Мандельштамы] // Das Lager schreiben. Varlam Šalamov und die Erarbeitung des Gulag. Ost-Europa. 2007. Nr. 6. S. 229—238.

От зимы к весне: на полях переписки Надежды Мандельштам и Варлама Шаламова: «Шерри-бренди» и «Сентенция» как цикл // Полит.ру. 2007. 22 июня. В сети: <http://www.polit.ru/analytics/2007/06/22/mandelshtam.html>

«Не кладбище стихов, а кладезь животворный». Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам // ЕГ. 2007. Август. С. 26—27.

В поисках концепции: книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками // Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. М.: Новое издательство, 2007. С. 7—108.

От составителя // Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. М.: Новое издательство, 2007. С. 109—113.

В поисках концепции: книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками // Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. Изд-е 2-е, исправл. М.: Три квадрата, 2008. С. 7—103.

Благодаря Мандельштаму мы узнали количество репрессированных // НГ. 2008. 22—25 мая. С. 14 (Совм. с Н. Поболем).

Нереабилитированный Мандельштам // НГ. 2008. 5—8 мая. Вкладка «Правда ГУЛАГа»: С. 1, 4—6.

«Публикация чудесная. Опечатки есть». Н. Штемпель и А. Немировский в работе над публикацией «Воронежских стихов» Осипа Мандельштама в журнале «Подъем» в 1966 году // Воронежский курьер. 2008. 28 июня. С. 5.

Окольцованный Мандельштам // Воронежский курьер. 2008. № 99. 2 сент. С. 3—4.

Воронежская Беатриче // «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н.Е. Штемпель. Воронеж, 2008. С. 12—19.

Мандельштамовский эшелон. К 70-летию гибели поэта // Рубеж (М. — Владивосток). 2008. № 8. С. 249—267 (Совм. с Н. Поболем).

От замысла и словника — до алфавитного корпуса: из статей, написанных для Мандельштамовской энциклопедии / Мандельштамовская энциклопедия // ВЛ. 2008. № 6. С. 190—200.

Слово и «Дело» Мандельштама. К 70-летию со дня гибели великого поэта // НГ. 2008. 25 декабря. С. 22.

Exegi monumentum. Размышления у памятника Мандельштаму // Еврейское слово. Москва. 2008—2009. 30 дек. — 12 янв. С. 10—11.

«Рассадники политической агитации...»: к истории русских академических читален в Гейдельберге и Фрайбурге // Русские евреи в Германии и Австрии. Иерусалим 2008. С. 59—87.

[Осип Мандельштам] // Осип Мандельштам. 1891—1938. Мандельштамовский календарь на 2009 год. М.: Петровский парк, 2008. С. 14.

Окольцованный Мандельштам // Октябрь. 2009. № 6. С. 168—179.

Уральские волны: три встречи с поэтом // Чердынский вестник. 2009. 30 июня. С. 3—4.

«Вот у меня в руках журнал “Простор”...». Эпизод из истории посмертной публикации стихов Мандельштама на родине // Тыняновский сборник. Вып. 13: XII — XIII—XIV Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: Водолей, 2009. С. 523—534.

Уральские волны: три встречи с поэтом // Осип Мандельштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы. М.: Петровский парк, 2009. С. 5—18.

Сталинская премия за 1934 год. Глава из книги Павла Нерлера «Слово и “Дело” Осипа Мандельштама» // Полит.ру. 2009. 15 января. В сети: <http://www.polit.ru/research/2009/01/15/nerler.html>

«Общественный ремонт здоровья», или Отдых в западне. Следственное дело 1938 года / Главы из книги «Слово и дело» Осипа Мандельштама // Звезда. 2009. № 1. С. 136—153.

Премия: Из книги «Слово и “Дело” Осипа Мандельштама» // ЕГ. 2009. Март. С. 22.

Дорога в Чердынь // Шпиль. Пермь. 2009. № 40. С. 66—67.

«Сарафанная почта»: вести и слухи о смерти Осипа Мандельштама // Пермьяковский сборник. М.: Новое издательство, 2009. Ч. 2. С. 548—560.

Ossip Mandelstan a Paris [Осип Мандельштам в Париже] // Ossip Mandelstan / Осип Мандельштам. Europe. Revue littéraire mensuelle. Paris, Juin?-Juillet 2009. P.25—50.

Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама // НМ. 2009. № 10. С. 142—172.

Чердынская ссылка Осипа Мандельштама: источники и наброски к теме // Миры Осипа Мандельштама VI [фактически: IV] Мандель-

штамовские чтения» / Мат-лы междунар. научн. семинара, 31 мая — 4 июня 2009. Пермь — Чердынь. Пермь: Пермский гос. пед. ун-т, 2009 [2010]. С. 20—39.

Осип Мандельштам в «Товарище Терентии» // Миры Осипа Мандельштама VI [фактически: IV] Мандельштамовские чтения» / Мат-лы междунар. научн. семинара, 31 мая — 4 июня 2009. Пермь — Чердынь. Пермь: Пермский гос. пед. ун-т, 2009 [2010] С. 57—62 (Совм. с Н. Поболем).

[Память о поэте] // Память о поэте. Мандельштамовский календарь на 2010 год. М.: Петровский парк, 2009. С. 14.

Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Поэт и стихи сквозь призму карательных органов // НГ. 2010. Вкладка «Правда ГУЛАГа». С. 3—6.

В сети: <http://www.novayagazeta.ru/data/2010/gulag06/01.html>

Мандельштам и Америка // НЖ. Кн. 258. Март 2010. С. 99—113 (под объединяющей шапкой — здесь ошибочной: «Мандельштам и “Борисоглебский союз”»).

В сети: <http://magazines.russ.ru/nj/2010/258/ne12.html>

К истории издания первого Собрания сочинений О.Э. Мандельштама [Предисловие к публикации] // НЖ. Кн. 258. Март 2010. С. 113—119 (под шапкой: «Мандельштам и “Борисоглебский союз”»).

В сети: <http://magazines.russ.ru/nj/2010/258/ne12.html>

[Книги поэта] // Книги поэта. Мандельштамовский календарь на 2011 год. М.: Петровский парк, 2010. С. 14.

Памятники // Памятник любви. Осип и Надежда Мандельштам. По случаю открытия монумента «Памятник любви». Ханнеке де Мюнк, Хачатур Белый. [Буклет]. СПб. — Амстердам, 2010. С. 6—7.

«Единственно поэзията е безспорна!..». Книга на Надежда Мандельщам «За Ахматова» на фона на кореспонденцията и със съвременниците // Надежда Мандельщам. За Ахматова / Пер. на болг. яз.: Белла Цонева-Динкова. София: Рива, 2011. С. 5—57 (болг. яз.).

Гений жизнетворчества: Ольга Ваксель в сборке своих воспоминаний и стихов // От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М.: НЛО, 2011. С. 284—302.

В сети: http://www.tvkultura.ru/video.html?id=230226&doc_type=TVP&doc_id=103135

Mandelstam und Amerika [Мандельштам и Америка] // Abschied von Europa: jüdisches Schreiben zwischen 1930 und 1950 / Сост.: A. Bodenheimer, B. Breysach при участии S. Jaworski. München: Edition Text+Kritik, 2011. S.86—104.

От зимы к весне: рассказы В.Т. Шаламова «Шерри-бренди» и «Сентенция» как цикл (на полях переписки Н.Я. Мандельштам и В.Т. Шаламова) // Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 173—182.

Мандельштамиада Сергея Аверинцева // Аверинцев и Мандельштам..., 2011. С. 11—16.

Мифы и загадки мандельштамовского Воронежа // СМР. Вып. 5/1. 2011. С. 65—74.

К истории «нелепой поездки» Осипа Мандельштама в Варшаву в декабре 1914 года (обзор версий и предположений) // VI Мандельштамовские чтения. 18—23 сентября 2011. Варшава, 2011. С. 18—29 (Совм. с В. Дранициным).

От зимы к весне: рассказы В.Т. Шаламова «Шерри-бренди» и «Сентенция» как цикл. На полях переписки Н.Я. Мандельштам и В.Т. Шаламова // Россия и Запад. Сборник статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М.: НЛО, 2011. С. 321—331.

Сосед Мандельштама по нарам. Юрий Моисеенко — о поэте: «Умер от сыпняка», о себе: «Я воюю правду...» // НГ. 2011. 28 ноября. С. 6—7 (Совм. с Н. Поболем).

«Публикация чудесная...» (к истории публикации «Воронежских стихов» О. Мандельштама в журнале «Подъем» в 1965—1966 году) // Университетская площадь. 2011. № 4. С. 50—58.

О Сулеймане Стальском и проблеме утраченных оригиналов. Из протокола Заседания Бюро национальной комиссии ССП СССР от 8.1.1939 г. с участием С.И. Липкина // ЛУ. 2011. № 2. С. 57—71 (Совм. с Н. Поболем).

[Друзья поэта] // Друзья поэта. Мандельштамовский календарь на 2012 год. М.: Петровский парк, 2011. С. 14.

(Послел.) Nadeschda Mandelstam: Erinnerungen an Anna Achmatowa Berlin: Bibliothek Suhrkamp, 2011. S. 188-198.

Лютик из заресничной страны // Семь искусств. Интернет-журнал. 2011. № 21. В сети: <http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=21>

Лютик из заресничной страны // «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» Стихи и воспоминания Ольги Ваксель. М.: РГГУ, 2012. С. 10—42.

На воздушных путях: по ту сторону тамиздата // TSQ. No 40. Spring 2012. С. 57—77. В сети: http://www.utoronto.ca/tsq/40/tsq40_nerler.pdf

Мандельштам и Америка // Вестник Института Кеннана в России. Весна 2012. № 21. С. 91—101. Подписано: Павел Нерлер (Полян).

Осип Мандельштам в Новом Свете: издатели и исследователи поэта и хранители его архива в США // Русская эмиграция на перекрестках XX—XXI веков. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию «Нового журнала» / Ред.: М. Адамович, Н. Ермолаева и Т. Смородинская. Нью-Йорк: The New Review Publishing, 2012. С. 35—45.

Рец.: Давыдов Д. Заокеанский взгляд // КО. 2012, 14—26 августа. С. 11.

«Воздушные пути» и Манделъштам // НЖ. 2012. Кн. 267. С. 335—355.

«Воздушные пути» и Осип Манделъштам // Russian Emigration in the USA. The New York Publishing. New York, 2012. С. 114—116.

Vozdushnye puti and O. Mandelshtam [«Воздушные пути» и Осип Манделъштам] // Russian Emigration in the USA. The New York Publishing. New York, 2012. С. 117—119.

Иосиф Бродский на «Воздушных путях» (к истории первых публикаций поэта на Западе) // Время и место (Нью-Йорк). 2012. Вып. 3(23). С. 194—199.

[Города поэта] // Города поэта. Манделъштамовский календарь на 2013 год. М.: Петровский парк, 2012. С. 14 (Соавторство с С. Василенко указано ошибочно).

Нацпроект «История» // Собеседник на пиру, 2013. С. 414—416. (Совм. с Н. Поболем).

Сосед Манделъштама по нарам... Юрий Моисеенко — о поэте: «умер от сыпняка», о себе: «Я воюю правду...» // Там же. С. 430—441. (Совм. с Н. Поболем).

Гомер XX века и его переводчики // Там же. С. 444—463. (Совм. с Н. Поболем).

«Шум стихотворства и колокол братства» // Пантеон поэта. Манделъштамовский календарь на 2014 год. М.: Петровский парк, 2013. С. 14.

Цинберг, Александров и Герчиков... Еврейский след в истории последних дней Манделъштама. К 75-летию со дня гибели поэта // Заметки по еврейской истории. 2013. № 11—12. В сети: http://www.berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer11_12/Nerler1.php

Манделъштам в Гейдельберге. К 75-летию О.Э. Манделъштама // Партнер. 2013. № 12. С. 98—99.

Смерть Манделъштама. Век Манделъштама // Манделъштамовские дни в Москве. К 75-летию со дня гибели поэта (25/12/13— 27/01/14). [Буклет]. М., 2013. С. 13—18.

Осип Манделъштам и его попутчики // Букники. Сайт. 2013. 27 декабря. В сети: <http://booknik.ru/context/all/osip-mandelshtam-i-ego-porutchiki/>

Первый манделъштамовский вечер // Российский еврейский конгресс. Сайт. 2013. 27 декабря. В сети: <http://help.rjc.ru/site.aspx?SECTIONID=345556&IID=2522507>

Смерть поэта. К 75-летию со дня гибели Осипа Манделъштама // ЕГ. 2013. Декабрь. С.18.

(Послел.) Les triangle. Ossip Mandelstam, Anna Akhmatova, Nadejda Mandelstam: histoire du manuscrit // Nadejda Mandelstam. Sur Anna Akhmatova. Paris: Le Bruit du temp, 2013. P. 185—193.

Статьи для энциклопедий

«Айя-София» // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники... С. 172—174. (Совм. с М.Л. Гаспаровым).

Библиотека Мандельштамовского общества // Там же. С. 257—261.

Гейдельберг // Там же. С. 163—165.

Иваск Юрий Павлович // Там же. С. 76—79. (Совм. с Н.А. Богомоловым).

Интернет // Там же. С. 219—221. (Совм. с А. Никитиным-Перенским).

Литературный музей // Там же. С. 288—292. (Совм. с Л. Алексеевой и С. Шумихиным).

Материалы О.Э. Мандельштама из коллекции Государственного литературного музея // Там же. С. 292—301. (Совм. с Л. Алексеевой, А. Бобосовой, Е. Варенцовой, М. Соколовой, Л. Брусиловской и И. Делекторской).

Принстонский университет // Там же. С. 286—288.

«Петербургские строфы» // Там же. С. 178—180. (Совм. с М.Л. Гаспаровым).

«Notre Dame» // Там же. С. 175—178. (Совм. с М.Л. Гаспаровым).

«Ариост» // ВЛ. 2008. № 6. С. 201—204 (Совм. с С.В. Василенко и М.Л. Гаспаровым).

Мандельштам Надежда Яковлевна // Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Кн. 2. М.: Московские энциклопедии, 2008. С. 540—541.

Мандельштам Осип Эмильевич // Московская энциклопедия. Там же. С. 541—542.

Несохранившиеся произведения О.Э. Мандельштама // ВЛ. 2008. № 6. С. 233—235.

Самиздат // ВЛ. 2008. № 6. С. 235—243. (Совм. с Д. Зубаревым, Г. Кузовкиным и Г. Суперфином).

Собрание Н.И. Харджиева (Амстердам и Москва) // ВЛ. 2008. № 6. С. 243—245.

Сопроводительные заметки

[Вступит. заметка] «Слово в движении и движение в слове». Письма Бенедикта Лившица / Публ. П. Нерлера и А. Парниса // Минувшее. Париж, 1989. Вып. 9. С. 177—181 (Совм. с А. Парнисом).

Смольевский А.А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама; Н. Готхарт. Об Ольге Ваксель / Послесл. П. Нерлера // ЛУ. 1991. № 1. С. 170.

От издателей // Сопровский А. Правота поэта. М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1997. С. 230.

От составителей // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама (Москва, 28—29 декабря 1998 г.). М., 2001. С. 13—14. (Совм. с М.З. Воробьевой, И.Б. Делекторской, М.В. Соколовой и Ю.Л. Фрейдиным).

От составителя // Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. М.: Три квадрата, 2008. С. 104—108.

[Вступит. заметка] Гаспаров М.Л. Рецензия на студенческий разбор одного стихотворения О.Э. Мандельштама. Публ. П. Заславского // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 34—41.

[Вступит. заметка] Неизвестная внутренняя рецензия О.Э. Мандельштама / Публ. Н. Леонтьева // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 50—52.

[Вступит. заметка] Рюрик Ивнев. С Осипом Мандельштамом на Украине / Публ. Н. Леонтьева // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 120—132.

[Вступит. заметка] Осип Мандельштам в Калининне // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 165—166.

[Вступит. заметка] Три стихотворения Николая Кишилова об Осипе Мандельштаме. Публ. А.и П. Кишиловых // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 732—737.

От составителей // «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н.Е. Штемпель. Воронеж, 2008. С. 12—19. (Совм. с Н. Гординой).

От составителей // Семен Липкин. «Угль, пылающий огнем...» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. М.: РГГУ, 2008. С. 9—10 (Совм. с Н. Поболем и Д. Полищуком).

От составителей // [Осип Мандельштам = Ossip Mandelstam] «Жизнь упала, как зарница...» = «Ferner Blitz — das Leben fiel...» [Избранные стихи О.М. на русском языке с параллельным переводом на нем. язык]. М.: Вагриус, 2008. С. 5—7 (Совм. с А.О. Филипповым).

От составителя // Осип Мандельштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы / Сост.: П. Нерлер. М.: Петровский парк, 2009. С. 3.

Об этой книге // СМР. Вып. 5/1. 2011. С. 7—15 (Совм. с А. Еськовой, О. Лекмановым и С. Шиндиным).

(Сопроводит. заметка) Скоморовский Р. «Пусть каждый день горяч и озабочен...» // СМР—5. 2011. С. 610 (Совм. с О. Лекмановым).

От составителей // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011. С. 9—10 (Совм. с Д. Мамедовой).

Тезисы

Мандельштам о Чехове: притяжения и отталкивания (анализ вызываний) // Anton P. Cechov — Religiose und Ohilosophosche Dimensionen im Leben und im Werk. Zweites Internationales Symposium. Zusammensetzungen und Thesen der Referate. Badenweiler, 20—24. Oktober 1994. S. 39—40.

«К немецкой речи». Попытка анализа // Мандельштамовские дни в Воронеже. Материалы. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1994. С. 65—68.

Reunited Digital Archive of Ossip Mandelstam: Development of hypertexts, comments to the texts, research literature and graphic images of texts manuscripts [Воссоединенный цифровой архив Осипа Мандельштама: развитие гипертекста, комментарии к тексту, исследовательской литературы и графических образов рукописей] // Elektronische Bildverarbeitung und Kunst, Kultur, Historie. Konferenzband EVA 2004 Berlin. 10. 12. November 2004. Die 11. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie «Electronic Imagings and the Visual Arts». Berlin: Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., Staatliche Museen in Berlin, EVA Conferences International, 2004. S. 92—94 (?Совм. с: J. Baines, A. Kozmin and V. Litvinov).

Ossip Mandelstam and the present: citations and paraphrases from his poetry in mass-media texts (the Integrum's investigation approach) [Осип Мандельштам и современность: цитаты и парафразы из его поэзии в текстах масс-медиа (с использованием Интегрума)] // ICCEES Regional European Congress. Berlin, August 2—4, 2007. Programme / Abstracts. Berlin, 2007. P. 192 (на англ. яз.).

ВОСПОМИНАНИЯ. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Из записных книжек // Аркадий Штейнберг. К верховьям: Собрание стихов. О Штейнберге. М.: Совпадение, 1997. С. 443—449.

Излучение (препринт): Стенгазета. 2009. 9—11 ноября (в трех частях): Часть 1. Оказалось, что эта бригада — сразу и навсегда (В сети: <http://stengazeta.net/article.html?article=6653>) Часть 2. «Луч» был местом, где поэтические кирпичи проходили свой первый обжиг (В сети: <http://stengazeta.net/article.html?article=6657>) Часть 3. В реторте волгинского «Луча» зародилась и выкристаллизовалась группа «Московское время» (В сети: <http://stengazeta.net/article.html?article=6660>).

[Лирическое предисловие к электронной публикации «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама (М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993—1997). В сети (версия 1.2. от 26 января 1910 г.: http://rvb.ru/mandelstam/preamble_sobr_soch.htm

[Воспоминания о Сергее Аверинцеве] // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011 С. 176—178.

Об Александре Морозове. Из старых дневников // СМР—5. 2011. С. 50—55.

Минутный разговор со смертью: вспоминая Григория Померанца // Лехаим. 2013. № 5. С. 55—57.

В сети: <http://www.lechaim.ru/ARNIV/253/nerler.htm>

Герой своего времени? (I. Человек из другого мира и теста; II. Жил певчий дрозд, или Take five; III. Из переписки) // Собеседник на пиру, 2013. С. 209—240. (Совм. с П. Поляном).

«Золотой песок бестолковой жизни...». 21 октября Александру Сопровскому исполнилось бы 60 лет... // Стенгазета. 2013. 22 октября. В сети: <http://stengazeta.net/article.html?article=9317>

РЕЦЕНЗИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Рецензии

Страницы жизни [Рец. на кн.: Липкин С. Тетрадь бытия. Стихи и переводы. Душанбе: Ирфон, 1977] // Памир. 1977. № 12. С. 84—88.

Четырнадцать этюдов [Рец. на кн.: Огнев В. Грузинские этюды. Тбилиси, 1977] // ЛПр. 1978. № 2. С. 175—183.

Про счастье и про боль свою [Рец. на кн.: Миллер Л. Безымянный день. М.: Сов. писатель, 1977] // МК. 1978. № 70. 24 марта. С. 4. (Под псевдонимом: П. Ян).

Александр Цыбулевский, теоретик перевода. [Рец. на кн.: А. Цыбулевский. Русские переводы поэм Важа Пшавела (Проблемы, практика, перспективы). Тбилиси: Мецниереба, 1974 и др. работы] // ДН. 1979. № 1. С. 271—274.

Антология дружбы. [Рец. на кн.: «Если пелось про это...». Грузия в русской советской поэзии. Тбилиси: Мерани, 1977] // Юность. 1979. № 5. С. 83.

Переводчики о переводе [Рец. на кн.: Поэзию в язык из языка. Сб. Сост. Л. Мкртчян. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1978] // ДН. 1979. № 11. С. 257—258.

Эпическая прививка (о стихах Михаила Синельникова) // ЛПр. 1979. № 11. С. 97—103.

Высокая нога [Рец. на книги А. Тарковского «Зимний день» и «Волшебные горы»] // Юность. 1980. № 9. С. 94—95.

Третий Блоковский сборник [Рец. на кн.: Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник. III / Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 459. Тарту, 1979] // ВЛ. 1980. № 9. С. 298—304.

«Любимая моя, не стань вдовою...» [О стихах П. Вегина] // Альманах «Поэзия». 1980. Вып. 27. С. 133—135.

О совести, или О неправоте правых. [Рец. на роман Э. Фейгина «Синее на желтом»] // ЛГр. 1981. № 1. С. 183—186.

Рец. на кн.: Галактион Табидзе. Стихи. Вольный перевод с грузинского Владимира Леоновича. Тбилиси: Мерани, 1979 // Звезда. 1981. № 2. С. 219.

Важа Пшавела и русская литература [Рец. на кн.: Богомолов И. Важа Пшавела и русская действительность. Тбилиси: Мерани, 1980] // ВЛ. 1981. № 4. С. 268—274.

«Пишу с природы...» [Рец. на кн.: Ван Вэй. Стихотворения. Стихотворные переложения Аркадия Штейнберга. М.: Художественная литература, 1979] // ЛО. 1981. № 5. С. 71—73.

И неперебиваемое переводимо! [Рец. на кн.: Влахов С., Флорин С. Неперебиваемое в переводе. М., 1990] // ДН. 1981. № 11. С. 261—262.

«Хочется раздеться до трусов...» [Рец. на кн.: Вл. Салимон. Городок. М.: Молодая Гвардия, 1981] // ЛГ. 1981. 19 августа. С. 6.

«Я Тбилиси люблю...» [Рец. на кн.: И. Гришавили. Стихи разных лет. Тбилиси: Мерани, 1980] // ДН. 1982. № 4. С. 259—260.

Свидание с великим городом [Рец. на кн.: Свидание с Тбилиси. Антология / Сост. Г. Маргвелашвили. Тбилиси: Мерани, 1982] // ЛГр. 1983. № 2. С. 135—144.

«Наше главное творение — мы сами!» [Рец. на кн.: Волошинские чтения / Сост. В.П. Купченко. М., 1981] // ВЛ. 1983. № 11. С. 220—224.

«Небо начинается с земли» [Рец. на кн.: Вл. Полетаев. Небо возвращается к земле. Стихи, переводы, очерки, заметки, письма). Тбилиси: Мерани, 1983] // ДН. 1985. № 2. С. 257—260.

Рец. на кн.: Виктор Мануйлов. Стихи разных лет. 1921 — 1963. Л., 1984 // ЛО. 1985. № 9. С. 76—77.

Фольклор полевых дворян [Рец. на кн.: Сказки и песни, рожденные в дороге. Цыганский фольклор. М.: Наука, 1985] // НМ. 1986. № 9. С. 261—263.

Скрепки памяти [Рец. на кн.: К. Ваншенкин. Воспоминания, заметки, записи. М.: Сов. писатель, 1985] // ВЛ. 1986. № 7. С. 227—232.

Рильке и Россия [Рец. на кн.: Rilke und Rußland. Briefe. Erinnerungen. Gedichte. Weimar: Aufbau-Verlag, 1986] // ВЛ. 1987. № 8. С. 257—261.

«Я прожил столько жизней...». [Рец. на кн.: О. Чиладзе. Стихи и поэмы. Тбилиси: Мерани, 1983; Стихотворения / Пер. с груз. Н. Соколовской; Аврора. 1986. № 10] // ЛО. 1987. № 7. С. 59—61.

Фантастическая явь [Рец. на кн.: Л. Чуковская. Софья Петровна. Нева, 1988, № 2] // Октябрь. 1988. № 3. С. 202—204.

Собиратель пространства [Рец. на кн.: Андрей Белый. Армения (Очерк, письма). Ереван: Советакан грох, 1985] // Москва. 1988. № 3. С. 200—202.

История и лира [Рец. на кн.: Липкин С. Декада. Летописная повесть // ДН. 1988. № 5—6] // Знамя. 1990. № 7. С. 219—221.

Русские голоса из Гейдельберга [Рец. на кн.: Russische Stimmen aus Heidelberg. Hrsg. W. Birkenmajer. Heidelberg, 1991 (Russica Palatina. Skripten der Russischen Abteilung des Instituts fuer Uebersetzen und Dolmetschen der Universitaet Heidelberg. Nr. 19) // РМ. 1992. 28 июня. С. 12.

«Мой Мандельштам» Станислава Рассадина // Знамя. 1995. № 6. С. 204—206.

«Свое восстание» Леонида Снитко [Рец. на кн.: Ситко Леонид. Тяжесть света. М.: Агентство перспективного сотрудничества, 1996. 96 с.] // Знамя. 1997. № 9. С. 221—223.

Переписка Мандельштама — по-французски // РМ. 2000. 28 сентября — 4 октября 2000. С. 14.

Рец. на кн.: Аполлон Давидсон. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. Смоленск: Русич, 2002. 414 с. // ВЛ. 2003. № 5. С. 350—351 (Совм. с Н. Поболем).

(Републ.) Книга-бумеранг: биография Николая Гумилева [Рец. на кн.: Аполлон Давидсон. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. Смоленск: Русич, 2002. 414 с.] // Собеседник на пиру, 2013. С. 503—507 (Совм. с Н. Поболем).

Круглые столы

На подъеме — критика // Литературная Россия. 1981. 14 августа. С. 8. [В подборке «Круг мнений. Слово — молодым критикам»]

Отражения истины. Молодые критики обсуждают повесть А. Ки-ма «Лотос» // ЛО. 1982. № 3. С. 40—44.

Странствия души [К дискуссии в журнале «Памир» на тему: «Ориентализм в современной литературе: свершения, издержки, пробы»] // Памир. 1983. № 6. С. 30—37 [О прозе Т. Зульфикарова].

Феномен близости [Круглый стол «ЛО» о вторичности в прозе, поэзии, критике] // ЛО. 1987. № 7. С. 59—61.

Вечер памяти С.С. Аверинцева в РГГУ 18 мая 2004 года [Стенограмма и ведение вечера] // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011. С. 218—256.

Публикации, комментарии, подготовка текста

(Комм.) А. Цыбулевский. Читая поэта // ЛО. 1980. № 11. С. 102—106 (Публ. К. Вольфензон, комм. П. Нерлера).

«...Я тоже современник». К 90-летию со дня рождения О.Э. Ман-дельштама [Стихотворения О. Мандельштама] / Публ. П. Нерлера // ЛГ. 1981. № 2. 14 января.

(Комм.) Особый жанр [Внутренняя рецензия О. Мандельштама на книгу стихов С. Коваленкова] / Предисл. К. Ваншенкина; публ. С. Коваленкова; примеч. П. Нерлера // ВЛ. 1981. № 3. С. 300—304.

Неизвестное стихотворение Анатолия Ольхона «Гавань» // Сибирские огни. 1982. № 3. С. 176.

«Город, знакомый до слез...»: Кровавая мистерия 9-го января. Шуба / Публ. и предисл. П. Нерлера. Подгот. текста С. Василенко и П. Нерлера // Ленинградская панорама. Л., 1984. С. 487—493.

[Бenedикт Лившиц. Стихи. Переводы. Письма] // ЛГр. 1985. № 11. С. 156—168 (В составе: П. Нерлер. «Сon amore!» Памяти Бенедикта Лившица // ЛГр. 1985. № 11. С. 149—158).

Из рецензий О. Мандельштама 10—20-х годов / Вступит. заметка, публ. и комм. П. Нерлера // ВЛ. 1986. № 3. С. 199—214.

Мандельштам О. Литературная Москва. Буря и натиск / Вступит. заметка Е. Сидорова. Публ. и примеч. П. Нерлера // ЛО. 1986. № 9. С. 104—112.

(Примеч.) Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 276—312.

«В страну волшебную вхожу...» // Нева. 1987. № 5. С. 194—198 (Переписка Г. Чулкова и Т. Табидзе).

Георгий Шенгели в Харькове в 1914 году // ВЛ. 1987. — № 6. — С. 278—280. — (А.В. Кривцова, Евг. Ланн. О Шенгели. Харьков, 1914. — публ., вступит. заметка и примечания).

Мандельштам О. Стихи и переводы / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // ДН. — 1987. № 8. С. 133—139.

Мандельштам О. Очерки / Вступит. статья и публ. П. Нерлера // ЛГр. 1987. № 9. С. 197—213.

Мандельштам О. Последние творческие годы [Письма родным] / Публ. и комм. Е.П. Зенкевич и П.М. Нерлера // НМ. 1987. № 10. С. 201—207.

Мандельштам О. Тревожной жизни танец («Ты прошла сквозь облако тумана...», «Polacy!», «В белом раю лежит богатырь...», «Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи...») Портрет О. Мандельштама работы Льва Бруни (1916) // Неделя. 1987. 14 декабря. С. 15.

Андрей Белый и поэты группы «Голубые роги» (Новые материалы) // ВЛ. 1988. — № 4. — С. 276—282.

Мандельштам О. [Подборка стихотворений] / Публ. и предисл. П. Нерлера. Подг. текста И. Семенко // Неделя. 1988. № 45. С. 14.

Мандельштам О. Гуманизм и современность / Публ. П. Нерлера // Неделя. 1988. № 45. С. 12.

Лившиц Б. [Стихи: «И, медленно ослабив привязь...»; «Я знаю: в мировом провале...»; Степной знак; «Он мне сказал: “: В начале было слово...”»; Узор чугунный] // МК. 1988. № 64. 17 марта. С. 4 (Рубрика «Литературная страница»).

«Слово в движении и движение в слове». Письма Бенедикта Лившица / Публ. и вступит. заметка П. Нерлера и А. Парниса // Минувшее. Париж, 1989. Вып. 9. С. 181—207 (Совм. с А. Парнисом).

Мандельштам Н. [Об Ахматовой] / Публикация, послесловие и примечания П. Нерлера // ЛУ. 1989. № 3. С. 134—151.

[Мандельштам Н.] Дата смерти / Публ., примеч. и заключительная заметка П. Нерлера // Смена. 1989. № 10. С. 21—24.

Мандельштам О. Чарли Чаплин / Публ. П. Нерлера, подг. текста И. Семенко // Музей кино. Апрель 1989. М., 1989. С. 40—41.

Мандельштам О. Холодное лето. Киев. Сухаревка / Публ. и вступит. заметка П. Нерлера // Сельская молодежь. 1989. № 1. С. 26—29.

Ода Сталину // Советский цирк. 1989. № 41. 12—18 октября. С. 15. (Рядом напечатано интервью П. Нерлера «Попытка высшей похвалы...»).

Мандельштам и Шершеневич // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тез. и материалы конференции. 15—17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 28—31.

Ю.Н. Тынянов и С.Б. Рудаков // Пятые Тыняновские чтения. Тез. докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 245—247.

Новые свидетельства о последних днях О. Мандельштама / Предисл. и публ. П. Нерлера // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 45—47.

Два письма О.Э. и Н.Я. Мандельштам к М.С. Шагинян / Публ., предисл. и примеч. П. Нерлера // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 71—77.

«Чуть мерцает призрачная сцена...» [Статья О. Мандельштама «Революционер в театре». Воспоминания о нем артистки Христины Бояджиевой] / Вступит. заметка и публ. // Альманах «Поэзия». Вып. 57. 1990. С. 186—195.

Осип Мандельштам. Гордость пляски [Статья о С. Михоэлсе] // Неделя. 1990. № 11. 12—18 марта. С. 20.

Мандельштам О. «Когда октябрьский нам готовил временщик...». «Все чуждо нам в столице непотребной...». Прощание (перевод из Н. Мицишвили) / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // МК. 1990. № 106. 10 мая. С. 4.

Лившиц Е. Воспоминания // ЛО. 1991. № 1. С. 88—89.

Мандельштам О. «Когда октябрьский нам готовил временщик...» / Вступит. заметка П. Нерлера // Перспективы. 1991. № 1. С. 23—29.

«Заблудился я в небе...» 15 января 100 лет со дня рождения Осипа Мандельштама / Вступит. заметка Е. Бершина // Арена. 1991. № 2. С. 14—15 (Участие зафиксировано лишь в редакционной заметке: «Редакция выражает искреннюю признательность П.М. Нерлеру, оказавшему помощь в подборе материалов для публикации»).

Осип Мандельштам в переписке семьи / Публ., предисл. и примеч. Е.П. Зенкевич, А.А.Мандельштама и П. Нерлера // *Слово и судьба*. С. 50—101.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. Публ. В.К. Лукницкой / Предисл. и примеч. // *Слово и судьба*, М. С. 111—148.

Вокруг «Разговора о Данте» (из архива Л.Е. Пинского) / Публ. Е.М. Лысенко. Примеч. П. Нерлера // *Слово и судьба*. С. 149—151.

Мандельштам О. Преступление и наказание в «Борисе Годунове» // СМР. [Вып. 1]. М., 1991. С. 5—9.

Мандельштам О. Рецензия на кн.: Джек Лондон. Собрание сочинений с предисловием Л. Андреева. Пер. с англ. под ред. А.Н. Кудрявцевой. СПб., 1912. К-во «Прометей» Н.Н. Михайлова // СМР. [Вып. 1]. М., 1991. С. 5—9.

Мандельштам О. [Неизвестные переводы]. Из повести Жюлья Ромэна «Обормоты». Из повести Дж.Тулли «Автобиография бродяги» // СМР. [Вып. 1]. М., 1991. С. 16—19.

Шуточные стихи Осипа Мандельштама / Публ. С. Богатыревой и П. Нерлера. Предисл. и примеч. П. Нерлера // ВЛ. 1991. № 1. С. 241—254.

Лившиц Е.К. Воспоминания / Послел. и публ. П. Нерлера // ЛО. 1991. № 1. С. 90..

О.Э. Мандельштам — Е.И. Замятину / Послел. и публ. П. Нерлера // ЛУ. 1991. № 1. С. 161.

Мандельштам О. Сквозь розовые очки / Рец. на кн.: Н. Огнев. Собрание сочинений, том третий. Третья группа. Разбойничий форпост (Дневник Кости Рябцева. Книга первая). Изд-во Федерация. 1929 / Послел. и публ. П. Нерлера // ЛУ. 1991. № 1. С. 162.

Штемпель Н. Воронежские адреса Мандельштама / Публ. и послел. П. Нерлера // ЛУ. 1991. № 1. С. 171—181.

Худавердян А. Встречи с поэтом / Предисл. и публ. П. Нерлера // Лит. Армения. 1991. № 5. С. 74—82.

Поэт у «плотника» [О. Мандельштам. Шахтеры Ньюкэстля (из О. Барбье). Международная крестьянская конференция. Пьер Гамп] / Публ. и предисл. П. Нерлера // Урал. 1991. № 7. С. 172—176.

Осип и Надежда Мандельштам. Из писем 1936—1938 гг. / Публ. и подг. текстов С. Василенко, П. Нерлера и Ю. Фрейдина. Послесловие П. Нерлера // Знамя. 1991. № 1. С. 193—203.

Воронеж, весна 1936 г. (неизвестное письмо Н.Я. Мандельштам) // Осип Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. Материалы научной конференции 27—29 декабря 1991 г. М., 1991. С. 108.

Мандельштам Н. Из воспоминаний // Анна Ахматова и ее окружение / Сост. К. Поливанов. М.: Прогресс, 1991. С. 299—348.

«Некий еврей Мандельштам...». По документам департамента полиции // РМ. 1993. 11—17 июня. С. 11 (Совм. с Д. Зубаревым)

«Некий еврей Мандельштам...». По документам департамента полиции // РМ. 1993. 18—25 июня. С. 9 (Совм. с Д. Зубаревым).

Мандельштам О. Пивные / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // РМ. 1994. 27 янв. — 2 февр. С. 13.

Mandelshtam N. Akhmatova // Anna Akhmatova and her circle. Complaind and notes by K.Polivanov; transl. by P.Beriozkina. Fayetteville: The University of Arkanzas Press, 1994. P.100—128.

Републикация без указания источника.

Цыбулевский А. Разговор о Мандельштаме (Раздумья и наброски) // ЛГр. 1995. № 1. С. 211—224. (Совм. с К. Вольфензон-Цыбулевской).

Три письма Осипа Мандельштама / Публ. и примеч. Т. Мандельштам и П. Нерлера // СМР. Вып. 3/1. 2000. С. 14—18.

Ханцын И. О Мандельштаме / Публ., послесл. и примеч. // СМР. Вып. 3/2. 2000. С. 67—73.

«Некий еврей Мандельштам...». По материалам департамента полиции / Публ., послесл. и примеч. // СМР. Вып. 3/2. 2000. С. 105—125 (Совм. с Д. Зубаревым).

Валентин Парнах. Пансион Мобер. Из воспоминаний // ЕГ. 2003. Январь. С. 30 (Совм. с А. Парнахом).

(Подг. текста.) Валентин Парнах. Пансион Мобер. Из воспоминаний // ЕГ. 2003. Январь. С. 30. (Совм. с Н. Поболем и О. Шамфаровой).

(Публ. и комм.) Парнах В.Я. Пансион Мобер. Воспоминания // Диаспора Новые материалы. Т. 7. Париж — Санкт-Петербург: Atheneum — Феникс, 2005. С. 16—91. (Совм. с А. Парнахом).

(Подг. текста.) Парнах В.Я. Пансион Мобер. Воспоминания // Диаспора Новые материалы. Т. 7. Париж — Санкт-Петербург: Atheneum — Феникс, 2005. С. 16—91 (Совм. с Н. Поболем и О. Шамфаровой).

«Эту сосиску никто у нас не отнимет» [Письмо Н.Я. Мандельштам Н.И. Харджиеву.] // НГ. 2008. № 13. 21 февраля. С. 11.

В сети: <http://www.novayagazeta.ru/data/2008/13/35.html>

Мандельштам О.Э. Начало перевода сказки Э.-Т. Гофмана «Золотой горшок». Публ. П. Нерлера. Сопроводит. заметки П. Нерлера и О. Лекманова // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 45—49.

Письмо О.Э. Мандельштама А.Б. Халатову / Публикация и сопроводительный текст П. Нерлера // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 53—56.

«Брат т. Назарова» — неизвестный прозаический набросок Осипа Мандельштама / Публикация С. Василенко и П. Нерлера. Подготовка текста С. Василенко. Вступительная заметка П. Нерлера // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 57—63.

Два письма О.Э. Мандельштама Б.С. Кузину. Публикация и вступительная заметка П. Нерлера // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 78—82.

Из пародий и эпиграмм на О. Мандельштама / Публ. и примеч. О. Лекманова и П. Нерлера // СМР. Вып. 4/2. М. 2008. С. 721—728.

Стихотворение В. Сумбатова «Гиперборей» / Публ. и вступит. заметка П. Нерлера // СМР. Вып. 4/2, 2008. С. 729—731.

Переписка Бориса Филиппова и Глеба Струве / Публ. и примечания // НЖ. Кн.258. Март 2010. С. 119—176 (под шапкой: «Мандельштам и “Борисоглебский союз”»).

В сети: <http://www.newreviewinc.com/?q=node/60>

У истоков «Борисоглебского союза». Переписка Бориса Филиппова и Глеба Струве. К истории издания первого Собрания сочинений О.Э. Мандельштама // НЖ. Кн.260. Сентябрь 2010. С. 106—140 (под шапкой: «Мандельштам и “Борисоглебский союз”»).

В сети: <http://magazines.russ.ru/nj/2010/258/ne12.html>

В сети: <http://www.newreviewinc.com/node/285>

(Публ. и послесл.) Письмо С.С. Аверинцева П.М. Нерлеру от 7 июля 1992 г. // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011 С. 159—164.

Избранные места из переписки Н.Е. Штемпель с друзьями // СМР. Вып.5/1. 2011. С. 148—170.

Инскрипты и маргиналии О.Э. Мандельштама // СМР. Вып.5/1. 2011. С. 201—228 (Совм. с С. Василенко).

(Публ. и вступит. заметка) Худавердян А. Встречи с поэтом // СМР. Вып.5/1. 2011. С. 237—251.

(Публ. и вступит. заметка) Вечер памяти О. Мандельштама в Цюрихе (4 июня 1989 г.) (С воспроизведением выступлений А. Синявского, А. Львова, С. Лурье, А. Битова, Б. Сарнова, Е. Эткинда и В. Войновича) // СМР—5/2, 2011. С. 653—663.

У истоков «Борисоглебского союза». Переписка Бориса Филиппова и Глеба Струве. К истории издания первого Собрания сочинений О.Э. Мандельштама // НЖ. Кн. 263. Июнь 2011. С. 182—200.

В сети: <http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ne15.html>

БИБЛИОГРАФИИ

[Проза О.Э. Мандельштама] Библиография // Мандельштам О. Слово и культура: О поэзии. Разговор о Данте. Статьи и рецензии / Сост. и примеч. П. Нерлера. М., 1987. С. 313—318.

[Семенко И.М.] Библиография // Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама (От черновых редакций к окончательному тексту). М.: Ваш Выбор, 1997. С. 140—143 (Совм. с Н. Поболем).

Издания произведений О.Э. Мандельштама, монографии и статьи о жизни и творчестве поэта (1999—2003) // О.Э. Мандельштам, его

предшественники и современники ..., 2007. С. 236—257 (Совм. с И. Декторской и М. Соколовой).

Гаспаров М.Л. Труды об О.Э. Мандельштаме и о его исследователях // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 27—33 (Совм. с О. Лекмановым и Д. Мамедовой).

[Штемпель Н.Е.] Библиография // «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. К 100-летию со дня рождения Н.Е. Штемпель. Воронеж, 2008. С. 337—339.

[Аверинцев С.С.] Библиография // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011. С. 309—311 (Совм. с Д. Мамедовой).

[Морозов А.А.] Библиография // СМР. Вып. 5/1.2011. С. 22—26 (Совм. с Н. Поболем).

ХРОНОЛОГИИ

Ossip Mandelstams Leben und Werk. Eine Chronik. [Осип Мандельштам: хроника жизни и творчества] / Пер. на нем. яз.: G. Leupold // P.M. Nerler, A.E. Rudnik, O.L. Salijewa, M.W. Sokolowa. Ossip Mandelstam. 1891—1938. "Ich muß nun leben, war schon zweifach tot" / Katalog zur Ausstellung. Berlin — Freiburg i.Br. — Heidelberg. — Frankfurt a.M. — Leipzig. 1993—1994 / Leipzig, 1993. S. 122—139.

Последние годы Осипа Мандельштама (Хроника) // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 2. Воронеж, 1994. С. 95—111. (Совм. с В.Н. Гыдовым).

Последние годы Осипа Мандельштама (Хроника) // Там же. Вып. 3. Воронеж, 1994. С. 62—75. (Совм. с В.Н. Гыдовым).

Последние годы Осипа Мандельштама (Хроника) // Там же. Вып. 5. Воронеж, 1995. С. 110—120. (Совм. с В.Н. Гыдовым).

Даты жизни и творчества О.Э. Мандельштама // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Письма. М., 1997. С. 428—470.

Последний год Осипа Мандельштама. Хроника // Мандельштамовские дни в Москве. К 75-летию со дня гибели поэта (25/12/13 — 27/01/14). [Буклет]. М., 2013. С. 7—12.

Из хроники последних дней Мандельштама // НГ. 2013. 25 декабря. С. 20.

НЕКРОЛОГИ

Памяти Льва Копелева // РМ. 1997. 26 июня — 2 июля. С. 17.

Памяти Льва Копелева // Русская библиотека Толстовского фонда. Бюллетень № 94. Сентябрь 1997. С. 8.

- Памяти Манука Жажояна // РМ. 1997. 19—23 июля. С. 18.
- Памяти Манука Жажояна // ЛО. 1997. № 6. С. 56—57.
- Человек мира. В Потсдаме скончался Ефим Григорьевич Эткинд // МН. 1999. 30 ноября — 6 декабря. С. 25.
- Памяти Ефима Эткинда // РМ. 1999. 2—8 декабря. С. 22.
- Памяти Ефима Эткинда // Форвертс (Нью-Йорк). 1999. 3—9 декабря. С. 3.
- [Памяти Ирины Иловайской] // РМ. 1999. 2—8 декабря. С. 24.
- Последняя воля. На смерть поэта Семена Липкина, прожившего тяжелую и долгую жизнь // ЕГ. 2003. Июнь. С. 32.
- Обесточенная жизнь. Памяти Марины Соколовой // Московский лингвистический журнал. 2003. Т. 6. № 2. С. 237—239.
- Вождь племени интеллигентов. Памяти Сергея Аверинцева // ЕГ. 2004. Апрель. С. 19.
- Памяти Нины Владимировны Савоевой-Гокинаевой // «30 апреля» (Москва). 2004. № 42. Март-апрель. С. 3.
- Памяти Сергея Аверинцева // ВРСХД. 2004. Кн.187. № 1. С. 342—350.
- Памяти Сергея Аверинцева // In Memoriam. Сергей Аверинцев. М.: ИНИОН РАН, 2004. С. 64—71.
- 2 июня 2004 года не стало Владимира Петровича Купченко... // TSQ. Spring 2008. No 24. В сети: <http://www.utoronto.ca/tsq/24/nadmandel24.shtml>
- Он сделал больше целого института. 7 ноября 2005 года ушел из жизни выдающийся русский филолог академик Михаил Леонович Гаспаров // НГ. 2005. 10 ноября. С. 22.
- Kultur des Fragments. Zum Tod des russischen Philologen Michail Gasparov [Культура фрагмента. На смерть российского филолога Михаила Гаспарова] // Süddeutsche Zeitung. 2005. 10 November. S. 15 (Подписано, без согласования: Polian).
- Погиб Евгений Пермяков. Он начинал как филолог, но вскоре судьба сама поставила его на колею призвания: он был издателем божьей милостью // Стенгазета.нет. 2007. 14 мая. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=3281>
- Евгений Владимирович Пермяков (19.12.1961, с. Миасское Челябинской обл. — 12.05.2007, Ставрополь) // НЛО. 2007. № 3. С. 232—238.
- Михаил Леонович Гаспаров // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 19—26.
- Александр Анатольевич Морозов (1932—2008) // TSQ. No. 26. Fall 2008. В сети: <http://www.utoronto.ca/tsq/26/index26.shtml>
- Издатель божьей милостью // Пермяковский сборник. М.: Новое издательство, 2009. Ч. 1. С. 95—96.
- Памяти Александра Морозова. Ровно год назад умер Александр Анатольевич Морозов, лучший знаток и ценитель творчества Осипа

Мандельштама // Стенгазета.нет. 2009. 21 сент. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=6511>

Памяти Иосифа Бродского // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. М.: РГГУ, 2011 С. 165 (Совм. с С. Аверинцевым и М. Гаспаровым).

Александр Анатольевич Морозов (1932—2008) // СМР. Вып. 5/1. 2011. С. 19—21.

Последняя воля // Семен Липкин. «Угль, пылающий огнем...» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. М.: РГГУ, 2008. С. 356—363.

Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя // Стенгазета.нет. 2013. 20 мая. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=9175>

РЕПОРТАЖИ, ХРОНИКИ, ЗАМЕТКИ

Репортажи и хроники

Надежды, надежды, надежды... Репортаж // ЛПр. 1979. № 5. С. 148—154. (VII Всесоюзное совещание молодых писателей).

Первые Мандельштамовские чтения // ВЛ. 1988. № 6. С. 269—273.

Мандельштамовские дни в Москве и Ленинграде // РМ. 1991. 22 февраля. С. 18.

Мандельштамовская конференция в США [В Хантер-колледже, Нью-Йорк, 16 ноября 1991 г.] // РМ. 1991. 13 декабря. С. 16.

Доска в честь О. Мандельштама в Париже // ВРСХД. 1991. № 2—3. С. 339—341.

В честь Осипа Мандельштама. [Об открытии мемориальной доски в Париже] // НРС. 1992. 18 февраля. С. 15.

Второе рождение памятника Чехову в Баденвайлере // РМ. 1992. 5 июня. С. 14.

Мандельштамовская выставка в Германии // РМ. 1994. 27 января — 2 февраля. С. 13.

«Воронеж — блажь...» [Мандельштамовские чтения в Воронеже] // Коммерсант-Daily. 1994. 28 мая. С. 14.

В 1934-м местом проведения Мандельштамовских чтений был определен Воронеж // Коммерсант-DAILY. 1994. 18 июня. С. 14.

Новые прочтения Мандельштама. В Литературном музее на Петровке состоялось первое в новом сезоне заседание Мандельштамовского общества. [О заседании Мандельштамовского общества, посвященном архиву поэта в Принстоне] // МН. 1995. 22—29 октября. С. 20.

Любовь и анализ // МН. 1996. 31 марта — 7 апреля. С. 37 (Без подписи).

Обнаружены неизвестные письма Осипа Мандельштама // Коммерсант-Daily. 1997. 21 июня. С. 9.

Во Владивостоке открыли «черновик» памятника Мандельштаму // РМ. 1998. 12—18 ноября. С. 15.

Без киллеров и банкиров. Конференция: Четвертые Мандельштамовские чтения // Общая газета. 1999. 14—20 января. С. 9.

Четвертые Мандельштамовские чтения // РМ. 1999. 25 февраля — 3 марта. С. 15.

Мандельштамовская конференция в Лондоне // СМР 3/2. 2000. С. 7—9.

Рукописи из корзины. В Принстоне планируется цифровой проект «Воссоединенный архив Осипа Мандельштама» // МН. № 46. 2000. 14—20 ноября. С. 23.

Мандельштамовские дни в Принстоне // РМ. 2001. 1—7 ноября. С. 13.

Републикация (без разрешения и с несогласованными сокращениями) // Демократический выбор. 2001. № 45.

Мандельштамовские дни в Принстоне // КО. 2001. 29 окт. С. 22.

Мандельштамовские дни в Москве (15—17 января 2001 г.) // ВРСХД. № 182. 2001. С. 255—268.

Буханалия—2002. Заметки с Франкфуртской книжной ярмарки // ЕГ. 2002. Ноябрь. С. 15.

«За гремящую доблесть грядущих веков...». Мандельштам и Германия: литературный вечер в Кельне // ЕГ. 2002. Декабрь. С. 15.

Газпром российской культуры. Две мировые войны Чехов прожил в подполье Баденвайлера // НГ. 2004. 22—25 июля. С. 21.

В сети: <http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/52n/n52n-s25.shtml>

«Сохрани мою речь...». Виртуальный Мандельштам станет фактом сети и объединит архивы Старого и Нового Света // МН. 2006. № 17. 12—18 мая. С. 32.

Неподходящий монумент. Москва и Воронеж соревнуются: кто больше затянет открытие памятника Мандельштаму // НГ. 2008. № 59. 14 августа. С. 18.

В сети: <http://www.novayagazeta.ru/data/2008/59/19.html>

Мандельштам вернулся из лагеря. Пока — нелегально. В Москве установили памятник Мандельштаму // НГ. 2008. 30 октября. С. 4.

Московская прописка Осипа Мандельштама // НГ. 2008. 2 декабря. С. 18.

В сети: <http://www.polit.ru/event/2008/12/03/mandelshtam.html>

Наиболее близкий по духу // Северная звезда. Чердынь. 2009. 5 июня. С. 5.

Сохранить! Мандельштамовские чтения — спустя 75 лет после ссылки поэта на Урал // НГ. 2009. 10 июня. С. 6.

- В сети: <http://www.novayagazeta.ru/data/2009/061/09.html>
- Мандельштам и наше время. Размышления у открытого в Москве памятника поэту // ЕГ. 2009. Январь. С. 27.
- Памятники рукотворные. Вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге был открыт памятник Мандельштаму. Уже пятый в России // НГ. 2010. Вкладка «Правда ГУЛАГа». С. 6. Подписано: П.Н. В сети: <http://www.novayagazeta.ru/data/2010/gulag06/02.html>
- Трезвое дитя политрасклада [Ответы на вопросы А. Мамедова] / Рубрика «Перекресток» // Лехаим. 2011. № 11. С. 50.
- Вечер памяти Александра Цыбулевского // Семь искусств. Интернет-журнал. 2011. № 21. В сети: <http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=21>
- Варшава, ulica Mandelsztama // НГ. 2012. 23 мая. С. 5.
- В сети: <http://www.novayagazeta.ru/society/52735.html>
- Варшава, ulica Mandelsztama. Честь быть первыми в присвоении имени Мандельштама городской улице перехвачена у россиян поляками // Стенгазета. 2012. 28 мая. В сети: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=8643>

Заметки

- Последние фотографии // ЛГ. 1989. 19 апреля. С. 7.
- Создано Мандельштамовское общество // РМ. 1991. 22 февраля. С. 15.
- О Мандельштамовском обществе // РМ. 1991. 28 июня. Литер. приложение. № 12.
- О Мандельштамовском обществе // Русский курьер. 1992. № 4. С. 19.
- Обращение Мандельштамовского общества // РМ. 1992. 11 декабря. С. 12.
- Мандельштамовское общество // RL. XLII (15 August 1997). North-Holland. P. 259—260. (Без подписи).
- Разговор о Мандельштаме // КО. 1997. 25 марта. С. 5 (под принадлежанием редакции псевдонимом «Наталья Тарасова»).
- [О готовящемся сборнике А. Сопровского «Правота поэта»] / К непоправимому покою. О будущей книге [Статьи Н. Коржавина и Г. Померанца] // КО. 1997. 8 апреля. С. 8.
- Мы выжили // МН. 2001. 3—15 января. С. 23.
- Последние фотографии Осипа Мандельштама // ООО «Интерсоциформ». Антология мировой поэзии. 2000. № 2. С. 52. (Опубликовано А. Кривомазовым без согласования с автором.)
- Наследие великого поэта. Дела и планы Мандельштамовского общества // ЕГ. 2006. Июль. С. 24.

ИНТЕРВЬЮ И ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Интервью, взятые П. Нерлером

Жить дальше... (С Викторией Швейцер беседует Павел Нерлер) // ЛО. 1991. № 4. С. 74—79.

Ральф Джордано: «Нашим преступлением было наше существование...» // ЕГ. 2003. Апрель. С. 23.

Републикация: В сети: www.berkovich-zametki.com/Nomer28/Nerler1/htm

Интервью, взятые у П. Нерлера

«Попытка высшей похвалы...» / Интервью В. Дмитриеву // Советский цирк. 1989. 12—18 октября. С. 15.

«Я рожден в ночь с второго на третье...» / Интервью А. Щуплову // КО. 1991. 11 января. С. 3.

Das Volk war der Hauptheld jener Tage [Главным героем этих дней был народ] // Oberhessische Presse, 1991. 9. September.

«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...». 70 лет назад началась воронежская ссылка Осипа Манделъштама / Интервью С. Нехамкину // Известия. 2004. 25 июня. С. 7.

«Судьба Манделъштама таит еще много открытий» / Интервью Д. Дьякову // Воронежский курьер. 2007. 28 апреля. С. 5.

Интервью Н. Александрову // Разночтения. 2008. 15 февраля.

Историк, литературовед, кандидат географических наук, исследователь творчества Осипа Манделъштама Павел Нерлер // Радиопередача «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. 2009. 17 мая. В сети: <http://radiosvoboda.podfm.ru/archive/6375>; транскрипт: <http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1734429.html>

Презентация в Музее М. Цветаевой книги С.И. Липкина «Угль, пылающий огнем...». 2009. 9 июня. В сети: http://www.youtube.com/watch?v=n_nwxwVQKMс

Интервью Д. Быкову. 2010. 16 января (Сити-FM) Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободную тему с умными людьми. В сети: http://community.livejournal.com/ru_bykov/

Сталин и Манделъштам // Эхо Москвы. Нателла Болтынская. Именем Сталина. 2009. 5 июня. В сети: <http://www.rosspen.su/ru/news/view/id/442/>.

Открытие памятника Осипу Манделъштаму [2008. 28 ноября]. Видеозапись // В сети: http://www.polit.ru/culture/2008/12/03/videon_mandelsham.html

О днях Мандельштама / Интервью А. Локшину // Агентство еврейских новостей. 2013. 22 декабря. В сети: http://aen.ru/?page=article&category=culture&article_id=1177

Осип Мандельштам: дорога к смерти и бессмертию. Павел Нерлер рассказал «МК» о последних годах жизни великого поэта / Интервью М. Москвичевой // МК. 2013. 28 декабря. В сети: <http://www.mk.ru/culture/books/article/2013/12/27/966147-osip-mandelstam-doroga-k-smerti-i-bessmertiyu.html>

Письма в редакцию

«Чужие?». Письмо в редакцию // ЛО. 1989. № 8. С. 84—85.

Письмо ректору Литературного института С.Н. Есину // Столица. 1994. № 14. С. 44. (В составе публикации: Мандельштам и менялы. По следам одной публикации).

Открытое письмо ректору Литературного института С. Есину // Есин С. Отступление от романа, или В сезон засолки огурцов. М., 1994. С.179—180.

О ПАВЛЕ НЕРЛЕРЕ

Маргвелашивили Г. «Свидетствует вещей знак...» / ЛГр. 1978. № 9. С. 5.

Тарковский А. О стихах Павла Нерлера // Альманах «Поэзия». Вып. 27. 1991. С.157—158.

Липкин С. «Преодолей соблазн страницы» // Нерлер П. Ботанический сад. М., 1998. С. 8—9.

Рылов А. Павел Нерлер. Околдованный Мандельштамом // Персона. 2009. № 2 (75). С. 11—18.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- АА — Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург.
А.А. — Анна Андреевна Ахматова.
АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации, Москва.
АМ — Принстонский университет. Файерстоунская библиотека. Отдел рукописей и редких книг. Коллекция О.Э. Мандельштама.
АП РФ — Архив Президента Российской Федерации, Москва.
а/с агит. — антисоветская агитация.
АССР — автономная советская социалистическая республика.
АУ ФСБ СПб/ЛО — Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербург.
ББД — База библиографических данных.
Б.д. — Без даты.
б.о. — боевая организация.
Б.п. — Без пагинации.
б/п — беспартийный.
Библ. — Библиография.
ВК ВС СССР — Военная коллегия Верховного суда СССР.
ВЛ — журнал «Вопросы литературы», Москва.
ВПВТО — Воронежская право-троцкистская вредительская террористическая организация.
ВРСХД — «Вестник русского студенческого христианского движения», Париж.
в/с — военнотружущий.
ВС — «Ватиканский список» (АМ).
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия.
г. — год; город.
ГААРК — Государственный архив Автономной республики Крым, Симферополь.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва.
ГБ — государственная безопасность.
гг. — годы.
ГИХЛ — «Государственное издательство художественной литературы», Москва.
ГЛМ — Государственный литературный музей, Москва.

- гор. — город.
г. р. — год рождения.
гр. — гражданин, гражданка.
ГУГБ — Главное управление государственной безопасности.
ГУЛАГ — Главное управление лагерей ОГПУ — НКВД — МВД СССР.
Д. — дело.
д. — дом; деревня.
ДН — журнал «Дружба народов», Москва.
ДСП — «Для служебного пользования».
ЕГ — «Еврейская газета», Берлин.
ЖИТМ — Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования / Отв. ред. О.Г. Ласунский. Воронеж, 1990. 544 с.
зав. — заведующий.
зам. — заместитель.
з-д — завод.
з/к — заключенный-колонист; заключенный.
и.о. — исполняющий обязанности.
Инт. — Интервью.
ИРЛИ — Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург.
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь.
кв. — квартира.
КГБ — Комитет государственной безопасности СССР.
к-з — колхоз.
КО — газета «Книжное обозрение», Москва.
Комм. — Комментарий.
КПП — контрольно-пропускной пункт.
к-р — контрреволюционный, контрреволюционная деятельность.
КРД, крд, к.р.д. — контрреволюционная деятельность.
к-р. деят./агит. — контрреволюционная деятельность/агитация.
л. — лист.
ЛГ — «Литературная газета», Москва.
ЛГр — журнал «Литературная Грузия», Тбилиси.
ЛО — журнал «Литературное обозрение», Москва.
ЛУ — журнал «Литературная учеба», Москва.
ЛЭ — «Лермонтовская энциклопедия». М., 1981.
М. — Осип Эмильевич Мандельштам.
МВД — Министерство внутренних дел СССР.
МГБ — Министерство государственной безопасности СССР.
МГД — Московская городская Дума.
МК — «Московский комсомолец», Москва.

- МН — «Московские новости», Москва.
МО — Мандельштамовское общество, Москва.
МЭ — «Мандельштамовская энциклопедия».
НГ — «Новая газета», Москва.
НЗ — журнал «Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре», Москва.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР.
нрзб — неразборчиво.
НЖ — журнал «Новый Журнал», Нью-Йорк.
НЛО — издательство и журнал «Новое литературное обозрение», Москва.
НМ — журнал «Новый мир», Москва.
Н.М. — Надежда Яковлевна Мандельштам.
Н.Я. — Надежда Яковлевна Мандельштам.
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление СССР.
ОЛП — Отдельный лагпункт
О.М. — Осип Эмильевич Мандельштам.
О.Э. — Осип Эмильевич Мандельштам.
Оп. — опись.
п., п.п. — пункт, пункты.
Пер. — перевод.
Подгот. — подготовка.
Послсл. — Послесловие.
Предисл. — Предисловие.
Примеч. — Примечания.
Публ. — Публикация.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, Москва.
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории, Москва.
РГВА — Российский государственный военный архив, Москва.
РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва.
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет, Москва.
Ред. — Редактор.
Ред.-сост. — Редактор-составитель.
Рец. — Рецензия.
РМ — газета «Русская мысль», Париж.
РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.
РФ — Российская Федерация.
с. — страница; село.
САГУ — Среднеазиатский госуниверситет, Ташкент.
СВИТЛ — Северо-Восточные исправительно-трудовые лагеря.
СВЭ — социально-вредный элемент.
СМИ — Средства массовой информации.
СМР — «Сохрани мою речь... [Мандельштамовский альманах]», непериодическое серийное издание.

- Совм.— Совместно.
Сопр. — Сопроводительные материалы.
Сост. — Составление.
СОЭ — социально-опасный элемент.
ССП — Союз советских писателей.
СХА — Собрание Н.И. Харджиева, Амстердам.
тр. — троцкистский.
ТС — «Ташкентский список» (Архив Э.Г. Бабаева, Москва)
ул. — улица.
ун-т — университет.
УМВД — областное управление МВД СССР.
УРЧ — Учетно-регистрационная часть.
УСО — Учетно-статистический отдел.
УНКВД — областное управление НКВД СССР.
УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей,
Магадан.
ф. — фонд.
ф-ка — фабрика.
х. — хутор.
ч. — часть.
ЦА МВД — Центральный архив МВД, Москва.
ЦА ФСБ — Центральный архив Федеральной службы безопасности, Москва.
ЦГА — Центральный государственный архив.
ЦГА СПб. — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
ЦГАЛИ — см. РГАЛИ.
ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург.
ЦДЛ — Центральный дом литератора.
ЦИК — Центральный исполнительный комитет.
ЦК — Центральный комитет.
Э.Гр. — Эмма Григорьевна Герштейн
ЮВЖД — Юго-Восточная железная дорога.
- AN — Archives Nationales (Национальный архив Франции), Париж.
В. — Вох (Короб).
САНЖР — Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem.
F. — Folder (Папка).
RL — журнал «Russian Literature», Mouton.
- TSQ — сетевой журнал «Toronto Slavic Quarterly», Toronto.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев и Мандельштам: статьи и материалы / Ред.-сост.: П. Нерлер и Д. Мамедова. М.: РГГУ, 2011. 311 с. (Записки МО. Вып. 17).

Ахматова А. Листки из дневника // ВЛ. 1989. № 2. С. 201—202.

Ахматова А. А. Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы / Сост., подгот. текстов, предисл. и примеч. Н. Крайневой. М.: Русский путь, 2005. 984 с.

(Публ.) *Бабаев Э.Г. А.А.* Ахматова в письмах к Харджиеву (1930-1960-е гг.) / Вступит. статья, публ. и коммент. Э.Г.Бабаева // ВЛ. 1989. № 6. С.242

Бацаев И. Д., Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах. Часть 1. (1931—1941). Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2002. 382 с.

Богатырева С.И. Воля поэта и своеволие его вдовы: проблемы текстологии позднего Мандельштама // «Отдай меня, Воронеж...». Третьи Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 360—377.

Браун К. Из «Московского дневника» / Пер. с англ. В. Литвинова // СМР. Вып. 4/2. М., 2008. С. 743—767.

Вербловская И. Мой прекрасный страшный век. СПб.: Журнал «Звезда», 2011. 376 с.

«*Возможна ли женщине мертвой хвала?..*» Стихи и воспоминания Ольги Ваксель / Редактор-составитель и автор послесловия: А. Ласкин; Подг. текста: И.Г. Иванова, А. Ласкин, Е. Чурилова; Комментарии: Е. Чурилова. М.: РГГУ, 2012. 437 с.

Гардзонио С. Письмо Э.Л. Миндлина В.И. Сидорову (Баяну). Еще о литературной Феодосии // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 481—487.

Герштейн Э. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998. 524 с.

Гаспаров М.Л. Эволюция метрики Мандельштама // ЖиТМ. С. 336—346.

Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М.: РГГУ; 1996. 128 с. (Чтения по теории и истории культуры. Вып. 17).

«*Гуговна*» (Из писем А.Г. Усовой Л.В. и А.В. Горнунгам) / Подгот. текста, вступ. заметка и примеч. Т. Нешумовой // СМР. Вып. 4/1. 2008. С. 226—244.

Гыдов В.Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М.Я. Булавина) // СМР. Вып. 2. М., 1993. С. 37—39.

Дейч А. Две дневниковые записи / Публ. Е. Дейч // СМР. Вып. 3/2. М., 2000. С. 145—146.

ЖиТМ — *Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования /* Отв. ред. О.Г. Ласунский. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. 544 с.

Зубарев Д.И., Кузовкин Г.В. (при участии П.М. Нерлера и Г.Г. Суперфина). Самиздат // ВЛ. 2008. № 11—12. С. 237—243.

Иванов В.Н. Гул жизни. Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1989. № 11. С. 65—95.

Инскрипты и маргиналии Осипа Мандельштама / Публ. С. Василенко и П. Нерлера // СМР. Вып. 5/1. 2011. С. 201—228.

Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом // НЖ. Нью-Йорк, 1957. № 49. С. 257—262.

Кацис Л. Борис Николаевский о судьбе Осипа Мандельштама: к проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» (1946) // Вестник РГГУ. Сер.: Журналистика. Литературная критика. 2008. № 11. С. 143—149.

Кацис Л. О «делах», жизни и судьбе Осипа Мандельштама // ВЛ. 2011. № 2. С. 330—362.

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме / Публ. подгот. М. Давыдовым и А. Огурцовым // Вопр. истории естествознания и техники. 1987. № 3. С. 133—144.

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. *Мандельштам Н.* 192 письма к Б. Кузину. СПб.: Инапресс, 1999. 780 с.

Кузовкин Г. Принуждение к исчезновению. По материалам ведомственных инструкций НКВД-МВД (1930—1950-е) // Право на имя. Биографика XX века. Чтения памяти Вениамина Иофе. Избранное. 2003—2012. СПб.: Норма, 2013. С. 600.

Кунтур Я. Чердынская городская больница в 30-е годы // Миры Мандельштама. VI Мандельштамовские чтения. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2009. С. 40—57.

Купченко В.П. Ссора поэтов (к истории взаимоотношений О. Мандельштама и М. Волошина) // Слово и судьба. С. 176—182.

Купченко В.П. Странствие Максимилиана Волошина: Документальное повествование. СПб., 1997. 544 с.

Кураев В.В. Дневник ссыльного большевика (1933—1935). М.: Азбука, 1998. 104 с.

Лекманов О. Осип Мандельштам. Изд-е 3-е, доп. и перераб. М.: Молодая гвардия, 2009. 357 с., ил. (Сер.: Жизнь замечательных людей).

Лескис Г. Новый Мандельштам / Публ. и вступит. заметка К. Агаровой // СМР. Вып. 5/2. С. 637—645.

Липкин С. Угль, пылающий огнем... // Семен Липкин. «Угль, пылающий огнем...» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка / Сост.: П. Нерлер, Н. Поболь и Д. Полищук. М.: РГГУ, 2008. 456 с.

Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932—1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // ВЛ. 2003. № 4. С. 212—258.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого / Публ. В.К. Лукницкого, предисл. и примеч. П.М. Нерлера // Слово и судьба. С. 111—148.

- Мандельштам Е.Э.* Воспоминания / Вступит. ст., подготовка текста и примеч. А.Г. Меца, публ. Е.П. Зенкевич // Новый мир. 1995. № 10. С. 119—178.
- Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М.: Согласие, 1999а. 554 с.
- Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. М.: Согласие, 1999б. 750 с.
- Мандельштам Н.Я.* Третья книга / Сост.: Ю.Л. Фрейдин. М.: Аграф, 2006. 506 с.
- Мандельштам Н.Я.* Об Ахматовой. 2-е изд. / Сост.: П. Нерлер. М.: Три квадрата, 2008. 408 с.
- Мандельштам О. Э.* Разговор о Данте. М.: Искусство, 1967. 88 с.
- Мандельштам О.* Записные книжки. Заметки / Вступит. заметка И.М. Семенко; подг. текста И. Семенко, А. Морозова и В. Борисова // ВЛ. 1968. № 4. С. 180—204.
- Мандельштам О.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Нью-Йорк: Межъязыковое литературное содружество, 1969. I, 552 с.
- Мандельштам О.* Стихотворения / Сост. и примеч. Н.И. Харджиева. Л.: Советский писатель, 1973. 336 с.
- Мандельштам О. Э.* Слово и культура / Сост. П.М. Нерлер. М.: Советский писатель, 1987. 320 с.
- Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. / Сост. П.М. Нерлер. М.: Художественная литература, 1990. (Т. 1 — 640 с.; Т. 2 — 464 с.).
- Мандельштам О.* Стихотворения / Библиотека поэта. Большая серия. Сост., подгот. текста и примеч. С.В. Василенко и Ю.Л. Фрейдина. М.: Республика, 1992. 576 с.
- Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений / Сост. А.Г. Мец. СПб.: Академический проект, 1995. 720 с.
- Мандельштам О. Э.* Собрание сочинений: В 4 т. / Сост. П.М. Нерлер и А.Т. Никитаев. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993—1997.
- Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем в трех томах. М.: Прогресс-Плеяда, 2009—2011.
- Мец А.Г.* Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб.: Гиперион, 2005. 288 с.
- Милютина Т.П.* Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997. 415 с.
- Миндлин Э.Л.* Необыкновенные собеседники. М.: Сов. писатель, 1979. 560 с.
- Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. К 70-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама / Сост. П. Нерлер; подг. текста С.В. Василенко и П.М. Нерлера. М.: Благотворительный резервный фонд, 2008. 312 с.
- Мурина Е.* О том, что помню про Н.Я. Мандельштам // Мир искусств. Альманах. Вып. 4. СПб, 2001. С. 133—173.
- Мусатов В.В.* Лирика Осипа Мандельштама. Киев: Ника-Центр; Эльга-Н, 2000. 560 с.
- Найман А.Г.* Рассказы об Анне Ахматовой. М.: Вагриус, 1999. 302 с.

Нерлер П. «Он ничему не научился...» О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // ЛО. 1991. № 1. С. 91—95.

Нерлер П. Осип Мандельштам в Гейдельберге / Записки МО. Т. 3. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 82 с.

Нерлер П. (при участии Д. Зубарева и Н. Поболя). Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга допросов, допросов и обвинительных заключений. М.: Петровский парк, 2010. 224 с.

Нерлер П. Осип Мандельштам и Америка (Изд. 2-е, исправл. и доп.). М.: Вердана, 2012. 254 с.

Николаевский Б. [«Преступление и наказание» поэта О. Мандельштама] Из летописи советской литературы // Социалистический вестник. Нью-Йорк. 1946. № 1. 18 янв. С. 21—25.

Никольский А., Поболь Н. Как их везли // Железнодорожное дело. 1999. № 2—4. С. 43—47.

Нич Д. Московский рассказ. Жизнеописание Варлаама Шаламова. М.: Личное издание, 2011. С. 69—70.

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Подгот. текста, сост., коммент., вступит. статья: О.С. и М.В. Фигурновы. М.: Наталис, 2002. 544 с.

О.Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935—1936) / Вступит. Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца. Публ. и подг. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца. Комм. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса и О.А. Лекманова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год. Материалы о Мандельштаме. СПб.: Академический проект, 1997. С. 5—185.

О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии / М.: РГГУ, 2007. 306 с.

Парнах В.Я. Пансион Мобер. Воспоминания / Публ. и комм. А. Парнаха и П. Нерлера // Диаспора. Новые материалы. Т. 7. Париж — СПб.: Atheneum — Феникс, 2005. С. 16—91.

Парнис А.Е. Заметки о пребывании Мандельштама в Грузии в 1921 году // L'avanguardia a Tiflis. Venezia, 1982. С. 211—223.

Пастернак Б. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. Письма / Сост. и комм. Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова. М.: Художественная литература, 1992. 703 с.

Пейрос И.И. Из архива памяти / Публ. И.И. Пейроса // Архив еврейской истории. Т. 5. М., 2008. С. 63.

Пименов Р.И. Воспоминания. Т. 1.— М.: ИИГ «Панорама», 1996. ??? с.

Писатели современной эпохи. Библиографический словарь русских писателей XX века / Ред. Б.П. Козьмин. М., 1928, Т. 1, С. 178—179.

Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. СПб. — Париж: Изд-во Гржебина, 1993. 229 с.

Портнова Н. Осип Мандельштам и Арон Штейнберг в Гейдельберге // СМР. Вып. 5/1. М., 2011. С. 252—259.

Пунин Н.Н. Дневники и письма / Подготовка к изданию Л.А. Зыкова. М.: Артист. Режиссер. Театр. 2000. С. 264.

Рюрик Ивнев. С Осипом Мандельштамом на Украине / Публ. Н. Леонтьева // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 120—132.

Слово и судьба. Осип Мандельштам / Отв. ред. З.С. Паперный. М.: Наука, 1991. 512 с.

Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя / Сост. П. Полян. М.: ОГИ, 2013. 624 с.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Лондон: ОРИ, 1990. 875 с.

Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума / Ред.-сост.: Р. Айзелвуд, Д. Мейерс. Тенафли: Эрмитаж, 1995. 350 с.

Ходасевич В.Ф. Некрополь. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. М.: Согласие, 1996. 464 с.

Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой в трех томах. М.: Согласие, 1997. (Т.1. 1938-1941. 544 с.; Т.2. 1952—1962. 832 с.; Т.3. 1963—1966. 544 с.

Шаламов В.Т. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела / Сост. И.П. Сиротинская. М.: Эксмо, 2004. 1072 с.

Шнейдерман Э. Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. № 1. С. 82—126.

Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911—1928). Париж: Синтаксис. 1991. С. 19.

Элиасберг Г.А. «Один из прежнего Петербурга»: С.Л. Цинберг — историк еврейской литературы, критик и публицист. М., 2005. 574 с.

Brown Cl. Mandelstam. Cambridge University Press, 1973. 320 p.

L'Emigration russe en Europe. Catalogue collectif des périodiques en langue russe. 1855—1940. Etablie par T. Ossorguine-Bakunine. Deuxième edition, revue et complété. Paris, 1990.

Ponfilly R. de. Guide des Russes en France. Paris: Editions Horay, 1990. 518 p.

Zum Winkel H.-J. Das Slavische Institut der Universität Heidelberg. Zur Vorgeschichte und Geschichte // Materialien zur Geschichte der Slavistik in Deutschland. Teil 1. Wiesbaden, 1982, s. 140.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- А.А. см. Ахматова А.А.
Абалаков Е.М. 478
Абашина Н. 779
Авербах Л.Л. 99, 762
Аверинцев С.С. 25, 28, 37, 60, 134, 137, 144, 155, 583, 782, 783, 796, 799, 800, 803, 808, 809, 810, 811, 820
ААврелин см. Штенберг Арон 3
Агниашвили П. 599
Адамович Г.В. 81, 82
Адамович М.М. 796
Адлер Ф. 292
Адмони В.Г. 547, 685
Адуев Н.А. 99, 514, 675, 739
Азадовский К.М. 9, 78, 309, 796
Азеф Е.Ф. 259, 260
Айвазовский И.К. 461
Айзелвуд Р. 824
Айзенберг М.Н. 780
Айзенлор А. 296
Айзенштадт А. Г. 396
Айхенвальд Ю.И. 81
Айч (Айзикович?) Н.В. 430, 431, 433, 435, 437, 669
Акаткин В.М. 782
Акатов Н. 657
Акимыч см. Штейнберг
Аксаков И.С. 278
Аксельрод П.Б. 260
Аксенов И.А. 739
Акума см. Ахматова А.А.
Алданов М.А. 640
Александр (товарищ Александр, Гейдельберг) 330
Александр см. Пушкин А.С.
Александр II 275
Александр III 275, 276
Александров Г.С. 466—468, 476, 797
Александров Н.Д. 814
Алексеева Л.К. 798
Алексеев-Гай А. 395
Алексиевич С.А. 706, 707
Алехин А. 241
Алигер М.И. 751
Алигьери см. Дант
Алой В.Е. 598
Альбрехт Я. 291
Альтенгаузен 480
Альтман Н.И. 200, 334, 677
Аматов Н.Н. 475
Амп (Гамп, Хамп) П. 405, 406, 589, 806
Амусин И.Д. 477, 529, 532, 533
Амфитеатров А.В. 261, 262
Ананишвили Э.Г. 747
Анатолий К. см. Какабадзе А.
Андерсон М. 361

* Содержит все встречающиеся в книге имена и псевдонимы (кроме О. Мандельштам и П. Нерлер). Имена, записанные кириллицей (на русском и болгарском языках), даны единым списком. Указатель составлен А. Еськовой и П. Нерлером.

- Андреев Е.А. 9
 Андреев Л.Н. 259, 356, 806,
 Андреев Н.А. 386
 Андреева-Карлайль Ольга Вадимовна
 364, 549, 551
 Андроникашвили см. Андронико-
 ва С.Н.
 Андроникова (Андроникашвили;
 Гальперн; Саломка) С.Н. 366, 614
 Андруша см. Трейвиш А.И.
 Аникеев А.А. 534
 Аникст А.А. 762, 763
 Аничка см. Ахматова А.А.
 Анна Александровна см. Полиевкто-
 ва А.А.
 Анна Андреевна см. Ахматова А.А.
 Анненский И.Ф. 137, 221, 271, 309
 Аннинский Л.А. 741
 Аннунцио Г. де 301
 Ан-ский С.А. (Раппопорт Ш.-З.А.)
 192, 249
 Антокольский П.Г. 179, 653
 Антон И.А. 768
 Антоновская А.А. 371
 Ануш см. Ахматова А.А.
 Анчаров М.Л. 14
 Анчиполовский З.Я. 582
 Анюта см. Ахматова А.А.
 Аня см. Хазина А.Я.
 Апостолова А.В. 525
 Аракин В.Д. 528
 Арго А.М. 739
 Ардов В.Е. 440, 739
 Ардовы (Ардов В.Е. и Ольшев-
 ская Н.А.) 440
 Аренс Е.М. 449, 450, 525, 532
 Аренс-Пунина А.Е. 260
 Ариост (Ариосто) Л. 50, 76, 143, 156,
 157, 175, 176, 341, 342, 346—348,
 400, 574, 750, 798
 Арк. Ак. см. Штейнберг А.А.
 Арнаутов Н.Б. 426
 Аросев Авив Я. 464, 467
 Аросев Александр Я. 464
 Аросева О.А. 464
 Арсений Арсеньевич см. Смольев-
 ский А.А.
 Арсений Федорович см. Смольев-
 ский А.Ф.
 Арсик см. Смольевский А.А.
 Архангельский 481, 482, 488
 Архимед 80
 Архиппов Е.Я. 77, 87, 378, 388
 Аршак 126, 129, 428
 Асеев Н.Н. 14, 15, 233, 448
 Асланишвили Ш.С. 112
 Ася см. Смольевский А.А.
 Атанасян В. 494
 Атарова К.Н. 821
 Ахвердян Г.Р. 376
 Ахмадулина Б.А. 760
 Ахманова О.С. 528
 Ахматова А.А. (АА; Акума; Аничка;
 Ануш; Анюта; Анна Андреевна)
 19, 55, 57, 58, 76, 84, 137, 174, 177,
 178, 185, 194, 200, 201, 220, 221,
 235—238, 251, 261, 262, 326, 339,
 341, 364, 376, 394, 395, 400, 401,
 408, 424, 440, 447, 477, 480 481,
 490, 507—509, 521, 524, 526, 527,
 532—534, 540, 541, 544—549, 553,
 556, 561, 562—568, 581, 591, 599,
 603—606, 609, 615, 616, 618, 619,
 623, 624, 626, 643, 665, 673—677,
 681, 684 685, 687, 688, 690, 691,
 694, 695, 698—701, 704, 720, 729,
 742, 748, 755, 756, 763, 767, 780,
 781, 792—794, 799, 805, 806, 816,
 820, 822, 827, на вклейке: полосы
 10, 15—16
 Бабаев Э.Г. 24, 26, 42, 43, 153, 526, 527,
 554, 673, 674, 733, 779, 819
 Бабаева Е.Э. 153
 Бабанова М.И. 651
 Бабель И.Э. 449, 705, 759
 Баберкина Н.А. 442
 Бабина Б.А. 329

- Бабин-Корень Б.В. 256
Бабицкая В. 780
Багрицкий Э.Г. 99, 214, 661, 668, 674, 675, 738, 769, 772
Бадзага Т. 787
Бажов П.П. 405
Байрон Дж. Г. 183
Бак Д.П. 31
Баккер З. 729
Балтрушайтис Ю.К. 353, 750, 754
Бальзак О. 367, 589
Бальмонт К.Д. 85, 261, 358, 378, 486, 633
Барабаш Е. 719
Баран Х. 690
Бараньчак С. 250
Бараташвили Н. 373, 597
Барбье О. 182, 204, 273, 378, 406, 806
Барбюс А. 589
Барзунов Н.И. 463
Баринова Г.В. 151, 403
Бартель М. 171, 204, 309
Бартоломео 296
Бартш К. 301
Баруздина В.М. 612
Басманова М.П. 533
Баталин В.А. (о. Всеволод) 476, 477
Баташев А.Н. 651
Батюшков К.Н. 176, 177, 251, 505, 507, 705, 711, 727, 750, 766
Баумгартен А.Г. 165
Баумштейн А. 662
Бах И.-С. 31, 110, 112, 118, 169, 336, 449
Бахрах А.В. 648
Бахтин М.М. 750
Бахтин Н.Н. 387
Бацаев И.Д. 472—474, 820
Башевис-Зингер И. 248
Бебутов Г.В. 597
Бедный Д. 483, 509
Беднякова Т.Н. 25
Бедье Ж. 49, 72, 264, 274
Безыменский А.И. 378
Бейер Т. 275, 299, 365
Бейзер М. 467
Бейлис М.М. 211, 390
Бейфус Д.Ф. 464
Бекар 739
Беклин 300
Белинский В.Г. 251
Белицкий Е.Я. 642
Белкин В.Ш. 9
Белкин И. 476, 483,
Белый Андрей 77, 198, 373, 476, 486, 487, 710, 774, 802, 804
Белый Х. 729, 795
Бельский Л.Н. 461
Белявский С.И. 255
Бен, Бенó см. Лившиц Б.К.
Берберова Н.Н. 634, 639, 640, 647
Бергер Ф. 264
Бергсон А. 49, 72, 75, 136, 264, 265, 274, 297, 298, 749
Бердигалиева А. 784
Березнер 105
Березовский Б.А. 28
Берестов В.Д. 526
Берзин Э.П. 472
Берия Л.П. 524
Беркович Е.М. 9
Берлин И. 727
Бернадинер Б.М. 437
Бернштейн И.И. (А. Ивич, Саня Ивич) 42, 95, 527, 531, 554, 677
Бернштейн С.И. 527
Бернштейны 527
Бертелло М. 264
Бершин Е.Л. 805
Бескин О.М. 74
Бестужев Вл. см. Гиппиус В.В.
Бецольд 296
Бикель М.М. 529
Бим и Бом см. Радунский И. и Виль-тзак Н.И.
Битов А.Г. 71, 808
Блаватская Е.П. 769
Благой Д.Д. 107

- Блок А.А. 77, 81, 130, 171, 177, 179, 186, 207, 208, 235, 251, 325, 375, 387, 487, 544, 633, 648, 657, 708, 712, 727, 736, 746, 759, 767, 768, 773, 774, 801
- Блок Г.П. 78
- Блюмкин Я.Г. 386, 652
- Бобосова А. 798
- Богатырева С.И. 9, 199, 527, 528, 531, 694, 820
- Богданов А.А. 104
- Богданова Э.Г. 251, 479
- Богомолов Н.А. 9, 633, 644, 649, 795
- Богомолов И. 80
- Бодлер Ш. 486, 646
- Божеянов А. 262
- Бойчук М.Л. 516
- Болль Ф.И. 284, 296
- Болтянская Н.С. 814
- Бонапарт 51, 344
- Бонч-Бруевич В.Д. 42, 666, 741, 773
- Боратынский Е.А. 171, 189, 505, 643
- Борис т. 330
- Борисов В.М. 218, 535, 548, 549, 554, 693, 737, 822
- Бородин А.П. 278
- Боссе см. Судейкина В.А.
- Ботвинник М.Н. 477, 478
- Ботникова А.Б. 582
- Бочкарева И.А. 630
- Бояджиева Х.Ф. 387, 388, 805
- Брандт 296
- Браун К. 32—34, 43, 44, 302, 304, 327—329, 351, 363—365, 543, 544, 549, 552, 554, 778, 820
- Браун Ф. 290
- Браунэ Т.В. 296, 301, 302, 304
- Брафман С.Я. см. Ходасевич С.Я.
- Брик Л.Ю. 14, 682
- Бродский Д.Г. 401, 542, 773
- Бродский И.А. 18, 143, 235, 236, 238, 241, 533, 542, 553, 685, 627, 773, 792, 797, 811
- Бройдо Г.И. 95
- Бруни А. 9
- Бруни Л.А. 652, 804, 827
- Бруни Н.А. 652, 656—659, 789
- Бруни Ф.О. 634
- Бруни-Бальмонт Н.К. 656
- Брусиловская Л.Б. 9, 225, 226, 798
- Брюсов А.Я. 634
- Брюсов В.Я. 13, 85, 168, 267, 270, 328, 486, 487, 633—635, 748, 762
- Буало Н. 201
- Бубнов А.С. 572
- Бубнов Н.Н. 281, 282, 310
- Буданов 461
- Будовниц И.В. 591, 601
- Будовниц И.У. 591
- Булавин М.Я. 429, 430, 436, 437, 669, 820
- Булгаков М.А. 61, 65, 374, 393, 705
- Булгакова Е.С. 408
- Булдберг 165
- Бунаков И.И. 281
- Бунзен Р.В. 283
- Бунимович Е.А. 727, 783
- Бунин И.А. 192
- Буонарроти см. Микеланджело Б.
- Буравлев М. 486, 492
- Бурлюк Д.Д. 588, 739
- Бурнье Ж. 292
- Бурцев В.Л. 260
- Бутомо-Названова О.Н. 339
- Бухаев В.Б. 729
- Бухарин Н.И. 64, 385, 396, 424, 437, 463, 509, 691, 692, 739, 771, 821
- Бухарин Ю.Н. 771
- Бухштаб Б.Я. 532
- Буяновы А.А. и Н.С. 582
- Быков Д.Л. 814
- Быстрова О. 100
- Бычков С.С. 778, 783
- Бэйнз Дж. 41
- Бюлов Д. 300
- Бюффон Ж.-Л.Л. де 123

- Вагинов К.К. 763
Вагнер Р. 300
Важа Пшавела 204, 372, 373, 375, 376, 593, 597, 801, 802
Вайсбург А.И. 473
Вакс Б.А. 672
Ваксель О.А. (Лютик) 55, 151, 152, 154, 157, 158, 173, 187, 188, 339, 521, 522, 605, 608—632 747, 753, 773, 781, 796, 798, 820, на вклейке: полоса 8.
Вальдберг 296
Вальтер В.А. 554
Ван Вэй 802
Ван Гог (Ван-Гог) В. 123, 534
Ваншенкин К.Я. 802, 804
Вардин И.В. 98
Варейкис И.М. 428—430
Варенцова Е. 798
Василевский Л.И. 772
Василенко О. 720
Василенко С.В. 9, 20, 38, 49, 59, 157, 226, 227, 554, 556, 582, 729, 754, 780, 781, 783, 784, 797, 798, 804, 806—808, 820, 822
Василуполо Х.М. 691
Васильев А.Г. (Сашка Васильев) 17
Васильев П.Н. 202, 666, 759, 768
Васильева Л.Н. 366
Васильева М.И. 261
Васильева Н. 375
Васильков Я.В. 467
Васнецов В.В. 461
Васса 530
Вахтангов Е.Б. 179
Введенский А.И. 598
Введенский И.И. 90
Вебер А. 296
Вебер Д. 290
Вебер М. 281, 282, 296, 297
Вега Л. де 519
Вега Л. де 519
Вегин П.В. 801
Вейдле В.В. 80
Вейсберг В.Г. 223, 541
Величко 754
Вельтман А.Ф. 661
Венгеров С.А. 185
Вербловская И.С. 532, 826
Вергилий 748
Вересаев В.В. 749
Верлен (Верлэн) П. 119, 137, 179, 182, 267, 269, 271, 273, 319, 328, 486, 646
Вертер-Жукова В.А. 591
Верхарн П. 182
Верховский Ю.Н. 198
Верченко Ю.Н. 743, 745
Веселицкий Г. 279
Вечорка Т. см. Толстая Т.
Вигдорова Ф.А. 533, 534
Видгоф Л.М. 9, 381, 442, 643, 783, 790
Вийон (Виллон) Ф. 50, 71—73, 177, 273, 328, 362, 506, 774
Виллон см. Вийон Ф.
Вильям-Вильмонт Н.Н. 740
Винавер М.Л. 406, 407
Виндельбанд В. 276, 282, 283, 285, 289, 296, 297, 302, 303, 329
Виноградов 747
Винтерфельд 65
Вистендаль (Иргенс-Вистендаль) Х. (Христиан) 611, 615, 628—630
Витковский Е.В. 645
Вишневецкая С.К. (Сонька) 514, 590
Вишневская Ю.И. 9
Вишневский В.В. 514, 759
Владимирский 458
Владя см. Ходасевич В.Ф.
Влахос С. 802
Водопьянова З.К. 792
Вознесенский А.А. 13, 14
Войнович В.Н. 808
Волгин И.Л. 786
Волин 461
Волконский С.М. 387

- Володина Н. 720
 Волошин М.А. 195, 261, 309, 310,
 313—315, 390, 400, 508, 569, 574,
 575, 577, 612, 613, 708, 738—739,
 802, 821
 Волошина М.С. 76, 569, 577, 790
 Вольпе Ц.С. 444, 588
 Вольперт Л.И. 532
 Вольпин М.Д. 735
 Вольтер Ф. 201
 Вольфензон (Вольфензон-Цыбулев-
 ская) К.А. 803, 807
 Вольфрум 296
 Вормс Р. 264
 Воробьева М.З. 226, 670, 780, 782, 799
 Воронихин А.Н. 342
 Воронский А.К. 77, 98
 Ворошильский В. 250
 Врангель П.Н. 573
 Врубель-Голубкина И. 672, 688, 691
 Выгодские Д.И. и Э.И. 591
 Выгодский Д.И. 591, 599
 Вырובה А.А. 366
 Выробоф 264
 Высоцкий В.С. 544
 Вышинский А.А. 256

 Габрилович Е.И. 104, 651
 Гаврилова А.П. 9
 Гадаев Л.Т. 727, 729
 Гайдар А.П. 405
 Галич А.А. 14
 Галкин Н.В. 79
 Гальперина-Осьмеркина Е.К. 400, 673,
 674
 Гальперн см. Андроникова С.Н.
 Гамбаров С.П. 115
 Гамп см. Амп П.
 Гамсун К. 71, 270, 661
 Ганин А.А. 208
 Гапон Г. 249, 255
 Гаприндашвили В. 371—373, 376
 Гаранин С.Н. 472, 474, 492
 Гарбуз Левка (Томчинский) 480, 481
 Гардзонио С. 340, 649, 820
 Гарибальди Д. 279
 Гартенаэр В. фон 302
 Гаршин В.Г. 565
 Гаспаров М.Л. 31, 37, 38, 132, 134, 136,
 140, 143, 144, 155—157, 749, 782,
 792, 798, 799, 809, 810, 820, на
 вклейке: полоса 14.
 Гастев А.К. 257
 Гаусс К. 364
 Гауптман 270
 Гачев Г.Д. 595
 Геворкян М. 124
 Гегель Г.Ф. 707
 Гейне Г. 179, 339
 Геллер Ф. 206
 Гельдерлин Ф. 169
 Гениева Е.Ю. 781
 Генкин М.И. 427, 428, 431, 437, 669
 Гера А. 650
 Гервег 171
 Гердер И.Г. 333
 Герман Я. 17
 Германнс Г. 291
 Герцен А.И. 32, 80, 81, 251, 279, 280,
 391, 393, 441, 571, 572, 650, 653,
 742
 Герцог-Бородина Р. 582
 Герцык Е.К. 306
 Герчиков М.И. 466, 467, 787
 Гершензон М.О. 88, 653
 Герштейн Э.Г. (Э.Г.; Э. Гр.) 35, 74, 76,
 84, 174, 207, 208, 294, 394, 395,
 398, 421, 512, 514, 524, 541, 553,
 554, 584, 610, 621, 624, 665, 673—
 675, 672, 677, 680, 681, 683, 685,
 688, 689, 751, 754, 756, 758, 759,
 763, 771, 773, 819, 820
 Герштейны 759
 Гершуни Г.А. 260
 Гесиод 749
 Гессе Г. 611

- Гессен С.И. 281, 310
Геге И.В. 120, 137, 157, 160, 161, 163,
167—173, 287, 315, 333, 339, 348,
349, 507, 558, 611, 631, 763
Геттнер А. 296, 297
Гейфтер В.М. 9
Гецов М.А. 661—665, 667
Гецова Н.М. 660
Гингер А.С. 649
Гинзбург Л.Я. 59, 532, 665, 672, 707,
754, 780
Гиппиус Александр Васильевич 745
Гиппиус Василий Васильевич 746, 747
Гиппиус Василий Иванович 747
Гиппиус Владимир Васильевич (Вл.
Бестужев; Вл. Нелединский) 71,
178, 209, 256, 269, 270, 272, 507,
734, 735, 745—747, 753
Гиппиус Евгений Владимирович
745—747
Гиппиус Зинаида Николаевна 309
Гиппиус Наталья Александровна
735—736
Гиппиус Сергей Васильевич 747
Гирш Ф. 290
Гитлер А. 64, 458
Гладков А.К. 217, 537—539, 541, 542,
546, 547, 550, 606, 616, 617, 621—
623
Глазунова Л. 624
Глезер О.Б. 13
Глускина С.М. 532—534
Глухов И.К. 529
Глухов-Щуринский А.И. 395
Глюк К.В. 169
Гнедич Н.И. 200
Гогла см. Леонидзе Г.Н.
Гоголь Н.В. 87, 251
Годунов Борис 352
Головачева А.В. 534
Головко Ф. 418
Головнин А.В. 279
Голодец О.Ю. 720
Голубовский Е.М. 9
Гольшева Е.М. 531
Гольдварг Э.С. 465, 466
Гольдони 190, 193
Гольцев В.В. 379, 593
Гомер 182, 200, 288, 358, 506, 758
Гончаров И.А. 279
Гончарова Н.С. 261, 648, 698, 748
Гораций 589, 748
Горбачев Д. 516
Горгидзе М.Ф. 366
Гордеев Д. 375
Гордин В.Л. 579, 582—584, 586, 587,
782
Гордина Н.В. 9, 579, 582, 586, 587, 783,
799
Горлин А.Н. 89
Горлов В.М. 493
Горнунг А.В. 820
Горнунг Б.В. 670, 671, 780, 791
Горнунг Л.В. 62, 391, 753, 820
Горнунг М.Б. 9, 670, 715, 780, 827
Горнфельд А.Г. 55, 56, 85, 88—107, 212,
213, 326, 467 на вклейке: полоса 4
Городскова Н.А. 783
Горький Максим (Пешков А.М.) 32,
95, 96, 100, 152, 200, 639, 705, 763
Готхайн 296
Готхарт Н. 798
Готье Т. 85
Гофман В. 306, 631
Гофман В.В. 306, 635
Гофман Э.Т. 807
Гоффеншефер В.Ц. 71
Гоц А.Р. 325
Гревс см. Крепс Е.М.
Грейцер Г.-Ф. 296
Гржебин З.И. 823
Грибоедов А.С. 181, 393
Григоренко 742
Григорьев А.А. 81, 171

- Григорьев А. см. Мец А.Г.
 Грин А.С. 76, 175, 259, 400, 508, 509, 569, 571, 572, 574—576, 759
 Грин Н.Н. (Нинуш) 76, 175, 400, 509, 569—578, 759, 790
 Гришавили И.Г. 376, 802
 Гроссман Л.П. 663
 Груздев И.А. 747
 Грузинов И.В. 388, 739
 Грымов Ю.В. 240
 Губина 418
 Гуговна см. Усова А.Г.
 Гудиавили Л. (Dilado) 648
 Гузевич Д.Ю. 263
 Гуковский Г.А. 665
 Гулиа Д.И. 378
 Гумбольдт А. фон 285
 Гумилев Л.Н. 684, 685, 689, 690
 Гумилев Н.С. 23, 52, 61, 77, 79, 194, 196, 198, 207, 220, 261—263, 274, 306, 326, 374, 508, 547, 624, 625, 697—702, 740, 803
 Гурвич А.Г. 113, 120
 Гурвич Г. 329, 330
 Гурвич Э.С. (Леля) 735, 753, 760, 766, 772
 Гурина Т.Л. 582
 Гурьянов А.Э. 465
 Гусев С.И. 396
 Гуссерль Э. 297
 Гучковы 636
 Гуцин А.П. 783
 Гуцин М.В. 463
 Гыдов В.Н. 429, 430, 579, 582, 782, 809, 820
 Гэллап Р. 359
 Гюго В. 589
 Д. см. Дардыкина Н.
 Давидсон А. 803
 Давидсон П. (Pamela) 772
 Давыдов Давид, фотохудожник 785
 Давыдов Данила, филолог 778, 796
 Давыдов М.А. 821
 Дадимов М.Я. 478, 479
 Дальний Г. см. Суперфин Г.Г.
 Дан Ф. 260
 Данич В. 29
 Дант (Данте) 50, 58, 59, 67, 68, 76, 77, 78, 111, 112, 115, 119, 120, 131, 136, 159, 173, 176, 177, 325, 341, 346, 347, 352, 400, 505—507, 527, 531, 550, 559, 561, 574, 598, 606, 658, 755, 756, 763, 775, 779, 806, 808, 822
 Дантес Ж. Ш. де Геккерен 106, 213
 Дантон Ж.Ж. 325
 Данцигер Ю. 375, 802
 Дарвин Ч. 110 735
 Дардыкина Н. 757
 Дарья, кухарка 511
 Дворжак А. 449
 Де Мони Э. см. Мони Э. де
 Деборд-Вильмор М. 184
 Деген О. 371
 Дедюлин С.В. (Кириллов К.) 140
 Дейч А.И. 516, 518, 520, 820
 Дейч Е.К. 758, 820
 Дейч Л. 281
 Декарт Р. 297
 Делакруа Э. 116, 173
 Делекторская И.Б. 782, 783, 798, 809
 Демарчик Е. 250
 Демель Р. 309
 Демидов И.И. 719
 Демут К. 293
 Деньгова Л.А. 457
 Денъчуков С.Г. 464
 Державин Г.Р. 486, 640
 Дерман А.Б. 92, 101
 Джаллагония Н. 787
 Дживелегов А.К. 76
 Джонсон 289—293, 295, 331
 Джонсон Г. 290
 Джордано Р. 814
 Джорджадзе Д. 366

- Джорджадзе Т. 366
Дзержинский Ф.Э. («Феликс Дзержинский») 386, 473
Диаманд Ф. 555, 556
Дианин С.А. 278
Диккенс Ч. 90
Длигач Л.М. 42
Дмитренко А.Л. 598
Дмитриев В.В. 814
Дмитриев И.И. 201
Дмитриева Е. 306
Дмитриева М. 516
Додэ А. 87
Долгорукие 674
Должанская Л. 407
Долидзе Ф.Я. 376, 392
Долинов А.И. 387
Долинов М.Е. 406
Долматовский Е.А. 745
Домашевский 296
Домбровская К.Ф. 771
Домбровский Ю.О. 740
Дондуа К. 375
Достоевский Ф.М. 179, 209, 251, 324, 333, 512
Драбкина А.В. 735
Драйден 746
Драницин В.Н. 796
Драстамат 126
Дрейфус 99, 105, 335, 395
Дрожжин С.Д. 198
Дроздова Т. 537
Друк В.Я. 27
Друскин Я.С. 598
Ду Фу 770
Дукень Ж. 363
Дымант С.Н. 9, 17
Дымшиц А.И. 422, 692, 707, 708
Дымшиц С. 262
Дьяков Б. 661
Дьяков Д.С. 814
Дюамель Ж. 589
Дюгенз Ф. 291
Дюкова М.Г. 533
Дюма А. 29
Дюн 296
Дягилев С.П. 261
Е-ва 760
Еврипид 177
Евтушенко Е.А. 758
Ежов И.С. 639
Ежов Н.И. 424, 426, 427, 440, 473
Елозо С.В. 428, 429
Ельницкий Л.А. 453
Еременко А.В. 768
Еременко В.Н. 21—23, 211, 775
Еремина Е. 766
Ермилов В. 761
Ермолаева Н. 796
Ерчинский М. 248
Есенин С.А. 208, 235—238, 389, 390, 457, 483, 666, 670, 705, 707, на вклейке: полосы 15—16.
Есин В. 661
Есин С.Н. 815
Есипов В.В. 9
Еськова А.Д. 7, 9, 226, 783, 825
Жажоян М. 777, 810
Жданов А.А. 64, 426, 821
Жекулина А.В. 515
Желудков С.А. 533, 534
Живов В.М. 535
Живова Ю.М. 211, 535, 549
Жирмунский В.М. 76, 257, 366, 526, 528, 530, 685, 746, 749
Жуков Д.П. 598
Жуковский В.А. 85, 184, 705, 766
Журавлева Л. 767
Заболоцкий Н.А. 763, 768
Завадовский Л.Н. 431, 661
Загоровский П.Л. 437, 580—582
Зайлер 325
Зайончковская Ж.А. 787

- Зайцев Б.К. 198
 Залиева А.Е. 782, 789, 809
 Замятин Е.И. 100, 364, 806
 Замятина М. 306
 Заславский Д.И. 56, 97—102, 104, 106, 107, 395
 Заславский Д.П. 579, 582, 782, 799
 Заславский П.Д. 799
 Заславский С.А. 645
 Захаренко Т.Г. 226
 Захаров В.П. 9
 Захаров П.П. 478
 Звенигородский А.В. 759, 772
 Зданевич И. 370, 371
 Зелинский Ф.Ф. 748
 Зельманова А.М. 614
 Зелюк Г.О. 648
 Земляникина Ю. 241
 Зензинов В.М. 277, 297, 312, 649
 Зенкевич Е.П. 307, 334, 608, 753, 754, 772, 804, 806
 Зенкевич М.А. 86, 99, 399, 673, 674, 690, 762, 774
 Зильберов Л. 720
 Золотусский И.П. 764
 Зощенко М.М. 767
 Зубакин Б.М. 391, 739
 Зубарев Д.И. 9, 108, 778, 798, 807, 821, 823
 Зульфикаров Т.К. 803
 Зыкова Л.Н. 823

 Ибсен Г. 270
 Иванов Всеволод Вячеславович 99
 Иванов Всеволод Никандрович 288, 289, 821
 Иванов Вячеслав Всеволодович (Кома) 232, 533, 586
 Иванов Вячеслав Иванович 144, 268, 269, 289, 306—308, 315—317, 319, 321, 508, 748, 749, 772
 Иванов Г.В. 61, 194, 196, 198, 262, 508, 541, 623, 739, 740, 771
 Иванов П.И. 533
 Иванов С. 604
 Иванова Е.В. 782
 Иванова И.Г. 781, 820
 Иванова Л.Н. 823
 Иванушко Н. 464
 Иваск Ю.П. 798
 Ивич А. см. Бернштейн И.И.
 Ивич-Богатырева С.И. 9, 199, 527, 531
 Ивнев Рюрик 388, 389, 517, 518, 520, 739, 799, 824
 Ивойлов (Княжнин) В. 306
 Идельсон А.А. см. Парнох А.А.
 Идиев И. 787
 Иловайская-Альберти (Иловайская) И.А. 810
 Ионоу И.И. (Бернштейн) 95—97, 104—107
 Иргенс-Вистендаль Х. см. Вистендаль Х.
 Исакович И.В. 680, 681, 708
 Исаковский М.В. 705
 Исаянц В.И. 582
 Исмагулова Т.Д. 9
 Иткина Р.С. 582

 Кабаков 767
 Каблуков С.П. 53, 268, 269, 271, 306, 322, 324, 325, 331, 344, 530, 666
 Каверин В.А. 553, 699
 Казаринова В.Д. 416
 Казарновский Ю.А. 476, 477, 482, 483, 491, 499
 Казаровецкий В.А. 27
 Казин В.В. 741, 764
 Казинцев А.И. 213
 Какабадзе А. (Анатолий К.) 378
 Каладзе К.Р. 597
 Калашникова Ю. 464
 Кале 296
 Калецкая Т.П. 660
 Калецкий П.И. 430, 431, 433, 435, 437, 660—669, 788, на вклейке: полоса 9.
 Кальдерон П. 654

- Кальницкий М. 515
Каменев Л.Б. 419
Каминская Алиса Яковлевна 645
Каминская Анна Генриховна 540
Камков (Кац) Б.Д. 261, 325, 329
Каммерер П. 118, 736
Канатчиков С.И. 97—100, 104, 106, 107
Каневский В.С. 35, 505
Канина З.Г. 661, 668, 669
Каннегисер Л.И. 381, 518
Кант И. 171, 285, 297, 302, 304, 326
Кантемир А.Д. 748
Кара-Дарвиш 376
Каранович Е.Л. 759
Карп П.М. 9
Карпов П.И. 391
Карпович М.М. 260, 261, 266, 267, 272, 274, 821
Картилльери 296
Карцевадзе А.Ф. (Цуца) 597, 604
Карякин В.Н. 89—90, 93, 95, 104
Кассирер Э. 749
Кастенхольц М. 331
Катаев В.П. 99, 201, 444, 695, 738—740
Катаев Е.П. (Евгений Петров) 444
Катаевы, братья 444
Катков М.Н. 280
Катулл 369, 646, 748
Каутский 335, 336
Кацис Л.Ф. 9, 18, 34, 207, 215, 226, 715, 821
Качалов В.И. 770
Каюров В.Н. 419
Кейр Д. 387
Келдыш В.А. 782
Келлерман М.Я. 21
Керенский А.Ф. 771
Керзон Д.Н. 64
Кернер 170, 333
Кибиров Т.Ю. 795
Кика см. Лившиц К.Б.
Ким А.А. 803
Кириллов К. см. Дедюлин С.В.
Киров С.М. 368, 374, 424, 658
Кирсанов С.И. 14, 15
Кисилева Л.Н. 792
Киссин С.В. (Муни) 635, 637, 644
Кистяковский А.А. 760
Кишилов Н.Б. 799
Кишилова А. 799
Клейман Н.И. 9, 718
Клейст Э.Х. на вклейке: полоса 3.
Клингер 288
Клопфшток Ф.Г. 173
Клычков Е.С. 556
Клычков С.А. 119, 208, 391, 442, 510, 734, 768, 771
Клюев Н.А. 427, 428, 768
Кнабе Г.С. 715
Кнут Довид 649
Ко В. 719
Кобенков А.И. 789
Кобринский А.А. 390
Ковалев И.В. 532
Ковалев И.Н. 476, 483, 497
Ковалевская С.В. 210, 284
Ковалевский В.В. 388—390, 739
Ковалевский М.М. 265
Коваленков А.А. 76, 565, 624, 747
Коваленков С.А. 804
Коварский Н.Н. 74
Ковач М. 378
Ковельман А.Б. 207
Ковтун А.Ф. 779
Коган П.С. 87, 663
Коген Г. 297
Кожин В.В. 211, 214, 761
Козачинский А. 668
Козинцева (Эренбург) Л.М. 514, 520, 521, 590
Козлов 471
Козлов А.Г. 472—474, 820
Козловский М. 661
Козо-Полянский Б.М. 529
Козьмин А.В. 41, 800
Козьмин Б.П. 259, 823

- Кола Ш. 582
Колас Я. 483
Колбасина-Чернова О.Е. 82
Коломойцева Т.А. 416
Колосов М. 769
Колотилова С.И. 533
Колоцца Д.Л. 387
Кольцов А.В. 141, 662, 665, 752
Кома см. Иванов Вячеслав Всеволо-
дович
Кончаловский П.П. 514
Конюхова Е.Н. 22
Копелев Л.З. 809
Корбьер Т. 596
Корди Н.Г. (Таля) 672, 683
Коржавин Н.М. 813
Корзун И.В. 478
Коркина Е.Б. 103
Коркия В.П. 27—29
Коркунов В.И. 438, 445
Корнеев Ю.Б. 604
Корнеева И. 719
Корнуэлл Б. 179
Коробова Э. 533
Королев 772
Короленко Псой 438
Корогаев В.И. 9
Коротеев В.П. 477
Короткова А.П. 771
Костарев Н.К. 439—443, 525
Костарева Н.Н. 442
Костер Ш. де 86, 87, 89—92, на клей-
ке: полоса 4.
Костючук Л.Я. 533
Коськов Л.К. 582
Котов А.К. 748
Котова Л.Т. 748
Котова Н.А. 741, 764
Котова Т.В. 226
Кох 296
Кочетков А.С. 770
Кочин Н.И. 192, 193
Кравченко А. см. Яр-Кравченко А.В.
Краевич 335
Крайнева Н.И. 780, 820
Крайсс Ф. 291
Крамской И.Н. 461
Красильников С.А. 480
Краснопольский В.Л. 767
Кратт И. 668
Крейд В.П. 778
Крепс Е.М. (Гревс) 473, 475, 476-478,
484, 485, 493, 621
Крепс Т. 484
Кресанов 500
Кретова О.К. 429, 433, 661, 669
Кривицкий А.Ю. 463, 762
Кривицкий Р.Ю. 463, 762
Кривицкий-Кошевик И.А. 463
Кривомазов А.Н. 813
Кривошеина Н.А. 529
Кривцова А.В. 804
Критский В.В. 510
Кричевский А.М. 29
Кроленко А.А. 74
Крученых А.Е. 399, 448
Крылов И.А. 201
Крылов С.А. 9
Крюков А.С. 582
Кубатьян Г.И. 108
Кувалдин (Трифонов) Ю.А. 705, 758,
765, 766
Кувырталова Т.Г. 457
Кудашева М.П. 480
Кудрявцев М.Е. 195
Кудрявцева А.Н. 806
Кузин Б.С. 113, 114, 118, 120, 162, 163,
167, 168, 172, 173, 175, 179, 208,
396, 398, 400, 449, 508, 509, 516,
522—526, 559, 565, 573, 674, 676,
683, 733, 734, 736, 759, 807, 821, на
клейке: полоса 3.
Кузина Г.С. 733, 734, 736
Кузина Е. 634
Кузмин М. 54, 198, 221, 591, 775, 805
Кузнецов Н.Н. 494

- Кулаков 458
Кузнецов Ф.Ф. 705
Кузовкин Г.В. 9, 798, 821
Кулебакин А. 375
Куллаева С.Б. 478
Кунтур Я. 9, 415, 416, 821
Куняев С.С. 202
Куняев С.Ю. 202, 214, 775
Купченко В.П. 261, 309, 612, 802, 810, 821
Кураев В.В. 410, 411, 417, 821
Куранда Е. 533
Курбатова Л.М. 533
Кусиков А.Б. 389, 390, 739
Кусов Г.В. 612, 614
Куншер А.С. 241, 601, 631, 654, 742
- Лавриненко Г. 569
Лавров А.В. 9, 251
Лавров П.Л. 249
Лаговская Т.П. см. Милютина Т.П.
Лакоба С.З. 763
Ламарк Ж.Б. 55, 123, 124, 169, 722, 735
Ланн Е.Л. 804
Лансере Н.Е. 477
Ланщиков А.П. 764
Лапин Б.М. 753
Лаппо Г.М. 245
Лапшевцев А. 411
Ларин Ю.Н. 771
Ларина К. 719
Ларионов М.Ф. 261, 648
Ларьков С.А. 9, 462
Ласк Э. 50, 165, 296, 302—304, 329, 331
Ласкин А.С. 9, 608, 623, 781, 820
Ласунский О.Г. 586, 782, 817, 820
Латынина А.Н. 747, 751
Лафорг Ж. 589, 596
Лахути Г. 447, 449
Лахути Д.Г. 9, 131, 137, 138, 142, 145, 149, 152
Лебедев А.Е. 587
Лев см. Ржевский Л.А.
- Левазье 264
Леви М. 264
Левидов М.Ю. 399
Левик В.В. 760
Левин Ю.А. 757, 770
Левина Е.В. 457
Левина Р.Е. 529
Левина Т. 417
Левинтон Г.А. 749, 782
Левитин Е.С. 548
Левицкий Л.А. 541
Левковская К.А. 528
Левченко М.И. 579
Ледовских Т.В. 586
Лежнев А. 79
Лежнёв И.Г. 78, 739
Лезер 296
Лейбниц Г. 333
Лейбов Р.Г. 792
Лейбович О.Л. 419
Лекманов О.А. 9, 36, 38, 91, 103, 226, 715, 782, 783, 799, 807—809, 821, 823
Леля см. Гурвич Э.С.
Леля см. Павлов А.В.
Лена-конструктивистка, Ленка см. Фрадкина Е.М.
Ленин В.И. (Ильин) 42, 63, 97, 101, 265, 414, 419
Лентулов А.В. 514
Леонидзе Г.Н. (Гогла) 376, 592—594, 596, 597
Леонов Н.Д. 419, 526, 527
Леонович В.Н. 802
Леонтьев Н.П. 799, 824
Лермонтов М.Ю. 175, 185, 214, 333, 390, 483, 705, 766, 768
Лернер Н.О. 79
Лесков Н.С. 754
Лесман М.С. 43, 195, 477
Лесняк Б.Н. 463
Лесскис Г. 821
Леупольд Г. 332

- Леффман 296
Ливанов Д.В. 720
Лившиц Б.К. (Бен, Бенó) 55, 76, 89, 95,
168, 251, 353, 378, 508, 516, 521,
588—600, 622, 747, 754, 762, 771,
774, 779, 788, 791, 798, 804—805,
824, на вклейке: полоса б.
Лившиц Е.К. (Скачкова; Скачкова-
Гуриновская; Тата) 96, 521, 547,
556, 565, 588, 590, 592, 596, 597,
600—607, 615, 616, 619—623, 779,
789, 805—806, на вклейке: по-
лоса б.
Лившиц К.Б. (Кика) 591, 602
Лиленталь 329
Лилиенкрон Д. фон 309
Лина, Лина Михайловна, Лина На-
умовна, Л.И. см. Финкельштейн
Лина Самойловна
Линев А.В. 279
Линецкая Э.Л. 604
Линней К. 123
Линник О. 582
Липавский Л.С. 598
Липкин С.И. 63, 71, 395, 400, 545, 575,
590, 705, 747, 768, 769, 772, 783,
785, 796, 799, 801, 802, 810, 811,
814, 815, 821,
Листова О. 29
Литвинов В.Б. 9, 30, 41, 492, 532, 820
Лихачев Д.С. 754
Лихачев И.А. 598
Логош О. 778
Лозинские 747
Лозинский М.Л. 53, 194, 195, 444, 599,
747
Локшин А.
Ломерер К. 291
Ломоносов М.В. 275
Ломунова 760
Лондон Д. 744, 806
Лопатинский К.А. 371
Лордkipанидзе З. 787
Лорка Ф.Г. 654
Лотман М.Ю. 184
Лошак В.Г. 785
Лугинин В.Ф. 279
Лужков Ю.М. 35
Лукницкая В.К. 43, 696, 754, 769, 806,
821
Лукницкий А.В. 696
Лукницкий П.Н. 78, 103, 201, 696—
702, 769, 791, 806, 821, 828
Лукницкий С.П. 696, 701
Лукьянченков С.Н. 582
Луначарский А.В. 172, 385, 738
Лундберг Е.Г. 760
Лунегов И.А. см. Музейный И.
Лунин Б. 598
Лурье С.А. 781, 808
Лутинин В.Ф. 279
Луцин И.А. 419
Лысенко Е.М. 806
Лысенкова Е.Л. 791
Львов А. 808
Львова А.П. 630
Львова Ю.Ф. 612, 614, 618, 620, 623,
631
Львов-Рогачевский В.Л. 104, 557, 739
Любимов А.Б. 510
Любимов Н.М. 90, 91
Любин В. 768
Любищев А.А. 528, 538, 736
Любищев О.А. 529
Любищева Л.А. 529
Любищевы 529
Лютер М. 337, 358
Люттик см. Ваксель О.А.
Лямкина Е.И. 76
Лях В. 476, 483
Магазинер А.Г. 428
Магденко Е.П. 614
Маергойз И.М. 786
Майков А.Н. 754
Маймин Е.А. 532, 533

- Маймины (Маймин Е.А. и Фесенко Т.С.) 532, 533
- Майн-Рид 358, 359
- Майский И.А. 739
- Макарова О.Е. 782
- Македонов А.В. 707
- Маккавейский В.Н. 511, 519
- Маккавейский Н.К. 511
- Маккавейский Н.Н. 511
- Мак-Лиан Р. 550
- Маковский С.К. 207, 623
- Максименков Л.В. 821
- Максимов Д.Е. 545, 551
- Малевич К.С. 516
- Малевич П.Х. 460—462
- Малларме С. 271, 596
- Малхазова М.Я. 22,
- Мальмстад Д. 23
- Малявин 458
- Мамедов А.И. 813
- Мамедова Д.Н. 226, 783, 799, 809, 820
- Мамонтов Г.А. 226
- Мамонтова Е. 9
- Мампория О. 787
- Мандельштам А.А. 806
- Мандельштам А.Э. 41, 87, 271, 272, 307, 340, 368, 370, 391, 394, 396, 409, 490, 491, 507, 513, 514, 517, 520, 524, 531, 577, 612, 753, 766, 767
- Мандельштам Е.Э. 265—267, 271, 272, 293, 396, 478, 484, 487, 526, 577, 612, 618, 620—623, 737, 753, 822
- Мандельштам И.Б. 213, 760
- Мандельштам Н.Е. (Татьяка) 444
- Мандельштам Н.Я. (Над. Як.; Н.Я.; Н. Яковлева) 21, 32, 42, 43, 61, 78, 87, 136, 138, 140, 145, 151—155, 157, 162, 167, 174, 215—223, 227, 250, 309, 359, 365, 366, 370, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 388, 391, 393, 394, 396, 400, 401, 407—410, 414, 416, 417, 421, 425, 433, 434, 438, 442, 443, 447, 449, 450, 455, 456, 477, 490, 491, 499, 510—573, 575—577, 581—584, 590, 591, 599, 605, 606, 609, 610, 613, 616, 617, 620—624, 663—695, 701, 708, 713, 728, 729, 733, 734, 736, 737, 740—742, 745, 748, 752, 753, 755, 756, 760, 763—767, 771, 772, 774, 795, 780—781, 790, 792—793, 795—799, 805—807, 818, 821, 822, на вклейке: полосы 2, 7, 12
- Мандельштам Т.В. 807
- Мандельштам Ф.О. 263, 259, 267, 268, 271, 272, 289, 293, 333, 351, 500, 737
- Мандельштам Э.В. 209—211, 248, 259, 263, 332—334, 393, 394, 400, 444, 500, 674
- Мандельштам Ю.Е. 753
- Мандрыкина Л.А. 83
- Мануйлов В.А. 619, 620, 802
- Мар С.Г. 739
- Маранц М.И. 498
- Маранц С.Р. 498
- Маргвелашвили Г.Г. 779, 802, 815
- Марголина О.Б. 640
- Марголина С.М. 733—736, 738
- Мариенгоф А.Б. 76, 388
- Мариэтта см. Шагинян М.С.
- Маркиш С.П. 533
- Марков А. 781
- Марков В.М. 464, 478, 479, 482
- Маркс К. 297, 335, 336, 500
- Марр Н.Я. 125, 378, 596
- Мартов Ю.О. 260
- Маргьнов А. 260
- Маргьнова Т.А. 457
- Маруся см. Петровых М.С.
- Маршак Б.И. 43
- Маршак С.Я. 100, 534
- Маслов Г.В. 746
- Масловская Е.В. (Тимофеева Леля) 611
- Масперо 264

- Матисс А. 123
 Маторин Д.М. 451, 473, 476, 478, 481, 483—486, 491, 501
 Мачтет Г.А. 739
 Машинская И.В. 786
 Маяковский В.В. 14, 15, 196, 235—239, 353, 377, 378, 483, 544, 589, 595, 604, 675, 707, 708, 762, 767, 768, на вклейке: полосы 15—16.
 Мегрелидзе М.К. 604
 Медалье Б. 465
 Медалье Ш.-Е. —Л. 465
 Мединский В.Р. 718—721
 Мейе А. 264
 Мейерс Д. 824
 Мейерхольд В.Э. 651
 Мекк Г. фон 445
 Мекк фон, баронесса 670
 Мельникова Н. 9
 Менделеев Д.И. 278
 Мень А.В. 536, 537
 Мережковский Д.С. 309, 310, 487, 633, 748
 Мервин В.С. 364
 Меркулов В.Л. 476, 477, 480, 482, 484—487, 490,
 Меркурьева В.А. 759
 Мец А.Г. (Григорьев А.) 59, 60, 133, 134, 152, 155, 157, 164, 204, 226, 257, 314, 406, 582, 754, 779, 822, 823
 Микеланджело Б. (Буонарроти) 300, 423
 Миков 415
 Микушевич В.Б. 33, 39, 159, на вклейке: полоса 13.
 Миллер И. 496
 Миллер Л.Е. 770, 801
 Милюков П.Н. 739
 Милютин И.К. 474, 476, 477, 481, 482, 493, 502
 Милютин (Лаговская) Т.П. 474, 481, 502, 822
 Миндлин Э.Л. 406, 623, 737—739, 820, 822
 Минор О.С. 648
 Минцер П. 249
 Мирбах В. фон 386, 652
 Мироненко С.Н. 9, 18
 Миронова А.В. 9, 225, 226
 Митин М.Б. 770
 Митракова Н.М. 582
 Митрохин Д.И. 597
 Михайлов А.Д. 25, 28, 60, 779
 Михайлов Н.Н. 806
 Михайлович В.С. 583
 Михайловский Н.К. 92
 Михальский В.В. 556
 Михельсон Е. 28
 Михоэлс (Михоэльс) С.М. 444, 743—744
 Мицишвили Н.И. 368—370, 372, 374, 376, 597, 805
 Мкртчян Л.М. 109, 801
 Мнацаканян С.М. 751
 Мнухин Л.А. 9, 582
 Могильников 414, 415
 Моисеев С. 476, 483, 496
 Моисеенко Ю.И. 451, 462, 467, 475, 476—479, 482—484, 486, 490, 496—498, 796, 798
 Молотов В.М. 464
 Молчанов Б.Е. 581
 Моммзен Т. 307
 Мони (Де Мони) Элизабет де 555
 Мони Эрик де 555
 Монэ К. 123
 Моргулис А.А. 201, 508
 Мордерер В.Я. 779—780
 Мореас Ж. 261
 Морейнис 471
 Морозов А.А. 21, 23, 24, 27, 59, 66, 76, 247, 296, 324, 456, 548, 551, 556, 682, 686, 693, 736, 737, 754, 764, 765, 800, 809—811, 822, на вклейке: полоса 13.

- Морозова А.Н. 37
Москвичева М. 814
Мосолов Б. 306
Моссман Э. 43
Могольская Д.К. 668
Моцарт В.А. 308, 339, 373, 550, 562, 710, 722
Мочульский К.В. 71, 274
Музейный И. (Лунегов И.А.) 417
Мунблит Г.Н. 764
Муни см. Киссин С.В.
Мунк Х. де 729, 795
Мунк Х. де 729, 795
Мунц Е.В. 729
Мур см. Эфрон Г.С.
Муравьев В.С. 548
Муратов П.П. 637
Мурашко А.А. 514, 516, 518
Мурина Е.Б. 535, 541
Мусатов В.В. 822
Мусоргский М.П. 449
Муштавинская Т.О. 586
Мэтерлинк (Метерлинк) М. 269
Мюллер В. 339
Мюссе А. де 750
Мюссе А. де 750
Мягков Б.С. 765
- Навасардов А.С. 472
Надирадзе К. 372, 373
Надсон С.Я. 209, 258
Назаревская Л.А. 42
Найман А.Г. 533, 540, 541, 780
Наппельбаум И.М. 598
Наппельбаум Л.М. 773
Наппельбаумы 773
Наранович П.Ф. 480, 496
Нарбут В.И. 88, 96, 220, 673, 737, 738, 762, 771
Наровчатов С.С. 773
Нарсия Н. 787
Наталья Тарасова (Нерлер П.М.) 813
Наумов А.В. 9, 27, 194, 195
- Наумов В.П. 426
Недобожин-Жаров 450
Нейгауз (Пастернак) З.Н. 745
Нейгауз Г.Г. 745
Нейман А.Н. 174
Некрасов В.Н. (Сева) 767
Некрасов Н.А. 88
Нексе М.А. 426
Нелединский Вл. см. Гиппиус В.В.
Нелидов Г. 412
Немирович-Данченко 337
Немировский А.И. (Шура) 33, 515, 546, 582, 583, 793
Ненаживин В.Г. 727
Непомнящий В.С. 750
Нерваль Ж. де 646
Нехамкин С.В. 814
Нецветаева 533
Нечипорук Д.Е. 9
Нешумова Т.Ф. 820
Нижинская Б.Ф. 590
Никипорец-Такигава Т.В. 232
Никитаев А.Т. 25, 26, 29, 227, 417, 780, 782, 822
Никитин И.С. 579
Никитин-Перенский А.А. 798
Никиш 301
Николаев 471
Николай II 276
«Николай Ежов» см. Ежов Н.И.
Никольский А.С. 409, 410, 439, 453, 823
Нинуш см. Грин Н.Н.
Ниселовские 614
Ницше Ф. 297, 437
Нич Д. 823
Новалис 179
Новиков М.С. 712—718, 780
Новикова Л.В. 715
Новомисский 330
Ногин В.П. 637
Нойман Ф. 50, 72, 296, 299, 300, 302, 329

- Носик А.Б. 9
Носова Е.А. 416
- о. Всеволод см. Баталин В.А.
О.Т. см. Огородникова Т.
Обинье А. де 654
Ованесьян А. 111, 115, 116, 121, 127, 128
Овидий 182, 506
Овнатан А. 787
Овчинников И.В. 473
Оганисян М. 181
Огнев В.Ф. 801
Огнёв Николай (Розанов М.Г.) 806
Огородникова И.Ф. 761
Огородникова Т. 737, 761, 765
Огурцов А.П. 821
Одоевцева И.В. 194—199
Озеров В.А. 544
Озеров В.М. 743, 745
Озеров Л.А. 743, 745, 747, 754, 758, 763
Оксман Ю.Г. 185, 477, 666
Окуджава Б.Ш. 544
Олейников А. 598
Олейников Н.М. 598, 673
Ольга Алексеевна, мать Н.Н. Грин 575
Ольхон А.С. 804
Ольшевская Н.А. 408
Онккен 296
Оношкович-Яцына А.И. 194, 195
Орлов В.Н. 539, 677, 681, 747
Орлов Д.А. 427
Орлова К.А. 456
Орховский Я. 329
Осип (Оська), конвоир 409, 410, 414, 415
Осоргин М. 197
Острая Л. 529
Острогорский А.Я. 746
Оцуп Н. 194, 196, 198
Ошеров С.А. 748—750
Ощеров А. 429
- П. Ян (Нерлер П.М.) 801
Павленко П.А. 65, 104, 571, 572
Павлов А.В. (Лея) 613, 614
Павлов К.А. 472
Павлова 530
Павлович Н.А. 641, 739
Павлоцкая Е.В. 542
Паганини Н. 146, 149, 349, 710
Палванова З.Я. 17
Паниткова П.Д. 455
Пантелеймонов Л.Н. 387
Панченко Н.В. 556
Папанин И.Д. 736
Паперный З.С. 782, 824
Пари Г. 264
Парнах А.В. 807, 823
Парнах В.Я. (Parnack) 645—650, 743, 789, 792, 806, 823
Парнис А.Е. 374, 376, 604, 605, 754, 779, 798, 805, 823
Парнок С.Я. 641, 645, 646, 739
Парнох А.А. (Идельсон) 645
Парнох Я.С. 645
Паскевич И.Ф. 109
Пастернак Б.Л. 19, 57, 74, 76, 81, 83, 84, 101, 103, 168, 176, 221, 235—239, 241, 311, 378, 391, 401, 403, 444, 480, 487, 508, 509, 516, 537, 542, 544, 564, 589, 590, 594, 650, 653, 673, 677, 705, 737—738, 740, 742—743, 745, 754, 759, 768, 789, 823
Пастернак Е.Б. 737, 740, 754, 789
Пастернак Е.В. 823
Паустовский К.Г. 566
Пейрос И.И. 452, 453, 823
Пельтцер 296
Перелешин Б.Н. 486
Перельмутер В.Г. 633, 780, 782
Перкон Е.Н. 582
Пермяков Е.В. 510, 556, 672, 794, 810
Перцов В.О. 708—709
Песков Б.Г. 431

- Пессоа Ф. 137
Пестерев 419
Пестрый Ф. 412
Петерс А. 614
Петников Г.Н. 772
Петр I (Петр Великий) 352, 398
Петрарка Ф. 50, 61, 111, 341, 346, 348, 378, 486, 507, 574
Петров Н. см. Сажин В.Н.
Петровский М.С. 516
Петровых М.С. (Маруся) 240, 421, 522, 534, 773
Петш 296
Пешков А.М. см. Горький Максим
Пешкова Е.П. 407
Пигетти К. 255, 263
Пикассо П. 123, 648
Пильняк Б.А. 99, 100, 353
Пименов Р.И. 823
Пинский Л.Е. 346
Пинский Л.Е. 76, 346, 762, 763, 806
Пирогов Н.И. 279
Платонов А.П. 22, 61
Платонова-Лозинская И.В. 43
Плеханов Г. 260, 336
Плоткин Л.А. 661
Плотников Н.С. 426
Плунгян В.А. 143, 144
По (Поэ) Э. 358, 571
Поберезкина П.Е. 226
Поболь Н.Л. 5, 8, 14, 17—20, 24, 226, 398, 406, 408, 409, 411, 414, 453, 454, 465, 478, 778, 783, 787, 790—794, 796, 797, 799, 803, 807—809, 811, 821, 823, 824 на вклейке: по-лоса 14.
Повереннов 500
Поджиоли Р. 364
Подобедов М.М. 429, 431, 433, 661, 662, 669
Подылов В.Ф. 458
Познанский В.Д. 554
Покровский В. 661
Полей А.Е. 463
Полетаев В.Г. 802
Поливанов К.М. 806, 807, 823
Поливанов М.К. 538, 556
Полиевктова А.А. 657, 659
Полищук Д. 783, 799, 821
Полонская Е.Г. 172
Полонский Я.П. 594
Поляков М.Я. 22, 743, 744, 779
Полян П.М. 785, 787, 791, 792, 796, 801, 810, 824
Поляновский Э.Л. 478, 479, 483, 486, 823
Померанц Г.С. 762, 763, 801, 813
Поморский А. 248
Попков 414, 415, 419
Попкова С.А. 410
Попова Е. 403, 445, 446 751
Попова Лиля см. Попова Е.
Попова Н.И. 563
Попов-Ясный М.В. 48
Портнова Н. 326—328, 823
Поступальский И.С. 463, 476, 478, 494, 596, 761—762, 772
Потемкин П. 306
Потоцкий В.М. 469
Похмелкина Г.Ф. 404
Пояркова Н. 371
Пришвин М.М. 377, 448, 571, 761
Прокофьев А.А. 572, 773
Проффер К. 21,
Прохоров А.М. 36
Прохорова И.Д. 7
Птушкина Т. 537
Пуантис Ж. 658
Пугачева А.Б. 772
Пузиков А.И. 741—742
Пук 450
Пунин Н.Н. 60, 656, 673, 698, 823
Пунина И.Н. 673, 684, 685, 689, 690
Пусловский Ф.К. 386
Пуятин Е.В. 279
Пушкарская Н.И. 526

- Пушкин А.С. (Александр) 18, 66—68, 70, 81, 85, 171, 174—186, 197, 201, 214, 251, 275, 333, 390, 412, 446, 461, 506, 637, 640, 653, 658, 705, 727, 736, 744, 747, 748, 461, 466, 506, 507, 589, 601, 667, 766—768, 775, 788, 795
- Пушкин Ю. 614
- Пушибыльский Р. 749
- Пяст В.А. 103, 200, 306, 438, 570, 571
- Пятаков Г.Л. 426
- Рабинович А. 195
- Рабинович И.М. 519
- Рабинович М.Л. 466, 467
- Рабинович Э.М. 9, 466
- Радек К.Б. 426
- Радзишевский В.В. 751—754, 757
- Радковский А.Н. 770
- Радлова А.Д. 615
- Радунский И. и Вильтзак Н.И. (Бим и Бом) 398, 759
- Разумов А.Я. 598
- Райхлин Д.Л. 13
- Раковский Х.Г. 771
- Рассадин А.П. 529
- Рассадин С.Б. 803
- Рафалович С. 367, 371, 375
- Рафаэль С. 346
- Резникова Н.В. 551
- Рембо А. 589, 596
- Ремизов А.М. 650
- Ремизов С.П. 650
- Ренуар О. 123
- Ржевский Л.А. (Лев) 611
- Ризнич А. 187, 188
- Риккерт 282, 310
- Рильке Р.-М. (Rielke R.M.) 137, 309, 787, 791, 802
- Робакидзе Г. 376
- Роберт Г. 33
- Робеспьер М. 325, 559
- Рогинский Я.Я. 733, 735—736
- Роденбах Ж. 71, 270, 271
- Рождественский В.Н. 194, 200
- Рождественский Р.И. 31, 32, 791
- Розанов В.В. 75, 270, 357
- Розен 210, 331
- Розенталь Ю.М. 263, 264, 613
- Розовский М.Г. 27
- Ройзман М.С. 739
- Рок Р. 389, 390
- Роллан Р. 170—172, 464, 480, 589, 646
- Романов И.И. 454, 470
- Романовский Н.В. 429, 430, 436, 437, 669
- Ромэн Ж. 806
- Ронен О. 33, 351, 738
- Ронсар П. де 486
- Росси А. 291
- Рудаков С.Б. 42, 145, 149, 151, 152, 154, 158, 402, 423, 442, 447, 523, 553, 580, 582, 653, 663—667, 670, 687, 693, 755, 756, 759, 763, 805, 823
- Рудаковы 149
- Рудерман М.И. 734
- Рудник А.И. 782, 789, 809
- Рузер (Рузер-Нирова) Н. (М.)А. 105
- Румер М.З. 778
- Рыжманов Г.Н. 422, 436
- Рыкова Н.Я. 773
- Рылов А. 815
- Рындина М.Э. 635
- Рысс Ц. 396, 759
- Рябинин Е.И. 427, 430, 432, 437, 669
- Рябинина А.П. 748
- Ряховская И.С. 36, 783, 792
- Ряховский 431
- Саакянц А.А. 385
- Савинков Б.В. 260, 325
- Савоева-Гокинаева (Савоева) Н.В. 216, 463, 476, 501, 810
- Садовской Б.А. 634, 636, 824
- Сажин В.Н. (Петров Н.) 406, 598
- Салимон В.И. 802

- Саломка см. Андроникова С.Н.
Сальери А. 52, 151, 550, 562, 664
Сальман М.Г. 226, 513, 784
Самохина Н.И. 715
Сараджев К. 372
Саргиджан А. 390
Сарнов Б.М. 780, 808
Сафо 749
Сафронова Е. 781, 784
Сашка Васильев см. Васильев А.Г.
Свасьян К.А. 9, 722
Свентицкий А. 274
Свердлин Л.Н. 651
Свердлов Я.М. 518
Свирский А.И. 88, 391, 393
Свительский В.А. 582
Святополк-Мирский Д.П. 81, 82, 399
Сегалов Т.Е. 324, 325
Сегалова М.Р. 325
Сезанн П. 123
Селиванов 417
Селивановский А.П. 104, 399, 400
Селина О. 729
Сельвинский И.Л. 490, 768
Семаков А.М. 415
Семакова М.С. 415, 416
Семанова М.Л. 668
Семейко О. 371
Семенко И.М. 26, 27, 110, 138, 152,
152, 154, 155, 157 536, 548, 554,
693, 733, 763, 764, 780, 804, 805,
808, 822
Семеновский В.Л. 478
Сен-Жон Перс 137
Сергеева Э. 28
Серебряков Л.П. 426
Серов В. 334
Сеславинский М.В. 195
Сеченов И.М. 278
Сечкарев В. 364
Сидоров В.И. (Баян) 820
Сидоров Е.А. 32, 804
Сидоров И. 820
Сидорова Т. 25
Силин В.В. 429
Сильван-Леви 264
Симонов К.М. 21, 22, 32, 463, 534, 741,
752
Синани (семья) 92, 192, 199, 249, 256,
257
Синани Б.Б. 88, 192, 249, 256, 257, 259,
507, 509
Синани Б.Н. 256
Синельников М.И. 801
Синклер Э. 758
Синявский А.Д. 555, 808
Сиротинская И.П. 216, 535, 682, 824
Скачкова; Скачкова-Гуриновская см.
Лившиц Е.К.
Скемер Д. 41
Скоморовский Р.С. 799
Скотт В. 89, 359
Скрябин А.Н. 68, 73, 177, 337, 744, 775
Славин Л.И. 738
Слепнев И.И. 766
Слиозберг Г.Б. 280
Слободник В. 249
Слоним М.Л. 83
Слуцкий А.И. 582
Смелянский А.М. 65
Смирнов 458
Смирнов Е.С. 120
Смирнов М.Б. 471
Смольевский А.А. (Арсений Арсеньевич; Арсик; Ася) 608—610, 614,
615, 620, 621, 630, 798
Смольевский А.Ф. (Арсений Федорович) 610, 614, 624
Смолянский А.Д. 9, 231, 241
Смородинская Т.796
Смородкин М.П. 460—462
Смородкина С.М. 9
Смык 473
Снитко Л. 803
Соболев Л.В. 477
Соболь А.М. 198, 739

- Соколов В. 760
Соколов М. 782
Соколов Ф. 474
Соколова М.В. 31, 37, 225, 226, 782, 798, 809, 810
Соколова Н.В. 400
Соколовская Н.Е. 802
Сокольников Г.Я. 426
Сократ 297, 303
Солженицын А.И. 544
Соловьев В.С. 276, 324, 566, 734
Соловьев Н.Н. 478
Соловьев С.М. 9
Сологуб Ф.К. 71, 198, 270, 271, 745—746
Сонька см. Вишневецкая С.К.
Сопровский А.А. 712, 765, 798, 801, 813
Сормани П. 551, 552
Сорокин А.А. 37
Сорокин В.Г. 716—718
Сорокин, отец 770
Сорокина М.Ю. 467
Сосинский В.Б. 82, 83
Сохненко Л.А. 582
Спаская С.Г. 481
Спиноза Б. 333
Ставский В.П. 65, 431—435, 440—442, 447
Сталин И.В. 58, 63—65, 68—70, 97, 238, 239, 350, 385, 401, 407, 415, 419, 426, 448, 457, 458, 461, 464, 466, 469, 480, 482, 486, 491, 493, 508, 528, 582, 598, 599, 654, 673, 723, 727, 759, 773, 805, 821
Стальский С. 796, 798
Станкевич С.Б. 719
Старцев В.С. 529
Старчик П.П. 765, 770—772
Стеблин-Каменский М.И. 528
Степанова Л.Г. 529
Степина П.Ф. (тетя Поля) 531
Степун Ф.А. 276, 277, 280—283, 286, 291, 296, 297, 300, 301, 303—305, 310, 312, 324, 824
Стефен (Стеффен) А.И. 430, 431, 433, 435, 437, 662, 669
Стецкий А.И. 427
Стогов Ю.Г. 446, 447
Стойчев С.А. 428, 431, 432
Столетов А., писатель 668
Столетов А.Г., физик 282
Столица Л.Н. 636, 644
Столпыпин П.А. 759
Столярова Н.И. 534, 547
Сторицын (Коган) П.И. 631
Стравинская см. Судейкина В.А.
Стравинский И.Ф. 749
Страховской (Шацкий) Л.И. 623
Струве Г.П. 15, 23, 83, 155, 226, 272, 363, 365, 653, 681, 808, 822
Струве Н.А. 43, 215, 255, 263, 265, 364, 416, 551, 552, 554, 564, 565, 699
Стрэм А., сестра Х. Вистендаля 631
Сувчинский П.П. 746
Судейкин С.Ю. 749
Судейкина В.А. (Боссе; Стравинская) 615, 749
Сумбатов В. 808
Суперфин Г.Г. (Дальний Г.) 9, 275, 301, 477, 798, 821
Сурат И.З. 9, 187
Сурков А.А. 754
Сурьяков 419
Сутин 261
Т. см. Татлин В.Е.
Табидзе Г.В. 593, 597, 784, 802
Табидзе Н.Т. 368
Табидзе Т.Ю. (Тициан) 368, 369, 371, 372, 375, 376. 592, 593, 596, 597, 599, 804
Тагер Е.М. 416
Талов М.В. 649

- Таля см. Корди Н.Г.
Тан Ю.В. 9
Тарановский К.Ф. 749
Тараховская Е.Я. 646
Тарковский А.А. 66, 737, 738, 786, 801, 815
Тасс (Тассо) Т. 176, 177, 341, 348, 574
Тата см. Лившиц Е.К.
Татищев С.Н. 554
Татищева А. 554
Татлин В.Е.(Т.) 76, 522, 616—618, 621, 623
Татъка см. Мандельштам Н.Е. 44
Твардовский А.Т. 61, 543, 705, 710, 711, 770
Тенишев В.Н. 746
Тетюхин Д.Ф. 492, 493
тетя Поля см. Степина П.Ф.
Тибулл 750
Тименчик Р.Д. 9, 38, 84, 179, 370, 563, 754, 760
Тимофеева Леля см. Масловская Е.В.
Тинторетто 346
Тиняков А.И. 594
Тихонов Н.С. 78, 103, 353, 378, 597—599, 699, 762
Тихонов-Серебров А.Н. 78
Тициан (Табидзе) см. Табидзе Т.Ю.
Тициан 346
Тоддес Е.А. 733, 779, 823
Тоде, г-жа 301
Тоде Г. 50, 282, 290, 296, 300, 300, 301, 303, 341
Толстой А.Н. 262, 390, 537, 705, 739
Толстой Л.Н. 117, 270, 281, 515, 739
Томашевский Б.В. 185, 665
Томилина Н.М. 746
Томчинский см. Гарбуз Левка
Травников П.Ф. 449, 450
Травникова Т.В. 449, 450
Трейвиш А.И. 13, 770—772
Трифонов Ю.В. 768
Трифонов Юра см. Кувалдин Ю.А.
Тришкин 469
Тропинин В.А. 461
Трофимов 458
Троцкий Л.Д. 430, 517
Тулицын 446
Тулли Дж. 758, 806
Туполев А.Н. 460
Тургенев И.С. 209, 260, 333, 661
Тынянов Ю.Н. 66, 74, 76, 142, 182, 663, 666, 759, 805
Тышлер А.Г. 516, 676
Тютчев Ф.И. 17, 52, 67, 171, 214, 239, 241, 335, 336, 506, 705, 727, 766, 767
Тюфяков П.А. 529
Уитни Т. 195
Улих 296
Ульянова М.И. 101
Умаров Т. 27
Урбан А.А. 604, 779
Усов Д.С. 87
Усова А.Г. (Гуговна) 527, 528, 820
Успенский Г.И. 192, 249, 324
Уткин И.П. 448, 769
Ушаков Н.Н. 742
Фаворский А.В. 751
Фальк Р.Р. 516
Фармаковский Б. 262
Федин К.А. 99, 653
Федоров А.В. 89, 90
Федоров Е. 668
Федулов В. 739
Фейгин Э.А. 802
Фейхтвангер Л. 426
«Феликс Дзержинский» см. Дзержинский Ф.Э.
Фельберг Г. 332
Ферсман А.Е. 700
Фесенко Т.С. 532, 533
Фет А.А. 740, 757, 767
Фигнер В. 101

- Фигурнова М.В. 823
 Фигурнова О.С. 823
 физик Л. см. Хитров К.Е.
 Филиппов А.О. 781, 799
 Филиппов Б.А. 15, 155, 226, 272, 365, 554, 653, 681, 808, 822
 Философов Д.В. 249
 Финкельштейн Л.С. (Лина; Лина Михайловна; Лина Наумовна) 665, 687, 693, 755, 756
 Фиораванти А. 345
 Фирдоуси 124
 Фиркс 335
 Фирсов 446
 Фихте И.Г. 304
 Фиш Г. 79
 Фишер К. 297, 300
 Флорин С. 801
 Флят Л. 9, 467
 Фолкнер (Фуокнер) У. 619
 Фома (Аквинский) 300
 Фуокнер см. Фолкнер У.
 Фрадкина Е.М. (Лена-конструктивистка, Ленка) 87, 514, 549, 575, 576, 645, 735
 Фрайман Т.Н. 792
 Франс А. 79, 589
 Франциск Ассизский 300
 Фрезинский Б.Я. 7, 9, 172, 251, 516, 517
 Фрейдин Ю.Л. 9, 38, 43, 59, 216, 226, 404, 410, 421, 512, 520, 528, 537, 539, 540, 541, 552, 554—556, 582, 583, 715, 752, 753, 764, 780, 782, 783, 799, 806, 822
 Фрейлиграт 171
 Френкель Я.И. 764
 Фридштейн Ю.Г. 781
 Хабиас Нина (Оболенская Н.А.) 739
 Хазин А.Я. 513, 514
 Хазин Е.Я. 42, 393, 394, 396, 409, 434, 448, 449, 513—515, 526, 530, 531, 549, 554, 575, 577, 735, 766—767
 Хазин С.Я. 476, 477, 491, 492
 Хазин Я.А. 511, 512, 520, 559, 560
 Хазина А.Я. 513, 514
 Хазина В.Я. 441, 442, 444, 450, 512, 513, 525, 526, 559, 560
 Хазина Н.Я. см. Мандельштам Н.Я.
 Хаинский А.И. 329, 330
 Халатов А.Б. 807
 Хамп см. Амп П.
 Хампе 296
 Ханцын И.Д. 807
 Харджиев Г.И. 27, 42, 135, 151, 154, 175, 198, 366, 399, 406, 443, 444, 523, 531, 532, 546, 548, 549, 556, 565—567, 620, 672—695, 708, 709, 751, 754, 756, 757, 764, 765, 771, 772, 798, 807, 819, 822, 828
 Хармс Д.И. 598, 673, 690, 716, 767, 768
 Хаустов В.Н. 426
 Хелверт 279
 Хенкин К.В. 534
 Хинкис В.А. 533
 Хинт 474, 476, 492
 Хинт И.А. 492
 Хитров А.Е. 457, 460
 Хитров А.К. 460
 Хитров Б.Е. 457
 Хитров Е.М. 457
 Хитров К.Е. (физик Л.) 451, 455—460, 462, 474, 476, 477, 480, 488, 489, 494, 495, 499
 Хитров Ю.Е. 457
 Хитрова М.Е. 457
 Хитрова Н.К. 460
 Хлебников Велимир (В.В.) 27, 211, 390, 595, 666, 673, 674, 681, 690, 739, 743, 760, 772
 Хмара 477
 Ховин В.Р. 198
 Ходасевич (Графман) С.Я. 634
 Ходасевич (Гренцион) А.И. 637—640, 743, 849
 Ходасевич В.Ф. (Владя) 23, 61, 186, 194, 195, 198, 221, 235—238, 612,

- 633—644, 743, 747, 754, 760, 788,
824, на вклейке: полосы 15—16.
- Ходасевич Е.Ф. 634
Ходасевич Ф.И. 634
Хоопс 296
Ходотов Н.И. 375
Христиан см. Вистендаль Х.
Христофорович см. Шиваров Н.Х.
Хрущев Н.С. 455, 677
Хрыпов А.Е. 611
Худавердян А.А. 806, 808
Хургес Л.Л. 453, 469, 477
Хэйворд М. 544, 552
- Царенкова Е.М. 598
Цветаева А.И. 385, 739
Цветаева М.И. 17, 82, 83, 103, 198, 221,
235—238, 240, 247, 261, 324, 345,
381—385, 402, 443, 521, 526, 533,
614, 621, 624, 643, 654, 673, 708,
727, 738, 742, 770, 814, на вклейке:
полосы 15—16.
- Цебриябов Е.И. 494
Циммерлинг В.И. 583
Цинберг С.Л. 466—468, 482, 491, 498,
797, 824
Цонева-Динкова Б. 781, 795
Цуца см. Карцевадзе А.Ф.
Цховребов 460
Цыбулевский А.С. 736, 764, 785—786,
788, 801, 803, 807, 813
- Чаадаев П.Я. 50, 73, 75, 352, 749
Чаковский А.Б. 751
Чапаев В.И. 138, 147, 150, 152, 158,
710, 763
Чаплин Ч. 758, 759, 805
Чаренц Е. 56, 376, 378
Чебаков 307
Черашняя Д.И. 138
Черейский И.С. 431, 669
Чернова А.В. 82, 83
Чернова Е.Е. 9, 457
- Чернова Л.К. 9, 457
Черняк А. 280
Черняк З. 369
Черняховский С. 638
Чехов А.П. 179, 190—193, 249, 276, 277,
363, 544, 799, 811, 812
Чечановский М.О. 741, 742, 764
Чиковани С. 379
Чиладзе О.И. 802
Чистяков И.В. 494
Чкония Д. 786
Чуванов М.И. 339, 747, 750—751,
754—755
Чудакова М.О. 374, 733, 742, 772
Чуев Ф. 464
Чуковская Л.К. 526, 768, 802
Чуковская М.Н. 590, 601, 602
Чуковский К.И. 90, 200, 545, 591, 592
Чуковский Н.К. 746
Чулков Г.И. 198, 804
Чурилова Е.Б. 608, 781, 820
Чхиквишвили В.С. 368, 370
- Шабаева Т. 781
Шагал М. 261
Шагинян М.С. (Мариэтта) 110, 159,
162, 167, 172, 231, 400, 509, 571,
572, 805
Шадрин А.М. 602
Шайкевич А.Я. 232
Шаламов В.Т. 216—224, 412, 463, 472,
476, 499, 535, 542, 546, 685, 686,
793, 795, 796, 823, 824
Шамурин Е.И. 639
Шамфарова О.В. 226, 807
Шапиро Б. 9
Шапиро Е. 248
Шапиро М. 18
Шапиро Н. 791
Шатских А.С. 690, 691
Шаховской Д.М. 537, 727, 729
Шацкий (Чацкий) см. Страхов-
ский Л.И.

- Шванвич 182
Шварцбанд С. 138
Швейцер А. 31, 110,
Швейцер В.А. 154, 155, 157, 365, 438,
543, 692, 707, 756, 814
Швер А. 428, 429, 431, 432, 661
Швеленко М.Д. 103
Шевцов И.С. 429
Шевцов С.Н. 429, 433
Шегнер 301
Шейнкер М. 9
Шекспир В. 170, 333, 788
Шенгели Г.А. 168, 574, 575, 804
Шендерович В.А. 814
Шенье А. 52, 73, 77, 182, 183, 774
Шепеленко Д.И. 391, 739
Шервинский С.В. 185
Шершеневич В. 198, 387—390, 739, 805
Шефнер В.С. 604
Шибалова С.А. 457
Шиваров Н.Х. (Христофорович) 401,
407, 408, 425, 469, 762
Шилов Л.А. 772
Шиндин С.Г. 36, 38, 226, 783, 799
Широков А.И. 472
Шишмарев В.Ф. 528, 529
Шкапская М.М. 101
Шкловская В.В. 530, 536, 549, 672
Шкловская В.Г. 558, 582, 675, 678, 683,
693
Шкловская-Корди В.Г. 530, 534, 536,
558, 559, 582, 675, 678, 683, 693
Шкловские 672, 678, 683
Шкловский В.Б. 57, 66, 399, 448, 509,
534, 590, 665, 666, 672, 683, 678,
748
Шмидт В. 291
Шнейдерман 458
Шнейдерман Э.М. 598, 599, 824
Шниганс 296
Шоль 296
Шопен Ф. 109
Шор В.М. 90, 91
Шостакович Д.Д. 101
Шотт 296
Шпунт Р. 433
Штейнберг Аркадий А. (Акимыч;
Арк. Ак.) 5, 8, 24, 281, 742, 748,
754, 757, 760, 772, 775, 786, 790,
800, 802, на вклейке: полоса 14
Штейнберг Арон З. (Аврелин) 302,
303, 304, 310, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 823, 824
Штейнберг И. 261, 325
Штейнберги 284
Штелин 296
Штемпель В.Е. 579
Штемпель Н.Е. 42, 59, 137, 139, 173,
185, 186, 188, 189, 263, 422, 433,
437, 439, 446, 447, 449, 507, 508,
522, 525, 532, 546—548, 550, 551,
554, 556, 579—587, 679, 681, 682,
686—688, 693, 782, 783, 793, 799,
806, 808, 809, на вклейке: полоса
8 и 9.
Штраус Р. 267, 335
Шуберт Г. 283, 285, 298, 331
Шуберт Ф. фон 339, 511, 710, 754, 768
Шубин Л.А. 20, 22, 744
Шубина Е.Д. 24
Шульц В. 452
Шумихин С.В. 798
Шупке А. 170
Шура см. Мандельштам А.Э.
Шура см. Немировский А.И.
Шухаев В.И. 380, 477
Шэфер М.Л. 290
Щегловитов 259
Щепин Д. 720
Щербаков А.С. 64, 821
Щербина Н.Ф. 666
Щипачев С.П. 714
Щуплов А.Н. 814
Эйзенштейн С.М. 101
Эйнем Ф.Т. фон 115
Эйхенбаум Б.М. 663, 666, 773

- Эккерман И.П. 699
Экстер А. 514, 516, 517, 519, 590,
Элиасберг Г.А. 9, 467, 491, 824
Эльснер В.Ю. 375
Эпштейн М. 616
Эрдман Н.Р. 202, 203, 439, 449
Эренбург И.Г. 72, 79, 198, 217, 218, 255,
261, 262, 370, 371, 455, 480—482,
487, 516, 520, 534, 592, 598, 599,
654, 688, 691, 709, 734, 738, 743
Эристави Р. 597
Эстергази, граф 670
Эсхил 143
Эткинд Е.Г. 44, 85, 107, 364, 808, 810
Эфрон А.С. 526, 539, 542
Эфрон Г.С. 526
Эфрон К.Я. 385
Эфрон С.Я. 83, 385, 612
- Ювенал 201
Юдин П.Ф. 425, 432
Юдина М.В. 417
Юра см. Трифонов (Кувалдин) Ю.
Юркун Ю.И. 598
Ющинский А. 207, 759
- Яборов 418
Ягода Г.Г. («Ягода») 424, 473
Якобсон Р.О. 364
Яковенко М.Г. 25, 29
Яковлев А.Н. 426
Яковлев И.Я. 530
Якушева Г.В. 36, 170
Янгфельдт Б. 140, 681
Янукович В.Ф. 720
Яр-Кравченко А.В. (Кравченко А.) 87
Яров-Геренский 739
Ярхо Б.И. 94
Ярцева В.Н. 528
Ярцева М.В. 42, 554, 582, на вклейке:
полоса 8
Ярыгин 432
Ясенский Б. 476, 477
- Яффе 296
Яхновецкий П. 482
Яхонтов В.Н. 192, 403, 425, 443, 444,
446, 447, 523, 759, 770
Яхонтова В. 765
Яхонтовы 446
Яшвили П.Д. 371, 372, 375, 592, 596,
597
- Baines J. 800
Benech S. 781
Beriozkina P. 807
Besters-Dilger J. 793
Birkenmajer W. 803
Bodenheimer A. 795
Breysach B. 795
Brown C. см. Браун К.
Didot-Bottin 264
Dilado см. Гудиашвили Л.
Erb M. 779
Erb R. 779
Frank A. 779
Ingold F. 781
Jaworski S. 795
Kasack W. 281
Kasper K. 778
Körner C. 781
Leithold F.-J. 790
Leupold G. 790, 809
Miklas H. 793
Neweklowsky G. 793
Ossorguine-Bakunine T. 824
Pamela см. Давидсон П.
Parnack см. Парнах В.Я.
Poljakov F. 793
Ponfilly R. de. 824
Rielke R.-M. см. Рильке Р.-М.
Sell G. 779
Tapp L. 790
Treiber H. 282
Ullrich H. 779
Zum Winkel H.-J. 824

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге.....	7
--------------------	---

CON AMORE

19-я спецшкола и геофак МГУ	13
Коля Поболь.....	17
«Слово и культура»	21
Черный двухтомник и синий четырехтомник.....	25
Мандельштамовская комиссия и Мандельштамовское общество	31
От замысла до «сплошняка»: на пути к «Мандельштамовской энциклопедии».....	36
Глобус Мандельштама: материалы о поэте в архивах мира и их встреча в сети.....	41

СОЛНЕЧНАЯ ФУГА

Слово и судьба Осипа Мандельштама.....	49
Сквозь птичий глаз (о прозе Мандельштама).....	71
Битва под Уленшипигелем.....	85
Солнечная fuga Осипа Мандельштама: заметки о «Путешествии в Армению»	109
Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама	131
«К немецкой речи»: попытка анализа	159
Гете в произведениях Мандельштама.....	170
Мандельштам — читатель Пушкина	174
Поэтическое завещание (об одном пушкинском подтексте воро- нежских стихов).....	187
Мандельштам о Чехове: притяжения и отталкивания.....	190
«Новый Гиперборей»	194
«Мякнул конь и кот заржал...»: шуточные стихи	199
«Тридцать томов за десять лет»: заметки о прозаических пере- водах.....	204
«И возник вопрос...» (Мандельштам и его еврейство).....	207

От зимы к весне: рассказы В.Т. Шаламова «Шерри-бренди» и «Сен-тенция» как цикл.....	216
Как и где издавался Мандельштам? (Библиографический мониторинг).....	225
На пути к социологии Осипа Мандельштама: интегрум-анализ его упоминаемости и цитатности в российских СМИ.....	231

МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЕ МЕСТА

Города поэта.....	245
«Польша нежная...»: Мандельштам и Варшава.....	248
«Город, знакомый до слез...»: Мандельштам и Петербург.....	251
«Прабабка городов»: семестр в Париже.....	255
«На западе, у чуждого семейства...»: семестр в Гейдельберге.....	275
«О Tannenbaum, о Tannenbaum!...»: Мандельштам и Германия.....	332
«Рим-человек»: Мандельштам и Италия.....	340
«Американ-бар»: Мандельштам и Америка, Америка и Мандельштам.....	351
«Тифлис горбатый...»: Мандельштам и Грузия.....	366
«Москва, сестра моя...»: Мандельштам и Москва.....	381
«На Каме-реке...»: уральские волны Мандельштама.....	404
«Воронеж-нож...»: воронежский Мандельштам и мандельштамовский Воронеж.....	422
«На откосы, Волга, хлынь...»: Мандельштам на Верхней Волге.....	438
В одиннадцатом бараке: последние одиннадцать недель жизни Осипа Мандельштама (<i>попытка реконструкции</i>).....	451

СОВРЕМЕННОКИ И СОВРЕМЕННОИЦЫ

Друзья и братья.....	505
Свидетельница поэзии (Надежда Мандельштам).....	510
«Надо побыть вместе...» (Надежда Мандельштам и Анна Ахматова) ..	563
«Блаженных жен родные руки...» (Надежда Мандельштам и Нина Грин).....	569
Воронежская Беатриче (Наталья Штемпель).....	579
Бенó (Бенедикт Лившиц).....	587
Офицерская косточка, балетные пачки, перешитый бушлат (Екатерина Лившиц).....	601
Лютик из заресничной страны (Ольга Ваксель).....	608
«Дар тайнослышанья тяжелый...» (Владислав Ходасевич).....	633
«Я метался в поисках родины...» (Валентин Парнах).....	645
Авиатор, священник, поэт... (Николай Бруни).....	656
Товарищ по ссылке (Павел Калецкий).....	660
В походе за шумом времени (Борис Горнунг).....	670

Первый старатель (Николай Харджиев).....	672
Летописец (Павел Лукницкий).....	696

СЛОВО И БЕСКУЛЬТУРЬЕ

Не-колонновожатый.....	705
Закат Мандельштама или обретение берегов? Золотое руно vs. голубое сало.....	712
Смотрящий за культурой vs. культура.....	718
Слузганная культура, или Новая Атлантида.....	722

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Век Мандельштама.....	727
-----------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Приложение 1. Из дневников и записных книжек.....</i>	733
<i>Приложение 2. Павел Нерлер. Библиография.....</i>	776
Принятые сокращения.....	816
Использованная литература.....	820
Именной указатель.....	825

Павел Нерлер
CON AMORE
Этюды о Манделъштаме

Дизайнер
А. Рыбаков
Редактор
А. Еськова
Корректор
А. Еськова
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 53,5. Тираж 1500. Заказ №2553

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин www.nlobooks.ru

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

Специальные сервисы для покупателей интернет-магазина:

Раздел «Раритеты»

Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»

Возможность купить отдельные книги издательства
со значительными скидками

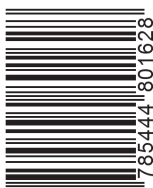


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Этюды о Мандельштаме



ISBN 978-5-444-80162-8



9 785444 801628

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ